This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

P Slav 176.25

HARVARD COLLEGE
LIBRARY

FROM THE FUND OF
CHARLES MINOT
CLASS OF 1828

ВѢСТНИКЪ

ЕВРОПЫ

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ I.

ГОДЪ XLIV. — ТОМЪ CCLV. — 1/13 ЯНВАРЯ, 1880.

555
107

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ - ПОЛИТИКИ - ЛИТЕРАТУРЫ

ВОСЕМЬДЕСЯТЪ-ПЕРВЫЙ ТОМЪ

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ

ТОМЪ I

Ĉ

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала: на Васильевскомъ Острову, 2-я линія, № 7.

Экспедиція журнала: на Вас. Остр., Академ. переулокъ, № 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ
1880

~~131.84~~
~~Slav 302~~
PSlav 176.25

Minot fund.
(I–VI)

(491)

ДИКАРКА

КОМЕДІЯ

въ 4-хъ дѣйствіяхъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

АННА СТЕПАНОВНА АШМЕТЬЕВА — старуха, богатая помѣщица.

АЛЕКСАНДРЪ ЛЬВОВИЧЪ АШМЕТЬЕВЪ — ея сынъ, почти постоянно проживающій за границей и въ Петербургѣ, представительный, но замѣтно израсходовавшійся господинъ; костюмъ и манеры парижанина лучшаго тона.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА — жена его, молодая женщина.

КИРИЛЪ МАКСИМЫЧЪ ЗУБАРЕВЪ — старикъ изъ крупныхъ землевладѣльцевъ, близкій сосѣдъ Ашметьевыхъ, управляетъ ихъ имѣніемъ; одѣтъ въ платье стараго покроя, изъ дешеваго матеріала; сѣдые усы подстрижены.

ВАРЯ — его дочь, молодая дѣвушка.

ВИКТОРЪ ВАСИЛЬЕВИЧЪ ВЕРШИНСКІЙ — значительный чиновникъ изъ Петербурга, молодой человѣкъ.

ДМИТРІЙ АНДРЕЕВИЧЪ МАЛЬКОВЪ — помѣщикъ, молодой человѣкъ.

МИХАИЛЪ ТАРАСЫЧЪ БОЕВЪ — сосѣдъ Ашметьевыхъ и Зубарева, 45 лѣтъ, холостякъ.

МАВРА ДЕНИСОВНА — нянька Вари, старуха.

ГАВРИЛО ПАВЛЫЧЪ — камердинеръ Ашметьева.

СЫСОЙ ПАНКРАТЬЕВИЧЪ — старый слуга Ашметьевыхъ.

ПЕРВОЕ ДѢЙСТВІЕ.

Въ усадьбѣ Ашметьевыхъ, вблизи губернскаго города. Густой паркъ, въ углу развалины каменной бесѣдки, въ глубинѣ живописная мѣстность за рѣкой.

Явленіе I.

Гаврило, съ сакъ-вояжемъ; входитъ Сысой, въ рукахъ складное кресло.

СЫСОЙ.

Гаврило Павлычъ! Куда направленіе имѣете?

ГАВРИЛО.

Барина дожидаюсь... Приказано... Купаться идемъ... А вы?

СЫСОЙ.

Барыня гуляютъ по парку; такъ кресло ношу... По преклонности ихней, онѣ не могутъ, чтобы безъ отдыха...

ГАВРИЛО — осматривая мѣстность.

Ну, и мѣстоположеніе... я вамъ скажу!..

СЫСОЙ.

Какъ находите?

ГАВРИЛО.

Что ужъ!.. Чего еще превосходнѣе!

СЫСОЙ.

На рѣдкость, истинно на рѣдкость... которые ежели понимающіе... Конечно, простой человѣкъ... такъ ему все-равно. Это мѣсто по древности, отъ старыхъ людей—Кокуй называется. Когда покойный баринъ, царство небесное, эту рощу подъ паркъ оборотили, такъ и бесѣдка тутъ была построена, и строгій былъ приказъ отъ барина всѣмъ, чтобъ это самое мѣсто «Миловида» прозывалось; а барыня, напротивъ того, желали, чтобъ безпремѣнно «Бельвю». Почитай, что до ссоры у нихъ доходило... Ну, а мужики, помилуйте!.. имъ не вобьешь въ башку-то, развѣ съ ними возможно! Они и теперь все Кокуй, да Кокуй. Было времячко, да прошло: въ тѣ поры въ этой бесѣдкѣ танцы были, ужины, безъ малаго вся губернія съѣзжалась, по всѣмъ дорож-

камъ цвѣтные фонари горѣли; за рѣкой феверки пущали; а теперь заглохло все.

ГАВРИЛО.

Заглохло?

СЫСОЙ.

Ну, что́ ужъ!

ГАВРИЛО.

Да оно точно, по вашей сторонѣ, про между господъ настоящей жизни, какъ имъ слѣдуетъ, что-то мало замѣтно.

СЫСОЙ.

Гдѣ ужъ, какая жизнь!

ГАВРИЛО.

А на мѣсто того, такъ даже и дикость какая-то.... какъ будто...

СЫСОЙ.

Есть, есть, всего есть... Вы давно служите у барина-то?

ГАВРИЛО.

Пятый мѣсяцъ; какъ въ Петербургъ изъ-за границы пріѣхалъ, такъ я и поступилъ.

СЫСОЙ.

А я такъ понимаю, что вы съ бариномъ у насъ недолго прогостите...

ГАВРИЛО.

А почему вы заключаете?

СЫСОЙ.

Посвистывать началъ.

ГАВРИЛО.

Развѣ это означаетъ?

СЫСОЙ.

Ужъ это вѣрно. Коли коротко́ свищетъ, ну, еще ничего, а

коли продолжительныя аріи, такъ ужъ припасай чемоданы. Я съ нимъ и въ Петербургѣ бывалъ: по началу съ пріѣзда веселый такой, каждый день во фракѣ, все больше по дамамъ.... а тамъ, глядишь, и засвисталъ; ну, значитъ, на чужую сторону потянуло... И закатится—поминай, какъ звали!

ГАВРИЛО.

Когда еще скучать-то, мы всего пятый день здѣсь; съ мѣсяцъ-то можно прогостить; развѣ что общество...

СЫСОЙ.

Тутъ не общество, тутъ главная причина: привязки ему нѣтъ.

ГАВРИЛО.

Какая привязка, коли онъ женатый человѣкъ.

СЫСОЙ.

Это онъ ни во что считаетъ, этого ему мало.

ГАВРИЛО.

А я долго и не зналъ, что онъ женатъ-то. Пять мѣсяцевъ жилъ, а все думалъ, что баринъ у меня холостой; потому ни изъ разговора, ни изъ чего примѣтить этого нельзя у нихъ—холостой, да и все тутъ.

СЫСОЙ.

Да онъ и похожъ на холостого; а, не солгать бы, ужъ седьмой годъ женатъ. Барыня на удивленье!

ГАВРИЛО.

На счетъ доброты?

СЫСОЙ.

На счетъ доброты, и обходительности—и всего.

ГАВРИЛО.

Но при всемъ томъ, я замѣчаю, словно, какъ они другъ другу не въ масть; музыку эту тянутъ, а ладу не выходитъ.

СЫСОЙ.

Потому—не рбвня, роду она, пожалуй, и дворянскаго, да воспитаніе невысокое получила.

ГАВРИЛО.

То-то и по моему замѣчанію тутъ что-то такое подобное...

СЫСОЙ.

Папенька у нихъ были офицеръ, молодецъ собой, и красавецъ писаный, только женился онъ на купчихѣ на здѣшней, и на ея деньги купилъ имѣніе. Да не долго пожилъ, ушибся на охотѣ объ дерево, разскакался очень, огневый былъ. Барышня-то наша, Марья Петровна, такъ промежду купечества и выросла; барственнаго-то ничего въ ней и не стало; потому заняться было не отъ кого. Отъ маменьки было перенять нечего, окромя что, какъ была она очень добрая женщина и рѣдкостная хозяйка, такъ наша Марья Петровна вышла вся въ нее. Только по возрасту лѣтъ стала въ ней обозначаться красота; начали слетаться женихи. Ну, а нашему ужъ этого перенести никакъ невозможно, чтобы была въ уѣздѣ красавица, да не ему досталась. Сейчасъ познакомился, Марья Петровна въ него до страсти влюбилась, женихи всѣ прочь, онъ и женился. И съ полгода такъ, какъ въ раю былъ.

ГАВРИЛО.

А потомъ?

СЫСОЙ.

А потомъ и засвисталъ. Прикинулъ жену-то маменькѣ, а самъ за границу. Такъ три года мы его и не видали, какъ въ воду канулъ. Въ Петербургъ изъ-за границы наѣзжаетъ часто, а къ намъ и не заглянетъ. Черезъ три года пріѣхалъ, и, смѣшно таково, опять въ жену влюбился, да не надолго; мѣсяца черезъ полтора и...

ГАВРИЛО.

И засвисталъ?

СЫСОЙ.

Засвисталъ. Опять въ Петербургъ, а тамъ за какой-то барыней за границу, да по сю пору мы его и не видали.

ГАВРИЛО.

Ужъ для заграничныхъ господъ въ деревнѣ, извѣстное дѣло... знаете—скука... томительность какая-то...

СЫСОЙ.

Нѣтъ, кабы привязка нашлась, онъ бы ничего—пожилъ. Вѣдь вотъ ужъ теперь и старъ сталъ, и тяжеленекъ, а все глаза-то завистливы. Вы посмотрите, ровно онъ глазами-то все чего ищетъ; такъ ужъ они у него съ молодости наиграны.

ГАВРИЛО.

Человѣкомъ выходитъ, не всякому тоже это дается.

СЫСОЙ.

Какой былъ по этимъ дѣламъ старательный, бѣда! Что̀ изъ благородныхъ, что̀ изъ простыхъ, это для него все одно. Какъ гдѣ намѣтитъ глазомъ, и начнутся у него хлопоты, такой проворный сдѣлается, такъ ужъ и не разстается. И все словами улещаетъ, да уговариваетъ; то шопотомъ, то стихи читаетъ. Начнется у него эта суета, такъ и не скучаетъ. Только на короткѣ, по-долгу не продолжается. Вотъ и теперь бы ему такое занятіе, такъ погостилъ бы: и заграницу забылъ.

ГАВРИЛО.

Нѣтъ ужъ, кто ей подверженъ, да коли деньги есть, такъ не забудетъ, все его поманиваетъ.

СЫСОЙ.

Само собой; хоть съ нашего брата возьмите, или изъ мастеровыхъ; который человѣкъ ежели по трактирамъ избалуется, ужъ ему дома не сидится.

Входитъ Анна Степановна и Марья Петровна. Сысой и Гаврило отходятъ къ сторонѣ.

Явленіе II.

Анна Степановна, Марья Петровна.

АННА СТЕПАНОВНА.

Да, мой другъ, твоя это вина, твоя, что Александръ здѣсь скучаетъ. Ты и не спорь со мной!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Я съ вами и не спорю: только я рѣшительно не понимаю, какъ и чѣмъ еще, кромѣ любви моей, могу я привязать его.

АННА СТЕПАНОВНА.

Да развѣ ты не видишь, что онъ художникъ, онъ поэтъ? Это натура въ высшей степени деликатная. Его душа соткана изъ самыхъ тончайшихъ нитей, къ ней надо прикасаться умѣючи, съ осторожностью. Онъ только-что вернулся изъ-за границы, онъ еще весь подъ впечатлѣніемъ изящнаго... ну, галерей тамъ, музеевъ и прочаго; у него еще въ ушахъ звуки итальянской музыки, въ глазахъ аристократическіе салоны... а ты его прямо въ коровникъ!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Я не думала, что это дурно... я думала, что это моя обязанность—разсказать мужу откровенно, какъ я жила безъ него, и что дѣлала. Женщинѣ въ мои года нужно же какое-нибудь занятіе. Мужа я не вижу, дѣтей у меня нѣтъ, вѣдь жизнь опротивѣетъ, если не имѣть никакого интереса. Я извелась съ тоски.

АННА СТЕПАНОВНА.

Извелась! Фи, мой другъ! Какъ ты вульгарно выражаешься.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Всѣ такъ говорятъ.

АННА СТЕПАНОВНА.

Мѣщанство, матушка, мѣщанство!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Дѣло по мнѣ не мудреное, много ума не нужно: нуженъ только порядокъ, да чистота. Мнѣ даже хотѣлось похвастаться передъ мужемъ моими успѣхами. Изъ маленькой молочной фермы, теперь у меня большое заведеніе. Я завела сыроварню, выписала мастерицъ изъ тверской губерніи, принимаю крестьянскихъ дѣвушекъ, онѣ у меня учатся, потомъ поступаютъ на мѣсто, хорошее жалованье получаютъ. У меня разведены отличныя племенныя коровы; отъ моей фермы скотоводство во всей губерніи улучшается; за сто верстъ пріѣзжаютъ покупать моихъ телятъ, бычковъ. Что въ этомъ дурного, что за преступленіе?

АННА СТЕПАНОВНА.

Кто тебѣ говоритъ, что твой коровникъ—преступленіе? Молоко необходимо, оно идетъ въ пищу, значитъ, необходимы и коровы, и коровницы; да не твое это дѣло. Ты улучшаешь скотоводство

въ губерніи! Вѣдь это смѣшныя фантазіи! Объ губерніи безъ тебя есть кому заботиться. Для тебя выше всего на свѣтѣ долженъ быть мужъ! Ты говоришь, что скучаешь безъ работы, да кто-жъ тебѣ мѣшаетъ работать? Мало ли есть женскаго рукодѣлья: приличнаго, чистаго! А потомъ—арфа, ты ее забросила совсѣмъ. Нѣтъ, скажи лучше, что мѣщанская кровь сказывается,—вотъ это вѣрнѣе.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Но живя въ деревнѣ, такъ естественно заняться хозяйствомъ.

АННА СТЕПАНОВНА.

«Естественно»—вотъ еще слово! Ты думаешь, что̀ естественно, то и хорошо? Животныя ведутъ себя естественно, да много ли найдется охотниковъ подражать имъ. Наши прически, костюмы развѣ естественны? Былъ вѣкъ, когда мужчины носили огромные пудреные парики, а женщины фижмы, подъ которыя пять человѣкъ спрятаться могутъ; ужъ, конечно, это не естественно, и все-таки благороднѣе, умнѣй, изящнѣе этого вѣка не было и не будетъ въ исторіи. Ну, да что̀ объ естественности толковать! Для тебя всего естественнѣе стараться нравиться мужу!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Я думала, что ему будетъ пріятно, что я занимаюсь дѣломъ.

АННА СТЕПАНОВНА.

Очень нужно ему: дѣлаешь ты что-нибудь, или нѣтъ. Ты не забывай, что прежде всего Александръ—художникъ, онъ поэтъ; для него главное во всемъ—изящная форма. Я не могу повѣрить, чтобъ женщина не могла удержать его подлѣ себя на мѣсяцъ, на два. А вѣдь это стыдно въ люди сказать: мужъ не видалъ тебя три года, пріѣхалъ погостить, и ужъ черезъ пять дней уѣзжать сбирается. Съ мужемъ и кокетство позволительно, а съ такими даже и необходимо. Онъ почти не живетъ въ Россіи, но я по его письмамъ знаю, что иногда онъ среди самой роскошной природы скучаетъ по родинѣ, что онъ любитъ Россію и все русское. Вотъ бы ты надѣла сарафанъ, онъ такъ идетъ къ тебѣ, спѣла бы ему русскую пѣсню, у тебя прекрасный голосъ. А ты его тащишь на свою ферму, согласись, что тамъ поэзіи не много. И съ кѣмъ ты его знакомишь! Что такое Мальковъ? Вѣдь это мастеровой какой-то. Онъ едва ли что-нибудь знаетъ, кромѣ своей химіи. Благородный человѣкъ, а пачкается съ

какимъ-то дрянным заводомъ. Что онъ тамъ, купоросъ, что ли, дѣлаетъ? Прекрасное занятіе для дворянина, носить какой-то мѣщанскій картузъ, ѣздить въ телѣжкѣ, въ одну лошадь.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

У него нѣтъ состоянія, чтобы четверкой ѣздить.

АННА СТЕПАНОВНА.

Нѣтъ состоянія, такъ поди служить; а купоросъ, кому нужно, найдутъ и безъ него. Интересное знакомство для Александра! Ну, понятное дѣло, что ему съ вами скучно. Онъ всю жизнь провелъ съ художниками, съ артистами, а ты его съ мастеровыми знакомишь. Нѣтъ, какъ ты хочешь, ты обязана удержать Александра еще хоть недѣли на двѣ; если онъ уѣдетъ теперь, это будетъ твоя вина, это меня очень огорчитъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Я постараюсь, я готова употребить все возможное...

АННА СТЕПАНОВНА.

Только, пожалуйста, не слезы! Это самое вѣрное средство прогнать отъ себя мужчину.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Я знаю, нѣтъ—слезъ не будетъ; это было да прошло.

АННА СТЕПАНОВНА.

Развѣ ты ужъ разлюбила его?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Не разлюбила, но я стала покойнѣй, со многимъ примирилась.

АННА СТЕПАНОВНА—шаритъ.

Гдѣ же это мой бинокль? Ахъ, я его тамъ забыла на лавочкѣ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Я его вамъ принесу.

АННА СТЕПАНОВНА.

Зачѣмъ? не трудись! Я пошлю человѣка.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Да что́ за трудъ.

Уходитъ. Сысой показывается изъ-за кустовъ.

АННА СТЕПАНОВНА.

Добрая женщина, а простовата, простовата... Сысой, подай мнѣ кресло.

Сысой подаетъ кресло и отходитъ за кусты. Входитъ Ашметьевъ, насвистывая арію.

Явленіе III.

Анна Степановна и Ашметьевъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Объ чемъ задумалась, старушка моя?

АННА СТЕПАНОВНА.

О прошломъ, другъ мой; о настоящемъ мнѣ уже нѣчего думать. Прошелъ день, и слава Богу.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, я понимаю... скучно тебѣ?

АННА СТЕПАНОВНА.

У меня теперь только и радости, что ты.

АШМЕТЬЕВЪ.

Благодарю *(цѣлуетъ руку у матери)*. Но я, что́ же?.. Можетъ быть, оттого я тебѣ и милъ, что ты меня рѣдко видишь.

АННА СТЕПАНОВНА.

Что за вздоръ ты говоришь.

АШМЕТЬЕВЪ.

Нѣтъ, правду. Я, что́ называется, непосѣдъ, бездомовщина. Если мнѣ остаться подольше на одномъ мѣстѣ, я и самъ отъ скуки завою по-волчьи, и всѣ окружающіе взвоютъ, на меня глядя, я—скучающій россіянинъ. Какъ нескладно я устроилъ свою жизнь! Ужъ если кому не слѣдовало жениться, такъ это мнѣ. Странное существо—человѣкъ: въ молодости даны ему страсти, для того собственно, чтобъ надѣлать глупостей на всю жизнь,

— потомъ, въ зрѣлыхъ лѣтахъ, дается ему умъ, чтобы раскаяваться всю жизнь. Пріятное существованіе! Ну, зачѣмъ я женился? Это вопросъ; а отвѣтъ слѣдующій: за тѣмъ только, чтобъ мучить жену. *(Ходитъ)* Ахъ, да мнѣ и родиться-то не слѣдовало, чтобъ не мучить мать. И это была глупость съ моей стороны.

АННА СТЕПАНОВНА.

Ужъ ты, сдѣлай милость, не хандри!

АШМЕТЬЕВЪ.

За что я, въ самомъ дѣлѣ, заставляю страдать двухъ женщинъ?

АННА СТЕПАНОВНА.

Ну, что ты ужъ очень сокрушаешься! Я—старуха, видѣла въ свою жизнь и радости не мало, будетъ съ меня; Маша тоже, по-своему, счастлива.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какое счастье! Полгода она дѣйствительно была со мной счастлива; а потомъ—семь лѣтъ живетъ только воспоминаніемъ этого счастія. Вѣдь попадаются же намъ такія кроткія, безропотныя натуры! Гораздо легче выносить бури упрековъ, брани и оскорбленій, чѣмъ это тихое страданіе безъ жалобы.

АННА СТЕПАНОВНА.

Ты ужъ слишкомъ преувеличиваешь: у нея все-таки есть занятіе, есть общество.

АШМЕТЬЕВЪ.

А у тебя и того нѣтъ; это новое общество ужъ чуждо тебѣ.

АННА СТЕПАНОВНА.

Чуждо—этого мало: оно непріятно, оно враждебно мнѣ. Да, мой другъ, разговоры ихъ для меня невыносимы: я не слышу отъ нихъ ни протеста противъ нынѣшнихъ порядковъ, ни сожалѣнія о прошлой нашей жизни. Нѣтъ, они и знать не хотятъ и говорить-то не хотятъ объ этой реформѣ, они очень спокойно къ ней относятся, какъ будто такъ и надо. Заводятъ фермы, да ремесленныя школы, учатъ чему-то крестьянскихъ дѣвчонокъ и мальчишекъ. Можно было заботиться о крестьянахъ, когда они были наши, а когда у насъ ихъ отняли, такъ что намъ до нихъ за дѣло. Они теперь свободны, ну, и пусть пьянствуютъ. Посмот-

ришь, другой помѣщичишко разоренъ совсѣмъ, а тоже тянетъ со всѣми въ одну ноту, восхваляетъ реформу. А у самого на душѣ-то, чай, кошки скребутъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Ну, намъ, кажется, очень жаловаться нельзя, мы не очень много потеряли.

АННА СТЕПАНОВНА.

Такъ вѣдь это исключеніе, это особое счастье. Что бы мы были съ тобой, если бы не онъ!

АШМЕТЬЕВЪ.

Кто это онъ?

АННА СТЕПАНОВНА.

Да вотъ идетъ! *(Указывая направо)* Кирилъ Максимычъ тогда былъ мировымъ посредникомъ и составилъ намъ уставныя грамоты съ крестьянами. Онъ такъ ихъ обрѣзалъ, что имъ курицу выгнать некуда. Благодаря ему, я хорошо устроилась: у меня крестьяне такъ же и столько же работаютъ, какъ и крѣпостные, —никакой разницы.

АШМЕТЬЕВЪ.

Я и не зналъ.

Входитъ Зуваревъ, раскланиваясь.

Явленіе IV.

Анна Степановна, Ашметьевъ и Зуваревъ.

АННА СТЕПАНОВНА—сыну.

Хорошъ помѣщикъ! онъ не знаетъ, что у него крестьяне дѣлаютъ. А иначе гдѣ-жъ бы мы взяли денегъ тебѣ на твою артистическую жизнь за границей? Что-жъ ты думалъ, что намъ деньги-то съ неба сваливаются?

АШМЕТЬЕВЪ.

Но я могъ бы сократить свои расходы. Вѣдь Кирилъ Максимычъ на все способенъ; онъ человѣкъ безъ сердца. Такъ вѣдь, Кирилъ Максимычъ? жалости въ васъ нѣтъ, вы этого чувства не знаете?

АННА СТЕПАНОВНА.

Ахъ, пожалуйста!.. Жалѣй, о чемъ хочешь, только не о моихъ крестьянахъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Будешь безжалостенъ, коли вы, Александръ Львовичъ, поминутно изволите деньгами нудить.

АННА СТЕПАНОВНА—сыну.

Твоя совѣсть можетъ быть покойна, это мое дѣло; а я считаю свое дѣло и законнымъ, и справедливымъ. И конченъ разговоръ.

ЗУБАРЕВЪ.

Вы изволите говорить, что сократите расходы... Дождемся-ль мы этого, Александръ Львовичъ? Повуда все еще увеличиваете, а не сокращаете.

АШМЕТЬЕВЪ.

Не знаю; я всегда проживалъ около семидесяти тысячъ франковъ въ годъ—и теперь тоже...

ЗУБАРЕВЪ.

А курсы-то, благодѣтель мой, а курсы-то, помилуйте! Вы, Александръ Львовичъ, изволите пошвыривать франками-то, вы думаете, что все еще франки-то четвертакъ? А оно вонъ куда пошло, вонъ куда пошло: франкъ-то прежде въ лаптяхъ ходилъ, а теперь въ сапожкахъ щеголяетъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Франкъ, все франкъ; а что вашъ рубль подешевѣлъ, такъ ужъ мы тамъ, въ Парижѣ, не виноваты. Скоро-ли вы лѣсъ-то продадите?

АННА СТЕПАНОВНА.

Развѣ тебѣ деньги скоро нужны?

АШМЕТЬЕВЪ.

Скоро, не скоро, а все-таки я желаю знать немедленно, чего онъ стоитъ?

ЗУБАРЕВЪ.

Теперь покупать надо, покупать, а не продавать. Какъ продавать, когда цѣны нѣтъ! «Что́ сто́ить?» Семьдесятъ рублей за десятину, вотъ что онъ сто́итъ? Да что! За шестьдесятъ-пять (*съ возрастающимъ жаромъ*) за пятьдесятъ, за сорокъ-пять отдаютъ; что́ ни дай, то и берутъ. Точно взбѣсились всѣ, такъ и валятъ лѣсъ! У насъ скоро пустыня будетъ, Аравія Счастливая! Вотъ Боевъ, Михайло Тарасычъ, какъ нужны деньги, такъ и лѣсъ продавать; что́ дадутъ, то и беретъ. Вотъ онъ какой, вотъ онъ какой! Только цѣну сбиваетъ. Покупать нужно, а не продавать.

АШМЕТЬЕВЪ.

Я васъ просилъ, Кирилъ Максимычъ, покупателя найти.

ЗУБАРЕВЪ.

Нашелъ, нашелъ-съ; да вѣдь семьдесятъ рублей... какая эта цѣна?

АШМЕТЬЕВЪ.

Продавайте, я на эту цѣну согласенъ.

АННА СТЕПАНОВНА.

Какой ужъ и ты скаредъ, Кирило Максимычъ, такъ даже противно смотрѣть. Ты изъ-за копѣйки готовъ цѣлый годъ торговаться.

ЗУБАРЕВЪ.

Не скаредъ я, а экономный человѣкъ. Какія времена-то, помилуйте!

АННА СТЕПАНОВНА.

Нѣтъ, скаредъ. Какъ ты живешь, какъ ты одѣваешься! А дочь! и не грѣхъ тебѣ? Воспитывала ее изъ жалости тётка лѣтъ до 12, пока дочерей замужъ не выдала, а съ тѣхъ поръ она дома болтается—безъ учителей, безъ гувернантокъ, такъ и выросла, да и теперь безъ всякаго призору.

ЗУБАРЕВЪ.

Да какого ей воспитанія, какого призору? Умѣй шить, вязать, щи варить, да почитай родителей,—вотъ и весь женскій курсъ!

АШМЕТЬЕВЪ.

Я ее помню; но едва ли узналъ бы теперь, что-то дикое было въ этомъ миломъ ребенкѣ.

АННА СТЕПАНОВНА.

А теперь еще больше одичала. Въ ребенкѣ все мило; а она ужъ давно не ребенокъ. Ни манеръ, ни приличія; не знаетъ никакой сдержанности, дѣлаетъ, что въ голову придетъ,—это для благородной дѣвушки ужъ просто не позволительно.

АШМЕТЬЕВЪ.

Отчего я не вижу ея здѣсь?

АННА СТЕПАНОВНА.

Не знаю, спроси у отца.

ЗУБАРЕВЪ.

У тётки гостила-съ...

АННА СТЕПАНОВНА.

Да ужъ ты все говори! я кое-что слышала.

ЗУБАРЕВЪ.

Изъ особеннаго уваженія къ вамъ, Александръ Львовичъ, и къ вамъ, Анна Степановна, и изъ любви къ дому вашему не могу умолчать...

АННА СТЕПАНОВНА.

Замужъ отдаешь?

ЗУБАРЕВЪ.

Ну, еще это далеко, еще Богъ знаетъ-съ.

АННА СТЕПАНОВНА.

Да кто?

ЗУБАРЕВЪ.

Викторъ Васильичъ Вершинскій-съ.

АШМЕТЬЕВЪ.

А! это нашъ юный преобразователь?

ЗУБАРЕВЪ.

Далеко пойдетъ, далеко-съ... Пріѣхалъ, оживилъ насъ, поднялъ на ноги всю губернію, освѣтилъ... Во мракѣ ходили...

АШМЕТЬЕВЪ.

Не понимаю, что́ ему за разсчетъ жениться на дѣвушкѣ совершенно необразованной.

ЗУБАРЕВЪ.

Любитъ-съ, большое расположеніе чувствуетъ къ моей дурочкѣ.

АННА СТЕПАНОВНА.

Ну, полно, что́ любить-то? Любить-то въ ней нечего! Разсчетъ простой, Александръ: имѣньишко у Вершинскаго здѣсь небольшое; а у Вари приданое порядочное, послѣ матери десятинъ восемьсотъ. Чего-жъ ему? Вотъ онъ и значительный помѣщикъ. Въ Петербургѣ, вѣроятно, карьеру сдѣлать не надѣется, тамъ и побойчѣе есть; а здѣсь, благо говоритъ мастеръ, пожалуй, и въ предводители выберутъ. На безлюдьи—и Ѳома дворянинъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Выберутъ, непремѣнно выберутъ; умъ, сила, быстрота соображенія...

АННА СТЕПАНОВНА.

У Вершинскаго, по его краснобайству, большая партія; а ты и спишь, и видишь предсѣдателемъ земской управы быть, ты любишь должности съ жалованьемъ; вотъ вы и ухаживаете другъ за другомъ. Да ты молись Богу, что тебѣ такой женихъ попался, это для Вари большое счастье: кто ее, сумасшедшую, возьметъ!

ЗУБАРЕВЪ.

А она-съ... она, можете представить, фыркаетъ... что́ ты будешь тутъ!.. Господи!

АШМЕТЬЕВЪ.

Можетъ быть, онъ ей не нравится?

АННА СТЕПАНОВНА.

Полно! Развѣ она людей разбирать умѣетъ! Что на нее смотрѣть-то.

Входитъ Марья Петровна.

Явленіе V.

Анна Степановна, Ашметьевъ, Зуваревъ, Марья Петровна.

АШМЕТЬЕВЪ.

Marie, я тебя и не видалъ еще сегодня.

Цѣлуетъ ее въ голову.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—Аннѣ Степановнѣ.

Вотъ вашъ бинокль.

Подаетъ бинокль.

АННА СТЕПАНОВНА—встаетъ.

Благодарю, я пойду, еще гдѣ-нибудь посижу. Пойдемъ, Кирило Максимычъ, поболтаемъ. Сысой! *(Является Сысой)* Неси за мной кресло.

Уходятъ: Анна Степановна, Зуваревъ и Сысой съ кресломъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Ты гдѣ была утромъ, Marie?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Я къ обѣднѣ ѣздила.

АШМЕТЬЕВЪ.

Вотъ какъ! И ты часто ѣздишь?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Каждый праздникъ. Я теперь выучилась молиться.

АШМЕТЬЕВЪ.

А развѣ ты прежде не умѣла?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Нѣтъ, я умѣла и прежде, да не такъ: я теперь хорошо молюсь... Когда у меня горе, или мнѣ надо рѣшиться на что-ни-

будь, я молюсь, Александръ, и такъ мнѣ покойно потомъ, и такъ у меня твердо, рѣшительно выходитъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Прекрасно, Marie, прекрасно! Какъ это хорошо, кто можетъ. Ну, а пѣсенки ты поешь по-прежнему?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Нѣтъ, теперь рѣдко... А впрочемъ, иногда...

АШМЕТЬЕВЪ.

Пой, Marie, пой для меня! Этого удовольствія ужъ нигдѣ не встрѣтишь. Какія-то особенныя ощущенія вызываютъ твои пѣсни: можетъ быть, онѣ не совсѣмъ изящны, но пріятны, очень пріятны. Я тамъ, далеко, особенно въ Италіи, часто вспоминаю о твоихъ пѣсняхъ, стараюсь припомнить ихъ; но выходитъ что-то... Аль-ля-ля-ля-ля—совсѣмъ не то. Какая прелесть! Когда горе есть, она молится, когда весело—поетъ. Какая ты хорошая женщина, Marie, какъ я люблю тебя.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Какъ у тебя холодно это слово «люблю». Мнѣ кажется, ты хочешь сказать мнѣ: я тобой любуюсь иногда. А любить вѣдь это не то, это другое... Вонъ крестьяне, или крестьянки, если любятъ кого очень, такъ говорятъ: «я жалѣю его». И это правда: кого любишь, такъ жалѣешь.

АШМЕТЬЕВЪ.

«Жалѣю, жалѣю», какъ это хорошо, въ самомъ дѣлѣ, это надо записать *(вынимаетъ книжку и записываетъ)*. Я отправляюсь купаться, скоро и обѣдать пора. У насъ нынче никто не обѣдаетъ?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Не знаю. Вѣроятно, Зубаревъ, а, можетъ быть, и Вершинскій пріѣдетъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Очень радъ буду.

Уходитъ.

Явленіе VI.

Марья Петровна, потомъ Варя.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—всматриваясь.

Кто-то подъѣхалъ къ парку... или... мимо. Ахъ, нѣтъ, вонъ бѣжитъ... Да это, кажется, Варя.

За сценой голосъ:

Собирайтесь дѣвки красны,
Собирайтесь въ хороводъ!
Скоро день настанетъ ясный,
Солнце красное взойдетъ.
Ай, малина! ай, малина!

Да это она!

За сценой: „Ой ли, ой ли“,—входитъ Варя въ сарафанѣ. Голова повязана платочкомъ.

ВАРЯ.

Охъ, жарко! Сгорю, сгорю!

Снимаетъ съ головы платокъ и обмахивается.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—цѣлуетъ Варю.

Варюша, милая.

ВАРЯ.

Здравствуй! Ужъ я купалась, купалась, сегодня утромъ, а все не помогаетъ. Что это ты такая хорошенькая сегодня?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ну, полно, все такая же.

ВАРЯ.

Нѣтъ, я правду говорю. Еслибъ я была мужчина, я бы тебя зацѣловала. И какая ты нарядная!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Да развѣ ты не знаешь, вѣдь ко мнѣ мужъ пріѣхалъ, Александръ Львовичъ.

ВАРЯ.

Ахъ, такъ вотъ что!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Тебѣ отецъ не сказывалъ?

ВАРЯ.

Нѣтъ, онъ со мною другую недѣлю не говоритъ. Да меня и дома дня три не было, я у тёти въ городѣ гостила. Такъ прощай!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Нѣтъ, нѣтъ, ни за что не пущу.

ВАРЯ.

Нельзя. Видишь, какая я растрепанная. Да я къ тебѣ и такъ не надолго, меня тутъ дожидается...

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Кто?

ВАРЯ.

Провожатый *(смѣется)*. Я ямщика наняла.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Такъ отпусти провожатаго, ты мнѣ нужна, очень нужна. Я тебя сама отвезу домой вечеромъ.

ВАРЯ.

Зачѣмъ я тебѣ? Ну, сказывай скорѣй.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Послѣ, послѣ, теперь про себя мнѣ говори! Какъ ты съ Вершинскимъ?

ВАРЯ.

Ахъ, не говори, видѣть его не могу.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Поссорились?

ВАРЯ.

Никакой ссоры.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Такъ что же?

ВАРЯ—хладнокровно.

Я его возненавидѣла.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Это за что? Какимъ образомъ, когда?

ВАРЯ.

Въ прошлое воскресенье. Онъ былъ у насъ цѣлый день, обѣдалъ, ну, и ничего.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Нравился тебѣ?

ВАРЯ.

Не то что нравился, а такъ себѣ, не противенъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

А вечеромъ?

ВАРЯ.

А вечеромъ возненавидѣла.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Да за что?

ВАРЯ.

Была у насъ помочь, косили большой лугъ; потомъ хороводы водили, пѣсни пѣли, и мы были на лугу. Мнѣ такъ хорошо, такъ хорошо, такъ весело было, подбѣгаю я къ нему: «хорошо?» спрашиваю. А онъ сморщилъ свои губы, ухмыляется, очки свои вздергиваетъ... «Не дурно», говоритъ, «однообразно немножко и диковато». Взглянула я на него — чистая птица какая-то: въ своемъ сертучкѣ, на тоненькихъ ножкахъ, эти очки... У! птица! Убѣжала домой, спряталась, такъ онъ и уѣхалъ. Отецъ разсердился.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Чѣмъ-же это кончится, Варя?

ВАРЯ.

Отдадутъ меня за него, уговорятъ. Вѣдь если-бъ онъ не женихъ, такъ ничего, мужчина—какъ мужчина; а какъ подумаешь,

что такому... А вѣдь начнутъ уговаривать—и уговорятъ, и живи съ такимъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Велико это слово: уговорятъ.

ВАРЯ.

Для насъ съ тобой очень велико. Ахъ, какъ мы глупы!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Правда твоя, правда.

ВАРЯ.

Задумаемъ мы что-нибудь, и кажется хорошо, и сдѣлать-бы такъ надобно; начнутъ насъ уговаривать, уговаривать и уговорятъ. Ахъ, еслибъ я умѣла говорить такъ, какъ Вершинскій! А то сидятъ, и мы сидимъ съ вытянутыми лицами. Вѣдь если со стороны посмотрѣть, скажутъ—дурочки.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Дурочки, Варя.

ВАРЯ.

А знаешь что? Не надо дожидаться, надо сейчасъ сдѣлать, пока не успѣли уговорить.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Что́ сдѣлать?

ВАРЯ.

А что́ задумала.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

А ты развѣ задумала что́?

ВАРЯ.

Нѣтъ еще. А если задумаю что́, то непремѣнно сдѣлаю. Ну, говори, зачѣмъ я тебѣ нужна?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Вотъ видишь-ли, мужъ пріѣхалъ всего пять дней и ужъ начинаетъ скучать, мы боимся, что онъ уѣдетъ скоро.

ВАРЯ.

Ну, такъ что же? Я тутъ причемъ?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Онъ тебя увидитъ, постарайся заинтересовать его, онъ скучать и перестанетъ.

ВАРЯ.

Ха-ха-ха! И это ты просишь—жена?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

А что-же такое! Мнѣ ужъ его любви не возвратить; а ты представь положеніе матери! Черезъ два, черезъ три года онъ пріѣзжаетъ и недѣлю безъ скуки пробыть не можетъ у ней.

ВАРЯ.

Что́ же мнѣ... ка́къ съ нимъ?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ужъ какъ умѣешь.

ВАРЯ—со смѣхомъ.

Со мной еще такихъ оказій не бывало.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Будь такая, какъ ты есть, вотъ и все.

ВАРЯ.

Погоди, дай подумать!

Задумывается, потомъ хохочетъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Чему ты?

ВАРЯ.

Погоди! мысль пришла въ голову, да не скоро она у меня тамъ поворачивается. *(Подумавъ)* Хорошо, такъ! Теперь обдумала. Мой отецъ слушается твоего мужа?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Сколько я замѣтила — во всемъ: Александръ — единственный человѣкъ, который имѣетъ вліяніе на твоего упрямаго старика.

ВАРЯ.

А ты ревновать не будешь?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Нѣтъ, кажется, не буду; во всякомъ случаѣ не зарѣжу—ни тебя, ни его; ну, а тамъ, что я буду чувствовать, кому какое дѣло.

ВАРЯ.

Ну, хорошо, я у тебя останусь сегодня. Я пойду только лошадь отпущу.

Убѣгаетъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—глядя ей вслѣдъ.

Кто же это ее привезъ? Разговариваетъ съ кѣмъ-то. А!.. Вотъ кто! Ну, ужъ никакъ бы не подумала. Объ чемъ это она съ такимъ жаромъ толкуетъ? Влѣзаетъ въ телѣжку... Неужели же она уѣдетъ? Или, можетъ быть, хочетъ передать что-нибудь. Ахъ, сумасшедшая! Она цѣлуетъ его. Ну, разстались. Вотъ новости! Или это такъ, баловство? Ахъ, сумасшедшая! *(Входитъ Варя)* Послушай, что ты дѣлаешь?

ВАРЯ.

Ты видѣла?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Все видѣла. Что это значитъ, скажи мнѣ, сдѣлай милость!

ВАРЯ.

Ничего не значитъ, и ничего не скажу тебѣ. И не спрашивай, и чтобъ ни слова объ этомъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Но послушай, Варюшка...

ВАРЯ—зажимая ей ротъ.

Ни слова, а то сейчасъ убѣгу. *(Прислушиваясь)* Кто-то идетъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—взглянувъ въ сторону.

Идетъ Александръ и съ нимъ Вершинскій.

ВАРЯ.

Не покажусь ни за что, ни за что, я спрячусь.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ну, хорошо, мы послѣ поймаемъ Александра Львовича одного.

Обѣ уходятъ направо; входятъ Ашметьевъ и Вершинскій.

Явленіе VII.

Ашметьевъ и Вершинскій.

ВЕРШИНСКІЙ.

Я къ вамъ съ приглашеніемъ, Александръ Львовичъ. На этой недѣлѣ назначенъ съѣздъ сельскихъ хозяевъ у Кирила Максимыча, такъ мы васъ просимъ пріѣхать.

АШМЕТЬЕВЪ.

Для чего этотъ съѣздъ?

ВЕРШИНСКІЙ.

Для изысканія средствъ, какъ увеличить доходность нашихъ имѣній.

АШМЕТЬЕВЪ—со смѣхомъ.

«Для увеличенія доходности». Ну, такъ повѣрьте мнѣ, что я на этомъ съѣздѣ буду лишній... Кромѣ того, я человѣкъ усталый, разбитый, и пріѣхалъ въ деревню только затѣмъ, чтобъ отдыхать.

ВЕРШИНСКІЙ.

Мы васъ особенно не затруднимъ, мы и разсчитывать не смѣемъ, чтобы вы приняли участіе въ нашихъ работахъ; мы только ждемъ отъ васъ совѣтовъ, указаній. Вы большую часть прожили за границей, видѣли многое, что̀ тамъ лучше, чѣмъ у насъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, я видѣлъ, но только не то, что̀ вамъ нужно. Я человѣкъ дореформенный, я учился за границей только изящно проживать деньги.

ВЕРШИНСКІЙ.

Да, въ такомъ случаѣ, конечно...

АШМЕТЬЕВЪ.

Впрочемъ, не думайте, чтобъ была совершенно пуста моя жизнь, или, лучше сказать, наша жизнь, потому что я не одинъ. Мы начинали жизнь горячо, рыцарями; все, что̀ давалось идеализмомъ и романтизмомъ, переживали страстно.

ВЕРШИНСКІЙ.

Да, то-есть, вы, въ промежуткахъ между романтическими похожденіями и приключеніями, занимались эстетикой и философіей.

АШМЕТЬЕВЪ.

Это отчасти правда: были и увлеченія, и просто глупости, и даже грѣхи.

ВЕРШИНСКІЙ.

Вы объ себѣ довольно откровенно выражаетесь.

АШМЕТЬЕВЪ.

Къ чему же маскироваться, да ужъ и поздно. Но не одна только философія и эстетика занимали насъ; мы сочувствовали и политическому росту народовъ, и если не участвовали въ исторіи Европы послѣднихъ лѣтъ, то переживали ее довольно болѣзненно. И я не скажу, чтобы мы были совсѣмъ лишніе въ своемъ отечествѣ. Прямой же практической пользы, я признаюсь, отъ насъ мало: мы не дѣятели. Мы начинали горячо, а теперь кончаемъ разочарованіемъ, сомнѣніями и раскаяніемъ. Мы начинали Шиллеромъ, а кончаемъ Шопенгауэромъ.

ВЕРШИНСКІЙ.

Очень, очень грустно. Вы пріѣзжайте хоть посмотрѣть на насъ, увидите много оригиналовъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Постараюсь, постараюсь пріѣхать. Вы такъ хлопочете о хозяйствѣ, у васъ значительное имѣніе?

ВЕРШИНСКІЙ.

Очень незначительное; но это нисколько не мѣшаетъ изучать хозяйство; притомъ же, у меня въ виду невѣста съ имѣніемъ, такъ я даже обязанъ быть хорошимъ хозяиномъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Вы женитесь? Любопытно знать, какъ вы, молодые люди, нынче женитесь.

ВЕРШИНСКІЙ.

Точно такъ же, какъ и вы, съ тою только разницей: мы не такъ богаты нѣжными чувствіями. Жизнь коротка, задачи такъ велики; мы люди призванные къ общественной работѣ, или, лучше сказать, перестройкѣ,—намъ некогда млѣть и утопать въ личномъ счастіи.

АШМЕТЬЕВЪ.

Значитъ, вы смотрите на бракъ...

ВЕРШИНСКІЙ.

Какъ на физіологическую потребность. Вообще женщина съ ея нервами, съ ея ахами и охами представляется мнѣ существомъ не очень высокимъ. Конечно, бываютъ изъ нихъ и выродки, но опѣ-то намъ и не нужны. И потому-то я задумалъ жениться на дѣвушкѣ очень обыкновенной, не только безъ всякихъ высшихъ вопросовъ въ головѣ, но даже безъ образованія, чтобы какъ можно менѣе тратить моего времени на женщину.

АШМЕТЬЕВЪ.

Значитъ, вы нисколько не увлечены вашей невѣстой, нисколько ее не любите? Неужели вы такъ ужъ никогда не увлекались, не вздыхали?

ВЕРШИНСКІЙ.

Можете ли вы такъ думать? Я вѣдь не уродъ нравственный: будучи гимназистомъ и я заплатилъ дань идеализму.

АШМЕТЬЕВЪ.

Мы не только гимназистами, а и долго послѣ съ ума сходили.

ВЕРШИНСКІЙ.

Вотъ за это-то мы теперь и платимся, результатомъ вашихъ увлеченій были: запущенность имѣній и разстройство сельскаго хозяйства.

АШМЕТЬЕВЪ.

Значитъ, вы женитесь по разсчету.

ВЕРШИНСКІЙ.

Не совсѣмъ по разсчету, но я вамъ повторяю: класть всю душу въ ухаживаніе за женщиной намъ нельзя, наше призваніе, наше служеніе тоже требуетъ увлеченія. Поправлять историческія ошибки не легко.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, конечно. Пойдемте, я васъ передамъ женѣ; мнѣ нужно отправить письмо на почту.

ВЕРШИНСКІЙ.

Не безпокойтесь обо мнѣ, я погуляю по парку, это полезно передъ обѣдомъ.

Уходятъ. Входятъ Марья Петровна и Варя.

Явленіе VIII.

Марья Петровна, Варя, потомъ Вершинскій.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Подожди здѣсь, я догоню мужа и ворочу его,—мнѣ хочется, чтобы при вашей встрѣчѣ никого не было постороннихъ.

Уходитъ направо.

ВАРЯ.

Какой онъ теперь? чай, постарѣлъ. Онъ меня зналъ дѣвочкой, ласкалъ меня, кормилъ конфетами, цѣловалъ. Какъ онъ теперь будетъ со мной? Это любопытно. *(Взглянувъ налѣво)* Ахъ, вотъ еще! У! птица противная.

Хочетъ идти направо. Входитъ Вершинскій.

ВЕРШИНСКІЙ.

Вы бѣжите отъ меня, прячетесь?

ВАРЯ.

Нѣтъ, я только... я не ожидала васъ встрѣтить. Я такъ одѣта...

ВЕРШИНСКІЙ.

Вздоръ, вы одѣты прекрасно, и очень кокетливо. Скажите пожалуйста, зачѣмъ вы тогда отъ меня убѣжали и куда дѣлись?

ВАРЯ.

Такъ, взяла да убѣжала.

ВЕРШИНСКІЙ.

Но что́ же это значитъ?

ВАРЯ.

Ничего не значитъ... убѣжала и все тутъ. Пришло мнѣ въ голову: дай убѣгу, я и убѣжала.

ВЕРШИНСКІЙ—пожимая плечами.

Дико, дико... Извините за выраженіе... но я другого слова не нахожу.

ВАРЯ.

А дико такъ дико. И охота вамъ съ дикими!.. Бросьте!

ВЕРШИНСКІЙ—беретъ ее за руку.

Вы, кажется, разсердились на меня? Разсердились?

ВАРЯ.

И не думала. На что̀ сердиться? Это правда, я дикая: что̀ въ голову придетъ, то и дѣлаю.

ВЕРШИНСКІЙ.

Ну, если вамъ придетъ фантазія въ воду броситься?

ВАРЯ.

И брошусь, такъ и кинусь—и никто не удержитъ.

ВЕРШИНСКІЙ.

Но вы за это можете дорого поплатиться. Надо же думать о послѣдствіяхъ.

ВАРЯ.

Вотъ еще, думать! Зачѣмъ думать? Поплачу́сь, такъ поплачу́сь. Васъ плакать не заставлю. Туда мнѣ и дорога.

ВЕРШИНСКІЙ.

Вы, кажется, задали себѣ задачу постоянно бѣсить меня...

ВАРЯ—хохочетъ.

Бѣсить!.. ха-ха-ха! Бѣсить! Развѣ вы бѣситесь? пустите меня.

ВЕРШИНСКІЙ—кусая губы.

Ну, извините, я хотѣлъ сказать—сердить.

ВАРЯ.

Вотъ что́ для меня удивительно: какъ это я не надоѣла вамъ до сихъ поръ.—Господи!

ВЕРШИНСКІЙ.

Да, это дѣйствительно удивительно.

ВАРЯ.

А вотъ вы мнѣ... смерть, смерть, какъ надоѣли!

ВЕРШИНСКІЙ.

Это мило! Благодарю за откровенность!

ВАРЯ.

Не сто́итъ благодарности.

ВЕРШИНСКІЙ—береть ея руку.

Я все-таки желаю думать, что это у васъ дѣтство, глупости; что вы станете, наконецъ, благоразумнѣе. Я жду, жду этой минуты и терплю, поймите меня—терплю, слѣдовательно, я неравнодушенъ къ вамъ, я даже страдаю! Но вѣрю, вѣрю, что эта минута придетъ.

ВАРЯ—вырывая руку.

Пустите меня!

ВЕРШИНСКІЙ.

Мы съ вами еще поговоримъ сегодня.

ВАРЯ.

Хорошо, хорошо. Вотъ идетъ Марья Петровна, оставьте меня; мнѣ съ ней поговорить нужно, у насъ секреты.

ВЕРШИНСКІЙ.

Хорошо, я васъ слушаюсь.

Уходитъ налѣво.

ВАРЯ—вслѣдъ ему.

Дальше, дальше уходите, еще дальше!

Бѣжитъ направо; навстрѣчу ей Ашметьевъ и Марья Петровна.

Явленіе IX.

Варя, Ашметьевъ, Марья Петровна.

АШМЕТЬЕВЪ—пораженный.

Что это?.. Кто это?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ты не узналъ ее? Это наша Варя, дочь Кирила Максимыча.

АШМЕТЬЕВЪ.

Вы? Я не нахожу словъ... вы очаровательны... да, именно очаровательны... другого ничего сказать нельзя *(протягивая руки)*. Ну, какъ же васъ?.. Варвара... Варвара Кириловна... вѣдь теперь ужъ нельзя по-старому... Нельзя же обходиться съ вами по старому, не называть васъ по старому.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Нѣтъ, пожалуйста, и обходись съ ней по старому, и называй ее по старому: Варей, Варюшкой.

АШМЕТЬЕВЪ.

Вы позволите?

ВАРЯ—потупясь.

Называйте!

АШМЕТЬЕВЪ—Марьѣ Петровнѣ.

Только съ условіемъ, чтобъ ужъ все по старому, чтобы я былъ по-прежнему милый, хорошій, и чтобы она мнѣ говорила «ты».

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Слышишь, Варя?

ВАРЯ.

Пожалуй.

АШМЕТЬЕВЪ.

Не узнаю, не узнаю.

ВАРЯ.

Я только выросла, а я все такая же...

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, молодое растетъ, а старое старѣется. Но у старости есть право, есть привилегія, и я ими воспользуюсь.

Цѣлуетъ Варю.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Пора обѣдать; я пойду поищу Анну Степановну, она сегодня что-то загулялась *(Идетъ налѣво. Обернувшись и взглянувъ на Ашметьева и Варю, пожимаетъ плечами)*. Ужъ растаялъ.

Уходитъ.

Явленіе X.

Ашметьевъ и Варя.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какъ расцвѣла, какъ пышно расцвѣла ты! Не нагляжусь, не надивлюсь!

ВАРЯ.

Да будетъ!.. Довольно ужъ хвалить меня! Мнѣ стыдно.

АШМЕТЬЕВЪ.

Ты волшебница! Ты способна зажечь, воспламенить даже и старое сердце... И женихи ужъ... Да какъ и не быть... еще бы... такая прелесть!

ВАРЯ.

И про жениха знаете?

АШМЕТЬЕВЪ.

Знаю и видѣлъ.

ВАРЯ.

Нравится онъ вамъ?

АШМЕТЬЕВЪ.

То-есть, какъ нравится, собой, что ли?.. Ничего, довольно представителенъ, молодъ...

ВАРЯ—надувъ губки, какъ-бы про себя.

Очки эти, сюртучокъ коротенькій... Нѣтъ, зачѣмъ онъ такой сюртукъ носитъ, зачѣмъ онъ такой сюртукъ носитъ?

АШМЕТЬЕВЪ.

Не знаю.

ВАРЯ.

Тоненькія ножки. Губы оттопырить... Какой онъ, а? какой онъ?

АШМЕТЬЕВЪ.

Я не понимаю тебя, что́ значитъ: «какой онъ»?

ВАРЯ.

Господи, вотъ какая глупая! Досадно даже на себя... и спросить не умѣю... Нѣтъ, какой онъ человѣкъ?

АШМЕТЬЕВЪ.

Человѣкъ современный, и даже уже слишкомъ современный, энергичный, общественный дѣятель.

ВАРЯ.

Да, не то, все не то... Вотъ вы, напримѣръ...

АШМЕТЬЕВЪ.

«Вы, вы»,—а наше условіе?

ВАРЯ.

Да съ разу какъ-то неловко. Ну, да хорошо,—ты, ты... Я вѣдь помню тебя, какъ мы гуляли, какъ катались въ лодкѣ... Какъ я рада, что ты пріѣхалъ... Ты добрый, милый; а онъ...

АШМЕТЬЕВЪ.

Что-жъ онъ?

ВАРЯ—подумавъ.

Онъ—птица.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какъ она мила, какъ она мила!.. Птица! Это прелестно и очень мѣтко! Птица!

Смѣется.

ВАРЯ.

Вотъ мнѣ съ тобой и легко, и весело, и слушаю я тебя, и вѣрю всему, что ты говоришь; а съ нимъ, вотъ все бы я спорила. И досада мнѣ, что всѣ только молчатъ да слушаютъ его, никто не можетъ съ нимъ спорить, хоть бы иное что и такъ, да я бы сказала: не такъ! Господи! Зачѣмъ я такая дурочка, что не могу спорить! ничего я не знаю: какіе это люди есть, что это на свѣтѣ... Зачѣмъ, что, какъ?

АШМЕТЬЕВЪ.

И дай Богъ, чтобъ ты, какъ можно дольше, ничего этого не знала. Узнаешь свѣтъ, людей, и исчезнетъ твоя рѣзвость, твоя веселость! Твое невѣдѣніе безцѣнно; это такъ рѣдко, такъ ново, имъ налюбоваться нельзя.

ВАРЯ.

Такъ ничего и не знать, ничего не понимать? Да вѣдь это страшно. Жить, какъ ночью.

АШМЕТЬЕВЪ.

Не ночь это, не ночь; это весеннее майское утро, полное свѣжести и блеска.

ВАРЯ.

Да, хорошо, какъ ничего не случается такого... особеннаго, а вотъ теперь я... вотъ и ничего не знаю, и понять не могу... Онъ... что онъ? Добрый, злой, дурной, хорошій? Просто, хоть плачь.

АШМЕТЬЕВЪ.

Спроси у сердца своего, оно тебѣ скажетъ, оно иногда лучше ума.

ВАРЯ.

Ну, скажетъ мнѣ сердце,—да вѣдь должна же я умѣть передать то, что сердце-то говоритъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Кому?

ВАРЯ.

Ну, хоть отцу. Онъ говоритъ, чтобъ я привыкала къ Вершинскому, а я чѣмъ дальше, тѣмъ все больше отъ него отвыкаю. Ну, что я скажу отцу? Что Вершинскій мнѣ не нравится? А онъ спроситъ: «чѣмъ?» «отчего?» Что же мнѣ сказать? Что Вершинскій—птица? Вѣдь я больше ничего не умѣю. Отецъ разсердится, скажетъ, что я глупа, что я вздоръ говорю, ну, и... и кончено, и мнѣ идти за Вершинскаго.

АШМЕТЬЕВЪ.

Нѣтъ, зачѣмъ же, дитя мое, коли онъ тебѣ не нравится. Ты ничего не дѣлай, ни на что не рѣшайся, не спросясь меня. Со мной ты можешь говорить обо всемъ, нисколько не стыдясь, совершенно откровенно. Ну, что такое я для тебя? Старый другъ, старый дядя, я вѣдь тебѣ другой отецъ.

ВАРЯ.

Отецъ! *(Смѣется)* Я такъ тебя и буду звать «папка» — папка! папка! *(Хохочетъ; нѣжно)* Папочка, папка!

АШМЕТЬЕВЪ.

А я: моей дикаркой! Только будь откровенна со мной, все, все, что есть на душѣ, на сердцѣ, все передавай мнѣ. Какое наслажденіе: проникнуть въ такую юную, свѣжую душу! Я буду руководить тебя, оберегать, охранять.

ВАРЯ.

Отъ кого охранять?

АШМЕТЬЕВЪ.

Ото всѣхъ и отъ всего.

ВАРЯ.

А если отецъ обижать будетъ?

АШМЕТЬЕВЪ.

Я—твой адвокатъ и защитникъ и передъ отцомъ.

ВАРЯ.

Папка, золотой! Вотъ тебѣ за это!

Обнимаетъ и цѣлуетъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какой огонь, какой огонь! Вотъ счастье! А ужъ я думалъ, что для меня нѣтъ больше радостей!

ВАРЯ.

Ну, хорошо, папка, я буду съ тобой откровенна, да только вотъ что!.. Я часто и сама не знаю, что со мной бываетъ; дѣлается что-то, а что такое—не понимаю. Такъ—какъ же сказать-то?

АШМЕТЬЕВЪ.

Ничего, ты мнѣ только намекни, одно словечко; а ужъ я пойму, я разберу, я человѣкъ опытный въ этомъ дѣлѣ.

Входитъ Анна Степановна и Марья Петровна.

Явленіе XI.

Ашметьевъ, Варя, Анна Степановна, Марья Петровна.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—подходя къ Ашметьеву.

Успокой маменьку, она разстроена; она думаетъ, что ты у насъ скучаешь и уѣхать собираешься.

АШМЕТЬЕВЪ.

Что за вздоръ такой! *(Подходя къ матери)* Тебѣ показалось, что я скучаю? Нѣтъ, нисколько. Да развѣ я могу скучать подлѣ тебя, моя милая старушка, подлѣ моей Маши? Развѣ мнѣ не рай съ вами? Я прогощу у васъ все лѣто.

АННА СТЕПАНОВНА.

Ну, вотъ, благодарю тебя, другъ мой! Въ самомъ дѣлѣ, погости у насъ! Чего тебѣ недостаетъ? Мы всѣ за тобой будемъ ухаживать, будемъ нѣжить тебя, на рукахъ носить.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Комната въ домѣ Зубарева. Направо дверь; въ глубинѣ растворенная дверь на террассу, по сторонамъ ея два окна; мебель старинная, грубой работы.

Явленіе I.

Входятъ Марья Петровна и Варя.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Скоро-ли этотъ вашъ съѣздъ кончится? Какъ тамъ шумно.

ВАРЯ.

Сейчасъ всѣ разъѣдутся, останутся только наши милые: Боевъ да Мальковъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Что съ тобой сдѣлалось? Три дня мы тебя не видали.

ВАРЯ.

Ахъ, не говори! Варенье это противное... пачкайся съ нимъ. Да и отецъ не пускаетъ! Ходитъ, ворчитъ: «сиди дома»... жди жениха. А женихъ пропалъ, пятый день не является. Только и твердитъ мой батя: «все это ваше фырканье, сударыня»! Ужъ я притихла, молчу.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

А мы какъ скучали по тебѣ.

ВАРЯ.

Кто «мы?»

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Будто не знаешь!

ВАРЯ.

Онъ?.. твой?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Кому же больше!... Только и разговору: «какъ она мила, какъ она мнѣ нравится». Онъ просто влюбленъ въ тебя безъ ума.

ВАРЯ — хватается за голову.

Ахъ!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Что̀ съ тобой?

ВАРЯ.

Не скажу я тебѣ, что́ со мной!

Вздыхаетъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Да о чемъ ты вздыхаешь?

ВАРЯ.

Рѣшится... сегодня рѣшится.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Что́ рѣшится?

ВАРЯ.

Такъ, или такъ... судьба моя рѣшится, Маруся.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Что̀ ты задумала?

ВАРЯ.

Тогда узнаешь.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

«Судьба рѣшится» — вѣдь это страшно, ты такая сумасшедшая.

ВАРЯ.

Ты очень умна! сама виновата, а меня же сумасшедшей называешь.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Варя, я виновата? Да въ чемъ, въ чемъ? Какъ! неужели ты?...

ВАРЯ.

Да что-жъ я—рыба, что-ли! Эхъ! ну, пропадать такъ, пропадать.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ахъ, Варя, Варя! Я не думала, не ожидала.

ВАРЯ.

Да не бойся, ничего страшнаго не будетъ. Погоди, сюда идутъ.

Входятъ Ашметьевъ, Зуваревъ, Вершинскій, Боевъ, Мальковъ.

Явленіе II.

Варя, Марья Петровна, Ашметьевъ, Зуваревъ, Вершинскій, Боевъ, Мальковъ.

ВЕРШИНСКІЙ.

Хороша ваша интеллигенція! Это не съѣздъ, не дебаты цивилизованныхъ людей: это мірская сходка у кабака.

АШМЕТЬЕВЪ — Варѣ тихо.

Строгъ!

ВАРЯ — Малькову тихо.

Поспорьте съ нимъ.

МАЛЬКОВЪ.

Боюсь,—засудитъ.

ЗУВАРЕВЪ.

А какое равнодушіе-то-съ къ общественнымъ дѣламъ, Викторъ Васильичъ—помилуйте! Имъ хоть трава не расти! Да вотъ вамъ, недалеко ходить, вотъ сосѣди наши: Михайло Тарасычъ и Дмитрій Андреичъ! Ни въ какую ихъ службу не запряжешь. Вотъ Михайло Тарасычъ, ученый человѣкъ-съ, математикъ, астрономіей занимается, третье трехлѣтіе въ почетные мировые судьи выбираемъ, отказывается.

БОЕВЪ.

Не могу; противъ принципа. У меня принципъ—не осуждать никого.

ВЕРШИНСКІЙ — пожимая плечами.

Но осуждать пьяницъ и воровъ! Странные принципы!

БОЕВЪ.

А какъ бы вы думали! Да и притомъ я очень жалостливъ. Ну, представьте меня, красну-дѣвку, судьей! Вызывается Глѣбъ Архиповъ.—Вы Глѣбъ Архиповъ?—Мы.—Украли вы топоръ у Егора Аѳанасьева? — Точно, батюшка, ваше высокоблагородіе, Михайло Тарасычъ, я его.... топоръ этотъ взялъ. Какъ передъ Богомъ, такъ и передъ тобой—все одно. Что ужъ, ежели...—И заложили въ кабакѣ?—И заложили.—Какъ же вы это сдѣлали? Вотъ что, батюшка, ваше высокоблагородіе, господинъ прокуронъ! Наканунѣ-то мы праздновали, моленье, значитъ, у насъ; ну, обыкновенно, очнулись на другой день; ну, она, душа-то и горитъ... *(Зубареву)* Скажи на милость, ну, какъ я его осужу! Ты только подумай, каково человѣку, когда у него душа горитъ!

ЗУБАРЕВЪ.

У тебя все шутки, Михайло Тарасычъ; а намъ не до шутокъ. Вотъ тоже Дмитрій Андреичъ, человѣкъ образованный, и химію знаетъ, а въ гласные не хочетъ.

МАЛЬКОВЪ.

Да нé у чего гласнымъ-то быть.

ВЕРШИНСКІЙ.

Какъ, не у чего? Такіе важные вопросы.

МАЛЬКОВЪ.

Вопросы-то важные, да денегъ нѣтъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Вотъ Михайло Тарасычъ и гласный, да что́ отъ него проку, коли онъ на земскія собранія не ѣздитъ.

БОЕВЪ.

Ишь, чего захотѣли! Деньги вамъ плати по окладнымъ листамъ, да еще на собранія ѣзди. Я не гласный, я согласный! Вѣдь я плачу́,—не спорю съ вами, не отказываюсь, кушайте на здоровье! Чего-жъ вамъ еще? Вамъ хочется, чтобъ я самъ пріѣхалъ разсуждать съ вами, подъ какимъ соусомъ ихъ приготовлять: подъ соусомъ ли народнаго образованія, или здравія, или путей сообщенія. Да вотъ кстати—о путяхъ сообщенія! Вы дайте прежде возможность пріѣзжать къ вамъ, да потомъ ужъ и при-

глашайте. Вотъ мы сейчасъ къ вамъ ѣхали, такъ на Берендеевскомъ мосту чуть-было жисти своей не рѣшились...

ЗУБАРЕВЪ.

Да вѣдь и тарантасъ у тебя! На половину его уменьшить, такъ и то пятерыхъ усадишь.

БОЕВЪ.

И ты тоже въ реформаторы лѣзешь, тарантасы преобразовывать задумалъ? Нѣтъ, ужъ останься лучше исполнителемъ при заготовкѣ лѣсныхъ матеріаловъ да съ подрядчиками,—оно теплѣе.

ЗУБАРЕВЪ.

Вонъ онъ какой, вонъ онъ какой зловредный!

БОЕВЪ.

Нѣтъ, ужъ вы или дорóги почините, или сдѣлайте мнѣ на земскій счетъ такой тарантасъ, въ которомъ бы можно было ѣздить по вашимъ дорогамъ. Да вотъ кстати объ лѣсныхъ-то матеріалахъ... *(Ашметьеву)* Я вамъ лѣсъ сосваталъ, завтра мы вамъ деньги привеземъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Благодарю васъ.

БОЕВЪ.

Мнѣ, красной дѣвкѣ, словесной благодарности мало.

АШМЕТЬЕВЪ.

Что-же вамъ?

БОЕВЪ.

Магарычъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какого рода?

БОЕВЪ.

Завтракъ хорошій.

АШМЕТЬЕВЪ.

Съ удовольствіемъ.

МАЛЬКОВЪ.

Что́ бы вамъ, Александръ Львовичъ, ту рощу продать, которая за паркомъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Что́ вы, помилуйте? такой старый лѣсъ.

МАЛЬКОВЪ.

Молодые-то лѣса красивѣй старыхъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Вотъ странно, въ первый разъ слышу. Почему-же это?

МАЛЬКОВЪ.

Во-первыхъ—потому, что все молодое лучше стараго, а во-вторыхъ, въ молодыхъ лѣсахъ большой приростъ, много процентовъ приростомъ даютъ; а старые ужъ не растутъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Особенный взглядъ на природу, новая теорія ландшафта.

МАЛЬКОВЪ.

Ландшафты-то хороши, да убыточны: не по деньгамъ намъ; мы, по глупости, больше со стороны доходности смотримъ... Мекаемъ, да по пальцамъ разсчитываемъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какъ ни смотрите, а прекрасное все-таки останется прекраснымъ; законы изящнаго неизмѣнны.

МАЛЬКОВЪ.

Ну, виноватъ! Впередъ не буду. Нѣтъ, я въ тому, что доходныя-то имѣнія прочнѣй!

БОЕВЪ.

Да, они долго хозяевъ не мѣняютъ.

МАЛЬКОВЪ.

А ландшафтами-то любуются, любуются, анъ глядишь—и суккціонъ.

БОЕВЪ.

А съ акціону-то купитъ купецъ; черезъ полгода, вмѣсто ландшафтовъ, всѣ полусажёнки стоятъ.

ВЕРШИНСКІЙ.

Нѣтъ, господа, не доросли мы, далеко намъ! Гдѣ намъ общественные вопросы, экономическія задачи рѣшать, съѣдемся объ дѣлѣ говорить, а начнемъ объ ландшафтахъ. Вѣдь нельзя-жъ инѣ одному все взваливать на плечи! Шиломъ моря не нагрѣешь. Вѣдь, если мы хотимъ себѣ добра, мы должны всю свою энергію употребить,—намъ придется все вновь, съ самаго начала начинать. Одинъ мой знакомый говоритъ, что въ Россіи, чтобъ завести что-нибудь порядочное, нужно прежде — всѣ урочища, всѣ деревни назвать иначе—хоть по-нѣмецки, а старыя названія строго приказать забыть.

АШМЕТЬЕВЪ.

Довольно радикальная мѣра.

ВЕРШИНСКІЙ.

Оригинально—это правда, но тутъ есть смыслъ. Чтобы сѣять новое, нужно старое вырвать съ корнемъ и сравнять мѣстность. Что такое всѣ эти урочища, всѣ россійскія обыкновенія и обычаи? Стоитъ ли ихъ жалѣть? Они продуктъ нашей милой старины; а русская старина и невѣжество—синонимы. А у насъ апатія, лѣнь, или разсчетъ на наживу, — а зачастую и просто враждебное отношеніе къ дѣлу и всяческіе тормазы. Одинъ шутитъ, другой отдыхаетъ.

АШМЕТЬЕВЪ—Варѣ тихо.

Это на мой счетъ.

ВАРЯ—Малькову серьёзно.

Что лучше: отдыхать, или новое сѣять?

МАЛЬКОВЪ.

Отдыхать.

ВАРЯ.

Почему?

МАЛЬКОВЪ.

Во-первыхъ, покойнѣе, а во-вторыхъ, меньше глупостей надѣлаешь.

БОЕВЪ.

Про меня грѣхъ сказать, чтобъ я никакой пользы не приносилъ земству. Я составляю нейтральную почву; всѣхъ я—и отсталыхъ, и передовыхъ—обнимаю и лобызаю какъ друзей и братьевъ. И отсталые, и передовые, безъ разбору милы моему сердцу; да нынче и разобрать-то нѣтъ никакой возможности, кто отсталый, кто передовой. У меня перевязочный пунктъ; я послѣ ожесточенныхъ битвъ, врачую ихъ раны наливками и настойками... А вотъ у меня аптекарь *(указывая на Малькова)*. Такія спеціи знаетъ.

ВЕРШИНСКІЙ.

Да, дѣйствительно, между вами много общаго.

БОЕВЪ.

Какъ вы проницательны! Не только много общаго, но полное сходство. Онъ дѣло дѣлаетъ съ утра до ночи, а я баклуши бью; онъ наживаетъ, а я проживаю; у него свои деньги въ карманѣ, а у меня чужія; онъ больше молчитъ, а я болтаю безъ умолку; онъ скоро богатъ будетъ, а у меня скоро только одинъ тарантасъ останется.

ЗУБАРЕВЪ.

Ахъ, Михайло Тарасычъ, все-то тебѣ весело, и когда-то ты надъ чѣмъ-нибудь задумаешься?

БОЕВЪ.

Сейчасъ задумывался, душа моя! Денегъ нѣтъ, а нужны до зарѣзу; хорошо, что твои какъ разъ попались, я и взялъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Какія у меня деньги, откуда! Гдѣ ты ихъ нашелъ?

БОЕВЪ.

Не вѣришь? *(Вынимаетъ бумажникъ)* Вотъ смотри: три радужныя! Это мое «хрестьянство православное» платитъ тебѣ за аренду Кривого луга. Понялъ? Ты съ нихъ очень дорого берешь:

ну, вотъ за это я оставляю деньги у себя, на нѣкоторое неопредѣленное время; они мнѣ нужны очень.

Прячетъ бумажникъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Нѣтъ, этого нельзя, Михайло Тарасычъ, этого нельзя. Отдай пожалуйста! Мнѣ самому нужно.

БОЕВЪ.

Поди ты! Господа! Вотъ въ какой формѣ возможно только въ наше время заключеніе займа! Это называется «самопомощь»!

ВЕРШИНСКІЙ—Зубареву.

Кириллъ Максимычъ, на два слова.

ЗУБАРЕВЪ.

Къ вашимъ услугамъ.

Уходятъ.

Явленіе III.

Аннитьевъ, Марья Петровна, Варя, Боевъ, Мальковъ.

ВАРЯ—Малькову.

Что-жъ вы не спорите съ Вершинскимъ? А еще мужчина!

МАЛЬКОВЪ.

Что мнѣ за охота безпокоиться! Себѣ дороже.

БОЕВЪ.

Да пожалуй, и не сговоришь.

МАЛЬКОВЪ.

Да и то не сговоришь: они разговаривать-то учились, особенно о высокихъ предметахъ.

ВАРЯ.

А вы чему учились?

МАЛЬКОВЪ.

А мы учились маленькое дѣло дѣлать.

ВАРЯ.

Что же лучше: разговаривать о высокихъ предметахъ, или маленькое дѣло дѣлать?

МАЛЬКОВЪ.

Разговаривать лучше.

ВАРЯ.

Почему?

МАЛЬКОВЪ.

Благороднѣе.

БОЕВЪ.

Да и чище; отъ купороснаго масла — ногти желтѣютъ. (*Малькову*) А какъ ты думаешь, не покупаться-ли намъ съ тобой?

МАЛЬКОВЪ.

Пойдемъ, пополощимся малымъ дѣломъ.

БОЕВЪ.

Зима хоть два года продолжайся, я и «охъ» не молвлю, а ужъ лѣтомъ, нѣтъ несчастнѣй дѣвушки меня. (*Боевъ и Мальковъ уходятъ*).

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Варя, пойдемъ гулять!

Беретъ мужа за руку.

ВАРЯ.

Мнѣ надо подождать отца. Идите, я послѣ. (*Ашметьевъ и Марья Петровна уходятъ. Варя подбѣгаетъ къ двери и прислушивается*). Идутъ, идутъ! Ну, была не была!

Входятъ Вершинскій и Зубаревъ.

Явленіе IV.

Варя, Вершинскій и Зубаревъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Такъ соскучилась, такъ соскучилась, Викторъ Васильичъ,

не повѣрите! Три дня не изволили быть; мы думаемъ, ужъ не гнѣваетесь-ли за что на насъ.

ВЕРШИНСКІЙ.

Что вы, помилуйте! За что мнѣ гнѣваться, какое право я имѣю?

ЗУБАРЕВЪ—указывая на Варю.

Вотъ-съ, очень желала васъ видѣть.

ВЕРШИНСКІЙ.

Значитъ—къ лучшему, что я не былъ; явилось желаніе видѣть меня. Это всегда такъ бываетъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Вы ее хорошенько, Викторъ Васильичъ, коли она въ чемъ провинилась. А она должна понимать и чувствовать, благодарить должна за вниманіе. (*Варѣ*) А ты ребячество-то въ сторону! Конечно, тебѣ, по необразованію твоему, прощаютъ, а ужъ пора и поумнѣй быть! (*Вершинскому*) А я на лугъ сбѣгаю; косятъ подъ самымъ домомъ.

Уходитъ.

Явленіе V.

Вершинскій и Варя.

ВЕРШИНСКІЙ.

Вы обо мнѣ соскучились?

ВАРЯ.

Не очень.

ВЕРШИНСКІЙ.

Однако, хотѣли меня видѣть?

ВАРЯ.

Да, хотѣла.

ВЕРШИНСКІЙ

Значитъ, вы имѣете что-нибудь сказать мнѣ.

ВАРЯ.

Да.

ВЕРШИНСКІЙ.

Я жду, давно жду, и, признаюсь, мнѣ это ожиданіе порядочно надоѣло; выходитъ что-то глупое въ моемъ положеніи.

ВАРЯ.

Ну, вотъ теперь это положеніе кончится. Я хотѣла сказать, что я не пойду за васъ.

ВЕРШИНСКІЙ—отшатнувшись, измѣнившимся голосомъ.

Какъ вы сказали?

ВАРЯ.

Такъ: «не пойду за васъ».

ВЕРШИНСКІЙ—подумавъ.

Гм! Что же вы медлили, чего вы дожидались, чтобъ сообщить мнѣ такую пріятную новость.

ВАРЯ.

Думала.

ВЕРШИНСКІЙ.

Думала, ого! Интересно бы знать тотъ умственный процессъ, который вы принимаете за думанье.

ВАРЯ—обидясь, сквозь слезы.

Нѣтъ, я думала, много думала.

ВЕРШИНСКІЙ.

Мнѣ кажется, что барышни, въ такихъ случаяхъ жизни, всего меньше думаютъ, а только вѣрятъ въ какую-то судьбу, которая гдѣ-то написана.

ВАРЯ—съ сердцемъ.

А я вотъ думала.

ВЕРШИНСКІЙ.

И что же вы думали? Любопытно.

ВАРЯ.

Я нашла, что я очень проста и глупа... не гожусь вамъ.

ВЕРШИНСКІЙ.

Такое сознаніе дѣлаетъ вамъ честь, но я, въ свою очередь, подумалъ именно объ этомъ еще прежде васъ. И странно было бы мнѣ не подумать! Вамъ въ вашихъ недостаткахъ признаваться не зачѣмъ,—они не тайна для меня. Если я взглянулъ на нихъ, можетъ быть, слишкомъ снисходительно, такъ ужъ это мой проигрышъ.

ВАРЯ.

Я не хочу ни проигрыша, ни выигрыша, я не хочу ни какой игры; я хочу жить... Я не хочу снисхожденія... (*Сквозь слезы*) Мнѣ обидно... Я думаю, что я найду у людей другое что-нибудь, а не снисхожденіе... Слышите! Вотъ я о чемъ думала.

ВЕРШИНСКІЙ.

Не ожидалъ, не ожидалъ... Это дѣлаетъ вамъ честь.

ВАРЯ.

И вотъ что! Я васъ буду просить, пожалуйста, сдѣлайте пожалуйста такъ, что будто вы сами отказались отъ меня. Такъ будетъ лучше и вамъ, и мнѣ. Мало-ли что... я глупа, безъ образованія, деревенщина; я капризная; а вы... вы совсѣмъ другое.

ВЕРШИНСКІЙ.

Мнѣ все равно; да мнѣ кажется, что дѣло еще не получило огласки и не стоитъ заботиться объ этихъ тонкостяхъ.

ВАРЯ.

Нѣтъ, все-таки... а главное, мой отецъ; онъ будетъ сердиться на меня, что я отказалась отъ такой, какъ это говорятъ-то? (*старается припомнить*) да... отъ такой блестящей партіи.

ВЕРШИНСКІЙ.

Блеску тутъ никакого нѣтъ. А если вамъ угодно, извольте. Я собирался въ Петербургъ, я только ускорю мой отъѣздъ и пробуду тамъ мѣсяца два, а потомъ вернусь сюда просто вашимъ знакомымъ, искренно желающимъ вамъ всего лучшаго.

ВАРЯ.

Отлично.

ВЕРШИНСКІЙ.

Помилуйте, что тутъ...

ВАРЯ—подаетъ ему руку.

Благодарю! Ей-Богу, благодарю отъ души... Вы не подумайте (*Уходитъ*).

ВЕРШИНСКІЙ.

Каково, а! Не ожидалъ, вотъ ужъ не ожидалъ. Она—думала! У ней является что-то похожее на мысль и на чувство собственнаго достоинства... она приходитъ къ заключеніямъ, къ выводамъ. Хм! эта дикая деревенская дѣвочка... непонятно! Нѣтъ, быть не можетъ, тутъ постороннее вліяніе, непремѣнно. Ужъ не онъ ли? Не этотъ ли старый поэтъ, этотъ кающійся идеалистъ и отдыхающій грѣшникъ... Онъ, какъ видно, намѣревается отдыхать съ комфортомъ и каяться не вдругъ; а все-таки я взбѣшенъ... Главное, совершенно неожиданно. И съ внѣшней стороны она мила очень и огня много. Фу ты, подлость какая!.. Мнѣ отказъ, и отъ кого же! Я уѣду лучше. (*Уходитъ въ дверь. Варя входитъ съ террассы*).

ВАРЯ.

Ушелъ... (*Отворяетъ дверь въ другую комнату*) И тамъ нѣтъ... Да вонъ онъ уѣхалъ... Отлично! Какой умникъ! (*Входитъ съ террассы Ашметьевъ*).

Явленіе V.

Варя, Ашметьевъ.

ВАРЯ.

Папка, откуда ты?

АШМЕТЬЕВЪ.

Всѣ на лугу, я къ тебѣ, моя милая дикарка! Имъ тамъ весело; а мнѣ скучно безъ тебя; да по дорогѣ встрѣтился съ твоимъ отцомъ, онъ просилъ меня вразумить тебя на счетъ жениха.

ВАРЯ.

Поздно, ужъ все кончено.

АШМЕТЬЕВЪ—съ взволнованнымъ голосомъ.

Что же?

ВАРЯ.

Я иду за него. Что ты такъ смотришь? Ты испугался?

АШМЕТЬЕВЪ.

Нѣтъ, только... не понятно мнѣ.

ВАРЯ.

Тебѣ жаль меня, папка?

АШМЕТЬЕВЪ.

Мнѣ трудно повѣрить, это что-то не такъ, тутъ есть что-то невѣроятное.

ВАРЯ.

Такъ ты меня любишь?

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, признаюсь, мнѣ было бы жаль такъ скоро разстаться съ тобой!

ВАРЯ.

Золотой, золотой мой папка!

АШМЕТЬЕВЪ.

Да что же, что же?—говори!

ВАРЯ.

Поздравь меня, я теперь ничья, я своя; что хочу, то съ собой и дѣлаю; а то мнѣ все представлялось, что я чужая, точно связанная, точно камень на шеѣ былъ. Я ему прямо: «я такая дурочка, я, молъ, не гожа для вашей милости».

АШМЕТЬЕВЪ.

Какъ это мило: «не гожа для вашей милости». Дѣйствительно не гожа; да и онъ для тебя не гожъ.

ВАРЯ.

Ты доволенъ, папка?

АШМЕТЬЕВЪ.

Я доволенъ за тебя; онъ не живой человѣкъ, у него никакого чутья, онъ неспособенъ оцѣнить такое сокровище, какъ ты, моя дикарка.

ВАРЯ.

Какъ это не хорошо, тяжело быть чужой, вотъ я теперь, какъ птичка,—кажется, выше облака залетѣла бы.

АШМЕТЬЕВЪ.

Ну, это высоко очень: садись-ка ты, птичка, со мной, щебечи мнѣ о своихъ золотыхъ снахъ, о своихъ мечтахъ и грезахъ дѣвичьихъ.

ВАРЯ—садясь.

Я сновъ почти не вижу, я коли усну, такъ сплю крѣпко и просыпаюсь веселая; а иногда безсонница, сердце бьется; я одѣнусь, да въ садъ уйду... Что со мной случилось!.. Я никогда не плачу, всегда весела; а ночью въ саду вдругъ, одинъ разъ, какъ зарыдаю... съ чего—сама не знаю...

АШМЕТЬЕВЪ.

Это внутренній огонёкъ, онъ теплится, теплится тихо, да вдругъ и вспыхнетъ и вскипятитъ всю кровь и брызнутъ слезы. Только ты этихъ слезъ не бойся; это не слезы даже, а гроза весенняя, жемчужныя брызги, золотой дождь.

ВАРЯ—прилегая къ плечу.

Папка, а вѣдь хороша жизнь? Много въ ней радости и веселья?

АШМЕТЬЕВЪ.

Для тебя хороша; всѣ радости, всѣ наслажденія, только умѣй пользоваться, брать то, что нужно. А для меня ужъ все сладкое кончено, остается горькое, остается расплата съ старыми долгами.

ВАРЯ.

Ну, что это! Зачѣмъ такія слова говоришь! Ты со мной, вѣдь ты со мной, папка. Посмотри, какъ все хорошо: солнце свѣ-

титъ... садъ... лугъ. Вонъ посмотри—сѣно косятъ, парни съ дѣвками играютъ... вонъ одинъ погнался за дѣвушкой... догоняетъ, ай, ай! схватилъ (*смѣется*), какъ цѣлуетъ! Ну, развѣ не хорошо это, папка, а? хорошо вѣдь?

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, хорошо... Какой воздухъ изъ саду, какъ легко дышется, я давно не чувствовалъ такой отрады... и съ тобой, милая дикарка.

ВАРЯ.

Ты, вѣдь, папка, только притворяешься; а ты совсѣмъ не старикъ: ты хитрый! «Я старичокъ, старичокъ», да и подыгрался; а самъ еще молодъ.. Ну, что-жъ... мнѣ такъ лучше.

АШМЕТЬЕВЪ.

То-есть, съ молодымъ лучше?

ВАРЯ.

Не съ молодымъ, а вотъ съ такимъ, какъ ты, съ тобой мнѣ лучше.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, вотъ теперь, въ эту минуту, я не старикъ, я молодъ, мнѣ даже страшно, что я молодъ.

ВАРЯ.

Да нѣтъ, зачѣмъ, отчего страшно? Нѣтъ, отлично! Я рада, я очень рада!

АШМЕТЬЕВЪ—съ волненіемъ.

«Очень рада, очень рада». Да понимаешь ли ты, что́ говоришь? Я могу забыться... Для меня на свѣтѣ теперь нѣтъ ничего, только ты одна... одна ты.

На террассѣ показывается Марья Петровна.

ВАРЯ.

Ахъ, какъ хорошо это, какъ хорошо! Вотъ оно, я никогда еще... Ахъ, какъ хорошо!

АШМЕТЬЕВЪ—страстно обнимая Варю и осыпая поцѣлуями.

Варя, дикарка, бѣсенокъ! (*Освобождаясь*) Уйди, уйди скорѣй отъ меня!

ВАРЯ.

Нѣтъ, я не пойду отъ тебя; чего мнѣ бояться, мнѣ такъ хорошо съ тобой; отлично! *(Испуганно)* Папка, что ты? Какъ ты поблѣднѣлъ! Что это?

АШМЕТЬЕВЪ.

У меня закружилась голова; я пойду, я пройдусь по саду.

ВАРЯ.

Ахъ, а я сама-то вся горю, и сердце... ахъ, какъ бьется! Я сейчасъ велю подать тебѣ воды.

АШМЕТЬЕВЪ.

Нѣтъ, я самъ пойду спрошу. Иди туда, къ гостямъ... я догоню...

ВАРЯ—уходя.

Приходи скорѣй, папка!

АШМЕТЬЕВЪ.

Что это? Или внезапный приливъ сильнаго чувства, или года сказываются! И какъ я изнемогъ, я едва стою на ногахъ.

Уходитъ въ дверь направо. Входитъ съ террасы Марья Петровна.

Явленіе VI.

Марья Петровна, потомъ Мавра Денисовна.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА — садится у стола и опускаетъ голову на руку.

Что̀ это, какъ женщина-то нехороша! Ну, что̀ мнѣ въ немъ? А внутри закипѣло, не успокоюсь никакъ. Ломаешь, ломаешь себя; думаешь, какъ бы умнѣе жить, да покойнѣе; а все не выломаешь... Сколько дряни въ душѣ у человѣка, отъ природы-то! А все отъ того, что ничего не дѣлаешь, такъ живешь, точно въ шутку, негдѣ душѣ выправиться-то... Все лжешь, вотъ и душа-то фальшитъ. Ну, какая я любовница, а ревную; ну, какая я жена, а женой числюсь, ну, какая я барыня, а живу въ палатахъ *(Входитъ Мавра Денисовна)*. Мавра Денисовна, поди-ка, сядь со мной.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Что̀ матушка, угодно?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Присядь, присядь! Мнѣ хочется поговорить съ тобой; больно люблю я вашъ разговоръ.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Какой нашъ разговоръ, самый дурацкій.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Вотъ такого-то мнѣ и нужно; умнаго-то ужъ я много наслушалась.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Какого-жъ вамъ, матушка, отъ меня разговору нужно?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Знаешь ты, что́ такое ревность?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Что̀ вы, матушка! Богъ съ вами! Да пропадай она про̀падомъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Да не пропадаетъ, Мавра Денисовна, не пропадаетъ. Вотъ я съ мужемъ и врозь живу, а все-таки ревную.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Хоть и врозь, а все-таки въ законѣ... Да ужли что-нибудь... Кажись, баринъ степенный.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Конечно, не серьёзно; а вотъ увидѣла, что онъ вашу Варю очень ласкаетъ, ну, и защемило сердце.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Ахъ, вертушка, ахъ, вертушка! Зародится-жъ этакая озорница!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Вертушка-то еще молода очень, ей простительно, а тому, кто въ законѣ-то живетъ,—пятьдесятъ лѣтъ.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Съ мужчины взыску нѣтъ, они несудимые, ужъ это ты извини. Мужчина, онъ все одно какъ конь на волѣ: кто его обуз-

дать можетъ? А почему они такъ воюютъ? потому что слабо живемъ. Кабы наша сестра себя наблюдала, такъ имъ бы повадки-то и не было. А распустишь себя, такъ ужъ нечего... онъ конь.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Да неужели ты никогда не ревновала?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Да когда ревновать-то было? Я и замужемъ-то жила безъ году—недѣлю.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ну, а еслибъ случилось?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Убила-бъ до смерти, такъ бы и разсказнила на части.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

А коли сила не возьметъ?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Такъ меня убей! Коли бы ужъ очень я любила мужа-то.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

А коли не очень?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Такъ плюнула бы. А то неужто-жъ мнѣ, ни въ чемъ-то неповинной, да за чужіе грѣхи, за чужія глупости, себя мучить, какъ же!—была оказія! Плюнула бы, да и все тутъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Вотъ спасибо; только мнѣ отъ тебя и нужно было.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Ну, ужъ матушка, не взыщите, говоримъ не по ученому, а что въ голову придетъ, то и болтаемъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Я поѣду домой. Скажи мужу, что я уѣхала.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Хорошо, матушка. (*Уходитъ. Входитъ Варя*).

Явленіе VII.

Марья Петровна и Варя.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Прощай, Варя, я поѣду домой!

ВАРЯ.

Что съ тобой? Тебѣ не здоровится?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Нѣтъ, такъ,—немножко будто озябла: это пройдетъ.

ВАРЯ.

Останься, Маруся; мы сейчасъ ѣдемъ въ рощу чай пить,—всѣ ѣдемъ; мнѣ такъ весело, такъ весело.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ты давеча не то говорила,—давно ли тебѣ весело стало?

ВАРЯ.

Недавно. Теперь ужъ все кончено,—я отказала Вершинскому.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Вотъ какъ?

ВАРЯ.

Моя судьба рѣшилась,—теперь я ничья...

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ну, и моя скоро рѣшится. Прощай!

ВАРЯ.

Я провожу тебя. (*Уходятъ. Входитъ Ашметьевъ*).

Явленіе VIII.

Ашметьевъ, потомъ Варя.

АШМЕТЬЕВЪ.

Счастливая, неожиданно счастливая встрѣча! Опять счастье манитъ меня... Неужели бѣжать отъ него, или разыграть мора-

листа? Нѣтъ, ужъ это будетъ очень пошло. Да она и не послушаетъ моей морали, — она оскорбится, расплачется и бросится къ другому. Много на моей душѣ такихъ... погрѣшностей, такъ ужъ одна-то куда ни шла; глупо отступать... всегда глупо, а особенно теперь, когда мнѣ предстоитъ, вѣроятно, послѣдняя и ужъ, навѣрное, самая пріятная шалость въ моей жизни. (*Вбѣгаетъ Варя*).

ВАРЯ.

Маруся уѣхала, а тебя не пущу, — до ночи не пущу, до утра не пущу. Мы сейчасъ всѣ ѣдемъ въ рощу—чай пить. Ѣдемъ, папка!

АШМЕТЬЕВЪ.

Ѣдемъ, ѣдемъ! (*Беретъ ее за руку*).

ВАРЯ.

Вотъ какъ сжалъ! ой, какая у тебя сила-то! А говоришь — старикъ. Эхъ, папка! обманщикъ! Я нынче такъ весела, такъ весела, такъ весела, — я не знала прежде, а теперь знаю, что̀ такое радость.

АШМЕТЬЕВЪ.

А что-жъ такое радость?

ВАРЯ.

Ты хочешь, чтобъ я сказала? — изволь, скажу. Когда одна, такъ нѣтъ радости; а когда двое, какъ мы съ тобой, вотъ такъ (*обвивая руками шею Ашметьева и прилегая къ нему на грудь*) — вотъ и радость. Та́къ вѣдь, папка?

АШМЕТЬЕВЪ—изнемогая отъ чувствъ.

Такъ, такъ, Варя, такъ.

ВАРЯ.

Папка, давай поживемъ сегодня! Чтобъ не думать ни о чемъ, чтобъ никакой мысли! Какъ-будто на всемъ свѣтѣ только ты да я (*теребитъ Ашметьева*). Да, ну, папка! Такъ, такъ, папка?

АШМЕТЬЕВЪ.

Такъ, такъ.

ВАРЯ.

Ѣдемъ! (*Уходятъ*).

ТРЕТЬЕ ДѢЙСТВІЕ.

Запущенный старый садъ въ усадьбѣ Зубарева. Площадка, на ней кругомъ нѣсколько старыхъ скамеекъ, въ глубинѣ—аллея. Ночь, полная луна.

Явленіе I.

Мавра Денисовна, потомъ Варя.

МАВРА ДЕНИСОВНА—громко.

Варвара Кирилловна, Варя, Варенька, Варвара Кирилловна!

ВАРЯ—входя.

Ну, что̀ тебѣ? Что̀ ты?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Гдѣ ты пропадаешь? Гостей одних̀ оставила.

ВАРЯ.

Да я сейчасъ съ ними была; мы только-что вернулись изъ лѣсу, съ прогулки.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Знаю, что пріѣхала,—да нéчто гостей бросаютъ? Какая-жъ ты хозяйка послѣ этого!

ВАРЯ.

Я мечтаю.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Какая-такая еще мечта у тебя? Мечта-то грѣхъ, отъ мечты-то люди открещиваются; а ты, стыда на тебя нѣтъ, ночью въ садъ уходишь—мечты свои разводить. Папенька-то вонъ сердится.

ВАРЯ.

За что́ еще?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Такъ ужъ и нé за что? Во всемъ ты правая. Отчего Марья-то Петровна уѣхала?

ВАРЯ.

Несовсѣмъ здорова.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Да, какъ же! Дуришь, дуришь, да ужъ и повѣсничать начала. На-ка! Вѣшается на шею женатому! У!! Повѣса, право, повѣса!

ВАРЯ—строго.

Что ты сказала?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Да чего тутъ «сказала?!» Хорошаго-то немного. Аль, по-твоему хорошо?

ВАРЯ.

Нѣтъ, что ты сказала?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

«Что сказала, что сказала»? Сама напроказитъ, да къ людямъ придирается.

ВАРЯ.

Нѣтъ, что ты сказала?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Повѣса, говорю,—вотъ что сказала.

ВАРЯ.

Что это за слово: «повѣса»?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Какую женщину безподобную ты огорчаешь! Ты подумала бы прежде.

ВАРЯ.

Нѣтъ, что за слово: «повѣса»?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Что ты противъ нея? Ничего, вотъ что.

ВАРЯ.

Нѣтъ, ты говори, что за слово: «повѣса»?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Слово, какъ слово. Что́ пристала?

ВАРЯ.

Бранное это слово.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Такъ неужто-жъ хорошее: обыкновенно, бранное.

ВАРЯ.

Какъ же ты смѣешь браниться?..

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Не за дѣло, что-ли? По головкѣ тебя, что-ли, гладить?

ВАРЯ.

Нѣтъ, какъ ты смѣешь браниться?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Съ тобой и говорить-то свяжешься, такъ жизни не радъ будешь.

ВАРЯ.

Нѣтъ, какъ ты смѣешь браниться?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Кому-жъ и бранить-то тебя, какъ не мнѣ,— я тебя вынянчила, выростила...

ВАРЯ.

Что ты меня манной кашей кормила, да пальцемъ мнѣ ротъ утирала,—такъ и думаешь, что выростила.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

А то кто же?

ВАРЯ.

Ты воображаешь, что отъ твоей каши такая выросла?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

А что-жъ, каша! Ты не брезгай! И каша—Божій даръ!

ВАРЯ.

Меня природа выростила.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Да какая-такая твоя природа, чтобъ тебѣ повѣсничать? Что ты — цыганка полевая, что-ли? Не отъ цыганъ родилась, а отъ благородныхъ родителевъ: папенька твой и маменька-покойница были дворяне, какъ слѣдуетъ.

ВАРЯ.

Погоди, погоди, еще заплачешь обо мнѣ.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Да ужъ не разъ плакала и объ тебѣ, и отъ тебя,—не рѣдкость мнѣ.

ВАРЯ.

Еще не такъ заплачешь.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Что объ тебѣ плакать-то?—въ солдаты тебя не возьмутъ.

ВАРЯ.

Заплачешь, заплачешь.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

А хоть и замужъ отдадутъ, такъ авось не за тридевять земель, а здѣсь гдѣ-нибудь, по сосѣдству.

ВАРЯ.

Ухъ! Улечу далеко, далеко!

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Ну, еще когда-то улетишь; а теперь ступай, папенька ищетъ, сердится.

ВАРЯ.

За-границу, въ Парижъ, съ Александръ-Львовичемъ.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Съ женатымъ-то? Ахъ, озорница, ахъ, озорница! Что это

батюшки, ни силы, ни власти нѣтъ надъ тобой. Да вотъ самъ къ тебѣ идетъ. Что ужъ мнѣ тутъ! Я и руки врозь! Ну, тебя!

Уходитъ. Входитъ Зубаревъ съ письмомъ въ рукѣ.

Явленіе II.

Варя, Зубаревъ.

ЗУБАРЕВЪ—потрясая письмомъ.

Вотъ оно-съ, вотъ оно-съ, дождались, дофыркались! Вотъ, сударыня, и радуйтесь.

ВАРЯ.

Да что такое?

ЗУБАРЕВЪ.

Письмо отъ Виктора Васильича, письмо! Вотъ какъ громомъ, какъ громомъ! Пишетъ: уѣзжаю въ Петербургъ на два мѣсяца, а можетъ быть и болѣе, и желаю всего лучшаго Варварѣ Кириловнѣ. Вотъ-съ, получайте! Довольны вы?

ВАРЯ.

Я его не гнала.

ЗУБАРЕВЪ.

«Не гнала»! А я вамъ скажу, я вамъ все объясню, сударыня: все это ваше фырканье.

ВАРЯ.

Да что́ такое фырканье? Я не знаю, я не фыркаю.

ЗУБАРЕВЪ.

Носъ кверху да ехидство,—вотъ и фырканье! Отчего онъ три дня не былъ у насъ, а сегодня повернулся да и слѣдъ простылъ, почти не простясь уѣхалъ? Скажите мнѣ, что́ это значитъ?

ВАРЯ.

Почемъ же я знаю.

ЗУБАРЕВЪ.

Ехидничать изволите. Ужъ я васъ вызналъ хорошо: какъ вы этакой невинностью, такимъ херувимчикомъ,—ужъ это значитъ,

въ головѣ у васъ непремѣнно какое-нибудь ехидство. Ужъ и тутъ было... было,—такъ, безъ причины, онъ бы не уѣхалъ.

ВАРЯ.

Я не знаю, я всегда одна и та же. Не могу же я чего-то показывать изъ себя, чего у меня нѣтъ.

ЗУБАРЕВЪ.

«Не могу, не могу»! Что это такое: «не могу»? Позвольте васъ спросить? Отчего-жъ вашъ отецъ все можетъ, все несетъ, все глотаетъ! Кланяется, гнется, ломается на всѣ лады и манеры! Ну, да, конечно, вамъ какъ возможно... Вы принцесса... ассирійская! Вотъ и дофыркались!

ВАРЯ.

Что-жъ! Такъ, значитъ, тому и быть.

ЗУБАРЕВЪ.

«Такъ и быть» — а! «Такъ и быть»! Какъ разговариваетъ! Все, все погибло, а она: «такъ и быть»! Какъ чашечку чайку не очень сладко выкушать изволила: а другую, дескать, послаще можно.

ВАРЯ.

Что-жъ, еслибъ и вышла за него, да безъ любви, такъ какая это жизнь.

ЗУБАРЕВЪ.

Любовь, любовь! Какая тамъ еще любовь! Вышла замужъ, вотъ тебѣ и любовь. Откуда тебѣ любовь знать?

ВАРЯ.

Кто-жъ ее не знаетъ? Да я и въ книгахъ читала.

ЗУБАРЕВЪ.

Да вѣдь книжки-то для увеселенія пишутся; почиталъ да и бросилъ. Не по книгамъ живутъ, а по наставленіямъ родительскимъ. А отъ васъ велико утѣшеніе! Вотъ и плачь отецъ-то!

ВАРЯ.

Зачѣмъ же плакать?

ЗУБАРЕВЪ.

Съ вами не то, что заплачешь, а заревешь, бѣлугой заревешь, сударыня. Нѣтъ, ужъ теперь, какъ найду жениха, такъ и выдамъ безъ разговору; а не то, такъ крашенинный сарафанчикъ да на скотный дворъ—за коровами ходить не угодно-ли, принцесса... ассирійская?... Поди, похлопочи объ ужинѣ; гости въ карты играютъ, сейчасъ кончатъ. (*Варя уходитъ*). Дофыркались! Что ушло-то, что рухнуло-то! А тутъ еще крестьянишки чужіе въ мой лугъ закосились, и сѣно увезли; теперь ищи съ нихъ! Тамъ потрава—овесъ потравили; Боевъ деньги взялъ,—просто отнялъ: когда съ него ихъ выцарапаешь! Бѣда за бѣдой...

Входитъ Боевъ.

Явленіе III.

Зубаревъ и Боевъ.

БОЕВЪ.

Ты вотъ гдѣ! Что́ ты тутъ философствуешь? Пойдемъ въ карты играть! Александръ Львовичъ сыгралъ пульку, да больше не хочетъ; меня, красну-дѣвку, обыграли. Пойдемъ; ужъ такъ и быть, проиграю и тебѣ, жилѣ, рублей пятнадцать въ рамсикъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Да не пятнадцать, ты, сдѣлай милость, мнѣ триста отдай сегодня, крайне нужны.

БОЕВЪ.

Отстань! Какіе триста! Я ужъ и забылъ. А ты неужто все помнишь еще?

ЗУБАРЕВЪ.

Помилуй, помилуй, при свидѣтеляхъ такъ взялъ.

БОЕВЪ.

То-есть, безъ росписки! Такъ ты боишься забыть, что-ли? Ты запиши у себя гдѣ-нибудь для памяти. А ты вотъ что, ты мнѣ еще рублей пятьсотъ приготовь, я къ тебѣ завтра заѣду.

ЗУБАРЕВЪ.

Да что за шутки! У тебя все глупости на умѣ! Я такъ разстроенъ, а ты тутъ съ деньгами... Отдай, убѣдительно тебя

прошу... Сѣно украли, овесъ потравили... съ дочерью все ссорюсь...

БОЕВЪ.

А ты, чтобъ не ссориться съ дочерью, отдай ее замужъ поскорѣй!

ЗУБАРЕВЪ.

За кого, за кого? Было да сплыло.

БОЕВЪ.

Чѣмъ далеко ходить, отдавай за Малькова.

ЗУБАРЕВЪ.

Не за тебя ли ужъ лучше! Экъ вывезъ!

БОЕВЪ.

Какъ знаешь.

ЗУБАРЕВЪ.

Да разсуди, разсуди милостиво, Михайло Тарасычъ! У ней отъ матери есть приданое, такъ надо такого, такого человѣка, чтобъ и отцу была польза, чтобъ онъ значилъ что-нибудь въ губерніи. Отъ васъ съ Мальковымъ какой прокъ! На неутральной-то почвѣ не много высидишь.

БОЕВЪ.

Ужъ это твои расчеты; а только ты не зѣвай, а то плохо дѣло! Я нынѣче на нее въ рощѣ-то посматривалъ; глазки горятъ, щеки пылаютъ, въ голосѣ воркованье какое-то... Ну, шабашъ, примѣты извѣстныя.

ЗУБАРЕВЪ.

Влюблена? А? Влюблена?

БОЕВЪ.

Безъ ума, безъ памяти.

ЗУБАРЕВЪ.

Ну, такъ и есть. Вотъ оно... вотъ оно... Вотъ отчего фырканье! Такъ и есть, такъ и есть. А въ кого, въ кого? Отецъ родной, говори!

БОЕВЪ.

Соберись съ умомъ и разсуждай такимъ образомъ: насъ, кавалеровъ, передъ ней трое: Ашметьевъ, я, красна-дѣвка, и Мальковъ. Ашметьевъ ей въ дѣдушки годится; я тоже на горячую любовь со стороны дѣвственныхъ сердецъ шансовъ не много имѣю; остается третій. Теперь призовемъ на помощь логику! Если она влюблена въ кого-нибудь изъ трехъ,—но ни въ перваго, ни во второго, значитъ...

ЗУБАРЕВЪ.

Въ третьяго.

БОЕВЪ.

Вѣрно. Рѣшили, слава Богу; теперь пойдемъ въ рамсикъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Я голову потерялъ, я несчастнѣйшій человѣкъ! Все на меня вдругъ, все вдругъ: сѣно украли, овесъ потравили... Ступай! Я сейчасъ. Вонъ Александръ Львовичъ. Я съ нимъ только два словечка, я сейчасъ. (*Боевъ уходитъ, входитъ Ашметьевъ*).

Явленіе IV.

Зубаревъ и Ашметьевъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Александръ Львовичъ, письмо-съ, письмо-съ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какое письмо?

ЗУБАРЕВЪ.

Въ Петербургъ уѣзжаетъ-съ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да кто?

ЗУБАРЕВЪ.

Викторъ Васильичъ-съ. Помилуйте, такой администраторъ! Дофыркались!

АШМЕТЬЕВЪ.

Такъ вотъ что!

ЗУБАРЕВЪ.

Помилуйте, помилуйте, какой человѣкъ-то! Сила, умъ, быстрота, сообразительность... А она что? Въ лѣсу родилась, съ пнями выросла..

АШМЕТЬЕВЪ.

Ну, что-жъ! Не одинъ Вершинскій на свѣтѣ!

ЗУБАРЕВЪ.

А тутъ сѣно подъ носомъ воруютъ, потрава...

АШМЕТЬЕВЪ.

Какая потрава?

ЗУБАРЕВЪ.

Разоренье-съ, разоренье сущее: такъ полдесятины ярового лоскомъ и положили... куриць взять нечего...

АШМЕТЬЕВЪ.

Сочувствую вамъ, весьма сочувствую.

ЗУБАРЕВЪ.

Истинно жалокъ, истинно жалокъ-съ: что въ рукахъ-то было, какія мечты были! И все ушло... А тутъ еще... Скажите на милость: вѣдь Михайло Тарасычъ денегъ не отдаетъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какихъ денегъ?

ЗУБАРЕВЪ.

Мои триста рублей; въ вашемъ присутствіи... за лугъ-то мнѣ слѣдовало. Поговорите, Александръ Львовичъ: можетъ, онъ васъ посовѣстится; мнѣ крайне нужны-съ. Не повѣрите, Александръ Львовичъ, голова кругомъ. Тутъ хозяйство, убытки, нужда, тамъ — эти огорченія. Побѣжишь туда, сунешься сюда, какъ оглашенный... Ну, собака гончая, и та, помилуйте... А вѣдь ужъ лѣта мои...

АШМЕТЬЕВЪ.

Да вы объ чемъ же, собственно?

ЗУБАРЕВЪ—разводя руками.

Влюблена!

АШМЕТЬЕВЪ.

Теперь ужъ ничего не пойму. Кто, въ кого?

ЗУБАРЕВЪ.

Мнѣ сначала-то и не въ-домекъ, а потомъ ужъ и самъ вижу. Будьте отцомъ-благодѣтелемъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да въ кого, кто?

ЗУБАРЕВЪ.

Дочь моя, дочь-съ. Помилуйте, посторонніе стали замѣчать... Да въ кого!... въ Малькова-съ!... А Боевъ ужъ сватать готовъ. Слезно васъ прошу, какъ отецъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да я-то тутъ что же могу?

ЗУБАРЕВЪ.

Внушите! Она васъ слушаетъ, она васъ уважаетъ... внушите ей, чтобъ она оставила эти глупости; почтеніе, послушаніе къ отцу втолкуйте ей... въ пустую-то голову!

АШМЕТЬЕВЪ.

Хорошо, постараюсь.

ЗУБАРЕВЪ.

Сейчасъ ее пришлю къ вамъ... Ужъ вы извините, что безпокою васъ такими глупостями... Плохой я отецъ, несчастный отецъ, самъ вижу.

Уходитъ.

Явленіе V.

Ашметьевъ—одинъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Нѣтъ, это вздоръ! Не можетъ быть... Она меня обманывать не станетъ. А какъ меня кольнуло... Неужели опять серьёзное увлеченіе? Опять муки ревности? Да... кажется, что такъ... У

меня соперникъ, здѣсь... Нѣтъ, это невозможно... А если?.. Я не отдамъ ее... я убью... застрѣлю его...

Входитъ Варя.

Явленіе VI.

Ашметьевъ и Варя.

ВАРЯ.

Папка, ты здѣсь?

АШМЕТЬЕВЪ.

Здѣсь.

ВАРЯ.

Ты гуляешь?

АШМЕТЬЕВЪ.

Тебя жду, Варя.

ВАРЯ.

Ахъ, милый папка! Я сама такъ и рвалась къ тебѣ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Я просилъ тебя, Варя, быть откровенной со мной, говорить мнѣ все, что ты думаешь и чувствуешь.

ВАРЯ.

Я и такъ говорю.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да все ли?

ВАРЯ.

Все, папка, все.

АШМЕТЬЕВЪ.

Ты отъ меня ничего не скрываешь?

ВАРЯ.

Я не знаю... нѣтъ, я ничего не скрываю.

АШМЕТЬЕВЪ.

Тебѣ, кромѣ меня, никто изъ мужчинъ не нравился, то-есть, особеннаго расположенія ты ни къ кому не имѣла, и не имѣешь?

ВАРЯ—потупясь.

Я не знаю... нѣтъ... кто же? Я ничего не чувствую.

АШМЕТЬЕВЪ.

Ну, Мальковъ, напримѣръ?

ВАРЯ.

Ахъ, папка, ты ревнуешь. Какъ я рада! Какъ весело!

АШМЕТЬЕВЪ.

Отчего же тебѣ весело?

ВАРЯ.

Да какъ же, папка! Кто-жъ меня здѣсь за человѣка считаетъ! Ну, и сама я думала, что я просто дѣвочка, которую одни по добротѣ ласкаютъ, гладятъ по головкѣ, какъ ребенка; а другіе бранятъ да уму разуму учатъ, какъ отецъ да Вершинскій. А теперь меня ревнуютъ, какъ настоящую женщину, да еще кто ревнуетъ-то—папка! Ну, какъ же не весело.

АШМЕТЬЕВЪ.

Это нисколько не весело, по крайней мѣрѣ—мнѣ. Но ты не отвѣчаешь на мой вопросъ. Мальковъ тебѣ нравится?

ВАРЯ.

Ничего, что-жъ, онъ человѣкъ хорошій.

АШМЕТЬЕВЪ.

Хорошій?

ВАРЯ.

Очень хорошій.

АШМЕТЬЕВЪ.

А еслибъ онъ за тебя посватался?

ВАРЯ.

Ну, что-жъ за бѣда.

АШМЕТЬЕВЪ.

И ты бы пошла за него?

ВАРЯ.

Не знаю. Какъ ты скажешь, папка?

АШМЕТЬЕВЪ.

И ты меня послушаешь?

ВАРЯ.

Послушаю.

АШМЕТЬЕВЪ.

Такъ я тебѣ скажу, что вообще тебѣ еще рано выходить замужъ; а если ужъ выходить, такъ никакъ ни за него, никакъ не за него.

ВАРЯ.

Отчего же?

АШМЕТЬЕВЪ.

Онъ не только любить тебя, онъ даже оцѣнить тебя не можетъ.

ВАРЯ.

Да отчего же?

АШМЕТЬЕВЪ—горячо.

Онъ грубый матеріалистъ, человѣкъ безчувственный.

ВАРЯ.

Нѣтъ, онъ добрый человѣкъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Вотъ ты споришь! Ты не знаешь жизни, не знаешь людей и споришь съ человѣкомъ опытнымъ *(Ходитъ въ волненіи взадъ и впередъ)*. Значитъ, ты, дѣйствительно, къ нему неравнодушна?

ВАРЯ.

Да онъ, папка, добрый.

АШМЕТЬЕВЪ—подходя къ ней.

Другъ мой, дитя мое, они притворяются, они нарочно притворяются добрыми, особенно передъ простымъ народомъ, чтобъ объ нихъ хорошо говорили, а въ душѣ у нихъ, о! одинъ разсчетъ, одинъ разсчетъ.

ВАРЯ.

Нѣтъ, онъ не притворяется, онъ хорошій человѣкъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Они грязные люди, и физически, и нравственно.

ВАРЯ.

Ай, папка, что ты говоришь.

АШМЕТЬЕВЪ.

Онъ ужасный человѣкъ, онъ развратитъ твою душу, онъ погубитъ въ ней все благородное, все возвышенное, все святое.

ВАРЯ.

Напрасно, папка, напрасно, онъ отличный человѣкъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Такъ ты его любишь. Такъ бы ты и говорила, я бы не сталъ и толковать. Зачѣмъ говорить правду про любимаго человѣка, зачѣмъ огорчать тебя! Я бы тебѣ лгалъ, я бы хвалилъ его.

ВАРЯ.

Ахъ, папка, да я тебѣ вѣрю, во всемъ вѣрю; мнѣ хотѣлось тебя помучить. Я вижу, что ты ревнуешь, вотъ я нарочно и говорю напротивъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Въ такомъ случаѣ извини, что я усомнился въ твоей искренности. Ты мнѣ такъ дорога, я такъ берегу, жалѣю тебя, что одна мысль разстаться съ тобой—навела на меня ужасъ. Я, можетъ быть, нѣсколько даже преувеличилъ недостатки Малькова, можетъ быть, онъ, дѣйствительно, не совсѣмъ дурной человѣкъ; но онъ не для тебя, не для тебя, прелестное дитя!

ВАРЯ.

Я тебя послушаюсь; если онъ посватается, я прямо, на отрѣзъ скажу, что не пойду за него.

АШМЕТЬЕВЪ.

Оставайся, какъ можно дольше такой дикаркой! Женъ, матерей, экономокъ много; а ты, милая дикарка, ты рѣдкость, ты дивное созданіе, счастливая случайность въ будничной жизни. Но надобно имѣть очень чуткую душу и тонкіе нервы, чтобъ умѣть понять тебя и наслаждаться тобой.

ВАРЯ—обнимая Ашметьева.

Ахъ, папка, милый папка.

АШМЕТЬЕВЪ.

Мнѣ страшно представить, что ты окунешься въ прозу жизни, въ это болото, которое опошляетъ и грязнитъ... Хороша бабочка, когда она порхаетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ, а возьми ее въ руки, изомни,—куда дѣнется ея красота. Варя, дикарка! Ты такъ мила, такъ очаровательна своей прелестью. Мнѣ страшно подумать, что съ тебя облетятъ и золотыя блестки, и жемчужная пыль.

ВАРЯ.

Я при первой встрѣчѣ скажу ему, чтобъ онъ не смѣлъ и думать. Да, погоди, онъ въ саду; поди въ аллею, я сейчасъ съ нимъ поговорю. Ты будешь доволенъ мной, золотой мой папка.

Ашметьевъ уходитъ въ аллею. Выходитъ Мальковъ.

Явленіе VII.

Варя и Мальковъ.

МАЛЬКОВЪ.

Варвара Кириловна, поди-ка сюда на минутку.

ВАРЯ.

Что вамъ угодно?

МАЛЬКОВЪ.

Учтивости пошли? Ну, ладно, будемъ по-учтивому разговаривать. Вершинскій въ Петербургъ уѣзжаетъ?

ВАРЯ.

Да, уѣзжаетъ.

МАЛЬКОВЪ.

Не солоно хлѣбалъ... Это не вредно.

ВАРЯ.

Я сказала ему, что онъ мнѣ не нравится.

МАЛЬКОВЪ.

Чему тутъ нравиться! Мамай какой-то! безпардонный совсѣмъ: сѣчетъ и рубитъ и въ полонъ беретъ. Ну, какъ же теперь?

ВАРЯ.

Что «какъ же»? Я не понимаю васъ.

МАЛЬКОВЪ.

Вотъ тебѣ разъ! Понимать перестала! Къ Кирилу-то Максимычу идти мнѣ?

ВАРЯ.

Зачѣмъ?

МАЛЬКОВЪ.

Миндальничать изволите. «Зачѣмъ идти»! Дочку просить въ замужство, чтобъ законнымъ бракомъ... Поняли теперь?

ВАРЯ.

Прежде, я думаю, нужно меня спросить.

МАЛЬКОВЪ.

Да вѣдь ужъ тебя-то я спрашивалъ, ты съ полнымъ удовольствіемъ.

ВАРЯ.

Прежде я глупа была...

МАЛЬКОВЪ.

А теперь поумнѣла? Скажите пожалуйста! Не замѣтно что-то!

ВАРЯ.

Я прежде не знала, что вы — грубый матеріалистъ.

МАЛЬКОВЪ.

Что за вздоръ такой! Да ты знаешь ли, что такое матеріалистъ?

ВАРЯ.

Конечно, знаю.

МАЛЬКОВЪ.

Ну, что же это: звѣрь, птица, рыба?

ВАРЯ.

Совсѣмъ нѣтъ. Матеріалистъ значитъ,—который все грубости говоритъ.

МАЛЬКОВЪ.

Вотъ такъ! Часъ отъ часу не легче!

ВАРЯ.

Вы не только любить, вы не можете даже понять меня.

МАЛЬКОВЪ.

Ну, будетъ же, ужъ довольно дурачиться.

ВАРЯ.

Какъ вы смѣете?

МАЛЬКОВЪ.

Что, что я «смѣю»?

ВАРЯ.

Такъ говорить со мной.

МАЛЬКОВЪ.

Да какъ же разговаривать-то съ тобой, по-латыни, что ли?

ВАРЯ.

Я не дѣвка деревенская, это не учтиво.

МАЛЬКОВЪ.

Да, вотъ что!

ВАРЯ.

Вѣдь, все-таки я барышня.

МАЛЬКОВЪ.

А коли ты хочешь барышней быть, такъ веди себя, какъ барышнямъ подобаетъ. Сиди, сложа ручки, читай умныя книжки, parlez français, tenez vous droit! Тогда ужъ, я не только такъ, я и никакъ съ тобой разговаривать не буду.

ВАРЯ.

Да и не нужны мнѣ ваши разговоры, не нуждаюсь я въ нихъ. Я мила своей простотой, я очаровательна,—съ меня и довольно. Кто меня любитъ, тотъ долженъ желать, чтобъ я всегда оставалась такой.

МАЛЬКОВЪ.

Сохрани Господи!

ВАРЯ.

Вы человѣкъ грязный и нравственно, и физически.

МАЛЬКОВЪ.

Что такое, что такое?

ВАРЯ.

Вы можете развратить мою душу, убить въ ней все высокое, все святое.

МАЛЬКОВЪ.

А! Вотъ оно откуда это! (*Хватаясь за голову*) Ахъ, Боже мой! И принесло-жъ его!

ВАРЯ.

Кого—«его»?

МАЛЬКОВЪ.

Пріѣхалъ, встрѣтилъ необразованную деревенскую дурочку и обрадовался, распустилъ губы-то. Эка прелесть, говоритъ, эка поэзія!

ВАРЯ—съ сердцемъ.

Какъ вы смѣете!

МАЛЬКОВЪ.

Оставайся, говоритъ, милой дурочкой, утѣшай меня, прыгай ловой! Это такъ мило, такъ граціозно! У нея и такъ нѣтъ ума, а онъ еще дурачиться заставляетъ.

ВАРЯ.

Я васъ слушать не хочу, я уйду сейчасъ.

МАЛЬКОВЪ.

Да сдѣлайте милость. Ужъ, разумѣется, отъ меня ты такихъ конфетностей не дождешься. Я не скажу тебѣ: оставайся всегда шальной дѣвчонкой; я скажу: тебѣ умной бабой быть пора, дѣтей нянчить и учить ихъ уму-разуму.

ВАРЯ.

Это проза жизни!

МАЛЬКОВЪ.

Ну, вотъ изволите видѣть! «Проза жизни». И смѣхъ и горе съ ней! Ахъ, бѣдная! Какъ скверно безъ ума-то на свѣтѣ жить! Вотъ и набѣжитъ на этакаго самоучителя.

ВАРЯ.

У меня есть умъ *(топая ногой)*—есть, есть!

МАЛЬКОВЪ.

Должно быть, немного, коли позволяешь себѣ быть игрушкой стараго развратника.

ВАРЯ.

Какъ вы смѣете! Онъ въ милліонъ разъ лучше васъ; онъ лучше меня понимаетъ, больше любитъ.

МАЛЬКОВЪ.

Очень вѣрю. Для старика ты, конечно, находка; здоровая пища ему не по зубамъ, ему нужно пикану, перцу побольше; а это въ тебѣ есть.

ВАРЯ.

Ну, довольно. Желала-бъ я знать, откуда это вы такую власть взяли надо мной!

МАЛЬКОВЪ.

Откуда? Ты забыла? Ты сама, своей волей, уступила мнѣ власть надъ собой. И я радъ былъ, за тебя радъ былъ, этой моей власти.

ВАРЯ.

Когда же это? Я не знаю; этого не было... это вздоръ...

МАЛЬКОВЪ.

Ты забыла свои поцѣлуи? У меня еще и теперь горитъ лицо отъ нихъ. Да не одинъ разъ... помнишь, когда я тебя завезъ къ Ашметьевымъ. Если это было, такъ я имѣю власть говорить тебѣ все, что́ считаю нужнымъ и полезнымъ для тебя.

ВАРЯ.

А если...

МАЛЬКОВЪ.

Что «если»?

ВАРЯ.

Если это была шутка?

МАЛЬКОВЪ.

Такъ пустая ты дѣвчонка, объ которой и жалѣть не стòитъ! Поди, утѣшай своего старичка, ему, бѣдному, скучно безъ тебя.

Уходитъ.

ВАРЯ.

Ахъ, противный! Такъ бы и убила его! Папка, папка!

Входитъ Ашметьевъ.

Явленіе VIII.

Варя и Ашметьевъ.

ВАРЯ—бѣжитъ ему навстрѣчу.

Папка, папка, ты правду говорилъ, онъ грубый человѣкъ, онъ меня обидѣлъ. Теперь я знать никого не хочу, кромѣ тебя, ты у меня одинъ, папка. Ты мой, папка!

Кидается ему на шею.

АШМЕТЬЕВЪ.

Приди въ себя, дитя мое, успокойся.

ВАРЯ.

Нѣтъ, папка, нѣтъ! Я задушу тебя, зацѣлую.

АШМЕТЬЕВЪ—освобождаясь.

Зачѣмъ такіе порывы! Во всемъ должна быть мѣра.

ВАРЯ.

Я не хочу знать никакой мѣры, никакихъ границъ; я хочу забыть всѣхъ и все для тебя...

АШМЕТЬЕВЪ.

Варя, я не юноша; на твои порывы я не могу отвѣчать тебѣ такими же порывами. Твоя страсть палитъ меня, но не зажигаетъ. Пора восторговъ прошла для меня безвозвратно.

ВАРЯ.

Папка, не говори такъ, я запла́чу.

АШМЕТЬЕВЪ.

Для меня возможны только кроткія, художественныя наслажденія. Для меня неисчерпаемое блаженство — любоваться тобой.

ВАРЯ.

Папка, ты только любуешься мной, ты меня не любишь? я не картина, чтобы мною любоваться! Я живой человѣкъ! Я хочу любви горячей, настоящей. Ты мой, скажи мнѣ, ты мой! Такъ вѣдь, милый, золотой мой папка!

АШМЕТЬЕВЪ.

О, еслибъ десять лѣтъ назадъ, я бы умеръ отъ такого счастья.

ВАРЯ.

А теперь, папка?

АШМЕТЬЕВЪ.

Теперь безумныя страсти затихли, и разумъ вступаетъ въ свои права... И вотъ что́ всего обиднѣй, оскорбительнѣй: весь пылъ страсти истраченъ даромъ, въ напрасныхъ поискахъ того счастья, которое теперь само просится ко мнѣ.

ВАРЯ.

Папка, что́ ты говоришь! Я бросаюсь къ тебѣ, я жду твоей ласки... Неужели у тебя нѣтъ никакой ласки для меня?

АШМЕТЬЕВЪ.

Ласки, Варя, ласки! Но, бѣдное дитя мое, мои ласки слишкомъ холодны для тебя. О, развѣ я могъ ожидать отъ тебя такой бѣшеной страсти! Нѣтъ, Варя, наша встрѣча не простая случайность, тутъ иронія, тутъ есть что-то очень, очень злое! Это на-

сѣшка судьбы надо мной. И эту пытку мы называемъ жизнью, и дорожимъ ею, бережемъ ее!

ВАРЯ.

Какая пытка, какая ирониа? Все такъ хорошо, радостно. Папка, ты сердишься на что-то! Да чего тебѣ, вѣдь я съ тобой? чего тебѣ?

АШМЕТЬЕВЪ.

Успокойся, Варя! Я желаю только, чтобъ ты успокоилась... и простимся до завтра. Завтра мы встрѣтимся, радостные, веселые... Буря утихнетъ въ твоемъ сердечкѣ, и ты покойно, кротко будешь мнѣ ворковать про любовь свою. Прощай!

ВАРЯ.

Нѣтъ, я не пущу тебя; я не могу остаться одна; я съ тобой куда хочешь, хоть на край свѣта, но только съ тобой... Уѣдемъ! Убѣжимъ!

АШМЕТЬЕВЪ.

Варя, Варя, ты меня пугаешь; я боюсь всего чрезмѣрнаго. Ты заставишь меня бѣжать отъ тебя.

ВАРЯ.

Ну, бѣги, бѣги! А я сейчасъ же, или кинусь въ омутъ, или брошусь на шею первому встрѣчному.

АШМЕТЬЕВЪ.

Опомнись, опомнись, Варя, образумься! Что ты говоришь! Какъ можно! тебѣ нужно успокоиться, непремѣнно нужно. Пойдемъ, я тебя провожу до дому...

ВАРЯ.

Я не знаю дому, я его забыла... Я брошу домъ, отца...

АШМЕТЬЕВЪ.

Успокойся, успокойся, дитя мое! Ну, вотъ идутъ сюда... нехорошо, нехорошо. Ахъ, Варя, Варя! Ну, прощай, прощай, мое дитя! Ты завтра будешь умнѣе... До свиданья.

Идетъ въ аллею.

ВАРЯ.

Папка, воротись! Воротись, говорю я! *(Ашметьевъ уходитъ)* Папка! Папка! Ну! Пожалѣешь ты меня, да будетъ поздно.

ЧЕТВЕРТОЕ ДѢЙСТВІЕ.

Комната въ домѣ Ашметьевыхъ; три двери: дверь направо — въ кабинетъ Ашметьева, налѣво — въ комнаты Марьи Петровны, прямо растворенная дверь—въ залу.

Явленіе I.

Сысой въ дверяхъ; Ашметьевъ входитъ изъ кабинета.

АШМЕТЬЕВЪ.

Встала Марья Петровна?

СЫСОЙ.

Онѣ уѣхали-съ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Такъ рано.

СЫСОЙ.

Къ обѣднѣ поѣхали-съ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Значитъ, скоро пріѣдетъ.

СЫСОЙ.

Да, должно быть, сейчасъ-съ, послѣдній звонъ былъ; завсегда часамъ къ 11-ти пріѣзжаютъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Такъ скажи мнѣ, когда пріѣдетъ.

Направляется къ двери кабинета.

СЫСОЙ.

Слушаю-съ.

Уходитъ. Входитъ Зубаревъ.

Явленіе II.

Ашметьевъ, Зубаревъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Александръ Львовичъ, ваше здоровье-съ?

АШМЕТЬЕВЪ.

Благодарю васъ, ничего.

ЗУБАРЕВЪ.

Ужъ извините, я раннимъ гостемъ къ вамъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Я очень радъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Въ городъ на базаръ ѣздилъ, къ сестрѣ заѣзжалъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какъ вы сегодня рано поднялись.

ЗУБАРЕВЪ.

Рано-съ... Да схватился свою птицу-то... а ея и дома нѣтъ, и ночь не ночевала... укатила, значитъ, съ вечера. У сестры ея нѣтъ...

АШМЕТЬЕВЪ.

Вы это про Варю?

ЗУБАРЕВЪ.

Да, про нее-съ... Простите, Александръ Львовичъ! Я думаю, ужъ она и вамъ надоѣла-съ. Чуть не каждый день у васъ...

АШМЕТЬЕВЪ.

Да ея у насъ нѣтъ. Я вчера отъ васъ поѣхалъ, такъ она дома была.

ЗУБАРЕВЪ—испуганно.

Какъ-съ? Боже мой! Что-жъ это такое? Гдѣ-жъ она?

АШМЕТЬЕВЪ.

Я не знаю.

ЗУБАРЕВЪ.

Александръ Львовичъ, Александръ Львовичъ, не бывало этого, не бывало, не пропадала она у меня со всѣмъ-то: все-либо у тётки, либо у васъ въ домѣ найдется... Что думать, что думать? Заступница!.. А голова горячая, горячая голова... Придетъ какая

мысль... А я, признаться, поточилъ ее это время, погонялъ за фырканье.

АШМЕТЬЕВЪ.

Вы ее видѣли послѣ моего отъѣзда?

ЗУБАРЕВЪ.

Не видалъ-съ, до того ли!.. День-то деньской смотаешься, съ заботами, да съ убытками... Народъ, сами знаете, окаянный! Угодники великіе!

АШМЕТЬЕВЪ.

Да погодите ныть-то!

ЗУБАРЕВЪ.

Только бы нашлась, только бы найти-то ее, живую да здоровую!..

АШМЕТЬЕВЪ.

А то что бы вы сдѣлали?

ЗУБАРЕВЪ.

Молебенъ отслужу-съ; а ее запру, запру на замокъ, съ глазъ не спущу.

АШМЕТЬЕВЪ.

Не было бы хуже.

ЗУБАРЕВЪ.

Какъ же, помилуйте, Александръ Львовичъ, вѣдь единственная-съ, одна на свѣтѣ у меня, — все тутъ! А какія времена-то, что на свѣтѣ-то дѣлается! Газеты возьмешь: тамъ человѣкъ повѣсился, тамъ застрѣлился, а то ужъ стали подъ дорогу, подъ желѣзную, бросаться живьемъ; голова на одну сторону, а ноги на другую отскочатъ. Какая смертность-то! У меня въ домѣ, положимъ, ничего этого смертоноснаго нѣтъ, одна пищаль старая, да и та не стрѣляетъ, да вотъ развѣ мышьякъ держу для крысъ... А вода-то, а рѣка-то-съ! теперь все придетъ въ голову... Коли ужъ человѣкъ захочетъ что... Ахъ, угодники великіе!

АШМЕТЬЕВЪ.

Да что вы, какъ баба!.. Найдется вѣроятно... да непремѣнно найдется.

ЗУБАРЕВЪ.

Ахъ, Боже мой! Вѣдь единственная, все тутъ... а смертность, смертность... ужасно! *(Оборачиваетъ противъ себя палецъ)* Ню! — и нѣтъ человѣка, вотъ какъ стало!

АШМЕТЬЕВЪ—ходитъ по комнатѣ.

Все вы глупости говорите! Ничего такого нѣтъ... конечно... ну, конечно... конечно... и быть не можетъ.

ЗУБАРЕВЪ—хватая за руку Ашметьева.

Александръ Львовичъ, Бога ради! Можетъ быть, вы что-нибудь такое знаете за ней, — можетъ, вамъ что̀ извѣстно? Вѣдь сердце отца... знаете: молю васъ, скажите! Хоть что-нибудь скажите?

АШМЕТЬЕВЪ.

Я... я ничего не знаю. Одно могу сказать, что, конечно, найдется.

Входитъ Анна Степановна.

Явленіе III.

Ашметьевъ, Зубаревъ, Анна Степановна.

ЗУБАРЕВЪ.

Анна Степановна, мое почтеніе-съ, здравствуйте!

Цѣлуетъ ей руку.

АННА СТЕПАНОВНА.

Здравствуй, Кириллъ Максимычъ! Что̀ это ты, батюшка, какой взъерошенный! Рожь-то жать начали?

ЗУБАРЕВЪ.

А ну ее, рожь! Не до жнива мнѣ теперь! Смертность, Анна Степановна, смертность убійственная! Возьмешь газеты: тамъ человѣкъ повѣсился, тамъ застрѣлился!

АННА СТЕПАНОВНА.

Что̀ это ты, батюшка! Я про рожь, а онъ про какую-то смертность! Откуда ты ее взялъ? — У насъ, кажется, все, слава Богу, тихо, благополучно; такъ намъ-то что̀ за дѣло!

ЗУБАРЕВЪ.

Нѣтъ-съ, Анна Степановна, разлилась, распространилась повсемѣстно эта зараза—теперь-съ! *(Оборачиваетъ палецъ противъ себя)* Пю!—и нѣтъ человѣка.

АННА СТЕПАНОВНА.

Что ты, что ты! Александръ, да что̀ это онъ, что̀ ему чудится?

АШМЕТЬЕВЪ.

Разныя глупости придумываетъ Кирилъ Максимычъ, и меня-то разстроилъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Ахъ, Александръ Львовичъ, ахъ, Александръ Львовичъ! Единственная, все тутъ... и вдругъ!

АННА СТЕПАНОВНА.

Да что́ это? Богъ съ нимъ! Ужъ въ своемъ ли онъ разумѣ?

ЗУБАРЕВЪ.

Неизвѣстны вамъ мои приключенія, Анна Степановна, вотъ вы такъ и говорите.

АННА СТЕПАНОВНА.

Просто у тебя умъ за разумъ зашелъ; а все это, скажу я тебѣ, отъ твоихъ денегъ: много очень ты о нихъ думаешь.

ЗУБАРЕВЪ.

Да будь они прокляты! Въ огонь все брошу, коли только... если она у меня...

АННА СТЕПАНОВНА.

Ну, пойдемъ отсюда! Видишь, Александръ что-то разстроенъ, не будемъ надоѣдать ему. Пойдемъ, я тебя чайкомъ угощу! Поболтаемъ.

Встаетъ и идетъ къ двери.

ЗУБАРЕВЪ.

Благодарю покорно, Анна Степановна! Да-съ, какія времена! Пю!—и нѣтъ человѣка.

Анна Степановна и Зубаревъ уходятъ.

Явленіе IV.

АШМЕТЬЕВЪ — одинъ.

Гдѣ она можетъ быть? Куда она дѣлась? Вчера она грозила мнѣ, что или кинется въ омутъ, или бросится на шею первому встрѣчному. Судя по ея характеру и по всѣмъ обстоятельствамъ, скорѣе можно предполагать послѣднее; потому что топиться собственно не изъ чего. Значитъ, бросилась на шею... но кому, — вотъ вопросъ! Во всякомъ случаѣ она для меня потеряна. Бѣда съ этими бурными характерами! Неудобство большое... И съ чего это она такъ вдругъ?.. Нѣтъ, такія отношенія не по мнѣ... безпокойно, очень безпокойно... Изъ чего тревожиться. То-ли дѣло моя жена! Кроткая, покойная, любящая натура, это тихая пристань, у которой я отдыхаю и успокоиваюсь послѣ бурь житейскихъ. И странное дѣло, послѣ каждой невѣрности, послѣ каждаго увлеченія, я все болѣе и болѣе люблю жену. Когда начнешь ее сравнивать съ тѣми женщинами, которыми я увлекался, всегда находишь, что она много лучше ихъ. Вотъ и теперь: я почти влюбленъ въ мою Машу. Да, еще нѣсколько недѣль я могу провести здѣсь съ пріятностію: я снова начну ухаживать за женой. Немножко воображенія—и мнѣ будетъ легко представить ее совсѣмъ другой женщиной; я такъ давно не видалъ ее, такъ давно не любезничалъ съ ней, что она для меня будетъ имѣть почти прелесть новизны... Эта перспектива мнѣ улыбается... Никакихъ тревогъ и волненій, *(улыбаясь)* неуспѣха бояться нельзя. Чего бы лучше! Что можетъ быть удобнѣе и спокойнѣе!

А онъ, мятежный, ищетъ бури,
Какъ будто въ буряхъ есть покой!

Входятъ: Марья Петровна (одѣта просто, покрыта большимъ платкомъ) и Мавра Денисовна.

Явленіе V.

Ашметьевъ; Марья Петровна останавливается недалеко отъ дверей; Мавра Денисовна что-то шепчетъ ей на ухо, разводя руками.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—Маврѣ Денисовнѣ.

Ну, хорошо, подожди меня въ моей спальнѣ. Я сейчасъ.

Спускаетъ платокъ съ головы на плечи.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Слушаю, матушка.

Уходитъ въ дверь налѣво.

АШМЕТЬЕВЪ—цѣлуя жену.

Здравствуй, Магіе. Слышала ты новость, весьма непріятную? Варя пропала.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Не пропадетъ, найдется.

АШМЕТЬЕВЪ.

Однако ее искали вездѣ...

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Не иголка, не затеряется. Не безпокойся, пожалуйста.

АШМЕТЬЕВЪ.

Если ты покойна, такъ и мнѣ безпокоиться нѣчего. Ты уѣзжала?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Да, я у обѣдни была.

АШМЕТЬЕВЪ.

Что такъ часто?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Есть о чемъ помолиться, Александръ Львовичъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Ты вчера что-то нехороша была, тебѣ о здоровьѣ надо молиться. Ты въ такомъ возрастѣ, когда наступаетъ полное цвѣтеніе пышной, роскошной женской красоты.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ничего, я здорова теперь. Мнѣ нужно поговорить съ тобой.

АШМЕТЬЕВЪ.

Сдѣлай милость! Я давно ужъ не чувствовалъ такой нѣжности къ тебѣ, какую чувствую сегодня... Ты мнѣ доставишь своимъ разговоромъ большое удовольствіе.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Тѣмъ лучше; я очень рада. Я буду говорить коротко; прошу тебя не перебивать меня и выслушать до конца. Садись!

АШМЕТЬЕВЪ—садясь.

Прекрасно. Говори, я слушаю.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Не знаю, замѣчаешь ли ты, что мое положеніе въ вашемъ домѣ для меня, не скажу—невыносимо, а все же очень тяжело. Анна Степановна хоть и любитъ меня, но никакъ не можетъ помириться съ моимъ, какъ она говоритъ, мѣщанскимъ происхожденіемъ. На людей и на жизнь мы съ ней смотримъ совершенно различно; изъ уваженія къ ея старости, я не спорю съ ней, и потому должна молчать. А я ужъ не пансіонерка, мнѣ хочется и говорить, и дѣлать то, что я думаю, что мнѣ нравится. Еще скажу тебѣ: я здѣсь барыня, но не хозяйка; я не могу распорядиться ничѣмъ; я, какъ несовершеннолѣтняя дочь, или какъ приживалка, должна довольствоваться тѣмъ, что мнѣ предложатъ, и благодарить за все, что мнѣ ни дадутъ.

АШМЕТЬЕВЪ—вставая.

Marie, Маша!..

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Садись. *(Ашметьевъ садится)* Я умѣю жить и хозяйничать сама, и у меня есть свои средства;—такъ самъ разсуди, что мнѣ за радость жить въ неволѣ, на чужихъ хлѣбахъ, и смотрѣть каждый кусокъ изъ чужихъ рукъ. Все это я переносила такъ долго изъ любви къ тебѣ...

АШМЕТЬЕВЪ.

Благодарю тебя, благодарю.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Теперь, если хочешь, я скажу тебѣ, что сталось съ моей любовью. Я постараюсь не сказать ничего обиднаго для тебя; а если скажется и обидное, такъ потерпи: я терпѣла же. Я тебя любила очень; вскорѣ послѣ свадьбы, ты охладѣлъ ко мнѣ и, нисколько не стѣсняясь, сталъ ухаживать чуть не за каждой красивой женщиной; я ревновала, плакала, рвалась; и когда ты, послѣ заграничныхъ странствій, или въ антрактахъ между своими

интрижками, возвращался ко мнѣ, я принимала тебя со слезами радости!

АШМЕТЬЕВЪ.

Правда, правда...

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Потомъ мнѣ стало все это скучно; а теперь, когда ты увлекся, какъ мальчишка, моей Варей, мнѣ ужъ стало просто противно. Все это я говорю тебѣ для того, чтобъ ты зналъ причину, почему я оставляю вашъ домъ. Я завожу свое хозяйство и переѣзжаю на свою ферму.

АШМЕТЬЕВЪ.

Но, Marie, послушай...

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Нѣтъ, ты не трудись ни возражать мнѣ, ни совѣтывать; мое рѣшеніе твердо. Впрочемъ, ты не безпокойся, я переѣду на ферму только послѣ твоего отъѣзда.

АШМЕТЬЕВЪ.

Извини меня, извини! Я ошибался въ тебѣ, я причислялъ тебя совсѣмъ къ другому типу женщинъ; ты много лучше, чѣмъ я думалъ о тебѣ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Благодарю. Ну, а теперь ты меня къ какому типу причислишь? Я ужъ не вялая, молчаливая, полусонная, скучная барыня. *(Накидывая платокъ на голову)* Вотъ передъ тобой молодая, довольно богатая фермерша, живая, веселая. Посмотри, какъ я бойко заговорю на своей фермѣ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Типъ довольно привлекательный. А что, если я вздумаю поволочиться за молодой богатой фермершей.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ты вѣдь шутишь; ну, и я тебѣ отвѣчу въ шутку. Еслибъ я была изъ такихъ женщинъ, которыя позволяютъ за собой волочиться, я бы тебѣ сказала, что для мужа ты еще, пожалуй, ничего, такъ себѣ, а въ любовники къ молодой фермершѣ не годишься,—ей нужно помоложе и помолодцоватѣе.

АШМЕТЬЕВЪ.

Правда, Магіе, правда.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ты, вѣроятно, скоро уѣдешь?

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, теперь ужъ мнѣ не зачѣмъ оставаться. Я жду денегъ; а теперь мнѣ нужно подумать и измѣнить кое-какія распоряженія.

Уходитъ въ кабинетъ.

Явленіе VI.

Марья Петровна, потомъ Мавра Денисовна.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—у двери въ спальню.

Мавра Денисовна, поди сюда. *(Входитъ Мавра Денисовна)* Разсказывай порядкомъ, что у васъ за исторія?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Срамота головушкѣ! Вчера у насъ гости чуть не до свѣту въ карты играли. Вотъ, проводивши ихъ, иду я на верхъ тихонько, безъ свѣчки, чтобъ не разбудить ее; а Дуняша мнѣ на встрѣчу. «Пожалуйте, говоритъ, барышня, я васъ раздѣну поскорѣй, спать смерть хочется». Какая, говорю, я тебѣ барышня. А она: «такъ гдѣ-жъ, говоритъ, Варвара-то Кириловна?» Я сейчасъ въ садъ; бѣгала, бѣгала, нѣтъ ее; я къ рѣкѣ—тамъ пусто, я въ рощу, и тамъ ничего. Побѣгаю, побѣгаю, да домой прибѣгу, а зубы—такъ и стучатъ, лихорадка такъ и бьетъ; сижу, дожидаюсь, не придетъ ли, да опять побѣгу по всѣмъ мѣстамъ. Бѣгала я такъ-то до свѣту до бѣлаго; а въ домѣ все огонь горитъ, потушить-то не догадаюсь, все мнѣ еще ночь представляется. Да тутъ только мнѣ въ голову пришло, что, какъ Михайло Тарасычъ уѣзжали съ Дмитріемъ Андреичемъ, ждали они на дворѣ тарантаса, кучеръ-то заспался, такъ разговоръ промежъ нихъ былъ; слышала это я съ крыльца-то: Дмитрій-то Андреичъ все бранилъ барышню, сердился; а Михайло Тарасычъ все смѣется: «Погоди, говоритъ, очувствуется, сама къ тебѣ прибѣжитъ». Какъ вспомнила я эти слова, сейчасъ сѣла въ телѣгу да маршъ на заводъ. Свернула съ дороги въ кусты, телѣгу тамъ оставила,

а сама тихоничко въ садъ. Что-жъ, матушка моя, сидятъ на балконѣ за самоваромъ, чаекъ попиваютъ, — а она, и горюшка ей мало, пѣсенку поетъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Какъ же она туда попала?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

А вотъ какимъ манеромъ: что ей въ голову пришло, ужъ неизвѣстно, только выбѣжала она на дорогу впередъ гостей; потомъ прыгъ къ нимъ въ тарантасъ: «я, говоритъ, кататься хочу». Завезли сначала домой Михайла Тарасыча, потомъ въ томъ же тарантасѣ къ Дмитрію Андреичу; такъ и проколесили всю ночь. Да мало ли мѣста, верстъ тридцать объѣхали! Я ее звать домой, не ѣдетъ. Я и бранью, и слезами, ничто не беретъ. «Пожалуй, говоритъ, поѣду къ Марьѣ Петровнѣ; а домой—ни за что». Я ее въ телѣгу да закутала своимъ платкомъ отъ стыда, чтобъ не узналъ кто. Привезла ее сюда; въ комнаты не-йдетъ, стыдится, что ли,—кто ее разберетъ! Пошли въ садъ, окошки у васъ въ спальнѣ растворены,—она прыгъ въ окно...

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Такъ она въ спальнѣ у меня?

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Тамъ, матушка. Сидитъ на стулѣ въ углу, за кроватью, точно каменная, слова не добьешься.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ну, поди, успокой ее да и сама-то не безпокойся и не разговаривай ни съ кѣмъ; а ужъ мы постараемся уладить дѣло безъ огласки. *(Мавра Денисовна уходитъ. Марья Петровна подходитъ къ двери кабинета Ашметьева)* Александръ Львовичъ! На одну минуту.

Входитъ Ашметьевъ.

Явленіе VII.

Марья Петровна, Ашметьевъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Пропажа отыскалась.

АШМЕТЬЕВЪ.

Гдѣ, гдѣ нашли?

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

На заводѣ, у Малькова.

АШМЕТЬЕВЪ.

У Малькова! Не ожидалъ... Это чортъ знаетъ что такое!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Ну, положимъ, что тутъ нѣтъ ничего удивительнаго; да дѣло не въ томъ: не нужно давать пищи для разговора. Я приму похищеніе на себя; я ее увезла. Понимаешь?

АШМЕТЬЕВЪ.

Понимаю, понимаю. *(Марья Петровна уходитъ въ спальню)* Одна на ферму, другая на заводъ!.. Надо уѣзжать! Эту поѣздку въ деревню я не могу считать удачною; въ нашихъ барскихъ захолустьяхъ, въ нашихъ Отрадахъ, Монплезирахъ и Миловидахъ, повѣяло меркантильнымъ духомъ. Я здѣсь точно трутень между пчелами. Конечно, эти пчелы еще не много меду собираютъ; но ужъ шевелятся, хлопочатъ и начинаютъ жалить трутней и выгонять ихъ изъ своего улья.

Входитъ Марья Петровна.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—въ дверь.

Я сейчасъ увѣрю твоего отца и Анну Степановну, что ты была у меня. А что намъ дальше дѣлать, послѣ подумаемъ.

Уходитъ въ залу.

ВАРЯ—изъ-за двери.

Папка!

АШМЕТЬЕВЪ.

А! Ты здѣсь! Поди сюда, не бойся, никого нѣтъ.

Входитъ Варя.

Явленіе VIII.

Ашметьевъ и Варя; потомъ Сысой.

ВАРЯ.

Папка, ты виноватъ, ты виноватъ...

АШМЕТЬЕВЪ.

Ни душой, ни тѣломъ.

ВАРЯ.

Нѣтъ, ты, ты, я тебѣ говорила... помнишь? Я говорила...

АШМЕТЬЕВЪ.

Мало ли что́ ты говорила!

ВАРЯ.

Ты отчего не остался со мной? Я тебѣ кричала: воротись, воротись; ты не захотѣлъ. Ну, вотъ я...

АШМЕТЬЕВЪ.

Такъ за то, что я не воротился, ты и убѣжала къ Малькову?

ВАРЯ.

Да, за то. Вѣдь я тебѣ говорила, что или въ омутъ кинусь...

АШМЕТЬЕВЪ.

«Или на шею къ кому-нибудь»! И кинулась на шею?

ВАРЯ.

Да. А тебѣ хотѣлось, чтобъ я въ омутъ бросилась? Ишь ты какой! Вотъ какъ ты меня любишь!

АШМЕТЬЕВЪ.

Нѣтъ, въ омутъ зачѣмъ же! Сохрани Богъ! Ужъ если выбирать непремѣнно изъ этихъ двухъ рѣшеній, такъ на шею лучше.

ВАРЯ.

И, конечно, лучше.

АШМЕТЬЕВЪ.

А если-бъ ни то, ни другое?

ВАРЯ.

Нельзя.

АШМЕТЬЕВЪ.

Ужъ будто?

ВАРЯ.

Невозможно.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да почему же?

ВАРЯ.

Еслибъ я не говорила, такъ другое дѣло; а я тебѣ сказала, такъ ужъ и исполнила...

АШМЕТЬЕВЪ.

Резонно.

Смотритъ пристально на Варю.

ВАРЯ—серьёзно.

Ну, что ты на меня смотришь? Самъ виноватъ, да еще... смотритъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Все я же виноватъ?

ВАРЯ.

Да, разумѣется, ты; а то кто же?

АШМЕТЬЕВЪ.

А я думаю, что виноватъ Мальковъ. Онъ не долженъ былъ пользоваться твоимъ, какъ бы это сказать... ну, хоть неразумiемъ. Коли онъ честный человѣкъ, онъ долженъ былъ прогнать тебя.

ВАРЯ—съ сердцемъ.

Прогнать? Вотъ ужъ тогда я навѣрное была бы въ омутѣ. Нѣтъ, онъ не такой злой, какъ ты.

АШМЕТЬЕВЪ.

Добрѣе?

ВАРЯ.

Гораздо. Онъ не матерiалистъ, ты лжешь.

АШМЕТЬЕВЪ.

Почемъ же ты знаешь?

ВАРЯ.

Онъ совсѣмъ не грубый.

АШМЕТЬЕВЪ.

Значитъ, ласковый?

ВАРЯ.

Очень ласковый, очень. Это ты, папка, матеріалистъ... Ты убѣжалъ отъ меня, а онъ...

АШМЕТЬЕВЪ.

А онъ что?

ВАРЯ.

Обыкновенно... Зачѣмъ тутъ бѣжать, коли...

АШМЕТЬЕВЪ.

Коли что?

ВАРЯ.

Ахъ, папка, какой ты глупый! Коли любятъ другъ друга.

АШМЕТЬЕВЪ.

Да какъ же это такъ? Только-что ты увѣряла, что, кромѣ меня, для тебя на свѣтѣ никого нѣтъ; а черезъ полчаса ужъ вы съ Мальковымъ другъ друга любите?

ВАРЯ.

Да что-жъ, коли ты такой обидчикъ, матеріалистъ... Ты самъ виноватъ, ты виноватъ, ты...

Входитъ Сысой.

СЫСОЙ.

Господинъ Мальковъ желаетъ васъ видѣть.

ВАРЯ.

Ай! *(Убѣгаетъ въ спальню. Въ дверяхъ)* Ты виноватъ, ты виноватъ, что ужъ...

Уходитъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Проси! *(Сысой уходитъ)* Самъ пріѣхалъ. Ну, пусть не взыщетъ: много горькаго придется ему выслушать отъ меня.

Входятъ: Мальковъ и Марья Петровна.

Явленіе IX.

Ашметьевъ, Мальковъ и Марья Петровна.

МАЛЬКОВЪ—Марьѣ Петровнѣ.

Я вамъ такого битюка доставлю—на рѣдкость. Въ шарабанчикѣ, сами будете править, любо-дорого.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

А цѣна?

МАЛЬКОВЪ.

Чуть не даромъ, полтораста рублей.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Благодарю васъ.

Уходитъ въ спальню.

МАЛЬКОВЪ—Ашметьеву.

Честь имѣю кланяться!

АШМЕТЬЕВЪ — подавая руку.

Представьте, я ждалъ васъ; мнѣ казалось, что вы непремѣнно должны пріѣхать.

МАЛЬКОВЪ.

Мудренаго нѣтъ; мало-ли что на свѣтѣ бываетъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Вы очень хорошо сдѣлали, что пожаловали ко мнѣ.

МАЛЬКОВЪ.

Да, безподобно; я самъ знаю.

АШМЕТЬЕВЪ.

Грубаго пріема вы не встрѣтите, я человѣкъ цивилизованный...

МАЛЬКОВЪ.

Еще бы!

АШМЕТЬЕВЪ.

Вѣроятно, вы не разсердитесь на меня, если въ нашемъ разговорѣ вамъ придется выслушать отъ меня нѣсколько очень горькихъ для васъ истинъ.

МАЛЬКОВЪ.

Нѣтъ, зачѣмъ же это! Совсѣмъ не надо.

АШМЕТЬЕВЪ.

Я старше васъ, больше жилъ на свѣтѣ, больше испыталъ....

МАЛЬКОВЪ.

Нѣтъ, вы не въ ту силу.

АШМЕТЬЕВЪ.

Я знаю, что нынѣче принято за правило: не пропускать ничего, что̀ плыветъ въ руки; но едва-ли, не грѣша противъ совѣсти, можно примѣнить это правило къ молодой дѣвушкѣ, которая, не понимая и не помня, что̀ дѣлаетъ, бросается къ вамъ подъ вліяніемъ минутнаго порыва, очертя голову, что̀ называется, а можетъ быть и подъ вліяніемъ каприза...

МАЛЬКОВЪ.

Про какую это дѣвушку вы такъ красно расписываете?

АШМЕТЬЕВЪ.

Про Варю.

МАЛЬКОВЪ.

Такъ это не ваше дѣло, а попово; и попа не вашего, а чужого.

АШМЕТЬЕВЪ.

Отпучиваться, конечно, легче, чѣмъ оправдываться; но...

МАЛЬКОВЪ.

Извините... Я согласенъ, что изъ вашей философіи и морали я, какъ молодой человѣкъ, могу извлечь много пользы; но мнѣ некогда,—это ужъ въ другой разъ, какъ-нибудь на досугѣ; и я пріѣхалъ за другимъ...

АШМЕТЬЕВЪ.

Что же вамъ угодно?

МАЛЬКОВЪ.

Во-первыхъ, я привезъ вамъ деньги за лѣсъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Какъ, развѣ вы купили?

МАЛЬКОВЪ.

Что-жъ тутъ удивительнаго? Кому нуженъ лѣсъ, тотъ его и покупаетъ; кому лѣсъ не нуженъ, а нужны деньги, тотъ его продаетъ. Все это въ порядкѣ вещей.

АШМЕТЬЕВЪ.

И привезли деньги... Какъ это кстати! Благодарю васъ!

МАЛЬКОВЪ.

За шестьдесятъ двѣ десятины съ саженями, по 75 руб. за десятину, 4,700. Получите, сочтите и дайте росписочку.

АШМЕТЬЕВЪ—беретъ деньги.

Гм!.. Не много же, однако.

МАЛЬКОВЪ.

Не хватаетъ вамъ,—разсчетъ не выходитъ?

АШМЕТЬЕВЪ.

Да, если-бъ еще тысячи три...

МАЛЬКОВЪ.

Продайте рощу, что за паркомъ-то!

АШМЕТЬЕВЪ.

Гм! за паркомъ, вы говорите?

МАЛЬКОВЪ.

Сто рублей за десятину дамъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Не хотѣлось бы...

МАЛЬКОВЪ.

Сто десять.

АШМЕТЬЕВЪ.

Жаль. Откровенно вамъ говорю, жаль.

МАЛЬКОВЪ.

Сто двадцать.

АШМЕТЬЕВЪ,

Я подумаю.

МАЛЬКОВЪ.

Начнемъ думать, такъ-либо вы раздумаете, либо я раздумаю. А по нашему, въ два слова, не сходя съ мѣста... (*Ашметьевъ въ раздумьи*) Завтра и деньги привезу... По рукамъ, что-ли?

Протягиваетъ руку.

АШМЕТЬЕВЪ—подавая руку.

Извольте.

МАЛЬКОВЪ.

Вотъ такъ-то лучше. Я его и срублю, а тотъ поберегу; онъ въ настоящемъ возрастѣ три процента приросту даетъ. Одно дѣло кончено, теперь другое.

АШМЕТЬЕВЪ.

Я васъ слушаю.

МАЛЬКОВЪ.

Вамъ угодно было назвать меня матеріалистомъ, человѣкомъ безчувственнымъ, грязнымъ и физически, и нравственно, способнымъ развратить молодую душу и погубить въ ней все высокое и благородное. Если бы вы говорили это такъ, для провожденія времени, я бы махнулъ рукой; тѣшьтесь, сколько угодно. Но вы говорили это съ злымъ умысломъ, съ намѣреніемъ повредить мнѣ въ глазахъ дѣвушки, которую я люблю, жалѣю, которую я хотѣлъ вырвать изъ дурацкой обстановки, гдѣ она ровно ничего не дѣлаетъ, а только повѣсничаетъ. А вы меня чернили передъ ней! Какъ это называется, позвольте васъ спросить!

АШМЕТЬЕВЪ.

Извините: это я вообще о людяхъ вашей профессіи...

МАЛЬКОВЪ.

Коли вообще о людяхъ, такъ и ступайте читать публичныя

лекціи! А нашептывать, указывая прямо на лицо... Для этого, по крайней мѣрѣ, нужно знать его...

АШМЕТЬЕВЪ.

Я и оправдываться не стану... Но поймите, что, подъ вліяніемъ сильной страсти, человѣкъ можетъ иногда...

МАЛЬКОВЪ.

На стѣну лѣзть, объ печку головой биться. Это я понимаю; а клеветать на человѣка, ужъ это что-жъ такое!

АШМЕТЬЕВЪ.

Ну, я прошу у васъ извиненія.

МАЛЬКОВЪ.

Да что мнѣ въ вашемъ извиненіи! Не шубу изъ него шить. Это чортъ знаетъ, что такое! Живешь смирно, никого не трогаешь, и вдругъ тебя обзываютъ какъ нельзя хуже.

АШМЕТЬЕВЪ.

Я прошу васъ извинить меня, чего вы еще можете желать отъ меня?

МАЛЬКОВЪ.

Да нѣтъ, позвольте! Вы пріѣзжаете въ имѣніе любоваться ландшафтами, — выходитъ, вы честный человѣкъ; а я пріѣзжаю, вооруженный наукой, извлекаю изъ имѣнія пользу себѣ и людямъ, я за это—грязный матеріалистъ. Вы разоряете имѣніе и бросаете деньги за-границей,—вы, значитъ, человѣкъ съ чувствомъ; а я на свои трудовыя завожу школы и учу людей хлѣбъ добывать,—я за это—безчувственный матеріалистъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Но что же вамъ угодно отъ меня?

МАЛЬКОВЪ.

Нѣтъ, помилуйте! Я полюбилъ дѣвушку и хочу жениться на ней: это, по-вашему, «проза жизни, такъ поступаютъ матеріалисты»... Въ чемъ же поэзія-то, и какъ поступаютъ въ такихъ случаяхъ благородные идеалисты?

АШМЕТЬЕВЪ.

Довольно. Вы желаете удовлетворенія?

МАЛЬКОВЪ.

Нѣтъ, не желаю.

АШМЕТЬЕВЪ.

Чего же вамъ?

МАЛЬКОВЪ.

Я считаю себя въ правѣ требовать отъ васъ, и требую, чтобы вы сейчасъ же сказали господину Зубареву, что нельзя бросать дочь безъ всякаго призрѣнія, и что лучше всего онъ сдѣлаетъ, если отдастъ ее за меня замужъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Извольте, съ большимъ удовольствіемъ.

МАЛЬКОВЪ.

Съ удовольствіемъ, или безъ удовольствія, это ваше дѣло; а вотъ если вы этого не сдѣлаете, тогда ужъ другой разговоръ будетъ.

АШМЕТЬЕВЪ.

Нѣтъ, отчего же!.. Извольте... Я каюсь, я ошибся въ васъ... Я припоминаю теперь, вы похожи на одинъ типъ у Занда...

МАЛЬКОВЪ.

Я похожъ самъ на себя, и ни на кого больше. Что тамъ за типы! Живемъ, какъ живется! Пожалуйте мнѣ теперь росписочку.

АШМЕТЬЕВЪ.

Сію минуту. Прошу васъ ко мнѣ въ кабинетъ.

Мальковъ и Ашметьевъ уходятъ въ кабинетъ.
Входятъ: Марья Петровна, Варя и Мавра Денисовна.

Явленіе X.

Марья Петровна, Варя и Мавра Денисовна.

МАВРА ДЕНИСОВНА—Варѣ.

Поѣдемъ-ка домой, будетъ странничать-то!

ВАРЯ.

Ни за что, ни за что! Это опять къ тебѣ на верхъ? Знаешь-ли, Маруся, мою спальню все еще дѣтской называютъ. Каково это, Маруся! она хочетъ, чтобъ я опять въ дѣтскую отправлялась! Поздно, нянюшка, поздно! Тебѣ скучно, няньчить некого? А вотъ подожди, когда у меня дѣти будутъ...

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Чтó это, какъ посмотрю я на тебя, какая ты озорница становишься! Часъ отъ часу хуже.

Дверь изъ кабинета отворяется. Ашмятьевъ и Мальковъ останавливаются въ дверяхъ, не входя въ комнату.

ВАРЯ—обнимая Марью Петровну.

Ахъ, Маруся, какъ онъ меня любитъ, какъ онъ меня любитъ!

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Какъ же это ты такъ скоро узнала?

ВАРЯ.

Онъ меня вчера такъ бранилъ, такъ бранилъ; никто въ жизни такъ не бранилъ меня... Кому-жъ до меня дѣло, кромѣ его!..

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Мало-ль тебя бранятъ, да ничего толку отъ тебя нѣтъ.

ВАРЯ.

И все онъ правду говорилъ, все правду. (*Задумывается*) Знаешь, Маруся, я одного боюсь...

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

Чего?

ВАРЯ.

Что онъ прибьетъ меня какъ-нибудь, когда моимъ мужемъ будетъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА.

И отлично сдѣлаетъ.

МАВРА ДЕНИСОВНА.

Вотъ бы разчудесно, въ ножки бы ему поклонилась за это.

ВАРЯ.

Да, нѣтъ... Я его слушаться буду, только его одного и больше никого въ жизни.

Ашметьевъ и Мальковъ входятъ.

Явленіе XI.

Марья Петровна, Варя, Мавра Денисовна, Ашметьевъ, Мальковъ.

МАЛЬКОВЪ—входя.

Довольно, пойдемте! А то онѣ Богъ знаетъ до чего договорятся.

ВАРЯ.

Такъ вы насъ подслушивали?

АШМЕТЬЕВЪ.

Виноватъ, это я полюбопытствовалъ. Чтобъ узнать отъ женщинъ правду, единственное средство—подслушать, что́ онѣ между собой разговариваютъ.

Входятъ: Анна Степановна, Зубаревъ.

Явленіе XII.

Марья Петровна, Варя, Ашметьевъ, Мальковъ, Анна Степановна, Зубаревъ, Мавра Денисовна, потомъ Боевъ.

МАРЬЯ ПЕТРОВНА—Зубареву.

Позвольте вамъ представить жениха съ невѣстой. Это я сватаю, тутъ ужъ отказа быть не можетъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Господи!.. Варя!.. Александръ Львовичъ, скажите мнѣ пожалуйста, что́ же это такое?

АШМЕТЬЕВЪ.

Ея выборъ, онъ ей понравился.

ЗУБАРЕВЪ.

Александръ Львовичъ, Александръ Львовичъ, да какъ же это-съ? Помилуйте, вѣдь единственная, все тутъ... и вдругъ!

АШМЕТЬЕВЪ.

Да объ чемъ вы толкуете! Держать дочь дома вамъ нельзя; у васъ за ней присмотра нѣтъ.

ЗУБАРЕВЪ.

Это вы правду изволите говорить. А всежъ-таки вѣдь я отецъ, каково-жъ это видѣть и перенести (*Прикладываетъ платокъ къ глазамъ*). А, впрочемъ, какъ вамъ угодно, вы лучше меня знаете...

АШМЕТЬЕВЪ.

Ну, такъ я вамъ вотъ что́ скажу: благодарите судьбу, что она вамъ послала такого зятя, вамъ лучше не найти.

ЗУБАРЕВЪ.

Въ такомъ случаѣ, что же мнѣ говорить? Я не имѣю словъ-съ, я долженъ только благодарить Марью Петровну.

Входитъ Боевъ.

БОЕВЪ.

Вотъ бѣда-то, не опоздалъ-ли я къ пирогу?

АШМЕТЬЕВЪ.

Какъ разъ поспѣли. Деньги за лѣсъ я получилъ отъ Дмитрія Андреича, и магарычъ вамъ будетъ приличный.

БОЕВЪ.

Изъ того только и бьемся.

ЗУБАРЕВЪ—Ашметьеву.

Александръ Львовичъ, вотъ при васъ взялъ, при васъ-съ, а не отдаетъ.

БОЕВЪ.

Да ты слышалъ? Лѣсъ проданъ, такъ сочти за коммиссію.

ЗУБАРЕВЪ.

Какая коммиссія! Помилуйте!.. грабежъ... жить нельзя.

БОЕВЪ—подаетъ вексель.

На! Отвяжись только.

ЗУБАРЕВЪ.

Что это, векселя? Ты деньги бралъ, а не векселя... Ну, все равно—давай, давай... Вотъ, Анна Степановна, вотъ моя жизнь! Вчера сѣно украли, овесъ потравили, онъ деньги силой отнялъ, а теперь дочь-съ... Былъ женихъ—Викторъ Васильичъ... Какой человѣкъ-то! Сила, быстрота, соображеніе... и вдругъ...

ВАРЯ.

Папаша, да вѣдь ужъ все кончено, къ чему еще разговоры!

ЗУБАРЕВЪ.

Развѣ кончено?

ВАРЯ.

Еще бы! Смѣшно даже. Ты бы раньше хватился.

АННА СТЕПАНОВНА.

Да что ты, въ самомъ дѣлѣ, очень разборчивъ сталъ! Вѣдь не принцесса у тебя дочь-то, проживутъ какъ-нибудь.

ВАРЯ—Малькову.

Такъ мы будемъ жить «какъ-нибудь». Я этого не знала.

МАЛЬКОВЪ.

А вотъ погоди, годика черезъ два-три мы съ тобой купимъ у нихъ это имѣніе, и съ паркомъ, и съ Миловидой!

Занавѣсъ.

А. Островскій
и Н. Соловьевъ.

ЖИВОПИСЕЦЪ

А. А. ИВАНОВЪ

Біографическій очеркъ.

Подъ заглавіемъ: «Александръ Андреевичъ Ивановъ — его жизнь и переписка», М. П. Боткинъ издалъ недавно книгу, которой, мнѣ кажется, суждено занять одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ нашей литературѣ и въ исторіи нашего художества. Въ началѣ помѣщена біографія художника, не обширная, но весьма удовлетворительная, такъ какъ она составлена на основаніи подлинныхъ его писемъ, личныхъ его сообщеній М. П. Боткину, сообщеній покойнаго брата Иванова, архитектора Сергѣя Иванова, наконецъ, на основаніи собственныхъ воспоминаній самого издателя, во время шестинедѣльнаго его знакомства съ Ивановымъ въ 1858 году, въ Петербургѣ, во время послѣдняго пріѣзда Иванова въ Россію. Все это матеріалъ совершенно новый, никому еще до сихъ поръ у насъ неизвѣстный, и освѣщающій Иванова съ такой стороны, о которой никто еще и не думалъ. Главное же достоинство книги заключается въ собраніи 243 писемъ и замѣтокъ, писанныхъ Ивановымъ въ теченіи 34 лѣтъ и уцѣлѣвшихъ до нашего времени частью въ оригиналахъ, но еще въ большемъ числѣ случаевъ — въ видѣ черновыхъ набросковъ, сохранившихся въ альбомахъ и записныхъ тетрадяхъ покойнаго художника. Этотъ драгоцѣнный матеріалъ сталъ доступенъ лишь съ третьяго года, т.-е. со времени смерти Сергѣя Иванова: въ теченіи 20 лѣтъ, протекшихъ со времени кончины его брата Александра, Сергѣй Ивановъ постоянно былъ озабоченъ мыслью

издать переписку брата и оставшіеся послѣ него альбомы съ его композиціями. Онъ это не разъ выражалъ въ письмахъ ко мнѣ, въ отвѣтъ на мои неоднократныя и убѣдительныя просьбы не оставлять подъ спудомъ великолѣпныя художественныя созданія его брата, разсѣянныя по множеству его альбомовъ, въ видѣ цѣлыхъ сотенъ акварельныхъ и карандашныхъ рисунковъ. Въ такомъ изданіи я находилъ великую потребность для нашего интеллигентнаго и художественнаго общества, съ той самой минуты, когда, вскорѣ послѣ кончины Иванова въ іюлѣ 1858 года, я, благодаря М. П. Боткину, увидалъ альбомы, сопровождавшіе Иванова въ послѣднюю его поѣздку въ Россію. Мнѣ казалось, что эти рисунки—произведенія таланта геніальнаго и ума глубоко и широко образованнаго; мнѣ казалось, что въ этихъ рисункахъ заключается такая новизна и своеобразіе, съ которыми не могутъ равняться никакія созданія всѣхъ остальныхъ художниковъ нашего времени, на сюжеты Ветхаго и Новаго Завѣта. Я глубоко былъ убѣжденъ, что въ этихъ рисункахъ (часто даже едва набросанныхъ, не всегда отдѣланныхъ) заключается самое неоспоримое право Иванова на безсмертіе, а для нашего отечества—столько же неоспоримое право, уже и въ настоящее время, на одно изъ самыхъ высокихъ и почетныхъ мѣстъ на страницахъ исторіи искусства. И я это много разъ выражалъ Сергѣю Иванову, въ своихъ письмахъ, въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ. Со своей стороны, М. П. Боткинъ старался вліять на Сергѣя Иванова личнымъ убѣжденіемъ, такъ какъ часто съ нимъ видѣлся во время ежегодныхъ своихъ путешествій въ Римъ. Но ничто не дѣйствовало на нерѣшительнаго и черезъчуръ робкаго Сергѣя Иванова: онъ откладывалъ изданіе со дня на день—изданіе, котораго великую значительность онъ и самъ сознавалъ лучше насъ. Въ этомъ откладываніи такъ и прошло цѣлыхъ 20 лѣтъ. Въ 1877 году Сергѣй Ивановъ умеръ, оставивъ завѣщаніе, по которому отдалъ всѣ оставшіяся произведенія своего брата Александра—московскому Публичному Музею, а все свое состояніе отказалъ германскому Археологическому Институту въ Римѣ (котораго много лѣтъ былъ членомъ), но съ обязательствомъ непремѣнно издать въ свѣтъ рисунки и композиціи своего брата. Въ настоящее время уже появилось въ свѣтъ два выпуска, и всѣ могутъ теперь судить о настоящемъ значеніи Иванова; до сихъ поръ онъ былъ извѣстенъ у насъ только по двумъ картинамъ, при всѣхъ своихъ достоинствахъ все-таки далеко не дающимъ понятія о высотѣ и глубинѣ творчества этого художника. Рисунки альбомовъ

оставляютъ объ картины далеко позади за собою. Во время всемірной парижской выставки 1878 года, проѣздомъ черезъ Берлинъ, я имѣлъ случай снова увидать рисунки изъ Ивановскихъ альбомовъ, съ которыхъ въ Берлинѣ дѣлали для изданія копіи fac-simile—и ничто не можетъ сравняться съ моимъ восхищеніемъ, когда, послѣ долгаго антракта, я снова увидалъ художественныя созданія, за 20 лѣтъ передъ тѣмъ поразившія меня и теперь выступившія вдругъ передо мною во всей прежней силѣ, свѣжести и геніальности. Я тогда же старался выразить это въ своихъ печатныхъ письмахъ. Вскорѣ потомъ, я убѣдился, что не я одинъ такого высокаго мнѣнія о созданіяхъ Иванова. Цѣлое общество нѣмецкихъ ученыхъ и художниковъ высказало то же самое, въ минуту изданія 1-го выпуска альбома Иванова. Коммиссія римскаго «Археологическаго Института», трудами которой совершилось изданіе, говоритъ въ своемъ предисловіи: «Коммиссія убѣждена, что предпринятое ею изданіе рисунковъ Иванова на сюжеты св. Писанія будетъ благосклонно принято не только въ отечествѣ художника, гдѣ имя Иванова на устахъ у всѣхъ, но также и внѣ Россіи. По богатству и жизненности своей фантазіи и по силѣ своего выраженія, Ивановъ принадлежитъ къ числу самыхъ талантливыхъ художниковъ новаго времени. Сверхъ того, его композиціи возбудятъ, по всей вѣроятности, интересъ еще и въ томъ особенномъ отношеніи, что въ нихъ высказывается замѣчательный, совершенно своеобразный духъ, несомнѣнно имѣющій національную основу».

Часто ли случалось, чтобъ нѣмецкіе ученые и художники рѣшились признать такое высокое, такое исключительное значеніе за иностраннымъ художникомъ новаго времени, да еще за кѣмъ?—за русскимъ? Это, конечно, едва ли не первый примѣръ въ своемъ родѣ. Но, послѣ кончины Сергѣя Иванова, дѣло не ограничилось однимъ изданіемъ рисунковъ его брата: М. П. Боткинъ рѣшился издать и всѣ письма его. Для Иванова—это истинный памятникъ, для насъ всѣхъ—это истинное откровеніе. Несмотря на небрежности въ слогѣ, производящія подъ часъ запутанность и неясность, письма его отличаются чрезвычайною своеобразностью и выразительностью, нерѣдко доходящею до истинной силы, образности и мѣткой сжатости. Что же касается до содержанія, то въ этихъ письмахъ высказывается такая свѣтлость и глубина мысли, такая оригинальность взгляда на искусство и его задачи, такая самостоятельность и независимость характера, какихъ не только никто изъ насъ почти никогда не встрѣчалъ у русскихъ художниковъ, стараго и новаго времени,

но какихъ лишь самые рѣдкіе и немногіе примѣры можно встрѣтить во всей исторіи европейскаго искусства. Читаешь письма Иванова, и съ неописаннымъ изумленіемъ говоришь себѣ: И такъ-то думалъ и писалъ бывшій воспитанникъ академіи, да еще гдѣ же — въ Римѣ!—да еще когда же—въ 30-хъ, 40-хъ, 50-хъ годахъ!—среди всеобщаго художественнаго у насъ ничтожества (кромѣ одного Ѳедотова), среди самаго низменнаго у насъ художественнаго уровня, не только у художниковъ, но еще и у всей публики! Просто—невѣроятно, просто глазамъ своимъ не вѣришь.

Поэтому, велика заслуга М. П. Боткина, издавшаго во всеобщее извѣстіе (и издавшаго такъ полно и превосходно, съ такими значительными затратами, безвозвратными, съ приложеніемъ стольких отличныхъ снимковъ) эти драгоцѣнные, эти до сихъ поръ неизвѣстные матеріалы изъ исторіи русскаго интеллектуальнаго роста, русскаго художественнаго развитія.

Попытаюсь дать въ настоящемъ очеркѣ понятіе о всѣхъ главныхъ сторонахъ «Писемъ» Иванова и выразить его художественную и умственную натуру. Уже давно я считаю это своею обязанностью, тѣмъ болѣе, что я и самъ былъ лично знакомъ (хотя не долго) съ Ивановымъ, и имѣлъ возможность оцѣнить глубокое значеніе этого необыкновеннаго человѣка. Именно, подъ впечатлѣніемъ личнаго знакомства и глубоко поразившихъ меня альбомныхъ рисунковъ Иванова, я началъ, еще въ 1861 году, въ «Русскомъ Вѣстникѣ» рядъ статей подъ заглавіемъ «О значеніи Брюлова и Иванова въ русскомъ искусствѣ». Первая половина, касавшаяся Брюлова, тогда же была напечатана въ концѣ года. Другая половина этого труда, содержавшая статью объ Ивановѣ, по разнымъ причинамъ оставалась до сихъ поръ не напечатанною. Съ того времени, взглядъ мой на этого художника не только не перемѣнился, но получилъ еще новое подкрѣпленіе въ чудесныхъ письмахъ Иванова, которыя въ настоящее время напечатаны, и большинство ихъ мнѣ довелось лишь теперь узнать. Поэтому я издаю теперь прежнее свое изслѣдованіе объ Ивановѣ, съ дополненіемъ его всѣмъ тѣмъ, что̀ мнѣ дала вновь его замѣчательная «Переписка».

I.

Когда хочешь разсматривать жизнь и дѣятельность Александра Иванова,—нельзя при этомъ обойти Карла Брюлова. Ихъ жизнь и дѣятельность слишкомъ близко соприкасались, они вышли изъ

одной и той же академіи, жили долгое время вмѣстѣ въ одномъ и томъ же Римѣ, работали для одного и того же общества, и этимъ самымъ обществомъ были оцѣнены при жизни и послѣ смерти совершенно наоборотъ, въ противность истиннымъ ихъ заслугамъ. Конечно, Брюловъ нисколько не потерпѣлъ ущерба отъ Иванова—на его долю выпалъ счастливый билетъ; за то Ивановъ такъ потерпѣлъ, какъ никто, отъ своего, родившагося въ сорочкѣ, соперника. Въ 1858 году, когда Ивановъ пріѣхалъ умереть въ Россію, его замучило и уложило въ гробъ общественное мнѣніе не иначе, какъ во имя Брюлова. Но это и не могло быть иначе: тогдашнее наше общество въ дѣлѣ искусства было еще совершеннымъ младенцемъ, только и знавшимъ, только и улибавшимся Брюлову. По всему этому, я необходимо долженъ взять въ свою статью, на время, и фигуру Брюлова.

Трудно найти двѣ натуры и двѣ жизни, болѣе непохожія одна на другую, чѣмъ жизнь Брюлова и Иванова. Брюловъ былъ весь свой вѣкъ баловень счастья и удачи, всю жизнь провелъ среди поклоненія толпы, никогда онъ не слыхалъ ни единаго слова осужденія отъ современниковъ. Пока Брюловъ былъ еще ученикомъ академіи, его лелѣяли, ему взапуски покровительствовали, потому что глядѣли на него, какъ на драгоцѣнное растеніе, отъ котораго ждутъ плодовъ небывалыхъ. Поѣхалъ онъ за границу, и, во все время пребыванія тамъ, Общество поощренія художниковъ, пославшее его туда, не переставало обращаться къ нему точно будто съ подобострастіемъ, высокопочитаніемъ и почти послушною покорностью. Потомъ, едва воротившись въ Россію, онъ тотчасъ же сталъ во главѣ нашего искусства, и разомъ сдѣлался—и законодателемъ художниковъ, и любимцемъ массы общественной. Его приговоры стали считаться непогрѣшительными; имъ вѣрили больше, чѣмъ суду всей остальной Европы; отъ него вымаливали портрета, картины, какъ милости; виньетки его были необходимы для успѣха моднаго альманаха Владиславлева или толстыхъ томовъ «Ста русскихъ литераторовъ»; когда ставили новую русскую оперу, «Русланъ и Людмила»—распорядители добивались его совѣтовъ и рисунковъ для декорацій и рисунковъ. Вѣдь онъ все зналъ и все умѣлъ! Въ его мастерскую цѣлый день валила толпа великосвѣтскихъ обожателей, и между тѣмъ какъ старый столпъ академіи, Егоровъ, въ энтузіазмѣ и весь въ слезахъ, увѣрялъ его: «Карлъ Павловичъ! каждый мазокъ твоей кисти—хвала Богу!»—другой, болѣе молодой художникъ, далеко еще не въ мундирѣ, и не изъ Совѣта, Мокрицкій, не могъ сносить вида его картинъ, какъ солнца, и выбѣгалъ изъ мастерской, закрывая

лицо руками, и восклицая: «недостоинъ, недостоинъ!» Каждая фраза, каждое слово Брюлова признаны были геніальными. Что бы онъ ни сказалъ умнаго или пустого, риторическаго или дѣйствительно вѣрнаго и мѣткаго, — увѣрялъ ли, что ему «нужно было вмѣстить въ себѣ 400 лѣтъ успѣховъ живописи, чтобъ создать Помпею»,—восклицалъ ли: «Смотрите! цѣлый оркестръ въ одной ногѣ!» — рвался ли расписать цѣлое небо, утверждая, что на землѣ тѣсно — все одинаково выслушивалось съ однимъ и тѣмъ же подобострастіемъ и вѣрой, быстро разносилось толпой поклонниковъ, и шло потомъ за талантливѣйшіе проблески ума и краснорѣчія, конечно драгоцѣнные для художниковъ и необходимые для потомства.

Ничего подобнаго не бывало въ жизни Иванова. Во время академическаго воспитанія онъ былъ, говорятъ, молчаливъ, вялъ, неповоротливъ, чуждался товарищей и ихъ забавъ, не сближался ни съ кѣмъ, значитъ, былъ мало любимъ. Въ домашней жизни, во время юношества, у него тоже мало было отрады. «Я былъ воспитанъ бѣдами», говоритъ онъ въ одномъ рапортѣ Обществу поощренія художниковъ, 1833 года. Не было у него блестящихъ экспромптовъ, ни на холстахъ, ни въ разговорахъ — и никто не былъ пораженъ имъ, никто не видалъ (какъ въ Брюловѣ) возникающаго феномена. Ему все доставалось трудно, цѣною великихъ усилій, «у него нѣтъ покровительства (писалъ его отецъ въ 1830 году), онъ все достигаетъ своей цѣли какъ бы съ боя» («Моск. Вѣдом.», 1860, № 143, статья Демерта: «Неизвѣстныя картины Иванова»); когда у него появлялось что-нибудь хорошее, академическіе учителя не вѣрили, чтобъ онъ самъ это сдѣлалъ, подозрѣвали его въ подлогѣ. «Я не получилъ никакой награды за программу «Блудный сынъ», пишетъ Ивановъ дядѣ въ 1824 году;—и не стану вамъ описывать странныя мнѣнія г. Егорова въ разсужденіи моей работы; скажу только, что слово «не самъ» никогда не истребится у него». Общество поощренія художниковъ, отправившее Брюлова въ Италію, отправило впослѣдствіи туда же и Иванова,—значитъ признавало нѣчто и въ немъ. Но какая разница въ отношеніяхъ Общества къ тому и другому молодому человѣку, какая разница въ оцѣнкѣ произведеній ихъ! Когда Брюловъ прислалъ изъ Рима первую свою картину «Итальянское утро, или Умывающаяся итальянка», Общество тотчасъ написало ему: «Прелестное произведеніе сіе плѣнило равно всѣхъ членовъ Общества; выборъ предмета и исполненіе онаго въ полной мѣрѣ заслужили общее одобреніе... Вашъ первый трудъ внѣ отечества оправдываетъ ясно тѣ великія на-

дежды, кои Общество въ правѣ имѣть на васъ. Комитетъ нашелъ въ вашемъ произведеніи красоты высшей степени. Общество, къ величайшему своему удовольствію, убѣждается, что вы идете къ совершенству прямымъ путемъ. Если будущіе шаги ваши равны будутъ первому, то оно отъ васъ недалеко. Трудитесь: правительство, Общество поощренія художниковъ и публика вознаградятъ васъ». Читая эти строки, еще разъ полюбуешься на Гоголя! Какъ онъ мѣтко схватилъ этотъ хвалебный начальническій тонъ своего времени! Въ его «Портретѣ» про художника Чарткова пишутъ газеты: «Хвала вамъ, художникъ! Вы вынули счастливый билетъ изъ лотереи. Прославляйте себя и насъ. Мы умѣемъ цѣнить васъ. Всеобщее стеченіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и деньги будутъ вамъ наградою». Не правда ли: письмо Общества поощренія художниковъ и статья про Чарткова—вѣдь это почти буква въ букву одно и то же! Но вотъ, послѣ Брюлова, прислалъ въ Петербургъ первую свою картину Ивановъ: «Явленіе Христа Магдалинѣ». Общество тотчасъ высказало и о ней свое сужденіе. «Картина ваша, сказано въ письмѣ Общества, отъ 30 декабря 1836 г., произвела во всѣхъ видѣвшихъ ее чрезвычайно пріятное впечатлѣніе. Успѣхи вы сдѣлали отличные, талантъ вашъ созрѣваетъ; это прекрасное и умное произведеніе ручается Обществу въ томъ, что вы станете на ряду съ лучшими мастерами. Кто такъ чувствуетъ и такъ выражаетъ чувства, какъ вы, тотъ можетъ стремиться и достигнуть къ совершенству. Любите ваше искусство, обдумывайте ваши произведенія, не уклоняйтесь отъ избраннаго вами пути, и берегитесь только излишняго самолюбія». Итакъ, пустая (хотя и довольно блестящая по письму) картинка Брюлова «плѣнила» Общество; она уже заключаетъ «красоты высшей степени», выборъ сюжета — превосходный; а серьёзное произведеніе Иванова, хотя и не лишенное недостатковъ (въ фигурѣ Христа), но за то дышащее такой правдой и красотой глубочайшаго чувства (въ лицѣ Магдалины), какой Брюловъ во всю свою жизнь и во снѣ не видалъ, производитъ только «пріятное впечатлѣніе»! Брюловъ уже совсѣмъ «близокъ къ совершенству», а Ивановъ только «достоинъ къ нему стремиться!» Брюлова просятъ только работать, и всѣ тотчасъ «вознаградить» его, а Иванову рекомендуютъ не слишкомъ забываться и хорошенько беречься отъ излишняго самолюбія! Какъ будто онъ когда-нибудь зазнавался хоть на единую секунду, былъ высокомѣренъ и заносчивъ,—онъ, при посылкѣ этой самой картины, еще такъ недавно писавшій Обществу: «Зная покровителей моихъ ко мнѣ строгость, чувствуя сильно мою неисправность

передъ ними и слабость моего таланта, я прихожу въ робость отъ справедливости ихъ приговора и нахожу себя совершенно безотвѣтнымъ»; а въ другомъ письмѣ: «Могу ли льстить себя надеждою, что великодушные мои благотворители будутъ ко мнѣ снисходительны и пощадятъ меня отъ справедливаго суда и укоризны за столь медленное и къ тому же несовершенное производство моей картины». Какимъ это образомъ, подобному человѣку, кроткому, умоляющему, нужны вдругъ наставленія, чтобъ онъ не задиралъ носъ?

Такихъ совѣтовъ Общество никогда не осмѣлилось бы послать Брюлову. Разъ только, въ самомъ началѣ его пребыванія въ Римѣ, Общество вздумало-было пожурить его (и то любя, мягко, нѣжно) за слишкомъ рѣзкія и самонадѣянныя, по понятіямъ почтенныхъ старичковъ-любителей и аристократовъ, сужденіе о Корреджіо. Что же отвѣтилъ Брюловъ? «Принимаю на время, написалъ онъ, возложенныя на меня титла нескромнаго и дерзкаго, помня, что юный Сципіонъ никогда бы не побѣдилъ опытнаго Аннибала, еслибъ не дерзнулъ себя сравнить съ нимъ». Тогда Общество замолчало, и замѣчаній въ прежнемъ родѣ отъ него болѣе не было. Что, если бы Ивановъ, въ тѣ времена классицизма и безпредѣльнаго обоготворенія грековъ и римлянъ, попробовалъ, въ случаѣ выговора, сравнить себя съ Сципіонами и Аннибалами? Я воображаю, какую бы гонку ему задали, какъ почтенное и всемудрое общество поощрителей, нюхая съ достоинствомъ табакъ изъ золотыхъ табакерокъ, разомъ поставило бы дерзкаго сверчка на свой шестокъ!

Былъ въ то время у Брюлова и такой случай. Общество возымѣло, нѣкогда, смѣлую мысль, посреди всякихъ учтивостей и похвалъ, выразить Брюлову, что въ его картинѣ «Итальянскій полдень» женская фигура мало изящна: «Ваша модель,—говорило оно,—была болѣе пріятныхъ, чѣмъ изящныхъ формъ». Брюловъ, разсерженный за такую смѣлость, отвѣтилъ письмомъ, гдѣ посреди учтивыхъ фразъ скрыта—насмѣшка: «Находя, что правильныя формы всѣ между собою сходствуютъ, какъ то особенно замѣтно въ статуяхъ, гдѣ сія чистота формъ необходима, я рѣшился,—говоритъ онъ,—искать того предположеннаго разнообразія, въ тѣхъ формахъ простой натуры, которыя намъ чаще встрѣчаются, и нерѣдко болѣе нравятся, нежели строгая красота статуй». Общество не поняло, кажется, насмѣшки надъ его пониманіемъ однѣхъ только мертвыхъ статуй, и промолчало, а между тѣмъ было право: Брюловъ въ этой картинѣ вовсе не слѣдовалъ «указаніямъ разнообразной и живой картины», а только личному

своему, однообразному, бѣдному и одностороннему вкусу къ круглымъ лицамъ и пошлымъ физіономіямъ. Пусть бы Ивановъ попробовалъ отгрызнуться въ подобномъ же родѣ, и онъ тогда бы извѣдалъ всю мягкость великодушныхъ аристократическихъ покровителей. Въ 1829 году, Брюловъ возвратилъ назадъ посланный ему Обществомъ пенсіонъ, говоря иронически, что Общество такъ замедлило высылкою этого пенсіона, что онъ долженъ былъ обратиться къ частнымъ заказамъ, поэтому «недостоинъ» теперь пенсіона. Конечно, все это была неправда, потому что безчисленные заказы давно уже сыпались на Брюлова, но ему только надобно было проучить своихъ бывшихъ благодѣтелей и командировъ. Что-жъ они? Они ничего ему не посмѣли сдѣлать, но гнѣвъ ихъ обрушился всецѣло на бѣднаго Иванова, еще не отправлявшагося за границу. Онъ пишетъ пріятелю и наставнику своему Рабусу: «Члены Общества поощр. худож. съ неудовольствіемъ приняли мою картину «Беллерофонтъ»; говорили, что она совсѣмъ не превосходитъ моего прежняго «Іосифа въ темницѣ», и что имъ оскорбительно, что я не слушаю ихъ совѣтовъ въ разсужденіи композиціи. Эта картина чуть не поколебала отправленія моего въ чужіе края. Мнѣ грозятъ строжайшей инструкціей, и за неисполненіе одного хотя маловажнаго пункта я буду лишенъ срочнаго пребыванія за границей. Ожесточенные поступками Карла Брюлова, они, грозя ему палкой, надъ первымъ мною хотятъ привести въ дѣйствіе свои несбыточныя приказанія. Часто разстроенный душевно, не мудрено, что я впадалъ въ болѣзнь...»

Но, наконецъ, Ивановъ выбрался за границу,—и тутъ онъ съ перваго же дня занялся своимъ дѣломъ, и потомъ, не развлекаясь ничѣмъ на свѣтѣ, не смущаясь ни людьми, ни событіями, ни доходившими изъ Россіи слухами о торжествахъ Брюлова и ликованіяхъ его твореній, продолжалъ это свое дѣло. Брюловъ весь свой вѣкъ дѣлалъ картины и картинки по заказу: кто угодно, съ вѣтра, неизвѣстно какъ и откуда пожаловавшій, объявлялъ ему сюжетъ, просилъ назначить гонораръ, и послѣ того Брюловъ пускался выполнять заказъ, какой бы онъ ни былъ: «Помпею» или «Взятіе на небо», «Осаду Пскова» или «Троицу», рыцарей, итальянокъ, гречанокъ и такъ далѣе, безъ конца,—вѣдь ему было рѣшительно все равно, только бы повычурнѣе и попикарнѣе. Совсѣмъ другое дѣло—Ивановъ. Онъ никогда ничего не сдѣлалъ по чужому заказу: попробовалъ-было какъ-то разъ, два—да бросилъ и закаялся. Все, что послѣ него осталось, было начато и совершено имъ по собственной мысли и влеченію, по собственному глубокому чувству и убѣжденію.

А дѣйствуя такимъ образомъ, разъ за разомъ отказываясь, то отъ фрески въ соборѣ, то отъ альбома графскаго, то отъ саженныхъ холстовъ, то отъ маленькихъ акварелей, навѣрное богатъ не станешь, и тысячей рублей, жадно весь день носимыхъ въ мѣшечкѣ на груди, не наживешь. А когда, вдобавокъ, ты и понятія не имѣешь, какъ дѣлать нравящіеся всѣмъ портреты, когда тебѣ даже и въ голову-то не влѣзаютъ тѣ блестки разговора и остроумія, за которыя мило всѣ улыбаются и считаютъ высокимъ геніемъ, тогда уже окончательно пиши пропало и ничего ни откуда не ожидай и ни на что не надѣйся. Само Общество поощренія художниковъ давнымъ бы давно забросило Иванова и, несмотря на свою поощрительскую программу, преспокойно дало бы ему сто разъ умереть съ голода, если-бъ не многочисленныя упрашиванія самого Иванова и нѣсколькихъ знакомыхъ, постоянно хлопотавшихъ за него въ Петербургѣ. Отъ этого-то, значительная часть писемъ Иванова въ Общество поощренія художниковъ наполнена просьбами о продленіи пенсіона. Легко ли эти упрашиванія приходились ему, мы нынѣче знаемъ изъ его писемъ. А между тѣмъ счастливцу Брюлову никогда не приходилось испытывать и переживать что-нибудь подобное.

Почти всѣ 28 лѣтъ, проведенныхъ въ Римѣ, Ивановъ провелъ вдали отъ художниковъ, вдали отъ публики—немногіе знакомые составляли исключеніе—и такимъ образомъ, когда пришло ему время воротиться на родину, навѣрное никто-бы тамъ не имѣлъ о немъ никакого понятія. Его бы навѣрное встрѣтили въ Россіи какъ человѣка чужого. Но этому помѣшали тѣ немногіе знакомые изъ русскихъ, которые въ теченіи долгаго этого періода бывали наѣздомъ въ Римѣ, и сблизились тамъ какимъ-то чудомъ съ Ивановымъ и знали его картину. Это были московскіе профессора: Погодинъ, Шевыревъ, Чижовъ, принадлежавшіе къ славянофильской партіи, но люди безспорно образованные и интеллигентные, а главное, приверженные къ Иванову: каждый изъ нихъ, возвращаясь въ Россію, печаталъ статьи о русскихъ художникахъ въ Римѣ, и здѣсь ставилъ на самый высокій пьедесталъ—Иванова. Еще болѣе сдѣлалъ для извѣстности этого художника въ Россіи—Гоголь. Онъ жилъ съ Ивановымъ, въ Римѣ, въ самой величайшей интимности, видѣлъ въ немъ (впрочемъ, исключительно со своей, особенной точки зрѣнія) величайшаго художника, и, будучи свидѣтелемъ его постоянной нужды, сильно помогалъ не только могучимъ своимъ перомъ, но и личными рекомендаціями и просьбами о немъ въ Петербургѣ, въ высшихъ сферахъ общества. Все это вмѣстѣ сдѣлало то, что когда Ива-

новъ пріѣхалъ, наконецъ, въ Россію, общее любопытство и симпатіи были возбуждены въ его пользу въ такой степени, какъ этого навѣрное никогда прежде не бывало въ отношеніи къ какому бы то ни было русскому художнику, даже и къ Брюлову. Но общаго увлеченія не произошло, какъ, напримѣръ, по поводу «Послѣдняго дня Помпеи». Можно даже сказать, что большинство, послѣ перваго мгновенія нерѣшительности и колебанія въ отношеніи къ художнику, издалека уже знаменитому и препрославленному, отшатнулось въ другую сторону и стало во враждебную позу. Ивановъ пишетъ своему брату, въ *послѣднемъ* своемъ письмѣ, отъ 14-го іюня 1858: «Сегодня я услышалъ, что съ воскресенья появилась обо мнѣ статья въ «Сынѣ Отечества», гдѣ противоположная партія мнѣ—какъ многіе увѣряютъ: Бруни и другіе члены академіи—прикрылась именемъ весьма малоизвѣстнаго и плохого литератора (Толбина). Статью приносятъ къ картинѣ и читаютъ, сличая. Пименовъ и другіе члены академіи обѣщаютъ выступить съ отвѣтомъ. Онъ мнѣ говорилъ, что картина моя не поразила дворъ, какъ картина Брюлова («Помпея»). Однимъ словомъ, дѣло все еще такъ поставлено, что князь Оболенскій (одинъ изъ близкихъ знакомыхъ и доброжелателей Иванова) говоритъ: «Если давать будутъ дешево, то надобно будетъ въ Москву, гдѣ ее, онъ думаетъ, скорѣй купятъ и лучше»; далѣе: «Ты не повѣришь, что за дерзкую статью напечатали обо мнѣ въ «Сынѣ Отечества». Съ нею ходятъ на выставку провѣрять неученые и способные ко злу. Противоположная партія, т.-е. та, что за меня, едва ли въ состояніи отвратить вполнѣ это зло».

Итакъ, вотъ какую участь испыталъ Ивановъ, воротясь въ отечество: то созданіе, на которое онъ положилъ весь свой талантъ и умъ, куда была вложена вся его жизнь и надежды, было встрѣчено враждой, недоброжелательствомъ и невѣжествомъ. Ивановъ съ тѣмъ и умеръ, что картина его оставалась непроданною, и надо было предпринимать необыкновенныя какія-то усилія, чтобъ продать ее кому-нибудь, въ частныя руки, хоть въ Москву. Но напрасно Ивановъ думалъ, что во всемъ этомъ на первомъ планѣ была непріязненность товарищей по профессіи. Конечно, работала тоже и эта сила: «второй и третьей гильдіи живописныхъ дѣлъ мастера пожимали плечами», говоритъ Г. въ одной своей талантливой статьѣ объ Ивановѣ. Извѣстный живописецъ и профессоръ Зарянко написалъ даже послѣдствіи («Соврем. Лѣтопись», 1864, № 20), статью, гдѣ доказывалъ, что Ивановъ понятія не имѣлъ о перспек-

тивѣ, и все только напуталъ въ своей картинѣ въ этомъ отношеніи. Но роль такихъ людей была вовсе не самая главная. Ивановъ, и его направленіе, и его картина, и его художество, просто не приходились по вкусу публики, просто не нравились. И этому доказательствъ не мало во всей прессѣ тогдашней. А можно ли вообразить себѣ, чтобъ цѣлая масса публики, чтобъ цѣлая пресса, ея близкая выразительница, такъ-таки сплошь и повально были подъ рабскимъ вліяніемъ не только одного Бруни, но и цѣлой толпы какихъ бы то ни было недоброжелательныхъ членовъ академіи. Академію и тогда уже слишкомъ мало уважали, и никто не былъ расположенъ внимать ея художественнымъ указаніямъ и приговорамъ. Нѣтъ, это пятно надо снять съ академіи и ея профессоровъ: ихъ вліяніе на этотъ разъ было совершенно незначительно, и никоимъ образомъ не могло идти въ разсчетъ. Большинство публики было недовольно само по себѣ, собственными средствами и вкусами.

Прежде всего публика заговорила о томъ, что̀ ей было въ картинѣ особенно антипатично: о колоритѣ и еврейскихъ типахъ. «Гобеленевскіе обои!» повторяли одни, глядя на «Явленіе Христа народу». «Семейство Ротшильдовъ!» язвительно подхватывали другіе. «Зеленый рабъ—да это Юлія Пастрана!» восклицали еще третьи. Вотъ, приблизительно, все, чѣмъ вначалѣ ограничивались сужденія недовольной толпы. Чего больше было и требовать съ нея, когда она столько времени провела подъ гнетомъ художественной лжи, шумихи и всяческаго преувеличенія. Вкусъ былъ давно перепорченъ, понятіе о правдѣ и красотѣ въ искусствѣ—давно уже затемнено—что̀ же послѣ этого мудренаго, если всякая попытка вывести публику на новые пути непріязненно поражала и оскорбляла ее. По словамъ Рамазанова (очень справедливымъ, несмотря на то, что Рамазановъ былъ, можно сказать, ярый поклонникъ Брюлова), публика наша «привыкла въ послѣднее время принимать впечатлѣнія лишь отъ яркаго разцвѣчиванія красками, отъ какой-то сборѣе иллюминаціи, нежели живописи» (статья: «Нѣсколько словъ воспоминанія объ Ивановѣ»—«Московскія Вѣдомости», 1858, № 84). Еще бы публикѣ, пріученной въ теченіи 30-хъ и 40-хъ годовъ къ вертопрашеству и всему фельетонному въ искусствѣ, не насмѣхаться надъ полотномъ, гдѣ работала рука серьёзнаго, правдиваго таланта, еще бы не преслѣдовать его побрякушечнымъ остроуміемъ! Ей дико, ей чуждо и темно было то, что̀ представлялось на Ивановской картинѣ. Она тутъ ничего не понимала и путалась. Она припоминала свое восхищеніе и, можетъ быть, слезы передъ

«Магдалиной» того же самаго Иванова — картиной, гдѣ, несмотря на истинный талантъ и чувство, было все-таки еще столько академическаго, и потому доступнаго, для всѣхъ привычекъ. По натурѣ своей враждебный всему истинно-талантливому, Кукольникъ во время-оно писалъ про эту «Магдалину»: «На выставкѣ 1836 года большинство восхищалось безъ мѣры картиною Иванова «Явленіе Христа Маріи Магдалинѣ», потому что въ очахъ ея счастливо отразились два смѣшанныя противоположныя чувства, печали и радости; о г. Ивановѣ критику говорить весьма затруднительно: по одному произведенію невозможно судить о силѣ и степени таланта, тѣмъ болѣе, что и все достоинство этого единственнаго произведенія заключается въ выраженіи одного лица. Въ сочиненіи нѣтъ ничего особенно новаго; рисунокъ не безъ упрековъ; колоритъ безъ больной теплоты» («Библіотека для Чтенія», 1843, т. 56, отд. III, стр. 52). Вотъ какъ думали вначалѣ многіе, конечно, подъ вліяніемъ одурѣнія отъ великихъ, несравненныхъ произведеній Брюлова. Но теперь, когда дѣло шло о новомъ произведеніи, въ тысячу разъ болѣе глубокомъ, чѣмъ первая картина, припомнили вдругъ и «Магдалину». Ее вытащили впередъ, чтобъ ею, какъ колотушкой, бить по головамъ и Иванова, и его поклонниковъ, если такіе найдутся. Признано было, что Ивановъ выбился изъ настоящей колеи, и въ заносчивомъ à la Gogol высокомѣріи заблудился и затерялся въ непроходимой глуши. Такой приговоръ сдѣлался такъ крѣпокъ и распространенъ, что г. Кулишъ, по собственному его признанію, никогда не видавшій картины Иванова, высказалъ тогда же, что Ивановъ—это «несчастный художникъ, который, обнаруживъ истинный талантъ въ изображеніи Маріи Магдалины, всю жизнь бился потомъ—и едва ли не напрасно—чтобъ стать выше искусства въ его общепринятыхъ условіяхъ»... «Ивановъ пожертвовалъ всѣмъ для выраженія невыразимаго, даже, какъ говорятъ, и законами живописи» (статья: «Переписка Гоголя съ Ивановымъ» — «Современникъ», 1858, т. 72, отд. I, стр. 162 и 174). Толбинъ — тотъ, про котораго говорилъ Ивановъ въ письмѣ брату — называлъ «Магдалину» — «переломъ, въ которомъ одномъ отразилось все чисто Ивановское». При этомъ онъ увѣрялъ, что, «предавшись вполнѣ одному изученію живописи, Ивановъ позабылъ или пренебрегъ главнымъ придаточнымъ къ своему огромному таланту: ученымъ образованіемъ», а самъ, вмѣсто того, предался «тлетворному, пагубному вліянію Овербека» («Сынъ Отечества», 1858, № 25). Нѣкто Дестунисъ тоже очень высоко ставилъ «Магдалину», называлъ ее «поразительнымъ проявленіемъ даро-

валія Иванова», а потомъ, по поводу второй картины его, говорилъ: «Несчастный Ивановъ вдался въ два заблужденія, которыя не только замедлили его саморазвитіе, но и дали ему гибельное направленіе. Первое, что онъ пріурочилъ свое развитіе къ одной огромной картинѣ. Вращаясь все около одного центра, самые предметы его изученія втягивали его въ нѣкоторую односторонность. Второе заблужденіе Иванова еще понятнѣе. Встрѣтясь впервые съ художникомъ мыслителемъ, Овербекомъ, добросовѣстный и добродушный Ивановъ былъ пораженъ его отвлеченными воззрѣніями, и увлекся ими безъ оглядки. Онъ подчинился его вліянію тѣмъ именно, что самъ началъ вдаваться въ германскія отвлеченности... Поглощенный внутреннею жизнью, Ивановъ перевоспитывалъ себя не столько практикой, сколько думой... Картина «Явленіе Христа народу»—не самъ Ивановъ, а только уклоненіе его отъ самого себя... Она не болѣе, какъ грустный результатъ задержаннаго вдохновенія» («Свѣточъ», 1861, кн. IX, статья: «Ивановъ и Брюловъ передъ судомъ И. С. Тургенева», стр. 88 и слѣд.). Еще одинъ писатель того времени, Зотовъ, восклицалъ: «Въ «Явленіи Христа Магдалинѣ» видѣнъ весь Ивановъ; по этой картинѣ можно было угадывать, чѣмъ бы онъ могъ быть, еслибъ ложная идея не увлекла его на ложный путь... Это одно произведеніе заставляетъ забыть его послѣдующія ошибки и увлеченія. Отъ долгой борьбы художника со своимъ сюжетомъ, исполненіе второй картины его, тщательное, обдуманное, вышло отчасти холоднымъ, вымученнымъ, лишеннымъ жизни, вдохновенія... Картина въ общемъ впечатлѣніи суха и блѣдна... Нетрогающійся идеею картины обратитъ вниманіе только на исполненіе ея, а оно составляетъ самую слабую сторону ея... Обращеніе живописныхъ образовъ въ механическое орудіе породило тотъ прозаизмъ выраженія, который, несмотря на глубины и поэтическіе замыслы, такъ сильно поражаетъ всѣхъ въ «Явленіи Христа народу» («Сѣверное сіяніе», 1862, № 2).

Этихъ примѣровъ довольно. Не зная ни единой черточки изъ жизни и отношеній Иванова въ Римѣ, къ своимъ и иностраннымъ художникамъ, не имѣя ни малѣйшихъ свѣдѣній о степени его образованія, о его большихъ или малыхъ занятіяхъ, у насъ уже вдругъ рѣшили, что Ивановъ—неучъ, увлекся худыми примѣрами, и вотъ несчастный плодъ его неразумія и одичалости! Все у него сухо, прозаично, все у него ошибка и заблужденіе, все у него паденіе и застой—то ли дѣло картины Брюлова, гдѣ блестятъ и умъ, и великое образованіе, и надлежащимъ образомъ развитый талантъ, и глубокое чувство, и вся истинная поэзія!

Это была бы, однако же, великая несправедливость—утверждать, что въ 1858 году у Иванова были, среди нашей публики, все только одни враги. Нѣтъ, на его сторонѣ были и люди ему сочувствующіе. То были, во-первыхъ, люди просто и искренно любящіе искусство, и дѣйствительно его понимающіе: ихъ было, впрочемъ, не много, и они были слабы, и въ ту минуту ихъ голоса не было слышно. Такими оказались: нѣкоторые профессора, литераторы и любители изъ среды публики. Во-вторыхъ, на сторонѣ Иванова оказались тоже и энтузіасты, пламенные и необузданные. Одинъ изъ нихъ, явно стараясь копировать извѣстную статью Гоголя объ Ивановѣ, и, пожалуй, если можно, пойти даже еще дальше, писалъ изъ Рима, до пріѣзда картины въ Россію: «Работать надъ картиною болѣе нельзя. Никакая придирчивая критика, ни одинъ техникъ или знатокъ дѣла не въ состояніи были бы откопать въ ней мѣсто, неудовлетворительно исполненное или неглубоко обдуманное. Сочиненіе, рисунокъ, размѣщеніе фигуръ, выраженіе лицъ, поворотъ каждаго тѣла, движеніе каждаго члена, каждый мускулъ, складка одежды, листъ на деревѣ—все изучено, испробовано, доведено до послѣдняго предѣла возможной правды въ частностяхъ и цѣломъ. Тутъ нѣтъ уже мѣста предположеніямъ, что то или другое могло бы быть лучше или вѣрнѣе, что повернуть можно бы сюжетъ или подробности такъ, а не этакъ—все именно такъ, и иначе быть не можетъ! Все какъ будто родилось вмѣстѣ съ сюжетомъ, и вышло сросшееся съ нимъ на полотно» («Русскій Вѣстникъ», 1857, т. IX, стр. 214). Другой говорилъ: «Нѣтъ въ картинѣ ничего отвлеченнаго, сверхъестественнаго, а взято дѣйствіе, какъ оно происходило въ натурѣ... Въ техникѣ Иванова встрѣчаемъ такое многостороннее разнообразіе, какъ въ самой натурѣ... Такую заботливость и осмотрительность въ сочиненіи находимъ мы весьма не у многихъ первоклассныхъ художниковъ: такую непогрѣшительность въ композиціи встрѣчаемъ мы только у Рафаэля и Леонардо-да-Винчи... Болѣе естественнаго и прекраснаго изображенія нагого тѣла мы не встрѣчали ни у кого изъ великихъ художниковъ... Такую истину въ лѣпкѣ формъ встрѣчаемъ мы только у Тиціана и у Тинторетто... Иванову, какъ живописцу историческому, первому принадлежитъ тріумфъ сочетанія истиннаго съ прекраснымъ, («Явленіе Христа народу», статья Мокрицкаго, Москва 1858, стр. 25, 29, 69, 71). Наконецъ, превзойдя въ своей восторженности все, что́ было сказано кѣмъ бы то ни было, Хомяковъ провозглашалъ: «Нашъ Ивановъ стоялъ на твердой почвѣ, и могъ совершить то, что́ было не-

возможно для художниковъ Европы... Гдѣ бы ни стояла картина Иванова, всѣ остальныя картины (кромѣ лучшихъ произведеній Рафаэлевской эпохи) при ней будутъ казаться по рисунку своему или мясистыми, грубыми и неблагородными, или сухими, натянутыми и мертвыми, или мелкими и манерными... Живопись ея достойна рисунка, какъ въ отношеніи къ свѣтотѣни, такъ и въ отношеніи къ краскѣ... Въ каждой части картины самый взыскательный критикъ найдетъ всю мягкость и тѣлесность, все разнообразіе и богатство, возможныя въ масляной живописи. Сами венеціанцы не превосходили Иванова тѣлесностью и горячностью тоновъ... Сосѣдство этой картины будетъ также убійственно для живописцевъ-колористовъ, какъ и для живописцевъ-рисовальщиковъ... По высотѣ идеала эта картина уступаетъ, можетъ быть, двумъ-тремъ; но по совершенству сочетанія всѣхъ достоинствъ, замысла, выраженія, рисунка и колорита, а еще болѣе по строгости и трезвенности стиля, она не имѣетъ равной въ цѣломъ мірѣ» («Картина Иванова»—«Русская Бесѣда», 1858, т. III, и «Собраніе сочиненій», т. I, стр. 653).

Эти примѣры достаточно показываютъ, какіе были у Иванова, уже и въ самое первое время, рьяные энтузіасты. Но ихъ было, вообще говоря, немного—можно ли сравнить ихъ небольшую и рѣдкую кучку, съ огромной массой недовольныхъ? Притомъ, вглядываясь въ дѣло, нельзя не признаться, что эти послѣдніе гораздо болѣе заслуживаютъ вниманія, чѣмъ первые. Они были натуральнѣе, естественнѣе; они не играли никакой роли, и не поднимали себя, по предварительному умыслу, на дыбы энтузіазма. Они точь-въ-точь столько же просто и наивно-презрительно смотрѣли на картину Иванова, какъ прежде просто и наивно приходили въ неописанный восторгъ отъ картинъ Брюлова. У Иванова они ничего не понимали, у Брюлова—все. Тамъ отъ начала и до конца все имъ было противно и враждебно; тутъ, напротивъ, все отъ первой и до послѣдней буквы было имъ мило и любезно. Въ силу этого, они вполнѣ натурально одного художника гладили противъ шерсти, другого по шерсти. Неужели это было не лучше, чѣмъ притворяться и фальшивить? Вначалѣ, конечно, масса публики призадумалась-было. Картина не нравится, это правда, но что-то шепчетъ въ ухо: «А Гоголь? А его статья? Развѣ онъ не писалъ, что подобнаго явленія еще не показывалось отъ времени Рафаэля и Леонардо-да-Винчи? Развѣ онъ не писалъ, что Ивановъ, изнывая въ нищетѣ, и давно умерши для всего міра, кромѣ своей работы, сидитъ надъ такимъ колоссальнымъ дѣломъ, какого не затѣвалъ доселѣ никто? А что,

если картина и въ самомъ дѣлѣ колоссальна, да только мы этого не возьмемъ въ толкъ?» Но эта минута колебанія продолжалась не долго, и послѣ появленія въ печати первыхъ неблагопріятныхъ отзывовъ, масса разомъ и откровенно перевалила на сторону отважныхъ смѣльчаковъ. И это было прекрасно. Что̀ хорошаго было въ рѣчахъ противоположной стороны?

Одни изъ людей, сюда относящихся, всего только и дѣлали, что подобострастно перефразировали слова Гоголя; другіе трактовали совершенства Иванова съ точки зрѣнія технической, классной, чисто-академической; наконецъ, третьи, главные, восхищались картиной Иванова, ничуть не изъ-за нея самой, а изъ-за соображеній совершенно посторонникъ. Ивановъ былъ для нихъ не источникъ, а предлогъ лирическихъ порывовъ, восторговъ и негодованія,—наставленій, гнѣва и упрековъ,—ликованія и жалобъ. Ивановымъ и его картиной иные восхищались уже заблаговременно, не видавъ еще ихъ: «Сколько лѣтъ ждали мы,—говоритъ Хомяковъ,—чтобы Ивановъ кончилъ свою картину, свою «одну» картину, и какъ-то мысль свыклась съ тѣмъ, что одна только и будетъ картина отъ него, что онъ, кромѣ этой картины, ничего не напишетъ». Патріотическая московская партія тотчасъ отвела ему то мѣсто, которое давно было вакантно — мѣсто истинно-русскаго художника. «Ивановъ былъ въ живописи тѣмъ же, чѣмъ Гоголь въ словѣ, и Кирѣевскій въ философскомъ мышленіи», говорила и писала партія, и, не глядя на картину Иванова, трактовала о «національности» (которой въ этой картинѣ именно-то и не было), трактовала о самомъ художникѣ, какъ объ одномъ изъ тѣхъ великихъ русскихъ призванниковъ, которыхъ «трудъ не есть трудъ личный, а общенародный русскій», и послѣ которыхъ «жатва будетъ всемірная». Не то было важно, что̀ именно вложено въ картину, и каковы ея художественныя формы и подробности, а то, что «Ивановъ (какъ писалъ Хомяковъ) не могъ не быть выше всѣхъ остальныхъ художниковъ, коль скоро имѣлъ счастіе принадлежать не пережитой односторонности латинства, а полнотѣ церкви, которая пережита быть не можетъ... Картина Иванова—совершенство живописи эпической, т.-е. стѣнной церковной. Въ ней предчувствіе иконописія, и далѣе этого никто не доходилъ». Понятно, что при такомъ взглядѣ, очень пріятно и полезно было вдругъ занести въ свои списки своего собственнаго художника, который превосходитъ остальныхъ живописцевъ цѣлаго міра, и тѣмъ, между прочимъ, оправдываетъ слова Гоголя, что «глубоко заронилось въ природу славянскую то, что̀ скользнуло только по природѣ другихъ на-

родовъ», и что, «косясь, посторанивaются и дaютъ дорогу Россіи, мчащейся и вдохновенной Богомъ, другіе нaроды и государствa». Поэтому, всѣ тѣ люди, преимущественно москвичи, которые твердо вѣрятъ всему этому, не щадили ничего, чтобъ высказать объ Ивановѣ словесно и печатно все, что́ только имъ приходило въ голову патріотическаго и національнаго, и Хомяковъ однажды даже объяснилъ Иванову прямо въ глaзa, что онъ именно тѣмъ-то и великъ, что «былъ ученикомъ иконописцевъ и въ то же время *умѣлъ смѣлъ*». Ивановъ, зная за собой совершенно иное, вѣроятно, пришелъ въ великое смущеніе, однакожъ молча пожалъ руку мистическому оратору.

Итакъ, восхищавшихся Ивановымъ было мало. Большинство осталось недовольно имъ. И онъ это слишкомъ хорошо зналъ и видѣлъ. Неуспѣхъ и равнодушіе скосили его. Всего шесть недѣль пожилъ онъ въ Петербургѣ и—умеръ. Значитъ, онъ кончилъ точно такъ, какъ свою жизнь началъ, какъ всю жизнь велъ, по его собственнымъ словамъ: въ бѣдахъ. Какая разница въ сравненіи съ счастливымъ и давнымъ-давно получившимъ всякаго сорта вѣнцы—соперникомъ его, Брюловымъ!

II.

Изданное теперь собраніе писемъ Иванова, за цѣлыхъ 34 года его жизни, даетъ возможность понять, во всей полнотѣ, натуру и характеръ этого необыкновеннаго человѣка.

Въ немъ проявлялось, прежде всего, поразительное соединеніе мягкости душевной съ непобѣдимыми ничѣмъ на свѣтѣ силою воли, убѣжденіемъ и стремительностью къ избранной цѣли. Встрѣчавшимъ его лишь изрѣдка, вскользь, онъ могъ казаться робкимъ, застѣнчивымъ, нерѣшительнымъ. Онъ всю жизнь получалъ со всѣхъ сторонъ совѣты: во-первыхъ, потому, что самъ просилъ ихъ отъ каждаго, съ кѣмъ былъ хоть на нѣкоторое время поближе, а, во-вторыхъ, потому, что каждому изъ его родныхъ и знакомыхъ вѣчно казалось, глядя на его внѣшнюю застѣнчивость, что онъ самый-то и есть человѣкъ, который самъ ничего не можетъ и не умѣетъ, и которому надо помогать. Но какъ всѣ они жестоко ошибались! Ивановъ всѣхъ всегда выслушивалъ, и никого никогда не слушался.

Родился онъ въ семьѣ, можно сказать, патріархальной по привычкамъ и преданіямъ Александровскаго времени. До самой смерти своего отца, т.-е. до 42-лѣтняго своего возраста, онъ

оставался къ отцу въ отношеніяхъ такого наружнаго подчиненія и глубочайшей преданности, какъ-будто бы все еще былъ десятилѣтнимъ ребенкомъ. И это было условлено не только семейными патріархальными преданіями, но и страстною любовью къ отцу, доходившею до обожанія. Но этого мало: долгое время для него оставалась чѣмъ-то въ родѣ высшаго начальства даже старшая сестра, которой онъ не переставалъ говорить «вы» даже въ своихъ зрѣлыхъ годахъ, и которая считала необходимымъ дѣлать ему странные выговоры и давать уморительные совѣты, въ родѣ: «трудись и безъ нужды не развлекайся», «вѣра и упованіе на Промыселъ должны быть всегда съ тобою», «уважай достойныхъ», «не забывай оказывать почтеніе и тѣмъ, кто имѣлъ право онаго отъ тебя требовать»— и все это даже въ 1833 году, когда Иванову было уже 27 лѣтъ, и онъ давно сталъ самостоятельнымъ человѣкомъ и уважаемымъ всѣми художникомъ. Но, относясь ко всѣмъ роднымъ съ крайнею мягкостью, любовью и почтеніемъ, онъ все-таки не давалъ имъ спуску, и постоянно дѣлалъ имъ отпоръ. Въ 1836 году онъ пишетъ отцу: «Лапченко (живописецъ, товарищъ Иванова) получилъ черезъ меня письмо отъ родителей своихъ, за что несказанно благодаритъ васъ; представьте: большая половина письма его есть инструкція, какъ должно вести себя—пишетъ кто-то, за незнаніемъ грамоты, изъ домашнихъ. О, инструкціи!» Другими словами—«имѣяй уши, да слышитъ». Въ томъ же письмѣ онъ обращается и къ своей матери: «Матушка! вы можете обижаться тѣмъ, что въ одномъ изъ 50 или болѣе писемъ забылъ приписать къ вамъ особенную строчку. Вы знаете, что я съ колыбели и до сихъ поръ воспитываюсь только бѣдами, слѣдовательно, можете себѣ представить, какъ прискорбно бываетъ получить непріятности такого рода, которыя могутъ и не быть, если мы сами того захотимъ». Въ письмѣ къ сестрѣ 1846 года онъ также говоритъ: «мы (т.-е. Александръ и Сергѣй Ивановы) васъ глубоко уважаемъ и любимъ. Кромѣ общихъ съ нами добрыхъ качествъ нравственныхъ, вкорененныхъ въ насъ еще примѣромъ родителей, вы имѣете преимущество предъ нами, какъ старшая. Русская добродѣтель, еще до-христіанская — уважать старшинство—вполнѣ свѣтится въ душахъ нашихъ. Но при всемъ томъ, нельзя вамъ не замѣтить, что вы не вполнѣ чувствуете ваше назначеніе: вы радуетесь нашимъ успѣхамъ, называете ихъ славою, думаете, что жить въ славѣ, вами созданной, уже есть достиженіе послѣдней степени блаженства. Но это совсѣмъ не такъ на дѣлѣ».

Что касается до посторонних людей, то уже въ 1829 году, еще не ѣздивши заграницу, онъ, по поводу разнообразныхъ совѣтовъ, даваемыхъ ему со всѣхъ сторонъ насчетъ его путешествія, писалъ своему другу и истинному воспитателю, живописцу Рабусу: «Мнѣнія людей, совѣтчиковъ, не хочу придерживаться; трудно, не зная дѣла, слушать ихъ совѣты, противорѣчащіе между собою». Цѣлыхъ двадцать лѣтъ спустя, онъ пишетъ, въ 1848 году, своему младшему брату Сергѣю: «Возьми себѣ одинъ разъ навсегда за правило—дѣйствовать согласно съ твоимъ собственнымъ убѣжденіемъ, а мнѣнія другихъ не иначе принимать, какъ перебравъ ихъ строжайшей критикой со всѣхъ сторонъ». На основаніи такого правила, онъ и самъ поступалъ въ продолженіи всей своей жизни. Общество поощренія художниковъ, весь свой вѣкъ (особливо 30 — 40 лѣтъ назадъ) считавшее своимъ долгомъ не только помогать художникамъ матеріальными средствами и давать деньги тѣмъ изъ нихъ, у кого ихъ не было—что дѣйствительно было прямою его обязанностью, но еще вмѣшивалось въ ихъ художественную жизнь и дѣятельность, и поминутно спѣшило умудрять русскихъ художниковъ назиданіями, требованіями и взысканіями. Оно не положило охулки на руку и въ отношеніи къ Иванову, и поминутно посылало ему разнообразные совѣты и наставленія. Но если Ивановъ, глубоко и искренно любя свое семейство, все-таки никогда не слушался его въ дѣлахъ житейскаго и нравственнаго свойства, и постоянно давалъ каждому изъ родныхъ по отпору, то точно такъ онъ никогда не слушался и Общества поощренія художниковъ, даромъ что много лѣтъ сряду зависѣлъ отъ его благоволенія и капризовъ, въ матеріальномъ отношеніи. Письма его въ это Общество—это рядъ мягкихъ фразъ и жесткихъ отпоровъ. Задаетъ оно ему сюжеты—онъ ихъ не принимаетъ; уговариваетъ оно его оставлять на время въ сторонѣ большія работы и писать маленькія картины для его лотерей, онъ все это тотчасъ же отводитъ отъ себя рѣшительною рукою — и продолжаетъ дѣлать по-своему. Онъ пишетъ однажды, въ концѣ 1832 года, сестрѣ своей изъ Рима: «Я работаю болѣе для удовлетворенія желаній собственныхъ, т.-е. чтобъ удовлетворить вѣчно недовольный главъ, нежели для снисканія чего». Съ такого человѣка взятки гладки — его не доймешь никакимъ совѣтомъ, никакимъ требованіемъ и взысканіемъ. Въ 1838 году, Ивановъ пишетъ Обществу: «Изъявляя совершенную благодарность и полное довольство высокимъ моимъ покровителямъ за милостивое ихъ жалованье, я въ то же время, слѣдуя откровенности, съ которою они дов-

волили мнѣ выражаться еще инструкціей, не могу не замѣтить, что ихъ желаніе торопить меня моимъ огромнымъ трудомъ мнѣ кажется не совсѣмъ понятнымъ. У меня не только каждый день, — каждый часъ на отчетѣ, а дѣло идетъ медленно. Безпрестанно сравнивая себя со всѣмъ, что Римъ и Италія имѣютъ классическаго и высокаго, я всегда остаюсь въ какомъ-то заботливомъ недовольствѣ, иногда въ отчаяніи. Нѣтъ черты, которая бы не стоила мнѣ строгой обдуманности. Для окончанія такого труда, я смѣю увѣрить, что нужно болѣе времени, чѣмъ предполагаютъ высокіе мои покровители. Гдѣ-жъ я найду способы къ его окончанію? Почтеннѣйшее Общество мнѣ объявляетъ, что послѣдняя ихъ помощь есть окончательное отъ нихъ пособіе; собственныхъ денегъ у меня нѣтъ, чтобы полупѣшему дойти до дому. Я съ прискорбіемъ вижу 1840-й годъ». Какъ онъ смотрѣлъ на «своихъ покровителей» видно изъ слѣдующихъ двухъ писемъ. Въ одномъ, къ отцу, 1841 года, онъ говоритъ: «Мнѣ недавно случилось прочесть отчетъ Общества поощренія художниковъ: они имѣютъ 15,000 въ годъ — сумма эта, въ рукахъ одного умнаго и одареннаго чувствомъ изящнаго могла бы весьма много значить. Но у нихъ она Богъ знаетъ какъ расходится. Меня они оставили на половинѣ дороги, сказавъ, что у нихъ есть другіе молодые люди, достойные пенсіонерства. Бакуниной они выдавали почти то же, что и мнѣ, въ продолженіи трехъ лѣтъ— деньги совершенно пропащія. Мелкихъ пенсіонеровъ у нихъ много, изъ которыхъ ни одинъ не будетъ что-нибудь значить. Они очень щедры на словесныя одобренія: я, напримѣръ, напечатанъ тамъ весьма красиво, а въ головѣ у меня безпрестанное недоумѣніе, какимъ образомъ продолжать трудъ мой, весьма нравящійся, всѣми славимый?» Въ другомъ письмѣ, къ Г. П. Галагану, 1842 года, онъ говоритъ: «Я получилъ отъ Общества бумагу, и вотъ она, разберите ее: тутъ какъ-будто два человѣка—одинъ благонамѣренный, а другой—мерзавецъ. Еслибы письмо было все въ духѣ сего послѣдняго, то я бы послалъ имъ чертежъ съ предложеніемъ написать для нихъ картину: тотъ моментъ, когда распятый Христосъ, на испросъ утолить жажду, получаетъ въ свои уста губку, наполненную горчицей. Я страдаю глазами уже цѣлый годъ, не знаю, когда это кончится. Но если Богу будетъ угодно высвободить меня изъ этого положенія, то уже, разумѣется, я всѣ силы употреблю, чтобы скорѣе кончить мою большую картину, отолкнувъ въ сторону все, къ ней не относящееся; а они хотятъ любовь къ ней разорвать другою, и называютъ это убійство отдыхомъ и легкимъ упражненіемъ

моей кисти! Да какое это легкое упражненіе? У меня его совсѣмъ нѣтъ. Я не Вернетъ и не Подести: всякій трудъ мой ровенъ, съ разницею, что для малаго размѣра картины меньше нужно времени на ея исполненіе. Да потомъ еще повторяютъ мнѣ самое обидное, что хотятъ помочь мнѣ, не отнимая отъ другихъ художниковъ своего покровительства. Возможное ли это дѣло, чтобы когда-нибудь я позволилъ себѣ подумать строить на несчастіи другихъ мое благополучіе?»

Тотъ, кто находитъ Общество «благодѣтелей» такимъ, какимъ тутъ оно описано, конечно, навѣрное не могъ быть его всепокорнѣйшимъ слугой.

Но болѣе того. Не только роднымъ и Обществу, но и самымъ дорогимъ, самымъ избраннымъ душою людямъ Ивановъ не давалъ завладѣвать собою, и постоянно былъ настороже самой полной своей интеллектуальной, творческой и душевной независимости. Кажется, никого во всю жизнь онъ больше не уважалъ и не цѣнилъ, какъ Гоголя. Едва съ нимъ познакомившись, онъ пишетъ про него, въ 1841 году, своему отцу, что это «человѣкъ необыкновенный, имѣющій высокій умъ и вѣрный взглядъ на искусство. Какъ поэтъ, онъ проникаетъ глубоко, чувства человѣческія онъ изучилъ и наблюдалъ ихъ, словомъ — человѣкъ самый интереснѣйшій, какой только можетъ представиться для знакомства. Ко всему этому онъ имѣетъ доброе сердце». Въ другихъ письмахъ онъ говоритъ, что относится къ нему и его сочиненіямъ «съ благоговѣніемъ», что «смотрѣлъ на него всегда съ глубочайшимъ уваженіемъ, вѣрилъ и поворствовалъ ему во всемъ», называетъ его «нашъ общій другъ и учитель» и, несмотря на все это, все-таки не даетъ ему ни на одинъ вершокъ ворваться въ свой внутренній міръ и распоряжаться тамъ по-свойски (что Гоголь такъ любилъ и практиковалъ всегда со всѣми своими знакомыми). Однажды, въ 1847 году, Ивановъ пишетъ Гоголю: «Получилъ я письмо ваше отъ графини Толстой, но такъ какъ письма ваши изъ Неаполя превышали всѣ непріятности, какія мнѣ случилось претерпѣть эту зиму, то я рѣшился оставить это ваше письмо не распечатаннымъ, дабы не пострадать снова». Скоро потомъ онъ снова ему пишетъ: «Вы не знаете подробностей моего положенія, слѣдовательно, строго говоря, нельзя мнѣ васъ винить, и потому пока, какъ есть дѣло, я прошу у васъ извиненія за то, что письма мои были извѣстной страсти, изъ чего вышла новая бѣда. Чтобы не задѣть никого, я молчу, даже написавъ къ вамъ: молчаніе точно есть единственное средство въ настоящую минуту. Скажу одно, что тогда только чувствую себя вполнѣ

сильнымъ, спокойнымъ и даже способнымъ служить другимъ, когда нѣтъ покушенія на мою независимость». Въ 1844 году онъ ему пишетъ: «Напрасно, кажется, вы думаете, что моя метода — силою сличенія и сравненія этюдовъ подвигать впередъ трудъ, доведетъ меня до отчаянія. Способъ сей согласенъ и съ выборомъ предмета, и съ именемъ русскаго, и съ любовью къ искусству. Я бы могъ очень скоро работать, еслибъ имѣлъ единственною цѣлью деньги».

Если, такимъ образомъ, не дѣйствовали на него слова, увѣщанія и совѣты Гоголя, то насколько же еще менѣе могли имѣть на него вліяніе назиданія прочихъ друзей, уважаемыхъ имъ, конечно, въ сто разъ менѣе? И вотъ онъ однажды пишетъ Чижову, въ 1842 году: «То, что я пишу—не деликатно, не отработано, такъ какъ и самъ я, но что же дѣлать? Я иначе не умѣю. Я васъ уже предварялъ, что въ письмахъ я грубъ, а это поправить — выше силъ моихъ. Теперь позвольте разобрать письмо ваше. Вы говорите, что Жуковскій говоритъ вамъ такія истины, противъ которыхъ нельзя ничего сказать, напримѣръ: «Да куда онъ пишетъ такія картины, вѣдь и поставить некуда!» Со времени Брюлова, историческіе живописцы приняли за необходимость уже являться изъ Рима въ отечество съ чѣмъ-нибудь значительнымъ, отъаттестованнымъ въ чужихъ краяхъ, съ этимъ только аттестатомъ можно у насъ найтиться и поставить себя на ноги. Да кромѣ того и въ Европѣ, посредствомъ такихъ картинъ мы пріобрѣтаемъ въ себѣ вѣру. Конченная большая картина русскаго художника, пріобрѣтшая европейское вниманіе, не можетъ быть, чтобы не нашла мѣста въ нашемъ отечествѣ. Я знаю, что для коммерціи лучше бы было писать маленькія вещицы, но какъ не стыдно говорить это Василію Андреевичу! При его умѣ и образованіи, я думаю, онъ войдетъ гораздо глубже въ мое положеніе, и тогда бы онъ увидѣлъ, что я только-что несчастливъ, но совершенно правъ, видя приплесковъ и иностранцевъ [1]), завладѣвающихъ всѣмъ вниманіемъ моего отечества, зная, какія громадныя суммы издерживаются правительствомъ на покупку самыхъ посредственныхъ картинъ. Могу ли я, будучи русскимъ, смотрѣть на все это хладнокровно?». Тому же профессору Чижову Ивановъ писалъ въ 1845 году: «Я грустенъ, — это потому, что при всей моей ежедневной дѣятельности, люди прибѣгаются ко мнѣ, видятъ во мнѣ бездѣйствіе, даже

[1]) Ивановъ подразумѣваетъ здѣсь Брюлова и Бруни, другіе отзывы о которыхъ подобнаго же рода я еще нѣсколько разъ приведу ниже.

искушаются придумывать способы, чтобы возбудить меня къ дѣятельности — это обиднѣе насильства невѣжественнаго властелина. Вытаскивать глубокія тайны изъ моей души въ оправданіе —значило бы истощать силы, и только на короткое время заставлять ихъ убѣдиться, а между тѣмъ, истощая свои силы на это, болѣе ослабѣваешь, чѣмъ на самой работѣ». Наконецъ, къ какому-то неизвѣстному намъ лицу Ивановъ писалъ въ 1846 году, что онъ намѣренъ, до самаго окончанія своей картины, никого не пускать къ себѣ въ мастерскую: «это, —говоритъ онъ,—конечно, спасетъ мое время и цѣлость мыслей. Уединеніе и отстраненіе отъ людей мнѣ столько же необходимы, какъ пища и сонъ—убѣдитесь въ этой истинѣ: это вамъ говоритъ художникъ, прожившій до 40-лѣтняго возраста».

Вотъ какъ энергично думалъ и дѣйствовалъ тотъ самый человѣкъ, который давнымъ-давно признанъ у насъ робкимъ, нерѣшительнымъ, слабымъ и ото всѣхъ зависимымъ, и съ такимъ аттестатомъ гуляетъ у насъ въ головѣ.

Съ точно такою независимостью и своеобразіемъ мысли относился Ивановъ, въ продолженіи всей своей жизни, и къ своимъ художественнымъ учителямъ, живописцамъ стараго и новаго времени. Ни которому онъ не былъ согласенъ поклоняться съ рабскимъ подобострастіемъ, по преданіямъ, по вкладываемымъ обыкновенно въ голову готовымъ мнѣніямъ. Вмѣсто всего этого, онъ всюду обращался со свѣжею, самостоятельною мыслью, съ пытливымъ взглядомъ и принималъ лишь то, въ достоинствѣ чего самъ убѣждался. Именно, вслѣдствіе этого, онъ раньше всего разочаровался въ академіи художествъ, воспитавшей его, но не успѣвшей наложить своего ярма на его умъ. Онъ вовсе не вѣрилъ въ нее, ни въ ея воспитаніе, ни въ награды и преимущества ея, и еще менѣе въ ея понятія, мнѣнія и благотворное вліяніе на художество и художниковъ.

Уже въ 1838 году онъ пишетъ отцу про воспитаніе младшаго брата своего Сергѣя: «Если на-счетъ вспомоществованія его воспитанію и тамъ и тутъ навсегда уже упущено, или не могло быть, то ужъ дѣлать нѣчего, отдайте его въ академію. Генеральное приготовленіе въ наукахъ я желалъ бы дать ему гораздо бо́льшее, нежели въ нашей академіи... Съ прискорбною душою соглашаюсь, чтобы юноша поступилъ въ хаосъ безтолковыхъ методъ наукъ въ нашей академіи художествъ, а письмо сіе да будетъ ему въ памятникъ, что́ нужда и крайность дѣлаютъ». «Академія, — пишетъ онъ ему же въ 1835 году, — со всѣмъ своимъ причтомъ ужасаетъ меня при одномъ воспоминаніи», и

еще: «Состояніе русской семьи въ Римѣ мнѣ меньше всего извѣстно, ибо, наскучивъ однообразными воспоминаніями и разборами о подломъ воспитаніи, которое получили всѣ мы въ академіи, слѣдствіемъ коего укрѣпилась въ насъ, вмѣсто дѣятельности къ ученію и наблюденію природы, природная свара и разгульная жизнь, я совершенно оставилъ русскихъ, которыхъ люблю до самоотверженія». Въ 1836 году овъ пишетъ отцу: «Академія художествъ есть вещь прошедшаго столѣтія, ее основали уставшіе изобрѣтать итальянцы. Они хотѣли этой мыслью воздвигнуть опять художество на степень высокую, но не создали ни одного генія о-сю пору. Если живописецъ привелъ въ нѣкоторый восторгъ часть публики, расположенной понимать его, то вотъ ужъ онъ, по моему мнѣнію, достигъ всего, чтó доступно художнику. Купеческіе разсчеты никогда не подвинутъ впередъ художества, а въ шитомъ, высоко стоящемъ воротникѣ тоже нельзя ничего сдѣлать, кромѣ стоять вытянувшись». Въ 1839 году онъ пишетъ опять отцу: «Неудачный выборъ Серебрякова: скопировать съ самаго неудачнаго произведенія Гверчино, кажется, не имѣлъ и у васъ счастливаго успѣха, несмотря на то, что академіи нашей нравится болонская школа, что Шебуевъ часто въ Гверчины напрашивался въ своихъ произведеніяхъ». Брату Ивановъ пишетъ въ 1846 году: «Справься въ парижскомъ посольствѣ нашемъ (насчетъ посланныхъ денегъ) и пожалуйста не надѣйся на сонную академію. Знаменитый лѣнью Григоровичъ пока напишетъ, пока доложитъ, пока проснется, ты можешь четыре раза умереть съ голоду, а что еще хуже — остановить свои успѣхи». Племянницѣ онъ пишетъ, въ 1849 году, по поводу маленькаго наслѣдства, оставшагося послѣ отца: «Дѣло, вы сами видите, какъ завязло. Мы просимъ академію намъ тутъ помочь, но старозавѣтные люди дѣятельны казнить и опустошать, и не способны споспѣшествовать успѣхамъ другихъ». Наконецъ, одному неизвѣстному Ивановъ писалъ въ мартѣ 1858 года, что новые вопросы и требованія, обращаемыя теперь повсюду въ Европѣ къ искусству, ясно доказываютъ, что «живопись должна процвѣсти въ самую высокую и послѣднюю степень—залогъ, лестный для насъ, въ особенности, русскихъ, не выступавшихъ еще на поприще и провябавшихъ покамѣстъ въ оранжереѣ европейской нашей академіи».

Зная такое отношеніе Иванова къ нашей академіи, да и вообще ко всѣмъ академіямъ, легко понимаешь, что онъ не могъ смотрѣть на званіе академика и профессора иначе, какъ онъ

смотрѣлъ. Когда за его картину «Явленіе Христа Магдалинѣ» академія возвела его въ академики, онъ писалъ отцу своему, въ октябрѣ 1836 года: «Какъ жаль, что меня сдѣлали академикомъ! Мое намѣреніе было никогда никакого не имѣть чина. Но, что̀ дѣлать, отказаться отъ удостоенія—значитъ обидѣть удостоившихъ. Однако же я, можетъ быть, попробую объ этомъ намекнуть Григоровичу».

Пріѣхавъ въ Италію, Ивановъ ничуть не растерялся отъ нахлынувшихъ на него впечатлѣній и массы въ первый разъ увидѣнныхъ художниковъ и картинъ. Не взирая ни на какія общепризнанныя знаменитости, онъ смѣлыми глазами всматривался въ то, что̀ являлось передъ нимъ, и рѣшалъ, для самого себя, лишь на основаніи собственной мысли. Такъ, напримѣръ, онъ, вопреки общему тогдашнему мнѣнію, просто и прямо остановился на томъ, что стиль знаменитыхъ французскихъ живописцевъ: Давида, Жерара, Жиродé и другихъ — стиль гипсовый, что «картонъ Камуччини, натурально, долженъ нравиться академіи, ибо въ немъ все то помѣщено, чему учитъ академія; но вынесите изъ четырехъ стѣнъ приготовительной сей школы, и его спросите у просвѣщенныхъ и расположенныхъ къ изящному людей, какое онъ на нихъ дѣлаетъ впечатлѣніе—ледовитая правильность рисунка, казенное направленіе складокъ, совершенное отсутствіе выраженія въ головахъ—никакого не сдѣлаютъ впечатлѣнія. Весьма натурально, что Овербека у насъ не поймутъ: люди, старѣющіеся и учащіеся здѣсь по десяти лѣтъ, по бо́льшей части его не понимаютъ, какъ же вы хотите, чтобы кто и не выѣзжалъ и не вникалъ ни во что глубоко, могъ что-нибудь о немъ сказать, кромѣ дерзости и нахальства?». Знаменитая Венера Кановы, во Флоренціи, казалась ему только сухая и манерна; про еще болѣе знаменитаго Гверчино онъ писалъ: «Не понимаю, за что̀ его ставятъ на одну доску съ великими мастерами: его картины суть только этюды съ натуры, по бо́льшей части самой грубой, писанныя съ большой практикой; колоритъ и сочиненіе доказываютъ самое ограниченное его образованіе и вовсе не утонченныя чувства». Про другихъ еще знаменитыхъ художниковъ онъ писалъ: «Картины Пармеджіанино (въ Болоньѣ) изъ подъ запылившихъ тѣней ничего мнѣ порядочнаго не представляютъ»... «Каррачи силятся быть и Корреджіемъ и Тиціаномъ, и какимъ-то Рафаэло-Бронзино-Микель-Анджело и какимъ-то прескучно темнымъ. О, подражатели! лучше бы было, еслибъ ихъ мастера оставались при собственной — болоньезской школѣ»; наконецъ, про живопись Корреджіо въ

парижскихъ куполахъ, пользующихся всемірною славою: «Эти купола весьма скучны, раккурсы непріятны, не изящны».

Подобныхъ примѣровъ самостоятельности художественныхъ оцѣнокъ Иванова можно было бы привести изъ его писемъ множество. Такія оцѣнки были, не только по тогдашнему времени, да, пожалуй, и по нынѣшнему—великою дерзостью, и хорошо еще, что все это писано лишь въ путевыхъ замѣткахъ для себя, или въ письмахъ къ отцу — а то бы какъ досталось Иванову отъ академіи или Общества поощренія художниковъ, а пожалуй—и отъ тогдашнихъ критиковъ, натурально, истинныхъ охранителей истиннаго преданія и художества. Вѣдь сдѣлало же Общество поощренія художниковъ такую надпись на одномъ изъ его писемъ: «Хорошо изучаться надъ всѣми школами, ибо каждая имѣетъ свое отдѣльное достоинство, но одни только нѣмцы, на посмѣшище итальянцамъ, потѣютъ надъ школами живописцевъ XIV столѣтія. Для сего не нужно ѣздить въ Италію, ибо въ Германіи есть Гольбейны, Альберты Дюрреры и проч. Гдѣ есть Рафаэли, Корреджіо, Тиціаны, Гверчины и проч., не учатся надъ Джіотти». Въ другой разъ то же Общество отвѣчало Иванову, что нé для чего ему ѣздить въ Палестину, какъ онъ проситъ, потому что «Рафаэль не былъ на Востокѣ, а создалъ великія творенія».

Но Ивановъ не слушался. Онъ находилъ для себя необходимымъ изученіе именно того, въ чему петербургскіе дóки относились съ презрѣніемъ. «Мнѣ нужно съѣздить на сѣверъ Италіи, посмотрѣть на живописи XIV столѣтія, гдѣ съ теплою вѣрою выражались художники своими чувствами», говоритъ онъ въ 1837 году; «прошедшій годъ,—говоритъ онъ въ 1838 году,—путешествовалъ я въ Ассизи, Орвіето, во Флоренціи, Ливорно и другія мѣста Тосканы, чтобы замѣтить у живописей XIV столѣтія этотъ безвозвратный стиль, въ который облекались теплыя мысли первыхъ художниковъ христіанскихъ, когда они, не зная свѣтскихъ угодностей и интригъ, руководимые чистой вѣрою, высказывали свою душу на безсмертныхъ стѣнахъ». Напротивъ, то, что академія всегда находила очень важнымъ и достойнымъ подражанія, произведенія временъ XVII и XVIII вѣка, т.-е. временъ академическихъ, то казалось Иванову никуда не годнымъ. «Замѣть, пожалуйста, — пишетъ онъ брату въ 1845 году, — что въ Римѣ, и вообще въ Италіи, все оканчивается XVI столѣтіемъ; что все, что послѣ сей эпохи дѣлалось въ свѣтѣ, едва знаютъ по слуху».

Къ современнымъ художникамъ, находившимся въ его время

въ Римѣ, Ивановъ относился точно такие совершенно независимо и самостоятельно. У насъ всѣ убѣждены, что онъ слѣпо подчинился Овербеку и другимъ нѣмецкимъ религіознымъ художникамъ 40-хъ годовъ. Но это совершенно невѣрно. Онъ чувствовалъ ихъ талантливость, ихъ до извѣстной степени своеобразный починъ среди всеобщаго европейскаго обмеленія художества, принималъ отъ нихъ, что̀ признавалъ хорошимъ, но никогда раболѣпно не шелъ по ихъ пятамъ, и самые даже ихъ совѣты или указанія принималъ всегда съ величайшею осмотрительностью: иное бралъ, иное отбрасывалъ. Въ самомъ же началѣ онъ говоритъ въ своихъ письмахъ, что Овербекъ—человѣкъ чрезвычайно образованный, но не столько славный по самой живописи, сколько по сочиненію. Онъ говоритъ еще, что Овербекъ «молится въ своихъ картинахъ», что онъ «одинъ (изъ живущихъ) полезенъ ему, одинъ онъ своими сочиненіями дотрогивается до сердца, безъ чего что̀ такое историческая живопись?» — называетъ его «высочайшимъ и единственнымъ своимъ совѣтникомъ, своимъ пророкомъ, поэтомъ-художникомъ христіанскимъ»; но это все нисколько не мѣшаетъ ему видѣть смѣшныя крайности Овербека, и онъ не задумывается тотчасъ же стать къ нимъ во враждебное отношеніе. Такъ, напримѣръ, Ивановъ пишетъ отцу въ 1840 году: «Одинъ изъ самыхъ острыхъ нѣмецкихъ противниковъ Овербека, извѣстный скульпторъ и живописецъ, нѣкто Вагнеръ, замѣчаетъ не безъ основанія (о его картинѣ «Торжество христіанской религіи въ искусствахъ»), что аллегорія Овербека никому не понятна безъ письменныхъ объясненій... Вотъ и Овербекъ! Какъ ни глубокомысленъ, а замкнулся тоже въ темноту, не достигнувъ совершенства» Про него же онъ пишетъ Чижову въ 1845 году: «Овербекъ кончилъ картину свою «Положеніе въ гробъ»—безподобно! Еще сдѣлалъ нѣсколько рисунковъ: «Тайная вечеря», и «Христосъ обращается къ плачущимъ»,—безподобны! Тутъ же «Маленькій Христосъ-столяръ пилитъ, въ присутствіи Іосифа и Маріи»—ну, ужъ эта католическая дичь въ мору тому, что «Христосъ метлой мететъ стружки изъ-подъ Іосифова станка». Нельзя, нельзя такъ вольничать, да и зачѣмъ?» Сверхъ того, по необычайному нѣмецкому резонерству, Овербекъ умышленно исталъ писать «похуже», искусственно и условно, въ сухихъ и мертвыхъ краскахъ старыхъ итальянскихъ живописцевъ до-рафаэлевскаго времени. Ивановъ никогда не признавалъ для себя обязательнымъ этого страннаго каприза, и всѣ письма его наполнены извѣстіями о томъ, какъ ему нужно и хочется научиться

горячему живописному тону венеціанцевъ. Онъ даже предпринималъ, собственно для этого, нѣсколько путешествій въ Венецію, и не разъ копировалъ съ Тиціана и другихъ великихъ и правдивыхъ колористовъ XVI вѣка.

Совѣты Овербека, Корнеліуса, Торвальдсена, Камуччини онъ внимательно выслушивалъ, но иногда слушался, а иногда и нѣтъ. Такъ, напримѣръ, онъ слушался Корнеліуса, когда тотъ говорилъ ему про начатую большую картину «Явленіе Мессіи», что ландшафтъ много убиваетъ фигуры, что лучше дѣлать въ картинѣ поменьше нагихъ, потому что они скорѣе похожи на школьныя фигуры, нежели на естественныхъ слушателей; слушался Овербека, когда этотъ совѣтовалъ ему, напримѣръ, нѣсколько повернуть въ профиль голову Іоанна Крестителя, а то оборотъ его къ зрителю дѣлаетъ изъ него акробата; слушался даже (по немножко странной снисходительности) того же Овербека, когда онъ, вслѣдствіе карикатурнаго своего доктринерства и мистицизма, увѣрилъ Иванова, что Іоанну Крестителю надо набросить на плеча богатый плащъ, потому что въ евангеліи сказано: «нѣсть бѣлій его въ царствіи небесномъ» (богатый плащъ—доказательство моральнаго и религіознаго значенія въ царствіи небесномъ!!!); слушался даже, вопреки первоначальной мысли своего наброска, Торвальдсена, который, по закоренѣлому классицизму своему, присовѣтовалъ ему дать въ руки Іоанну крестъ, а при бедрѣ его повѣсить раковину. Но онъ не слушался самыхъ даже важныхъ, по его понятію, художниковъ и авторитетовъ, когда не сходился съ ними самъ во мнѣніи. Такъ, напримѣръ, когда знаменитый Камуччини, разсматривая «Сусанну» Иванова, вздумалъ навязать ему одну изъ ходячихъ (быть можетъ, даже до сихъ поръ) смѣшныхъ «теорій» искусства, что, дескать, «бѣгущіе старики могутъ быть позволительны только въ эскизѣ, а для картины надо выбрать положеніе, могущее продолжаться нѣсколько минутъ», то Ивановъ, разсказывая этотъ разговоръ, тотчасъ же замѣчаетъ: «я сомнѣваюсь въ справедливости его мнѣнія»; когда Торвальдсенъ и Камуччини дѣлали разныя замѣчанія на его эскизъ: «Братья Іосифовы находятъ чашу въ мѣшкѣ у Веніамина», но въ то же время товарищи Иванова, русскіе художники, дѣлали замѣчанія совершенно противоположныя, Ивановъ тотчасъ ниже: Обществу посщренія художниковъ, что онъ въ затрудненіи: «первыя мнѣнія—людей, пріобрѣвшихъ европейскую репутацію, а послѣднее—важно по тѣсной связи съ исторіей». Ивановъ рѣшался, значитъ, когда находилъ то спра-

ведливымъ, стать на сторону людей вовсе не авторитетныхъ, совершенно даже темныхъ.

III.

Все до сихъ поръ приведенное доказываетъ, что Ивановъ не находился ни въ чьей зависимости, не былъ рабомъ ни людей, ни мнѣній, и постоянно жилъ и работалъ единственно своимъ умомъ. Фактъ рѣдкій въ нашемъ искусствѣ, — не только въ то время, но даже и въ нынѣшнее. Что было тому причиной? Конечно, раньше всего — его натура, прирожденный складъ души и ума. Но, безъ сомнѣнія, столь же важную роль въ жизни Иванова играло и то воспитаніе, которое онъ постарался самъ себѣ дать, а также благотворное соприкосновеніе съ образованными и мыслящими людьми, съ которыми онъ искалъ сближенья.

Что̀ касается воспитанія, то навряд ли изъ всѣхъ нашихъ художниковъ, прежнихъ и настоящихъ, который-нибудь такъ много читалъ и изучалъ, по своей части, какъ Ивановъ. Поклонники Брюлова разсказываютъ, что будто бы и онъ тоже много читалъ, и что любимымъ чтеніемъ его были (какъ разсказываетъ Рамазановъ): Вальтеръ-Скоттъ, Шиллеръ, Шекспиръ, Державинъ, Пушкинъ, Гольдшмидтъ, Ранке, Нибуръ, но правда ли все это или нѣтъ — того мы не знаемъ. При безпредѣльно разсѣянной и распущенной жизни Брюлова, не только въ послѣдніе годы, въ Россіи, но еще ранѣе, во время его молодости, въ Италіи — мудрено себѣ представить: когда бы онъ могъ найти время для своего обширнаго чтенія? Вѣдь онъ, когда не работалъ въ мастерской, никогда дома не бывалъ! О другихъ нашихъ художникахъ прежняго времени мы даже и такихъ, сомнительнаго свойства, свѣдѣній не имѣемъ. Притомъ, ни на какихъ произведеніяхъ нашей художественной школы не видать слѣдовъ истиннаго, постояннаго глубокаго изученія какой-нибудь страны, народа, эпохи, мѣстности, событій, типовъ, нравовъ. Что̀ лучшимъ нашимъ талантливымъ людямъ удавалось, — удавалось прямо безъ всякой научной подготовки и изученія, просто и прямо по силѣ прожденнаго таланта. Нельзя же назвать изученіемъ то поспѣшное и судорожное хватанье и прочтеніе на-скоро какихъ ни попало книгъ, когда дѣло пойдетъ о той или другой исторической задачѣ. Это есть только то, что̀ мѣткая русская пословица называетъ: «на охоту ѣхать — собакъ кормить». Когда пришла минута писать картину, поздно учиться: надо было подумать о томъ раньше, въ продолженіе всей жизни. Такъ и дѣлалъ съ самой молодости Ивановъ.

Никто его не толкалъ подъ-бокъ, никто его не заставлялъ, и тутъ не дѣйствовали ничьи понуканія, — ни отцовскія, ни академическія. Онъ самъ чувствовалъ потребность учиться и образовываться, и прежде всего горько жалѣлъ, что его не учили иностраннымъ языкамъ, о которыхъ у насъ никто изъ художниковъ никогда и не помышлялъ (на что имъ?); онъ самъ искалъ книгъ и людей, которые могли помочь его пытливому, жадному на знанье, любопытствующему уму. Еще юношей, и въ такое время, когда изъ всѣхъ его товарищей ни одинъ не развертывалъ ни единой книги, кромѣ развѣ-что плохихъ романовъ, Ивановъ заводитъ дружбу съ пейзажистомъ Рабусомъ, нѣмцемъ, и потому нѣсколько болѣе другихъ читавшимъ и знающимъ. Онъ бесѣдуетъ съ нимъ, совѣщается, переписывается, заказываетъ ему переводы изъ извѣстныхъ въ то время лучшихъ нѣмецкихъ критическихъ и историческихъ сочиненій по части художествъ; въ Римѣ сближается съ образованнѣйшими нѣмецкими художниками, и, пока остальные русскіе художники гуляютъ и бражничаютъ въ свободное отъ работы, въ мастерской, время, онъ ходитъ по библіотекамъ, покупаетъ книги, иногда дорогія (несмотря на свое безденежье) и читаетъ все, что только ему доступно, — и это не только спеціально для той или этой своей картины, а вообще потому, что онъ любознателенъ и ни за что не хочетъ оставаться, какъ другіе, неотесаннымъ неучемъ.

Впослѣдствіи, когда подросъ его братъ Сергѣй, Александръ Ивановъ, найдя въ немъ, кромѣ талантливости, еще и умъ и такую же, какъ въ самомъ себѣ, способность и наклонность къ образованію, перенесъ на него всѣ тѣ попеченія, которыя постоянно прилагалъ къ самому себѣ. «Пожалуйста, вы скажите Сережѣ, — пишетъ онъ отцу въ 1838 году, — чтобы онъ непремѣнно выбралъ одно изъ двухъ художествъ: живопись или архитектуру, и поступите въ семъ случаѣ строго и силою, иначе мы пропали: ни тому, ни другому онъ не научится, будетъ въ обоихъ дрянным и — что хуже всего — не будетъ въ чужихъ краяхъ, а надобно непремѣнно, чтобы онъ смѣнилъ меня здѣсь, и именно такъ, чтобы въ Римѣ мы вмѣстѣ могли прожить цѣлый годъ: я его со всѣмъ познакомлю и дамъ порядочное направленіе». «Любезный братъ, — пишетъ онъ въ 1841 году, — ты меня радуешь и утѣшаешь своими успѣхами. Дай Богъ тебѣ здоровья и ума для его сохраненія. Этого только я тебѣ и желаю. Остальное все придетъ само-собой при твоихъ стараніяхъ, хотя подчасъ и тяжкихъ... Твои письма болѣе и болѣе прекрасны. Но тебѣ бы не худо быть терпѣливѣе, не огорчаться,

не отчаиваться при встрѣчѣ непріятностей, и не ласкать себя моей будущностью. Три вещи намъ нужны: совѣстливость труда, строгая нравственность и настойчивость, — эти дары мы уже болѣе или менѣе имѣемъ и, слѣдовательно, должны быть довольны нашимъ настоящимъ положеніемъ». Кто изъ нашихъ художниковъ заботился въ это время о чемъ-нибудь подобномъ?

Но скоро обращенія Иванова къ брату начали становиться все серьёзнѣе и глубже. Въ письмѣ къ отцу, въ началѣ 1843 года, онъ пишетъ: «Радъ очень, что братъ въ помощникахъ у К. А. Тона. Весьма нужно архитектору повѣрить свое академическое ученіе практикой, изучить матеріалы отечественные. Застать ему меня еще въ Римѣ — весьма нужно. Я согласенъ съ вами, что ему не столько нужно быть за-границей, какъ живописцу, потому что живописецъ тутъ себя совсѣмъ оканчиваетъ, а архитекторъ только приготовляется. Но все-таки шесть лѣтъ необходимы ему: вѣдь нужно изъѣздить всю Европу и часть Азіи... Наука и искусство вѣчно живутъ, и, слѣдовательно, движутся, а особливо въ новомъ народѣ, какова русскій, гдѣ еще, можно сказать, только начинаются, и, слѣдовательно, брату моему, какъ истинно русскому, предстоитъ здѣсь бездна занятій на поприщѣ соревнованія съ европейскими представителями по его части. Дай Богъ, чтобы онъ успѣлъ болѣе меня: мнѣ было слишкомъ много препятствій — ему, мнѣ кажется, будетъ легче. Въ Римѣ архитекторы начитываются, мѣряютъ лучшія произведенія древности, привыкаютъ къ чистотѣ вкуса, посредствомъ реставраціи зданій лучшаго времени. Другія мѣста Италіи представляютъ имъ красоты средняго вѣка. Къ удобствамъ частныхъ домовъ нужна Англія, а къ познанію корней, откуда родился русскій стиль церковный, нужно изучить XIV и XV столѣтія, столь живо еще живущія въ Италіи, — нужно потомъ заглянуть въ Грецію и Сирію». Въ письмѣ, написанномъ осенью 1844 года, онъ ему говоритъ: «Тебѣ, братъ, предстоитъ многое. Не теряй золотое время, берегись развлеченій и въ особенности прекрасныхъ. Береги здоровье и пріѣзжай какъ можно скорѣе въ Римъ. Да, мы съ тобой должны сдѣлать многое, еще и потому, что всѣ наши художники приняли жалчайшее направленіе. Вдумываться въ дѣло — совсѣмъ нѣтъ въ помині».

Въ 1845 и 1846 гг. Ивановъ совѣтуетъ брату своему заняться въ Парижѣ математическими курсами, вообще учиться въ политехнической школѣ, а потомъ еще онъ ему пишетъ: «У меня сердце забилось, когда увидѣлъ изъ письма батюшки, что ты уже заграницей. Взялъ ли ты съ собой достаточно денегъ, чтобы путе-

шествовать не въ попыхахъ, и не какъ попало, а зачерчивая всѣ замѣчательности по твоей части, закупая гравюры прямо архитектурныя? Ты очень мало былъ въ Берлинѣ и Дрезденѣ, видѣлъ ихъ мелькомъ. Это не хорошо. Если деньги позволяютъ, то приближайся къ свиданію со мной какъ можно медленнѣе: меня не застанешь въ Римѣ. До самаго перваго октября я загородомъ работаю; тебѣ загородная римская жизнь совсѣмъ не нужна. Чѣмъ болѣе городовъ увидишь, тѣмъ лучше; чѣмъ спокойнѣе и медленнѣе будешь смотрѣть на памятники, тѣмъ болѣе красоть въ нихъ сыщешь, и болѣе они останутся въ памяти. Смотри и зачерчивай... Ты, пожалуйста, о моихъ дѣлахъ совсѣмъ не думай, а позаботься объ исполненіи твоего путешествія, сколь можно лучше, т.-е. вездѣ, гдѣ будешь, все основательно замѣть, зачерти, прочитай объ этомъ. А тамъ, когда будешь въ Римѣ, то тогда и потоворимъ о моихъ дѣлахъ основательно и пространно». Въ октябрѣ онъ уже пишетъ такъ: «Любезный братъ! Не сердись на меня и не тревожься послѣднимъ письмомъ: ты частью тутъ виноватъ, потому что написалъ мнѣ очень невыгодно о твоихъ видахъ, а я, привыкнувъ видѣть въ молодыхъ пенсіонерахъ гулякъ и пьяницъ, принялъ на тотъ разъ и тебя въ ту же область. Но теперь я вижу, что ты совершенно похожъ на прошедшаго меня... Все, что послѣ XVI столѣтія дѣлалось въ свѣтѣ, едва знаютъ по слуху здѣсь, въ Римѣ, и, слѣдовательно, ни эстамповъ для архитектора, ни книгъ, ни матеріаловъ — ничего нѣтъ, все дрянь — все вези изъ Парижа».

Итакъ, Сергѣй Ивановъ оказался тѣмъ самымъ, чѣмъ былъ въ молодости Александръ Ивановъ, и, спустя 10—15 лѣтъ, старшій братъ совѣтуетъ младшему то самое, что самъ дѣлалъ, когда хлопоталъ о своемъ самовоспитаніи: книги, много серьёзнаго разсматриванія и изученія, много постоянства, никакой торопливости, избѣганіе развлеченія, медленное передвиженіе по художественнымъ центрамъ, много рисованія съ того, что хорошо и важно въ художественныхъ созданіяхъ. Все это и объясняетъ тѣ подробные отчеты и критики самому себѣ, въ «записныхъ книжкахъ», на-счетъ всего видѣннаго, какіе остались послѣ Иванова и какихъ не бывало въ то время ни у одного русскаго художника; тѣ груды этюдовъ, красками и карандашомъ, какія привозилъ Ивановъ въ Римъ послѣ всѣхъ, почти ежегодныхъ, своихъ путешествій, и какіе наполняли огромную его мастерскую. И какъ работала потомъ его мысль, среди этого богатаго художественнаго арсенала! Онъ именно имѣлъ все право писать однажды Обществу поощренія художниковъ, что

постоянно чувствуетъ себя недовольнымъ, иногда даже приходитъ въ отчаяніе, потому что безпрестанно сравниваетъ себя со всѣмъ, «что Римъ и Италія имѣютъ классическаго и высокаго»: «хотя и отдыхаю,—прибавляетъ онъ,—на одобреніяхъ именитыхъ живыхъ художниковъ. Нѣтъ черты, которая бы не стоила мнѣ строгой обдуманности». Рафаэль, Леонардо-да-Винчи, Тиціанъ — были постоянно главными предметами его изученія, такъ что не только еще въ 1836 году онъ высказывалъ отцу, что постарается своимъ апостоламъ Іоанну и Андрею «дать тѣни, изобрѣтенные Леонардо-да-Винчи въ «Тайной Вечери», но и цѣлыхъ 20 лѣтъ спустя, въ послѣдніе дни своей жизни, писалъ, что въ своей картинѣ «желалъ показать, до какой степени русскій понимаетъ итальянскую школу», а въ разговорахъ, касаясь будущей новой школы живописи, утверждалъ, что «съ технической стороны, она будетъ вѣрна идеямъ красоты, которымъ служили Рафаэль и его современники-итальянцы. Техника доведена ими до высочайшей степени совершенства. Тутъ намъ не остается ничего иного, какъ быть ихъ послѣдователями».

Однако же, нельзя сказать, чтобъ только значительнѣйшіе живописцы XVI вѣка одни исключительно были его учителями: не менѣе важную роль въ его развитіи играли (какъ мы выше видѣли) и болѣе ранніе итальянскіе мастера, глубоко поражавшіе его правдивостью, искренностью и сердечностью чувства, наполняющаго ихъ картины, хотя нѣсколько еще и неумѣлые въ отношеніи техническомъ и виртуозномъ. Въ этомъ онъ совершенно расходился съ тѣмъ, что было принято не только нашею, но и каждою изъ европейскихъ академій: всѣ онѣ, вкупѣ и въ отдѣльности, исповѣдывали глубокое почтеніе къ Рафаэлю, Леонардо-да-Винчи и Тиціану, но съ глубокимъ презрѣніемъ смотрѣли на все предшествовавшее развитіе художества въ Европѣ.

Могъ-ли думать одинаково съ ними Ивановъ, у котораго голова была такая свѣтлая, такая самостоятельная, вѣчно отыскивающая истинную правду? Ему поминутно приходилось быть одному своего мнѣнія, и не сходиться ни съ кѣмъ. Я приведу здѣсь нѣсколько примѣровъ, изъ разныхъ эпохъ его жизни, изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ пониманія и мышленія. Еще дома, въ Петербургѣ, во время всеобщаго восхищенія Булгаринымъ и его знаменитымъ въ то время романомъ «Выжигинымъ», Ивановъ писалъ, въ 1829 году: «Вездѣ кричатъ о романѣ «Иванъ Выжигинъ». Его здѣсь превозносятъ; и я, бывъ отягченъ недугомъ, и чувствуя себя не въ силахъ заниматься серьёзнымъ,

прочиталъ сіи четыре части, и нашелъ, что Булгаринъ столько же имѣетъ дара описывать пороки, сколько самъ въ нихъ неподражаемъ; въ отношеніи же добродѣтели — во всемъ романѣ чувствуешь натяжку». Иванову тогда было всего 23 года. Кто изъ современныхъ ему юношей, не только изъ числа художниковъ, но даже изъ числа вообще интеллигентныхъ людей, кромѣ самыхъ необыкновенныхъ, напримѣръ, Пушкина и немногихъ другихъ, осмѣливался тогда такъ думать о Булгаринѣ?—Въ Италіи, въ 1844, читая исторію архитектуры д'Аженкура (писателя, считавшагося тогда совершенно классическимъ), Ивановъ вдругъ находитъ, что не можетъ съ нимъ согласиться въ томъ, будто готическая архитектура есть упадокъ архитектуры. «Мнѣ все кажется, —пишетъ онъ брату, что этотъ готическій, византійскій родъ совершенно выразилъ чувство христіанское. Къ этому роду, съ небольшимъ измѣненіемъ, принадлежатъ и наши русскія церкви». И это говоритъ тотъ самый человѣкъ, которому академія ничего не дала, кромѣ почтенія къ антикамъ и итальянцамъ XVI вѣка, и строго запрещала уважать и понимать что-нибудь другое! Многіе-ли изъ художниковъ всѣхъ націй, въ Римѣ, въ 1844 году, хотѣли что-нибудь знать въ архитектурѣ кромѣ Колизея, да собора св. Петра, кромѣ Пантеона и палаццо Фарнезе? Едва даже сами архитекторы (и то рѣдкіе) начинали тогда сознавать значительность и красоту архитектуры готической. И, однако, Ивановъ, вопреки общепринятымъ мнѣніямъ, находилъ возможность добираться до истинно вѣрныхъ и свѣтлыхъ взглядовъ—безъ всякаго руководства и помощи, однимъ собственнымъ умомъ.

Національность славянская тоже сильно интересовала его (чего не случалось ни съ однимъ изъ тогдашнихъ русскихъ художниковъ). Онъ пишетъ брату въ началѣ 1846 года: «Чижовъ уже третій разъ спрашиваетъ меня: не поѣдешь-ли ты нынѣшнимъ лѣтомъ съ нимъ по славянскимъ землямъ, изслѣдовать строенія въ отечествѣ Кирилла и Меѳодія? Ему, какъ литератору, многое множество тамъ рудниковъ; мнѣ, какъ живописцу, готовящемуся создать иконный родъ, а тебѣ, кажется, нужно бы тоже знать, какъ строились церкви, не Монферрановскія, а наши».

Но, можетъ быть, еще удивительнѣе съ его стороны то, что онъ въ 1846 году написалъ своему пріятелю, профессору Шевыреву, про Карамзина. По его требованію, ему выслали въ Римъ два сочиненія: «Повѣствованіе о Россіи», Арцыбашева — писателя вовсе не талантливаго, но просто, наивно и вѣрно изложившаго русскую исторію словами лѣтописи, и вмѣстѣ—исторію

Карамзина. Что же, какъ нашелъ Ивановъ эти книги? Онъ пишетъ Шевыреву: «Вы противъ Арцыбашева? Я не знаю, что тутъ сказать, а мнѣ онъ нравится болѣе Карамзина. Пока я думаю, что художнику нужны матеріалы, какъ они существуютъ. У Карамзина, прекраснымъ русскимъ слогомъ, очень вѣжливо и учтиво, выглажены всѣ остроты, оригинальности и рѣзкости, такъ что все, что сзади текста, въ концѣ книги (выписки изъ лѣтописей), то лучше самой книги. Извините, пожалуйста, что я пустился говорить съ вами дерзко. Но, право, это только порывы русскаго къ истинѣ». И это писано и думано 35 лѣтъ тому назадъ! Кто еще изъ нашихъ художниковъ, не то что тогда, но даже и теперь, сталъ-бы хлопотать о значеніи Карамзина, сталъ-бы такъ глубоко вникать въ самую сущность нашихъ потребностей отъ русской исторіи, и такъ вѣрно опредѣлять уже сдѣланное?

Да, но все это потому, что у живописца Иванова, даромъ что онъ долженъ былъ доходить до всего самъ, и что все ему (говоря словами его отца) «доставалось съ боя», у Иванова, кромѣ таланта и ума, была въ молодости еще одна мысль въ головѣ, которой не было въ головѣ ни у одного русскаго художника—это мысль о народности. Казалось-бы, эта мысль всего дальше должна бы быть у человѣка, который во всю жизнь только и бралъ сюжеты, что изъ Библіи, у художника, который всю жизнь высшими образцами своими считалъ Рафаэля и Леонарда-да-Винчи, т.-е., идеалистовъ по преимуществу, никогда и во снѣ не видавшихъ ничего національнаго, другими словами—дѣйствительно существующаго въ природѣ, въ живой дѣйствительности. Но въ томъ-то и дѣло, что Ивановъ всю жизнь, на дѣлѣ, работая кистью на полотнѣ, шелъ гораздо дальше всѣхъ имъ самимъ проповѣдуемыхъ теорій и системъ. Онъ воображалъ себѣ высшимъ блаженствомъ и вѣнцомъ всей своей дѣятельности—приблизиться къ лучшимъ итальянскимъ художникамъ XVI вѣка, а самъ, на дѣлѣ, разламывалъ ихъ рамки и устремлялся къ такимъ далекимъ горизонтамъ формы, мысли и чувства, о какихъ тѣ, по условіямъ своего времени, не способны были и мечтать. Повидимому, онъ во многомъ и самъ не сознавалъ всей важности иныхъ своихъ идей. Онѣ сидѣли у него въ головѣ безотчетно, невольно; онъ ихъ высказываетъ словно вскользь, не останавливается на нихъ и не развиваетъ ихъ.

Такъ, напримѣръ, едва пріѣхавъ въ Италію, въ 1831 году, 25-ти-лѣтнимъ молодымъ человѣкомъ, онъ, придя въ галлерею Питти, во Флоренціи, и восхищаясь разными картинами, вдругъ

хвалитъ «Юдиѳь» Бронзино — за что? За то, что въ ея лицѣ все совмѣщается, всѣ рѣдкія достоинства: правильность, красота, «нація». Можетъ быть, онъ тутъ нѣсколько ошибался: эта картина, подъ видомъ Юдиѳи представляющая только злую и красивую любовницу живописца Бронзино, ничуть не могла служить олицетвореніемъ дѣйствительнаго еврейскаго типа. Но для насъ, въ настоящемъ случаѣ, не картина Бронзина важна, а то, что юноша-Ивановъ искалъ уже въ ту минуту того, чего никто, кромѣ него, не искалъ тогда: національнаго, историческаго типа въ картинѣ. Въ 1835 году, во время путешествія по средней и сѣверной Италіи, Ивановъ замѣчаетъ про стараго Франческо Франчіа, «патріарха живописи болоньезской», что если онъ не можетъ считаться на ряду съ величайшими живописцами, то, по крайней мѣрѣ, стоитъ тотчасъ за ними: «его картины не только носятъ неразвратный стиль, отдѣлку неразлучную съ правдой, но и отпечатки физіономій и сѣроватаго колорита лицъ своей націи». Кажется, раньше нашего Иванова никто еще не отмѣчалъ въ чудесномъ болонскомъ живописцѣ XV вѣка, полномъ, какъ и самъ Ивановъ, чувства, этой важной черты, и не относилъ ея къ числу лучшихъ его достоинствъ.

Приведенныя замѣтки указываютъ на то, какъ уже съ раннихъ лѣтъ Ивановъ, по собственной иниціативѣ, безъ всякихъ внушеній со стороны, остановился на идеѣ національности, которую потомъ такимъ блестящимъ образомъ воплотилъ въ своей большой картинѣ, и воплотилъ какъ никто изъ его современниковъ. Въ картинахъ и рисункахъ Ораса Верне на ветхозавѣтные сюжеты есть, конечно, что-то, намекающее на библейскіе типы, но у него вездѣ скорѣе представлены бедуины, а не евреи, женщины же всѣ—чистѣйшія француженки, только слегка идеализированныя и въ костюмахъ, близкихъ къ еврейскому. Есть нѣсколько еврейскихъ фигуръ у Овербека—но ихъ мало, онѣ составляютъ рѣдкое исключеніе среди его фигуръ въ обще-Рафаэлевскомъ и Перуджиновскомъ стилѣ; притомъ онѣ не достаточно характерны по типу. Есть еще еврейскія фигуры у нѣкоторыхъ другихъ живописцевъ 40-хъ годовъ, напримѣръ, у нашего Бруни въ его «Мѣдномъ Зміѣ»: но и Бруни, какъ многіе другіе, уже только подражалъ общей модѣ, заведенной въ Римѣ Овербекомъ и Ивановымъ — и подражалъ поверхностно, равнодушно, лишь декоративно. Одинъ Ивановъ строго, упорно, съ увлеченіемъ преслѣдовалъ свою глубокую новую идею, и проводилъ ее въ своемъ созданіи до послѣдней подробности, до послѣдней ниточки. Онъ перечиталъ и пересмотрѣлъ все, что только

могло его укрѣпить въ истинномъ представленіи еврейскихъ типовъ, характеровъ и костюмовъ, а потомъ, всякую недѣлю онъ ходилъ въ римскую синагогу, присматривать и изучать живыхъ евреевъ и евреекъ. Когда одного Рима стало мало, онъ началъ нарочно ѣздить по другимъ мѣстностямъ, гдѣ надѣялся найти нужные ему, истинно-національные еврейскіе типы. Въ 1837 году Ивановъ пишетъ Обществу поощренія художниковъ: «Я намѣренъ быть въ Ливорно, чтобъ замѣтить типы еврейскихъ благородныхъ головъ: здѣсь, въ Римѣ, евреи въ стѣсненномъ положеніи, и потому всѣ достаточные живутъ въ Ливорно. Представьте! въ продолженіи наблюденія цѣлаго года я могъ замѣтить только три головы изрядныя». Въ 1840 году онъ пишетъ Гоголю, что ѣдетъ въ Синигалью, на знаменитую ярмарку, «присмотрѣться къ азіатскимъ чертамъ лицъ»; и тогда же, сестрѣ: «Я никуда не показываюсь, развѣ только въ пятницу вечеромъ и въ субботу утромъ меня можно видѣть въ Гетто (т.-е. въ еврейской синагогѣ). Хотите-ли, я васъ еще перепугаю? Евреи меня полюбили, они подозрѣваютъ во мнѣ еврея, и полагаютъ, что я скрываю это, какъ и многіе другіе. Я имъ очень, очень нравлюсь моею начитанностью библіи, и они мнѣ очень-очень нравятся въ своихъ синагогахъ, гдѣ я вижу гораздо болѣе набожности, чѣмъ въ нынѣшнихъ церквахъ христіанскихъ. Но нѣтъ, нѣтъ, будьте спокойны: я все это дѣлаю для моей картины».

И дѣлалъ онъ это не только для своей картины, какъ онъ тутъ говоритъ, но также и для безчисленныхъ своихъ рисунковъ и сочиненій, маленькихъ по размѣрамъ, но великолѣпныхъ по созданію, дѣлалъ онъ это—не мѣсяцъ, и не два, и даже не годъ,—а много лѣтъ сряду, цѣлые десятки лѣтъ своей жизни, и отъ этого-то такъ необыкновенно вѣрны, такъ поразительно національны вышли, и эта его большая картина, и всѣ сотни этихъ его рисунковъ на сюжеты Ветхаго и Новаго Завѣта.

Въ одномъ мѣстѣ своей переписки Ивановъ говоритъ, что онъ, отыскивая сюжетъ себѣ для картины, «прислушивался къ исторіи каждаго народа умѣреннаго климата, прославившаго себя дѣяніями, и нашелъ, что выше евреевъ ни одного народа не существовало, ибо имъ ввѣрено было свыше разродить Мессію, откровеніемъ коего начался день человѣчества, нравственнаго совершенства». Поэтому, онъ и взялъ сюжетомъ для своей картины—«Явленіе Мессіи народу». Понятно, что, при такомъ взглядѣ на несравненное ни съ чѣмъ значеніе еврейскаго народа, Ивановъ долженъ былъ употребить громадныя усилія и

время на изученіе, до послѣдней возможности, всего касающагося того народа, «выше котораго ни одного другого не существовало». Но это было еще въ первые годы молодости, и въ первые годы его пребыванія въ Римѣ. Скоро потомъ у него развилось обожаніе еще другой національности—русской. На изученіе ея, на приготовленіе для нея, по мѣрѣ своихъ силъ, великаго будущаго, Ивановъ посвятилъ лучшія помышленія своего ума, лучшія усилія своего художественнаго развитія.

Въ 1833 году, Ивановъ пишетъ Обществу поощренія художниковъ: «Всѣмъ извѣстно, что отъ сотворенія міра до сихъ поръ ни одна нація не рвалась столь сильно къ просвѣщенію, какъ отечество наше: конечно, въ порывахъ не безъ погибели, но частность никогда не мѣшаетъ восхищаться цѣлымъ, и я, воспитанный бѣдами, наконецъ, утѣшался, назидая Солнце-Россію, утѣшался, и отъ избытка чувствъ моихъ рѣшаюсь отдать вамъ плоды посѣва вашего». Въ 1844 году, онъ говорилъ брату: «Мы, русскіе, можемъ утѣшаться тѣмъ, что начинаемъ свою карьеру въ образованіи; у насъ, слѣдовательно, могутъ случиться гораздо скорѣе люди, чѣмъ гдѣ-нибудь — наши силы свѣжи... Ты не вѣришь, чтобы архитектуру одного человѣка приняло все государство за образецъ — тебѣ кажется это дѣло невозможное. А по-моему, если нашъ художникъ, вслѣдствіе глубокаго своего ученія за границей, окончитъ свои знанія по Россіи, то само собою разумѣются, что изъ русской души его выйдетъ прекрасная русская архитектура XIX-го столѣтія, которая сдѣлается сейчасъ же оригиналомъ для всѣхъ прочихъ ему современныхъ художниковъ, менѣе его способныхъ къ своему дѣлу».

Вотъ чего ожидалъ Ивановъ отъ Россіи по отношенію къ остальной Европѣ. И, конечно, не посредствомъ одной только архитектуры: навѣрное, онъ ожидалъ такого же обновляющаго вліянія на Европу и со стороны русской живописи, которой надѣялся сдѣлаться самымъ могучимъ и передовымъ представителемъ. «Мнѣ съ братомъ,—пишетъ онъ сестрѣ своей Екатеринѣ Андреевнѣ въ 1846 году,—нужно перевоспитывать великихъ міра (въ Россіи), въ томъ разумѣ, что отъ нихъ, какъ отъ лицъ правительственныхъ, будутъ зависѣть и лучшіе успѣхи отечества — это работа, которой не знаютъ совсѣмъ ни нѣмцы, ни англичане, ни французы». «У насъ въ молодомъ отечествѣ, — прибавляетъ онъ отцу,— это есть ощутительное невѣжество — подавлять таланты, но за то свѣжесть силъ молодого народа обѣщаетъ золотой вѣкъ для грядущаго поколѣнія». Шевыреву онъ пишетъ,

въ концѣ 1846 года: «Русскій гораздо раздражительнѣе другихъ, потому что идетъ въ раздоръ жившихъ и живущихъ другихъ народовъ».

Какимъ чудомъ человѣкъ, такъ глубоко изучавшій и понимавшій Россію, такъ много ее любившій, никогда не почувствовалъ, однакоже, потребности—въ формахъ искусства воплотить свою любовь, знаніе, постиженіе Россіи, воплотить ея исторію, характеры, типы и сцены—это составляетъ одну изъ странныхъ особенностей натуры Иванова, которую я попробую разсмотрѣть ниже.

Читатель видитъ, что всѣ эти мысли о Россіи, о ея свѣжести и силѣ, о ея великомъ будущемъ, объ ея учительной роли въ отношеніи къ остальному міру—во многомъ сходны съ тѣми мыслями, какія проповѣдывала въ 30-хъ и 40-хъ годахъ нашего столѣтія такъ-называемая московская славянофильская партія. Могло ли оно и быть иначе, коль скоро Ивановъ былъ такъ друженъ съ многими изъ главнѣйшихъ представителей этой партіи, съ Погодинымъ, Шевыревымъ, Чижовымъ, а сверхъ того—съ Гоголемъ. Со всѣми ими Ивановъ находился въ ближайшемъ соприкосновеніи, въ ближайшемъ обмѣнѣ мыслей. Но во многомъ онъ отъ нихъ и разнился. Высокое понятіе о Россіи и ея будущей роли существовало въ мысли у Иванова гораздо раньше его знакомства съ кѣмъ бы то ни было изъ этихъ москвичей: это несомнѣнно доказываютъ письма. Сверхъ того, въ мысли Иванова вовсе не было ни того «общенароднаго и индивидуальнаго смиренія», ни того безпредѣльнаго «возвеличенія», которыя принадлежатъ къ числу отличительнѣйшихъ чертъ славянофильства 30-хъ и 40-хъ годовъ. Ивановъ былъ гораздо проще и естественнѣе всѣхъ этихъ господъ, у него въ тысячу разъ болѣе было естественнаго здраваго смысла. Онъ никого и ничего не идеализировалъ, онъ старался каждую вещь, каждое дѣло, каждаго человѣка (хотя бы и русскаго) увидать въ настоящемъ его свѣтѣ, и съ его хорошей, и съ его дурной стороны. Внутренняя его критика, даже въ отношеніи къ близкимъ людямъ, или къ дорогому народу, никогда у него не замолкала. Онъ не боится напасть и на Гоголя, и на Іордана, и на Моллера, и на Чижова, когда находитъ въ нихъ что-нибудь «не такъ», худо сказанное, или худо сдѣланное, неспособность или неумѣнье ихъ въ чему-нибудь. Такъ точно и въ отношеніи къ русскому народу: онъ его цѣнитъ высоко, а все очень хорошо знаетъ и видитъ его недостатки, и не задумывается сказать, наприм., что русскіе «безпечны и лѣнивы»; что «русская публика совсѣмъ еще не готова понимать красоты

историческихъ картинъ, и это доказывается холоднымъ требованіемъ однихъ портретовъ»; что «у насъ нѣтъ счета злымъ неждамъ»; что мы, русскіе, вѣчно врозь и въ раздорахъ, «только и соединяемся тогда, когда грозитъ намъ опасность»; что «бѣда съ русскими! Гоголь говоритъ, что русскіе лишены отъ природы *база*, на которомъ можно было бы все безопасно ставить и строить. Это меня теперь очень занимаетъ», и т. д. Что положеніе художника въ Россіи казалось ему ужасно, возмутительно — это легко уже и напередъ можно было предвидѣть. Ивановъ пишетъ отцу въ 1835 году: «Я бы руки обрубилъ всякому иностранному художнику, пріѣхавшему пожирать наше золото, а русскіе, напротивъ, наперерывъ разсыпаются передъ ними, доставляя имъ всевозможные къ тому способы, и, еще позорнѣе, предпочитая своимъ». Въ 1836 году, онъ пишетъ роднымъ: «Я выставилъ картину свою въ Капитоліи, тамъ члены Общества хотѣли купить у меня ее за 1000 скудъ. Скажите, пожалуйста, это тѣмъ, которые, ведя свой родъ отъ русскихъ измѣнниковъ при Годуновѣ, находятъ удовольствіе все русское порочить, и безславить всякаго, желающаго добра Россіи». Въ 1846 году, онъ говоритъ сестрѣ: «Мы несемъ великую тягость, посреди пренебреженій отъ великихъ міра (русскихъ), у которыхъ художникъ и крѣпостной ихъ человѣкъ — почти одно и то же. Образованіе ихъ, основанное гроповыми европейскими учителями, дѣлаетъ ихъ поклонниками даже и посредственности европейской».

Русскихъ художниковъ въ Римѣ онъ тоже, конечно, не расположенъ былъ слишкомъ восхвалять,—тамъ, гдѣ видѣлъ въ нихъ качества, совершенно противоположныя его глубокому и свѣтлому взгляду на призваніе художества и художниковъ. Конечно, въ началѣ онъ съ ними жилъ въ ладу, видѣлъ довольно много хорошаго и дѣльнаго, такъ что въ 1833 году писалъ: «Всѣ русскіе художники теперь одной мысли. Начиная отъ Брюлова до Виганда, каждый говоритъ: нѣтъ отрады другой для меня, какъ углубленіе въ занятія мои. Вслѣдствіе сего, Брюловъ оканчиваетъ картину свою («Послѣдній день Помпеи»), удивляющую Римъ, а слѣдовательно и Европу. Бруни говоритъ: употреблю всѣ деньги, полученныя за копію Рафаэлева «Эліодора», на производство картины «Моисей въ пустынѣ», а тамъ, какъ разсудитъ императоръ, продолжать ли мнѣ пенсіонъ. А я, я не могу быть безъ дѣла, я у-м-и-р-а-ю безъ дѣла. Лапченко есть доказательство въ исторіи русскихъ художествъ, что, пріѣхавъ въ Римъ, можно заняться тотчасъ дѣломъ, и дѣломъ важнымъ, имѣя половинную пенсію...» и т. д. Въ другихъ письмахъ, ранней

тоже эпохи, Ивановъ говоритъ о своемъ желаніи, чтобъ Брюловъ сдѣлался его совѣтникомъ по искусству, называетъ его вполнѣ сформировавшимся художникомъ, живописцемъ «всеобщимъ или историческимъ»; говоритъ, что Римъ смотритъ на «Помпею» съ признательностью, и что этотъ результатъ его просвѣщенія порадуетъ, конечно, соотечественниковъ. Про Бруни онъ вначалѣ отзывается также съ большой похвалой и симпатіей: «Я часто захаживаю къ нему въ студію, чтобы напитаться духомъ и вкусомъ сего великаго художника». Но въ 1835 и 36 году Ивановъ сталъ мало-по-малу о нихъ думать совсѣмъ иначе. Осенью 1835 года онъ пишетъ отцу: «Бруни ѣдетъ въ Петербургъ, чтобы захватить кучу работъ, но и кучу денегъ: его вызываютъ занять профессорское мѣсто въ академіи. Онъ ѣдетъ, чтобы, закутавшись въ личину любезнаго человѣка и покорнаго подданнаго русскаго, нахватать пенсій, крестовъ, почестей, денегъ, и потомъ искуснѣйшимъ образомъ взять паспортъ и пожелать покойной ночи воспитавшей его Россіи». Отцу онъ говоритъ, въ 1836 году: «Вы радуетесь, что Брюловъ перемѣнился со мною обращеніемъ. Перемѣна эта только на одинъ день. Впрочемъ, это все равно. Онъ несчастенъ, ибо не можетъ быть никогда ни добрымъ, ни спокойнымъ». Въ сентябрѣ 1836 года онъ пишетъ отцу: «Что-то говорятъ о моей картинѣ («Іисусъ съ Магдалиною»)? Я полагаю, что она сдѣлалась жертвою мщенія Брюлова. Бруни, говорятъ, съ нимъ въ мирѣ; Бруни человѣкъ слабый, который будетъ зависѣть отъ ума Брюлова». «Я не думаю, чтобъ Брюловъ пріѣхалъ теперь въ Римъ,— пишетъ онъ отцу въ 1839 году. Что̀ ему здѣсь дѣлать? Онъ слишкомъ упился почестями, ему уже Римъ совсѣмъ теперь не понравится». Весной 1841 года Ивановъ говоритъ отцу: «Бруни картина («Мѣдный Змій») уже готова, и здѣсь выставлена. Онъ недоволенъ здѣшней публикой: всѣ въ голосъ говорятъ, что не видно главнаго лица въ картинѣ, Моисея, но что группа расположена безподобно, и что все написано удивительно. Мы, русскіе, молчимъ — мы тутъ нейтральны. Бруни болѣе итальянецъ, чѣмъ русскій. Еслибъ мы изобразили нашу радость какимъ-нибудь торжественнымъ пиромъ, то остались бы въ дуракахъ въ глазахъ итальянцевъ, которые съ нимъ вмѣстѣ вѣрятъ, что только изъ итальянскаго происхожденія можетъ сложиться человѣкъ, столь свободно владѣющій исполнительной частью». Наконецъ, въ 1843 году онъ уже признавалъ, что «декораціонная кисть Бруни гораздо менѣе имѣетъ достоинства, чѣмъ Завьялова полуокончательность»; въ 1845 году онъ говоритъ Чижову,

что «охотно сбудетъ ему 6—7 рисунковъ Брюлова, которые достались ему за долги». Наконецъ, въ томъ же 1845 году онъ находилъ, должно быть, совершенно справедливымъ (потому что ничуть не протестовалъ) отзывъ одного русскаго духовнаго лица, что «картоны Брюлова для фресокъ въ исаакіевскомъ соборѣ талантливы, но чужды всякаго религіознаго чувства», а въ 1851 году писалъ Гоголю, когда Брюловъ, послѣ острова Мадеры, снова пріѣхалъ въ Римъ: «Я съ нимъ, въ началѣ пріѣзда, часто видѣлся, но теперь съ нимъ не бываю. Его разговоръ уменъ и занимателенъ, но сердце все то же, все такъ же испорчено».

Значитъ, онъ уже пересталъ искать совѣтовъ Брюлова и Бруни, и болѣе не вѣровалъ въ ихъ великое художественное значеніе.

Я не стану перечислять здѣсь множества разсѣянныхъ по письмамъ замѣтокъ Иванова на счетъ не-серьёзности и неудовлетворительности занятій разныхъ нашихъ художниковъ, жившихъ при немъ въ Римѣ, но приведу нѣсколько общихъ его отзывовъ о нихъ, въ высшей степени важныхъ и характерныхъ. Когда, въ 1838 году, пріѣхалъ въ Римъ Наслѣдникъ Цесаревичъ (нынѣ царствующій Императоръ), рѣшено было поднести Ему альбомъ работы всѣхъ нашихъ художниковъ. По этому поводу Ивановъ пишетъ отцу, что нѣкоторые художники: Рихтеръ, Моллеръ, Каневскій, Шупие, Никитинъ, Дурново, Ефимовъ, Скотти, Пименовъ,—наконецъ, и онъ самъ тоже съ ними—тотчасъ принялись и сдѣлали то, что задумали; «прочіе же это время провели въ спорахъ о мѣрѣ листовъ, о своихъ долгахъ, о скукѣ работать и т. п.». Въ 1845 году онъ пишетъ брату, по случаю пріѣзда К. Тона въ Римъ (для заказовъ по храму Спасителя въ Москвѣ): «К. Тонъ былъ принятъ съ общимъ восторгомъ; кромѣ Монигетти, всѣ охотно его окружили. На другой день пріѣзда давали ему обѣдъ, гдѣ нашъ Іорданъ ораторствовалъ; подъ конецъ обѣда все превратилось въ неистовый шумъ. При отъѣздѣ тоже былъ данъ обѣдъ, гдѣ уже было раздолье. Но это все не важно и не замѣчательно, а вотъ что важно—что пріѣздъ Тона окончилъ совершенно свободное состояніе художника. Это правда, что все къ этому было уже готово. Молодое поколѣніе, видя въ наставникахъ своихъ безбожниковъ, пьяницъ, гулякъ, картежниковъ и эгоистовъ, приняло всѣ эти качества въ основаніе, и вотъ, свобода пенсіонерская, способная усовершенствовать, опорить и окончить прекрасно начатаго художника,—теперь была обращена на усовершенствованіе необузданностей. Нѣкогда думать, нѣкогда углубляться въ самаго себя и оттуда вызывать предметъ

для исполненія. Сегодня у Рамазанова просиживаютъ ночь за картами и виномъ, завтра—у Ставассера, послѣ-завтра—у Климченко. Разумѣется, что тутъ уже лучше заняться заказной работой—вотъ вамъ, господа, и цѣны; Тонъ привезъ работы—вотъ вамъ сюжеты, вотъ мѣры; вдали—деньги и приставникъ, чтобы работали, а не кутили, а можетъ быть и вывозъ безвременный въ Россію. Прощай все прекрасное, все нѣжно-образованное, прощай соревнованіе русскихъ съ Европой на полѣ искусствъ! Мы—пошлые работники, мы пропили и промотали всю свободу». Такихъ людей строгій и сосредоточенный Ивановъ не могъ ни любить, ни уважать: то, что̀ казалось имъ прелестнымъ художественнымъ гусарствомъ, истинною жизнью художника за границей—конечно, было ему только отвратительно и презрѣнно. Тѣмъ болѣе, что ему, вдобавокъ ко всему остальному, приходилось сознавать то скудость духа и крайнюю необразованность однихъ, при всей ихъ внѣшней, иной разъ, талантливости («жаль, писалъ онъ, что талантъ Пименова необразованъ, а то бы онъ могъ стать наравнѣ съ самыми лучшими скульпторами нашего времени»; «о Тыранові̀ можно пожалѣть, что въ поздніе лѣта и съ малымъ образованіемъ посланъ онъ въ Римъ, гдѣ, какъ человѣкъ съ талантомъ, невольно почувствовалъ онъ потребность устремиться къ чему-то возвышенному, и сдѣлалъ историческую картину»),—то опять приходилось съ чувствомъ гадливости наталкиваться на пройдошничество и заискиванье передъ высшими властями разныхъ Марковыхъ, Каневскихъ и иныхъ.

Какъ ни сильна была любовь Иванова къ Россіи, какъ ни широко, какъ ни человѣколюбиво его сердце, но такого люда онъ неспособенъ былъ любить и миловать. Онъ отъ него отстранился, онъ выдѣлялъ всѣхъ этихъ субъектовъ изъ среды того высокаго національнаго идеала, который постоянно наполнялъ его мысль.

IV.

Въ изложенномъ до сихъ поръ, я старался показать отношенія Иванова къ окружавшимъ его постороннимъ элементамъ и вліяніямъ, а также тѣ главныя силы, которыя въ немъ самомъ присутствовали: сознаніе великости задачъ художника и художества, ни съ чѣмъ несравненное стремленіе къ самообразованію, смѣлую и самостоятельную критику всего представлявшагося его взору, наконецъ, самое глубокое убѣжденіе въ необ-

ходимости національности. Теперь мнѣ надо показать Иванова среди его жизни въ Римѣ.

Изъ чего состояла эта жизнь его, въ чемъ прошли его 28 лѣтъ, проведенныхъ вдали отъ отечества? Эти 28 лѣтъ прошли для Иванова въ томъ, что онъ прожилъ пустынникомъ и затворникомъ, а все-таки не покидалъ заботы о другихъ художникахъ, своихъ товарищахъ; что онъ никогда не переставалъ чувствовать острое жало бѣдности и лишеній; что онъ работалъ надъ своимъ дѣломъ, какъ навряд ли многіе другіе художники на свѣтѣ работали; наконецъ, что, приблизившись къ 50-мъ годамъ своей жизни, вмѣсто того, чтобъ ослабѣть и кинуть работу, какъ всѣ у насъ, онъ вдругъ съ удесятеренною силою устремился къ новому еще развитію, къ новымъ трудамъ и горизонтамъ.

Что̀ можетъ быть выше, необыкновеннѣе подобной жизни? Много ли подобныхъ примѣровъ встрѣтишь въ исторіи, особливо въ исторіи искусствъ, и еще особливѣе—въ исторіи искусства русскаго?

Въ 1840 году Ивановъ былъ еще далеко не затворникъ, и не покидалъ еще кружка товарищей своихъ. Но уже и тогда ихъ полупраздная, пустая жизнь начинала приводить его въ сомнѣніе, уже и тогда у него не было ихъ безпечнаго, ребяческаго легкомыслія. Онъ пишетъ тогда уже сестрѣ: «Гостинница въ Субіако называется «Au rendez-vous des artistes». Мы, художники, тутъ въ самомъ дѣлѣ имѣемъ наше соединеніе: утромъ, передъ восходомъ солнца—за чашками кофею, въ полдень—за обѣдомъ, и при закатѣ солнца—за ужиномъ, гдѣ, послѣ трудовъ, мы предаемся веселью каждый разъ. Поемъ хоромъ швейцарскія, итальянскія, французскія, нѣмецкія сентиментальныя пѣсни, пляшемъ по-итальянски подъ звуки барабановъ и бубновъ, представляемъ комедіи, играемъ въ солдаты, при всѣхъ, на улицѣ, послѣ ужина; а затѣ хозяина, француза, на смѣхъ всѣхъ идетъ впереди насъ въ видѣ тамбуръ-мажора, представляя эту должность въ самомъ каррикатурномъ видѣ,—швыряемъ пряники мальчишкамъ на драку, коихъ всегда собирается безъ счету, чтобы видѣть всѣ наши сумасшествія. Наши комнаты, а особливо столовая, росписаны каррикатурами всѣхъ извѣстныхъ художниковъ. Я меньше всѣхъ участвовалъ въ этихъ весельяхъ; я дѣлалъ это, чтобы только не казаться страннымъ». Онъ въ это время еще боялся казаться страннымъ! Но скоро онъ пересталъ этого бояться. Онъ уже и прежде скучалъ съ русскими художниками, и по временамъ оставлялъ ихъ; въ 40-хъ годахъ

онъ отстранился отъ ихъ шумной, пустой и нерѣдко совершенно праздной толпы—окончательно. Въ 1845 году, послѣ множества непріятныхъ и непристойныхъ столкновеній съ нашими художниками, Ивановъ пишетъ Чижову: «Не одного васъ останавливаютъ люди пошлые. Высунулся я въ ихъ толпу, именно потому, что видѣлъ ихъ же погибающими, что чувствовалъ въ себѣ силы имъ помочь, и что́ же? Въ то время, когда я не спалъ нѣсколько ночей сряду, писалъ и переписывалъ представленія (министру князю Волконскому, на счетъ заказовъ Императора Николая I), неугодныя однимъ выраженіемъ Солнцеву,—что́ же вы думаете? При всѣхъ, у Лепре (трактиръ), Солнцевъ входитъ какъ бѣшеный звѣрь, и съ позорными словами нападаетъ на меня, кричитъ и не даетъ мнѣ выговорить ни слова—каково! Часовъ черезъ шесть послѣ этой ужасной сцены онъ со мной встрѣтился одинъ, извинился, что онъ горячъ, что что́ же дѣлать, и проч. Онъ извинялся наединѣ, а у гостей и другихъ товарищей оставилъ меня въ подлецахъ. Вотъ чѣмъ кончилась моя трагедія! Я далъ слово—не показаться въ русское общество до окончанія моей картины».

И все-таки, его нѣжная, почти отеческая заботливость о русскихъ художникахъ не прекращалась. Въ концѣ 1844 года онъ писалъ Серебрякову: «Я часто о васъ думаю, и всегда, въ заключеніе, вы кажетесь мнѣ заключающимъ все свое лучшее, и, можетъ быть, всю вашу карьеру. Вы заняты ласками неблагодарнаго свѣта. Вы сдѣлались даже неспособны понимать слова. Вамъ и вдумываться нѣкогда. Такимъ образомъ, проходятъ ваши дни въ пустыхъ упражненіяхъ, услужливостяхъ, мелкихъ порученіяхъ, въ результатѣ коихъ—самая мелкая пустота въ сердцѣ. Проклинаю тотъ день, когда мнѣ пришла мысль познакомить васъ съ Обуховымъ... Но научите меня, какъ бы васъ разлюбить? Какъ бы разрушить въ васъ всѣ качества русскаго, истребить любовь къ успѣхамъ отечества?». Чувствуя постоянно крайній недостатокъ въ средствахъ, онъ все-таки предлагаетъ молодымъ художникамъ, Чмутову, Сорокину, пріѣхать и жить у него — потому что надѣется быть имъ полезенъ, поставить ихъ на настоящую дорогу. Посмотрите также, съ какимъ участіемъ говоритъ онъ о художникахъ прежняго поколѣнія, о живописцѣ Кипренскомъ, котораго никто не оцѣняетъ, тогда какъ поклоняются Богъ знаетъ какимъ пройдохамъ и проказамъ, — или о старикѣ гравёрѣ Уткинѣ, котораго всѣ позабыли.

А между тѣмъ, его собственныя лишенія и бѣдность были такъ велики, что, казалось бы, ему только бы и думать, что о

самомъ себѣ. «Вашъ самый горестный день въ жизни можетъ равняться нашему отдыху», пишетъ онъ однажды сестрѣ въ 1846 году. Онъ постоянно долженъ былъ упрашивать, то Общество поощренія художниковъ, то Жуковскаго, то кого-нибудь изъ вліятельныхъ чиновниковъ и дамъ, чтобы ему выхлопотали отсрочку пенсіи, чтобы ему дали хоть какія-нибудь средства просуществовать въ Римѣ до окончанія его громаднаго, едва-ли не безпримѣрнаго труда. Каково должно было быть такое униженіе для этого гордаго, для этого полнаго своего достоинства человѣка! «Вы знаете,—говоритъ онъ сестрѣ въ 1846 году,—что только тогда кой-какъ и можно имѣть какую-нибудь свободу въ обращеніи, когда объ интересѣ нѣтъ помину. И потому, мы съ братомъ отказываемъ себѣ во всемъ, и маленькія деньги, въ сравненіи съ нашимъ огромнымъ предпріятіемъ, едва достаютъ, чтобы не впасть въ долги»... «Нищета Иванова, писалъ одинъ изъ его друзей, была такова въ послѣдніе годы его жизни, что онъ по сутканъ довольствовался стаканомъ кофе и черствой булкой, или чашкой чечевицы, сваренной изъ экономіи имъ самимъ въ той самой студіи, гдѣ работалъ, и на водѣ, за которою нашъ художникъ ходилъ самъ къ ближайшему фонтану. И, несмотря на эту нищету, Ивановъ никогда не поддался на совѣты друзей и доброжелателей, изъ которыхъ одни торопили и понуждали его скорѣй кончить большую картину его, другіе увѣряли, что ему легко было бы выдти изъ нужды, производя въ промежуткахъ свободнаго времени маленькія картинки для лотерей или для заказовъ. Онъ, какъ Іовъ, пораженный проказою, стоналъ отъ боли и, однакоже, не слушался друзей».

Этотъ разсказъ не преувеличенъ. Ивановъ не разъ и самъ себя называетъ «нищимъ». «Какъ грустно родиться нищимъ,—пишетъ онъ отцу въ 1835 году,—чувствовать это въ полной степени, и не видѣть ничего впереди, для поправленія своего состоянія». «Я нищій и послушникъ крайней нужды», пишетъ онъ ему же въ концѣ 1835 года. Десять лѣтъ спустя, онъ повторяетъ еще новый разъ то же самое своему пріятелю Чижову: «Цѣлъ Россіи мною доволенъ, радуется, и съ нетерпѣніемъ ожидаетъ моей картины, но я все-таки остаюсь нищимъ, а нищій художникъ большого размѣра произведеній несравненно безсильнѣе поэта, котораго произведенія все-таки меньше требуютъ матеріальныхъ издержекъ».

Въ молодыхъ годахъ, онъ часто бывалъ разстроенъ всѣмъ этимъ, его наполняли мрачныя мысли, меланхолія: «про меня начинаютъ говорить въ Римѣ,—пишетъ онъ въ 1836 году,

что разговоръ мой имѣетъ тонъ всегда какой-то грусти, и что таковаго разбора люди неспособны бываютъ къ искусству — варвары люди!» Само собою разумѣется, то-ли дѣло весельчаки-кутилы, сыплющіе червонцами и остротами, пляшущіе тарантеллу съ натурщицей, среди чоканья стакановъ — куда за тѣми угоняться? Не они ли истинные творцы великихъ художественныхъ созданій? Но въ 1851 году, въ письмѣ къ Гоголю, Ивановъ еще явственнѣе высказываетъ свое одиночество и нравственное настроеніе: «Вы спрашиваете о моей жизни внѣ студіи? Внѣ студіи я довольно несчастенъ, и если бы не студія, то давно бы былъ убитъ. Такъ, покамѣстъ, стоятъ дѣла. Все, что вы разумѣли о моихъ страданіяхъ, написавъ статью обо мнѣ (въ «Перепискѣ съ друзьями»), составляетъ, можетъ быть, четвертую долю того, что случалось послѣ... Я почти ни съ кѣмъ не знакомъ, и даже почти оставилъ и прежнихъ знакомыхъ. Я, такъ сказать, ежедневно болтаюсь между двумя мыслями: искать знакомства, или бѣжать отъ него? И, вися въ серединѣ, кое-какъ разговариваю съ людьми, всегда имѣя къ нимъ возможную снисходительность и ища ихъ благорасположенія, какъ необходимости для меня. Какъ ни странно это положеніе, но вмѣстѣ и утѣшительно: никогда я не былъ такъ наблюдателенъ, какъ теперь, и въ этомъ я нахожу отраду».

Въ дополненіе ко всему этому мы встрѣчаемъ у Иванова любопытную, глубоко имъ самимъ сознаваемую и ничуть не одобряемую черту характера: крайнее ко всѣмъ недовѣріе и нѣкоторое, почти ипокритское закрывательство, отъ всѣхъ другихъ, своихъ истинныхъ обстоятельствъ. «Привыкнувъ жить навѣрное,— говоритъ онъ однажды,—я всегда закрывалъ отъ людей остатки, склоняемые лишеніями, не вѣря людямъ ни въ чемъ—это тоже одинъ изъ монументовъ татарскаго ига».

Но, какъ ни отстранялся Ивановъ отъ общества, все-таки былъ кружокъ людей, которыхъ онъ не покидалъ и съ которыми, когда они отсутствовали изъ Рима, онъ былъ въ постоянномъ общеніи. «Далъ бы тебѣ Богъ,—пишетъ онъ брату въ 1843,— пріѣхать къ намъ въ Римъ, то уже тутъ бы ты, въ часы отдыха, очень пріятно могъ бы проводить время съ отличными молодыми нашими московскими профессорами и студентами»... «Я имѣю огромный капиталъ,—пишетъ онъ отцу въ 1845 году —и какіе бы слухи до васъ ни доходили о моей бѣдности, не вѣрьте. Капиталъ въ самомъ дѣлѣ есть у меня — это четыре, пять образованныхъ друзей, настоящихъ русскихъ, которые видѣли въ моей картинѣ представителя успѣховъ отечества, и, въ

послѣднемъ случаѣ, готовы будутъ подѣлиться». Изъ художниковъ это были—Моллеръ и Іорданъ, изъ ученыхъ—Погодинъ, Шевыревъ, Чижовъ, изъ писателей—Гоголь, Жуковскій, Языковъ, Плетневъ. Своимъ образованіемъ или талантливостью, свѣтлымъ умомъ или, по крайней мѣрѣ, добрымъ сердцемъ и преданностью они были Иванову столько же пріятни, сколько и полезны въ его одиночествѣ. Но съ годами онъ во многихъ изъ нихъ разочаровался. Такъ, наприм., онъ впослѣдствіи пересталъ вѣрить въ то, чтобъ Моллеръ былъ «истинный русскій»: «Моллеръ здѣсь уже двѣ недѣли, съ двумя братьями и невѣстою,—пишетъ онъ Чижову въ 1845 году,—люди любезные и добрые, но зачѣмъ они изъ всѣхъ силъ стараются быть русскими?» Въ другомъ мѣстѣ онъ прямо говоритъ, что очень любитъ Моллера, но тотъ ему часто надоѣдаетъ мелкими порученіями и просьбами, такъ что онъ, Ивановъ, думаетъ запереться отъ него, хотя и очень любитъ его; въ третьемъ, сильно не довѣряетъ даже таланту: «Видѣлъ я Моллера эскизъ (картины «Іоаннъ на островѣ Патмосѣ») — слабо, видѣнъ ученикъ Брюлова». Чижова Ивановъ долго уважалъ за начитанность и любовь къ искусству, за его русскій духъ, за его путешествіе по славянскимъ землямъ, долго считалъ его истиннымъ наставникомъ и помощникомъ русскихъ художниковъ, ожидалъ отъ него превосходной исторіи живописи — и однакоже, въ концѣ-концовъ, пришелъ къ тому, что Чижовъ «очень не готовъ ни къ должности художественнаго совѣтника при художникахъ, ни къ веденію журнала». Что касается Жуковскаго, то онъ постоянно помогалъ Иванову своими рекомендаціями, просьбами и хлопотами въ его пользу какъ за границей, такъ и въ Петербургѣ; но когда дѣло дошло до настоящей оцѣнки дѣятельности и картины Иванова, то оказалось, что онъ тутъ очень мало понимаетъ, такъ что Ивановъ, какъ мы это видѣли выше, вынужденъ былъ писать Чижову: «Какъ не стыдно такъ говорить Василію Андреевичу! При его умѣ и образованіи, я думалъ, онъ войдетъ гораздо глубже въ мое положеніе, и тогда бы онъ увидѣлъ, что я только несчастливъ... Не долженъ ли я пожертвовать совершенно всѣмъ для такого предпріятія, которое бы со временемъ поставило меня на художественную каѳедру, съ которой бы я могъ умалить злоупотребленія (художественныя, въ Россіи)?» Много же зналъ и понималъ Иванова Жуковскій, когда ему надо было все это втолковывать, послѣ стольнихъ лѣтъ интимности—все это, составлявшее краеугольный камень въ символѣ вѣры Иванова!

Самъ Гоголь, ближайшій другъ, повѣренный и наставникъ

Иванова, тотъ Гоголь, генію котораго Ивановъ такъ глубоко поклонялся, все-таки не былъ къ нему, въ дѣйствительности, такъ близокъ по натурѣ, какъ по внѣшности должно бы казаться. Ивановъ обыкновенно высоко восхваляетъ Гоголя за истинное и *глубокое пониманіе искусства*, но когда дѣло касалось самой сути дѣла, то оказывалось, что Гоголь и Ивановъ—это люди совершенно разныхъ міровъ. Во-первыхъ, Гоголь ничуть не вникалъ въ художественныя потребности Иванова, и сопротивлялся имъ, такъ что однажды этотъ послѣдній пишетъ ему: «Напрасно вы думаете, что моя метода—силою сличенія и сравненія этюдовъ подвигать впередъ трудъ—доведетъ меня до отчаянія. Способъ сей согласенъ и съ выборомъ предмета, и съ именемъ русскаго, и съ любовью къ искусству», а другой разъ: «Я въ августѣ думаю возвратиться изъ Неаполя въ Альбано, для этюдовъ перваго плана картины (пожалуйста, не браните: вѣдь вы тутъ только теоретикъ)». Это послѣднее писано въ маѣ 1851 года, т.-е. за нѣсколько лишь мѣсяцевъ до смерти Гоголя; но сколько въ этихъ немногихъ словахъ, сказанныхъ мимоходомъ, «между скобокъ», сколько въ нихъ слышится долголѣтнихъ, частыхъ споровъ и «браней» Гоголя насчетъ того, чего Ивановъ будто бы «не долженъ» дѣлать, и разумности того, чего Гоголь вовсе не понимаетъ!

Но этого мало: не съ одной только чисто-художественной стороны между ними не могло быть истиннаго единодушія. Гоголь однажды выступилъ у насъ какъ могучій и энтузіастный провозвѣстникъ необыкновеннаго значенія Иванова. Гоголь болѣе и ранѣе всѣхъ поднялъ его во всеобщемъ мнѣніи, и, несмотря на это, можетъ быть никто менѣе Гоголя не заботился о самомъ талантѣ Иванова и его картинѣ. Гоголь вообще мало разумѣлъ въ искусствѣ, не взирая на всю свою геніальность, и въ 40-хъ годахъ понималъ Иванова едва ли еще не менѣе того, чѣмъ въ 30-хъ годахъ — Брюлова, когда «Помпею» провозгласилъ свѣтлымъ воскресеніемъ живописи цѣлой Европы. Картина Иванова «Явленіе Христа народу» послужила ему только предлогомъ для нѣсколькихъ блестящихъ, по таланту, страницъ импровизаціи на тѣ благочестивыя темы, какія наполняли всю мысль его въ послѣдніе годы жизни. Представляя Иванова религіознымъ отшельникомъ, вымаливающимъ себѣ у Бога очищенія души и успѣха картинѣ, Гоголь рисовалъ только тотъ образъ художника, который у него самого гнѣздился въ головѣ, но котораго въ ту минуту вовсе не стояло передъ нимъ. Онъ нисколько не зналъ нравственнаго облика и интеллектуальнаго содержанія

Иванова. Правда, Ивановъ до нѣкоторой степени поддавался пiетистическимъ привычкамъ Гоголя, и писалъ ему въ концѣ писемъ: «Да устранитъ Богъ всякое діавольское нашествіе отъ васъ, и да пребудете цѣлы и мирни, какъ то явилъ Онъ намъ въ образѣ Іисуса Христа»... «Несчастія намъ даются свыше, дабы мы могли имѣть болѣе способовъ жить, въ глубинѣ самихъ себя, въ покорности волѣ Провидѣнія»... «Мы, христіане, должны въ молчаніи и съ покорностью ждать обѣщаннаго блаженства и печься только о томъ, чтобы быть болѣе и болѣе его достойними», — но все это было лишь нѣчто въ родѣ добродушнаго, терпѣливаго, можетъ быть даже безсознательнаго, маскарада. Иногда Ивановъ терялъ терпѣніе, и тогда вдругъ рѣзко и отрывисто высказывалъ свою настоящую натуру. «Одно мѣсто письма вашего, — пишетъ онъ Гоголю въ 1844 году, — *что я далеко не христіанинъ* и проч., заставляетъ меня задуматься. Я не въ состояніи теперь же на это отвѣтить». Нужно ли прибавлять, что онъ ему и никогда на это не отвѣтилъ? Другой разъ онъ ему пишетъ по поводу статьи о себѣ въ «Перепискѣ съ друзьями»: «Одно мнѣ позвольте возразить противъ слѣдующихъ словъ вашей статьи: «*Ивановъ ведетъ жизнь истинно монашескую*». И очень бы не отказался я имѣть женой монахиню — женщину, занятую преслѣдованіемъ собственныхъ своихъ пороковъ!». Другими словами: напрасно ты, братъ, мнѣ приписываешь то, чего у меня отроду и въ головѣ не бывало! И дѣйствительно, никогда, во всю жизнь Ивановъ не удалялся по-монашески отъ женщинъ, какъ Гоголь. Напротивъ, онъ часто на нихъ любуется, пишетъ о нихъ съ восторгомъ и съ увлеченіемъ; во время путешествія по средней и сѣверной Италіи, въ 1835 г., онъ «восхищенъ» женщинами въ Романьи и «обворожень» фріулянками; венеціанки казались ему «граціознѣйшими», и т. д.; въ 1847 году онъ пишетъ Чижову: «Женщина создана быть помощницей человѣка; она ему вполнѣ сострадаетъ, служитъ ему изумительнымъ отдохновеніемъ отъ разумныхъ его напряженій, давая силы къ дальнѣйшимъ предпріятіямъ, и, вводя въ свои тайны, даетъ и физическимъ силамъ свѣжесть и радость»; въ 1847 же году онъ мечталъ о бракѣ съ молодою дѣвушкой, въ которую былъ страстно влюбленъ, а въ 1858, лишь за нѣсколько недѣль до смерти, «первое его стремленіе въ Петербургѣ было не о своей картинѣ узнать, но справиться о той, кого онъ такъ горячо полюбилъ за десять лѣтъ передъ тѣмъ». Наконецъ, во время послѣдняго, проведеннаго имъ въ Римѣ, карнавала 1858 года, онъ пишетъ

И. М. Сѣченову: «Карнаваль не можетъ быть и для меня безъ дѣвицъ». Вотъ какъ мало зналъ Гоголь Иванова, вотъ какъ глубоко ошибался въ немъ!

Впрочемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своихъ писемъ Ивановъ даетъ довольно ясное понятіе о томъ, чѣмъ былъ для него Гоголь и его общество: «Грусть и скука намъ безъ васъ въ Римѣ,— пишетъ онъ ему въ 1841 году. Мы привыкли въ часы досуга или слышать подкрѣпительныя для духа ваши сужденія, или просто забавляться вашимъ остроуміемъ и весельемъ. Теперь ничего этого нѣтъ: вечернія сходки въ натурномъ классѣ, состоящемъ изъ Моллера, Іордана, Шаповалова и меня, не стоятъ и десятой доли бесѣды вашей». Въ другомъ письмѣ, 1847 года, онъ говоритъ ему же: «Въ бесѣдахъ съ вами, и только съ одними вами, духъ мой не утомляется. Вы знаете, что мнѣ сказать, и что не говорить. Вы меня любите глубокомудрымъ образомъ, но васъ нѣтъ на лицо, а я поставленъ все въ какое-то столкновеніе съ людьми, и, никогда не имѣя случая изучать ихъ, мучаюсь въ этой каторжной работѣ». Сторона моральная, сторона веселья и остроумія, сторона религіозная—все это прекрасно, все это полезно и интересно, но навряд ли удовлетворяло всѣмъ потребностямъ и стремленіямъ, какими былъ постоянно наполненъ Ивановъ.

Такое мнѣніе составилъ я себѣ объ Александрѣ Ивановѣ по тому, что я зналъ о немъ и Гоголѣ еще въ 1858 году. Оно получило новое подтвержденіе въ словахъ Сергѣя Иванова, писавшаго мнѣ въ 1862 году: «Братъ никогда не былъ однихъ мыслей съ Гоголемъ: онъ съ нимъ внутренно никогда не соглашался, но въ то же время никогда съ нимъ и не спорилъ, избѣгая, по возможности, непріятные и, скажемъ даже прямо, дерзкіе отвѣты Гоголя, на которые, по своей гордости, Гоголь не былъ скупъ».

Нѣтъ, Иванову надобно было нѣчто побольше того, что давала ему бесѣда съ друзьями — даже съ самимъ Гоголемъ. Гоголь, какъ извѣстно, никогда не расточалъ передъ знакомыми своими, въ Россіи или заграницей, тѣхъ сокровищъ поэзіи и талантливости, которыми самъ былъ наполненъ. Оба они были какъ нельзя болѣе правы,—Гоголь, когда писалъ Иванову, 18-го января 1848 года: «Какъ ни пріятно мнѣ тоже васъ видѣть, но чувствую, что *ничего не могу теперь сказать вамъ нужнаго*»;— Ивановъ, когда писалъ Гоголю, 20-го мая 1851 года: «Какъ-то все у меня теперь свертывается на студію, какъ на *единственное и вѣрное уединеніе*». Имъ быть вмѣстѣ — было

уже болѣе нѣчего, и развѣ только что «пріятно». Студія и работа были теперь для Иванова единственною и настоящею потребностью, заботой, утѣшеніемъ, и одинъ изъ истиннѣйшихъ и величайшихъ художниковъ русскихъ, музикантъ Даргомижскій, глубоко вѣрно понималъ жизнь и натуру Иванова, когда писалъ въ одномъ изъ лучшихъ писемъ своихъ: «Великій нашъ живописецъ Ивановъ въ теченіи 20-ти лѣтъ жилъ царемъ въ своей мастерской въ Римѣ. По временамъ, онъ испытывалъ треволненія; но, преслѣдуя съ геніальнымъ упорствомъ одну святую мысль, погружаясь въ чудныя подробности внѣшней природы — онъ былъ счастливъ» («Русская Старина», 1875, XIII, 430 стр., письмо къ Л. И. Кармалиной). Какъ вѣрно и мѣтко схватываетъ иногда одинъ талантливый человѣкъ натуру и жизнь своего товарища, другого талантливаго человѣка! Ивановъ почти тоже называлъ себя «царемъ», не взирая на всю бѣдность, лишенія и одиночество. «Самое мое лучшее положеніе есть теперь», пишетъ онъ отцу въ 1839 году. «Признаюсь, я не вижу въ остальной моей жизни ничего лучше настоящаго моего положенія», такъ пишетъ онъ Гоголю въ 1844 году. Та глубокая сосредоточенность, которой онъ требовалъ отъ художника, та безпредѣльная преданность своему дѣлу и своей задачѣ, безъ которой онъ и искусство считалъ не искусствомъ, ни единаго дня не покидали его за работой, и несли ему, конечно, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, свои востерги въ награду. «Товарищей я всегда любилъ и люблю,—пишетъ онъ въ 1848 г. брату,— но люди, совѣстливо не занимающіеся своимъ дѣломъ, заботящіеся о доставленіи себѣ мелкихъ животныхъ удовольствій, отупѣваютъ въ чувству всего высокаго, и даже часто издѣваются надъ людьми, стремящимися къ нему въ своемъ затворничествѣ». Кто этотъ человѣкъ, *стремящійся къ чувству высокаго, въ уединенной кельи*, какъ не самъ Ивановъ?

Но кто въ такомъ стремленіи и въ такихъ восторгахъ проводитъ время, что могутъ для того значить внѣшнія наружныя отличія? Они могутъ ему казаться напраснымъ излишествомъ или непріятной помѣхой. «Какъ жаль, что меня сдѣлали академикомъ,—пишетъ онъ отцу въ концѣ 1836 года:—мое намѣреніе было никогда никакого не имѣть чина, но что дѣлать! Отказаться отъ удостоенія — значитъ обидѣть удостоившихъ. Однакожъ я, можетъ быть, попробую объ этомъ намекнуть Григоровичу». Брату онъ пишетъ въ 1842 году: «Что Марковъ сдѣланъ профессоромъ, тому я очень радъ. Тебя удивитъ, если я скажу, что то способствуетъ къ исполненію моихъ предпріятій — сейчасъ тебѣ

денажу. Ища помощи отъ двора для окончанія моей картины, единственнаго желанія въ жизни, я весьма робѣлъ, чтобы не пришла мысль князю Волконскому (министру двора) вызвать меня на занятіе профессорскаго мѣста въ академіи. Тогда бы весь я погибъ навсегда, а теперь Марковъ мой громоотводъ». Какой странный человѣкъ: чего другіе такъ ревностно добиваются, отъ того онъ бѣжалъ!

Даже въ 1837 году еще онъ писалъ отцу: «Если живописецъ привелъ въ нѣкоторый восторгъ часть публики, расположенной понимать его, то вотъ уже онъ, по моему мнѣнію, достигъ всего, что доступно художнику. Кунеческіе разсчеты никогда не подвинутъ впередъ художества, а въ щитомъ, высоко стоящемъ воротникѣ тоже нельзя ничего сдѣлать, кромѣ стоять, вытянувшись». «Мнѣ кажется,—говоритъ онъ Шевыреву въ 1846 г.,—учитель въ академіи, на жалованьѣ, изъ себя дѣлаетъ полнаго чиновника. Эту форму должно изобрѣсти въ будущемъ устройствѣ». Поэтому, какъ ни заботился онъ о будущемъ воспитаніи новаго поколѣнія русскихъ художниковъ (подробностями объ этомъ полны его письма и біографія), онъ нѣсколько разъ отказывался отъ преподаванія въ устроившейся, въ Москвѣ, въ 1844 году, художественной академіи или школѣ—и вмѣсто себя указывалъ на Пименова и Завьялова, какъ на людей истинно полезныхъ. Что ему значило отказаться отъ профессорства, когда онъ уже напередъ отказывался, въ 1843 году, отъ работъ въ московскомъ, а потомъ и въ исаакіевскомъ соборѣ, даромъ что эти работы могли бы принести нѣсколько десятковъ, а можетъ быть и сотъ тысячъ рублей. «Это и безъ меня могутъ сдѣлать», говорилъ онъ отцу, и прибавлялъ потомъ: «Оставить навсегда неконченною мою картину и ѣхать къ вамъ—значитъ погребсти все мое лучшее въ жизни, и сдѣлаться денежнымъ художникомъ, подлецомъ въ отношеніи къ художеству и къ отечеству».

Но Ивановъ отказывался не отъ однихъ только матеріальныхъ выгодъ. Онъ, въ своемъ высокомъ чувствѣ благородства и независимости, прилагаемомъ не только къ себѣ, но и ко всѣмъ другимъ, отказался, въ 1846 году, принять надсмотръ за работами русскихъ художниковъ въ Римѣ. Онъ считалъ этихъ послѣднихъ равными товарищами, и находилъ такую канцелярскую инспекцію оскорбительною и ненужною для нихъ: «Учредить надъ ними надворъ, пишетъ онъ, значило бы умалить ихъ достоинство, ибо наша золотая медаль отличила насъ изъ сотенъ и возвела до свободныхъ дѣйствій въ мірѣ искусствъ. Жалованье брать за

это—стыжусь и думать, хотя нахожусь въ совершенномъ безденежьи». «Углубляясь болѣе и болѣе въ собственную свою душу, —пишетъ онъ въ 1847 г. Чижову,—я всегда объ одномъ забочусь: чтобы въ предположеніяхъ моихъ никого не насильствовать, и ни надъ кѣмъ не владычествовать». У многихъ-ли изъ художниковъ душа бывала полна, въ его время, такого высокаго чувства общаго равенства?

Но если Ивановъ не хотѣлъ владычествовать надъ другими, то уже, конечно, никогда не позволялъ владычествовать и надъ собою. Когда, въ 1845 году, былъ въ Римѣ архитекторъ Тонъ для заказовъ по московскому собору, Ивановъ про него писалъ: «Взглядъ его на искусство наше устарѣлъ, если еще былъ и прежде воспитанъ въ высокой тишинѣ Рима. Въ разговорахъ съ нами онъ казался какимъ-то хозяиномъ-покровителемъ: давая порученія, онъ привыкъ видѣть получающихъ уже весьма осчастливленными». Но, кажется, во всю жизнь Иванова не было у него столкновеній жестче и непріязненнѣе, чѣмъ съ генераломъ Киленъ, инспекторомъ надъ русскими художниками въ Римѣ. Это былъ человѣкъ необразованный и грубый, властолюбивый и надменный, который, по словамъ Иванова, «какъ амateръ, маракуя что-то акварелью, черезъ это пріобрѣтаетъ въ глазахъ свѣта право быть судьей художниковъ». «Право, силъ нѣтъ ласкаться у сатаны, чтобы онъ не мѣшалъ видѣть свѣтъ божій», — писалъ Ивановъ въ 1845 году. Ивановъ не сталъ пускать Киля къ себѣ въ мастерскую, и скоро это принесло свои плоды. Въ 1846 году, Ивановъ долженъ былъ уже писать: «Киль вздумалъ обращаться со мною, какъ съ крѣпостнымъ человѣкомъ, и, не спроса моего ни мнѣнія, ни согласія, прямо написалъ (въ Петербургъ) бумагу, представивъ меня, какъ нестоющаго довѣренности плута». Наконецъ, въ 1847 г., когда Киль вздумалъ было однажды дать Иванову приказаніе, ждать его у себя въ мастерской, чтобъ показать ему свою картину, Ивановъ на-отрѣзъ отказался: «Данная мною подписка, при полученіи денегъ отъ государя императора, заставляетъ меня употребить всѣ мои часы на приведеніе къ наивозможно скорѣйшему окончанію моей картины. Вслѣдствіе чего и работаю надъ нею безостановочно, и потому ни коимъ образомъ не могу удѣлить ни малѣйшаго времени для пріема посѣтителей въ мастерской моей... До сихъ поръ я отказывалъ самымъ близкимъ мнѣ лицамъ, и, кромѣ ихъ, людямъ государственнымъ, глубоко мною уважаемымъ, именно потому, что всякое посѣщеніе возмущаетъ мое внутреннее спокойствіе и рѣшительно останавливаетъ ходъ

работы». Такую могучую и гордую независимость способны высказать, изъ числа художниковъ, навѣрно немногіе.

Однако недостойное обращеніе Киля дѣлало свое дѣло: оно расстроивало и обезпокоивало Иванова до глубины его души. Яркимъ доказательствомъ тому служитъ слѣдующій необыкновенный отрывокъ изъ дневника Иванова: «Невинной и высокой душѣ иногда, и даже часто, такъ скучно бываетъ, что она жаждетъ перестать существовать между людьми, непостигающими высокихъ истинъ, между потерявшими свою невинность въ тщеславіи житейскомъ и, слѣдовательно, сдѣлавшимися гонителями и ненавистниками всего, имъ противоположнаго. — Сегодня, 10-го числа сентября 1846 г., мнѣ поданъ былъ счетъ хозяйкой. Не помня, сколько я тамъ жилъ, я думалъ, что она хочетъ, чтобы я ей заплатилъ за разстояніе между уѣздомъ въ Помпею и до сего дня, и очень этимъ встревожился. Хотѣлъ идти въ «правительство», подымать на нее Микайлова и Станассера, тогда какъ послѣ сей послѣдній сказалъ мнѣ, что я точно столько дней здѣсь живу, сколько поставлено въ счетѣ. Я успокоился, пришелъ по старому въ себя и записалъ этотъ фантъ моей жизни, чтобы знать, къ какой глупой тревогѣ я способенъ». «Гонители и ненавистники», — конечно, это генералъ-маіоръ Киль. На него, наконецъ, Ивановъ подавалъ жалобу герцогу Лейхтенбергскому, какъ президенту академіи художествъ, предлагая даже возвратить обратно, до окончанія картины, 5000 рублей асс., дарованные императоромъ Николаемъ I.

V.

До 1847 — 1848 года, Ивановъ вѣровалъ въ Европу какъ она есть. Интеллектуальный строй, существовавшій до тѣхъ поръ, вполнѣ удовлетворялъ его, и ни о чемъ выше онъ не мечталъ. Въ художественномъ отношеніи Ивановъ не представлялъ себѣ ничего глубже и дальше задачъ и мыслей итальянскаго искусства XVI-го вѣка. Но когда, около 1847 года, началось сильное просвѣтительное и національное движеніе въ Италіи, Ивановъ не остался позади его.

Въ 1862 году, на разные предложенные мною вопросы, о братѣ его Александрѣ, Сергѣй Ивановъ отвѣчалъ мнѣ: «Неужели вы думаете, что Гоголь произвелъ когда-либо и что-либо важнаго въ направленіи А. А. Иванова? Могу васъ увѣрить, что ошибаетесь сильно. Этотъ переворотъ произвелъ не Гоголь, а

1848-ой годъ. Не забудьте, что я съ братомъ были личными свидѣтелями всего, тогда происшедшаго. Мы съ нимъ читали въ то время все печатавшееся, какъ въ Римѣ, такъ и во французскихъ газетахъ. Въ этомъ году всѣ книгопродавцы римскіе доставляли очень дѣльныя, до того строго-запрещенныя книги, съ необычайною скоростью и легкостью; мы же со своей стороны не спали. Гоголь же отъ 1848 года нисколько не перемѣнился, и, вмѣсто того, чтобъ остаться, во что бы то ни стало, за-границей, чтобъ побольше изучить это время, онъ поспѣшно уѣхалъ въ Россію и потомъ молиться Гробу Господню, что, я помню, не мало изумляло брата. Вспомните только то, что Гоголь все болѣе и болѣе впадалъ въ биготство, а братъ, напротивъ, все болѣе и болѣе освобождался и отъ того немногаго, что намъ прививаетъ воспитаніе».

«Новое политическое состояніе Рима требуетъ большого времени, чтобы замѣтить важные и истинные плоды»,—пишетъ А. Ивановъ Гоголю въ началѣ 1848 года. Но чего Гоголь не видѣлъ и не понималъ, занятый единственно своимъ мистицизмомъ, чудовищно разросшимся, чего не видѣли и не понимали и прочіе русскіе въ Италіи, особенно художники, занятые единственно «мелкими животными удовольствіями» и заглохшіе ко всему значительному и интеллектуальному, чего всѣ они не поняли ни «въ большое», ни въ малое время—силу и глубокое значеніе начинавшагося новаго броженія умовъ, то Ивановъ уразумѣлъ очень быстро: интеллектуальный матеріалъ долгими годами копился у него въ головѣ, и уже весною 1848 года онъ пишетъ Чижову: «Образованность Запада, вмѣстѣ съ формой ихъ религіи, находится въ самомъ трудномъ положеніи. Этотъ любопытный ихъ кризисъ, конечно, никому не будетъ такъ полезенъ, какъ русскимъ, которымъ суждено придти послѣднимъ на поприще духовнаго своего развитія и совершить все спокойно, здравой критикой. Въ этой нравственной борьбѣ мы, художники, должны быть самые послѣдніе дѣятели. Вы же (литераторы) должны сейчасъ выступать».

Переломъ въ образѣ мыслей и взглядовъ Иванова начинаетъ чувствоваться уже съ 1847 года, когда онъ путешествовалъ по Италіи, и былъ свидѣтелемъ нравственнаго и политическаго обновленія народа. И люди, и вещи казались ему чѣмъ-то новымъ, выступившимъ въ чудной свѣжести и красотѣ. Пріѣхавъ въ Геную, и описывая крупныя историческія событія, совершавшіяся на каждомъ шагу передъ его глазами, Ивановъ говоритъ въ своей записной книжкѣ: «Я прибылъ въ Геную самымъ несчаст-

нымъ человѣкомъ: рвота и безсонница меня измучили». Но тутъ же онъ спѣшитъ прибавить: «Генуя великолѣпна; народъ, хотя и не строгой красоты, но полный здоровья, какого я давно не видалъ. Независимость государственная дѣлаетъ ихъ какими-то героями самостоятельными. Отличное войско, честность повсемѣстная и порядокъ заставили меня ихъ уважать... Пріѣхавъ къ границѣ шпіонской (австрійской) желтый цвѣтъ будокъ съ черными полосами смѣнилъ намъ самостоятельное чувство Сардиніи на удушливые вздохи Ломбардіи». Въ серединѣ 1848 года онъ пишетъ Чижову: «Мы, какъ вы видите сами, живемъ въ эпоху приготовленія для человѣчества лучшей жизни... Мы должны быть бодры и достойны этого труднаго переходнаго времени».

Въ концѣ 1851 года Ивановъ добылъ себѣ извѣстное сочиненіе Штрауса, во французскомъ переводѣ, которое онъ «съ жаждою искалъ», и эта книга еще болѣе заставила его углубиться въ свои мысли и сдѣлать строгій пересмотръ своихъ понятій. Работа перестройки и ломки пошла страшная. Мы это знаемъ изъ послѣдующихъ за этою эпохою писемъ. Другая натура, менѣе сильная, менѣе мужественная, быть можетъ и не вынесла бы такой перестройки и ломки въ года, уже далеко не молодые, согнулась бы подъ непривычнымъ, неожиданнымъ бременемъ и пала бы. Но Ивановъ родился богатыремъ, и европейскій переворотъ 1848 года былъ для него тѣмъ «тяжелымъ млатомъ, который, дробя стекло, куетъ булатъ».

Въ 1855 году, Ивановъ уже пишетъ (неизвѣстному намъ лицу): «Мой трудъ—большая картина—болѣе и болѣе понижается въ глазахъ моихъ. Далеко ушли мы, живущіе въ 1855 году, въ мышленіяхъ нашихъ,—тѣмъ, что передъ послѣдними рѣшеніями учености литературной основная мысль моей картины совсѣмъ почти теряется, и такимъ образомъ у меня едва достаетъ духу, чтобы болѣе усовершенствовать ея исполненіе. Вы, можетъ быть, спросите: что же я извлекъ изъ послѣднихъ положеній литературной учености? Тутъ я могу едва назваться слабымъ ученикомъ, хотя и сдѣлалъ нѣсколько пробъ, какъ ее приспособить къ живописному дѣлу. Однимъ словомъ, я, какъ бы оставляя старый бытъ искусства, никакого еще не положилъ твердаго камня въ новому, и въ этомъ положеніи дѣлаюсь невольно переходнымъ художникомъ».

Два года спустя, въ 1857 году, онъ уже ѣдетъ въ Германію и Англію, чтобъ тамъ повидаться и поговорить съ Штраусомъ, Мацанни и Г., и «зачерпнуть у нихъ разъясненія своихъ мыслей, такъ какъ въ художникахъ итальянскихъ совсѣмъ не

сильное стремленія къ какимъ-нибудь новымъ идеямъ въ искусствѣ». Какъ результатъ всего этого, мысль Иванова еще болѣе подвинулась въ шири и даль новыхъ горизонтовъ. Онъ пишетъ брату, въ мартѣ 1858 года: «Ты разсуждаешь о моемъ положеніи по-твоему. Но мой собственный планъ совсѣмъ другой. Картина не есть послѣдняя станція, за которую надобно драться. Я за нее стоялъ крѣпко въ свое время, и выдерживалъ всѣ бури, работалъ посреди ихъ, и сдѣлалъ все, что требовала школа. Но школа—только основаніе нашему дѣлу живописному,—языкъ, которымъ мы выражаемся. Нужно теперь учинить другую станцію нашего искусства: его могущество приспособить къ требованіямъ времени и настоящаго положенія Россіи. Вотъ за эту-то станцію нужно будетъ постоять, т.-е. вычистить ее отъ воронъ, разбойниковъ, влѣзающихъ черезъ заборъ, а не дверьми входящихъ». «Твоя главная ошибка,—прибавляетъ онъ далѣе, въ томъ же письмѣ къ брату,—въ томъ, что ты все хочешь пріятнаго въ жизни и глубокаго покоя, а наше время въ нравственномъ смыслѣ столь бурливо, что невозможно быть безъ какихъ-нибудь непріятностей даже одну недѣлю... Ты дорожишь римскою жизнью; тутъ проведена юность съ привѣтливымъ говоромъ молодыхъ дѣвицъ, нашихъ знакомыхъ: все это—съ прекрасной природой, съ пріобрѣтеніемъ знаній въ безпечной жизни, дѣлаетъ что-то такое неразвязное, что, кажется, нагу не хочется высунуть изъ этого міра. Да вѣдь цѣль-то жизни искусства теперь другого уже требуетъ! Хорошо, если можно соединить и то, и другое. Да вѣдь это въ сію минуту нельзя! А цѣль важнѣе окольностей, цѣль живописи въ настоящую минуту... Если-бы, напримѣръ, мнѣ даже не удалось пробить или намѣтить на высокій и новый путь, стремленіе къ нему все-таки показало-бы, что онъ существуетъ впереди, и это уже много, и даже все, что можетъ дать въ настоящую минуту живописецъ».

Иванову въ послѣднее свое время такъ высоко вдругъ подялся, такъ шагнулъ впередъ, что его уже не пугало то, что въ прежнее время заставило бы его оробѣть и попятиться: новыя требованія и запросы публики, сильная критика, направленная противъ иныхъ частей его картины. Онъ не только теперь не робѣлъ и не терялся, но находилъ голосъ публики—справедливымъ и законнымъ. Въ 1858 году, во время выставки его картины въ Римѣ, онъ совершенно спокойно писалъ оттуда: «Всѣдствіе выставки я заключилъ, что моя картина болѣе всего можетъ быть цѣнима художниками, а не публикой. И въ самомъ дѣлѣ, я самъ въ ней желалъ показать, до какой степени рус-

скій понимаетъ итальянскую школу, подчинить ей русскую переимчивость и составить свое, въ чемъ, кажется, и успѣлъ, если положиться на голосъ художниковъ всѣхъ націй въ Римѣ. Что касается до публики, то ея требованія ушли дальше, отвѣты на которыя разрѣшатся впослѣдствіи. Требуютъ портрета мѣстности, спрашиваютъ о крестѣ въ рукѣ Іоанна Крестителя, и т. д.; однимъ словомъ, не довольствуясь одной школой у новѣйшаго художника, хотятъ живого воскресенія древняго міра. Эти вопросы могутъ ясно доказать, что искусство живописи должно процвѣсти въ самую высокую и послѣднюю ступень». Точно такое, въ это же самое время измѣнилось у Иванова, самымъ коренным образомъ, одно изъ отношеній его къ Россіи. Въ прежнія времена, въ лѣта юности и даже зрѣлости, Ивановъ, при всей любви своей къ Россіи, ничего такъ не боялся, какъ возвращенія на родину. Ему это постоянно казалось однозначущимъ со смертью, съ окончательною потибелью не только таланта, но всего существованія его. «Мысль о возвратѣ на родину вышибаетъ у меня и палитру, и кисти, и всю охоту что-либо сдѣлать порядочное по искусству,—пишетъ онъ отцу въ 1835 году. Вотъ почему прошу и васъ, и всѣхъ, до времени мнѣ объ этомъ не напоминать, а не то грустныя мысли опять завладѣютъ мною, и я въ Италіи проведу остальные дни пенсіонерства моего въ совершенномъ бездѣйствіи, а что еще хуже — въ унынія»... «Третьяго дня, — говоритъ онъ отцу въ мартѣ 1839 года,— мнѣ приснилось, будто бы, по необходимости, собираюсь въ Петербургъ: лихорадка, плачъ и, какъ будто, даже отсутствіе ума меня совершенно обхватили. Но нѣтъ, нѣтъ! Это сонъ, забудемте его!» Въ 1848 году, Ивановъ начинаетъ уже думать однако иначе: Россія уже не пугаетъ его, онъ не боится болѣе сдѣлаться тамъ ни купцомъ, ни чиновникомъ подъ чужими приказаніями и заказами, онъ пишетъ племянницѣ: «Напрасно вы думаете, что я и брать разлюбили наше отечество. Быть русскимъ уже есть счастіе, какъ же вы хотите, чтобъ мы не желали его? Возвратъ нашъ на родину будетъ непремѣнно, но нужно прежде исполнить долгъ — окончить давно начатыя дѣла съ возможною совѣстью».

Когда же, десять лѣтъ спустя, онъ переѣхалъ, наконецъ, въ Россію, онъ нашелъ здѣсь «новое движеніе», въ обществѣ, и у отдѣльныхъ лицъ. Это не только нимало не пугало его, а радовало, и онъ высказывалъ желаніе: «служить своей картиной и этюдами, какъ живой школой — въ средоточіи Россіи, въ Москвѣ». Когда же была, наконецъ, выставлена его картина для всей пуб-

лии, въ Петербургѣ, то онъ писалъ, опять-таки съ полнымъ сповойствіемъ, брату: «Публики каждый день много. Взыскательный взглядъ, но бо́льшей части полный здравыхъ разсужденій, ее отличаетъ».

Но голосъ равнодушія, зависти и злонамѣреннаго невѣжества былъ нѣчто уже совершенно другое: тутъ не было болѣе ни начинающагося развитія, ни новыхъ высокихъ требованій. Тутъ была только старая-престарая тупость дряхлыхъ или пустыхъ людей. Она-то Иванова и сломила.

И Г., глубоко цѣнившій и понимавшій Иванова, написалъ тогда: «Еще разъ коса смерти прошлась по нашему бѣдному полю, и еще одинъ изъ лучшихъ нашихъ дѣятелей палъ — странно, безвременно. Домашніе весьма помогли его подкосить, въ то самое время, какъ онъ усталой рукой касался, послѣ цѣлой жизни труда и мученій, лаврового вѣнка. Больной, измученный нуждой, Ивановъ не вынесъ грубаго прикосновенія и — умеръ. Жизнь Иванова была анахронизмомъ; такое благочестіе къ искусству, религіозное служеніе ему, съ недовѣріемъ къ себѣ, со страхомъ и вѣрою, мы только встрѣчаемъ въ разсказахъ о средневѣковыхъ отшельникахъ, молившихся кистью, для которыхъ искусство было нравственнымъ подвигомъ жизни, священнодѣйствіемъ, наукой».

VI.

Факты, представляемые жизнью и, въ особенности, перепиской Иванова, такъ разнообразны и многочисленны, что я не имѣю, конечно, возможности исчерпать ихъ здѣсь всѣ. Но, мнѣ кажется, уже и то, что́ я успѣлъ до сихъ поръ привести, достаточно и полно обрисовываетъ его личность.

На мои глаза, Ивановъ — одна изъ величайшихъ художественныхъ личностей, когда-либо появлявшихся на свѣтѣ, и вмѣстѣ — одна изъ самыхъ крупныхъ и необычайныхъ личностей русскихъ. Если даже оставить на минуту въ сторонѣ мысль о томъ, что Ивановъ былъ живописецъ, все-таки онъ представляется человѣкомъ совершенно исходящимъ изъ ряду вонъ. Сила мысли, сила характера, золотая душа, заботливое попеченіе не только о близкихъ, но и о самыхъ далекихъ людяхъ, кому онъ могъ быть полезенъ, строгость жизни, необыкновенная серьёзность настроенія, цѣльность и глубина всякаго воспріятія, презрѣніе къ мелочнымъ выгодамъ самолюбія и наживы, отсутствіе эгоизма,

безконечная неподкупная справедливость ко всѣмъ, въ томъ числѣ къ людямъ совершенно противоположнаго себѣ направленія, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, непримиримая ненависть къ тому, что̀ низко и мелко, непримиримая и самая мужественная вражда съ бездарностью, прозой и животностью, поразительная правдивость, искренность и наивность; наконецъ, безпредѣльная любовь къ родинѣ и посвященіе всего себя будущему ея возвышенію и просвѣщенію — какое соединеніе, въ одномъ человѣкѣ, самыхъ рѣдкихъ, самыхъ дорогихъ и необыкновенныхъ качествъ!

Но прибавьте къ этому ту черту, которая чудесною нитью проходитъ сквозь всю жизнь Иванова — жажду самоусовершенствованія, и вошедшее изъ нея развитіе, никогда не останавливавшееся, даже и въ тѣ годы, когда большинство людей говоритъ себѣ: «довольно!»,—и ложится на лѣнивый, недостойный покой— и передъ вами возникнетъ личность, которая принадлежитъ къ числу самыхъ утѣшительныхъ и высокихъ явленій не только одного нашего, но и всѣхъ другихъ столѣтій.

Если, затѣмъ, мы обратимся къ Иванову какъ художнику, то мы откроемъ, что здѣсь Ивановъ состоитъ изъ двухъ крупныхъ половинъ: Ивановъ до 1848 года, и Ивановъ послѣ 1848 г.

До своего переворота, Ивановъ былъ наполненъ множествомъ ложныхъ понятій и предразсудковъ. Какъ ни свѣтла была, по натурѣ, голова его, а все-таки рожденіе въ старинномъ патріархальномъ семействѣ, воспитаніе въ стѣнахъ заведенія, способнаго развивать только механическую технику и ничего не подозрѣвающаго объ интеллектуальномъ, внутреннемъ человѣкѣ, наконецъ, долгое пребываніе въ Италіи среди маленькаго кружка людей, изъ которыхъ одни были талантливы, другіе умны и образованы, по-своему даже люди мысли, но которые, всѣ вмѣстѣ взятые, ничуть не принадлежали къ европейской современности и вполнѣ должны быть признаны людьми безусловнаго консерватизма — все это не могло не вліять задерживающимъ, и даже нѣсколько пагубнымъ образомъ на Иванова. Выборъ сюжетовъ, преданность лишь одному и тому же извѣстному кругу идей, какъ въ религіозномъ, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ направленіяхъ, должны были неминуемо быть результатомъ такихъ неблагопріятныхъ условій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, посѣщеніе съ ранняго лѣта вами-бы идолопоклонническое благоговѣніе передъ «недосягаемостью» двухъ эпохъ искусства, греческой старого міра и итальянской XVI-го вѣка, тоже наложило на него печать свою, не только сильную, но даже неизгладимую, и на всю жизнь. Какъ мы видѣли выше, не болѣе какъ за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти своей, Ивановъ

писалъ въ одномъ письмѣ, въ высшей степени искренномъ, какъ всегда, что въ своей главной картинѣ «желалъ показать, до какой степени русскій понимаетъ итальянскую школу — домогался въ ней, *преимущественно*, подойти, сколько можно ближе, къ лучшимъ образцамъ этой школы, подчинить имъ русскую переимчивость и составить свое». Какая еще неважная и недостаточная цѣль для такого ума и таланта, какъ Ивановъ! Стоило на такую «преимущественно» задачу употребить столько лучшихъ лѣтъ своей жизни, хотя бы даже съ одной технической стороны!

Однако же, такъ именно и случилось. Что дѣлать? Остается только глубоко сожалѣть объ этомъ. И, однако же, объ картины Иванова, объ единственныя его картины, полны громадныхъ совершенствъ.

«Явленіе Христа Магдалинѣ» — картина еще на-половину академическая, полная избитыхъ, почти рутинныхъ мотивовъ. Христосъ этой картины очень ординаренъ и неудаченъ — и лицомъ, и тѣломъ, и драпировками своими! Въ Магдалинѣ одно только превосходно: это глубокое чувство, выраженное въ запавшихъ и вдругъ обрадовавшихся глазахъ. Все остальное—посредственно.

Вторая (и послѣдняя) картина Иванова: «Явленіе Христа народу»,—уже совершенно другое дѣло. Здѣсь Ивановъ поднялся на громадную вышину, и создалъ такое созданіе, которому подобнаго не только никогда не представляю до тѣхъ поръ русское искусство, но которое, *во многомъ*, достигло высшихъ предѣловъ, какихъ достигало итальянское искусство XVI вѣка, т.-е. высшее искусство старинной Европы.

Ивановъ занятъ былъ этимъ сюжетомъ еще съ юношества: ему было 22 года, когда онъ писалъ своему дядѣ, Демерту, въ 1824 году: «Я теперь оканчиваю «Іоанна Крестителя, проповѣдующаго въ пустынѣ»; 16 лѣтъ позже, онъ принялся за ту же картину, но уже въ громадныхъ размѣрахъ и писалъ ее цѣлыхъ 12 лѣтъ (1836 — 1848). Кому казалось, что ничто не можетъ быть выше и значительнѣе этого сюжета: уже въ декабрѣ 1835 года онъ писалъ Обществу поощренія художниковъ, что этотъ предметъ, занимавшій его съ давняго времени, «сдѣлался теперь единственною его мыслью и надеждою».

Ивановъ никогда не достигъ великолѣпнаго колорита старыхъ венеціанцевъ, Тиціана и другихъ, на что такъ надѣялся, и о чемъ такъ постоянно хлопоталъ: кто не родился колористомъ, тотъ имъ, конечно, не сдѣлается, несмотря ни на какія старанія и усилія. Въ этомъ, впрочемъ, Ивановъ раздѣляетъ общую

участь новыхъ народовъ: не то что у насъ, русскихъ, но и у другихъ народовъ Европы вотъ уже лѣтъ 300 не является талантовъ по части колорита, не только подобныхъ старымъ венеціанцамъ, но и просто крупныхъ талантовъ по этой части. Значитъ, корить одного Иванова, преимущественно передъ всѣми другими, еще нельзя. Притомъ же, самъ Ивановъ, даже въ 1858 году, считалъ свою картину «далеко неконченною», и привезъ ее въ Россію, принуждаемый къ тому недостаткомъ средствъ и сильно пострадавшимъ зрѣніемъ.

Но, кромѣ колорита, все остальное въ его картинѣ представляетъ рядъ совершенствъ, высоко возносящихъ и его самого, и его созданіе въ ряду художниковъ и художественныхъ твореній, признаваемыхъ повсюду наисовершеннѣйшими и наивысочайшими.

Нельзя не видѣть разныхъ недостатковъ картины Иванова—они бросаются въ глаза. Такъ, напримѣръ, крестъ въ рукахъ Іоанна Крестителя, присовѣтованный классикомъ Торвальдсеномъ, «мантія» же на немъ, присовѣтованная піэтистомъ-классикомъ Овербекомъ,—портятъ общее впечатлѣніе. Затѣмъ, мудрено также похвалить общее расположеніе фигуръ, которое имѣетъ видъ какъ-будто бы скульптурный, почти барельефный; эту массу народа, искусственно пригнанную и сгруппированную на узкомъ (въ планѣ) и продолговатомъ пространствѣ; далѣе искусственно, хотя и чудесно и изящно расположенныя складки драпировокъ (напримѣръ, на Христѣ, апостолахъ Іоаннѣ и Андреѣ, и на евреѣ съ косами на головѣ, въ правомъ углу картины). Но развѣ эти самые недостатки не присутствуютъ у наивысшихъ, наиталантливѣйшихъ итальянскихъ живописцевъ XVIII вѣка, даже у Рафаэлей, Леонардовъ-да-Винчи и прочихъ? Развѣ римскія: «Аѳинская школа», «Disputa», «Геліодоръ», «Аттила» и гамптонъ-кортскіе картоны, развѣ сикстинскій плафонъ и «Страшный судъ», развѣ миланская «Тайная вечеря»,—наконецъ, сотни «Святыхъ семействъ», гдѣ Богоматерь съ младенцемъ Іисусомъ сидитъ на тронѣ, даже подъ балдахиномъ, а около нея, направо и налѣво, помѣщаются очень регулярно разныя священныя личности,—развѣ все это не картины, расположенныя скульптурно, почти барельефно, на узкомъ и сжатомъ (въ планѣ), продолговатомъ пространствѣ? Развѣ всѣ эти, часто и въ самомъ дѣлѣ талантливыя созданія не признаются все-таки необычайнѣйшими и непостижимѣйшими твореніями человѣческаго духа и таланта? Развѣ драпировки самыхъ наилучшихъ изъ числа этихъ картинъ, считаемыхъ перлами искусства, не расположены очень преднамѣренно и искусственно,—что, впрочемъ,

не могло иначе и быть, такъ какъ никто такихъ одеждъ не носитъ, и живописецъ, никогда не видавшій ихъ употребленія въ жизни, долженъ изъ собственной головы выдумывать и прилаживать небывалыя складки.

Все это недостатки, условленные самою сущностью дѣла. Кто говоритъ: «идеальность» — говоритъ: «выдуманность», или, по крайней мѣрѣ, «придуманность», «условность». Ивановъ раздѣлилъ общую участь, и не подлежитъ большему взысканію, чѣмъ всѣ остальные его товарищи, живописцы одной съ нимъ категоріи.

Но Ивановъ намъ дорогъ не за идеальную и не придуманную сторону своего таланта. Онъ намъ дорогъ какъ глубокій и правдивый наблюдатель существующаго, какъ необыкновенно талантливый выразитель и природы, и людей, и типовъ, и характеровъ, и выраженія душевнаго, и движеній сердца. Здѣсь онъ становится вдругъ такъ высоко, какъ немногіе изъ всѣхъ его предшественниковъ.

Письма Иванова (частью уже и вышеприведенныя), а еще болѣе—безчисленные этюды съ натуры, всѣ въ цѣлости сохранившіеся, доказываютъ, какъ много изучалъ Ивановъ живую натуру для своей картины, какъ онъ, чтобъ найти живую красоту нагого тѣла, усердно посѣщалъ купальни въ Римѣ и Перуджіи, ѣздилъ къ берегамъ рѣкъ, къ морю («видѣть купающихся различнаго званія людей», пишетъ Ивановъ въ 1839 году отцу); какъ онъ, проникнутый идеею національности, посѣщалъ синагоги и дѣлалъ цѣлыя путешествія, чтобы увидать и схватить истинные еврейскіе типы. «Лица получили у него свое типическое, согласное евангелію сходство, и съ тѣмъ вмѣстѣ сходство еврейское. Вдругъ слышишь, по лицамъ, въ какой землѣ происходитъ дѣло», говоритъ Гоголь, свидѣтель работъ и приготовленій Иванова. «Но какъ изобразить то,—продолжаетъ онъ,—чему еще не нашелъ художникъ образца? Гдѣ могъ онъ найти образецъ для того, чтобы представить въ лицахъ весь ходъ человѣческаго обращенія ко Христу? Откуда онъ могъ взять это? Изъ головы? Создать воображеніемъ? Постигнуть мыслью? Нѣтъ, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображеніе. Ивановъ напрягалъ воображеніе, елико могъ, старался на лицахъ всѣхъ людей, съ какими ни встрѣчался, ловить высокія движенія душевныя, оставался въ церквахъ слѣдить за молитвою человѣка».

Что касается пейзажа, играющаго такую важную роль въ его картинѣ, то про его изученія по этой части тоже разсказываетъ Гоголь. «Ивановъ просиживалъ по нѣсколько мѣсяцевъ

въ нездоровыхъ понтинскихъ болотахъ и пустынныхъ мѣстахъ Италіи, перенесъ въ свои этюды всѣ дикія захолустья, находящіяся вокругъ Рима, изучилъ всякій камешекъ и древесный листокъ, словомъ—сдѣлалъ все, что могъ сдѣлать, все изобразить, чему только нашелъ образецъ». Полное подтвержденіе словамъ Гоголя мы находимъ и въ одномъ письмѣ самого Иванова, въ концѣ 1840 года, адресованномъ къ сестрѣ: «Я выѣхалъ (лѣтомъ) въ Субіако—городокъ, лежащій въ горахъ Сабинскихъ. Дикія и голыя скалы, его окружающія, рѣка чистѣйшей и быстротекущей воды, окруженной ивами и тополями, мнѣ послужили матеріалами (для этюдовъ). Я радовался, видя ихъ сродство съ тѣми идеями, какія я пріобрѣлъ, посредствомъ книгъ, о Палестинѣ и Іорданѣ, и окружающихъ его деревьяхъ и горахъ». Ивановъ много разъ порывался на Востокъ, въ Палестину,—и случись это, конечно, онъ далъ бы въ своей картинѣ подлинный іорданскій пейзажъ; но ему не удалось выполнить свою задушевную мысль (никакого сходства не имѣвшую съ поѣздкой Гоголя въ Святыя мѣста), поэтому, естественно, онъ вынужденъ былъ остановиться на описаніяхъ, на рисункахъ путешественниковъ, на Субіако, который пришелся какъ нельзя болѣе по мысли, какую онъ себѣ составилъ о берегахъ Іордана. Другія мѣстности Италіи помогли ему дополнить и довести ее до возможной близости къ оригиналу, глубоко постигнутому.

Истиннаго типа Христа, вѣрнаго исторически, Ивановъ съ изумительною настойчивостью искалъ во всѣхъ старѣйшихъ изображеніяхъ, живописныхъ и мозаичныхъ, а когда, наконецъ, остановился на нѣкоторыхъ византійскихъ изображеніяхъ, и всего болѣе на одной мозаикѣ палермскаго собора,—то потомъ долго искалъ его же въ живой натурѣ, и, наконецъ, нашелъ живой итальянскій субъектъ (по странной игрѣ природы—женщину), чьи черты лица до нѣкоторой степени напоминали, издалека, черты палермской мозаики. Такъ было и съ другими главными личностями картины, апостолами: Іоанномъ-Богословомъ, Андреемъ и другими.

Такимъ образомъ, во всемъ своемъ созданіи Ивановъ поступалъ какъ глубокій и истинный реалистъ. Онъ не хотѣлъ ничего выдумывать, ни въ чемъ не фантазировать, какъ это обыкновенно дѣлается: онъ прежде всего и болѣе всего искалъ твердой, прочной опоры исторіи, жизни, дѣйствительности. «Дурное все остается въ пробныхъ этюдахъ,—пишетъ Ивановъ Гоголю въ 1844 году,—одно лучшее вносится въ настоящую картину». Все остальное —выраженіе, глубокій внутренній смыслъ, глубокое содержа-

ніе — были ему подсказаны великою и широкою его душою, и такимъ-то образомъ вышло, что уже и рядъ безчисленныхъ, многолѣтнихъ этюдовъ Иванова составлялъ бы великую, необычайную картинную галерею, полную первоклассныхъ красотъ. Но картина, совокупившая, какъ въ сжатомъ фокусѣ, все лучшее изъ лучшаго, собранное, словно драгоцѣнныя жемчужины, многими годами, представляетъ такое соединеніе необычайныхъ достоинствъ, которое не превзойдено никакимъ на свѣтѣ живописцемъ одного съ Ивановымъ рода и направленія.

Смѣло можно сказать, что во всей европейской живописи не существуетъ другого подобнаго Христа, какъ Христосъ Иванова, — какъ по своей величавости, простотѣ и глубокой душевности, такъ и по всѣмъ собственно художественнымъ совершенствамъ исторически-типичнаго и въ высшей степени оригинальнаго изображенія.

Точно также во всемъ европейскомъ искусствѣ нѣтъ другого Іоанна Крестителя, равнаго Іоанну Крестителю Иванова: дикая красота этого пророка пустыни, вдохновеніе, горящее въ его глазахъ и приподнимающее вихремъ косматую гриву на головѣ, могучій жестъ указующей руки, могучая поступь и поза — все это своеобразно, ново и поразительно красотой и выраженіемъ болѣе, чѣмъ всѣ до сихъ поръ существовавшія на свѣтѣ изображенія Іоанна, грознаго проповѣдника покаянія.

Стремительный, полный женственной красоты и юношескаго жара, Іоаннъ-Богословъ, исполненный кроткой благости старецъ Андрей, фарисеи, косящіеся въ безсильной злобѣ и мечущіе лютые взгляды, увѣровавшіе старики — и молодые, зрѣлые мужи, и мальчики-красавцы, упорные въ старой вѣрѣ упрямцы, которыхъ, явно, ничто на свѣтѣ не сдвинетъ съ ихъ неподвижной точки, богатые сибариты съ изнѣженнымъ тѣломъ — и ихъ клейменые рабы, вдали нѣсколько любопытныхъ и робкихъ женщинъ въ восточныхъ чадрахъ, — наконецъ, цѣлая толпа равнодушныхъ и безучастныхъ, радость и пробуждающаяся надежда на счастье и новую жизнь, равнодушіе, любопытство, злыя души — вотъ какіе богатые, безконечно разнообразные элементы нарисовалъ Ивановъ въ своей картинѣ. Какъ онъ здѣсь выросъ, въ сравненіи съ прежнимъ Ивановымъ, — тѣмъ, что принимался за эту картину въ 1836 году и набрасывалъ что-то довольно, пожалуй, и изящное въ общемъ, особливо въ колоритномъ ландшафтѣ и даляхъ, но Ивановымъ, который все еще оставался на-половину академическимъ Пуссеномъ съ условными позами и жестами, немножко даже банальными мотивами фигуръ, положеній, лицъ и костюмовъ (см. первона-

чальный эскизъ картины, описанный Ивановымъ въ отрывкѣ изъ записной книги 1836 года).

Надо быть человѣкомъ совершенно подавленнымъ предразсудками, чтобъ не схватить простымъ и свѣтлымъ глазомъ всей красоты, правды и значительности того, что́ наполняетъ картину Иванова. Казалось бы, такъ легко понять, что если ты любишь старыхъ итальянскихъ мастеровъ, Рафаэлей и Леонардовъ-да-Винчи, то ты не можешь, оставаясь послѣдователенъ, не любить всей душой, не цѣнить всѣмъ разумѣніемъ Иванова. Въ своей картинѣ онъ принадлежитъ къ одной съ ними категоріи: въ иномъ онъ съ ними равенъ, въ иномъ ниже, но въ иномъ и гораздо выше—и это послѣднее сдѣлали три столѣтія, протекшія не даромъ со времени тѣхъ значительныхъ (по-своему времени) художниковъ, сдѣлали нынѣшняя мысль, знаніе, наука. Такъ нѣтъ же: люди, считающіе за особенную честь и надобность, доказывать у насъ, что они никакъ не ниже Европы и никоимъ образомъ не отстаютъ отъ нея, полагали, что это ихъ долгъ—указывать на достоинство Иванова, но благоразумно осаживать тотчасъ же всякій излишній порывъ, точно опредѣлить всю разницу, что́ существуетъ между нашимъ нынѣшнимъ живописцемъ и старыми итальянцами. Такихъ людей, говорившихъ и писавшихъ въ этомъ родѣ, у насъ было до сихъ поръ не мало. Вотъ, на пробу, хоть два примѣра. «Было бы странно даже,—писалъ въ 1860 г. неизвѣстный авторъ,—если бы въ наше время вдругъ явился новый Рафаэль! Возьмемъ одного изъ самыхъ современныхъ представителей русской исторической школы: Иванова. Вѣдь этотъ же самый Ивановъ, родись онъ въ вѣкъ Рафаэля, написалъ бы не одну, не двѣ, а сотню картинъ; а въ наше время онъ всю жизнь писалъ одну, и то, по собственному его сознанію, какъ человѣкъ добросовѣстный, нѣсколько разъ опускалъ руки съ ужасомъ, не находя ни въ обществѣ, ни въ душѣ своей того огня, который нуженъ для подобныхъ произведеній» («Художественный Листокъ», 1860, № 25, по поводу выставки). «Въ талантѣ Иванова,—говоритъ другой нашъ авторъ, очень извѣстный и талантливый,—все есть, и трудолюбіе изумительное, и честное стремленіе къ идеалу, и обдуманность,—словомъ все, кромѣ того, что́ только одно и нужно, а именно: творческой мощи, свободнаго вдохновенія. Имѣй Ивановъ талантъ Брюлова, или имѣй Брюловъ душу и сердце Иванова, какихъ чудесъ мы были бы свидѣтелями! Но вышло такъ, что одинъ изъ нихъ могъ выразить все, что́ хотѣлъ, да сказать ему было нечего, а другой могъ бы сказать многое — да языкъ его коснѣлъ. Одинъ писалъ трескучія

картины съ эффектами, но безъ поэзіи, и безъ содержанія; другой силился изобразить глубоко-захваченную, новую, живую мысль, а исполненіе выходило неровное, приблизительное, не живое. Одинъ, если можно такъ выразиться, правдиво представлялъ намъ ложь; другой—ложно, т.-е. слабо и невѣрно представлялъ намъ правду... Иные спросятъ:—зачѣмъ изучать Иванова, неполнаго, неяснаго мастера, когда есть великіе, несомнѣнные, побѣдоносные образцы? Зачѣмъ намёки, когда есть громкое слово? Но въ томъ-то и состоитъ великая заслуга Иванова, заслуга идеалиста, мыслителя, что онъ указываетъ на образцы, приводитъ къ нимъ, будитъ, шевелитъ и не допускаетъ въ другихъ дешеваго удовлетворенія; что онъ заставляетъ учениковъ своихъ задавать себѣ высокія, трудныя задачи»... («Вѣкъ», 1861, № 15). Итакъ, Ивановъ низведенъ тутъ на степень полезнаго учителя для другихъ, вѣхи, указательнаго столба для будущихъ художниковъ, а самъ—неудачникъ, недоростокъ, лишенный и огня, и творческой мощи, и вдохновенія; художникъ, стоящій за милліоны верстъ не только отъ «великихъ», отъ «настоящихъ», умѣвшихъ когда-то, въ болѣе счастливыя времена, сказать «громкое слово», умѣвшихъ быть «великими, побѣдоносными образцами», но даже отъ Брюлова, умѣвшаго правдиво выразить «все, что хотѣлъ!» Какая печальная близорукость, какіе жалкіе плоды вкорененныхъ предразсудковъ и слѣпого фетишизма передъ врытыми прочно «классическими авторитетами». Надъ подобными людьми вѣчно повторяется судьба евреевъ: давно пришелъ Мессія, а они все еще его не видятъ и не слышатъ, все еще его отодвигаютъ, то въ далекое прошедшее, то въ далекое будущее, а живое настоящее уходитъ у нихъ изъ рукъ. Нѣтъ творческой мощи, нѣтъ вдохновенія въ этомъ Христѣ, въ этомъ великомъ, громовомъ Іоаннѣ! Нѣтъ ихъ и въ этихъ апостолахъ, никогда еще не представавшихъ въ такой правдѣ и силѣ! Нѣтъ ихъ въ этой разнокалиберной толпѣ еврейской, возставшей теперь изъ двухтысячелѣтней смерти, съ такою жизнью, съ такой красотою, съ такою полнотою чувства, мысли и движеній душевныхъ, какъ никогда еще не представляла того живопись европейскихъ художниковъ! Забудьте на секунду предразсудки, почерпнутые изъ учебниковъ, изъ рабски-боготворимыхъ авторитетовъ — и живое чувство покажетъ вамъ тотчасъ, что такое эта чудная, великолѣпная страница исторіи, перенесенная Ивановымъ на полотно съ такою геніальною могучестью. Ивановъ—Рафаэль и Леонардо-да-Винчи нашего времени. И недостатки, и совершенства у всѣхъ трехъ — общіе,

или, по крайней мѣрѣ, одной и той же категоріи: извѣстная классичность и условность, неполное отдаваніе себя потоку жизни, стремленію живой натуры, добровольное ограниченіе себя однимъ народомъ, однимъ направленіемъ, одною стороною духа. Что̀ для нашего времени кажется недостаточнымъ, неудовлетворительнымъ въ твореніяхъ этихъ крупныхъ художниковъ — все это происходитъ отъ этихъ недостатковъ ихъ точки отправленія.

Но что̀ касается до Иванова, то онъ не всю жизнь оставался при навѣянномъ на него извнѣ классицизмѣ, столь чуждомъ кореннымъ основамъ его духа. Нравственный и художественный маскарадъ его продолжался лишь до 1847—48 года. Тутъ произошелъ для Иванова громадный переломъ въ жизни и творчествѣ, и отъ сихъ поръ начинается для него новая эра. «1848-й годъ,—писалъ мнѣ въ 1862 году Сергѣй Ивановъ,—положилъ замѣчательный предѣлъ работамъ брата надъ его картиной. Не только нѣчего было думать о какихъ-либо вспоможеніяхъ со стороны правительства, но существовало приказаніе выѣхать изъ Италіи даже и тѣмъ, кто желалъ остаться на свой счетъ. Въ такихъ обстоятельствахъ, картина была почти оставлена за недостаткомъ средствъ, и съ этого года началъ мой братъ дѣлать рисунки, которые и составляютъ всѣ оставшіеся послѣ него альбомы. Въ особенности побудило брата къ этому еще вотъ что̀: онъ увидѣлъ, что на оставшіяся у него (небольшія послѣ смерти отца, въ этомъ самомъ 1848 году) деньги, картины не кончить, какъ слѣдуетъ, ибо, приближаясь къ окончанію, требовались сильныя издержки на модели; композиціи же, которыми онъ теперь занялся, не требовали издержекъ ни на модели, ни на краски. Онъ предпочиталъ дѣлать ихъ, выжидая лучшаго времени, наступленіе котораго, однакоже, не предполагалъ, чтобъ могло продлиться такъ долго».

Итакъ, ближайшими причинами, условившими новое занятіе, былъ матеріальный недостатокъ, ограниченность денежныхъ средствъ, болѣе сильные и безнадежные, чѣмъ во всѣ прежнія времена. Но въ рѣшимости Иванова стать на новый путь была еще другая причина, въ тысячу разъ болѣе глубокая и сильная. Это—великій нравственный и интеллектуальный переворотъ, конечно ранѣе всего обусловленный глубочайшими потребностями его собственной натуры, но развитый и возращенный современнымъ движеніемъ тогдашней Европы, и серьёзными, многосторонними «новыми» чтеніями Иванова, начавшимися вдругъ въ

этотъ періодъ его жизни. Относящееся сюда свидѣтельство Сергѣя Иванова приведено уже выше.

Горизонтъ Иванова расширился и углубился. Онъ уже не довольствовался тѣмъ, чтобы представлять сцены изъ Библіи съ возможнымъ реализмомъ, историчностью и національностью, и въ то же время, со всею сердечностью и вдохновеніемъ, какія давалъ ему искренній талантъ его;—реализмъ и національную типичность для представленій на сюжеты изъ Библіи одновременно съ нимъ пробовали и другіе современные живописцы: Орасъ Вернѣ, Поль-Деларошъ, отчасти даже Овербекъ—конечно, каждый въ предѣлахъ своей односторонности и ограниченнаго таланта. Но нѣтъ, Ивановъ уже не хотѣлъ и не могъ довольствоваться однимъ только этимъ. Его мысль и талантъ устремлялись къ еще новымъ горизонтамъ, и, въ формѣ иллюстрированія жизни Христа, онъ задумывалъ предпріятіе громадное, объемлющее цѣлыя широкія пространства исторіи. «У брата была мысль,—продолжаетъ говорить мнѣ Сергѣй Ивановъ:—сдѣлать въ композиціяхъ всю жизнь и дѣянія Христа. Проектировалось исполненіе всего живописью на стѣнахъ особо на то посвященнаго зданія, разумѣется не въ церкви. Сюжеты располагались слѣдующимъ образомъ. Главное и большое поле каждой стѣны должна была занимать картина или картины замѣчательнѣйшаго происшествія изъ жизни Христа; сверху же ея или ихъ (такъ сказать по бордюру, хотя это слово не совсѣмъ тутъ вѣрно) должны были быть представлены, но въ гораздо меньшемъ размѣрѣ, относящійся къ этому происшествію, или выросшія на него впослѣдствіи преданія или сказанія, или же сюжеты на тѣ мѣста Ветхаго Завѣта, въ которыхъ говорится о Мессіи—или происшествія подобныя, случившіяся въ Ветхомъ Завѣтѣ и т. д.... Эти композиціи, наполняющія всѣ альбомы, и большую часть отдѣльныхъ рисунковъ, рождались, набрасывались углемъ и потомъ отдѣлывались—всѣ одновременно, хотя все это происходило въ продолженіи 8-ми лѣтъ, т.-е. съ 1849-го до начала 1858-го года, года его поѣздки въ Петербургъ и кончины. Что это такъ, тому довольно доказательствъ: первымъ и главнымъ, конечно, служитъ самый рисунокъ, освободившійся отъ всякой манерности, и сдѣлавшійся легкимъ и покорнымъ выраженію мысли».

Значитъ, 1848-й годъ вывелъ Иванова изъ заколдованнаго круга все одной и той же, одной единственной картины, къ которой до тѣхъ поръ была прикована вся мысль, упованія, надежды и усилія Иванова. Теперь прорваны были разомъ всѣ

плотины, задерживавшія его въ теченіи 12-ти лѣтъ на одномъ мѣстѣ, и все, накопленное въ немъ за это время изученіемъ, уединеннымъ размышленіемъ, чувствомъ,—разомъ хлынуло громаднымъ, неудержимымъ потокомъ. Въ эти новыя 8 лѣтъ онъ создалъ болѣе, нежели во всю остальную жизнь свою. Нельзя было бы уже упрекать его въ медленности, мѣшкотности. Ивановъ съ головы до пятъ весь переродился. Это былъ новый человѣкъ, совсѣмъ не тотъ, какой за 18 лѣтъ передъ тѣмъ пріѣхалъ въ Италію, робкій ученикъ своего отца и петербургской академіи, ищущій приблизиться къ великимъ образцамъ стараго времени, и достигающій ихъ въ своей картинѣ. Это былъ новый человѣкъ, новый художникъ, переставшій быть полу-итальянцемъ, какъ всѣ, долго засидѣвшіеся въ Италіи, это былъ художникъ, приносящій свою собственную мысль и свое собственное искусство, отъ всѣхъ независимый и пробующій новыя формы для новой мысли. Въ 8 лѣтъ онъ создаетъ легко, свободно, безъ малѣйшаго признака усилія и натуги, цѣлыя сотни сценъ и изображеній, мгновенно выливающіяся изъ его пламенѣющей фантазіи. Эти рисунки, принадлежащіе теперь Москвѣ (по завѣщанію его брата), составляютъ главное его право на безсмертіе. Не говоря уже о томъ, что они стоятъ неизмѣримо выше «Явленія Мессіи народу», не взирая на всѣ великія достоинства этой картины, нельзя не убѣдиться, разсматривая альбомы Иванова, что подобной глубокой и всеобъемлющей иллюстраціи Библіи и Евангелія до сихъ поръ нигдѣ не бывало. Я живо помню то ошеломляющее дѣйствіе, какое произвели на меня альбомы эти, когда я ихъ увидалъ здѣсь, въ Петербургѣ, благодаря М. П. Боткину, нѣсколько недѣль спустя послѣ кончины Иванова. Я долго не могъ придти въ себя отъ этой новизны и свѣжести творческой фантазіи, отъ этой оригинальности формъ и представленій. Я потомъ старался не разъ высказать это и въ печати. Мнѣ кажется, когда рисунки будутъ окончательно всѣ изданы и будутъ у всѣхъ въ рукахъ, они повсюду произведутъ громадное впечатлѣніе, найдутъ безчисленныхъ учениковъ и продолжателей, особенно у насъ, гдѣ, говоря словами Иванова, «свѣжесть силъ молодого народа обѣщаетъ золотой вѣкъ для грядущаго поколѣнія», въ средѣ русскихъ, «которымъ—говоритъ тотъ же Ивановъ—суждено придти послѣднимъ на поприще духовнаго развитія и завершить все спокойно, здравой критикой».

Я не имѣю возможности разсматривать здѣсь многія сотни композицій и рисунковъ, наполняющихъ альбомы послѣднихъ

лѣть жизни Иванова: для этого нужна особая книга, и навѣрное она въ свое время будетъ написана. Но уже и теперь, мнѣ кажется, всякій, кто имѣлъ великое счастіе разсматривать эту галерею созданій великаго человѣка (безъ сомнѣнія,—не лишенную и недостатковъ) долженъ уже и теперь сказать себѣ съ глубокимъ убѣжденіемъ, что рѣдко можно встрѣтить въ исторіи искусствъ такой рядъ созданій, соединяющихъ величіе и глубокость духа съ красотой и граціей, такую силу въ изображеніи вдохновенія ветхозавѣтныхъ пророковъ—съ такою жизненностью и изяществомъ при воплощеніи сценъ изъ домашней жизни евреевъ. Грозныя видѣнія Авраама и Іакова, полныя идилличности сцены Маріи и Елизаветы, могучая красота ветхозавѣтнаго храма, изученная до послѣднихъ мельчайшихъ подробностей по изслѣдованіямъ архитекторовъ и археологовъ, шестикрылые ангелы, наполовину изученные на ассирійскихъ монументахъ, «Тайная Вечеря» и «Проповѣдь на горѣ», созданныя въ новыхъ, еще непробованныхъ никѣмъ формахъ, Египетъ и Ассирія, давшіе свою ноту для древне-еврейской жизни, трубы левитовъ, звучащія въ храмѣ, внутренніе восточные дворики, дышащіе прохладой, въ тѣни густой сверху свѣсившейся листвы, чудныя еврейскія дѣти, исполненныя милой красоты и граціи, безъ чего-бы то ни было условнаго (какъ у большинства живописцевъ), женщины въ чадрахъ и пестрыхъ одеждахъ съ бахромой, первосвященники и воины, мытари и простой народъ—это все, наполненное живыми чувствами и характерами, выраженіемъ разнообразнѣйшихъ состояній и движеній душевныхъ, образуетъ такую великую и глубоко-правдивую эпопею, какой мы до сихъ поръ не встрѣчали нигдѣ и ни у кого въ живописи.

Но Ивановъ не остановился даже и на этой второй ступени своего развитія. Въ 1857 и 1858 г. онъ замышлялъ еще что-то новое, двигался еще впередъ. Въ Германіи, Лондонѣ и Петербургѣ онъ разсказывалъ близкимъ по душѣ и уму людямъ, что уже не можетъ останавливаться долѣе на одной религіозной живописи. Конечно, онъ не думалъ совсѣмъ оставить въ сторонѣ эту послѣднюю. Всего лучше это доказывается, наприм., тѣмъ, что, придя ко мнѣ, въ 1858 г., не задолго до смерти своей, въ Публичную Библіотеку, онъ меня просилъ показать ему всѣ, какія мнѣ только извѣстны, достовѣрнѣйшія и древнѣйшія изображенія Христа на мозаикахъ, фрескахъ и другихъ монументахъ,—причемъ, скажу мимоходомъ, оказалось, что онъ уже давнымъ-давно все существующее въ этомъ родѣ знаетъ лучше меня. Притомъ же, въ этомъ са-

момъ 1858 году, изъ Петербурга, Ивановъ все-таки собирался поѣхать въ Палестину, въ Іерусалимъ; наконецъ, онъ тогда же говорилъ, что изъ Библіи «преимущественно беретъ свои сюжеты искусство» (Біографія, стр. XXXII). Нѣтъ, Ивановъ оставлялъ за собою, несомнѣнно, и религіозную живопись, и напрасно онъ считалъ, что утратилъ всю прежнюю свою вѣру, и не видитъ болѣе выхода. Напрасно — то доказываютъ его собственныя слова: «Я мучусь о томъ, что не могу формулировать искусствомъ, не могу воплотить мое новое воззрѣніе, а до стараго касаться я считаю преступнымъ», прибавлялъ онъ съ жаромъ. Кто касаться до стараго считаетъ преступнымъ, тотъ, ясно, съ этимъ старымъ не разорвалъ, а ищетъ только для него новую формулу. Ивановъ, весь вѣкъ занятый Библіей, не могъ же вдругъ съ нею совершенно разстаться—разрывы со всѣмъ прежнимъ въ возрастѣ болѣе чѣмъ 50-лѣтнемъ не проходятъ безнаказанно, они могутъ быть только смертельны. Но Ивановъ не падалъ и не умиралъ, онъ своей вѣры не терялъ: онъ сохранялъ за собой все старое, но шелъ впередъ и забиралъ по дорогѣ громадныя новыя задачи. Онъ только намѣренъ былъ не приносить долѣе въ жертву религіи всѣ остальные сюжеты и задачи, подобно тому, какъ онъ дѣлалъ это до тѣхъ поръ.

«Идея новаго искусства, — говоритъ онъ въ Петербургѣ, въ 1858 году,—сообразно съ современными понятіями и потребностями, до сихъ поръ еще не вполнѣ прояснилась во мнѣ. Я долженъ еще долго и неусыпно трудиться надъ развитіемъ своихъ понятій—раньше того, я не начну производить новыя картины» (Біографія, стр. XXXI). Конечно, мудрено и дерзко отгадывать душу художника, когда онъ и самъ не могъ дать себѣ яснаго отчета въ ея горячемъ стремленіи; но все-таки, мнѣ кажется, нѣкоторыя мѣста изъ писемъ Иванова даютъ намъ возможность до нѣкоторой степени понять, куда направился бы его талантъ, останься Ивановъ живъ, и примись онъ, наконецъ, за тѣ «новыя» картины, о которыхъ онъ разсказывалъ въ 1858 году. Еще въ началѣ 1837 года Ивановъ писалъ Обществу поощренія художниковъ: «Если я и сверстники мои не будемъ счастливы, то слѣдующее за нами поколѣніе пробьетъ себѣ непремѣнно столбовую дорогу въ славѣ русской, и потомки увидятъ, вмѣсто «Чуда больсенскаго», «Аттилы, побѣждаемаго благословеніемъ папы» — блестящія эпохи изъ всемірной и отечественной исторіи, исполненныя со всѣми точностями антикварскими, столь нужными въ настоящемъ вѣкѣ». Въ другомъ мѣстѣ

онъ объявлялъ, въ 1858 году, что вполнѣ одного мнѣнія съ публикой, которая, будучи не вполнѣ довольна его большой картиной, требуетъ «живого воскрешенія древняго міра». Вотъ чѣмъ онъ думалъ, вотъ чѣмъ онъ надѣялся, повидимому, замѣнить прежніе сюжеты и задачи Рафаэлевскіе: «Чудо больсенское», «Аттила, побѣждаемый благословеніемъ папскимъ»,—воскрешеніемъ прежняго міра, воскрешеніемъ блестящихъ эпохъ всемірной и отечественной исторіи. Долго ему мѣшала въ этомъ исключительно религіозная живопись, вложенная въ него патріархальнымъ семействомъ, старымъ Петербургомъ Александровскаго времени и академіей. Но пришла такая минута, что приклеенная чужими руками шелуха лопнула и отвалилась, и Ивановъ потянулся жаднымъ взоромъ и рукой къ тому, что̀ составляло, въ продолженіе всей жизни его, весь интересъ, всю жажду и стремленіе его ума—великія событія всемірной и отечественной исторіи. И на этомъ новомъ пути онъ предсказывалъ успѣхъ, если не самому себѣ, то другимъ, будущимъ русскимъ художникамъ, «готовящимся на большой путь искусства живописнаго». Вотъ каковы были замыслы Иванова, вотъ каково было чудное, свѣжее, энергическое настроеніе этого 52-лѣтняго человѣка, стараго годами, но молодого духомъ, какъ никто изъ всѣхъ его товарищей.

Ивановъ не зналъ и не понималъ того реалистическаго движенія, которое въ его время уже начинало существовать въ художествѣ Европы, всего болѣе во Франціи. Французскую натуралистическую и вообще всю жанровую школу онъ называлъ «развратною школою парижскою» и предостерегалъ отъ нея, въ 1845 году, своего брата Сергѣя; тѣмъ менѣе могъ бы онъ предвидѣть, а потомъ и понять, если бы собственными глазами увидалъ произведенія, успѣхъ и значеніе той могучей современной школы реализма, которая началась лишь въ 50-хъ годахъ, а разрослась въ Европѣ лишь въ послѣднія 10—15 лѣтъ. Ивановъ понималъ одно художество — «монументальное«, и внѣ его не въ состояніи былъ понимать что-либо еще другое. Потому-то художество, берущее себѣ задачи изъ ежедневной, будничной жизни, казалось ему мелкимъ, ничтожнымъ или «шуточнымъ». Но безумно было бы требовать отъ натуры, хотя бы и великой, того, чего въ нее не было вложено и что̀ ей было чуждо, и потому я повторю только тѣ чудныя слова, которыми въ 1857 году привѣтствовалъ Иванова одинъ изъ величайшихъ русскихъ писателей: «Хвала русскому художнику, безконечная хвала,—

сказалъ онъ Иванову со слезами на глазахъ, и бросившись обнимать его:—не знаю, сыщите ли вы формы вашимъ идеаламъ, но вы подаете не только великій примѣръ художникамъ, вы даете свидѣтельство о той непочатой, цѣльной натурѣ русской, которую мы знаемъ чутьемъ, о которой догадываемся сердцемъ, и за которую, вопреки всему дѣлающемуся у насъ, мы такъ страстно любимъ Россію, такъ горячо надѣемся на ея будущность».

Съ тѣхъ поръ прошло болѣе 20 лѣтъ. Пора, кажется, хотя теперь начать узнавать *и любить* Иванова, сначала непонятаго, а потомъ—забытаго.

В. Стасовъ.

НОЧЬ ПОДЪ РОЖДЕСТВО

РАЗСКАЗЪ.

Завтра Рождество—веселый, зимній праздникъ.

Стоитъ крѣпкій морозъ. Ясный мѣсяцъ уже выплылъ на середину чистаго, безоблачнаго неба, и льетъ отуда свои голубоватые лучи на снѣговое поле. А оно, это широкое, сугробистое поле, привольно раскинулось по всѣ стороны Золотаревскаго хутора, сверкая на мѣсяцѣ безчисленными огоньками...

Невозмутимая тишь царитъ въ холодномъ воздухѣ. Рѣдко, рѣдко врѣжется въ эту тишь какой-нибудь шальной звукъ—либо скрыпъ запоздавшихъ дровней, либо звонкій лай хуторской собаки, — врѣжется, пронесется по снѣговой пустынѣ, и замретъ гдѣ-то въ подзвѣздной выси, а въ полѣ снова тихо, тихо...

Глухой, одѣтый толстымъ слоемъ снѣга, окруженный высокими сугробами, затерянъ въ полѣ Золотаревскій хуторъ. Рига да амбары, скотный дворъ съ избою, да флигель для хозяина,— вотъ всѣ постройки на томъ хуторѣ. Стоитъ онъ на легкомъ полускатѣ, а внизу того полуската, подъ полуаршиннымъ льдомъ, течетъ гнилая рѣченка, Воронка. Нѣсколько сиротливыхъ вѣтелъ, полузанесенныхъ сугробами, видны на берегу рѣчки. За рѣчкой, въ бѣлесоватой дали, чернѣется село Воронóвка, а отъ села до хутора вьется желтой, глянцевитой лентой, шибко проторенная дорожка.

Воронóвка раскинулась по ложбинѣ, образуемой большой, многоводной рѣкою Гнилушею, куда впадаетъ и Воронка. Вотъ теперь, отъ хутора плохо видна Вороновка въ своей ложбинѣ, лишь крестъ ея высокой каменной колокольни бойко горитъ на мѣсяцѣ синимъ огонькомъ, да крайнія избы чернѣются, а подойдешь

поближе къ Вороновкѣ, и глазомъ ее не обоймешь,—такъ широко раскинулась она по обоимъ берегамъ Гнилуши, среди густого тальника, да высокихъ вѣтелъ, опушённыхъ сверкающимъ инеемъ...

Золотаревскій хуторъ принадлежитъ одному изъ тѣхъ штатскихъ генераловъ, которыхъ такъ много разсѣяно на Руси по военнымъ да статскимъ гимназіямъ, по лицеямъ да разнымъ спеціальнымъ школамъ... Носилъ этотъ генералъ сѣдыя баки да красную подкладку на шинели, былъ благодушенъ какъ истый педагогъ, имѣлъ способность краснѣть до корня волосъ отъ смѣлаго словца, и любилъ, чтобы его величали *превосходительствомъ*, хотя тщательно скрывалъ эту простительную слабость... Впрочемъ, особенностей, кромѣ этихъ, никакихъ не представлялъ, а потому мы прямо перейдемъ отъ гимназическаго сановника къ его арендатору, юркому мужичонкѣ Ѳедосею Денисычу Золотареву.

Этотъ Золотаревъ только четыре года какъ сидитъ на генеральской землицѣ, а его ужъ на тридцать верстъ кругомъ знаетъ сермяжный міръ. Не даромъ такъ бойка дорожка изъ Вороновки на Золотаревскій хуторъ, — не мало поѣздило по ней убогихъ дровнишекъ да уёмистыхъ саней... Не мало крестьянскихъ, затёртыхъ до невозможности, рублевыхъ бумажекъ прокатилось по этой гладкой дорожкѣ въ Золотаревскій хуторъ...

Въ старину Золотаревъ былъ забитымъ пастушонкомъ мирныхъ свиныхъ стадъ; былъ потомъ и дворникомъ, и прасоломъ, нажилъ на этихъ послѣднихъ поприщахъ крупную деньгу, и заарендовалъ землю. Сильно онъ маклачитъ на этой арендѣ. И хлѣбъ-то скупаетъ, и отсрочиваетъ долги мужикамъ за десять копѣекъ въ мѣсяцъ на рубль, и мѣрку, во-время ссыпки, внутри кирпичемъ чиститъ, чтобъ полнѣе насыпалась, и съ вѣсами коварно фокусничаетъ, и за работу платитъ соломой да мякиной... А нѣтъ!— нѣтъ слуховъ, чтобъ прибавлялась крупная деньга Золотаревская... Не разъ даже сельскія вѣстовщицы ехидно благовѣстили, что-де Ѳедосей Денисычъ позавчёра у Вороновскаго краснорядца Ѳедора Николаева пятерку въ заемъ взялъ, стало—нужды!.. Прошла разъ эта ехидная вѣсточка, прошла другой, а тутъ ужъ и подошли слухи, что у Золотарева-де тонко, что не даромъ отъ Золотарева и сынъ сбѣжалъ, малый-то не промахъ—почуялъ, что отецъ къ разору идетъ... А тутъ, на грѣхъ, въ одни зимніе, ясные полдни прозвенѣлъ колокольчикъ судебнаго пристава, и извѣстная всему крестьянству тройка буланенькихъ меренковъ пронесла «его благородіе» на Золотаревскій хуторъ. Много задалъ работы бабьимъ языкамъ этотъ звонкій колокольчикъ, эта лихая тройка киргизовъ!

Ѳедосея Денисыча ужъ вживѣ похоронили... Лишь малая толика солидныхъ, основательныхъ мужичковъ недоумѣвающе покачивали своими нечесаными головами, да безуспѣшно раздумывали: «куда же экая деньга дѣвалась?»...

А Ѳедосей Денисычъ какъ ни въ чемъ не бывало постукивалъ, да постукивалъ косточками на счетахъ, писалъ да писалъ въ свою долговую книгу неуклюжія «цифери...» Слуха его какъбы и не касался смутный говоръ молвы, назойливо разсуждавшей объ его, будто бы прожитой деньгѣ...

Вотъ и теперь онъ, высматривая изъ своихъ зеленоватыхъ очковъ, осторожно водитъ гусинымъ перомъ по толстѣйшей истасканной книгѣ; послѣ каждой записи бойко откладываетъ костяжки на счетахъ, а внизу каждой страницы аккуратно подводитъ итоги...

Лампа съ самодѣльнымъ абажуромъ тускло освѣщаетъ большую комнату и фигуру Ѳедосея Денисыча. Это—плюгавенькій мужичокъ, съ клинообразной темно-русой бородкой, съ сѣрыми глазками, быстро перебѣгающими съ предмета на предметъ, съ тонкими губами, съ прямоугольнымъ длиннымъ носомъ... Однимъ словомъ, у него было одно изъ тѣхъ лицъ, которыя принято называть чистокровными русскими, смышленымъ лицами, то-есть, по просту сказать, очень плутоватое, очень бойкое и подъ часъ нахальное, что, какъ извѣстно, и служитъ признакомъ нашей знаменитой «смѣтки».

Комната, въ которой сидитъ Ѳедосей Денисычъ, оклеена дешевыми обоями, пришедшими отъ времени въ какое-то безцвѣтное состояніе. На стѣнахъ развѣшаны лубочныя картины и портреты, обличающіе въ Ѳедосеѣ Денисычѣ горячаго патріота... Тутъ и взятіе Плевны, размалеванное яркими красками, и сонъ турецкаго султана Гамида, и взятіе Карса, расположеннаго на какой-то стѣнообразной горѣ, тутъ и Скобелевъ 2-й, съ воинственной фигурой, и пышно взбитыми бакенбардами, тутъ и Гурко и, молодцовато подобравшійся, Радецкій... Картинки расположены были безъ всякой симметріи, и къ стѣнѣ прибиты гвоздиками; впрочемъ, Скобелевъ 2-й былъ прилѣпленъ хлѣбнымъ мякишемъ, за то красовался выше всѣхъ. По понятіямъ Ѳедосея Денисыча, онъ только и былъ настоящій воякa, а остальные такъ себѣ...

Передній уголъ занятъ изряднымъ количествомъ густо-позолоченныхъ иконъ, предъ которыми горитъ темно-синяя лампадка. На столикѣ пониже иконъ лежитъ объемистая Четьи-Минея въ старомъ обшмыганномъ переплетѣ, рядомъ съ ней «Путешествіе во св. градъ Іерусалимъ», засаленныя «Кіевскія святцы» и еван-

геліе. Особымъ уваженіемъ Ѳедосея Денисыча пользовались Четьи-Минея и евангеліе. Въ первой онъ съ постояннымъ наслажденіемъ читалъ житія святыхъ, особенно отличившихся въ борьбѣ съ «діаволомъ». Напримѣръ, извѣстный святой, заставившій чорта молоть жито и таскать лѣсъ для келій, приводилъ Ѳедосея Денисыча въ восторгъ неописанный: «вотъ онъ, батюшка, какъ ловко его обработалъ!» восклицалъ онъ, подразумѣвая праведника, поборовшаго чорта... Евангеліе читалъ онъ все сплошь, рядъ къ ряду, отъ «Матѳея» до «Откровенія Іоанна». Но съ интересомъ читалъ только тѣ мѣста, въ которыхъ описываются чудеса... Особенно любилъ онъ воскрешеніе Лазаря и насыщеніе пятью хлѣбами народа. Поученія же и притчи Спасителя, а также посланія апостольскія читалъ съ явной неохотой, всегда вздыхалъ за ними, и слегка зѣвалъ, хотя пропускать никогда не рѣшался... За «Откровеніемъ» же благоговѣйно ужасался, и всегда, послѣ чтенія его, авторитетно говорилъ о второмъ пришествіи, возбуждая непритворный страхъ въ домочадцахъ...

У другого угла комнаты висятъ большіе, вѣчно шипящіе часы, съ грязнымъ до невозможности циферблатомъ и съ позеленѣвшими тяжелыми-претяжелыми гирями. Около стѣны чинно разставлены гнутыя, буковыя стулья съ плетеными сидѣньями; у другой стѣны красуется стеклянная этажерка. И какихъ только чудесъ нѣтъ въ этой этажеркѣ! Тутъ и четыре пожелтѣвшія ложки накладнаго серебра, и какія-то объѣрзанныя куклы съ украшеніями изъ дешевого позумента, тутъ и цѣлая коллекція пузырей и пузыречковъ съ разнообразнѣйшими цѣлительными снадобьями, все болѣе мистическаго свойства: «Іерусалимскій бальзамъ» да «Святогорское масло»—такъ и чередовались на этикеткахъ... Этотъ рядъ рѣдкостей замыкала собою стклянка давно выдохшихся духовъ, да съ полдюжины миніатюрныхъ чайныхъ ложечекъ сомнительнаго серебра...

Этажерка осталась отъ исчезнувшей вмѣстѣ съ мужемъ невѣстки Ѳедосея Денисыча, цивилизованной купеческой дочки изъ торговаго города Е... Жена Золотарева, простодушная деревенщина, Арина Тимоѳеевна по своему вкусу наполнила опустѣвшую отъ городскихъ финтифлюшекъ этажерку, и несказанно гордилась этимъ.

Полъ въ горницѣ чисто-на-чисто вымытъ и покрытъ кое-гдѣ рогожами; отъ голландской, заново выбѣленной, печки несетъ тепломъ.

На всемъ почиваетъ праздничный порядокъ.

Отрадно щекоталъ этотъ порядокъ мягкое сердце Ѳедосея

Денисыча... Эти тикающіе часы, эти ярко позолоченныя иконы и красивыя «модныя» стулья—все вѣдь его нажитіе, плоды его трудовъ, его смѣтки и оборотливости!..

Подведя послѣднюю страницу итоговъ, Ѳедосей Денисычъ грузно захлопнулъ тяжелую книгу, отодвинулъ ее къ сторонѣ, и, отрадно вздохнувъ, сладко потянулся.

Вошла Арина Тимоѳеевна—плотная, здоровая баба, лѣтъ подъ пятьдесятъ.

— Ну, баба, енаралу денегъ наберемъ, провалъ его возьми! —встрѣтилъ Ѳедосей Денисычъ жену.

— Ну, и слава Богу! — перекрестилась та благоговѣйно, — хошь праздничекъ-то Христовъ сустрѣтимъ безъ горя, а то эта ренда какъ камень на душенькѣ: вотъ-вотъ пріѣдутъ, вотъ-вотъ...

— Знамо, дура баба, — самодовольно усмѣхнулся Ѳедосей Денисычъ,—что ты понимаешь? Ну, кто пріѣдетъ, чего ты брешешь?..

— Да «слѣдующій!» кому-жъ окромя? прошлую зиму-то кто съ колокольцами прикатилъ?—недоумѣвающе предполагала Арина Тимоѳеевна.

— Ха-ха-ха!..—добродушно раскатился Золотаревъ,—нешто енаралъ судебнаго пристава пришлетъ? отъ ренды, это такъ — онъ въ правѣ отказать, а больше ни чорта онъ мнѣ не сдѣлаетъ...

— И какъ это ты, Ѳедосей, все гогочешь, да еще нечистаго поминаешь!—укоризненно заговорила Арина Тимоѳеевна,—нешто можно надъ евдакимъ дѣломъ веселиться?.. что ты окаяннаго-то тѣшишь, прости Господи!..—Она съ негодованіемъ плюнула, тонъ ея становился болѣе и болѣе суровъ, лицо смотрѣло озлобленно...

Золотаревъ степенно надѣлъ очки и снова открылъ книгу. Арина Тимоѳеевна ушла изъ горницы, сильно хлопнувъ дверью. По уходѣ ея, Ѳедосей Денисычъ лукаво усмѣхнулся и снова снялъ очки. Онъ сталъ вертѣть папироску; непривычные, мозолистые пальцы грубо шелестѣли папиросной бумагой и, несмотря на кропотливое старанье Ѳедосея Денисыча, все рвали да рвали ее...

II.

Въ передней послышался робкій кашель.

— Кто тамъ?—окликнулъ Ѳедосей Денисычъ.

— Это я-съ...—отозвался тихій голосъ.

— Да кто ты-то? Экіе дурачье! Сколько разъ говорятъ—сказывайся...

— Я-съ... Егоръ Губинъ... къ вашей милости, Ѳедосей Денисычъ...

Въ дверяхъ показалась обдерганная фигура мужика. Поверхъ разодраннаго полушубка на немъ былъ наваленъ зипунъ. Зипунъ этотъ былъ какой-то рыжій отъ долгаго употребленія; безчисленныя заплаты покрывали его; тутъ былъ клокъ и отъ бабьей полосатой юбки, и отъ смураго толстаго сукна, и отъ небѣленой рѣднины... Изъ-подъ лохмотьевъ зипуна виднѣлись рваныя овчины полушубка. Грязная веревка опоясывала зипунъ; невыразимо заскорузлыя штаны были вправлены въ онучи, зашнурованныя конопляными оборочками; на ногахъ грубые, растрепанные лапти... Бѣлые, словно ленъ, волосы на головѣ и маленькой бородкѣ, грязно-голубые, словно умоляющіе о чемъ-то глаза, печать испуга, застывшаго въ мелкихъ чертахъ маленькаго лица, легкая, тревожная дрожь ввалившихся щекъ, — все это производило какое-то щемящее впечатлѣніе, и какъ-то влекло къ этому нищенски-одѣтому мужику, но какъ влекло — хотѣлось помочь ему, дать ему крѣпкое, теплое платье, накормить его досыта, а затѣмъ какъ можно скорѣй позабыть, и тревогу, застывшую на лицѣ, и нѣмую, боязливую жалобу во взглядѣ...

— Куда ты прёшь-то? Не можешь за дверями постоять? Видишь, чистота!.. Ишь, лапищи-то!.. — возмущался Золотаревъ.

— Да я, Ѳедосей Денисычъ, кабыть обтеръ лапти-то, — сконфуженно ретируясь, — бормоталъ Егоръ.

— Ну, ты чего припёрся?

— Счесться бы, къ вашей милости...

— Ишь, нашелъ время!.. завтра что? нехристи безпутные... Не могъ прежде-то придти... — резонерствовалъ Золотаревъ.

— Я ужъ разика три приходилъ къ вашей милости, да вамъ все недосугъ было...

— Ну, ладно... Чего надо-то? — нетерпѣливо перебилъ Золотаревъ, котораго, повидимому, сердилъ приходъ мужика.

— Да деньжонокъ бы, Ѳедосей Денисычъ... Праздничекъ завтра...

— Какихъ деньжонокъ? Еще за тобой никакъ, — Золотаревъ раскрылъ книгу, и добрыхъ четверть часа рылся въ ней, — ну, такъ и есть — шесть гривенъ приноси... Ишь, пришелъ — деньжонокъ! — передразнилъ онъ Губина.

— Какъ же это такъ? — испуганно расширивъ зрачки глазъ, спросилъ Егоръ.

— Да такъ!.. Вы все не знаете!.. Какъ съ насъ, такъ это вы знаете, а вотъ какъ съ васъ приходится...

— Да какъ же это, Ѳедосей Денисычъ?..—съ мукой въ голосѣ удивлялся мужикъ.

— Ты ярового тридцатку бралъ?

— Тридцатку.

— Пятнадцать цѣлковыхъ,—положилъ Золотаревъ.

— Заработалъ на молотьбѣ девять рублей шесть гривенъ...

— Какъ же девять рублей шесть гривенъ? вѣдь по рублю съ пятакомъ за копну-то повѣщали?...

— Нѣтъ, по рублю. Стало быть, и вышло двадцать-восемь копѣекъ за копну... За тридцать-восемь копѣнъ...

— Да кабыть и по твоему больше десятки выходитъ...

— Разсказывай! Авось счетъ-то поболѣ твово знаю... Ты никакъ соломы овсянной возъ взялъ, аль не помнишь?.. и Золотаревъ внушительно защелкалъ на счетахъ.

— Теперь вотъ ты, значитъ, просрочилъ съ деньгами—надо было отдать при «снопѣ», а ты отдалъ вотъ нонѣ...

— Какъ нонѣ?—недоумѣвалъ Губинъ.

— Да, такъ,—счета вотъ нонѣ подводимъ... Стало быть, прошло: іюнь, іюль, августъ, сентябь, октябь, ноябь, декабь —семь мѣсяцевъ, семь гривенъ на рубль, а за пятнадцать цѣлковыхъ—десять съ полтиной, всего двадцать-пять съ полтиной!

— Да это за что же? — все больше и больше тревожился Губинъ.

— А за то!.. прóценты! знай, плати въ срокъ: сказано при снопѣ деньги, ну, и выкладывай, а коли нѣту—плати прóценты...

— Ѳедосей Денисычъ! Аль мы ужъ нéхристи какіе, прóценты-то эфти считать...

— О, малъ, это ты не разговаривай! Нонѣ времена такія, нонѣ и въ банкѣ берутъ...

— Что банка!.. ты ужъ по божьему... по христіанскому...— молилъ мужикъ.

— Ладно, ладно... ты мнѣ не толкуй о христіанствѣ-то... Я, може, побольше кого другого благочестіе-то наблюдаю... Ишь, святости-то!..—Золотаревъ самодовольно кивнулъ головою на «святые».

— Выходитъ, ты замолотилъ девять,—шесть гривенъ; овса ссыпалъ шесть четвертей по 1 р. 75 к.—десять съ полтиной; ржи двѣнадцать мѣръ по 3 р. 20 к.—это вышло 4 р. 80 к.; всего, стало быть, 24 р. 90 к... Вотъ шесть гривенъ приноси, стало быть, и квиты...

— Что же это ты, Ѳедосей Денисычъ, Бога не боишься?—возбужденно и спѣша заговорилъ Губинъ:—что-жъ ты, это, гра-

бить такъ-то?.. Я вѣдь, малъ, пожалуй и того... Я вѣдь и вонъ что... и къ мировому... Голосъ его нервно дрогнулъ и перешелъ въ слезы, глаза блеснули какою-то дѣтскою злобой...

— Ахъ, ты, оборвышъ проклятый!.. Ты еще грубіянить вздумалъ... Вонъ!—Золотаревъ бросился къ Губину, ноздри у него сильно раздулись, глаза налились злостью. Онъ могучимъ движеніемъ рукъ оборотилъ тщедушнаго Губина къ двери, и толкнулъ его по направленію къ ней; дверь распахнулась отъ удара, и съ надворья ворвался въ теплыя уютныя комнаты морозный, холодный паръ... Глухой стонъ Губина ворвался вмѣстѣ съ клубами этого пара изъ сѣней...

Ѳедосей Денисычъ крѣпко прихлопнулъ наружную дверь, старательно притеръ вѣникомъ грязные слѣды, оставленные Губинымъ въ передней, чистенько вымылъ руки и тогда ужъ воротился къ своему столу.

Тишина снова воцарилась. Лампадка ярко золотила иконы. Этажерка весело блестѣла своими чистыми зеркальными стеклами...

Успокоился Ѳедосей Денисычъ, глядя на уютность да на праздничность, разлитыя вокругъ него, и отрадно ощущая разнѣживающую комнатную теплынь... Раскрылъ онъ съ крестнымъ знаменіемъ тоненькое евангеліе, замѣченное лоскуткомъ ситцевой тряпочки, и началъ читать истово и благоговѣйно, изрѣдка сокрушительно вздыхая и выговаривая по «складамъ» длинныя слова.

«Соборное посланіе святого апостола Іакова, глава пятая. Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бѣдствіяхъ вашихъ, находящихъ на васъ. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъѣдены молью. Золото ваше и серебро изоржавѣло, и ржавчина ихъ будетъ свидѣтельствовать противъ васъ, и съѣстъ плоть вашу, какъ огонь: вы собрали себѣ сокровище на послѣдніе дни. Вотъ плата, удержанная вами у работниковъ, пожавшихъ поля ваши, вопіетъ; и вопли жнецовъ дошли до слуха Господа Саваоѳа. Вы роскошествовали на землѣ и наслаждались; напитали сердца ваши, какъ бы на день закланія. Вы осудили, убили праведника; онъ не противился вамъ...»

Вошла Арина Тимоѳеевна, умиленно остановилась среди комнаты и набожно вздохнула. Глаза ея обратились къ ярко-освѣщеннымъ иконамъ, губы шептали молитву...

А Золотаревъ все читалъ да читалъ...

III.

Мнѣ не придется потратить много словъ, чтобъ разсказать всю исторію Егора Губина и жены его Авдотьи. Эта исторія коротка и незамысловата. Начну о Егорѣ.

Въ старину Губины жили недурно,—не послѣдними считались въ Воронóвкѣ. У Егора въ то время былъ братъ—рабочій, смирный парень, да отецъ еще въ силахъ. Но потомъ дѣла Губиныхъ какъ-то разладились, да и не одни Губины стали бѣднѣть, обѣднѣло и все село. Годъ отъ году росла эта бѣдность, прибавлялись всякаго рода налоги, уменьшался душевой надѣлъ, исчезали угодья—выгоны, лѣсокъ, переводилась скотинка... Исторія обычная. Но Вороновкѣ особенно не посчастливилось: въ одинъ урожайный годъ градъ выбилъ хлѣбъ до корня, въ другой — все сопрѣло отъ дождей... А тутъ подоспѣли благодѣтельные міроѣды, въ родѣ Ѳедосея Денисыча... Но все бы, можетъ быть, перенеслось Губиными и не отстали бы они отъ людей, не остались бы въ концѣ нищими, если бы не двѣ невзгоды, окончательно придавившія ихъ. Брата Егорова отдали въ солдаты, а немного спустя и старикъ-отецъ умеръ отъ холеры. Тогда-то плохо пришлось Егору... Если бы не жена, онъ, пожалуй, и совсѣмъ бы пропалъ... Къ счастію, жена ему попалась хорошая.

Авдотья была дочь зажиточнаго мужика, и не быть бы ей вѣкъ за Егоромъ, если бы грѣхъ ее не попуталъ... Была она красавица, какихъ немного. Парни проходу ей не давали; Егоръ упрямо отказывался жениться на комъ бы то ни было, кромѣ Дуняхи, и вѣчною тѣнью ходилъ за нею... Но въ то время она объ немъ и не думала: сосѣдскій сынъ Петруха былъ у ней на умѣ... Она ему отдала все, что̀ можетъ отдать дѣвушка, отдала, не загадывая о будущемъ, не думая о послѣдствіяхъ: она знала, что онъ «лобовой», и что при первомъ наборѣ ему не миновать солдатчины... Напрасно все село говорило, что она «гуляетъ», что она «непутящая», напрасно отецъ таскалъ ее за косы, грозилъ выгнать изъ дому, не пускалъ на «улицу» — ей все было ни по чемъ...

Отъ Петрухи она родила мальчика. Всѣ парни отшатнулись отъ ней, родные измучили попреками, одинъ Егоръ не перемѣнился... Все по-прежнему онъ только объ ней думалъ, ее одну любилъ... Петруху сдали въ солдаты вмѣстѣ съ братомъ Егора. Заболѣла Авдотья, при смерти лежала, однако оправилась. За то изъ веселой, разбитной дѣвки она сдѣлалась суровой, нелю-

димой... Часто стала ходить къ черничкамъ, училась у нихъ грамотѣ по псалтырю, просила отца сдѣлать ей келью... Никто, въ ту пору, не слыхалъ отъ нея ласковаго слова; только Егора она не обижала. И сталъ Егоръ ея постояннымъ собесѣдникомъ—все свое горе, всѣ свои предположенія и думы дѣлила она съ нимъ. Она привыкла къ нему; привыкла къ его придавленной забитой фигурѣ, къ его лицу, всегда словно испуганному, но доброму, къ его тихимъ, несмѣлымъ рѣчамъ...

Пришла холера. Умеръ Егоровъ отецъ, умеръ и Семенъ, отецъ Авдотьи. У Егора руки опустились... Надо было убирать рожь—убирать было некому; время паренину двоить, скоро сѣвъ подходилъ,—и двоить было некому... Рожь осыпалась, паренина заростала сорной травой, овесъ тоже подоспѣвалъ, а Егоръ сидѣлъ въ своей избѣ и безсильно подпиралъ руками тяжелую голову... Онъ потерялся.

Схоронила Авдотья отца, котораго не очень любила за его строптивость. Братья стали хозяевами. Пошло все по старому; только Егоръ не приходилъ ужъ къ мосткамъ, на-рѣку, когда Дуняха мыла бѣлье, или ходила туда по-воду... Странно это ей показалось; какъ будто недоставало чего...» Какъ это,—думала она,—малый въ горѣ: отецъ померъ, а не придетъ погуторить... Правда, може въ полѣ копается? да все-жъ-таки улучилъ бы минутку, вырвался...» Только и въ полѣ не оказалось Егора... Не утерпѣла дѣвка, пошла вечеркомъ къ нему въ избу. Видитъ—совсѣмъ малый ошалѣлъ, словно у него руки отнялись... Она совѣстить его было-принялась, — не помогаетъ... Плачетъ какъ маленькій и только... «Съ кѣмъ мнѣ, говоритъ, на работу идти? Что я одинъ-то тамъ сдѣлаю... да для кого работать?» Тутъ онъ какъ-то осмѣлился и то слово выговорить, которое давно у него было на умѣ... «Кабы ты пошла за меня горемыку, Авдотья Семеновна!» Вымолвилъ это слово Егоръ да и самъ испугался... Великая робость была въ томъ человѣкѣ!..

Подумала, подумала Авдотья, взглянула раза два на Егора, плачущаго навзрыдъ, да и согласилась. Правда, всю ту ночь на пролетъ плакала она какъ безумная, только все-жъ-таки вышла за Егора... Закипѣла у нихъ работа вдвоемъ: все во-время сдѣлали, и ржицу убрали, и посѣялись, и яровое не упустили... У Авдотьи словно мужицкая сила была; у самого Егора и то какъ будто ухватки прибавилось.

Только не повезло что-то имъ. На другой годъ послѣ свадьбы половина Вороновки выгорѣла «отъ неизвѣстной причины»... Сгорѣли и Губины. Съ тѣхъ поръ пошло все хуже да хуже...

А тутъ еще Авдотья родила, да съ самыхъ родовъ прихварывать стала... Ушла ея прежняя сила, не стало былой ловкости, ухватки... Она, положимъ, не лежала,—работала, да ужъ работа-то была не прежняя... Егоръ сталъ еще болѣе забитымъ, еще болѣе безотвѣтнымъ; всѣхъ-то онъ боялся, передъ всѣми кланялся... Боялся онъ и жены,—ея пылкаго, смѣлаго характера, ея сердитыхъ распеканій,.. Любилъ онъ ее по-прежнему, если не больше, и все тою же робкою, молчаливою любовью... Авдотья если и не любила мужа, если и плакала иногда, поглаживая бѣлокурую головку своего Ѳедюшки и вспоминая Петруху, но за то сильно привыкла къ нему...

Послѣ пожара они выстроились, но плохо: вмѣсто прежней «бѣлой» избы съ хорошимъ дворомъ, поставили «черную». Въ скотинѣ тоже нуждались—корову, и ту не собрались еще купить съ тѣхъ поръ какъ отъ чумы околѣла старая.

Несмотря на нужду, Авдотья постоянно настаивала, чтобъ Егоръ не брался зимой подъ работу, не забиралъ впередъ денегъ. Она боялась конечнаго разоренія. Душевой надѣлъ тоже не позволяла ему сдавать міроѣдамъ во время сбора податей. Все это она думала замѣнить усиленной лѣтней работой по выгодной цѣнѣ...

Благодаря этимъ распоряженіямъ, а также и работѣ за хорошія, сравнительно, цѣны, Губины и скрипѣли еще на зло всѣмъ невзгодамъ... Иначе давно бы пришлось имъ побираться, какъ то дѣлаетъ едва ли не третья часть Вороновки.

IV.

Лунный свѣтъ тускло пробивался сквозь маленькое оконце въ убогую избушку Губина. Холодно и неприглядно было въ этой избѣ; потрескавшаяся печка безъ трубы загромождала половину избы, а въ остальной половинѣ расположенъ былъ похилённый столъ, весь въ дырахъ, узкая лавка и убогая колыбель на деревянномъ крюкѣ. Съ земляного, сырого пола несло холодомъ. Толстый слой инея лежалъ на уцѣлѣвшихъ стеклахъ окна, на гниломъ узкомъ подоконникѣ и на утлой двери. Холодный вѣтерокъ врывался въ щели худой оконницы. Зеленая склизкая плѣсень покрывала углы стѣнъ; съ потолка капало... И потолокъ, и стѣны—все было черно отъ дыма.

Синими волнами ходитъ угаръ по избѣ: печку недавно исто-

пили, ужъ не въ терпежъ холодно стало, а теплинь-то вотъ теперь и ходитъ по избѣ мутными, одурящими волнами...

Въ полутьмѣ избы баба сердито качала колыбель, посылая ругань кричащему что есть мочи ребенку...

Послѣ назойливыхъ, надрывающихъ криковъ успокоился ребенокъ. Чутко прислушалась баба къ его неровному, хрипливому дыханію и пошла къ столу.

— Мамушка, ты бы лучинку засвѣтила! послышался съ печи звонкій, дѣтскій голосокъ.

— И то ищу...

— Что, мама, батя за убоиной пошелъ?

— Къ Золотареву пошелъ, а оттуда за убоиной...

— Дай мнѣ хлѣбушка!..

— Ишь, черти, все бы вамъ лопать... на вотъ, да не проси до завтраго!..—Баба швырнула на печку кусокъ хлѣба, и зажгла лучину. Яркій, дымный огонекъ вспыхнулъ и освѣтилъ избу.

Въ сѣняхъ послышался кашель.

— Батя убоину принесъ!—зазвенѣлъ съ печки радостный дѣтскій голосокъ, и бѣлокурая головка чумазаго мальчугана съ живыми сѣрыми глазами шаловливо свѣсилась оттуда.

Мать взглянула на него; веселая усмѣшка скользнула по ея изможденному, вѣчно сердитому, вѣчно озабоченному лицу.

Праздникъ, великій годовой праздникъ, пахнулъ своимъ свѣтлымъ вѣяніемъ на эту горемыку-мать, съ ея шаловливымъ сынишкой!..

Вошелъ Егоръ. Тяжело ступилъ онъ съ порога, глубоко вдохнулъ гнилой, угарный воздухъ, и сѣлъ къ столу. Блѣдно-голубые глаза его то пугливо разбѣгались по угламъ избы, то какъ-то растерянно смѣялись... Щеки судорожно вздрагивали, кровавый рубецъ запекся на кончикѣ носа, нѣсколько алыхъ капель застыли въ бѣлыхъ волосахъ бороды...

— Что-жъ, аль въ сѣняхъ оставилъ?—добродушно обратилась къ нему жена и направилась къ двери.

— Батя, что-й-то у тебя кровь-то на бородѣ! Аль убился?—закричалъ мальчуганъ:—мамушка, глянь-кось!

— И то, Авдотья, никакъ кровь?—растерянно спросилъ Егоръ, вытирая полою кафтана лицо.

— Это съ чего же?.. остановилась Авдотья на полпути къ двери. Сурово-озабоченно глянула она мужу въ лицо.

Егоръ порывисто поднялся съ лавки, и сталъ распоясываться. Онъ силился вызвать беззаботную улыбку на лицо, но слезы упорно подступали къ глазамъ, и голосъ нервно дрожалъ.

— Да тамъ маленечко Ѳедосей Денисычъ... Маленечко поговоохотились...—безсвязно бормоталъ онъ:—и чистота, это, у него, братецъ ты мой!... добавилъ онъ неожиданно, и заискивающе глянулъ въ нахмуренное лицо жены.

— Да ты чего плетешь-то?.. Аль пьянъ!.. Гдѣ убоину-то дѣвалъ?—сердито закричала она на него.

Безпомощно опустился Губинъ на лавку.

— Оно вотъ что, Авдотья Семеновна... Нѣтъ ли мяснику понесть чего... заложить... а?..

— Чего... на что́ заложить?.. да что́ ты, асиндъ, меня мучаешь-то?..—озлобленно закричала встревоженная Авдотья.

Мальчуганъ пугливо прижался въ углу печи; жаль ему было отца, но въ головенкѣ все-таки копошилась думка: «а куда-жь это, батя, убоину дѣвалъ и какъ же мы объ Рождествѣ безъ убоины будемъ!..»—и зло разбирало его на отца.

Капли пота выступили на блѣдный лобъ Егора. Назойливая мысль охватила его голову и давила какъ тисками... Тупо глядѣлъ онъ на жену, а ту все болѣе и болѣе волновала злость.

— Чего-жъ ты молчишь, клятый! куда дѣлъ убоину? гдѣ деньги дѣвалъ? Не ходилъ, што-ль, къ нему?.. А?.. Да говори же, младенская ти расшиби!..—она схватила его за плечи и съ силою потрясла... Нѣмая жалоба сверкнула въ глазахъ Егора... Онъ хлопотливо всталъ и заторопился: подпоясывалъ обрывокъ, надѣвалъ шапку...

— Я сейчасъ... я сейчасъ... я позабылъ объ убоинѣ-то... Ишь, убился!..—онъ озабоченно потеръ рубецъ на носу и степенно направился къ двери.

— Ишь, вѣдь, ополоумѣлъ!..—проводила его успокоенная Авдотья.

Лучина слабо трещала, разливая тусклый свѣтъ. Сквозь худое окно донесся протяжный колокольный гулъ. Било десять часовъ.

Авдотья торопливо чистила и прибирала избу. Выскребла ножомъ столъ и лавки чисто-на-чисто, выскребла грязь съ пола, и свалила его въ сѣни; бережно налила изъ полу-разбитой макотки сало въ таганецъ къ святочнимъ вечерамъ; обмела пыль съ тусклой суздальской иконы, и присѣла въ печкѣ.

Въ ея виски давно ужъ стучалъ угаръ. Въ пылу работы она не замѣтила этого, но когда присѣла—боль доняла ее. Зеленые круги стояли въ глазахъ. Съ тихимъ стономъ она прилегла на лавку; ребенокъ слабо охнулъ въ люлькѣ, она только рукой махнула...

— Ѳедо́шка, у тебя болитъ голова?—спросила она мальчугана. Тотъ ничего не отвѣтилъ. Она не повторила вопроса и схватилась за голову.

А Ѳедюшку давно ужъ подстрекало дымовое оконце, прорубленное около печи: «и на что́ оно заткнуто тряпкой?»—думалось ему: «дайко-сь я ототкну его да погляжу, авось мамушка не увидитъ... А на улицѣ должно свѣтло теперь, кабы лапти не разбиты—выбѣгъ бы»... Сторожко глянулъ Ѳедюшка на мать—та скребетъ да моетъ: «ну, ладно, авось не увидитъ!..» и онъ выдернулъ изъ окошка тряпицу; свѣтлая, лунная ночь глянула на него съ надворья, холодкомъ благодатнымъ пахнуло оттуда... Прислонилъ мальчуганъ свое чумазое лицо къ окошку и вознрился на ясную ночь... Весело ему казалось глядѣть на эту ночь, на эти яркія, мигающія звѣзды, на этотъ сверкающій снѣгъ, облитый голубоватымъ луннымъ сіяніемъ... А тутъ еще охнулъ густой мѣдный гулъ съ колокольни и звонко понесся по простору неоглядныхъ снѣжныхъ полей... «И вправду, словно праздникъ!»—подумалось Ѳедюшкѣ...

Донесся до него опросъ матери, но онъ счелъ благоразумнымъ промолчать: голова у него болѣла недавно, а теперь перестала, а отвѣть матери, пожалуй, еще замѣтитъ, что окошко раскрыто, да таску задастъ... Случалось такъ-то!..

А матери снились золотыя грезы... То Троицынъ день снился ей, густыя, зеленыя рощи, раскатистая трель соловья и пѣсни, звонкія пѣсни... То берегъ глубокой рѣчки, поросшій гибкимъ ивнякомъ, снился ей, и сидитъ будто она у того берега, а на колѣняхъ у ней, красивой чернобровой дѣвки, молодая кудрявая голова сосѣдскаго сына Петрухи... А то вечо́рки снятся... Хототъ и возня... опять звонкія пѣсни, уютный уголокъ въ сѣняхъ и опять онъ, удалой...

А то вотъ что-то тяжелое сдавило грудь, сжало сердце... То потянулись надрывающія, безобразныя видѣнья... Брѣетъ Петруху старый солдатъ-инвалидъ и тѣшитъ парня веселыми ро́сказнями про солдатское житье, а тотъ чутко вслушивается да угрюмо утираетъ горючія слезы... Какія-то мохнатыя чу́дища съ большущими, зелеными глазами шумно витаютъ вкругъ него, да какъ-то чу́дно смѣются, лязгая кривыми, словно серпъ, зубами... А вотъ и еще... Это ужъ Егоръ что-то ходитъ за ней по пятамъ и съ мольбою глядитъ въ ея суровыя очи... И чудной онъ какой-то, этотъ Егоръ:—то смѣется, то плачетъ... а самъ такъ и тонетъ въ какой-то сиво-туманной мглѣ... и цѣпи, тяжелыя цѣпи, тянутся изъ той мглы, замыкая своими желѣзными звеньями его

тонкую, потрескавшуюся отъ лѣтнихъ жаровъ, шею... А онъ все охаетъ да плачетъ, ломая руки, все смѣется какимъ-то чуднымъ, словно надорваннымъ смѣхомъ...

Но снова свѣтъ бьетъ въ глаза... Убѣгаютъ куда-то тяжелые сны, и цѣпи, и мгла, и чудища, а на смѣну имъ солнце ярко горитъ,—теплое майское солнышко, и пѣсни, веселыя, звонкія пѣсни стономъ стоятъ въ ушахъ... Весело Авдотьѣ... довольная усмѣшка бродитъ по ея полуоткрытымъ, блѣднымъ губамъ...

А у Ѳедюшки свои грезы рожались. Забота засѣла въ его молодую головенку. Вотъ ужъ двѣ недѣли, какъ онъ не ходитъ въ школу, лаптей нѣту... А жаль ему этихъ двухъ недѣль... Ишь, съ зимы пріѣхалъ толковитый, ласковый учитель; недѣльку только походилъ онъ при немъ въ школу, а много понялъ и полюбилъ...

Да вотъ бѣда — лаптей нѣту!.. Эхъ, кабы лѣто... ушли бы они съ учителемъ вонъ подъ ту ракиту, что у луки, сѣли бы они подъ той ракитой и читали книжку... А солнце бы какъ жаръ пекло и жаворонки около нихъ пѣли... Хорошо бы!

И тоска обнимаетъ ребячье сердце, выступаютъ слезы чистыя, какъ хрусталинки, заслоняютъ онѣ сѣрые, бойкіе глазки, сѣрымъ туманомъ...

А лучина трещитъ, разливая копоть, да тусклый свѣтъ...

V.

Губинъ, шатаясь, вышелъ изъ избы. Дрожь пронимала его. Въ головѣ стоялъ какой-то одурящій туманъ... «Куда я иду?».. —мелькнула у него мысль,— мелькнула и разогнала этотъ туманъ. Роковое рѣшеніе, что созрѣло въ минуту тяжелой душевной муки и засѣло мучительнымъ гвоздемъ въ головѣ, встало за этимъ туманомъ, ясное, твердое...

Спустился онъ въ загуменью и пошелъ по обрывистому берегу рѣки, не спускаясь на ледъ.

Думы, какими-то безобразными обрывками кружились въ головѣ... То мелькнетъ шальное воспоминаніе о томъ зимнемъ вечерѣ, когда онъ невольно подслушалъ любовныя рѣчи Дони съ Петрухой... То пронесется волной звуковъ духовная пѣснь, что когда-то, еще мальчишкой, слышалъ онъ въ пріѣздъ архіерея... То вспомнится ему съ чего-то боль поясницы, что лѣтомъ, въ жаркія Спажинки, мучила его на молотьбѣ у Золотарева... То нынѣшній вечеръ вспомнится ему: пламя лампады у разволочен-

ныхъ иконъ, чистый, до-синя вымытый полъ, сверкающая этажерка...

Но посреди этого вихря отрывочныхъ воспоминаній и мыслей, одна ясная, строго обдуманная царила и безсознательно вела его къ ригѣ Вороновскаго богача Голикова... Еще съ вечера, когда онъ шелъ къ Золотареву, около этой риги палили жирнаго борова; Губинъ помнитъ еще, какъ аппетитный запахъ скоромятины соблазнительно пахнулъ на него тогда... А теперь онъ идетъ къ этой ригѣ, гдѣ виситъ жирная свиная туша, съ вершковымъ разрѣзомъ сала на спинѣ...

Вотъ она, опрятная, крытая подъ начёсъ, рига Вороновскаго міроѣда. Новыя, тесовыя, ворота безпечно подперты коломъ, изъ внутри несется легкій, едва уловимый запахъ свинины...

Губинъ ощупалъ въ карманѣ складной ножъ и подошелъ къ воротамъ...

Тишь и сонъ царятъ надъ Вороновкой. Вотъ рѣзко разбудилъ эту тишь унылый звонъ колокола... разъ... два... три... четыре... Замираютъ протяжные звуки въ синей, безпредѣльной выси... Гдѣ-то въ далекомъ, бѣломъ полѣ дрожитъ глухой отзвукъ...

Торопливо спѣшитъ Губинъ къ своей убогой избушкѣ, съ кусомъ жирной свѣжины въ рукахъ... Тихо скрыпитъ снѣгъ подъ его ногами, а къ ушахъ гулъ колокольный сердито рокочетъ, и чудится ему что то не колоколъ, а чей-то мощный голосъ нисходитъ съ синей высоты и вѣщаетъ ему грозный укоръ.

— Воръ... воръ... воръ...—стономъ стоитъ у него въ ушахъ...

VI.

Наступилъ великій праздничный день, хорошій, зимній день съ солнышкомъ, съ крѣпкимъ морозомъ...

У Золотарева пиръ.

Терпѣливо дожидаются гости четвертой перемѣны, чинно сидя за длиннымъ столомъ на «модныхъ» стульяхъ. Только окончили они жаренаго поросенка, начиненнаго гречневой кашей и, какъ видно, постарались за пивъ: крупныя капли пота проступили на ихъ красныхъ довольныхъ лицахъ...

Вверху, на почетномъ мѣстѣ, сидѣлъ дьяконъ съ необыкновенно крупными угрями на лбу и львиноподобной гривой; онъ сидѣлъ молча, не вмѣшиваясь въ рѣчи гостей, и яростно сокру-

шалъ праздничныя яства, безпрестанно запивая ихъ водкой; рядомъ съ нимъ сидѣлъ Вороновскій краснорядецъ Ѳедоръ Николаевъ, съ курносымъ, широкимъ лицомъ, заросшимъ черной бородой; около краснорядца помѣщалась жена его, Абрамиха, шустрая баба, первая сплетница на селѣ. Рядомъ съ этими супругами, по обѣимъ сторонамъ стола сидѣла родня, мужики и бабы,—мужики, въ ситцевыхъ пестрыхъ рубахахъ и въ суконныхъ кафтанахъ, бабы,—въ ситцевыхъ юбкахъ и въ сатиновыхъ кофтахъ; на одной только краснѣлся кумачный сарафанъ, отороченный галуномъ. Среди нихъ помѣщался сосѣдъ, арендаторъ, изъ отставныхъ канцелярскихъ писцовъ 2-го разряда. Его сюртукъ и бѣлая рубашка рѣзко выдѣлялись изъ полу-крестьянскихъ костюмовъ гостей.

Ѳедосей Денисычъ съ сіяющей физіономіей, въ нарядной поддёвкѣ изъ тонкаго сукна, угощалъ гостей виномъ. Арина Тимоѳеевна прислуживала...

Шелъ оживленный разговоръ.

— Что толковать!.. времена плохія пришли... — говорилъ краснорядецъ:—вотъ теперь хошь бы наша торговля—совсѣмъ пустая выходитъ: бывало, это, въ Москву-то раза три, а то и четыре обернешься, а нонѣ—шалишь!.. Нейдетъ товаръ съ рукъ, да и на̀ поди...

— Нонѣ всякая дѣвка-то норовитъ тебя объѣхать,—затараторила Абрамиха,—придетъ, спроситъ платокъ въ гривенникъ, да цѣльный часъ разглядываетъ его на свѣтъ!.. Какая ужъ тутъ торговля?—развела она негодующе руками.

— И! Абрамьевна,—подхватила стоящая за ея спиной Арина Тимоѳеевна,—не однимъ вамъ плохо... Нонѣ и арендателямъ-то плохо приходитъ!..

— Ну, кушай, кушай!—подносилъ Ѳедосей Денисычъ своему шурину, богатому мужику изъ сосѣдняго села.

— Мужикъ бѣденъ, братецъ ты мой!—сокрушительно вздохнулъ сватъ Золотарева, толстый, рыжій мужчина,—оттого и дѣла наши плохи, что мужикъ бѣденъ... Бывало, и скотинку, аль тамъ хлѣбушко у него купишь, и землицы новиной снимешь подъ распашку—все барышокъ перепадалъ, потому—мужикъ въ достаткѣ за цѣной не гонится, да еще деньжонки обождетъ мѣсяцъ-другой, а то и больше... а ты на нихъ, на эти деньжонки-то, дѣло дѣлаешь... Опять, и лавочная торговля шла, благодаря Господа... А нонѣ на что мужику купить, коли ему не тонма-что, а пожрать нечего...

— Мужикъ обѣднялъ... Это правда твоя!—глубокомысленно замѣтилъ краснорядецъ, вытирая платкомъ потъ съ лица.

— Нѣтъ, ты вотъ что́ мнѣ скажи,—утирая рукавомъ мокрыя губы, заговорилъ тоненькимъ, пѣвучимъ голоскомъ шуринъ Золотарева, только-что выпившій водки:—куда это деньга́ дѣвалася?.. Бывало, эта самая деньга́ безпереч у тебя за пазухой, а нонѣ ты ее не загонишь никакъ, да и шабашъ!..

Онъ недоумѣвающе хлопнулъ руками по бедрамъ.

— Вотъ что́ правда, то правда!—подхватилъ Ѳедосей Денисычъ:—вотъ въ примѣру, хоть бы я теперь: живу, кажись, не пышно, проживаю чуть, своего не упускаю,—а вѣдь деньги въ сборѣ нѣтъ!..

Онъ вопросительно оглянулъ гостей.

— Ну, у тебя какъ не быть, Ѳедосей Денисычъ! — послышались голоса.

— Извѣстно, у меня деньги́ хватитъ,—хвастливо продолжалъ польщенный Золотаревъ,—но въ сборѣ-то ее нѣтъ: вотъ статья-то!.. Теперча возьми ты урожаи... Ну, прошлогодній плохъ былъ,—убытки, а нонѣшній-то слава тебѣ Господи!.. Теперча опять цѣны,—цѣны ничего стоятъ — хорошія... Съ мужиковъ деру за все, про все,—это ужъ у меня не балуйся!.. Чуть что́—сейчасъ, это, штрафъ... А что-жъ?—живешь себѣ ни сытъ, ни голоденъ, наблюдаешь каждую копѣйку, да ренду выправляешь... А деньги́ нѣтъ, какъ нѣтъ!..

— Эхъ, Ѳедосей Денисычъ,—замѣтилъ арендаторъ изъ канцеляристовъ,—аренду-то мы взварили больно высоко,—вѣдь семь рублей, а есть дураки и по семи съ полтиной, а то и по восьми платятъ!.. Гдѣ тутъ быть деньгамъ?..

— Вотъ это такъ!.. это вѣрно!..—крикнулъ Золотаревъ:—аренду взварили черезъ-чуръ. Вотъ и деньга́ отъ этого пропала!.. Вѣдь мы что́?—мы старостáми въ имѣньяхъ живемъ, да господамъ оброкъ выправляемъ!.. Гдѣ-жъ быть деньгѣ... А то говорятъ—мужикъ бѣденъ, мужикъ бѣденъ... Чортъ его взялъ!..

Золотаревъ все больше и больше горячился.

— Ты погляди! — кричалъ онъ, покрывая разнородный говоръ гостей,—ты погляди, вотъ отдержу аренду, енарала своего къ чорту, и уйду во двору — въ село!.. Я вамъ покажу, какъ мужикъ, это, бѣденъ... И деньга́ будетъ вольная...

— Какъ же это ты покажешь-то?—обидчиво возразилъ сватъ.

— А такъ!.. Вы—мужичье безмозглое, оттого у васъ и времена плохія... Это меня ренда-то связала, а то бы я теперча богачёмъ былъ, живши на селѣ...

— Что́ говорить!—отозвался кто-то насмѣшливо.

— Ишь, какой министеръ выискался!..—подхватилъ другой.

Краснорядецъ сосредоточенно усмѣхнулся; «хвалюшка» думалъ онъ.

— Да небойсь министеръ!.. не вамъ чета: съ самимъ Аникандръ-Миколаичемъ чаекъ распиваемъ!—самодовольно отозвался Золотаревъ;—да, може, кабы не мы, имъ бы и мировымъ-то не быть...

— Какъ же это?

— Да такъ, оченно просто... вручили мнѣ полторы сотенныхъ, я имъ все дѣльце и обдѣлалъ: купилъ, кого нужно,—они шарики-то и положили направо!..

Ѳедосей Денисычъ плутовски засмѣялся.

— Ну-ка, ну-ка, какъ богачёмъ-то сталъ бы?

— Оченно просто!.. Теперча мужика гонятъ къ подушнымъ, сейчасъ онъ къ тебѣ сороковую: выручи, молъ... Ты ему отвалишь за нее семь аль восемь цѣлковыхъ, а придетъ посѣвъ ему же, этому самому мужику, за осьмнадцать отдалъ, а то и самъ посѣялъ, — окромя барыша ничего не будетъ... Да нахваталъ такъ-то въ одномъ селѣ сто десятинъ, да въ другомъ сто,—вотъ тебѣ и деньга́!.. А тамъ подъ овецъ денегъ задалъ... А тамъ ржи далъ взаймы, аль овса на сѣмена... тамъ выгона́ снялъ за дешовку, аль рощу на срубъ... Да все деньга́ осыпучая!—восторгался Золотаревъ.

— Пробовали!..—сумрачно замѣтилъ сватъ.

— Пробовали!—насмѣшливо передразнилъ Ѳедосей Денисычъ,—пробовали... Кабы вы не трусы... А то всякій выпуститъ копѣйку, да и норовитъ ее въ ту-жъ пору въ карманъ оборотить!.. Эхъ, вы, купцы!—пренебрежительно заключилъ онъ.

— Это что-жъ... это правда твоя, Ѳедосей Денисычъ,—сказалъ краснорядецъ,—на нужѣ на эфтой самой мужицкой и дома вонѣ строить... Она подсоба, то-ись, великая нашему брату—торговому человѣку...

— Чего-жъ ты, сватъ, не остался на селѣ-то, коли тамъ хорошо, а на ренду сѣлъ?

— Дуракъ былъ!—отрѣзалъ Ѳедосей Денисычъ,—ты вонъ спроси сосѣдняго барина, арендатель тутъ у насъ новый есть,—съ чего-й-то онъ службу бросилъ да ренду взялъ?—онъ тебѣ и отвѣтитъ: «помилуй, братецъ, пшеница самъ-двѣнадцать съ тридцатки даетъ, да по девяти рублей цѣна,—какъ же не снять аренды!»

Послѣднія слова произнесъ онъ, подлаживаясь подъ барскій тонъ—небрежно и сердито. Гости громко захохотали.

— Я ему и говорю,—продолжалъ поощренный Золотаревъ:—охъ, сударь, просадите вы свои денежки на эфтой арендѣ... Ну, какой вы хозяинъ?—вамъ бы бумажки пописывать, да книжки читать... Не вамъ чета писарь-то волостной ее держалъ, а и тотъ ушелъ ни съ чѣмъ... Такъ что-жъ, братцы вы мои, разсерчалъ баринъ-то!—«не вамъ однимъ наживаться», говоритъ...

Снова послѣдовалъ одобрительный хохотъ.

— А баринъ хорошій и ума — палата, а поди вотъ!..—добавилъ Ѳедосей Денисычъ, когда хохотъ поутихъ.

— Помяните мое слово: опять либо въ исправники, либо въ мировые уйдетъ!—затараторила Абрамиха.

— Ну, нѣтъ, дѣвка,—настоятельно замѣтилъ Ѳедоръ Николаевъ:—онъ, говорятъ, упрямъ—не собьешь...

— Чего?—закричалъ Золотаревъ:—этотъ-то? Не миновать ему опять красный околышъ надѣвать! Ужъ это какъ ни вертись!.. Побольше ихняго брата-то видали, да и то въ пору бѣжать съ аренды-то эфтой!..

Обѣдъ близился къ концу; на столѣ ужъ дымились жирные блинцы. Гости захмѣлѣли... Велись нестройныя рѣчи... Кто-то поникнулъ головой къ столу и спалъ, облокотившись на блюдо съ жареной утятиной... Вино пилось пьяными устами и проливалось на бѣлую скатерть... Бѣшеный гомонъ стоялъ въ столовой.

Сторона-ль моя сторонушка,
Сторона моя незнакомая...

— великолѣпнымъ теноромъ затянулъ Ѳедосей Денисычъ, молодецки облокотившись на столъ и подпирая рукою щеку. Дьяконъ подошелъ къ Золотареву и, откинувъ въ сторону свою львиную гриву, подхватилъ бархатнымъ тягучимъ баритономъ:

Сторона моя незнакомая...
Что не самъ ли я на тебя зашелъ,
Что не добрый ли да конь меня завезъ...

Краснорядецъ угрюмо понурился и рявкнулъ басомъ:

Что не добрый ли да конь меня завезъ...
Завезла меня, добраго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая...

—«Прытость, бодрость молодецкая...» вынесъ за душу хватающій теноръ Ѳедосея Денисыча:

Да хмѣлинушка кабацкая...

Хмѣльные гости поутихли... Ужъ не пилось вино, не доѣдались остатки жаренаго... Блинцы остывали, а къ нимъ никто не дотрогивался... Всѣ слушали пѣсню... Только чье-то тихое всхлипываніе тревожило общую тишину, но почти не мѣшало пѣвцамъ... Къ нимъ пристало еще два-три голоса, дѣйствительно, хорошихъ и несовсѣмъ еще пьяныхъ...

Ѳедосей Денисычъ отъ полноты чувства сладко закрылъ глаза... Казалось, весь онъ улетѣлъ вслѣдъ за ноющими звуками старинной пѣсни... И гости, и праздникъ, и торговыя дѣла,—все на этотъ разъ ушло куда-то изъ головы, и одна только унылая пѣсня стояла въ ней... «Эхъ!» восторженно вскрикивалъ онъ при началѣ каждой строфы, чувствуя, что все въ немъ замираетъ отъ какого-то сладкаго томленія и уносится въ какую-то недосягаемую даль, вслѣдъ за стройными, нѣжно-дрожащими звуками...

Краснорядецъ былъ страшно угрюмъ и озабоченъ... Брови его сердито хмурились, глаза глядѣли внизъ... Онъ ревниво слѣдилъ за своимъ непстовымъ басомъ, умѣряя его порывы и наблюдая за стройными голосами хора... Тамъ, гдѣ приходилъ чередъ теноramъ и альтамъ, онъ на мгновеніе останавливался, но за то покрывалъ почти весь хоръ, когда приходилъ его чередъ... И его расшевелила пѣсня... Въ груди у него какъ-то странно мягко, по спинѣ ходили мурашки... И по мѣрѣ того, какъ пѣсня все глубже и глубже закрадывалась въ его душу, лицо его становилось угрюмѣе и озабоченнѣе, брови сдвигались плотнѣе и плотнѣе... Бывало время, когда имъ овладѣвала какая-то жадная наклонность къ буйству и разгулу. Тогда онъ металъ деньги направо и налѣво, нанималъ музыкантовъ, билъ посуду, выгонялъ семью изъ дома, продавалъ товаръ ни по чемъ, поилъ и встрѣчныхъ, и поперечныхъ... Это бывало рѣдко. И теперь вотъ чудилось ему, что подходитъ такое время... Вотъ почему хмурилось лицо его, и глаза глядѣли угрюмо.

Дьяконъ пѣлъ съ сознаніемъ своего достоинства и съ видомъ знатока. Онъ дѣйствительно былъ знатокъ. Вся его жизнь была въ мірѣ звуковъ, да развѣ еще въ винѣ... Благодаря его стараніямъ, вороновская церковь обладала очень порядочнымъ хоромъ пѣвчихъ.

Наконецъ, пѣсня кончилась. Опять пошло угощеніе и гомонъ... Спустя полчаса попытали-было затянуть другую, но дѣло ужъ не пошло на ладъ: голосъ краснорядца началъ издавать какіе-то громоподобные, совершенно невдущіе къ дѣлу, звуки... Баритонъ дьякона хрипѣлъ и прерывался икотой; теноръ Ѳедосея Денисыча и вовсе выдѣлывалъ что-то неподобное, остальные

тоже тянули кто въ лѣсъ, кто по дрова... Такъ дѣло и разладилось...

Я вечоръ мяда
Во пиру была...
И-ихъ, во пиру-у была-а
Во бесѣдушкѣ-ѣ-ѣ...

Неистово завизжала Абрамиха... Нѣсколько хрипливыхъ, пьяныхъ голосовъ примкнули къ этому визгу и покрыли собой безтолковыя, крикливыя рѣчи, и шумъ пьяной толкотни... Дьяконъ, возмущенный до глубины души этимъ дикимъ хоромъ, махнулъ рукою... Арендаторъ изъ канцеляристовъ, съ трудомъ выговаривая слова, затѣялъ съ нимъ чрезвычайно глубокомысленный, богословскій споръ; кончилось тѣмъ, что оба обнялись и невыразимо плачевными голосами запѣли «херувимскую»... Краснорядецъ долго глядѣлъ на нихъ тупымъ, осовѣлымъ взглядомъ, и вдругъ, понатужившись, пустилъ такую ноту, что всѣ невольно вздрогнули, а конюхъ, убиравшій лошадей на дальнемъ концѣ двора, выронилъ вязанку сѣна изъ рукъ и сказалъ: «Экъ его разбираетъ!»

Въ комнатѣ темнѣло.

Пьяные гости лѣзли другъ къ другу съ поцѣлуями, расточали любовныя рѣчи, мѣшая ихъ съ непристойной руганью... Чьи-то ноги силились изобразить трепака... На раскраснѣвшихся потныхъ лицахъ царилъ какой-то безшабашный, бѣшеный разгулъ... У бабъ смялись головные уборы, и изъ-подъ нихъ лѣзли космы волосъ; глаза ихъ пьяно блестѣли, и задорно заигрывали съ мужичьемъ... Орали какую-то безтолковую пѣсню на разные голоса—всякъ по-своему... И весь этотъ безобразный содомъ покрывался визгливыми звуками гармоники, пилившей «барыню» въ чьихъ-то проворныхъ рукахъ... Кто-то оралъ подъ нее грязныя прибаутки...

Лампадка предъ иконами погасала, наполняя комнату смраднымъ чадомъ... Синія волны обнимали пьяный пиръ... Въ комнатѣ совсѣмъ стемнѣло.

VII.

Съ утра праздника избушка Губина приняла веселый видъ. Чистыя лавки, столъ, покрытый грубой скатертью, грошовая свѣчка предъ иконой, бѣлая рубашка на Ѳедюшкѣ—все говорило о Рождествѣ.

Пришелъ отъ обѣдни Егоръ, поздоровался съ семьею и легъ на лавку: ему что-то нездоровилось. У Авдотьи тоже со вчерашняго угара голова болѣла, но она не ложилась и старательно копалась по хозяйству все утро. Ѳедюшкѣ расчесали косматую, бѣлокурую головенку и смазали ее чѣмъ-то; важно сложивъ ручонки, онъ сидѣлъ за столомъ и серьёзными глазами смотрѣлъ на мать, хлопотавшую у печи; оттуда тянулъ вкусный мясной запахъ. Но вотъ съ веселымъ, довольнымъ лицомъ, Авдотья вынула щи со свининой, и подала на столъ; горячій паръ хлынулъ отъ нихъ на Ѳедюшку, онъ сладко облизнулся... Мать усмѣхнулась, глядя на него, и подала ему ложку.

— Сотвори молитву-то!—наставительно сказала она.

Мальчуганъ сталъ предъ иконой и истово перекрестился.

— Егоръ, иди обѣдать-то!—позвала Авдотья мужа.

— Да неохота, что-й-то...—вяло отозвался тотъ.

— Вотъ-те-на... для праздника-то? — удивленно замѣтила Авдотья: въ кои-то вѣки свѣжинку увидимъ, да и тутъ не хошь?...

Егоръ поднялся и подошелъ къ столу. Лицо его осунулось и какъ-то посинѣло со вчерашняго вечера, глаза глядѣли въ землю.

— Что ты, аль расхворался?—заботливо опросила его жена.

— И то неможется что-то...

Ѳедюшка съ усердіемъ оплеталъ щи. Онъ съ какимъ-то сладострастіемъ ссасывалъ ихъ съ ложки и, посмаковавши вдоволь, проглатывалъ. Глаза его радостно свѣтились, отъ горячихъ какъ огонь щей въ нихъ проступали слезинки...

Аппетитъ Ѳедюшки разобралъ Егора, голодъ проснулся въ немъ; наскоро перекрестившись, онъ принялся за щи. Авдотья тоже стоя, бережно поднося ложку ко рту и откусывая маленькими кусками хлѣбъ. Добродушная улыбка свѣтилась на ея истомленномъ, худомъ лицѣ; хорошіе, умные глаза ласково глядѣли изъ-подъ черныхъ, красивыхъ бровей. Бѣлая, чистая занавѣска охватывала ея грудь; красный, новый платокъ покрывалъ голову.

Солнечный лучъ пробился сквозь талое мѣстечко въ окнѣ, и разливалъ по избѣ веселый, мягкій свѣтъ... «Вотъ онъ, праздничекъ-то Христовъ!» думалось Ѳедюшкѣ, глядя на золотой лучъ.

Въ сѣняхъ дверь рѣзко скрипнула. На снѣгу захрустѣли тяжелые шаги.

Егоръ подносилъ ложку ко рту, когда скрипнула дверь. Пальцы его судорожно сжали ложку, щи потекли и пролились

по немъ... Онъ порывисто вскочилъ съ лавки и, не молясь, направился къ печи. Лихорадочная дрожь проняла его, зубы нервно стучали, взглядъ безпокойно блуждалъ...

— Аль дюже неможется? тревожно спросила Авдотья. Егоръ замычалъ что-то въ отвѣтъ и проворно полѣзъ на печь...

Дверь широко распахнулась. Въ избу хлынули волны сѣдого, холоднаго пара. Сквозь него обрисовывалась высокая фигура старосты, за нимъ виднѣлась цѣлая толпа народа...

Ѳедюшка недоумѣвающе оглядывалъ входящихъ. Авдотья опустила ложку на столъ и тупо глядѣла на старосту. Толпа вошла въ избу и всю загромоздила ее. Паръ все еще стлался клубами по полу, и за нимъ не видать было ногъ вошедшихъ. Солнечный лучъ упалъ на ярко-вычищенную медаль старосты и заигралъ на ней прихотливыми бликами... Мужики переминались съ ноги на ногу. Царило тяжелое молчаніе...

— Что-жъ... Семеновна... выступилъ староста;—надо бы обыскъ... Знамо, може и не вашъ грѣхъ, а все надоть по порядку...

— Ужъ это какъ водится... знамо надоть... по закону... послышались сдержанные голоса.

— Какой обыскъ?.. Аль мы воры какіе?.. слабо заявила Авдотья; тяжелая мысль все болѣе и болѣе овладѣвала ею: странное поведеніе мужа становилось понятнымъ... И злость, и тоска душили ее...

— Да чего тамъ!.. выступилъ къ столу рыжій мужикъ въ новомъ дубленомъ полушубкѣ съ курпяковой опушкой,—вотъ она моя свѣжина и есть!.. У мясника окромя говядины въ продажѣ ничего нѣту... И онъ ткнулъ грязнымъ мозолистымъ пальцемъ въ кусокъ свѣжины, лежавшій на деревянномъ кружкѣ.

Авдотья поняла все... Отчаянно схватила она себя за голову и слабо крикнула... Срамъ душилъ ее, слезы, какимъ-то жгучимъ клубкомъ, подступали къ горлу... Безпомощно опустилась она на полъ, и зарыдала страшнымъ, болѣзненнымъ рыданіемъ... Вся она какъ листъ дрожала. Ея черные волосы разсыпались безпорядочными прядями по лицу... Ногти впились въ это страдальческое лицо и оставляли на немъ синіе слѣды...

Ѳедюшка съ отчаяннымъ воплемъ бросился къ матери, и цѣпко охвативъ ея шею своими ручонками, раздирающимъ голосомъ кричалъ: «мама, родимая, мама»...

Хилый, болѣзненный плачъ встревоженнаго ребенка послышался изъ колыбели...

Губинъ потерянно смотрѣлъ съ печи на эту сцену... Онъ

охватилъ обоими руками горѣвшую голову, и какъ-то безсильно хныкалъ...

Мужики встревоженно скучились среди избы...

Жирныя щи остыли и подернулись саломъ; паръ тонкой струйкой поднимался отъ нихъ къ потолку. Голиковъ конфузливо перебиралъ шерстинки своей опушки, и сосредоточенно глядѣлъ на дымящуюся свѣжину... У одного изъ понятыхъ, сѣденькаго изможденнаго старичка, выступила крупная слеза; солнечный лучъ ударилъ въ нее и зажегъ веселымъ огонькомъ.

Староста тяжело дышалъ и сокрушительно вздыхалъ.

— Эко, робя, горе-то!..—отозвался кто-то изъ понятыхъ.

— Не воруй!..—сурово произнесъ Голиковъ.

VIII.

Яркое зимнее солнышко весело играло на зеленомъ сукнѣ, покрывавшемъ столъ въ судейской камерѣ. Чешуйчатая цѣпь красиво горѣла на темно-синемъ пиджакѣ судьи. Груда уже рѣшенныхъ дѣлъ лежала около него. Утомленіе отпечатлѣлось на его добродушномъ лицѣ, глаза какъ-то апатично смотрѣли на окружающихъ.

Онъ отбросилъ только-что покончeнное дѣло и спросилъ брюзгливо:

— Ну что, есть еще?

— Вотъ, еще уголовное!—подсунулъ ему кипу бумагъ письмоводитель.

Судья раздражительно нагнулся къ дѣлу и сердито вызвалъ:

— Обвиняемый Губинъ! Потерпѣвшій Голиковъ! тутъ?

— Здѣсь, ваше в—діе!—выступилъ староста.

— Ты что? тебя не спрашиваютъ!—оборвалъ его судья.

— Да я по этому дѣлу, ваше в—діе...—отозвался староста.

— Да...—устало успокоилъ его судья:—ну, оставайся...

— Гдѣ Губинъ?

Вышелъ Губинъ.

— Ты кралъ свинину у Голикова?

— Ваше благородіе! простите... Нужда... разговѣться нечѣмъ... дѣтки малыя...—безсвязно бормоталъ онъ.

Сзади его толкнули. Онъ грузно опустился на колѣни... Въ голосѣ стояли слезы и душили его... плечи, подъ рваным полушубкомъ, судорожно вздрагивали...

— Ну, вставай, вставай!..—сконфуженно заторопился судья,

густая краска выступила у него на лицѣ, въ глазахъ засвѣтилось смущеніе... Нервно зашелестилъ онъ листами дѣда.

Въ виду признанія Губина, совершенно подтвердившаго обвиненіе, свидѣтелей допросили только о томъ, ночью-ли была совершена кража. Выясненіе этого обстоятельства было необходимо для опредѣленія подсудности. Оказалось, что ночью...

Судья озабоченно подперъ рукою сморщенный лобъ: не хотѣлось ему карать бѣдняка, да дѣлать-то нѣчего было — фактъ былъ на лицо... Досадливо крякнулъ онъ и принялся за протоколъ.

Свидѣтели тревожно жались въ углу камеры. Губинъ какъ-то жалко съёжился и потерянно глядѣлъ своими грязно-голубыми глазами... Полушубокъ висѣлъ на немъ клочьями, грязная, замашная рубаха сквозила черезъ лохмотья...

— «По указу его императорскаго величества»... — началъ судья и закончилъ, спѣша и какъ-бы стыдясь, обычной фразой: «приговорилъ: крестьянина, села Вороновки Егора Михайлова Губина, 29 лѣтъ, подвергнуть тюремному заключенію на одинъ мѣсяцъ и 15 дней. Приговоръ въ то же засѣданіе объявленъ, и способъ обжалованія его разъясненъ»...

Тяжелымъ вздохомъ отозвались окружающіе. Голиковъ, какъ виновный, стоялъ опустивъ, глаза въ землю; волосы его низко свѣсились на лобъ...

Губинъ тревожно озирался недоумѣвающимъ, тупымъ взглядомъ; онъ, повидимому, не понималъ, что творилось вокругъ него... Мутный туманъ стоялъ въ его головѣ... Мысли вертѣлись какимъ-то безобразнымъ вихремъ... Въ глазахъ все ходило ходуномъ: и свѣтлая цѣпь судьи, и яркая зелень сукна на столѣ, и безтолковыя лица свидѣтелей...

Неосторожнымъ движеніемъ руки, судья столкнулъ со стола какую-то бумагу; тихо шелестя, она упала къ ногамъ Губина, онъ спѣшно поднялъ ее и, съ умильной улыбкой, осторожно положилъ на столъ... Сдержанная усмѣшка скользнула по лицамъ присутствующихъ и быстро уступила мѣсто суровой серьёзности.

— Ну, что-жъ?.. Ступайте!..—какъ-то сконфуженно сказалъ судья.

Мужики низко поклонились и, грузно ступая, потянулись изъ камеры.. А Губинъ все стоялъ безпокойно и дико озираясь... Въ передней, десятникъ, доставившій его на судъ изъ «волостной», дожидался «распоряженія»...

IX.

Принесли вѣсть Авдотьѣ, что Егора присудили къ острогу. Всполошилась баба; никакъ не вязалась въ ея мозгу мысль о виновности мужа: «вѣдь Ѳедоска денегъ-то не отдалъ,—говорила она,—стало быть, онъ грабитель и есть, а Егоръ чѣмъ виноватъ —чѣмъ-нибудь надо разговѣться?..»—Недовѣрчиво качали головами мужики, слушавшіе ея несвязныя рѣчи и, степенно выходя изъ Авдотьиной убогой избы, думали старую думу: «глупы бабы!»..

А Авдотья хлопотливо взялась за дѣло. Прослышала она гдѣ-то, что на мирового можно жаловаться въ городъ—въ съѣздъ, что иногда и отмѣняютъ рѣшеніе судьи.

Собравши нужныя справки, отправилась Авдотья въ одно сѣрое, талое утро, къ посельному писарю Платону Захарычу, съ просьбой написать жалобу на мирового: инь, во всемъ виноватъ Ѳедоска Золотаревъ, онъ грабитель, аспидъ этакій, довелъ Егора до воровства, онъ и отвѣчай!

Рѣшительно вошла она въ горенку Платона Захарыча. Хозяинъ сидѣлъ за чистымъ липовымъ столомъ и громко читалъ. Противъ него, подгорюнившись, сидѣла маленькая опрятная старушка въ шушпанѣ, а за ней стояла высокая статная молодица.

Платонъ Захарычъ взглянулъ на вошедшую Авдотью и снова углубился въ чтеніе. Читалъ онъ громко, внятно, внушительно... Старушка часто вздыхала, набожно возводя взгляды къ иконамъ; молодица тихо всхлипывала, отирая слезы: пришло письмо изъ далекой Туретчины отъ молодого солдатика, къ матери да чернобровой женѣ...

«...Еще прошу я васъ Христомъ Богомъ, драгоцѣнная родительница,—читалъ Платонъ Захарычъ, — пришлите деньжонокъ, сколько осилите... Мы здѣсь терпимъ великое горе... Вотъ ужъ другая недѣля, какъ сапоги разбились, а не только что новыхъ, но и подметокъ не выдаютъ... Грязь и холодъ стоятъ страшные... Работой неволять — не приведи Богъ... То-и-дѣло канавы да ямы роемъ... Кормятъ тоже дюже плохо... Теперь пошли сухари —ѣсть нельзя, словно земля матушка... песокъ такъ и хруститъ на зубахъ... Ишь, говорятъ, все жиды въ руки забрали да всѣхъ закупили... И за что-то му́ку такую терпимъ?.. За господъ офицеровъ только Богу молимъ... А какіе кормятъ насъ бозналъ чѣмъ, да водятъ почитай что нагишомъ—Богъ имъ судья.

«Лежалъ я, отъ ломоты въ ногахъ, въ лазаретѣ, теперь выпустили... Докторъ-то и не соглашался, да ужъ больно въ сане-

рахъ нужда пришла... Въ лазаретѣ порядки для нашего брата хорошіе... Пуще всего милосердныя сестры выручаютъ...

«Нашихъ перебито нѣтъ числа... Ишь, говорятъ, и счетъ потеряли... Да какъ и не перебить? Туркѣ-то вольготно за окопами, а нашихъ посылаютъ прямо грудью брать — на стѣну лѣзть... Пока долѣзешь-то, анъ половину перебьютъ...

«Еще увѣдомляю я васъ, драгоцѣнная родительница, что Плевна-городъ взята и въ ней много турки... А взяли мы ее голодомъ... Сами въ чистое поле вышли... Мы теперь такъ поменаемъ, что пропасть нашего брата сгинуло зря... Теперь погнали насъ дальше за Плевну, на горы... Ишь, говорятъ, есть такія, что и лѣтомъ снѣгъ на нихъ... Авось Богъ милосливъ, вашими молитвами пронесетъ и черезъ горы...

«Еще прошу я васъ, скажите Степану Болдыреву, что сынъ его Петръ Семенычъ приказалъ долго жить — убитъ подъ Плевной штыкомъ на повалъ»...

Странный, болѣзненный вопль вырвался изъ груди Авдотьи. Старуха и молодица бросились къ ней...

— Что тамъ? Что такое? — тревожно забормоталъ Платонъ Захарычъ, поднимая на лобъ свои большія зеленыя очки.

— Авдотья Губина сомлѣла!.. полушопотомъ отозвалась молодица, и хлопотливо засуетилась около Авдотьи...

— А... — протянулъ Платонъ Захарычъ, — это у ней сынишка-то отъ Петрухи?.. Царство ему небесное, хорошій былъ парень... — благоговѣйно добавилъ онъ и перекрестился на иконы.

На дворѣ поднималась погода. Вѣтеръ ворвался въ неплотно прикрытую трубу и загудѣлъ въ ней унылыя пѣсни... Авдотья лежала на полу, широко раскинувшись; зубы ея были крѣпко стиснуты, лицо покрывала синева, въ углахъ судорожно сжатыхъ губъ стояла пѣна... Бабы брызгали водою ей въ лицо и безтолково метались, охая да вздыхая...

— Эко бѣдняга мается!.. — проронилъ Платонъ Захарычъ и началъ шопотомъ дочитывать солдатское письмо.

X.

Егору все-таки пришлось отсидѣть въ острогѣ. Краснорѣчиво написанная Платономъ Захарычемъ апелляція, какъ и слѣдовало ожидать, не измѣнила его судьбы.

Въ мартѣ онъ вернулся домой. Авдотья все это время пролежала въ постелѣ. Грудной у нея умеръ. Ѳедюшка кое-какъ

управлялся съ скотиной, — спасибо, скотины-то было не много: старая кобыла съ сосуномъ да восемь куръ... Мука давно ужъ вся вышла, о пшенѣ и говорить нечего... Авдотью кормили родные; Ѳедюшка тоже у нихъ питался; въ школу онъ не ходилъ, хотя дядя и справилъ ему лапти,—учителя за что-то отстранили отъ должности, а новаго еще не успѣли назначить...

Землю Егора въ яровомъ полѣ міръ сдалъ, чтобы взнести за него подати. Снялъ ее Голиковъ.

Подумалъ, подумалъ Егоръ, по приходѣ домой, о своихъ дѣлахъ, послушалъ, послушалъ болѣзненные вздохи Авдотьи, да взялъ новую палицу съ сохи и отнесъ въ кабакъ... Къ вечеру онъ пришелъ чуть живой... Сильно удивилась Авдотья, увидавъ его пьянымъ, — прежде онъ никогда не пилъ... Взялась-было попрекать, да мочи не хватило и на это—кашель одолѣлъ...

На утро, чуть свѣтъ, протрезвившійся Егоръ запрегъ въ санишки свою единственную кобылу, положилъ туда два-три мѣшка да дырявое веретье и отправился побираться... Такъ какъ весной ему пахать было нѣчего, то онъ и побирался до самой уборки. Раза два въ мѣсяцъ ворочался домой, но немного привозилъ туда, можетъ быть, оскудѣли милостивцы, а можетъ быть, онъ и пропивалъ не мало... Все чаще и чаще видаютъ его пьяненькимъ...

Ѳедюшку на лѣто отдали въ пастухи: стеречь мірское стадо. Авдотья все хвораетъ и хотя ходитъ кое-какъ, но работать ужъ ничего не можетъ — руки не поднимаются... Былая красота ея сгинула... Какъ щепка — худая стала она, съ пятнистымъ румянцемъ на щекахъ, съ глубокими морщинами на лбу... Должно быть, не долго протянетъ...

А Ѳедосей Денисычъ Золотаревъ, не додержавъ аренды, ловко обанкротился, причемъ нагрѣлъ своего «енарала» тысячи на три, да окольныхъ мужичковъ тысчонки на полторы, и съѣхалъ въ свое село. Теперь, слышно, приторговываетъ земельку у одного барича, спустившаго отцовское достояніе въ разныхъ коммерческихъ предпріятіяхъ — начиная отъ сахароварства до разведенія тутовыхъ деревьевъ включительно...

А. Эртель.

ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ

1838—1848.

Изъ литературныхъ воспоминаній.

I.

...Я познакомился съ Виссаріономъ Григорьевичемъ Бѣлинскимъ за годъ до моего отъѣзда за границу, именно осенью 1839 года. Онъ пріѣхалъ тогда въ Петербургъ для сотрудничества въ «Отечественныхъ Запискахъ», привезенный изъ Москвы И. И. Панаевымъ, и уже находился во второмъ или третьемъ періодѣ своего развитія.

Извѣстно, что Бѣлинскій выступилъ на литературное поприще статьей въ «Молвѣ» 1834 года, носившей заглавіе «Литературныя мечтанія—элегія въ прозѣ». Это было обозрѣніе русской словесности, обратившее на себя вниманіе бойкостью слога и характеристикой эпохъ и лицъ, которая не имѣла никакого сходства съ обычными и, такъ-сказать, узаконенными опредѣленіями ихъ въ нашихъ курсахъ словесности. Лирическій тонъ статьи съ философскимъ оттѣнкомъ, заимствованнымъ отъ системы Шеллинга, сообщалъ ей особенную оригинальность. Все было тутъ молодо, смѣло, горячо, а также и исполнено промаховъ, сознанныхъ и самимъ авторомъ впослѣдствіи; но все обличало возникновеніе какихъ-то новыхъ требованій мысли отъ русской литературы и русской жизни вообще. Старикъ Каченовскій, — вѣроятно, обольщенный свободными отношеніями критика къ авторитетамъ и частыми отступленіями его въ область исторіи и философіи, старый профессоръ, призвалъ тогда къ себѣ Бѣ-

линскаго,—этого студента, еще не такъ давно исключеннаго изъ университета за малыя способности, какъ говорилось въ опредѣленіи совѣта, жалъ ему горячо руку и говорилъ: «Мы тамъ не думали, мы такъ не писали въ наше время» [1]). Менѣе волненія, конечно, произвела статья въ Петербургѣ, гдѣ уже созрѣвали извѣстныя сатурналіи только-что основанной «Библіотеки для Чтенія», съ ея глумленіями надъ наукой и надъ всяческими убѣжденіями; но и здѣсь статья не прошла незамѣченной мимо глазъ. Съ этихъ поръ именно Н. И. Гречъ, какъ человѣкъ, еще болѣе другихъ приличный въ сонмѣ литературныхъ публицистовъ той эпохи, усвоилъ систему возврѣнія на Бѣлинскаго, сравнительно еще благосклонную. Онъ высказывалъ ее потомъ не разъ во всеуслышаніе: «умный человѣкъ, но горькій пьяница, и пишетъ свои статьи, не выходя изъ-запоя». Бѣлинскій-пьяница былъ такъ же мыслимъ, какъ Лессингъ на канатѣ, или что-нибудь подобное. Съ тѣхъ же поръ Ѳ. В. Булгаринъ, съ своей стороны прозвавшій Бѣлинскаго «бульдогомъ», началъ свою, столь долго непрерываемую жалобу на извращеніе умовъ, свои чуть не 20-лѣтнія нападки на новый духъ въ литературѣ, грозящій лишить Россію, къ стыду потомковъ и посрамленію передъ Европою, всѣхъ ея умственныхъ сокровищъ [2])...

Впрочемъ, какъ ни задорна была статья Бѣлинскаго по своей формѣ, особенно для петербургскихъ самозванныхъ знаменитостей, въ обличеніи и опроверженіи которыхъ критикъ, по собственному признанію, находилъ *блаженство неизъяснимое*, *сладострастіе безграничное*, но собственно она нисколько не потрясала ни одного изъ нашихъ старыхъ авторитетовъ, и постоянно ко всѣмъ имъ относилась съ величайшимъ энтузіазмомъ. Смѣлость заключалась не столько въ изслѣдованіи, сколько въ началахъ и принципахъ, высказанныхъ критикомъ и предпосланныхъ изслѣдованію. Статья болѣе грозила обличеніемъ людямъ и предметамъ, и только надъ очень немногими изъ нихъ исполняла угрозу. Бѣлинскій еще не вносилъ ни малѣйшаго раскола въ тотъ молодой кружокъ, сформировавшійся въ началѣ тридцатыхъ годовъ, подъ сѣнію москов-

---

[1]) Разсказъ В. Г. Бѣлинскаго.

[2]) Жалобы эти не остались безъ послѣдствій для литературы. При изданіи Пушкина (1854 г.) возникли цензурныя затрудненія, при передачѣ сужденій нашего поэта о Державинѣ, такъ какъ прежде того состоялось распоряженіе цензурнаго комитета оберегать отъ непрошенныхъ критикъ имена Державина, Ломоносова, Карамзина, а также и личность самого Булгарина. Никто не чувствовалъ тогда обиды, наносимой первымъ тремъ великимъ именамъ нашего отечества—этимъ уравненіемъ ихъ съ персоной издателя „Сѣверной Пчелы“.

скаго университета, изъ котораго потомъ вышли самыя замѣчательныя личности послѣдующихъ годовъ. Зародыши различныхъ и противоборствующихъ мнѣній уже находились въ немъ, какъ легко убѣдиться изъ именъ, составлявшихъ его персоналъ (К. Аксаковъ, Станкевичъ и др.); но зародыши эти еще не приходили въ броженіе и таились до поры до времени за дружескимъ обмѣномъ мыслей, за общностью научныхъ стремленій. Достаточно вспомнить, что К. С. Аксаковъ былъ тогда германизирующимъ философомъ, не менѣе Станкевича; П. Кирѣевскій — завзятымъ европейцемъ и западникомъ, не уступавшимъ Т. Н. Грановскому; а послѣдній, скоро присоединившійся къ этому кругу, послѣ сотрудничества своего въ «Библіотекѣ для Чтенія» Сенковскаго, дѣлилъ вмѣстѣ со всѣми ими поэтическое созерцаніе на прошлое и настоящее Россіи. Бѣлинскій, который такъ много способствовалъ впослѣдствіи къ разложенію круга на его составныя части, къ разграниченію и опредѣленію партій, изъ него выдѣлившихся, является на первыхъ порахъ еще простымъ эхомъ всѣхъ мнѣній, сужденій, приговоровъ, существовавшихъ въ нѣдрахъ кружка, и существовавшихъ безъ всякаго подозрѣнія о своей разнородности и несовмѣстимости. Вотъ почему восторженная статья Бѣлинскаго, отличавшаяся капризнымъ ходомъ, нѣкоторою разорванностью и недостаткомъ сосредоточенности, представляетъ еще безсознательное смѣшеніе наименѣе родственныхъ или схожихъ другъ съ другомъ настроеній. Чисто-славянофильское представленіе идетъ здѣсь рядомъ съ чисто-западнымъ; афоризмы тогдашней скептической исторической школы нашей наталкиваются на гиперболы, достойныя Сергѣя Глинки въ самыя сильныя минуты его патріотическаго одушевленія; либерализмъ и консервативное ученіе (если можно употреблять эти термины, занимаясь эпохой, не знавшей самыхъ явленій, которыя ими обозначаются) неперемѣнно возвышаютъ голосъ, нимало не смущаясь своимъ сосѣдствомъ. Для примѣра, какъ начинающій критикъ нашъ стоялъ еще тогда одновременно и за реформу Петра I, и за московскую оппозицію реформамъ, достаточно напомнить нѣкоторыя изъ положеній статьи.

Значеніе народныхъ обычаевъ и нерушимое ихъ сбереженіе въ средѣ племени составляло еще для Бѣлинскаго 1834 года дѣло первой и точно такой же важности, какимъ оно казалось впослѣдствіи для наиболѣе ярыхъ противниковъ молодого критика изъ славянской партіи. Въ простыхъ и грубыхъ нравахъ онъ находилъ еще, вмѣстѣ съ послѣдними, отблески поэзіи, называя только жизнь, ими создаваемую, хотя самобытной и характерной, но односторонней и изолированной. Наоборотъ, будущіе славяно-

филы, вѣроятно, вполнѣ раздѣляли тогда мнѣніе Бѣлинскаго, а именно, что въ реформахъ своихъ Петръ Великій былъ совершенно правъ и народенъ нисколько не менѣе любого московскаго царя старой эпохи. Особенно характерно то мѣсто въ статьѣ, гдѣ, переходя на сторону великаго реформатора, онъ предпосылаетъ, однакоже, скорбное, прощальное воззваніе къ погибающей старинѣ и притомъ въ словахъ и образахъ, которые теперь, при опредѣлившейся личности Бѣлинскаго, составляютъ для насъ какъ-будто невѣроятную, фальшивую черту, искажающую его физіономію. «Прочь достопочтенныя, окладистыя бороды, — говоритъ онъ. Прости и ты, простая и благородная стрижка волосъ въ кружокъ, ты, которая такъ хорошо шла къ этимъ почтеннымъ бородамъ! Тебя замѣнили парики, осыпанные мукою!.. Прости и ты, прекрасный поэтическій сарафанъ нашихъ боярынь и боярышень, и ты, кисейная рубашка съ пышными рукавами, и ты, высокій, унизанный жемчугомъ повойникъ — простой чародѣйный нарядъ, который такъ хорошо шелъ къ высокимъ грудямъ и яркому румянцу нашихъ бѣлолицихъ и голубоокихъ красавицъ... Простите и вы, заунывныя русскія пѣсни, и ты, благородная и граціозная пляска: не ворковать уже нашимъ красавицамъ голубками» и т. д.

Вотъ откуда выходилъ Бѣлинскій. Либерализмъ безличнаго дружескаго кружка тоже былъ представленъ въ статьѣ, довольно полно, самымъ основнымъ ея положеніемъ, по которому литература наша есть дѣло случайнаго возникновенія и соединенія нѣсколькихъ болѣе или менѣе талантливыхъ лицъ, въ которыхъ общество не нуждалось, и которыя сами, въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніи, могли обходиться безъ общества. Отсюда — ничтожество литературы и слабость писателей, несмотря на ихъ качества, таланты и усердіе. Можно догадываться, что въ кругѣ ходило съ успѣхомъ и европейское представленіе о важности буржуазіи и tiers-état для государства, потому что Бѣлинскій ищетъ въ разныхъ сословіяхъ нашего отечества тѣхъ дѣятелей, которые помирятъ европейское просвѣщеніе съ коренными основами русской народности, назначая для этой роли духовенство, купечество, городскихъ людей, ремесленниковъ, даже мелкихъ торговцевъ и промышленниковъ [1]), и тутъ же оговариваясь, въ виду возможныхъ возврѣній съ другой стороны, а именно,

[1]) Кольцовъ уже введенъ былъ тогда Станкевичемъ въ кругъ московскихъ друзей его и, по всей вѣроятности, былъ основной причиной тѣхъ надеждъ, которыя выражалъ Бѣлинскій на людей *средняго положенія*.

что «высшая жизнь народа преимущественно выражается въ его высшихъ слояхъ, или, *вѣрнѣе всего, въ цѣлой идеѣ народа*». Словомъ, знаменитая первая статья *maid-speech* Бѣлинскаго отлично выражала тогдашнее интеллектуальное состояніе образованной молодежи, у которой всѣ виды направленій жили еще какъ въ первобытномъ раю, б-бокъ другъ съ другомъ, не находя причинъ къ обособленію и не страшась взаимной близости и короткости. Связующимъ поясомъ была тутъ одинаковая любовь къ наукѣ, свѣту, свободной мысли и родинѣ. Можно уподобить это состояніе значительному водному бассейну, въ которомъ будущіе рѣки и потоки мирно текутъ вмѣстѣ до той поры, когда геологическій переворотъ не раздѣлитъ ихъ и не откроетъ имъ пути въ противоположныя стороны. Бѣлинскій именно былъ тѣмъ подземнымъ огнемъ, который ускорилъ этотъ переворотъ.

Не мудрено, если придетъ кому-нибудь въ голову спросить: стóитъ ли такъ долго останавливаться на журнальной статейкѣ, не совсѣмъ свободной отъ противорѣчій и, вдобавокъ еще, съ опредѣленіями, отъ которыхъ потомъ отказался самъ авторъ ея. Вопросъ легко устраняется, если вспомнить, что статья произвела необычайное впечатлѣніе, какъ первый опытъ ввести исторію самой культуры нашего общества въ оцѣнку литературныхъ періодовъ. Нужно ли говорить, какъ она была принята молодыми умами въ Петербургѣ, сберегавшими себя отъ *заговора* противъ литературы, устроивавшагося передъ ихъ глазами? Для нихъ она упраздняла множество убѣжденій и представленій, вынесенныхъ изъ школы. Протестующій характеръ статьи въ этомъ отношеніи былъ очень ясенъ не только для тѣхъ корифеевъ партіи «Библіотеки для Чтенія», о которыхъ мы говорили, но и людямъ соглашавшимся со многими изъ ея положеній, но не любившимъ видѣть безцеремонное колебаніе преданій, да еще на основаніи чужихъ философскихъ системъ. Таковы были Пушкинъ и Гоголь. И тотъ, и другой были оцѣнены весьма благосклонно критикомъ, но сохраняли о немъ почти всю жизнь упорное молчаніе. Первый, по свидѣтельству самого Бѣлинскаго, только посылалъ къ нему тайно книжки своего «Современника», да говорилъ про него: «Этотъ чудакъ, почему-то, очень меня любитъ» [1]). Сужденіе второго мы сами слышали: «Голова не дюжинная, но у нея всегда тѣмъ вѣрнѣе первая мысль, тѣмъ нелѣпѣе вторая». Замѣчаніе касалось выводовъ, добываемыхъ Бѣлинскимъ изъ своихъ эстети-

[1]) Пушкинъ прибавлялъ, по тому же свидѣтельству, секретно и еще замѣчаніе, что у Бѣлинскаго есть чему поучиться и тѣмъ, кто его ругаетъ.

ческихъ и философскихъ основаній и о приложеніи этихъ выводовъ прямо и непосредственно къ лицамъ и фактамъ русскаго происхожденія, хотя тотъ же Гоголь указывалъ позднѣе на статьи Бѣлинскаго о его собственной, Гоголевской дѣятельности, какъ на образцовыя, по своей неотразимой истинѣ и мастерскому изложенію.

Итакъ, въ Петербургѣ первая статья Бѣлинскаго и всѣ, слѣдовавшія за ней, нашли отголосокъ всего болѣе въ тѣхъ молодыхъ учителяхъ русскаго языка и словесности, которые созывались для казенныхъ замкнутыхъ училищъ и корпусовъ, разроставшихся, по принятой системѣ, все болѣе и болѣе, въ исключительныя заведенія для воспитанія всего *благороднаго* русскаго юношества цѣликомъ. Не то, чтобы статья «Молвы» сразу упразднила оффиціальную науку о литературѣ: послѣдняя держалась долго, красовалась еще на экзаменахъ вплоть до преобразованія закрытыхъ школъ и корпусовъ, но, благодаря молодымъ учителямъ этихъ заведеній, а за ними и большей части нашихъ гимназій, образовалась, съ появленія статей Бѣлинскаго, о-бокъ съ утвержденной программой преподаванія русской словесности, другая, невидная струя преподаванія, вся вытекавшая изъ опредѣленій и созерцанія новаго критика и постоянно смывавшая въ молодыхъ умахъ все, что заносилось въ нихъ схоластикой, педантизмомъ, рутиной, стародавними преданіями и благонамѣренной прикрасой. Растительное дѣйствіе этой невидимой струи увеличивалось вмѣстѣ съ дальнѣйшимъ развитіемъ критика, съ котораго, можно сказать, персоналъ учителей и молодыхъ людей вообще той эпохи не спускалъ глазъ, и, такимъ образомъ, имя Бѣлинскаго было уже очень громко въ средѣ нарождающагося поколѣнія, въ школахъ и аудиторіяхъ, когда оно еще не признавалось въ литературныхъ партіяхъ, не вѣдалось добросовѣстно или ухищренно одними, возбуждало презрительные отзывы другихъ и не обращало никакого вниманія даже самихъ чуткихъ стражей русскаго просвѣщенія. Работа Бѣлинскаго и его воодушевленной мысли, искавшей постоянно идеаловъ нравственности и высокаго, философскаго разрѣшенія задачъ жизни,—эта работа не умолкала, покуда самъ онъ числился скромно въ рядахъ русскихъ второстепенныхъ подцензурныхъ писателей и журнальныхъ сотрудниковъ. Для тогдашняго цензурнаго вѣдомства первостепенными писателями долгое время были только одни редакторы журналовъ — Сенковскій, Гречъ, Булгаринъ, за исключеніемъ Пушкина и Гоголя, слишкомъ уже ярко выступавшихъ впередъ. Чрезвычайнымъ счастіемъ должно считаться то, что тогдашняя цензура не угадала въ Бѣ-

линскомъ на первыхъ порахъ моралиста, который, подъ предлогомъ разбора русскихъ сочиненій, занятъ единственно исканіемъ основъ для трезваго мышленія, способнаго устроить разумнымъ образомъ личное и общественное существованіе. Впослѣдствіи она распознала въ немъ вліятельнаго писателя и всемѣрно старалась не допускать примѣненіе его идей къ историческимъ лицамъ и современности, но и при этомъ способѣ пониманія дѣятельности Бѣлинскаго она отчасти все-таки продолжала считать его, съ голоса «Сѣверной Пчелы», за человѣка, производящаго преимущественно малопонятную, туманную чепуху, которая можетъ быть терпима по самой дикой своей оригинальности, становясь безвредной тѣмъ болѣе, чѣмъ сильнѣе и подробнѣе высказывается. Этому обстоятельству мы и обязаны сохраненіемъ нѣкоторыхъ существенныхъ положеній и мыслей у Бѣлинскаго, которыя пробирались на свѣтъ подъ именемъ чудовищностей и нелѣпостей. Это же обстоятельство поясняетъ многое въ послѣдующихъ явленіяхъ общественной жизни нашей, которыя безъ того могутъ показаться странными, нежданными и негаданными сюрпризами.

II.

Я сошелся съ Бѣлинскимъ въ первый разъ у А. А. Комарова, преподавателя русской словесности во 2-мъ кадетскомъ корпусѣ. Комаровъ занималъ и квартиру въ зданіяхъ корпуса.

Пріѣздъ Бѣлинскаго въ Петербургъ имѣлъ особенное значеніе, какъ уже было сказано, для небольшого круга тогдашнихъ молодыхъ людей, которые въ литературномъ тріумвиратѣ О. И. Сенковскаго, Н. И. Греча и Ѳ. В. Булгарина, выросшемъ на благодатной почвѣ Смирдинскихъ капиталовъ, въ концѣ ими истощенныхъ,—видѣли какъ-бы олицетвореніе затаеннаго презрѣнія къ дѣлу образованія на Руси, образецъ хитрой, разсчетливой, но ограниченной практической мудрости, а наконецъ—ловко устроенный планъ надувательства благонамѣренностью и патріотизмомъ тѣхъ лицъ, которыхъ нельзя было надуть другимъ путемъ. Надо сказать, что это дѣло въ три руки производилось съ замѣчательнымъ искусствомъ. Неистощимое, часто дѣльное и почти всегда ѣдкое остроуміе Сенковскаго, глумившагося надъ русской «quasi»-наукой, старалось, вмѣстѣ съ тѣмъ, удалить всякую серьёзную попытку къ самостоятельному труду и отравить насмѣшкой источники, къ которымъ трудъ этотъ могъ бы обратиться. Гречъ распространялся о развратѣ умовъ и совѣстей въ

Европѣ, умиляясь зрѣлищемъ здороваго нравственнаго состоянія, въ какомъ находилась наша родина, а товарищъ его безпрестанно указывалъ на тѣ тонкія струи яда и отравы, которыя, несмотря на усилія тріумвирата, все-таки пробираются къ намъ изъ чужбины и извращаютъ сужденія публики о русскихъ писателяхъ и русскихъ дѣятеляхъ вообще. Замѣчательно, что эти великіе мужи петербургской журналистики тридцатыхъ годовъ иногда и ссорились между собою, не доходя, впрочемъ, до яваго разрыва, но ссорились изъ-за права *протекціи* надъ писателями, которую каждый хотѣлъ имѣть въ своихъ рукахъ исключительно. Протекція сдѣлалась основнымъ критическимъ мотивомъ, направлявшимъ оцѣнку лицъ и произведеній. Протекція раздавала мѣста такъ же точно въ литературѣ, какъ и въ администраціи: она производила въ чины и званія талантовъ людей, какъ гг. Масальскаго, Степанова, Тимоѳеева и др., и даже нѣсколько разъ жаловала просто въ геніи, какъ, напримѣръ, Кукольника и «барона Брамбеуса». Нынѣшнему времени *) трудно и понять ту степень негодованія, какую возбуждали органы этой самозванной опеки надъ литературою въ людяхъ, желавшихъ сохранить, по крайней мѣрѣ, за этимъ отдѣломъ общественной дѣятельности нѣкоторый призракъ свободы и человѣческаго достоинства. При отсутствіи общественныхъ и политическихъ интересовъ, бороться съ тріумвиратомъ становилось почти дѣломъ чести; по хорошему или дурному отношенію къ тріумвирату, стали узнавать въ нѣкоторыхъ кругахъ молодежи — впрочемъ, очень немногочисленныхъ—нравственныя качества людей. Вражда къ тріумвирату еще усилилась, когда оказались практическія слѣдствія распоряженія, состоявшагося около того же времени,— вовсе не допускать соперничества журналовъ и терпѣть одни уже существующія изданія, что̀ приравняло органы тріумвиратовъ къ нынѣшнимъ концессіямъ желѣзныхъ дорогъ, *съ гарантіей правительства*. Пріѣздъ Бѣлинскаго былъ, какъ сказано, особенно важенъ тѣмъ, что возвѣщалъ новую попытку бороться съ литературными концессіонерами, послѣ трехъ неудачныхъ попытокъ: двухъ въ Москвѣ, предпринятыхъ сперва «Телескопомъ», а затѣмъ «Московскимъ Наблюдателемъ», — журналомъ, даже и основаннымъ именно съ этою цѣлью, въ 1835 году [1]).

*) Воспоминанія были писаны въ концѣ 60-хъ и въ самомъ началѣ 70-хъ годовъ. *Ред.*

[1]) Для поддержанія этого изданія, Гоголь принялъ на себя роль пропагандиста и собиралъ подписки со всѣхъ своихъ знакомыхъ въ Петербургѣ — и, прибавимъ, чрезвычайно настойчиво и энергично. Каждый изъ насъ долженъ былъ имѣть и имѣлъ своего „Наблюдателя".

Третья, въ Петербургѣ, взята была на себя «Современникомъ» Пушкина — и тоже безуспѣшно. Съ новымъ правиломъ о журналахъ, казалось, всѣ походы противъ откупщиковъ общественнаго мнѣнія должны были прекратиться. Правило это очень походило на позднѣйшее распоряженіе относительно раскольниковъ, которымъ дозволялось сохранять свои старыя часовни и молельни съ строгимъ запрещеніемъ воздвигать новыя около нихъ, но разнилось отъ него тѣмъ, что тогдашнее цензурное вѣдомство признало возможнымъ допустить оффиціальное подновленіе старыхъ литературныхъ часовенъ, чего раскольники не могли дѣлать съ своими иначе, какъ тайно или съ подкупомъ. Въ это время А. А. Краевскій, тогда еще сравнительно молодой человѣкъ, усильно добивался возможности очистить себѣ мѣсто въ ряду журнальныхъ концессіонеровъ эпохи, и это — надо сказать правду — не по одному ясному матеріальному разсчету, но и по нравственнымъ побужденіямъ: противопоставить злой вооруженной силѣ другую, тоже вооруженную силу, но съ иными основаніями и цѣлями. Онъ принялся искать редакторскаго кресла для себя по всѣмъ сторонамъ и притомъ съ выдержкой, упорствомъ и твердостью, дѣйствительно замѣчательными, плодомъ которыхъ было появленіе сперва «Литературныхъ Прибавленій къ Русскому Инвалиду», подъ его редакціей (дипломъ на издательство пріобрѣтенъ былъ тогда извѣстнымъ Плюшаромъ у довольно мелочного, хитраго и скупого старика Воейкова), въ которыхъ, какъ извѣстно, участвовалъ и Бѣлинскій. Затѣмъ, въ 1838 году, А. А. Краевскій открылъ и перекупилъ право на возобновленіе «Отечественныхъ Записокъ», у извѣстнаго П. Свиньина, прямо уже отъ своего имени, и, по сдѣлкѣ съ нимъ, не покидая еще «Прибавленій», объявилъ о выходѣ своего старо-новаго журнала, сдѣлавшагося вскорѣ настоящей его собственностью. Кличъ, который онъ тогда кликнулъ, съ одобренія самыхъ почетныхъ лицъ петербургскаго литературнаго міра, ко всѣмъ, еще не подпавшимъ подъ позорное иго журнальныхъ феодаловъ, отличался и очень вѣрнымъ разсчетомъ, и признаками полной искренности, и благонамѣренности. «Если и эта новая попытка, — говорилъ новый издатель своимъ сторонникамъ — противопоставить оплотъ Смирдинской кликѣ не удастся, то всѣмъ намъ останется только сложить руки и провозгласить ея торжество».

Бѣдный А. Ф. Смирдинъ и не воображалъ, что дастъ свое имя для обозначенія очень неблаговиднаго литературнаго періода. Честный, добрый, простодушный, но безъ всякаго образованія,

онъ соблазнился, получивъ неожиданно довольно большое состояніе отъ книгопродавца Плавильщикова, ролью двигателя современной литературы и просвѣщенія. Кажется, самый этотъ капризъ былъ еще подсказанъ ему петербургскими журналистами, которые и завладѣли честолюбивымъ торговцемъ для своихъ цѣлей. Меценатъ-книгопродавецъ, подавленный ихъ авторитетомъ, смотрѣлъ на весь міръ ихъ глазами, расточалъ деньги по ихъ совѣтамъ и говорилъ на своемъ купеческо-приказчичьемъ языкѣ про всякое начинаніе, про всякій талантъ, неискавшій покровительства тріумвиратовъ: «это наши недоброжелатели-съ!» А что дѣлали съ нимъ его доброжелатели, успѣвшіе потомъ разорить и еще одного такого же импровизированнаго двигателя русскаго просвѣщенія, книгопродавца Плюшара, издателя «Энциклопедическаго Словаря»—почти неимовѣрно. Я самъ слышалъ изъ устъ Смирдина, уже въ эпоху его бѣдности и печальной старости, разсказъ, какъ, по совѣту Булгарина, онъ предпринялъ изданіе, кажется, «Живописнаго Путешествія по Россіи», текстъ котораго долженъ былъ составить авторъ «Выжигина», взявшійся также и за заказъ гравюръ въ Лондонѣ. Въ этомъ смыслѣ заключенъ былъ формальный контрактъ между ними, причемъ Смирдинъ назначалъ 30 тысячъ рублей на предпріятіе. Долго ждали картинокъ, но, когда онѣ пришли, Смирдинъ съ ужасомъ увидѣлъ, что онѣ состоятъ изъ плохихъ гравюръ, исполненныхъ въ Лейпцигѣ, а не въ Лондонѣ. На горькія жалобы Смирдина въ нарушеніи контракта, Булгаринъ отвѣчалъ, что никакого нарушенія тутъ нѣтъ, потому что въ контрактѣ стоитъ просто: заказать за границей. Ловушка была устроена грубо и нагло, но книгопродавецъ попался въ нее. Когда Смирдинъ разсказывалъ мнѣ этотъ пассажъ, усталые, воспаленные глаза его налились слезами, голосъ задрожалъ: «Я напишу свои записки, я напишу «Записки книгопродавца!»—бормоталъ онъ.

Вызывающее дѣйствіе того новаго клича собрало подъ знамя обновленнаго журнала много старыхъ и молодыхъ силъ, державшихся въ сторонѣ отъ литературы, какъ то доказалъ первый, громадный нумеръ «Отеч. Записокъ» (1839 года), исполненный замѣчательными, по времени, статьями; всѣ онѣ принадлежали перу и начинающихъ, и заслуженныхъ нашихъ писателей. Бѣдные и богатые принялись работать на журналъ г. Краевскаго, почти безъ вознагражденія или за ничтожное вознагражденіе, доставляя только издателю средства бороться съ капиталистами, заправлявшими дѣлами литературы, что продолжалось нѣсколько долѣе, чѣмъ бы слѣдовало, какъ впослѣдствіи думали иные; но это относится къ

предположеніямъ, которыя такъ и должны остаться предположеніями, и о которыхъ ничего другого сказать нельзя. Любопытенъ однако анекдотъ, ходившій тогда по городу: Ѳ. В. Булгаринъ, по чувству самосохраненія, скоро угадалъ новую силу, являющуюся на журнальномъ поприщѣ съ «Отечественными Записками», и опасность, которая грозитъ авторитетамъ колоновожатыхъ печати, если она рѣшительно обратится противъ нихъ. При встрѣчѣ съ редакторомъ новаго журнала, Ѳ. В. Булгаринъ предлагалъ ему просто-за-просто присоединиться къ союзу журнальныхъ магнатовъ и сообща съ ними *управлять* дѣлами литературы. Предложеніе было, конечно, устранено собесѣдникомъ.

Возвращаясь къ дѣлу, слѣдуетъ замѣтить, что послѣдующіе нумера журнала представляли, какъ и первый нумеръ его, опять много прекрасныхъ стихотвореній, дѣльныхъ статей и даже умныхъ критикъ, но не обнаруживали въ редакціи ничего похожаго на опредѣленныя начала, на литературныя убѣжденія и тенденціи, которыя однимъ искусствомъ въ веденіи журнальнаго дѣла, въ собираніи людей около себя, однимъ трудолюбіемъ и даже упорною ненавистью къ врагамъ еще не могутъ быть замѣнены съ успѣхомъ. Въ Петербургѣ оказался съ «Отечественными Записками» великолѣпный складъ для ученыхъ и беллетристическихъ статей, но не оказалось ученія и доктрины, которыхъ можно было бы противопоставить развратной проповѣди руководителей «Библіотеки для Чтенія» и «Сѣверной Пчелы». Приходилось оглянуться на Москву, которая дѣйствительно была тогда средоточіемъ нарождавшихся силъ и талантовъ, сильно работала надъ философскими системами, доискиваясь именно *принциповъ*, и не боялась ни рѣзкаго полемическаго языка, ни даже отвлеченнаго, туманнаго склада рѣчи, лишь бы выразить вполнѣ свою мысль и нажитое убѣжденіе. Разсказываютъ, что при имени Бѣлинскаго, предложеннаго И. И. Панаевымъ, г. Краевскій не узналъ въ немъ того человѣка, который долженъ былъ положить основаніе его общественному значенію [1]). Обстоятельства принудили его все-таки обратиться къ Бѣлинскому, но когда критикъ нашъ, послѣ предварительныхъ переговоровъ, весьма облегченныхъ тѣмъ, что, покинувъ «Московскій Наблюдатель» 1838 года, Виссаріонъ Григорьевичъ не имѣлъ уже органа для своей дѣятельности и средствъ для существованія, когда, говоримъ, критикъ явился въ Петербургъ въ 1839 году на постоянное жительство и сотрудничество по журналу г. Краевскаго, общее

[1]) „Литературныя Воспоминанія“ И. Панаева. „Современникъ“, 1861, февраль

предчувствіе въ кругѣ противниковъ петербургскаго направленія было, что вмѣстѣ съ нимъ явилась на сцену и живая мысль, и достаточно сильная рука, чтобъ подорвать или по крайней мѣрѣ ослабить, наконецъ, союзъ литературныхъ промышленниковъ, въ сущности презиравшихъ русское общество со всѣми его стремленіями, надеждами и съ его претензіями на устройство своей духовной жизни.

III.

Подъ впечатлѣніемъ страстнаго тона философскихъ статей Бѣлинскаго и особенно пыла его полемики, позволительно было представлять его себѣ человѣкомъ исключительныхъ мнѣній, не терпящимъ возраженій и любящимъ господствовать надъ бесѣдой и собесѣдниками. Признаюсь, я былъ удивленъ, когда на вечерѣ А. А. Комарова мнѣ указали подъ именемъ Бѣлинскаго на господина небольшого роста, сутуловатаго, со впалой грудью и довольно большими, задумчивыми глазами, который очень скромно, просто и какъ-то сразу, по-товарищески, отвѣчалъ на привѣтствія новыхъ знакомящихся съ нимъ людей. Разумѣется, я уже не встрѣтилъ ни малѣйшаго признака внушительности, позированія и диктаторскихъ замашекъ, какихъ опасался, а, напротивъ, можно было подмѣтить у Бѣлинскаго признаки робости и застѣнчивости, не допускавшіе, однакожъ, и мысли о какой-либо снисходительной помощи или о непрошенныхъ услугахъ какого-либо торопливаго доброжелателя. Видно было, что подъ этой оболочкой живетъ гордая, неукротимая натура, способная ежеминутно прорваться наружу. Вообще, неловкость Бѣлинскаго, спутанныя рѣчи и замѣшательство при встрѣчѣ съ незнакомыми людьми, надъ чѣмъ онъ самъ такъ много смѣялся, имѣли, какъ вообще и вся его персона, много выразительнаго и внушающаго: за ними постоянно свѣтился его благородный, цѣльный, независимый характеръ. Мы наслышались объ увлеченіяхъ и порывахъ Бѣлинскаго, но никакихъ порывовъ и увлеченій, въ этотъ первый вечеръ моего знакомства съ нимъ, однакожъ, не произошло. Онъ былъ тихъ, сосредоточенъ и — что особенно поразило меня — былъ грустенъ. Повѣряя теперь тогдашнія впечатлѣнія этой встрѣчи всѣмъ, что было узнано и разслѣдовано впослѣдствіи, могу сказать, съ полнымъ убѣжденіемъ, что на всѣхъ мысляхъ и разговорахъ Бѣлинскаго лежалъ еще оттѣнокъ того философско-романтическаго настроенія, которому онъ подчинился съ 1835

года, и которому безпрерывно слѣдовалъ въ теченіи четырехъ лѣтъ, несмотря на то, что смѣнилъ Шеллинга на Гегеля въ 1836—37 году, распрощался съ иллюзіями относительно своеобычной красоты старорусскаго и вообще простого, непосредственнаго быта, и перешелъ къ обожанію «разума въ дѣйствительности». Онъ переживалъ теперь послѣдніе дни этого философско-романтическаго настроенія. Въ тотъ же описываемый вечеръ зашелъ разговоръ о какой-то шутовской рукописной повѣсти, на манеръ Гофмана, сочиненной для потѣхи, сообща, нѣсколькими лицами, на сходкахъ своихъ, ради время-убіенія: «Да», сказалъ серьёзно Бѣлинскій, «но Гофманъ—великое имя. Я никакъ не понимаю, отчего доселѣ Европа не ставитъ Гофмана рядомъ съ Шекспиромъ и Гете: это—писатели одинаковой силы и одного разряда».

Положеніе это и другія, ему подобныя, Бѣлинскій унаслѣдовалъ и сберегалъ еще отъ эпохи Шеллинговскаго совершанія, по которому, какъ извѣстно, внѣшній міръ былъ причастникомъ великихъ эволюцій абсолютной идеи, выражая каждымъ своимъ явленіемъ минуту и ступень ея развитія. Отсюда фантастическій элементъ Гофмановскихъ разсказовъ казался Бѣлинскому частицей откровенія или разоблаченія этой всетворящей абсолютной идеи и имѣлъ для него такую же реальность, какъ, напримѣръ, вѣрное изображеніе характера, или передача любого жизненнаго случая. Въ описываемую эпоху онъ уже принадлежалъ всецѣло Гегелю и вполнѣ усвоилъ идеалистическій способъ пояснять себѣ явленія окружающей жизни, людей и событія, что сообщало послѣднимъ почти всегда въ его устахъ какой-то грандіозный характеръ, часто вовсе ими не заслуживаемый. Мелкихъ практическихъ изъясненій какого-либо факта и вопроса, мало-мальски выходящихъ изъ обыкновеннаго порядка дѣлъ, онъ вообще не любилъ и только по особенному настроенію, принятому на себя преднамѣренно въ Петербургѣ—еще принуждалъ себя выслушивать ихъ. Конечно, уже не было у него прежней еще недавней, восторженной проповѣди о «великихъ тайнахъ жизни», *безъ предчувствія и разсадки которыхъ, существованіе человѣка сдѣлалось бы*, какъ онъ говорилъ, *не только безцвѣтнымъ, но положительно величайшимъ бѣдствіемъ, какое только можно было бы придумать для земнорожденныхъ*, но все-таки нашъ русскій міръ, наша современность, даже нѣкоторыя подробности жизни отражались не иначе въ его умѣ, какъ въ многозначительныхъ образахъ, въ широкихъ обобщеніяхъ, поражавшихъ и увлекавшихъ новыхъ его слушателей. Вообще корни всѣхъ старыхъ,

уже пройденныхъ имъ ученій и созерцаній еще жили въ немъ, по пріѣздѣ въ Петербургъ, тайной жизнію и при всякомъ случаѣ готовы были пустить ростки и отпрыски и дѣйствительно по временамъ оживали и цвѣли полнымъ цвѣтомъ, что составляло, посреди занятаго петербургскаго круга пріятелей Бѣлинскаго, величайшую его оригинальность и вмѣстѣ неодолимую притягивающую силу.

Замѣчательнымъ и волнующимъ явленіемъ того времени были посмертныя сочиненія Пушкина, которыя постепенно обнародывалъ «Современникъ» 1838—39 гг., перешедшій въ руки П. А. Плетнева. Они—эти чудныя сочиненія—находили въ Бѣлинскомъ такого, можно сказать, энтузіаста и цѣнителя, какой еще и не выпадалъ на долю нашего великаго поэта. Это уже былъ не тотъ Бѣлинскій, который года за два передъ тѣмъ и еще при жизни Пушкина считалъ дѣятельность его завершенной окончательно и въ послѣднихъ произведеніяхъ его хотя и распознавалъ еще печать геніальности, но заявлялъ, что они все-таки ниже того, что можно было бы ожидать отъ его пера. Теперь это было поклоненіе безусловное, почти паденіе въ прахъ передъ святыней открывающейся поэзіи и передъ вызвавшимъ ее художникомъ. Особенно «Каменный Гость» Пушкина произвелъ на Бѣлинскаго впечатлѣніе подавляющее. Онъ объявилъ его произведеніемъ всемірнымъ и колоссальности неизмѣримой. Когда, однажды, мы просили его разъяснить, въ чемъ заключается міровое значеніе этого созданія и что онъ еще находитъ въ немъ, кромѣ изящества образовъ, поэтичности характеровъ и удивительной простоты въ веденіи очень глубокой драмы, Бѣлинскій принялся за развитіе той мысли, что все это составляетъ только внѣшнее отличіе произведенія, а подземные ключи, которые подъ нимъ бѣгутъ, еще важнѣе всѣмъ видимой и осязаемой его красоты. Онъ принялся за разслѣдованіе этихъ живыхъ источниковъ, но на первыхъ же положеніяхъ остановился и сконфуженно проговорилъ: «Вотъ этакъ со мной всегда случается: примусь за дѣло, занесусь Богъ знаетъ куда, да и опѣшусь; не знаю, какъ выразить мою мысль, которая, однакожъ, для меня совершенно ясна». Онъ махнулъ рукой и отошелъ въ сторону съ какимъ-то болѣзненнымъ выраженіемъ лица. Видимо, что въ драмѣ Пушкина заключено было для него новое откровеніе одной изъ «*тайнъ* жизни», передача одной изъ «субстанцій», какъ тогда говорили, человѣческаго духа, но онъ не могъ или не хотѣлъ разъяснить ихъ передъ кружкомъ, мало приготовленнымъ

къ пониманію отвлеченностей и не отличавшимся наклонностію къ «философированію».

Со второй или третьей встрѣчи, однако же, обнаружилась у Бѣлинскаго та добродушная веселость, порождаемая иногда самыми незначительными, даже пошлыми, выходками собесѣдниковъ (что́ нѣсколько удивляло меня сначала), которая соединялась у него всегда съ какой-то незлобивой, почти ласковой насмѣшкой, съ легкой ироніей надъ самимъ собой и надъ окружающими. Совсѣмъ тѣмъ, сквозь тогдашнюю веселость Бѣлинскаго пробивалась все та же неотстранимая черта грусти. Онъ былъ печаленъ и не случайно, а какъ-то глубоко, задушевно. Не нужно было быть ни особенно зоркимъ наблюдателемъ, ни особенно искуснымъ психологомъ, чтобы открыть эту черту: она бросалась въ глаза сама собою. И немудрено ей оказаться: Бѣлинскій переживалъ страданія своего разрыва съ московскими друзьями, только-что обнаружившагося передъ его отъѣздомъ изъ Москвы, и долженъ былъ чувствовать сильнѣе горечь этого обстоятельства теперь, въ чужомъ, незнакомомъ и непривѣтливомъ городѣ, куда былъ занесенъ.

Очень несправедливо думали и думаютъ еще теперь, что Бѣлинскому было ни почемъ разставаться съ людьми и мѣнять свои отношенія къ нимъ на основаніи различія убѣжденій. Многіе тогда говорили и чуть не печатали, что онъ находилъ даже въ томъ выгоду, ибо всякій такой поворотъ открывалъ истокъ его желчи, злобнымъ инстинктамъ, наклонности къ ругательству и оскорбленію, которыя иначе задушили бы его! Могу сказать наоборотъ, что рѣдко встрѣчалъ я людей, которые бы болѣе страдали, будучи принуждены, вслѣдствіе неотстранимаго логическаго и діалектическаго развитія своихъ принциповъ, удаляться въ другую сторону отъ прежнихъ единомышленниковъ. Онъ долго мучился, какъ потерей стараго совершанія, такъ и потерей старыхъ собесѣдниковъ, и только убѣжденный въ законности поворота, имъ сдѣланнаго, освобождался отъ всѣхъ тревогъ и пріобрѣталъ новое качество, именно гнѣвъ и негодованіе противъ тѣхъ, которые его задерживали на пути и напрасно занимали собой.

Первая попытка — критически отнестись къ составнымъ частямъ московскаго интеллектуальнаго кружка и подвергнуть его анализу, за которымъ должно было послѣдовать отдѣленіе различныхъ элементовъ, его составлявшихъ, положена, какъ извѣстно, Бѣлинскимъ въ статьѣ подъ заглавіемъ: «О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ «Московскаго Наблюдателя», помѣщенной въ

«Телескопѣ», 1836 года... Статья эта въ полемическомъ смыслѣ принадлежитъ къ мастерскимъ вещамъ автора и по яркости красокъ и рѣзкой очевидности доводовъ не утеряла, кажется намъ, относительной занимательности и донынѣ. Вся она обращена была противъ главнаго критика «Московскаго Наблюдателя» С. П. Шевырева, у котораго онъ спрашивалъ, чему онъ вѣруетъ, какіе законы творчества и основныя философско-эстетическія или эпическія идеи исповѣдуетъ, — разоблачая при этомъ его дилетантскія отношенія во всѣмъ художественнымъ теоріямъ, его обычай сочинять законы и правила вкуса для оправданія личныхъ своихъ вкусовъ, для потворства немногимъ избранникамъ изъ своихъ близкихъ знакомыхъ и для указанія обществу цѣлей въ мѣру случайныхъ и мимолетныхъ своихъ ощущеній. Особенно возставалъ Бѣлинскій противъ мнѣній критика о важности *свѣтскаго и свѣтско-дамскаго элемента* въ литературѣ, которые могли, будто бы, возвысить ея тонъ и благороднѣе устроить жизнь самихъ авторовъ: «Художественный и *свѣтскій*», — отвѣчалъ Бѣлинскій, «не суть слова одинозвучащія, такъ же какъ дворянинъ и благородный человѣкъ... Художественность доступна для людей всѣхъ сословій, всѣхъ состояній, если у нихъ есть умъ и чувство; свѣтскость есть принадлежность касты... Свѣтскость еще сходится съ образованностью, которая состоитъ въ знаніи всего по-немногу, но никогда не сойдется съ наукою и творчествомъ» и т. д. Статья эта вообще была одна изъ тѣхъ, которыми обыкновенно порываются старые связи и союзы, и отыскиваются новые. Для насъ въ ней особенно важны ея грустныя заключительныя строки: «Всего досаднѣе, что у насъ не умѣютъ еще отдѣлять человѣка отъ его мысли, не могутъ повѣрить, чтобъ можно было терять свое время, убивать здоровье и *наживать себѣ враговъ* изъ привязанности къ какому-нибудь задушевному мнѣнію, изъ любви къ какой-нибудь отвлеченной, а не житейской мысли. Но какая нужда до этого!» Онъ оканчивалъ мысль восклицаніемъ: «Но если мысли и убѣжденія доступны вамъ, идите впередъ и да не совратятъ васъ съ пути ни разсчеты эгоизма, ни отношенія личныя и житейскія, ни боязнь непріязни людской, ни обольщенія ихъ коварной дружбы, стремящейся взамѣнъ своихъ ничтожныхъ даровъ лишить васъ лучшаго вашего сокровища — независимости мнѣнія и чистой любви къ истинѣ!»

Или мы сильно ошибаемся, или въ этомъ торжественномъ тонѣ ясно слышится глубокій, искренній вопль души, наканунѣ потери нѣкоторыхъ изъ ея симпатій и убѣжденій. Слова Бѣлинскаго содержатъ еще и пророчество. Предчувствіе не обмануло

Бѣлинскаго. Разрывъ съ журналистомъ и его партіей не напрасно казался ему отважнымъ дѣломъ: съ той минуты и до нынѣшней включительно, Бѣлинскому составлена была въ извѣстныхъ кругахъ репутація дикаго ругателя всего почтеннаго и достойнаго на русской почвѣ, и попытки удержать за нимъ эту репутацію въ потомствѣ возобновляются еще отъ времени до времени и на нашихъ глазахъ.

Одновременно съ этой статьей, давшей сильный толчокъ къ разрушенію мирно процвѣтавшей общины друзей науки и просвѣщенія, было еще множество и другихъ случаевъ, при которыхъ Бѣлинскій открыто искалъ боя и враговъ. Такъ, онъ не задумался назвать и «Современникъ» Пушкина, со второй его книжки, «Петербургскимъ Московскимъ Наблюдателемъ» по направленію, замѣтивъ въ немъ (справедливо или нѣтъ,—это другой вопросъ) поползновеніе искать себѣ читателей и судей въ одномъ, исключительно свѣтскомъ кругѣ. Помнимъ, что эта полемика съ «Современникомъ» произвела въ то время почти столько же шума и негодованія, какъ и замѣтка его, нѣсколько прежде сдѣланная и изъ другого круга представленій. Въ статьѣ «О повѣстяхъ Гоголя», именно, онъ проводилъ мысль, даже и не имъ первымъ высказанную, что всѣ древнія и новыя эпическія поэмы, выкроенныя по образцу «Иліады», какъ-то «Энеида», «Освобожденный Іерусалимъ», «Потерянный Рай», «Россіада» и проч., замѣняя живыя, неподдѣльныя народныя преданія и представленія другими, хитро придуманными на ихъ манеръ, принадлежатъ къ фальшивому роду произведеній. Ужасъ всего стараго педагогическаго міра нашего, видѣвшаго въ этой замѣткѣ образецъ непростительнаго невѣжества и ересь, превышающую воображеніе, былъ неизразимъ. Такъ, критикъ нашъ плодилъ вокругъ себя враговъ со всѣхъ сторонъ, число которыхъ увеличивалось почти съ каждой новой его замѣткой о старыхъ нашихъ писателяхъ, несходной съ традиціоннымъ ихъ пониманіемъ. Корыстный представитель этихъ недовольныхъ, Булгаринъ, говорилъ въ «Сѣверной Пчелѣ», что при способѣ сужденія, обнаруженномъ Бѣлинскимъ, ему ничего не значитъ доказать какое угодно положеніе, хоть слѣдующее: «*мятель — дѣло не худое и даже похвальное*», и по пунктамъ, имѣвшимъ тогда почти уголовный характеръ, упрекалъ критика, опираясь на его сужденія о Державинѣ, Карамзинѣ, Жуковскомъ и Батюшковѣ, въ тѣхъ же чувствахъ, какія питаютъ въ Россіи «завистливые иностранцы, ренегаты, *безбородые* юноши и проч.». Вотъ какъ поставленъ былъ литературный споръ съ перваго же

раза и велся отчасти въ этомъ смыслѣ, конечно, съ меньшей наглостью, даже и людьми, нисколько не похожими на Булгарина съ братіей.

Теперь дѣло стало еще серьёзнѣе, потому что Бѣлинскій совершилъ разрывъ съ тѣмъ кругомъ людей, которому принадлежалъ всецѣло, съ тѣми немногими, мнѣніе которыхъ дорожилъ, и удаленіе отъ которыхъ грозило ему дѣйствительнымъ одиночествомъ на свѣтѣ.

Что же произошло между ними?

Оставляя въ сторонѣ житейскія размолвки съ друзьями, о которыхъ имѣемъ и особенно тогда имѣли очень смутное, неполное представленіе, обращаюсь къ разноголосицѣ ихъ въ области мысли. Когда Бѣлинскій напечаталъ въ томъ же 1839 году, въ журналѣ г. Краевскаго, еще не будучи его признаннымъ постояннымъ сотрудникомъ, двѣ свои статьи — рецензію на книгу Ѳ. Н. Глинки «Очерки бородинскаго сраженія» и библіографическій отчетъ о «Бородинской годовщинѣ» Жуковскаго, — ему казалось, что онъ выводилъ только логически-правильныя заключенія изъ основаній Гегеля и непогрѣшительно прилагалъ ихъ къ живому факту, къ дѣйствительности. Надо сказать, что, съ первыхъ же попытокъ Бѣлинскаго къ опредѣленію значенія *дѣйствительности* въ жизни народовъ и лицъ, онъ встрѣтилъ уже противорѣчіе у многихъ изъ своихъ друзей, которые не желали уступать свое право — быть настоящими и несмѣняемыми судьями всякой дѣйствительности. Но разгорѣвшійся споръ этотъ выросъ до разрыва связей только въ 1839 г. Лѣтомъ этого года, какъ извѣстно, Москва, а съ ней и Россія праздновали великое патріотическое торжество — открытіе памятника на Бородинскомъ полѣ. Одушевленіе было общее и понятное. Лѣтомъ 1839 г., я случайно находился въ Москвѣ и смотрѣлъ изъ окна одного родственнаго мнѣ дома противъ Кремля на великолѣпный крестный ходъ, огибавшій Кремлевскія стѣны, въ замкѣ котораго шелъ митрополитъ Филаретъ, сопровождаемый самимъ императоромъ Николаемъ Павловичемъ верхомъ. Это было канономъ, такъ сказать, торжественнаго открытія Бородинскаго памятника въ августѣ того же года. Горячихъ толковъ и патріотическаго одушевленія и теперь уже возникало много, но я, тогда еще незнакомый ни съ одной изъ личностей описываемаго круга, не могъ и предчувствовать, какъ сильно будутъ меня занимать впослѣдствіи отголоски этого событія. Бѣлинскій вздумалъ воспользоваться открытіемъ Бородинскаго памятника, чтобы подтвердить имъ мудрость гегелевскаго афоризма о тождествѣ дѣйствительности съ

истиной и разумностью, и разобрать всю плодотворную сущность этого положенія. Но съ первой же статьи оказалось, что излишнее обобщеніе правила можетъ повести къ необычайнымъ выводамъ, къ рѣзкимъ, чудовищнымъ заблужденіямъ. Напрасно друзья Бѣлинскаго представляли ему всѣ опасности прямого, непосредственнаго приложенія его идеи къ русскому міру,—Бѣлинскій, никогда не знавшій сдѣлокъ, уступокъ, добровольныхъ умолчаній, еще болѣе укрѣплялся ихъ сомнѣніями. Надо было или бросить всю теорію, или оставаться ей вѣрнымъ до конца. Ему показалось даже, что наступила именно та минута, о которой онъ говорилъ прежде, когда для спасенія своей мысли и совѣсти слѣдуетъ рѣшиться на откровенный разрывъ съ самыми близкими людьми. Покойный Г. разсказываетъ въ своихъ извѣстныхъ запискахъ, что передъ отъѣздомъ Бѣлинскаго изъ Москвы произошелъ между ними споръ, за которымъ послѣдовало охлажденіе между друзьями, длившееся, впрочемъ, недолго, всего годъ, и кончившееся полнымъ примиреніемъ ихъ, такъ какъ первая причина ссоры — слѣпое прославленіе дѣйствительности — признано было самимъ его исповѣдникомъ, Бѣлинскимъ, философской и жизненной ошибкой. Описаніе спора у Г. очень любопытно: оно показываетъ первыя бури, возникшія у насъ отъ столкновенія системъ и отвлеченностей съ явленіями реальнаго характера. Г. добавилъ еще свое описаніе изустно слѣдующей подробностію. Когда черезъ годъ послѣ перваго столкновенія съ Бѣлинскимъ Г. явился въ Петербургъ, онъ уже засталъ тамъ Бѣлинскаго и разумѣется возобновилъ съ нимъ распрю по поводу новаго ученія. И тогда-то, разсказывалъ Г., въ жару спора со мной, Бѣлинскій прибѣгъ къ аргументу, прозвучавшему необычайно дико въ его устахъ: «Пора намъ, братецъ», сказалъ критикъ, «посмирить нашъ бѣдный, заносчивый умишко и признаться, что онъ всегда окажется дрянью передъ событіями, гдѣ дѣйствуютъ народы съ своими руководителями и воплощенная въ нихъ исторія». По сознанію Г., онъ пришелъ въ ужасъ отъ этихъ словъ, тотчасъ же замолчалъ и удалился. Ему показалось, что тутъ совершилось какое-то отреченіе отъ правъ собственнаго разума, какое-то непонятное и чудовищное самоубійство. Черезъ два года, по возвращеніи изъ второго своего удаленія въ Новгородъ снова въ Петербургъ (1841 г.), Г. уже не имѣлъ никакихъ поводовъ препираться съ критикомъ: они были одинаковаго мнѣнія по всѣмъ вопросамъ.

Бѣлинскій явился такимъ образомъ въ чуждый ему городъ съ глубокой раной въ сердцѣ; но онъ все еще надѣялся пере-

значитъ взгляды друзей на свои теоріи, высказавъ всю свою мысль по поводу спорнаго пункта, ихъ раздѣлявшаго. Въ началѣ 1840 года, онъ явился со статьей «Менцель, критикъ Гёте», въ «Отечественныхъ Запискахъ». Здѣсь, подавляя всей силой своего презрѣнія мелкіе умы, кропотливо разбирающіе, что имъ нравится и что не нравится въ историческихъ явленіяхъ, Бѣлинскій создаетъ особыя права, преимущества, даже особую нравственность для великихъ художниковъ, великихъ законодателей, геніальныхъ людей вообще, которые уполномочиваются изобрѣтать особыя дороги для себя и вести по нимъ современниковъ и человѣчество, не обращая вниманія на ихъ протесты, волненія, симпатіи и антипатіи. Болѣе полной подчиненности въ пользу привилегированныхъ избранниковъ судьбы нельзя было проповѣдывать. Надо признаться, статья была живо и мастерски написана, содержала много вѣрныхъ замѣтокъ, сдѣлавшихся теперь уже общимъ достояніемъ, какъ, напр., замѣтку о мѣткости и исторической важности непосредственнаго чувства въ народныхъ массахъ, о родственной связи, существующей всегда между стремленіями великихъ умовъ и инстинктами общества и проч.; но все это не ослабляло ея основного софистическаго характера, отстранявшаго вполнѣ критическія отношенія къ общественнымъ вопросамъ. Все это продолжалось недолго. Къ осени того же 1840 г. Бѣлинскій уже вышелъ изъ чада направленія, грозившаго остановить всю его дѣятельность, съ самаго начала.

У насъ уже много было писано объ этой эпохѣ развитія Бѣлинскаго и съ различными цѣлями. Предметъ, однакоже, не вполнѣ уясненъ, потому, можетъ быть, именно, что слишкомъ много занималъ изслѣдователей и раздутъ ими до размѣровъ важнаго психическаго явленія, чему способствовалъ и самъ Бѣлинскій своими послѣдующими объясненіями. Въ сущности это былъ просто безграничный *оптимизмъ*, которымъ разрѣшалась Гегелева система часто и не на одной только русской почвѣ; она уже и въ другихъ странахъ, какъ въ Пруссіи, производила тѣ же результаты, по присущему ей двоесмыслію. Стоило только понять ея опредѣленіе государства, какъ конкретнаго явленія, въ которомъ отдѣльная личность должна найти полное успокоеніе и разрѣшеніе всѣхъ своихъ стремленій,—стоило только, говоримъ, понять это опредѣленіе въ одномъ извѣстномъ, оффиціальномъ смыслѣ, чтобы придти къ обоготворенію всякаго существующаго порядка дѣлъ. Первымъ руководителемъ Бѣлинскаго однакоже на этомъ поприщѣ самообольщенія былъ въ то время не кто иной,

какъ нынѣшній *) отрицатель всѣхъ, доселѣ извѣстныхъ, формъ правленія, врагъ сложившихся окончательно государствъ, обособившихся національностей, ихъ общественныхъ преданій и вѣрованій—М. Б. Первая ошибка въ діалектической выкладкѣ, о которой говоримъ, и которая имѣла такія послѣдствія для Бѣлинскаго, принадлежитъ ему.

IV.

Есть причины полагать, что годы 1836—37 были тяжелыми годами въ жизни Бѣлинскаго. Мнѣ довольно часто случалось слышать отъ него потомъ намёки о горечи этихъ годовъ его молодости, въ которые онъ переживалъ свои сердечныя страданія и привязанности, но подробностей о тогдашней своей жизни онъ никогда не выдавалъ, какъ-бы стыдясь своихъ ранъ и ощущеній. Только однажды онъ замѣтилъ, что ему случалось, какъ нервному ребенку, проплакивать по цѣлымъ ночамъ воображаемое горе. Можно было полагать только, что горе это было не совсѣмъ воображаемое, какъ онъ говорилъ. Замѣчательно, что эти оба года, исполненные для него жгучихъ волненій и потрясеній, были употреблены имъ вмѣстѣ съ тѣмъ еще и на занятіе философіей Гегеля, которая нашла особенно краснорѣчиваго проповѣдника въ лицѣ одного молодого отставного артиллерійскаго офицера, выучившагося скоро и хорошо по-нѣмецки и вообще обладавшаго способностію къ быстрому усвоенію языковъ и отвлеченныхъ понятій. Это былъ М. Б. Въ 1835 году онъ не зналъ, что̀ дѣлать съ собой и наткнулся на Н. В. Станкевича, который, угадавъ его способности, засадилъ за нѣмецкую философію. Работа пошла быстро. Б. обнаружилъ въ высшей степени діалектическую способность, которая такъ необходима для сообщенія жизненнаго вида отвлеченнымъ логическимъ формуламъ и для полученія изъ нихъ выводовъ, приложимыхъ къ жизни. Къ нему обращались за разрѣшеніемъ всякаго темнаго или труднаго мѣста въ системѣ учителя, и Бѣлинскій гораздо позднѣе, т.-е. спустя уже 10 лѣтъ (въ 1846 г.), еще говорилъ мнѣ, что не встрѣчалъ человѣка болѣе Б. умѣвшаго отстранять такъ, или иначе, всякое сомнѣніе въ непреложности и благолѣпіи всѣхъ положеній системы. Дѣйствительно, никто изъ приходящихъ къ Б. не оставался безъ удовлетворенія, иногда согласнаго съ основ-

*) Умершій нѣсколько лѣтъ тому назадъ.—*Ред.*

ними тэмами ученія, а иногда просто фиктивнаго, выдуманнаго и импровизированнаго самимъ комментаторомъ, такъ какъ діалектическая его способность, какъ это часто бываетъ съ діалектиками вообще, не стѣснялась въ выборѣ средствъ для достиженія своихъ цѣлей.

Какъ бы то ни было, но только упоеніе Гегелевскою философіей съ 1836 года было безмѣрное у молодого кружка, собравшагося въ Москвѣ во имя великаго германскаго учителя, который путемъ логическаго шествія отъ однихъ антиномій къ другимъ разрѣшалъ всѣ тайны міросданія, происхожденіе и исторію всѣхъ явленій въ жизни, вмѣстѣ со всѣми феноменами человѣческаго духа и сознанія. Человѣкъ, незнакомый съ Гегелемъ, считался кружкомъ почти-что несуществующимъ человѣкомъ: отсюда и отчаянныя усилія многихъ, бѣдныхъ умственными средствами, попасть въ люди цѣною убійственной головоломной работы, лишавшей ихъ послѣднихъ признаковъ естественнаго, простого, непосредственнаго чувства и пониманія предметовъ. Кружокъ постоянно сопровождался такими людьми. Бѣлинскій очень скоро сдѣлался въ немъ корифеемъ, выслушавъ основныя положенія логики и эстетики Гегеля, преимущественно въ изложеніи и комментаріяхъ Б. Надо замѣтить, что послѣдній возвѣщалъ ихъ, какъ всемірное откровеніе, сдѣланное человѣчествомъ на-дняхъ, какъ обязательный законъ для мысли людской, которую они исчерпываютъ вполнѣ безъ остатка и безъ возможности какой-либо поправки, дополненія или измѣненія. Слѣдовало, или покориться имъ безусловно, или стать къ нимъ спиной, отказываясь отъ свѣта и разума. Бѣлинскій, на первыхъ порахъ, и покорился имъ безусловно, стараясь достичь идеала безстрастнаго существованія въ «духѣ», подавляя въ себѣ всѣ волненія и стремленія своей нравственной и органической природы, безпрестанно падая и приходя въ отчаяніе отъ невозможности устроить себѣ вполнѣ просвѣтленную жизнь, по указаніямъ учителя.

Дѣло, конечно, не обходилось тутъ безъ сильныхъ протестовъ со стороны неофита. Даръ проникать въ сущность философскихъ тезисовъ, даже по одному намеку на нихъ, и потомъ открывать въ нихъ такія стороны, какія не приходили на умъ и спеціалистамъ дѣла — этотъ даръ поражалъ въ Бѣлинскомъ многихъ изъ его философствующихъ друзей. Онъ не утерялъ его и тогда, когда, повидимому, предался душой и тѣломъ одному извѣстному толкованію Гегелевской системы. Способность его становиться по временамъ къ ней совершенно оригинальнымъ и независимымъ способомъ и заставила сказать Г., что во всю

свою жизнь ему случилось встрѣтить только двухъ лицъ, хорошо понимавшихъ Гегелево ученіе, и оба эти лица не знали ни слова по-нѣмецки. Однимъ изъ нихъ былъ—французъ Прудонъ, а другимъ русскій—Бѣлинскій. Возраженія послѣдняго на нѣкоторые изъ догматовъ системы иногда удивительно освѣщали ея слабыя, схоластическія стороны, но уже не могли потрясти *вѣры* въ нее и высвободить его самого изъ-подъ ея гнета. Извѣстно восклицаніе Бѣлинскаго, весьма характеристическое, которымъ онъ заявлялъ свое мнѣніе, что для человѣка весьма позорно служить только орудіемъ «всемірной идеи», достигающей черезъ него необходимаго для нея самоопредѣленія. Восклицаніе это можно перевести такъ: «Я не хочу служить только ареной для прогулокъ «абсолютной идеи» по мнѣ и по вселенной». Опроверженія такого рода, какъ бы мимолетны они ни были, конечно, не могли не раздражать его друга, Б., не лишеннаго, какъ всѣ проповѣдники, деспотической черты въ характерѣ. Впослѣдствіи образовались сильныя размолвки, именно вслѣдствіе протестовъ Бѣлинскаго, на которые учитель отвѣчалъ, съ своей стороны, весьма энергично. Уже въ сороковыхъ годахъ, говоря мнѣ объ искусствѣ, съ какимъ Б. умѣлъ бросать тѣнь на лица, которыхъ заподозрѣвалъ въ бунтѣ противъ себя, Бѣлинскій прибавилъ: «Онъ и до меня добирался. — Взгляните на этого Кассія»,— твердилъ онъ моимъ пріятелямъ,—«никто не слыхалъ отъ него никогда никакой пѣсни, онъ не запомнилъ ни одного мотива, не проронилъ съ роду и случайно никакой ноты. Въ немъ нѣтъ внутренней музыки, гармоническихъ сочетаній мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человѣческой природы. Вотъ какими закоулками добирался онъ до моей души, чтобы тихомолкомъ украсть ее и унести подъ своей полой». Оба пріятеля, какъ извѣстно, вплоть до 1840 года безпрестанно ссорились и также безпрестанно мирились другъ съ другомъ, но въ лѣто 1836 г. они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Связь между друзьями должна была еще усилиться, когда въ теченіи 1836 г. Бѣлинскій, введенный въ семейство Б., нашелъ тамъ, какъ говорили его знакомые, необычайный привѣтъ, даже со стороны женскаго молодого его населенія, къ чему онъ никогда не относился равнодушно, убѣжденный, что ни одно женское существо не можетъ питать участія къ его мало эффектной наружности и неловкимъ пріемамъ. Бѣлинскій ѣздилъ въ Тверь и жилъ нѣкоторое время въ помѣстьѣ самихъ Б. Бесѣды, которыя онъ велъ подъ кровомъ ихъ дома, подъ обаяніемъ

дружбы съ однимъ изъ его членовъ, при вниманіи и участіи молодого и развитаго женскаго его персонала, конечно, должны были крѣпче запасть въ его умъ, чѣмъ при какой-либо другой обстановкѣ. Результаты оказались скоро. Когда Бѣлинскій опять возвратился къ журнальной дѣятельности и принялъ на себя, въ 1838, изданіе «Московскаго Наблюдателя», совершенно загубленнаго прежней редакціей,—на страницахъ журнала уже излагались не Шеллинговы воззрѣнія въ томъ лирическо-торжественномъ тонѣ, какой они всегда принимали у Бѣлинскаго, а строгія Гегелевскія схемы въ надлежащей суровости языка и выраженія и часто съ нѣкоторою священной темнотою, хотя и старыя воззрѣнія и новыя схемы имѣли много родственнаго между собою. Къ тому же, однимъ изъ сотрудниковъ журнала, отъ котораго ждали переворота въ области литературы и мышленія, состоялъ теперь М. Б. Онъ именно и открылъ новый фазисъ философизма на русской почвѣ, провозгласивъ ученіе о святости всего *дѣйствительно* существующаго.

Одно, хотя и очень короткое время, Б., можно сказать, господствовалъ надъ кружкомъ философствующихъ. Онъ сообщилъ ему свое настроеніе, которое иначе и опредѣлить нельзя, какъ назвавъ его результатомъ *сластолюбивыхъ* упражненій въ философіи. Все дѣло ограничивалось еще для Б, въ то время, *умственнымъ наслажденіемъ*, а такъ какъ самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно новаго питанія и возбужденія, то обширное, безбрежное море Гегелевской философіи пришлось тутъ какъ нельзя болѣе кстати. На немъ и разыгрались всѣ силы и способности Б., страсть къ витійству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей безпрестанно случаи къ торжествамъ и побѣдамъ, а наконецъ, пышная, всегда какъ-то праздничная по своей формѣ, шумная, хотя и нѣсколько холодная, малообразная и искусственная рѣчь. Однако же эта праздничная рѣчь и составляла именно силу Б., подчинявшую ему сверстниковъ: свѣтъ и блескъ ея увлекали и тѣхъ, которые были равнодушны къ самымъ идеямъ, ею возвѣщаемымъ. Б. слушали съ упоеніемъ не только тогда, когда онъ излагалъ сущность философскихъ тезисовъ, но и тогда, когда спокойно и степенно поучалъ о необходимости для человѣка ошибокъ, паденій, глубокихъ несчастій и сильныхъ страданій, какъ неизбѣжныхъ условій истинно-человѣческаго существованія.

Б. самъ разсказывалъ впослѣдствіи, что однажды, послѣ вечера, посвященнаго этой матеріи, собесѣдники его, бо́льшей частію молодые люди, разошлись спать. Одинъ изъ нихъ помѣ-

стился въ той же комнатѣ, гдѣ опочивалъ и самъ учитель. Ночью послѣдній былъ разбуженъ своимъ молодымъ товарищемъ, который, со свѣчою въ рукахъ и со всѣми признаками отчаянія на лицѣ, требовалъ у него помощи: «Научи, что мнѣ дѣлать»,— говорилъ онъ,—«я погибшее существо, потому что какъ ни думалъ, не чувствую въ себѣ никакой способности къ страданію». Дѣйствительно, полюбить страданіе, и особенно въ юношескіе годы—трудновато.

Естественно, однакожъ, что такое продолжительное умственное, діалектическое, философское пированіе могло быть устроено только при одномъ условіи: совершеннаго обезпеченія себя отъ протестовъ со стороны людей огорченныхъ или негодующихъ на жизнь, при условіи осмыслить, если не узаконить все то, на что они жалуются или въ чемъ сомнѣваются. Необходимо было прежде всего убѣдить всѣхъ, которые сильно чувствовали *злобу дня*, въ томъ, что ихъ личныя, отдѣльныя попытки осужденія современности или основъ, на которыхъ она держится, суть преступленія противъ существующей «дѣйствительности», т.-е. преступленіе противъ «всемірной идеи», которая въ данную минуту въ нее воплотилась, другими словами противъ самого «высшаго разума». Спокойствіе и нужное расположеніе духа для философированія покупались только этой цѣною. И ничѣмъ другимъ Б. въ эту эпоху не занимался, кромѣ прямыхъ и косвенныхъ внушеній этого рода. Ему принадлежитъ вводъ въ печать новаго русскаго презрительнаго слова «прекраснодушіе», возбудившаго такое недоумѣніе въ публикѣ и журналахъ своимъ, дѣйствительно, не очень складнымъ составомъ, которое, будучи буквальнымъ переводомъ нѣмецкаго «Schönseligkeit», призвано было обозначать у насъ благородныя, но несостоятельныя отрицанія личнаго мышленія и личнаго суда надъ современностію. Ему принадлежитъ распространеніе у насъ того крайняго, чистѣйшаго и вмѣстѣ брезгливаго идеализма, который съ ужасомъ отворачивался отъ всякаго житейскаго шума, смѣшивая подъ однимъ общимъ названіемъ *низшихъ явленій субъективнаго духа* все, что мѣшало ему, идеализму, заниматься спокойно вопросами о судьбахъ и призваніи человѣчества: онъ просмотрѣлъ французскій переворотъ 1830 года, ничего не распознавъ въ общественномъ движеніи, наступавшемъ за нимъ во Франціи (Ж.-Зандъ, Сенъ-Симонъ, Ламэне), ничего не видалъ въ современной ему юной Германіи, уже основавшей свой органъ въ 1838 г.: «Deutsche Jahrbücher». Онъ только заклеймилъ эти явленія названіемъ необуданныхъ шалостей *разсудочнаго*, но не философскаго ума. Самъ Шиллеръ объя-

вился еще у этого идеализма, за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности — геніальнымъ ребенкомъ, который никогда не могъ возвыситься отъ теплыхъ, хорошихъ ощущеній до спокойнаго созерцанія идей и міровыхъ законовъ, управляющихъ людьми, до объективнаго пониманія предметовъ. Отецъ русскаго идеализма, Б., вмѣстѣ съ тѣмъ былъ весьма податливъ и на житейскія наслажденія, которыми пользовался совершенно безпечно, и за которыми гнался какъ-то наивно, простодушно. Жизнь и философія тутъ не мѣшали другъ другу. Впрочемъ, слѣдуетъ еще разъ повторить, что нигдѣ, можетъ быть, философскій романтизмъ не воплощался въ такомъ сильномъ, по средствамъ и дарованіямъ, представителѣ, какимъ былъ Б. Прикрытый математически-строгими формулами Гегелевой логики, романтизмъ этотъ казался по наружности очень суровой проповѣдью, будучи въ сущности только потворствомъ и оправданіемъ для самыхъ утонченныхъ прихотей мысли, наслаждающейся собой.

Для Бѣлинскаго, однакоже, это было другое дѣло: философскія занятія далеко не служили ему потѣхой и развлеченіемъ, а наоборотъ — горькимъ и тяжелымъ искусомъ, который онъ проходилъ съ трудомъ и самоотверженіемъ, надѣясь обрѣсти истину, покой для мысли и совѣсти на концѣ его. Надо было привыкать къ строю мыслей, открываемыхъ новымъ созерцаніемъ и безпощадно убивать въ себѣ всякое сомнѣніе въ немъ, всякій позывъ къ противорѣчію. Философскій оптимизмъ требовалъ очень многаго. Путемъ отвлеченностей и метафизическихъ выкладокъ, онъ превращалъ въ научныя аксіомы, въ философскія истины и въ откровенія «духа» — ходячія общественныя начала, за малыми исключеніями, почти всю современную жизненную обстановку и большую часть всѣхъ умственныхъ и другихъ отправленій, навѣваемыхъ и вызываемыхъ текущей минутой.

Въ этомъ благопріятномъ разъясненіи текущей минуты именно и заключалось преимущественно то обаяніе, которое производилъ на всѣхъ тогдашній глубоко-консервативный, религіозный, даже съ мистическимъ оттѣнкомъ, семейно-добродѣтельный, нравственный, *музыкальный* Б., — такой, какимъ его знали до 1840 г., когда онъ уѣхалъ за границу изъ Россіи.

Съ тѣхъ поръ онъ ушелъ далеко; но потребность созиданія системъ и воззрѣній, обманывающихъ духовныя потребности человѣка, вмѣсто удовлетворенія ихъ — осталась все та же, и тотъ же романтизмъ, ищущій необычайныхъ выводовъ и потрясающихъ эффектовъ, слышится и въ его призывахъ къ разрушенію обществъ,

и къ истребленію цивилизаціи, какъ прежде слышался въ воззваніяхъ къ высшему героическому пониманію и осуществленію нравственности и человѣческаго достоинства.

Уже и тогда многіе, какъ покойный В. П. Боткинъ, напримѣръ, и самъ Бѣлинскій, по временамъ, понимали хорошо источники проповѣди Б. Описывая мнѣ его личность въ 1840 году, тогда мнѣ еще совершенно незнакомую, Бѣлинскій говорилъ: «Это пророкъ и громовержецъ,—но съ румянцемъ на щекахъ и безъ пыла въ организмѣ». Таково было послѣднее впечатлѣніе, вынесенное имъ изъ долгихъ сношеній съ учителемъ. Но въ общественномъ значеніи никто не отказывалъ философіи Б., потому что она дѣйствительно составляла прогрессъ въ умственномъ развитіи нашего общества и служила прогрессу. Способъ пониманія цѣлей и задачъ жизни, ею усвоенный, заключалъ въ себѣ много фантастичнаго элемента, но, конечно, стоялъ неизмѣримо выше того грубаго способа ихъ представленія, который царствовалъ у большинства современниковъ. Смыслъ, который система Б. отыскивала не только въ политическихъ, но даже въ будничныхъ эфемерныхъ явленіяхъ текущаго дня, дѣйствительно, былъ произвольный и навязанный имъ насильно, но все-таки это былъ смыслъ, для усвоенія котораго слѣдовало еще многому поучиться и о многомъ подумать. Положенія проповѣди Б. слишкомъ многое узаконяли въ существующихъ порядкахъ — это правда, но они узаконяли ихъ такъ, что порядки эти переставали походить на самихъ себя. Они становились идеалами въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ были на реальной почвѣ. Нравственныя требованія отъ всякой отдѣльной личности носили у него характеръ безграничной строгости: вызовъ на героическіе подвиги составлялъ постоянную и любимую тэму всѣхъ бесѣдъ Б. Гегелевское опредѣленіе личности, какъ поприща, на которомъ совершается таинство самоопредѣленія и окончательнаго разоблаченія «творящей идеи», уполномочивало уже требовать отъ каждаго человѣка самыхъ напряженныхъ усилій на пути развитія своего сознанія и нравственныхъ доблестей. Б. и требовалъ этихъ усилій, съ вдохновеніемъ и настойчивостью, которыя вошли уже у него въ организмъ и привычку. Такъ, даже наканунѣ французскаго переворота 1848 года, въ Парижѣ, когда онъ самъ перешелъ на чисто-политическую арену и, сильно окрашенный польской пропагандой, приступилъ къ подговорамъ, тайнымъ махинаціямъ и клубнымъ мѣрамъ въ извѣстномъ родѣ,—онъ готовъ былъ всегда призывать людей къ чистымъ подвигамъ, цѣломудренной жизни и идеальному пониманію ея задачъ. Это и заста-

вило Г. прозвать его тогда же (1847 г.) въ шутку «старой Жанной д'Аркъ». Г. прибавлялъ, что это и дѣвственница, но только *анти*-орлеанская, такъ какъ питаетъ отвращеніе къ королю Луи-Филиппу—орлеанскому.

Человѣкъ, предшествовавшій Б. въ изученіи Гегеля и даже впервые, какъ мы сказали, посвятившій самого Б. въ науку, Н. В. Станкевичъ, никогда не доходилъ до полнаго абсолютнаго оптимизма въ философіи. Станкевичъ уже и потому не могъ соперничать въ этомъ съ товарищемъ, что, выходя съ нимъ изъ однихъ основаній и не менѣе его отданный во власть романтическаго настроенія, не способенъ былъ, однако же, по разборчивости ума, изяществу и поэтичности природы, къ грубымъ обобщеніямъ. По причинамъ просто- и чисто-физіологическимъ, онъ останавливался въ недоумѣніи передъ каждой скрытой и явной несправедливостью, такъ же точно, какъ и передъ всякимъ чрезмѣрнымъ увлеченіемъ. У него была повѣрка излишне заносчивыхъ тезисовъ въ чувствѣ мѣры, да къ тому же онъ снабженъ былъ и даромъ юмора, который открывалъ ему оборотную тѣневую сторону предметовъ. Этого дара вовсе недоставало Б. Должно считать счастливымъ обстоятельствомъ для Б. то, что, въ эпоху его самой жаркой проповѣди, Станкевичъ (съ осени 1837 г.) и Грановскій (за годъ до того) были за-границей, а Г. проходилъ первое свое удаленіе, сперва въ Вятку, а потомъ во Владиміръ; случись они тогда въ Москвѣ, законодательная дѣятельность Б. и его декреты по предметамъ мышленія получили бы значительное ограниченіе и измѣненіе.

Остается теперь посмотрѣть, какъ всѣ эти свойства и качества философской системы Б. отразились тогда на душѣ Бѣлинскаго.

П. Анненковъ.

КОНСТИТУЦІОНАЛИЗМЪ

и

А. ТЬЕРЪ

Discours parlementaires de M. Thiers, t. I, II, III. — Paris, 1879.

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

I.

Около года тому назадъ въ Парижѣ вышли въ свѣтъ три весьма полныхъ тома, около шестисотъ страницъ каждый, подъ названіемъ: «Discours parlementaires de M. Thiers». Изданіе это возбудило значительный интересъ, легко объясняемый тою историческою ролью, которую Тьеръ игралъ въ судьбахъ своей родины. Болѣе сорока лѣтъ онъ стоялъ на виду всей Франціи, а стоять на виду Франціи—значитъ привлекать къ себѣ вниманіе всего цивилизованнаго міра. Юношей двадцати-трехъ, двадцати-четырехъ лѣтъ, Тьеръ съ юга Франціи явился въ Парижъ, и немного нужно было ему времени, чтобы занять видное мѣсто въ литературныхъ кружкáхъ. Онъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ сотрудниковъ либеральной газеты эпохи реставраціи: «Constitutionnel», что́ не мѣшало ему однако работать надъ большимъ историческимъ трудомъ: «l'Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'au 18 brumaire». Если теперь, послѣ трудовъ Мишле, Кинэ, Луи-Блана, Карлейля, Зибеля, Тэна, книга Тьера потеряла значеніе, то въ свое время она не могла не

доставить автору значительной извѣстности. Вооруженный именемъ и зарождавшеюся славою, Тьеръ, вмѣстѣ съ историкомъ Минье и талантливѣйшимъ публицистомъ Франціи — Арманомъ Карелемъ, основываетъ газету «National», уже въ эпоху агоніи реставраціи. Не проходило дня, чтобы этотъ органъ независимой печати не наносилъ самыхъ жестокихъ ударовъ непонимавшему своего положенія правительству Карла X. Мѣсто, которое занялъ Тьеръ въ борьбѣ съ абсолютическими стремленіями министерства Полиньяка, выдвинуло его на первый планъ, когда пробилъ послѣдній часъ старшей линіи Бурбоновъ, и іюльская революція открыла передъ нимъ настежъ двери политической власти. Съ этой поры Тьеръ постоянно, въ теченіи болѣе чѣмъ сорока почти лѣтъ, находился на передовомъ посту, — было ли то въ роли энергичнаго министра Людовика-Филиппа, или въ роли, если не главы, то все-таки одного изъ наиболѣе суровыхъ дѣятелей оппозиціи злополучнаго правительства Наполеона III. Его сорокалѣтняя опытность государственнаго человѣка и политическое чутье доставили ему преобладающее значеніе, послѣ крушенія второй имперіи, — и званіе перваго президента юной республики увѣнчало его долгое, хотя и не всегда одинаково полезное служеніе родинѣ.

Изъ всѣхъ государственныхъ людей нашего столѣтія дѣятельность Тьера была самою продолжительною. Онъ пережилъ пять крупныхъ историческихъ фазисовъ развитія своей страны, и въ каждомъ изъ нихъ, было ли то въ эпоху реставраціи или іюльской монархіи, въ эпоху республики 1848 года или второй имперіи — и, наконецъ, въ продолжающійся фазисъ республики 1870 года, онъ оставилъ по себѣ крупный слѣдъ. Онъ никогда не оставался въ толпѣ зрителей, а всегда фигурировалъ на историческихъ подмосткахъ въ качествѣ одного изъ крупныхъ дѣйствующихъ лицъ.

Если Тьеръ въ продолженіи такого долгаго періода никогда не удалялся съ боевыхъ позицій, неся чуть не безсмѣнную службу на аванпостахъ консервативнаго лагеря, то нѣтъ, разумѣется, ничего удивительнаго, что не было сколько-нибудь выдающагося событія во Франціи, или даже внѣ Франціи, если только оно такъ или иначе отзывалось на этой странѣ, по поводу котораго Тьеръ не произнесъ бы той или другой рѣчи. Естественно поэтому, что количество произнесенныхъ имъ рѣчей по-истинѣ громадно; и что полное изданіе ихъ составитъ чуть не маленькую библіотеку. О размѣрахъ этого изданія можно

уже судить по тому, что первые три тома обнимаютъ всего лишь періодъ въ шесть лѣтъ, съ 1830 по 1836 годъ.

Собранныя въ одно цѣлое, рѣчи эти представляютъ богатый матеріалъ для характеристики тѣхъ историческихъ фазисовъ, черезъ которыя проходила Франція со времени паденія перваго Наполеона до послѣдней республики, устанавливающейся на нашихъ глазахъ. Матеріалъ этотъ тѣмъ болѣе интересенъ, что онъ съ необычайною живостью возстановляетъ передъ нами еще не столь отдаленное прошлое Франціи, прошлое въ высшей степени поучительное въ особенности для тѣхъ странъ, которымъ, быть можетъ, только въ будущемъ придется переживать тѣ моменты, которые переживала Франція въ своемъ политическомъ развитіи. Рѣчи Тьера—это не сухая матерія, это не мертвыя докладныя записки по тому или другому вопросу,—нѣтъ, это свѣжія страницы исторіи того или другого періода, которыхъ время не заставило пожелтѣть. Передъ читателемъ развертывается широкая картина политической борьбы партій, со всею ея страстностью, съ горячею схваткою противоположныхъ воззрѣній и убѣжденій, высказываемыхъ прямо, безъ страха, безъ опасенія кому-либо не понравиться и навлечь на себя немилость и гнѣвъ. Словомъ, въ этихъ рѣчахъ воскресаетъ передъ нами политическая жизнь Франціи, столь богатая поученіями. Тутъ — и только тутъ — кроется весь интересъ предпринятаго изданія полнаго собранія рѣчей Тьера, которыя въ другомъ какомъ-либо отношеніи едва ли заслуживали бы подробнаго разбора.

Если издатели, или—вѣрнѣе—издатель этихъ рѣчей, сенаторъ Кальмонъ, полагалъ, что собраніе рѣчей Тьера будетъ служить для него «нерукотворнымъ памятникомъ», то такое предположеніе нельзя не признать крайне ошибочнымъ. Рѣчи эти сами-по-себѣ, взятыя отдѣльно отъ тѣхъ событій, которыми онѣ вызывались, не представляютъ большого интереса и не могутъ не только увеличить, но скорѣе должны умалить ту славу государственнаго человѣка, которая сопутствовала Тьера въ послѣдніе годы его жизни. Къ яркому ореолу «освободителя страны» собраніе рѣчей не можетъ прибавить ни единой блестки.

Читая рѣчи Тьера, невольно вспоминаешь ту истину, что исторія сплошь-и-рядомъ выдвигаетъ на первый планъ людей, которые, казалось бы, вовсе не предназначены играть первенствующей роли. Такая роль предполагаетъ исключительныя способности, глубокія внутреннія достоинства, ширину воззрѣній, ту проницательность, которая не довольствуется яснымъ представленіемъ настоящаго положенія вещей, но которая даетъ возмож-

ность, на основаніи настоящаго, болѣе или менѣе вѣрно угадывать, по крайней мѣрѣ, ближайшее будущее. Относясь съ полною безпристрастностью къ Тьеру, нельзя все-таки не сказать, что онъ лишенъ былъ всѣхъ этихъ достоинствъ. Значеніе всякаго государственнаго человѣка опредѣляется его общимъ міросозерцаніемъ, извѣстною политическою системою, которую онъ проводитъ въ общество. Эта система опредѣляетъ его отношеніе ко всѣмъ вопросамъ общественной жизни, будетъ ли то вопросъ религіозный, экономическій или политическій. Система можетъ быть, разумѣется, антипатична, не согласна съ требованіями времени, какъ мы видимъ это у князя Бисмарка, но тѣмъ не менѣе она даетъ возможность впередъ сказать, какъ отнесется государственный человѣкъ, обладающій такою системою, къ тому или другому возникающему вопросу. Ничего подобнаго не было у Тьера. Напрасный трудъ было бы отыскивать въ его рѣчахъ твердыхъ принциповъ, которыми бы онъ руководился въ своей политической дѣятельности, крѣпкихъ устоевъ той или другой политической системы. Всѣ его воззрѣнія были необычайно гибки,—они гнулись смотря по обстоятельствамъ, и въ этой гибкости крылся залогъ первоначальнаго успѣха Тьера. «Непримиримаго» въ политикѣ для него не существовало, и не существовало потому, что онъ не любилъ проникать глубоко въ возникавшіе вопросы и совершавшіяся событія, и довольствовался поверхностнымъ ихъ анализомъ. Можно указать не одинъ примѣръ того, съ какою легкостью онъ умѣлъ примирять непримиримое, и какъ мало смущали его, въ силу только поверхностности воззрѣній, самыя сложныя событія. Не кто иной какъ Тьеръ провозгласилъ политическое положеніе: «le roi règne, mais ne gouverne pas», а между тѣмъ, когда Луи-Филиппъ старался проводить свою личную политику, т.-е. хотѣлъ не только царствовать, но и править,—кто является прежде другихъ защитникомъ такого уклоненія отъ правильнаго конституціоннаго образа дѣйствій? Прежде всѣхъ на защиту выступаетъ Тьеръ, доказывая передъ палатой депутатовъ, что министры могутъ восхвалять хорошую политику короля, но, согласно правиламъ какого-то особаго конституціонализма, должны принимать на свою отвѣтственность только дурную политику. Какъ будто бы съ точки зрѣнія извѣстнаго принципа было не безразлично—хороша, или дурна была политика короля. Другой примѣръ: Тьеръ, какъ историкъ французской революціи, какъ авторъ «Consulat et l'Empire», не могъ, разумѣется, не признавать, что большая революція порвала связь Франціи съ феодализмомъ, что революція эта вдохнула въ вены

Франціи духъ демократизма, который неуклонно стремится, хотя далеко не кончилъ еще своей борьбы, къ вытѣсненію политическихъ привилегій и соціальныхъ преимуществъ. Двадцать разъ Тьеръ въ своихъ рѣчахъ говоритъ о демократическомъ духѣ, пропитавшемъ французскую націю. Повидимому, этотъ демократическій духъ никакъ не можетъ быть примиренъ съ наслѣдственностью власти въ рукахъ извѣстной касты или сословія. Но невозможное для другого вполнѣ возможно для Тьера. Никто съ такою горячностью не отстаивалъ наслѣдственности пэріи, какъ именно Тьеръ. Возникаетъ ли во Франціи политическое броженіе, показываются ли признаки недовольства, Тьеръ, боровшійся съ «исключительными законами» времени реставраціи, не находитъ ничего лучшаго, какъ не только отстаивать, но требовать исключительныхъ мѣръ. Прорывается наружу соціальный вопросъ, въ формѣ ліонскаго возстанія,—Тьеръ не обнаруживаетъ склонности углубиться въ сущность вопроса, онъ смотритъ поверхностно—и тамъ, гдѣ кроется патологическій процессъ, онъ видитъ только смуту. Въ сердцѣ Франціи, въ Парижѣ, возникаетъ одно тайное общество за другимъ, совершаются покушенія на жизнь короля,—Тьеръ, вмѣсто того, чтобы прислушаться къ движенію и задаться вопросомъ: не оставлены ли безъ удовлетворенія законныя требованія людей, совершившихъ іюльскую революцію? — старается только придумать новыя и новыя мѣры для борьбы съ анархическою партіею, какъ называли въ то время партію республиканскую. Никакія суровыя мѣры не помогаютъ, исключительные законы не въ силахъ смирить анархическую партію, заговоры продолжаются, —Тьеръ все-таки не хочетъ или, вѣрнѣе, не можетъ понять движенія, и по-прежнему, хотя также неудачно, возлагаетъ надежды на исключительныя мѣры, военное положеніе, страхъ смертной казни и т. п., и все это не оказываетъ никакого дѣйствія. А такъ-называемая анархическая партія все растетъ, и Тьеръ не догадывается, что ея анти-легальная оппозиція, доходящая до заговоровъ и покушеній, можетъ быть поколеблена не «исключительными законами», а тѣми законами, которые предоставляютъ и правительству, и націи, болѣе простора въ управленіи собственными дѣлами. Должна была ураганомъ пронестись февральская революція, сбросившая іюльскую монархію въ ту же пропасть, въ которой лежали низвергнутыми монархія Людовика XVI, реставрація и имперія Наполеона I, чтобы Тьеръ наконецъ убѣдился, что военное положеніе и исключительные законы не спасаютъ монархіи.

Какъ мало заглядывалъ Тьеръ въ будущее, какъ мало уга-

дывалъ онъ его, можно уже судить потому, что онъ считалъ неосуществимою утопіею то, что̀ должно было осуществиться какихъ-нибудь двадцать лѣтъ спустя. Всеобщая подача голосовъ представлялась ему чѣмъ-то дикимъ, невозможнымъ, какою-то бреднею безумныхъ мечтателей, а между тѣмъ много ли нужно было времени, чтобы она сдѣлалась закономъ Франціи. Тьеръ не видѣлъ дальше двухсотъ тысячъ избирателей на 30-милльонное населеніе, и, повидимому, былъ увѣренъ, что Франція не можетъ желать ничего лучшаго. Когда исторія въ такой короткій промежутокъ времени даетъ столь рѣзкое опроверженіе убѣжденіямъ государственнаго человѣка, то виновата въ этомъ, конечно, не исторія, а недостаточная дальнозоркость самого человѣка. Такою же близорукостью отличался Тьеръ въ вопросахъ внѣшней политики. Хотя серьёзное изученіе исторіи не могло его не убѣдить въ крайней шаткости всевозможныхъ трактатовъ, но, высказывая свои политическія воззрѣнія, онъ видимо забывалъ все то, чему учила исторія. Такъ, онъ не могъ представить себѣ Европу, въ иномъ видѣ, въ иной формѣ, какъ въ той, въ которой она была отлита вѣнскимъ трактатомъ, и когда раздавались, напримѣръ, слабые голоса предтечъ итальянскаго единства, онъ смѣло бросалъ въ нихъ словомъ: химера!—Химера сегодня, завтра—дѣйствительность—этого никогда не могутъ понять государственные люди средняго калибра.

Если Тьеръ лишенъ былъ тѣхъ свойствъ, которыя создаютъ великихъ государственныхъ людей; если онъ не выработалъ извѣстной системы, которая оставила бы по себѣ прочный слѣдъ въ общественной жизни; если у него не было глубины воззрѣній, лишавшей его политической дальнозоркости; если имя его, наконецъ, не связано ни съ какою великою реформою въ государственномъ строѣ, такъ какъ по всей справедливости нельзя признать, чтобы онъ былъ созидателемъ послѣдней республики, скорѣе слѣдуетъ сказать, что республика вела его на буксирѣ,—за то у него было множество, такъ-сказать, второстепенныхъ достоинствъ, благодаря которымъ онъ и выдвинулся на первый планъ. Умъ Тьера, не обладая большою глубиною, отличался необыкновенною живостью: если онъ не видѣлъ далеко,—за то, что̀ онъ видѣлъ, онъ видѣлъ отчетливо, ясно, съ необыкновеннымъ искусствомъ; онъ умѣлъ быстро осваиваться съ тѣмъ или другимъ вопросомъ, и, не исчерпывая его никогда до дна, онъ съ большимъ блескомъ освѣщалъ его поверхность. Не существовало такого вопроса въ государственной жизни, въ которомъ Тьеръ признавалъ бы себя некомпетентнымъ; онъ съ одинаковою

легкостью и ясностью говорилъ о самыхъ сложныхъ финансовыхъ операціяхъ, трактовалъ о вопросахъ, требовавшихъ познаній въ области архитектуры, инженернаго искусства, и рядомъ съ обсужденіемъ вопросовъ экономическихъ онъ обсуждалъ вопросы, касавшіеся военной техники. Послѣдніе въ особенности были близки его сердцу. Никто не отличался такимъ искусствомъ придумывать извороты, находить выходъ изъ самыхъ запутанныхъ положеній. Вліяніе его въ палатѣ всегда было чрезвычайно велико, и этимъ онъ обязанъ былъ своему умѣнью всегда приходиться по плечу посредственному большинству. Въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ онъ никогда не поднимался на такую высоту, на которой не могъ бы держаться средній уровень его слушателей; оставаясь всегда на землѣ, онъ старался о томъ, чтобы самый обиженный судьбою депутатъ не догадался о его превосходствѣ. Страсти, искренняго чувства вы нигдѣ не встрѣтите въ его рѣчахъ, и изъ-за горячихъ словъ всегда виднѣется напускной паѳосъ. Говорилъ ли Тьеръ объ увеличеніи налоговъ, падающихъ на бѣдные классы народа, говорилъ ли о жертвахъ, павшихъ въ бою, защищая, какъ онъ выражался «самую законную изъ революцій», т.-е. іюльскую революцію, разсуждалъ ли о бѣдствіяхъ рабочаго сословія, вслѣдствіе того или другого кризиса,—всегда изъ-подъ внѣшняго сочувствія, наружной теплоты, вѣяло внутреннимъ холодомъ. Больше всего и больше всѣхъ Тьеръ былъ преданъ интересамъ третьяго сословія, т.-е. буржуазіи, ей онъ служилъ по преимуществу, и служеніе его часто доходило до лести. За эту преданность буржуазія платила ему тою же монетою: онъ былъ ея излюбленнымъ государственнымъ человѣкомъ. Вездѣ, гдѣ только приходили въ столкновеніе интересы буржуазіи съ интересами низшихъ классовъ общества, Тьеръ всегда былъ на сторонѣ первой, поддерживая ее своимъ вліяніемъ. Къ тому, что зовется народомъ, Тьеръ всегда относился съ пренебреженіемъ, не понимая требованій предоставленія ему права участія въ общественныхъ дѣлахъ и воздавая ему должное только тогда, когда этотъ народъ проливалъ свою кровь на полѣ сраженія.

Внѣшняя сторона рѣчей Тьера вполнѣ отвѣчала ихъ внутреннему содержанію. Не обладая даромъ краснорѣчія, онъ излагалъ свои мысли легко, просто, незатѣйливо. Сильныхъ красокъ, образовъ, у него нѣтъ и помину, но за то мало кто отличался такою дѣльностью, ясностью своихъ рѣчей, какъ Тьеръ. По внѣшней манерѣ это былъ ораторъ средняго уровня, «золотой середины», прежде всего желавшій нравиться, но не импонировать палатѣ.

Какъ достоинства Тьера, такъ и, пожалуй еще больше, его недостатки привлекли къ нему всѣ симпатіи эгоистически-либеральной буржуазіи, открыто торжествовавшей послѣ іюльской революціи. Онъ, и по своему происхожденію, и по образу мыслей, и по своимъ идеямъ, не особенно глубокимъ, и потому всѣмъ понятнымъ, былъ, что-называется, своимъ человѣкомъ въ глазахъ получившей господство партіи. Никто лучше Тьера не могъ служить выразителемъ ея направленія. Правда, случалось, что между Тьеромъ и буржуазіей происходили размолвки въ палатѣ, что большинство съ нимъ не соглашалось, какъ, напримѣръ, по вопросу о наслѣдственности пэріи; но эти размолвки продолжались недолго, Тьеръ не былъ злопамятенъ и первый заботился о возстановленіи согласія и любви. Пользуясь симпатіями буржуазіи, онъ пользовался также и милостью перваго и вмѣстѣ послѣдняго настоящаго короля буржуазіи Лудовика-Филиппа, столь ревниваго къ власти. Но Тьеръ своею податливостью, изворотливостью, отстаиваніемъ матеріальныхъ интересовъ короля, съумѣлъ успокоить эту его ревность и сдѣлаться однимъ изъ угодныхъ лицъ новаго короля. Совершенно естественно, что, пользуясь, съ одной стороны, симпатіями восторжествовавшей буржуазіи, съ другой—довѣріемъ короля-гражданина, Тьеръ сдѣлался однимъ изъ главныхъ двигателей конституціоннаго механизма, установленнаго во Франціи послѣ паденія Наполеона и уже потребовавшаго починки въ 1830 году. Полное собраніе рѣчей Тьера, въ которыхъ выразилась его сорока-пяти-лѣтняя парламентская дѣятельность, только и имѣетъ то достоинство, что можетъ служить прекрасною руководящею нитью для исторіи французскаго конституціонализма, представляющаго такъ много поучительнаго. Какъ установилась конституціонная монархія, каковы были ея золотые дни, гдѣ лежали причины порчи этого механизма, и какъ, наконецъ, онъ пришелъ въ разрушеніе—вотъ вопросы, которые возбуждаются чтеніемъ рѣчей Тьера и на которые нужно постараться отвѣтить.

II.

Конституціонный механизмъ іюльской монархіи не былъ оригиналенъ. Онъ былъ заимствованъ у реставраціи, и потому, чтобы понятны были условія движенія этого механизма, нужно взглянуть, какъ дѣйствовалъ онъ при самомъ своемъ установленіи.

Обстоятельства, при которыхъ пущена была въ ходъ кон-

ституціонная машина во Франціи, были совершенно исключительныя. Франція платилась однимъ изъ самыхъ суровыхъ кризисовъ въ своей исторіи за предоставленіе своей судьбы въ руки военнаго диктатора, не щадившаго крови, матеріальныхъ и нравственныхъ силъ народа—и все это для достиженія эгоистическихъ и высокомѣрныхъ цѣлей. Въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, послѣ coup d'Etat 18 брюмера (9-го ноября 1799), французская нація какъ-бы не существовала, она была подавлена дорого стоившимъ величіемъ одного человѣка, имѣвшаго гораздо болѣе права, нежели Лудовикъ XIV сказать: «государство—это я»! Испытывая на себѣ его желѣзную руку, Франція не дышала, свобода показалась ей какъ чудное видѣніе, пронесшееся точно во снѣ. За мимолетнымъ яркимъ свѣтомъ наступила для народа снова мрачная ночь. Ростъ Наполеона былъ такъ быстръ, появленіе его окружено было такимъ невѣроятнымъ блескомъ, что Франція, истощенная, уже передъ его появленіемъ, крайнимъ напряженіемъ силъ и внутреннею борьбою, самою грандіозной во всемірной исторіи,—почувствовала себя какъ-бы ошеломленною и отдалась безропотно во власть великана-воина, полагаясь на его великодушіе. Но на горе Франціи и вмѣстѣ самого Наполеона это великодушіе выразилось въ трехъ милліонахъ человѣческихъ жертвъ, которыхъ стоила націи слава ея военнаго генія, и въ немилосердомъ угнетеніи всякаго живого слова, малѣйшаго проявленія свободы, всѣхъ «правъ человѣка», такъ недавно еще провозглашенныхъ среди всеобщаго энтузіазма и френетическихъ восторговъ націи. Но чудесное, хотя и мимолетное видѣніе свободы не прошло безслѣдно. Франція не забывала его и мало-по-малу въ различныхъ концахъ стали раздаваться вздохи, переходившіе въ чуть слышный ропотъ.

Годъ наибольшаго могущества и блеска Наполеона былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и годомъ, когда Франція стала выходить изъ забытья. Бракъ съ австрійскою эрцгерцогинею, рожденіе сына, которому данъ былъ титулъ римскаго короля, какъ-бы указывавшаго на роль властелина половины міра, предназначавшейся для появившагося на свѣтъ ребенка, пышный дворъ со всѣми его аттрибутами, шитые золотомъ мундиры, ленты, титулы, принцы крови, герцоги, князья, пожалованные и разжалованные короли, раздача царствъ въ знакъ милости повелителя, какое-то боготвореніе, выказываемое императору цѣлою сворою льстецовъ, все это, вмѣстѣ взятое, представлялось уже многимъ не чѣмъ инымъ, «какъ фарсомъ, подчасъ гнуснымъ, и почти всегда шутовскимъ до невозможности». Для болѣе проницательныхъ умовъ станови-

лись все болѣе и болѣе ясными зловѣщіе признаки въ общемъ положеніи дѣлъ, вся же масса населенія еще не совсѣмъ отчетливо, точно безсознательно испытывала одно чувство—невѣроятной усталости отъ вѣчно напряженнаго состоянія, отъ всего этого топота, треска, которыми сопровождались, потерявшія даже счетъ, войны, набросившія траурное одѣяніе на цѣлую націю. Не было семьи, которая не насчитывала бы среди своихъ близкихъ одного, двухъ, и часто еще болѣе убитыхъ. Зловѣщіе признаки сказывались въ затрудненіяхъ финансовыхъ, въ неудачной войнѣ въ Испаніи, гдѣ побѣдоносная армія оказывалась безсильною въ борьбѣ съ поднятымъ народнымъ духомъ, въ столкновеніяхъ даже съ Мюратомъ и Бернадотомъ, посаженными на престолъ Наполеономъ, а наконецъ, и что̀ самое главное, все въ возраставшей ненависти цѣлой Европы къ императору-выскочкѣ. Усталость націи сказывалась въ томъ равнодушіи, съ которымъ народъ принималъ теперь извѣстія о побѣдѣ, о пораженіи. Побѣда его больше не радовала, пораженіе не печалило. Наполеонъ сознавалъ затруднительность положенія, но, какъ всегда, онъ видѣлъ одинъ только выходъ: новыя побѣды, новая война! И онъ бросился въ войну съ Россіей, имѣвшую одинъ результатъ—гибель болѣе чѣмъ четырехсотъ-тысячной арміи, гибель не отъ славной смерти въ бою, а отъ лютой смерти въ снѣжныхъ сугробахъ. Бросивъ обломки своей арміи въ Россіи, онъ спѣшитъ въ Парижъ, гдѣ его встрѣчаетъ глухой ропотъ негодованія. Ему нужны новые успѣхи, новыя побѣды, чтобы заставить позабыть страшный погромъ, постигшій его въ Россіи, и онъ не задумывается собрать новую армію и бросается съ нею на Рейнъ, чтобы еще разъ заставить смириться Пруссію и другія нѣмецкія государства. Рядъ побѣдъ, одержанныхъ снова Наполеономъ, имѣетъ своимъ единственнымъ послѣдствіемъ новую и еще болѣе грозную коалицію противъ Франціи. Онъ съ высокомѣріемъ отвергаетъ всѣ предложенія иностранныхъ кабинетовъ, и нѣтъ такой силы, которая была бы способна его образумить. Онъ не хочетъ слышать о другомъ мирѣ, какъ только о такомъ, который онъ продиктовалъ бы послѣ рѣшительной побѣды надъ всею Европою, онъ не хочетъ думать объ истощеніи Франціи, онъ не привыкъ думать о тѣхъ жертвахъ, которыя стоютъ народу его честолюбивыя цѣли. Глухой ропотъ находитъ себѣ, наконецъ, робкое выраженіе въ голосѣ законодательнаго корпуса, впервые послѣ стольких лѣтъ безмолвной покорности, дерзавшаго произнести: довольно воевать! Презрѣніе Наполеона къ этому голосу было его единственнымъ отвѣтомъ. За это-то презрѣніе къ голосу

народа онъ и долженъ былъ понести наказаніе, въ немъ и крылась причина его конечной гибели. Зимою 1814 года союзныя арміи вступили въ предѣлы Франціи. Необузданная ярость охватила всю націю, и въ этой ярости перемѣшалась ненависть къ чужеземцамъ съ проклятіемъ человѣку, который былъ причиною ихъ нашествія. Замученная невѣроятными бѣдствіями, объятая ужасомъ при мысли о новой войнѣ, истекавшая кровью нація переживала теперь самую трагическую минуту. У нея не было выхода. Вынесши новую войну съ новыми налогами, съ новыми наборами, она чувствовала себя безсильною. Она отдала уже всѣ свои сбереженія, она принесла въ жертву злому генію Франціи всѣхъ своихъ дѣтей. Отдаться безропотно и безъ сопротивленія во власть чужеземцевъ—что могло быть унизительнѣе и позорнѣе такого положенія! Наполеонъ съ небольшою арміею оставилъ Парижъ, съ вѣрою въ свою звѣзду и съ надеждою нанести ударъ коалиціи, но онъ оставилъ позади себя двухъ враговъ болѣе страшныхъ, чѣмъ союзныя арміи: недовѣріе къ его могуществу и непреодолимую жажду мира и успокоенія. Оружіе выпало изъ рукъ народа. Интрига, измѣна довершили дѣло—и ворота Парижа открылись передъ чужеземною арміею. Наполеонъ поспѣшилъ назадъ, но уже было поздно, чтобы спасти имперію, и никто лучше его самого не понималъ этого. «Если враги подойдутъ къ воротамъ Парижа, —говорилъ онъ, — то имперія погибла». Она и погибла въ дѣйствительности, и тому, который задушилъ свободу, и, по прекрасному выраженію историка, сдѣлалъ изъ Франціи солдата, а самъ сдѣлался богомъ этого солдата,—не оставалось ничего другого, какъ подписать въ Фонтенблó свой смертный приговоръ въ актѣ объ отреченіи отъ престола.

Во время владычества Наполеона во Франціи исчезла даже тѣнь свободы; онъ, какъ истинный деспотъ, не терпѣлъ проявленія свободной мысли: все, что думало самостоятельно, все, что отзывалось независимостью убѣжденій,—все преслѣдовалось безпощадно. Ему нужны были рабы, а не свободные люди, и въ рѣшительную минуту своего паденія Наполеонъ могъ убѣдиться, что желаніе его осуществилось свыше мѣры: кругомъ его были не люди, а настоящіе рабы. Согласно конституціи, Наполеономъ созданы были сенатъ и законодательный корпусъ, но эти два учрежденія, по его мысли, должны были быть только орудіями его личной власти; то и другое учрежденіе онъ наполнилъ людьми, безпрекословно исполнявшими приказанія своего господина. Они привыкли только повиноваться, имъ незнакомы были ни чувство чести, ни чувства достоинства и независимости страны, и когда

побѣдители отказались вести даже переговоры съ Наполеономъ и рѣшили призвать на тронъ Франціи старшую линію Бурбоновъ, цѣлою пропастью отдѣленныхъ отъ престола эшафотомъ, на которомъ былъ казненъ Людовикъ XVI,—то рабы Наполеона, какъ рабы, поспѣшили исполнить приказаніе другихъ господъ и провозгласили низложеніе Наполеона. Но одного голаго факта низложенія сенату, состоявшему изъ креатуръ Наполеона, было мало для проявленія всей глубины рабскихъ чувствъ: сенатъ съумѣлъ выразить ихъ полнѣе въ тѣхъ соображеніяхъ, которыми было мотивировано низложеніе. Всѣ дѣйствія Наполеона, совершенныя въ нарушеніе конституціи имперіи, были перечислены, какъ будто всѣ эти дѣйствія во время могущества Наполеона не встрѣчали восторженнаго одобренія со стороны тѣхъ же сенаторовъ. Наполеонъ, говорилось въ этихъ соображеніяхъ, нарушилъ свободу и права страны, онъ посягнулъ на личную свободу гражданъ, онъ въ силу произвола бросалъ людей въ тюрьмы, онъ уничтожилъ свободу печати, онъ собиралъ налоги и производилъ наборы, не спрашивая согласія представителей народа, съ обходомъ всѣхъ законныхъ формъ, онъ проливалъ кровь Франціи въ безумныхъ и безполезныхъ войнахъ, онъ покрылъ всю Европу трупами и всѣ дороги усѣялъ брошенными французскими ранеными, и т. д. Читая этотъ декретъ, которымъ онъ и нисходящее его потомство было объявлено низложеннымъ съ престола Франціи, Наполеонъ едва ли имѣлъ право удивляться неблагодарности своихъ вѣрныхъ слугъ. Онъ получилъ то, чего желалъ—рабы не могли поступить иначе. Какой горькій урокъ заключался въ этомъ предательствѣ раболѣпнаго сената, и какъ убѣдительно говорилъ онъ за то, что уничтоженіе свободы и замѣна ея всепринижающимъ произволомъ рано или поздно обращается противъ тѣхъ, кто не желаетъ вокругъ себя видѣть свободныхъ людей. Но урокъ этотъ прошелъ безслѣдно и для другихъ властителей Франціи. Законодательный корпусъ послѣдовалъ за сенатомъ, примкнувъ къ декрету о низложеніи Наполеона. Ему не оставалось ничего иного, какъ покориться и отправиться въ назначенную ему ссылку—на островъ Эльбу.

Какъ ни тяжело было положеніе націи при порядкѣ, созданномъ Наполеономъ, тѣмъ не менѣе ей не легко было примириться съ мыслью о возвращеніи Бурбоновъ. Двоякаго рода чувства волновали ее. Съ одной стороны, ее возмущало оскорбленное чувство народной независимости, такъ какъ въ реставраціи она не могла не видѣть правительства, поставленнаго во Франціи волею иностранныхъ государствъ; съ другой стороны, естественно было чувство опасенія, такъ скоро оправдавшагося, что старшая

линія Бурбоновъ пожелаетъ возстановить старый порядокъ, который возвратитъ силу духовенству, причинившему націи такъ много страданія, и снова предоставитъ всѣ старыя привилегіи высшему сословію, отъ котораго она натерпѣлась съ избыткомъ. Но нація сознавала себя безсильною и волей-неволей должна была принять то правительство, которое угодно было навязать ей торжествовавшимъ союзникамъ. Но среди этой націи было два класса, вовсе нечувствовавшихъ себя оскорбленными возвращеніемъ Бурбоновъ. Они не только желали его, но радовались ему. Эти два класса были высшее сословіе, старая аристократія, и буржуазія. Отчего радовались они, едва ли нужно и говорить. Люди принадлежавшіе къ высшему сословію, жаждали мести за всѣ обиды, нанесенныя имъ эпохою революціи и временемъ владычества Наполеона. Они надѣялись, что водворится старый порядокъ, и они вернутъ себѣ всѣ понесенныя ими потери.

Что же касается до буржуазіи, то она руководилась въ своемъ желаніи возвращенія Бурбоновъ совершенно иными соображеніями. Чувство чести, народнаго достоинства, любовь къ свободѣ стояли для нея на второмъ планѣ; она прежде всего и больше всего жаждала спокойствія, мира, который бы возвратилъ ей возможность снова дѣлать дѣла, наживать деньги, сберегать ихъ, что было вполнѣ немыслимо при военномъ режимѣ Наполеона. Но помимо этого основного соображенія, буржуазія полагала, что вновь призванные Бурбоны, помня горькій опытъ, не захотятъ повторить ошибки до-революціоннаго порядка, и будутъ отнынѣ искать болѣе прочной опоры—не въ высшемъ сословіи, а именно въ ней, въ буржуазіи. Она довольно справедливо разсуждала, что роль привилегированной аристократіи спѣта, и что если монархія можетъ держаться во Франціи, то исключительно только въ крѣпкомъ союзѣ съ «третьимъ сословіемъ», заключавшимъ въ себѣ и матеріальную силу—богатство, и до извѣстной степени нравственную—образованіе. Вотъ почему буржуазія не скрывала своей радости при извѣстіи о возвращеніи Лудовика XVIII. Она была увѣрена, что съ его воцареніемъ начнется періодъ либеральной монархіи, понимая по-своему слово либерализмъ, и что конституціонный механизмъ, неизбѣжность котораго для Франціи сознавали даже побѣдоносные абсолютные монархи, предоставитъ ей наибольшую долю вліянія въ управленіи государственными дѣлами. Въ сущности, и во время разгара революціи буржуазія не желала ничего иного.

Нельзя не признать, что общія условія, среди которыхъ была возстановлена монархія Бурбоновъ, были для нея самыя благо-

пріятныя. То повальное утомленіе, которое испытывала страна, то разочарованіе націи въ диктаторѣ, вышедшемъ изъ народа, то естественное влеченіе къ спокойной жизни, не нарушаемой раздражающимъ въ концѣ-концовъ воинственнымъ трескомъ—легко могли примирить націю даже съ реставраціею, если бы только возстановленная монархія ясно сознавала свое положеніе и ту коренную перемѣну, которая безповоротно произведена была въ умахъ великою революціею. Если бы націи было дано правленіе, основанное на принципѣ хотя ограниченнаго народнаго представительства, если бы духовенству не была предоставлена власть злоупотреблять своимъ могуществомъ, если бы собираемые налоги расходовались разумно и народныя деньги не предназначались бы въ излишествѣ на проекты и пышность королевскаго дома и на удовлетвореніе волчьяго аппетита возвратившихся эмигрантовъ, если бы личная свобода всегда была гарантирована въ дѣйствительности соблюдаемымъ закономъ,—то нація надолго бы примирилась съ возстановленною монархіею. Даже сенатъ Наполеона I, не блиставшій любовью къ свободнымъ учрежденіямъ, счелъ необходимымъ выставить тѣ принципы, уваженіе къ которымъ онъ считалъ обязательнымъ для возстановленной монархіи. Такими принципами онъ признавалъ неприкосновенность короля, отвѣтственность министерства, двѣ палаты, вотированіе палатами расходовъ и налоговъ, равенство всѣхъ передъ закономъ, несмѣняемость магистратуры, гарантіи личной свободы, полную свободу вѣроисповѣданій, свободу печати и полное забвеніе прошлаго, т.-е. всеобщую амнистію. Быть можетъ, Людовикъ XVIII лично былъ и не прочь держаться этихъ началъ, тѣмъ болѣе, что, не лишенный ума, онъ не могъ не сознавать ихъ необходимости, но, къ несчастью для реставраціи, онъ не былъ настолько силенъ, чтобы разорвать связь съ прошлымъ, которое неудержимо тянуло возстановленную монархію къ реакціи. Съ первыхъ же дѣйствій реставраціи сдѣлалось совершенно ясно, что она не будетъ способна примирить съ собою націю и надолго водворить спокойствіе въ взволнованной бурею странѣ.

Послѣ того, что сенатъ и законодательный корпусъ провозгласили низложеніе императора и имперіи, по плану Талейрана, составилось временное правительство, главнымъ образомъ изъ членовъ сената, которое должно было подготовить вступленіе Людовика XVIII въ столицу Франціи. Пока—онъ оставался въ Англіи въ ожиданіи событій, желая знать, при какихъ обстоятельствахъ должно произойти его вступленіе на престолъ. Талейранъ, игравшій выдающуюся роль въ возстановленіи старшей линіи Бурбоновъ,

находился съ Лудовикомъ XVIII въ постоянныхъ сношеніяхъ и не переставалъ настаивать, чтобы онъ всецѣло принялъ основныя положенія, выработанныя сенатомъ. Въ томъ же смыслѣ дѣйствовалъ и имп. Александръ I черезъ Поццо ди-Борго, выставлявшаго на видъ, что сенатъ былъ единственнымъ учрежденіемъ, устоявшимъ среди общаго погрома. Всѣ эти лица старались заранѣе установить modus vivendi между реставраціею и страною, основанный на взаимныхъ уступкахъ, на компромиссѣ между старымъ порядкомъ и новымъ строемъ идей. Но партія эмиграціи, закоренѣлыхъ роялистовъ, ничего не забывшихъ, ничему не научившихся, энергически противодѣйствовала всякому духу примиренія. Они настаивали, что король возвращается во Францію, въ свою страну, потому что онъ король, что его призывала на тронъ предковъ вся нація, а вовсе не раболѣпный сенатъ Наполеона и не воля великодушныхъ побѣдителей. Поддаваясь этому пагубному вліянію, Лудовикъ XVIII готовъ былъ забыть прошлое, простить своихъ заблуждавшихся вѣрноподданныхъ, но рѣшительно отвергалъ всякое убѣжденіе поступиться цѣлостью принципа королевской власти; онъ готовъ былъ исполнить заявляемыя требованія, но только не въ силу принятаго на себя обязательства, а въ силу своего безконечнаго великодушія. Такимъ именно настроеніемъ отзывалась его знаменитая декларація, подписанная имъ 2-го мая 1814 г. въ замкѣ Saint-Ouen. Одна эта декларація должна была тотчасъ же заставить сильно призадуматься людей либеральнаго лагеря, какъ Лафайетъ, Лафитъ и знаменитый другъ m-me Сталь Бенжаменъ Констанъ и многіе другіе, рѣшившіеся примириться съ реставраціей,—правда, за неимѣніемъ ничего лучшаго. Герцогъ Орлеанскій оставался пока еще въ тѣни; регентство Маріи-Луизы, матери римскаго короля, скрывало бы за собою вѣчный призракъ злого генія Франціи; республика была невозможна, такъ какъ на нее не согласились бы союзные монархи, воля которыхъ, къ униженію Франціи, сдѣлалась для нея закономъ. Примиреніе съ реставраціей было какъ-бы насильственное. Для того, чтобы оно превратилось въ добровольное, нужно было нѣчто иное, чѣмъ С.-Уенская декларація и послѣдующія дѣйствія правительства Лудовика XVIII.

Расположеніе Людовика XVIII разыгрывать роль монарха отжившаго порядка выразилось также и въ томъ, что онъ поспѣшилъ окружить себя обломками старой эмигрировавшей аристократіи, устроить себѣ пышный дворъ и составить весьма значительный военный придворный штатъ, стоившій двадцать милліоновъ франковъ, что, разумѣется, не могло не поселить тотчасъ же

сильнаго неудовольствія противъ возстановленной только-что монархіи. Не болѣе успѣшны были и тѣ пріемы, которые были употреблены при изданіи хартіи. Если бы она была издана даже въ томъ неудовлетворительномъ видѣ, какой несомнѣнно принадлежалъ ей, но издана какъ договоръ, установленный между реставраціей и страною, то, безъ сомнѣнія, она не вызвала бы такого неудовольствія. Но правительство постаралось придать всему дѣлу такой видъ, какъ будто бы Лудовикъ XVIII въ своей неисчерпаемой милости рѣшилъ даровать Франціи конституцію, чего въ дѣйствительности вовсе не было, такъ какъ конституція была поставлена главнымъ условіемъ возвращенія Бурбоновъ. Какова же была эта конституція, какія права предоставляла она націи, и въ какія условія ставила королевскую власть? Вопросъ этотъ представляется существеннымъ для нашей общей цѣли — прослѣдить все послѣдовательное развитіе французскаго конституціонализма. Конституція эпохи реставраціи имѣетъ весьма тѣсное значеніе для настоящей статьи, такъ какъ она послужила краеугольнымъ камнемъ и для іюльской монархіи.

Конституція или хартія реставраціи провозглашала равенство всѣхъ передъ закономъ, личную свободу гарантированную, свободу вѣроисповѣданій, право каждаго гражданина публиковать и печатно высказывать свои убѣжденія, подчиняясь при этомъ законамъ, которые должны карать злоупотребленіе этою свободою. Но въ этихъ положеніяхъ употреблена была самая неясная редакція, послужившая впослѣдствіи основаніемъ для ожесточенной борьбы. Такъ, напримѣръ, провозглашалась свобода печати подъ условіемъ не злоупотреблять такою свободою, какъ будто бы не имѣется возможности, сохраняя самое спокойное и самое справедливое отношеніе въ своихъ дѣйствіяхъ, преслѣдовать злоупотребленіе свободою. Очень скоро, въ дѣйствительности, обнаружилось, что чѣмъ хуже становилась внутренняя политика государства, тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ преслѣдовалась печать. Дурныя дѣла не выносили свѣта.

Далѣе, въ конституціи устанавливалась форма правленія. Особа короля неприкосновенна и священна, ему принадлежитъ исполнительная власть, онъ командуетъ сухопутными и морскими силами, объявляетъ войну, заключаетъ мирные трактаты, коммерческіе договоры. Онъ назначаетъ на всѣ административныя должности и издаетъ правила и указы, необходимые для исполненія законовъ и безопасности государства. Этотъ послѣдній пунктъ опять-таки былъ такъ неясенъ, что оставлялъ настежь открытыми двери для произвола. Безопасность государства можетъ по-

казаться нарушенною, если начнутъ громко говорить, что бѣлое —бѣло, а черное — черно. И вотъ, является основаніе прибѣгать къ различнымъ чрезвычайнымъ мѣрамъ, которыя во время реставраціи выражались по преимуществу въ чрезвычайныхъ судахъ.

Конституція реставраціи признавала отвѣтственность министровъ. Законодательная власть принадлежала королю, палатѣ пэровъ и палатѣ депутатовъ, но иниціатива законовъ составляла право одного короля. Королю предоставлялось также право назначать пожизненныхъ пэровъ и установлять наслѣдственность пэріи. Что же касается палаты депутатовъ, то хартія устанавливала, что право быть избраннымъ въ депутаты обусловливалось 40-лѣтнимъ возрастомъ и платежомъ 1000 франковъ прямыхъ налоговъ, избирательное же право принадлежало всѣмъ лицамъ не моложе 30 лѣтъ и платящимъ не менѣе трехъ-сотъ франковъ налоговъ.

При такомъ составѣ палаты депутатовъ было очевидно, что нація, въ сущности, была совершенно устранена отъ всякаго даже косвеннаго управленія государственными дѣлами, и что та власть, которая удѣлялась изъ королевской власти, должна была принадлежать только высшему сословію и буржуазіи. Довольно понятно, что при такихъ условіяхъ хартія Людовика XVIII могла удовлетворять только меньшинство.

Въ сферѣ судебной было установлено, что судьи должны быть несмѣняемы и вездѣ сохраняются обыкновенные суды, за исключеніемъ случаевъ, когда будетъ признано необходимымъ установить особые суды. Судъ присяжныхъ былъ сохраненъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда будетъ признано нужнымъ новымъ закономъ внести нѣкоторыя измѣненія въ это учрежденіе.

Таковы были существенныя черты хартіи 1814 года, оставлявшей вездѣ недомолвки, допускавшей всевозможныя оговорки и двусмысленности, которыя отзывались старымъ порядкомъ и притязаніями удержать въ пользу короля, что только возможно, отъ произвола до-революціонной монархіи. Всѣ эти оговорки и двусмысленности не могли, конечно, расположить націю въ пользу новаго правительства, которое самымъ способомъ обнародованія этой хартіи постаралось, насколько возможно, умалить значеніе этой необходимой уступки. Эту хартію называли въ публичномъ засѣданіи указомъ о реформѣ (ordonnance de réformation), палату представителей именовали собраніемъ нотаблей, и, главнымъ образомъ, настаивалось на томъ, что только волею короля октроировалась хартія. Наконецъ, чтобы еще больше

установить связь съ старымъ режимомъ, эта хартія была помѣчена 19-мъ годомъ царствованія Людовика XVIII. Этимъ какъ-бы вычеркивалось все, что произошло со времени смерти Людовика XVI, и возстановлялась связь съ послѣднимъ. По счетамъ реставраціи послѣ смерти Людовика XVI въ 1793 г. на престолъ вступилъ несовершеннолѣтній дофинъ Людовикъ XVII, и по его смерти въ 1795 г. началось царствованіе Людовика XVIII. Эта фикція называлась сохраненіемъ священнаго принципа законности власти.

Примѣненіе хартіи 1814 года сразу показало, что реставрація вовсе не намѣрена руководиться въ своихъ дѣйствіяхъ либеральными началами, что, разумѣется, не могло не способствовать усиленію раздраженія. Первый кабинетъ, составленный Людовикомъ XVIII, состоялъ весь изъ роялистовъ, въ числѣ которыхъ были люди, не желавшіе слышать о примиреніи съ новыми идеями, унаслѣдованными отъ революціи. Въ угоду духовенству былъ изданъ приказъ о соблюденіи воскресенья, начались постоянныя религіозныя процессіи, дворянство и духовенство заявляло требованіе старыхъ, отжившихъ привилегій. Общество приходило въ волненіе, въ населеніи слышался ропотъ на то, что правительство стремится къ возвращенію феодальнаго строя, и даже палата депутатовъ, щедро наградившая Людовика XVIII, давъ ему liste civile въ 25 милліоновъ франковъ, сверхъ 8 милліоновъ, назначенныхъ для принцовъ королевскаго дома, была возмущена тѣмъ закономъ о печати, который былъ внесенъ въ палату въ исполненіе хартіи 1814 года. Оппозиція настаивала на свободѣ печати, доказывая, что она есть дополненіе свободы мысли и самая существенная гарантія правильнаго государственнаго управленія, что предварительная цензура представляется нестерпимымъ зломъ, и что правительство, не опасающееся злоупотребленій, не должно бояться свободной печати. Правительство возражало, что печать есть могущественнѣйшее оружіе зла, что разнузданная печать подкапывается подъ правительство и распространяетъ самыя безнравственныя теоріи, словомъ, оно повторяло то, что говорилось прежде не разъ. Правительственный проектъ, подвергшійся серьёзнымъ измѣненіямъ, былъ принятъ палатою въ видѣ временнаго закона всего лишь на два года, т.-е. до 1816 г. Цѣлый рядъ другихъ мѣръ, перечисленіе которыхъ заняло бы слишкомъ много мѣста, дѣлалъ съ каждымъ днемъ реставрацію все болѣе и болѣе непопулярною. Роялистамъ, въ особенности эмигрантамъ, оказывалось явное предпочтеніе, и они имъ пользовались, чтобы все дальше и дальше простирать свои притязанія, въ числѣ которыхъ на первомъ планѣ стояло требованіе возвра-

щенія имъ земель, проданныхъ во время революціи. Они нисколько не скрывали своего презрѣнія ко всему, что имѣло какую-либо связь съ революціей или имперіей, и громко негодовали на всякую уступку духу времени. Такъ какъ власть находилась въ рукахъ роялистовъ, то они имѣли полную возможность заставлять чувствовать свое презрѣніе. Если всѣ слои населенія чувствовали себя оскорбленными, то болѣе другихъ наполеоновская армія, привыкшая во время его владычества играть первенствующую роль. Заслуженные генералы видѣли себя оттертыми бездарными роялистами, офицеры лишались своего содержанія; побѣды этой арміи, ея военную славу топтали въ грязь. Могло-ли показаться кому-нибудь удивительнымъ, что если бы Наполеонъ внезапно явился съ острова Эльбы, то вся армія приняла бы его съ восторгомъ, растоптала бы бѣлую кокарду и съ энтузіазмомъ встала бы снова подъ трехцвѣтное знамя. Наполеонъ и явился—и въ нѣсколько дней вся армія была на его сторонѣ.

Возвращенію Наполеона съ острова Эльбы больше всего способствовала сама реставрація. Вмѣсто того, чтобы постараться поскорѣе заставить забыть, что своимъ существованіемъ она обязана была позору и униженію Франціи, и дать почувствовать превосходство конституціоннаго режима надъ безправнымъ военнымъ порядкомъ, она дѣлала все, чтобы, съ одной стороны, унизить конституціонную форму правленія, а съ другой — усилить то негодованіе, которое вызвано было произволомъ имперіи. Результатъ такой внутренней политики не замедлилъ обнаружиться. Армія съ трудомъ сдерживала свое негодованіе и прибѣгала къ заговорамъ противъ реставраціи; буржуазія, обманувшаяся въ своихъ надеждахъ — играть первенствующую роль при новомъ правительствѣ, отшатнулась назадъ; либеральная, образованная партія не могла простить реставраціи, что она своими дѣйствіями, своими поступками, своимъ «19-мъ годомъ царствованія,» своимъ бѣлымъ знаменемъ какъ-бы отрицаетъ самое существованіе великой революціи, поставившей Францію такъ высоко на лѣстницѣ славы и цивилизаціи; наконецъ, низшіе классы народа, сельское населеніе не только ничего не выиграло отъ возстановленія Бурбоновъ, но уже успѣло почувствовать притѣсненія со стороны духовенства, сдѣлавшагося столь ненавистнымъ для народа. Словомъ, по истеченіи менѣе нежели года реставрація не располагала больше даже тѣмъ слабымъ сочувствіемъ, которое встрѣтило ее во Франціи. За нее стояла одна роялистская партія и тоже недовольная, но съ противоположной точки зрѣнія, недовольная недостаточнымъ энергическимъ, по ея мнѣнію, отпоромъ новыхъ

идей. Внезапное появленіе Наполеона ошеломило Францію. Партіею роялистовъ овладѣло чувство ужаса и негодованія, народъ же радовался избавленію отъ притязаній духовенства и мѣстныхъ властей, дѣйствовавшихъ въ духѣ ненавистнаго ему стараго порядка. Привѣтствуя Наполеона, народъ помнилъ о славѣ, о годахъ могущества Франціи и забывалъ о тѣхъ жертвахъ, о тѣхъ невѣроятныхъ тягостяхъ, которыя были его удѣломъ. Не такъ опредѣленны были чувства буржуазіи, партіи старыхъ либераловъ и даже часто военнаго сословія, высшихъ офицеровъ, успѣвшихъ понять прелесть мирной жизни. Буржуазія негодовала на реставрацію, но еще менѣе хотѣла она мириться съ владычествомъ геніальнаго авантюриста, который неминуемо бросилъ бы страну въ новыя безумныя войны. А эти войны не только не давали ей возможности обогащаться, но быстрыми шагами вели ее къ разоренію. Партія старыхъ либераловъ, школы Лафайета и Бенжамена Констана, съ ненавистью относившаяся къ контръ-революціоннымъ проектамъ легитимистской партіи, достаточно хорошо изучила Наполеона, чтобы основательно опасаться новаго возврата военнаго деспотизма. Вотъ почему, если Наполеонъ, вступивъ на французскую почву, встрѣчалъ еще среди войска и нѣкоторыхъ частей населенія восторженный пріемъ,—посреди тѣхъ слоевъ общества, которымъ принадлежала сила, вліяніе, благодаря богатству или образованію, онъ встрѣтилъ самое холодное, доходившее до враждебности отношеніе. Его единственная сила заключалась въ усилившейся нелюбви къ реставраціи. И никто лучше его самого не понималъ этого положенія. Солдатамъ онъ говорилъ:—«Сорвите эти цвѣты, проклятые націею, и которые въ продолженіи двадцати-пяти лѣтъ служили символомъ соединенія всѣхъ враговъ Франціи. Украсьтесь трехцвѣтною кокардою; вы носили ее въ великіе дни... Солдаты! стекайтесь подъ знамена вашего полководца! Онъ живетъ только вами, его права суть права народа и ваши; его честь, его интересы, его слава, это—ваша честь, ваши интересы, ваша слава»... Народу онъ говорилъ, что тронъ Бурбоновъ противозаконенъ настолько, насколько онъ противенъ народной волѣ, что онъ, Наполеонъ, явился, чтобы возстановить права націи, равенство, и не допустить возстановленія десятины, привилегій и феодальныхъ правъ. Буржуазіи и либеральной партіи онъ говорилъ, что отнынѣ онъ желаетъ конституціонной монархіи, что онъ провозгласитъ свободу печати, что онъ готовъ принять всѣ либеральные законы.

Въ то время, когда Наполеонъ быстро двигался къ воротамъ Парижа и издавалъ одну прокламацію за другою, Людовикъ XVIII,

объявляя его измѣнникомъ и предателемъ, въ поспѣхахъ собиралъ палаты, понимая теперь, что для него единственный якорь спасенія крылся въ конституціи. Онъ сдѣлался щедръ на всевозможныя обѣщанія и гарантіи, но въ воздухѣ уже носились слова: слишкомъ поздно! Съ Лудовикомъ XVIII случилось то, что̀ не разъ уже встрѣчалось въ исторіи: нежеланіе дѣлать уступки въ то время, когда эти уступки могутъ спасти государство отъ самой страшной катастрофы—и прибѣгать къ нимъ послѣ того, что истощены уже всѣ реакціонныя мѣры, то-есть въ тотъ моментъ, когда со всѣхъ сторонъ уже раздаются слова: слишкомъ поздно! Но Лудовикъ XVIII еще не терялъ надежды. Онъ надѣялся, что старые и уважаемые арміею генералы не передадутся Наполеону, что высшіе чины арміи, маршалы Франціи своею вѣрностію королю повліяютъ на войско. Онъ успокоивался, слыша крики: vive le roi! раздававшіеся въ той самой толпѣ, которая на другой день кричала: vive l'empereur! Онъ повидимому забылъ, что шумные восторги и крики мало что-либо доказываютъ, что это пустые звуки безъ содержанія, и что толпа, бѣжавшая смотрѣть на него сегодня, на другой день съ тѣмъ же крикомъ побѣжитъ смотрѣть на Наполеона. Нѣтъ народа, который не любилъ бы даровыхъ зрѣлищъ! Но когда Лудовикъ XVIII узналъ, что маршалъ Ней, обѣщавшій привезти Наполеона въ клѣткѣ, перешелъ съ цѣлымъ корпусомъ на сторону императора, и что другіе генералы передавались одинъ за другимъ, то онъ понялъ, что борьба немыслима, что онъ побѣжденъ безъ боя, и что ему ничего болѣе не остается, какъ снова, во второй разъ бѣжать изъ Парижа, изъ Франціи. Ночью 19-го марта 1815 года Лудовикъ XVIII тайно оставилъ Тюльери, который на слѣдующій день былъ уже занятъ Наполеономъ и его свитой.

Бѣгство Лудовика XVIII и возвращеніе Наполеона въ Парижъ, безъ сомнѣнія, представляло для него характеръ успѣха, торжества, но этотъ успѣхъ и торжество были чисто внѣшними. Нужно было быть слѣпымъ, чтобы не понимать, что въ дѣйствительности положеніе представлялось въ высшей степени затруднительнымъ. Наполеонъ не былъ слѣпъ, и въ минуты спокойнаго отношенія къ дѣлу онъ не увлекался никакими иллюзіями. Франція была уже совсѣмъ не та, какою онъ оставилъ ее. «Бурбоны мнѣ испортили ее», говорилъ Наполеонъ, встрѣчая довольно рѣзкую оппозицію съ самыхъ первыхъ дней. Онъ понималъ, что онъ уже не внушалъ больше ни прежняго уваженія, ни прежняго страха; на слѣпую покорность онъ не могъ уже разсчитывать. Но если бы онъ и понялъ съ-разу измѣнившееся настроеніе страны, то тѣ

адрессы, которые были составлены различными государственными учрежденіями, очень скоро объяснили бы ему это настроеніе: «императоръ призванъ,—говорилось въ одномъ изъ нихъ,—гарантировать учрежденіями—и это обязательство онъ принялъ на себя въ своихъ воззваніяхъ къ народу и къ арміи—всѣ свободные принципы, свободу личную и равенство правъ, свободу печати и уничтоженіе цензуры, свободу исповѣданій, утвержденіе всѣхъ налоговъ и законовъ народными представителями законно-избранными, собственность народа всякаго рода, независимость и несмѣняемость судовъ, отвѣтственность министровъ и всѣхъ органовъ власти...» Но если бы даже и не было такихъ адрессовъ, въ которыхъ диктовались ему условія предоставленія ему власти, то онъ все-таки не могъ бы не убѣдиться, что ему больше не довѣряютъ. Это недовѣріе, эту самостоятельность въ убѣжденіяхъ онъ долженъ былъ встрѣтить среди лицъ, наиболѣе къ нему приближенныхъ. Наполеонъ долженъ былъ быть глубоко пораженъ, когда, призвавъ къ себѣ именно одно изъ такихъ лицъ, генерала Бертрана, и приказавъ ему скрѣпить своею подписью декретъ о преданіи суду и секвестрѣ имѣній Талейрана, Монтескье, герцога Рагузскаго и еще десяти или одиннадцати человѣкъ, способствовавшихъ въ 1814 г. его паденію и призванію Бурбоновъ, онъ встрѣтилъ рѣшительный отказъ. «Я удивляюсь, что вы мнѣ причиняете такія затрудненія; эта строгость необходима для блага государства. — Я не думаю, отвѣчалъ Бертранъ.—Я это думаю, возразилъ императоръ, и я одинъ могу объ этомъ судить. Я призвалъ васъ не для того, чтобы знать ваше мнѣніе, а для вашей подписи, которая есть только дѣло формы и не можетъ васъ компрометтировать.—Ваше величество, отвѣчалъ Бертранъ, министръ, который скрѣпляетъ какой-либо актъ государя, является за него нравственно отвѣтственнымъ. Вы объявили въ вашихъ прокламаціяхъ, что вы даруете полную амнистію, и я съ восторгомъ скрѣпилъ ихъ. Я не скрѣплю декрета, который ее отмѣняетъ». Наполеонъ, прибавляетъ Гизо въ своихъ мемуарахъ, настаивалъ, но генералъ Бертранъ остался непоколебимъ.

Если Франція относилась къ Наполеону съ недовѣріемъ и опасеніе новой военной диктатуры усиливалось, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе, то взрыву негодованія и ярости всей Европы не было предѣла. Засѣдавшіе на вѣнскомъ конгресѣ монархи и наиболѣе вліятельные государственные люди поспѣшили бросить въ Наполеона анаѳемой и объявить его врагомъ человѣчества. Едва ли однако этой анаѳемѣ цѣлой Европы удалось бы сломить его, если бы внутри страны Наполеонъ встрѣтилъ

единодушную поддержку, если бы дѣло, затѣянное имъ, было дѣломъ національнымъ, а не исключительно личнаго эгоизма. Сознаніе, что онъ преслѣдуетъ эгоистическія цѣли охлаждало къ нему даже тѣхъ, кто горѣлъ ненавистью къ коалиціи, кто не могъ примириться съ унизительнымъ положеніемъ, созданнымъ Франціи ея внѣшними врагами. Если бы Наполеонъ, возвратившись во Францію, провозгласилъ, что онъ является только какъ мститель за отнятую свободу Франціи, за уязвленную національную гордость; если бы его единственною цѣлію было уничтоженіе позорныхъ трактатовъ, стремившихся низвести Францію до значенія третьестепенной державы; если бы, наконецъ, онъ заявилъ, что онъ возвращается исключительно какъ главнокомандующій, и что по окончаніи войны онъ сложитъ съ себя свое званіе и предоставитъ самому народу разрѣшить вопросъ о формѣ правленія и государственныхъ учрежденіяхъ, то, несмотря на то, что весьма многіе отнеслись бы къ такому заявленію недовѣрчиво, все-таки національное чувство прорвалось бы съ такою силою, что оно увлекло бы за собою и оппозиціонные элементы. Въ его первыхъ прокламаціяхъ, выпущенныхъ при вступленіи на французскую почву, сквозила именно эта мысль, это намѣреніе; но, явившись въ Парижъ, Наполеонъ, по удачному выраженію одного изъ современниковъ этой эпохи, изъ-за императора позабылъ генерала.

Но какъ ни велико было желаніе Наполеона захватить по прежнему въ свои руки диктатуру и снова сдѣлаться абсолютнымъ монархомъ Франціи, конституціонныя стремленія выражались съ такою настойчивостью, что ему пришлось прибѣгнуть къ бо́льшимъ уступкамъ, чѣмъ онъ даже предполагалъ. Заискивая теперь въ партіи конституціоналистовъ, Наполеонъ обратился къ одному изъ предводителей либеральной партіи, Бенжамену Констану, и просилъ его написать проектъ конституціи, которая обезпечивала бы свободу. «Я желаю,—говорилъ онъ,—чтобы общество обсуждало свои дѣла, чтобы выборы были свободны, чтобы министры были отвѣтственны, въ особенности я желаю свободы печати. Я вышелъ изъ народа. Если народъ желаетъ свободы, я обязанъ ее дать». Времена должны были сильно перемѣниться, чтобы Наполеонъ заговорилъ о политической свободѣ,—онъ, который ее ненавидѣлъ съ ожесточеніемъ. Бенжаменъ Констанъ принялъ предложеніе Наполеона и въ нѣсколько дней конституція была составлена или, вѣрнѣе сказать, переработана. Мѣсяцъ спустя послѣ возвращенія Наполеона съ острова Эльбы, былъ обнародованъ «Acte additionnel aux constitutions de l'Empire». Конституція, но-

сившая имя добавочнаго акта, имѣла одинъ существенный порокъ—быть именно добавленіемъ къ другимъ конституціямъ имперіи, а что представляли собою послѣднія, какую насмѣшку надъ свободой,—все это было слишкомъ свѣжо въ памяти французскаго общества. Помимо этого порока, возбуждавшаго недовѣріе къ новой конституціи, все-таки она представляла собою шагъ впередъ на длинномъ пути французскаго конституціонализма. Тѣ двусмысленности, тѣ недомолвки въ пользу короны, которыми такъ была богата хартія 1814 года, были устранены, и если избирательное право не было значительно расширено, тѣмъ не менѣе «Acte additionnel» представлялъ такія гарантіи политической свободы, которыя дѣлали мало-возможными злоупотребленія правительства. Въ конституціи было твердо установлено, что никакой налогъ, никакой заемъ, никакой наборъ не можетъ быть произведенъ безъ согласія палаты депутатовъ. Всѣ расходы по государственному управленію утверждались палатами. Судъ присяжныхъ—для всѣхъ преступленій и проступковъ, за исключеніемъ мелкихъ, вѣдавшихся мировымъ судомъ. Юрисдикція военныхъ судовъ была строго ограничена исключительно военными дѣлами. Толкованіе законовъ было предоставлено исключительно кассаціонному суду, и ни одинъ новый законъ не могъ быть изданъ безъ одобренія его палатами. Наконецъ, было ясно опредѣлено право каждаго гражданина печатать и публиковать все, что онъ признаетъ нужнымъ, безъ всякой предварительной цензуры, и за публикованное отвѣчать только передъ судомъ присяжныхъ.

Несмотря на либеральный духъ, въ которомъ составлена была эта конституція, она вызвала противъ себя рѣзкую критику,—и въ особенности тѣ параграфы, которые установляли верхнюю палату, состоящую изъ наслѣдственныхъ пэровъ, и слишкомъ ограничивали избирательное право. Эта конституція была предложена на утвержденіе народа, но число голосовъ, поданныхъ за нее, ограничивалось 1.300,000. Больше всего возбуждало негодованіе,—что конституція эта была предложена на утвержденіе народа, вмѣсто того, чтобы самъ народъ, посредствомъ своихъ представителей, былъ призванъ къ составленію конституціи. Въ такой системѣ оппозиція справедливо усматривала то же октроированіе, только въ иной формѣ. Наполеонъ былъ до крайности раздраженъ нападками на конституцію, но, по счастію, въ это время его гнѣвъ уже ни для кого не могъ быть страшенъ. Эти нападки приняли бы, можетъ быть, болѣе рѣзкій характеръ, если бы въ концѣ апрѣля не появился декретъ о выборахъ въ палату депутатовъ. При господствовавшемъ настроеніи Наполеону

нѣчего было думать о подтасовкѣ выборовъ, и потому результатомъ ихъ явилась самостоятельная палата, съ первыхъ минутъ своего существованія заявившая свой оппозиціонный характеръ. Первымъ ея актомъ было постановленіе, что на палатѣ депутатовъ лежитъ обязанность выработать новую конституцію для Франціи. Все, что было сдѣлано Наполеономъ, было такимъ образомъ вычеркнуто однимъ почеркомъ пера. Наполеонъ чувствовалъ, что ему въ данную минуту не подъ силу вступать въ борьбу съ палатой—и рѣшился выждать лучшихъ дней, когда блескъ рѣшительной побѣды заставитъ замолчать либеральную оппозицію. Лафайетъ былъ правъ, говоря въ палатѣ: «Торжество Наполеона, это—гибель свободы. Его пораженіе будетъ стоить намъ разоренія». Наполеонъ торопился покинуть Парижъ, ему ненавистна была та подчиненная роль, которую онъ долженъ былъ играть, ему хотѣлось поскорѣе поставить на карту свою судьбу и судьбу Франціи. Страстный игрокъ, вѣруя въ свою счастливую звѣзду, онъ надѣялся на побѣду.

1-го іюля 1815 года, онъ доставилъ Парижу послѣднее прощальное зрѣлище. На Марсовомъ полѣ происходило провозглашеніе результата голосованія конституціи, совершённое съ необыкновенною торжественностію, и вмѣстѣ раздача знаменъ арміи, которая черезъ нѣсколько дней должна была погибнуть при радостныхъ крикахъ всей Европы. 25 тысячъ солдатъ, отправившихся въ сѣверную армію, и 25 тысячъ національной гвардіи занимали правую и лѣвую сторону Марсова поля. Послѣ торжественнаго богослуженія провозглашенъ былъ результатъ голосованія, утверждавшій Acte additionnel и возстановленіе имперіи. Наполеонъ принялъ присягу на вѣрность конституціи, и среди восторженныхъ криковъ арміи произошла раздача знаменъ. Войска церемоніальнымъ маршемъ проходили передъ старымъ императоромъ и никогда съ большимъ правомъ не могли салютовать его словами: Morituri te salutant, Caesar! Но если у арміи, у которой живы были воспоминанія о тріумфальномъ шествіи Наполеона черезъ Европу, могли вырываться крики восторга, опьянявшіе этого человѣка,—за то въ другихъ слояхъ общества онъ вызывалъ только горькую улыбку своею императорскою мантіею, своими аллюрами классическаго Цезаря. Эта помпа, этотъ мишурный блескъ съ одной стороны звучали какимъ-то диссонансомъ въ тѣ минуты, когда на карту ставилась такая страшная ставка, какъ будущность Франціи, и когда всѣ умы, не исключая и самого Наполеона, тревожились тяжелымъ чувствомъ неувѣренности въ успѣхѣ, съ другой—они напоминали собою тотъ милитаризмъ

имперіи, который и безъ того внушалъ большія опасенія. Впечатлѣніе, произведенное этимъ торжествомъ, было прямо противоположное тому, на которое разсчитывалъ Наполеонъ. Недовѣріе возросло, биржа поколебалась, рента упала, сами бонапартисты стали обнаруживать сомнѣніе въ успѣхѣ, въ вліятельныхъ сферахъ произнесено было слово: отреченіе! Отречься отъ престола, не сыгравъ va-banque, было не въ духѣ Наполеона. Успѣхъ могъ, безъ сомнѣнія, еще разъ побѣдить либеральную партію, стремившуюся къ честно примѣняемому конституціонализму, но звѣзда Наполеона закатилась навсегда, и черезъ нѣсколько дней по всему міру пронеслось роковое для него эхо—Ватерлоо.

Какъ только вѣсть о катастрофѣ облетѣла Францію, всѣ, какъ одинъ человѣкъ, поняли, что имперія была схоронена подъ Ватерлоо, и что судьба привела Наполеона къ трагической, но заслуженной развязкѣ. Отреченіе сдѣлалось необходимо, но у Наполеона не хватало мужества произнести это роковое для него слово. Онъ находился въ состояніи какого-то отупѣнія, отъ полнаго отчаянія переходилъ къ твердой рѣшимости продолжать борьбу: то онъ склонялся къ отреченію, то негодовалъ при мысли о немъ, обвинялъ палату, обвинялъ Францію, мечталъ о новомъ coup d'Etat и диктатурѣ, то снова впадалъ въ апатію и готовъ былъ покориться своей судьбѣ. Рѣшеніе палаты, почувствовавшей теперь больше, чѣмъ когда-нибудь свою силу,—взять правленіе въ свои руки, и предложеніе о низложеніи должны были прервать его колебанія. Наполеонъ посылаетъ въ палату министровъ, просить ее тѣснѣе соединиться съ нимъ и дать ему такимъ образомъ возможность «спасти отечество». Палата, знакомая уже съ тѣмъ, что̀ значитъ «спасеніе отечества» и спасители, остается глуха къ просьбѣ побѣжденнаго императора. Слова укора раздаются въ палатѣ изъ устъ брата Наполеона Люсьена, но они встрѣчаютъ достойный отвѣтъ Лафайета: «по какому праву обвиняютъ націю въ недостаткѣ преданности и постоянства относительно Наполеона? Она слѣдовала за нимъ по палящимъ пескамъ Египта и по промерзлымъ степямъ Россіи, въ пятидесяти поляхъ битвъ, въ его пораженіяхъ, какъ въ его успѣхахъ; въ теченіи десяти лѣтъ три милліона французовъ погибло на его службѣ; мы довольно сдѣлали для него, наша обязанность теперь спасти родину». Палата настаивала на отреченіи, Наполеонъ долженъ былъ уступить—и послѣ продолжительной внутренней борьбы онъ обратился съ посланіемъ къ палатѣ, въ которомъ заявлялъ о своемъ согласіи «принести себя въ жертву ненависти враговъ Франціи». Но въ этомъ же посланіи онъ провозглашалъ

своего сына императоромъ, подъ именемъ Наполеона II. Тщетная надежда! Палата, добившись отреченія, назначила коммиссію изъ пяти членовъ и возложила на нее обязанность временнаго правительства. Но отреченія Наполеона было недостаточно, его присутствіе въ Парижѣ признавалось опаснымъ, отъ него потребовали, чтобы онъ покинулъ столицу Франціи. Ему оставалось только повиноваться — и онъ направился къ первому этапу своей ссылки, въ Malmaison. Драма «ста дней» близилась къ развязкѣ. Шло даже не послѣднее дѣйствіе, а эпилогъ драмы. Союзныя арміи подходили къ Парижу, а вмѣстѣ съ ними приближался и Людовикъ XVIII, патрономъ котораго сталъ побѣдитель при Ватерлоо, Веллингтонъ. «Сто дней», проведенныхъ Людовикомъ XVIII въ изгнаніи, не прошли для него совершенно безслѣдно. Онъ говорилъ теперь инымъ языкомъ, его прокламаціи звучали заискиваніемъ у народа и преимущественно у либеральной партіи. «Мое правительство, — говорилъ онъ въ одной изъ прокламацій, — могло дѣлать ошибки, можетъ быть, оно ихъ и дѣлало... Только опытъ могъ послужить предостереженіемъ, и этотъ опытъ не пройдетъ даромъ. Я желаю всего того, что̀ можетъ спасти Францію... Я имѣю твердое намѣреніе прибавить къ хартіи тѣ гарантіи, которыя обезпечатъ ея благотворное дѣйствіе». Слова эти значительно разнились по духу отъ тѣхъ достаточно высокомѣрныхъ воззваній, съ которыми онъ обращался къ націи во время первой реставраціи, и если «сто дней» послужили источникомъ многихъ бѣдствій для Франціи, то, съ другой стороны, они имѣли и благія послѣдствія, содѣйствуя развитію и укрѣпленію конституціонализма въ странѣ. Франція, болѣе чѣмъ какое-либо другое государство, свидѣтельствовала своею исторіею, что разумное управленіе не дается народу даромъ, что оно требовало упорной и энергической борьбы самого общества съ пустившею тогда глубокіе корни въ цѣлой Европѣ безконтрольною формою управленія.

Правда, выставляя себя другомъ конституціонной формы правленія, Людовикъ XVIII не имѣлъ еще твердой увѣренности, что онъ вторично сдѣлается королемъ Франціи, такъ какъ его возвращеніе встрѣчало противодѣйствіе какъ со стороны коммиссіи пяти, избранной палатой для временнаго управленія, такъ и со стороны нѣкоторыхъ союзныхъ монарховъ, справедливо полагавшихъ, что старшая линія Бурбоновъ доказала свою неспособность и неумѣлость содѣйствовать прочному успокоенію Франціи. Кандидатура герцога Орлеанскаго, будущаго короля Луи-Филиппа, стала обрисовываться довольно ярко. Отсюда стремле-

ніе Лудовика XVIII примирить поскорѣе съ собою Францію, отсюда конституціонная уступчивость. Палата депутатовъ не желала второй реставраціи, армія протестовала противъ нея, народъ... но его не спрашивали, точно не о его судьбѣ шла и рѣчь. Разбитая армія, палата, не опирающаяся на народную волю, были безсильны, чтобы бороться съ волею союзниковъ, которая, благодаря Веллингтону, высказалась въ пользу Лудовика XVIII. Союзныя арміи стояли уже подъ Парижемъ, сопротивленіе, послѣдняя борьба были признаны невозможными. Нужно было вступать въ переговоры—нѣтъ, выслушивать приказанія, и притомъ такихъ неумолимыхъ враговъ, какъ Веллингтонъ и Блюхеръ.

Минуты палаты депутатовъ были сочтены. Она воспользовалась ими, чтобы начертать ту программу, тотъ проектъ конституціи, которая, по ея мнѣнію, была необходима для обезпеченія политической свободы и умиротворенія Франціи. Честь этой палаты именно и заключается въ томъ, что, умирая, она отстаивала конституціонную свободу Франціи. 5-го іюля, она громаднымъ большинствомъ вотировала предложеніе, заключавшее въ себѣ протестъ противъ всякаго правительства, навязаннаго силою, и которое не приняло бы цвѣтовъ революціи и не гарантировало политической свободы націи. 7-го іюля, союзныя арміи вступили въ Парижъ. 8-го, «Монитёръ» объявилъ, что палата распущена, а 9-го іюля, бѣлое знамя развѣвалось надъ Тюльери. Такъ кончился трагическій эпизодъ «ста дней». Въ это время виновникъ ихъ, повергнутый великанъ, малодушествовалъ въ Мальмезонѣ. Онъ просилъ у своихъ враговъ разрѣшенія доживать свои дни во Франціи, но враги, заботясь, повидимому, о его славѣ, о томъ, чтобы сложить ему легенду какого-то миѳическаго героя, остались глухи ко всѣмъ его просьбамъ. Ему предписано было покинуть Францію. Полагаясь на великодушіе самаго заклятаго своего врага—Англіи, онъ предался въ ея власть. Но онъ забылъ, что Англія никогда не отличалась великодушіемъ, и въ этотъ разъ она менѣе чѣмъ когда-либо измѣнила себѣ. Ему объявлено было рѣшеніе — сослать его на островъ св. Елены. Наполеонъ протестовалъ, но все было тщетно. 7-го августа, онъ былъ посаженъ на корабль «Northumberland», который и высадилъ его на уединенной скалѣ океана. Англія, сама не подозрѣвая, оказывала своимъ невеликодушнымъ поступкомъ великую услугу имени Наполеона, и вмѣстѣ подготовляла будущій поворъ Франціи — Наполеона III. Наполеонъ, изгнанный изъ Франціи, но пользуясь свободой въ чужомъ государствѣ, могъ умереть, если

не совсѣмъ забытый, то, все-таки, не облеченный легендою въ образъ сказочнаго героя. Наполеонъ же, какъ Прометей, прикованный къ скалѣ св. Елены, плѣнникъ озлобленной коалиціи Европы, долженъ былъ умереть, окруженный ореоломъ славы и мученичества.

III.

Съ 9-го іюля 1815 г. начинается періодъ второй реставраціи, періодъ несравненно болѣе бурный, чѣмъ первый, отмѣченный кровью и эшафотами, свирѣпою местью восторжествовавшей легитимистской партіи, страстной борьбой, имѣвшей цѣлію возстановленіе основъ стараго порядка, но въ концѣ-концовъ содѣйствовавшей еще болѣе упроченію конституціонализма во Франціи. И именно тѣ, которые съ особою ненавистью относились ко всему, что имѣло самое отдаленное отношеніе къ революціи и правамъ народа, болѣе другихъ оказали услугъ конституціонному принципу. Вотъ почему для исторіи развитія французскаго конституціонализма, эпоха второй реставраціи представляется крайне любопытною. Не отмѣтить нѣкоторыхъ выдающихся ея чертъ, значило бы вырвать изъ длинной цѣпи одно или даже нѣсколько звеньевъ.

Вступленіе Лудовика XVIII въ Парижъ среди союзныхъ армій англійской, прусской, русской, не могло, конечно, вызвать особенной радости среди населенія. Торжество реставраціи отождествлялось съ торжествомъ враговъ Франціи, и потому естественно, что нація относилась къ нимъ съ одинаковымъ чувствомъ. Коалиція на этотъ разъ не была такъ великодушна, какъ во время своего перваго нашествія. Солдаты слѣдовали примѣру своихъ начальниковъ, а эти, не исключая и самыхъ высшихъ, вели себя съ необычайною надменностью, и на каждомъ шагу выказывали презрѣніе къ Франціи, дозволяя себѣ все, что только можетъ дозволять безпредѣльная разнузданность. Реквизиціи, опустошеніе, узаконенные грабежи, стали обычнымъ дѣломъ. Блюхеръ грозилъ взорвать Іенскій мостъ, дабы онъ не напоминалъ дня униженія Пруссіи, онъ желалъ уничтожить всѣ драгоцѣнные памятники Парижа и направилъ пушечныя дула противъ главныхъ зданій и даже противъ Тюльери, въ которомъ снова поселился Лудовикъ XVIII. Союзники настойчиво требовали раздробленія Франціи, и только благодаря Александру I она была избавлена отъ этого послѣдняго позора. Лудовикъ XVIII волей-

неволей долженъ былъ сдѣлаться орудіемъ чужеземныхъ властителей Франціи, ихъ воля была для него закономъ. Веллингтону было угодно, чтобы министромъ Людовика XVIII былъ назначенъ человѣкъ, подавшій голосъ въ пользу смертной казни Людовика XVI, и этого было достаточно, чтобы Фушé сталъ министромъ брата казненнаго короля. Союзники требовали безпримѣрной строгости въ наказаніи лицъ, принимавшихъ участіе въ «Ста дняхъ», и Франція покрылась эшафотами.

Не меньшимъ ожесточеніемъ, чѣмъ союзныя арміи, отличалась и та партія, которая въ торжествѣ побѣдителей видѣла свое собственное торжество—партія роялистовъ, дождавшаяся, наконецъ, давно желаннаго ею дня мести. Она одна возвышала свой голосъ, она одна чувствовала себя всесильною, всѣ другія партіи были побѣждены, онѣ притаились мертвыми. Въ концѣ іюля были созваны избиратели для выбора депутатовъ, и эти выборы дали палату, извѣстную въ исторіи подъ именемъ «chambre introuvable», оказавшую, несмотря на свои ультра-роялистскія чувства, великую услугу французскому конституціонализму, разумѣется, помимо своей воли. Этой палатѣ хотѣлось во что бы то ни стало возстановить монархію въ прежнемъ ея видѣ, со всѣми ея аттрибутами, со всѣми ея злоупотребленіями. Аристократія должна была возвратить себѣ привилегированное положеніе, духовенство должно было снова сдѣлаться главнымъ факторомъ въ государственной жизни, идеи, порожденныя революціей, должны были быть вырваны съ корнемъ. Лозунгомъ партіи роялистовъ сдѣлались слова: «возстановленіе правъ престола и алтаря». Само правительство Людовика XVIII не смѣло слѣдовать за этою партіею, ослѣпленною ненавистью и чувствомъ мести, во-первыхъ, потому, что оно связано было хартіею, соблюденіе которой было поставлено коалиціей въ условіе реставраціи, и, во-вторыхъ, также и потому, что правительство Людовика XVIII хорошо понимало,—закусивъ удила, пуститься въ бѣшеную реакцію, значитъ впередъ обречь себя на гибель, лишь только нѣсколько успокоится поднявшійся ураганъ. Партія роялистовъ не рисковала ничѣмъ, требуя съ неистовствомъ возстановленія стараго порядка, Людовикъ же XVIII, и тотъ, при своемъ природномъ, хотя и не очень глубокомъ умѣ, ясно сознавалъ, что онъ рискуетъ своимъ престоломъ и, можетъ быть, своею жизнью. Эшафотъ, на которомъ погибъ Людовикъ XVI былъ еще слишкомъ свѣжъ въ памяти короля. Такія опасенія, такой страхъ короля—партія роялистовъ, всецѣло господствовавшая въ палатѣ, считала презрѣнными, и, благодаря этому, создалось положеніе дѣлъ въ высшей

степени оригинальное и рѣдко представлявшееся въ исторіи. Положеніе это заключалось въ томъ, что король и партія роялистовъ очутились во враждебномъ отношеніи другъ къ другу, причемъ король обвинялся въ стремленіи нарушить цѣлость королевской власти, отстаиваемой роялистами. Между короной и партіей роялистовъ завязалась горячая борьба, во время которой девизомъ роялистской партіи стало охраненіе королевской власти наперекоръ королю: Vive le roi quand même!—вотъ крикъ, раздавшійся въ палатѣ.

Дѣйствуя подъ вліяніемъ страсти, пропитанная духомъ контръ-революціи по отношенію къ странѣ, господствовавшая партія не остановилась передъ тѣмъ, чтобы сдѣлаться чисто-революціонною относительно короны. Ея борьба съ короной изъ-за королевской власти отличалась тою же страстностью, какъ и ея борьба противъ вольностей народа. Она возставала противъ всякаго предложенія, исходившаго отъ правительства. Какъ бы ни реакціонны были мѣры, предлагаемыя короной, палата находила ихъ недостаточно реакціонными. Она требовала все больше и больше, она жаждала крови, смертныхъ казней, и часто достигала осуществленія своихъ требованій. Казалось бы, что при такомъ настроеніи палаты не могло быть и рѣчи о болѣе глубокомъ вкорененіи конституціонализма, между тѣмъ оказалось наоборотъ. Для борьбы съ королевской властью нужны были средства, а эти средства роялистская партія нашла въ правахъ, предоставляемыхъ хартіею, и съ горячностью ухватилась за нихъ, не размышляя о томъ, что въ сущности она должна была бы первая возстать противъ этихъ правъ. Вотъ почему, когда корона стала проводить теорію, что палата депутатовъ есть только органъ верховной власти короля, роялистское большинство отвѣчало: нѣтъ, мы представители націи!—когда корона утверждала, что иниціатива законовъ, тѣхъ или другихъ мѣръ, принадлежитъ исключительно королю, палата старалась обходить букву хартіи и настаивала на томъ, что иниціатива принадлежитъ представительному собранію; когда корона доказывала, что министры должны быть только послушными исполнителями воли короля, палата оказывала ненравившимся ей министрамъ такое противодѣйствіе, что корона вынуждена была уступать и преклоняться передъ властью палаты. Дѣйствуя такимъ образомъ, ультра-реакціонная палата, наперекоръ самой себѣ, энергически отстаивала конституціонный порядокъ, не помышляя въ ослѣпленіи страстью, что она работаетъ въ пользу тѣхъ, кого теперь съ такою ненавистью преслѣдовала. Теперь она требовала только

исключительныхъ мѣръ противъ побѣжденныхъ и негодовала на законы о пріостановкѣ личной свободы, о преслѣдованіи криковъ, возмущающихъ существующій порядокъ, объ установленіи чрезвычайныхъ судовъ, состоящихъ изъ военнаго и гражданскаго элемента. Палата негодовала, потому что все ей казалось мало, недостаточно строго, хотя исключительный законъ предоставлялъ правительству неограниченное право арестовывать каждаго по усмотрѣнію администраціи. Реакція жаждала крови, и реставрація не постыдилась позора запятнать себя смертными казнями, кричавшими о вопіющей несправедливости. Въ числѣ казненныхъ былъ и маршалъ Ней. Каковъ характеръ былъ всѣхъ этихъ чрезвычайныхъ судовъ можно судить по тому, какое впечатлѣніе выносили люди самые спокойные по своей натурѣ. «Какъ адвокатъ,—разсказываетъ Одилонъ Барро, по поводу расходившейся реакціи,—я былъ свидѣтелемъ судебной стороны этой кровавой драмы, а это была самая гнусная сторона, такъ какъ мстительность и насиліе, прикрываемыя лицемѣрною маскою правосудія, становятся только болѣе возмутительными». Правительство, — какъ говоритъ одинъ изъ свидѣтелей этой грустной эпохи, — упустило случай доказать свою истинную силу — быть великодушнымъ, и началась истинная вакханалія преслѣдованій. Сотни лицъ захватывались безъ всякаго основанія и бросались въ тюрьмы, полиція каждую ночь производила обыски, доносы сыпались и доносы принимались на вѣру, невиновные люди предавались суду, и что еще возмутительнѣе, такіе невиновные люди приговаривались къ смертной казни. Словомъ, это былъ, въ полномъ смыслѣ слова, бѣлый терроръ, которымъ реставрація мстила за красный терроръ 1793 года. Хотя правительство и предлагало одну суровую мѣру за другою, но роялистская партія все не удовлетворялась. Она готова была приняться уже за радикальную ломку всего, что было сдѣлано со времени великой революціи, но правительство Лудовика XVIII испугалось послѣдствій горячечной дѣятельности палаты, и 5-го сентября 1816 года, къ ужасу чистокровныхъ роялистовъ, обнародовало декретъ о распущеніи этой памятной «chambre introuvable».

Декретъ о распущеніи роялистской палаты послѣдовалъ исключительно благодаря настояніямъ любимца Лудовика XVIII, министра Деказа, по своему происхожденію не принадлежавшаго къ партіи непримиримыхъ роялистовъ. Деказъ былъ преданъ интересамъ буржуазіи, онъ желалъ, чтобы на нее опиралась королевская власть, и былъ слишкомъ уменъ, чтобы не понимать,

что возвратъ къ прошлому невозможенъ. Сознавая, что ультрароялистская партія можетъ только повредить королевской власти, которую онъ желалъ видѣть сильною, онъ чувствовалъ, что наступила пора нѣсколько умѣрить пылъ реакціи. Французы не принадлежатъ къ тѣмъ народамъ, которыхъ легко и надолго можно остановить, апатія не въ ихъ природѣ, и въ тотъ моментъ, когда существующая власть полагаетъ, что она справилась съ націею, она именно и доказываетъ, что она жива и что съ нею нужно считаться. Одна лишняя капля—и сильное правительство оказывается сброшеннымъ въ пропасть. Реакція достигла своего апогея, и различные общественные элементы, точно скрывшіяся подъ землю, стали приходить въ движеніе, говорившее, что оппозиція только притаилась, но не умерла. Молодежь стала громко заявлять свои либеральныя идеи; въ публичныхъ мѣстахъ, въ театрахъ происходили манифестаціи самаго недвусмысленнаго характера; въ литературѣ, несмотря на всѣ суровыя мѣры, принятыя противъ нея, стали раздаваться голоса, говорившіе, что права націи, занесенныя въ хартію, нарушаются, что, вмѣсто закона, страною управляетъ жандармерія. «Авторитетъ власти—вотъ, милостивые государи, великое слово во Франціи,—говорилось въ одномъ изъ извѣстныхъ памфлетовъ того времени—«Pétition aux deux Chambres».—«Въ другихъ странахъ говорятъ, законъ; а во Франціи—авторитетъ власти. О, какъ былъ бы доволенъ нашъ отецъ Канэ (Canaye), если бы онъ могъ только воскреснуть! онъ нашелъ бы вездѣ надпись: прочь разумъ—одинъ авторитетъ! Правда, что это авторитетъ не соборовъ, не отцовъ церкви, еще менѣе юристовъ, а авторитетъ власти жандармеріи, но онъ стоитъ всякаго другого».

Такое правленіе въ союзѣ съ духовенствомъ, произносившимъ проповѣди въ реакціонномъ духѣ, устраивавшимъ безчисленныя процессіи, вызвало наконецъ раздраженіе въ населеніи, которое пугало болѣе спокойныхъ людей реставраціи, а къ числу ихъ принадлежалъ и министръ Деказъ. Новая палата, новые выборы, какіе бы они ни были, были необходимы, чтобы не дать усилиться раздраженію.

Новая палата уже мало походила на прежнюю. Хотя роялисты и явились въ числѣ ста человѣкъ, но направленіе нѣсколько измѣнилось, ихъ уравновѣшивали депутаты, преданные министерству. Въ новой палатѣ существовала уже небольшая группа независимыхъ депутатовъ, рѣшившихся твердо отстаивать конституціонныя права націи. Случай къ тому скоро представился внесеніемъ министерствомъ закона о злоупотребленіяхъ свободой печати. Министерство находило, что положеніе партій, общее раз-

драженіе, занятіе Франціи иностранными войсками дѣлаетъ невозможною свободу печати, обусловленную хартіею, что, напротивъ, необходимы усиленныя мѣры строгости, такъ какъ печать снова возвышала свой враждебный голосъ. Правительство требовало, чтобы исключительныя мѣры относительно печати сохраняли свою силу въ продолженіи еще трехъ лѣтъ, чтобы въ теченіи этого періода печать была поставлена въ прямую зависимость отъ правительства. Оппозиція же, какъ лѣвой, такъ и правой стороны, одинаково требовала полной свободы печати. Если лѣвая сторона, либеральная партія отстаивала свободу печати, если она доказывала, что свобода писать является естественнымъ правомъ, что она служитъ охраною другихъ вольностей,—то въ этомъ, разумѣется, нѣтъ ничего удивительнаго. Гораздо поучительнѣе представляется поведеніе правой стороны, реакціонной партіи, которая съ не меньшею энергіею домогалась свободы печати. Я говорю: поучительнѣе, такъ какъ реакціонныя партіи обыкновенно стремятся всегда унизить печать, и слишкомъ часто достигаютъ того плачевнаго результата, что печать перестаетъ служить серьёзнымъ общественнымъ интересамъ, и превращается въ орудіе грязныхъ сплетенъ, самыхъ низменныхъ интересовъ. Во Франціи, реакціонная партія, становясь на государственную точку зрѣнія, доказывала, что въ дѣлахъ печати ничто не можетъ быть менѣе цѣлесообразно, какъ произволъ, что законы, карающіе злоупотребленія печатнымъ словомъ, должны быть весьма строги, но именно законы должны быть строги, а не административныя мѣры. Франція не хотѣла допустить, чтобы полицейская власть присвоивала себѣ диктатуру надъ общественнымъ мнѣніемъ, чтобы отъ нея зависѣло предоставлять говорить объ извѣстныхъ вопросахъ и заставлять молчать о другихъ. «Для того, чтобы судить злоупотребленія печати,—доказывала реакціонная партія въ лицѣ одного изъ своихъ столповъ Вилеля, будущаго министра реставраціи,—слѣдуетъ обращаться не къ магистратурѣ, которая никогда не бываетъ вполнѣ независима съ политической точки зрѣнія, но къ силѣ, почерпаемой въ общественномъ мнѣніи». Вотъ почему Вилель требовалъ освобожденія печати отъ административнаго произвола и подчиненія ея строгимъ законамъ, примѣненіе которыхъ было бы предоставлено исключительно суду присяжныхъ. Министерство было побѣждено въ этомъ вопросѣ, и вынуждено было взять обратно свой проектъ, чтобы въ слѣдующую сессію внести другой проектъ закона о печати.

При открытіи новой сессіи палаты, либеральный элементъ ея усилился новымъ приливомъ независимыхъ депутатовъ. Па-

лата, обновлявшаяся каждый годъ въ пятой части всего своего состава, увидѣла въ числѣ избранныхъ депутатовъ предводителей либеральной партіи Лафайета и Манюэля. Выборы эти свидѣтельствовали, что слѣпая реакція пропѣла свою лебединую пѣснь, что нація снова встрепенулась и не намѣрена больше сносить иго роялистской партіи. Избраніе враговъ абсолютизма и горячихъ защитниковъ нелицемѣрнаго конституціоннаго порядка привело въ негодованіе партію роялистовъ и въ смущеніе министерство герцога Ришёлье. Чувствуя, что почва подъ нимъ колеблется, министерство, находившееся во главѣ управленія во все время реакціоннаго урагана, подало въ отставку. Либеральная партія привѣтствовала это паденіе, понимая, что новое министерство должно будетъ обратиться къ болѣе либеральной, а слѣдовательно и болѣе миролюбивой внутренней политикѣ. Если либеральная партія имѣла основаніе быть довольною измѣненіемъ, совершившимся въ настроеніи общественнаго мнѣнія, пославшаго въ палату Лафайета, Манюэля, Бенжаменъ Констана и еще человѣкъ около двадцати-пяти независимыхъ депутатовъ, то дворъ, роялистская партія и наконецъ иностранныя государства, рекомендовавшія конституціонное управленіе только какъ громоотводъ противъ революціи, но вовсе не по симпатіи къ нему, пришли снова въ волненіе, и, не заботясь о послѣдовательности, убѣждали короля отдаться въ руки роялистовъ и измѣнить еще разъ законъ о выборахъ, предоставивъ имъ способы избранія въ полное распоряженіе въ руки крупныхъ землевладѣльцевъ, или иными словами, во власть роялистовъ. Но вліяніе Деказа, Ройе-Коллара и другихъ представителей интересовъ третьяго сословія, хотя и вовсе не либеральныхъ, взяло верхъ, и новое министерство составилось изъ людей, не принадлежавшихъ къ партіи реакціи. Душою кабинета сдѣлался все тотъ же Деказъ, понявшій необходимость, для упроченія реставраціи, болѣе либеральной внутренней политики, и искавшій для конституціонной монархіи опоры главнымъ образомъ въ буржуазіи; буржуазія же въ то время разыгрывала роль защитницы народныхъ интересовъ. Деказъ старался теперь нѣсколько обуздать произволъ «жандармеріи». Онъ настаивалъ на помилованіи въ широкихъ размѣрахъ лицъ, сосланныхъ въ 1815 г., и на смягченіи суроваго положенія печати. Въ виду этой послѣдней цѣли товарищъ его по министерству де-Серръ внесъ въ палату обширный законъ о печати, выработанный коммиссіей, составленной изъ герцога Броля, Баранта, Гизо, Ройе-Коллара и знаменитаго Кювье.

Либерализмъ, либеральный, нелиберальный—все это понятія

весьма условныя. То, что̀ можетъ казаться либеральнымъ въ одной странѣ, въ другой представляется мало либеральнымъ, а въ третьей и вовсе нелиберальнымъ. Эта относительность понятія зависитъ, разумѣется, отъ того, въ какихъ условіяхъ пребываютъ люди, разсуждающіе о либеральности или нелиберальности того или другого закона. Говоря о законѣ о печати, выработанномъ въ эпоху реставраціи, мы не можемъ не согласиться, что этотъ законъ былъ по-истинѣ либеральнымъ, хотя и вполнѣ понимаемъ, что французская либеральная партія того времени была имъ крайне неудовлетворена, а современные французскіе либералы назовутъ этотъ законъ даже реакціоннымъ. Законъ этотъ выходилъ изъ того принципа, что преступленія и проступки, совершенные путемъ печати, ничѣмъ не отличаются отъ всѣхъ другихъ преступленій и проступковъ. Отсюда дѣлалось заключеніе, что эти преступленія не могутъ подвергаться какой-либо спеціальной отвѣтственности. Законъ этотъ распадался на три части. Въ первой опредѣлялись преступленія и проступки, орудіемъ которыхъ могло быть печатное слово; вторая часть указывала, что преступленія и проступки печати подсудны суду присяжныхъ, и, наконецъ, третья часть заключала въ себѣ такъ-называемыя гарантіи противъ злоупотребленія печатнымъ словомъ, которыя сводились къ залогу и къ заявленію двухъ издателей или собственниковъ о принятіи на себя отвѣтственности за всякую помѣщенную статью. Законъ этотъ былъ принятъ палатою депутатовъ, хотя либеральная партія и не чувствовала себя удовлетвореннною, тѣмъ не менѣе этотъ законъ положилъ конецъ предварительной цензурѣ и административному произволу.

Если недовольна была либеральная партія въ палатѣ, требовавшая болѣе широкой свободы печатнаго слова, какъ гарантіи конституціоннаго порядка, то сама печать выразилась еще болѣе рѣшительно противъ новаго закона. Очень скоро, впрочемъ, какъ либеральная партія, такъ и сама литература, должны были убѣдиться, что законъ о печати 1819 года не такъ дуренъ, какъ они предполагали, и убѣдиться въ этомъ они должны были именно въ силу только того обстоятельства, что правительство Людовика XVIII признало необходимымъ еще разъ его ограничить. Недолго продолжалось либеральное направленіе реставраціи. Избраніе въ депутаты Грегуара, одобрившаго казнь Людовика XVI, произвело необычайное волненіе какъ въ придворныхъ сферахъ, такъ и среди роялистской партіи. Отъ министерства потребовали измѣненія закона о выборахъ, дѣлавшаго возможнымъ избраніе подобнаго депутата. Фаворитъ Лю-

довика XVIII, Деказъ, съ такимъ жаромъ отстаивавшій неприкосновенность стараго закона, сдался, и уже готовился внести въ палату новый законъ, имѣвшій своею цѣлію перенести центръ тяжести выборовъ изъ рукъ третьяго сословія въ руки аристократіи. Новый законъ служилъ яснымъ доказательствомъ новой перемѣны въ направленіи внутренней политики реставраціи, сигналомъ къ повороту въ сторону реакціи. Быть можетъ, этотъ переходъ совершился бы не съ такою поспѣшностію, если бы не произошло несчастнаго случая, весьма рѣзко отразившагося на ходѣ событій. 13-го февраля 1820 г., младшій сынъ графа д'Артуа, будущаго короля Карла X, сдѣлался жертвой фанатическаго убійства. Выходя изъ Большой оперы, герцогъ Беррійскій получилъ смертельную рану въ грудь, нанесенную кинжаломъ простого рабочаго Лувеля. Черезъ нѣсколько часовъ онъ скончался. Убійство это казалось вполнѣ необъяснимымъ, такъ какъ герцогъ стоялъ вдали отъ государственныхъ дѣлъ, но Лувель на допросѣ объяснилъ, почему онъ избралъ своею жертвою герцога Беррійскаго, а не короля и не будущаго Карла X: онъ одинъ могъ продолжать родъ старшей линіи Бурбоновъ, которую онъ поклялся искоренить. Но разсчетъ Лувеля оказался ошибочнымъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смерти герцога Беррійскаго у его жены родился сынъ, получившій титулъ графа Шамбора.

Убійство герцога Беррійскаго оказалось какъ нельзя болѣе съ руки партіи реакціи. Она воспользовалась имъ, чтобы начать энергическую и непримиримую борьбу со всѣмъ, что было, по ея мнѣнію, заражено либеральными принципами. Борьба съ печатью, борьба съ избирательнымъ закономъ, борьба съ партіями, борьба, наконецъ, съ конституціоннымъ началомъ, борьба не на жизнь, а на смерть,—и все это должно было окончиться гибелью реставраціи. Съ злополучнаго дня 13-го февраля, реставрація была уже въ сущности обречена на гибель. Единственнымъ якоремъ ея спасенія могла быть исключительно вѣрность конституціи. Измѣняя ей и бросаясь въ объятія реакціонной партіи, нежелавшей разстаться съ сладкою мечтою о возвращеніи къ старому порядку, реставрація, правда, медленно, но безъ остановки стала рыть себѣ могилу.

Пріемы, употребленные реакціей были не новы. Прежде всего она объявила фанатика Лувеля вполнѣ солидарнымъ съ либеральною партіею, съ печатью, съ господствовавшими идеями. Такой пріемъ развязывалъ ей руки, и она могла свободно прибѣгать къ самымъ крутымъ, исключительнымъ мѣрамъ, оправдывая себя тѣмъ, что она направляетъ эти мѣры противъ нрав-

ственныхъ сообщниковъ убійцы. А кого нельзя было подвести подъ эту категорію! Въ квартирѣ Лувеля былъ найденъ одинъ изъ нумеровъ либеральной въ то время газеты «Constitutionnel», и этого доказательства было вполнѣ достаточно, чтобы составить себѣ убѣжденіе въ виновности либеральныхъ идей и всѣхъ, кто позволяетъ себѣ думать несогласно съ реакціей. Даже министръ Деказъ, почти готовый перейти въ реакціонный лагерь, былъ громко съ трибуны палаты названъ сообщникомъ Лувеля. Легко себѣ представить, чего должны были ожидать послѣ этого истинно либеральные люди, на что могла разсчитывать печать. Правда, существовало одно обстоятельство, стоявшее поперекъ горла реакціи, это—конституція, мѣшавшая быстротѣ и энергіи мѣръ; обходъ же ея могъ стоить слишкомъ дорого, и потому никто не рѣшился прибѣгнуть къ такому радикальному средству. Новое министерство, во главѣ котораго сталъ снова герцогъ Ришельё, внесло въ палату прежде всего проектъ двухъ чрезвычайныхъ законовъ, изъ которыхъ одинъ касается ограниченія правъ печати, другой былъ направленъ къ ограниченію личной свободы. Оба эти проекта законовъ встрѣтили какъ въ палатѣ депутатовъ, такъ и въ палатѣ перовъ энергическую оппозицію. Министерство въ сущности домогалось отмѣны закона о печати 1819 года, лишавшаго его всякаго произвола въ дѣлахъ печати, но палата не согласилась на такую отмѣну. Правда, она предоставила правительству просторъ въ дѣлахъ печати, но ограничила его срокомъ одной сессіи. Другая мѣра вызвала еще болѣе горячія нападенія на министерство, которое оппозиціею съ полнымъ правомъ обвинялось въ стремленіи нарушить хартію 1815 года. «У васъ въ рукахъ, говорили ораторы оппозиціи, находится гораздо болѣе дѣйствительное средство для успокоенія страны, для умиротворенія страстей, чѣмъ исключительные законы, средство это—правильное развитіе истинно-представительнаго правленія. Исключительные законы, говорили они, это—заемъ у ростовщика, который разоряетъ правительство, вмѣсто того, чтобы его обогащать». Несмотря, однако, на эти весьма вѣскія возраженія противъ исключительныхъ законовъ, палата предоставила все-таки правительству то, чего оно добивалось, т.-е. ограниченія личной свободы, но опредѣлила періодъ дѣйствія этой мѣры тремя мѣсяцами. Эти временные и даже кратковременные законы возмутили французское общество. Въ силу одной изъ нихъ правительству предоставлялось право установить предварительную цензуру, въ силу другой—каждый гражданинъ могъ быть арестованъ, но, правда, не иначе, какъ по приказу, подписанному тремя министрами.

Какъ незначительно было вліяніе этихъ мѣръ, можно видѣть по тому отношенію къ нимъ, которое выразилось и въ печати, и въ обществѣ. Образчики отношенія къ нимъ печати сохранились въ произведеніяхъ одного извѣстнаго памфлетиста этой эпохи, и именно въ его письмахъ къ редактору «Цензора». «Типографія, — писалъ онъ, — причиняетъ все зло міру. Отлитая буква вызываетъ убійство съ сотворенія міра, и Каинъ читалъ уже журналы въ земномъ раѣ. Въ этомъ нельзя сомнѣваться, — такъ говорятъ министры, министры же не лгутъ, въ особенности съ трибуны. Да будетъ проклятъ авторъ этого проклятаго изобрѣтенія, а вмѣстѣ съ нимъ и тѣ, которые увѣковѣчили его употребленіе, и тѣ, которые выучили людей сообщать другъ другу свои мысли, — для такихъ людей у ада нѣтъ достаточно кипучихъ котловъ... О, если бы съ самаго начала были какъ слѣдуетъ укрощены эти преступные порывы духа анархіи, если бы первый, кто осмѣлился произнести ba-be-bi-bo-bu, былъ куда слѣдуетъ засаженъ, міръ былъ бы спасенъ... Но развѣ что-либо дѣлается своевременно. За недостаткомъ предупредительныхъ мѣръ, случилось то, что люди заговорили, и тотчасъ стали злословить правительство, которому это вовсе не понравилось; оскорбленное, опозоренное, оно издало законы противъ злоупотребленій словомъ; свобода слова была пріостановлена на три тысячи лѣтъ, и въ силу такого указа каждый рабъ, открывавшій ротъ, чтобы кричать вслѣдствіе боли отъ ударовъ, или ради просьбы о хлѣбѣ, былъ подвергаемъ распятію, удушенію, къ великому удовольствію всѣхъ честныхъ людей. Дѣла, такимъ образомъ, шли недурно и правительство было уважаемо...» Далѣе этотъ же публицистъ задается вопросомъ: возможно ли вообще управлять націею, если каждое утро двадцати, тридцати тысячамъ подписчиковъ будутъ разносить свѣжій листъ газеты, печатающей все, что́ люди говорятъ и думаютъ, и планы управителей, и опасенія управляемыхъ. «Если такое злоупотребленіе будетъ продолжаться, что же тогда можно предпринять что́ не было бы впередъ обсуждаемо, изслѣдуемо, осуждаемо, раскритиковано, оцѣнено. Публика станетъ вмѣшиваться во все, захочетъ всюду совать свой носъ, все учитывать, даже насмѣхаться надъ дипломатіей. Нація стала бы вертѣть министерствомъ, какъ возницею, которому платятъ, и который обязанъ насъ везти не туда, куда онъ хочетъ, и не такъ, какъ ему вздумается, а такъ, какъ мы желаемъ, и тѣмъ путемъ, который намъ нравится; развѣ не страшно объ этомъ и подумать, развѣ это не противно божественному праву и капитуламъ»...

Также осмѣивалъ онъ и исключительный законъ, предостав-

лишій личную свободу усмотрѣнію произвола. «Случайно, — пишетъ онъ,—мнѣ попалось въ руки письмо королевскаго прокурора. Вотъ копія съ него, за исключеніемъ именъ, которыя я опускаю: «Будьте такъ добры арестовать и посадить въ тюрьму такого-то изъ такой-то мѣстности». Вотъ и все письмо. Я увѣренъ, что если вы его напечатаете, вамъ будутъ благодарны. Публика заинтересована въ такого рода корреспонденціи; обыкновенно она знаетъ только послѣдствія такихъ писемъ. Это сжато, коротко; это вполнѣ наполеоновскій стиль, врагъ всякихъ длинностъ и объясненій. Пожалуйста, посадите въ тюрьму,—тутъ все сказано... Французская юриспруденція, французскіе законы сдѣлались военными, судьи должны потому дѣйствовать быстро, и они дѣйствуютъ».

Либеральная оппозиція, отстаивавшая неприкосновенность вольностей, обусловленныхъ хартіею, проигравъ сраженіе въ палатѣ, перенесла борьбу на общественную почву и образовала комитетъ для оказанія матеріальной и нравственной помощи всѣмъ тѣмъ, кого коснется только законъ объ ограниченіи свободы. Нравственная помощь заключалась въ доставленіи совѣтовъ и защитниковъ всѣмъ, кто только нуждался. Въ театрахъ, въ общественныхъ мѣстахъ каждый день, раздавались крики: Vive la Charte! Point de loi d'exception! Высшія учебныя заведенія пришли точно также въ волненіе. Юношескія манифестаціи, враждебныя министерству, повторялись каждый день. Въ публикѣ, въ массѣ распространялись различныя брошюры, министерство преслѣдовало, но всѣ эти преслѣдованія имѣли только одно послѣдствіе— еще болѣе разжигали страсти.

Въ палатѣ между тѣмъ происходила болѣе чѣмъ когда-либо горячая борьба изъ-за основныхъ началъ конституціонализма, такъ какъ партія реакціи стремилась, на свое собственное горе, эспаментировать хартію исключительно въ свою пользу. Поводъ для этой борьбы былъ доставленъ проектомъ новаго закона о выборахъ. Общество принимало въ этой борьбѣ горячее участіе, и каждый день около палаты собиралась толпа народа, настроенная враждебно, но она ограничивалась законнымъ крикомъ: Vive la Charte! Были высланы солдаты для того, чтобы разгонять толпу, но это вмѣшательство вооруженной силы противъ безоружной толпы иной разъ оканчивалось самымъ трагическимъ образомъ. Такъ, во время одной изъ такихъ демонстрацій былъ наповалъ убитъ одинъ юноша, и смерть его прибавила реставраціи десятки тысячъ враговъ. Въ палатѣ депутатовъ вождь оппозиціи Манюэль назвалъ убійцами тѣхъ, на чью совѣсть должна была лечь смерть этого юноши. Общество рукоплескало

Манюэлю, министерство же, вмѣсто того, чтобы одуматься, все дальше и дальше увлекалось духомъ реакціи.

Обвиненіе въ нарушеніи хартіи бросалось прямо въ глаза министерству, и никто почти не дѣлалъ этого съ такою смѣлостью, какъ тотъ рыцарь безъ страха и упрека, которому имя Лафайетъ. Онъ, сохраняя спокойствіе и достоинство, обвинялъ министерство за новый избирательный законъ, отдававшій представительство въ руки людей феодальнаго порядка; онъ говорилъ, что, присягая на вѣрность конституціи, онъ надѣялся, что всѣ партіи будутъ искать свободы и успокоенія въ правахъ, освященныхъ хартіею, и въ учрежденіяхъ, которыя должны были вести мирнымъ путемъ къ обладанію всѣми соціальными гарантіями. «Моя надежда,—прибавлялъ онъ,—была обманута. Контръ-революція кроется въ самомъ правительствѣ, ей хотятъ дать опору въ палатахъ». Точно обладая даромъ пророчества, онъ набросалъ картину нарушенія хартіи, возстановленія деспотизма, феодальныхъ правъ аристократіи, и конечнаго результата реакціонной политики реставраціи—возмущеніе всѣхъ классовъ, разбившихъ еще въ прошломъ столѣтіи цѣпи неволи, вмѣстѣ съ сверженіемъ въ пропасть реставраціи и Бурбоновъ.

Но министерство и партія реакціи не обращали вниманія на подобныя предостереженія. Они полагали, что общество остается спокойнымъ въ виду всѣхъ репрессивныхъ мѣръ; но скоро они должны были быть выведены изъ заблужденія. Негодованіе охватило всѣ классы, и вся Франція стала покрываться цѣлою сѣтью тайныхъ обществъ. Карбонаризмъ нашелъ для себя плодородную почву. Сначала въ этихъ заговорахъ участвовали люди темные, никому не извѣстные, но скоро стало ясно, что къ тайнымъ обществамъ начали пристават выведенные изъ терпѣнія восторжествовавшею реакціею люди, пользовавшіеся громадною популярностью. Среди этихъ людей первое мѣсто принадлежало Лафайету. «Съ 1820 по 1823 годъ,—говоритъ въ своихъ мемуарахъ Гизо,—Лафайетъ если и не былъ настоящимъ руководителемъ, то онъ былъ орудіемъ и украшеніемъ всѣхъ тайныхъ обществъ, всѣхъ заговоровъ»... Всѣ эти тайныя общества дѣлались извѣстны правительству; заговоры не удавались, это правда, но если они не достигали прямой цѣли,—замѣчаетъ другой современникъ реставраціи, то тѣмъ не менѣе они поддерживали въ обществѣ броженіе и недовольство, всегда пагубныя для правительства. Каждый мѣсяцъ почти приносилъ извѣстія о раскрытіи новаго заговора, сегодня въ Парижѣ, завтра въ Марсели, затѣмъ въ Тулонѣ, Сомюрѣ, Кольмарѣ, Нантѣ, Ла-Рошели. Въ теченіи послѣднихъ

годовъ царствованія Лудовика XVIII было открыто восемь заговоровъ, имѣвшихъ по всей Франціи широкія развѣтвленія. Правительство преслѣдовало заговорщиковъ, во всѣхъ концахъ Франціи происходили судилища, и въ теченіи двухъ лѣтъ было приведено въ исполненіе одиннадцать смертныхъ приговоровъ надъ политическими преступниками. Все французское общество было потрясено этими политическими казнями, совершенными преимущественно надъ молодыми людьми, которые, по выраженію Манюэля, высказанному въ палатѣ, «умѣли хорошо умирать». Вокругъ этихъ жертвъ реакціи слагались легенды, болѣе страшныя для реставраціи, чѣмъ смертные приговоры для тѣхъ, которые обрекали себя на жертву. Четыре сержанта Ла-Рошеля остались въ памяти націи окруженными ореоломъ. Они отказались отъ жизни, но не выдали своихъ товарищей по заговору.

Реакція между тѣмъ все усиливалась. Министерство торжествовало свои побѣды, рукоплескало открытію заговоровъ. Оно не задавалось вопросомъ, не лежитъ ли корень этого общественнаго броженія въ немъ самомъ, въ его собственныхъ злоупотребленіяхъ, не слѣдуетъ ли, въ видахъ пользы правительства, измѣнить внутреннюю политику и примириться съ представительнымъ правленіемъ и тѣми правами народа, которыя провозглашены были даже скромною хартіею 1815 года. Но вмѣсто того, ослѣпленіе реставраціи все усиливалось, и она надѣялась, что ея мѣры окажутся самыми надежными средствами для умиротворенія общества.

Новые выборы, произведенные на основаніи новаго закона, побудили реакціонную палату, которая уже мало чѣмъ стѣснялась, произвести самый рѣшительный поворотъ къ старому порядку. 16-го сентября 1824 года, произошло событіе, которое окончательно развязало ей руки и рѣшительно бросило ее на тотъ путь, въ концѣ котораго виднѣлась уже іюльская революція. Событіемъ этимъ была—смерть Лудовика XVIII, желавшаго все-таки, хотя и по-своему, оставаться вѣрнымъ хартіи 1815 г., и вступленіе на престолъ Карла X, послѣдняго представителя во Франціи божественнаго права и непримиримаго врага конституціонализма, въ которомъ онъ видѣлъ исчадіе духа революціи.

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАНЪ

ВЪ

ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯХЪ.

IV.—Викторъ Гюго.

При всемъ разнообразіи типовъ, которые встрѣчаются въ нѣмецкомъ романѣ [1]), въ средѣ его нѣтъ рѣзко разграниченныхъ *литературныхъ* партій. Около его корифеевъ не группируются школы; литературная критика не выставляетъ формулъ, обязательныхъ для *новаго* романа, въ противоположность старому, отжившему; сами романисты не считаютъ своихъ произведеній способомъ пропаганды подобныхъ формулъ, провозглашенныхъ или усвоенныхъ ими. Совсѣмъ не то мы видимъ во Франціи. Движеніе, совершающееся въ области французскаго романа, хорошо извѣстно нашимъ читателямъ; одно изъ самыхъ видныхъ въ немъ мѣстъ занимаетъ — и какъ романистъ, и какъ критикъ—г. Эмиль Зола, «Парижскія Письма» котораго съ 1875 г. постоянно печатаются въ «Вѣстникѣ Европы». Сообразно съ этимъ должна измѣниться, на время, программа и задача нашихъ статей; появляясь послѣ этюдовъ г. Зола и касаясь тѣмъ, имъ уже затронутыхъ, онѣ должны быть посвящены преимущественно тѣмъ сторонамъ предмета, которыя почему-либо оставлены въ тѣни

[1]) См. статьи о Фрейтагѣ, Шпильгагенѣ и Ауэрбахѣ, въ №№ 4, 7 и 10 „Вѣстника Европы“ за истекшій 1879-й годъ.

французскимъ критикомъ, и тѣмъ вопросамъ, по которымъ мы съ нимъ въ бо́льшей или меньшей степени расходимся *). Съ нѣкоторыхъ изъ этихъ вопросовъ намъ и придется начать, такъ какъ патріархъ современнаго французскаго романа, В. Гюго— вмѣстѣ съ тѣмъ и представитель направленія, противъ котораго главнымъ образомъ вооружается г. Эмиль Зола.

I.

Русскимъ читателямъ критическихъ статей г. Зола часто можетъ показаться, что онъ наноситъ удары въ пустое пространство, что онъ занимается, по извѣстному французскому выраженію, выламываніемъ отпертыхъ дверей. Отъ романтизма, сокрушенію котораго онъ посвящаетъ столько времени и усилій, не осталось камня на камнѣ. Малочисленные послѣдователи В. Гюго не играютъ замѣтной роли въ современной литературѣ; самъ Гюго, въ сущности, пересталъ быть романтикомъ. Чисто-эстетическая критика почти не существуетъ; новая критическая школа, основанная Сентъ-Бёвомъ, окончательно окрѣпла и произвела такую крупную силу, какъ Тэнъ. Бальзакъ, не понятый при жизни, давно уже оцѣненъ по достоинству; успѣхъ «Madame Bovary», относящійся еще къ пятидесятымъ годамъ, доказываетъ возможность дальнѣйшаго торжества натурализма. Необходимость тщательнаго наблюденія надъ жизнью и яснаго воспроизведенія ея никѣмъ не оспоривается въ принципѣ. Несмотря на все это, критическая работа г. Зола имѣетъ и смыслъ, и цѣль, и удивляться можно только тому, что онъ медлилъ подѣлиться ея результатами съ своей, французской публикой. Литературный консерватизмъ пустилъ во Франціи слишкомъ глубокіе корни, чтобы борьба противъ него могла считаться покончennою послѣ первыхъ частныхъ побѣдъ. У него есть укрѣпленные пункты, которые онъ защищаетъ съ большимъ упорствомъ и не безъ удачи. Не отвергая, какъ въ эпоху процвѣтанія классицизма, права литературы касаться всѣхъ слоевъ общества, всѣхъ сторонъ общественной жизни, онъ продолжаетъ устранять изъ нея, насколько можетъ, низкое, пошлое, грязное,

*) Въ г. Эм. Зола мы видѣли, вмѣстѣ со всѣми, весьма талантливаго представителя взглядовъ, все болѣе и болѣе распространяющихся во Франціи и уже поэтому одному заслуживающихъ изученія. Стѣснять его въ выраженіи этихъ взглядовъ или возражать противъ нихъ по мѣрѣ ихъ развитія мы не имѣли никакого основанія,— но точно такъ же не имѣемъ причины стѣсняться въ заявленіи возможнаго разногласія съ ними, когда представится къ тому случай.—*Ред.*

какъ незаслуживающее художественной обработки. Онъ продолжаетъ отстаивать риторическую шумиху, смѣшивая громкое съ высокимъ, напыщенное съ величественнымъ. Онъ продолжаетъ вѣрить въ безсознательное творчество, въ поэтовъ, поющихъ какъ поютъ птицы. Какъ ни поколеблены эти позиціи консерватизма, онѣ еще держатся, господствуя надъ частью литературы, и атаку, которую ведетъ противъ нихъ г. Зола, никакъ нельзя назвать пустою тратой зарядовъ. Что сила напора, въ этой аттакѣ, не всегда соразмѣрена съ силой сопротивленія—это понятно; въ пылу борьбы трудно взвѣшивать удары. Гораздо важнѣе то, что наступательное движеніе, предпринятое г. Зола, вышло далеко за предѣлы его первоначальнаго плана. Расширяя область явленій, входящихъ въ сферу искусства, г. Зола даетъ слишкомъ много мѣста всему тому, на чемъ лежалъ запретъ старой школы. Преслѣдуя фразу, онъ доходитъ до совершеннаго отрицанія художественной формы (хотя на практикѣ грѣшитъ иногда излишнею заботливостью о ней). Осмѣивая вдохновеніе, онъ преувеличиваетъ значеніе метода въ искусствѣ, приписываетъ ему небывалую силу. Возставъ противъ романтизма, онъ оканчиваетъ объявленіемъ войны не только идеалу, но и чувству, какъ субъективному элементу, неумѣстному въ «протоколахъ» и «документахъ». Какъ отразились эти увлеченія на романахъ самого г. Зола—это мы увидимъ въ другой разъ, когда будемъ говорить о немъ, какъ о романистѣ; теперь мы имѣемъ дѣло только съ его теоріями. Краеугольный ихъ камень—это вопросъ о методѣ, на которомъ мы прежде всего и должны остановиться.

«Мы—аналитики, анатомы, собиратели человѣческихъ документовъ, ученые, признающіе исключительно авторитетъ фактовъ... Натурализмъ—не что иное, какъ изученіе одушевленныхъ и неодушевленныхъ предметовъ, путемъ *экспериментальнаго* анализа, внѣ всякой идеи объ абсолютѣ; онъ не что иное какъ формула, *экспериментальный* и аналитическій методъ». Въ этихъ опредѣленіяхъ, ярко формулирующихъ основную мысль г. Зола, насъ поражаетъ въ особенности одно выраженіе, очевидно требующее комментарія — выраженіе: *экспериментальный*, настойчиво примѣняемое г. Зола къ методу натурализма. И дѣйствительно, разъясненію этого выраженія посвящено цѣлое письмо, озаглавленное «Экспериментальный романъ» (сентябрь, 1879). Руководящею его нитью служатъ разсужденія Кл. Бернара объ экспериментальной медицинѣ, цѣликомъ переносимыя г. Зола въ область романа. Романистъ, въ глазахъ г. Зола, состоитъ изъ наблюдателя и экспериментатора. «Наблюдатель въ немъ даетъ факты такими, какъ онъ

ихъ замѣтилъ, полагаетъ точку отправленія, утверждаетъ твердую почву, на которой пойдутъ его дѣйствующія лица, и станутъ развиваться явленія. Потомъ является экспериментаторъ и устраиваетъ опытъ, т.-е. развиваетъ дѣйствіе романа, чтобы показать, что поступки дѣйствующихъ лицъ будутъ таковы, какъ этого требуетъ детерминизмъ изучаемыхъ явленій... Ставить героя въ условія, хозяиномъ которыхъ остается самъ романистъ, значитъ производить не наблюденіе, а опытъ. Экспериментальный романъ—напр. «La cousine Bette» Бальзака—есть только протоколъ опыта, который романистъ повторяетъ передъ глазами публики. Операція состоитъ въ томъ, чтобы взять факты въ природѣ и затѣмъ изучить ихъ механизмъ, дѣйствуя на явленія посредствомъ измѣненія обстоятельствъ и среды, сообразно съ законами природы; въ результатѣ получается научное знаніе человѣка. Экспериментаторъ, по словамъ Кл. Бернара—судебный слѣдователь природы; мы, романисты—судебные слѣдователи людей и ихъ страстей».

Чтобы опрокинуть этотъ воздушный замокъ, не нужно даже прибѣгать къ другому источнику, кромѣ того, которымъ пользовался г. Зола, къ другимъ цитатамъ, кромѣ тѣхъ, которыя онъ самъ приводитъ. «Имя наблюдателя», читаемъ мы въ выпискахъ г. Зола изъ Кл. Бернара, «даютъ тому, кто употребляетъ простые и сложные процессы изслѣдованія при изученіи явленій, не заставляя ихъ измѣняться, и, слѣдовательно, принимая ихъ такими, какими ихъ предлагаетъ природа; имя экспериментатора даютъ тому, кто употребляетъ простые или сложные процессы изслѣдованія, чтобы разнообразить или измѣнять, съ извѣстною цѣлью, явленія природы и заставлять ихъ появляться въ такихъ обстоятельствахъ или условіяхъ, въ какихъ природа ихъ не представляетъ». Не ясно ли, въ виду этого опредѣленія, что романисту доступна только роль наблюдателя, а не экспериментатора? Измѣнять явленія природы, упрощать или усложнять ихъ, вліять на ихъ теченіе романистъ не можетъ. Взять за исходную точку факты, непосредственно почерпнутые изъ наблюденія, присоединить къ нимъ другіе, сочиненные (т.-е. комбинированные, съ помощью воображенія, изъ прежнихъ, своихъ или чужихъ, наблюденій), и затѣмъ вывести изъ тѣхъ и другихъ результатъ, по возможности близкій къ тому, къ какому подобное сочетаніе или подобная послѣдовательность фактовъ привела бы въ дѣйствительности—не значитъ еще произвести опытъ, предполагающій совокупность *реальныхъ* явленій и только отъ нихъ получающій свою доказательную силу. Медикъ можетъ производить и на каждомъ шагу производитъ опыты, испытывая вліяніе извѣстнаго средства

при извѣстныхъ условіяхъ, затѣмъ вліяніе того же средства при другихъ условіяхъ, другого средства при тѣхъ же условіяхъ, и т. д.; романистъ только въ самыхъ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ можетъ способствовать образованію, въ дѣйствительной жизни, комбинаціи условій, *аналогичной* съ тою, какая придумана имъ для романа. Сравненіе, съ торжествомъ заимствуемое г. Зола у Кл. Бернара, обрушивается на его голову; если романистъ — судебный слѣдователь человѣческой страсти, то это одно исключаетъ уже всякую возможность считать его экспериментаторомъ. Судебный слѣдователь имѣетъ дѣло съ готовымъ матеріаломъ, не допускающимъ ни перемѣны, ни дополненія, требующимъ только изслѣдованія и разъясненія. Романистъ свободнѣе судебнаго слѣдователя въ добываніи и группировкѣ фактовъ; но производить явленія или видоизмѣнять ихъ не дано ни тому, ни другому.

Ошибка въ точкѣ отправленія неизбѣжно влечетъ за собою и другія. «У насъ есть экспериментальная физика и химія», — говоритъ г. Зола; «у насъ *будетъ* экспериментальная физіологія и медицина; *еще позднѣе явится* экспериментальный романъ — это роковая прогрессія, послѣднее звено которой легко предвидѣть уже теперь». — «Экспериментальный романъ», читаемъ мы на одной изъ слѣдующихъ страницъ того же письма, «захватываетъ и дополняетъ физіологію, замѣняетъ изученіе абстрактнаго, метафизическаго человѣка изученіемъ человѣка естественнаго, подчиненнаго физико-химическимъ законамъ и опредѣляемаго вліяніемъ среды; онъ — литература нашего научнаго вѣка, подобно тому, какъ классическая и романтическая литература соотвѣтствуютъ вѣку схоластики и теологіи». Итакъ, экспериментальный романъ является въ одно и то же время существующимъ и несуществующимъ, произведеніемъ будущаго и характеристическою чертою настоящаго. Прежде г. Зола постоянно настаивалъ на томъ, что натурализмъ или реализмъ родился не со вчерашняго дня, что онъ развивался медленно и постепенно, что признаки его можно найти въ самыхъ первыхъ, по времени, литературныхъ произведеніяхъ. Новѣйшій французскій натурализмъ являлся, такимъ образомъ, естественнымъ наслѣдникомъ никогда не угасавшей традиціи, продолжателемъ давно начатаго дѣла. Не то мы видимъ теперь: натурализмъ строитъ — или долженъ построить — новую, небывалую форму искусства, если только можетъ быть рѣчь объ искусствѣ тамъ, гдѣ романъ становится наукой [1]). Претензіи

[1]) „Если экспериментальный романъ", говоритъ г. Зола, „пробирается еще ощупью въ самой темной и запутанной изъ наукъ, то это не мѣшаетъ наукѣ существовать".

романа, вознесеннаго на эту вышину, не знаютъ больше границъ. На долю его выпадаетъ созданіе *научной психологіи*, какъ дополненія къ научной физіологіи, и *практической соціологіи*, какъ дополненія къ политическимъ и экономическимъ наукамъ. Та опытная психологія, которая только-что основана трудами Фехнера, Вундта, Гельмгольца, которая подвигается впередъ шагъ за шагомъ, медленно, осторожно примѣняя новый способъ изслѣдованія психическихъ явленій, становится излишней въ виду экспериментовъ, которые въ каждую данную минуту, сидя за письменнымъ столомъ, могутъ производить романисты новой школы. Къ чему углубляться въ прошедшее, возстановлять давно минувшіе фазисы до-исторической и исторической жизни, выводить изъ длиннаго ряда обобщеній основные законы человѣческаго развитія, если ключъ къ соціологіи—въ рукахъ экспериментальнаго романа? Въ порывѣ энтузіазма, потерявшаго чувство мѣры, г. Зола не останавливается передъ выводами, еще болѣе смѣлыми. «Идти отъ извѣстнаго къ неизвѣстному», восклицаетъ онъ, «чтобы подчинить себѣ природу,—вотъ надъ чѣмъ работаемъ мы, романисты-экспериментаторы... Быть господиномъ надъ добромъ и зломъ, управлять жизнью, управлять обществомъ, рѣшить, наконецъ, всѣ задачи соціализма, въ особенности доставить твердыя основы правосудію, разрѣшая путемъ опыта криминальные вопросы—не значитъ ли это быть самыми полезными и нравственными тружениками?» Реалистъ оставилъ здѣсь позади себя самыхъ пылкихъ мечтателей-идеалистовъ.

Опасаться того, что психологія и соціологія сложатъ оружіе передъ экспериментальнымъ романомъ, конечно, нѣтъ ни малѣйшаго основанія; притязанія романа на роль, ему несвойственную, могутъ повредить только ему самому. Если вредъ на самомъ дѣлѣ не такъ великъ, какъ можно было бы ожидать, то это объясняется противорѣчіями въ теоріи экспериментальнаго романа и еще болѣе—неполнымъ осуществленіемъ ея на практикѣ. Теорія требуетъ отъ романа прежде всего безусловной объективности. «Строгая роль ученаго», говоритъ г. Зола въ письмѣ, напечатанномъ за нѣсколько мѣсяцевъ до трактата объ экспериментальномъ романѣ, «заключается въ томъ, чтобы излагать факты, анализировать ихъ, не пускаясь въ синтезъ. Если бы онъ захотѣлъ идти дальше явленій, то вступилъ бы въ область гипотезы; это были бы догадки, но не наука. Романистъ точно такъ же долженъ держаться фактовъ, строгаго изученія природы. Онъ стушевывается, хранитъ про себя свое волненіе, и просто-на-просто излагаетъ то, что видѣлъ. Страстное или чувствительное вмѣшательство писателя придаетъ болѣе мелочной характеръ роману, на-

рушая отчетливость линій, вводя посторонній фактамъ элементъ, который лишаетъ ихъ научнаго ихъ значенія. Нельзя представить себѣ химика, негодующаго на азотъ за то, что это вещество негодно для дыханія, или нѣжно симпатизирующаго кислороду, по противоположной причинѣ. Романистъ, негодующій на порокъ и рукоплещущій добродѣтели, портитъ собранные имъ документы; произведеніе его теряетъ въ силѣ—это уже не мраморная страница, изсѣченная изъ неподдѣльной глыбы, а обработанное вещество, искаженное волненіемъ автора. Реальный романистъ, какъ и ученый, никогда не выступаетъ впередъ съ своимъ мнѣніемъ». Въ письмѣ объ экспериментальномъ романѣ г. Зола, подъ вліяніемъ Кл. Бернара (замѣчательно, что взглядъ ученаго оказался въ этомъ случаѣ шире, чѣмъ взглядъ художника), нѣсколько смягчаетъ суровость прежнихъ своихъ выводовъ. Онъ не закрываетъ больше передъ романомъ доступъ въ область гипотезъ; онъ говоритъ даже, что художественное произведеніе—не что иное, какъ гипотеза, повѣряемая наблюденіемъ и опытомъ. Онъ допускаетъ личное чувство, идею a priori, какъ точку отправленія для романиста, по крайней мѣрѣ при изслѣдованіи тѣхъ явленій, детерминизмъ которыхъ (т.-е. необходимое происхожденіе отъ извѣстной причины) еще не опредѣленъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ по-прежнему отвергаетъ право романиста на негодованіе или одобреніе, по-прежнему сравниваетъ отношеніе его къ изображаемому предмету съ отношеніемъ химика къ азоту или кислороду. Несмотря на сдѣланныя уступки, романъ остается въ глазахъ Зола преимущественно *протоколомъ*, и притомъ, по возможности, *безличнымъ* протоколомъ событій или фактовъ.

Прежде нежели посмотрѣть, къ чему приводитъ такое опредѣленіе романа, необходимо узнать, существуетъ ли въ глазахъ г. Зола—съ точки зрѣнія задачи и метода—какое-либо различіе между романомъ и другими видами поэзіи. Письмо объ экспериментальномъ романѣ—это послѣднее слово новой критической доктрины—устраняетъ всякое сомнѣніе по этому предмету. «Я говорилъ только объ экспериментальномъ романѣ», замѣчаетъ г. Зола въ концѣ письма, «но я глубоко убѣжденъ, что экспериментальный методъ, восторжествовавъ въ исторіи и въ критикѣ, восторжествуетъ вездѣ—въ театрѣ и *даже въ поэзіи*». Такъ какъ торжество экспериментальнаго метода въ поэзіи предстоитъ еще въ будущемъ, то въ настоящемъ ея видѣ она не высоко цѣнится критикомъ. Слова: *поэтъ*, *идеалистъ* и *философъ* звучатъ въ его устахъ одинаково строгимъ упрекомъ. «Если вы остановитесь на идеѣ a priori, на чувствѣ»,—восклицаетъ г. Зола, «не опираясь

на разумъ и не повѣряя себя опытомъ, вы—поэтъ, вы пускаетесь въ гипотезы, которыхъ ничто не доказываетъ, вы съ трудомъ и безъ пользы, часто ко вреду, бьетесь съ неопредѣленностью». Идеальнымъ, въ научномъ смыслѣ слова, г. Зола считаетъ все то, чего мы еще не знаемъ, что̀ еще ускользаетъ отъ насъ; цѣль человѣческихъ усилій—уменьшать это идеальное, завоевывать истину о неизвѣстномъ. «Мы всѣ идеалисты, если подъ этимъ понимать, что мы занимаемся идеальнымъ; но я называю идеалистами тѣхъ, кто отправляется отъ ирраціональной исходной точки,—напр. отъ традиціи или авторитета,—кто удаляется въ область неизвѣстнаго изъ-за удовольствія тамъ быть, кто любитъ только самыя рискованныя гипотезы и не удостоиваетъ подчинять ихъ контролю опытнаго метода... Для ученаго экспериментатора идеальное, неопредѣленное, которое онъ старается уменьшить, заключается въ вопросѣ: *какимъ образомъ?* Онъ предоставляетъ философу другое идеальное, заключающееся въ вопросѣ: *почему*, на который онъ отчаявается когда-либо отвѣтить. Я думаю, что романисты-экспериментаторы равнымъ образомъ не должны заниматься этою областью неизвѣстнаго, если они не хотятъ потеряться *въ нелѣпостяхъ поэтовъ и философовъ*».

Ничто не облегчаетъ въ такой степени оцѣнку теоріи, какъ доведеніе ея до послѣднихъ, крайнихъ ея результатовъ. Захвативъ всю область поэзіи, подчинивъ ее всю одному неумолимому закону, г. Зола далъ оружіе противъ самого себя. Строго объективный романъ, даже строго объективную драму легко себѣ представить; мы знаемъ образцы, вполнѣ соотвѣтствующіе этому типу, и споръ можетъ идти только о томъ, долженъ ли онъ вытѣснить всѣ остальные. Другое дѣло—объективный лиризмъ; эти два слова не укладываются въ одно понятіе, не вызываютъ знакомаго намъ образа. Они звучатъ какъ отрицаніе или осужденіе всего того, что̀ составляетъ смыслъ и силу лирической поэзіи. Отъ какихъ изслѣдованій, отъ какихъ наблюденій отправлялись величайшіе лирическіе поэты? Минутное настроеніе души, прочувствованное, но не обдуманное, мечта, мелькнувшая и скрывшаяся безвозвратно, полу-сложившаяся, неопредѣленная мысль, смутное воспоминаніе о быломъ — не исчерпывается ли этимъ содержаніе многихъ произведеній, пережившихъ вѣка и до сихъ поръ сохранившихъ свою прелесть? Что̀ сталось бы съ ними, если бы авторы ихъ хранили про себя свое волненіе, скрывали или сдерживали свое чувство, вели безличный протоколъ своимъ ощущеніямъ? Исключите изъ лирической поэзіи все внушенное негодованіемъ и сочувствіемъ, радостью и печалью — многое ли уцѣлѣетъ изъ

нея, и во что̀ придется оцѣнить потерянное? Зачеркните вопросъ: *почему*—и вы должны будете зачеркнуть, не говоря уже о бо́льшей части древне-еврейской и вообще древне-восточной поэзіи, монологъ Гамлета: «to be or not to be», первый монологъ Фауста, первую главу «Rolla» Альфреда Мюссе [1]). Съ точки зрѣнія экспериментальнаго метода, все написанное Мюссе, за исключеніемъ развѣ немногихъ разсказовъ и комедій—баластъ, который пора выкинуть за бортъ, вмѣстѣ съ прочими *нелѣпостями поэтовъ;* и если г. Зола восхищается Мюссе, причисляетъ его къ великимъ французскимъ писателямъ, предсказываетъ ему безсмертіе, то это явная непослѣдовательность, въ которую Зола-художникъ вовлекъ Зола-теоретика. Само собою разумѣется, что въ основѣ лирическаго произведенія всегда лежитъ фактъ, пережитый сердцемъ или воображеніемъ поэта; но какую ничтожную роль играетъ эта фактическая подкладка, сравнительно съ узорами, выведенными на ней фантазіей или чувствомъ! Весьма можетъ быть, что каждой изъ «Ночей» Мюссе—признаваемыхъ г. Зола, и совершенно справедливо, кульминаціоннымъ пунктомъ его творчества,—соотвѣтствуетъ тотъ или другой эпизодъ въ личной жизни поэта; но кому же придетъ въ голову искать въ нихъ точнаго изображенія этихъ эпизодовъ? Самая форма, избранная для всѣхъ «Ночей», кромѣ Декабрьской — бесѣда поэта съ его музой—исключаетъ всякую мысль объ объективности; но кто же сочтетъ этотъ выборъ ошибкой со стороны Мюссе? Намъ возразятъ, быть можетъ, что лиризмъ былъ хорошъ въ свое время, въ эпоху младенчества или первой молодости народовъ, въ періодъ господства теологическаго или метафизическаго міросозерцанія; что онъ теряетъ свое значеніе, свою raison d'être, по мѣрѣ развитія и распространенія позитивизма, по мѣрѣ возрастанія свѣта, исходящаго отъ науки; что новый вѣкъ съумѣетъ создать и новую поэзію, во всемъ отличную отъ прежней. Допустимъ, на минуту, справедливость этихъ возраженій, и спросимъ себя: чѣмъ же является, въ такомъ случаѣ, поэзія прошедшаго? Не слѣдуетъ ли отнестись къ ней съ такой же снисходительной улыбкой, съ какой взрослый человѣкъ вспоминаетъ о сказкѣ, очаровывавшей его въ дѣтствѣ? Не слѣдуетъ ли признать, что она сохраняетъ для насъ исключительно интересъ историче-

[1]) Всѣ эти примѣры заимствованы нами не изъ чисто-лирическихъ произведеній; но доказательная ихъ сила, какъ намъ кажется, отъ этого только возрастаетъ. Куда бы ни проникалъ лиризмъ—въ драму ли, въ формѣ монолога, въ эпическую ли поэму, въ формѣ отступленія—онъ всюду несетъ съ собой свои отличительныя черты, всюду сохраняетъ право на полнѣйшую субъективность.

скій, наравнѣ съ изваяніями древнихъ ассиріянъ или египтянъ, съ украшеніями бронзоваго вѣка? Логика требуетъ именно такого отвѣта; но его рѣшится дать развѣ тотъ, кому совершенно незнакомо поэтическое чувство. Если лучшія лирическія произведенія древнихъ и новыхъ поэтовъ остаются до сихъ поръ не только предметомъ изученія, но и источникомъ глубокихъ и сильныхъ впечатлѣній, если голосъ Мюссе откликается въ сердцѣ самого г. Зола, «какъ крикъ любви и горя всего человѣчества» [1]), то что же даетъ право предвѣщать конецъ лиризма, или, лучше сказать,—конецъ поэзіи, какимъ, безъ сомнѣнія, было бы вторженіе въ нее безличности и объективности судебныхъ протоколовъ? За отдаленное будущее ручаться никто не можетъ; но въ томъ, что совершилось или совершается на нашихъ глазахъ, мы не видимъ никакихъ признаковъ близкаго торжества экспериментальнаго метода въ поэзіи—или надъ поэзіей.

Если сказанное нами до сихъ поръ справедливо, то мы подошли уже весьма близко къ разрѣшенію вопроса объ экспериментальномъ романѣ. Дѣленіе литературы на строго-замкнутые отдѣлы отжило свое время; никто не станетъ утверждать, что романъ не входитъ въ область поэзіи или управляется особыми, къ нему одному примѣнимыми, законами. У него есть, конечно, свои характеристическія черты, выступающія на видъ болѣе или менѣе рельефно, но нѣтъ опредѣленныхъ границъ; соприкасаясь одной стороной съ исторіей, соціологіей, политикой, онъ сливается другой стороной съ лирической поэзіей, а иногда соединяетъ въ себѣ всѣ существенныя условія драмы. Романъ, составленный цѣликомъ изъ вѣрно подмѣченныхъ и съ фотографическою точностью переданныхъ фактовъ, имѣетъ право на существованіе—но ничуть не бо́льшее, чѣмъ романъ, насквозь проникнутый личнымъ чувствомъ автора. Различіе между тѣмъ и другимъ обусловливается темпераментомъ автора; одинъ привыкъ владѣть собою, другой весь отдается своему впечатлѣнію. Закрывать послѣднему доступъ въ сферу романа, значило бы вводить регламентацію болѣе строгую, чѣмъ та, о которой мечталъ Буало или Лагарпъ. Если лиризмъ законенъ въ стихотвореніи, въ поэмѣ, то зачѣмъ же оберегать отъ него, какъ отъ заразы, страницы романа? Романистъ, какъ и лирическій поэтъ, имѣетъ дѣло съ живыми людьми, а не съ неодушевленной природой; отсюда возможность, почти неизбѣжность симпатій и антипатій, немыслимыхъ въ химическомъ или зоологическомъ трактатѣ. Негодовать

[1]) „Парижскія Письма", томъ первый (Спб. 1877), стр. 142.

на азотъ, сочувствовать кислороду не придетъ въ голову ни одному человѣку, обладающему здравымъ смысломъ; понятно, что отъ этихъ чувствъ остается свободнымъ и химикъ. Такъ ли легко воздержаться отъ ненависти и любви въ столкновеніяхъ съ окружающими, съ общественною средою? Любя и ненавидя въ жизни, можетъ ли романистъ всегда оставаться безстрастнымъ въ художественномъ произведеніи? Чтобы быть послѣдовательнымъ, г-ну Зола слѣдовало бы требовать безстрастія не отъ одного только романиста, а отъ каждаго образованнаго человѣка, понимающаго необходимую связь между послѣдствіемъ и причиной. Такъ далеко онъ не идетъ; онъ знаетъ, что понимать и чувствовать—не одно и то же, онъ даже видитъ въ чувствѣ точку отправленія для романиста; онъ настаиваетъ только на томъ, чтобы оно не сказывалось въ исполненіи. Чувство, по его словамъ, портитъ *документы;* но если это правда, то не слѣдуетъ ли опасаться порчи уже при самомъ собраніи или выборѣ документовъ, т.-е. въ томъ фазисѣ работы, въ которомъ и г. Зола допускаетъ дѣятельность чувства? Безспорно, романъ, проникнутый чувствомъ, не будетъ похожъ на мраморъ, не будетъ обладать его холоднымъ и ровнымъ блескомъ; но пускай намъ докажутъ, что это качество необходимо для романа. Опытъ прошедшаго говоритъ совершенно противное. Въ чемъ, какъ не въ полнотѣ чувства, заключается высокая, своеобразная прелесть романовъ Диккенса? Оно слышится въ каждомъ словѣ, передается читателю, неудержимо влечетъ его за собою. Смерть бѣднякa Джо въ «Bleak-House» поразительна сама по себѣ; но развѣ впечатлѣніе, производимое ею, ослабляется восклицаніемъ, которое она вырываетъ у Диккенса — восклицаніемъ, содержащимъ въ себѣ такой горькій упрекъ и такой могучій призывъ къ англійскому народу? Оно дѣйствуетъ на насъ, какъ могло бы подѣйствовать надгробное слово надъ реальной жертвой современнаго общественнаго устройства. Въ неумѣлыхъ рукахъ такое оружіе, конечно, оказалось бы безсильнымъ — но неумѣлости не поможетъ никакой методъ. Субъективный элементъ въ романѣ часто вырождается въ декламацію — это правда; но объективный элементъ столь же часто ведетъ къ безжизненности, къ сухости.

Другой примѣръ, свидѣтельствующій въ нашу пользу, мы заимствуемъ у самого г. Зола. Изъ числа французскихъ романистовъ, относимыхъ имъ къ новой, натуралистической школѣ, всего болѣе точекъ соприкосновенія съ Диккенсомъ представляетъ Альфонсъ Доде; обвинить его въ порчѣ документовъ, въ непочтительномъ обращеніи съ мраморомъ было бы какъ нельзя легче.

Выступаетъ ли г. Зола съ подобнымъ обвиненіемъ? Нѣтъ; въ обиліи чувства у Доде онъ видитъ не слабую, а сильную его сторону [1]). Мы совершенно согласны въ этомъ съ г. Зола, но едва ли можно сказать, что онъ согласенъ здѣсь самъ съ собою. «Правдивое произведеніе—вѣчно, чувствительное — возбуждаетъ чувствительность только одной извѣстной эпохи», говоритъ г. Зола въ одномъ изъ своихъ писемъ. Да,—если понимать подъ именемъ чувствительнаго сантиментальное, т.-е. изысканно-приторное, расплывчатое, слезливое, въ родѣ «Бѣдной Лизы» Карамзина, или даже «Новой Элоизы», Ж. Ж. Руссо; нѣтъ,—если означить этимъ именемъ произведенія, согрѣтыя искреннимъ и глубокимъ чувствомъ—чувствомъ, напряженность котораго соотвѣтствуетъ силѣ и важности вызвавшей его причины. Противополагать чувствительному правдивое можно только въ первомъ случаѣ; иначе между обоими эпитетами нѣтъ ничего несовмѣстимаго. Много ли, притомъ, найдется *вѣчныхъ* литературныхъ произведеній, какъ бы относительно ни было понятіе, соединяемое съ этимъ словомъ? Справедливо ли смотрѣть свысока на *всѣ* произведенія, успѣхъ которыхъ не продолжался дольше создавшей ихъ эпохи? Они сдѣлали свое дѣло, если возбудили въ современникахъ хорошее, здоровое чувство [2]). Исторія литературы отведетъ имъ почетное мѣсто; ихъ перестанутъ читать, но не забудутъ, какъ забудутъ, и совершенно заслуженно, самыя вѣрныя изображенія дѣйствительности, *единственное* качество которыхъ — именно эта вѣрность.

Безусловное торжество экспериментальнаго романа, какъ его понимаетъ г. Зола, было бы смертнымъ приговоромъ надъ романомъ *тенденціознымъ*, т.-е. надъ однимъ изъ могущественныхъ орудій прогресса. Безспорно, тенденція можетъ выразиться и въ подборѣ, и въ группировкѣ фактовъ; но ограниченная этимъ однимъ, она теряетъ значительную часть своей силы. Попробуемъ, напримѣръ, представить себѣ объективную или нетенденціозную

---

[1]) „Если Доде увидитъ какое-нибудь событіе, онъ будетъ пораженъ имъ, и если разскажетъ его со временемъ, то передастъ его цѣликомъ, какъ оно запомнилось, но только освѣтитъ его личнымъ чувствомъ, которое и вдохнетъ въ него жизнь“ (сентябрь, 1878). Въ статьѣ, спеціально посвященной Доде, г. Зола нѣсколько разъ называетъ его *поэтомъ*, не придавая этому слову того невыгоднаго смысла, въ какомъ онъ его употребляетъ, напримѣръ, въ письмѣ объ экспериментальномъ романѣ. Онъ говоритъ, что Доде видитъ природу и людей сквозь галлюцинаціи, свойственныя живому воображенію („Парижскія Письма“, стр. 105)—и все-таки считаетъ его великимъ романистомъ.

[2]) Укажемъ, для поясненія нашей мысли, на первые разсказы Д. В. Григоровича изъ народнаго быта.

сатиру,—нѣчто въ родѣ скорбнаго листа общественныхъ болѣзней, не расцвѣченнаго и не оживленнаго личнымъ настроеніемъ автора; попробуемъ вообразить себѣ, во что́ обратилось бы, при строгомъ соблюденіи этого условія, сатира Ювенала, Барбье, Теккерея, Салтыкова,—и мы получимъ вѣрное понятіе о значеніи тенденціи, насквозь проникающей произведеніе, отражающейся въ каждомъ словѣ автора. Сатирическій элементъ—возможный и умѣстный въ романѣ ничуть не меньше, чѣмъ въ комедіи, въ поэмѣ, въ эпиграммѣ,—конечно не единственный, тѣсно связанный съ тенденціей. Если современный романъ, по выраженію самого г. Зола, «властвуетъ надъ вселенной, трактуетъ обо всѣхъ сюжетахъ, занимается самыми разнообразными вопросами—политикой, соціальной экономіей, религіей, нравами», то можетъ ли онъ не вносить въ свою область движенія тѣхъ сферъ, съ которыми онъ соприкасается, можетъ ли относиться безучастно къ волнующимъ ихъ интересамъ и идеямъ? Можетъ ли онъ не спрашивать себя: *почему*, когда кругомъ него вездѣ настойчиво ставится этотъ вопросъ? Отвѣтивъ на него такъ или иначе, можетъ ли онъ не стремиться къ тѣмъ цѣлямъ, на которыя прямо или косвенно указываетъ отвѣтъ? Столь же неизбѣжнымъ и законнымъ, какъ и тенденціозный романъ, кажется, намъ романъ *идеалистическій*, въ ненавистномъ г-ну Зола смыслѣ этого слова. Союзникомъ нашимъ противъ г. Зола послужитъ здѣсь самъ Клодъ Бернаръ. «Философія»,—говоритъ онъ,—мы заимствуемъ эту цитату изъ письма г. Зола объ экспериментальномъ романѣ—«представляетъ вѣчное стремленіе человѣческаго разума къ познанію неизвѣстнаго. Философы всегда углубляются въ спорные вопросы, въ возвышенныхъ сферахъ, представляющихъ собою крайнюю грань наукъ. Они поддерживаютъ, такимъ образомъ, жажду неизвѣстнаго и священный огонь пытливости, которые никогда не должны угасать въ ученомъ» [1]. «Эти слова прекрасны»,—прибавляетъ отъ себя г. Зола, «но никогда еще не говорили философамъ въ такихъ вѣжливыхъ выраженіяхъ, что всѣ ихъ гипотезы—чистѣйшая поэзія. Клодъ Бернаръ, очевидно, смотритъ на фило-

[1]) Взглядъ Клода Бернара на философію близко сходится съ мнѣніемъ Рибо о томъ же предметѣ (см. „Литературное Обозрѣніе“ въ № 9 „Вѣстника Европы“ за 1879 г., стр. 348—350). „Осуждать всякое изслѣдованіе о послѣднихъ причинахъ,—говоритъ Рибо въ предисловіи къ „Psychologie anglaise contemporaine“—значитъ умалять человѣческій разумъ. Искать безъ надежды найти—безуміе, не пошлость; чего нельзя схватить, то можно смутно увидѣть... Возвышая разумъ надъ узкимъ догматизмомъ, показывая ему таинственное нѣчто, лежащее за предѣлами наукъ, метафизика оказываетъ ему величайшую услугу“.

софовъ, какъ на музыкантовъ, порою геніальныхъ, играющихъ *марсельезу* гипотезы, въ то время, какъ ученые, ободряемые ею, идутъ на приступъ неизвѣстнаго». Положимъ, что сравненіе г. Зола справедливо, что философы не что иное, какъ вдохновители ученыхъ; слѣдуетъ ли отсюда, что роль философа никогда не можетъ и не должна быть разыграна романистомъ? Развѣ подъ гимнъ, спѣтый послѣднимъ, войска менѣе охотно пойдутъ на приступъ? Правда, этотъ гимнъ будетъ *чистѣйшей поэзіей;* но мы уже видѣли, что поэзія и романъ—не контрасты, исключающіе другъ друга. Намъ кажется, что именно поэзія, а не философія—убѣжище для умовъ, не успокоивающихся на научныхъ выводахъ и томимыхъ мыслью о неизвѣстномъ. Вытѣсненные изъ области науки, вытѣсняемые изъ области философіи, они ищутъ простора въ области фантазіи и мечты. Изгонять ихъ оттуда—не только жестокій, но и напрасный трудъ; пока существуетъ потребность мечтать, она всегда найдетъ для себя выходъ—а въ поэзіи мечта меньше чѣмъ гдѣ-либо можетъ вообразить себя чѣмъ-то большимъ, чѣмъ мечтою. Романъ—менѣе удобная форма для мечты, чѣмъ, напримѣръ, лирическая поэзія, но форма все-таки возможная; укажемъ, для примѣра, на лучшій романъ Ауэрбаха («Auf der Höhe»), такъ ясно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ художественно выразившаго въ немъ свое пантеистическое міросозерцаніе. Если бы критическое veto на идеалистическій романъ могло быть осуществлено на самомъ дѣлѣ, нѣмецкая литература лишилась бы одного изъ своихъ лучшихъ произведеній.

Стараясь заградить романистамъ доступъ въ область *чистой поэзіи*, устранить ихъ изъ философскаго оркестра, играющаго *марсельезу гипотезъ*, г. Зола исходитъ изъ того убѣжденія, что романистъ долженъ относиться къ своему дѣлу, какъ ученый, вести его по всѣмъ правиламъ научнаго изслѣдованія. Въ этомъ убѣжденіи есть доля истины. Основательное и многостороннее образованіе, тщательное наблюденіе фактовъ, избираемыхъ для воспроизведенія въ художественной формѣ, глубокое изученіе психическихъ процессовъ, въ связи съ физіологическими и патологическими явленіями—все это условія, въ высшей степени важныя для романиста. Ошибочно было бы думать, что ему ничего не нужно, кромѣ творческой фантазіи и литературнаго дарованія; еще болѣе ошибочно было бы признавать за нимъ право не стѣсняться законами логики и психологіи, допускать невозможное, воображать немыслимое, идти наперекоръ дѣйствительности и вѣроятности. На этомъ, однако, и останавливается, въ нашихъ глазахъ, аналогія между ученымъ и романистомъ. Чтобы убѣ-

диться въ томъ, какъ велика разница между ними, стоитъ только припомнить, что ученымъ никто не становится безъ продолжительной, трудной подготовки, а романистъ, какъ и драматургъ, какъ и лирическій поэтъ, часто достигаетъ значительной высоты съ самымъ скуднымъ запасомъ опытности и знаній. Много ли зналъ Шекспиръ, когда онъ написалъ «Ромео и Юлію», много ли испыталъ Шиллеръ, когда онъ поставилъ на сцену «Разбойниковъ»? Широко ли было умственное развитіе Лермонтова, когда онъ создалъ «Героя нашего времени?» Какъ объяснить, что вслѣдъ за ученическими разсужденіями объ исторіи Гоголь написалъ «Ревизора» и началъ «Мертвыя Души»? Какъ ни важно для романиста или драматурга непосредственное наблюденіе надъ жизнью, даже оно не можетъ быть признано необходимымъ условіемъ его дѣятельности; вѣдь не изъ наблюденія же вывелъ Шекспиръ такіе колоссальные образы, какъ Ричардъ III-й, Макбетъ, король Лиръ. Дѣло въ томъ, что въ фазисѣ творчества, т.-е. комбинаціи разнообразныхъ элементовъ, данныхъ собственнымъ опытомъ, наблюденіемъ, чтеніемъ, воображеніемъ,—романистъ пользуется такой свободой, о которой не можетъ быть и рѣчи въ дѣятельности ученаго. Самая геніальная гипотеза послѣдняго должна быть повѣрена фактами; комбинація романиста, какъ мы уже видѣли, не требуетъ и часто даже не допускаетъ такой повѣрки,—она должна быть только свободна отъ внутренняго противорѣчія. Отсюда возможность смѣлаго полета мысли, отправляющагося отъ немногихъ, несовершенныхъ данныхъ. Въ процессѣ работы романистъ точно также не стѣсненъ *безусловно* правилами, обязательными для ученаго. Онъ *можетъ* идти шагъ за шагомъ, медленно накоплять наблюденія, сличать каждый добытый фактъ съ другими, аналогичными, искать для каждой догадки приблизительнаго, по меньшей мѣрѣ, подтвержденія въ реальной жизни, слагать мозаическую картину изъ отдѣльно подобранныхъ кусочковъ; но столь же возможно движеніе скачками, порывистое, неудержимо стремящееся къ поспѣшно намѣченной цѣли. Въ старыхъ представленіяхъ о вдохновеніи, внезапно осѣняющемъ поэта, о внутреннемъ вулканѣ, выбрасывающемъ кипучую поэтическую лаву, много преувеличеннаго, даже фальшиваго; но превозносить, какъ это дѣлаетъ г. Зола [1]), поэтическую работу по заказу, не значитъ ли внадать

---

[1]) Въ статьѣ о Мюссе („Парижскія Письма", стр. 154—155) г. Зола называетъ желаніе поэта писать, когда ему вздумается, *дикообразною болѣзнью* той эпохи. „Въ настоящее время, — говоритъ онъ,—мы иначе понимаемъ вещи; самые великіе ис-

въ противоположную крайность? И здѣсь, конечно, многое зависитъ отъ темперамента романиста. Если работа одного напоминаетъ, по способу и пріемамъ, работу ученаго, то изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы по тому же шаблону долженъ былъ работать и всякій другой. Совокупнымъ усиліямъ всѣхъ приверженцевъ натурализма не удастся подвести романистовъ и поэтовъ подъ одну общую мѣрку — и это большое счастье, потому-что въ мірѣ искусства менѣе, чѣмъ гдѣ-либо, желательна и умѣстна однообразная дисциплина.

Натурализмъ требуетъ отъ искусства прежде всего и больше всего правды. Что это требованіе не новое — это какъ нельзя лучше понимаетъ и г. Зола; оно соблюдалось и тогда, когда не было еще и рѣчи о законахъ искусства. Искусство всегда черпало матеріалъ изъ жизни; самому крайнему идеалисту не приходило въ голову забыть дѣйствительность, порвать съ нею всякую связь — да если бы такая мысль и могла появиться, она скоро оказалась бы неосуществимою. Разногласіе относительно формулы натурализма становится возможнымъ лишь при болѣе опредѣлительномъ выраженіи ея, напримѣръ, словами французской свидѣтельской присяги: *вся* правда и *одна только* правда. Первую часть этой формулы мы разберемъ тогда, когда будемъ говорить о романахъ г. Зола. Вторая часть ея можетъ быть понимаема различно: или въ смыслѣ изображенія предметовъ точно такими, какими они существуютъ на самомъ дѣлѣ, или въ смыслѣ изображенія ихъ такими, какими они могутъ быть, при данныхъ условіяхъ. Требовать во что бы то ни стало перваго, и только перваго, значило бы обратить искусство въ сборникъ фотографическихъ снимковъ, чего вовсе не желаютъ натуралисты той школы, къ которой принадлежитъ г. Зола; признать законность послѣдняго, значитъ опрокинуть перегородку, которою доктринеры натурализма стараются окружить область искусства. Разъ что художникъ имѣетъ право изображать предметы, какими они *могутъ быть*, подчиненіе его *факту* перестаетъ быть безусловнымъ; онъ можетъ опережать дѣйствительность, предугадывать близкія, но еще не наступившія явленія, создавать новые типы, составныя черты которыхъ разсѣяны въ жизни, но еще не сведены ею въ одно реальное цѣлое — можетъ, слѣдовательно, вступать въ сферу

сатели нашей эпохи хвалятся тѣмъ, что работаютъ по десяти часовъ въ сутки, и у многихъ есть контракты, заранѣе подписанные, съ нѣсколькими журналами и нѣсколькими издателями". Намъ кажется, что здѣсь хвалиться рѣшительно нечѣмъ, и что поэтъ или романистъ, поставляющій работу *на срокъ*, рискуетъ весьма сильно качествомъ работы. Доказательства этому мы увидимъ въ романахъ г. Зола.

идеала [1]). На этомъ пути есть предѣлъ, который нельзя переступить безнаказанно; но слѣдуетъ ли изъ-за возможныхъ ошибокъ или увлеченій осуждать все движеніе, сдерживать его въ искусственныхъ границахъ? Стремленіе къ идеалу не исключаетъ, само по себѣ, стремленія къ правдѣ. Свободное отъ утрировки, останавливающееся передъ упомянутымъ нами предѣломъ, оно враждебно всему натянутому, фальшивому; оно уноситъ фантазію не въ сторону отъ дороги, по которой идетъ жизнь, а только на нѣсколько шаговъ впередъ по этой дорогѣ на возвышеніе, откуда яснѣе видны ея ближайшіе изгибы. «Рукоплескать риторикѣ, восторгаться идеаломъ», — говоритъ г. Зола въ одномъ изъ своихъ писемъ (май, 1879) — «все это одни только нервы. Я желалъ бы внушить ненависть къ фразерству и витанію въ пустотѣ. Пора доказать, что за каждымъ витаніемъ въ идеальныхъ сферахъ слѣдуетъ роковое паденіе въ грязь». Въ этихъ словахъ мы видимъ полное смѣшеніе понятій. Между риторикой и идеаломъ, между витаніемъ въ пустотѣ и витаніемъ въ идеальныхъ сферахъ нѣтъ ничего общаго. Писатели, сдѣлавшіе изъ искавія идеала нѣчто въ родѣ ремесла, понимающіе его въ смыслѣ какого-то небывалаго и немыслимаго совершенства, искусственно возбуждающіе въ себѣ и старающіеся возбудить въ другихъ восхищеніе *этимъ* идеаломъ, дѣйствительно расположены къ риторикѣ, потому что недостатокъ идеи удобно прикрывать фразами [2]); но идеалъ, понимаемый въ смыслѣ возможнаго, въ близкомъ будущемъ, лучшаго устройства тѣхъ или другихъ человѣческихъ отношеній, не нуждается въ прикрасахъ, и восторгъ, внушаемый имъ, не влечетъ за собою паденія. Отъ чего бы ни зависѣлъ этотъ восторгъ — хотя бы и «отъ нервовъ», по выраженію г. Зола, — онъ является могучимъ двигателемъ развитія. Непониманіе или игнорированіе его отозвалось, какъ мы увидимъ, весьма замѣтно на критической дѣятельности г. Зола.

Сопричисленіемъ романистовъ къ лику ученыхъ обусловливается, далѣе, отношеніе г-на Зола къ вопросу о формѣ въ романѣ, да и вообще въ искусствѣ. «Я могу сказать» — говоритъ онъ въ письмѣ, написанномъ года полтора тому назадъ (сентябрь, 1878) — «что значитъ, на мой взглядъ, быть хорошимъ писателемъ. Языкъ есть логика. Пишешь хорошо, когда передаешь

---

[1]) Само собою разумѣется, что опережать дѣйствительность и рисовать идеалъ далеко не всегда одно и то же. Будущее можетъ быть лучше, но можетъ быть и хуже настоящаго,—или просто можетъ выдвинуть на сцену новые типы, не составляющіе ни прогресса, ни регресса.

[2]) Примѣръ этому мы видѣли недавно въ послѣднихъ романахъ Ауэрбаха.

точнымъ словомъ идею или ощущеніе. Все остальное — не что иное, какъ румяна и бѣлила... Чѣмъ проще выраженіе, чѣмъ оно безыскусственнѣе, тѣмъ оно сильнѣе и неувядаемѣе... Всего скорѣе ветшаетъ образность. Всякій образный языкъ чаруетъ своей новизной; черезъ два-три поколѣнія онъ становится пошлостью, ветошкой, позоромъ (!). Возьмите Вольтера съ его сухимъ языкомъ, его нервной рѣчью, безъ прилагательныхъ; онъ разсказываетъ, но не живописуетъ — и остается вѣчно молодымъ. Возьмите Руссо, его образную рѣчь, его страстную риторику — у него есть нестерпимыя страницы... Иностранцы совсѣмъ не понимаютъ нашихъ заботъ о слогѣ. Величайшіе англійскіе романисты, въ томъ числѣ Диккенсъ, писали, какъ имъ Богъ на душу положитъ, не мудрствуя лукаво на счетъ знаковъ препинанія. Что касается нѣмцевъ, то они говорятъ пространно все, что имъ надо сказать — вотъ и весь ихъ слогъ». Къ тому же выводу г. Зола приходитъ и въ письмѣ объ экспериментальномъ романѣ. Сначала онъ какъ будто колеблется, какъ будто отдѣляетъ вопросъ о методѣ отъ вопроса о формѣ, признавая ее спеціальною принадлежностью литературы (въ противоположность чертамъ, общимъ литературѣ и наукѣ); но колебаніе это продолжается недолго. «Въ сущности», — говоритъ онъ, — «я нахожу, что методъ задѣваетъ и самую форму, что языкъ сводится на логику. Высокій слогъ состоитъ въ логикѣ и ясности». Нивелировка, предпринятая г-мъ Зола, доведена здѣсь до конца, поэзіи нанесенъ послѣдній, рѣшительный ударъ, во имя тождества ея съ наукой. Строго фактическое по содержанію, экспериментальное по методу, объективное, безстрастное по тону, логичное и ясное — не болѣе — по изложенію, поэтическое произведеніе перестаетъ отличаться чѣмъ бы то ни было отъ научнаго изслѣдованія. Чтобы написать романъ — необходимо и достаточно, отнынѣ, обладать тѣми же качествами, какъ и для составленія руководства по химіи или физикѣ. Идя послѣдовательно по этому пути, остается только наложить veto на стихи, низвести ихъ на степень дѣтской забавы. Проза *безыскусственнѣе* стиховъ, это несомнѣнно; размѣръ, тѣмъ болѣе рифма — это все румяна и бѣлила. Въ дѣйствительной жизни никто не говоритъ въ стихахъ; зачѣмъ же допускать ихъ въ поэзіи? При всемъ стараніи сдѣлать ихъ логическими и ясными, они всегда останутся нелогичными по самой своей формѣ, по стѣсненіямъ, которыя они налагаютъ на обыкновенный способъ выраженій. Да и что это за стихи, единственное достоинство которыхъ — логичность и ясность? Стоитъ ли изъ-за этого одного затруднять себя всѣми правилами стихосло-

женія? Своеобразная прелесть стиха, сообщающая ему своеобразную силу, заключается въ гармоніи, въ образности, въ колоритѣ — но вѣдь это все качества излишнія или даже вредныя въ поэтическомъ произведеніи? Если признать за стихами право гражданства въ литературѣ, то взглядъ г. Зола на значеніе формы падаетъ самъ собою. Подобно тому, какъ нѣтъ опредѣленной границы между романомъ и другими отраслями поэзіи, ея нѣтъ и между прозой и стихами. Проза можетъ быть такъ же музыкальна, какъ и стихи, производить, тѣми же отчасти средствами, приблизительно такое же впечатлѣніе. Она можетъ, конечно, отличаться и другими чертами, — она можетъ быть суха, лишена всякихъ украшеній, и все-таки дѣйствовать на читателей съ потрясающею силой. Область литературы достаточно велика, чтобы вмѣстить въ себѣ оба противоположные рода прозы, со всѣми промежуточными оттѣнками. Истинно-художественная форма не требуетъ образности, но и не исключаетъ ея; она не исчерпывается однимъ способомъ выраженія, не подчиняется одному, разъ навсегда установленному, закону. Что можетъ быть образнѣе языка Шекспира, не только въ раннихъ его драмахъ, но и въ самыхъ зрѣлыхъ произведеніяхъ — въ «Гамлетѣ», въ «Макбетѣ»? Стоитъ только раскрыть Гёте, Байрона, любимца г-на Зола — Мюссе, чтобы найти множество превосходныхъ страницъ, блещущихъ именно образностью формы. Не въ ней ли, между прочимъ, заключается сила Флобера, Доде, самого г. Зола? Справедливо-ли было бы поставить Стендаля выше Бальзака только потому, что первый писалъ свои романы, вдохновляясь языкомъ гражданскаго кодекса, а послѣдній не остался свободнымъ отъ вліянія моднаго въ его время романтическаго слога? Ссылка г. Зола на иностранныхъ романистовъ поражаетъ своею ошибочностью. Между писателями нашего вѣка едва ли найдется болѣе богатый образностью, чѣмъ Диккенсъ; въ этомъ его сила, а иногда и его слабость. Въ Германіи не только романисты, но даже ученые давно научились заботиться о формѣ, давно перестали писать по рецепту, о которомъ говоритъ г. Зола. Мы видѣли, до какого мастерства доведенъ слогъ у Фрейтага, какою образностью, часто преувеличенною, отличается манера Ауэрбаха. А Гейне, съ которымъ г. Зола могъ бы познакомиться хотя бы по французскимъ его сочиненіямъ? Неужели онъ думалъ только о томъ, какъ бы пространно выразить свою мысль? Образность формы г. Зола смѣшиваетъ, повидимому, съ фразерствомъ, съ аффектаціей, подобно тому, какъ чувство, въ его глазахъ, равносильно сантиментальности. Впасть въ сантиментальность, искусственно разогрѣвая чувство, такъ же

легко, какъ впасть въ фразерство, стремясь во что бы то ни стало къ образности; но изъ возможности такого перехода ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ нельзя выводить тождества понятій. Нестерпимы у Ж. Ж. Руссо тѣ страницы, въ которыхъ сантиментальность содержанія соединена съ изысканностью формы; но рядомъ съ ними встрѣчаются другія, сохранившія всю свою свѣжесть, благодаря соединенію образности съ глубокимъ, сильнымъ чувствомъ.

Замѣчательно, что отрицая художественную форму, г. Зола приписываетъ ей, вмѣстѣ съ тѣмъ, громадное вліяніе; онъ объясняетъ ею — и ею одною — успѣхъ В. Гюго. «Если В. Гюго очень слабъ какъ драматургъ, романистъ, критикъ, философъ,— говоритъ г. Зола по поводу возобновленія «Рюи-Блаза» (май, 1879),—за то онъ всегда и вездѣ геніальный риторъ. Вотъ причина его владычества, прошлаго и настоящаго. Онъ создалъ новый языкъ, онъ овладѣлъ вѣкомъ,—не путемъ идей, но путемъ словъ. Идеи нашего вѣка—это научный методъ, экспериментальный анализъ, реализмъ; слова—это богатство выраженій, обновленныхъ или за-ново придуманныхъ, великолѣпные образы, красивые обороты рѣчи. Конечно, словамъ теперь отводится подобающее имъ мѣсто, и роль ихъ—второстепенная; но въ началѣ движенія риторика всегда подавляетъ идею, потому что бьетъ сильнѣе. Это всемогущество слова сдѣлало В. Гюго королемъ. Онъ съ юности облекся въ порфиру, которой обязанъ формѣ своихъ произведеній. Къ счастью, идея всегда отдѣлывается отъ риторики, упрочивается и воцаряется. Къ этому пришли и мы. Викторъ Гюго остается великимъ поэтомъ—величайшимъ лирическимъ поэтомъ; но вѣкъ отступился отъ него, научная идея восторжествовала». Въ этихъ словахъ насъ поражаетъ прежде всего цѣлый рядъ противорѣчій. В. Гюго владычествуетъ надъ настоящимъ—и; вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣкъ отступился отъ него; В. Гюго—великій, даже величайшій (конечно, во Франціи?) лирическій поэтъ,—и, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ вездѣ и всегда геніальный риторъ. И что́ это за вѣкъ, которымъ можно овладѣть съ помощью однихъ только словъ? Какъ совмѣстить распространеніе, торжество идей съ продолжающимся господствомъ фразы? Какъ объяснить себѣ, съ другой стороны, что художественная форма, безъ которой можетъ или даже должно—по теоріи г-на Зола—обходиться искусство, въ состояніи была создать литературный престолъ и удержать его отъ паденія въ теченіи цѣлыхъ шестидесяти лѣтъ, богатыхъ переворотами всякаго рода? Фраза можетъ быть модной, — но мода недолговѣчна, и успѣхъ, основанный

только на ней одной, проходитъ вмѣстѣ съ нею. Было время, когда слава Ламартина не уступала популярности В. Гюго; почему же первая давно исчезла, а вторая даже не уменьшилась? Полное разрѣшеніе этого вопроса могъ бы дать только обзоръ *всей* дѣятельности В. Гюго, столь же многосторонней, какъ и продолжительной; но матеріаловъ для отвѣта мы найдемъ не мало и въ романахъ великаго писателя. Въ письмѣ, спеціально посвященномъ В. Гюго [1]), г. Зола вовсе не коснулся его романовъ, очевидно не считая ихъ достойными вниманія; только въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ (іюль, 1879) мы встрѣчаемъ короткій отзывъ о «Notre-Dame de Paris», по поводу представленія заимствованной изъ нея драмы. «Я не вижу въ В. Гюго романиста,—говоритъ г. Зола въ статьѣ о Ж.-Зандѣ;—онъ внесъ въ романъ свою поэтическую манеру, необузданное творчество лирическаго темперамента». Признавая законность всякой манеры, лишь бы только она была художественна, находя лирическій темпераментъ, какъ и всякій другой, вполнѣ совмѣстимымъ съ дѣятельностью романиста, мы считаемъ невозможнымъ продолжать начатый нами очеркъ современнаго романа, не остановясь на роли, которую играетъ въ немъ В. Гюго.

II.

Начнемъ съ вопроса о формѣ. Съ этой точки зрѣнія, романы В. Гюго отнюдь не могутъ быть разсматриваемы какъ одно цѣлое. Въ тридцатилѣтній промежутокъ времени, отдѣляющій «Notre-Dame de Paris» отъ «Misérables», языкъ В. Гюго измѣнился такъ же радикально, какъ и политическія убѣжденія его, какъ положеніе его во французскомъ обществѣ. Объ этой перемѣнѣ была уже рѣчь въ «Вѣстникѣ Европы», въ статьяхъ, посвященныхъ политической дѣятельности В. Гюго (1876 г., № 4, и 1877 — № 8). «Пока онъ считалъ себя обыкновеннымъ смертнымъ, — сказано въ первой изъ этихъ статей, — онъ говорилъ и писалъ языкомъ хотя и своеобразнымъ, не лишеннымъ ни оригинальности, ни стремленія къ оригинальности, но не дѣланнымъ, не вычурнымъ. Теперь (т.-е. со времени изгнанія его изъ Франціи), возвысясь на степень оракула и пророка, онъ создаетъ для своихъ изреченій форму, соотвѣтствующую ихъ глубокому внутреннему смыслу, —форму до болѣзненности изысканную, исполненную претензій.

[1]) „Вѣстникъ Европы", 1877, № 4, „Парижскія Письма", стр. 297—330.

И въ ней, конечно, есть своего рода красота и сила; но сколько утомительныхъ, трескучихъ фразъ приходится на одну мѣткую метафору или аллегорію! Какъ часто стремленіе произвести эффектъ, поразить, тронуть читателя приводитъ въ результату прямо противоположному! Сколько труда, потраченнаго понапрасну на отшлифовку, отчеканку фразы, и какъ рѣдко удаются усилія автора скрыть этотъ трудъ подъ маской вдохновенія и творчества!» Эти слова относятся преимущественно къ рѣчамъ, манифестамъ, декларацiямъ гернсейскаго отшельника, но они примѣнимы, до извѣстной степени, и къ романамъ, написаннымъ В. Гюго послѣ 1851 г. («Misérables», «Travailleurs de la mer», «L'homme qui rit», «Quatrevingt-treize»). Громадный успѣхъ нѣкоторыхъ изъ этихъ романовъ [1]) никакъ нельзя приписать совершенству формы; гораздо правильнѣе было бы сказать, что они имѣли успѣхъ *несмотря* на вычурный языкъ, который въ нихъ преобладаетъ. Крайнихъ предѣловъ эта вычурность достигаетъ въ «L'homme qui rit»; въ «Quatrevingt-treize» она гораздо менѣе чувствительна,—но вполнѣ отрѣшиться отъ однажды усвоенной манеры В. Гюго не можетъ. Короткіе афоризмы, то свѣтлые до парадоксальности, то оставляющіе мысль въ предполумракѣ; предложенія безъ глаголовъ, претендующія на лапидарный слогъ, на тацитовскій лаконизмъ; искусственное раздробленіе фразы на нѣсколько отдѣльныхъ частей, начинающихся съ одного и того же слова; діалоги, въ которыхъ реплики слѣдуютъ одна за другой съ лихорадочной быстротою, какъ въ спорахъ между героями древне-греческихъ трагедій; длинныя вереницы эпитетовъ, напоминающія шумъ падающихъ четокъ; цѣлыя серіи антитезъ, все болѣе и болѣе яркихъ; сравненія, часто жертвующія точностью изъ-за эффектности (le pont du navire avait les convulsions d'un diaphragme qui cherche à vomir); пристрастіе къ выраженіямъ мало употребительнымъ, устарѣвшимъ, едва понятнымъ, къ техническимъ терминамъ; сопоставленіе словъ, никогда не стоявшихъ рядомъ и какъ-бы удивляющихся своему сосѣдству (напримѣръ, promiscuité séraphique) — вотъ характеристическія черты этой манеры. Въ отдѣльности взятыя, многія изъ нихъ могутъ произвести—и дѣйствительно производятъ—сильное впечатлѣніе; бѣда въ томъ, что онѣ повторяются слишкомъ часто, кстати и некстати, нагромождаются другъ на друга, не знаютъ ни мѣры, ни границы. Чте-

[1]) Всего менѣе успѣха имѣлъ второй изъ нихъ — „Les travailleurs de la mer", и онъ, однако, выдержалъ въ десять лѣтъ семнадцать изданій.

ніе нѣкоторыхъ главъ «L'homme qui rit» можетъ быть названо, съ этой точки зрѣнія, настоящею пыткой для эстетическаго чувства. Приведемъ, для примѣра, описаніе нападеній цѣлой стаи хищныхъ птицъ на трупъ повѣшеннаго, качаемый вѣтромъ. «Le mort, poussé par tous les spasmes de la bise, avait des soubresauts, des chocs, des accès de colère, allait, venait, montait, tombait, refoulant l'essaim éparpillé. Le mort était massue, l'essaim était poussière... Les oiseaux semblaient frénétiques. Les soupiraux de l'enfer doivent donner passage à des essaims pareils. Coups d'ongle, coups de bec, croassements, arrachement de lambeaux qui n'étaient plus de la chair, craquements de la potence, froissements du squelette, cliquetis des ferrailles, cris de la rafale, tumulte, pas de lutte plus lugubre. Une lémure contre des démons. Sorte de combat spectre... Le pendu avait le vent pour lui, la chaîne contre lui, comme si des dieux noirs s'en mêlaient. L'ouragan était de la bataille. C'était un tournoiement dans un tourbillon».

Въ описаніи бури на морѣ оргія фантазіи и фразы идетъ еще дальше; мы приведемъ изъ него только небольшой отрывокъ. «Vociférations de précipice à précipice, de l'air à l'eau, du vent au flot, de la pluie au rocher, du zénith au nadir, des astres aux écumes, la muselière du gouffre défaite, tel est ce tumulte, compliqué d'on ne sait quel démêlé mystérieux avec les mauvaises consciences. La loquacité de la nuit n'est pas moins lugubre que son silence. On y sent la colère de l'ignoré. La nuit est une présence. Présence de qui? Du reste, entre la nuit et les ténèbres il faut distinguer. Dans la nuit il y a l'absolu; il y a le multiple dans les ténèbres. La grammaire, cette logique, n'admet pas de singulier pour les ténèbres [1]). La nuit est une, les ténèbres sont plusieurs. Cette brume du mystère nocturne, c'est l'epars, le fugace, le croulant, le funeste. On ne sent plus la terre, on sent l'autre réalité. Dans l'ombre infinie et indéfinie, il y a quelque chose, ou quelqu'un de vivant; mais ce qui est vivant là fait partie de notre mort».

Послѣдній изъ приведенныхъ нами отрывковъ знаменателенъ не только какъ образецъ фразеологіи В. Гюго. Онъ знакомитъ насъ съ другимъ недостаткомъ романиста, касающимся уже не формы, а содержанія. В. Гюго любитъ мечтать о вѣчныхъ про-

[1]) Для В. Гюго существуетъ только французскій языкъ; иначе онъ бы вспомнилъ, что въ англійскомъ, въ нѣмецкомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, слово *мракъ* (the darkness, die Finsterniss) имѣетъ единственное число. Или, можетъ быть, названіе логики заслуживаетъ одна лишь французская грамматика?

блемахъ бытія, о темныхъ, загадочныхъ сторонахъ природы и человѣческой жизни. Это вполнѣ естественно въ мыслителѣ, тѣмъ болѣе въ поэтѣ; но здѣсь, какъ и въ языкѣ, Гюго не достаетъ чувства мѣры. Онъ часто видитъ таинственное тамъ, гдѣ его вовсе нѣтъ; онъ затемняетъ ясное, чтобы лишній разъ освѣтить темноту, опускаетъ завѣсу, чтобы лишній разъ приподнять ее. «Одинъ изъ пріемовъ В. Гюго», справедливо замѣчаетъ г. Зола, разбирая вторую часть «Légende des siècles» — «непрерывно ссылаться на неизвѣстное. Онъ часто употребляетъ выраженія: никто не знаетъ; никому неизвѣстно; одному Богу извѣстно, и т. п.». Выставить, въ видѣ аксіомы, ни на чемъ не основанное положеніе, вывести изъ него вопросъ или рядъ вопросовъ, оставить ихъ неразрѣшенными и намекнуть на ихъ неразрѣшимость — этотъ путь къ эффекту у В. Гюго также далеко не рѣдкость. Допустивъ, что «ночь—это присутствіе», отчего не спросить себя: «присутствіе кого?» Отвѣтить на этотъ вопросъ невозможно, потому что онъ не имѣетъ никакого смысла; но въ глазахъ В. Гюго трудность отвѣта всегда пропорціональна глубокомыслію вопроса. Воображеніе В. Гюго — это увеличительное стекло, проходя чрезъ которое и обыденный фактъ можетъ принять колоссальные размѣры—и вмѣстѣ съ тѣмъ исказиться до неузнаваемости. Что проще зрѣлища мальчика и дѣвочки, спящихъ рядомъ, спокойнымъ сномъ невинности — и чего только не видитъ въ немъ В. Гюго! «Никакая необъятность не можетъ сравниться съ этимъ величіемъ малютокъ. Изъ всѣхъ безднъ, эта — самая глубокая. Страшное постоянство мертвеца, скованнаго внѣ жизни [1]), громадное озлобленіе океана надъ кораблекрушеніемъ, обширная бѣлизна снѣга, покрывающаго погребенныя подъ нимъ формы — все это менѣе патетично, чѣмъ губы спящихъ дѣтей, божественно касающіяся другъ друга. Быть можетъ—это обрученіе, быть можетъ — катастрофа. Неизвѣстное тяготѣетъ надъ этимъ сопоставленіемъ (juxtaposition). Оно прелестно; но какъ знать, не ужасно ли оно? Невинность выше добродѣтели; невинность состоитъ изъ священнаго мрака». Не вспоминается ли, при чтеніи этихъ словъ — далеко не единственныхъ въ своемъ родѣ, — извѣстная французская поговорка: «отъ высокаго одинъ только шагъ до смѣшного?»

Мы упомянули уже о пристрастіи В. Гюго къ техническимъ

---

[1]) „La perpétuité formidable d'un mort enchaîné hors de la vie". Можно только догадываться, что здѣсь идетъ рѣчь о знакомомъ уже намъ трупѣ кровопійцы, съ котораго не были сняты цѣпи.

терминамъ. Въ каждомъ изъ его романовъ есть мѣста, которыхъ нельзя понять безъ помощи учебника — учебника механики для «Travailleurs de la mer», учебника фортификаціи для «Quatrevingt-treize», учебника навигаціи для «L'homme qui rit». Въ другихъ мѣстахъ самъ романъ превращается въ учебникъ исторіи, географіи, юриспруденціи; мы узнаемъ изъ «Quatrevingt-treize» расположеніе и пространство бретанскихъ лѣсовъ, названія французскихъ кораблей, охранявшихъ берегъ между С.-Мало и островами нормандскаго архипелага, число пушекъ, которыми былъ вооруженъ каждый изъ нихъ, фамиліи и прозвища всѣхъ вождей вандейскаго и бретанскаго возстанія. Въ «l'Homme qui rit» цѣлыя страницы наполнены изложеніемъ титуловъ и привилегій англійскихъ лордовъ, спискомъ имѣній и доходовъ англійской аристократіи, англійскими юридическими формулами, съ ихъ варварскою средневѣковою латынью. Все это не нужно для дѣйствія, несовмѣстно съ самыми простыми требованіями искусства. Изъ-за поэта внезапно выступаетъ на сцену школьный учитель, педантъ, хвастающійся своей сухой эрудиціей. Что еще хуже — тотъ же педантизмъ проникаетъ иногда въ рѣчи самихъ дѣйствующихъ лицъ, хотя бы они принадлежали исторіи. Въ извѣстной сценѣ между Робеспьеромъ, Дантономъ и Маратомъ (въ «Quatrevingt-treize»), Дантонъ перечисляетъ поименно десять священниковъ и десять дворянъ, принявшихъ сторону революціи, какъ могъ бы перечислить ихъ историкъ или публицистъ, измѣряющій на досугѣ степень участія дворянства и духовенства въ событіяхъ 1789—93 гг. Урзусъ, въ «l'Homme qui rit», обращается къ Гвинплену съ длиннѣйшими историческими и юридическими лекціями. Монологи вообще слабая сторона героевъ В. Гюго — трагическихъ, въ родѣ Урзуса, точно такъ же, какъ и комическихъ въ родѣ Жильнормана или Грантера (въ «Misérables»). Они широко развертываются даже тамъ, гдѣ всего меньше можно было бы ожидать ихъ — напр., въ тотъ критическій моментъ, когда Говенъ входитъ въ тюрьму Лантенака. Ихъ произноситъ и Жозіана, въ любовной сценѣ съ Гвинпленомъ, и сержантъ Радубъ, во время суда надъ Говеномъ, и Маратъ, въ бесѣдѣ съ Дантономъ и Робеспьеромъ. Вѣроятны ли, возможны ли въ данную минуту пространныя разглагольствованія—вѣроятно ли, чтобы Лантенакъ не полюбопытствовалъ узнать причину появленія Говена, чтобы Говенъ молча выслушивалъ діатрибы Лантенака, чтобы Дантонъ и Робеспьеръ образовали послушную, смирную публику для рѣчей Марата — на этихъ вопросахъ авторъ не останавливается; онъ вноситъ въ романъ декламаціонные пріемы, выработанные имъ

въ драмѣ, забывая, что только Фредерикъ Леметръ или другой великій актеръ могъ сдѣлать сноснымъ или даже эффектнымъ монологъ старика Сильвы передъ Карломъ V-мъ (въ «Эрнани»), монологъ Рюи-Блаза передъ испанскимъ совѣтомъ министровъ.

Погоня за величественнымъ, поразительнымъ, чрезвычайнымъ обусловливаетъ собою, до извѣстной степени, не только форму, но и содержаніе романовъ В. Гюго. Его любимая сфера — необыкновенныя событія, исключительныя сочетанія обстоятельствъ, громадныя усилія ума или воли; его любимыя фигуры — герои добра или зла, желѣзные или мраморные, слѣпленные изъ грязи или сотканные изъ чистаго эѳира. Жилліатъ (въ «Travailleurs de la mer») сражается съ стихіями, вырываетъ добычу у бездны, совершаетъ работу, равносильную двѣнадцати трудамъ Геркулеса — и затѣмъ, когда въ минуту предполагаемаго торжества рушилась вся его надежда на счастье, умираетъ картинною смертью, на утесѣ, среди тѣхъ самыхъ волнъ, съ которыми онъ такъ долго и такъ побѣдоносно боролся. Гвинпленъ, уже десятилѣтнимъ мальчикомъ совершавшій чудеса самоотверженія, возвышается въ своемъ балаганѣ надъ уровнемъ всего современнаго ему общества, изъ странствующаго клоуна обращается прямо въ политическаго оратора, выходитъ побѣдителемъ изъ испытанія, представлявшаго тысячи шансовъ паденія. Баркильфедро такъ же жестокъ и гадокъ, какъ великодушенъ Урзусъ; Жозіана такъ же безгранично порочна, какъ безгранично наивны и безгранично добродѣтельны Кокетта, Дея, даже Дерюметта (въ «Travailleurs de la mer»). Кораблекрушенія, пожары, борьба человѣка съ чудовищемъ, удивительныя спасенія изъ воды и отъ огня; злодѣи, звѣрски уродующіе дѣтей; ребенокъ, покинутый ночью, на пустынномъ берегу, среди снѣжной бури, лицомъ къ лицу съ висѣлицей, на которой качается трупъ и которую осаждаютъ хищныя птицы; бутылка, много лѣтъ плавающая по океану и какъ разъ вовремя попадающая въ надлежащія руки; цѣлая драма подъ землею, въ катакомбахъ и сточныхъ трубахъ — таковы струны, на которыхъ охотно играетъ В. Гюго. Нѣкоторыя сцены изъ «Misérables» или «l'Homme qui rit»,—напр. описаніе западни, устроиваемой Тенардье для ограбленія Ж. Вальжана, описаніе пытки надъ Гардканноне—могли бы быть цѣликомъ перенесены въ фельетонный романъ Феваля или Дюма-отца, пожалуй даже Понсонъ-дю-Террайля.

Современная жизнь не выведена на сцену ни въ одномъ изъ романовъ В. Гюго; дѣйствіе ихъ всегда происходитъ въ прошедшемъ, болѣе или менѣе отдаленномъ, и захватываетъ (за

единственнымъ исключеніемъ «Travailleurs de la mer») исторію эпохи, къ которой оно пріурочено. Мы не станемъ разбирать, правъ ли г. Зола, утверждая, что въ основаніи «Notre-Dame de Paris» лежатъ сомнительныя историческія данныя, что XV-й вѣкъ, изображенный поэтомъ, не имѣетъ ничего общаго съ настоящимъ; доказательствъ этого мнѣнія г. Зола не приводитъ, а фактическая его повѣрка потребовала бы слишкомъ большой экскурсіи въ область средневѣковой исторіи. Намъ кажется, что ничего безусловно-несовмѣстимаго съ описываемой эпохой «Notre-Dame de Paris» въ себѣ не заключаетъ. Такіе ученые, какъ Клодъ Фролло, такіе писаки, какъ Пьеръ Гренгуаръ, такіе солдаты какъ Фебъ-де-Шатонеръ, такіе школьники какъ Жеганъ Фролло укладываются въ рамку XV-го вѣка, хотя, быть можетъ, и не всѣ достаточно ясно носятъ на себѣ его сигнатуру. Согласенъ ли съ исторіей Людовикъ XI-ый, выведенный на сцену В. Гюго—вопросъ неважный, такъ какъ роль короля въ романѣ чисто эпизодическая. То, что̀ есть неправдоподобнаго, преувеличеннаго въ лицѣ Эсмеральды зависитъ не отъ нарушенія couleur locale, а отъ свойственной В. Гюго наклонности къ чрезмѣрной идеализаціи фигуръ, ему симпатичныхъ. Гораздо менѣе, чѣмъ «Notre-Dame de Paris», соотвѣтствуетъ условіямъ историческаго романа «l'Homme qui rit». Не говоря уже о томъ, что главныя его фигуры — Урзусъ, Гвинплэнъ и Дея — живутъ внѣ времени и пространства, самый фонъ картины оставляетъ желать весьма многаго. В. Гюго изучилъ царствованіе королевы Анны не какъ историкъ, а какъ антикваріи, какъ любитель и собиратель курьёзовъ. Напрасно было бы искать у него изображенія борьбы партій, наполняющей это царствованіе, характеристики тогдашнихъ торіевъ и виговъ, тогдашняго церковнаго и литературнаго движенія. Передъ нами проходитъ, въ видѣ фигурантовъ, длинный рядъ лордовъ, засѣдавшихъ въ то время въ верхней палатѣ, но изъ ихъ среды не выдается ни одна крупная историческая фигура. Дѣятели политики и литературы, оставившіе глубокій слѣдъ въ исторіи Англіи, упомянуты лишь для того, чтобы оттѣнить превосходство Франціи надъ Англіей; параллель между англійскими и французскими знаменитостями конца XVII-го и начала XVIII-го вѣка заключается словами: «увеличьте однако парики, уменьшите лбы» (у англичанъ, конечно). Сомерсъ, въ этой параллели, поставленъ наряду съ Ламуаньономъ, какъ будто бы глава виговъ, одинъ изъ основателей новаго государственнаго строя, былъ только хорошимъ юристомъ и справедливымъ судьею. Лордъ-канцлеръ Коуперъ оказывается

занимающимъ это мѣсто не потому, что онъ былъ одинъ изъ видныхъ силъ вигизма, а потому, что у него было слабое зрѣніе; королева, будучи сама близорукой, любила выдвигать впередъ людей еще болѣе близорукихъ, чѣмъ она сама (!). Портретъ Анны — «доброй женщины и вмѣстѣ съ тѣмъ злой чертовки, гусыни, въ которой однако что-то напоминало сфинкса» — вообще сильно смахиваетъ на карикатуру.

Областью новѣйшей французской исторіи В. Гюго распоряжается гораздо лучше. На помощь документамъ являются у него разсказы очевидцевъ (въ «Quatrevingt-treize») или личныя воспоминанія (въ «Misérables»); онъ чувствуетъ подъ ногами твердую почву, особенно когда рѣчь идетъ о его нѣжнолюбимомъ Парижѣ. И здѣсь, конечно, не всѣ его пріемы могутъ быть признаны одинаково удачными. Исходя изъ той мысли, что въ жизни человѣчества нѣтъ мелочей, что всякая ея подробность имѣетъ свой смыслъ и свою важность, онъ складываетъ иногда характеристику эпохи изъ множества отдѣльныхъ фактовъ, крупныхъ и мелкихъ, знаменательныхъ и пустыхъ, поставленныхъ въ одинъ длинный рядъ, но ничѣмъ между собою не соединенныхъ. Такова характеристика первыхъ годовъ реставраціи (въ «Misérables»), характеристика парижской уличной жизни во время террора (въ «Quatrevingt-treize»). Впечатлѣніе, производимое ими, не соотвѣтствуетъ ожиданіямъ автора; давно забытыя имена не возбуждаютъ въ умѣ читателей никакого живого образа; крупныя, выдающіяся черты теряются среди массы безцвѣтныхъ, безсодержательныхъ деталей. Многіе ли знаютъ, напримѣръ, чѣмъ прославился Брюгьеръ де-Сорсемъ (Brugière de-Sorsum), намекомъ на знаменитость котораго Гюго начинаетъ характеристику 1817-го года? Далеко ли мы подвинемся впередъ въ пониманіи этого года, узнавъ названіе любимаго тогда—никому неизвѣстнаго теперь—романса, имя тогдашней первой танцовщицы или моднаго акробата, псевдонимы тогдашнихъ фельетонистовъ? Легче ли намъ будетъ вообразить себѣ Парижъ въ 1793 г., когда намъ скажутъ, что цирюльники въ это время торговали иногда и колбасами? Рядомъ съ наличнымъ встрѣчается и кое-что невѣрное; слова, которыми В. Гюго характеризуетъ настроеніе парижанъ въ 1793 г.—«tout était effrayant et personne n'était effrayé... aucune défaillance dans ce peuple» — очень эффектны, но мало согласны съ истиной. Гораздо ближе къ ней слова, влагаемыя самимъ Гюго въ уста Марата: «les bonnes femmes, sur le pas des portes, joignent les mains et disent: quand aura-t-on la paix?»

Мы говорили до сихъ поръ исключительно о недостаткахъ романовъ В. Гюго, чтобы сразу покончить съ наименѣе привлекательной стороной нашей задачи. Всѣ эти недостатки могутъ быть сведены къ двумъ главнымъ: *претензіи* на высокое или колоссальное въ формѣ и содержаніи — и пристрастію къ мелочамъ, къ тому, что Ауэрбахъ удачно назвалъ «gelehrte Curiositäten». Первое, повидимому, противорѣчитъ послѣднему; разгадка этого противорѣчія заключается въ томъ, что область исторической номенклатуры, сухихъ подробностей, мелкихъ фактовъ служитъ для Гюго какъ-бы скромнымъ уголкомъ земли, на которомъ онъ отдыхаетъ отъ искусственнаго напряженія своихъ заоблачныхъ полетовъ. Но между предметами, затрогиваемыми В. Гюго, далеко не всѣ требуютъ такого напряженія. Онъ часто увлекается ими, какъ поэтъ, вдохновляется ими, какъ человѣкъ глубокихъ, искреннихъ убѣжденій — и тогда дарованіе его не нуждается ни въ подпоркахъ, ни въ возбуждающихъ средствахъ. Тамъ, гдѣ онъ находитъ высокое въ мысли или въ жизни, ему нѣтъ надобности творить его во что бы то ни стало, съ помощью риторическихъ и стилистическихъ ухищреній. На эту характеристическую черту таланта В. Гюго было уже указано въ статьяхъ о политической его дѣятельности [1]); она составляетъ всю силу его романовъ, въ ней одной слѣдуетъ видѣть источникъ ихъ успѣха. Съ этой точки зрѣнія первое мѣсто между романами В. Гюго безспорно занимаютъ «Misérables» и »Quatrevingt-treize».

III.

«Пока не будутъ разрѣшены три проблемы нашего вѣка — униженіе рабочаго на степень пролетарія, паденіе женщины вслѣдствіе голода, атрофія ребенка въ умственномъ мракѣ, — пока на землѣ будетъ существовать невѣжество и нищета, книги въ родѣ настоящей могутъ быть не безполезными». Этими словами предисловія къ «Misérables» опредѣляется какъ нельзя лучше значеніе романа, затрогивающаго всѣ больныя мѣста современнаго общественнаго устройства; необходимо только прибавить, что въ «Misérables» изображенъ, сверхъ того, яркими красками одинъ изъ самыхъ драматическихъ моментовъ политической жизни Франціи. Въ сферѣ гуманныхъ стремленій и жгучихъ вопросовъ, составляющей какъ-бы фундаментъ романа,

[1]) „Вѣстникъ Европы“ 1876 г., № 4, стр. 644; 1877 г., № 8, стр. 664 и 669.

преувеличенія, вносимыя Гюго въ обрисовку дѣйствующихъ лицъ, менѣе замѣтны, менѣе рѣжутъ глаза; натянутость, искусственность чувствуется преимущественно въ тѣхъ сценахъ и тѣхъ фигурахъ, которыя не имѣютъ прямой связи съ основными идеями автора. Таковы, напримѣръ, любовныя сцены, вообще рѣдко удающіяся В. Гюго. Козетта и Марій, несмотря на ослѣпительный блескъ, которымъ старался окружить ихъ авторъ — или, можетъ быть, именно вслѣдствіе этихъ стараній — производятъ весьма слабое впечатлѣніе [1]). Они блѣднѣютъ и меркнутъ уже потому, что стоятъ рядомъ съ Жанъ Вальжаномъ, однимъ изъ самыхъ сильныхъ созданій В. Гюго. Въ дѣйствіяхъ Вальжана, если разсматривать каждое изъ нихъ отдѣльно, нѣтъ ничего неестественнаго, неправдоподобнаго; только въ виду всей его жизни, со времени обращенія его къ добру, возникаетъ вопросъ — можно ли подняться такъ высоко, начавъ съ такой низкой ступени, можно ли удержаться на такой высотѣ, если и предположить ее достигнутою цѣной величайшихъ усилій? Мы видимъ много данныхъ для утвердительнаго разрѣшенія этого вопроса [2]).

Встрѣча Вальжана съ такимъ человѣкомъ, какъ епископъ Бьенвеню, могла произвести переворотъ въ его нравственной природѣ; любовь къ Козеттѣ могла закрѣпить однажды совершившуюся перемѣну. Отрѣшиться до извѣстной степени отъ слабыхъ сторонъ существующаго общественнаго порядка онъ могъ именно потому, что самъ долго былъ ихъ невинной жертвой. Побѣда надъ собою дается ему притомъ не безъ труда; въ критическій моментъ своей жизни, на распутіи между двумя противоположными дорогами, онъ избираетъ прямой путь послѣ тяжелой, долгой борьбы, превосходно изображенной В. Гюго. Не безъ борьбы уступаетъ онъ исключительное обладаніе Козеттой; онъ спасаетъ Марія для Козетты, но лишь тогда, когда не удались его попытки отдалить ихъ другъ отъ друга. Все это вмѣстѣ взятое дѣлаетъ Вальжана живымъ лицомъ, а не олицетвореніемъ добродѣтели. Давнишняя, любимая мысль В. Гюго—

[1]) Интересенъ въ исторіи Марія только переходъ его отъ легитимизма къ бонапартизму, отъ бонапартизма къ демократическимъ убѣжденіямъ—переходъ, чрезвычайно рельефно изображенный В. Гюго, на основаніи собственныхъ воспоминаній. Панегирикъ Наполеону, произносимый Маріемъ, короткія реплики Комбеферра и Анжольра, колеблющія слѣпую его вѣру въ этого идола — живое выраженіе двухъ міросозерцаній, дѣйствительно боровшихся между собою въ сердцахъ нѣсколькихъ поколѣній.

[2]) Въ этомъ заключается, между прочимъ, существенная разница между Вальжаномъ и Урзусомъ, величіе котораго, такъ мало соотвѣтствующее и личной его обстановкѣ и духу времени, остается для насъ совершенно необъяснимымъ.

мысль о божественной искрѣ, сохраняющейся въ падшемъ человѣкѣ и способной разгорѣться въ мощное, согрѣвающее пламя —нашла самое полное выраженіе въ лицѣ Вальжана и выдвинула его на первый планъ современной литературы. Чѣмъ выше поднимается на нашихъ глазахъ Жанъ Вальжанъ, тѣмъ громче звучитъ протестъ противъ общественнаго устройства, такъ долго сковывавшаго эту силу или бросавшаго ее на сторону зла, съ которымъ она призвана бороться. Образецъ другой силы, далекой отъ зла, но безплодной для добра, напрасно расточаемой на службѣ односторонне-понятому долгу, мы видимъ въ Жаверѣ, весьма удачно противопоставленномъ Вальжану. Жаверъ никогда не нарушалъ внѣшнихъ формъ общежитія, всегда, наоборотъ, стоялъ на стражѣ противъ ихъ нарушителей; что содержится подъ ними—это было для него безразлично. Когда жизнь внезапно поставила передъ нимъ этотъ вопросъ, когда онъ увидѣлъ противорѣчіе, возможность котораго такъ долго оставалась отъ него скрытой, онъ не нашелъ другого выхода изъ роковой дилеммы, кромѣ самоубійства.

Начало тридцатыхъ годовъ во Франціи было временемъ надеждъ и увлеченій, напоминавшихъ юношескій экстазъ 1789 г. Проникнуто ими было, конечно, далеко не все французское общество; рядомъ съ великодушными мечтами распространялся скептицизмъ, процвѣтало доктринёрство, появлялись первые симптомы практическаго матеріализма, которому суждено было восторжествовать послѣ 1851 г. Контрасты выяснялись все больше и больше, борьба между ними становилась неизбѣжной, но озлобленіе ни съ чьей стороны не доходило еще до крайнихъ предѣловъ. Въ партіи движенія господствовалъ элементъ молодой, рыцарскій, поэтическій; она вдохновлялась преданіями революціи, исповѣдывала ея идеи и вѣрила въ скорую ихъ побѣду. Какую важную роль играло въ этой партіи воображеніе и чувство—это видно уже изъ того, что самымъ обычнымъ лозунгомъ ея волненій были имена порабощенныхъ націй, освобожденіе которыхъ она считала призваніемъ и долгомъ французскаго народа. Политическій идеализмъ нео-республиканцевъ 1832 года затронулъ сочувственную струну въ сердцѣ В. Гюго и внушилъ ему нѣсколько превосходныхъ страницъ, безъ сомнѣнія не забытыхъ читателями «Misérables». Небольшой кружокъ энтузіастовъ, группирующихся около Анжольра и Комбеферра, обрисованъ съ большою задушевностью и большимъ искусствомъ. Всѣ члены кружка, за исключеніемъ случайно примкнувшаго къ нему Грантера, составляютъ одно гармоническое цѣлое — и

все-таки каждый изъ нихъ имѣетъ свою опредѣленно выраженную индивидуальность. Анжольра представленъ, быть можетъ, слишкомъ чистымъ, слишкомъ цѣльнымъ; но мы видимъ его только въ одинъ короткій, критическій моментъ его рано прерванной жизни — а въ такой моментъ человѣкъ, глубоко преданный идеѣ, часто возвышается надъ самимъ собою. Чѣмъ сдѣлался бы Анжольра въ случаѣ побѣды, какъ выдержалъ бы онъ испытаніе успѣха — этотъ вопросъ остается неразрѣшеннымъ. Весьма можетъ быть, что его постигла бы участь его прототипа — Сенъ-Жюста, что его непреклонность обратилась бы въ упрямство, его строгость — въ жестокость; но началу борьбы застаетъ его еще безупречнымъ, и первая кровь, пролитая его рукою, обрекаетъ его на смерть, которой онъ ищетъ и которую находитъ. Рядомъ съ Анжольра стоитъ, притомъ, Комбеферръ, ярко оттѣняющій неполноту, односторонность его натуры. «Комбеферръ дополнялъ и поправлялъ Анжольра; онъ поднимался не такъ высоко, но понималъ болѣе широко. Если бы имъ суждено было перейти въ исторію, она присвоила бы Анжольра имя справедливаго, Комбеферру — имя мудраго. Анжольра былъ болѣе мужественъ, Комбеферръ — болѣе гуманенъ; первый былъ созданъ вождемъ, второй — руководителемъ. Съ однимъ хорошо было сражаться, съ другимъ — идти впередъ. Комбеферръ вѣрилъ въ осуществимость мечты, въ мирную побѣду науки; свѣтъ, въ его глазахъ, былъ выше пламени. Искусственно разогнать темноту, — думалъ онъ, — можно посредствомъ пожара; но не лучше ли подождать восхожденія солнца? Изъ двухъ золъ — насилія и застоя — худшимъ для Комбеферра было второе; но онъ желалъ избѣжать и того, и другого. Онъ не хотѣлъ ни остановки, ни торопливости». Къ друзьямъ *униженнаго*, т.-е. народа (les amis de l'ABC — de l'abaissé), присоединяется, въ минуту борьбы, потерянное дитя французской столицы — Гаврошъ, выросшій на улицѣ, между міромъ мошенниковъ и міромъ мечтателей, скептикъ и энтузіастъ, всегда полный юмора, сегодня готовый помочь бандиту Монпарнассу, завтра — сражаться рядомъ съ Анжольра и Комбефферомъ. Этотъ сложный, странный типъ, возможный только на почвѣ новѣйшаго, послѣ-революціоннаго Парижа, удался В. Гюго какъ нельзя лучше. Мальчикъ, никогда ни къ чему не относившійся серьёзно, но воспріимчивый ко всему дѣйствующему на воображеніе, идетъ въ бой, какъ въ спектакль, но умираетъ героемъ, наравнѣ съ тѣми, которые сознательно жертвуютъ своею жизнью. Смерть Гавроша — только одинъ изъ многихъ поразительныхъ эпизодовъ, составляющихъ,

вмѣстѣ взятые, «Эпопею улицы Сенъ-Дени». Кабачокъ Коринѳ, окружающіе его узкіе переулки, баррикада, защищаемая горстью храбрецовъ — все это врѣзывается въ память, какъ ярко освѣщенная живая картина. И въ этой картинѣ есть пятна, но они не вредятъ общему впечатлѣнію, и останавливаться на нихъ было бы излишне. Напомнимъ, лучше, прелестную въ своей простотѣ сцену смерти Эпонины, несчастной падшей дѣвушки, просвѣтленной, въ послѣднія минуты жизни, истинною любовью.

Въ сторонѣ отъ главнаго дѣйствія романа, въ сторонѣ отъ переплетеннаго съ нимъ политическаго движенія, стоитъ фигура епископа Бьенвеню, какъ-бы перенесенная въ нашъ вѣкъ изъ первыхъ временъ христіанства. В. Гюго разрѣшилъ здѣсь весьма трудную задачу: онъ создалъ лицо, близкое къ совершенству и все-таки полное жизни. Достигъ онъ этого преимущественно тѣмъ, что противопоставилъ Бьенвеню, въ мастерски написанной сценѣ, бывшаго члена конвента, сильнаго именно качествами, недостававшими епископу. Неполнота міросозерцанія Бьенвеню, обусловливающая въ свою очередь нѣкоторую односторонность чувства, выступаетъ здѣсь на видъ сама собою, нисколько не унижая грандіозный образъ епископа, но приближая его къ дѣйствительности, показывая точку соприкосновенія его съ средою, надъ которой онъ такъ высоко поднялся. Замѣтимъ по этому поводу, что, оставаясь человѣкомъ партіи, В. Гюго умѣетъ быть справедливымъ къ своимъ противникамъ. Въ разговорѣ между епископомъ и членомъ конвента онъ стоитъ на сторонѣ послѣдняго, но это не мѣшаетъ ему сочувствовать и первому. Онъ могъ бы изобразить Бьенвеню епископомъ-реформаторомъ и демократомъ, приписать его величію вліянію новыхъ идей, проникающихъ даже въ область традиціи, освѣтить его такъ, чтобы бо́льшая часть свѣта падала на принципы, дорогіе самому автору. Ничего подобнаго онъ не сдѣлалъ; онъ показалъ только, что на почвѣ, дающей столько плевелъ, можетъ, въ исключительныхъ случаяхъ, произрастать и пшеница. Бьенвеню не вполнѣ свободенъ отъ предразсудковъ своего сословія; онъ склоняется даже скорѣе на сторону ультрамонтанизма, чѣмъ галликанизма; сила его заключается только въ томъ, что главное для другихъ имѣетъ для него ничтожное значеніе, что существенны, въ его глазахъ, лишь полузабытыя основы исповѣдуемаго имъ ученія. Отсюда его рѣшимость *жить* согласно съ этими основами, отсюда цѣльность его характера и его образа дѣйствій. Въ его словахъ столько же простоты, какъ и въ его поступкахъ; правильность замысла отразилась здѣсь на исполненіи и совершенно

вытѣснила риторику, портящую иногда лучшія страницы В. Гюго. Все касающееся епископа, собственно говоря, только предисловіе къ роману, въ которомъ онъ не играетъ никакой роли; но болѣе удачнаго предисловія В. Гюго не могъ придумать. Заставивъ насъ полюбить Бьенвеню, онъ, какъ мы уже видѣли, объяснилъ намъ Вальжана.

Мы назвали В. Гюго человѣкомъ партіи—и это справедливо въ томъ смыслѣ, что у него есть рѣзко выраженныя симпатіи и антипатіи, есть формула, въ которую онъ вѣритъ. Въ политическую его дѣятельность эта формула, провозглашающая абсолютность республики и предвѣчность права, часто вноситъ метафизическую претенціозность и односторонность; въ области поэзіи и романа вліяніе ея менѣе замѣтно, даже тогда, когда разсказъ уступаетъ мѣсто размышленіямъ. Ни одно изъ чисто-политическихъ произведеній В. Гюго, относящихся во времени его изгнанія, не можетъ сравниться, по ширинѣ мысли и безпристрастію взгляда, съ нѣкоторыми главами «Misérables», написанными *по поводу* тѣхъ или другихъ эпизодовъ романа. Такова, напримѣръ, характеристика Лудовика-Филиппа, едва ли превзойденная кѣмъ-либо изъ историковъ его царствованія. Что всего больше располагаетъ поэта въ пользу короля—это его доброта, его гуманность, его отвращеніе къ смертной казни. «Часто, среди самыхъ тяжкихъ заботъ, послѣ дня, проведеннаго въ борьбѣ съ дипломатіей цѣлаго континента, онъ возвращался въ свой кабинетъ усталымъ, истощеннымъ, и все-таки проводилъ ночь за чтеніемъ актовъ процесса, окончившагося смертнымъ приговоромъ. Вырвать человѣка изъ рукъ палача было для него дѣломъ еще болѣе важнымъ, чѣмъ справиться съ Европой. Онъ сопротивлялся своему министру юстиціи, отстаивалъ шагъ за шагомъ почву гильотины противъ своихъ прокуроровъ—этихъ *болтуновъ закона*, какъ онъ называлъ ихъ. Въ первые годы его царствованія смертная казнь была фактически отмѣнена, и возстановленіе эшафота было насиліемъ министровъ надъ королемъ, побѣдой Казиміра Перье, представлявшаго узкія стороны буржуазіи, надъ Лудовикомъ-Филиппомъ, представлявшимъ ея либеральныя тенденціи. Помилованіе преступника, приговореннаго къ смерти, было каждый разъ личнымъ торжествомъ для короля. На просьбу о помилованіи человѣка, принадлежащаго къ числу самыхъ симпатичныхъ фигуръ нашего времени [1]), онъ отвѣчалъ, намекая

[1]) Рѣчь идетъ, очевидно, о Барбесѣ, о помилованіи котораго В. Гюго (въ 1839 г.) просилъ Лудовика-Филиппа въ прелестномъ четверостишіи, достойномъ прелестнаго отвѣта короля.

на всегдашній отпоръ, встрѣчаемый имъ въ подобныхъ случаяхъ со стороны министровъ: «Sa grâce est accordée—il ne me reste plus qu'à l'obtenir». Онъ былъ мягкосердеченъ, какъ Людовикъ IX-й, и добръ, какъ Генрихъ IV-й; а доброта—такая рѣдкая жемчужина въ исторіи, что человѣкъ добрый, въ нашихъ глазахъ, чуть ли не выше великаго». Въ этихъ послѣднихъ словахъ выразился весь Викторъ Гюго. Гуманность, которую онъ такъ высоко цѣнитъ въ Лудовикѣ-Филиппѣ [1]), составляетъ главную силу самого поэта, источникъ его лучшихъ вдохновеній. Онъ понимаетъ и до извѣстной степени оправдываетъ насильственныя столкновенія новаго съ старымъ (какъ понимаетъ и сопротивленіе стараго, часто основанное на искреннемъ, хотя и ошибочномъ убѣжденіи въ неправотѣ новаго); но его симпатіи и надежды — на сторонѣ безкровнаго разрѣшенія спорныхъ вопросовъ. Онъ предпочитаетъ варваровъ цивилизаціи цивилизованнымъ варварамъ, «учтиво и мягко, вполголоса, доказывающимъ необходимость невѣжества и фанатизма»,—но считаетъ возможнымъ пораженіе послѣднихъ безъ помощи первыхъ. «Незачѣмъ бросаться съ горы, ни назадъ, ни впередъ; не нужно ни деспотизма, ни терроризма. Мы хотимъ прогресса, спускающагося съ горы по нормальному ея скату (nous voulons le progrès en pente douce)... Уничтоженіе войны, какъ на улицахъ, такъ и на границахъ—таковъ неизбѣжный результатъ прогресса. Чѣмъ бы ни былъ сегодняшній день—завтрашній принадлежитъ миру». Самъ Анжольра, приготовляясь къ отчаянному сопротивленію на баррикадѣ, мечтаетъ о будущемъ братствѣ, о водореніи счастья на землѣ; но В. Гюго сочувствуетъ не столько Анжольра, сколько Комбеферру, въ глазахъ котораго мирное торжество въ будущемъ не предполагаетъ непремѣнно ожесточенной борьбы въ настоящемъ.

Переходя отъ «Misérables» къ «Quatrevingt-treize» мы встрѣчаемся съ тѣми же идеями, съ тѣмъ же настроеніемъ автора. Мы узнаемъ Анжольра въ Симурденѣ, Комбеферра—въ Говенѣ. Вопросъ поставленъ здѣсь еще яснѣе, чѣмъ въ «Misérables»;

---

[1]) Сочувствіе къ Лудовику-Филиппу, какъ къ человѣку, не мѣшаетъ, однако, В. Гюго ясно видѣть и вѣрно опредѣлить слабыя стороны его, какъ политическаго дѣятеля. „Онъ безспорно любилъ свою страну, но еще болѣе любилъ свое семейство. Онъ руководился непосредственнымъ интересомъ минуты, цѣнилъ господство больше чѣмъ власть, власть—больше, чѣмъ достоинство... Онъ лучше понималъ полезное, чѣмъ великое“ — вотъ главные выводы характеристики, богатой мѣткими чертами, тщательно взвѣшивающей всѣ *за* и *противъ*, и снимающей съ короля отвѣтственность за то, что было дѣломъ среды и эпохи.

Комбефер подчиняется Анжольра или по крайней мѣрѣ идетъ по его дорогѣ—Говенъ умираетъ именно потому, что не хотѣлъ и не могъ подчиниться Симурдену. Мы знаемъ мало сценъ, производящихъ такое глубокое впечатлѣніе, какъ послѣдняя бесѣда между Симурденомъ и Говеномъ. Весьма можетъ быть, что она не соотвѣтствуетъ строго-исторической истинѣ, что въ 1793 г. никто не думалъ и не мечталъ, какъ Говенъ, что его устами говоритъ иногда человѣкъ нашего времени, — говоритъ самъ Гюго; но нѣкоторая неточность деталей исчезаетъ въ виду общаго величія картины, вѣрной въ основномъ замыслѣ своемъ. Каждое движеніе впередъ слагается изъ ненависти къ прошедшему—насколько оно господствуетъ или только-что господствовало въ настоящемъ—и стремленія къ будущему, къ идеалу. Оба элемента тѣсно связаны между собою; но преобладаніе перваго, какъ въ отдѣльномъ лицѣ, такъ и въ цѣлой партіи или группѣ, способствуетъ ожесточенію борьбы, преобладаніе второго вноситъ въ нее смягчающее, примирительное начало, возвышаетъ ее надъ личными счетами враждующихъ сторонъ, доводитъ до минимума требуемыя ею жертвы. Въ томъ періодѣ революціи, на которомъ остановился В. Гюго, отрицательная сторона движенія господствовала надъ положительною; въ рядахъ его приверженцевъ было много фанатиковъ, подобныхъ Симурдену, но были, однако, и мечтатели *въ родѣ* Говена. Идеалъ будущаго носился передъ ними не въ такихъ опредѣленныхъ очертаніяхъ, какія онъ принимаетъ въ рѣчахъ Говена, но могъ быть настолько яснымъ, чтобы настоящее, такъ мало сходное съ нимъ, тяжелымъ бременемъ ложилось на ихъ душу, чтобы утѣшеніемъ для нихъ служило только отдаленное будущее. Въ своихъ противникахъ они никогда не переставали видѣть людей; они могли не щадить ихъ въ пылу борьбы, но руки ихъ останавливались или колебались каждый разъ, когда нужно было нанести ударъ обезоруженному врагу. Чѣмъ дольше продолжалась истребительная работа, чѣмъ меньше можно было предвидѣть ея окончаніе, тѣмъ громче говорило въ нихъ великодушное чувство, тѣмъ яснѣе становился антагонизмъ между ними и болѣе хладнокровными или болѣе односторонними ихъ союзниками. Говенъ долженъ былъ разойтись съ Симурденомъ, какъ разошелся Камиллъ Демуленъ съ Робеспьеромъ. Первые признаки разногласія между ними появляются весьма рано, когда Говенъ прощаетъ раненаго шуана, отъ руки котораго только-что спасъ его Симурденъ; оно растетъ при каждомъ новомъ снисхожденіи Говена къ по-

бѣжденнымъ врагамъ и достигаетъ, наконецъ, напряженія, роковаго для обоихъ, когда Говенъ спасаетъ Лантенака.

Имѣлъ ли Говенъ право спасти Лантенака? На этотъ вопросъ самъ Говенъ отвѣчаетъ отрицательно, признавая себя виновнымъ и требуя для себя смертной казни; точно также разрѣшаетъ его и большинство членовъ суда. Литературная критика должна поставить его нѣсколько иначе; она должна спросить себя, соотвѣтствуетъ ли образъ дѣйствій Говена всему умственному и нравственному его складу, могъ ли онъ допустить казнь Лантенака, добровольно предавшагося врагамъ, чтобы спасти трехъ малютокъ отъ мучительной смерти? Намъ кажется, что для Говена не было другого выхода изъ дилеммы, вовсе не существовавшей для Симурдена. Съ прямолинейной точки зрѣнія—единственной, доступной Симурденамъ — поимка Лантенака не возбуждала и не могла возбуждать никакихъ недоумѣній и колебаній; опасный врагъ республиканцевъ попался въ ихъ руки — какъ и почему, это безразлично; они должны поступить съ нимъ точно такъ, какъ, безъ сомнѣнія, при одинаковыхъ условіяхъ, поступилъ бы онъ съ ними. Говену дѣло не могло представляться въ столь ясномъ и простомъ свѣтѣ. Политическія антипатіи не заглушили въ немъ чувства; самоотверженіе Лантенака прямо апеллировало къ гуманности Говена. Настоящая минута затмѣвала собою, въ его глазахъ, прошедшее и даже будущее; въ Лантенакѣ—избавителѣ дѣтей, Говенъ не узналъ Лантенака—безсердечнаго вождя полу-варварскихъ шаекъ, убійцу женщинъ и плѣнниковъ, единственнаго человѣка, способнаго объединить разрозненныя силы инсургентовъ. Сложить съ себя всякую отвѣтственность за участь Лантенака, успокоиться на мысли, что его арестовалъ Симурденъ, что его будутъ судить другіе, Говенъ былъ не въ силахъ; ему казалось, что смерть Лантенака ляжетъ пятномъ не только на него, но и на республику, что побѣдитель не можетъ и не долженъ быть менѣе великодушнымъ, чѣмъ побѣжденный. Солдаты, пораженные подвигомъ Лантенака, не рѣшались наложить на него руку; сержантъ Радубъ, выражая общее мнѣніе арміи, воскликнулъ передъ военнымъ судомъ, что Говенъ былъ правъ, освободивъ Лантенака. Конечно, Говенъ зналъ лучше солдатъ, лучше Радуба, какое значеніе имѣетъ жизнь Лантенака для враговъ республики; но за то къ чувству удивленія передъ Лантенакомъ, овладѣвшему толпою, у него присоединялось глубокое отвращеніе къ смертной казни, идеальное пониманіе послѣднихъ цѣлей движенія, жертвой котораго долженъ былъ пасть Лантенакъ. Въ его душѣ сочувствіе къ движе-

нію было неразрывно связано съ любовью къ человѣку, съ высокой оцѣнкой человѣческой жизни; отплатить смертью за жизнь—смертью Лантенака за жизнь спасенныхъ имъ дѣтей — значило бы, въ глазахъ Говена, допустить чудовищное противорѣчіе, измѣну основнымъ началамъ новаго общественнаго строя. Лучше опасность, чѣмъ позоръ—къ такому выводу неминуемо долженъ былъ привести Говена его политическій идеализмъ. Ошибку В. Гюго мы видимъ не въ томъ, что онъ заставляетъ Говена спасти Лантенака, а въ томъ, что онъ заставляетъ Лантенака спасти дѣтей Мишелли Флешаръ. Ни одна черта въ фигурѣ Лантенака—нарисованной, вообще говоря, съ большимъ искусствомъ,—не даетъ намъ права ожидать отъ него такого великодушнаго порыва; напротивъ, все исключаетъ его возможность. Холодный, жестокій не по увлеченію, а въ силу системы, безпощадный къ побѣжденнымъ врагамъ, разстрѣливающій безоружныхъ женщинъ, Лантенакъ не могъ быть тронутъ опасностью, угрожавшею дѣтямъ Мишелли, не могъ забыть изъ-за нея о своей задачѣ, въ его глазахъ безгранично важной. Онъ не могъ, оставаясь самъ собою, возвратиться въ Тургу, откуда его только-что спасъ непредвидѣнный поворотъ счастья. В. Гюго не пытается даже объяснить поступокъ Лантенака—если только не считать объясненіемъ заглавіе посвященной ему книги: «in daemone deus». Мы знаемъ что вѣра въ безсмертіе добраго начала, какъ бы безнадежно, повидимому, оно ни было заглушено злымъ, всегда входила въ составъ міросозерцанія В. Гюго; но она не освобождала его отъ обязанности показать, какимъ образомъ, въ данномъ случаѣ, добро восторжествовало надъ зломъ, какимъ образомъ злодѣй обратился въ героя.

Драма, разыгрывающаяся между Говеномъ, Симурденомъ и Лантенакомъ, составляетъ только одинъ изъ эпизодовъ борьбы между новымъ и старымъ міромъ, между республикой и возставшими противъ нея западными провинціями Франціи. Трагическій характеръ этой борьбы изображенъ В. Гюго превосходно; его сочувствіе на сторонѣ парижскихъ батальоновъ, на сторонѣ веселаго, добраго, безстрашнаго Радуба—но это не мѣшаетъ ему понимать своеобразное величіе вандейскихъ и бретонскихъ инсургентовъ, мрачныхъ, угрюмыхъ, жестокихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ рыцарскихъ, самоотверженныхъ, наивныхъ. «Чтобы понять Вандею,—говоритъ В. Гюго,—необходимо представить себѣ слѣдующій антагонизмъ: съ одной стороны—французская революція, съ другой — бретонскій крестьянинъ. Гнѣву цивилизаціи, избытку прогресса, благодѣяніямъ, принимающимъ форму угрозы, необ-

ходимо противопоставить этого страннаго, серьёзнаго дикаря, питающагося молокомъ и каштанами, употребляющаго воду только для питья, знающаго только свою соломенную крышу, свой ровъ и свой заборъ, преданнаго своимъ мучителямъ, вѣрующаго въ Божію Матерь и въ Бѣлую женщину, преклоняющагося передъ алтаремъ и передъ высокимъ, таинственнымъ камнемъ—и затѣмъ спросить себя, могъ ли тотъ свѣтъ быть воспринятъ этимъ слѣпцомъ?» Вліяніе мѣстности на населеніе подмѣчено В. Гюго совершенно вѣрно; необозримые лѣса, почти непроходимыя болота, отрѣзывавшіе Бретань и Вандею отъ остальной Франціи, поддерживавшіе невѣжество, плодившіе суевѣріе, отразились и на возстаніи, сдѣлали его кровожаднымъ, упорнымъ, неуловимымъ, постоянно возрождающимся изъ пепла. «Вандея—это сопротивленіе частнаго общему, мѣстныхъ привычекъ — универсальной идеѣ; это борьба родины, въ тѣсномъ смыслѣ слова, противъ отечества. Это колоссальная вспышка, громадный бунтъ, титаническая придирка; это преданность эгоизму, самоубійство изъ-за отсутствующихъ, безпредѣльная храбрость, приносимая въ жертву трусости; это—невѣжество, нелѣпо, но удивительно обороняющееся противъ истины и права».

Не менѣе замѣчательна характеристика національнаго конвента. Даже описаніе залы, въ которомъ происходили его засѣданія, производитъ сильное впечатлѣніе. За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ въ этой залѣ помѣщался придворный театръ. «Вмѣсто его голубого и пурпурнаго плафона, роскошно убранныхъ ложъ, блестящей люстры, жирандолей съ алмазными отливами, амуровъ и нимфъ на занавѣсахъ и портьерахъ, глазу вездѣ представлялись теперь только прямые углы, холодные и рѣжущіе какъ сталь; это былъ какъ-бы Буше [1]), гильотинированный Давидомъ. Кто видѣлъ собраніе, тому, впрочемъ, было не до залы; драма заставляла забывать о театрѣ. Смѣсь уродливаго съ великимъ, горсть героевъ посреди стада трусовъ; львы на горѣ, пресмыкающіяся въ болотѣ,—вотъ общій обликъ конвента. Направо — Жиронда, легіонъ мыслителей; налѣво — Гора, группа атлетовъ; по срединѣ — равнина, безыменная толпа, масса сомнѣвающихся, колеблющихся, отступающихъ, выжидающихъ, и главное — боящихся чего-то или кого-то. Средоточіемъ и воплощеніемъ равнины былъ Сіейсъ, метафизикъ, пришедшій не къ мудрости, а

[1]) Извѣстный живописецъ въ нѣжномъ, изысканномъ, сладострастномъ вкусѣ средины XVIII вѣка, на смѣну котораго пришло патетическое, строгое направленіе Давида.

къ осторожности, куртизанъ революціи, а не ея служитель. Мыслители, жаждущіе борьбы, были на сторонѣ Верньо — какъ напр. Кондорсе, или на сторонѣ Дантона — какъ Камиллъ Демуленъ; мыслители, жаждущіе только жизни, были на сторонѣ Сіейса. Еще ниже равнины разстилалось Болото, эта — стоячая вода эгоизма и страха. Оно предпочитало Жиронду — и слѣдовало за Горою, оно предавало Людовика XVI — Верньо, Верньо — Дантону, Дантона — Робеспьеру, Робеспьера — Талльену; оно поддерживало, пока не являлась возможность опрокинуть. На его сторонѣ былъ численный перевѣсъ, была сила, но парализованные боязнью. Отсюда 31-ое мая, 11-ое жерминаля, 9-ое термидора — трагедіи, завязанныя гигантами и развязанныя карликами... Рядомъ съ людьми, исполненными страсти, стояли люди, проникнутые мечтою. Утопія царила здѣсь во всѣхъ своихъ формахъ — воинственной и мирной, невинной и неумолимой. Рядомъ съ бѣшенымъ краснорѣчіемъ стояло плодотворное молчаніе: Лаканаль молчалъ — и въ умѣ его слагался цѣлый планъ національнаго воспитанія; молчалъ Лантена — и создавалъ начальныя школы; молчалъ Ларевельеръ-Лепо — и мечталъ о возведеніи философіи на степень религіи... Таково было это колоссальное собраніе — укрѣпленный лагерь идей, осажденный мракомъ, раскинутый на краю пропасти. Ничто въ исторіи не можетъ сравниться съ этой группой людей, въ одно и то же время сенатомъ и чернью, ареопагомъ и площадью, обвинителемъ и трибуналомъ». Этихъ немногихъ отрывковъ достаточно для того, чтобы судить о цѣлой картинѣ. Кое-что освѣщено въ ней неполно или невѣрно; но общее впечатлѣніе, производимое ею, соотвѣтствуетъ цѣли автора и величію оригинала. Дополненіемъ къ ней служитъ знаменитая сцена между Робеспьеромъ, Маратомъ и Дантономъ, несвободная отъ недостатковъ, отчасти уже указанныхъ нами, но ярко обрисовывающая тріумвировъ терроризма, въ особенности Дантона и Марата.

Мы далеко не исчерпали всѣхъ сильныхъ сторонъ «Quatre-vingt-treize», по времени — завершающаго послѣднее, по достоинству — едва-ли не первое мѣсто между романами В. Гюго. Припомнимъ прелестную сцену пролога, въ которой, среди таинственной обстановки бретонскаго лѣса, такъ рѣзко выдаются симпатичныя фигуры Радуба и маркитантки; поединокъ между матросомъ и пушкой, выражающейся на свободу; рѣчь Лантенака, послѣ которой Галлиано, только-что хотѣвшій убить его, дѣлается самымъ ревностнымъ его приверженцемъ; разговоръ Лантенака съ нищимъ Тельмархомъ, борьбу республиканцевъ съ инсурген-

тами на улицахъ Доля. Симурденъ — одинъ изъ самыхъ цѣльныхъ, самыхъ живыхъ характеровъ, созданныхъ В. Гюго. Эпизодовъ, напрасно замедляющихъ дѣйствіе, подробностей, запутывающихъ и отягощающихъ разсказъ, въ «Quatrevingt-treize» сравнительно немного. Читая этотъ романъ, трудно повѣрить, что онъ написанъ семидесятилѣтнимъ старикомъ — столько въ немъ энергіи и свѣжести. Нельзя не пожелать, чтобы В. Гюго успѣлъ окончить слѣдующія части романа, дѣйствіе которыхъ будетъ вѣроятно происходить или въ Парижѣ, или на нѣмецкой границѣ.

IV.

Г-нъ Зола нѣсколько разъ проводилъ параллель между В. Гюго и Бальзакомъ, между счастливымъ поэтомъ, такъ рано и такъ легко достигшимъ славы, переходившимъ и переходящимъ отъ одного торжества къ другому — и геніальнымъ труженикомъ, всю жизнь знавшимъ только борьбу, безъ устали и безъ успѣха. «В. Гюго», читаемъ мы въ одной изъ этихъ параллелей, «не только не озарилъ свѣтомъ наше столѣтіе, но еще чуть-чуть не омрачилъ его своими риторическими потемками. Онъ не искалъ истины, онъ не былъ человѣкомъ своей эпохи — и этого достаточно, чтобы объяснить, почему Бальзакъ съ теченіемъ времени будетъ расти, а В. Гюго умаляться». Въ этихъ словахъ ярко отразилась вся односторонность критическихъ взглядовъ г-на Зола. Разсматривая писателей исключительно съ точки зрѣнія метода, онъ совершенно забываетъ *содержаніе* ихъ сочиненій, общее направленіе ихъ дѣятельности. Сказать про В. Гюго, что онъ не искалъ истины, — значитъ не видѣть и не хотѣть видѣть, въ чемъ заключается смыслъ всей его жизни. Чѣмъ объяснить его переходы отъ роялизма къ бонапартизму, отъ бонапартизма къ либерализму, отъ либерализма къ демократіи, сначала умѣренной, потомъ крайней, — какъ не исканіемъ истины, исключающимъ возможность успокоенія на традиціонномъ, унаслѣдованномъ образѣ мыслей? В. Гюго — настоящій человѣкъ своей эпохи. Онъ отзывался на всѣ занимавшіе ее политическіе и общественные вопросы, работалъ надъ ними, не щадя себя — и работалъ не даромъ, потому что сообщалъ другимъ воодушевленіе, которымъ самъ былъ проникнутъ. Правда, онъ остался въ сторонѣ отъ научнаго движенія нашего времени — но враждебнымъ ему онъ никогда не былъ. Его меч-

тательная натура не могла отказаться отъ витанія въ сферахъ, отрицаемыхъ или, лучше сказать, игнорируемыхъ наукой — но это не мѣшало ему признавать и провозглашать безграничное право человѣческаго ума на изслѣдованіе всѣхъ задачъ, на разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ [1]). Въ Бальзакѣ воплотились другія стороны нашей эпохи — наблюдательность, направленная къ изученію психической структуры и психическихъ процессовъ; желаніе проникнуть въ самые тайные мотивы человѣческой дѣятельности, прослѣдить зарожденіе и развитіе страсти, указать ея результаты, опредѣлить долю вліянія, принадлежащаго темпераменту и средѣ, внутреннимъ и внѣшнимъ условіямъ жизни; пониманіе громадной силы, заключающейся въ богатствѣ, въ трудѣ, въ предпріимчивости. По политическимъ убѣжденіямъ своимъ, Бальзакъ гораздо меньше человѣкъ нашего времени, чѣмъ В. Гюго; его симпатіи обращены болѣе къ прошедшему, чѣмъ къ настоящему или будущему. Отсюда пробѣлы въ колоссальной картинѣ XIX-го вѣка, набросанной имъ подъ общимъ названіемъ «Человѣческой комедіи». Если бы кто-нибудь задумалъ составить себѣ по романамъ Бальзака понятіе о Франціи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, то понятіе это оказалось бы весьма неполнымъ. Политическое движеніе временъ іюльской монархіи намѣчено въ нихъ весьма слабо и блѣдно. Единственнымъ представителемъ идеальныхъ его тенденцій является Минаель Кретьенъ, едва обрисованный въ «Grand homme de province à Paris» и «Secrets de la princesse de Cadignan», совершенно затмѣваемый фигурой его консервативнаго друга, Даніеля д'Артеза. Всѣ остальные герои Бальзака, насколько они соприкасаются съ политикой, вносятъ въ нее или индифферентизмъ, съ примѣсью кондотьерства (де-Марсе, Растиньякъ, Филиппъ Бридо, Максимъ де-Трайль), или сочувствіе къ абсолютизму (главныя дѣйствующія лица въ «Curé de village» и «Médecin de campagne»). Чтобы возстановить—не выходя изъ области романа — истинный характеръ эпохи, въ галереѣ портретовъ, созданныхъ Бальзакомъ, необходимо было бы прибавить другіе, заимствованные изъ В. Гюго или Ж.-Занда: Анжольра, Комбеферра, Эмиля Кардонне («le Peché de Mr. Antoine»), Пьера Гюгенена («le Compagnon du tour de France»), Поль-Арсена и Лараминьера («Horace»). Мы далеки отъ мысли

[1]) Похвальное слово человѣческому уму, завершающее собою рѣчь В. Гюго о свободѣ печати (произнесенную въ Законодательномъ Собраніи, въ 1850 г.) приведено въ статьѣ о политической дѣятельности В. Гюго (Вѣсти. Евр., 1876 г., № 4, стр. 632—638).

обвинять за это Бальзака; мы знаемъ, что нельзя требовать отъ писателя исполненія задачъ, не соотвѣтствующихъ его направленію, его умственному складу; мы хотимъ только выставить на видъ ошибочность теоріи, разсматривающей все и всѣхъ подъ извѣстнымъ, разъ навсегда опредѣленнымъ угломъ зрѣнія, несправедливость приговоровъ, произносимыхъ во имя этой теоріи.

Что слава Бальзака значительно возросла со времени его смерти, что у него теперь во Франціи больше послѣдователей и продолжателей, чѣмъ у В. Гюго — съ этимъ мы совершенно согласны, но этимъ не исчерпывается еще вопросъ о сравнительномъ значеніи того и другого. Сочиненія В. Гюго проникли въ такія сферы, которымъ едва извѣстно имя Бальзака; они дошли до народа, между тѣмъ какъ романы Бальзака могутъ быть оцѣнены по достоинству только интеллигенціей. Увеличивающійся успѣхъ натуралистическаго романа не предрѣшаетъ, далѣе, вопроса о его будущности, потому что можетъ зависѣть столько же отъ мѣстныхъ, временныхъ причинъ, сколько отъ внутренней силы, свойственной новому литературному жанру. Реакція противъ романтизма, вполнѣ естественная и законная, можетъ служить объясненіемъ побѣдъ натурализма, точно такъ же какъ побѣды романтизма были вызваны въ свое время реакціей противъ псевдо-классической школы. Гдѣ не было увлеченія въ противоположную сторону, тамъ мы не видимъ и увлеченія натурализмомъ. Нѣмецкая, англійская, русская литература не представляютъ, въ настоящую минуту, ничего вполнѣ аналогичнаго съ движеніемъ, совершающимся въ области современнаго французскаго романа. Не слѣдуетъ ли заключить отсюда, что г. Зола идетъ слишкомъ далеко, связывая это движеніе съ задачами вѣка, съ завоеваніями науки, съ новымъ философскимъ міросозерцаніемъ, предвѣщая прочный успѣхъ и безсмертіе только тѣмъ, кто становится подъ его знамя? Есть основаніе думать, что оно не пройдетъ безслѣдно, что оно поколеблетъ обаяніе риторики и вымысла, что оно приблизитъ романъ къ дѣйствительной жизни; но вытѣснитъ ли оно изъ него всѣ другія направленія, восторжествуетъ ли окончательно надъ субъективностью, надъ чувствомъ, надъ идеализмомъ? Въ этомъ, къ счастію, позволительно сомнѣваться. Превзойдетъ ли слава Бальзака славу В. Гюго — этого мы рѣшить не беремся; мы увѣрены только въ одномъ — что послѣдней не суждено исчезнуть въ лучахъ первой. Изъ длиннаго ряда произведеній В. Гюго уцѣлѣетъ, по всей вѣроятности, сравнительно немногое; но вѣдь то же самое можно сказать и о Бальзакѣ. На-

пышенное одного забудется точно такъ же, какъ мелочное у другого, но не увлечетъ за собою, въ своемъ паденіи, все остальное. Залогъ долговѣчности Бальзака — мастерское изображеніе страстей, овладѣвающихъ человѣкомъ; отцовская любовь въ «Père Goriot», скупость въ «Eugénie Grandet», чувственность въ «Cousine Bette» обрисованы чертами, напоминающими величайшія созданія Шекспира. Залогъ долговѣчности Гюго — восторженная преданность идеямъ, служеніе которымъ внушило ему столько же превосходныхъ страницъ въ «Quatrevingt-treize», въ «Misérables», какъ и въ «Châtiments или «Légende des siècles».

Z. Z.

СТИХОТВОРЕНІЯ

I.

Я жду тебя, тебя не зная,
И лишь порой въ неясномъ снѣ,
Какъ звѣзды дальнія мерцая,
Сквозь жизни мракъ ты свѣтишь мнѣ.

Одинъ, во тьмѣ, я жду привѣта,
Приди-жъ, волшебница, скорѣй,
Дай сердцу мигъ тепла и свѣта,
А тамъ возьми его, разбей.

II.

Сегодня гляжу на тебя я уныло
И тщетно ищу я тебя,
Гдѣ тó, чтó мнѣ было когда-то такъ мило,
Предъ чѣмъ я склонялся, любя.

Ужели все тó, чтó я видѣлъ порою
Сквозь блескъ этихъ чудныхъ очей,
Все было лишь только моею мечтою,
Лишь отблескомъ жизни моей?

Въ усталое сердце глубоко и больно
Вонзился рѣчей твоихъ звукъ,
Гляжу на тебя и ищу я невольно
Тебя же, утраченный другъ.

III.

Мы долго шли рядомъ одною дорогой
И много хотѣлось другъ другу сказать,
Надеждъ и желаній тѣснилось такъ много,
Но мы не рѣшились молчанья прервать.

Теперь все начать мнѣ хотѣлось бы снова,
Но круто расходятся наши пути:
Что дѣлать? осталось одно только слово,
И это печальное слово — «прости!»

Кн. Д. Цертелевъ.

НАУКА и ЛИТЕРАТУРА

въ

СОВРЕМЕННОЙ АНГЛІИ

ПИСЬМО ОДИННАДЦАТОЕ *).

Правда ли, что драма представляетъ собою, согласно мнѣнію Гегеля, высшую степень поэзіи и искусства вообще? Или, наоборотъ, справедливо мнѣніе Ж.-Ж. Руссо, будто театръ есть только мѣсто, куда ходятъ забывать своихъ друзей и ближнихъ, чтобы интересоваться баснями, плакать надъ несчастіями мертвыхъ или смѣяться надъ живыми? Кажется, что разумъ, здравый смыслъ и опытъ вѣковъ рѣшили этотъ вопросъ безусловно, въ пользу мнѣнія великаго германскаго философа, противъ меланхолическаго автора «Письма къ д'Аламберу».

Онъ самъ—гражданинъ Женевы—соглашается, что зрѣлища необходимы. Но какія? Безъ всякихъ прикрасъ. «Поставьте на площади шестъ, съ цвѣтами на верхушкѣ, соберите народъ, и вотъ вамъ праздникъ» [1]). Безъ сомнѣнія, подобный способъ развлеченія покажется достаточнымъ въ странѣ зулусовъ или папуанцевъ; но народы, вышедшіе изъ состоянія варварства, требуютъ чего-нибудь болѣе интереснаго, и если разобрать хорошенько, Женева вовсе не потому достигла столь высокой степени прево-

*) См. „Вѣстн. Европы", іюль, 1879, стр. 318.

[1]) Жанъ-Жакъ Руссо..

сходства и прогресса, что была лишена драматическихъ представленій въ теченіи такого долгаго времени.

Очевидно, вѣрно противоположное мнѣніе. Что бы ни думали о частностяхъ, а драма есть одна изъ самыхъ совершенныхъ формъ литературы. Съ другой стороны, она является однимъ изъ главнѣйшихъ средствъ для оцѣнки нравовъ, привычекъ и вкусовъ націи, и въ этомъ отношеніи намъ необходимо сказать нѣсколько словъ о сценѣ, прежде чѣмъ продолжать изученіе современной англійской литературы. Вопросъ этотъ новый, документы разсѣяны, и можетъ быть этотъ этюдъ дастъ намъ только отрицательные результаты. Но не говоря уже о томъ, что это характеристично само по себѣ, — будетъ интересно и полезно изслѣдовать причины упадка современной англійской сцены и показать недвусмысленные признаки, благодаря которымъ можно уже теперь предусматривать лучшее будущее.

I.

Высокая драма.

Подъ именемъ «Legitimate Drama» подразумѣваютъ здѣсь драму въ собственномъ смыслѣ слова, высокую, серьёзную и возвышенную,—въ отличіе отъ мелодрамы; впрочемъ, при этомъ довольствуются однимъ намѣреніемъ, и, напримѣръ, произведенія какого-нибудь Шеридана Ноулеса, хотя бы то самыя слабыя, тѣмъ не менѣе имѣютъ право занимать мѣсто среди драмъ этого рода. Это—высшая форма драматическаго искусства, достигшая высочайшей степени совершенства у Эврипида и Шекспира.

И вотъ, какъ это ни печально, но должно сознаться, что этотъ-то именно родъ драмы упалъ всего ниже въ отечествѣ «великаго Вильяма». Если бы я ограничился драмами, поставленными въ первый разъ на сцену въ эти послѣднія двадцать—тридцать лѣтъ, задача моя была бы скоро окончена. Но подобное ограниченіе было бы неумѣстнымъ, такъ какъ подъ именемъ «Современный театръ» я подразумѣваю не только пьесы авторовъ нашего поколѣнія, но и всѣ тѣ, которыя стоятъ въ современномъ репертуарѣ. Лордъ Литтонъ, напримѣръ, умеръ три или четыре года тому назадъ, а его «Lady of Lyons» совпадаетъ по времени съ восшествіемъ на престолъ королевы Викторіи: что за бѣда, его пьеса все-таки принадлежитъ намъ, такъ какъ ежедневно дается на какомъ-нибудь лондонскомъ или провинціальномъ театрѣ.

Напротивъ того, я считаю нужнымъ только мелькомъ упомянуть имя Вестланда Марстона, драмы котораго произвели нѣкоторый шумъ лѣтъ двадцать тому назадъ, но теперь перестали появляться, и вѣроятно навсегда, на афишахъ спектаклей.

Я иду дальше и заявляю, что въ подобномъ обозрѣніи необходимо упомянуть о старинныхъ пьесахъ, оставшихся въ репертуарѣ и пользующихся постояннымъ расположеніемъ публики. Безъ сомнѣнія, это не дѣлаетъ чести современной литературѣ; но если въ настоящее время на одномъ театрѣ даютъ двѣсти разъ сряду «Гамлета», на другомъ четыреста разъ «School for Scandal», «Школу злословія» Шеридана,—то я немедленно вывожу изъ этого слѣдующее заключеніе:—вкусъ публики вовсе не такъ испорченъ, какъ это можно бы было предположить съ перваго взгляда. Явись завтра на лондонскомъ театрѣ дѣйствительно выдающееся произведеніе, найдется еще достаточно просвѣщенныхъ людей, чтобы встрѣтить его аплодисментами и обезпечить ему продолжительный успѣхъ.

Впрочемъ, хотя англичане не всегда цѣнили Шекспира по достоинству, за то имъ принадлежитъ слава никогда не забывать его вполнѣ, даже въ эпохи самаго плачевнаго литературнаго упадка. Я не говорю объ эпохѣ пуританъ—наступленіе которой повлекло за собою минутный упадокъ драмы: съ 1642 г. театры были закрыты по всей Англіи, и это продолжалось до реставраціи. Великій Кромвель, гораздо менѣе фанатичный, чѣмъ его мечтательные приверженцы, къ концу своего господства позволилъ открыть одинъ изъ театровъ. Но только по возвращеніи Карла II—какъ ни тяжело въ этомъ сознаться—сэръ Вилліамъ Давенантъ и нѣкій Киллигрью получили позволеніе устроить по театру. Послѣдній открылъ свой театръ въ Друриленѣ, почти на мѣстѣ нынѣшняго театра, перестроеннаго теперь въ четвертый разъ.

Этотъ сэръ Вилліамъ Давенантъ интересенъ въ томъ отношеніи, что онъ олицетворяетъ собою переходное время между двумя эпохами, отдѣленными другъ отъ друга огромнымъ пробѣломъ, который сдѣлала въ исторіи искусства пуританская республика. Онъ выдавалъ себя за роднаго сына Шекспира. Дѣло въ томъ, что его мать держала гостинницу, гдѣ-то на дорогѣ изъ Лондона въ Стрэдфордъ, гостинницу, въ которой не однажды долженъ былъ останавливаться великій поэтъ; хозяйка была, какъ кажется, хорошенькая, и нѣтъ серьёзнаго основанія сомнѣваться въ истинномъ происхожденіи ея сына. Добродѣтельные туземные критики считаютъ этотъ фактъ клеветою и посягательствомъ на добрую славу Вилліама Шекспира: это доказываетъ, что у нихъ

больше усердія, чѣмъ разсудка. Во всякомъ случаѣ, упорное стремленіе сэра Вилліама Давенанта украшать себя титуломъ побочнаго сына автора «Гамлета»,—доказываетъ, что имя послѣдняго еще сіяло въ блескѣ славы.

Сцена снова огласилась возвышенными звуками Шекспировской драмы. Но должно сказать, что это понравилось только на половину, и услужливые люди поторопились обдѣлать пьесы Шекспира по современной модѣ. Куртизаны, дававшіе тонъ всему, заботились только о томъ, чтобы подражать Версалю: старались копировать всё—чудовищные парики и столь же искусственныя трагедіи; въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ на смѣну чисто римскому величію Корнеля выступилъ паѳосъ Расина и его подражателей. Драйденъ объявилъ, что пьесы Шекспира написаны на дурномъ англійскомъ языкѣ, и что ихъ стиль—жалкій, комическія мѣста, по его словамъ, вовсе не забавны, а серьёзныя—скучны. Руководясь этой блистательной точкой зрѣнія, онъ самъ плодитъ драмы, которыя нынче никто не знаетъ и по имени. Затѣмъ является Оттуэй съ своей «Спасенной Венеціей», но это только скоропреходящій блескъ, и Аддисонъ—этотъ холодный Кребильонъ—наноситъ англійской трагедіи послѣдній ударъ своимъ «Катономъ».

Нѣсколько времени спустя случилось событіе громадной важности въ исторіи англійскаго театра. Большинство иностранныхъ критиковъ не знаютъ его или не придаютъ ему значенія, а между тѣмъ дѣло идетъ ни больше, ни меньше, какъ о «Licensing Act'ѣ», о законѣ 1737 г., положившемъ конецъ свободѣ сцены въ Англіи. Со временъ Елизаветы, комики и драматическія представленія находились подъ вѣдомствомъ лорда оберъ-камергера, а также его подчиненнаго, начальника надъ играми, «Master of Revels»; послѣдняя должность существуетъ съ царствованія Генриха VIII [1]). Актеры называли себя «служителями короля» или «лорда камергера». Послѣ реставраціи, въ теченіи нѣкотораго времени, соблюдались тѣ же формальности: въ 1720 г. открылся театръ «Гэймаркета», въ 1733 г.—«Ковентъ-Гарденъ», оба получившіе патентъ и разрѣшеніе высшей власти. Потомъ мало-по-малу увеличилось число театровъ низшаго порядка, безъ всякаго полномочія свыше; съ другой стороны, и на патентованныхъ сценахъ ставили драмы, ни мало не заботясь о лордѣ камергерѣ.

---

[1]) См. Payne Collier: „The History of England dramatic Poetry and Annals of the Stage", etc.—London: Murray, 8 vol. in 8°, 1831.

Но Фильдингъ, безсмертный авторъ «Тома Джонса», въ полномъ смыслѣ слова, «положилъ ноги на столъ». Въ 1734 году онъ явился на Гэймаркетѣ съ труппой, которую онъ называлъ: «общество комедіантовъ Великаго Могола», и говорилъ, что она свалилась съ неба — «dropped from the Clouds»; вмѣстѣ съ этимъ появилась цѣлая серія пьесъ, въ которыхъ бичевалась, по заслугамъ, избирательная испорченность эпохи. Въ одной изъ нихъ былъ выведенъ на сцену самъ министръ, сэръ Робертъ Вальполь. Это положило конецъ свободѣ: черезъ нѣсколько дней парламентъ обнародовалъ Licensing Act, по которому ни одинъ театръ не могъ быть открытъ, ни одна пьеса поставлена безъ позволенія *лорда камергера*. Начальникъ надъ играми исчезъ, и былъ замѣненъ чиновникомъ, извѣстнымъ еще и нынѣ подъ именемъ «Licenser of Play-houres and Examiner of Plays» [1]). Съ этихъ поръ въ Англіи утвердилась драматическая цензура, и примѣнялась здѣсь съ бо́льшею строгостью, чѣмъ въ какой бы то ни было странѣ того времени.

Остались только театры, получившіе разрѣшеніе власти: Друри-Ленъ, Ковентъ-Гарденъ и Гэймаркетъ, и когда позднѣе дано было еще нѣсколько разрѣшеній, они одни сохранили право давать «Legitimate drama»,—по крайней мѣрѣ, до 1843 года, когда новый законъ распространилъ на всѣ театры одно общее право. И вотъ, ни мало не усумнясь, можно сказать: всѣ эти ограничительныя мѣры, повлекши за собою усиленное стеченіе талантливыхъ актеровъ, при незначительномъ числѣ театровъ, имѣли самое счастливое вліяніе на развитіе драматическаго искусства. Я не говорю о цензурѣ, вліяніе которой мы разсмотримъ позднѣе.

Во всякомъ случаѣ извѣстно, что въ теченіи этого періода привилегированныхъ театровъ, отъ 1737 до 1843 года, появилась самая блестящая фаланга артистовъ, какая только блистала когда-нибудь на театрѣ. Во-первыхъ, удивительный Гаррикъ, который отъ 1741—1776 г. былъ удивленіемъ не только Англіи, но и всего міра; Гаррикъ, которому принадлежитъ слава оживленія популярности Шекспира и поколебанія авторитета Драйдна и ложныхъ классиковъ его школы. Затѣмъ Кемблы, еще болѣе удивительные, если только это возможно: это цѣлая династія. Прежде всего — отецъ, Роджеръ Кембль: у него было 12 сыновей, изъ которыхъ пятеро сдѣлались знаменитыми актерами, между ними Джонъ Кембль, Чарльзъ Кембль и выше всѣхъ —

[1]) V. Dulton Cook: „Book of the Play", tom. I. London. 1876.

несравненная мистриссъ Сиддонсъ (Сара Кембль). Дочь Чарльза, Фанни Кембль, была также замѣчательная актриса, и если вы примите во вниманіе, что родоначальникъ фамиліи, Рожеръ, былъ женатъ на комической актрисѣ, въ свою очередь, дочери комика, то согласитесь, что здѣсь мы имѣемъ интересный случай въ пользу теоріи естественнаго подбора и передачи способностей [1]). За ними, въ хронологическомъ порядкѣ, слѣдуетъ Эдмундъ Кинъ, величайшій изъ всѣхъ, самый страстный и, слѣдовательно, не во гнѣвъ будь сказано Дидро, наиболѣе совершенный актеръ.

Съ Макриди, послѣднимъ изъ фаланги, мы вступаемъ вполнѣ въ современную эпоху. Этотъ артистъ, умершій только нѣсколько лѣтъ тому назадъ (1875), воспитанный въ великой школѣ Сиддонсъ и Кемблей, съ честью подвизался на англійской сценѣ въ теченіи всей первой половины нашего столѣтія, отъ 1810 до 1831 г., когда онъ вышелъ въ отставку. Ему-то, его таланту обязаны истинной и громкой популярностью извѣстныя трагедіи Шеридана Ноулеса, о которыхъ нынѣ осталось только смутное воспоминаніе. Этотъ драматическій авторъ, умершій въ 1862 г., пережилъ свою славу: теперь изъ его произведеній даютъ только «Горбуна» («The Hunchback»). Мнѣ не удалось видѣть эту пьесу на сценѣ, но при чтеніи она усыпительна, а это, мнѣ кажется, разрѣшаетъ вопросъ. Въ самомъ дѣлѣ, я вполнѣ согласенъ, что драма пишется для сцены, и что *вполнѣ* ее можно оцѣнить только послѣ представленія, и расхожусь въ этомъ случаѣ съ извѣстнымъ критикомъ, Чарльзомъ Ламбомъ, требующимъ, чтобы Шекспира только читали, и обижающимся, какъ это его драмы даютъ на сценѣ! Но, съ другой стороны, пьеса, оставляющая васъ при чтеніи холоднымъ и равнодушнымъ, можетъ быть гальванизирована воспроизведеніемъ на сценѣ, но всегда будетъ имѣть только минутный успѣхъ, и талантъ, хотя бы самого Гаррика или Рашели, не создастъ изъ нея хорошей комедіи или драмы.

Однако у Шеридана Ноулеса были проблески таланта, — и умъ, конечно, самыя вѣрныя идеи на-счетъ концепціи и характера драматическаго труда, въ чемъ можно убѣдиться, читая его очень интересныя лекціи объ этомъ предметѣ [2]). Къ сожалѣнію, у него, какъ и у стольихъ другихъ, исполненіе не соотвѣтствовало намѣренію. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ, у которыхъ идея не способна къ воспроизведенію, — δύναμις, скрытая сила

[1]) См. Перси Фицгеральдъ: „The Kemble family".

[2]) Sheridan Knowles: „Lessons on Dramatic Litterature". London. 2 t., in 4°. 1873.

не въ состояніи перейти въ дѣйствіе ἐνέργια; въ глыбѣ мрамора они видятъ статую въ полномъ блескѣ ея красоты, но могутъ вырубить только плохо отесаннаго болвана. Иногда блеснетъ у нихъ талантъ, какъ и у Шеридана въ его «Caius Grachus», въ его «William Tell», и въ особенности въ его «Virginius», стоящемъ гораздо выше холодной трагедіи Альфіери. Интрига слаба, но характеры очерчены недурно, сцены расположены удачно, и дрожь пробѣгала по залѣ, когда Макриди (Виргиній), вонзивъ кинжалъ въ грудь дочери, вытащилъ его и махая, окровавленнымъ по воздуху, восклицалъ:

Lo! Appius, with this innocent blood
I do devothe thee to th'infernal gods! [1])

Робертъ Броунингъ, какъ поэтъ, стоитъ, очевидно, выше Шеридана Ноулеса, — и такъ какъ невозможно отказать ему въ извѣстномъ превосходствѣ въ *объективномъ* родѣ поэзіи, то, казалось бы, ему обезпеченъ успѣхъ на театрѣ, если принять во вниманіе, что онъ умѣетъ играть и на струнахъ лирической или *субъективной* поэзіи; — просимъ извинить эту номенклатуру, неизбѣжную, когда рѣчь идетъ объ авторѣ «The Ring and the Book». Броунингъ разсудилъ точно также, и смѣло ринулся на сцену съ двумя или тремя драмами, которыя талантъ Макриди не могъ спасти отъ немедленнаго и окончательнаго паденія: начало положено «Страффордомъ», поставленнымъ на сцену въ 1837 году и лишеннымъ всякаго интереса.

Въ «Blot in the Scutcheon» [2]), одной изъ наиболѣе извѣстныхъ пьесъ его, дѣйствіе также во всѣхъ отношеніяхъ несовершенно, чтобъ не сказать больше. Дѣйствіе происходитъ въ XVIII столѣтіи: у графа Трешама, вельможи самаго стараго закала, есть молоденькая сестра, у которой онъ остался единственнымъ покровителемъ. Молодой сеньоръ-сосѣдъ проситъ у него руку Мильдредъ — такъ называется сестра графа, — послѣдній съ радостью соглашается. Итакъ, все идетъ къ лучшему, какъ вдругъ прибѣгаетъ старый служитель и разсказываетъ лорду Трешаму скверную исторію: онъ видѣлъ не разъ, что изъ комнаты Мильдредъ выходитъ по ночамъ какой-то мужчина. Графъ бѣсится, призываетъ молодую дѣвушку, обходится съ ней, какъ съ проституткой, и прячется въ засаду у подозрительнаго окошка. Приходитъ ночь, а съ нею — волокита, который оказывается не

[1]) Knowles's „Virginius". Актъ IV, сц. 2.

[2]) См. Browning's Poetical works. T. IV. London. Smith. 1875.

кто другой, какъ лордъ Мертоунъ; графъ вызываетъ его на дуэль, ранитъ его смертельно и тотчасъ сознается, что сдѣлалъ глупость. Лордъ Мертоунъ умираетъ, Мильдредъ умираетъ, а лордъ Трешамъ, въ отчаяніи, дѣлаетъ то же самое. И вотъ сколько народу погибло изъ-за пустяковъ.

Графъ напрасно восклицаетъ, что если гербъ запятнанъ,—

Vengeance is God's, not man's!

Это не лестно для Провидѣнія, да и пьеса ничего не выигрываетъ, такъ какъ драматическая истина не имѣетъ ничего общаго съ этой системой фатализма по Броунингу. Критика и публика единодушно осудили драматическія попытки автора, что согласуется съ мнѣніемъ, которое я высказалъ въ послѣднемъ письмѣ, по поводу этого непонятнаго, если и не непонятаго поэта [1]).

Лордъ Литтонъ [2]) имѣлъ больше успѣха. Будучи уже знаменитымъ романистомъ, онъ захотѣлъ попытать счастья на театрѣ, и, провалившись съ «Герцогиней Лавальеръ», явился съ «Lady of Lyons», которая имѣла блестящій успѣхъ. Тогдашній критикъ «Revue des Deux Mondes», знаменитый Густавъ Планшъ, *раскритиковалъ* пьесу, объявивъ ее чрезвычайно слабой по замыслу, и посовѣтовалъ автору покончить на этой попыткѣ: знаменитый аристархъ и на этотъ разъ ошибся.

Въ самомъ дѣлѣ, «Lady of Lyons» осталась въ репертуарѣ, и всякій разъ, какъ она появляется на театральной афишѣ, находится масса охотниковъ ее слушать и рукоплескать ей. Сюжетъ пьесы довольно оригиналенъ, и еще до сихъ поръ спорятъ, кому принадлежитъ честь первоначальной идеи. Когда, немного времени спустя, явился «Рюи-Блазъ» Виктора Гюго, великаго французскаго поэта обвиняли въ подражаніи пьесѣ лорда Литтона. Это было явное преувеличеніе, хотя невозможно отрицать извѣстной степени родства между обоими драмами. Въ «Рюи-Блазѣ» лакей становится любовникомъ королевы; въ «Lady of Lyons» сынъ бѣднаго садовника женится на богатой капиталисткѣ, и въ томъ и другомъ случаѣ приходится испытать месть третьяго.

Но здѣсь и кончается сходство. Между тѣмъ, какъ Рюи Блазъ трепещетъ отъ ужаса, открывши разставленныя вокругъ него сѣти, Клодъ Мельнотъ самъ вступаетъ въ заговоръ, чтобы

---

[1]) См. „Вѣстникъ Европы", іюль, 1879 г., стр. 346.

[2]) Знаменитый авторъ „Ріенци", „Last days of Pompei" и др. родился въ 1803 г., ум. въ 1873 г.

отмстить за себя. Будучи сыномъ садовника, оставившаго ему скромное состояніе, онъ жилъ въ захолустьѣ съ старухой матерью, въ коттеджѣ, неподалеку отъ города. Дѣло происходитъ въ эпоху французской революціи. Влюбившись уже давно въ самую красивую дѣвушку Ліона, гордую Полину Дешаппель, онъ упорно работалъ, и сдѣлался вполнѣ джентльменомъ. Онъ посылаетъ своей возлюбленной кучу букетовъ, разумѣется, *инкогнито;* однако же, наконецъ, осмѣливается послать ей письмо, черезъ посредство одного изъ своихъ друзей, какого-то крестьянина, котораго Полина приказываетъ выгнать палками своимъ лакеямъ. Мало того, Клодъ предупрежденъ, что и ему готовится то же самое, при первомъ удобномъ случаѣ. Не забудемъ, что дѣло происходитъ въ эпоху французской революціи; сынъ садовника, сознающій свое достоинство французскаго гражданина, уязвленъ этимъ оскорбленіемъ до глубины души и клянется отмстить тщеславному созданію.

Въ эту минуту приходитъ письмо нѣкоего Бореанъ, бывшаго дворянина, только-что получившаго вѣжливый отказъ отъ Полины и ея матери. Онъ тоже взбѣшенъ и обѣщаетъ доставить Клоду средство овладѣть рукою той, которую онъ любитъ, подъ однимъ условіемъ: Клодъ обязуется клятвой жениться на Полинѣ и ввести ее въ свое бѣдное жилище тотчасъ послѣ свадьбы. Сдѣлка заключена, и въ слѣдующемъ актѣ мы присутствуемъ въ паркѣ мадамъ Дешаппель, гдѣ Клодъ Мельнотъ, въ великолѣпной одеждѣ, представленный Бореаномъ подъ именемъ князя Комо, ухаживаетъ за Полиной очень успѣшно. Оба влюбленные говорятъ другъ другу разныя нѣжности въ перемежку съ крайне комическими и очень удачными пассажами, вытекающими изъ самаго положенія. Любовь окончательно побѣдила гордость Полины, а Клодъ, при этомъ сближеніи, скоро забываетъ о своей ненависти и влюбляется страстно.

Но съ этого момента, роль пугаетъ его, онъ хочетъ отдѣлаться отъ нея—слишкомъ поздно. Притомъ Бореанъ указываетъ ему, что если онъ откажется и обманетъ родителей, послѣдніе такъ будутъ смущены мистификаціей, что во избѣжаніе затруднительнаго и смѣшного положенія отдадутъ Полину первому попавшемуся приличному жениху, хотя бы ему, Бореану. Эта перспектива убѣждаетъ Клода, происходитъ бракосочетаніе, и тогда начинается третій актъ, по-истинѣ прекрасный, въ особенности сцена въ коттеджѣ вдовы Мельнотъ, куда пріѣзжаетъ ложный князь съ своей молодой женой:

Вдова Мельнотъ. Ахъ, сынъ мой—моя радость! моя радость! Извините меня, сударыня, но я его такъ люблю!

Полина. Добрая женщина, въ самомъ дѣлѣ... Какъ князь, что̀ это значитъ?.. развѣ эта старая дама васъ знаетъ? Ахъ! я догадываюсь! вы оказали ей какую-нибудь услугу—новое доказательство вашей доброты, не правда ли?

Мельноттъ. Моей доброты, да!

Полина. Итакъ, вы знаете князя?

Вдова. Знаю ли я его, сударыня! — Ахъ! я начинаю опасаться, что вы не знаете, что̀ онъ такое на самомъ дѣлѣ.

Полина. Развѣ она сумасшедшая? Оставаться ли намъ здѣсь? Мнѣ кажется, въ ея лицѣ есть что-то свирѣпое.

Мельноттъ. Я... Нѣтъ, я не могу ей сказать; мои колѣни подгибаются; какимъ трусомъ становится человѣкъ, когда онъ потерялъ честь! Говорите ей, (*матери*) говорите ей! — Скажите ей... О, небо! я желалъ бы умереть!

Полина. Какъ онъ смущенъ!—какое странное мѣсто!—эта женщина—что̀ все это значитъ? Мнѣ кажется, что я догадываюсь... Кто вы такая?—Кто вы такая? Можете вы говорить? или вы нѣмая?

Вдова. Клодъ, ты однако не обманулъ же ее? Ахъ! позоръ тебѣ! Мнѣ кажется, ты долженъ былъ сказать ей все, прежде чѣмъ вести ее къ алтарю.

Полина. Что̀ все? Кровь стынетъ въ моихъ жилахъ!

Вдова. Бѣдная молодая женщина!.. Развѣ вы не знаете, что вышли замужъ за моего сына, Клода Мельнотта?

Полина. Вашего сына! довольно, довольно! Молчите! (*подходитъ къ Мельнотту*). Это шутка, говори! я знаю, что это шутка! только говори—одно слово—одинъ взглядъ—одна улыбка! Это невозможно—я тебя такъ любила!—я не хочу вѣрить, чтобы и ты былъ... Нѣтъ, я не хочу осыпать тебя оскорбительными словами—говори![1]).

Однако, оскорбительныя слова являются своимъ чередомъ, и это понятно, при данныхъ обстоятельствахъ. Но авторъ не впадаетъ здѣсь въ пафосъ и іереміады, какъ не преминулъ бы сдѣлать заурядный драматургъ. Клодъ вовсе не валяется у ногъ неутѣшной красавицы, и когда она кричитъ ему: «что̀ я тебѣ сдѣлала? За какую вину ты топчешь меня ногами»?—онъ спокойно отвѣчаетъ:

Pauline, by pride
Angels have fallen ere thy time: by pride—
That sole alloy of the most lovely mould [2]).

[1]) „Lady of Lyons", act. III, sc. 2. Lord Lytton's dramatic works. London. Routledge. 1 vol. in 4°.

[2]) „Полина, вслѣдствіе гордости, ангелы пали еще прежде тебя, вслѣдствіе гордости, единственнаго пятна на твоей всесовершенной красотѣ".

Нужно прочесть всю сцену, и, если возможно, видѣть ее на театрѣ Лицеума, въ игрѣ Ирвинга и миссъ Эллент Ферри, которые, конечно, не заставятъ пожалѣть о Макриди и миссъ Элент Фауситъ,—и это даже не похвала.

Интересъ слабѣетъ съ слѣдующаго акта, въ которомъ Клодъ отказывается отъ жены, которая возвращается въ свою семью и добивается развода, между тѣмъ какъ онъ поступаетъ во французскую армію. Черезъ два года онъ возвращается полковникомъ—въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго въ данную эпоху—и находитъ Полину, готовую принять руку и состояніе Бореана, чтобы спасти разорившагося отца. Она все еще любитъ своего принца-садовника; послѣдній открывается ей; онъ не только полковникъ, но и богатъ, и къ общему удовольствію получаетъ руку той, которая уже была его женою, но только на бумагѣ.

Такова эта пьеса, которая можетъ разсматриваться, какъ характеристика современной англійской драмы. Она написана попеременно, прозой и стихами, — смѣсь, всегда огорчавшая иностранныхъ критиковъ, хотя она и составляетъ отличительную черту англійской драмы, притомъ съ самаго начала ея. Это находятъ очень естественнымъ, да оно и покажется такимъ всякому, вполнѣ освоившемуся съ мѣстнымъ языкомъ и литературой. Въ «Lady of Lyons» стихи, не будучи вовсе Шекспировскими, тѣмъ не менѣе проникнуты поэзіей энергической краткости. Стиль въ общемъ выдержанъ, авторъ рѣдко ударяется въ мелодраматическій паѳосъ; характеры очерчены удовлетворительно, ходъ дѣйствія занимателенъ и въ цѣломъ мы имѣемъ трагедію, выдающуюся, хотя вовсе не стоящую выше «Рюи-Блаза» или «Маріонъ Делормъ», какъ старались увѣрить нѣкоторые. Что касается до другихъ драмъ лорда Литтона, онѣ не заслуживаютъ упоминанія, даже его «Ришелье», котораго даютъ время отъ времени, по причинѣ выгодъ, представляемыхъ главной ролью для выдающихся актеровъ.

Въ эту эпоху, около 1840 г., дѣятельность на англійской сценѣ усилилась; публика стекалась толпами, привѣтствуя аплодисментами выдающіяся произведенія, въ родѣ греческой драмы «Іонъ» сэра Томаса Тальфорда, «Филиппъ Артевельде» сэра Генри Тайлора, и «Legend of Florence» Ли-Гонта. Благодаря Макриди, всѣ пристрастились къ драматическимъ представленіямъ. Появился даже на сцену еще разъ и столь же ложно поставленный важный вопросъ о реализмѣ и идеализмѣ, который многіе ошибочно считаютъ безусловно новымъ. Авторъ недурной маленькой одноактной драмы «The death of Marlowe» М. Р. Горнъ

издалъ въ 1840 г. романтическую трагедію «Григорій VII», съ предисловіемъ, въ которомъ вооружался противъ тенденціи вѣка низвести все къ осязательной дѣйствительности. Въ слѣдующемъ году, Вестландъ Марстонъ поставилъ на сцену «The Patrician's daughter», пятиактную трагедію въ стихахъ, дѣйствіе которой происходитъ въ наши дни. Это исторія молодого человѣка, талантливаго, но простого *commoner*, влюбленнаго въ дочь одного лорда. Разумѣется, ему указали на дверь, безъ вѣдома молодой патриціанки, которая съ своей стороны его любитъ. Проходитъ четыре или пять лѣтъ; плебей Мордаунтъ сдѣлался вліятельнымъ въ политикѣ лицомъ, съ которымъ приходится считаться, и лордъ намѣревается ввести его въ свое семейство и привлечь къ своей партіи; дается согласіе на бракъ, и все, повидимому, устраивается къ общему согласію, когда, въ самую минуту подписанія брачнаго контракта, Мордаунтъ объявляетъ, что онъ шутилъ и въ свою очередь оставляетъ съ носомъ и дочь, и будущаго тестя. Этимъ онъ отмстилъ за себя—чего, очевидно, авторъ не одобряетъ, такъ какъ въ послѣднемъ актѣ молодая дѣвушка умираетъ отъ изнурительной болѣзни, въ то самое время какъ Мордаунтъ узнаетъ, что она всегда любила его [1]).

Въ предисловіи къ «Дочери Патриція» Марстонъ объявилъ себя на сторонѣ реальной драмы, заимствованной изъ современной жизни. «Посмотрите, говоритъ онъ, на купца, когда онъ возвращается съ биржи, на поэта, когда онъ незамѣтно проходитъ по улицамъ; дипломата, съ его безстрастнымъ лицомъ, наперекоръ внутреннему волненію... Сколько тутъ безпокойства! неопредѣленныхъ стремленій! невѣдомой борьбы! подавленныхъ волненій! сколько матеріала для трагедіи въ современной цивилизаціи!» Съ тѣхъ поръ къ дипломату и купцу прибавили цинковщика и прачку; но идея осталась та же самая, и, въ сущности, что̀ все это значитъ? Истина въ томъ, что всякій вѣкъ или, скорѣе, всякая цивилизація могутъ доставить матеріалъ для драматическаго писателя; пусть онъ береть свои типы, гдѣ хочетъ, лишь бы только умѣлъ одушевить ихъ, создать художественное произведеніе; однимъ словомъ—представить намъ живыя фигуры, а не манекены, равно ненавистные, будутъ ли они одѣты въ палліумъ или въ блузу, въ куртку или пальто. Я удивляюсь «Купо», если это живая фигура; но думаю, что «Гамлетъ» по крайней мѣрѣ столь же интересенъ, и утверждаю, что онъ бу-

[1]) Westland Marston: „The dramatic and poetical works". London. Chapman 2 v. in 8° 1876 г.

детъ интересовать и волновать и на будущее время всѣхъ людей, кромѣ развѣ слабоумныхъ и невѣждъ. Что касается до Горна и Вестланда Марстона, то общественное мнѣніе оцѣнило обоихъ одинаково, и теперь они оба забыты. Впрочемъ, послѣдній не лишенъ былъ нѣкоторыхъ достоинствъ, какъ это доказываютъ его драмы «Strathmore» и «Life for Life»; но онѣ не создали ему неувядающей славы.

То же нужно сказать и о Теннисонѣ—разумѣется, съ точки зрѣнія драматическаго искусства. Я уже имѣлъ случай говорить о его «Queen Mary» и осмѣлился предсказать неизбѣжное паденіе этой драмы, если она будетъ дана на театрѣ [1]). Немного времени спустя, событія оправдали предсказаніе, слишкомъ очевидное, что́ бы тамъ ни кричали энтузіасты. И притомъ невозможно сваливать вину на актеровъ; роль королевы была выполнена очень прилично, даже замѣчательно, г-жею Бэтманъ; что касается до роли Филиппа II, то она была однимъ изъ самыхъ удивительныхъ созданій Ирвинга. Никогда, можетъ быть, не являлась на сценѣ съ такою поразительною истиной фигура этого монарха, съ его блѣднымъ, зловѣщимъ, отталкивающимъ своею высокомѣрною гордостью, лицомъ; какъ это иногда случается, актеръ наполнилъ огромный пробѣлъ, оставленный авторомъ. Но все это не могло замѣнить безусловнаго отсутствія дѣйствія, а слѣдовательно, и интереса; пьеса потерпѣла полное fiasco или скорѣе, —и что́ еще хуже,—имѣла, какъ говорится, «un succès d'estime».

Теннисонъ не счелъ себя побѣжденнымъ, и на слѣдующій годъ, желая, безъ сомнѣнія, вознаградить себя, произвелъ новую драму, вполнѣ готовую къ представленію, поэтому мы въ своемъ правѣ заняться ею, хотя еще ни одинъ директоръ не нашелъ удобнымъ поставить ее на сцену [2]): «Harold»—трагедія, созданная по образцу «Elisabethian Drama», «historie»—какъ говорили въ то время. Но—увы! на этомъ и оканчивается сходство. Авторъ тщательно слѣдитъ за исторіей и хроникой. Теннисонъ руководствуется Фрименомъ, какъ Шекспиръ Плутархомъ и Голиншедомъ. Только у Шекспира есть что-то, чего нѣтъ у Плутарха и Голиншеда—дѣйствіе, характеры, драма; его Брутъ и его Ричардъ III болѣе совершенны, болѣе *реальны*, чѣмъ у греческаго біографа и англійскаго хроникёра. Въ пьесѣ поэта-лавреата я нахожу только то, что есть у автора норманскаго завоеванія.

[1]) См. «В. Европы» за январь 1876 г. стр., 239. Пьеса была поставлена на театрѣ „Lyceum“ въ апрѣлѣ 1876 г. и послѣ нѣсколькихъ представленій удалена изъ репертуара.

[2]) См. The works of Alfred Tennyson, poet laureate. Изд. Regan Paul. 1878.

Онъ утверждаетъ, что вдохновлялся вышитыми обоями Байё,—согласенъ, но вмѣсто того, чтобы оживлять лица, онъ довольствуется тѣмъ, что фотографируетъ ихъ и ставитъ одно подлѣ другого; его Гарольдъ — упрямый и плохо обрисованный простакъ, по истинѣ фигура съ обой.

Не стóитъ разсказывать содержаніе пьесы; гораздо лучше указать читателю на Фримена и Огюстена Тьерри. Тутъ все есть: путешествіе Гарольда въ Нормандію, его клятва надъ реликвіями, смерть Эдуарда Исповѣдника, побѣда при Стамфорбриджѣ и пораженіе при Гастингсѣ: это хроника въ діалогахъ. При всемъ томъ, герой менѣе великъ, чѣмъ въ исторіи; что же касается до прекрасной Эдиты—которая одна, по словамъ легенды, могла узнать между мертвыми страшно изуродованный трупъ англійскаго короля—то Теннисонъ, въ силу тайнаго брака, сдѣлалъ ее законной супругой Гарольда. Но такъ какъ послѣдній уже имѣлъ одну жену, исторически извѣстную и не менѣе законную, которая также фигурируетъ въ пьесѣ, то положеніе становится по-истинѣ затруднительнымъ; оно становится смѣшнымъ въ послѣднемъ актѣ, когда *двѣ жены* Гарольда отыскиваютъ трупъ своего мужа; это очевидное двоеженство, и вы невольно переноситесь къ мормонамъ и городу Соленаго озера. Такъ передѣлалъ авторъ трогательную легенду о прекрасной Эдитѣ, любовницѣ короля саксовъ; все это для того, чтобы не быть «impropre» и не оскорбить стыдливость чайныхъ торговцевъ и старыхъ дѣвъ, —и это искусство! Но покончимъ на этомъ, и разъ эти замѣчанія сдѣланы, не забудемъ объ уваженіи, которымъ мы обязаны восхитительному пѣвцу любви Элэны и Ланселота.

На этомъ я и покончу. Не стóитъ говорить здѣсь о «Карлѣ I» Вилльса, о его лирико-похоронной драмѣ «Евгеній Арамъ» (1873), пьесъ, обязанныхъ своимъ минутнымъ успѣхомъ единственно игрѣ Ирвинга. Что касается до Тома Тэйлора, то его имя принадлежитъ скорѣе комедіи, несмотря на цѣлый томъ его «Historical Dramas» [1]), обнародованный два года тому назадъ,—томъ, который не спасутъ отъ забвенія ни «Жанна д'Аркъ (1871), ни «Анна Болейнъ» (1876). Въ результатѣ балансъ англійской драмы за сорокъ лѣтъ сводится къ «Lady of Lyons» лорда Литтона.

---

[1]) Historical Dramas, by Tom Taylor, M. A. Лондонъ. 1877.

II.

Комедія.

Семнадцатаго апрѣля нынѣшняго года я былъ въ театрѣ Водевиль, на Странднѣ, на 1361-омъ и предпослѣднемъ представленіи «Our Boys», комедіи въ трехъ актахъ мистера Генри Байрона. Я говорю—1361-омъ: но представленія шли подрядъ, такъ какъ въ первый разъ комедія дана была въ январѣ 1875 г.—это составитъ 4 года и три мѣсяца представленій, прерываемыхъ только воскресеньями и праздниками, въ которые театры закрываются по обычаю, строго соблюдаемому въ нашей странѣ. Вотъ, безъ сомнѣнія, чудовищный, несоразмѣрный успѣхъ, не имѣющій себѣ подобнаго въ театральныхъ лѣтописяхъ; это признакъ времени, заслуживающій самаго подробнаго разбора.

Прежде всего поговоримъ объ авторѣ. Генри Байронъ еще молодъ [1]), но онъ принадлежитъ въ числу тѣхъ, у которыхъ—«сила не измѣряется числомъ лѣтъ»!

Въ 1863 году, едва достигнувъ 29 лѣтъ, онъ одинъ уже поставилъ на сцену 33 пьесы, не считая комедій, написанныхъ въ сотрудничествѣ съ другими лицами. Правда, что большую часть этихъ пьесъ составляютъ «фарсы», «шутки» или «extravaganza» — три термина, ежедневно повторяемые здѣсь на афишахъ и вполнѣ соотвѣтствующіе, въ особенности—послѣдній, жанру, который они обозначаютъ. Байронъ пародировалъ почти всѣхъ образцовыхъ писателей, древнихъ и новыхъ: Гомера, Гёте, лорда Байрона и проч.—всѣ пошли въ дѣло, и такимъ образомъ явилась цѣлая серія «Belle Hélène» въ миніатюрѣ, цѣлая серія самыхъ пошлыхъ фарсовъ. Это—такъ-называемые на лондонскихъ театрахъ, «Pièces à femmes»—выставки икръ и бѣлокурыхъ волосъ, въ перемежку съ танцами, пѣніемъ и каламбурами, въ слѣдующемъ родѣ:

«The sea mild as any soothing lotion
What was *commotion* is non *calm ocean* [2])!

Это не имѣетъ ничего общаго съ литературой, и я цитирую эти стихи только для того, чтобы дать читателямъ понятіе о необыкновенныхъ рессурсахъ, представляемыхъ для подобнаго рода пьесъ англійскимъ языкомъ или, лучше сказать, произношеніемъ,

---

[1]) Родился въ Манчестерѣ, въ 1834 г.

[2]) „Beautiful Haydee" a new extravaganza by H. J. Byron. Act 1. sc. 4.

такъ какъ, къ несчастію, оба эти слова «commotion» и «calm ocean» звучатъ для уха почти одинаково: это превосходный урокъ для иностранцевъ, и въ то же время рѣшительное оправданіе лиги для реформы англійской орѳографіи. Байронъ сдѣлалъ также нѣсколько попытокъ въ болѣе серьёзномъ родѣ и между прочимъ написалъ комедіи «Cyril's success», «Sour grapes», «Old soldiers», которыя всѣ имѣли огромный успѣхъ, въ особенности послѣдняя; но въ нихъ нашли только прискорбное легкомысліе вмѣстѣ съ не менѣе печальнымъ отсутствіемъ вкуса.

Развернулся ли его талантъ въ «Our Boys»? Эта пьеса безконечно лучше предыдущихъ, въ чемъ согласны всѣ критики. Но никому и въ голову не приходила возможность почти 1400 представленій. Содержаніе можно разсказать въ двухъ словахъ: сыновья баронета, сэра Джеффри Чампнезъ, и разбогатѣвшаго лавочника Миддльвика недавно кончили курсъ въ университетѣ. Это и есть «our boys»—наши молодые люди—два школьныхъ друга, только-что возвратившіеся изъ путешествія по континенту. Параллельно выставлены двѣ дѣвушки—фигуры довольно блѣдныя—богатая наслѣдница Віолета Мельровъ и ея кузина, безъ гроша денегъ. Баронетъ, прекрасный человѣкъ, но совсѣмъ недалекій, какъ большая часть титулованныхъ лицъ, изображаемыхъ въ современной англійской комедіи; баронетъ желалъ бы видѣть своего сына, тоже довольно глупаго и невѣжественнаго какъ пень—играющимъ роль въ политикѣ. Поэтому ему хочется женить сына на наслѣдницѣ. Къ несчастію, эта послѣдняя влюбилась въ молодого Миддльвича, сына «Butterman'a» (торговецъ масломъ), юношу талантливаго и образованнаго, который съ своей стороны платитъ ей взаимностью; напротивъ того, бѣдная кузина благосклонно принимаетъ ухаживанья молодого баронета. Ex-торговецъ масломъ, смѣшной чудакъ, но съ большимъ здравымъ смысломъ, не хочетъ сдѣлать своей невѣсткой эту богатую дѣвушку, которая находитъ его грубымъ и дурно воспитаннымъ. Съ другой стороны, молодые люди объявляютъ, что согласны жениться только по своему выбору, а пока отказываются отъ всякой помощи со стороны родителей. Они поселяются въ Лондонѣ, гдѣ мы и находимъ ихъ въ послѣднемъ актѣ, въ меблированныхъ комнатахъ, безъ гроша денегъ и безъ всякихъ средствъ къ жизни. Къ счастію пріѣзжаютъ родители, оба въ одно время по случаю выставки рогатаго скота, потомъ обѣ молодыя дѣвушки, уже неизвѣстно по какому случаю,—и все кончается общимъ соглашеніемъ.

Какъ видите, дѣйствія никакого, а послѣдній актъ слабъ,

чтобъ не сказать больше. Что же остается?—Характеры, «полные *юмора* и достойные самого Диккенса», какъ сказалъ критикъ «Times'a» послѣ 1362-го представленія. Похвала чрезвычайная, и отвѣтственность за нее я слагаю на газету, соглашаясь, впрочемъ, отчасти, относительно типа купца. Этотъ «Перкинъ Миддльвикъ» положительно типиченъ, чрезвычайно забавенъ и очень реаленъ; театръ помиралъ со смѣху, при каждомъ словѣ этого чудака, очень хорошо сознающаго, что ему недостаетъ образованія и хорошихъ манеръ. Но онъ отнюдь не любитъ, чтобы ему давали это чувствовать, и, въ противоположность выскочкамъ, которыхъ изображаютъ обыкновенно на сценѣ, не ослѣпляется знатностью и богатствомъ наслѣдницы.

Баронетъ также приличенъ, въ достаточной мѣрѣ глупъ, но не черезчуръ.

Но оправдываетъ ли все это огромный успѣхъ пьесы! Очевидно, нѣтъ. Мы можемъ насчитать 20 комедій на материкѣ, гораздо лучшихъ и все-таки не имѣвшихъ даже малой доли такого успѣха. Лучшее, въ родѣ «Testament de Cesar Girodot» Бело и Виллтара, выдержало всего 150 представленій. Конечно, въ Лондонѣ и его окрестностяхъ 4.000,000 жителей, тогда какъ въ Парижѣ—два милліона; но, принявъ во вниманіе и эту пропорцію, 1400 представленій въ Лондонѣ должны бы придтись на 700 въ столицѣ Франціи; успѣхъ все же чудовищный и невиданный!

Итакъ, надобно принять въ разсчетъ другой элементъ—публику—и сознаться, что англичане остались самыми ярыми любителями зрѣлищъ въ мірѣ. Нужно сознаться также, что они любятъ театръ съ точки зрѣнія драматическаго искусства, а не только за грубыя шутки или декораціи, какъ это говорили. И потому всякая порядочная комедія, въ родѣ вышеупомянутой, привлечетъ къ себѣ всѣхъ; а если масса людей узнаетъ своихъ сосѣдей, а не то и самихъ себя въ симпатичномъ, несмотря на всѣ свои смѣшныя стороны, типѣ, въ родѣ Перкина Миддльвика, тогда успѣхъ пьесы колоссальный. Это не мѣшаетъ идіотскимъ фарсамъ всегда имѣть нѣкоторый успѣхъ; нужно удовлетворить всѣмъ вкусамъ, а при громадномъ населеніи, всегда найдется достаточно грубыхъ людей, чтобы апплодировать глупостямъ. Но такихъ всегда будетъ меньшинство, и истинный успѣхъ достанется на долю болѣе серьёзныхъ вещей.

Къ несчастію, и вотъ—«оборотная сторона медали» этой великой любви къ театру: всегда найдется внушительное меньшинство, готовое восторгаться если не грубостями, то пошлостями.

Есть одинъ театръ, извѣстный съ 1865 г. подъ именемъ «Prince of Wales Théâtre», который, кажется, взялъ привилегію на вещи подобнаго рода. Это очень миленькая зала, настоящая бомбоньерка, посѣщаемая самымъ «*респектабельнымъ*» обществомъ города. Сами актеры имѣютъ репутацію необыкновенной «respectability», и иныхъ изъ актрисъ приводятъ въ примѣръ ревностнаго посѣщенія трехъ воскресныхъ службъ. Тамъ, въ теченіи пятнадцати лѣтъ даютъ съ безусловнымъ успѣхомъ тѣ «tea-cup and saucer dramas», которыя хотѣли выдать за образецъ современной англійской комедіи; къ счастію, онѣ представляютъ собою только вкусы и идеи нѣкоторой части лондонской буржуазіи, въ томъ, что въ ней есть наиболѣе узкаго и «филистерскаго».

Эта школа называется реальной—еще одна!—главою ея былъ Робертсонъ (Томасъ-Вилліамъ), родившійся въ 1829 г., умершій преждевременно въ 1871, хотя, по моему мнѣнію, онъ достаточно высказался. Какъ Генри Байронъ и множество другихъ англійскихъ драматурговъ, онъ началъ свою карьеру актеромъ; его отецъ былъ директоромъ странствующей труппы, а его сестра, Маджъ Робертсонъ (мистриссъ Кендаль) принадлежитъ къ числу самыхъ прекрасныхъ и умныхъ актрисъ Лондона. Получивъ нѣкоторую извѣстность, благодаря передѣлкамъ иностранныхъ драмъ, онъ поставилъ въ 1862 г. на сценѣ театра принца Уэльскаго трехъактную пьесу «Society»—new and original comedy», послужившую основаніемъ его славы.

Эпитетъ «original», безпрестанно повторяемый на театральныхъ афишахъ, можетъ показаться страннымъ съ перваго взгляда, и является вопросъ, что это значитъ. Дѣло въ томъ, что его должно принимать въ собственномъ смыслѣ слова; отсюда уже ясно, что переводы и подражанія играютъ главную роль на современной англійской сценѣ, такъ что авторъ, создавшій что-нибудь свое, долженъ указывать на афишѣ, что пьеса дѣйствительно имъ написана.

Къ несчастію, эпитетъ часто обманчивъ, и прикрываетъ собою контрабанду. Напримѣръ, Томъ Тайлоръ безъ всякихъ церемоній называетъ «original drama» своего «Fool's revenge», который въ сущности только плохая передѣлка «Le Roi s'amuse» Виктора Гюго, тогда какъ его «T'wixt Axe and Crown» обязанъ всею своею оригинальностью драмѣ г-жи Пфейфферъ. Такъ дѣлаютъ и всѣ другіе; перечислять ихъ значило бы никогда не кончить. Такъ что если слово «original» отсутствуетъ на афишѣ, вы можете быть увѣрены, что пьеса есть только приспособленный къ условіямъ сцены переводъ; хотя по заглавію вамъ и въ голову бы

не пришло это. Такъ «le Juif polonais» Эркмана Шатріана превращается въ «The Bells» (колокольчики) не помню кого; «The ticket of leave man»,—это «Leonard» Бризбарра и Нюса, «The Hidden hand»—«L'aieule» Деннери и проч. и проч.

Истинно оригинальныя пьесы легко узнать по бѣдности ихъ замысла, какъ это и есть у Робертсона. И тутъ, впрочемъ, можно сомнѣваться въ оригинальности его «Society». Напримѣръ, въ концѣ второго акта есть сцена, цѣликомъ заимствованная изъ лучшей—я охотно сказалъ бы единственной драмы Дюма-сына; и въ чемъ дѣло—мы сейчасъ это увидимъ. Всякій знаетъ прекрасную сцену въ «Dame aux camelias», когда влюбленный, не зная о жертвѣ, принесенной Маргаритой Готье, швыряетъ ей въ лицо на балѣ горсть золота и банковыхъ билетовъ. Въ «Society» тоже есть балъ и молодая дѣвушка съ своимъ любовникомъ, тоже бросающимъ ей что-то въ голову—но это просто его невѣста, которую онъ заподозрилъ въ измѣнѣ, а швыряетъ онъ ей въ лицо бантъ, который она недавно подарила ему! За это тётка дѣвушки выталкиваетъ его за двери, при общемъ изумленіи гостей.

Я хотѣлъ прибавить: и зрителей. Но нѣтъ! находится довольно людей, наслаждающихся этимъ, по вышеизложеннымъ причинамъ. Авторъ могъ бы сослаться на строгость публики, не желающей видѣть на сценѣ Маргариту Готье, но въ такомъ случаѣ гораздо бы лучше было совсѣмъ отказаться отъ подобной темы и избавить насъ отъ такого забавнаго спектакля. Какъ бы то ни было, успѣхъ только подзадорилъ Робертсона слѣдовать по этому пути; съ тѣхъ поръ его имя стало господствовать на афишѣ театра «Prince of Walles», благодаря цѣлому ряду пьесъ, съ заглавіями, состоящими изъ одного слова и почти всегда односложнаго: «Ours» (1866), «Caste» (1867), «Play» (1868), «School» (1869); послѣдняя выдержала 381 представленіе. Во всѣхъ этихъ пьесахъ интрига жалкая, и разговоръ отличается убійственной пошлостью, подъ предлогомъ реализма повседневной жизни. Эта плачевная форма реальной драмы, кажется, не на долго переживетъ своего автора, и есть уже признаки ея близкаго исчезновенія; но вполнѣ исчезнетъ она только, когда угаснетъ поколѣніе «swells» (фатовъ, хлыщей), которымъ маленькій театръ «Tottenham-street» обязанъ своей славой и успѣхомъ.

Что сказать послѣ этого о В. Джильбертѣ, которому рукоплещетъ другая часть фешенебельной публики въ театрѣ «Haymarket»? Этотъ авторъ отличается своей приверженностью къ тремъ единствамъ; тоже своего рода оригинальность, хотя до-

вольно дерзкая для соотечественника Шекспира. Даже самыя безцвѣтныя изъ его произведеній неизмѣнно имѣютъ предисловіе такого рода: «дѣйствіе совершается въ 24 часа». Мало того, если дѣло идетъ о комедіи, озаглавленной, положимъ, «Pygmalion and Galatea», то предупреждается, что всѣ три акта происходятъ въ мастерской художника.

Джильбертъ очень гордится своими «единствами»; что вы хотите—надо же чѣмъ-нибудь гордиться, а тутъ онъ по крайней мѣрѣ можетъ находить внутреннее удовлетвореніе въ томъ, что разомъ побилъ Шекспира, Гёте и tutti quanti. Больше ему ничего не остается, и, взявъ за образецъ только-что названную пьесу, можно себѣ составить полное понятіе объ авторѣ. По заглавію, такъ какъ это не пародія, вы составляете, или думаете, что составили себѣ понятіе объ этой пьесѣ. Вы вспоминаете полную восхитительной поэзіи легенду о Пигмаліонѣ, вспоминаете эскизъ лирической сцены Жанъ-Жака Руссо и это удивительное обращеніе: «И ты, высшая сущность, ускользающая отъ чувствъ, открывающаяся сердцу, душа вселенной, начало всякаго бытія, ты, которая посредствомъ любви создаешь гармонію элементовъ, даешь жизнь матеріи, чувство тѣламъ и форму всѣмъ существамъ; священный огонь, божественная Венера, всесохраняющая и всевозрождающая!»

Исполненные этихъ мыслей, вы приходите въ театръ, и что же находите? Какого-то скульптора, и притомъ женатаго! женатого на женщинѣ вульгарной, а потому ревнивой; легко угадать, что будетъ дальше. Галатея оживляется—ужъ не знаю право почему, и спрашиваетъ у Пигмаліона, откуда она явилась; тотъ отвѣчаетъ: «откуда вы явились? Съ этого пьедестала». Какая поэзія! Замѣтьте, что авторъ заявляетъ большія претензіи, и что пьеса написана стихами. Между тѣмъ, мадамъ Пигмаліонъ возвращается, застаетъ своего мужа на-единѣ съ живой статуей, осыпаетъ обоихъ глупѣйшими упреками; тогда скульпторъ, ни съ того, ни съ сего ополчается на бѣдное, только-что вызванное къ жизни созданіе, безъ всякаго злого умысла нарушившаго его семейное спокойствіе, проклинаетъ его, и Галатея возвращается на пьедесталъ, откуда посылаетъ Пигмаліону послѣднее прости, прежде чѣмъ снова превратиться въ камень.

Я не сталъ бы и упоминать объ этой пьесѣ, если бы она не имѣла нѣкотораго успѣха, и если бы не претензіи автора, о которыхъ я только-что говорилъ. Нѣтъ ничего ничтожнѣе, анти-художественнѣе этой комедіи, написанной, очевидно, съ

цѣлью поддѣлаться подъ самыя вульгарныя чувства; это—буржуазная мораль, въ сущности, самая безнравственная, это—убійственная форма реализма, реализма буржуазнаго, тѣмъ болѣе омерзительнаго, что мы сравниваемъ его съ божественной легендой древнихъ. И подумать только, что пресса, за немногими исключеніями, взглянула на это произведеніе, какъ на возвращеніе къ чистому искусству и къ идеалу! Вотъ что значитъ не условиться въ смыслѣ терминовъ! и какъ это доказываетъ, что терминъ *идеализмъ* употребляется его приверженцами безъ всякаго толку, обозначая порою ложное, а порою натянутое! Впрочемъ, читатель можетъ самъ судить объ этомъ, такъ какъ въ противоположность существующему здѣсь обычаю, Джильбертъ, какъ и Томъ Тайлоръ, поторопился издать сборникъ своихъ оригинальныхъ пьесъ [1]). Здѣсь вы найдете двѣ сатирическія волшебныя пьесы «Wicked World» и «Palace of truth», въ которыхъ найдется нѣсколько остроумныхъ чертъ; но среди какой неудобоваримой гили! нужно быть осужденнымъ на это чтеніе, чтобы почувствовать всю его тяжесть.

Я нахожу нѣсколько лучшими «передѣлки» Тома Тайлора; большая часть этихъ комедій, если и не оригинальны, то по крайней мѣрѣ забавны, и должно сознаться, что онъ обладаетъ особеннымъ талантомъ пріурочивать иностранныя пьесы къ англійскимъ вкусамъ. Мало того, надо отдать ему справедливость: одна изъ его оригинальныхъ пьесъ «the Overland route» не дурна; также какъ и «Masks and faces», написанная въ сотрудничествѣ съ Чарльзомъ Ридомъ. Его перу принадлежитъ и «Our American Cousin», имѣвшій огромный успѣхъ, благодаря актеру Сотерну, удивительно сыгравшему роль глупаго лорда Дёндрири. Томъ Тайлоръ родился въ 1817 г., воспитывался въ Кембриджѣ, преподавалъ нѣкоторое время англійскую литературу въ «University College, въ Лондонѣ; въ 1854 г. получилъ доходное мѣсто въ администраціи; это ему доставило досугъ, необходимый для того, чтобы сочинить и передѣлать 150 пьесъ, носящихъ его имя.

На ряду съ нимъ стоитъ Джонъ Оксенфордъ, умершій въ 1877 г. и бывшій въ теченіи столь долгаго времени драматическимъ критикомъ «Times'a». Сцена обязана ему также значительнымъ числомъ переводовъ и передѣлокъ, равно какъ и оригинальными пьесами, между прочимъ, очень забавнымъ и остро-

[1]) W. S. Gilbert: „Original Plays". London. Chatto. 1 т. 8°, 1876.

умнымъ фарсомъ «Twice Killed» [1]) (дважды убитый). Чтобы быть справедливымъ, надо сознаться, что оперетта Альберта Грэвара «Bonsoir Monsieur Pantalon» передѣлана изъ англійскаго фарса. Довольно странно, что этотъ драматургъ былъ въ то же самое время философомъ! Онъ сдѣлалъ извѣстнымъ въ Англіи имя Шопенгауера, въ одной статьѣ въ «Westminster Review»; и притомъ въ 1853 г., т.-е. въ эпоху, когда основатель пессимизма былъ еще мало извѣстенъ даже въ своемъ отечествѣ.

Упомянемъ также о двухъ старикахъ, Веньяминѣ Вебстерѣ изъ Адельфи и Бокстонѣ, изъ театра Гэймаркетъ, неутомимыхъ актерахъ и драматургахъ, родившихся въ началѣ столѣтія. Бокстонъ [2]) игралъ до прошлаго года (онъ родился въ 1802 г.) и сочинилъ не менѣе 150 пьесъ. Упомянемъ о Планше (родился въ 1796 г.), авторѣ многочисленныхъ фарсовъ, пробовавшемъ нѣкогда писать въ совершенно другомъ родѣ; именно въ 1826 году, онъ написалъ для Вебера либретто его безсмертной оперы «Оберонъ».

Здѣсь опять приходится упомянуть имя лорда Литтона, по поводу его холодной комедіи «Money» (деньги), посредственной варьяціи на избитую тэму, хотя ее и даютъ время отъ времени съ нѣкоторымъ успѣхомъ; упомянемъ также о «Bubbles of the day» (бездѣлки дня) извѣстнаго юмориста, Дугласа Жерроу. Я пройду молчаніемъ Бернанда, Стирлинга, Коайна и вообще всѣхъ этихъ поставщиковъ грубыхъ фарсовъ, способныхъ разсмѣшить до упаду безчисленныхъ зѣвакъ и *cockneys* города.

III.

Мелодрама.—Актеры.

Замѣчательнѣйшій современный драматургъ Англіи, это, безъ сомнѣнія, Діонъ Бусико. Можно объ этомъ сожалѣть, скорбя объ упадкѣ искусства и проч. и пр. Но фактъ существуетъ и остается только признать его, что и дѣлаютъ даже самые враждебные критики. Разумѣется, я говорю о сценической *драмѣ*, и признаю, что Бусико въ сценической ловкости, въ комбинаціи положеній, словомъ, въ искусствѣ заинтересовать зрителей, далеко оставляетъ за собою Робертсоновъ и Тайлоровъ.

---

[1]) Напечатано въ „Selections“ Льюиса, уже упомянутыхъ, также какъ и „Masks and Faces“.

[2]) Бокстонъ только-что умеръ въ послѣднихъ числахъ октября.

Но дѣло въ томъ, что жанръ, въ которомъ онъ наиболѣе отличился, стоитъ ниже высокой драмы и комедіи. Этотъ жанръ существуетъ въ зародышѣ въ сатирической драмѣ древнихъ, и достигаетъ уже полнаго развитія у Менандра, какъ это видно изъ Плавта и Терренція. Но въ своей теперешней формѣ онъ возникъ главнымъ образомъ въ половинѣ XVIII вѣка, и притомъ почти одновременно во Франціи, Германіи и Англіи. Представителями его въ этихъ странахъ являются Ла-Шоссе, Коцебу и Э. Муръ съ своимъ *gamester*. «Мы, нѣмцы,—говоритъ Гегель,—пристрастились къ трогательнымъ сценамъ изъ мѣщанской и семейной жизни. Обыкновенно темою служатъ денежные интересы, несчастная любовь, злоба нѣкоторыхъ порочныхъ людей,—вообще жизнь мелкихъ кружковъ и низшихъ сословій общества, которую мы ежедневно можемъ наблюдать своими глазами, съ тою только разницей, что въ этихъ нравственныхъ пьесахъ добродѣтель торжествуетъ, порокъ же наказывается или приходитъ къ раскаянію: такъ что примиреніе здѣсь обрѣтается въ результатѣ, гдѣ все кончается къ лучшему» [1]).

Это была, собственно говоря, сантиментальная драма или комедія, скоро превратившаяся въ мелодраму. Названіе это произошло, благодаря музыкѣ, которая, въ образѣ оркестра, играла извѣстную роль въ представленіи. И замѣтьте, что это подкрѣпленіе словъ мелодіей, въ силу соображенія, которое кажется грубымъ въ глазахъ невѣждъ, — замѣтьте, что эта смѣсь есть въ сущности безсознательное воспоминаніе о греческомъ театрѣ. Когда Риниччини въ сотрудничествѣ съ Пери написалъ извѣстную «Эвридику», бывшую первымъ образчикомъ оперы, онъ объявилъ въ предисловіи, что хотѣлъ подражать грекамъ, трагедія которыхъ, говорилъ онъ, сопровождалась пѣніемъ. Онъ былъ правъ: античная драма была, въ точномъ и первоначальномъ смыслѣ слова, мелодрамой. Жюль Жанену въ его статьѣ «Мелодрама» въ «Dictionnaire de la Conversation» слѣдовало бы поглубже вникнуть въ дѣло, вмѣсто того, чтобы разсыпать пошлыя и избитыя шутки насчетъ роли, которую музыка играетъ въ театральныхъ пьесахъ.

Напротивъ того, онъ имѣлъ полное право осуждать мелодраму своего времени, въ которой ужасное и презрѣнное смѣшивалось съ тривіальнымъ, чтобы торжественно закончиться наказаніемъ порока и вознагражденіемъ добродѣтели. Ужъ, конечно, это не было «искусство для искусства», да и совсѣмъ не

[1]) *Aesthetik*, т. III, стр. 575.

было искусствомъ, такъ что въ концѣ-концовъ самое имя мелодрамы вышло изъ употребленія, и рѣдкій авторъ рѣшится теперь такъ назвать свои пьесы.

Однако, мелодрама существуетъ,—впрочемъ, теперь она улучшилась, и современный театръ мало-по-малу избавился отъ «Mercі! mon Dieu!» и другихъ «Croix de ma mère», бывшихъ въ такомъ ходу двадцать лѣтъ тому назадъ. Болѣе чѣмъ когда-нибудь сочиняютъ теперь семейныя драмы, на манеръ Коцебу, равно какъ и трескучія пьесы, имѣющія цѣлью возбудить интересъ, не столько затрогиваніемъ истинно поэтической и человѣческой струны, сколько театральными и механическими эффектами. Этими пьесами не пренебрегаютъ, если онѣ хорошо написаны, если въ нихъ присутствуютъ литературный элементъ, серьёзное человѣческое чувство, какъ, напримѣръ, въ «l'Assomoir», передѣланный изъ романа Зола и даваемой здѣсь подъ заглавіемъ «Drink». Съ другой стороны, невозможно ставить эти пьесы на ряду съ собственно такъ-называемыми драмами, если означать этимъ именемъ пьесы, въ родѣ «Ифигеніи» Эврипида, «Отелло» Шекспира и «Донъ-Жуана» Мольера.

Я долженъ былъ сдѣлать эти предварительныя замѣчанія, прежде чѣмъ говорить о Бусико. Я назвалъ его англичаниномъ, но вѣрнѣе было бы сказать, что онъ ирландецъ (онъ родился въ Дублинѣ, въ 1822 г.) — и для бо́льшей точности слѣдуетъ упомянуть о его, весьма вѣроятномъ, французскомъ происхожденіи, доказываемомъ его именемъ. Онъ получилъ образованіе въ лондонскомъ университетѣ, хотя, впрочемъ, и не добился ученой степени. Такъ какъ онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, у которыхъ призваніе рано сказывается, то въ 1841 г., 20 лѣтъ отъ роду, онъ дебютировалъ на драматическомъ поприщѣ съ замѣчательнымъ успѣхомъ; на другой день послѣ представленія «London Assurance», на театрѣ Ковентъ-Гарденъ, онъ былъ знаменитостью.

Это презабавная и превосходно написанная комедія, она осталась въ репертуарѣ. Для мальчика 20 лѣтъ это было блистательнымъ дебютомъ, и Бусико оправдалъ надежды, вызванныя его первымъ драматическимъ произведеніемъ, по крайней мѣрѣ, въ значительной степени, хотя и въ совершенно другой области драмы.

Съ этого времени его драмы появлялись ежегодно, на главныхъ лондонскихъ театрахъ. Въ скоромъ времени, онъ и самъ, по примѣру многихъ изъ своихъ собратій, поступилъ на сцену, гдѣ составилъ себѣ почетное имя, хотя и не на первыхъ роляхъ;

въ этомъ, впрочемъ, можно утѣшиться, припомнивъ, что и Шекспиръ и Мольеръ тоже были второстепенными актерами.

Еще болѣе сроднился онъ съ своей театральной карьерой, женившись на симпатичной и умной актрисѣ, Аньесѣ Робертсонъ, прославившейся въ Америкѣ, главнымъ образомъ, подъ своимъ новымъ именемъ, Бусико. Съ 1833 г. онъ и самъ совершилъ нѣсколько поѣздокъ въ Соединенные-Штаты, гдѣ теперь, кажется, поселился навсегда.

Въ 1860 г., благодаря мелодрамѣ «The Colleen Bawn», поставленной на театрѣ Адельфи, слава его достигла апогея. Драма выдержала 231 представленіе подъ-рядъ, что̀ показалось чудовищнымъ успѣхомъ въ то время, когда никто еще не могъ и думать объ «Our Boys» и ея 1400 представленіяхъ. Это одна изъ лучшихъ пьесъ нашего автора, и тѣмъ болѣе интересная, что она послужила образцомъ для бо́льшей части ирландскихъ драмъ, загромоздившихъ съ тѣхъ поръ сцену.

Было бы напрасною потерею времени стараться опредѣлить значеніе ея названія, въ сущности вовсе не англійскаго, оно произносится «Colinn Ban», и имѣетъ орѳографію, почти одинаковую съ гаельскимъ «Cailin», — дѣвушка — и «Ban», т.-е. *бѣлый*, блѣдный или бѣлокурый. Дѣйствіе происходитъ на романтическихъ берегахъ Киллярнейскаго озера. Эйли О'Конноръ «Colleen Bawn», простая и прекрасная дѣвушка, тайно обвѣнчалась съ сосѣднимъ сквайромъ, Гардрессомъ Креганомъ. Но имущество послѣдняго обременено долгами, и его мать, мистриссъ Креганъ, видитъ спасеніе только въ бракѣ своего сына съ богатою наслѣдницей, Анною Шютъ, которая согласна на бракъ, хотя и чувствуетъ склонность къ другу Гардресса, Кирль Дэли. Мало того, скряга атторней, представитель Англіи и закона, — весьма антипатичный, какъ это бываетъ всегда въ ирландскихъ пьесахъ — является съ векселями къ мистриссъ Креганъ, еще молодой и пріятной собою, которую онъ любитъ и на которой желаетъ жениться. Такимъ образомъ, гордая вдова приведена къ слѣдующей альтернативѣ: или разореніе, или бракъ съ атторнеемъ Карриганомъ — если только ея сынъ не согласится жениться на наслѣдницѣ.

Въ этомъ и заключается узелъ интриги, развитіе которой задумано очень искусно. И въ самомъ дѣлѣ, Гардрессъ спасетъ свою мать и женится на Аннѣ Шютъ, притомъ ему начинаютъ надоѣдать языкъ и манеры «Colleen Bawn», конечно кроткой и прекрасной дѣвушки, но простой крестьянки. Одно мѣшаетъ: свидѣтельство объ ихъ бракѣ, выданное повѣнчавшимъ ихъ священ-

нимъ. Немедленно онъ отправляется въ коттеджъ своей молодой жены, объявляетъ ей свое положеніе, и эта — бѣдняжка! — соглашается *развѣнчаться*, чтобы спасти имущество того, кто перестаетъ быть ея мужемъ: она отдаетъ ему свидѣтельство, единственное доказательство ихъ союза.

Эйли. — Итакъ, вы будете спасены, Гардрессъ? И ваша мать проститъ меня?

Гардрессъ. Она будетъ благословлять васъ! Она прижметъ васъ къ своему сердцу.

Эйли. Но вы... другая женщина прижметъ васъ къ своему сердцу.

Гардрессъ. О, Эйли! Неужели вы думаете, что я когда-нибудь забуду васъ, забуду вашу жертву, моя дорогая!

Эйли. О! когда вы со мной такъ говорите, я готова отдать вамъ мою жизнь, мое сердце, все! — О, Гардрессъ, я васъ люблю — возьмите эту бумагу и разорвите ее [1]).

Вотъ прекрасная и симпатичная дѣвушка, потому что она понимаетъ во всей полнотѣ истинную роль женщины. Но какъ жалокъ Гардрессъ, принимающій ея жертву, и какъ онъ глупъ, отказываясь отъ такого рѣдкаго, такого чудеснаго существа. Къ счастію всѣхъ, Эйли О'Конноръ имѣетъ добраго ангела, въ лицѣ Милесъ-на-Коппалинъ. Это молодой ирландскій крестьянинъ, великій охотникъ до табаку и виски, которыми онъ ведетъ контрабанду, зубоскалъ и въ то же время чувствительный и преданный, какъ собака: типъ, вышедшій вполнѣ изъ головы Бусико, хотя онъ и кажется такимъ естественнымъ. Но въ томъ-то и штука, что Милесъ, какъ продуктъ ирландской почвы, совершенно ложенъ, и однако вполнѣ реаленъ, такъ какъ именно такимъ вы его себѣ и представляете, и въ его характерѣ нѣтъ ничего натянутаго или преувеличеннаго. Этотъ Милесъ любитъ Эйли; онъ слышалъ конецъ предыдущей сцены, и, внезапно явившись, помѣшалъ Эйли отдать брачное свидѣтельство. А когда взбѣшенный Гардрессъ называетъ его бродягою и негодяемъ, онъ отвѣчаетъ: — «Да, я бродяга, я «outlaw», я преступникъ, понесшій наказаніе, если вамъ угодно, мистеръ Крегант! Но если вы сдѣлаете то, о чемъ говорите этой бѣдной дѣвушкѣ, которая васъ такъ любитъ — я, Милесъ, если даже буду висѣть съ веревкой на шеѣ, обернусь и скажу вамъ (щелкая пальцами): Гардрессъ Крегантъ, примите презрѣніе негодяя!»

Но если дѣвушка имѣетъ добраго ангела, Гардрессъ имѣетъ

---

[1]) „The Colleen Bawn", by Dion Boucicault. London. Lacy. Act. I, sc. 8.

злого, нѣкоего Danny Man, вѣрнаго слугу, калѣку, горбатаго по винѣ своего молодого господина, который нѣкогда, играя, спустилъ его съ вершины скалы; за это Дэнни Манъ въ свою очередь привязался, какъ вѣрный песъ, къ господину, который, впрочемъ, съ того времени, всегда обходился съ нимъ хорошо. Въ этомъ много правды и глубокой наблюдательности, которая всегда открываетъ намъ въ рабскихъ натурахъ, въ слабыхъ существахъ, стремленіе лизать бьющую ихъ руку. Итакъ, въ короткихъ словахъ, Дэнни Манъ рѣшается спасти своего господина и доставить ему возможность жениться на наслѣдницѣ; онъ заманиваетъ Эйли ночью въ отдаленную часть озера, въ пещеру; и когда она отказывается отдать брачное свидѣтельство, — такъ какъ съ нея взяли клятву не разставаться съ нимъ — онъ бросаетъ ее въ воду. Въ ту же минуту онъ падаетъ, пораженный пулею Милеса, которому удается спасти «Colleen Bawn». Въ послѣднемъ актѣ, атторней Карриганъ, пронюхавшій и открывшій преступленіе, обыскиваетъ съ солдатами жилище Гардресса, подозрѣваемаго въ соучастіи съ своимъ слугою. Но тутъ, къ великой радости всѣхъ, а также и Гардресса, вернувшагося къ лучшимъ чувствамъ, является Эйли, спасенная и спрятанная Милесомъ; бракъ получаетъ огласку, и Милесъ соединяетъ ихъ руки, говоря молодому человѣку: «когда вы перестанете ее любить, пусть васъ постигнетъ смерть, а когда вы въ самомъ дѣлѣ умрете, завѣщайте ваше имущество бѣднымъ, а мнѣ вашу вдову, и мы оба вамъ простимъ».

«Times», на другой день послѣ представленія, назвалъ новую пьесу Бусико одною изъ лучшихъ и трогательнѣйшихъ семейныхъ драмъ (№ отъ 11 сентября, 1860 г.). Десять лѣтъ спустя, одинъ авторитетный критикъ объявилъ въ «Атенеумѣ», что пьесы этого автора удивительно написаны, діалогъ всегда удачный, полный остроумія, «юмора», и въ то же время дѣйствительно трогательнаго чувства. «Въ особенности замѣчательны въ этомъ отношеніи его Ирландскія драмы,—прибавляетъ онъ:—въ нихъ встрѣчаются удивительныя мѣста, не только потому, что они способствуютъ успѣшному ходу драмы, но и сами по себѣ. По-истинѣ, никто изъ современныхъ писателей, не создавалъ для сцены лучшихъ пьесъ, чѣмъ м-ръ Бусико» (Athenaeum, 3 декабря, 1870 г.).

Кажется, лучшей похвалы не могъ бы ожидать и самый ярый поклонникъ Бусико. И что же! въ концѣ-концовъ критикъ *разругалъ*—извините за выраженіе—пьесу. Безъ сомнѣнія, онъ основательно ставитъ въ укоръ автору слишкомъ большую роль, которую у того играетъ физическая опасность, съ цѣлью возбудить волненіе зрителей. Однако, надо же принимать вещи какъ онѣ

есть на самомъ дѣлѣ; если въ драмѣ фигурируютъ кровельщики, то вы естественно можете увидѣть, что одинъ изъ нихъ свалится съ крыши; если дѣло происходитъ въ Ирландіи, то не удивляйтесь, что тамъ найдутся озера, а на берегахъ какой-нибудь добрый малый, бросающій людей въ воду, чтобы услужить господину или пріятелю. Но къ несчастію, въ англійской прессѣ, многіе могутъ прослыть за выдающихся критиковъ, если они ругаютъ безъ разбора на-право и на-лѣво, не заботясь даже — какъ, напримѣръ, въ настоящемъ случаѣ — согласуется ли ихъ заключительный приговоръ съ первыми посылками.

Въ дѣйствительности «Colleen Bawn» превосходная мелодрама—въ хорошемъ смыслѣ слова, стоящая на ряду съ лучшими въ этомъ родѣ, считая въ томъ числѣ драмы Коцебу. Сюжетъ заимствованъ изъ довольно неизвѣстнаго романа Жерара Гриффина, «The collegians», получившаго извѣстность отчасти благодаря этой драмѣ. Это не важно, въ особенности если принять во вниманіе, что самъ романистъ заимствовалъ сюжетъ изъ дѣйствительнаго факта, изъ одной уголовной исторіи. Притомъ, во многихъ изъ своихъ пьесъ, между прочимъ, въ другой ирландской драмѣ «Arra-na-pog» (представленной въ Парижѣ подъ «Jean-la-Poste») Бусико доказалъ свою способность изобрѣсти сюжетъ пьесы, также какъ и развить его.

Къ несчастію, множество драматическихъ фабрикантовъ по профессіи, часто безъ всякаго таланта, передѣлали въ театральныя пьесы почти всѣ знаменитые романы. Началось это съ «Rob Roy» Вальтеръ-Скотта и продолжалось драматическими передѣлками сочиненій Диккенса, Вильки Колдинза, миссисъ Брэддонъ и проч. и проч. Дѣло легко объясняется и представляетъ новое доказательство безпорядочной любви англичанъ къ драматическимъ представленіямъ. За недостаткомъ оригинальныхъ пьесъ все идетъ въ дѣло, и шедѣвры древнихъ и новыхъ авторовъ, передѣланные въ «шутки», и болѣе скромные романы, передѣланные въ комедіи и мелодрамы. Въ особенности въ ходу мелодрамы; театръ Adelphi посвященъ почти исключительно имъ; въ немъ можно встрѣтить дѣйствительно талантливыхъ актеровъ, какъ, напримѣръ: Генри Невиль и Германъ Везинъ, а одна молодая актриса, миссъ Изабелла Патеманъ, необыкновенно граціозная и въ то же время съ дикціей, полной энергіи, подаетъ огромныя надежды. Здѣсь играютъ «Nicholas Nickleby», передѣланный изъ Диккенса, «Amy Robrart» передѣланный Голлидеемъ изъ «Kenilworth» Вальтеръ-Скотта; «Peep-o-day boys»,

ирландскую пьесу Фальконера и другія болѣе или менѣе сомнительнаго интереса.

Мелодрама имѣетъ и другія убѣжища, напримѣръ «Princess theatre», гдѣ въ настоящую минуту съ блестящимъ успѣхомъ дается знаменитая драма, передѣланная изъ романа Зола. Худо то, что «Drink» находится подъ особымъ покровительствомъ *teetotallers*'овъ и вообще всѣхъ обществъ трезвости; она займетъ мѣсто въ этой удивительной категоріи театральныхъ пьесъ, конечно существующихъ только въ Англіи, извѣстныхъ подъ именемъ «Temperance dramas». Морализація массы, какъ мы уже видѣли, въ значительной степени составляетъ цѣль мелодрамы, разсматриваемой съ извѣстной точки зрѣнія; но непріятно видѣть, когда художественное произведеніе унижаютъ въ такой степени и превращаютъ въ какую-то *иллюстрацію* морали и катехизиса.

Итакъ, мы пришли къ концу, и разсмотрѣвъ всесторонне состояніе современнаго англійскаго театра, нашли сносную драму, хорошую комедію и выдающуюся изъ ряда вонъ мелодраму. Нельзя сказать, чтобы это было ничто, какъ иногда увѣряютъ, но, во всякомъ случаѣ, это—мало. Изслѣдовать причины такого положенія, значило бы выдти изъ предѣловъ, возможныхъ для насъ; мы можемъ только сдѣлать нѣсколько намековъ. По Тэну, причина очень простая: съ паденіемъ двора исчезаютъ истинная драма и комедія; теперь не живутъ больше въ обществѣ, но въ семействѣ, или же за письменнымъ столомъ и «романъ замѣняетъ театръ, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ буржуазная жизнь замѣняетъ жизнь придворную» [1]).

«Et voilà pourquoi votre fille est muette!» Признаюсь, что это объясненіе, повторявшееся съ тѣхъ поръ на всѣ лады, кажется мнѣ едва ли удовлетворительнымъ. Во-первыхъ, на континентѣ есть націи, у которыхъ театръ вовсе не находится въ упадкѣ, напримѣръ, Франція, драматическое искусство которой, поколебавшееся въ XVIII ст., достигло въ XIX-мъ блестящихъ успѣховъ. Конечно, романъ играетъ значительную роль въ современной литературѣ и представляетъ элементъ, который необходимо принять во вниманіе. Но есть тутъ и другое обстоятельство. Во-первыхъ, не говоря о драмахъ, не дававшихся на сценѣ, между которыми есть истинные шедѣвры—нужно согласиться, что нація не можетъ преуспѣвать въ одно и то же время во всѣхъ родахъ литературы. Въ этой области на долю Англіи пришлось

[1]) Taine: „Histoire de la Littérature Anglaise", т. III, стр. 161.

много: имена Дарвиновъ и Миллей блещутъ въ первыхъ рядахъ философіи,—имена Шелли и Суинбёрна—въ поэзіи.

Главное, и къ этому относились всегда съ невѣроятнымъ легкомыслiемъ, то, что цензура играетъ здѣсь, можетъ быть, главную и самую гибельную роль. Раньше я говорилъ о законѣ 1737 г., который учреждалъ, подъ отвѣтственностью лорда-камергера, «Examiner of Plays». Легко понять, что подобная должность существуетъ, но не легко представить себѣ употребленіе, сдѣланное этимъ чиновникомъ изъ своей должности. Такъ, напримѣръ, Кольманъ-сынъ, комическій писатель, бывшій цензоромъ приблизительно отъ 1820—1836 г., запретилъ употреблять на сценѣ слова «Heaven» и «Hell» и даже выраженіе «Providence». Онъ не хотѣлъ допустить, чтобы любовникъ называлъ свою любовницу «ангеломъ». «Ангелъ,—говорилъ онъ,—существо, которое относится къ священному писанію, и которое не должно профанировать на сценѣ, прилагая это имя къ женщинѣ [1]).

Какова тонкость! Но это, конечно, было смѣшно, и, что всего хуже, въ высшей степени вредно. Подъ вліяніемъ такого рода возврѣній, запретили представленіе «Моисея въ Египтѣ» Россини, «Dame aux camélias» Александра Дюма-сына, не позволили Ристори явиться въ трагедіи «Мирра». Самое печальное то, что цензура находится въ согласіи съ здѣшними нравами—или точнѣе, съ ихъ внѣшнимъ лоскомъ. Въ сущности вѣрующихъ нѣтъ; но всякій выдаетъ себя за искренняго англиканца, или за убѣжденнаго методиста. Это продолжится наравнѣ съ модой, которая, къ сожалѣнію, не скоро кончится, несмотря на нѣкоторые симптомы, предвѣстники будущаго улучшенія нравовъ. Доказательство лицемѣрія можно видѣть хотя бы въ самомъ фактѣ того рвенія, того пыла, съ какимъ всѣ эти люди стремятся въ театръ. Само духовенство, замѣчая это движеніе, кокетничаетъ съ театромъ, дѣлаетъ видъ, что хочетъ примириться съ этимъ стариннымъ врагомъ своимъ. Если этотъ союзъ когда-нибудь осуществится, то онъ будетъ гибелью драматическаго искусства, которое болѣе чѣмъ что-либо требуетъ свободнаго развитія, живительнаго воздуха свободы. Въ этомъ отношеніи роль цензора театральныхъ пьесъ имѣетъ также самое гибельное, самое роковое вліяніе. Къ счастію, можно замѣтить и утѣшительный фактъ; я говорю о появленіи замѣчательнаго актера, успѣхъ котораго предвѣщаетъ лучшіе дни для англійской драмы. Я уже

[1]) D. Cook: „Book of the Play", т. I, стр. 72.

замѣтилъ выше, что соотечественники Шекспира никогда не забывали его образцовыхъ произведеній: бывали, конечно, пробѣлы, минуты забвенія, какъ, напримѣръ, въ началѣ XVIII ст., немного раньше Гаррика. И вотъ, эти моменты совпадаютъ съ полнымъ упадкомъ сцены. Оно и понятно: чего ждать отъ поколѣній, неспособныхъ удивляться и наслаждаться несравненнымъ писателемъ; онъ подобенъ солнцу, о которомъ архангелъ Рафаилъ говоритъ въ прологѣ къ Фаусту:

«Ihr Anblick giebt den Engeln Stärke».

Онъ также сообщаетъ часть своей силы созерцающимъ его; и если ликъ его скроется, наступаетъ царство мрака и посредственности.

По удаленіи Мавриди, первымъ плодомъ закона 1844 г.,— который позволялъ всѣмъ театрамъ давать «законную» драму— было паденіе Дрюрилена и Ковентъ-Гардена, посвятившихъ себя съ тѣхъ поръ пантомимѣ и музыкѣ, за исключеніемъ немногихъ промежутковъ. Шекспиръ нашелъ убѣжище въ театрѣ «Princess», подъ управленіемъ Чарльза Кина, а также въ старинномъ строеніи, извѣстномъ подъ именемъ «Sadler's Well theatre», гдѣ игралъ Фельпсъ, замѣчательный трагикъ, недавно умершій. Но все это исчезло около 1860 г., послѣ котораго не было и помину ни о Макбетѣ, ни о другихъ драмахъ, такъ что до послѣдняго времени трудно было попасть на сколько-нибудь сносное представленіе шекспировской драмы.

Это печальное положеніе дѣлъ прекратилось 31-го октября 1874 г., когда Генри Ирвингъ въ первый разъ сыгралъ роль Гамлета на театрѣ Лицеумъ. Онъ родился въ 1838 г. и предназначался сперва для коммерческой карьеры, но вступилъ на театральныя подмостки въ 1856 г.; мало-по-малу, медленными шагами, добивался онъ славы. Отличившись въ Водевилѣ въ пьесѣ «Двѣ розы» [1]), онъ былъ ангажированъ въ Лицеумъ, гдѣ съ полнымъ успѣхомъ дебютировалъ въ «The Bells» (Польскій еврей), «Карлѣ I», «Евгеніи Арамѣ»; тогда онъ рѣшился «взять быка за-рога» и выступилъ въ роли датскаго принца. Двѣсти представленій подъ-рядъ упрочили его блестящій успѣхъ.

Роль Гамлета всегда служила пробнымъ камнемъ для всѣхъ великихъ трагиковъ, и что̀ всего интереснѣе—такъ это—то, что

[1]) См. „The Dramatic List", by Pascoer. London. Hardwicke. 1 vol. in 8°, 1879 г., наполненный интересными подробностями о еще живущихъ англійскихъ актерахъ, съ прибавленіемъ главныхъ критическихъ замѣтокъ, извлеченныхъ изъ „Times'a" и другихъ газетъ.

относящіяся до нея традиціи дошли до насъ, кажется, еще отъ временъ знаменитаго актера, Ричарда Бёрбеджа, игравшаго вмѣстѣ съ Шекспиромъ. Сэръ Вилліамъ Давенантъ передалъ ихъ Бетертону, лучшему актеру реставраціи; такимъ образомъ, они легко дошли до Гаррика и его послѣдователей. Это очень любопытный фактъ, и мнѣ кажется, не подлежитъ сомнѣнію, что нѣкоторыя сцены знаменитой драмы — и притомъ самыя важныя — играются на сценѣ Лицеума такъ же, какъ онѣ игрались въ 1604 г., въ театрахъ Globe и Blackfriars.

Послѣ удивительной критики Гёте въ «Вильгельмѣ Мейстерѣ», излишне было бы разсуждать о характерѣ Гамлета; дѣло идетъ о благородной, но стоящей рѣшительно ниже возложенной на нее задачи, душѣ. Вотъ установившееся мнѣніе, и должно сознаться, что при свѣтѣ факела, зажженнаго великимъ германцемъ, объяснились почти всѣ темныя стороны этой роли и всей трагедіи. Однако, не все выяснилось, и остаются еще не разрѣшенныя противорѣчія. Напримѣръ, частые намеки на христіанскую и католическую религіи — въ противоположность остальнымъ шекспировскимъ драмамъ: разсказъ призрака, первый монологъ Гамлета, въ которомъ онъ дѣлаетъ намеки на самоубійство и ученіе церкви по тому предмету:

> Or that the Everlasting had not fix'd
> His canon against self-slaughter! [1]).

Мы не находимъ болѣе того же чувства въ знаменитой тирадѣ «to be or not to be» и проч. Тутъ рѣчь идетъ только о великомъ «Можетъ быть?» какъ говоритъ Рабле, о неизвѣстности, ожидающей насъ за гробомъ:

> The undiscover'd country from whose bourn
> No traveller returns—

— «невѣдомая страна, откуда не возвращается ни одинъ путешественникъ», — это противорѣчитъ самому началу драмы, гдѣ мы именно встрѣчаемъ такого путешественника съ того свѣта, въ лицѣ отца Гамлета. Но, по моему мнѣнію, все это легко объясняется, зная, что послѣ 1587 г. существовала драма неизвѣстнаго автора съ такимъ же заглавіемъ и сюжетомъ. Эту-то пьесу Шекспиръ переправилъ, передѣлалъ совершенно, и создалъ изъ нея шедѣвръ. Но онъ долженъ былъ сохранить интригу и дѣйствующихъ лицъ; нѣкоторыя общія идеи, даже нѣкоторые стихи могли уцѣлѣть. Конечно, мысль о призракѣ принадлежитъ не

[1]) „Гамлетъ". Актъ I, сц. 2, стихъ 131—132.

ему: это истина, которую я не побоюсь отстаивать, хотя бы у всѣхъ президентовъ «Shakespeare societies» поднялись дыбомъ волосы. Ничего подобнаго мы не встрѣчаемъ въ другихъ его пьесахъ: призраки въ «Юліѣ Цезарѣ» и «Ричардѣ III»—простыя галлюцинаціи, результатъ разстроеннаго воображенія; ихъ можно видѣть только «in the mind's eye», умственными очами. Для другихъ они невидимы, не такъ, какъ ghost для Горація и Марцелло. И въ этой послѣдней драмѣ, по мѣрѣ того, какъ дѣйствіе развивается, появляется истинный шекспировскій тонъ.

Въ страшной борьбѣ съ матерью, одинъ только Гамлетъ видитъ и слышитъ призракъ на кладбищѣ,—мы опять имѣемъ дѣло съ галлюцинаціями. Рѣчь идетъ не объ адѣ, не о сѣрныхъ огняхъ, но о дѣйствительности, изображаемой въ знаменитыхъ стихахъ:

> Imperions Caesar, dead and turn'd to clay
> Might stop a hole to keep the wind away.

Гаррикъ, кажется, былъ великолѣпенъ въ роли Гамлета. По крайней мѣрѣ такъ говорятъ свидѣтельства современниковъ и, между прочимъ, нѣмца Лихтенберга [1]), оставившаго намъ замѣчательное описаніе игры этого актера. Онъ восторгается всѣмъ и все оправдываетъ, даже манеру Гаррика играть эту роль во французскомъ платьѣ. Въ пользу этой манеры онъ приводитъ торжественный доводъ: по его словамъ, «одинъ эффектъ спины» совершенно пропадалъ бы при условномъ развѣвающемся костюмѣ.

Между тѣмъ, въ этомъ знакомомъ намъ платьѣ, уже одна діагональная складка, зависящая отъ позы актера, заставляетъ насъ угадывать волненіе, которое онъ хотѣлъ изобразить. Изъ этого мы видимъ, въ какое заблужденіе можетъ насъ ввести энтузіазмъ. Однако, отдавая всю справедливость его громадному таланту, скажемъ: Гаррикъ слишкомъ принадлежалъ своему вѣку, чтобы вполнѣ понимать Шекспира, и я сомнѣваюсь, чтобы человѣкъ, желавшій уничтожить сцену на кладбищѣ, могъ быть совершеннымъ Гамлетомъ.

Эта роль не принадлежала къ лучшимъ ролямъ Кина, безъ всякаго сравненія величайшаго изъ англійскихъ актеровъ; еще менѣе шла она къ Макреди, а что касается до Джона Кембля,—ему она была совсѣмъ не по плечу. Напротивъ, я охотно повѣрю Жоржу Льюису, утверждающему, что Фехтеръ во многихъ

[1]) Briefe aus England, von G. C. Lichtenberg. 1776.

отношеніяхъ приближался къ ея идеалу, и прежде всего въ физическомъ отношеніи, будучи достаточно «fat» если не «scant of breath». Этого нельзя сказать объ Ирвингѣ, который высокъ ростомъ, скорѣе худощавъ, чѣмъ толстъ, и съ выразительными чертами лица, не имѣющими ничего общаго съ спокойствіемъ и ясностью, характеризующими предыдущаго актера. Между тѣмъ, его игра въ «Гамлетѣ» безъ сомнѣнія самая совершенная послѣ Ричарда Бёрбеджа. Во-первыхъ, онъ уничтожилъ нѣкоторыя условныя частности, сохранившіяся въ этой роли со времены Гаррика. Въ сценѣ съ призракомъ онъ является достаточно испуганнымъ, но прежде всего онъ нѣженъ и патетиченъ и не обнаруживаетъ преувеличеннаго ужаса и смѣшного трепета, подобно своимъ предшественникамъ. Что сказать о немъ въ удивительномъ третьемъ актѣ: развѣ только, что его игра постоянно стоитъ на высотѣ текста. Какъ бы ни были различны мнѣнія, но здѣсь для всѣхъ возможенъ только крикъ восторженнаго удивленія, когда Гамлетъ, послѣ сцены съ актерами, сначала ползаетъ у ногъ Клавдія, а когда тотъ уходитъ въ ужасѣ, выпрямляется у опустѣвшаго трона въ пароксизмѣ дикой радости.

Противники Ирвинга,—ряды которыхъ рѣдѣютъ съ каждымъ днемъ—ставятъ ему въ укоръ мелодраматическую—въ дурномъ значеніи этого слова — сторону его таланта. По ихъ мнѣнію, этому актеру удаются только *положенія*, сенсаціонныя сцены, въ особенности страшныя, но въ обрисовкѣ характеровъ онъ слабъ. Къ тому же страстный, постоянно нервный характеръ его игры становится подъ конецъ утомительнымъ. Послѣдній упрекъ, наиболѣе серьёзный, теперь не имѣетъ мѣста. Что касается до «мелодрамы» и сенсаціонности, — никто не станетъ говорить этого послѣ игры Ирвинга въ «Филиппѣ II». Когда этотъ актеръ преувеличиваетъ мелодраматическую сторону роли, вы можете быть увѣрены, что это происходитъ не отъ недостатка силы, но совершенно умышленно; такъ какъ онъ ничего не предоставляетъ случаю и вдохновенію минуты. Какъ и Макриди, онъ беретъ трудомъ и упорствомъ, ему знакомы и муки, и награда *labor improbus*. Такимъ образомъ, обладая огромнымъ талантомъ и даже геніемъ, подобно Кину, онъ даетъ намъ достойныя представленія Шекспировскихъ драмъ,—представленія, если и не достигающія идеала, то, по крайней мѣрѣ, приближающіяся къ нему, и для нихъ стоитъ пріѣхать изъ Парижа,—даже изъ Петербурга. Въ «Ричардѣ III», напримѣръ, онъ удивителенъ,—почти совершенство!

Съ годъ тому назадъ, Генри Ирвингъ принялъ управленіе

театромъ Лицеума, поддерживаемый труппою замѣчательныхъ артистовъ, между которыми должно отмѣтить миссъ Эленъ Терри, снискавшую извѣстность въ роли Офеліи. Кромѣ того, онъ очень заботится объ обстановкѣ сцены; онъ не наполняетъ ее фигурантами, но все устроено, какъ слѣдуетъ, и удивительно разсчитано, чтобы производить, безъ всякаго треска, самые поразительные эффекты. Въ этомъ отношеніи, также какъ и во многихъ другихъ, Ирвингъ оказалъ огромныя услуги англійскому искусству и драмѣ, которая, можетъ быть, достигнетъ новаго развитія, благодаря его иниціативѣ. Итакъ, вы видите, что актеровъ вполнѣ достаточно, такъ какъ я упоминалъ только о самыхъ замѣчательныхъ, къ которымъ слѣдуетъ причислить миссъ Лиліанъ Нейльсонъ—ей принадлежитъ пальма первенства по таланту и красотѣ. Въ роли Юдиѳи, она является великой трагической актрисой.

Чего недостаетъ для англійской сцены, такъ это приличныхъ второстепенныхъ актеровъ, которыхъ сплошь и рядомъ встрѣчаешь на материкѣ. Это объясняетъ іереміады нѣкоторой части англійской прессы по случаю пребыванія въ Лондонѣ актеровъ французской комедіи. Тутъ также играла роль мода, *fashion*, какъ и въ чрезмѣрномъ шумѣ, возбужденномъ Сарою Бернаръ, прекрасной артисткой, хотя мнѣ очень не по сердцу сравненіе ея съ Рашелью.

Итакъ, все готово для возрожденія драмы: есть и публика, и актеры; невозможно, чтобы вѣкъ, создавшій «Prometheus unbound» и «Cenci», не далъ драматическаго писателя. Въ сущности и онъ на лицо, желанная драма найдется, если только поставятъ на сцену пьесу Суинбёрна, автора такихъ замѣчательныхъ произведеній, какъ «Bothwell» и «Atalanta in Calydon».

А. Рейьяръ.

ОБЩАЯ КАРТИНА
НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ
ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ.

По новѣйшимъ статистическимъ свѣдѣніямъ.

Статистика народнаго просвѣщенія возбуждаетъ живой интересъ въ образованной части нашего общества; между тѣмъ нельзя сказать, чтобъ у насъ было много печатныхъ трудовъ по этому предмету. Вотъ почему мы съ большимъ любопытствомъ встрѣтили недавно вышедшія изъ печати, въ 16-мъ выпускѣ „Статистическаго Временника", издаваемаго Центральнымъ статистическимъ комитетомъ, свѣдѣнія по статистикѣ народнаго просвѣщенія въ европейской Россіи за 1872—1874 годы. Трудъ этотъ, принадлежащій одному изъ сотрудниковъ комитета г. Дубровскому, состоитъ изъ ряда таблицъ, касающихся числа учебныхъ заведеній и учащихся въ нихъ, по всѣмъ вѣдомствамъ, которымъ только принадлежатъ школы, причемъ заведенія эти раздѣлены на возможно мелкія группы и указаны отдѣльно въ каждой губерніи: а) по губернскому городу, б) прочимъ городамъ, и в) уѣздамъ. Къ таблицамъ, въ видѣ дополненія, приложена карта европейской Россіи съ указаніемъ числа среднихъ учебныхъ заведеній по ихъ категоріямъ къ 1 января истекшаго года. Мы намѣрены представить здѣсь нѣсколько выводовъ изъ этого матеріала, тѣмъ болѣе, что они не приложены къ таблицамъ. Но сперва необходимо сдѣлать нѣсколько замѣтокъ о самыхъ цифрахъ, о качествѣ ихъ или достоинствѣ.

О данныхъ по статистикѣ нашихъ школъ можно услышать два совершенно противоположныя мнѣнія. Лица, придерживающіяся пер-

ваго изъ нихъ, выражаются обыкновенно такъ: ничего общаго, ничего цѣльнаго по этой части, т.-е. по учебнымъ заведеніямъ всѣхъ вѣдомствъ, всѣхъ категорій, нельзя сдѣлать; еще по среднимъ заведеніямъ можно работать, но въ низшихъ невольно запутаешься. Что такое, напримѣръ, данныя о церковно-приходскихъ школахъ? Это данныя почти эфемерныя, потому что многія изъ этихъ школъ не существуютъ на самомъ дѣлѣ. Затѣмъ, если такъ или иначе обойти этотъ вопросъ, большія затрудненія представятъ школы магометанскія, медрессе и мектебе: въ одномъ мѣстѣ ихъ показываютъ, въ другомъ нѣтъ; а наконецъ еврейскія школы,—вѣдь онѣ и инспекторамъ народныхъ школъ, кажется, не подчинены: развѣ можетъ быть о такихъ школахъ какая-либо регистрація? и т. д. въ этомъ родѣ. Другое мнѣніе говоритъ такъ: изъ разныхъ категорій нашихъ статистическихъ свѣдѣній, данныя по народному образованію изъ хорошихъ. Крупныя колебанія изъ года въ годъ по сельскимъ школамъ объясняются самыми условіями дѣла: нѣтъ учителя въ той, другой школѣ, послѣднія не существуютъ, значитъ, въ данномъ году, и цифра учащихся замѣтно понижается по уѣзду; пріищутъ учителей, повысится вдругъ и цифра учащихся. „А церковно-приходскія школы?“—спросили мы лицо, высказывавшее такое мнѣніе.—Церковно-приходскихъ школъ—былъ отвѣтъ,—очень немного теперь: священнику или діакону очень трудно, если не невозможно, держать на свои средства школу, завести которую рекомендовало ему епархіальное начальство; разъ явилось земство, и какъ скоро оно интересуется школами, священникъ обращается къ земству за пособіемъ для школы, и она переходитъ въ земскія, и, слѣдовательно, показывается въ отчетѣ инспектора училищъ. Затѣмъ, въ послѣдніе годы инспекторы посѣщаютъ и церковно-приходскія школы въ тѣсномъ смыслѣ слова, т.-е. существующія внѣ земскаго участія. На чьей же сторонѣ больше правды? Къ сожалѣнію, на первой, если держаться обще-статистическихъ требованій и не ограничиваться притомъ отдѣльными, однородными въ отношеніи вѣроисповѣданій мѣстностями. Существенный недостатокъ нашихъ данныхъ о школахъ заключается въ томъ, что въ главныхъ источникахъ по статистикѣ начальныхъ школъ, приложенія къ отчетамъ губернаторовъ и въ отчетѣ министра народнаго просвѣщенія свѣдѣнія по этимъ школамъ представляются въ очень крупныхъ итогахъ, такъ что въ случаѣ явной несообразности въ цифрахъ, сдѣлать въ нихъ должную поправку, напр. исключить какую-либо сомнительную категорію училищъ—нѣтъ возможности. Въ частности, приложеніе къ отчетамъ губернаторовъ, которое служитъ единственнымъ источникомъ для школъ всѣхъ вѣдомствъ, и которое было, какъ указано въ приложеніи къ таблицамъ „Временника“, исход-

нымъ источникомъ для труда г. Дубровскаго [1]), тѣмъ болѣе что территоріальной единицей въ немъ принята губернія, а не учебный округъ,—въ приложеніи этомъ всѣ сельскія школы показываются въ общей массѣ; между тѣмъ въ нихъ не мало подраздѣленій, какъ по предметамъ обученія, чтобъ не сказать по курсу, такъ и въ томъ отношеніи, кому принадлежитъ училище или кто ведетъ его. Затѣмъ, выдержать строго дѣленіе на высшія, среднія и низшія школы въ нашихъ данныхъ невозможно, потому что у насъ есть училища, которыя даютъ и низшее, и среднее образованіе, или среднее вмѣстѣ съ высшимъ; при многихъ изъ гимназій, напр., существуютъ приготовительные классы. Это собственно начальныя школы, и учениковъ ихъ слѣдовало бы въ отчетахъ показывать отдѣльно отъ гимназистовъ. Наконецъ, вслѣдствіе того главнымъ образомъ, что учебныя заведенія принадлежатъ нѣсколькимъ вѣдомствамъ (всѣмъ министерствамъ, кромѣ государственнаго контроля, а также IV Отдѣленію Е. И. В. Канцеляріи), данныя по нимъ собираются въ различные моменты года.

Послѣ всего этого, можетъ быть, нѣкоторые изъ читателей замѣтятъ: да можно-ли, стоитъ-ли изъ подобныхъ данныхъ дѣлать выводы? По нашему мнѣнію, слѣдуетъ: 1) потому, что только при разработкѣ мы дѣйствительно узнаёмъ то, что у насъ есть, и 2) потому, что лучшихъ свѣдѣній мы пока не имѣемъ.

По очень многимъ отраслямъ статистики данныя находятся у насъ въ болѣе или менѣе однородномъ положеніи, а развѣ мы бросаемъ ихъ совсѣмъ? да и не можемъ мы ихъ забросить, потому-что сама жизнь предъявляетъ требованія, то по той, то по другой отрасли статистическаго дѣла. Вопросъ сводится лишь къ тому, какого рода выводы можно дѣлать изъ занимающихъ насъ данныхъ. Тотъ общій характеръ ихъ, какой очерченъ, прямо показываетъ, что выводы могутъ быть дѣлаемы только самаго общаго характера, что при нихъ надо допускать большія оговорки, и въ частности, когда рѣчь пойдетъ о низшихъ школахъ — отстранять цѣлыя мѣстности. Обстоятельная же разработка, разработка въ подробностяхъ возможна будетъ тогда, когда будетъ исполнена enquête о всѣхъ училищахъ, къ необходимости которой привелъ трудъ г. Дубровскаго. Enquête эта должна коснуться совершенно всѣхъ учебныхъ заведеній, каждаго въ отдѣльности, причемъ на ряду съ подробными данными о двухъ главныхъ факторахъ школы—учащихъ и учащихся, должны

[1]) Кромѣ того, свѣдѣнія заимствовались изъ печатныхъ и рукописныхъ отчетовъ различныхъ учрежденій и вѣдомствъ завѣдывающихъ школами, изъ отчетовъ попечителей учебныхъ округовъ, а также изъ отчетовъ и дѣлъ отдѣльныхъ учебныхъ заведеній.

быть собраны также свѣдѣнія о самой школѣ, объемѣ курса ея, дѣленіи на классы и вообще устройствѣ—въ тѣхъ видахъ, чтобы имѣть возможность сводить потомъ только цифры совершенно однородныя и въ частности разграничить съ точностью три важнѣйшія степени школьнаго образованія. Вопросъ о реорганизаціи статистики школъ, съ обще-статистической точки зрѣнія, былъ возбужденъ, какъ замѣчено въ объясненіи къ таблицамъ, Центральнымъ статистическимъ комитетомъ въ статистическомъ совѣтѣ, и производство самой enquête рѣшено совѣтомъ [1]).

Перейдемъ теперь къ самымъ цифрамъ „Временника", и будемъ брать ихъ для учащихся лишь за 1874 годъ, какъ позднѣйшій; о цифрахъ же самыхъ заведеній сдѣлаемъ оговорку въ своемъ мѣстѣ.

I.

Въ 1874 году во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ европейской Россіи съ привислянскими губерніями получало образованіе 1.440,000 лицъ обоего пола (мы беремъ круглыя цифры). Раздѣлимъ эту цифру на 3 отдѣла, по мѣстностямъ, а именно на: а) обучающихся въ 47 губерніяхъ, составляющихъ ядро европейской Россіи, б) 3 прибалтійскихъ, и в) 10 привислянскихъ, и сопоставимъ эти данныя съ общимъ числомъ жителей,—получаемъ: на 1000 жителей обоего пола обучается въ школахъ вообще:

въ 47 губерніяхъ евр. Росс. . . 17,2
„ привислянскихъ . . . . . 31,6 или почти вдвое болѣе, и
„ прибалтійскихъ . . . . . 79,2 или въ 4½ раза болѣе.

Цифры эти очень характеристичны и объясняютъ многое въ отношеніяхъ нашихъ къ обѣимъ мѣстностямъ, отношеніяхъ, касающихся какъ сферы государственной, такъ и общественной. Разбивая три показанныя цифры по городамъ и уѣздамъ, получаемъ слѣдующее: на 1000 жителей обоего пола въ городахъ учится:

въ 47 губерніяхъ 52,7
„ привислянскихъ губ.. 59,2
„ прибалтійскихъ 105,8

Въ уѣздахъ же обучается на 1,000 жителей:

въ 47 губерніяхъ 13,6
„ привислянскихъ губерн. . 25,5, т.-е почти ровно вдвое больше,
„ прибалтійскихъ губерн. . . 75,2, или почти въ 6 разъ больше.

---

[1]) Программа ея напечатана въ 16 вып. „Временника".

Такимъ образомъ, больное мѣсто въ дѣлѣ образованія у насъ есть поразительный недостатокъ образованія въ селахъ или почти совершенное отсутствіе собственно народнаго образованія. Между городами и селами существуетъ рѣзкая разница въ этомъ отношеніи: въ городахъ учится вчетверо больше, чѣмъ въ селахъ. Данныя объ учащихся по поламъ раскроютъ дѣло глубже. На 100 учащихся мужского пола приходится женскаго пола:

въ 47 губерніяхъ	24,6
„ привислянскихъ	52,4
„ прибалтійскихъ	72,7

Въ частности, для городовъ % этого рода измѣняется немного. Привислянскія губерніи почти сходны въ этомъ отношеніи съ большинствомъ губерній, а прибалтійскія превышаютъ послѣднее на 1/5 или около того, а именно: на 100 учащихся мужского пола приходится женскаго:

въ городахъ 47 губерній	46,0
„ привислянск. „	50,6
„ прибалтійск. „	54,4

Вся рѣзкость же разницы между тремя разсматриваемыми мѣстностями, также какъ въ отношеніи числа учащихся того и другого пола вмѣстѣ къ населенію, падаетъ на уѣзды. Въ самомъ дѣлѣ, на 100 учащихся мужского пола приходится женскаго въ уѣздахъ:

47 губерній	16,4
привислянскихъ губ.	53,8
прибалтійскихъ „	77,1

Т.-е., въ нашихъ селахъ на 6 учащихся мальчиковъ приходится только одна учащаяся дѣвочка, въ привислянскихъ же губерніяхъ на двухъ мальчиковъ одна дѣвочка, а въ прибалтійскихъ на 4 мальчика 3 дѣвочки. Послѣ всего этого мы въ правѣ замѣтить, что хотя бѣдно, очень бѣдно просвѣщеніемъ наше сельское населеніе вообще, но все же въ мужчинахъ, въ частности, есть нѣкоторая доля учащихся, а женщины—тѣ почти вовсе не учатся. Въ самомъ дѣлѣ, въ уѣздахъ 47 губерній на 100 учебнаго возраста приходится учащихся:

мальчиковъ	14,3
дѣвочекъ	2,4

Простой русскій человѣкъ, какъ видно, не пришелъ еще къ мысли о томъ, что грамота необходима и дѣвочкѣ, и необходима такъ же, какъ мальчику. При недостаткѣ общечеловѣческаго развитія, какой замѣчается у массы, при той бѣдности въ грамотныхъ людяхъ, какую мы только-что подтвердили цифрами, очень понятно, что у кре-

стьянъ господствуетъ мысль, что грамота нужна только мужчинѣ, потому что онъ только дѣйствуетъ внѣ дома, т.-е. въ сферѣ общественной, причисляя къ ней и веденіе занятія или промысла совмѣстно съ другими, а въ этой сферѣ грамотность можетъ служить подспорьемъ въ разныхъ отношеніяхъ; женщинѣ же, которая занята по преимуществу дома, у семейнаго очага, къ чему наука? О томъ, что женщина-мать есть самой природой данная руководительница первыхъ сознательныхъ шаговъ ребенка, что понятія дѣтей складываются прежде всего по ея понятіямъ, объ этомъ еще не думаютъ. Въ привислянскихъ губерніяхъ, которыя въ отношеніи общаго числа учащихся гораздо ближе подходятъ къ большинству губерній, чѣмъ прибалтійскія, въ этомъ отношеніи большая разница съ нашими: на 100 дѣвочекъ учебнаго возраста въ селахъ, приходится тамъ учащихся 11,5, а на 100 мальчиковъ 21,3. Не станемъ говорить еще о прибалтійскихъ губерніяхъ, гдѣ соотвѣтствующіе проценты составляютъ, для мальчиковъ 54,9 и для дѣвочекъ 42,3 [1]).

Мы только теперь, когда заговорили объ однихъ селахъ, коснулись учебнаго возраста, и вотъ почему: данныхъ о наличныхъ возрастахъ у насъ, ни для всей имперіи, ни для отдѣльныхъ губерній нѣтъ, и когда надобятся подобныя свѣдѣнія, всѣ пользуются цифрами академика Буняковскаго, вычисленными путемъ пріемовъ высшей математики изъ данныхъ объ умершихъ по возрастамъ. Примѣнить эти цифры къ одному городскому населенію и притомъ еще раздѣляя его по тремъ мѣстностямъ имперіи, мы не рискнули, потому что распредѣленіе возрастовъ въ городахъ значительно разнится отъ селъ; мы рѣшимся лишь, за неимѣніемъ ничего болѣе подходящаго, примѣнить далѣе общія для всей имперіи цифры академика Буняковскаго къ сельскому населенію каждой губерніи въ отдѣльности, потому что на такихъ крупныхъ данныхъ, какія представляютъ собой цифры сельскаго населенія по губерніямъ, ошибка отъ неправильнаго собственно вычисленія не можетъ быть существенно важна. Что же касается до самыхъ предѣловъ учебнаго возраста, то, сходно съ отчетомъ министра народнаго просвѣщенія, мы приняли этотъ возрастъ отъ 7 до 13 лѣтъ включительно. Говорятъ, что въ этомъ возрастѣ преимущественно бываютъ ученики нашихъ сельскихъ школъ, хотя точныхъ данныхъ для этого нѣтъ. Число лицъ, находящихся въ этомъ возрастѣ, составляетъ, по Буняковскому, для

---

[1]) Такъ какъ въ уѣздахъ встрѣчаются, хотя крайне рѣдко, учебныя заведенія, кромѣ начальныхъ школъ, то двое изъ указанныхъ выше % учебнаго возраста измѣняются для учащихся собственно въ сельскихъ школахъ, а именно: изъ 100 мальчиковъ учебнаго возраста обучается въ сельскихъ школахъ 47 губерній 14,2, а въ прибалтійскихъ губерніяхъ 54,7.

мужскаго пола почти 16%, а для женскаго 15,4, которые нами приняты ровно за 15 [1]).

При сужденіи о ничтожномъ числѣ учащихся по селамъ, необходимо имѣть то въ виду, что законодательство наше, по крайней мѣрѣ дѣйствующее въ коренныхъ губерніяхъ, не налагаетъ на какое-либо учрежденіе или общество прямой обязанности открывать начальныя школы, а если и уполномочиваетъ его къ тому, то не даетъ на то средствъ; въ свою очередь, государство исключительно на свои средства сельскихъ школъ не заводитъ. По положенію о начальныхъ народныхъ училищахъ 25 мая 1874 года, попеченіе объ удовлетвореніи потребностей населенія въ начальномъ образованіи и о надлежащемъ нравственномъ направленіи его возлагается на губернскаго и уѣзднаго предводителей дворянства совмѣстно съ губернскими и уѣздными училищными совѣтами. Совѣты эти, однако, сами училищъ не открываютъ, а какъ говоритъ пунктъ 1-ый ихъ обязанностей, лишь изыскиваютъ и обсуждаютъ способы для открытія новыхъ начальныхъ народныхъ училищъ, согласно съ дѣйствительно обнаружившейся въ нихъ потребностью, и для улучшенія состоянія уже существующихъ училищъ; такому характеру дѣйствій совѣтовъ соотвѣтствуетъ и ассигнуемая въ ихъ распоряженіе сумма: на каждый губернскій и уѣздный училищный совѣтъ полагается ежегодно, и то лишь на канцелярскіе расходы, 250 рублей. Учреждаются же начальныя училища, согласно ст. 10 этого положенія, земствомъ, городскими и сельскими обществами и частными лицами, съ предварительнаго разрѣшенія инспектора народныхъ училищъ и съ согласія предсѣдателя совѣта, о чемъ и доводится до свѣдѣнія совѣта. Въ свою очередь ближайшій къ дѣлу народныхъ училищъ органъ министерства народнаго просвѣщенія, инспекторы народныхъ училищъ, кромѣ надзора за существующими уже училищами, обязаны, согласно данной имъ инструкціи (Выс. утв. 29 окт. 1871) прилагать стараніе и къ открытію новыхъ училищъ; но, какъ говоритъ дальнѣйшая статья этой инструкціи, для исполненія этой своей обязанности они вступаютъ въ предварительныя сношенія съ представителями земства и мѣстными городскими и сельскими обществами, стараясь притомъ склонить ихъ къ принятію на себя полнаго обезпеченія училищъ необходимымъ содержаніемъ. Наконецъ, согласно Выс. утв. 29 мая 1869 г. мнѣнію государственнаго совѣта, министерство народнаго просвѣщенія открываетъ двухклассныя и преимущественно одноклассныя сельскія училища, гдѣ элементарное обра-

[1]) При вычисленіи учебнаго возраста, цифры общаго количества населенія, заимствованныя изъ 10 выпуска „Временника“ (за 1870 г.), округлены до тысячъ.

зованіе дается въ болѣе полномъ и законченномъ видѣ, чѣмъ въ обыкновенныхъ начальныхъ училищахъ, но открываетъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ земства, общества, учрежденія или частныя лица примутъ на себя слѣдующія обязательства: 1) уступить или пріобрѣсти для училища не менѣе десятины земли; 2) покрывать изъ своихъ средствъ расходы по найму помѣщенія для училища и учителя, если училище не имѣетъ своего дома, въ противномъ же случаѣ ремонтировать зданіе училища; 3) дѣлать расходы на отопленіе, освѣщеніе училища, а также на содержаніе прислуги, и 4) назначить въ потребномъ размѣрѣ ежегодный взносъ на учебныя пособія въ дополненіе къ дѣлаемому министерствомъ, а также на жалованье учителю гимнастики и ремеслъ, гдѣ участники въ открытіи и содержаніи училища желаютъ ввести такое обученіе. Изъ средствъ государственнаго казначейства на эти одноклассныя и двухклассныя сельскія училища, отпускается всего на губернію съ земскими учрежденіями 2,000 руб., весь же расходъ государственнаго казначейства на народныя училища, считая въ томъ числѣ вышеупомянутыя образцовыя училища, составляетъ ежегодно лишь, для сказанныхъ губерній, 7,000 руб. на губернію, причемъ 5,000 р. расходуются какъ на пособія сельскимъ школамъ духовенства, земства, городовъ и т. д., такъ и на стипендіи учителямъ изъ семинаристовъ. Такимъ образомъ, вся суть дѣла открытія и улучшенія начальныхъ школъ принадлежитъ земству, городскимъ и сельскимъ обществамъ: интересуются они народнымъ образованіемъ, есть школы, и онѣ въ порядкѣ;—не думаютъ они о томъ или не находятъ на то средствъ, школъ можетъ и вовсе не быть. Согласно разъясненію сената, обязательное участіе земства въ дѣлѣ народнаго образованія заключается въ выборѣ членовъ въ училищные совѣты; издержки земства на народное образованіе принадлежатъ къ расходамъ необязательнымъ (рѣш. прав. сената, 22 ноября 1870 и 12 сентября 1872 г.). Намъ думается, что въ странахъ бѣдныхъ просвѣщеніемъ, какъ наша, съ низкимъ уровнемъ развитія массы, государству слѣдуетъ содержать извѣстный minimum школъ исключительно на свои средства; это вытекаетъ изъ самой цѣли бытія государства: государство—этотъ высшій юридическій союзъ—стремится къ преуспѣянію духовному и матеріальному своихъ гражданъ, а возможно-ли это преуспѣяніе безъ установленій, такъ-сказать, извѣстныхъ просвѣтительныхъ кадровъ? При этомъ minimum школъ, выпадающихъ исключительно на средства государства, казалось, главнымъ образомъ, долженъ состоять изъ школъ первоначальныхъ—самыхъ простыхъ, ибо низшее образованіе служитъ корнемъ для всѣхъ другихъ степеней образованія.

II.

Попытаемся опредѣлить теперь число учащихся по тремъ главнымъ степенямъ образованія: низшей, средней и высшей. Въ таблицахъ учебныя заведенія раздѣлены, и совершенно правильно, на два главныхъ разряда: общеобразовательныя и спеціальныя, причемъ къ послѣднимъ отнесены, какъ тѣ заведенія, которыя подготовляютъ къ той или другой спеціальности, сообщая цѣлый кругъ научныхъ знаній, такъ и тѣ, которыя даютъ лишь отдѣльныя, преимущественно практическія знанія по этой части, какъ, напримѣръ, мореходные классы и школы, ремесленныя школы. Затѣмъ, общеобразовательныя заведенія распредѣлены на высшія, среднія и низшія, а спеціальныя по видамъ спеціальностей, но такъ подробно, что и ихъ можно разбить на высшія, среднія и низшія, руководствуясь дѣленіемъ заведеній на разряды по приложенію къ уставу о воинской повинности. Кромѣ того, въ тѣхъ случаяхъ, когда учебное заведеніе есть и среднее и спеціальное, какъ, напр., училище правовѣдѣнія, лазаревскій институтъ восточныхъ языковъ, пажескій корпусъ,—въ таблицахъ даны, нарочно собранныя, отдѣльныя цифры по частямъ этихъ заведеній. Сперва коснемся учащихся мужского пола, а потомъ женскаго.

Распредѣляя 1.094,000 лицъ мужского пола, получавшихъ образованіе въ 1874 г., на три сказанные отдѣла и относя потомъ цифры другъ къ другу, получаемъ:

на 100 обучающихся въ низшихъ школахъ обучается въ среднихъ 11
на 100 обучающихся въ среднихъ школахъ обучается въ высшихъ . . . . 18.

Другими словами, на 9 учениковъ низшихъ школъ приходится въ среднихъ только 1, а изъ 15 юношей, обучающихся въ среднихъ заведеніяхъ, попадаютъ въ высшія 2. Мы нарочно сказали, что на 9 учениковъ низшихъ школъ приходится 1 *въ среднихъ*, а не попадаетъ въ среднія, потому-что математическій выводъ здѣсь не можетъ быть согласенъ съ дѣйствительностью: на практикѣ связи между низшими и средними школами, при существованіи приготовительныхъ классовъ при гимназіяхъ, мало: изъ низшихъ, изъ начальныхъ учебныхъ заведеній,—изъ уѣздныхъ училищъ и замѣняющихъ ихъ городскихъ училищъ, по положенію 1872 года, перейти въ реальныя училища можно, въ гимназіи же, т.-е. въ соотвѣтствующіе классы ихъ, нельзя, потому-что въ нихъ древнихъ языковъ не преподаютъ. Въ гимназіи—изъ низшихъ школъ переходятъ главнымъ образомъ тѣ, которые учились прежде въ маленькихъ пансіонахъ; изъ сельскихъ же школъ не можетъ быть много въ гимназіяхъ, потому-что на какія,

въ самомъ дѣлѣ, средства станетъ держать крестьянинъ своего сына въ городѣ. Вслѣдствіе экономическихъ условій на долю поселянъ и бѣднѣйшихъ горожанъ, за рѣдкими исключеніями, выпадаетъ лишь низшее образованіе; еще болѣе жаль, что при настоящей учебной системѣ этотъ фактъ какъ-бы узаконяется, и образованіе получаетъ оттѣнокъ сословнаго, такъ какъ курсъ городскихъ училищъ, по положенію 1872 года, находится уже внѣ всякой связи съ гимназіями. Что-же касается до цифры, выражающей отношеніе числа получающихъ образованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ къ высшимъ, то она, конечно, получила-бы болѣе значенія, если бы мы знали частности дѣла, а именно число лицъ, кончающихъ курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и выходящихъ изъ нихъ ранѣе окончанія курса, однимъ словомъ, если-бы предъ нами были данныя по классамъ, и не только для среднихъ заведеній всѣхъ вѣдомствъ, но и для высшихъ; предполагаемая enquête должна дать ихъ,—пока же приходится оставить вышеупомянутую цифру безъ дальнѣйшихъ объясненій.

Раздѣлимъ цифру получающихъ высшее образованіе на три отдѣла: а) изучающихъ чистую науку, науку неприкладную въ тѣсномъ смыслѣ слова, т.-е. студентовъ университета, кромѣ медицинскихъ факультетовъ, студентовъ духовныхъ академій, филологическихъ институтовъ, высшихъ классовъ Лазаревскаго Института, слушателей учебнаго отдѣленія восточныхъ языковъ, Демидовскаго лицея и воспитанниковъ старшихъ классовъ Александровскаго лицея и Правовѣдѣнія; б) изучающихъ науку прикладную по всѣмъ отраслямъ, кромѣ военнаго дѣла, т.-е. главнымъ образомъ слушателей высшихъ медицинскихъ и высшихъ техническихъ заведеній, и в) слушателей высшихъ военно-учебныхъ заведеній; мы получимъ слѣдующія числа въ %:

а)	изучающіе	науку	неприкладную	40,7
б)	„	„	прикладную	56,6
в)	„	„	военнаго дѣла	2,7.

Такимъ образомъ, число получающихъ образованіе въ заведеніяхъ прикладного отдѣла превышаетъ первый на $^2/_5$. Это преимущественное стремленіе къ изученію прикладныхъ знаній—зависитъ ли главнымъ образомъ отъ склада вообще русскаго человѣка, отъ вліянія времени, отъ подъема промышленности и связанныхъ съ ней техническихъ производствъ, отъ вліянія ли экономическихъ условій той среды, въ которой росъ или живетъ слушатель,—рѣшить, конечно, трудно; но послѣдняя причина, во всякомъ случаѣ, весьма важна. Родители—не бѣдные, но отказывающіе себѣ въ томъ—другомъ,—развѣ не пожелаютъ того или не посочувствуютъ тому, что сынъ будетъ готовиться къ такой профессіи, при которой въ жизни онъ будетъ обезпеченнѣе, чѣмъ они.

Фразу: „сынъ пошелъ въ пути сообщенія, по крайней мѣрѣ вѣрный кусокъ хлѣба будетъ имѣть потомъ“,—можно услышать не рѣдко. Точно также развѣ не могутъ пожелать себѣ большей обезпеченности въ будущемъ сами молодые люди, съ раннихъ лѣтъ живущіе вдали отъ дома и терпящіе недостатокъ. А дѣйствительно, профессіи, связанныя съ прикладными знаніями, въ большинствѣ случаевъ, даютъ высшій гонораръ, чѣмъ получаетъ масса чиновниковъ, учителей, ученыхъ.

III.

Распредѣленіе среднихъ мужскихъ учебныхъ заведеній представляетъ иную картину. Заведенія эти показаны въ таблицахъ подъ слѣдующими категоріями: гимназіи министерства народнаго просвѣщенія, прогимназіи, реальныя училища, военныя гимназіи, духовныя училища, гимназіи частныхъ лицъ и учебныя заведенія 1-го разряда частныхъ лицъ и при иновѣрческихъ церквахъ. Здѣсь можетъ возникнуть сомнѣніе: правильно ли помѣщены тутъ духовныя училища, не спеціальныя ли это заведенія низшаго разряда? На это надо сказать, что, по новому уставу учебныхъ заведеній св. синода, духовныя училища подходятъ по курсу къ прогимназіямъ, и что приготовленіе къ званію духовнаго пастыря—богословско-философское образованіе начинается лишь въ старшихъ классахъ семинарій. Затѣмъ, въ духовныя училища, также какъ въ другія учебныя заведенія церкви, могутъ поступать лица всѣхъ сословій. Много ли, однако, поступаетъ въ духовныя училища дѣтей лицъ не-духовнаго званія, свѣдѣній о томъ нѣтъ, по всей вѣроятности немного, такъ какъ въ противномъ случаѣ было бы на то указаніе въ отчетахъ по училищамъ. Поэтому духовныя училища, также какъ соотвѣтствующія имъ въ среднихъ женскихъ заведеніяхъ—женскія духовныя училища, можно разсматривать и особо отъ всѣхъ другихъ категорій среднихъ учебныхъ заведеній,—какъ категорію преимущественно сословную и притомъ принадлежащую сословію, болѣе обособленному на практикѣ, чѣмъ другія.

Изъ 100 общаго числа обучавшихся въ среднихъ мужскихъ заведеніяхъ въ 1874 году проходило курсъ:

въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ министерства народнаго просвѣщенія. .	51,6
„ реальныхъ училищахъ и военныхъ гимназіяхъ [1]).	13,7 „
„ духовныхъ училищахъ	29,3
„ частныхъ гимназіяхъ и учебныхъ заведеніяхъ 1 разряда	5,3

[1]) Сближаемъ эти двѣ категоріи по сходству курса ихъ.

Если же не считать духовныхъ училищъ, въ такомъ случаѣ приходится на долю учениковъ:

гимназій и прогимназій министерства народнаго просвѣщенія.	78,1
реальныхъ училищъ и военныхъ гимназій.	19,5

т.-е. число получающихъ реальное образованіе почти *счетверо* менѣе получающихъ классическое. Теперь пропорція эта значительно измѣнилась и измѣнилась въ пользу реальнаго образованія.

Въ 1874 году, гимназій и прогимназій (съ частными гимназіями) было 183, а реальныхъ училищъ 34, т.-е. одно такое училище приходилось на $4^1/_2$ гимназіи и прогимназіи; теперь же (настоящія цифры мы беремъ изъ карты къ „Временнику“) гимназій и прогимназій 205, а реальныхъ училищъ 71, или одно такое училище приходится уже на 2,9 гимназіи и прогимназіи. Другими словами: въ теченіи 4-хъ лѣтъ число реальныхъ училищъ увеличилось вдвое, а цифра гимназій вмѣстѣ съ прогимназіями на $^1/_3$. Такое увеличеніе реальныхъ училищъ, если принять во вниманіе, съ одной стороны, что открытіе ихъ, равно какъ классическихъ заведеній, находится въ зависимости отъ пожертвованій и субсидій на этотъ предметъ со стороны земствъ и мѣстныхъ обществъ, а съ другой стороны, что большинство родителей можетъ быть вполнѣ спокойно за будущее своихъ сыновей только въ случаѣ помѣщенія ихъ въ классическія заведенія, такъ какъ только тогда сыновьямъ ихъ открыта въ будущемъ дорога всюду—увеличеніе это представляется весьма характеристичнымъ. Въ то же время увеличилось и число военныхъ гимназій: съ 14 оно перешло на 18; при этомъ, для точности надо оговорить, что въ 18 нынѣшнихъ гимназіяхъ считаны приготовительные классы къ пажескому корпусу и пансіонъ къ николаевскому кавалерійскому училищу, такъ какъ, по новому о нихъ положенію, послѣдній равенъ вполнѣ военной гимназіи, а въ первыхъ недостаетъ до гимназіи только 1 или 2 классовъ.

Переходимъ къ учащимся женскаго пола: на 100 дѣвочекъ обучающихся въ низшихъ школахъ приходится въ среднихъ 20, отношеніе болѣе благопріятное, чѣмъ для соотвѣтствующихъ цифръ мужскихъ заведеній,—просто потому, что, какъ уже замѣчено выше, въ нашихъ селахъ дѣвочки почти вовсе не учатся. Не говоримъ о высшихъ женскихъ школахъ, потому что въ 1874 году существовали только высшіе медицинскіе курсы—и вообще потому, что дѣло это только-что складывается.

Изъ 100 дѣвочекъ и дѣвицъ, получавшихъ въ 1874 г. образованіе въ среднихъ женскихъ заведеніяхъ, обучалось:

въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ	71,6
„ институтахъ	12,3
„ духовныхъ училищахъ	8,3
„ учебныхъ заведеніяхъ 1 разряда.	7,6

Если существованіе отдѣльныхъ среднихъ мужскихъ заведеній для сыновей духовныхъ лицъ представляется на первый взглядъ нѣсколько страннымъ, то тѣмъ страннѣе кажется существованіе подобныхъ училищъ для дѣвочекъ. Недоумѣніе возрастаетъ, если сказать, что женскія духовныя училища возникли по бо́льшей части въ недавнее время, что число ихъ постепенно увеличивается и курсъ расширяется. Въ 1874 году изъ 38 такихъ училищъ было съ курсомъ, подходящимъ къ гимназическому, 24; остальныя же—въ родѣ прогимназій; теперь же изъ 41 училища 38 гимназическихъ. На самомъ дѣлѣ, училища эти возникли потому, главнымъ образомъ, что безъ нихъ сельскому духовенству рѣшительно негдѣ воспитывать дочерей: въ гимназіяхъ интернатовъ нѣтъ, а училища эти устраиваются съ интернатами; затѣмъ, очень можетъ быть,—извѣстную долю вліянія на ихъ происхожденіе оказало мнѣніе, довольно распространенное въ духовныхъ сферахъ, особенно высшихъ, что духовнымъ лучше воспитывать дѣтей въ отдѣльныхъ заведеніяхъ, такъ какъ при этомъ молодое поколѣніе будетъ ближе къ церкви и всему церковному, къ условіямъ быта духовенства, особенно сельскаго. Духовенство много заботится о духовныхъ училищахъ, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, и является крупнымъ участникомъ въ ихъ содержаніи; большинство женскихъ училищъ существуетъ безъ всякаго пособія со стороны государственнаго казначейства.

Если не считать женскихъ духовныхъ училищъ, въ такомъ случаѣ, на долю гимназистокъ и прогимназистокъ приходится 78,2 обучающихся въ среднихъ школахъ, а на институтокъ 13,2. Такимъ образомъ, на 1 институтку приходится почти 6 посѣщающихъ гимназіи и прогимназіи; теперь отношеніе это еще значительнѣе, потому что цифра институтовъ осталась прежняя (28), а число гимназій съ прогимназіями во всѣхъ губерніяхъ, кромѣ прибалтійскихъ, съ 1874 г. къ нынѣшнему, изъ 215 перешло въ 257, т.-е. увеличилось на $^1/_8$. Мы отстраняемъ въ данномъ случаѣ прибалтійскія губерніи, потому что женскія гимназіи въ нихъ, при большомъ числѣ частныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, не имѣютъ того значенія, какъ во внутренней Россіи. Сравнительно съ мужскими заведеніями женскія увеличились менѣе: цифра гимназій, прогимназій и реальныхъ училищъ вмѣстѣ, съ 217 перешла въ 276, т.-е. увеличилась на $^2/_7$. Правда, разница между $^1/_8$ и $^2/_7$ самая малая ($^3/_{56}$), но все-таки она имѣетъ значеніе въ виду замѣчаемаго вообще развитія женскаго образованія

въ городахъ; она объясняется вѣроятно тѣмъ, что женскія гимназіи и прогимназіи суть главнымъ образомъ заведенія общественныя, и что на содержаніе ихъ не земства или мѣстныя общества даютъ казнѣ субсидію, какъ въ классическихъ заведеніяхъ и реальныхъ училищахъ, а казна городамъ и земствамъ. По отчету министра народнаго просвѣщенія за 1876 годъ, изъ общей суммы расходовъ на женскія гимназіи и прогимназіи, завѣдываемыя министерствомъ и составляющія около 85% женскихъ гимназій (остальныя IV отд.), на долю государственнаго казначейства приходилось лишь 26%, тогда какъ въ классическихъ заведеніяхъ и реальныхъ училищахъ 63—64% [1]).

IV.

Теперь умѣстно сказать, въ какихъ мѣстностяхъ 47 губерній больше учатся. Для уѣздовъ мы разсмотримъ этотъ вопросъ по относительнымъ цифрамъ учащихся въ сельскихъ школахъ за 1874 годъ; для городовъ же—по цифрамъ среднихъ заведеній за настоящій годъ, такъ какъ развитіе средняго образованія съ 1874 года подвинулось значительно. Перемѣна въ самой единицѣ для анализа не имѣетъ при этомъ большого значенія, такъ какъ приходящаяся на одно среднее заведеніе, той или другой категоріи, цифра учащихся измѣняется по мѣстностямъ, за исключеніемъ столицъ, весьма мало: существенная разница въ этомъ отношеніи имѣется только между губернскими городами и уѣздными.

При обзорѣ учащихся въ сельскихъ школахъ отдѣльно по губерніямъ приходится исключить вовсе три юго-западныя губерніи, а также бессарабскую, оренбургскую и уфимскую. Въ трехъ юго-западныхъ губерніяхъ, цифры несоразмѣрно малы, вслѣдствіе того, что, какъ замѣчено въ объясненіи къ таблицамъ, по этимъ губерніямъ исключены вовсе, при помощи данныхъ отчета оберъ-прокурора св. синода, церковно-приходскія школы; исключены же онѣ потому, что цифры ихъ въ сказанныхъ отчетахъ поражаютъ своей громадностью сравнительно со всѣми другими губерніями и тѣмъ самымъ прямо даютъ поводъ усомниться въ ихъ вѣрности. Если не ошибаемся, покойный кіевскій митрополитъ Арсеній дѣлалъ очень много распоряженій объ открытіи этихъ школъ по своей митрополіи. Въ бессарабской губер-

---

[1]) Неизвѣстно, приняты ли при этомъ въ разсчетъ повсемѣстно расходы по содержанію, отопленію и освѣщенію зданій, по найму прислуги и т. д., которыя, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ случаяхъ относятся изъ общественныхъ суммъ.

ніи цифры просто дефектны, въ особенности для мальчиковъ. Наконецъ, въ оренбургской губерніи показаны магометанскія школы, а въ уфимской—нѣтъ; кромѣ того, въ оренбургской губерніи есть ошибка въ цифрѣ учащихся въ школахъ казачьихъ войскъ, которая обнаружилась уже по отчетамъ позднѣйшихъ годовъ. Среднее для большинства губерній европейской Россіи мы дѣлали, однако, по всѣмъ 47 губерніямъ, такъ какъ недостатки въ данныхъ шести губерній скрадываются болѣе или менѣе въ массѣ цифръ по всѣмъ имъ.

Выше было замѣчено, что въ уѣздахъ 47 губерній вмѣстѣ на 100 учебнаго возраста приходится учащихся въ сельскихъ школахъ:

мальчиковъ . .	14,8
дѣвочекъ . . .	2,4

Сопоставляя эти среднія съ данными по отдѣльнымъ губерніямъ, находимъ прежде всего, что среднее для мальчиковъ довольно характеристично, что въ 21 губерніи цифры выше средняго, а въ 20 ниже, и что въ огромномъ большинствѣ случаевъ цифры колеблются между 10 и 20; что же касается до средняго для дѣвочекъ, то оно, наоборотъ, выражаетъ дѣйствительность весьма слабо, такъ какъ цѣлыхъ $^2/_3$ изъ разсматриваемыхъ губерній ниже его, и такъ какъ отклоненія отъ средняго въ обѣ стороны чрезвычайныя. Въ частности, по отдѣльнымъ губерніямъ данныя колеблется между 0,3 и 14,1, т.-е. низшее относится къ высшему, какъ 1:47, тогда какъ для мужского пола подобное отношеніе составляетъ какъ 1:5. Говоря иначе, мы встрѣчаемся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ съ ужасающею безграмотностью женщинъ.

Группой губерній съ относительно бо́льшимъ числомъ учащихся, отдѣльно, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ полѣ, если не считать мѣстностей, гдѣ нѣмцы-колонисты живутъ большими массами,—такой группой служатъ вмѣстѣ губерніи столичныя, двѣ между ними лежащія: новгородская и тверская, а также олонецкая. Въ этихъ 5 губерніяхъ вмѣстѣ % учащихся мальчиковъ = 21,1 а дѣвочекъ 4,9; первое мѣсто среднихъ, какъ и слѣдовало ожидать, занимаетъ петербургская губернія, гдѣ искомый % составляютъ: для мальчиковъ 25,3, а для дѣвочекъ почти половину того, или 12,4. Въ нашей губерніи много учрежденій и вѣдомствъ, заботящихся о школахъ по селамъ: помимо обычныхъ органовъ въ этомъ отношеніи — земства, православнаго духовенства и министерства народнаго просвѣщенія, здѣсь дѣйствуетъ воспитательный домъ, финско-лютеранская консисторія, общества бывшихъ колонистовъ, здѣсь же имѣются сельскія или полу-сельскія школы у такихъ центральныхъ управленій, которыя нигдѣ или почти нигдѣ болѣе не завѣдываютъ низшими

школами, какъ, напр., министерство двора. За петербургской губерніей слѣдуетъ, къ удивленію, не московская, а новгородская; впрочемъ, московская занимаетъ третье мѣсто только по цифрѣ для мальчиковъ (при перечисленіи губерній мы руководствуемся, главнымъ образомъ, этой цифрой), по цифрѣ для дѣвочекъ же она значительно выше новгородской (московская — 19,8 и 4,9, новгородская—24,8 и 3,4. Первоначально мы подумали-было — нѣтъ ли какой ошибки въ новгородской губ., нѣтъ ли преувеличенія церковно-приходскихъ школъ, но тотъ фактъ—что высшее епархіальное начальство въ петербургской и новгородской губерніяхъ одно и то же и, слѣдовательно, общій ходъ распоряженій относительно церковно-приходскихъ школъ, условія отчетности—одинаковы — остановилъ насъ отъ этой мысли. Въ 4 губерніяхъ, къ югу отъ Москвы лежащихъ — тульской, калужской, орловской, рязанской — число учащихся мальчиковъ немногимъ менѣе указаннаго для первой группы, но процентъ дѣвочекъ падаетъ такъ рѣзко, что эта мѣстность одна изъ бѣднѣйшихъ въ отношеніи грамотности женщинъ. Процентъ для мальчиковъ составляетъ здѣсь 17,9, а для дѣвочекъ—1,2.

Далѣе на югъ и юго-востокъ, т.-е. съ одной стороны—въ губерніяхъ, гдѣ населеніе смѣшанное, изъ великоруссовъ и малоруссовъ—курской, воронежской и области войска донскаго, а съ другой, въ губерніяхъ переходныхъ къ нижневолжскимъ—тамбовской и пензенской, уменьшеніе цифры мальчиковъ продолжается въ гораздо бо́льшей степени; цифра же для женскаго пола, падая еще на половину въ тамбовской и пензенской губерніяхъ, въ группѣ, переходной къ Малороссіи, замѣтно повышается. Въ тамбовской и пензенской губерніяхъ вмѣстѣ мы имѣемъ 13,0 для мужского пола и лишь 0,6 для женскаго,—это самый низкій уровень для цифръ женскаго пола въ нѣсколькихъ губерніяхъ вмѣстѣ, повторяющійся, впрочемъ, какъ увидимъ дальше, въ мѣстности довольно близкой къ столицамъ. Для губерній воронежской, курской и области войска донскаго числа таковы: 12,4 для мужского пола и 1,3 для женскаго пола. Въ трехъ чисто-малороссійскихъ губерніяхъ, гдѣ первенство въ частности въ томъ и другомъ полѣ принадлежитъ харьковской, процентъ для мальчиковъ остается тотъ же самый; для дѣвочекъ же онъ, если понижается, то немного (1,0). Въ двухъ новороссійскихъ губерніяхъ—екатеринославской и херсонской, гдѣ населеніе становится въ племенномъ ,отношеніи пестрѣе и гдѣ встрѣчаются крупныя поселенія колонистовъ, цифры увеличиваются и при томъ особенно рѣзко для женщинъ (16,1 и 3,4). Увеличеніе это принимаетъ, наконецъ, громадные размѣры въ самой крайней на югѣ и едва ли не самой разноплеменной изъ нашихъ губерній — таврической. Изъ 47 губерній она наиболѣе учащаяся

чтобъ не сказать, самая просвѣщенная: на 100 учебнаго возраста здѣсь приходится для мальчиковъ 34,6 и для дѣвочекъ 14,1. Школы въ разнообразныхъ колоніяхъ, взятыя вмѣстѣ съ магометанскими, подняли цифру такъ усиленно. Между Малороссіей и Бѣлоруссіей очень мало разницы (въ Бѣлоруссіи 13,2 и 1,0); въ литовскихъ губерніяхъ число учащихся мальчиковъ значительно больше, но дѣвочекъ менѣе чѣмъ въ Бѣлоруссіи (18,0 и 0,8).

На пути изъ Бѣлоруссіи въ столицы лежатъ двѣ губерніи—псковская и смоленская; на ихъ долю выпадаетъ minimum и въ томъ, и другомъ полѣ: для мужскаго пола % равенъ здѣсь лишь 7,6, а для женскаго 0,6. Не разъ уже, и не одно изслѣдованіе указывало на бѣдность этихъ губерній въ разнообразныхъ отношеніяхъ, особенно же той обширной и глухой мѣстности, которая обнимаетъ смежныя части этихъ губерній; настоящій очеркъ констатируетъ ихъ бѣдность по части народнаго образованія. Съ обѣими столицами и та и другая губернія имѣютъ весьма мало связи: изъ смоленской губерніи къ Москвѣ тянется въ сущности одинъ гжатскій уѣздъ; псковская же губернія, послѣ проведенія варшавской дороги, не приблизилась къ Петербургу, а скорѣе отдалилась отъ него, потому что продукты свои (ленъ) она посылаетъ теперь или прямо заграницу, или въ Ригу.

Отъ подстоличныхъ губерній къ сѣверо-востоку—въ архангельской и вологодской губерніяхъ, замѣчаемъ, сравнительно съ ними, сильное пониженіе (11,0 и 1,3), которое, однако, размѣщается географически такимъ образомъ, что цифры по архангельской губерніи, и въ томъ и другомъ полѣ, выше значительно, чѣмъ въ вологодской. Далѣе же, на востокъ — въ вятской и пермской губерніяхъ, цифра для мужчинъ мала, а для женщинъ значительно увеличивается (11,4 и 2,1); послѣднее нельзя-ли приписать также заботамъ вятскаго земства, которое по мѣрамъ для содѣйствія народному образованію выдѣляется изъ ряду другихъ. Отъ Вологды къ Москвѣ и къ Волгѣ у Казани, среди губерній ярославской, владимірской, костромской и нижегородской выдѣляется по значительному числу учащихся, особенно женскаго пола, ярославская (15,2 и 4,0), составляющая въ этомъ послѣднемъ отношеніи какъ-бы продолженіе полосы между столицами, подобно тому, какъ губерніи, ближайшія къ Москвѣ съ юга, составляютъ продолженіе названной полосы въ отношеніи числа учащихся мужскаго пола. Значительное развитіе грамотности въ женскомъ населеніи ярославской губерніи надо объяснить, какъ условіями быта женщинъ здѣсь, ведущихъ зачастую, вслѣдствіе отхожихъ промысловъ мужчинъ, хозяйство за мужей, и потому болѣе живущихъ общественной жизнью, а также вліяніемъ торговаго промысла, которымъ преимущественно занимаются въ столицахъ отцы

семействъ и подростки-мальчики. Среднее же для владимірской, костромской и нижегородской губ. вмѣстѣ, для мужского пола, занимаетъ второе мѣсто снизу въ ряду среднихъ по группамъ (10,9); въ этомъ отношеніи переходъ отъ Москвы на востокъ рѣзко развится отъ перехода на югъ и къ Петербургу. Для женскаго же пола, среднее это изъ благопріятныхъ (1,5), хотя и ниже цифры по вятской и пермской губерн. вмѣстѣ. Во всякомъ случаѣ, развитіе фабричной дѣятельности оказывается, по крайней мѣрѣ здѣсь, не содѣйствующимъ развитію рабочихъ; вліяніе отхожей промышленности, развитой въ сѣверо-западномъ углу костромской губерніи, надо полагать, скрадывается на цифрахъ трехъ губерній вмѣстѣ, такъ какъ по условіямъ населенности этотъ уголъ изъ среднихъ въ цѣлой области; притомъ же промышленность, которою занимаются уходящіе отсюда, не торговая по преимуществу какъ въ ярославской губерніи, а связанная съ домостроительствомъ или съ внутренней отдѣлкой жилищъ (плотники, столяры, маляры, штукатуры, печники)—словомъ, промышленность, не требующая непремѣнно знанія грамоты. Въ казанской и симбирской губерніяхъ цифра крупнѣе, чѣмъ въ группахъ облегающихъ ихъ съ сѣвера и съ запада, и крупнѣе для обоихъ половъ (16,1 и 3,4): вліяніе медрессе даетъ себя знать; словомъ, въ саратовской и самарской—новое повышеніе и такое, что среднее для нихъ, въ томъ и другомъ полѣ, превышаетъ подстоличныя мѣстности. Въ этихъ двухъ губерніяхъ нѣмецкіе колонисты живутъ, какъ извѣстно, большими массами. Наконецъ, въ астраханской губерніи цифры, конечно, ниже касающихся только-что названной мѣстности; но таковы однако, что губернію можно сравнять съ подстоличными мѣстностями и притомъ для обоего пола (18,4 и 4,0). Любопытно, однако, что двѣ губерніи, лежащія на крайнемъ сѣверѣ и юговостокѣ и, по обыденнымъ понятіямъ, представляющіяся мѣстностями самыми глухими—астраханская и архангельская, являются на видномъ мѣстѣ относительно народной грамотности. Не можемъ, къ сожалѣнію, сослаться на какіе-либо труды, подтверждающіе это по астраханской губ., но по архангельской самыя различныя описанія говорятъ то же, что и занимающія насъ цифры.

Обобщая вышесказанное и припоминая соотвѣтствующіе проценты по прибалтійскимъ и привислянскимъ губерніямъ, можно придти къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) бо́льшія числа учащихся въ сельскихъ школахъ,—и болѣе образованія въ уѣздахъ замѣчается на западной прибалтійско-привислянской окраинѣ европейской Россіи, въ южной приморской мѣстности, на юго-востокѣ у Волги, въ мѣстностяхъ подстоличныхъ и между столицами лежащихъ, а также въ губерніяхъ, ближайшихъ къ Москвѣ съ юга, причемъ, однако, въ этихъ послѣд-

ихъ цифры значительны только для мужского пола; 2) меньшія числа,—и слабѣе, значительно слабѣе, народная грамотность въ группахъ губерній, между всѣми показанными лежащихъ, за исключеніемъ, впрочемъ, той мѣстности, гдѣ Волга дѣлаетъ поворотъ къ югу—мѣстности, служащей, такъ-сказать, форпостомъ магометанскаго просвѣщенія. Всматриваясь въ это распредѣленіе въ отношеніи къ вѣроисповѣднымъ, племеннымъ отличіямъ, а также нѣкоторымъ условіямъ экономическаго быта, находимъ, что, за исключеніемъ подстоличныхъ и немногихъ другихъ мѣстностей, преимущественно промысловаго характера, народное образованіе ниже тамъ, гдѣ въ массѣ населенія значительнѣе православно-русское населеніе. Выводъ, конечно, прискорбный для чувства православнаго русскаго человѣка; но выводъ, объясняющійся внутренними, бытовыми условіями церковной жизни, понимая это слово въ широкомъ смыслѣ, западной церкви и церкви православной, а также особой ревностью къ вѣрѣ, стойкостью въ ней въ средѣ магометанъ. Припомнимъ, что у насъ, православныхъ русскихъ, даже церковное поученіе не составляетъ обязательной части богослуженія; припомнимъ, что простой русскій человѣкъ требуетъ отъ священника прежде всего тщательнаго отправленія богослуженія въ церкви,—богослуженія, добавимъ, продолжительнаго и разновременнаго, а также возможно частаго, по мѣрѣ средствъ прихода, совершенія богослужебныхъ обрядовъ на домахъ прихожанъ.

V.

Мы очертили дѣло въ крупныхъ чертахъ—указали на нѣкоторыя изъ выдающихся причинъ; но на ряду съ ними на положеніе народнаго образованія дѣйствуетъ совокупность множества мелкихъ условій, которыя по отдѣльнымъ мѣстностямъ могутъ вліять даже гораздо сильнѣе указанныхъ, и которыя необходимо принять въ разчетъ тому, кто хочетъ изучить дѣло въ подробностяхъ. Къ условіямъ этимъ относятся: сословный составъ земскихъ гласныхъ по уѣздамъ, количество земскихъ расходовъ на школы, число образцовыхъ училищъ министерства народнаго просвѣщенія при пособіи мѣстныхъ обществъ, отношеніе мѣстнаго духовенства къ школамъ — замѣчаемое между прочимъ и на томъ, во многихъ ли школахъ законъ Божій преподается священно-служителями, число школъ при монастыряхъ, давнія ли онѣ, распредѣленіе крестьянскаго населенія на крестьянъ бывшихъ владѣльческихъ, государственныхъ и удѣльныхъ; это обстоятельство изъ важныхъ, такъ какъ министерство государственныхъ имуществъ, а за нимъ и удѣлъ, открывали школы по селамъ, когда

завѣдывали крестьянами, и если многія изъ этихъ школъ сряду послѣ перехода крестьянъ въ общее вѣдомство закрылись, то все-таки въ этой мѣстности, при участіи земства и инспекторовъ народныхъ школъ, легче было возникнуть вновь училищамъ; наконецъ, важно отношеніе числа школъ къ поселкамъ, въ связи съ размѣщеніемъ поселковъ по территоріи и съ тѣмъ, крупны ли они или мелки.

Взглянемъ послѣ этого, какъ распредѣляется образованіе по городамъ, и какое въ этомъ отношеніи сходство или различіе съ селеніями?

VI.

Говоря о числѣ среднихъ учебныхъ заведеній по городамъ, мы коснемся лишь гимназій и прогимназій, а также реальныхъ училищъ. Институты и военныя гимназіи мы отстранимъ потому, что число ихъ вообще не велико, причемъ еще половина и тѣхъ и другихъ находится въ столицахъ, а также потому, что помѣщеніе ихъ въ томъ или другомъ губернскомъ городѣ могло быть и случайнымъ, вслѣдствіе того, между прочимъ, что какъ институты, такъ и военные корпуса, мѣсто которыхъ замѣнили по бо́льшей части военныя гимназіи, устроивались тогда, когда было лишь сословное самоуправленіе. Впрочемъ, если всматриваться на картѣ въ распредѣленіе институтовъ и военныхъ гимназій, то окажется что, за исключеніемъ всей сѣверной полосы, гдѣ ни тѣхъ, ни другихъ не имѣется, и новороссійскихъ губерній, гдѣ нѣтъ военной гимназіи, институты размѣщаются по бо́льшей части по 2, а гимназіи по одной на группу смежныхъ и болѣе или менѣе однородныхъ въ племенномъ или экономическомъ отношеніи губерній. О причинѣ исключенія духовныхъ училищъ мы уже упоминали, и здѣсь лишь остается замѣтить, что женскія духовныя училища существуютъ почти исключительно въ губернскихъ городахъ, и притомъ въ огромномъ большинствѣ ихъ.

За сказанными исключеніями, получаемъ по даннымъ къ 1 января истекшаго года:

	Среднихъ учебн. заведеній мужскихъ:	женскихъ:
2 столицы вмѣстѣ. . . .	39	24
45 губ. гор. и г. Одесса . .	94	56
437 уѣзд. и безъуѣзд. гор. .	91	152

Роль обѣихъ столицъ въ дѣлѣ просвѣщенія достаточно извѣстна, и можно начать съ губернскихъ городовъ. Какъ видно, на губернскій городъ приходится 2 съ самой малой дробью мужскихъ заведеній и 1 женское съ небольшой дробью. Въ дѣйствительности, типъ гу-

бернскихъ городовъ въ этомъ отношеніи такой: мужская гимназія, реальное училище, женская гимназія. Реальныхъ училищъ нѣтъ лишь въ бо́льшей части губернскихъ городовъ западнаго края и вообще въ городахъ съ меньшимъ числомъ жителей, напр. въ Петрозаводскѣ, Вяткѣ, Уфѣ; съ другой стороны—случаи, когда мужскихъ гимназій болѣе одной еще рѣже, а именно это имѣетъ мѣсто лишь въ университетскихъ городахъ, а также въ Нижнемъ. Что же касается до женскихъ гимназій, то болѣе одной ихъ только въ Вильно и Кіевѣ; затѣмъ въ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ институтовъ, кромѣ гимназій, есть прогимназіи.

Изъ 437 уѣздныхъ и безъуѣздныхъ городовъ [1]), имѣютъ среднія заведенія лишь 178, или только 4 изъ 10. Притомъ, лишь только въ 1/3 изъ этихъ 178 городовъ (58) имѣются и мужскія и женскія учебныя заведенія; процентовъ 15 (27) имѣютъ лишь одни мужскія школы, и немного болѣе половины (93) одни женскія, состоящія исключительно изъ прогимназій!! Удивляться ли послѣ всѣхъ этихъ цифръ тому, что столько родителей является съ дѣтьми изъ провинцій въ столицы, и что столичные интернаты по бо́льшей части завалены просьбами о пріемѣ? Съ другой стороны, нельзя не вспомнить при этомъ нерѣдко высказываемаго у насъ замѣчанія, и замѣчанія довольно вѣрнаго, что уровень семейнаго быта въ образованныхъ кружкахъ у насъ низокъ, что семья не крѣпка и не живучи семейныя традиціи, какъ на Западѣ; тотъ фактъ что много лицъ съ гимназическаго уже возраста живутъ, по крайней мѣрѣ бо́льшую часть года, далеко отъ семьи и лишены ласки и надзора родительскаго, не можетъ не оказывать на это вліянія. Мы назвали выше данныя по народному образованію въ городахъ благопріятными: да, образованіе развито здѣсь въ сравненіи съ селами; въ послѣднія 20—25 лѣтъ въ этомъ отношеніи произошла громадная перемѣна, но все же среднее образованіе сосредоточивается главнымъ образомъ въ *губернскихъ* городахъ. Малые размѣры большинства городовъ, бѣдность массы ихъ обывателей служатъ главной тому причиной. Изъ уѣздныхъ и безъуѣздныхъ городовъ имѣютъ и мужскія и женскія среднія училища только первостепенные, всѣ хорошо намъ извѣстные; правда, западаютъ въ число такихъ счастливцевъ и изъ среднихъ городовъ, за то встрѣчаются и такіе крупные пункты, какъ Моршанскъ, въ которыхъ нѣтъ ничего. Затѣмъ, мы исключили вовсе заштатные города, несмотря на крупное число ихъ—89, исключили потому, что огромное большинство ихъ носитъ совершенно сельскій характеръ, и что только два изъ нихъ—

[1]) На ряду съ городами считаны при этомъ 6 окружныхъ станицъ области войска донского, изъ которыхъ въ 4 имѣется по мужскому и женскому среднему заведенію.

Вознесенскъ и Бобринецъ, херсонской губерніи, имѣютъ среднія школы. Если же считать заштатные города, то проценты получатся гораздо болѣе неблагопріятные.

Подъ безъуѣздными городами разумѣются: всѣ портовые, Иваново-Вознесенскъ и города этого названія, принадлежащіе дворцовому вѣдомству. Значительный перевѣсъ женскихъ учебныхъ заведеній надъ мужскими, какой указанъ въ не-губернскихъ городахъ въ противоположность губернскимъ, объясняется тѣмъ, что училищъ для дѣвочекъ, соотвѣтствующихъ уѣзднымъ или городскимъ по положенію 1872 года, нѣтъ, такъ что въ уѣздномъ городѣ дѣвочку, имѣющую элементарныя свѣдѣнія, можно учить дальше только тогда, когда есть прогимназія или гимназія. Въ виду того, что женскія гимназіи и прогимназіи содержатся главнымъ образомъ на общественныя средства, перевѣсъ этотъ для обзора по губерніямъ числа уѣздныхъ и портовыхъ городовъ съ средними заведеніями вообще (мужскими и женскими вмѣстѣ), къ чему мы обратимся теперь, благопріятенъ, и предлагаемыя цифры будутъ близко выражать степень участія городовъ въ дѣлѣ народнаго образованія, по различнымъ мѣстностямъ.

Въ группѣ губерній подстоличныхъ и между столицами лежащихъ, которая измѣняется въ данномъ случаѣ тѣмъ, что надо отчислить олонецкую губернію и присоединить владимірскую, число уѣздныхъ городовъ съ средними школами выше средняго для 47 губерній вмѣстѣ: здѣсь 28 уѣздныхъ городовъ изъ 58 имѣютъ такія школы, да еще 2 посада въ московской губерніи; особенно же выдаются при этомъ города новгородской губерніи. Отъ Москвы прямо на югъ въ тульской и калужской губерніяхъ цифра падаетъ и круто (въ 6 городахъ изъ 21); на юго-востокъ же, въ рязанской и тамбовской губерніяхъ, равно какъ въ орловской, примыкающей угломъ къ тамбовской, она остается почти въ прежнемъ размѣрѣ (въ 15 изъ 33). Отъ орловской и тамбовской прямо на югъ цифра все возвышается, по мѣрѣ приближенія мѣстности къ морю, причемъ первую ступень составляютъ губерніи съ смѣшаннымъ населеніемъ изъ великоруссовъ и малороссіянъ, курская, воронежская и область войска донского (20 изъ 31); вторую—малороссійскія, гдѣ среднія школы имѣются уже въ $^2/_3$ городовъ (въ 26 изъ 38); и третью—новороссійскія (за исключеніемъ Бессарабіи), гдѣ въ рѣдкомъ изъ уѣздныхъ и безъуѣздныхъ городовъ нѣтъ прогимназіи или гимназіи. Въ частности въ екатеринославской губ. съ Таганрогскимъ градоначальствомъ въ 6 городахъ изъ 10 имѣются среднія учебныя заведенія да еще въ посадѣ Азовѣ; въ херсонской—въ 4 изъ 5 (Одессу мы не считаемъ) и еще въ двухъ заштатныхъ городахъ; въ таврической положительно во всѣхъ уѣздныхъ и портовыхъ городахъ. Приморская дѣятельность,

столкновеніе разныхъ племенъ и въ портахъ, и внутри края, даютъ себя чувствовать. Въ другую сторону, на ряду съ maximum'омъ лежитъ minimum—это юго-западный край: въ 33 уѣздныхъ городахъ кіевской, волынской и подольской губерній нѣтъ ни одной средней школы; правда, онѣ имѣются въ 3 болѣе крупныхъ мѣстечкахъ (кромѣ этого, въ мѣстечкахъ нѣтъ разсматриваемыхъ заведеній) и притомъ въ каждомъ по мужской и женской школѣ; въ Кіевѣ 6 мужскихъ и 4 женскихъ среднихъ учебныхъ заведенія; но все же этого недостаточно для такого населеннаго края,—ужъ не воспитываютъ ли нѣкоторые изъ помѣщиковъ и евреевъ своихъ дѣтей въ Австріи? Въ литовскихъ, губерніяхъ цифра немного выше: тамъ, въ 3 городахъ изъ 20 имѣются разсматриваемыя школы; въ Бѣлоруссіи цифра больше (въ 6 изъ 28); но это больше относится только къ минской губерніи, гдѣ въ половинѣ городовъ имѣются среднія школы, но, къ удивленію, исключительно мужскія. Въ псковской и смоленской губерніяхъ цифра этотъ разъ повышается, особенно же въ смоленской (въ обѣихъ въ 9 изъ 18). Въ олонецкой губерніи въ 1 городѣ изъ 6 есть женская прогимназія, а въ архангельской—ни въ одномъ. Города на крайнемъ сѣверѣ оказываются, такимъ образомъ, глуше селъ. Въ вологодской губерніи цифра сразу крупна (въ 5 городахъ изъ 9), въ вятской же и пермской она еще крупнѣе и настолько, что послѣ новороссійскихъ губерній эти губерніи стоятъ на второмъ мѣстѣ (въ 16 изъ 21); притомъ сходно съ таврической губерніей въ вятской губерніи въ каждомъ городѣ есть какая-либо средняя школа. Въ оренбургской и уфимской губ. цифра падаетъ, правда, но все же она выше средняго для всѣхъ 47 губерній (въ 5 изъ 9); въ астраханской нѣтъ среднихъ школъ ни въ одномъ городѣ, въ чемъ опять эта губернія сходится съ противоположной ей—архангельской. Поволжье вообще, за исключеніемъ тверской губерніи, очень бѣдно въ этомъ отношеніи. Въ губерніяхъ: самарской, саратовской, симбирской и причисляя къ нимъ пензенскую, всего въ 9 городахъ изъ 31, есть среднія школы, причемъ болѣе благопріятное отношеніе замѣчается въ симбирской губ. (въ 2 изъ 7), а худшее (1 изъ 6) въ самарской. Въ казанской и нижегородской губ. только въ одномъ городѣ въ каждой имѣется по женской прогимназіи, а городовъ здѣсь всѣхъ 21; правда, въ Казани 3 мужскихъ гимназіи, въ Нижнемъ 2, и въ обоихъ городахъ есть институты, но всего этого кажется мало для края не-бѣднаго. Въ костромской и ярославской губерніяхъ, наконецъ, лишь 1/4 городовъ имѣетъ среднія школы (5 изъ 20).

Обобщая вышесказанное можно придти къ слѣдующимъ заключеніямъ: 1) Образованіе въ городахъ, кромѣ столицъ, болѣе развито въ

южной полосѣ европейской Россіи, преимущественно на самомъ югѣ, затѣмъ на сѣверо-востокѣ и въ губерніяхъ столичныхъ и между ними лежащихъ; слабо оно въ западномъ краѣ, употребляя этотъ терминъ въ оффиціальномъ его значеніи, въ Поволжьѣ и на крайнемъ сѣверѣ. 2) Въ распредѣленіи мѣстностей въ тѣхъ отношеніяхъ, гдѣ болѣе развито образованіе,—отдѣльно въ городахъ и отдѣльно въ селахъ,—замѣчается большая разница: особенно рѣзко она сказывается въ губерніяхъ чисто малороссійскихъ, малороссійско-великорусскихъ, низовыхъ волжскихъ, и на сѣверѣ; но она крупна также въ губерніяхъ литовскихъ и переходныхъ отъ Бѣлоруссіи къ столицамъ. Другими словами, города наши, походя зачастую на села, связи съ селеніями собственно имѣютъ очень мало,—выводъ, замѣченный уже не разъ и по различнымъ вопросамъ. Изслѣдовать указанное различіе, равно какъ выяснить вообще положеніе народнаго образованія по городамъ разныхъ мѣстностей можно при помощи данныхъ о составѣ городскихъ гласныхъ по сословіямъ, о количествѣ издержекъ городовъ на школы, о степени участія земствъ въ расходахъ на городскія училища, а также пользуясь свѣдѣніями о городскомъ населеніи по вѣроисповѣданіямъ, если не по племенамъ и о промышленности городовъ.

На этомъ мы и кончаемъ наши замѣтки. Цѣлью нашею было сдѣлать лишь попытку разработки, или затронуть вопросъ; можетъ быть, кто-либо другой разсмотритъ его въ другихъ отношеніяхъ, съ другой точки зрѣнія. Трудъ г. Дубровскаго во всякомъ случаѣ даетъ для статистики нашихъ училищъ богатый матеріалъ.

М. Р.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Январь, 1880.

I.

— Курсъ исторіи русской литературы. Составилъ *М. А. Орловъ*. (Выпускъ первый). (До пушкинскаго періода). Одобренъ учебнымъ комитетомъ и проч. Изданіе четвертое. Спб. 1880.

— Русскіе писатели, какъ воспитательно-образовательный матеріалъ для занятій съ дѣтьми. Выпускъ I и II. Виктора *Острогорскаго*. Спб. 1879.

Преподаваніе русской словесности въ послѣднія лѣтъ десять, какъ извѣстно, приняло новый характеръ; въ частности перемѣна отразилась особенно на преподаваніи исторіи литературы. Въ прежнее время преподаватели этого предмета считали нужнымъ объяснять историческую послѣдовательность и внутреннюю связь литературныхъ эпохъ, постепенное развитіе національнаго характера и эстетическихъ достоинствъ литературы. Предметъ пріобрѣталъ для учащихся живой интересъ, и у сколько-нибудь разумнаго и заботливаго преподавателя становился для учащихся, что называется, „любимымъ предметомъ“: несомнѣнно, онъ имѣлъ большое воспитывающее значеніе. Такъ бывало еще въ тѣ годы, когда самый матеріалъ литературы былъ разработанъ несравненно меньше нынѣшняго, и, стало быть, средства историческаго объясненія были гораздо болѣе скудны. Новая педагогическая система нашла нужнымъ отвергнуть этотъ способъ изложенія предмета. Именно въ то время, когда историко-литературныя изученія разрослись, дѣйствительно, до замѣчательнаго обилія и иногда глубины, именно историческій характеръ изложенія предмета былъ найденъ лишнимъ. Новая программа, въ сущности, устранила *исторію* литературы: изъ нея выбраны были только отдѣльные пункты, какъ удобные и полезные для преподаванія, другіе удалены, какъ неудобные и неполезные; внутренняя связь предмета

совсѣмъ утрачивалась,—къ пользѣ ли пониманія предмета или нѣтъ, объ этомъ, кажется, излишне говорить. Но такова все-таки потребность въ историческомъ объясненіи, что она превозмогла программы: учебники, исполнявшіе ее, въ концѣ-концовъ не могли остаться ей вѣрными; сначала они и были, какъ требовалось новой дидактической системой, собраніемъ произвольно выбранныхъ эпизодовъ русской литературы, безъ объясненія исторической связи эпохъ и внутренняго ихъ смысла, но затѣмъ понадобились все-таки историческія объясненія, и во внѣшнюю рамку принятой программы опять проникли, по мѣрѣ возможности, прежніе пріемы.

Такова и книжка г. Орлова, которую можно взять за образчикъ. Въ качествѣ одобреннаго учебника, она достигла четвертаго изданія; но эта цифра не означаетъ ея внутренняго достоинства, какъ „исторіи". Авторъ старался снабдить свою рамку исторической послѣдовательностью, но историческія объясненія его остаются слишкомъ внѣшними. Какъ бываетъ обыкновенно съ учебниками второй и третьей руки, и учебникъ г. Орлова крѣпко держится различныхъ рутинныхъ положеній, которыя сочтены были за послѣднее слово науки лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ, и продолжаютъ процвѣтать въ учебникахъ, хотя и въ свое время не были этимъ послѣднимъ словомъ, а теперь еще менѣе. Такъ, г. Орлову до сихъ поръ кажется, что иной богатырь нашихъ былинъ означаетъ „тучу" (стр. 43), и авторъ, кажется, не имѣетъ свѣдѣнія о томъ, что въ послѣдніе годы по этой части явились труды высокаго научнаго достоинства; они не только поколебали теорію тучъ и облаковъ, но и дали новыя разъясненія нашей древней поэзіи, которыхъ оффиціальному преподавателю предмета не знать — „не позволяется" (какъ говаривалъ Сумароковъ). Въ курсъ исторіи литературы авторъ внесъ параграфъ: „особенности языка Остромірова евангелія и Несторовой лѣтописи", совершенно не нужный (тѣмъ болѣе, что изложенъ очень смутно):— исторія языка не принадлежитъ собственно къ исторіи литературы; или, если авторъ рѣшилъ обогатить свой курсъ и этимъ предметомъ, то слѣдовало провести его черезъ всѣ главныя эпохи исторіи нашей литературы, — а этого не имѣется. Въ историческихъ объясненіяхъ новой литературы также много неудовлетворительнаго: укажемъ, напримѣръ, на объясненіе того, что̀ такое „романтизмъ". Все изложеніе вообще форменное и сухое.

Совсѣмъ иное впечатлѣніе производитъ книжка г. Острогорскаго, извѣстнаго преподавателя русской словесности и редактора лучшаго у насъ дѣтскаго журнала. Книжка эта—не учебникъ, и авторъ обращаетъ ее къ воспитателямъ и преподавателямъ, желая объяснить, какое прекрасное воспитательное и образовательное значеніе можетъ

имѣть наша литература при разумномъ педагогическомъ употребленіи. Выходя изъ мысли, что извѣстная обдуманная группировка произведеній писателя, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на смыслъ пьесы, можетъ имѣть въ чтеніи прекрасное нравственное вліяніе, г. Острогорскій вознамѣрился разсмотрѣть нѣкоторыхъ изъ русскихъ писателей „со стороны пригодности и важности ихъ для матери, воспитателя и вообще всякаго, кому приходится читать съ дѣтьми и бесѣдовать о прочитанномъ". Ему хотѣлось въ каждомъ, разбираемомъ имъ писателѣ указать „все, съ одной стороны, доступное дѣтямъ по языку и содержанію, а съ другой — представляющее добрыя чувства, мысли и образы, которые желательно запечатлѣть въ дѣтской душѣ". Авторъ вообще считаетъ сознательное изученіе образцовыхъ писателей подростающимъ поколѣніемъ за дѣло великой важности: „не говоря уже о томъ, какъ невольно усвоиваютъ дѣти на своихъ родныхъ поэтахъ *духъ языка*, ребенокъ пріучается *честно мыслить и чувствовать* самъ—изъ честныхъ мыслей и чувствъ лучшихъ людей родины". „Намъ хотѣлось бы,—продолжаетъ авторъ,—чтобы ребенокъ не только читалъ своихъ поэтовъ, но и полюбилъ ихъ какъ друзей; перечитывалъ, и даже охотно училъ ихъ стихи наизусть"...

Изъ этихъ словъ виденъ взглядъ автора на предметъ. Это—теплое, любящее отношеніе и къ лучшимъ произведеніямъ русской литературы, въ которыхъ авторъ видитъ произведенія лучшихъ умовъ и дарованій отечества, и любящее отношеніе къ подростающему поколѣнію, которому онъ желаетъ привить это лучшее изъ наслѣдія поколѣній старшихъ. Свою задачу г. Острогорскій исполняетъ очень внимательно. Остановившись на главнѣйшихъ новыхъ писателяхъ, онъ подробно разсматриваетъ ихъ сочиненія съ точки зрѣнія ихъ пригодности для дѣтскаго чтенія, и въ заключеніе указываетъ изъ каждаго выборъ пьесъ для чтенія. Въ первомъ выпускѣ такимъ образомъ разобраны: Кольцовъ, Крыловъ, Пушкинъ, Жуковскій, Гоголь, Лермонтовъ; во второмъ: Майковъ, Мей, Никитинъ, Шевченко, Тургеневъ, Григоровичъ, гр. Л. Н. Толстой, Погосскій. Авторъ прибавляетъ совершенно справедливо, что выборъ, сдѣланный подобнымъ образомъ, могъ бы служить не только для дѣтей, но и для чтеній простому народу.

Мы считаемъ книгу г. Острогорскаго очень полезнымъ руководствомъ для всѣхъ, кому представляется вопросъ о дѣтскомъ чтеніи или чтеніи въ народной школѣ. Указанія автора сдѣланы съ прекраснымъ пониманіемъ воспитательной стороны литературныхъ произведеній и со вкусомъ къ ихъ сторонѣ поэтической.

II.

— Письма къ М. П. Погодину изъ славянскихъ земель (1835—1861). Выпускъ 1-й. Письма О. М. Бодянскаго. Съ предисловіемъ и примѣчаніями Нила Попова. Москва, 1879.

Погодинъ не былъ настоящимъ „славистомъ“; онъ не былъ и настоящимъ „славянофиломъ“, но онъ займетъ видное мѣсто въ исторіи славянофильскаго движенія въ нашемъ обществѣ или въ исторіи развитія у насъ славянскихъ интересовъ. Исторія уже начинается для того поколѣнія ученыхъ и писателей, которые у насъ были первыми ревнителями славянскихъ идеаловъ, сочувствій и „взаимности“. Остаются лишь немногіе свидѣтели и участники этого перваго движенія къ славянству.

Погодинъ былъ между ними однимъ изъ самыхъ горячихъ ревнителей. Въ своей автобіографіи, писанной для „Біографическаго словаря профессоровъ московскаго университета“ (изданнаго въ 1855 г., къ столѣтнему юбилею московскаго университета), онъ говоритъ, что „не помнитъ времени, когда онъ началъ *любить славянъ;* кажется, онъ родился съ этой любовью“ [1]). Погодинъ чувствовалъ и представлялъ себя чѣмъ-то въ родѣ жреца русской исторіи; ея вопросы онъ трактовалъ всегда какъ свои личные вопросы, — изъ чего и происходило не мало эпизодовъ, довольно комическихъ; поэтому всегда онъ говорилъ о предметахъ русской исторіи съ великимъ жаромъ. Разъ поставивши себѣ вопросъ о славянствѣ, какъ источникѣ русскаго народа, какъ племенной семьѣ, гдѣ русскій народъ очутился старшимъ и сильнѣйшимъ, Погодинъ остался навсегда рьянымъ проповѣдникомъ славянскаго единства, которое представлялось ему въ формѣ, не требовавшей большихъ размышленій — въ формѣ объединенія съ Россіею во главѣ. Онъ понималъ, что это не можетъ совершиться вдругъ, что нужно, чтобы славянскія племена юга и запада пришли сначала къ народному самосознанію; но въ то же время цѣль и не казалась ему особенно далекой — по крайней мѣрѣ въ первыхъ своихъ докладахъ объ этомъ предметѣ, въ 1830-хъ годахъ, онъ полагалъ, что дѣло можетъ быть сдѣлано очень просто и скоро.

Ожиданія Погодина остались тѣмъ, чѣмъ были, т.-е. фантазіей; онъ не совсѣмъ примкнулъ къ славянофильскому кругу, быть можетъ потому, что рѣшалъ вопросъ слишкомъ незамысловато, — тѣмъ не

[1]) Любопытно, что то мѣсто автобіографіи, въ которомъ находятся эти слова и которое говоритъ о славянскихъ сочувствіяхъ Погодина, *было вытущено* въ «Біографическомъ словарѣ» 1855 г. и напечатано только въ 1871 г., въ «Московскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ», № 9.

менѣе, какъ мы сказали, онъ сдѣлалъ не мало для распространенія у насъ свѣдѣній о славянствѣ. Онъ нѣсколько разъ странствовалъ въ славянскихъ земляхъ, былъ въ знакомствѣ и отчасти въ сношеніяхъ со многими изъ главнѣйшихъ представителей славянскаго учено-литературнаго движенія съ 1830-хъ до 1850-хъ годовъ, пересылался съ ними книгами, оказывалъ то или другое содѣйствіе ихъ работамъ и т. п.

Н. А. Поповъ предпринялъ издать переписку Погодина, т.-е. собственно письма къ нему изъ славянскихъ земель, со времени его перваго путешествія и знакомства съ славянскимъ міромъ до 1861 г. Г-нъ Поповъ извѣстенъ какъ большой знатокъ русско-славянскихъ отношеній, которымъ посвященъ цѣлый рядъ его крупныхъ и мелкихъ работъ; настоящее изданіе займетъ между ними свое важное мѣсто. Трудъ издателя состоялъ въ постоянномъ комментаріи къ письмамъ, гдѣ сообщаются біографическія свѣдѣнія о лицахъ, которыя упоминаются въ перепискѣ, или библіографическія свѣдѣнія. Комментарій, вообще точный, полезенъ даже для читателя приготовленнаго.

Въ первомъ выпускѣ помѣщены письма Бодянскаго изъ его путешествія по славянскимъ землямъ, богатыя подробностями о тогдашнемъ ученомъ движеніи въ славянскомъ мірѣ и вообще любопытныхъ для исторіи нашихъ славянскихъ отношеній. Бодянскій былъ первый изъ русскихъ ученыхъ, посланныхъ въ тѣ годы въ славянскія земли для приготовленія къ занятію основанныхъ тогда каѳедръ славянскихъ нарѣчій; за нимъ послѣдовали Срезневскій, Прейсъ, Григоровичъ. Это было *первое* правильное ознакомленіе нашихъ ученыхъ съ славянскимъ міромъ, когда все надо было начинать сначала—знакомиться и съ языками, и съ исторіей, и съ современнымъ положеніемъ славянскихъ народовъ. Этому прошло теперь едва сорокъ лѣтъ! Такъ недалеко идутъ наши славянскія сочувствія и наше „славянское предназначеніе“!..

Бодянскій началъ заниматься славянскими литературами гораздо ранѣе своей поѣздки: для своего магистерства онъ написалъ уже диссертацію „о народной поэзіи славянскихъ племенъ“ (1837 г.). Въ Погодинѣ, который еще въ 1835 году посѣтилъ славянскія земли и вернулся окончательнымъ панславистомъ, Бодянскій видимо имѣлъ единомышленника по славянскимъ предметамъ — оттого и велъ съ нимъ усердную переписку изъ-за границы, отправляя къ нему длинныя письма, цѣлые библіографическіе и ученые доклады. Быть можетъ, Погодинъ заранѣе передалъ ему долю своего славянскаго энтузіазма, или на мѣстѣ, среди славянскихъ патріотовъ, Бодянскій увлекался ихъ энтузіазмомъ, — но любопытно, что и Бодянскій, человѣкъ ума въ особенности положительнаго, даже тяжело-строгаго,

питалъ самыя идеалистическія надежды на славянское движеніе и, напримѣръ, ожидалъ цѣлаго переворота — отъ намѣренія Погодина издавать журналъ, знаменитый впослѣдствіи „Москвитянинъ“. Погодинъ давно уже задумывалъ его изданіе, и въ письмѣ Бодянскаго отъ 1 іюля новаго стиля, 1838 г., изъ Праги, объ этомъ будущемъ журналѣ идетъ такая рѣчь:.. „Повремените съ журналомъ, если можно, до моего возвращенія. Тогда я къ вашимъ услугамъ со всѣмъ, что найдется въ моей котомкѣ и головѣ; тогда можно ему будетъ дать такое и панъ-славянское направленіе, сдѣлать *центромъ славянщины*, сосредоточить въ немъ всѣхъ лучшихъ славянскихъ писателей, и потомъ... о, да что толковать объ этомъ! Вы (т.-е. Погодинъ, самъ писавшій тогда же свои славянскіе дифирамбы въ отчетахъ гр. Уварову!) *не можете представить*, къ какимъ слѣдствіямъ такой журналъ поведетъ, какой *переворотъ* можетъ онъ произвести, и какъ онъ будетъ благодѣтеленъ не только для Руси, но и для всѣхъ, ей единокровныхъ. Скажете: „это тебѣ такъ грезится!“ Нѣтъ, нѣтъ и еще нѣтъ! Я смотрю въ оба...“ (стр. 60). Журналъ Погодина осуществился, но ни мало не осуществились надежды Бодянскаго. Погодинъ давалъ много мѣста и славянскимъ предметамъ, принялъ въ журналѣ участіе и Бодянскій, — но съ одной стороны вѣроятно обстоятельства, не предвидѣнныя Бодянскимъ, т.-е. общее положеніе русской литературы, не позволяли журналу объяснить свою славянскую систему; съ другой—странные журнальные пріемы Погодина сдѣлали то, что „Москвитянинъ“ на „Руси“ скорѣе отталкивалъ отъ славянства, чѣмъ привлекалъ къ нему. Въ славянщинѣ онъ, разумѣется, не сдѣлался центромъ, — потому что устроить такой центръ вовсе не такъ просто. Наконецъ, и самая система Погодина, которую въ то время, повидимому, раздѣлялъ и Бодянскій, теоретически не была рѣшеніемъ славянскаго вопроса — между прочимъ поэтому она не могла даже быть высказана въ русской литературѣ: Погодинъ — искренно или неискренно — не разумѣлъ оффиціальнаго положенія русскихъ дѣлъ. Правительство вовсе не было расположено къ панславистическимъ планамъ, и политика его состояла въ сохраненіи неизмѣннымъ существовавшаго порядка вещей, — между прочимъ и въ славянско-австрійскомъ мірѣ.

Въ дальнѣйшихъ выпускахъ своего изданія, г. Поповъ обѣщаетъ письма западно-славянскихъ и юго-славянскихъ ученыхъ: самую обширную и важную часть переписки составляютъ письма знаменитаго Шафарика (ихъ около 140), далѣе слѣдуютъ письма Ганки, Зубрицкаго, Караджича, Вагилевича, Линде, Мацѣевскаго, Копитара, Коллара и проч.

Въ литературѣ западно-славянской (т.-е. въ особенности у чеховъ)

также начинается ретроспективное изученіе славянскаго движенія: у чеховъ издана большая переписка Челяковскаго, записки Юнгманна, переписка Добровскаго и Ганки, значительная переписка Шафарика съ Колларомъ; у хорватовъ—переписка Станка Враза и друг. Надо желать, чтобы издано было еще больше подобнаго матеріала, и тогда можно было бы съ большой полнотой возстановить любопытныя времена западно-славянскаго „возрожденія",—исполненныя такихъ тревогъ, такихъ замѣчательныхъ научныхъ произведеній и такихъ идеалистическихъ ожиданій.

Съ любопытствомъ ждемъ слѣдующихъ выпусковъ изданія г. Попова.

Въ 1-мъ выпускѣ намъ встрѣтилась одна ошибка, требующая исправленія. Говоря объ извѣстномъ панславистѣ Штурѣ, г. Поповъ приводитъ въ числѣ его сочиненій брошюру „о необходимости одного литературнаго языка для чеховъ, моравянъ и словаковъ", напечатанную на чешскомъ языкѣ въ 1846 году. Дѣло было какъ разъ обратно. Штуръ стоялъ вовсе не за одинъ литературный языкъ для чеховъ и словаковъ, а, напротивъ, настаивалъ на отдѣльной словацкой литературѣ, и такъ какъ это былъ писатель очень вліятельный и успѣлъ образовать въ этомъ смыслѣ цѣлую школу, то чехи и также не раздѣлявшіе его мнѣній словаки возстали противъ него и въ книжкѣ, упоминаемой г. Поповымъ (собственно она называлась: „Hlasová o необходимости" и пр.), собранъ былъ цѣлый длинный рядъ мнѣній авторитетныхъ чешско-словацкихъ писателей именно *противъ* Штура.

III.

— Jan Žižka. O žsepsání iwotopisu jeho pokusil se Wáclaw Wladiwoj Tomek. W Praze, 1879. (Янъ Жижка. Опытъ біографіи, Вацлава Владивоя Томка).

Гуситство составляетъ наиболѣе живую, энергическую и характерную эпоху чешской исторіи, эпоху, когда чешскій народъ выказалъ наибольшую историческую дѣятельность, всего ярче выразилъ свои національныя особенности и всего сильнѣе вмѣшался въ судьбы цѣлаго европейскаго развитія. Гусъ, религіозный реформаторъ, положившій прочное основаніе церковному перевороту въ западной Европѣ, оставившій въ исторіи глубокій слѣдъ своей дѣятельностью и достоинствомъ своей личности, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно характеристическій славянинъ: въ своей домашней исторіи, онъ былъ не только религіозный учитель, но и ревностный представитель своей національности, которой уже тогда приходилось бороться съ тяжелымъ наплывомъ нѣмецкой стихіи. Лютеръ повелъ дѣло дальше, но

его характеръ едва ли былъ глубже; имя Гуса осталось свѣтлымъ и вмѣстѣ печальнымъ свидѣтельствомъ силы чистаго убѣжденія. Его идеи господствовали надъ чешскимъ народомъ въ теченіи цѣлыхъ двухъ столѣтій, и только послѣ долгой, отчаянной борьбы чешскій народъ палъ въ началѣ XVII столѣтія подъ истребительной реакціей католицизма. Въ теченіи другихъ двухъ столѣтій онъ былъ почти мертвъ, до своего новѣйшаго національнаго пробужденія.

Всѣ славянскія возрожденія начинались съ обновленія историческаго прошедшаго и обращенія къ уцѣлѣвшимъ преданіямъ народной жизни. Только въ этихъ источникахъ народность, забытая высшими классами, притѣсненная или совсѣмъ изгнанная изъ оффиціальнаго быта и школы, могла возстановить свое самосознаніе. И дѣйствительно, старыя преданія производили обыкновенно свое дѣйствіе: чувство національнаго достоинства выростало при воспоминаніяхъ о старой свободѣ, старыхъ громкихъ подвигахъ; изученіе, направленное на старину и народность, еще жившую въ быту и преданіяхъ народной массы, освѣжало общество сближеніемъ съ этой заброшенной массой, указывало для общественной дѣятельности новыя достойныя цѣли въ образованіи народа, въ заботѣ объ его матеріальномъ и нравственномъ благосостояніи. Въ новыхъ славянскихъ литературахъ, и всего болѣе въ чешской—проходятъ именно, съ одной стороны, черта патріотическаго романтизма, и съ другой—стараніе создать литературу для народа. При ближайшемъ знакомствѣ съ народомъ оказывалось, что въ немъ еще не совсѣмъ заглохли иныя представленія, которыя были нѣкогда мотивомъ историческихъ событій. Такъ было отчасти и съ идеями гуситскими.

Въ образованномъ среднемъ классѣ, принявшемъ національное направленіе, въ ряду старыхъ историческихъ преданій особенныя сочувствія возбуждало гуситство. Чувствовалось, что здѣсь именно заключается главнѣйшій историческій интересъ чешскаго прошлаго и главнѣйшее право чеховъ на почетное мѣсто во всемірной исторіи. Но, кромѣ того, Гусъ имѣлъ и другое важное значеніе въ чешской исторіи: религіозный реформаторъ соединялся въ немъ съ ревностнымъ національнымъ патріотомъ. Въ то время, когда чешская жизнь охватывалась многоразличными вліяніями германства, политическими, общественно-бытовыми, книжно-образовательными, Гусъ явился горячимъ защитникомъ чешской народности. Это было новое право на историческое воспоминаніе современниковъ. Но католицизмъ никакъ не вязался съ гуситскими сочувствіями и становился иногда имъ прямо поперекъ: какъ быть съ этой привлекательной, но и неудобной исторіей? Этотъ вопросъ еще не рѣшенъ въ чешскомъ общественномъ мнѣніи и литературѣ. Гусъ—національной герой; патріотическіе пи-

сатели съ высокимъ уваженіемъ называютъ его имя; „гуситскія“ пѣсни поются съ особеннымъ чувствомъ въ кружкахъ молодыхъ патріотовъ; но историческій смыслъ дѣятельности Гуса все еще не выясненъ въ *чешской* литературѣ во всей его полнотѣ. Говорятъ съ великими похвалами о его славѣ, его характерѣ,—но въ то же время хотятъ какъ будто извинить его передъ католицизмомъ, указываютъ, что, собственно говоря, онъ былъ только противъ злоупотребленій клерикализма и развѣ только въ послѣдніе годы позволилъ себѣ нѣкоторыя рѣзкости, противныя католической церкви. Когда русскіе историки гуситства (Новиковъ, Гильфердингъ) видѣли въ стремленіяхъ Гуса идеи, очень близкія къ православію (по ихъ ученію — къ *славянскому* пониманію христіанства) и считали эти стремленія слѣдомъ православной традиціи, хранившейся въ чешскомъ народѣ со временъ его первоначальнаго православнаго крещенія, авторитетнѣйшій чешскій историкъ, Палацкій, встрѣтилъ этотъ взглядъ съ особенной неохотой—хотя, какъ протестантъ, могъ бы быть совершенно свободенъ отъ католической враждебности къ подобной тэмѣ. Подобнымъ образомъ, гуситская эпоха считается своего рода героическимъ вѣкомъ чешской исторіи; воители ея славятся какъ великіе защитники своего народа,—еще недавно поставленъ Жижкѣ памятникъ въ знаменитомъ съ его временъ Таборѣ,—но отъ *кого* и отъ *чего* эти герои защищали чешскій народъ?—этотъ вопросъ не доходитъ до положительнаго разъясненія.

Но, можетъ быть, это—праздный вопросъ? Пережито время религіозныхъ войнъ и споровъ, и различіе исповѣданій совсѣмъ не имѣетъ теперь того значенія, какое имѣло оно прежде. Но, къ сожалѣнію, не только не пережито время религіозныхъ столкновеній (доказательства—борьба противъ клерикализма во Франціи, Kulturkampf въ Германіи и пр. и пр.), но несомнѣнно, что католицизмъ—настоящій, откровенный католицизмъ,—устами своего главы, признаваемаго непогрѣшимымъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ вмѣшивается въ дѣло современной науки и цѣлаго просвѣщенія, церковной властью судитъ и отвергаетъ результаты этой науки, и словомъ, отвергаетъ всякую терпимость и хочетъ быть исключительнымъ распорядителемъ не только въ дѣлѣ вѣры, но и въ дѣлѣ научной мысли. Другія исповѣданія или уклоняются отъ подобныхъ заявленій, или дѣйствуютъ противъ науки болѣе или менѣе скрыто; но католицизмъ прямо заявилъ себя ея непримиримымъ врагомъ. Индифферентизмъ,—который, между прочимъ вслѣдствіе этого самаго, и распространяется очень сильно въ новѣйшее время въ самомъ католическомъ обществѣ,—скрадываетъ это вопіющее противорѣчіе; образованнѣйшіе изъ католиковъ стараются избѣжать его прямой постановки, — но оно существуетъ

самымъ несомнѣннымъ образомъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ особенно бросается въ глаза. Съ такими противорѣчіями соединено и отношеніе чеховъ къ славнѣйшей эпохѣ ихъ исторіи — религіозному движенію XV-го вѣка. Католики должны осуждать Гуса, Жижку, таборитовъ; чешскій патріотизмъ велитъ считать ихъ героями.—Чего?

Этотъ вопросъ, повторяемъ, не рѣшенъ,—но онъ напрашивается на рѣшеніе. Чешская литература еще не берется за него, а пока только съ молчаливымъ согласіемъ прославляетъ гуситскую эпоху, по крайней мѣрѣ съ національной точки зрѣнія, какъ борьбу за чешскую народность. На эту эпоху давно направлено вниманіе и чешской поэзіи, и чешскаго историческаго романа и—что серьёзнѣе того и другого—историческаго изученія. На эпохѣ Гуса и послѣдовавшихъ народно-церковныхъ отношеній съ особенною любовью останавливались три главнѣйшіе чешскіе историка—Палацкій (въ „Чешской исторіи“, доведенной до 1526 г., и въ отдѣльныхъ трудахъ по исторіи гуситства), Антонинъ Гиндели (авторъ прекрасной „Исторіи Чешскихъ Братьевъ“, „Рудольфа II“, и выходящей теперь „Исторіи чешскаго возстанія 1618 г.“), и наконецъ Томекъ.

Это—старѣйшій изъ нынѣшнихъ чешскихъ историковъ (род. 1818). Его первые историческіе труды появились еще въ концѣ тридцатыхъ годовъ. Еще тогда Палацкій предложилъ ему заняться исторіей города Праги,—эту работу Томекъ ведетъ и до сихъ поръ. Въ 1848 и 1849 году онъ вовлеченъ былъ въ политическую жизнь, былъ членомъ австрійскаго рейхсрата въ Вѣнѣ и Кромержижѣ, а въ 1850 г. получилъ каѳедру исторіи Австріи въ пражскомъ университетѣ. Изъ его прежнихъ трудовъ особенное вниманіе обратила „Исторія пражскаго университета“, по-нѣмецки, написанная къ 500-лѣтнему юбилею университета въ 1849 году (болѣе подробное чешское изложеніе этой исторіи ограничилось первымъ томомъ); далѣе—„Руководство къ исторіи Австріи“ (1858 г.). Написанная послѣ политическихъ опытовъ 1848—49 года, эта книга представляетъ точку зрѣнія чешскихъ политическихъ людей противъ нѣмецкихъ централистовъ. Томекъ возражаетъ противъ того взгляда, что исторія собственно Австріи (внѣ принадлежности къ нѣмецкому единству) не имѣетъ смысла, лишена связующей идеи и, слѣдовательно, невозможна. Чешскій историкъ говоритъ, напротивъ, что судьба Австріи имѣетъ достаточный историческій смыслъ, что зерно австрійской исторіи составляетъ вовсе не такъ-называемый нѣмецкій Stammland и зависимость отъ Германской имперіи, а давняя естественная связь интересовъ тѣхъ земель, которыя теперь соединены въ австрійской имперіи. Такимъ образомъ, исторія Австріи очень цѣле-

сообразна... Это и есть извѣстный австрійско-патріотическій взглядъ, господствующій у чешскихъ политическихъ людей, тотъ взглядъ, который побудилъ Палацкаго высказать, а бана Елачича повторить извѣстныя слова, что если бы Австріи не было, то ее слѣдовало бы создать,—взглядъ, къ которому враждебно относятся и нѣмецкіе централисты и наши панславистскіе патріоты. Далѣе, Томекъ написалъ „Исторію Чехіи", переведенную и на русскій языкъ (послѣдняя передѣлка 1864 г.). Наконецъ, съ 1855 года началъ выходить главнѣйшій трудъ Томка „Исторія города Праги"; въ прошломъ году вышелъ 4-й томъ этой исторіи, доведенной до 1436 года,—кромѣ того, въ видѣ приготовительной работы Томекъ издалъ подробное описаніе старой Праги. Въ этомъ сочиненіи Томка особенно выказалась отличительная черта его исторической работы: чрезвычайное трудолюбіе, величайшая точность въ частныхъ изслѣдованіяхъ. Автору нужно было разыскать и внимательно пересмотрѣть множество источниковъ, старыхъ грамотъ, описей, городскихъ книгъ и т. п., матеріалы по преимуществу рукописные, и онъ сдѣлалъ это съ рѣдкой выдержкой: матеріалъ собранъ и переработанъ съ замѣчательной полнотой и точностью.

„Исторія города Праги" уже въ первыхъ томахъ была часто важнымъ исправленіемъ и богатымъ дополненіемъ къ „Исторіи чешскаго народа", Палацкаго. Въ третьемъ томѣ историкъ приступилъ уже къ разсказу бурнаго періода чешской исторіи, начавшагося дѣятельностью Гуса; четвертый томъ весь занятъ исторіей гуситства. Авторъ держится своей спеціальной задачи, но исторія Праги въ тѣ годы почти совмѣщала въ себѣ исторію гуситскаго движенія.

Настоящій трудъ Томка находится въ связи съ исторіей Праги. При работѣ надъ ней автору приходилось пересматривать гораздо больше матеріала, чѣмъ было собственно необходимо для этой исторіи. Между прочимъ, представлялся такой матеріалъ относительно знаменитѣйшаго героя гуситскихъ войнъ, Жижки, и Томекъ рѣшился собрать его въ отдѣльной книгѣ. Свѣдѣній старыхъ и новыхъ оказалось не мало,—хотя все-таки недостаточно для біографіи обстоятельной, но авторъ собралъ ихъ съ обычной внимательностью, и книга его представляетъ подробнѣйшее и полнѣйшее собраніе сохранившихся извѣстій о дѣяніяхъ его героя. Изучая исторію гуситства, Томекъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ разбираетъ показанія лѣтописцевъ и всегда опирается на первые источники; для вѣрнаго пониманія военныхъ дѣйствій онъ осматривалъ всѣ мѣста сраженій, такъ что описанія этого рода вообще сдѣланы съ большой наглядностью. Таковъ его разсказъ и въ біографіи Жижки.

Но свое желаніе быть строго точнымъ, авторъ доводитъ, быть

можетъ, до слишкомъ большой крайности. Избѣгая всегда сказать больше, чѣмъ говоритъ его источникъ, онъ почти не пользуется правомъ историка обобщать явленія и угадывать ихъ внутренній смыслъ. Онъ даетъ факты и предоставляетъ читателю дѣлать то или другое заключеніе. Его трудъ—не художественная исторія, которая реставрируетъ давно минувшіе вѣка въ оживленную картину, а скорѣе историческое слѣдственное дѣло, исполненное съ большимъ безпристрастіемъ и осмотрительностью. Но мы, вѣроятно, не ошибемся, если предположимъ, что въ этомъ характерѣ изложенія отражается и та неопредѣленность, какая отличаетъ новѣйшія чешскія воспоминанія о гуситской эпохѣ. Авторъ какъ будто намѣренно хочетъ занять средину между католической точкой зрѣнія и той, которая видитъ въ гуситствѣ, какъ протестѣ противъ католицизма, великій историческій фактъ. Не знаемъ, какъ эта манера удовлетворяетъ католиковъ, но не-католиковъ она, вѣроятно, не будетъ удовлетворять своимъ индифферентизмомъ. Но за авторомъ всегда останется великая заслуга: онъ совершилъ сложную и нелегкую работу, собравши и очистивши критикой весь историческій матеріалъ, какой сохранился о Жижкѣ, и связавши его въ обстоятельный разсказъ; безъ этой работы не возможна ни та исторія, которая поставила бы себѣ цѣлью разъясненіе внутренняго смысла и развитія событій, ни исторія художественная.

Какъ мы слышали, книга Томка выйдетъ и на русскомъ языкѣ; это будетъ очень полезное пріобрѣтеніе для нашей литературы. — А. А.

IV.

— *Соціологія.* Евгенія де-Роберти. С.-Петербургъ, 1880.

Содержаніе книги г. де-Роберти не вполнѣ соотвѣтствуетъ ея заглавію; это не соціологическій трактатъ, обнимающій собою цѣлую науку, а скорѣе—введеніе въ соціологію, опытъ разрѣшенія нѣкоторыхъ предварительныхъ вопросовъ, ею возбуждаемыхъ. Основная задача и методологическія особенности соціологіи, мѣсто ея въ ряду наукъ, дѣленіе ея и отношеніе къ біологіи и психологіи—вотъ главныя тэмы, на которыхъ останавливается авторъ.

Чего недостаетъ соціологіи, чтобы быть наукой? На этотъ существенно-важный вопросъ г. де-Роберти отвѣчаетъ слѣдующимъ образомъ: „Соціологіи недостаетъ *естественной исторіи общества*, или сравнительнаго и аналитическаго описанія общественныхъ явленій.

Другими словами, соціологіи недостаетъ яснаго сознанія того, что, будучи наукою отвлеченною, она, вмѣстѣ съ тѣмъ, есть и *наука описательная* по существу. Вотъ, въ двухъ словахъ, тезисъ, который мы намѣрены защищать здѣсь противъ обычнаго мнѣнія о несовмѣстимой противоположности, въ приложеніи къ какой-либо системѣ научныхъ свѣдѣній, понятій объ отвлеченномъ и описательномъ знаніяхъ".

Основу всякаго научнаго изслѣдованія составляетъ наблюденіе, въ обширномъ смыслѣ слова; но способы наблюденія въ различныхъ наукахъ—не одни и тѣ же. Существуютъ науки, наблюдающія путемъ непосредственнаго воспріятія (интуитивно), — такова математика. Другія—напримѣръ, астрономія—наблюдаютъ въ обыкновенномъ или тѣсномъ значеніи этого слова. Еще другія наблюдаютъ, воспроизводя явленія въ рядѣ опытовъ, т.-е. прибѣгая къ экспериментаціи,—таковы физика и химія. Наконецъ, существуютъ науки, которыя наблюдаютъ съ помощью широко примѣняемыхъ пріемовъ классификаціи, группировки, опредѣленія и т. п.,—словомъ, существуютъ науки, наблюдающія съ помощью такъ-называемаго *научнаго описанія;* таковы біологія и соціологія. Равноправны ли науки описательныя съ тѣми, которыя употребляютъ другіе способы наблюденія? Обыкновенно этотъ вопросъ разрѣшается отрицательно, причемъ одни низводятъ соціологію въ разрядъ наукъ конкретныхъ, а другіе, чтобы сохранить за нею достоинство абстрактной науки, вытѣсняютъ изъ нея элементъ описательный. И то, и другое г. де-Роберти считаетъ одинаково ошибочнымъ; описательный элементъ въ соціологіи безусловно необходимъ, какъ единственное орудіе, спеціально приспособленное къ ея задачѣ,—и, вмѣстѣ съ тѣмъ, соціологія не можетъ быть признаваема наукой абстрактной. Взглядъ автора на различіе между конкретными и абстрактными науками не совпадаетъ съ общепринятымъ мнѣніемъ позитивистовъ. Конкретною наукой г. де-Роберти называетъ науку синтетическую, возсоединяющую вновь то, что было разъединено науками аналитическими или отвлеченными—именно *науками*, а не *наукою*, такъ какъ для самаго простого синтеза необходимы, по крайней мѣрѣ, два элемента, два основныхъ свойства изъ числа изслѣдуемыхъ различными отвлеченными науками. Конкретной химіи, біологіи, соціологіи, поэтому, быть не можетъ. Настоящія конкретныя науки—напримѣръ, геологія—всегда заключаютъ въ себѣ результаты двухъ или нѣсколькихъ абстрактныхъ наукъ, въ примѣненіи къ извѣстной реальной совокупности предметовъ; онѣ всегда имѣютъ дѣло съ естественными сочетаніями уже изслѣдованныхъ и анализированныхъ абстрактными науками соединеній. Абстрактная наука, съ другой стороны, изучаетъ какое-либо

одно основное свойство матеріи, оставаясь абстрактной, каковъ бы ни былъ употребляемый ею способъ изученія, т.-е. наблюденія.

Итакъ, преобладаніе описанія въ соціологіи не измѣняетъ свойственнаго ей характера, не исключаетъ ее изъ числа основныхъ абстрактныхъ наукъ. Оно обусловливается бо́льшею сложностью явленій, которыя изучаетъ соціологія, и недоступностью для нея, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, какъ непосредственнаго наблюденія, такъ и опыта (въ смыслѣ эксперимента). Но что́ такое описаніе, какъ методъ изслѣдованія? „Описаніе, — говоритъ г. де-Роберти, — есть наблюденіе, но уже нѣсколько видоизмѣненное или получившее дальнѣйшее развитіе. Можно сказать также, что оно есть дополненіе къ наблюденію въ чистомъ его видѣ,—дополненіе, въ нѣкоторыхъ наукахъ только полезное, въ другихъ—положительно необходимое. Но лучше всего представить себѣ описаніе, какъ особую ступень или подготовительную фазу въ научной работѣ, какъ посредствующее звено въ процессѣ идеализаціи или отвлеченія отъ міра реальныхъ явленій. Въ этомъ смыслѣ можно приравнять наблюденіе къ работѣ, которая въ промышленной экономіи служитъ къ добыванію сырого продукта, а описаніе — къ дальнѣйшей обработкѣ, которая хотя и не даетъ еще продукту его окончательной формы, но уже подвергаетъ его глубокому измѣненію. Коренныя особенности біологическихъ или соціологическихъ явленій обусловливаютъ необходимость ихъ предварительной подготовки или обработки, занимающей средину между голымъ наблюденіемъ и послѣдними усиліями отвлеченія и анализа... Чѣмъ болѣе наука вынуждена умножать и разнообразить свои наблюденія, тѣмъ болѣе также видитъ она себя въ необходимости распредѣлять явленія въ извѣстномъ порядкѣ, различать ихъ между собою, опредѣлять и классифицировать, однимъ словомъ—описывать явленія... Пріемы научнаго описанія въ біологіи (а слѣдовательно, и въ соціологіи) суть тѣ вспомогательные лѣса, безъ которыхъ нельзя вывести самое зданіе или достигнуть высшихъ отвлеченій, называемыхъ естественными законами. Научное описаніе, точно такъ же, какъ и анализъ, есть процессъ, посредствомъ котораго умъ нашъ разлагаетъ явленія, съ цѣлью схватить и удержать въ памяти представляемыя ими сходства и различія. Въ обоихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло съ существенно одинаковымъ способомъ изслѣдованія; но о вещахъ видимыхъ обыкновенно говорятъ—*описаніе*, о невидимыхъ—*анализъ*". Г-нъ де-Роберти признаётъ, впрочемъ, что установленное обычною рѣчью различіе между этими двумя терминами не вовсе лишено основанія, что ему соотвѣтствуетъ нѣчто и въ построеніи соціологіи. Всякая абстрактная и, вмѣстѣ съ тѣмъ, описательная наука, достигнувъ положительнаго фазиса развитія, представляетъ

всегда два послѣдовательныхъ наслоенія или двѣ научныя формаціи: *чисто описательную*, которой можно дать названіе *естественной исторіи* явленій, и *аналитическую*, которую можно назвать ихъ *естественной наукой*. Первая служитъ какъ-бы вступленіемъ или приготовленіемъ къ послѣдней. „Крайняя степень сложности явленій органическаго міра составляетъ единственную причину, производящую въ соотвѣтствующихъ наукахъ — біологіи и соціологіи — это, такъ-сказать, научное удвоеніе или усложненіе, почти вовсе неизвѣстное другимъ наукамъ“.— „Въ абстрактной наукѣ,—говоритъ авторъ въ другомъ мѣстѣ,—описаніе имѣетъ цѣлью анализъ и постоянно обнаруживаетъ стремленіе подняться выше простого описанія“. Въ будущемъ біологія и соціологія могутъ сдѣлаться сначала науками экспериментальными (какъ нѣкоторые отдѣлы біологіи въ наше время), а потомъ и дедуктивными; но описаніе всегда останется ихъ основнымъ методомъ, ихъ послѣднимъ методологическимъ прибѣжищемъ.

Въ отдѣлѣ о мѣстѣ соціологіи въ ряду наукъ г. де-Роберти продолжаетъ отстаивать права соціологіи на имя абстрактной науки, полемизируя въ особенности противъ классификаціи наукъ, предложенной Гербертомъ Спенсеромъ [1]). По мнѣнію Спенсера, чего нѣтъ въ началѣ, того не можетъ быть ни въ срединѣ, ни въ концѣ процесса; а такъ какъ въ первую эпоху космическаго бытія дѣйствуютъ только механическія, физическія и химическія силы, то біологическія и соціологическія свойства могутъ быть только продуктами свойствъ механико-физико-химическихъ, или—вѣрнѣе—самыми этими свойствами. „Разсужденіе это,—возражаетъ г. де-Роберти,—въ такомъ только случаѣ имѣло бы значеніе и могло бы меня убѣдить, если бы было доказано, что въ началѣ существовали и органическіе, и соціальные аггрегаты, а на лицо были лишь силы механическія, физическія и химическія; ибо дедуктивное разсужденіе правильно только въ той степени, въ какой оно ограничивается вѣрнымъ воспроизведеніемъ въ своемъ заключеніи того, что уже содержалось въ посылкахъ... Когда я встрѣчаю упорное отрицаніе абстрактнаго характера біологіи и соціологіи и ихъ полнаго научнаго равенства съ науками неорганической природы, я не могу не видѣть въ этомъ новомъ появленіи старой доктрины прямого слѣдствія того, что въ соціологіи называется естественной реакціей, т.-е., въ сущности, слѣдствія усталости мысли, наступающей послѣ всякаго сильнаго умственнаго напряженія. Обыкновенно усталость эта овладѣв-

[1]) Герберть Спенсеръ дѣлитъ науки на абстрактныя, абстрактно-конкретныя и конкретныя; біологія и соціологія отнесены имъ къ числу наукъ конкретныхъ.

ваетъ, повидимому, сперва лучшими умами, естественными вожаками человѣчества какъ въ поступательныхъ, такъ и въ реактивныхъ его движеніяхъ. Поступательное движеніе было осуществлено великой концепціей Конта о соціологіи; реакція же представлена нынѣ доктриною Спенсера[*]. Автору кажется, что Спенсеръ остановился на полу-дорогѣ, что, послѣдовательно проводя свою мысль, онъ долженъ былъ придти къ уничтоженію *несократимыхъ остатковъ* не только біологіи и соціологіи, но и химіи, и физики, къ поглощенію всѣхъ наукъ одною теоретическою механикою, къ поискамъ за первичнымъ началомъ, единою силой, основной энергіей—пожалуй, даже за конечной причиной. Спенсеръ правъ, признавая существованіе между науками органическаго и неорганическаго міра рѣзко очерченной, неизгладимой естественной границы; но онъ неправъ, помѣщая эту границу въ область эволюціи или генезиса явленій. По убѣжденію г. де-Роберти, она лежитъ всецѣло въ области метода.

Переходя къ вопросу о дѣленіи соціологіи, г. де-Роберти замѣчаетъ, что высшія науки [1]) всего труднѣе поддаются дѣленію, какъ вслѣдствіе болѣе поздней и потому менѣе интенсивной, менѣе широкой ихъ разработки, такъ и въ особенности вслѣдствіе бо́льшей сложности изучаемыхъ ими явленій. Чѣмъ проще явленіе или аггрегатъ, тѣмъ легче, при объясненіи образующихъ его свойствъ и опредѣленіи ихъ соотношеній, отдѣльно разсматривать и анализировать тѣ и другія. Раздѣленіе и подраздѣленіе предмета въ простой наукѣ никогда не является непреодолимымъ препятствіемъ къ осуществленію того, что́ можно назвать *синоптизмомъ* науки, т.-е. къ необходимому и законному во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго знанія преобладанію обозрѣнія общаго надъ обозрѣніемъ частностей. Между тѣмъ, чѣмъ сложнѣе анализируемыя наукою явленія, тѣмъ больше она, повидимому, нуждается въ строго спеціализированномъ изученіи ихъ. Не слѣдуетъ ли заключить отсюда, что соціологіи, въ силу наибо́льшей сложности ея, суждено остаться полу-наукой? Нѣтъ; противорѣчіе между обѣими сторонами вопроса—только кажущееся; выходъ изъ него есть, благодаря раздвоенію соціологіи, какъ науки описательной, на двѣ части, взаимно дополняющія одна другую. Въ первой изъ этихъ частей—т.-е. въ естественной исторіи—спеціализація, раздѣленіе, могутъ и должны быть доведены до крайнихъ предѣловъ; анализъ можетъ и долженъ господствовать здѣсь безраздѣльно. Во второй части—т.-е. въ естественной наукѣ—нельзя обой-

---

[1]) Высшими науками называются послѣднія въ рядѣ, расположенномъ по убывающей общности и возрастающей сложности явленій (математика — астрономія — физика—химія—біологія—соціологія).

тись вовсе безъ классификаціи, или безъ дѣленія; но классификація можетъ не вдаваться въ частности, дѣленіе можетъ не быть такимъ многосложнымъ, какимъ оно несомнѣнно было бы безъ упомянутаго выше коррективa — безъ неограниченной дѣлимости естественной исторіи. Впрочемъ, основной синоптическій характеръ (т.-е. стремленіе обнять въ одно и то же время всѣ части одного цѣлаго) общей соціологіи (или естественной науки), точно также какъ и коррективъ этого синоптизма — чрезвычайная раздробленность подготовительнаго анализа — представляются существенно относительными понятіями. Они вовсе не исключаютъ ни необходимости—для общей соціологіи—классифицировать явленія, законы которыхъ она формулируетъ, и прибѣгать, въ извѣстныхъ границахъ, къ раціональному дѣленію своихъ работъ; ни полезности — для естественной исторіи соціальныхъ явленій — стремиться къ достиженію болѣе высокихъ обобщеній, чрезъ соединеніе сосѣднихъ изслѣдованій и уничтоженіе произвольныхъ или слишкомъ близкихъ между собою разграничительныхъ линій. Дѣленія и подраздѣленія той части соціальной науки, которую въ настоящее время уже нерѣдко называютъ естественной исторіей обществъ, г. де-Роберти считаетъ слишкомъ общеизвѣстными, чтобы дѣлать имъ подробный перечень. Что касается до естественной науки объ обществѣ, то единственнымъ цѣлесообразнымъ дѣленіемъ ея г. де-Роберти признаетъ то, которое было предложено Контомъ, т.-е. дѣленіе на статику (анатомію, морфологію, біостатику) и динамику (физіологію, біодинамику), дополненіемъ къ которымъ можетъ служить развѣ еще патологія общества. На время, однако, господство въ соціологическомъ описаніи должно принадлежать строго унитарной системѣ, не отдѣляющей даже структуру отъ функцій. При такой системѣ, по мѣрѣ параллельнаго описанія устройства и отправленій данной формы ассоціаціи—семейства, родственнаго союза, расы и т. п. — неизбѣжно обнаружится, что та или другая структура болѣе спеціально приспособлена къ выполненію той или другой функціи, и явится возможность съ нѣкоторою точностью опредѣлить наиболѣе постоянныя отношенія между извѣстными разрядами соціальныхъ формъ и извѣстными категоріями соціальныхъ отправленій. Такимъ образомъ, незамѣтно достигнется раціональная, естественная классификація соціальныхъ явленій. О дальнѣйшемъ подраздѣленіи статики и динамики обществъ, при настоящемъ положеніи соціологіи, незачѣмъ и думать. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, самъ г. де-Роберти предлагалъ проектъ такого подраздѣленія; но теперь онъ пришелъ къ убѣжденію въ его преждевременности. Необходимо, по мнѣнію автора, заняться хорошимъ дѣленіемъ или классификаціей подготовительныхъ изслѣдованій, назна-

ченіе которыхъ — способствовать образованію и развитію статики и динамики обществъ. Ошибочно было бы предполагать, что здѣсь идетъ рѣчь о простомъ перемѣщеніи данной классификаціи изъ одной научной области въ другую. Классификація, назначенная для естественной науки обществъ, не могла бы—безъ большихъ и радикальныхъ измѣненій — быть полезною въ естественной исторіи соціальныхъ явленій. Въ этомъ отношеніи потребности обѣихъ частей соціальной науки значительно различаются и по своему существу, и по своей интенсивности.

Глава, посвященная вопросу о дѣленіи соціологіи, заканчивается возраженіями противъ взгляда, признающаго исторію и статистику болѣе или менѣе независимыми частями соціальной науки. Ни исторія, ни статистика не составляетъ науки въ единственно правильномъ смыслѣ этого слова. Это только средства изслѣдованія или методы, одинаково свойственные всѣмъ частямъ и подраздѣленіямъ соціологіи. Въ исторіи и статистикѣ нѣтъ методологическаго элемента, дѣйствительно новаго и неизвѣстнаго, или такого, который могъ бы сравняться съ основными методами наблюденія, экспериментаціи и описанія; методы историческій и статистическій суть только особыя формы описанія. Исторія можетъ быть опредѣлена какъ описаніе во времени, статистика — какъ описаніе въ пространствѣ. Примѣненіе этихъ двухъ родовъ описанія столь же полезно въ біологіи, какъ и въ соціологіи; можно, въ извѣстной мѣрѣ, пользоваться ими и въ низшихъ наукахъ. Кромѣ того, каждый изъ этихъ методовъ — необходимое и обязательное дополненіе другого; внѣ совмѣстнаго ихъ употребленія всякое описаніе остается односторонникъ и неполнымъ.

Разбору отношеній соціологіи къ біологіи и психологіи г. де-Роберти предпосылаетъ особую главу объ *аналогіи*, какъ методѣ изслѣдованія явленій, и въ особенности о такъ-называемой *реальной аналогіи*, т.-е. ученіи, сглаживающемъ всякое дѣйствительное разграниченіе между теоріями о жизни, законами мышленія и законами, управляющими развитіемъ обществъ [1]). Въ основаніи реальной аналогіи лежитъ гипотеза о единствѣ или основной однородности матеріи и единствѣ или однородности энергіи или силы. Не отвергая этой гипотезы, облегчающей интеграцію или установленіе основного единства знанія, г. де-Роберти находитъ, что она нисколько не пре-

[1]) Въ другомъ мѣстѣ г. де-Роберти опредѣляетъ реальную аналогію какъ методъ изслѣдованія, который, выводя непосредственно практическія послѣдствія изъ принципа тожества матеріи и ея проявленій, не знаетъ или не хочетъ знать субъективныхъ и объективныхъ ограниченій этого гипотетическаго принципа. Послѣднее опредѣленіе менѣе ясно, чѣмъ первое, но имѣетъ на своей сторонѣ преимущество большей ширины, а, слѣдовательно, и большей правильности.

пятствуетъ дифференцированію науки (т.-е. расчлененію ея на отдѣльныя области), не исключаетъ существованія различныхъ реальныхъ способовъ бытія (измѣняемостей, модальностей) единой субстанціи. Всякая измѣняемость въ природѣ, съ признаками особаго или специфическаго свойства, т.-е. свойства, исключительно принадлежащаго той или другой экспериментально-обособляющейся группѣ явленій,—даетъ мѣсто особой отрасли научныхъ изслѣдованій, имѣющей цѣлью собрать и обособить законы взаимнаго отношенія явленій этой группы. Отсюда невозможность отождествлять явленія соціологическія съ біологическими, біологическія съ химическими и т. д. Помимо этого общаго соображенія, весьма подробно мотивированнаго г. де-Роберти, онъ доказываетъ несостоятельность реальной аналогіи, какъ научнаго метода, еще тремя разрядами доводовъ. Реальная аналогія есть методъ, вовсе не отвѣчающій цѣлямъ частныхъ наукъ; каждая изъ нихъ не можетъ и не должна идти далѣе обобщенія спеціальныхъ явленій, ею изучаемыхъ; аналогіи междунаучныя всецѣло принадлежатъ философіи. Реальная аналогія устанавливаетъ отношенія тождества, имѣющія лишь формальный, чисто-логическій, а нерѣдко и просто словесный, или образный характеръ; таково, напримѣръ, злоупотребленіе словомъ *общество*, съ помощью котораго нѣкоторые писатели проводятъ параллель между обществами человѣческими и обществами (т.-е. сочетаніями) физическихъ или химическихъ атомовъ. Наконецъ, реальная аналогія смѣшиваетъ явленія или объективныя группы отношеній съ ихъ свойствами или отношеніями, разсматриваемыми порознь и отвлеченно; изъ того, что общія понятія о свойствахъ химическихъ и соціологическихъ одинаково отвлеченны, одинаково просты или одинаково сложны, не слѣдуетъ еще, чтобы группа реальныхъ явленій, относящихся къ области соціологіи, была столь же проста, какъ группа реальныхъ явленій, относящихся къ области химіи—или, наоборотъ, чтобы послѣдняя была столь же сложна, какъ и первая. Отвергая реальную или трансцендентальную аналогію, г. де-Роберти признаетъ вполнѣ пользу аналогіи частной, т.-е. указанія сходствъ, дѣйствительно существующихъ между разнородными явленіями и не устраняющихъ конечнаго, несводимаго ихъ различія. Эта послѣдняя аналогія тѣсно связана съ зависимостью каждой высшей науки отъ предшествующихъ ей, низшихъ.

Разграниченіе соціологіи отъ біологіи представляется съ перваго взгляда чисто-эмпирическимъ, основаннымъ единственно на доказанной опытомъ невозможности построить соціологію съ помощью однихъ только біологическихъ матеріаловъ. На самомъ дѣлѣ, однако, оно имѣетъ раціональный характеръ, опирается на первичный фактъ,

свойственный исключительно наукѣ объ обществѣ. Въ чемъ заключается этотъ первичный фактъ—это вопросъ спорный. Одни видятъ его въ психическихъ явленіяхъ, играющихъ самую важную роль во всѣхъ соціальныхъ фактахъ, во всѣхъ формахъ соціальной эволюціи; но въ основаніи этого взгляда лежитъ отвергаемое г. де-Роберти предположеніе, что психическій элементъ есть фактъ иного порядка, чѣмъ остальныя біологическія явленія,—фактъ, представляющій новое и высшее осложненіе матеріи. По мнѣнію другихъ, характеристическія черты соціологіи—совмѣстное участіе въ каждомъ соціальномъ явленіи элементовъ, совершенно независимыхъ другъ отъ друга, и историческая филіація, т.-е. вліяніе всей совокупности прошедшаго на настоящее и будущее. Изъ этихъ двухъ неизбѣжныхъ условій всякаго соціальнаго явленія г. де-Роберти считаетъ только второе достаточно специфическимъ и яркимъ, чтобы служить первичнымъ фактомъ соціологіи. Онъ признаетъ, согласно съ Литтре, что существенное условіе исторической эволюціи—а вмѣстѣ съ тѣмъ и главное основаніе къ обособленію соціологіи отъ біологіи — заключается въ свойственной человѣческимъ обществамъ способности создавать совокупности такихъ вещей, которыя могутъ и должны быть перенимаемы. Установивъ, такимъ образомъ, право соціологіи на самостоятельное существованіе, авторъ ставитъ вопросъ о роли, которую играетъ въ ней дедукція. Чѣмъ значительнѣе дедуктивность науки (т.-е. способность ея расти и развиваться безъ помощи наблюденія и опыта, или съ употребленіемъ ихъ лишь какъ средствъ для повѣрки добытыхъ инымъ путемъ результатовъ), тѣмъ больше она подходитъ къ типу конкретной науки—и наоборотъ. Отсюда слѣдуетъ, что каждая конкретная наука заключаетъ въ себѣ отдѣлы, имѣющіе отвлеченный характеръ, свойственный абстрактной наукѣ, и каждая абстрактная наука содержитъ въ себѣ отдѣлы, имѣющіе характеръ, свойственный наукѣ конкретной. Въ соціологіи наиболѣе дедуктивною является та часть науки, которая всего ближе къ біологіи и всего тѣснѣе съ нею связана. По мѣрѣ того, какъ отъ соображеній біологическихъ или смѣшаннаго характера мы поднимаемся къ соображеніямъ исключительно соціологическаго порядка, т.-е. по мѣрѣ того, какъ мы проникаемъ въ область дѣйствительно основной или абстрактной науки, дедуктивность изслѣдованія быстро ослабѣваетъ, и мы вскорѣ доходимъ до точки, на которой, можно сказать, ея почти вовсе не существуетъ. Эта точка — именно та, откуда открываются наиболѣе общіе законы, управляющіе соціологическими явленіями. Знаніе біологіи необходимо какъ для того, чтобы выдѣлить изъ соціальныхъ явленій, путемъ дедукціи, различные усложняющіе ихъ біологическіе процессы, такъ и для того, чтобы въ дальнѣйшемъ

фазисѣ изслѣдованія строго остерегаться какихъ бы то ни было біологическихъ дедукцій.

Вопросъ объ отношеніи психологіи къ соціологіи и вообще о мѣстѣ, занимаемомъ ею въ ряду наукъ, имѣетъ свою исторію, довольно подробно изложенную г. де-Роберти. Контъ совершенно исключалъ психологію изъ числа наукъ, вводя только въ біологію обзоръ физіологіи мозга. Противъ этого протестовалъ Миллъ, требовавшій для психологіи, какъ для самостоятельной абстрактной науки, особаго мѣста между біологіей и соціологіей. Такое же требованіе предъявляетъ Гербертъ Спенсеръ, съ тою только разницею, что психологія, въ его глазахъ, наука конкретная, наравнѣ съ біологіей и соціологіей. Новая критическая философія видитъ въ теоріи познаванія—т.-е. въ одной изъ составныхъ частей психологіи—основу и исходную точку науки и философіи. Психическія явленія,—говорятъ противники позитивизма,—несомнѣнно явленія спеціальныя, болѣе сложныя, чѣмъ біологическія, и болѣе простыя, чѣмъ соціологическія; не считая психологію отдѣльной наукой, позитивная школа нарушаетъ, поэтому, свой собственный принципъ научной классификаціи. Всѣмъ этимъ возраженіямъ г. де-Роберти противопоставляетъ указаніе на зависимость психологическихъ явленій, съ одной стороны, отъ біологическихъ, съ другой—отъ соціологическихъ условій; взаимнодѣйствіе тѣхъ и другихъ, въ его глазахъ настоящій источникъ психической жизни человѣка. Это, конечно, гипотеза, но вполнѣ равноправная съ тою, которая лежитъ въ основаніи противоположныхъ взглядовъ—съ гипотезой о специфичности психическихъ явленій. Изолированный человѣкъ не можетъ быть существомъ мыслящимъ, разумнымъ. Психическія явленія, какъ и соціологическія, имѣютъ исторію, подвергались эволюціи. Извѣстныя психическія явленія характеризуютъ до-историческое состояніе человѣка; другія обнаруживаются, подъ вліяніемъ общественности, гораздо позже, черезъ такіе же громадные промежутки времени, какіе потребовались для того, напримѣръ, чтобы свойства жизни появились на земной поверхности въ дополненіе къ силамъ механическимъ и физико-химическимъ. Отсюда явствуетъ, что психологія не можетъ считаться наукой вполнѣ независимою отъ слѣдующей за нею или высшей, а должна быть разсматриваема, наоборотъ, какъ отрасль знанія, находящаяся въ самой тѣсной связи съ соціологіей и составляющая ея продолженіе. Отсталость психологическихъ знаній изъ *причины*, обусловливающей малую успѣшность соціологическихъ изслѣдованій, обращается, такимъ образомъ, въ простое *послѣдствіе* состоянія младенчества, въ которомъ еще находится соціологія.

Психологія, какъ ее понимаетъ г. де-Роберти, наука конкретная,

а не абстрактная. Она остается звеномъ, связывающимъ біологію съ соціологіей, но связь эта получаетъ значеніе, такъ-сказать, ретроспективное, основанное не на томъ, что психологія составляетъ переходную ступень отъ біологіи къ соціологіи, а на томъ, что законы психическіе являются совокупнымъ продуктомъ законовъ біологическихъ и соціальныхъ. Ученіе о мозгѣ (анатомія, физіологія и патологія мозга) должно входить въ составъ біологіи, потому что оно служитъ необходимымъ основаніемъ соціологіи; но всѣ изслѣдованія, обыкновенно обозначаемыя общимъ названіемъ психологіи, должны стать въ прямую и непосредственную зависимость отъ соціологіи. Отъ такой перемѣны въ отношеніяхъ психологіи къ соціологіи г. де-Роберти ожидаетъ безчисленныхъ благотворныхъ послѣдствій. Соціологія и психологія одновременно освободятся отъ послѣднихъ путъ, удерживающихъ ихъ въ кругу апріорныхъ спекуляцій и мѣшавшихъ окончательному ихъ переходу изъ метафизическаго состоянія въ позитивное. Центральному, господствующему положенію, которое такъ любитъ присвоивать себѣ человѣкъ, будетъ нанесенъ новый ударъ, такъ какъ выяснится вполнѣ глубокое вліяніе, оказываемое на человѣка обществомъ, въ составъ котораго онъ входитъ. Причина не будетъ больше объясняема однимъ изъ ея послѣдствій; въ развитіи обществъ не будутъ больше видѣть результатъ умственной дѣятельности человѣка, которая сама представляется результатомъ этого развитія. Разсѣется метафизическое облако, образовавшееся изъ представленій конкретной психологіи и затемняющее связь условій мозговой дѣятельности съ условіями и явленіями соціальными. Всѣ психическія явленія смѣшаннаго характера, происходящія подъ двойнымъ давленіемъ основныхъ психическихъ условій и исторической эволюціи, необходимо будетъ тщательно устранять, какъ изъ психофизіологическаго, такъ и изъ соціологическаго изслѣдованія, и разсматривать отдѣльно, въ спеціальной научной области, обставленной всѣми гарантіями и представляющей всѣ удобства конкретнаго изслѣдованія природы. Плодотворный анализъ общественныхъ явленій кажется автору возможнымъ только на этихъ условіяхъ, т.-е. послѣ разсортированія хаотической массы явленій біологическихъ, соціальныхъ и психическихъ. Впрочемъ, такое разсортированіе необходимо только для абстрактной соціологіи, а не для отдѣльныхъ отраслей общественной науки (политики, исторіи, политической экономіи и т. п.), которыя всѣ преслѣдуютъ, въ бо́льшей или меньшей мѣрѣ и болѣе или менѣе открыто, практическія цѣли и всегда, поэтому, носятъ въ извѣстной степени характеръ конкретнаго знанія. По мѣрѣ того, какъ онѣ выростаютъ изъ тѣсныхъ предѣловъ своей первоначальной задачи—служить складами матеріаловъ для высшей и болѣе

отвлеченной науки,—по мѣрѣ того, какъ онѣ стремятся къ достиженію цѣлей практически полезныхъ, онѣ составляютъ зачатки будущей конкретной соціологіи. Эта послѣдняя должна будетъ основаться, кромѣ біологіи и абстрактной соціологіи, еще и на научныхъ сочетаніяхъ, которымъ эти двѣ науки даютъ начало—а къ числу такихъ сочетаній принадлежитъ психологія, разсматриваемая какъ конкретная наука. Многочисленнымъ соціологическимъ спеціальностямъ нельзя, поэтому, отказывать въ правѣ и теперь уже черпать нужныя имъ, для практическихъ и научныхъ цѣлей, данныя и объясненія изъ области конкретныхъ психическихъ явленій. Въ теоріи всѣ безъ исключенія законы психологіи могутъ и должны быть выводимы одновременно изъ законовъ біологическихъ и соціологическихъ; на практикѣ, однако, такая дедукція почти всегда остается безплодною, и пособлять этому приходится, прибѣгая къ обыкновеннымъ описательнымъ пріемамъ и къ открытію законовъ чисто эмпирическихъ.

Въ заключительной главѣ сочиненія г. де-Роберти мы находимъ, кромѣ общаго обозрѣнія добытыхъ имъ результатовъ, нѣсколько замѣчаній о борьбѣ позитивизма съ нео-позитивизмомъ или монизмомъ. Орудію монистовъ—гипотезѣ—авторъ противопоставляетъ сомнѣніе; онъ полагаетъ, что гипотеза, столь важная въ области науки, не должна имѣть мѣста въ области философіи. „Ни по другому пути чѣмъ наука, ни впереди ея"—вотъ лозунгъ позитивизма, какъ его понимаетъ авторъ. Къ этому предмету, едва затронутому въ разбираемой нами книгѣ, г. де-Роберти возвратится, вѣроятно, въ обѣщанномъ имъ сочиненіи о философіи наукъ и научно-философскихъ системахъ. Замѣтимъ только, что авторъ впадаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою, признавая (въ главѣ о реальной аналогіи, стр. 188) гипотезу единства энергіи или силы „философскимъ ученіемъ, оказывающимъ уму большія услуги въ качествѣ могучаго орудія междунаучнаго или философскаго обобщенія".

Мы старались указать, въ короткихъ чертахъ, все, что есть существеннаго въ сочиненіи г. де-Роберти. Всего больше удалась ему, какъ намъ кажется, полемика противъ приверженцевъ реальной аналогіи и противъ классификаціи наукъ, предложенной Гербертомъ Спенсеромъ. Не въ этомъ, однако, заключается главный смыслъ его книги, не этимъ ея отдѣламъ онъ придаетъ, повидимому, самое важное значеніе. Наибольшею оригинальностью отличается взглядъ г. де-Роберти на различіе между конкретными и абстрактными науками, на методъ, свойственный соціологіи, на составныя ея части, съ ихъ классификаціей, и на мѣсто психологіи въ ряду наукъ. Эти четыре пункта—краеугольные камни его системы. О двухъ первыхъ онъ самъ

говоритъ въ заключеніи, какъ о теоріяхъ, получившихъ законченную форму; въ третьемъ онъ видитъ выходъ изъ противорѣчія, съ перваго взгляда неразрѣшимаго, въ послѣднемъ—источникъ безчисленныхъ благотворныхъ результатовъ. Посмотримъ, въ чемъ заключаются ихъ сильныя или слабыя стороны.

Опредѣленіе, которое г. де-Роберти даетъ конкретнымъ наукамъ, представляется прежде всего не вполнѣ выдержаннымъ. Въ главѣ, спеціально посвященной этому вопросу (стр. 46), авторъ отрицаетъ существованіе и даже возможность существованія конкретной соціологіи, какъ и конкретной физики, конкретной химіи, конкретной біологіи; въ концѣ книги (стр. 330) мы узнаемъ, наоборотъ, что нѣкоторыя отрасли общественной науки (напр., исторія) заключаютъ въ себѣ уже теперь зачатки будущей конкретной соціологіи. Конкретныя и абстрактныя науки являются то ясно отграниченными другъ отъ друга, то сливающимися, до извѣстной степени, между собою. Если мысль, переходя отъ исходной точки къ конечной цѣли абстрактной науки, постоянно вращается между обоими полюсами абстрактнаго знанія, но не вступаетъ въ область науки конкретной (стр. 47), то какъ объяснить себѣ, что въ каждой абстрактной наукѣ есть цѣлые отдѣлы, имѣющіе характеръ науки конкретной (стр. 271)? Если *необходимымъ* условіемъ существованія конкретной науки служитъ сосредоточеніе на какомъ-либо сложномъ реальномъ аггрегатѣ сходящихся лучей *всѣхъ безъ исключенія* абстрактныхъ знаній (стр. 302), то какимъ же образомъ изъ этого общаго правила тотчасъ же можетъ быть допущено исключеніе не только для психологіи, но и для большей части конкретныхъ изслѣдованій, стремящихся къ *попарному* соединенію абстрактныхъ наукъ? О *законченности* такой колеблющейся и неустойчивой теоріи, очевидно, не можетъ быть и рѣчи, и одержать верхъ надъ общепринятымъ, въ позитивизмѣ, понятіемъ объ абстрактныхъ и конкретныхъ наукахъ она не въ силахъ. Абстрактныя науки, по опредѣленію Конта, имѣютъ дѣло съ явленіями, конкретныя—съ предметами; другими словами, конкретныя науки изучаютъ частныя комбинаціи явленій, существующія въ дѣйствительности, а абстрактныя науки занимаются извѣстными категоріями явленій, отвлеченныхъ отъ дѣйствительности. Само собою разумѣется, что всякая реальная комбинація явленій представляется результатомъ совокупнаго, одновременнаго дѣйствія законовъ, установляемыхъ различными [1]) абстрактными науками; но не въ этомъ заключается

[1]) *Различными*—но не *всѣми*; нельзя же утверждать, напримѣръ, что комбинаціи явленій, составляющія предметъ метеорологіи (которую самъ г. де-Роберти признаетъ конкретною наукой), обусловливаются, между прочимъ, біологическими или соціологическими законами.

основаніе, въ силу котораго извѣстная группа комбинацій или предметовъ образуетъ область извѣстной конкретной науки. Въ сферу абстрактной науки—комбинаціи явленій, разсматриваемыя какъ нѣчто цѣлое, входить не могутъ, потому что для абстрактной науки важны не предметы, а какое-либо одно ихъ свойство; между тѣмъ предметы, какъ нѣчто существующее въ дѣйствительности, требуютъ изученія—и этой потребности удовлетворяютъ конкретныя науки. Г-нъ де-Роберти удивляется тому, что зоологія и ботаника могли быть разсматриваемы, какъ конкретныя науки; онъ считаетъ ихъ частью біологіи (или, точнѣе,—естественною исторіею, составляющею первое наслоеніе этой науки), такъ какъ онѣ изучаютъ исключительно *жизнь* животныхъ и растеній, а жизнь—именно то специфическое свойство матеріи, которому посвящена пятая изъ абстрактныхъ наукъ контовскаго ряда. Если припомнить уступки, сдѣланныя г. де-Роберти по вопросу о конкретной соціологіи, если принять въ соображеніе, что и въ соціологіи, и въ біологіи, естественная исторія противопоставляется имъ естественной наукѣ, какъ нѣчто низшее, подчиненное, то не трудно будетъ придти къ заключенію, что споръ идетъ здѣсь собственно о словахъ, что естественная исторія г. де-Роберти ничѣмъ существенно не отличается отъ контовскихъ конкретныхъ наукъ —зоологіи и ботаники. Весь вопросъ сводится къ тому, удобно ли будетъ загромоздить абстрактную науку біологіи подробностями, вполнѣ законными и умѣстными въ частныхъ, конкретныхъ наукахъ? Если мы изучаемъ льва, какъ одно изъ дѣйствительно существующихъ животныхъ, то для насъ интересно и важно узнать о немъ какъ можно больше; но если мы видимъ въ немъ лишь одинъ изъ безчисленныхъ предметовъ, отъ которыхъ слѣдуетъ отвлечь общее имъ свойство—жизнь, то останавливаться на деталяхъ его структуры и его привычекъ намъ нѣтъ ни малѣйшей причины. Зоологіи и ботаникѣ, при господствѣ теоріи г. де-Роберти, суждено было бы улетучиться—а это во всякомъ случаѣ была бы большая потеря съ практической точки зрѣнія, законность которой, въ области конкретнаго знанія, признаетъ самъ авторъ (стр. 330). То же самое слѣдуетъ сказать и о нѣкоторыхъ наукахъ, столь же тѣсно связанныхъ съ соціологіей, какъ зоологія и ботаника—съ біологіей (напримѣръ объ исторіи). Хорошо, что г. де-Роберти, затворяя передъ конкретными науками одну дверь, самъ отворяетъ имъ другую, черезъ которую онѣ спокойно могутъ возвратиться на прежнее свое мѣсто.

Опредѣленіе метода соціологіи (и біологіи) также не свободно отъ противорѣчій. Описаніе—составляющее, по мнѣнію г. де-Роберти, сущность этого метода—представляется сначала тождественнымъ съ анализомъ; вся разница между ними ограничивается словами, такъ

какъ объ описаніи говорится въ примѣненіи къ вещамъ видимымъ, объ анализѣ—въ примѣненіи къ вещамъ невидимымъ (стр. 71). Вслѣдъ затѣмъ, однако, описаніе дѣлается характеристическою принадлежностью одной части соціологіи (и біологіи), а именно, естественной исторіи, анализъ—другой, а именно—естественной науки [1]). Еще дальше анализъ становится уже *цѣлью* описанія (стр. 143), причемъ описаніе обнаруживаетъ замѣчательное, по своей странности, стремленіе подняться выше простого описанія. Въ другомъ мѣстѣ (стр. 30) описаніе занимаетъ средину между голымъ наблюденіемъ и послѣдними усиліями отвлеченія и анализа. Оно приравнивается къ такой обработкѣ сырого продукта, которая хотя и не даетъ ему еще его окончательной формы, но подвергаетъ его глубокому измѣненію. Уловить, среди всѣхъ этихъ варіацій, основную мысль автора довольно трудно. Одно только можно, кажется, вывести изъ нихъ съ достовѣрностью: что самъ г. де-Роберти отводитъ описанію господствующую роль лишь въ одной, низшей части соціологіи, что для достиженія послѣднихъ результатовъ науки описаніе кажется ему безсильнымъ. Чѣмъ оно должно быть восполнено, какимъ путемъ продуктъ можетъ получить свою окончательную форму—этого г. де-Роберти не объясняетъ, такъ такъ нельзя же считать объясненіемъ указаніе на анализъ, разъ что онъ совпадаетъ или почти совпадаетъ съ описаніемъ. Если автору удалось доказать лишь преобладаніе описанія въ *естественной исторіи*, то этотъ успѣхъ равняется, въ сущности, полной неудачѣ, не только потому, что абстрактный характеръ естественной исторіи подлежитъ, какъ мы уже видѣли, большому сомнѣнію, но и потому, что суть и центръ тяжести соціологіи во всякомъ случаѣ заключаются въ той ея части, которую г. де-Роберти называетъ *естественной наукой*. Основной тезисъ автора—совмѣстимость понятія объ абстрактной наукѣ съ понятіемъ о наукѣ описательной—остается висящимъ на воздухѣ до тѣхъ поръ, пока не будетъ доказана возможность дойти, съ помощью одного лишь описанія, до высшихъ обобщеній соціологіи. Мы далеки отъ мысли, чтобы описаніе могло или должно было быть вытѣснено изъ соціологіи; мы отвергаемъ только преувеличенное методологическое значеніе, которое ему даетъ г. де-Роберти. Мы не думаемъ, чтобы оно могло быть разсматриваемо, какъ отличительная черта соціологіи (и біологіи), какъ методъ, преимущественно свойственный этимъ наукамъ и достаточный для осуществленія ихъ задачи. Утверждать, что граница между науками неорганическаго міра съ одной стороны, біологіей и соціо-

[1]) Въ главѣ о дѣленіи соціологіи анализъ является, наоборотъ, господствующею чертою естественной исторіи (стр. 159).

логіей—съ другой, лежитъ всецѣло въ области метода (стр. 138—139), тѣмъ болѣе смѣло, что методъ экспериментальный, какъ указываетъ въ одномъ мѣстѣ и самъ г. де-Роберти, проникаетъ все глубже и глубже въ область біологіи и психологіи. Различіе между науками неорганическаго и органическаго міра имѣетъ достаточное основаніе въ самомъ различіи изучаемыхъ ими явленій [1]), сравнительно съ которымъ меркнетъ разница въ методахъ, въ пріемахъ изслѣдованія.

Если значительная часть тѣхъ данныхъ, которыя г. де-Роберти включаетъ въ первую часть соціологіи, т.-е. въ естественную исторію обществъ, должна быть отнесена къ области конкретныхъ наукъ, то разсужденія о дѣленіи соціологіи, построенныя именно на предположеніи о неразрывной связи между обѣими ея частями, падаютъ сами собою. Но и помимо этого, они едва ли имѣютъ правильное основаніе. Съ положеніемъ о возрастающей, по мѣрѣ усложненія наукъ, трудности дѣленія ихъ можно согласиться лишь на столько, на сколько подъ именемъ дѣленія науки можно понимать полное обособленіе частей ея. Дѣленіе въ смыслѣ классификаціи, въ смыслѣ группировки явленій, для болѣе удобнаго ихъ изученія, не нарушаетъ цѣлости науки—и, слѣдовательно, вполнѣ совмѣстимо съ тѣмъ синоптизмомъ, о которомъ говоритъ г. де-Роберти. Въ изложеніи фактовъ и законовъ, составляющихъ науку, необходима система, т.-е. распредѣленіе матеріала въ извѣстномъ порядкѣ, по извѣстнымъ категоріямъ, которыя ничто не мѣшаетъ назвать частями науки. Если раздѣленіе соціологіи на статику и динамику—или на анатомію, физіологію и патологію обществъ—не нарушаетъ ея единства, то ничуть не опаснѣе, въ этомъ отношеніи, было бы и дальнѣйшее подраздѣленіе статики и динамики, лишь бы только всѣ отдѣлы были связаны между собою единствомъ плана и мысли. Возьмемъ, для примѣра, проектъ дѣленія соціальной статики и динамики, предложенный нѣкогда г. де-Роберти, но теперь отвергаемый имъ, въ силу тезиса о возможно-меньшей дѣлимости высшей соціологіи или естественной науки обществъ (стр. 180). Статику предполагалось здѣсь раздѣлить на четыре части, изъ которыхъ первая была бы посвящена семейству, вторая—классу, третья—народу, четвертая—расѣ. Что̀ можетъ быть безвреднѣе такого дѣленія (о полнотѣ и цѣлесообразности его мы не говоримъ, такъ какъ это не касается спорнаго вопроса)? Возможно ли, желательно ли, чтобы соціологія говорила въ одно и то же время о семействѣ и о народѣ, о сословіи и о расѣ, переходила къ

[1]) Достаточность этого основанія признаетъ и г. де-Роберти, когда онъ полемизируетъ противъ реальной аналогіи и отстаиваетъ право біологіи и соціологіи на причисленіе къ абстрактнымъ наукамъ.

законамъ, управляющимъ болѣе сложными соединеніями, не покончивъ съ законами простѣйшихъ общественныхъ формацій? Допустимъ, что въ составъ соціологіи входитъ естественная исторія обществъ, изложенная съ величайшею подробностью и подраздѣленная на множество отдѣловъ; освобождаетъ ли это естественную науку обществъ отъ обязанности—или, лучше сказать, отъ необходимости—переходить послѣдовательно отъ одного предмета къ другому, соблюдать извѣстную систему, держаться, въ каждую данную минуту, въ извѣстныхъ границахъ, указываемыхъ сущностью разсматриваемаго предмета? Безъ сомнѣнія, нѣтъ. Антиномія, надъ которою задумывается г. де-Роберти — параллельное увеличеніе полезности и затруднительности дѣленія—на самомъ дѣлѣ вовсе не существуетъ; но если бы она существовала, выдти изъ нея тѣмъ путемъ, который рекомендуется г. де-Роберти, было бы невозможно.

Соображенія г. де-Роберти о характерѣ психологіи и о мѣстѣ, занимаемомъ ею въ ряду наукъ, не опровергаютъ, какъ намъ кажется, основного положенія его противниковъ—о спеціальности явленій, изучаемыхъ психологіей, о бо́льшей сложности ихъ, сравнительно съ явленіями біологическими, и бо́льшей простотѣ, сравнительно съ явленіями соціологическими. Мы понимаемъ, что можно считать психологію отдѣломъ біологіи, завершающимъ эту науку и составляющимъ переходную ступень къ соціологіи; мы понимаемъ, что можно отказывать психологіи въ названіи самостоятельной науки — но мы не думаемъ, чтобы можно было приступать къ изученію соціальныхъ явленій, минуя явленія психическія, подъ предлогомъ зависимости послѣднихъ отъ первыхъ. Г. де-Роберти признаетъ, что психическія явленія играютъ самую важную роль во всѣхъ, безъ исключенія, соціальныхъ фактахъ, во всѣхъ формахъ соціальной эволюціи (стр. 256); какъ согласить съ этимъ предлагаемое имъ построеніе соціологіи на фундаментѣ, въ составъ котораго вовсе не будутъ входить психическія явленія? Если біологія, какъ наука о жизни индивидуальной, составляетъ необходимую основу соціологіи, какъ науки о жизни коллективной, то можно ли оставлять въ сторонѣ цѣлую категорію жизненныхъ явленій, еще болѣе важныхъ, чѣмъ всѣ другія? Можно ли говорить, напримѣръ, о семействѣ, не опредѣливъ предварительно той роли, которую играетъ любовь въ психической жизни человѣка? Вліянія соціальныхъ явленій на психическія никто не отвергаетъ; но отсюда еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы психологія, въ ряду наукъ, не могла быть поставлена раньше соціологіи. Она можетъ, въ крайнемъ случаѣ, ограничиться установленіемъ наиболѣе общихъ законовъ психической жизни, предоставивъ тому или другому отдѣлу конкретной соціологіи примѣненіе ихъ къ различнымъ степенямъ развитія,

къ различнымъ фазисамъ цивилизаціи. Самъ г. де-Роберти допускаетъ, впрочемъ, необходимость или по меньшей мѣрѣ возможность изученія психологіи прежде абстрактной соціологіи; онъ признаетъ за многочисленными соціологическими спеціальностями несомнѣнное право заимствовать изъ области конкретныхъ психическихъ явленій данныя и объясненія, нужныя имъ не только для практическихъ, но и для *научныхъ* цѣлей (стр. 330—331). По мысли г. де-Роберти, всѣ „соціологическія спеціальности" входятъ въ составъ естественной исторіи обществъ, т.-е., первой части абстрактной соціологіи; проникая въ ихъ среду, психологія проникаетъ, слѣдовательно, въ самый центръ запретной для нея области. Мы видимъ здѣсь новый примѣръ разрушенія самимъ авторомъ зданія, только-что воздвигнутаго имъ. Но если бы и можно было признать за этой постройкой какую-либо прочность, надежды, возлагаемыя на нее г. де-Роберти, все-таки слѣдовало бы назвать крайне преувеличенными. Освобожденіе соціологіи и психологіи отъ узъ метафизики обусловливается, конечно, не тѣмъ или другимъ порядкомъ изученія ихъ; гипотезѣ о центральной роли земли и человѣка успѣхи естественныхъ наукъ нанесли такіе вѣскіе удары, что пораженіе ея давно можетъ считаться дѣломъ рѣшеннымъ и вовсе не зависитъ отъ такого, сравнительно неважнаго, факта, какъ та или другая перестановка въ классификаціи наукъ. Энтузіазмъ г. де-Роберти былъ бы понятенъ, если бы онъ первый открылъ или доказалъ громадное различіе между первобытнымъ и цивилизованнымъ человѣкомъ, коренную переработку личности обществомъ; но о такомъ открытіи не можетъ быть и рѣчи, потому что оно давно сдѣлано—достаточно припомнить ученіе о вліяніи среды, получившее такое широкое развитіе въ послѣднее время. Взглядъ на психологію, какъ на конкретную науку, зависящую отъ біологіи и психологіи, имѣетъ, какъ и всѣ другія основныя черты теоріи г. де-Роберти, чисто формальное значеніе, и съ этой только точки зрѣнія и долженъ быть оцѣняемъ. Принятіе его отразилось бы на психологіи насильственнымъ расторженіемъ ея на двѣ части, возможно большее соединеніе которыхъ составляетъ, наоборотъ, задачу новѣйшей, такъ-называемой опытной (т.-е. экспериментальной) психологической школы. Основу психологіи эта школа ищетъ въ физіологіи мозга; г. де-Роберти нарушаетъ непрерывное преемство психологическихъ изслѣдованій, относя первую часть ихъ (т.-е. именно физіологію мозга) въ біологію, а всѣ остальныя,— въ особую конкретную науку, отдѣляемую отъ біологіи соціологіей. Конечно, это раздробленіе психологіи не можетъ быть разсматриваемо какъ нѣчто безусловно препятствующее ея успѣхамъ, именно потому, что оно имѣетъ исклю-

чительно формальный характеръ; но считать его благопріятнымъ для развитія науки мы видимъ еще меньше основанія [1]).

Мы знаемъ уже, что, вопреки первоначальному тезису своему объ абстрактномъ характерѣ *всей* соціологіи, — т.-е. какъ естественной исторіи, такъ и естественной науки обществъ, — г. де-Роберти оканчиваетъ признаніемъ за отдѣльными отраслями естественной исторіи, если не въ настоящемъ, то въ близкомъ будущемъ, конкретнаго характера, т.-е. свойства отдѣльныхъ конкретныхъ наукъ. Въ виду этого вывода, возраженія автора противъ выдѣленія исторіи и статистики изъ области абстрактной соціологіи теряютъ свою главную основу. Что у исторіи и статистики нѣтъ своего особаго, имъ одинъ свойственнаго метода—это совершенно справедливо; но отсюда еще ровно ничего не слѣдуетъ, такъ какъ по теоріи самого г. де-Роберти, біологія и соціологія — т.-е. науки несомнѣнно самостоятельныя — имѣютъ одинъ общій методъ (описаніе). Возможность возведенія исторіи на степень отдѣльной конкретной науки обусловливается не методомъ ея, а предметомъ; она имѣетъ дѣло съ реальными комбинаціями явленій, которыя, *какъ таковыя*, не входятъ въ область абстрактной соціологіи.

Отнесемъ къ числу достоинствъ книги г. де-Роберти—тонъ его полемики, чуждый всякихъ личностей и задора. Въ одномъ только мѣстѣ авторъ не съумѣлъ сохранить своего обычнаго спокойствія—именно въ тѣхъ немногихъ словахъ (стр. 293—294), которыя онъ посвящаетъ такъ-называемой новой критической школѣ въ философіи. Приверженцамъ этой школы г. де-Роберти приписываетъ и наивное тщеславіе, и погоню за старымъ призракомъ, за прежней химерой, облеченной въ новую форму, и смутныя стремленія къ какой-то реставраціи; онъ смѣется надъ ними, утверждая, что „возносимаго до небесъ и вдоль и поперекъ изучаемаго ими Канта они постоянно и немилосердно побиваютъ систематически ими отвергаемымъ, но чрезвычайно мало извѣстнымъ имъ Контомъ". Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что основатели нео-критицизма въ Германіи (Геринъ, Авенаріусъ и др.) расплачиваются здѣсь за русскаго послѣдователя своего, г. Лесевича, и за полемику его съ гг. Алеко и ла-Сердой [2]). Къ Спенсеру

---

[1]) Если различіе конкретной науки отъ абстрактной заключается въ томъ, что въ первой исключительно господствуетъ дедукція, а въ послѣдней — наведеніе, то и съ этой точки зрѣнія г. де-Роберти самъ выводитъ психологію изъ ряда конкретныхъ наукъ, признавая (стр. 334—335), что дедукція окажется въ ней практически безплодной, и что для восполненія дедукціи придется прибѣгнуть къ обыкновеннымъ описательнымъ пріемамъ и къ открытію законовъ чисто-эмпирическихъ.

[2]) См. „Письма о научной философіи" (Спб., 1878), въ особенности послѣднее письмо.

г. де-Роберти относится совершенно иначе, съ большимъ уваженіемъ; но едва ли онъ правъ, открывая въ англійскомъ философѣ усталость мысли, какъ естественную реакцію противъ движенія, вызваннаго Контомъ. Спенсера можно обвинять въ чемъ угодно, только не въ усталости мысли, не въ апатіи, не въ реакціи противъ духа научнаго изслѣдованія. Такое обвиненіе было бы рѣшительно несовмѣстимо съ смѣлой попыткой Спенсера объединить однимъ, выведеннымъ изъ опыта, принципомъ всѣ отрасли знанія. Въ сферѣ современной науки мы вообще не видимъ признаковъ реакціи, въ смыслѣ общаго поворота назадъ, въ смыслѣ торжества застоя надъ движеніемъ. Когда она начнется, въ первыхъ рядахъ ея едва ли будутъ стоять *лучшіе умы* эпохи. — К. К.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е января, 1880.

Отчетъ государственнаго контроля за 1878 г.—Возрастаніе доходовъ.—Сверхсмѣтные и чрезвычайные расходы.—Балансъ отчета.—Экономическое значеніе бумажныхъ денегъ.—Примѣръ Америки.—Вопросъ объ обще-церковныхъ свѣчныхъ заводахъ. — Результаты желѣзно-дорожнаго налога. — Труды желѣзно-дорожной коммиссіи. — Формальное и живое изслѣдованіе дѣла. — Почтовая статистика за 1878 годъ, и практическіе выводы изъ нея.

На рубежѣ двухъ годовъ, изъ которыхъ одинъ только-что успѣлъ заключить дѣйствительное исполненіе росписи государственнаго хозяйства, а другой едва приступаетъ къ той же работѣ, появился въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ отчетъ государственнаго контроля по дѣйствительному исполненію росписи на 1878 годъ—ближайшаго ихъ предшественника. Не сравнивая пока этого отчета съ новѣйшимъ бюджетомъ, остановимся прежде всего на томъ главномъ его фактѣ который произвелъ всеобщее впечатлѣніе. Фактъ этотъ представляется превышеніемъ въ доходахъ 1878 года надъ расходами того же года почти на $27^1/_2$ м. р., вмѣсто предвидѣннаго по росписи на тотъ годъ чуть не равнаго этой суммѣ дефицита. Итакъ, дѣйствительное исполненіе росписи 1878 года обнаружило столь значительное, непредвидѣнное возрастаніе доходовъ, что даже, несмотря на сверхсмѣтныя ассигнованія, государственное казначейство оказалось въ выигрышѣ, противъ предвидѣнной росписи, всего на 55 м. р.! При этомъ слѣдуетъ постоянно имѣть въ виду, что въ балансъ контрольнаго отчета не входятъ тѣ чрезвычайные расходы, которые были вызваны войною, и въ 1878 г. составляли особую сумму — 408 м. р., и были покрыты изъ рессурсовъ также чрезвычайныхъ.

Правда, въ росписи на 1878 годъ обычное прежде съ году на годъ возрастаніе доходовъ было почти вовсе не принято въ раз-

счетъ, такъ какъ, начиная съ 1876 года, итогъ поступленій по обыкновеннымъ доходамъ сталъ уже представлять не повышеніе, но пониженіе. Еще въ 1875 году итогъ доходовъ возросъ на $18^3/_4$ м. р. противъ 1874 года. Между тѣмъ, въ сравненіи съ 1875 годомъ, въ послѣдующемъ году итогъ доходовъ уже упалъ на $17^1/_4$ м. р., а въ 1877 году, сравнительно съ 1876-мъ, упалъ еще на $10^1/_2$ м. р. Въ виду такого явленія, и, вдобавокъ, по неизвѣстности, сколько времени продолжится война, при составленіи росписи на 1878 годъ, конечно, нельзя было даже вовсе разсчитывать на то, что итогъ доходовъ возрастетъ. Поэтому, въ росписи хотя повышеніе доходовъ противъ предшествующаго года и было предвидѣно, но только какъ-бы для соблюденія обычая, и опредѣлено въ незначительную сумму, всего $^1/_2$ м. р. Между тѣмъ, война въ 1878 году продолжалась недолго и не оказала вліянія на доходы; напротивъ, возстановленіе мира тотчасъ вызвало обыкновенную въ такихъ случаяхъ реакцію и подняло итогъ доходовъ въ огромномъ размѣрѣ: на $67^3/_4$ м. противъ смѣтнаго предположенія, и 77 м. р. — противъ дѣйствительнаго дохода 1877 года.

Вотъ этотъ-то фактъ и представляетъ преобладающую, наиболѣе заслуживающую обсужденія черту контрольнаго отчета. Не то, конечно, важно, что въ результатѣ, по обыкновенному финансовому хозяйству 1878 года, оказалось, вмѣсто дефицита въ 27 м. р., излишекъ въ доходахъ на 27 м. р., и что, такимъ образомъ, годъ не только не уменьшилъ „свободныхъ рессурсовъ“, оставшихся отъ прежнихъ лѣтъ, но еще почти удвоилъ ихъ цифирную наличность. У насъ свободные остатки не интересуютъ публику, потому что никогда не бывало, да и не можетъ быть, чтобы тѣ свободные остатки были употреблены на такую, напримѣръ, реальную потребность, какъ погашеніе части государственнаго долга или на пониженіе размѣра какого-либо налога. Такъ, напримѣръ, какъ бы ни были значительны свободные остатки отъ исполненія росписи 1878 года, но никакой оптимистъ не предложитъ употребить ихъ съ цѣлью отмѣны или хотя бы пониженія соляного налога въ будущихъ росписяхъ. Свободные остатки у насъ имѣютъ совершенно спеціальное назначеніе: они накопляются въ счетахъ и остаются безъ употребленія, пока контрольные отчеты годъ за годъ показываютъ излишекъ въ доходахъ предъ расходами. Затѣмъ, когда является такой годъ, въ результатѣ котораго, по отчетному контролю, оказывается недостатокъ поступленій доходовъ противъ произведенныхъ расходовъ, тогда свободные остатки и получаютъ свое единственное примѣненіе: благодаря имъ, недостатокъ средствъ въ контрольномъ отчетѣ покры-

вается, и затѣмъ еще остается часть такихъ свободныхъ остатковъ въ запасѣ на будущіе годы, для такихъ же случаевъ.

Стало-быть, не то важно въ счетномъ хозяйствѣ за 1878 годъ, что въ результатѣ его является пріумноженіе свободныхъ остатковъ: важно то, что контрольный отчетъ показываетъ возвышеніе доходовъ въ первый разъ послѣ двухлѣтняго (1876 и 1877 года) перерыва, — и притомъ возвышеніе въ столь огромномъ размѣрѣ, какъ 77 м. р. Надъ этимъ явленіемъ мы преимущественно и остановимся, разбирая возвышеніе доходовъ по главнымъ ихъ источникамъ.

Когда въ прежніе годы у насъ бывало это явленіе, т.-е. большое возрастаніе общаго итога доходовъ, то главная роль въ этомъ возрастаніи несомнѣнно принадлежала доходу питейному; даже бо́льшая часть всего возрастанія истекала прямо изъ одного этого источника. Но финансовое хозяйство за 1878 годъ представляетъ ту оригинальную черту, что главная доля въ возрастаніи итога доходовъ принадлежитъ уже не питейному, а таможенному доходу; питейный же, по участію своему въ этомъ возрастаніи, занимаетъ лишь второе мѣсто. Таможенный доходъ доставилъ въ 1877 году слишкомъ 79 м. р., причемъ превысилъ ожиданіе росписи почти на 24 м. р., и поступленіе 1877 года—на 27½ м. р.

Это утѣшительное явленіе громаднаго возрастанія одной изъ главныхъ отраслей государственныхъ доходовъ зависѣло, конечно, отъ усиленія ввоза иностранныхъ товаровъ. Но, чтобы оцѣнить явленіе по достоинству, не слѣдуетъ однако упускать изъ виду и другихъ причинъ, которыя должны были поднять цифру дохода. Прежде всего, сравненіе съ 1877 годомъ здѣсь не убѣдительно, такъ какъ главную тягость войны торговля выносила именно въ томъ году, а война прежде всего отражается именно на привозѣ. Затѣмъ, въ 1877 году, цифра таможеннаго дохода, съ которою сравнивается указанная выше, понизилась отчасти искусственнымъ образомъ, вслѣдствіе того, что въ концѣ 1876 года, въ виду предстоящаго съ 1-го января 1877 года взиманія пошлинъ золотомъ, т.-е. возвышенія ихъ дѣйствительнаго размѣра, примѣрно, на цѣлую треть, по тогдашнему курсу, ввозъ чрезвычайно усилился и значительная часть таможеннаго дохода, которая получилась бы только въ 1877 году, была, такимъ образомъ, получена еще въ 1876 году, какъ-бы авансомъ. Въ сравненіи же съ таможеннымъ доходомъ 1876 года, цифра его въ 1878 году представляетъ превышеніе не въ 27½ м. р., а всего въ 8 м. р.

Но такъ какъ усиленіе ввоза въ концѣ 1876 года было искусственно, то и сравненіе съ этимъ годомъ, въ свою очередь, не убѣдительно. Итакъ, для правильности, мы должны сравнивать цифру

таможеннаго дохода за 1878 годъ—79¼ м. р.—съ цифрами годовъ болѣе отдаленныхъ, а именно 1875 и 1874 годовъ, за которые поступленія таможеннаго дохода составляли 62⅓ и 56⅓ м. р. По сравненію съ этими послѣдними цифрами, поступленіе 1878 года уже вовсе не представляется столь громаднымъ. Оно болѣе первой всего на 16¾ м. р., и болѣе второй—на 22¾ м. р.

Конечно, и эти цифры значительны. Но вѣдь онѣ зависѣли уже не только отъ усиленія ввоза, т.-е. отъ обилія источника дохода, но и, прежде всего, отъ возвышенія размѣра самаго налога. По сравненію среднихъ курсовъ 1878, 1875 и 1874 годовъ, взиманіе пошлинъ золотомъ представляло уже возвышеніе ихъ размѣра почти на половину. А возрастаніе поступленій отъ налога, вслѣдствіе возвышенія его размѣра, есть уже нѣчто иное, чѣмъ естественное усиленіе производительности налоговаго источника. Конечно, въ камеральномъ смыслѣ, существенный результатъ состоитъ въ томъ, что изъ того же источника добыто для казны болѣе средствъ. Но если это произошло, главнымъ образомъ, отъ усиленія налоговаго бремени, то вѣдь, въ смыслѣ экономическомъ, такое усиленіе должно было отозваться и несовсѣмъ благопріятно, такъ какъ увеличеніе налога всегда предполагаетъ возрастаніе цѣны продуктовъ, а стало-быть, и недоступность ихъ для извѣстнаго числа прежнихъ потребителей, или же лишеніе ихъ, взамѣнъ того, удовлетворенія какой-либо иной потребности.

Наконецъ, въ необычайномъ, съ перваго взгляда увеличеніи таможеннаго дохода за 1878 годъ, нельзя не признать дѣйствія еще двухъ причинъ. Во-первыхъ, непосредственно за войной, при обиліи денежныхъ знаковъ, всегда является реакція противъ застоя, вызваннаго войною, и поступленіе доходовъ представляетъ явленіе исключительное, не дающее права съ достовѣрностью судить о будущемъ. Во-вторыхъ, между годами 1878 и 1875, 1878 и 1874 есть промежутокъ трехъ и четырехъ лѣтъ. Стало-быть, находя, что таможенный доходъ 1878 года составляетъ превышеніе за первый промежутокъ въ 16¾ м. р., а за второй—въ 22¾ м. р., мы не должны упускать изъ виду того естественнаго роста потребностей, который обусловливается просто временемъ. А принявъ все это въ разсчетъ, мы и должны признать вовсе не удивительнымъ, что таможенный доходъ нынѣ увеличился на 16¾ или 22¾ м. р., т.-е., примѣрно, на одну четверть того, что онъ давалъ три года тому назадъ или на ⅖ того, что онъ давалъ четыре года назадъ, когда самый размѣръ налога съ тѣхъ поръ, вслѣдствіе золотой пошлины, увеличился почти на половину прежняго. Наоборотъ, при такомъ сравненіи, мы скорѣе въ правѣ признать результатъ 1878 года довольно скромнымъ.

Въ особенности же, онъ не можетъ дать повода разсчитывать на дальнѣйшее возрастаніе таможеннаго дохода, хотя бы въ размѣрѣ 16-ти или 22-хъ м. р. въ годъ противъ 1878 года, такъ какъ золотую пошлину уже нельзя перечислить на болѣе высокую валюту, да и отъ прямого возвышенія пошлинъ едва ли можно ожидать увеличенія дохода въ такомъ размѣрѣ.

Перейдемъ теперь ко второму источнику, давшему большое возрастаніе дохода за отчетный годъ, къ сборамъ питейнымъ. Питейнаго дохода въ 1878 году поступило 213 м. р.,—на 20 м. р. болѣе противъ смѣтнаго исчисленія, и на 23$^1/_2$ м. р. болѣе противъ поступленія 1877 года. Опять результатъ, на первый взглядъ, блестящій. Но, присмотрѣвшись ближе къ цифрамъ, могущимъ служить для сравненія, мы едва ли не найдемъ, что данныя относительно питейнаго дохода подтвердятъ наши выводы о значеніи роста цифры дохода таможеннаго. Поступленіе питейнаго дохода за послѣднія пять лѣтъ представляетъ рядъ слѣдующихъ цифръ: 201 м. р., 197$^1/_2$ м. р., 191$^1/_2$ м. р., 189$^1/_2$ м. р., 213 м. р. Здѣсь, также, какъ по отношенію къ доходу таможенному, не могло бы быть правильнаго сравненія съ 1877 годомъ, даже въ томъ случаѣ, если бы размѣръ взиманія оставался безъ измѣненія. На 1877 годѣ отразилось главное вліяніе войны. Выступленіе изъ предѣловъ государства двухъ большихъ армій, болѣе значительный размѣръ воинскаго призыва, сборъ отпускныхъ нижнихъ чиновъ, и пополненія дѣйствующихъ частей призывомъ части людей изъ списковъ ополченія, со всѣми тѣми расходами, какіе сопряжены съ такими снаряженіями для народа, могли повлечь за собой и уменьшеніе числа питейныхъ заведеній, то-есть поступленія патентнаго сбора, и сокращеніе потребленія вина, то-есть собственно питейно-акцизнаго сбора. Предшествующіе же два года были замѣчательны тѣмъ, что въ нихъ, впервые, обнаружился упадокъ питейнаго дохода, послѣ цѣлаго ряда годичныхъ быстрыхъ возрастаній, дававшихъ возможность, въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, покрывать огромныя суммы сверхсмѣтныхъ ассигнованій. Итакъ, за норму для сравненія, всего правильнѣе—даже если бы размѣръ налога не измѣнился—было бы взять цифру 1874 года, какъ послѣдняго, который представилъ возрастаніе питейнаго дохода, доведя цифру его поступленій до 201 м. р. Но въ сравненіи съ этой цифрой, поступленіе 1878 года оказывается всего на 12 м. р. выше. Даже при равныхъ условіяхъ обложенія, результатъ былъ бы не особенно поразительный: черезъ четыре года мы впервые получили возрастаніе питейнаго сбора, и то всего въ шесть процентовъ тогдашняго его итога. Прежде, въ одинъ годъ, съ 1873 по 1874 годъ, возрастаніе составило 21$^1/_2$ м. р., а теперь, и черезъ четыре года, все-

ростаніе прежней суммы состоялось немного болѣе, чѣмъ въ половинномъ противъ итога размѣрѣ.

Контрольный отчетъ объясняетъ такое возрастаніе слѣдующими естественными причинами: урожаемъ, оживленіемъ промышленности, значительнымъ отпускомъ хлѣба за-границу и усиленными выпусками кредитныхъ билетовъ. Намъ кажется, что тутъ приведено ужъ слишкомъ много причинъ для объясненія такого успѣха, который великъ только въ сравненіи съ годомъ кризиса и войны, т.-е. съ 1877 годомъ, но вовсе не особенно блестящъ даже въ сравненіи съ тѣмъ, что́ мы видѣли четыре года тому назадъ. Но нынѣшній результатъ окажется еще менѣе удивительнымъ, а многостороннее объясненіе его еще болѣе излишнимъ, въ виду той главной причины возвышенія въ 1877 году питейныхъ поступленій, которая поставлена на первомъ планѣ, въ самомъ отчетѣ контроля. Годъ 1878 былъ первымъ, во все продолженіе котораго дѣйствовало увеличеніе нормъ выхода спирта и уменьшеніе размѣра безакцизнаго въ пользу заводчиковъ перекура, введенное съ 1 іюля 1877 года, на основаніи закона 30-го мая 1876 года.

Одной этой причины уже совершенно достаточно, чтобы объяснить такое возвышеніе поступленій питейнаго дохода, какое оказалось въ 1878 году, въ размѣрѣ 6% итога поступленій 1874 года. Что возвышеніе гораздо болѣе значительно въ сравненіи съ 1877 годомъ, это уже объясняется оживленіемъ промышленности и возвращеніемъ бо́льшей части армій, по заключеніи мира. Но не это сравненіе важно, повторимъ мы. Что годъ кризиса и войны былъ убыточенъ, а годъ, въ которомъ заключенъ миръ оказался благопріятнымъ въ сравненіи съ нимъ—въ этомъ одно слѣдуетъ изъ другого, но далѣе отсюда ничего не слѣдуетъ. Роспись не могла предвидѣть скораго заключенія мира и была составлена на основаніи поступленій 1877 года, поэтому не мудрено, что большое возвышеніе доходовъ, сравнительно съ этими годами, произвело бо́льшую счетную сумму свободныхъ остатковъ. Но для насъ указанія контрольнаго отчета важны, главнымъ образомъ, въ виду будущаго. И вотъ, въ этомъ смыслѣ, относительно питейнаго дохода имѣется только такой результатъ: наклонность его къ упадку, повидимому, прекратилась — и, увеличивъ обложеніе производства вина, удалось поднять доходъ на 6% выше, чѣмъ онъ былъ четыре года тому назадъ. Конечно, это—результатъ благопріятный, но все-таки скромный. Онъ даетъ основаніе ожидать, что въ ближайшіе годы питейный доходъ будетъ слегка, постепенно возвышаться, но не болѣе.

Настаиваемъ мы на этомъ вовсе не съ цѣлью уменьшить значеніе благопріятныхъ данныхъ контрольнаго отчета, но въ виду воз-

можности какого-либо увеличенія одной цифрой возвышенія питейнаго дохода въ 1878 году противъ предшествовавшаго года,—цифрой, которая хотя сама по себѣ и велика, но значитъ немного. Такъ, уже есть слухъ, будто предполагается возвысить самый размѣръ акциза, возвышеніемъ его на 1 коп. съ градуса. Акцизъ составилъ бы тогда уже 8 коп. съ градуса, или 8 р. съ ведра безводнаго спирта. Намъ эта мѣра представляется преждевременною. По крайней мѣрѣ контрольный отчетъ за 1878 г. — такъ какъ мы говоримъ теперь о немъ—еще рѣшительно не представляетъ основанія для столь рѣзкаго возвышенія налога. Эта мѣра отозвалась бы на цѣнѣ вина гораздо больше, чѣмъ тѣ, какія были установлены приведеннымъ выше закономъ 30 мая 1876 года. Изъ того, что питейный доходъ, повидимому, пересталъ клониться къ упадку, и не только вынесъ въ 1878 году возвышеніе нормъ выхода спирта и уменьшеніе безакцизнаго перекура, а даже поднялся именно благодаря этой мѣрѣ, еще не слѣдуетъ, чтобы столь значительное возвышеніе обложенія, какъ прибавка рубля на ведро, произвела одинаковое дѣйствіе. Прежде, чѣмъ рѣшиться на это, лучше было бы выждать еще года два. Дѣло въ томъ, что, какъ объяснено выше, возвышеніе питейнаго дохода въ 1878 году, дѣйствительно большое сравнительно съ упадкомъ его въ 1877 году, очень невелико въ сравненіи съ 1874 годомъ, послѣднимъ годомъ, который далъ большое возрастаніе именно вслѣдствіе увеличенія акциза съ 6 коп. до 7-ми на градусъ, въ силу закона 15 мая 1873 года. Итакъ, контрольный отчетъ за 1878 годъ вовсе не даетъ ручательства, что возвышеніе акциза не сократитъ самаго потребленія и не повлечетъ за собой, вмѣсто возвышенія питейнаго дохода, его упадка.

Возьмемъ теперь третій изъ главныхъ доходовъ государства (второй по суммѣ)—подати съ поземельными и лѣсными налогами. Показанія его цифръ по годамъ аналогичны съ показаніями цифръ предшествующихъ. Съ 1874 года по 1878-й включительно мы имѣемъ здѣсь рядъ слѣдующихъ цифръ: 120 м. р., 120¼ м. р., 118½ м. р., 117 м. р. и 120 м. р. Итакъ, здѣсь, подобно какъ въ таможенномъ и питейномъ доходахъ, мы видимъ, что цифра, оказавшаяся въ 1878 году, представляетъ только поправленіе послѣ временнаго упадка, а не какой-либо значительный успѣхъ въ естественной производительности налога, при прежней нормѣ. Поступленіе податей въ 1878 году, правда, превзошло поступленіе ихъ въ 1877 году, на 3 м. р., и поступленіе 1876 года на 1½ м. р., но даже еще не достигло итоговъ 1875 и 1874 годовъ. Здѣсь, конечно, скорѣе, чѣмъ въ какомъ-либо иномъ случаѣ, улучшеніе можетъ объясняться именно хорошимъ урожаемъ и оживленіемъ промышленности. Но если въ податяхъ за-

ключеніе мира отзывается только въ такой мѣрѣ, какъ увеличеніемъ поступленій 2½% противъ года войны, при имѣющейся массѣ недоимокъ, то явленіе это никакъ нельзя признать имѣющимъ значеніе для будущаго. Черезъ четыре года послѣ 1874 года, податей поступило не больше, чѣмъ тогда, несмотря на то, что съ тѣхъ поръ умножилось число рабочихъ рукъ и кредитный рубль еще упалъ въ цѣнности, то-есть уплата податей облегчилась, а стало быть онѣ и могли бы поступать исправнѣе. Если же этого не оказалось, то нѣтъ основанія полагать, что въ слѣдующемъ отчетѣ поступленіе податей представитъ какое-либо увеличеніе. Свидѣтельство податныхъ поступленій особенно краснорѣчиво. Въ сравненіяхъ поступленій таможенныхъ и питейныхъ дѣло усложняется измѣненіемъ нормъ обложенія и такимъ прямымъ вліяніемъ войны, какъ уходъ цѣлыхъ арміи за-границу и уменьшеніе привоза въ 1877 году вслѣдствіе искусственнаго возвышенія его въ концѣ 1876 года. Но въ сравненіи податныхъ цифръ никакихъ осложненій нѣтъ; и вотъ, здѣсь просто получено въ 1878 году не больше, чѣмъ четыре года тому назадъ, а даже на 115½ тысячъ рублей меньше.

Должна же быть какая-нибудь причина, которая парализовала и умноженіе рабочихъ рукъ, и возвышеніе цѣнъ заработной платы за это время. На причину эту указать не трудно; общее экономическое положеніе массы съ году на годъ не улучшается; есть даже отзывы совсѣмъ не утѣшительные. А если справедливо, что налоговое бремя всѣхъ родовъ слишкомъ высоко, что хозяйственный инвентарь народа не умножается, а слабѣетъ, что земли истощаются, то нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ застоѣ подушныхъ поступленій, какой замѣчается четыре года къ ряду. Замѣтимъ, мимоходомъ, что съ 1873 на 1874 годъ, все-таки было въ нихъ увеличеніе почти на 2 милліона. Но съ тѣхъ поръ, каждый годъ обнаруживалъ только застой или упадокъ, и самъ нынѣшній отчетъ свидѣтельствуетъ только о застоѣ.

Возвышеніе поступленій, замѣчаемое въ нѣкоторыхъ другихъ отрасляхъ доходовъ, имѣетъ значеніе только счетное или случайное, и потому мы оставимъ ихъ въ сторонѣ. Исключеніе составляетъ только нѣкоторое возвышеніе доходовъ почтоваго, крѣпостныхъ, канцелярскихъ и гербовыхъ пошлинъ. Соляной доходъ не испыталъ на себѣ даже и благопріятнаго дѣйствія заключенія мира и возвращенія войскъ; поступленіе его въ 1878 г. упало и противъ 1877 года. Въ этомъ невыгодномъ налогѣ ежегодное паденіе стало закономъ. За небольшимъ исключеніемъ, соотвѣтствовавшимъ 1876 году, соляной доходъ постоянно падаетъ. За четыре года онъ упалъ на цѣлыхъ 14 процентовъ прежней нормы, и это имѣетъ значеніе не малое для

хозяйства. Этотъ фактъ представляетъ, во-первыхъ, немаловажный аргументъ въ пользу отмѣны соляного налога. Неужели же необходимо будетъ пожертвовать имъ только тогда, когда съ прежнихъ почти 12 м. р. онъ упадетъ до 6 м. р. (нынѣ онъ составляетъ всего 10 м. р.), т.-е. послѣ того, какъ будетъ сокращено потребленіе соли болѣе чѣмъ на половину (если принять въ разсчетъ ростъ населенія)? Конечно, казнѣ легче будетъ отказаться отъ 6 м. р., чѣмъ отъ 12-ти; но во что же обойдется хозяйству, какими лишеніями въ теченіи цѣлаго ряда лѣтъ скажется такой оригинальный способъ уменьшенія налоговаго бремени? Г-нъ министръ финансовъ, лѣтомъ нынѣшняго года, на просьбы купечества объ отмѣнѣ соляного налога выразилъ согласіе съ пользою такой мѣры для народа, но напомнилъ, что этотъ налогъ даетъ государству 12 м. р., а потому надо подумать, чѣмъ его замѣнить. Однако, вотъ теперь соляной налогъ даетъ уже только 10 м. р., а при итогѣ доходовъ въ 626 м. р., легче казнѣ замѣнить 10 м. р. какимъ-нибудь сокращеніемъ расходовъ, чѣмъ народу замѣнить самую соль.

Относительно расходовъ, дѣйствительно произведенныхъ въ 1878 году, отчетъ даетъ слѣдующія общія цифры: по росписи, обыкновенные расходы (съ оборотными) были исчислены въ $579^{3}/_{4}$ м. р., а въ дополненіе къ этой суммѣ потребовалось до $29^{1}/_{4}$ м. р. на обыкновенные расходы (сверхсмѣтные) и 428 м. р. на расходы чрезвычайные, вызванные войною. Впрочемъ, въ приведенной цифрѣ сверхсмѣтныхъ расходовъ заключаются $8^{3}/_{4}$ м. р., отнесенные на разные особые источники, такъ что окончательная цифра сверхсмѣтныхъ расходовъ въ смыслѣ новыхъ средствъ, потребованныхъ отъ казначейства, опредѣлилась въ $20^{1}/_{2}$ м. р., что по отношенію къ общей суммѣ обыкновенныхъ расходовъ ($579^{3}/_{4}$ м. р.) составляетъ всего $3^{1}/_{2}\%$.

Эта процентная норма, конечно, очень мала, и въ теченіи послѣднихъ пяти лѣтъ только однажды, а именно въ 1875 году, она была еще меньше. Сверхсмѣтные расходы въ томъ году составили сумму всего въ $15^{3}/_{4}$ м. р. Но сравнительная малость сверхсмѣтныхъ назначеній 1878 на обыкновенные расходы легко объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что одновременно ассигновывалась на чрезвычайные расходы, вызванные войною, громадная сумма 428 м. р. Намъ могутъ возразить, что эта и другая категорія сверхсмѣтныхъ расходовъ имѣли строгое взаимное разграниченіе; что одни производились въ дополненіе къ расходамъ обыкновеннымъ, между тѣмъ, какъ другіе вызывались чрезвычайными потребностями войны. Но возьмемъ двѣ изъ составныхъ частей суммы сверхсмѣтныхъ расходовъ, составляющей, какъ уже сказано, $20^{1}/_{2}$ м. р., и посмотримъ, возможно ли строгое разграниченіе ихъ отъ чрезвычайныхъ издержекъ, вызванныхъ

исключительными обстоятельствами войны. Одна изъ главныхъ составныхъ частей сверхсмѣтныхъ расходовъ сама называется „издержки, вызванныя обстоятельствами совершенно-исключительными“. Цифра по этой категоріи показана за 1878 годъ ниже, чѣмъ была цифра 1877 г.: вмѣсто 4¾ м. р., уже только 4 м. р.; но замѣчательно, что цифра „исключительныхъ“ издержекъ 1877 года въ свою очередь меньше, чѣмъ была цифра по той же категоріи въ 1876 году (5 м. р.), а та еще меньше, чѣмъ соотвѣтствовавшая цифра 1875 года (5⅛ м. р.). Такимъ образомъ, оказывается, что издержекъ, вызванныхъ совершенно исключительными обстоятельствами, въ дополненіе къ обыкновеннымъ расходамъ, было меньше въ годы войны и мобилизаціи, чѣмъ въ годъ полнаго мира. Вѣроятно ли это? Ясно, что военныя обстоятельства, такъ или иначе, должны были повліять на большинство статей обыкновенныхъ расходовъ. Если же цифры „исключительныхъ расходовъ“ года войны оказались даже менѣе, чѣмъ въ годъ мира, то не происходило ли это оттого, что въ годы войны ассигновывались сверхсмѣтныя особыя огромныя суммы на расходы „чрезвычайные“, вызванные войною. Сложность этихъ расходовъ за 1876, 1877 и 1878 годы составила 888½ м. р.

При такой суммѣ чрезвычайныхъ расходовъ, вызванныхъ войною, можно ли придавать значеніе уменьшенію на 1¼ м. въ сложности за тѣ же три года суммы издержекъ, „вызванныхъ обстоятельствами совершенно-исключительными“, и не слѣдуетъ ли допустить, что часть этихъ послѣднихъ издержекъ могла сливаться если не съ военными расходами, то съ распредѣленіемъ чрезвычайныхъ рессурсовъ вообще? Такъ, напримѣръ, сверхсмѣтныя ассигнованія на заготовленіе вещей и предметовъ обмундированія, оружія, провіанта“, фуража, и т. д., для войскъ, хотя и не дѣйствовавшихъ на войнѣ, иначе сказать, все вздорожаніе и обнаружившееся отъ него превышеніе по обыкновеннымъ расходамъ военнаго вѣдомства могло быть прямо отнесено подъ соотвѣтствующія рубрики расходовъ на войну.

Иначе было бы невозможно объяснить малыхъ размѣровъ возрастанія суммы сверхсмѣтныхъ расходовъ въ годы войны. Предположеніе, высказанное выше, мы подтвердимъ еще другимъ примѣромъ. Одна изъ составныхъ частей суммы 20½ м. р. сверхсмѣтныхъ расходовъ 1878 г., кромѣ военныхъ, представляется, какъ всегда, слѣдующими потребностями: производствомъ добавочнаго жалованья, выдачей наградъ, пособій и ссудъ чиновникамъ, а также наградъ войскамъ. Значительная доля этой суммы неизбѣжно должна относиться на счетъ военнаго и морского вѣдомствъ, и стало быть, въ годы войны она никакъ не могла безусловно уменьшиться. А между тѣмъ, мы видимъ, что эта статья именно въ годы войны выражается цифрами

значительно уменьшившимися. Такъ, въ годъ мира, 1875 г., она составляла 1 м. 620 т. р., но уже въ годъ мобилизаціи, сопряженной съ созданіемъ временныхъ штатовъ и увеличеніемъ дѣятельности служащихъ лицъ, она упала до 1 м. 324 т. р.; въ годъ же войны она понизилась еще болѣе: до 818 т. въ 1877 г., и до 676 т. р. въ 1878 г. Вѣроятно ли, чтобы въ 1878 году дѣйствительная издержка по этой статьѣ уменьшилась едва не втрое противъ 1875 года?

Этотъ примѣръ непремѣнно наводитъ на предположеніе, что сверхсмѣтныя ассигнованія по вѣдомствамъ военному и морскому отнесены, главнымъ образомъ, къ „чрезвычайнымъ“ расходамъ, вызваннымъ войною, хотя бы эти ассигнованія представлялись и просто тѣмъ вздорожаніемъ продуктовъ, о которомъ въ прежнихъ отчетахъ постоянно упоминалось, для объясненія сверхсмѣтныхъ расходовъ, а въ нынѣшнемъ не упомянуто.

Но однажды допустивъ подобную догадку, мы затѣмъ не можемъ уже придавать цифрѣ $20^{1}/_{2}$ м. р. сверхсмѣтныхъ расходовъ 1878 г. безусловнаго значенія, такъ какъ не можемъ знать, какою цифрою выразились бы тѣ дополнительныя ассигнованія къ обыкновеннымъ расходамъ, которые пришлось отнесть на чрезвычайные рессурсы. Мы знаемъ только, что сумма дѣйствительно произведенныхъ въ 1878 г. расходовъ (за исключеніемъ неистребованныхъ ассигнованій) на чрезвычайныя военныя надобности опредѣлилась въ 408 м. р. Если бы допустить, что всего 10% этой суммы представляли сверхсмѣтное ассигнованіе, послѣдовавшее въ дополненіе къ обыкновеннымъ расходамъ вслѣдствіе увеличенія числа служащихъ во всѣхъ военныхъ округахъ и повсемѣстнаго вздорожанія продуктовъ, то тогда и получилась бы такая цифра, которая далеко превзошла бы показанный въ отчетѣ излишекъ дохода предъ расходами въ 27 м. руб.

Переходя вновь къ расходамъ обыкновеннымъ, приведемъ общій итогъ дѣйствительно израсходованнаго въ 1878 году, сравнительно съ предшествующими годами. Въ 1878 году итогъ составилъ $600^{1}/_{2}$ м. р., на $15^{1}/_{2}$ м. р. болѣе противъ 1877 г., на $27^{1}/_{2}$ м. р. болѣе противъ 1876 г., и на 57 м. р. болѣе противъ 1875 и 1874 годовъ.

Итакъ, оказывается, что въ 1878 году обыкновенные расходы возросли только на $15^{1}/_{2}$ м. р., между тѣмъ какъ обыкновенныхъ доходовъ поступило на 77 м. р. болѣе противъ 1877 года. Результатъ этотъ былъ бы блестящъ, если-бы не было рядомъ рубрики чрезвычайныхъ расходовъ на войну, представляющей цифру 408 м. р.; въ виду же ея и трудности точнаго „разграниченія между расходами“ исключительными и расходами „чрезвычайными“, благопріятный отчетный балансъ 1878 года не можетъ имѣть желаемаго значенія.

Упомянемъ еще о томъ благопріятномъ фактѣ, что приплаты отъ

правительства обществамъ желѣзныхъ дорогъ по гарантіи, въ 1878 г. уменьшились противъ предшествовавшаго года съ $16^{2}/_{3}$ м. р. до $11^{1}/_{3}$ м. р. И въ 1876 году на гарантіи было издержано болѣе чѣмъ въ 1878-мъ г., а именно $14^{1}/_{2}$ м. р. Но надо замѣтить и тутъ, что на увеличеніе приплаты по гарантіямъ въ 1876 и 1877 годахъ имѣло вліяніе подчиненіе дорогъ распоряженіямъ военной власти по мобилизаціи и перевозкѣ войскъ. Въ 1875-мъ же году, приплата по гарантіямъ составляла только $8^{1}/_{4}$ м. р., то-есть половину того, что она потребовала въ 1877 году. Сравненіе это, впрочемъ, не совсѣмъ точно, такъ какъ въ 1877 году открылось движеніе по новымъ желѣзнымъ дорогамъ: фастовской, привислянской и оренбургской, которымъ присвоена гарантія.

Единственно для полноты этого обзора приведемъ точную цифру того свободнаго остатка, который образовался по счетамъ объ исполненіи росписи 1878 года. Назначено было по росписи и сверхъ ея до 609 м. р., а дѣйствительно израсходовано и еще предстояло къ расходованію только $600^{1}/_{2}$ м. р., такъ что образовался свободный остатокъ въ $8^{1}/_{2}$ м. р.

Превышеніе же доходовъ 1878 г. предъ расходами въ $27^{3}/_{4}$ м. р. образовалось по слѣдующему балансу отчета: расходовъ, прямо падающихъ на обыкновенные доходы росписи, было 598 м. р., а обыкновенныхъ доходовъ поступило $625^{3}/_{4}$ м. р. (почти 626 м. р.). Но въ помянутыхъ $27^{3}/_{4}$ м. р. заключаются еще около 2 м. р., которые подлежатъ вычету отсюда, такъ какъ на нихъ имѣетъ право военное министерство, на основаніи его правилъ. Такимъ образомъ, превышеніе доходовъ 1878 г. передъ расходами по отчетному балансу окончательно опредѣляется въ $25^{3}/_{4}$ м. р.

Затѣмъ, особый интересъ представляетъ, конечно, способъ покрытія суммы 408 м. р. расходовъ чрезвычайныхъ на военныя потребности. Главный интересъ здѣсь представляется собственно свѣдѣніями о суммахъ, которыя поступили по займамъ. Такъ, изъ восточнаго займа 1877 г. сюда поступили $20^{3}/_{4}$ м. р., а изъ внѣшняго займа, сдѣланнаго въ томъ же году, до 42 м. р.; далѣе, 2-й восточный заемъ далъ $243^{1}/_{2}$ м. р.; остаткомъ отъ прежнихъ росписей покрыто $3^{3}/_{4}$ м. р. Замѣтимъ, что теперь только въ первый разъ дѣлается извѣстною точная сумма, поступившая отъ внѣшняго займа, заключеннаго въ 1877 году. По контрольному отчету за 1878 г. изъ него поступило до 42 м. р., а по отчету за 1877 г. до 1 января 1878 г. изъ этого займа поступило до $64^{1}/_{2}$ м. р.; итого, внѣшній заемъ далъ въ точной цифрѣ 106.408,573 руб. 25 коп., за отчисленіемъ издержекъ на его реализацію и уплату, произведенную по купонамъ.

Всѣ эти результаты, вмѣстѣ взятые, представляли сумму 310 м. р.,

и за обращеніемъ ея на удовлетвореніе чрезвычайныхъ расходовъ оставался еще дефицитъ, или недостатокъ чрезвычайныхъ средствъ въ 98 м. р. По отзыву контрольнаго отчета, этотъ недостатокъ „восполненъ образовавшимися за покрытіемъ обыкновенныхъ расходовъ остатками изъ доходовъ росписи 1878 г. и позаимствованіями изъ суммъ государственнаго банка". Изъ отчета же видно, что свободнаго остатка изъ доходовъ росписи оказалось только $8^1/_2$ м. р.; стало быть, $97^1/_2$ м. р. были покрыты изъ суммъ государственнаго банка. А такъ какъ не сказано, чтобы позаимствованныя такимъ образомъ у государственнаго банка суммы подлежали возвращенію, то слѣдуетъ допустить, что онѣ представлялись выпускомъ кредитныхъ билетовъ на сумму $97^1/_2$ м. р.

Въ заключеніе нашего обзора, мы должны признать, что отчетъ контроля за 1878 годъ свидѣтельствуетъ о возстановленіи доходовъ государства послѣ упадка ихъ въ виду и въ продолженіе войны; но главныя статьи дохода или только сравнялись съ цифрами бывшими до войны, или же, если превысили послѣднія, то главнымъ образомъ вслѣдствіе возвышенія самой нормы обложенія, какъ то особенно имѣло мѣсто въ доходѣ таможенномъ. Въ числѣ данныхъ отчета есть также и такія, которыя свидѣтельствуютъ о застоѣ, если не упадкѣ экономическаго быта массы, а такъ какъ этотъ застой или упадокъ одною изъ несомнѣнныхъ своихъ причинъ имѣетъ именно высоту нынѣшнихъ налоговъ, то нѣтъ вѣрныхъ основаній разсчитывать на дальнѣйшее поднятіе государственныхъ доходовъ путемъ новаго возвышенія налоговъ. Относительно дохода таможеннаго и отъ подушныхъ податей оно было бы просто невозможно; относительно же питейнаго дохода представлялось бы сомнительнымъ. Довольно доказательнымъ примѣромъ здѣсь можетъ служить результатъ введенія новаго желѣзно-дорожнаго налога въ текущемъ году: налогъ съ грузовъ, отправляемыхъ съ большой скоростью, произвелъ значительное уменьшеніе такой отправки, а налогъ съ пассажировъ имѣлъ послѣдствіемъ перемѣщеніе пассажировъ въ низшіе классы. Общимъ результатомъ явилось уменьшеніе сборовъ, которое можетъ вызвать для казны приплаты по гарантіямъ въ суммѣ, недалекой отъ самаго поступленія новаго налога.

Въ конечномъ результатѣ отчета за 1878 г. получается — хотя оно тамъ и не высказано — оправданіе огромныхъ выпусковъ бумажныхъ денегъ, какими сопровождалась война, и которые, доселѣ, представляютъ для насъ чувствительнѣйшій ея результатъ. Все „обыкновенное" хозяйство шло, повидимому, отлично, и если въ годы 1876—1878 выпущено вновь кредитныхъ рублей примѣрно 450 милліоновъ, то иначе и быть не могло; но въ виду благопріятнаго теченія „обык-

новеннаго" хозяйства и даже излишка доходовъ, имъ представляемаго, это явленіе, къ тому же „временное", какъ будто важно. Къ тому же, въ самой печати обремененіе государства массою безпроцентныхъ обязательствъ и торговаго рынка массою излишнихъ денежныхъ знаковъ находитъ доселѣ горячихъ защитниковъ, а возраженія, какія имъ предъявляются, отмѣчены какой-то несмѣлостью и даже признаніемъ, что въ сущности дѣла идутъ, какъ будто, не дурно.

Что касается смѣлыхъ и оригинальныхъ экономистовъ „Московскихъ Вѣдомостей", то они положительно отвергаютъ всякую мысль и пользу сокращенія количества бумажныхъ денегъ. По ихъ словамъ, это значило бы подорвать оживленіе торговли и промышленности. Къ тому же, они такъ искусно подбираютъ цифры вексельныхъ курсовъ, что доказываютъ ими полнѣйшую независимость этихъ курсовъ отъ количества выпущенныхъ бумажныхъ денегъ. Мы удивляемся только одному, а именно, что эти публицисты не провозгласили прямо, въ пользу казны, Прудонову теорію о даровомъ кредитѣ; что у нихъ не хватило до сихъ поръ смѣлости сказать — какъ то совершенно необходимо для доказанности ихъ тезиса — что если-бы было выпущено вмѣсто 450 мил. р. — два или болѣе милліардовъ кредитныхъ рублей, то это принесло бы и кредиту государства, и торговли съ промышленностью, только пользу, первый укрѣпивъ, а послѣднія ожививъ.

За то они весьма усердно доказываютъ, что выкупъ значительнаго количества бумажныхъ денегъ, а по возможности и возстановленіе размѣна, принесли бы пользу только иностранцамъ — владѣльцамъ русскихъ фондовъ, разсчитанныхъ на кредитную валюту, какъ будто эти фонды не помѣщены преимущественно въ самой Россіи и выгода отъ повышенія ихъ курса не была бы прежде всего выгодой для русскихъ капиталистовъ.

Нѣчто совершенно противоположное представляетъ намъ новѣйшее посланіе президента Соединенныхъ-Штатовъ къ конгрессу. Соединенные-Штаты, какъ и Россія, были богаты ассигнаціями, съ той, весьма существенной разницею, что Соединенные-Штаты начали выпускъ ассигнацій во время междоусобной войны 1861—1865 годовъ, и 1 января 1879 года возстановили размѣнъ ихъ на золото, между тѣмъ какъ Россія имѣетъ бумажныя деньги съ прошлаго столѣтія, однажды уже возстановила ихъ цѣнность на время посредствомъ девольваціи, а въ новѣйшее время выпустила ассигнацій вновь, сперва, съ 1853 года, на 400 м. р. и не погасила ихъ, по минованіи войны, а потомъ вновь на 450 м. р. по случаю новой войны, и опять не погасила ихъ, да если послушать изобрѣтателей экономическихъ истинъ московскаго издѣлія, не должна и думать о ихъ погашеніи.

Перваго декабря (н. с.) была открыта въ Вашингтонѣ сессія 46-го конгресса чтеніемъ посланія президента союза г. Гейза. Между прочимъ, въ этомъ посланіи сообщается представителямъ народа, что, со времени возстановленія размѣна ассигнацій на металлъ, т.-е. съ 1 января 1879 г., въ кассы казначейства поступило золота *болѣе*, чѣмъ выдано изъ нихъ, на 40 милл. долларовъ (80 м. р. по нашему курсу). Послѣдствіями возстановленія размѣна указываются въ посланіи поднятіе государственнаго кредита и *оживленіе* всѣхъ промышленныхъ дѣлъ; ассигнаціи и золото стоятъ нынѣ въ равной цѣнности; требованіе изъ-за границы на продукты изъ Соединенныхъ-Штатовъ, мануфактурные и земледѣльческіе, усилилось и произвело весьма благопріятный торговый балансъ въ пользу Штатовъ, а именно: съ 1 іюля 1879 по 23 ноября изъ-за границы ввезено въ Штаты золота на 59 милл. долларовъ болѣе, чѣмъ вывезено изъ нихъ. Поднятіе государственнаго кредита удостовѣряется такимъ фактомъ, что облигаціи новаго займа (bonds), выпущеннаго взамѣнъ старыхъ, по 4%, проданы частью al pari, частью выше пари, вслѣдствіе чего явилась возможность погасить тѣ облигаціи прежнихъ займовъ, которымъ истекалъ срокъ и по которымъ казна платила по 5 и по 6%, такъ что въ одинъ годъ такимъ путемъ сдѣлано сбереженіе на платежи процентовъ въ $14^1/_4$ милл. долларовъ. Теперь остается погасить только 500 милл. долларовъ въ облигаціяхъ 5% и около 300 милл. долл. въ облигаціяхъ 6%, которымъ срокъ наступитъ черезъ два года; съ этой цѣлью конгрессу предлагаются мѣры, состоящія въ выкупѣ ихъ посредствомъ выпуска новыхъ 4% облигацій, продаваемыхъ al pari; послѣдствіемъ этого имѣетъ быть дальнѣйшее сокращеніе ежегодныхъ платежей по системѣ кредита на 11 милл. долларовъ.

Итого, при помощи возстановленія размѣна, американцамъ удастся уменьшить ежегодные платежи по системѣ кредита на 50 милл. нашихъ кредитныхъ рублей.

Но публицисты „Московскихъ Вѣдомостей“ могутъ даже искренно не убѣдиться этимъ примѣромъ и dans leur for intérieur подумать нѣчто въ слѣдующемъ родѣ:—Чудаки эти американцы! думаютъ о томъ, что̀ будетъ черезъ два года, когда знакомому намъ ситце-бумажному фабриканту требуется въ нынѣшнемъ полугодіи учетъ векселей въ государственномъ банкѣ, а при сокращеніи бумажно-денежнаго обращенія размѣръ дисконта поднимется и отечественная промышленность не дополучитъ одного рубля на сто вексельныхъ рублей, хотя казна и получитъ на свои 600 милл. въ годъ 36 милл. рублей чистой прибыли.—Вотъ, такъ каждый и разсуждаетъ съ своей точки зрѣнія...

Отъ общаго положенія государственнаго хозяйства мы обратимся теперь къ одному частному вопросу хозяйства церковнаго, который недавно разрѣшенъ частнымъ же разъясненіемъ св. синода. Вопросъ этотъ не выходитъ изъ области внутренняго самоуправленія церкви, а въ разрѣшеніи такихъ вопросовъ мы считаемъ свѣтскую власть, хотя и полноправную по существующимъ законамъ, но менѣе заинтересованною, чѣмъ само духовное правительство или духовенство вообще, какая бы форма внутренняго управленія въ немъ ни существовала. Сами же мы относимся къ такимъ вопросамъ съ большимъ интересомъ, но съ тѣмъ постояннымъ убѣжденіемъ, что и голосъ общества не можетъ вліять на ихъ рѣшеніе, хотя каждый міранинъ, конечно, въ правѣ имѣть о нихъ свое личное мнѣніе.

Весьма важнымъ источникомъ церковныхъ доходовъ представляется выгода, доставляемая заготовленіемъ употребляемыхъ въ церквахъ восковыхъ свѣчъ. Поэтому, съ давнихъ временъ обращено было вниманіе на то, чтобы всю выгоду отъ этой операціи предоставить именно въ пользу церквей и духовныхъ школъ, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности, съ давнихъ поръ и по настоящее время, выгода эта остается, главнымъ образомъ, въ рукахъ частныхъ лицъ, то-есть владѣльцевъ свѣчныхъ заводовъ и тѣхъ, кто, состоя при церквахъ, имѣетъ дѣло съ этими заводчиками, то-есть преимущественно церковныхъ старостъ. Еще при Петрѣ I, со свойственными ему всеобъемлемостью и взгляда и власти, вопросъ этотъ разрѣшался въ пользу церковнаго хозяйства и къ невыгодѣ частныхъ спекулянтовъ, но практика тотчасъ же ограничивала смыслъ предписаній власти. „Церковный Вѣстникъ“ напоминаетъ указъ Петра, въ которомъ, между прочимъ, было сказано: „а продающимъ не отъ лица церкви свѣчи, но себѣ точію отъ сея церковныя вещи прибытокъ получающимъ учинить заказъ, дабы они впредь оныхъ свѣчъ не продавали и въ купечествѣ своемъ не содержали“. Но на практикѣ указъ этотъ былъ разъясненъ такъ, что онъ касался только до продажи свѣчъ въ церквахъ, а снабженіе ими церквей производилось изъ лавокъ.

Затѣмъ, въ разныя царствованія возникалъ вопросъ о предоставленіи самой церкви всей выгоды отъ продажи свѣчъ, и при императорѣ Александрѣ изданы были съ этой цѣлью правила. Но до тѣхъ поръ, пока въ каждой епархіи не будетъ свѣчного завода, котораго вся прибыль обращалась бы въ пользу церквей и школъ той епархіи, выгода, предписываемая собственно заготовленіемъ свѣчъ, все-таки останется въ рукахъ частныхъ заводчиковъ, торговцевъ и старостъ, какъ было и до сихъ поръ.

Теперь уже имѣются такіе заводы или, по крайней мѣрѣ, склады въ разныхъ епархіяхъ, но не во всѣхъ. Объ устройствѣ такихъ заведеній старались особенно съѣзды духовенства, и св. синодъ одобрялъ это предпріятіе. При устройствѣ завода или склада предполагается, что во всѣ церкви епархіи свѣчи будутъ пріобрѣтаемы только изъ этихъ заведеній. Но нѣтъ закона, который бы формально обязывалъ къ тому старостъ или членовъ причта. Въ уставѣ духовныхъ консисторій (стр. 147) сказано лишь, что епархіальное начальство должно обращать особое вниманіе на доходъ отъ свѣчной продажи и „изыскивать, съ своей стороны, способы къ улучшенію этой части", въ церквахъ же „дѣло сіе должно быть производимо на точномъ основаніи преподанныхъ на то особыхъ правилъ".

Но недавно въ калужской епархіи, гдѣ существуетъ обще-церковный свѣчной заводъ, былъ случай, что одинъ староста не пожелалъ пріобрѣтать свѣчъ изъ этого склада, а когда епархіальное начальство предписало ему дѣлать это, то онъ принесъ въ синодъ жалобу на такое распоряженіе мѣстной духовной власти. На эту жалобу св. синодъ опредѣлилъ разъяснить старостѣ причины того порядка, который предписывался калужскимъ епархіальнымъ начальствомъ, и вмѣстѣ объявить, что покупка мѣстными церковными причтами и старостами калужской епархіи свѣчъ изъ тамошняго обще-церковнаго склада для всѣхъ церквей епархіи „совершенно обязательна". За такимъ разъясненіемъ высшаго духовнаго начальства, послѣдовавшимъ по частному случаю, долженъ считаться рѣшеннымъ и общій вопросъ объ обязательности такого порядка, который предоставляетъ всю выгоду отъ заготовленія свѣчъ церквамъ и школамъ.

Надо замѣтить, впрочемъ, что и при существованіи во всѣхъ епархіяхъ не только свѣчныхъ складовъ, но и заводовъ, церковные старосты и причты все-таки сохранятъ нѣкоторую долю прибыли отъ продаваемыхъ свѣчъ. Дѣло въ томъ, что одна изъ главныхъ выгодъ частныхъ заводовъ, приготовляющихъ церковныя свѣчи, состоитъ въ томъ, что заводы эти скупаютъ по дешевой цѣнѣ отъ старостъ огарки свѣчъ, и, перетапливая ихъ, продаютъ свѣчи, приготовленныя такимъ образомъ, по той же цѣнѣ, какъ-бы сдѣланныя изъ неупотреблявшагося еще воска. Извѣстно, что огарковъ отъ церковныхъ свѣчъ остается не мало, и огарки эти иногда составляютъ половину свѣчи, если не болѣе. Затѣмъ, тотъ же воскъ, положимъ, отъ двухъ свѣчъ, обращенный въ новую свѣчу, продается церкви, а въ церкви —прихожанамъ, во второй разъ, за тѣ же цѣны. Вотъ этого-то барыша старостѣ едва-ли возможно будетъ избѣгнуть, развѣ въ томъ случаѣ, если обще-церковные заводы откажутся употреблять огарки, какъ матерьялъ для выдѣлки свѣчъ, и обяжутся приготовлять свѣчи

не иначе, какъ изъ цѣльнаго воска. Но, во-первыхъ, въ этомъ отношеніи довольно трудно контролировать заводы, а во-вторыхъ, при соблюденіи этого правила, приготовленіе свѣчъ будетъ обходиться обще-церковнымъ заводамъ дороже, чѣмъ оно обходилось частнымъ, и прибыль, получаемая первыми, будетъ меньшая.

Но порядокъ, сдѣланный нынѣ обязательнымъ, полезенъ въ томъ отношеніи, что при немъ не только обращаются въ пользу церквей и школъ прибыли отъ заготовленія свѣчъ, а еще увеличивается въ значительной степени контроль епархіальныхъ съѣздовъ духовенства надъ хозяйствомъ отдѣльныхъ церквей. Церковный староста, по соглашенію съ частнымъ заводчикомъ, можетъ показать какую ему угодно цифру купленныхъ для церкви и проданныхъ прихожанамъ свѣчъ. Но когда онъ долженъ будетъ покупать свѣчи изъ общецерковнаго склада, то сдѣлаются въ точности извѣстны размѣры самой продажи свѣчъ прихожанъ, а тѣмъ вѣрнѣе станетъ и учетъ дѣйствительнаго каждой церкви хозяйства.

Мы упоминали выше о неуспѣхѣ, оказавшемся въ примѣненіи введеннаго въ истекшемъ году желѣзнодорожнаго налога. Отъ сбора, установленнаго съ пассажирскихъ билетовъ по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ, а также съ пассажирскаго багажа и грузовъ, отправляемыхъ по желѣзнымъ дорогамъ съ большою скоростью, ожидалось по росписи 1879 года поступленіе въ $7\frac{1}{2}$ м. р. Но при примѣненіи, оказалось прежде всего необходимымъ вовсе не взимать сбора съ пассажирскихъ билетовъ на пароходахъ. Затѣмъ, таблица сборовъ на желѣзныхъ дорогахъ за первое полугодіе обнаружила недоборъ по пассажирскому и товарному движенію на сумму до 5-ти милл. р., сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ. Въ первомъ полугодіи 1878 г. доходъ на версту составлялъ 5,213 р., а въ первомъ полугодіи 1879—только 4,754 или на $9\frac{1}{2}\%$ менѣе. Уменьшеніе это произошло главнымъ образомъ именно отъ сокращенія перевозки грузовъ большой скорости, съ 5,3 м. пуд. до 3,4 м. пуд., что составляетъ уменьшеніе слишкомъ на треть, между тѣмъ какъ число пудовъ, перевезенныхъ съ малой скоростью за то же время уменьшилось всего въ размѣрѣ 3%. Стало быть, такой размѣръ паденія дохода какъ $9\frac{1}{2}\%$ не можетъ быть объясненъ этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ, а долженъ быть отнесенъ именно къ сокращенію перевозки грузовъ большой скорости и къ уменьшенію числа пассажировъ, ѣдущихъ въ высшихъ классахъ. Въ самомъ дѣлѣ, общее число пассажировъ не только не уменьшилось, но даже возросло примѣрно на 8% прежняго числа, а сборъ уменьшился.

Такое паденіе сборовъ, зависящее прямо отъ новаго налога, не

могло не продолжаться и во второе полугодіе, и если оно продолжалось въ томъ же размѣрѣ, то общій недоборъ на желѣзныхъ дорогахъ долженъ составить отъ 9 до 10 милл. рублей, которые казна должна будетъ прибавить къ 11 милл., платимымъ ею по гарантіямъ въ 1878 году, милліоновъ 9, вслѣдствіе установленія новаго налога, отъ котораго сама ожидала выручить новаго дохода $7^1/_2$ м. р. Такимъ образомъ, въ результатѣ этой мѣры можетъ получиться не только стѣсненіе для пассажировъ и для торговыхъ оборотовъ, но еще и уменьшеніе въ средствахъ казны.

Извѣстно, что наши желѣзныя дороги оставляютъ еще желать весьма многаго. Здѣсь на первомъ планѣ стоятъ вопросы о дальнѣйшемъ развитіи самой сѣти, которая пріостановилась войною, о согласованіи тарифовъ и самомъ порядкѣ ихъ измѣненія, объ устройствѣ подвозныхъ путей, безъ которыхъ существующія желѣзныя дороги, во-первыхъ, не могутъ въ достаточной мѣрѣ способствовать къ оживленію производительности, а во-вторыхъ, по временамъ то нуждаются въ грузахъ, то загромождаются ими до такой степени, что раздаются жалобы на недостаточность подвижного состава и задержку товаровъ на станціяхъ. Но, кромѣ этихъ вопросовъ, самое внутреннее устройство желѣзнодорожной службы часто подаетъ поводъ къ нареканіямъ. Такъ, нѣсколько судебныхъ дѣлъ, производившихся въ послѣднее время, вслѣдствіе несчастныхъ случаевъ, обнаружили излишнюю экономію нѣкоторыхъ желѣзнодорожныхъ управленій на личномъ составѣ низшихъ агентовъ,—такую экономію, которая ставитъ стрѣлочниковъ и кондукторовъ въ непосильныя условія работы.

Изслѣдованіе вопросовъ, связанныхъ съ устройствомъ желѣзныхъ дорогъ, поручено, какъ извѣстно, особой комиссіи, которая изъѣздила всю Россію, и о прибытіи ея въ тотъ или другой городъ и о производимыхъ ею осмотрахъ извѣщали насъ телеграммы. Комиссія эта выработала около 700 вопросовъ и поручила своимъ подкомиссіямъ добыть по нимъ свѣдѣнія, по группамъ желѣзныхъ дорогъ, распредѣленнымъ между тѣми подкомиссіями.

Но то, что доселѣ обнаружилось изъ трудовъ комиссіи и подкомиссій, подаетъ поводъ сомнѣваться, вѣренъ ли тотъ путь, который избранъ ею для достиженія цѣли. Съ одной стороны, комиссія, повидимому, не ограничивается собираніемъ свѣдѣній и изученіемъ мѣстныхъ потребностей, но вмѣстѣ ревизуетъ дороги для немедленныхъ по нимъ мѣропріятій, то-есть присоединяетъ къ своей цѣли изслѣдованія еще задачу инспекторской провѣрки, что должно усложнять ея труды и вмѣстѣ связывать будущія ея предположенія нынѣшними ея распоряженіями.

Съ другой стороны, слышно, что подкомиссіи облегчаютъ себѣ

трудъ самостоятельнаго собиранія свѣдѣній простымъ требованіемъ отвѣтовъ на заданные вопросы отъ самыхъ правленій желѣзныхъ дорогъ. Коснувшись этого дѣла, газета „Молва“ дѣлаетъ слѣдующее основательное замѣчаніе: „Что можно ожидать отъ отвѣтовъ правленій? На всѣ вопросы будутъ отвѣты такіе, какіе выгодны и удобны для дорогъ; нельзя же предполагать, чтобы правленія дорогъ изобразили изъ себя ту унтеръ-офицерскую жену, которая сама себя высѣкла!“ Судя по образчикамъ, приведеннымъ въ статьѣ „Молвы“, многіе изъ 700 вопросовъ поставлены довольно странно, какъ, напр., слѣдующіе: „раціонально ли устроено управленіе дорогою?“ „Соблюдается ли такое-то постановленіе министра путей сообщенія?“ Естественно, что на подобные вопросы всѣ правленія могутъ дать только утвердительные отвѣты, которые ничего не докажутъ.

Вообще, мысль объ изслѣдованіи дѣла путемъ обращенія съ вопросами къ правленіямъ—неудачна. Въ этомъ—какъ, впрочемъ, и въ другихъ дѣлахъ—у насъ проявился тотъ формализмъ, который убиваетъ смыслъ дѣла. Не лучше ли было бы послать знающихъ людей, техниковъ, для вполнѣ самостоятельнаго изученія всей службы хоть на одной линіи изъ каждой группы желѣзныхъ дорогъ, съ порученіемъ такимъ лицамъ написать не доклады, а хозяйственно-административныя изслѣдованія по личнымъ наблюденіямъ, причемъ отъ правленій могли бы быть затребованы только статистическія данныя? Это заняло бы никакъ не меньше времени, чѣмъ сколько потребуется, во-первыхъ, для путешествій подкомиссій, а во-вторыхъ, для обработки того громаднаго, чисто-формальнаго матеріала, который онѣ навезутъ по осмотрѣ всѣхъ дорогъ. Самостоятельное изслѣдованіе нѣсколькихъ главныхъ линій будетъ стоить меньше и, навѣрное, принесетъ болѣе пользы.

Заключимъ нашу хронику приблизительно тѣмъ же, чѣмъ ее начали, а именно — цифрами по одному спеціальному дѣлу государственнаго хозяйства. Въ декабрѣ истекшаго года вышло продолженіе извѣстнаго нашимъ читателямъ изданія русской „Почтовой статистики“ за 1878 годъ. Мы должны были бы собственно повторить все сказанное нами въ особой „Замѣткѣ“, помѣщенной нами въ майской книгѣ 1879 года, по поводу почтовой статистики за 1877 годъ (стр. 420 — 425), такъ какъ настоящій отчетъ за 1878 годъ вызываетъ насъ на тѣ же размышленія, особенно по поводу мѣста, которое занимаетъ казенная корреспонденція въ общемъ дѣлѣ почтовой операціи. Но въ послѣдней замѣткѣ мы посмотрѣли на этотъ вопросъ чисто съ формальной стороны, между тѣмъ какъ онъ представляетъ случай къ обсужденію его со стороны весьма существенной для дальнѣй-

шихъ успѣховъ почтоваго дѣла въ Россіи. Въ нынѣшнемъ отчетѣ мы находимъ, какъ и прежде, общій „Финансовый результатъ“ отчетнаго 1878 года, — замѣтимъ мимоходомъ, блестящій, и это тѣмъ хуже въ данномъ случаѣ, — а подъ таблицею повторяется примѣчаніе издателей, изъ котораго слѣдуетъ, что „правильнаго сужденія“ основать на этой таблицѣ нельзя, такъ какъ, по ихъ словамъ, „для правильнаго сужденія о степени производительности почтовой операціи въ 1878 году“ необходимо весьма многое исключить изъ расходныхъ статей, что, конечно, пошатнетъ значительно балансъ, и именно въ пользу необычайной производительности нашихъ почтовыхъ операцій. Дѣйствительно, по таблицѣ выходитъ, что въ 1878 году почтовый доходъ почти достигъ 14 милл. (т.-е. удвоился въ теченіи послѣднихъ 10-ти лѣтъ: въ 1868 году=7½ милл.), а расходъ—до 14 милл. 700 тыс., безъ малаго. Изъ этого прямой выводъ, что въ 1878 году дефицитъ достигалъ 700 тыс., которыя должны покрыться на счетъ государственнаго бюджета,—другими словами, почтовая операція была, какъ будто, на 700 тыс. убыточна. Вотъ этотъ-то выводъ и неправиленъ; по справедливому замѣчанію самихъ составителей, для правильнаго сужденія о доходности торговыхъ операцій необходимо скинуть со счета расходовъ около 3½ милл. на почтовый гонъ для пассажировъ, какъ частныхъ, такъ и казенныхъ, занесенныхъ въ цѣлости на счетъ почтоваго вѣдомства; да еще къ этому нужно присоединить до 5 милл. рубл. такъ-называемой „безплатной“ корреспонденціи, т.-е. казенной. Если же мы снимемъ со счета эти двѣ статьи расхода, т.-е. слишкомъ 8-мь милл., то и получимъ, что почтовая операція въ 1878 году не только не принесла убытка, но еще дала болѣе семи милл. чистой прибыли. Другими словами, казна выдала въ 1878 году на свои почтовыя потребности около 700 тыс. (изображаемыхъ въ видѣ дефицита), а собственно она должна бы была заплатить только за одну свою письменную корреспонденцію, достигшую 80 милл. лотъ (каждый лотъ 7 коп.), свыше 5½ милл. руб. Конечно, такое дѣло, въ которомъ уплачиваются 700 тыс. руб., вмѣсто слѣдуемыхъ 5½ милл., можно назвать не только прибыльнымъ, но прибыльнымъ весьма, такъ какъ въ казнѣ остается около 5-ти милл. ежегоднаго сбереженія. Но въ такомъ случаѣ, тутъ встрѣчается не одинъ вопросъ о правильности счетоводства, но и вопросъ о средствахъ: такой громадный доходъ съ какого бы то ни было дѣла можно получить не иначе, какъ работая самыми дешевыми средствами; механизмъ почтовый долженъ искать себѣ самыя дешевыя силы, чтобы извлекать такую доходность. Представимъ себѣ, для примѣра, что почтовое вѣдомство, въ видахъ улучшенія своего дѣла, рѣшилось бы ввѣрить его болѣе дорогимъ, а слѣдовательно—и болѣе вѣрнымъ силамъ; но

на обыкновенномъ языкѣ это значило бы имѣть почтмейстера не за 500 руб. годового жалованья, а за тысячу. Въ такомъ случаѣ, произошло бы слѣдующее: почтовая операція была бы ведена лучшими силами; письмоносецъ былъ бы не 15-рублевый, а 30 или 40-рублевый; но за то „дефицитъ" удвоился бы, утроился: вмѣсто 700 тыс. рублей 1878 года, онъ достигъ бы, можетъ быть, 2 или 3 милл.; но все это только оттого, что мы выражаемся неправильно: правильно—слѣдовало бы сказать, что казна, въ такомъ случаѣ, уже не получила бы 5½ милл. дохода съ почты, а только всего 2 или 3 милл. Доходъ все-таки еще значительный, но вмѣстѣ съ тѣмъ улучшеніе почтоваго дѣла было бы громадное.

Все это необходимо разъяснить, такъ какъ время отъ времени появляются въ печати жалобы, повидимому, направленныя противъ почтоваго вѣдомства, — но это только по недоумѣнію, а также и вслѣдствіе того, что никто не обращаетъ вниманія на самую суть дѣла. Такъ, недавно въ „Новороссійскомъ Телеграфѣ" сообщалась характеристика мѣстныхъ уѣздныхъ почтмейстеровъ, которые, конечно, мало чѣмъ отличаются отъ всѣхъ другихъ: „Уѣздный почтмейстеръ, это — бо́льшею частью уже немолодой человѣкъ, обремененный большимъ семействомъ и получающій содержанія отъ 400 до 800 р. въ годъ, смотря по классу почтовой конторы, но такихъ конторъ, съ 800 руб. содержанія, у насъ очень немного. Восходя постепенно по ступенямъ, начиная даже съ должности почтальона, онъ, наконецъ, достигаетъ этого представительства, на которомъ и оканчивается вся служебная его карьера; бываютъ случаи, что онъ попадаетъ и въ губернскіе почтмейстеры или въ помощники послѣдняго, но это случается рѣдко; на эти должности, бо́льшею частью, присылаются чиновники изъ столицъ, а уѣздный почтмейстеръ преимущественно оканчиваетъ свое существованіе на этомъ поприщѣ, такъ какъ къ другому онъ не приготовленъ. Онъ такъ свыкается съ почтовой службой, пробывъ въ ней до старости лѣтъ, что какъ ни тяжело его положеніе, но о перемѣнѣ службы онъ и не думаетъ, — трудно ему взяться за другое дѣло, просидѣвъ десятки лѣтъ за механическимъ трудомъ; онъ закабалилъ себя на этотъ трудъ и отстать отъ него не можетъ."

Что на 400—800 рублей въ годъ прожить трудно съ семьею — объ этомъ спорить никто не будетъ; что въ такихъ условіяхъ мудрено себѣ представить, чтобы дѣло, какъ говорится, не валилось изъ рукъ — это также понятно. Но что почтовое вѣдомство въ этомъ вопросѣ можетъ быть ни причемъ—это уже менѣе понятно. Между тѣмъ, оно мало понятно только вслѣдствіе недостатка правильности въ изображеніи „финансовыхъ результатовъ", которые говорятъ только объ одномъ,

что есть дефицитъ; слѣдовательно, всякое увеличеніе жалованья было бы только увеличеніемъ дефицита. Но если принять во вниманіе замѣтку къ „финансовымъ результатамъ", тогда получится „правильное сужденіе", а именно, что улучшеніе почтовыхъ силъ было бы только нѣкоторымъ уменьшеніемъ почтоваго дохода, а до дефицита оставалось бы еще далеко. Дѣло, въ самомъ дѣлѣ, просто: въ 1878 году почта доставила около 70 милл. лотъ частныхъ писемъ, т.-е. выручило около 5 милл. руб. (по 7 коп. за лотъ); но при этомъ она отправила въ томъ же году 80 милл. лотъ казенной корреспонденціи, безплатной, т.-е. не выручила слѣдуемыхъ ей 5½ милл. руб. Другими словами, она получала отъ частныхъ лицъ 7 коп. на расходы по каждому письму, а пришлось ей стараться дѣйствовать такъ, чтобы письмо обошлось ей менѣе, чѣмъ въ 3 съ половиною копѣйки. Понятно, что если кто имѣетъ надобность издерживать 7 коп. на предметъ, а поставленъ въ необходимость издерживать менѣе половины того, — тотъ можетъ рѣшить такую задачу однимъ способомъ: ограничить себя какъ можно болѣе въ расходахъ, а въ настоящемъ примѣрѣ, это означаетъ — пустить въ дѣло дешевыя средства и дешевыхъ людей. Во всякомъ случаѣ, наши сѣтованія на почтовое вѣдомство были бы неосновательны — по вышеуказаннымъ причинамъ.

ИНОСТРАННАЯ ПОЛИТИКА.

Германія среди другихъ государствъ Запада.

Писатели крайнихъ партій (мы разумѣемъ крайности обоихъ концовъ) нерѣдко высказывали мысль, что народное самоуправленіе въ существующихъ большихъ государствахъ западной Европы есть въ сущности миѳъ; что распоряженіе дѣлами каждой націи въ данный моментъ всегда находится въ рукахъ немногихъ людей и что конституціонное или парламентское управленіе есть только форма. Возраженіе это упускаетъ изъ виду одно: историческая форма никакъ не бываетъ случайною и всегда представляетъ духъ, идеалъ, стремленіе, которыхъ она служитъ выраженіемъ. Великая историческая форма никогда не бываетъ „одною формою", т.-е. иными словами—пустою формою; она всегда содержитъ въ себѣ принципъ, соотвѣтствующій какой-либо великой потребности.

Но совершенно справедливо, что въ томъ или въ другомъ государствѣ, въ данный моментъ, парламентская форма можетъ осуществлять свой духъ или идеалъ болѣе или менѣе дѣйствительно и, согласно съ тѣмъ, можетъ представлять нѣчто дѣйствительно живое или же быть въ самомъ дѣлѣ почти только формой, которая имѣетъ сдѣлаться правдой со временемъ, но еще правдой не сдѣлалась. И вотъ, почти безошибочно можно сказать, что, сообразно съ тѣмъ, насколько форма въ той или въ другой странѣ примѣняется согласно духу, ради котораго она создана, внутреннія дѣла той страны идутъ удовлетворительно или неудовлетворительно.

Если же это справедливо, то въ такомъ случаѣ приведенное выше возраженіе не имѣетъ никакой цѣны, такъ какъ въ этомъ предположеніи оно сводится къ простому констатированію, что принципъ народнаго самоуправленія, какъ и всякій другой, можетъ приносить свою пользу только тамъ, гдѣ онъ примѣняется дѣйствительно.

Характерную картину въ этомъ отношеніи представляетъ нынѣшнее положеніе Германіи, а потому мы останавливаемся на немъ, и затѣмъ сравнимъ его особенности съ главными чертами внутренняго положенія въ другихъ крупныхъ государствахъ западной Европы.

Современная исторія Германіи есть только отраженіе того, что происходитъ въ Пруссіи, а въ Пруссіи происходитъ главнымъ образомъ то, что́ зависитъ отъ почина прусскаго правительства; прави-

тельство же это опять подчиняется канцлеру и по его желанію измѣняется въ своемъ составѣ, или, въ лицѣ остающихся своихъ членовъ, измѣняетъ, по его указаніямъ, пріемы для достиженія цѣли. Цѣль эта, конечно, всегда одна: добросовѣстное, но патріархальное управленіе, при помощи возможно-бо̀льшей дисциплины. Такимъ образомъ, Германію ведетъ, въ полномъ смыслѣ слова, одинъ человѣкъ, и ведетъ ее не потому, чтобы онъ былъ указанъ ею, для исполненія желаній народа или преобладающей въ странѣ партіи. Нѣтъ, прусская правительственная система еще доселѣ руководствуется не тѣмъ, чтобы справляться о желаніяхъ страны, а тѣмъ чтобы угадывать ихъ по-своему, или, лучше сказать,—рѣшать самой, каковы должны быть желанія страны, „если она благоразумна". Князь Бисмаркъ не оправдалъ своего извѣстнаго изреченія, произнесеннаго послѣ провозглашенія германской имперіи: „Германію слѣдуетъ только поднять въ сѣдло, а тамъ она сама поскачетъ". Въ дѣйствительности, рисунокъ для монумента германской современности долженъ бы быть нѣсколько иной: самъ князь Бисмаркъ остается въ сѣдлѣ и всѣ поводья держитъ въ своей мощной рукѣ; а фигура Германіи помѣщается позади его, по-женски, и, обнявъ его станъ, скачетъ куда-то не безъ недоумѣнія и не безъ страха.

Что прусская, а съ ней и центрально-германская правительственная система крѣпко утверждена на началахъ довѣрія и дисциплины, это не удивляетъ никого, знакомаго съ прусскими традиціями. Но что сами партіи—эти органы общественныхъ стремленій—доселѣ соперничаютъ только въ томъ, чтобы заслужить вниманіе правительства, поочередно употребляя для этого то податливое „будированіе", то почти безусловное заискиванье—вотъ фактъ, который новъ въ парламентской исторіи вообще.

Прусскій сеймъ открылся 28 октября въ составѣ, обновленномъ выборами, на которыхъ консерваторы и въ ихъ числѣ ультрамонтаны одержали рѣшительную побѣду надъ національными либералами. Поддержка, оказанная правительству въ прошлую сессію консерваторами, при проведеніи экономическихъ реформъ, придуманныхъ княземъ Бисмаркомъ, увольненіе ненавистнаго клерикаламъ министра народнаго просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ Фалька, и выходъ въ отставку другихъ „бюргерскихъ" членовъ прусскаго кабинета, давали консерваторамъ на выборахъ значеніе правительственной партіи. И дѣйствительно, правительство поддерживало ихъ. Преемникъ Фалька, Путткамеръ, въ нѣсколькихъ рѣчахъ, заявлялъ примирительныя намѣренія по отношенію къ такъ-называемому Kulturkampf'у, то-есть желаніе устранить борьбу съ католическимъ духовенствомъ. Успѣхъ консерваторовъ на выборахъ побудилъ императора Вильгельма явить

прусскому сейму милость—открыть это собраніе лично, что въ послѣдніе годы было рѣдкостью. И въ тронной рѣчи, прочтенной императоромъ упоминалось, что онъ близко принимаетъ къ сердцу возстановленіе внутренняго „мира", что всѣми было понято въ смыслѣ желанія примирить клерикаловъ уступками.

Новое большинство, съ которымъ, повидимому, намѣрено было правительство управлять, обнаружилось тотчасъ же, при избраніи бюро палаты представителей. Президентомъ былъ избранъ консерваторъ фонъ-Кёллеръ, товарищемъ его національ-либералъ фонъ-Бенда и ультрамонтанъ фонъ-Геереманнъ. Это былъ фактъ весьма характерный: никогда еще консерваторъ не бывалъ президентомъ прусской палаты представителей. Перевѣсъ голосовъ на сторонѣ консерваторовъ при этомъ избраніи оказывался почти въ 50 голосовъ.

Но вскорѣ правительственное большинство разложилось, и въ правительственной партіи, вмѣсто ультрамонтановъ, оказались тѣ же національ-либералы, которымъ правительство нанесло столь сильный ударъ распущеніемъ прежняго сейма и отъ союза съ которыми кн. Бисмаркъ въ прошлую сессію торжественно отрекся. Дѣло въ томъ, что канцлеръ готовъ управлять, какъ онъ не разъ выражался, „съ той или другою партіей", но нисколько не подчиняясь имъ, а только довольствуясь неважными имъ уступками за то собственно, чтобы онѣ помогали ему управлять съ соблюденіемъ конституціонныхъ формъ, такъ какъ конституціонная форма однажды уже установлена. Въ прошлую сессію, онъ, при помощи клерикальнаго центра, провалъ свои экономическіе законы противъ прогрессистовъ и части національ-либераловъ. Но опять сколько-нибудь важныхъ уступокъ центру, составляющему сильнѣйшую изъ группъ консервативнаго большинства, онъ дѣлать все-таки не намѣренъ; а какъ только центръ въ этомъ убѣдился, то онъ отказалъ правительству въ помощи при обсужденіи его закона о выкупѣ всѣхъ прусскихъ желѣзныхъ дорогъ государствомъ, въ нынѣшнюю сессію. Національ-либералы, въ свою очередь, ухватились за этотъ случай, чтобы вновь заискать расположеніе правительства, и такимъ образомъ, правительственное большинство при голосованіи желѣзнодорожнаго закона составилось изъ консервативныхъ группъ, кромѣ центра, и изъ національ-либераловъ,—такъ что въ настоящее время, то-есть всего черезъ мѣсяцъ послѣ открытія сессіи, національ-либералы гораздо скорѣе могутъ назваться правительственной партіей, чѣмъ центръ, но они также не получатъ за эту помощь никакихъ важныхъ уступокъ, подобно тому, какъ не получали ихъ въ теченіи своей двѣнадцатилѣтней поддержки политики кн. Бисмарка.

Въ чемъ же заключались уступки, которыхъ требовалъ центръ, и

каковы были уступки, дѣйствительно предоставленныя ему? Центръ желалъ, конечно, если не отмѣны такъ-называемыхъ „майскихъ законовъ", направленныхъ къ полному подчиненію католической іерархіи власти свѣтской, то хоть пересмотра тѣхъ изъ нихъ, которые касаются духовныхъ школъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, ожидалъ полнаго помилованія всѣхъ духовныхъ лицъ, подвергнутыхъ судебнымъ карамъ, на основаніи „майскихъ законовъ". Но ничего подобнаго не послѣдовало, а изъ заявленій и дѣйствій г. фонъ-Путткамера, преемника г. Фалька, вызвавшаго Kulturkampf, обнаружилось, правда, что правительство намѣрено дѣйствовать мягче въ примѣненіи тѣхъ же законовъ, но вовсе не измѣнять ихъ. Такъ, недавно новый министръ издалъ циркуляръ, чтобы преподаваніе религіи въ школахъ возлагаемо было, по возможности, только на духовныя лица. За недѣлю передъ тѣмъ, по поводу примѣненія Фальковой реформы къ эльбингскому училищу, Путткамеръ заявилъ, что онъ предпочитаетъ дѣленіе школъ по исповѣданіямъ—слитію ихъ въ общія, не-конфессіональныя школы; по мнѣнію нынѣшняго министра, первый путь вѣрнѣе можетъ обезпечить воспитаніе юношества въ нравственно-религіозномъ духѣ. При голосованіи по запросу, относившемуся къ эльбингскому училищу, министра, разумѣется, поддержали консерваторы, вмѣстѣ съ центромъ, и такимъ образомъ правительство одержало побѣду надъ либеральными партіями въ этомъ вопросѣ при помощи центра, между тѣмъ какъ въ желѣзнодорожномъ вопросѣ оно, противъ центра, соціалистовъ и поляковъ, опиралось на прочія группы консерваторовъ и на національ-либераловъ. Центръ въ этомъ послѣднемъ вопросѣ, да вѣроятно и во всѣхъ послѣдующихъ, кромѣ тѣхъ, въ которыхъ онъ случайно сойдется съ правительствомъ, оказался и окажется впредь уже въ оппозиціи, именно потому, что за тѣ уступки, какія ему правительство предоставляетъ, центръ не намѣренъ изображать изъ себя правительственную партію.

Короче: составъ правительственнаго большинства въ Пруссіи перемѣнчивъ именно потому, что правительство не принимаетъ программу ни одной партіи, а слѣдуетъ своей собственной программѣ, въ поддержкѣ же партій нуждается лишь для соблюденія однажды установленныхъ конституціонныхъ формъ. Въ сущности управляетъ единолично кн. Бисмаркъ, ограничиваемый иногда только личными желаніями императора-короля. А сущность программы внутренней политики, какъ мы уже сказали, заключается въ приведеніи всѣхъ къ возможно бо̀льшей дисциплинѣ. И вотъ, правительство проводитъ свою программу противъ клерикаловъ при помощи либераловъ, противъ либераловъ при помощи клерикаловъ, противъ соціалистовъ

при помощи всѣхъ прочихъ партій; вотъ, отчего составъ правительственнаго большинства мѣняется и не можетъ не мѣняться.

Kulturkampf былъ не что иное, какъ приведеніе къ возможно-бо́льшей дисциплинѣ духовенства, въ особенности — католическаго, при помощи либеральныхъ партій; законы противъ соціалистовъ и установленіе въ Берлинѣ „малаго осаднаго положенія“ — приведеніе соціалистовъ, а отчасти и самихъ либераловъ, къ дисциплинѣ, при помощи консерваторовъ, клерикаловъ и услужливѣйшей части самихъ же либераловъ; законъ о выкупѣ желѣзныхъ дорогъ въ казну и казенномъ ихъ управленіи осуществленъ теперь при помощи консерваторовъ и части національныхъ либераловъ, противъ прогрессистовъ и центра. Направленъ же онъ—независимо отъ мысли экономической—главнымъ образомъ, къ увеличенію централизаціи и къ сосредоточенію въ рукахъ правительства всѣхъ тѣхъ средствъ вліянія: раздачи мѣстъ, окладовъ, подрядовъ и т. д., которыя соединены съ желѣзными дорогами, и къ превращенію въ чиновниковъ многочисленнаго класса людей, доселѣ совершенно независимыхъ при выборахъ и заявленіи политическихъ мнѣній вообще,— стало-быть, главной цѣлью и этого закона служитъ установленіе возможно-бо́льшей дисциплины.

Законъ о желѣзныхъ дорогахъ дѣйствительно прошелъ въ обѣихъ палатахъ прусскаго сейма до закрытія ихъ передъ праздниками. Сущность его заключается въ томъ, что государства выпускаетъ ренту, облигаціями которой удовлетворяетъ общества прусскихъ желѣзныхъ дорогъ, т.-е. выкупаетъ ихъ и беретъ въ свое управленіе. На первый разъ законъ этотъ примѣняется къ четыремъ желѣзнымъ дорогамъ: берлинско-штеттинской, магдебургско-гальберштадтской, кёльнско-минденской и ганноверско-альтенбекенской. Но въ ближайшемъ времени законъ будетъ примѣненъ и къ большой рейнской, а также къ ангальтской желѣзнымъ дорогамъ, съ которыми правительство уже заключило предварительное соглашеніе въ такомъ смыслѣ.

Итакъ, въ Пруссіи на самомъ дѣлѣ духъ парламентскаго правленія пока не осуществленъ, парламентская форма въ значительной степени еще остается именно только формой, а управляетъ всѣмъ великій канцлеръ — и управляетъ въ томъ духѣ, который мы опредѣлили словами: „приведеніе къ возможно-бо́льшей дисциплинѣ“ всѣхъ сторонъ. Князь Бисмаркъ—великій дипломатъ, создатель германской имперіи, и въ дѣлахъ внутреннихъ у него нѣтъ иного взгляда, какъ убѣжденіе въ возможности восторжествовать надъ всѣмъ силой и настойчивостью,—убѣжденіе, которое помогло ему предпринять и окончить счастливо нѣсколько войнъ и у воротъ столицы

побѣжденнаго иноземнаго врага—провозгласить завершеніе внѣшняго объединенія Германіи.

Но успѣшное управленіе внутренними дѣлами на одномъ этомъ убѣжденіи построено быть не можетъ, такъ какъ внутреннія дѣла представляютъ вовсе не враждебную внѣшнюю силу, которую достаточно сломить, а — матеріальныя потребности страны и нравственныя потребности ея населенія. Въ тѣхъ и другихъ преобладаетъ естественно-научный законъ развитія; новыя потребности создаютъ новыя формы, и бороться противъ этого, какъ противъ иностраннаго нашествія, все равно, что воспитывать растеніе посредствомъ тѣхъ предметовъ, какими успѣшно обработывается камень.

Отдѣльные люди могутъ плыть противъ теченія, если въ распоряженіи ихъ находятся могущественныя орудія; теченію можетъ быть противопоставлена временная плотина, но заставить рѣку течь вспять противъ естественнаго склона—невозможно. И вотъ, особенно поучительно видѣть, когда человѣкъ, необыкновенный по уму и характеру, испытываетъ въ подобномъ предпріятіи одну неудачу за другою, и его усилія, хотя бы и добросовѣстныя, остаются тщетными, и — къ удивленію его — обнаруживаются нездоровыя явленія, весьма разнообразныя, но сходныя въ своей ненормальности. Бисмаркъ всѣми признаётся замѣчательнѣйшимъ политическимъ человѣкомъ настоящаго времени. И вотъ, характерно то, что именно у величайшаго-то политика внутреннія дѣла идутъ менѣе удовлетворительно, чѣмъ вездѣ, гдѣ они направляются не по личнымъ взглядамъ одного великаго политика.

Бисмаркъ думалъ дать германскому народу полное нравственное удовлетвореніе на долгое время, посредствомъ торжества надъ внѣшнимъ врагомъ и созданія германскаго единства. Но онъ удовлетворилъ только національное тщеславіе, а тщеславіе въ народѣ великомъ не долго можетъ заглушать всѣ прочія нравственныя потребности. Бисмаркъ полагалъ, что для матеріальнаго довольства націи онъ сдѣлалъ больше, чѣмъ способны сдѣлать всѣ парламентскія фракціи, вмѣстѣ взятыя: онъ далъ Германіи вдругъ, наличными деньгами, пять милліардовъ франковъ. Это была не какая-нибудь утопія будущаго, не призракъ сомнительныхъ благъ парламентскаго управленія,—это было реальное золото въ слиткахъ, монетѣ и векселяхъ.

Но что же оказалось въ результатѣ? Наступилъ „крахъ“, промышленность разорилась, массы рабочихъ остаются безъ занятій, эмиграція изъ страны усилилась. Это было не послѣдствіемъ прилива золота. Весь излишекъ золота скоро ушелъ вонъ изъ Германіи, а за нимъ ушла и доля металла, нужнаго странѣ,—и вотъ, экономическое положеніе сдѣлалось хуже. Виноваты въ этомъ: истощеніе нла-

тежныхъ и повинныхъ казнѣ силъ страны сперва долгими годами приготовленій къ войнамъ, потомъ самыми войнами, наконецъ, теперь все возрастающими вооруженіями и приготовленіями къ войнамъ дальнѣйшимъ. Высота налоговъ, страшная тягость воинской повинности въ томъ видѣ какъ она издавна практикуется въ Пруссіи, и устраненіе народа отъ всякаго вліянія на облегченіе этой повинности съ сокращеніемъ военныхъ расходовъ—вотъ истинныя причины „краха". Стало быть, причины его—тѣ именно порядки, которыхъ поддержаніе составляетъ основу политической системы кн. Бисмарка.

Въ настоящее время вновь разыгралось одно изъ частныхъ послѣдствій „краха". Въ верхней Силезіи къ безработицѣ, оставшейся отъ „краха", присоединялись двѣ причины случайныя — неурожай и наводненіе. Будь положеніе въ совокупности здоровое, населеніе вынесло бы временную бѣду. Но такъ какъ она наступила послѣ нѣсколькихъ лѣтъ экономическаго разстройства, то бѣдствіе приняло большіе размѣры: десятки тысячъ людей остались безъ пищи и должны были сдѣлаться предметомъ государственной благотворительности, для чего и состоялся особый законъ, принятый сеймомъ въ истекшую сессію. А Бисмаркъ только-что усилилъ обложеніе ввознаго хлѣба, что относительно Силезіи уже и принесло свою долю вреда. Между тѣмъ, и несмотря на тяжкія жертвы народа, финансы Пруссіи далеко не находятся въ томъ удовлетворительномъ положеніи, въ какомъ были еще въ началѣ сороковыхъ годовъ. Такъ и нынѣ внесенный въ палаты бюджетъ показываетъ дефицитъ. Отъ налоговъ, установленныхъ въ прошлую сессію, ожидается возвышеніе доходовъ, но ожидается только „въ будущемъ", а въ настоящее время покрытіе дефицита предполагается путемъ займа.

Что касается довольства нравственнаго, то о немъ нѣтъ и рѣчи. Статистика свидѣтельствуетъ, что общественная нравственность упала на нѣсколько градусовъ въ сравненіи съ тѣмъ, что было до объединенія „durch Blut und Eisen" и до разоренія, которое затѣмъ послѣдовало. Одновременно стремленія прямо анти-государственныя пріобрѣли въ Германіи такое число приверженцевъ, какого они не имѣли ни въ одной странѣ, исключая даже и Франціи въ тотъ моментъ, когда, пользуясь паденіемъ государственной власти, коммунары захватили Парижъ. Германское правительство направило всѣ силы къ борьбѣ съ этимъ началомъ, полагая, что оно составляетъ особую болѣзнь, между тѣмъ, какъ оно скорѣе является однимъ изъ симптомовъ болѣзни.

Но принесли ли принятыя съ этой цѣлью мѣры всю ту пользу, какая отъ нихъ ожидалась? На это отвѣчаетъ недавняя рѣчь прусскаго министра графа Эйленбурга. Правительство продлило 28-го

ноября еще на годъ дѣйствіе закона о „маломъ осадномъ положеніи въ Берлинѣ“, и на запросъ по этому предмету, при обсужденіи бюджета, графъ Эйленбургъ заявилъ: что „обстоятельства, побудившія къ изданію этого закона въ прошломъ году, еще остаются въ силѣ; правда, открытое заявленіе вражды къ законамъ и начальству замолкло, но за то тайная агитація возросла и прежнія сношенія съ заграницею и съ вождями продолжаются“. Тутъ министръ, въ доказательство, прочелъ нѣсколько мѣстъ изъ издающейся въ Цюрихѣ газеты „Social-Democrat“, въ которыхъ заявляется, что положеніе соціально-демократическаго движенія превосходно (vortrefflich). Но изъ того факта, что означенный законъ оказался безсильнымъ для пресѣченія зла, графъ Эйленбургъ довольно неожиданно сдѣлалъ такой выводъ, что, стало быть, полезно сохранить тотъ законъ. „Необходимость сохраненія малаго осаднаго положенія“, сказалъ онъ, „неопровержима; при немъ мы, въ теченіи года, по крайней мѣрѣ были избавлены отъ громкихъ, нарушающихъ спокойствіе, заявленій соціальной демократіи. Правда, высылка есть средство очень тяжелое, но она есть единственное, могущее ограничить опасную агитацію. Общественное мнѣніе доселѣ поддерживало правительство въ его мѣропріятіяхъ противъ соціальной демократіи, и если такъ будетъ и далѣе, то мѣропріятія эти, наконецъ, произведутъ не одно палліативное дѣйствіе, но поведутъ къ прочному возстановленію внутренняго міра“.

Хотя, такимъ образомъ, графъ Эйленбургъ, который обыкновенно считается еще болѣе склоннымъ къ безусловному консерватизму, чѣмъ князь Бисмаркъ, и признавалъ пользу общественнаго содѣйствія, но, одновременно съ тѣмъ, канцлеръ внесъ въ союзный совѣтъ имперіи проектъ такого закона, который ведетъ къ ограниченію общественнаго содѣйствія и даже въ той мѣрѣ, какъ оно требуется самой формой имперской конституціи. Проектъ предполагаетъ измѣненіе этой формы въ такомъ смыслѣ, что отнынѣ германскій сеймъ будетъ засѣдать только *черезъ годъ*, избираться на 4 года (вмѣсто 3-хъ, какъ было доселѣ) и утверждаемый сеймомъ бюджетъ будетъ дѣйствовать два года. Союзный совѣтъ уже одобрилъ этотъ проектъ закона, и обсужденіе его предстоитъ затѣмъ имперскому сейму.

Итакъ, князь Бисмаркъ даже и форму хочетъ до нѣкоторой степени устранить. Впрочемъ, дѣйствительно: тамъ, гдѣ существуетъ почти только одна форма, почему же не обходиться и безъ нея? Главный фактъ, все-таки, тотъ, что вообще дѣла плохо идутъ въ Германіи.

Въ Турціи, какъ извѣстно, устранена и самая форма конституціи. Въ свое время западно-европейскія газеты пренебрежительно отзы-

вались о высказанномъ въ русской печати мнѣніи, что турецкая конституція была только дипломатическимъ маневромъ, для устраненія внѣшняго вмѣшательства, и сама будетъ устранена по миновании въ ней надобности. А между тѣмъ, случилось именно такъ. Правда, отъ того, что случилось такъ, внутреннія дѣла въ Турціи нисколько не пошли лучше,—наоборотъ. И едва-ли кто-нибудь усомнится, что въ Румыніи, Сербіи и въ княжествѣ болгарскомъ, при томъ устройствѣ, которое даровано ему русскою властью, дѣла идутъ лучше, чѣмъ въ Турціи.

Но если мы бросимъ взглядъ на другія иностранныя государства Европы, то убѣдимся, что по мѣрѣ того, какъ въ существующей формѣ народнаго самоуправленія дѣйствительно дѣйствуетъ живой духъ его, дѣла идутъ удовлетворительнѣе.

Непосредственно за Германіею слѣдуетъ Австро-Венгрія. Вопросовъ спорныхъ и поводовъ къ внутреннимъ столкновеніямъ тамъ безъ всякаго сравненія больше, чѣмъ въ германской имперіи, гдѣ огромное большинство населенія принадлежитъ къ одной національности. А между тѣмъ именно потому, что конституціонныя гарантіи въ Австро-Венгріи практикуются дѣйствительнѣе, чѣмъ въ Германіи, внутреннія столкновенія и борьба различныхъ интересовъ далеко не выражаются тамъ въ такихъ рѣзкихъ, непримиримыхъ формахъ, какъ въ послѣдней. Соціализмъ въ Австро-Венгріи политической роли вовсе не играетъ и малое осадное положеніе въ Вѣнѣ неизвѣстно. Великаго политика, подобнаго Бисмарку, тамъ нѣтъ. Дѣло соглашенія между многочисленными, взаимно противоположными, національными интересами все-таки постепенно подвигается впередъ. Такъ, недавно въ имперскій сеймъ вступили, наконецъ, чехи и въ большой парламентской борьбѣ, происходившей въ декабрѣ, по поводу вопроса объ удержаніи еще на 10 лѣтъ нынѣшняго состава арміи, стали на сторону правительства, такъ что состоялось большинство двухъ третей голосовъ, необходимое для проведенія этого закона. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ чехами ведутся переговоры о доставленіи чешскому языку въ Богеміи и Моравіи, въ школахъ и управленіи, значенія языка національнаго. Достаточно сопоставить съ этимъ фактомъ отвѣтъ прусскаго министра гр. Эйленбурга на запросъ депутата Вержбинскаго, что хотя названія мѣстностей въ Познани и передѣлываются на нѣмецкій ладъ, но дѣлается это съ постепенностью и осмотрительностью.

Перейдемъ къ Англіи—родинѣ парламентаризма. Новѣйшіе факты во внутреннихъ дѣлахъ Англіи, это—побѣда преимущественно либеральныхъ кандидатовъ на отдѣльныхъ выборахъ, такъ-что позволи-

тельно предугадывать торжество либераловъ на будущихъ общихъ выборахъ, а съ ними и смѣну министерства Биконсфильда. Итакъ, всепоглощающихъ, всѣмъ управляющихъ геніевъ здѣсь нѣтъ; политическіе люди смѣняются сообразно теченію общественнаго мнѣнія, а между тѣмъ политическая система Великобританіи представляетъ такую устойчивость, какой мы не видимъ даже въ Пруссіи, гдѣ на двухъ концахъ послѣдняго 30-тилѣтія мы видимъ—вначалѣ революцію въ Берлинѣ, а въ заключеніе—малое осадное положеніе тамъ же.

Но и въ Соединенномъ-Королевствѣ неудовольствіе и острый характеръ борьбы все-таки проявляются именно въ той мѣрѣ, въ какой существующія формальныя гарантіи все еще не осуществляютъ полнаго дѣйствія народнаго самоуправленія. Такъ, агитація съ признаками нѣсколько-мятежными и исключительныя мѣры—какъ недавніе аресты вождей home rulers—проявляются въ Ирландіи, то-есть именно въ той части государства, къ которой наименѣе примѣнялись доселѣ конституціонныя гарантіи во всей ихъ полнотѣ, и въ которой существующая форма все-таки не соотвѣтствуетъ потребностямъ народнаго самоуправленія.

Во Франціи нынѣшняя зима видѣла первую сессію палаты, возвратившихся изъ Версаля въ Парижъ. Парламентская борьба здѣсь сосредоточивается на вопросахъ объ отношеніяхъ свѣтской администраціи къ потребностямъ церкви. Новый кабинетъ Фрейсине, смѣнившій министерство Ваддингтона, будетъ дѣйствовать нѣсколько рѣшительнѣе послѣдняго въ отношеніи къ требованіямъ католической партіи, а также и въ смыслѣ „очищенія“ магистратуры отъ враждебныхъ республикѣ элементовъ. Партіи, претендующія на измѣненіе формы правленія, здѣсь еще остаются въ боевомъ строѣ, но борьба ведется путями легальными, и государственный переворотъ или революціонныя попытки сдѣлались уже невѣроятными. Соціализмъ, несмотря на возвращеніе въ Парижъ массы дѣятелей коммуны, не представляетъ здѣсь никакой политической опасности.

Наконецъ, въ итальянскомъ королевствѣ въ послѣднее время личныя перемѣны слѣдовали за личными перемѣнами. Умеръ великій король, освободитель Италіи и основатель ея единства, а преемникъ его царствуетъ мирно, призывая въ совѣтники себѣ поочередно то одного, то другого изъ членовъ лѣвой стороны, людей, заявлявшихъ открыто республиканскія стремленія. Примирительная практика откровеннаго, добросовѣстнаго парламентскаго управленія смягчила, мало-по-малу, всѣ контрасты, успокоила всѣ вражды. Республиканцы по убѣжденію открыто говорятъ на митингахъ, и старецъ Гарибальди высказываетъ сочувствіе ихъ принципамъ; но имъ не приходитъ и въ мысль возмож-

ность революціи для провозглашенія республики въ Италіи, и Гарибальди объявляетъ, что Италія въ отношеніи къ савойскому дому связана благодарностью. Подъ вліяніемъ такой примирительной системы отчасти подалась сама „неподвижная скала св. Петра". Новый папа Левъ XIII, не отступаясь отъ принциповъ, прекратилъ всякую активную борьбу противъ королевства, созданнаго народомъ. Такимъ образомъ, развитіе, задерживаемое преградами, само находитъ свое естественное русло и мирно течетъ впередъ на этомъ пути къ вѣчной цѣли всякаго общества—пріобрѣтенію для него возможно большей суммы нравственнаго и матеріальнаго блага.

Таково общее политическое положеніе дѣлъ въ западной Европѣ.

ИЗВѢСТІЯ

I.—Отчетъ о дѣятельности комитета „Общества для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ“ за 1878—1879 годъ.

На основаніи § 10 устава „Общества для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ“ на общемъ собраніи членовъ Общества, имѣвшемъ мѣсто 4 октября 1878 г., избранъ былъ большинствомъ голосовъ Комитетъ для завѣдыванія дѣлами Общества. Въ составъ Комитета вошли слѣдующія лица: Н. В. Стасова, В. П. Тарновская, О. А. Мордвинова, А. Я. Гердъ, А. П. Философова, А. Н. Анненская, Г. В. Бардовскій, О. Н. Рукавишникова, Е. А. Боткина, С. В. Ковалевская, А. Н. Страннолюбскій, М. К. Цебрикова. Затѣмъ, въ кандидаты членовъ Комитета избраны: А. Е. Синклеръ, З. Ю. Яковлева, О. О. Книрим̀ъ.

Впослѣдствіи г-жа Боткина отказалась отъ званія члена комитета, и такъ какъ г-жа Синклеръ не пожелала вступить въ Комитетъ, то на мѣсто г-жи Боткиной членомъ Комитета сдѣлалась З. Ю. Яковлева.

На основаніи § 12 устава Общества члены Комитета избрали изъ своей среды предсѣдателя, его товарища, казначея и секретаря.

Предсѣдательницей была избрана А. П. Философова; товарищемъ предсѣдательницы—О. Ю. Рукавишникова; казначеемъ В. П. Тарновская; секретаремъ А. Н. Анненская. Кромѣ того, Комитетъ нашелъ необходимымъ избрать распорядительницу курсовъ, лицо, которому поручено ближайшее завѣдываніе курсами, т.-е. надзоръ за порядкомъ въ аудиторіяхъ, веденіе списковъ слушательницъ, распоряженіе текущими хозяйственными дѣлами и т. под. Такою распорядительницею избрана Н. В. Стасова, которая пожелала имѣть двухъ помощницъ: О. А. Мордвинову и З. Ю. Яковлеву.

На основаніи § 13, Комитетъ собирался постоянно по два раза въ мѣсяцъ, а иногда, по мѣрѣ надобности, и чаще.

Всѣхъ засѣданій со дня своего открытія, 9 ноября 1878 г., онъ имѣлъ 26; обо всемъ происходившемъ на этихъ засѣданіяхъ велись протоколы, которые и представлены нынѣ ревизіонной комиссіи.

При началѣ своей дѣятельности Комитету предстояло установить внутренніе порядки дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности, и затѣмъ, кромѣ завѣдыванія хозяйственною частью курсовъ, онъ заботился объ увеличеніи средствъ Общества и объ облегченіи занятій слушательницамъ.

Съ цѣлью увеличенія средства Общества принимались слѣдующія мѣры:

а) Въ члены Общества привлекалось возможно бо́льшее число лицъ. Для этого, во-1-хъ, въ газетахъ помѣщались заявленія о пріемѣ пожертвованій въ пользу Общества и краткіе отчеты о дѣятельности

комитета и о ходѣ занятій на курсахъ; во-2-хъ, всѣ члены комитета получили книжки съ опредѣленнымъ числомъ временныхъ квитанцій, которыя они выдавали лицамъ, вносившимъ членскій взносъ и заявлявшимъ желаніе баллотироваться въ члены Общества. Такихъ лицъ оказалось до мая мѣсяца 104, и всѣ они выбраны членами Общества на общемъ собраніи, имѣвшемъ мѣсто 20 мая 1879 г. b). Устроены въ пользу Общества танцовальный вечеръ и гулянье съ музыкальнымъ вечеромъ и лотереею-аллегри. Танцовальный вечеръ данъ былъ 29 декабря 1878 г. въ залѣ благороднаго собранія и принесъ чистаго дохода 2,140 р.; гулянье съ музыкальнымъ вечеромъ и лотереею-аллегри имѣло мѣсто въ г. Павловскѣ, 28 іюля нынѣшняго года, и дало чистаго дохода 2083 р. 15 коп. c) Продавались въ пользу курсовъ нѣкоторыя изданія. Изданія эти:—Эмиль XIX вѣка, 100, Эскироса; Новая Жизнь, ром. Ауэрбаха; Медицина и Медики, 100, Литре; Разсказы о погибшихъ дѣтяхъ, 100, М. Цебриковой,—были пожертвованы М. К. Цебриковою въ пользу Владимірскихъ лекцій для женщинъ и по преобразованіи лекцій этихъ въ высшіе женскіе курсы переданы жертвовательницею въ собственность Общества для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ. Продажа этихъ книгъ дала въ нынѣшнемъ году всего 259 р.

Для облегченія занятій слушательницъ Комитетомъ сдѣлано слѣдующее:

a) Положено начало устройству библіотеки изъ главнѣйшихъ учебныхъ пособій и руководствъ по преподаваемымъ на курсахъ предметамъ. Слушательницы пользовались этою библіотекою безплатно и имѣли право брать къ себѣ на домъ на опредѣленный срокъ нужныя имъ сочиненія. Пока курсы читались въ помѣщеніи Александровской женской гимназіи, библіотека эта находилась въ квартирѣ Н. В. Стасовой, въ настоящее время она переведена въ занимаемое курсами помѣщеніе.

b) Члены Комитета находились въ постоянныхъ непосредственныхъ сношеніяхъ со слушательницами и имѣли возможность узнавать ихъ потребности и желанія. Чтобы знакомить съ этими потребностями и желаніями членовъ педагогическаго совѣта, завѣдующаго учебною частью курсовъ, Комитетъ испросилъ у педагогическаго совѣта разрѣшеніе присылать одного изъ своихъ членовъ на засѣданія совѣта. Съ другой стороны, на засѣданія Комитета постоянно приглашались члены совѣта, почетные члены общества, профессора Бекетовъ и Бестужевъ-Рюминъ. Такимъ образомъ, между дѣятельностью совѣта и дѣятельностью комитета устанавливалась связь, которая давала имъ возможность помогать другъ другу при стремленіи къ общей цѣли.

c) Комитетъ озаботился наймомъ и устройствомъ для курсовъ новаго помѣщенія. При открытіи курсовъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1878 г. лица, завѣдывавшія этимъ дѣломъ, не зная на какое число слушательницъ можно разсчитывать и каковы будутъ денежныя средства курсовъ, не рѣшились нанимать для нихъ помѣщеніе, а исходатайствовали у начальника с.-петербургскихъ женскихъ гимназій И. Т. Осинина разрѣшеніе читать лекціи въ залахъ и классахъ Александровской женской гимназіи и педагогическихъ курсовъ. Опытъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ показалъ многія неудобства этого помѣщенія, и Комитетъ

обратился въ с.-петербургскую городскую думу съ ходатайствомъ о предоставленіи въ пользу курсовъ одного изъ городскихъ зданій. Переходные экзамены съ перваго курса на второй, имѣвшіе мѣсто въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, еще яснѣе доказали неудовлетворительность помѣщенія, занимаемаго курсами въ зданіи гимназіи. Педагогическій совѣтъ профессоровъ заявилъ, что находитъ необходимымъ со слѣдующаго учебнаго года нанять для курсовъ квартиру, гдѣ лекціи могли бы читаться днемъ, а не вечеромъ. Комитетъ не рѣшался взять на себя отвѣтственность за эту мѣру, которая должна была вызвать весьма значительные расходы, и на основаніи § 22 устава Общества созвалъ въ маѣ мѣсяцѣ чрезвычайное общее собраніе, на разсмотрѣніе котораго представилъ вопросъ о наймѣ квартиры. Общее собраніе постановило большинствомъ голосовъ, что квартира для курсовъ должна быть нанята къ сентябрю мѣсяцу, и что, кромѣ того, слѣдуетъ озаботиться пріисканіемъ дома, который бы можно купить въ пользу курсовъ на выгодныхъ условіяхъ. Для осуществленія этихъ постановленій общимъ собраніемъ выбрана коммиссія изъ 5 лицъ, которыя совмѣстно съ членами Комитета приступили немедленно къ исполненію возложенной на нихъ обязанности. По наведеннымъ справкамъ въ данное время не представлялось выгоднаго для покупки дома; изъ многихъ осмотрѣнныхъ квартиръ одна только оказалась удовлетворительною, квартира въ домѣ г-жи Боткиной, на Сергіевской улицѣ, 7. Какъ члены коммиссіи, избранной общимъ собраніемъ, такъ и члены Комитета рѣшили нанять ее, несмотря на значительные расходы, обусловленные этимъ наймомъ: квартирная плата равняется 8000 р. въ годъ, передѣлки, оказавшіяся необходимыми для приспособленія новаго помѣщенія къ потребностямъ курсовъ, взяли 1152 р., меблировка болѣе 3000 р. и плата прислугѣ будетъ на 500 р. въ годъ значительнѣе, чѣмъ при помѣщеніи курсовъ въ казенномъ заведеніи.

9 сентября, происходило торжественное освященіе новаго помѣщенія курсовъ въ присутствіи профессоровъ университета, членовъ Общества и весьма многихъ слушательницъ. Съ 10-го сентября началось чтеніе лекцій.

ОТЪ РЕВИЗІОННОЙ КОММИССІИ.

Исполняя порученіе, возложенное на ревизіонную коммиссію Обществомъ для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ, она приступила къ ревизіи отчета Комитета прошлаго 30 сентября. При этомъ ревизіонной коммиссіи предстояло рѣшить, въ самомъ принципѣ, вопросъ о тѣхъ рамкахъ, которыми должна быть ограничена повѣрка отчета: слѣдуетъ ли эту повѣрку остановить на однихъ цифровыхъ данныхъ и, такъ сказать, техническомъ веденіи приходорасходныхъ книгъ или, выходя изъ этихъ узкихъ границъ, коснуться оцѣнки самыхъ дѣйствій комитета. Разрѣшеніе этого вопроса ставило коммиссію въ нѣкоторое затрудненіе, тѣмъ болѣе, что какъ программа ревизіи, такъ и объемъ полномочій, данныхъ коммиссіи, не были съ точностью обозначены гг. членами Общества; въ силу же своей собственной иниціативы коммиссія считала себя не въ правѣ

расширять кругъ возложеннаго на нее порученія и выходить изъ предѣловъ счетной повѣрки. Правда, на одномъ изъ засѣданій коммиссіи, приглашенная въ качествѣ члена-казначея В. П. Тарновская выразила желаніе, чтобы ревизіонная коммиссія не ограничивалась одной повѣркой приходо-расходныхъ книгъ и документовъ, но вошла бы въ разсмотрѣніе и оцѣнку самой дѣятельности Комитета. Отдавая полную справедливость искренности и безпристрастію этого заявленія, ревизіонная коммиссія не могла, однакожъ, вполнѣ воспользоваться имъ, какъ единичнымъ желаніемъ, не имѣющимъ характера общественнаго уполномочія, и потому должна была сосредоточить главное свое вниманіе только на провѣркѣ цифровыхъ данныхъ отчета. Послѣ нѣсколькихъ засѣданій, ревизіонныя работы были окончены, и коммиссія пришла къ слѣдующимъ результатамъ:

1) Главная приходо-расходная книга и выведенный изъ нея балансъ ведены правильно и вполнѣ согласно съ документами, которыми подтверждаются ея данныя.

2) Денежныя суммы въ % бумагахъ и текущемъ счетѣ совершенно соотвѣтствуютъ отчету и оправдательнымъ ея документамъ.

При этомъ, 3) для болѣе наглядной провѣрки главнаго источника прихода, а именно прихода отъ продажи билетовъ на право слушанія лекцій, было бы желательно, чтобъ велась болѣе подробная и точная запись какъ единовременныхъ, такъ и разсроченныхъ уплатъ за право слушанія лекцій.

Нѣтъ сомнѣнія, что матеріальная обезпеченность высшихъ женскихъ курсовъ, какъ одна изъ главныхъ гарантій ихъ существованія и развитія, должна составлять самую существенную заботу комитета. Сколько разъ мы были свидѣтелями разстройства и упадка самыхъ благихъ общественныхъ начинаній вслѣдствіе или охлажденія общества, или истощенія денежныхъ средствъ,—упадка, уже потомъ ничѣмъ не поправимаго. Этого печальнаго результата должны бояться особенно тѣ молодыя учрежденія, которыя еще не окрѣпли ни въ общественномъ сознаніи, ни въ матерьяльномъ своемъ положеніи, и которымъ, на пути ихъ развитія, предстоитъ еще не мало разочарованій и преградъ. Въ этомъ отношеніи дѣятельность Комитета была вполнѣ цѣлесообразной, и мы надѣемся, что та энергія и одушевленіе, которыя руководили Комитетомъ, не только не ослабѣютъ на будущее время, но еще болѣе возрастутъ и усилятся. Подписали: А. Балашева, Андрей Горовичъ, А. Мунтъ, Григорій Благосвѣтловъ.

II. Отъ комитета по сооруженію въ городѣ Пятигорскѣ памятника поэту Лермонтову.

23-го іюля 1871 года Высочайше разрѣшена повсемѣстная подписка для сбора добровольныхъ приношеній на сооруженіе въ гор. Пятигорскѣ памятника поэту М. Ю. Лермонтову. 30-го сентября 1875 года, вскорѣ по присоединеніи къ Терской области округа Кавказскихъ минеральныхъ водъ, съ разрѣшенія Его Императорскаго

Высочества Намѣстника, учрежденъ въ городѣ Владикавказѣ, подъ предсѣдательствомъ начальника Терской области, особый Комитетъ по сооруженію означеннаго памятника.

Начавшееся около этого времени въ нашемъ отечествѣ движеніе въ пользу славянъ Балканскаго полуострова, выразившееся повсемѣстными для нихъ денежными сборами, а затѣмъ наступившая война съ Турціею, вызвавшая также усиленныя пожертвованія на военныя нужды, — все это, конечно, до того неблагопріятно отразилось на подпискѣ для сооруженія памятника поэту, что Комитетъ счелъ за лучшее на время пріостановить свои дѣйствія. Только по водвореніи мира, а съ нимъ и нормальнаго хода жизни народной, Комитету открылась возможность возобновить свои приглашенія къ пожертвованіямъ, первоначально въ районѣ Кавказскихъ минеральныхъ водъ — въ мѣстности, прославленной Лермонтовымъ, гдѣ предполагается поставить ему памятникъ, и гдѣ до сихъ поръ еще все полно воспоминаніями о послѣднихъ дняхъ его жизни и преждевременной смерти. Посѣтители водъ съ глубокимъ сочувствіемъ отозвались на приглашеніе Комитета, и въ теченіи минувшаго лѣта (1879 г.) было собрано на всѣхъ группахъ водъ 2,638 руб. 54 коп., что, вмѣстѣ съ прежде собранными и процентами 4,339 р. 41 к., составитъ сумму 6,977 р. 95 коп.

Эта сумма въ настоящее время представляетъ собою весь капиталъ, имѣющійся въ распоряженіи Комитета,—капиталъ далеко недостаточный не только для сооруженія хотя бы самаго скромнаго памятника поэту, но даже для составленія его проекта. Поэтому Комитетъ нынѣ считаетъ своею обязанностію пригласить къ пожертвованіямъ все русское общество, вполнѣ надѣясь, что оно съ сочувствіемъ отзовется на призывъ.

Имѣющія поступать пожертвованія на это дѣло можно присылать въ городъ Владикавказъ, адрессуя въ „Комитетъ по сооруженію въ городѣ Пятигорскѣ памятника поэту Лермонтову“, или въ редакцію „Вѣстника Европы“, въ Спб., Галерная, № 20, откуда пожертвованія будутъ доставляемы въ вышеупомянутый Комитетъ, а о полученіи ихъ журналъ извѣститъ жертвователей въ своемъ ближайшемъ нумерѣ. Сверхъ того, о всѣхъ пожертвованіяхъ, по мѣрѣ ихъ поступленій, будетъ печатаемо въ мѣстныхъ „Терскихъ Вѣдомостяхъ“ и отъ времени до времени — въ столичныхъ газетахъ.

М. Стасюлевичъ.

ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ

1838—1848.

Изъ литературныхъ воспоминаній.

V *).

На первыхъ порахъ вліяніе новой философской системы Б. не было выгодно для таланта Бѣлинскаго. Бѣлинскій прежде всего приступилъ тогда къ изученію схемъ, формулъ, дѣленій— всѣхъ почти неосязаемыхъ тѣней колоссальнаго міра абстракціи, называемаго логикой Гегеля, и приступилъ съ пыломъ и фанатическимъ одушевленіемъ, лежавшими въ его природѣ. Сдѣлавъ обѣтъ ученическаго послушанія системѣ, онъ уже не измѣнилъ своему обѣту до конца. Онъ наложилъ опеку на свой подвижной умъ, на свое тревожное сердце, создалъ планъ, программу, почти табличку поведенія для своей жизни и для своей мысли, и употреблялъ неимовѣрныя усилія, чтобы отогнать отъ себя всѣ навожденія врожденнаго ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время Бѣлинскаго не покидало сомнѣніе даже въ правѣ отдаваться впечатлѣніямъ внѣшней жизни, своему чувству, своимъ сердечнымъ влеченіямъ. Онъ страдалъ въ мысли, также какъ и въ способѣ относиться ко всему реальному въ его собственномъ существованіи. Это было уже далеко не наслажденіе философіей, какъ въ періодъ Шеллингова вліянія, — это былъ тяжелый трудъ, каторжная работа, принятая на себя изъ надежды близкаго воскресенія въ буду-

*) См. выше: янв., 216 стр.

щемъ, и потомъ уже радостнаго существованія на землѣ, безъ сомнѣній, колебаній и томительныхъ вопросовъ. Мучительный искусъ, добровольно проходимый однимъ изъ характеровъ, наименѣе способныхъ къ подчиненности, не кончился и тогда, когда Бѣлинскій ознакомился съ ученіемъ о *дѣйствительности*, хотя оно, повидимому, должно было бы освободить его отъ напрасныхъ исканій идеально-совершенныхъ правилъ и основъ жизни. По крайней мѣрѣ въ литературѣ слѣды того же послушническаго искуса сохраняются и въ статьяхъ его отъ 1838-го года. Слово его, такое бодрое и развязное дотолѣ, становится въ «Московскомъ Наблюдателѣ» 1838 года неопредѣленнымъ, туманнымъ, словно чахнетъ, занятое преимущественно выясненіемъ философскихъ терминовъ (особенно терминъ «конкретность» стоилъ ему долгихъ трудовъ и безпрестанныхъ повтореній одного и того же понятія на разные лады), переложеніемъ ихъ на русскій языкъ и толкованіемъ ихъ смысла для русской публики. По временамъ, это бѣдное, уже обезличенное слово старается еще придать себѣ видъ развязности, скрыть схоластическія путы, мѣшающія его движенію, казаться свободнымъ, смѣлымъ словомъ, несмотря на ту цѣпь, которую дозволило наложить на себя. Это были вспышки, соотвѣтствовавшія тѣмъ мимолетнымъ протестамъ противъ теоріи, о которыхъ говорено. Вообще же журналъ «Московскій Наблюдатель», органъ Бѣлинскаго съ 1838 года, представлялъ въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ печальную арену, гдѣ можно было видѣть замѣчательнаго и своеобычнаго мыслителя въ униженномъ положеніи страдальца, изнывающаго и слабѣющаго подъ дѣйствіемъ жестокой умственной дисциплины, лишавшей его силъ, но которую онъ продолжаетъ упорно налагать на себя, не признавая ее за наказаніе. Журналъ истомилъ редактора и всѣхъ тѣхъ, которые за нимъ тогда слѣдили. Многіе изъ друзей редактора были также очень недовольны имъ и не скрывали своего мнѣнія. Позволю себѣ при этомъ сказать нѣсколько словъ о собственныхъ моихъ тогдашнихъ впечатлѣніяхъ по этому поводу.

VI.

Извѣстно, что «Московскій Наблюдатель» 1838 года открывался передовой статьей Рѣтшера: «О философской критикѣ художественнаго произведенія». О ней много было говорено и тогда, и потомъ, въ нашей литературѣ, и все-таки мнѣ приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала къ числу

тѣхъ чрезвычайно сухихъ и отвлеченныхъ трактатовъ, гдѣ понятія подъ наторѣлой рукой писателя складываются сами собой въ затѣйливые узоры, оставляя въ сторонѣ, какъ вздорную помѣху, всѣ соображенія о насущныхъ потребностяхъ извѣстнаго общества, объ условіяхъ или нуждахъ его существованія въ данную минуту. Статья опредѣляла будущее направленіе журнала. Она дѣлила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумѣется, предпочтеніе первому — философскому отдѣлу, какъ заключающему въ себѣ единственные истинные и непреложные законы для суда надъ произведеніями. А непреложность этихъ законовъ доказывалась процессомъ изслѣдованія, свойственнымъ философской критикѣ, которая, распознавъ мысль художественнаго произведенія, выдѣляетъ эту мысль изъ созданія, развиваетъ ее самостоятельно, по философски, допытывается всѣхъ возможныхъ ея выводовъ, и потомъ возвращаетъ эту мысль снова созданію, наблюдая, все ли то сказано въ образахъ и подробностяхъ созданія, что обнаружилось въ философскомъ анализѣ его. Если да—да; если нѣтъ,—тѣмъ хуже для созданія!

Три низшіе отдѣла критики, т.-е. критика психологическая, скептическая и историческая, конечно, не пользовались симпатіями Бѣлинскаго. Не говоримъ уже о скептической, давно имъ презираемой, но и психологическая, и историческая критики, какъ неимѣющія руководителя въ *абсолютныхъ законахъ* мысли и искусства, цѣнились имъ весьма мало. Чрезвычайно любопытно выслушать при этомъ что онъ говорилъ по поводу послѣдней изъ нихъ: «Подробности жизни поэта нисколько не поясняютъ его твореній. Законы творчества вѣчны, какъ законы разума... На что намъ знать, въ какихъ отношеніяхъ Эсхилъ или Софоклъ были къ своему правительству, къ своимъ гражданамъ, и что при нихъ дѣлалось въ Греціи?.. Чтобы понимать ихъ трагедіи, намъ нужно знать значеніе греческаго народа въ абсолютной жизни человѣчества... До политическихъ событій и мелочей намъ нѣтъ дѣла», и пр.

Бѣлинскій тутъ просто не походилъ на самого себя. Между тѣмъ, въ статьѣ Рётшера, предъ тѣми рубриками критики ставились бѣдныя явленія нашей печати и письменности, вымѣривался ихъ ростъ, и, на основаніи полученныхъ четвертей и вершковъ, имъ отводилось помѣщеніе въ одномъ изъ отдѣловъ. Такъ поступилъ Бѣлинскій съ сочиненіями фонъ-Визина, которыя отнесъ къ вѣдомству критики исторической, вмѣстѣ съ изумительнымъ товарищемъ—сочиненіями Вольтера, а «Юрія Милославскаго» подчинилъ вѣдѣнію критики психологической, придавъ ему тоже необыкновеннаго спутника и сотоварища, именно Шиллера,

«этого страннаго полухудожника и полуфилософа», замѣчалъ Бѣлинскій. Но недостало даже таланта и опытности Бѣлинскаго, чтобы къ названнымъ русскимъ авторамъ приложить всѣ требованія критическаго отдѣла, которому они дѣлались подсудни, и найти въ нихъ всѣ тѣ черты, которыя по теоріи должны были въ нихъ существовать непремѣнно. Онъ обѣщалъ представить это свидѣтельство совпаденія теоріи съ живымъ примѣромъ, но не исполнилъ обѣщанія—и по весьма понятной причинѣ. При осуществленіи задачи, либо теорія должна была лопнуть по всѣмъ составамъ, либо примѣры отбиться совсѣмъ отъ теоріи.

За то Бѣлинскій исполнилъ другое. Чѣмъ болѣе отрекался онъ отъ права личнаго сужденія, тѣмъ болѣе завладѣвали его умомъ мертвыя философскія схемы и тэзисы, которыя не только заслоняли передъ его глазами предметы искусства, но назойливо и нагло становились на ихъ мѣсто. Когда актеръ Мочаловъ создалъ роль Гамлета въ Москвѣ, Бѣлинскій написалъ большую статью о трагедіи и о московскомъ исполнителѣ главной ея роли. Какъ же представился Гамлетъ воображенію Бѣлинскаго? Конечно, такъ же, какъ и Гёте,—человѣкомъ страдающимъ бѣдностью воли въ виду огромнаго замысла, на который онъ себя предназначаетъ. Но откуда эта немощь воли и сопряженныя съ нею страданія въ лицѣ, умѣющемъ при случаѣ поступать очень смѣло и рѣшительно?—спрашивалъ себя Бѣлинскій. Отвѣтъ давался схемой. Гамлетъ, по ея опредѣленію, выражаетъ собою всѣ признаки того психическаго состоянія, когда человѣкъ, мирно жившій съ собою и про себя, переходитъ къ существованію въ «дѣйствительности» во внѣшнемъ мірѣ, такомъ запутанномъ и безсмысленномъ на первый взглядъ. Борьба и страданія, неразлучныя съ этимъ погруженіемъ въ хаосъ и въ кажущуюся грубость реальнаго міра, отнимаютъ у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются къ нему, когда Гамлетъ, послѣ долгаго, мучительнаго искуса, приходитъ къ чувству покорности передъ законами, управляющими этимъ непонятнымъ, грознымъ міромъ дѣйствительности, къ тихому убѣжденію, что надо быть *всегда готовымъ на все*. Такимъ образомъ, Гамлетъ преобразился въ представителя любимаго философскаго понятія, въ олицетвореніе *извѣстной* формулы (что̀ дѣйствительно, то—разумно), и Бѣлинскій на этомъ пьедесталѣ устраиваетъ апоѳеозу какъ великому творцу драмы, такъ и замѣчательному его толкователю на московской сценѣ.

Постоянныя превращенія живыхъ образовъ въ отвлеченія начинаютъ появляться все болѣе и болѣе у Бѣлинскаго. При обо-

зрѣніи журналовъ 1839 года, Бѣлинскій дѣлаетъ замѣтку о статьѣ Губера: «Фаустъ». Что такое Фаустъ Гёте? Для Бѣлинскаго той эпохи, Фаустъ есть точно такая же философская схема, какъ и Гамлетъ, даже почти ничѣмъ и не отличающаяся отъ нея. Фаустъ, какъ человѣкъ глубокій и всеобъемлющій, долженъ былъ выдти изъ естественной гармоніи духа, поссориться съ дѣйствительностію, къ которой обратился за утѣшеніемъ и познаніемъ, и послѣ ряда кровавыхъ испытаній, мучительной борьбы, паденій и обольщеній — возвратиться снова къ полной гармоніи духа, но уже гармоніи, просвѣтленной опытомъ и сознаніемъ. Онъ прозрѣлъ подъ конецъ разумъ и оправданіе всего сущаго. Фаустъ умираетъ въ блаженствѣ и отъ блаженства такого сознанія.

Какъ ни тяжело было, повидимому, приложить этотъ способъ опредѣленія предметовъ искусства къ чему-либо, выросшему на русской почвѣ, Бѣлинскій, однако же, не остановился передъ трудностію. Я сказалъ, что, при появленіи въ «Современникѣ» 1838 года посмертныхъ сочиненій Пушкина, Бѣлинскій испыталъ болѣе чѣмъ восторгъ, и даже нѣчто въ родѣ *испуга* передъ величіемъ творчества, открывшагося глазамъ его. Въ литературной хроникѣ «Московскаго Наблюдателя» 1838 года, отдавая отчетъ о четырехъ томахъ «Современника», заключавшихъ неизданныя произведенія великаго поэта, Бѣлинскій спрашивалъ себя: что такое Пушкинъ? Оказалось, что та же схема, которая служила мѣриломъ внутренняго достоинства Гамлета и Фауста, пригодна и для опредѣленія послѣднихъ произведеній Пушкина. Вотъ, собственныя слова Бѣлинскаго: «Въ самомъ дѣлѣ», — говоритъ онъ, — «чтобы постигнуть всю глубину этихъ геніальныхъ картинъ, разгадать ихъ вполнѣ *таинственный* смыслъ и войти во всю полноту и свѣтлозарность ихъ могучей жизни, должно пройти чрезъ мучительный опытъ внутренней жизни и выдти изъ борьбы прекраснодушія въ гармонію просвѣтленнаго и примиреннаго съ дѣйствительностію духа. Повторяемъ, примиреніе путемъ объективнаго созерцанія жизни — вотъ характеръ этихъ послѣднихъ произведеній Пушкина».

Было бы очень странно, если бы этотъ философскій тезисъ, такъ могущественно и деспотически овладѣвшій умомъ Бѣлинскаго, остался безъ приложенія къ предметамъ политическаго и общественнаго характера, или замѣнился тамъ какимъ-либо инымъ, несхожимъ съ нимъ, созерцаніемъ. Непослѣдовательность такого различія въ опредѣленіяхъ была бы очевиднымъ опроверженіемъ самыхъ основаній теоріи, а Бѣлинскій былъ всегда послѣдователенъ и въ истинѣ, и въ минутныхъ заблужденіяхъ

своихъ. Такимъ образомъ являлась у Бѣлинскаго и политическая теорія, въ силу которой человѣкъ для того, чтобы устроить правильныя отношенія къ обществу и государству, долженъ разрѣшить въ себѣ ту же задачу, какую разрѣшали Гамлетъ и Фаустъ своими персонами, а Пушкинъ—своими произведеніями. Разница состояла здѣсь въ томъ только, что на политической и соціальной почвѣ уже не предстояло возможности выбирать явленій, предпочитать одни другимъ, производить имъ оцѣнку и сортировку, а необходимо было уважать и признавать ихъ всѣхъ одинаково и цѣликомъ. Бѣлинскій поэтому требовалъ, «чтобы человѣкъ, нежелающій довольствоваться всю жизнь призрачнымъ существованіемъ, вмѣсто дѣйствительнаго человѣческаго существованія, призналъ ложью и обманомъ умственныя похоти своей личности, подчинился требованіямъ и указаніямъ государства, которое есть единственный критеріумъ истины на землѣ, проникнулъ въ глубокій смыслъ его идеи, превратилъ все могучее его содержаніе въ собственныя убѣжденія свои, и тѣмъ самымъ сдѣлался уже представителемъ не случайныхъ и частныхъ мнѣній, а выраженіемъ общей, народной, наконецъ міровой жизни или, другими словами, сталъ *духомъ во плоти*. Бѣлинскій продолжалъ далѣе: «Въ духовномъ развитіи человѣка моментъ отрицанія необходимъ, потому-что кто никогда не ссорился съ жизнью, у того и миръ съ нею не очень проченъ; но это отрицаніе должно быть именно только моментомъ, а не цѣлою жизнію: ссора не можетъ быть цѣлью самой себѣ, но имѣетъ цѣлью примиреніе. Горе тѣмъ, которые ссорятся съ обществомъ, чтобы никогда не примириться съ нимъ: общество есть высшая дѣйствительность, а дѣйствительность требуетъ или полнаго мира съ собою, полнаго признанія себя со стороны человѣка, или сокрушаетъ его подъ свинцовою тяжестью своей исполинской длани».

Мѣсто это находится въ разборѣ книги: «Очерки Бородинскаго сраженія» Ѳ. И. Глинки, которая ознаменовала, какъ знаемъ, полный расцвѣтъ гегелевскаго оптимизма въ русской литературѣ.

Такова вкратцѣ у Бѣлинскаго исторія зарожденія и развитія гегелевскаго оптимизма, которая, такъ-сказать, прошла у насъ передъ глазами.

VII.

Нельзя покончить, однако же, съ этимъ періодомъ дѣятельности критика, не повторивъ еще разъ того, что было сказано о его частыхъ возстаніяхъ противъ своихъ же догматовъ: въ противность всему строю и всѣмъ заключеніямъ признаннаго и усвоеннаго имъ ученія, изъ-подъ пера Бѣлинскаго безпрестанно вырывались положенія, похожія на ереси. Этими еретическими вспышками, смахивавшими на бунтъ противъ началъ, угнетавшихъ его умъ, высказывались тѣ, на время подавленныя и притаившіяся, критическія силы Бѣлинскаго, которыя ждали окончанія философскаго погрома, чтобъ явиться снова на свѣтъ въ полномъ блескѣ. Не удивительно ли было, напримѣръ, въ самомъ пылу гегелевскаго настроенія, когда такъ процвѣтало благоговѣніе къ «идеѣ» и неутомимое исканіе ея—вычитать у Бѣлинскаго слѣдующія строки, въ его разборѣ плохой драмы Полевого «Уголино»: «Въ творчествѣ сила не въ идеѣ, а въ формѣ, которая, само собою разумѣется, необходимо предполагаетъ и условливаетъ идею, и эта форма должна быть проникнута кроткимъ, благоговѣйнымъ сіяніемъ эстетической красоты. Величіе содержанія (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозрѣваетъ ее...» Помню хорошо недоумѣніе, которое возбуждали въ насъ подобные внезапные повороты (а ихъ было не мало), наносившіе болѣе или менѣе чувствительные удары самимъ основамъ и первымъ началамъ найденной философской системы. Помню также, что многіе изъ насъ и обращались къ автору въ подобныхъ случаяхъ за разъясненіями этихъ противорѣчій; но разъясненія Бѣлинскаго бо́льшею частію обнаруживали досаду на людей, подвергавшихъ его экзамену, и давались, какъ даются отвѣты дѣтямъ на ихъ разспросы. «Неужто вы думаете», говорилъ Бѣлинскій, — «что я долженъ при каждомъ мнѣніи справляться съ тѣмъ, что̀ сказалъ когда-то прежде: — да вотъ теперь я васъ ненавижу, а черезъ день буду страстно любить». Много было истины въ этихъ словахъ. Бѣлинскій особенно боялся тогда противорѣчій, потрясающихъ новую его систему, и отзывался гнѣвно и нервно о людяхъ, ихъ высказывавшихъ; но оказывалось, что онъ больше всего и думалъ именно о такихъ людяхъ. Въ связи съ этой чертой находилась и другая, не менѣе любопытная. Онъ негодовалъ, становился угрюмъ и золъ именно, когда встрѣчалъ непререкаемое согласіе съ его положеніями, хотя это и не часто

случалось, точно ему недоставало тогда возраженій и обличеній. Внутренняя жизнь Бѣлинскаго въ эту эпоху представляла раздвоеніе, по-истинѣ, трагическое и исполнена была страданій и сомнѣній, которыя по временамъ онъ и открывалъ собесѣдникамъ въ рѣзкомъ, неожиданномъ словѣ, можно сказать, въ воплѣ истерзанной души. Онъ судорожно и отчаянно держался за новыя свои вѣрованія, но съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе чувствовалъ, что они мѣняются, тускнутъ и испаряются на его собственныхъ глазахъ.

Но въ этотъ же періодъ времени случалось и такъ, что Бѣлинскій боролся съ гнетущими условіями метафизическаго деспотизма не одними вспышками и порывистыми движеніями врожденной ему критической мысли, а и цѣлыми продуманными сужденіями и приговорами, которые шли на перекоръ теоріи и всѣмъ ея толкователямъ.

И какъ гордился самъ Бѣлинскій этими доказательствами и заявленіями самодѣятельности своего ума! Въ письмѣ къ И. И. Панаеву 19-го августа 1839 года, напечатанномъ въ «Современникѣ» 1860 года, въ январѣ мѣсяцѣ, онъ шутливо, но съ чувствомъ нескрываемаго торжества вспоминаетъ, что еще осенью прошлаго года объявилъ вторую часть «Фауста» Гёте сухой, мертвой символистикой, къ великому негодованію и изумленію всѣхъ московскихъ друзей-философовъ. Они не находили почти словъ для выраженія своего гнѣва и презрѣнія къ смѣльчаку, налагавшему руку на своего рода «философскій Апокалипсисъ», а теперь опустили головы, прочитавъ въ «Deutsche Jahrbücher» статью молодого эстетика Фишера (Vischer), говоритъ Бѣлинскій, который буквально повторилъ все то, что́ возвѣщалъ онъ, непризнанный Бѣлинскій, за годъ передъ тѣмъ.

И было чѣмъ гордиться!

Что касается до насъ, то мы жаждали ересей Бѣлинскаго, противорѣчій Бѣлинскаго, измѣнъ его своимъ положеніямъ и нарушеній философскихъ догматовъ, какъ подарковъ: они, казалось, возвращали намъ стараго Бѣлинскаго 1834—35 годовъ, когда онъ имѣлъ, несмотря на Шеллинга, свою независимую мысль и свое направленіе [1]). Не то, чтобы кружокъ его петербургскихъ

[1]) Въ „Телескопѣ“ 1835 года, помѣщены были образцовыя статьи: „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“, „О стихотвореніяхъ Баратынскаго“, „Стихотворенія Владиміра Бенедиктова“ и „Стихотворенія Кольцова“. Надеждинъ, поручившій изданіе „Телескопа“ Бѣлинскому, при своемъ отъѣздѣ за-границу, былъ удивленъ по возвращеніи въ декабрѣ 1835 года и доброкачественностію статей, въ немъ помѣщенныхъ, и запущенностію редакціи, не додавшей множество книжекъ журнала. Таковъ былъ и потомъ Бѣлинскій, какъ „редакторъ“.

сторонниковъ ясно провидѣлъ несостоятельность системы и выводовъ, изъ нея получаемыхъ—для этого онъ не былъ достаточно развитъ философски—но онъ чувствовалъ безпокойство, слѣдуя за развитіемъ учителя, сильно недоумѣвалъ, когда ему—кружку этому—не позволяли ропота даже и на самыя обыденныя явленія жизни, и безпрестанно обращалъ глаза назадъ, къ прежнему Бѣлинскому 1835 года, издателю 6-ти книжекъ «Телескопа», гдѣ помѣщены статьи и разборы, оставшіеся и доселѣ памятниками чуткой критики, приговоры которой пережили поколѣнія, впервые ихъ выслушавшія. Можетъ быть, это подозрительное состояніе кружка, всегда готоваго сорваться съ тезисовъ на практическую дорогу прямой, наглядной оцѣнки предметовъ, безъ всякихъ справокъ о томъ, что они представляютъ въ идеѣ, и было причиной грустнаго, осторожнаго, сдержаннаго обращенія Бѣлинскаго съ кружкомъ. Онъ не довѣрялъ ни его покорности отвлеченнымъ понятіямъ, ни особенно его способности проникнуться ими въ должной степени, и однажды, когда заговорили передъ нимъ о здравомъ практическомъ смыслѣ Петербурга, поправляющемъ увлеченія, и подъ дыханіемъ котораго изсыхаютъ всѣ источники фантазіи и мечтаній, Бѣлинскій вспыхнулъ и съ гнѣвомъ проговорилъ: «Я вижу, куда вы клоните. Вамъ никогда не удастся сдѣлать изъ меня то, что вы хотите!» Онъ еще боялся за судьбу своего идеализма въ Петербургѣ, да и долго потомъ, даже послѣ отрезвленія своей мысли, происшедшаго въ 1840 г., еще держался за него, какъ за отличіе, которое не слѣдовало терять на новомъ мѣстѣ. Дѣло, однако же, сложилось иначе.

VIII.

Послѣ всего этого длиннаго отступленія, возвращаюсь къ разсказу. Поселясь въ Петербургѣ, Бѣлинскій началъ ту многотрудную, работящую жизнь, которая продолжалась для него восемь лѣтъ сряду, почти безъ всякаго перерыва, потрясла самый организмъ и заѣла его. На первыхъ порахъ, послѣ довольно долгаго пребыванія на квартирѣ Панаева, онъ нанялъ себѣ помѣщеніе на Петербургской-Сторонѣ, по Большому проспекту, въ красивомъ деревянномъ домикѣ, съ довольно просторной, но сырой и холодной комнатой, и съ небольшимъ кабинетомъ, жарко натопленнымъ, гдѣ я и нашелъ его уже зимой 1840 года. Противоположность въ температурѣ этихъ комнатъ не производила, повидимому, особаго дѣйствія на здоровье хозяина, но за то по-

стоянно награждала посѣтителей его обычными зимними дарами Петербурга—флюсами, гриппами и подчасъ. жабами. Укрывшись въ своемъ тропически-душномъ кабинетѣ, Бѣлинскій весь отдался мысли, и велъ сурово уединенную, почти аскетическую жизнь, изъ которой, по временамъ, выходилъ въ кругъ новыхъ своихъ знакомыхъ, гдѣ его строгій видъ, всего чаще перемежавшійся со вспышками гнѣва или негодующаго юмора, еще болѣе обнаруживалъ основной фонъ, подкладку, такъ-сказать, его страдающей души. Ошибиться было нельзя: наименѣе проницательный собесѣдникъ, если не понималъ, то чувствовалъ существенную принадлежность этого человѣка—живое олицетвореніе образовъ, изобрѣтенныхъ поэзіей для передачи мучительныхъ стремленій и порываній безпокойнаго сердца и возбужденной мысли. Только это былъ титанъ добродушный. Въ отличіе отъ романтическихъ типовъ этого рода, которыхъ намъ представляютъ обыкновенно лишенными слабыхъ или любезныхъ сторонъ характера, Бѣлинскій обладалъ въ значительной степени тѣми и другими. Нельзя было не замѣтить его ребячески-чистой довѣрчивости къ хорошему слову и честному помышленію, передъ нимъ высказаннымъ, а потомъ его комическаго гнѣва на себя, когда онъ открывалъ—(что дѣлалось очень скоро)—несовсѣмъ чистые источники этихъ заявленій. Его наивная неопытность въ дѣлахъ общежитія безпрестанно вовлекала въ ошибки такого рода, хотя за минутами подобныхъ промаховъ у него слѣдовало почти тотчасъ же отрезвленіе, и тогда онъ уже открывалъ въ характерахъ и явленіяхъ стороны, которыя ускользали и отъ очень пытливыхъ и осторожныхъ людей.

Но, вообще говоря, потребности въ людяхъ, въ водоворотѣ жизни, въ повѣркѣ себя другими, и всѣхъ—другъ другомъ, Бѣлинскій тогда не обнаруживалъ. Онъ обходился безъ всего этого по цѣлымъ недѣлямъ. Послѣ погрома, испытаннаго его новой теоріей, онъ уже дни и ночи стоялъ передъ письменнымъ своимъ бюро. Довольно узкій, тропическій его кабинетъ изъ двухъ оконъ, между которыми стояло это бюро, имѣлъ еще, у противоположной стѣны и въ разстояніи пяти-шести шаговъ, кушетку, съ маленькимъ столикомъ у изголовья. Бѣлинскій почти всегда писалъ, какъ то требуется для журнальныхъ статей, на одной сторонѣ полулиста и бросалъ страницу, какъ только достигалъ ея конца. Затѣмъ онъ ложился на кушетку и принимался за книгу, послѣ чего, перемѣнивъ высохшую страницу, снова принимался за перо, не испытывая никакой помѣхи ни въ чтеніи, ни въ письмѣ отъ этихъ промежутковъ въ теченіи мыслей. Такъ создавались

срочныя и несрочныя статьи, утомлявшія его физически гораздо болѣе, чѣмъ умственно. Рука и слабая грудь его болѣли, но голова оставалась постоянно свѣжа. Впрочемъ, усиленная работа эта была нужна ему морально для того, чтобы обмануть и развлечь тоску одиночества, которую онъ испытывалъ съ тѣхъ поръ, какъ покинулъ московскій свой кружокъ и обмѣнялъ его на другой, незамѣнившій стараго... Онъ долго не могъ также привыкнуть къ Петербургу, къ его образу жизни — размѣренной и осторожной, но кончилъ такимъ полнымъ признаніемъ его значенія и разныхъ гражданскихъ и полицейскихъ гарантій для личности, имъ представляемыхъ, что помирился съ нимъ окончательно.

Но у Бѣлинскаго, взамѣнъ общества, были тогда три постоянные, неразлучные собесѣдника, которыхъ наслушаться вдоволь онъ почти уже и не могъ, именно: Пушкинъ, Гоголь и Лермонтовъ. О Пушкинѣ говорить не будемъ: откровенія его лирической поэзіи, такой нѣжной, гуманной и вмѣстѣ бодрой и мужественной, приводили Бѣлинскаго въ изумленіе, какъ волшебство или феноменальное явленіе природы. Онъ не отдѣлался отъ обаянія Пушкина и тогда, когда, ослѣпленный творчествомъ Лермонтова, весь обратился къ новому свѣтилу поэзіи и ждалъ отъ него переворота въ самихъ понятіяхъ о достоинствѣ и цѣли литературнаго призванія. При отъѣздѣ моемъ за границу въ октябрѣ 1840 года, Бѣлинскій спросилъ, какія книги я беру съ собою. «Странно вывозить книги изъ Россіи въ Германію», отвѣчалъ я.—А Пушкина?—«Не беру и Пушкина»...—Лично для себя, я не понимаю возможности жить, да еще и въ чужихъ краяхъ, безъ Пушкина,—замѣтилъ Бѣлинскій.

О второмъ его собесѣдникѣ—Гоголѣ—скажемъ сейчасъ нѣсколько пояснительныхъ словъ. Но что касается отношеній, образовавшихся между Бѣлинскимъ и третьимъ, самымъ позднимъ или самымъ новымъ и молодымъ его собесѣдникомъ—именно Лермонтовымъ, то они составляютъ такую крупную психическую подробность въ жизни нашего критика, что объ ней слѣдуетъ говорить особо.

Важное значеніе Бѣлинскаго въ самой жизни Н. В. Гоголя и огромныя услуги, оказанныя имъ автору «Мертвыхъ Душъ», уже были указаны нами въ другомъ мѣстѣ [1]). Мы уже говорили, что Бѣлинскій обладалъ способностью отзываться, въ самомъ пылу какого-либо философскаго или политическаго увле-

[1]) См. мои „Воспоминанія и Критическіе очерки", т. I, въ статьѣ о Гоголѣ.

ченія, на замѣчательныя литературныя явленія съ авторитетомъ и властью человѣка, чувствующаго настоящую свою силу и призваніе свое. Въ эпоху Шеллингіанизма, одною изъ такихъ далекозаряющихъ вспышекъ была статья Бѣлинскаго: «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя», написанная вслѣдъ за выходомъ въ свѣтъ двухъ книжекъ Гоголя: «Миргородъ» и «Арабески» (1835 г.). Она и уполномочиваетъ насъ сказать, что настоящимъ воспріемникомъ Гоголя въ русской литературѣ, давшимъ ему имя, былъ Бѣлинскій. Статья эта, вдобавокъ, пришлась очень кстати. Она подоспѣла къ тому горькому времени для Гоголя, когда, вслѣдствіе претензіи своей на профессорство и на ученость *по вдохновенію*, онъ осужденъ былъ выносить самыя злостныя и ядовитыя нападки, не только на свою авторскую дѣятельность, но и на личный характеръ свой. Я близко зналъ Гоголя въ это время, и могъ хорошо видѣть, какъ озадаченный и сконфуженный не столько ярыми выходками Сенковскаго и Булгарина, сколько общимъ осужденіемъ петербургской публики, ученой братіи и даже пріятелей, онъ стоялъ совершенно одинокій, не зная, какъ выдти изъ своего положенія и на что опереться. Московскіе знакомые и доброжелатели его покамѣстъ еще выражали въ своемъ органѣ («Московскомъ Наблюдателѣ») сочувствіе его творческимъ талантамъ весьма уклончиво, сдержанно, предоставляя себѣ право отдаваться вполнѣ своимъ впечатлѣніямъ только на-единѣ, келейно, въ письмахъ, домашнимъ образомъ. Руку помощи въ смыслѣ возбужденія его упавшаго духа протянулъ ему, тогда никѣмъ непрошенный, никѣмъ неожиданный и совершенно ему неизвѣстный, Бѣлинскій, явившійся съ упомянутой статьей въ «Телескопѣ» 1835-го года. И съ какой статьей! Онъ не давалъ въ ней совѣтовъ автору, не разбиралъ, что въ немъ похвально и что подлежитъ нареканію, не отвергалъ одной какой-либо черты, на основаніи ея сомнительной вѣрности или необходимости для произведенія, не одобрялъ другой, какъ полезной и пріятной,—а, основываясь на сущности авторскаго таланта и *на достоинствѣ его міросозерцанія*, просто объявилъ, что въ Гоголѣ русское общество имѣетъ будущаго *великаго писателя*. Я имѣлъ случай видѣть дѣйствіе этой статьи на Гоголя. Онъ еще тогда не пришелъ къ убѣжденію, что московская критика, т.-е. критика Бѣлинскаго, злостно перетолковала всѣ его намѣренія и авторскія цѣли,—онъ благосклонно принялъ замѣтку статьи, а именно, что «чувство глубокой грусти, чувство глубокаго соболѣзнованія къ русской жизни и ея порядкамъ слышится во всѣхъ разсказахъ Гоголя», и былъ доволенъ статьей, и болѣе чѣмъ доволенъ: онъ былъ

осчастливленъ статьей, если вполнѣ вѣрно передавать воспоминанія о томъ времени. Съ особеннымъ вниманіемъ остановился въ ней Гоголь на опредѣленіи качествъ истиннаго творчества, и разъ, когда зашла рѣчь о статьѣ, перечиталъ вслухъ одно ея мѣсто: «Еще созданіе художника есть тайна для всѣхъ, еще онъ не бралъ пера въ руки,—а уже видитъ ихъ (образы) ясно, уже можетъ счесть складки ихъ платья, морщины ихъ чела, изборожденнаго страстями и горемъ, а уже знаетъ ихъ лучше, чѣмъ вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать, сестру, возлюбленную сердца; также онъ знаетъ и то, что они будутъ говорить и дѣлать, видитъ всю нить событій, которая обовьетъ и свяжетъ между собою...»—Это совершенная истина, — замѣтилъ Гоголь, и тутъ же прибавилъ съ полузастѣнчивой и полунасмѣшливой улыбкой, которая была ему свойственна: «только не понимаю, чѣмъ онъ (Бѣлинскій) послѣ этого восхищается въ повѣстяхъ Полевого». Мѣткое замѣчаніе, попавшее прямо въ больное мѣсто критика; но надо сказать, что кромѣ участія романтизма въ благожелательной оцѣнкѣ разсказовъ Полевого, была у Бѣлинскаго и еще причина для нея. Бѣлинскій высоко цѣнилъ тогда заслуги знаменитаго журналиста и глубоко соболѣзновалъ о насильственномъ прекращеніи его дѣятельности по изданію «Московскаго Телеграфа»; все это вліяло на его сужденіе и о беллетристической карьерѣ Полевого.

Но рѣшительное и восторженное слово было сказано и сказано не на-обумъ. Для поддержанія, оправданія и укорененія его въ общественномъ сознаніи, Бѣлинскій издержалъ много энергіи, таланта, ума, переломалъ много копій, да и не съ одними только врагами писателя, открывавшаго у насъ реалистическій періодъ литературы, а и съ друзьями его. Такъ, Бѣлинскій опровергалъ критика «Московскаго Наблюдателя» 1836 г., когда тотъ, въ странномъ энтузіазмѣ, объявилъ, будто за одно «слышу», вырвавшееся изъ устъ Тараса Бульбы въ отвѣтъ на восклицаніе казнимаго и мучимаго сына: «слышишь-ли ты это, отецъ мой?» будто за одно это восклицаніе—«слышу», Гоголь достоинъ былъ бы безсмертія; а въ другой разъ опровергалъ того же критика и не менѣе побѣдоносно, когда тотъ выразилъ желаніе, чтобы въ разсказѣ «Старосвѣтскіе помѣщики» не встрѣчался намекъ на *привычку*, а всѣ сношенія между идиллическими супругами объяснялись только однимъ нѣжнымъ и чистымъ чувствомъ, безъ всякой примѣси.

Вспомнимъ также, что «Ревизоръ» Гоголя, потерпѣвшій фіаско при первомъ представленіи въ Петербургѣ и едва не

согнанный со сцены стараніями «Библіотеки для чтенія», которая, какъ говорили тогда, получила внушеніе извнѣ преслѣдовать комедію эту, какъ политическую, несвойственную русскому міру,— возвратился, благодаря Бѣлинскому, на сцену уже съ эпитетомъ «геніальнаго произведенія». Эпитетъ даже удивилъ тогда своей смѣлостью самихъ друзей Гоголя, очень высоко цѣнившихъ его первое сценическое произведеніе. А затѣмъ, не останавливаясь передъ осторожными замѣтками благоразумныхъ людей, Бѣлинскій написалъ еще рѣзкое возраженіе всѣмъ хулителямъ «Ревизора» и покровителямъ пошловатой комедіи Загоскина «Недовольные», которую они хотѣли противопоставить первому. Это возраженіе носило просто заглавіе: «Отъ Бѣлинскаго», и объявляло Гоголя безоглядно великимъ европейскимъ художникомъ, упрочивая окончательно его положеніе въ русской литературѣ. Бѣлинскій самъ вспоминалъ впослѣдствіи съ нѣкоторой гордостью объ этомъ подвигѣ «прямой», какъ говорилъ, критики, опередившей критику «уклончивую» и указавшей ей путь, по которому она и пошла (см. библіографическое извѣстіе о выходѣ «Мертвыхъ Душъ», VI, 396, 400, 404 etc.). Таковы были услуги Бѣлинскаго по отношенію къ Гоголю; но послѣдній не остался у него въ долгу, какъ увидимъ.

Николай Васильевичъ Гоголь жилъ уже заграницей въ описываемое нами время, и уже два года, какъ основался въ Римѣ, гдѣ и посвятилъ себя всецѣло окончанію первой части «Мертвыхъ Душъ». Правда, онъ побывалъ въ Петербургѣ зимой 1839 года и читалъ намъ здѣсь первыя главы знаменитой своей поэмы, у Н. А. Прокоповича, но Бѣлинскаго не было на вечерѣ: онъ находился случайно въ Москвѣ. Врядъ-ли Гоголь и считалъ тогда Бѣлинскаго за какую-либо надежную силу. По крайней мѣрѣ въ мимолетныхъ отзывахъ, слышанныхъ мною отъ него нѣсколько позднѣе (въ 1841 году, въ Римѣ) о русскихъ людяхъ той эпохи, Бѣлинскій не занималъ никакого мѣста. Услуги критика были забыты, порваны, и благодарныя воспоминанія отложены въ сторону. И понятно,—отчего: между ними уже прошли статьи нашего критика о «Московскомъ Наблюдателѣ», горькіе отзывы Бѣлинскаго о нѣкоторыхъ людяхъ того кружка, который уже призывалъ Гоголя спасти русское общество отъ философскихъ, политическихъ и вообще западныхъ мечтаній. Н. В. Гоголь видимо склонялся къ этому призыву и начиналъ считать настоящими своими цѣнителями людей надежнаго образа мыслей, очень дорожащихъ тѣмъ самымъ строемъ жизни, который подвергался обличенію и осмѣянію. Николай Васильевичъ вспомнилъ о Бѣ-

линскомъ только въ 1842 году, когда для успѣха «Мертвыхъ Душъ» въ публикѣ, уже представленныхъ на цензуру, содѣйствіе критика могло быть не безполезно. Онъ устроилъ тогда одно *тайное* свиданіе съ Бѣлинскимъ, въ Москвѣ, гдѣ послѣдній случайно находился, и другое, хотя и не тайное, но совершенно безопасное, въ кругу своихъ петербургскихъ знакомыхъ, не имѣвшихъ никакихъ соприкосновеній съ литературными партіями: секретъ свиданій былъ дѣйствительно сохраненъ, но, какъ я узналъ послѣ, они нисколько не успѣли завязать личныхъ дружескихъ отношеній между писателями. Все это было, однакоже, еще впереди и случилось уже въ мое отсутствіе изъ Петербурга и Россіи.

Теперь же, наканунѣ моего отъѣзда за-границу въ 1840 г., Бѣлинскій какъ-то особенно былъ погруженъ въ изученіе и пересмотръ гоголевскихъ сочиненій. Онъ и прежде пропитался молодымъ писателемъ настолько, что безпрестанно цитировалъ разныя лаконически-юмористическія фразы, столь обильныя въ его твореніяхъ, но теперь Бѣлинскій особенно и страстно занимался выводами, какіе могутъ быть сдѣланы изъ нихъ и вообще изъ дѣятельности Гоголя. Можно было подумать, что Бѣлинскій повѣряетъ Гоголемъ самыя начала, свойства, элементы русской жизни, и ищетъ уяснить себѣ, въ какихъ отношеніяхъ стоятъ произведенія поэта къ собственнымъ философскимъ его, Бѣлинскаго, воззрѣніямъ, и какъ они съ ними могутъ ужиться. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что время измѣненія и перелома въ созерцаніи Бѣлинскаго опредѣлить весьма трудно съ нѣкоторой точностію. Фактически несомнѣнно, что въ слѣдующемъ 1841 году свершился мгновенный поворотъ критика къ новымъ убѣжденіямъ, но приготовлялся онъ ранѣе и тогда, когда критикъ еще не покидалъ старой почвы и старой теоріи. Я сохраняю убѣжденіе, что вмѣстѣ съ другими агентами его отрезвленья — уроками жизни, развитіемъ собственной его мысли и внушеніями друзей—Лермонтовъ и Гоголь были не послѣдними агентами, что доказывается и статьями о нихъ, написанными Бѣлинскимъ въ теченіи 1840 года. Подъ дѣйствіемъ поэта реальной жизни, какимъ былъ тогда Гоголь, философскій оптимизмъ Бѣлинскаго долженъ былъ разложиться, какъ только его серьёзно сопоставили съ картинами русской дѣйствительности. Никакими логическими изворотами нельзя было помочь бѣдѣ, — слѣдовало или соглашаться съ художникомъ, обѣщающемъ еще много новыхъ созданій, въ томъ же духѣ, или покинуть его, какъ не понимающаго той жизни, которую изображаетъ. Притомъ же обличенія Гоголя довершали рядъ обличеній, начатыхъ уже самымъ

строемъ жизни и критическимъ умомъ Бѣлинскаго прежде. Конечно, болѣе правильное пониманіе извѣстной формулы Гегеля о тождествѣ дѣйствительности и разумности, освободившее умъ Бѣлинскаго отъ философскаго обмана, дано было совсѣмъ не Гоголемъ, но Гоголь его подкрѣпилъ. Такимъ-то образомъ расплачивался Николай Васильевичъ съ критикомъ за все, что̀ получилъ отъ него для уясненія своего произведенія; но вотъ что̀ замѣчательно: обоимъ имъ суждено было помѣняться ролями и разойдтись по тѣмъ же дорогамъ, по которымъ пришли другъ къ другу. Пока Бѣлинскій, выведенный однажды на почву реализма, прокладывалъ себѣ дорогу все далѣе и далѣе по одному направленію,—романистъ, способствовавшій ему обрѣсти этотъ вѣрно намѣченный путь, возвращался самъ, послѣ долгихъ блужданій, къ той исходной точкѣ, на которой стоялъ, при самомъ началѣ, его критикъ. Обмѣнявшись мѣстами, они уже, каждый съ своей стороны, стремились достичь крайнихъ, послѣднихъ выводовъ своего положенія, и оба одинаково умерли страдальцами и жертвами напряженной работы мысли—мысли, обращенной въ различныя стороны.

IX.

Что касается Лермонтова, то Бѣлинскій, такъ-сказать, овладѣвалъ имъ и входилъ въ его созерцаніе медленно, постепенно, съ насиліемъ надъ собой. При первомъ появленіи знаменитой Лермонтовской думы: «*Печально я гляжу на наше поколѣнье*», помѣщенной въ № 1-мъ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года, —этого монолога, надъ которымъ, впослѣдствіи, критикъ долго и часто задумывался, которымъ не могъ насытиться и о которомъ позднѣе не могъ наговориться, — Бѣлинскій, еще жившій въ Москвѣ, выразился коротко и ясно: «Это стихотвореніе энергическое, могучее по формѣ», — сказалъ онъ, — «*но нѣсколько прекраснодушное* по содержанію». Извѣстно, что̀ выражалъ эпитетъ «прекраснодушный» въ нашемъ философскомъ кружкѣ. Однакоже Бѣлинскій не успѣлъ отдѣлаться отъ Лермонтова однимъ рѣшительнымъ приговоромъ. Несмотря на то, что характеръ лермонтовской поэзіи противорѣчилъ временному настроенію критика, молодой поэтъ, по силѣ таланта и смѣлости выраженія, не переставалъ волновать, вызывать и дразнить критика. Лермонтовъ втягивалъ Бѣлинскаго въ борьбу съ собою, которая и происходила на нашихъ глазахъ. Ничто не было такъ чуждо сначала всѣмъ умственнымъ привычкамъ и эстетическимъ убѣж-

деніямъ Бѣлинскаго, какъ иронія Лермонтова, какъ его презрѣніе къ теплому и благородному ощущенію въ то самое время, когда оно зарождается въ человѣкѣ, какъ его горькое разоблаченіе собственной своей пустоты и ничтожности, безъ всякаго раскаянія въ нихъ и даже съ нѣкотораго рода кичливостію. Новость и оригинальность этого направленія именно и привязывали Бѣлинскаго къ поэту такой полной откровенности и такой силы.

Нельзя сказать, чтобы Бѣлинскій не распознавалъ въ Лермонтовѣ отголоска французскаго байронизма, какъ этотъ выразился въ литературѣ парижскаго переворота 1830 года и въ произведеніяхъ «юной Франціи»,—а также и примѣси нашего русскаго великосвѣтскаго фрондёрства, построеннаго еще на болѣе шаткихъ основаніяхъ, чѣмъ парижскій скептицизмъ и отчаяніе. Но онъ имъ отыскивалъ другія причины и основанія, а не тѣ, которыя выходили изъ самой жизни поэта. Художническій талантъ Лермонтова закрывалъ лицо поэта и мѣшалъ распознать его. Кромѣ замѣчательной силы творчества, которую онъ постоянно обнаруживалъ,—онъ еще отличался проблесками безпокойной, пытливой и независимой мысли. Это уже была новость въ поэзіи, и, по теоріи, источника ея приходилось искать въ долгомъ трудѣ головы, въ пламенномъ сердцѣ, мучительномъ опытѣ и проч., хотя бы пришлось для этого многое наговорить на нихъ. И вотъ, Бѣлинскій принялся защищать Лермонтова—на первыхъ порахъ отъ Лермонтова-же. Мы помнимъ, какъ онъ носился съ каждымъ стихотвореніемъ поэта, появлявшимся въ «Отечественныхъ Запискахъ» (они постоянно тамъ печатались съ 1839 года), и какъ онъ прозрѣвалъ въ каждомъ изъ нихъ глубину его души, больное, нѣжное его сердце. Позднѣе, онъ также точно носился и съ «Демономъ», находя въ поэмѣ, кромѣ изображенія страсти, еще и пламенную защиту человѣческаго права на свободу и на неограниченное пользованіе ею. Драма, развивающаяся въ поэмѣ между миѳическими существами, имѣла для Бѣлинскаго совершенно реальное содержаніе, какъ біографія или подробности изъ жизни дѣйствительнаго лица.

Памятникомъ усилій Бѣлинскаго растолковать настроеніе Лермонтова въ наилучшемъ смыслѣ остался превосходный разборъ романа «Герой нашего времени», отъ 1840 года. Здѣсь-то, спасая Печорина отъ обвиненія въ дикихъ порывахъ, въ циническихъ выходкахъ безпрестанно-рисующагося и себя оправдывающаго эгоизма, что́ сдѣлало бы его лицомъ противо-эстетическимъ, а стало быть, по теоріи, и безнравственнымъ, Бѣлинскій

находитъ гипотезу, способную дать ключъ къ уразумѣнію наболѣе возмутительныхъ поступковъ героя. Бѣлинскій пишетъ по этому случаю чисто адвокатскую защиту Печорина, въ высшей степени искусственную и краснорѣчивую. Найденная имъ гипотеза состоитъ въ томъ, что Печоринъ еще неполный человѣкъ, что онъ переживаетъ минуты собственнаго развитія, которыя принимаетъ за окончательный выводъ жизни, и самъ ложно судитъ о себѣ, представляя свою особу мрачнымъ существомъ, рожденнымъ для того, чтобы быть палачомъ ближнихъ и отравителемъ всякаго человѣческаго существованія. Это — его недоразумѣніе и его клевета на самого себя. Въ будущемъ, когда Печоринъ завершитъ полный кругъ своей дѣятельности, онъ представляется Бѣлинскому совсѣмъ въ другомъ видѣ. Его строгое, полное и чуждое лицемѣрія самоосужденіе, его откровенная провѣрка своихъ наклонностей, какъ бы извращены они ни были, а главное — сила его духовной природы, служатъ залогами, что подъ этимъ человѣкомъ есть другой, лучшій человѣкъ, который только переживаетъ эпоху своего искуса. Бѣлинскій пророчилъ даже Печорину, что примиреніе его съ міромъ и людьми, когда онъ завершитъ всѣ естественные фазисы своего развитія, произойдетъ именно черезъ женщину, такъ унижаемую, попираемую и презираемую имъ теперь. Какъ добрая нянька, Бѣлинскій слѣдитъ далѣе за всѣми движеніями и помыслами Печорина, отыскивая при всякомъ случаѣ всевозможныя облегчающія обстоятельства для снисходительнаго приговора надъ нимъ, надъ его невыносимой претензіей играть человѣческою жизнію по произволу и дѣлать кругомъ себя жертвы и трупы своего эгоизма. Одинъ только разъ Бѣлинскій останавливается передъ выходкой Печорина, совершенно растерянный, не находя уже словъ для уясненія грубой мысли героя и признаваясь, что не понимаетъ его. Случилось это тогда, когда Печоринъ, при мысли, что обольщенная имъ женщина проведетъ ночь въ слезахъ, чувствуетъ трепетъ неизъяснимаго блаженства и проговариваетъ: «Есть минуты, когда я понимаю вампира! — а еще слыву добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія!» — «Что такое вся эта сцена?» восклицаетъ наконецъ Бѣлинскій. — «Мы понимаемъ ее только, какъ свидѣтельство, до какой степени ожесточенія и безнравственности можетъ довести человѣка вѣчное противорѣчіе съ самимъ собою, вѣчно неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истиннаго блаженства, но *послѣдней ея черты мы рѣшительно не понимаемъ*»...

Такъ боролся Бѣлинскій съ Лермонтовымъ, который, подъ

конецъ, однако же одолѣлъ его. Выдержка у Лермонтова была замѣчательная: онъ не сказалъ никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стеченію обстоятельствъ, очень своеобразно; онъ шелъ прямо и не обнаруживалъ никакого намѣренія измѣнить свои горделивыя, презрительныя, а подчасъ и жестокія отношенія къ явленіямъ жизни на какое-либо другое, болѣе справедливое и гуманное представленіе ихъ. Продолжительное наблюденіе этой личности, вмѣстѣ съ другими, родственными ей по духу на Западѣ, забросили въ душу Бѣлинскаго первыя сѣмена того позднѣйшаго ученія, которое признавало, что время чистой лирической поэзіи, свѣтлыхъ наслажденій образами, психическими откровеніями и фантазіями творчества—миновало, и что единственная поэзія, свойственная нашему вѣку, есть та, которая отражаетъ его разорванность, его духовныя немощи, плачевное состояніе его совѣсти и духа. Лермонтовъ былъ первымъ человѣкомъ на Руси, который навелъ Бѣлинскаго на это созерцаніе, впрочемъ, уже подготовленное и самымъ психическимъ состояніемъ критика. Оно пустило обильные ростки впослѣдствіи.

Такимъ образомъ, всѣ матеріалы для устраненія отвлеченнаго, философскаго принципа, вся нужная подготовка для выхода изъ фальшиваго псевдо-гегелевскаго оптимизма были уже теперь на-лицо; но Бѣлинскій освобождался отъ стараго воззрѣнія, такъ тщательно воспитаннаго имъ въ себѣ, медленно, какъ отъ любви, хотя уже съ половины 1840 года онъ не могъ вспоминать и говорить безъ ужаса и отвращенія о статьѣ своей: «Менцель», которою онъ открылъ этотъ замѣчательный годъ своей жизни и которая была написана имъ еще въ Москвѣ (1839 г.). Эстетическія статьи, о которыхъ мы сейчасъ говорили, послѣдовавшія за ней, были плодомъ уже петербургскихъ его думъ. На нихъ еще лежитъ во многихъ мѣстахъ отблескъ стараго направленія, но съ ними снова выходилъ на литературную арену замѣчательный критикъ въ полномъ обладаніи своей мыслью и своимъ увлекательнымъ словомъ. Проснулись всѣ его способности, вся прирожденная ему сила литературной прозорливости. Статьи его были не просто журнальными рецензіями,— онѣ составляли почти *событія* въ литературномъ мірѣ того времени. Всѣ они установляли новыя точки зрѣнія на предметы, читались съ жадностью, производили глубокое, неизгладимое впечатлѣніе на современную публику, на всѣхъ насъ, какіе бы оттѣнки прежнихъ, не вполнѣ покинутыхъ убѣжденій, еще ни встрѣчались въ нихъ, и какъ бы самъ авторъ ни осуждалъ впо-

слѣдствіи нѣкоторыя изъ ихъ положеній и приговоровъ, за излишній пылъ и черезъ мѣру высокій тонъ ихъ. Бѣлинскій, какъ критикъ-художникъ, являлся дѣйствительно человѣкомъ власти и могущества, подчиняющимъ себѣ. Достаточно вспомнить для объясненія обаятельнаго дѣйствія всѣхъ его рецензій 1840 года, послѣ «Менцеля», что въ каждой изъ нихъ происходила, такъ-сказать, художническая анатомія даннаго произведенія, открывалось его внутреннее строеніе съ очевидностью и осязательностью, дававшими иногда совершенно одинаковое, а иногда еще и бо́льшее наслажденіе, чѣмъ чтеніе самаго оригинала. Это было возстановленіе произведенія, только уже проведеннаго, такъ-сказать, черезъ душу и эстетическое чувство критика и получившаго отъ соприкосновенія съ ними новую жизнь, бо́льшую свѣжесть и бо́лѣе глубокое выраженіе. Такъ, въ художническо-эстетической критикѣ 1840 года, Бѣлинскій находилъ выходъ изъ опутавшаго его философскаго догматизма. Съ этимъ направленіемъ я его и оставилъ, при моемъ отъѣздѣ за-границу.

X.

Прежде отъѣзда мнѣ пришлось, однако же, побывать опять въ Москвѣ. На этотъ разъ Бѣлинскій снабдилъ меня письмомъ къ Василію Петровичу Боткину, котораго я вовсе не зналъ, но о которомъ много и часто говорилось при мнѣ. Я побѣжалъ къ нему при первой возможности. Это было въ половинѣ іюня 1840 года.

Я засталъ В. П. Боткина, въ бесѣдкѣ сада, прилегавшаго къ извѣстному дому Боткиныхъ на Моросейкѣ. Тутъ онъ устроилъ себѣ очень изящный лѣтній кабинетъ, гдѣ и проводилъ всѣ свободные свои часы, окруженный многочисленными изданіями Шекспира и комментаріями на него европейскихъ изслѣдователей. Онъ составлялъ тогда статью о Шекспирѣ. Я нашелъ въ Боткинѣ тѣхъ временъ молодого человѣка въ красивомъ парикѣ, съ чрезвычайно умными и выразительными глазами, въ которыхъ меланхолическій оттѣнокъ постоянно смѣнялся огоньками и вспышками, свидѣтельствовавшими о физическихъ силахъ, далеко не покоренныхъ умственными занятіями. Онъ былъ блѣденъ, очень строенъ, и на губахъ его мелькала добродушная, но какъ-то осторожная улыбка,—словно врожденный его скептицизмъ, по отношенію къ людямъ, сохранялъ надъ нимъ

свои права и въ области безграничнаго идеализма, въ которой онъ тогда находился.

Впослѣдствіи оказалось, что онъ стоялъ на границѣ радикальнаго нравственнаго переворота, котораго и самъ еще не предчувствовалъ. Никто не обращалъ вниманія на внезапные проблески страсти на лицѣ и въ рѣчахъ, которыя часто прорывались у него, и никому не приходило въ голову подозрѣвать, что въ немъ живетъ еще другой человѣкъ, кромѣ того, котораго знали и любили окружающіе его друзья и товарищи.

Мы, разумѣется, разговорились о Бѣлинскомъ и о его мучительныхъ исканіяхъ выхода изъ положеній, очень основательно выведенныхъ изъ даннаго тезиса и очень несостоятельныхъ въ приложеніяхъ къ практической жизни. «Онъ платится теперь,— сказалъ мнѣ задумчиво и какъ-то строго Боткинъ, словно обращаясь къ самому себѣ,—за одну, весьма важную ошибку въ своей жизни—за презрѣніе къ французамъ. Онъ не нашелъ у нихъ ни художественности, ни чистаго творчества, и за это объявилъ имъ непримиримую вражду, а между тѣмъ — безъ знанія ихъ политической пропаганды о нихъ и судить не слѣдуетъ. *Вашъ Петербургъ* принесетъ Бѣлинскому большую пользу въ этомъ отношеніи: онъ непремѣнно измѣнитъ его взглядъ на французовъ». *Нашъ* Петербургъ однако же не былъ въ настоящей мысли Боткина такой панацеей для Бѣлинскаго отъ заблужденій, какъ онъ это заявлялъ. Изъ обширной переписки, которую велъ Боткинъ съ Бѣлинскимъ въ то время, оказалось, что другъ критика еще очень боялся, чтобы на новой почвѣ и отдѣленный отъ своего естественнаго, московскаго круга критикъ не выпустилъ изъ вида великія начала философскаго пониманія предметовъ литературы и нравственности!

Разборъ Гоголевскаго «Ревизора», написанный Бѣлинскимъ тогда же, послужилъ отвѣтомъ на эти напрасныя опасенія. Такъ какъ статья эта составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и біографическую черту изъ жизни критика, то я и остановлюсь на ней.

Можетъ быть, нигдѣ въ сильнѣйшей степени не сказались всѣ самыя видныя качества эстетической критики Бѣлинскаго, о которой говорили, какъ именно въ этомъ разборѣ «Ревизора», котораго Бѣлинскій противопоставлялъ «Горю отъ ума». Здѣсь каждое движеніе души у Хлестакова, городничаго, его жены, дочери, да и вообще у дѣйствующихъ лицъ комедіи высчитано съ неутомимостію мыслителя-психолога, разрѣшающаго трудную задачу, которая ему предложена; каждый намекъ на ихъ характеры, часто заключающійся въ одномъ словѣ или бѣглой чертѣ

уловленъ со вдохновеніемъ, можно сказать, равносильнымъ художническому. Весь ходъ творческой мысли автора разобранъ до мельчайшей подробности, и читателю статьи невольно кажется, что онъ присутствуетъ въ какой-то критической лабораторіи, гдѣ разлагаются передъ его глазами всѣ замыслы, пріемы и дальновидные разсчеты художническаго производства. Тайнъ чужой работы для Бѣлинскаго какъ-бы не существуетъ. Между прочимъ здѣсь находилось множество мыслей, которыя потомъ, къ удивленію, были усвоены самимъ Гоголемъ и встрѣчаются въ его собственной защитѣ своей комедіи, какъ, напримѣръ, мысль, что грубая ошибка городничаго, принявшаго мальчишку Хлестакова за ревизора, есть дѣйствіе встревоженной совѣсти. «Не грозна дѣйствительность, а призракъ, фантомъ или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти должна была наказать человѣка призраковъ (городничаго)», говорилъ Бѣлинскій въ одномъ мѣстѣ. Даже знаменитое положеніе Гоголя, что честное существо въ «Ревизорѣ» есть смѣхъ, даже и оно сказано было Бѣлинскимъ прежде. Упомянувъ, что основа трагедіи всегда зиждется на борьбѣ, возбуждающей состраданіе и заставляющей гордиться достоинствомъ человѣческой природы, Бѣлинскій продолжаетъ: «такъ и основа комедіи—на комической борьбѣ, возбуждающей смѣхъ; однако же, въ этомъ смѣхѣ не одна веселость, *но и мщеніе за униженное человѣческое достоинство, и, такимъ образомъ, другимъ путемъ, нежели въ трагедіи, но опять-таки открывается торжество нравственнаго закона*»; и много еще подобныхъ мѣстъ заключалось въ статьѣ. Я не вывожу изъ этого сближенія никакихъ заключеній, хотя и позволительно думать, что Гоголь читалъ статью Бѣлинскаго, по крайней мѣрѣ, весьма внимательно. Что же касается до «Горя отъ ума», то Бѣлинскій считалъ комедію изумительной картиной нравовъ и геніальной сатирой, но не находилъ въ ней художнически-построеннаго созданія и, восхищаясь ею, сожалѣлъ, что не можетъ приложить къ ней тѣхъ способовъ философско-эстетическаго анализа, которые употреблялъ для разбора «Ревизора». Онъ былъ еще связанъ теоретическими запрещеніями и ограниченіями; и немного позднѣе, въ эпоху обращенія къ политическимъ и общественнымъ вопросамъ, о которой пророчилъ В. П. Боткинъ, Бѣлинскій самъ считалъ этотъ приговоръ далеко не исчерпывающимъ всего значенія комедіи Грибоѣдова.

Между прочимъ, въ это же самое время, Бѣлинскій покончилъ всѣ разсчеты и связи съ человѣкомъ, котораго онъ цѣнилъ еще недавно очень высоко и котораго глубоко ува-

жалъ и любилъ,—съ Н. А. Полевымъ. Подъ гнетомъ тяжелыхъ обстоятельствъ жизни, Н. А. Полевой, сдѣлавшійся издателемъ «Сына Отечества», перешелъ на сторону враговъ философскаго движенія въ Россіи и самаго развитія независимой, критической журнальной дѣятельности, эру которой, между прочимъ, онъ самъ же и открылъ у насъ. Отзываясь теперь презрительно и насмѣшливо о молодыхъ попыткахъ отыскать какія-то особенныя начала для жизни и мысли, безъ справки съ опытомъ и условіями времени, Полевой думалъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ въ томъ кругу людей и понятій, въ которымъ пристроился послѣ паденія «Московскаго Телеграфа». Но разсчетъ его и тутъ не удался. Онъ былъ имъ подозрителенъ и тогда, когда защищалъ ихъ. Всего этого было, однакоже, довольно, чтобы потушить у Бѣлинскаго тѣ искры привязанности, которыя онъ постоянно питалъ въ душѣ къ прежнему бойкому публицисту и недавнему романтическому сказочнику. Онъ это и высказалъ откровенно въ разборѣ «Очерковъ русской литературы» Н. А. Полевого, разборѣ, который можетъ стать рядомъ съ прежнимъ его разборомъ дѣятельности С. П. Шевырева по яркости красокъ и убѣдительности доводовъ: оба эти разбора заслоняли людей новаго поколѣнія отъ вліянія авторитетовъ и репутацій, переставшихъ отвѣчать потребностямъ времени, и оба порѣшили участь двухъ значительныхъ именъ въ литературѣ.

Когда я вернулся послѣ трехмѣсячной лѣтней отлучки моей снова въ Петербургъ, я нашелъ въ Бѣлинскомъ большую перемѣну. Бѣлинскій уже вышелъ изъ психическаго кризиса, въ которомъ я его оставилъ. Упреки, которые онъ дѣлалъ себѣ въ глубинѣ души и уединенно за свое недавнее увлеченіе, высказывалъ онъ теперь торжественно, явно, во всеуслышаніе. Тонъ и складъ его разговоровъ проникнутъ былъ самообличеніемъ самымъ яркимъ и безпощаднымъ. Онъ уже пережилъ и позабылъ боль скорбныхъ признаній и дѣлалъ ихъ теперь публично. Получая укоры со всѣхъ сторонъ, Бѣлинскій уже свободно разбиралъ ихъ, оправдывалъ и пополнялъ. Станкевичъ писалъ изъ Берлина съ изумленіемъ о *новыхъ* теоріяхъ, народившихся въ Петербургѣ; о негодованіи же въ кругѣ Г., въ которомъ числился, кромѣ О. и другихъ, тогда еще и Грановскій, было уже нами сказано выше. Даже и обличенія посторонникъ лицъ, гораздо менѣе друзей стѣснявшихся пріискиваніемъ поворныхъ источниковъ для объясненія ультраконсервативной дѣятельности Бѣлинскаго, находили въ немъ своего адвоката. Онъ становился на сторону своихъ диффаматоровъ, подсказывалъ имъ самъ черты, которыя могли бы усилить

ядовитость ихъ полемики, и только для себя не находилъ никакого оправданія. Такъ разрѣшался его кризисъ. Можно было подумать, что Бѣлинскій находитъ что-то облегчающее для себя въ этихъ безпрестанныхъ истязаніяхъ своей репутаціи. Черта такого самобичеванія проявлялась у Бѣлинскаго иногда и безъ особенно важныхъ поводовъ, порождая иногда уморительныя и юмористическія вспышки. Извѣстно, что нашъ критикъ погрѣшилъ еще въ 1839 г. пигмактной, скучно-психической и сентиментальной комедіей («Пятидесятилѣтній дядюшка»), о которой не любилъ вспоминать, и которой стыдился. Однажды и уже черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ ея появленія, когда Бѣлинскій имѣлъ въ литературѣ значительное имя и вліяніе, онъ былъ представленъ гдѣ-то извѣстному славянскому филологу-профессору И. Срезневскому, который съ перваго же слова объявилъ, что онъ не сочувствуетъ его критической дѣятельности, но за то находитъ комедію его геніальной вещью. Бѣлинскій затѣмъ уже никогда не могъ вспомнить объ этомъ отзывѣ безъ выраженія безмѣрнаго изумленія, какъ будто дѣло шло о чемъ-то совершенно невозможномъ и неестественномъ.

Достойно замѣчанія еще и то обстоятельство, что смыслъ вообще философскихъ статей Бѣлинскаго не былъ разгаданъ и патріотами-консерваторами эпохи, которымъ статьи должны были бы придтись по сердцу, и которые, наоборотъ, присоединились къ толпѣ, преслѣдовавшей критика свистками. Даже люди очень образованные и весьма радѣвшіе, какъ о внутреннемъ, такъ и о внѣшнемъ достоинствѣ русской жизни, какъ, напримѣръ, С. Шевыревъ, не угадали помощи, какую приносятъ статьи Бѣлинскаго ихъ собственному дѣлу, по множеству очень многихъ умныхъ и дѣльныхъ замѣтокъ о психологіи народной, которыя въ нихъ заключались и опередили науку о психической жизни народовъ, нынѣ появившуюся. Образованные люди и профессора остановились только на туманномъ языкѣ Бѣлинскаго—и далѣе не пошли, довольствуясь случаемъ лишній разъ поглумиться надъ противникомъ. Такимъ образомъ, большого политическаго смысла не обнаружилось ни съ той, ни съ другой стороны, но откуда же и было взять его тогда? Первые проблески нѣкотораго политическаго смысла зародились у насъ только въ разгарѣ великаго спора между славянофилами и западниками, тамъ они и окрѣпли, о чемъ будемъ говорить далѣе.

XI.

По осени того же 1840 года, явился въ Петербургъ молодой человѣкъ, М. К—въ, изъ Москвы, переводчикъ «Ромео и Юліи», уже составившій себѣ репутацію человѣка съ основательными филологическими познаніями и съ замѣчательными способностями къ отвлеченному мышленію и къ критикѣ идей. Но въ это время онъ преслѣдовалъ еще и другія цѣли, стараясь показаться человѣкомъ не только энциклопедическаго образованія, но и страстныхъ житейскихъ увлеченій, занимаясь точно также философскими соображеніями, поэзіей, искусствомъ и творчествомъ, какъ и сообщеніемъ своей физіономіи демоническаго выраженія. Желаніе прослыть человѣкомъ, способнымъ понимать и чувствовать въ себѣ всѣ стороны существованія, бросало его, по временамъ, въ необычайныя попытки, подсказывало дѣйствія и порывы совершенно фантастическаго характера, частію искренніе, такъ какъ онъ дѣйствительно обладалъ страстной, увлекающейся натурой, а частію придуманные, въ видѣ украшенія, отличія, *полезной* психической черты. Все это вмѣстѣ довольно плохо вязалось съ планами ученой и труженической жизни, какіе онъ дѣлалъ для себя, и создавало изъ него загадку для окружающихъ, чего онъ и хотѣлъ. Уже съ 1839 года, К—въ былъ сотрудникомъ «Литературныхъ Прибавленій» и «Отечественныхъ Записокъ» г. Краевскаго, и вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, при обновленіи редакціи послѣдняго журнала, очутился въ числѣ главныхъ его руководителей. По прибытіи въ Петербургъ, онъ остановился также у И. И. Панаева,—орудія и агента этого обновленія. Онъ появился, однако же, не надолго, пробираясь въ Берлинъ, для окончанія философскаго и научнаго образованія во-первыхъ, а во-вторыхъ для исполненія одного долга чести. Какая-то старая и довольно грубая, хотя и моралзующая, по обыкновенію, выходка Б. по поводу одной московской исторіи вызвала въ самомъ кабинетѣ Бѣлинскаго порядочно безобразную сцену между К—вымъ и Б., когда оба они находились уже въ Петербургѣ. Дѣло должно было разрѣшиться дуэлью въ Берлинѣ. Къ удовольствію друзей, принимавшихъ участіе въ противникахъ, дуэль не состоялась вовсе [1]). Въ Петербургѣ К—въ былъ пред-

[1]) При отъѣздѣ моемъ за границу, Бѣлинскій, разсказывая подробности сцены, поручалъ мнѣ стараться о примиреніи враговъ. „Было бы большимъ несчастіемъ", говорилъ онъ, „потерять такого человѣка, какъ К—въ; дѣйствуйте особенно на Б. —онъ же ревнеръ и на сдѣлку пойдетъ скорѣе".

шествуемъ, какъ я сказалъ, репутаціей человѣка нервнаго характера и оригинальнаго ума, питаемаго особенно знакомствомъ съ источниками господствовавшихъ тогда теорій, и, наконецъ, писателя, уже отличившагося мастерствомъ своимъ выражать мѣтко и живописно оригинальныя стороны философскихъ идей, историческихъ эпохъ и предметовъ искусства вообще. Критическія статьи К—ва дѣйствительно возвѣщали очень свѣжій, разнообразный и сильный талантъ; между ними остается мнѣ памятной рецензія его на книгу Зиновьева: «Основанія русской стилистики», гдѣ первое возникновеніе риторики, какъ науки, оправдывалось строемъ всей древней греческой жизни и цивилизаціи, и осязательно показывалась нелѣпость ея претензіи на званіе науки въ быту новыхъ обществъ. Тѣмъ же характеромъ блестящаго изложенія и пониманія исторической и бытовой сущности вопросовъ отличаются и многія другія его статьи въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ» и «Отечественныхъ Запискахъ» 1839 и 1840 гг. Бѣлинскій очень дорожилъ его сотрудничествомъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» и ожидалъ отъ того большихъ послѣдствій для журнала, чего, однакоже, не сбылось.

К—въ переживалъ тогда тотъ періодъ развитія, который можно назвать *«свирѣпостію молодости»*, и который часто разрѣшается явленіями, которыя кажутся совершенно невозможными и дикими въ приложеніи къ лицу, узнанному нами позднѣе, когда оно уже вполнѣ опредѣлилось. Съ физіономіи его почти не сходило тогда выраженіе нѣкотораго легкаго презрѣнія къ *интеллигенціи*, его окружавшей, а поступки его еще сильнѣе выражали убѣжденіе въ своемъ правѣ не дорожить ею. Бѣлинскій не составлялъ исключенія. К—въ ни мало не скрывалъ высокаго понятія о самомъ себѣ и большихъ надеждъ, возлагаемыхъ имъ на свою будущность, и думалъ, что они могутъ служить достаточнымъ основаніемъ для снисходительнаго взгляда на его рѣзкія выходки и несправедливости къ друзьямъ, которые только и занимались тѣмъ, чтобъ поддержать, поощрить и укрѣпить его дѣятельность и вліяніе. Въ короткое время своего пребыванія въ Петербургѣ, кромѣ нѣкоторыхъ библіографическихъ статей, онъ перевелъ, вмѣстѣ съ другими участниками, романъ Купера «Патфайндеръ» и составилъ этюдъ «Сарра Толстая», который появился въ «Отечественныхъ Запискахъ» почти передъ самымъ его отъѣздомъ за границу. Бѣлинскій, еще до напечатанія этого этюда, былъ очень доволенъ имъ и даже много говорилъ о немъ, но не прошло и двухъ мѣсяцевъ, какъ онъ перемѣнилъ свое мнѣніе объ этюдѣ, о чемъ я уже узналъ впослѣд-

ствіи. Ему сдѣлались вдругъ противны психическія изысканія въ области *духа*, анализъ неуловимыхъ чувствъ и ощущеній внутренняго человѣческаго существованія, словомъ, вся та метафизика ума и воли, какая обильно предлагалась статьей К—ва, но которая начинала уже терять всякое значеніе для Бѣлинскаго. Было и еще соображеніе. По всему складу мысли и дѣятельности К—ва съ первыхъ же его шаговъ за границей, все яснѣе оказывалось, что онъ гораздо болѣе занятъ мыслію водворить въ своемъ отечествѣ новыя основы положительнаго созерцанія и вѣрованія, какія онъ открылъ въ позднѣйшей философіи «Откровенія» Шеллинга, чѣмъ призваніемъ работать на просвѣтленіе загрубѣлой русской общественной среды, прямо и непосредственно, какъ того требовало время. Самъ К—въ скоро подтвердилъ всѣ догадки Бѣлинскаго. Еще въ Гамбургѣ, ступая, такъ-сказать, впервые на почву Европы, онъ думалъ, что успѣхъ «Отечественныхъ Записокъ» доставитъ ему и Бѣлинскому средства безбѣднаго существованія на всю жизнь, а менѣе чѣмъ черезъ годъ онъ прекратилъ всѣ сношенія съ журналомъ. Было бы крайне поверхностно и мелочно объяснять дѣло неясностію денежныхъ разсчетовъ между редакціей и сотрудникомъ ея, между тѣмъ какъ дѣло разъясняется вполнѣ отвращеніемъ К—ва слѣдовать по пути безповоротнаго отрицанія, которое боится и не желаетъ разъясненій. Въ 1842 году, онъ на этомъ основаніи подозрительно относился даже къ «Мертвымъ Душамъ» Гоголя, какъ я имѣлъ случай лично убѣдиться, и не столько къ поэмѣ, сколько къ будущимъ ея панегиристамъ, которыхъ предвидѣлъ и которыхъ болѣе опасался, чѣмъ выводовъ самаго произведенія. Въ глухую осень 1840-го года (октября 5-го), мы съ нимъ сѣли на *послѣдній* пароходъ, отправлявшійся изъ Петербурга въ Любекъ. Бѣлинскій, Кольцовъ и Панаевъ провожали насъ до Кронштадта.

Я упомянулъ имя Кольцова. Это была моя первая и послѣдняя встрѣча съ этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ. Какъ теперь смотрю на малорослаго, коренастаго поэта, со скулистой, чисторусской физіономіей и съ весьма пытливымъ и наблюдательнымъ взглядомъ. Все время проводовъ онъ молчалъ, какъ-бы озадаченный и подавленный умными, а еще болѣе—развязными рѣчами литературныхъ авторитетовъ,—рѣчами, которыя выслушивалъ съ покорнымъ вниманіемъ неофита. Это была какъ будто обязательная маска, принятая имъ въ литературномъ обществѣ, которое такъ много дѣлало для распространенія его извѣстности, потому что и ко мнѣ, совершенно безвѣстному и нимало не вліятельному

лицу кружка, онъ подошелъ, послѣ обѣда въ Кронштадтѣ, со словами: «не забывайте, что вы обязаны насъ учить и просвѣщать». Много было искренняго въ чувствѣ, которое ему подсказывало подобныя слова, но много въ нихъ было также и привычки, взятой въ постоянномъ обращеніи съ кругомъ писателей. Она не мѣшала, однако же, его сужденію. По словамъ Бѣлинскаго, не было человѣка болѣе зоркаго, проницательнаго и догадливаго, чѣмъ Кольцовъ съ его спокойнымъ и покорнымъ видомъ: онъ распознавалъ людей сквозь кору наносной культуры и цивилизаціи и судилъ о нихъ очень правильно и самостоятельно. Это не мѣшало ему и въ жизни, и въ поэтической дѣятельности, отдавать по временамъ самого себя безповоротно во вліяніе и управленіе какой-либо излюбленной личности, чѣмъ онъ тоже выражалъ свою русскую природу вполнѣ. Бѣлинскій, напримѣръ, распоряжался его мыслію и душой самовластно: кромѣ того, что критикъ нашъ высвободилъ его народную и поразительно-образную пѣснь отъ дурныхъ резонерскихъ привычекъ, онъ навѣялъ также Кольцову сперва его религіозные гимны, а затѣмъ пробудилъ въ немъ зародыши поэтическаго созерцанія жизни и жажду по наслажденіямъ бытія, какую оно за собой выводитъ. При Кольцовѣ оставались, однако же, все та же оригинальная форма, тотъ же оборотъ и неподражаемый складъ рѣчи, на что́ бы она ни обращалась: эта черта, кажется, должна была бы остановить недавнія подозрѣнія, брошенныя на поэта въ присвоеніи чужой литературной собственности. Есть анекдотъ отъ эпохи, теперь нами передаваемой, который Бѣлинскій повторялъ не разъ. Въ разгарѣ московскаго философскаго настроенія, собрался однажды у В. П. Боткина кружокъ друзей, занимавшихся наукой наукъ, и притомъ собрался въ самомъ счастливомъ и веселомъ расположеніи духа. Тогда еще существовали для людей *радости* по вычитанной идеѣ, по открытію новаго фактора въ духовной жизни, по пріобрѣтенію новаго горизонта для мысли и т. д. Кружокъ ликовалъ одною изъ этихъ нематеріальныхъ, отвлеченныхъ и теперь уже немногимъ понятныхъ радостей. Случайно попалъ на него и Кольцовъ, конечно, не вполнѣ уразумѣвавшій основанія восторженныхъ рѣчей своихъ друзей, но общее настроеніе подѣйствовало на него обаятельно. Онъ самъ просвѣтлѣлъ и, удалившись въ кабинетъ хозяина, сѣлъ за письменный его столъ и возвратился черезъ нѣсколько минутъ къ пріятелямъ съ бумажкой въ рукахъ. «*А я написалъ пѣсенку*», сказалъ онъ робко, и прочелъ стихотвореніе: «Пѣснь лихача Куд-

рявича», пьесу, которой по-своему какъ-бы отвѣчалъ и вторилъ шумной рѣчи молодыхъ московскихъ энтузіастовъ.

Не мѣшаетъ сказать мимоходомъ, что часть біографіи Кольцова, касающаяся его семейныхъ дѣлъ, кажется, должна быть принимаема теперь съ нѣкоторою осторожностью и оговоркой, необходимыхъ особенно для подтвержденія догадки, что собственно никакого преднамѣреннаго и обдуманнаго преслѣдованія со стороны родныхъ не было въ жизни Кольцова. Они тогда и долго потомъ еще не считали себя виновными передъ покойнымъ, и дѣйствительно могутъ быть—если не оправданы, то пощажены на судѣ потомства. Они жили по правиламъ, обычаямъ и воззрѣніямъ грубой культуры, которую унаслѣдовали отъ отцовъ, и понять не могли, что притѣсняютъ и наконецъ губятъ близкаго человѣка однимъ образомъ своихъ дикихъ понятій и своей жизнію по этимъ понятіямъ. Они оскорбляли и мучили свою жертву безлобно и безсознательно, и только въ этомъ и заключается именно трагизмъ семейнаго положенія Кольцова, обреченнаго на жизнь въ безобразной средѣ съ той степенью развитія, которую уже имѣлъ...

Мы такъ и уѣхали, оставивъ Бѣлинскаго при разработкѣ эстетическихъ началъ, которыя онъ понималъ далеко не такъ узко, какъ положено думать объ эстетическихъ пріемахъ вообще. По нѣкоторымъ чертамъ, мною уже приведеннымъ, можно судить какое многозначительное содержаніе онъ сообщалъ имъ, а чѣмъ далѣе онъ шелъ, тѣмъ все бо́льшую широту получали и его эстетическія начала, обнимавшія не одни только условія и задачи искусства, но и связанные съ ними неразрывно вопросы жизни и морали. Кстати, о послѣдней. При отъѣздѣ я уносилъ съ собой образъ Бѣлинскаго преимущественно какъ нравоучителя и объ этомъ считаю нужнымъ сказать теперь нѣсколько словъ.

Кто не знаетъ, что моральная подкладка всѣхъ мыслей и сочиненій Бѣлинскаго была именно той силой, которая собирала вокругъ него пламенныхъ друзей и поклонниковъ. Его фанатическое, такъ-сказать, исканіе правды и истины въ жизни не покидало его и тогда, когда онъ на время уходилъ въ сторону отъ нихъ. Авторитетъ его какъ моралиста никогда не страдалъ между окружающими отъ его заблужденій. Необычайная честность всей его природы и готовность усматривать орудія, которыя способны освобождать отъ дурныхъ приростовъ мысли, продолжали дѣйствовать на друзей обаятельно и тогда, когда онъ шелъ въ разрѣзъ съ ихъ убѣжденіями. Очеркъ его моральной пропо-

вѣди, длившейся всю жизнь его, былъ бы и настоящей его біографіей.

Къ концу 1840 года нравственное уже не выводилось имъ болѣе изъ полнаго устраненія своей личности, своего *я*, и изъ передачи всего себя въ лоно безпредѣльной *любви*, какъ въ первый (шеллинговскій) періодъ развитія; оно не заключалось также въ *пониманіи* самого себя, какъ высшаго творческаго момента въ дѣятельности всеобщаго разума и высшей идеи, какъ выходило по Гегелю. Безпредѣльная *любовь* и абсолютное *пониманіе* своей духовной сущности, какъ начала, изъ которыхъ вытекаютъ всѣ правила жизни, замѣнялись другимъ и единственнымъ дѣятелемъ. Теперь нравственное для Бѣлинскаго состояло въ эстетическомъ воспитаніи самого себя, т.-е. въ пріобрѣтеніи чуткости къ правдѣ, добру, красотѣ, и въ усвоеніи неодолимаго органическаго отвращенія къ безобразію всякаго вида и рода. Я живо помню еще бесѣды, въ которыхъ онъ развивалъ это положеніе. По его убѣжденію, хорошимъ пособіемъ для возведенія себя на степень разумнаго человѣка и просвѣтленной личности можетъ служить изученіе основныхъ идей въ истинно-художническихъ созданіяхъ. Всѣ эти основныя идеи суть вмѣстѣ съ тѣмъ и откровенія моральнаго міра. Изъ разбора и усвоенія ихъ возникаетъ въ обществѣ, мало-по-малу, кодексъ нравственности, не писанный, безъ мраморныхъ таблицъ и хартій, но лучше ихъ укореняющійся въ сознаніи отдѣльныхъ лицъ, лучше ихъ устроивающій внутренній бытъ человѣка, а черезъ человѣка и бытъ цѣлыхъ поколѣній. Каждый новый геніальный художникъ привноситъ, такъ сказать, въ этотъ свободный кодексъ нравственныхъ началъ новую черту, новую подробность, которыя почерпнуты прямо изъ наблюденія и опредѣленія элементовъ духовной природы человѣка. Образуется рядомъ съ живущими, дѣйствующими, писанными и неписанными, нужными и ненужными уставами общежитія и благочинія—другой уставъ, неизмѣримо болѣе свѣтлый, разумный и серьёзный, которому слѣдуютъ люди, развитые эстетически. Человѣкъ, воспитанный на міросозерцаніи великихъ художниковъ, поэтовъ, философовъ, мыслителей, подъ конецъ самъ становится способнымъ къ творчеству въ области нравственныхъ идей, открываетъ новыя начала правды и возвѣщаетъ ихъ, покоряясь имъ самъ и покоряя имъ другихъ. Бѣлинскій нашелъ очень много глубокихъ соображеній на этой почвѣ, съ которой онъ сошелъ въ концѣ своего поприща на другую, тоже давшую ему много немаловажныхъ выводовъ и о которой еще рѣчь впереди.

И какъ онъ встрепенулся, когда около той же эпохи возвѣщенъ былъ новый журналъ «Маякъ», долженствовавшій, какъ говорили, преимущественно способствовать возобновленію и развитію старой, до-Петровской и *испытанной русской* морали, позабытой нашимъ свѣтскимъ и литературнымъ обществомъ. Бѣлинскій прежде всѣхъ бросился поднять эту перчатку. Онъ отозвался о скоромъ появленіи журнала враждебно и сердито, и передъ самымъ отъѣздомъ моимъ показалъ мнѣ даже мѣсто изъ приготовляемой имъ статьи, гдѣ упоминалось о журналѣ: «Въ нашу уснувшую литературу началъ вкрадываться китайскій духъ; онъ началъ пробираться не подъ своимъ собственнымъ, то-есть китайскимъ именемъ *Дзунь-Кинь-Дзынь*, а съ чужимъ паспортомъ, съ подложною фамиліей и назвался *моральнымъ духомъ*. Говорятъ, что добрые мандарины приняли благое намѣреніе издавать на русскомъ языкѣ журналъ, имѣющій цѣлію распространеніе въ русской литературѣ этого благовонно китайскаго духа» (въ разборѣ «Ольги», романа автора «Семейства Холмскихъ»). Выдуманное китайское слово забавляло самого автора, но оно не выражало еще вполнѣ степени негодованія, объявшей его при извѣстіи о замыслѣ основать журналъ для защиты отжившихъ началъ, хотя бы нѣкогда и очень важной исторической эпохи. Все это было какъ-бы предчувствіемъ той ожесточенной борьбы, какую онъ поведетъ скоро противъ тѣхъ же началъ съ врагами, гораздо болѣе дѣльными и многочисленными, чѣмъ будущая редакція обѣщаннаго журнала [1]).

Частыя нападки Бѣлинскаго на моральничанье повели однакоже къ недоразумѣнію, которое чуть-ли не продолжается и до сихъ поръ. Надо припомнить, что Бѣлинскій вполнѣ усвоилъ себѣ дѣленіе Гегеля нравственныхъ началъ на двѣ области: *моральную* (Moralität), къ которой онъ отнесъ болѣе или менѣе хорошо придуманныя правила общежитія, и собственно—*нравственную* (Sittlichkeit), которая объемлетъ у него самые законы, управляющіе психическимъ міромъ человѣка и порождающія этическія потребности и представленія. Сдѣлавшись проводникомъ этихъ мыслей въ русской жизни, Бѣлинскій началъ свой долгій подвигъ преслѣдованія въ литературѣ и вообще явленіяхъ нашего общества того, что онъ называлъ моралью и моральничаньемъ. Когда возвратилось къ нему, послѣ нѣкотораго пере-

[1]) По странной случайности, въ то самое время, когда обновленныя „Отечественныя Записки“ принимали то направленіе, о которомъ говоримъ, въ Москвѣ возникалъ журналъ „Москвитянинъ“, который долженъ былъ служить какъ-бы противодѣйствіемъ петербургскому изданію. „Москвитянинъ“ былъ основанъ въ 1841 году.

рыва, его яркое и откровенное слово, онъ уже не прекращалъ своего неусыпнаго гоненія на моральничанье, сильно господствовавшее тогда у насъ въ театрѣ, словесности и жизни, такъ какъ посредствомъ его люди прикрывали свою духовную наготу и старались обмануть себя и другихъ относительно нравственной своей пустоты. Все, что отзывалось благовиднымъ, но коварнымъ резонерствомъ, желающимъ подмѣнить очевидные факты лживымъ ихъ толкованіемъ, все, что носило печать слабосильной, пустой сентенціи, разсчитанной на полученіе дешевымъ способомъ, безъ хлопотъ и усилій, репутаціи честности и порядочности, наконецъ, все, что отзывалось китайскимъ раболѣпнымъ отношеніемъ къ старинѣ и изувѣрскимъ отвращеніемъ къ трудамъ новаго времени, все это клеймилось у Бѣлинскаго однимъ прозвищемъ «морали и моральничанья» и преслѣдовалось со смѣлостью, весьма замѣчательной по тому времени. Безпощадное обличеніе этого чудовища «морали» разсѣяно у него почти по всѣмъ его статьямъ отъ той эпохи. Чтобы ознакомиться, какимъ энергическимъ языкомъ оно обыкновенно производилось, любопытные могутъ прочесть любую изъ его рецензій (см., напримѣръ, рецензію на романъ Р. Зотова «Цинъ-кіу-Тонгъ», V, 261), или любой театральный отчетъ (см. отчетъ о комедіи С. Навроцкаго «Новый Недоросль», VI, 163;—Бѣлинскій писалъ и театральные фельетоны при «Отечественныхъ Запискахъ»). Онъ достигъ того, что опошлилъ у насъ самое слово «мораль», но работа эта не прошла ему, однакоже, даромъ. Она дала поводъ его врагамъ составить ему, пользуясь недоразумѣніемъ и игрой словъ, репутацію безнравственнаго существа, не признающаго законовъ, безъ которыхъ никакое общество держаться не можетъ. Они успѣли объявить безнравственнымъ человѣка, который всю жизнь искалъ основныхъ принциповъ идеально благороднаго существованія на землѣ, который былъ, на зло своимъ насмѣшкамъ надъ моралью, однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ *моралистовъ своей эпохи*, и который проповѣдывалъ и поддерживалъ кругомъ себя спасительную ненависть ко всему пошлому, лицемѣрному, унижающему.

Я провелъ три года за границей, весьма мало получая извѣстій изъ родины. Въ этотъ промежутокъ времени свершился весьма важный переворотъ въ психическомъ состояніи и въ направленіи всей дѣятельности Бѣлинскаго,—а стало быть и въ его представленіяхъ о нравственномъ, какъ скоро увидимъ.

XII.

Мы покинули Петербургъ за непривычнымъ для него занятіемъ. Петербургъ принялся за чтеніе иностранныхъ газетъ: онъ былъ взволнованъ неожиданно *Египетскимъ* вопросомъ. Десять лѣтъ передъ тѣмъ, въ началѣ 30-хъ годовъ, публика наша очень мало интересовалась даже и такимъ событіемъ, какъ французскій переворотъ 1830 года, и не справлялась о причинахъ, его породившихъ. Теперь было нѣсколько иначе: по первому слуху о возможности столкновеній въ Европѣ, любопытство овладѣло даже и лѣнивыми умами. Иностранныя газеты и брошюры, насколько ихъ можно было достать, очутились въ рукахъ, даже и наименѣе привычныхъ къ такой ношѣ. Потребность справляться о ходѣ дѣлъ въ Европѣ осталась, однако-же, и по миновании грозы. То, что̀ прежде составляло, такъ-сказать, привилегію высшихъ аристократическихъ и правительственныхъ сферъ, становилось дѣломъ общимъ.

Вліяніе, какое начинаетъ оказывать съ 1840 года Европа и ея дѣла на тогдашнюю нашу интеллигенцію, заставляетъ меня нехотя обратиться къ туристскимъ моимъ воспоминаніямъ и сказать нѣсколько словъ о томъ, что̀ русскіе находили вообще въ современной Европѣ и преимущественно во Франціи, смѣнившей Германію въ ихъ благорасположеніи къ западнымъ культурамъ.

Итакъ, въ западной Европѣ, куда мы прибыли черезъ четыре дня довольно бурнаго плаванія,—шли большія приготовленія. Германія собиралась на войну съ Франціей за принципъ *законности*, нарушенный египетскимъ пашей, который вздумалъ перемѣнить вассальныя свои отношенія къ Портѣ на протекторатъ Франціи, поддерживавшей его въ этомъ намѣреніи. Англія, весьма мало интересовавшаяся принципами законности, когда они призывались европейскими кабинетами, поднялась первая за святость ихъ, когда дѣло пошло о Турціи. Правительства континента страшно обрадовались этой поддержкѣ Англіи: она давала имъ возможность обнаружить, безъ всякаго риска, сдерживаемую дотолѣ ненависть къ революціонной, *безпринципной* Франціи; народы ихъ, еще лишенные представительства, собирались биться съ врагомъ за свою честь, страдающую отъ самохвальства парижскихъ журналистовъ, отъ бравадъ республиканцевъ и лѣвой стороны французской палаты депутатовъ. Катавасія эта начинала сильно разгораться, когда мы высадились на берегъ въ

Травемюнде. На одной станціи, по дорогѣ изъ Любека въ Гамбургъ, М. К—въ показалъ мнѣ, покуда намъ готовили завтракъ, листокъ нѣмецкой газеты, гдѣ сообщалась новинка, знаменитая патріотическая пѣсенка Беккера: «Sie sollen ihn (Рейна) nicht haben», облетѣвшая потомъ всю Германію изъ конца въ конецъ.

Воинственное движеніе по поводу дикаго, свирѣпаго и, несмотря на лукавство свое, пошловатаго египетскаго эксплуататора, къ счастію, длилось не долго, что́ избавило Европу отъ удовольствія видѣть за французскими «contingents» фригійскія шапки, а за нѣмецкими «ландштурмами», — и нашихъ интендантскихъ чиновниковъ. Луи-Филиппъ утомился каждодневно слушать «Марсельезу» подъ окнами Тюльери и получать ежеминутно извѣстія о военно-революціонномъ настроеніи умовъ; а благоразумная Англія, заручившись трактатомъ почти со всей Европой, который гарантировалъ права Турціи, оставила его открытымъ на случай присоединенія къ нему Франціи, когда пожелаетъ. Все было спасено такимъ образомъ, и Нептуны съ береговъ Сены и Темзы могли безъ стыда вернуть назадъ выпущенную ими бурю и отойдти на покой.

Когда все приутихло въ сѣверо-германскомъ мірѣ, оказалось, что Франція не только не потеряла у него кредита, но чуть-ли онъ еще и не выросъ. По крайней мѣрѣ такъ можно было думать въ Берлинѣ, по соединеннымъ усиліямъ полиціи, церкви, науки, театра и даже балета—отклонить возбужденное вниманіе публики отъ Парижа и дѣлъ его. Цѣлыя вѣдомства и корпораціи въ Берлинѣ, казалось, только и думали о томъ, чтобъ бороться съ Парижемъ, мѣшать его вліянію, предохранять людей отъ его соблазновъ, какъ въ мірѣ идей, такъ и въ житейскомъ мірѣ, изобрѣтая, на замѣну ихъ, свои собственные соблазны, не столь рѣшительнаго и яркаго характера.

Не говоря уже о попыткахъ придать бѣдному тогда городу на рѣкѣ Шпрее фальшивое подобіе большой резиденціи и важнаго политическаго центра,—вплоть до 1848 года тамъ сочинялись проповѣди, выходили ученые трактаты, создавались философія и искусство для борьбы съ французскимъ *нечестіемъ* и для пристыженія его. Одинъ вопросъ проводился въ безчисленныхъ видахъ и слышался, можно сказать, повсюду: допуститъ-ли солидный нѣмецкій умъ, нѣмецкая вѣрность историческимъ преданіямъ, привязанность нѣмцевъ къ своему очагу и домашнимъ порядкамъ, наконецъ, нѣмецкая потребность добираться до ядра каждой мысли—допустятъ-ли они восторжествовать надъ собой

легкомыслію и нечестію одного романскаго племени, растерявшаго коренныя основы человѣческаго и гражданскаго существованія. Вопросъ этотъ открыто ставился представителями власти, министрами, ораторами, съ церковныхъ каѳедръ, многими профессорами, журналистами, литераторами и художниками. Присмирѣлая, осторожная Франція Луи-Филиппа порождала такое сокровище тайной злобы и гнѣва въ нѣкоторыхъ оффиціальныхъ и консервативныхъ кругахъ, какого они не нашли у себя, когда та-же Франція, черезъ 15 лѣтъ, тяготѣла почти надъ всѣми европейскими кабинетами [1]). Дѣло объясняется просто: іюльская революція 1830 года впервые нанесла тяжелый ударъ трактатамъ 1815 года и нравственнымъ и политическимъ основамъ, установленнымъ «Священнымъ Союзомъ». Рана, нанесенная Франціей 1830 года обычному порядку дѣлъ и теченію мыслей въ Европѣ, была далеко не смертельна, но эта рана все-таки болѣла и возбуждала тяжелыя мысли насчетъ исхода болѣзни. Отсюда и крики, призывъ безчисленныхъ врачей и исканіе возможныхъ средствъ скораго исцѣленія.

Покуда, однакожъ, всѣ попытки заслонить какъ-нибудь отъ глазъ людей Парижъ и Францію не вполнѣ достигали желаемаго успѣха. Тому много мѣшала и такъ-называемая «юная Германія», обратившая у насъ тотчасъ же вниманіе на себя. Побѣжденная десять лѣтъ тому назадъ на улицахъ и площадяхъ, она успѣла теперь захватить въ свои руки часть публицистики, философскую полемику и преимущественно обличеніе нѣмецкой науки, жизни и нѣмецкаго искусства: она открыто шла за знаменемъ и фортуной чужестраннаго народа, умѣющаго такъ много ставить политическихъ и общественныхъ вопросовъ передъ собой. Не то, чтобы партія эта имѣла какую-либо плодотворную, государственную идею или обладала какимъ-либо ученіемъ, способнымъ отвѣчать на всѣ требованія. Она предприняла только расшевелить нѣмецкій міръ и имѣла за собой даже и нѣкоторое довольно значительное меньшинство осторожныхъ и хладнокровныхъ умовъ, которые возмущались долгимъ промедленіемъ въ исполненіи нѣкоторыхъ торжественныхъ обѣщаній, данныхъ народамъ въ 1813 году и недавними попытками измѣнить, по возможности, смыслъ и сущность протестантизма. Большинство, однако же, сопротивлялось разлагающему дѣйствію «юной Гер-

[1]) Разумѣется, при этомъ были, какъ и всегда, блестящія исключенія: такіе люди, какъ Гумбольдтъ, Варнгагенъ, Ранке, Гервинусъ, Гансъ и др., никогда не исповѣдывали ужаса къ французскимъ идеямъ вообще и французскому обществу въ частности.

маніи», сколько могло. Общество нѣмецкое, съ администраціей во главѣ, приняло тогда очень простую систему дѣлить людей на два разряда: на людей, симпатизирующихъ Франціи, позабывъ всѣ многочисленныя ея вины передъ Германіей, и на людей, довѣряющихъ нѣмецкому генію, хотя бы онъ еще и не вполнѣ обнаружилъ всѣ свои силы и средства. Этотъ послѣдній отдѣлъ, покровительствуемый и высшими оффиціальными сферами, исповѣдывалъ еще и ученіе, по которому всякой свободной политической дѣятельности народа должна всегда предшествовать строгая подготовка къ ней въ безмятежномъ царствѣ мысли, науки и теоріи. Берлинскій университетъ, благодаря соединеннымъ усиліямъ администраціи и людей науки, выросъ самъ собой въ готовое царство такого рода: нѣмецкая ученость процвѣтала тамъ, какъ нигдѣ. Пользуясь правомъ ознакомленія съ курсами прежде выбора ихъ, мы каждый вечеръ ходили по аудиторіямъ и слушали знаменитѣйшихъ его профессоровъ. Я еще засталъ въ университетѣ почтеннаго Вердера, друга и учителя Станкевича, Грановскаго, Тургенева, Фролова и многихъ другихъ русскихъ. Онъ объяснялъ логику Гегеля и продолжалъ цитировать стихи и афоризмы изъ Гёте для сообщенія красокъ жизни и поэзіи отвлеченнымъ формуламъ учителя. Риттеръ, Шеллингъ тоже открыли свои курсы. Любопытна была для меня лекція Сталя—философа-піэтиста и одного изъ будущихъ основателей газеты «Kreuz-Zeitung», который излагалъ основанія, необходимыя для осуществленія истинно-христіанскаго государства, нигдѣ еще не достигшаго вполнѣ своего настоящаго типа, и т. д.

Однако же, либеральное, политическое движеніе умовъ, данное 1830 годомъ, не заглушалось конференціями берлинскаго университета, а напротивъ, еще росло подъ его тѣнію. Для поддержанія его существовали тогда и сильно шумѣли «Jahrbücher» Руге, чисто-революціонный органъ, тоже непокидавшій философизма, но сдѣлавшій его орудіемъ преслѣдованія нѣмецкихъ порядковъ и вообще скромности и узкости нѣмецкаго созерцанія жизни. Какъ-бы въ опроверженіе этого упрека отечественной наукѣ, Германія произвела въ самое это время книгу, исполненную теологической эрудиціи и возбудившую, на первыхъ порахъ, повсемѣстный ужасъ—не только въ совѣтахъ и канцеляріяхъ, но и между отъявленными либералами—извѣстную книгу Штрауса. Свободное изслѣдованіе начинало перерастать требованія тѣхъ, которыя его возбудили и защищали. Уже недалеко было то время, когда нѣмецкая эрудиція и теорія разовьетъ, особенно въ области теологіи и политической экономіи, такую

смѣлость выводовъ и положеній, что подскажетъ тогдашнему газетному и клубному нашему мудрецу, Н. И. Гречу, его общеизвѣстное, глубокомысленное замѣчаніе. Около 1848 года онъ во всеуслышаніе говорилъ: «Не Франція, а Германія сдѣлалась теперь разсадникомъ извращенныхъ идей и анархіи въ головахъ. Нашей молодежи слѣдовало бы запрещать ѣздить не во Францію, а въ Германію, куда ее еще нарочно посылаютъ учиться. Французскіе журналисты и разные революціонные фантазёры—невинные ребята въ сравненіи съ нѣмецкими учеными, ихъ книгами и брошюрами». Онъ былъ правъ въ послѣднемъ отношеніи, но покамѣстъ можно было еще безопасно для своей нравственности оставаться въ Берлинѣ и свободно выбирать точку зрѣнія и свою тенденцію между спорящими сторонами. У всякаго новоприѣзжаго туда изъ русскихъ, соотечественники его, уже прожившіе нѣсколько лѣтъ въ этомъ центрѣ нѣмецкой эрудиціи, шутливо спрашивали, если онъ изъявлялъ желаніе оставаться въ немъ: чѣмъ онъ, прежде всего, намѣренъ быть? *отрымъ-ли*, благороднымъ нѣмцемъ (der treue, edle Deutsche), или суетнымъ, избалмошнымъ французомъ (der eitle, alberne Franzose?) О томъ, не захочетъ ли онъ остаться русскимъ—не было вопроса, да и не могло быть. Собственно русскихъ тогда и не существовало; были регистраторы, ассесоры, совѣтники всѣхъ возможныхъ именованій, наконецъ, помѣщики, офицеры, студенты, говорившіе по-русски, но русскаго типа въ положительномъ смыслѣ и такого, который могъ бы выдержать пробу, какъ самостоятельная и дѣльная личность, не нарождалось.

Въ одномъ изъ берлинскихъ кафе (Подъ-Липами) у Спарньяпани, отличавшагося громаднымъ количествомъ нѣмецкихъ и иностранныхъ газетъ и журналовъ, я встрѣтилъ, однажды вечеромъ, двухъ русскихъ высокаго роста, съ замѣчательно красивыми и выразительными физіономіями, Тургенева и Б—на, бывшихъ тогда неразлучными. Мы даже и не раскланялись; ни съ однимъ изъ нихъ я еще не былъ знакомъ и не предчувствовалъ близкихъ моихъ отношеній къ первому. Въ Берлинѣ же я распрощался и съ М. К—вымъ. Онъ записался въ слушатели университета, а я отправился на югъ, поближе къ Италіи, чтобы съ первыми весенними днями ступить на ея классическую почву.

XIII.

Зиму 40—41 годовъ мнѣ привелось прожить въ Меттерниховской Вѣнѣ. Нельзя теперь почти и представить себѣ ту степень тишины и нѣмоты, которыя знаменитый канцлеръ Австріи успѣлъ водворить, благодаря неусыпной бдительности за каждымъ проявленіемъ общественной жизни и безпредѣльной подозрительности къ каждой новизнѣ, на всемъ пространствѣ отъ Богемскихъ горъ до Байскаго залива и далѣе. Бывало, ѣдешь по этому великолѣпно-обставленному пустырю, какъ по улицѣ гробницъ въ Помпеѣ, посреди удивительнаго благочинія смерти, встрѣчаемый и провожаемый привраками, въ образѣ таможенниковъ, паспортниковъ, жандармовъ, чемоданщиковъ и визитаторовъ пассажирскихъ кармановъ. Ни мысли, ни слова, ни извѣстія, ни мнѣнія, а только ихъ подобія, взятыя съ оффиціальныхъ фабрикъ, заготовлявшихъ ихъ для продовольствія жителей массами и пускавшихъ ихъ въ оборотъ подъ своимъ штемпелемъ. Для совершательныхъ людей это молчаніе и спокойствіе было кладомъ: они могли вполнѣ предаться изученію и самихъ себя и предметовъ, выбранныхъ ими для занятій, уже не развлекаясь людскими толками и столкновеніями партій. Гоголь, Ивановъ, Іорданъ и много другихъ жили полно и хорошо въ этой обстановкѣ, осуществляя собою, еще задолго до Карлейля, нѣкоторыя черты изъ его идеала мудраго человѣка, благоговѣйно поклоняясь геніямъ искусства и литературы, сберегая про себя святыню души, отдаваясь всѣмъ своимъ существомъ избранному дѣлу и не болтая, зря, со всѣми и обо всемъ, по послѣднему журналу. Но за мудрецами и за совершательными людьми, видѣлась еще шумная, многоглазая толпа, не терпящая долгаго молчанія кругомъ себя, особенно при содѣйствіи южныхъ страстей, какъ въ Италіи. Забавлять-то ее и сдѣлалось главной заботой и политической мѣрой правительства. Кто не слыхалъ объ удовольствіяхъ Вѣны и о постоянной, хотя и степенной, полицейски-чинной и размѣренной оргіи, въ ней царствовавшей? Кто не знаетъ также о праздникахъ Италіи, о великолѣпныхъ оркестрахъ, гремѣвшихъ въ ней по площадямъ главныхъ ея городовъ каждый день, о духовныхъ процессіяхъ ея и объ импрессаріяхъ, поставлявшихъ оперы на ея театры, причемъ шумной итальянской публикѣ позволялось, несмотря на двухъ бѣлыхъ солдатъ, постоянно торчавшихъ по обѣимъ сторонамъ оркестра съ ружьями въ рукахъ—бѣситься какъ и сколько угодно. Развлекать толпу

становилось серьёзнымъ, административнымъ дѣломъ,—но повторять эту картину, вслѣдъ за многими уже свидѣтелями, не предстоитъ здѣсь, конечно, никакой надобности.

Одна черта только въ этомъ мірѣ, такъ хорошо устроенномъ, безпрестанно кидалась въ глаза и поражала меня. Несмотря на всю великолѣпную обстановку публичной жизни и несмотря на строжайшее запрещеніе иностранныхъ книгъ (въ моденскомъ герцогствѣ обладаніе книгой безъ цензурнаго штемпеля наказывалось ни болѣе, ни менѣе, какъ *каторгой*), французская безпокойная струя сочилась подъ всей почвой политическаго зданія Италіи и разъѣдала его. Подземное существованіе ея не оставляло никакого сомнѣнія даже въ умахъ наименѣе любопытныхъ и внимательныхъ. Оно не было тайной и для австрійскаго правительства, которому оно безпрестанно напоминало о грустной необходимости считать себя, несмотря на трактаты, временнымъ, случайнымъ правительствомъ въ предоставленныхъ ему провинціяхъ, и умножать, для самосохраненія, войско, бюджетъ, наблюденія, мѣропріятія и т. д.

Въ мартѣ 1841 года я уже былъ въ Римѣ, поселился близъ Гоголя и видѣлъ папу Григорія XVI дѣйствующимъ во всѣхъ многочисленныхъ спектакляхъ римской Святой Недѣли и притомъ дѣйствующимъ какъ-то вяло и невнимательно, словно исправляя привычную, домашнюю работу. Въ промежуткахъ облаченія и потомъ обрядовъ, онъ, казалось, всего болѣе заботился о себѣ, сморкался, откашливался и скучнымъ взоромъ обводилъ толпу сослужащихъ и любопытныхъ. Старый монахъ этотъ точно такъ же управлялъ и доставшимся ему государствомъ, какъ церковной службой: сонно и безстрастно переполнилъ онъ тюрьмы папской области не уголовными преступниками, которые у него гуляли на свободѣ, а преступниками, которые не могли ужиться съ монастырской дисциплиной, съ деспотической и вмѣстѣ лицемѣрно-добродушной системой его управленія. За то уже Римъ и превратился въ городъ археологовъ, нумизматовъ, историковъ отъ мала до велика. Всякій, кто успѣвалъ продраться до него благополучно сквозь сѣть различнаго рода негодяевъ и мошенниковъ, его окружавшую, и отыскать въ немъ, наконецъ, спокойный уголъ, превращался тотчасъ же въ художника, библіофила, искателя рѣдкостей. Я видѣлъ нашихъ отдыхающихъ отпускниковъ, старыхъ, степенныхъ помѣщиковъ, офицеровъ отъ Дюссо, зараженныхъ археологіей, толкующихъ о памятникахъ, камеяхъ, Рафаэляхъ, перемѣшивающихъ свои восторги возгласами объ удивительно-глубокомъ небѣ Италіи и о

скукѣ, которая подъ нимъ безгранично царствуетъ, что много заставляло смѣяться Гоголя и Иванова: по вечерамъ они часто разсказывали курьёзные анекдоты изъ своей многолѣтней практики съ русскими туристами. Къ удивленію, я замѣтилъ, что французскій вопросъ далеко не безъинтересенъ даже и для Гоголя и Иванова, повидимому, успѣвшихъ освободиться отъ суетныхъ волненій своей эпохи и поставить себѣ опережающія ея задачи. Намекъ на то, что европейская цивилизація можетъ еще ожидать отъ Франціи важныхъ услугъ, не разъ имѣлъ силу приводить невозмутимаго Гоголя въ нѣкоторое раздраженіе. Отрицаніе Франціи было у него такъ невозвратно и рѣшительно, что при спорахъ по этому предмету онъ терялъ обычную свою осторожность и осмотрительность, и ясно обнаруживалъ не совсѣмъ точное знаніе фактовъ и идей, которыя затрогивалъ.

У Иванова доля убѣжденія въ той же самой несостоятельности французской жизни была ничуть не менѣе, но, какъ часто случается съ людьми глубоко-аскетической природы,—искушенія и сомнѣнія жили у него рядомъ со всѣми вѣрованіями его. Онъ никогда не выходилъ изъ тревогъ совѣсти. Можно даже сказать про этого замѣчательнаго человѣка, что всѣ самыя горячія попытки его выразить на дѣлѣ въ творчествѣ свои вѣрованія и убѣжденія рождались у него такъ же точно изъ мучительной потребности подавить, во что бы то ни стало, волновавшія его сомнѣнія. И не всегда удавалось ему это. Притомъ же, наоборотъ, съ Гоголемъ, онъ питалъ затаенную неувѣренность къ себѣ, къ своему сужденію, къ своей подготовкѣ для рѣшенія занимавшихъ его вопросовъ, и потому съ радостію и благодарностію опирался на Гоголя, при возникающихъ безпрестанно затрудненіяхъ своей мысли, не будучи, однако же, въ состояніи умиротворить ее вполнѣ и съ этой поддержкой. Вотъ почему при неожиданно возникшемъ диспутѣ нашемъ съ Гоголемъ, за обѣдомъ, у Фальконе, о Франціи (а диспуты о Франціи возникали тогда поминутно въ каждомъ городѣ, семействѣ и дружескомъ кругу), Ивановъ слушалъ аргументы обѣихъ сторонъ съ напряженнымъ вниманіемъ, но не сказалъ ни слова. Не знаю, какъ отразилось на немъ наше словопреніе и чью сторону онъ втайнѣ держалъ тогда. Дня черезъ два онъ встрѣтилъ меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повторилъ не очень замысловатую фразу, сказанную мною въ жару разговора: «Итакъ, батюшка, Франція—очагъ, подставленный подъ Европу, чтобы она не застывала и не плѣсневѣла». Онъ еще думалъ о разговорѣ, между тѣмъ какъ Гоголь, добродушно помирившись въ тотъ же вечеръ

со своимъ горячимъ оппонентомъ (онъ преподнесъ ему въ залогъ примиренія апельсинъ, тщательно выбранный въ лавочкѣ, встрѣтившейся по дорогѣ изъ Фальконе), забылъ и думать о томъ, что такое говорилось часъ тому назадъ.

Надо сказать, что пренія по поводу Франціи и ея судебъ раздавались во всѣхъ углахъ Европы—тогда, да и гораздо позднѣе, вплоть до 1848 года. Вѣроятно, они происходили въ то же время и тамъ, далеко, въ нашемъ отечествѣ, потому-что съ этихъ поръ симпатіи къ землѣ Вольтера и Паскаля становятся очевидными у насъ, пробиваютъ кору нѣмецкаго культурнаго наслоенія и выходятъ на свѣтъ. Но и при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что русская интеллигенція полюбила не современную, дѣйствительную Францію, а какую-то другую—Францію прошлаго, съ примѣсью будущаго, т.-е. идеальную, воображаемую, фантастическую Францію, о чемъ говорю далѣе.

XIV.

Чѣмъ болѣе приходилось мнѣ узнавать Парижъ, куда я попалъ, наконецъ, въ ноябрѣ 1841 года, тѣмъ сильнѣе убѣждался, что повода для зависти сосѣдей онъ дѣйствительно заключаетъ въ себѣ очень много, благодаря сильно развитой общественной жизни своей, своей литературѣ, и прочему, но — причинъ для суевѣрнаго страха передъ его именемъ онъ содержитъ весьма мало. Я засталъ Парижъ волею или неволею подчиненнымъ строго-конституціонному порядку; правда, что этого никто не хотѣлъ видѣть, а видѣли только опасности, представляемыя народнымъ характеромъ французовъ, забывая при томъ коренное отличіе конституціоннаго режима, состоящее въ его способности мѣшать развитію дурныхъ національныхъ сторонъ и наклонностей. Еще очень много было людей, считавшихъ даже это средство спасать народы отъ заблужденій и увлеченій опаснѣе самаго зла, которое оно призвано цѣлить.

Послѣ популярнаго, воинственнаго Тьера, управленіе Франціей принялъ на себя англоманъ по убѣжденіямъ Гизо, который въ ненависти и превратномъ понятіи о самодѣятельности и измышленіяхъ народныхъ массъ и ихъ вожаковъ совершенно сходился съ королемъ, хотя оба они были обязаны именно этимъ массамъ и вожакамъ своимъ возвышеніемъ. Оба они были также и замѣчательные мыслители въ разныхъ родахъ: — король, какъ скептикъ, много видѣвшій на своемъ вѣку и потому не пола-

гавшійся на одну силу принциповъ безъ соотвѣтственнаго подкрѣпленія. ихъ разными другими негласными способами; министръ его, какъ бывшій профессоръ, привыкшій установлять основныя начала, имъ самимъ и открытыя, и вѣрить въ ихъ непогрѣшимость. Изъ соединенія этихъ двухъ доктринеровъ противоположнаго рода, возникла особая система конституціоннаго правленія, старавшаяся водворить, въ странѣ переворотовъ, мудрствующую, резонирующую и себя провѣряющую свободу. Система располагала множествомъ приманокъ для энергическихъ людей, которымъ нужно было составить себѣ имя, положеніе, карьеру,—но безпощадно относилась къ тѣмъ, которые не признавали ея призванія водворить порядокъ въ умахъ и ея ученіе о важности правительственныхъ сферъ и строгой іерархической подчиненности. Доброй части французовъ, однакоже, система эта казалась олицетворенной, невообразимой пошлостью: жить безъ всякой надежды на успѣхъ какой-либо внезапной, политической импровизаціи, какого-либо отчаяннаго и счастливаго покушенія (coup-de-tête), которыя, сказать мимоходомъ, всѣ подавлялись съ особенной энергіей и скоростью министерствомъ Гизо въ теченіи восьми лѣтъ,—жить такъ—значило, по собственнымъ словамъ партизановъ непосредственной народной дѣятельности, обречь себя на позоръ передъ потомствомъ. Партіи истощались въ усиліяхъ подорвать министерство, и въ 1848 году, совершенно случайнымъ образомъ, опрокинули его, но уже вмѣстѣ съ конституціонной монархіей.

Говоря правду, имъ дѣйствительно не за что было любить это министерство. Его «мѣщанская» честность и стыдливость мѣшали ему лакомить Францію фразами о ея призваніи побѣждать народы, къ вящшему ихъ преуспѣянію, и воспрещали также раздѣлять восторги толпы къ недавнему еще прошлому страны, которое величалось не иначе, какъ временемъ доблестей и славы. Оно вдобавокъ неустанно обличало пустоту и ничтожество народныхъ идеаловъ, проектовъ революціоннаго обновленія государства и различныхъ, укоренившихся догматовъ народнаго самолюбія и тщеславія. Вся эта добропорядочность поведенія не могла сдѣлать, конечно, правленія Гизо популярнымъ въ его отечествѣ. Да онъ и не гнался за популярностію, презирая ее столько же, сколько и героевъ, вознесенныхъ клубами и партіями, и разсчитывая единственно на поддержку дѣловой, степенной части населенія, которая въ нужную минуту ему, однако же, поворно измѣнила, какъ извѣстно. Взамѣнъ популярности, онъ искалъ почетнаго имени въ исторіи, и думалъ его

найдти, вмѣстѣ съ своимъ старымъ королемъ, сдѣлавъ изъ Франціи свободное и благочинное государство, водворяя въ немъ конституціонные *нравы*, работая неусыпно за обузданіемъ крайнихъ политическихъ страстей—и все это подъ перекрестнымъ огнемъ печати, которая, несмотря на пресловутые *сентябрьскіе* законы, пользовалась при немъ свободой, не имѣвшей себѣ подобія на континентѣ, за исключеніемъ маленькой Бельгіи и нѣкоторыхъ кантоновъ Швейцаріи. Притомъ же, каждый день Гизо приносилъ свою систему на публичное обсужденіе въ тогдашнія, почти постоянно бурныя засѣданія палаты депутатовъ, гдѣ онъ часто достигалъ до героизма въ откровенности и до цинизма въ отвѣтахъ врагамъ. Впослѣдствіи вся эта кипучая жизнь, вырабатывавшая исподволь конституціонный фундаментъ для страны, нагло объявлена была, при второй имперіи, презрѣнной игрой въ парламентаризмъ и замѣнена игрой полицейскихъ агентовъ на улицахъ, скандальной журналистикой въ печати и законодательнымъ корпусомъ въ четырехъ глухихъ стѣнахъ, безъ правъ трибуны и безъ гласности!

Изъ боязни прослыть эгоистическимъ «буржуа», лишеннымъ органа для пониманія народныхъ стремленій и скрытыхъ бѣдствій работающихъ классовъ, немногіе рѣшались тогда высказывать вполнѣ все, что они думали о Парижѣ 40-хъ годовъ. Достовѣрно, однако же, что путешественники имѣли тогда дѣло съ городомъ вполнѣ изящнымъ по своимъ пріемамъ и обычаямъ, который отличался, какъ естественнымъ слѣдствіемъ конституціонныхъ порядковъ, мягкостію сношеній, отсутствіемъ мелкой подозрительности къ людямъ, возможностію для всякаго иностранца отыскать сочувствіе, симпатическій отголосокъ на любое серьёзное мнѣніе или начинанье, а, наконецъ, и относительною честностію всѣхъ сдѣлокъ частныхъ людей между собою. Все это, какъ извѣстно, исчезло тотчасъ же при второй имперіи. Для подтвержденія этого краткаго очерка достаточно поставить его въ параллель съ тѣмъ, чѣмъ сдѣлался городъ Парижъ, послѣ потери іюльской конституціи.

На совѣсти и репутаціи Гизо, конечно, есть нѣсколько пятенъ. Такъ его упрекали въ употребленіи неблагородныхъ средствъ для поддержанія своей системы, въ подкупахъ избирателей и особенно въ томъ, что для легчайшаго управленія ими, онъ держалъ число избирателей на ограниченной цифрѣ, какую засталъ самъ. Все это правда и опровергнуто быть не можетъ, но правда также и то, что упрочить конституціонные порядки во Франціи онъ могъ только, какъ доказалъ это послѣдующій опытъ, един-

ственно съ тѣмъ персоналомъ единомышленниковъ, который находился у него въ рукахъ. Такимъ знатокамъ англійской исторіи, какъ король Луи-Филиппъ и Гизо, не могло быть безъизвѣстно, что только *упроченная* конституціонная система бываетъ способна къ перестройкѣ себя совершенно заново, не теряя ни своей силы, ни своихъ основаній. Примѣръ англійской конституціи былъ на лицо: она имѣла тоже свои эпохи «*снисходительныхъ*» подкупныхъ парламентовъ, но не только побѣдоносно вышла изъ всѣхъ опасностей и затрудненій, а измѣнила все законодательство о выборахъ въ камеру общинъ, возстановила право обиженныхъ мѣстностей и сословій на посылку депутатовъ въ парламентъ и переформировала весь составъ представительства, не утерявъ при этомъ ни на волосъ коренного своего значенія и вліянія на страну. Весь вопросъ, такимъ образомъ, сходился для Гизо и его администраціи на *упроченіе* конституціи, и нельзя сказать, чтобы онъ слѣпо, эгоистически и безсознательно защищалъ дѣйствующіе законы о выборахъ. Въ жару преній о расширеніи ихъ, онъ не разъ заявлялъ мнѣніе, — что дѣло измѣненія ихъ не можетъ ограничиться въ такой странѣ, какъ Франція, однимъ присоединеніемъ *способностей* къ лику избирателей. За этимъ присоединеніемъ «способностей» онъ уже прозрѣвалъ новыя уступки и всеобщее народное голосованіе — тотъ грубый и ничего не выражающій отвѣтный вопль толпы, которая постоянно возвращаетъ вопрошателю только слова, брошенныя имъ въ ея среду, что̀ и совершалось постоянно при Наполеонѣ III. Какъ бы то ни было, но позволительно предположить, что парламентаризмъ Гизо и Луи-Филиппа, столько преслѣдуемый и позоримый впослѣдствіи ихъ врагами, поднялъ бы въ постепенномъ, прогрессивномъ своемъ развитіи благосостояніе Франціи и рабочихъ ея классовъ, не менѣе послѣдующихъ *декретовъ* второй имперіи о національныхъ мастерскихъ, о перестройкѣ цѣликомъ заново Парижа, о созданіи «городковъ» для мастеровыхъ (cités ouvrières) и проч.

XV.

Нужно ли говорить, что сочувствіемъ нетерпѣливыхъ или пылкихъ умовъ въ Европѣ пользовалась совсѣмъ не Франція Гизо, а та, которая стояла за нею и протестовала противъ ея конституціонныхъ затѣй, не отвѣчающихъ, по ея мнѣнію, духу страны. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ за надобность была германскимъ

передовымъ людямъ, а за ними и другимъ кружкáмъ политиковъ до какой-то новой Франціи, старающейся держаться въ границахъ своей хартіи, Франціи приличной, благопристойной и тѣмъ самымъ извращающей всѣ старыя понятія о странѣ, которыя сложились у народовъ съ конца прошлаго столѣтія? Для нихъ это была совершенно невѣдомая Франція, которую они и изучать не хотѣли, а искали прежней, еще недавней, хорошо всѣмъ знакомой, типической Франціи, той, которая имѣетъ абсолютныя рѣшенія по всѣмъ вопросамъ соціальнаго, политическаго и нравственнаго характера, а когда они слишкомъ долго медлятъ своимъ появленіемъ, принимаетъ мѣры вызвать ихъ силой. Вотъ эта послѣдняя, старая Франція и была еще тогда для многихъ въ Европѣ исконной, вѣковой Франціей, а другая, только-что начинавшая показываться на политическомъ горизонтѣ, считалась подлогомъ, навожденіемъ злого духа, словомъ—призракомъ, самозванно подмѣнившимъ родовую физіономію страны какою-то отвратительно-гладкой, глупой маской. Не зная, чѣмъ объяснить это превращеніе, заграничныя партіи объясняли его не иначе, какъ насиліемъ безпримѣрнымъ въ лѣтописяхъ исторіи: смирный король-гражданинъ, Луи-Филиппъ, постоянно честился, у себя дома и за порогомъ его, прозвищемъ «le tyran», Гизо называли заграницей, напримѣръ,—въ Англіи, конституціоннымъ «герцогомъ Альбой» и тому подобными именами и т. д. Воззрѣніе русскихъ кружковъ на Францію недалеко отходило отъ общаго представленія ея дѣлъ, сложившагося у крайнихъ либераловъ Европы: у насъ тоже искали потаенной Франціи, вмѣсто той, которая была на виду, и ожидали, что первая рано или поздно смѣнитъ вторую. Смѣна и дѣйствительно произошла скорѣе, чѣмъ ожидали ея—и дала совсѣмъ непредвидѣнные результаты. Она именно очистила дорогу великолѣпной французской имперіи, которая такъ хорошо отмстила за всѣ предшествовавшія ей правительства, разсѣявъ и подавивъ какъ своихъ, такъ и ихъ враговъ. Кажется, въ этой роли Немезиды и состоитъ все ея историческое призваніе. Въ Россіи одинъ только Т. Н. Грановскій, по особенному историческому чутью, которымъ былъ надѣленъ, и по присущему ему чувству истины, старался какъ можно менѣе вторить хору ругателей монархіи Луи-Филиппа, а въ числѣ его ругателей были у насъ очень высоко-поставленныя, правительственныя лица. Помню, что, лѣтомъ 1845 года, нѣсколько словъ, сказанныхъ мною въ защиту Гизо, на дачѣ въ Соколовѣ (близъ Москвы), возбудили общій насмѣшливый протестъ друзей. Грановскій, однако же, при самомъ разгарѣ спора, взялъ меня подъ

руку и, уводя въ сосѣднюю аллею, промолвилъ имъ съ юморомъ въ интонаціи, непередаваемомъ на бумагѣ: «Оставьте насъ съ нимъ на-единѣ потолковать, господа, и объ насъ не безпокойтесь. Мы къ вамъ вернемся порядочными людьми». И тогда-то выразилъ онъ мнѣніе, что политическіе идеалы Гизо преднамѣренно узки и скромны, соотвѣтственно тому невеликому представленію о политическихъ способностяхъ французовъ, котораго министръ никогда не скрывалъ. «Но пренебреженіе къ народному духу»— добавилъ Грановскій—«не можетъ обойтись даромъ во Франціи: она знаетъ, что этому духу обязана своимъ мѣстомъ и ролью въ исторіи Европы. Такъ или иначе, рано или поздно, система Гизо и Луи-Филиппа не выдержитъ: они и умны, и ошибаются не по-французски, и вотъ это-то имъ не простится». Я не думалъ тогда, что слова Грановскаго были—пророчество.

Надо замѣтить и то, что борящаяся и такъ интересовавшая всѣхъ позади стоящая, революціонная Франція производила свои нападки на строй конституціонной жизни и порядки, ею заведенные, съ большою ловкостію, энергіею и замѣчательнымъ талантомъ: она почти вся состояла изъ даровитѣйшихъ людей эпохи. Группа писателей, преслѣдовавшая свистками систему Луи-Филиппа, производила неотразимое впечатлѣніе на лицъ, образованныхъ литературно, да обладала и другимъ привлекательнымъ качествомъ. Она поднимала, кромѣ вопросовъ текущаго дня, передъ которыми мы всегда чувствовали слабость своего практическаго опыта и сужденія, еще и всего болѣе широкіе, отвлеченные вопросы будущности, тэмы новаго соціальнаго устройства Европы, смѣлыя постройки новыхъ формъ для науки, жизни, нравственныхъ и религіозныхъ вѣрованій, а наконецъ, критику всего хода европейской цивилизаціи. Здѣсь мы уже были, что называется, на просторѣ, пріученные изъ-мала къ великолѣпнымъ ипотезамъ, къ широкимъ, изумительнымъ обобщеніямъ и умозаключеніямъ.

Такимъ образомъ, когда осенью 1843 года я прибылъ въ Петербургъ, то далеко не покончилъ всѣ разсчеты съ Парижемъ, а, напротивъ, встрѣтилъ дома отраженіе многихъ сторонъ тогдашней интеллектуальной его жизни.

Книга Прудона «de la Propriété», тогда уже почти что старая; «Икарія» Кабе, малочитаемая въ самой Франціи, за исключеніемъ небольшого круга мечтательныхъ бѣдняковъ-работниковъ; гораздо болѣе ея распространенная и популярная система Фурье—все это служило предметомъ изученія, горячихъ толковъ,

вопросовъ и чаяній всякаго рода [1]). Да оно и понятно. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ, трактаты эти были тѣ же метафизическія эволюціи, только эволюціи, перенесенныя на политическую и соціальную почву. За ними туда и послѣдовали цѣлыя фаланги русскихъ людей, обрадованныхъ возможностію выдти изъ абстрактнаго отвлеченнаго мышленія безъ реальнаго содержанія къ такому же абстрактному мышленію, но съ кажущимся реальнымъ содержаніемъ.

Та часть вѣрныхъ и зрѣлыхъ практическихъ указаній, какая заключалась въ этихъ трактатахъ, и чѣмъ европейскій міръ не замедлилъ воспользоваться—всего менѣе обращала на себя наше вниманіе, да и не въ томъ было вообще призваніе трактатовъ на Руси. Въ промежуткѣ 1840—43 гг. такіе трактаты должны были совершить окончательный переворотъ въ философскихъ исканіяхъ русской интеллигенціи, и сдѣлали это дѣло вполнѣ. Книги названныхъ авторовъ были во всѣхъ рукахъ въ эту эпоху, подвергались всестороннему изученію и обсужденію, породили, какъ прежде Шеллингъ и Гегель, своихъ ораторовъ, комментаторовъ, толковниковъ, а нѣсколько позднѣе, чего не было съ прежними теоріями, и своихъ мучениковъ. Теоріи Прудона, Фурье, къ которымъ позднѣе присоединился Луи-Бланъ съ извѣстнымъ трактатомъ: «Organisation du travail», образовали у насъ особенную школу, гдѣ всѣ эти ученія жили въ смѣшанномъ видѣ и исповѣдовались какъ-то за-разъ адептами ея. Въ такой не слишкомъ плотной и солидной амальгамѣ, вышли они лѣтъ черезъ пятнадцать послѣ того на свѣтъ и въ русской печати.

Бѣлинскій пристроился къ общему направленію, какъ только первые лучи соціальной метафизики дошли до него, но и тутъ, какъ и въ философскій періодъ, онъ началъ съ начала. Самъ Бѣлинскій ни съ кѣмъ не переписывался за границей, но до насъ доходили слухи черезъ пріѣзжающихъ, что онъ погруженъ въ чтеніе пространной «Исторіи Революціи 1789 г.» Тьера. Пресловутое твореніе Тьера, не очень глубоко понимавшаго эпоху, но очень эффектно излагавшаго наиболѣе выпуклыя ея стороны, ввело его въ новый міръ, доселѣ мало знакомый ему и понудило идти далѣе въ изученіи его. Уже на моихъ глазахъ

[1]) Я уже не говорю о новой религіи „человѣчества“, изложенной фантастическимъ теозофомъ Пьеромъ Леру, въ его книгѣ „de l'Humanité“: она по близости къ надоѣвшему піэтизму и невыдержанности мысли, въ философскомъ отношеніи, къ чему мы были всегда очень чувствительны, не имѣла особеннаго успѣха. Я цитирую разныя книги на память, можетъ быть, не совсѣмъ точно обозначая ихъ полное заглавіе.

въ Петербургѣ принялся онъ за исторію того же событія, отличавшуюся вполнѣ отсутствіемъ всякой повѣрки лицъ и дѣлъ, именно за сочиненіе Кабе—«le Peuple», который находилъ признаки необъятнаго коллективнаго ума во всѣхъ случаяхъ, когда вступали въ дѣло народныя массы, и который объяснялъ, наконецъ, даже паденіе республики трогательнымъ, святымъ добродушіемъ тѣхъ же массъ, одерживающихъ побѣды надъ врагами не для себя, не для извлеченія немедленной пользы изъ событія, а для прославленія своихъ принциповъ—братолюбія, равенства и справедливости. Впрочемъ, эти и другія, совершенно противоположныя по духу сочиненія служили Бѣлинскому просто средствомъ отыскать первыя сѣмена соціализма, заброшенныя переворотомъ 89-го года на европейскую почву: ему нужно было видѣть его зачатки съ конвентомъ, парижской коммуной, героями стараго коммунизма, Бабёфомъ и Буонаротти, чтобы распознать современную его физіономію и понять основательно нѣкоторые его ходы въ нашу эпоху. Никакого рѣшенія по всѣмъ этимъ явленіямъ онъ не имѣлъ, да и всѣми предлагаемыми тогда рѣшеніями былъ недоволенъ. Необычайное впечатлѣніе произвела на него только книга Луи-Блана: «Histoire de dix ans», тѣмъ именно, что показала какого рода интересъ и какую массу поученія и даже художническихъ качествъ можетъ заключать въ себѣ исторія нашихъ дней, переживаемаго, такъ-сказать, мгновенія, подъ рукой сильнаго таланта, хотя бы исторія такого рода и употребляла въ дѣло подъ-часъ не совсѣмъ испробованные матеріалы, а подчасъ и просто городскую сплетню.

По возвращеніи моемъ, въ 1843 году, въ Петербургъ, почти первымъ словомъ, услышаннымъ мною отъ Бѣлинскаго, было восторженное восклицаніе о книгѣ Луи-Блана: «Что за книга Луи-Блана!» говорилъ онъ. «Вѣдь этотъ человѣкъ намъ ровесникъ, а между тѣмъ, что такое я передъ нимъ, напримѣръ? Просто стыдно подумать о всѣхъ своихъ кропаніяхъ передъ такимъ произведеніемъ. Гдѣ они берутъ силы, эти люди? Откуда у нихъ являются такая образность, такая проницательность и твердость сужденія, а потомъ такое мѣткое слово! Видно, жизнь государственная и общественная даютъ содержаніе мысли и таланту поболѣе, чѣмъ литература и философія...» Очевидно, эстетическое и публицистическое направленіе уже потеряло для Бѣлинскаго свою привлекательность и отодвигалось на задній планъ въ его умѣ; но все же волей и неволей онъ оставался при немъ, потому что только съ помощію его можно было поднимать самые простые вопросы общественной морали и касаться, хотя-бы и косвенно,

предметовъ русскаго современнаго быта и развитія. Подобно тому, какъ крестьяне покупали тогда нужныя имъ земли на имя задареннаго ими помѣщика, такъ покупалось въ литературѣ право говорить о самомъ пустомъ, но все-таки публичномъ дѣлѣ, и о смыслѣ того или другого всѣмъ извѣстнаго общественнаго явленія, призывая на помощь и выставляя впередъ грамматику, математику, хорошіе или дурные стихи, даже водевили Александринскаго театра, московскіе романы и т. д.

Таково было дѣйствіе французской культуры на добрую половину нашего русскаго міра. Но вотъ что замѣчательно. Измѣняя свой способъ воззрѣнія на призваніе писателя и помѣщая задачи литературы уже въ средѣ общественныхъ вопросовъ, ни Бѣлинскій, ни весь кружокъ тогдашнихъ западниковъ и не думалъ выбрасывать прежнихъ своихъ представленій за бортъ, какъ негодный баластъ, не приносилъ никакой каннибальской жертвы изъ коренныхъ основаній прежняго своего созерцанія. Какъ ни различно было у нихъ пониманіе сущности нѣкоторыхъ политико-экономическихъ тэмъ, какъ ни горячи были между ними споры по частностямъ и способамъ приложенія новыхъ полученныхъ идей, весь кружокъ сходился, однакоже, безусловно въ нѣкоторыхъ началахъ: онъ одинаково принималъ нравственный элементъ исходной точкой всякой дѣятельности, жизненной и литературной, одинаково признавалъ важность эстетическихъ требованій отъ себя и отъ произведеній мысли и фантазіи, и никто въ немъ не помышлялъ о томъ, чтобъ можно было обойтись, напримѣръ, безъ искусства, поэзіи и творчества вообще какъ въ жизни, такъ и при политическомъ воспитаніи людей. Кстати замѣтить, что въ виду частыхъ споровъ между друзьями было выражено позднѣе въ литературѣ нашей подозрѣніе, что самый кругъ дѣлился еще на баричей, потѣшавшихся только идеями, и на демократическія натуры, которыя принимали горячо къ сердцу всѣ философскія положенія и дѣлали ихъ задачами своей жизни. Мнѣніе это можетъ быть отнесено къ числу догадокъ, которыми удобно отстраняются затрудненія точнаго опредѣленія явленій. Въ кругѣ, о которомъ идетъ дѣло, не всегда только «баричи» старались уйти отъ строгихъ заключеній и выводовъ, какіе необходимо истекаютъ изъ теоретическихъ положеній, и не всегда только «демократы» понимали яснѣе своихъ товарищей сущность начала, и старательнѣе ихъ доискивались послѣдняго слова философскихъ проблемъ. Очень часто роли мѣнялись, и врагами увлеченій и защитниками крайнихъ мнѣній дѣлались не тѣ лица, отъ которыхъ всего вѣрнѣе было ожидать подобныхъ заявленій, что можно было бы подтвер-

дить многочисленными примѣрами. Дѣло въ томъ, что отличительную черту всего круга надо искать въ другомъ мѣстѣ и прежде всего въ пылѣ его философскаго одушевленія, который не только уничтожилъ разницу общественнаго положенія лицъ, но и разницу ихъ воспитаній, привычекъ мысли, безсознательныхъ влеченій и предрасположеній, превративъ весь кругъ въ общину мыслителей, подчиняющихъ свои вкусы и страсти признаннымъ и обсужденнымъ началамъ. Темпераменты въ немъ, конечно, не сглаживались, психическія и философскія отличія людей проявлялись свободно, бо́льшая или меньшая энергія въ пониманіи и въ выраженіи мысли существовали на просторѣ, но всѣ эти силы шли во слѣдъ и на служеніе идеѣ, господствовавшей въ данную минуту, которая роднила и связывала членовъ круга въ одно неразрывное цѣлое и, если можно такъ выразиться, сіяла одинаково на всѣхъ лицахъ. Бывали въ нѣдрахъ круга и упорныя разногласія,—ожесточенная борьба не разъ потрясала его до основанія, какъ мы уже говорили и увидимъ еще далѣе, но междуусобія эти происходили исключительно по поводу правъ того или другого начала на господство въ кругѣ, по поводу водворенія той или другой философской или политической схемы въ умахъ и упроченія за ней правъ на сочувствіе и повиновеніе. Другихъ побужденій и другого дѣла кругъ этотъ не зналъ. Такъ шло до 1845 года, когда подъ тяжестію собственной своей слишкомъ абстрактной задачи и подъ напоромъ новыхъ общественныхъ и соціальныхъ вопросовъ — кругъ сталъ распадаться и распался окончательно въ 1848-му году, оставивъ послѣ себя воспоминанія, которыя еще не разъ, думаемъ, будутъ обращать на себя вниманіе мыслящихъ русскихъ людей.

П. Анненковъ.

ЗАПИСКИ СТЕПНЯКА

I.

НОЧНАЯ ПОѢЗДКА.

Былъ пасмурный, зимній день. Съ самаго утра шла метель, дулъ сильный вѣтеръ. Въ моей холостой квартирѣ было темно, мрачно, непріютно... Дѣла не было; изъ знакомыхъ пріѣхать было нѣкому: кто отправился къ празднику,—былъ послѣдній день масляницы, *прощеный день*, — кто сидѣлъ дома, въ кругу семьи. Моя семья была далеко...

Большіе стѣнные часы безукоризненно отбивали тактъ. Они одни только нарушали сумрачную тишь, окружавшую меня,— они да смутный шумъ вьюги, бушевавшей за окнами... Книгъ не было, только вчера отослалъ въ городскую библіотеку обмѣнить на новыя.

Тоска одолѣвала меня... Я и курилъ безпрестанно, и вымѣривалъ тяжелыми шагами мою длинную комнату, и безсознательно всматривался въ волны снѣга, бившія въ стекла... А тоска росла пуще и пуще... Пошли бродить думы, воспоминанія... все горькія, невеселыя, подстать къ погодѣ, подстать къ скучному сумраку, лившему въ окна... Напрасно я розыскивалъ въ этихъ думахъ, въ этихъ воспоминаніяхъ, яркаго, свѣтлаго луча, напрасно напрягалъ память, вызывая его, этотъ лучъ, эту ободряющую полосу свѣта... Все было — сплошная, одуряющая тьма... Моя память упорно отказывалась воспроизвести свѣтлое, радостное, и, какъ-бы издѣваясь надо мной, назойливо рисовала все скверное, все мучительное моего прошлаго... Рядъ фактовъ, одинъ другого безотраднѣе, одинъ другого тяжелѣе, вставали и медленно

проходили передо мною, каждый отзываясь тупою болью въ сердцѣ... И какъ живо представлялись мнѣ эти факты... Съ какой убійственной ясностью подробностей!... Они угнетали меня... Они заполоняли мою мысль, мои чувства... Мало-по-малу, самое желанье радости и свѣта остывало во мнѣ, обезсиленное наплывомъ горя... Все во мнѣ переполнилось этимъ горемъ, этою тоскою... Не той тихой, меланхолической тоской, которая часто неразрывна и съ хорошими минутами, а той, отъ которой бѣжать хочется, куда глаза глядятъ, или разбить голову объ стѣну...

«Хоть бы поѣхать куда!» — вырвалось у меня. А куда сунешься, куда поѣдешь въ такую бѣшеную погоду? Куда вырвешься изъ этой проклятой норы?.. Я съ ненавистью оглянулъ комнату.

Полусумракъ тускло освѣщалъ бѣлыя каменныя стѣны, чисто вымытый полъ, стеклянный шкафъ съ кипами запыленныхъ бумагъ.

Маятникъ неутомимо отчеканивалъ тактъ... Вьюга металась въ окна... Гдѣ-то подъ поломъ скреблась мышь...

Невыносимо...

«Поѣду къ Панкратову,—рѣшилъ я,—что-жъ что погода?.. Три часа ѣзды—не много».

Былъ часъ пополудни.

До Панкратова считалось 30 верстъ. «Ѣду!»—проговорилъ я, упрямо отгоняя назойливыя мысли о погодѣ, о скверной дорогѣ... Изъ дома меня словно гналъ кто...

Выѣхалъ я изъ своей Берёзовки въ два часа. Въ полѣ несла сильная подзёмка... Вѣтеръ гналъ безпорядочными волнами сухой снѣгъ. Въ двадцати шагахъ ничего не было видно. Но съ дороги снѣгъ сметало, и ѣхать было можно. Колокольчики глухо звенѣли подъ дугою, прозябшія пристяжныя уносили на славу...

— Эй, потрогивай, Яковъ, не рано!—покрикивалъ я, глубоко вдыхая холодный воздухъ, и выставляя лицо въ упоръ рьяному вѣтру.

— Ну, вы, дѣти!—погонялъ Яковъ, слегка покачиваясь на облучкѣ, и «дѣти» неслись, взрывая рыхлые сугробы... Духъ захватывало... Что-то свѣжее, бодрое разливалось по жиламъ...

А «погода» все усиливалась. Надъ полемъ ложился сумракъ. Тяжелыя тучи облегали небо. Вѣтеръ свирѣпѣлъ...

— Эй, пріуныли голубчики!.. — понукалъ расходившуюся

тройку Яковъ, молодцовато посвистывая и помахивая кнутикомъ... И тройка неслась... Колокольчики стонали и захлёбывались... Пристяжныя отфыркивались отъ снѣга, влипавшаго въ ихъ горячія ноздри... Подъ полозьями скрипѣла морозная дорога... Вёшки сѣрыми пятнами мелькали сквозь клубы снѣга...

Проѣхали пятнадцать верстъ. Потянулась длинными рядами избъ Большая-Берёзовка. Сумракъ сгущался... Изъ свинцовыхъ тучъ, низко прилегшихъ къ землѣ, повалилъ снѣгъ; вѣтеръ крутилъ его и разгонялъ по полю... Лошади начинали уставать. Колокольчики звенѣли порывисто, словно нéхотя...

— Не ночевать ли намъ, Яковъ, а?

— Ну... съ чего... Тутъ, по рѣкѣ-то, до Розсошнаго доберемся...

До Розсошнаго считалось семь верстъ.—Ступай до Розсошнаго!

Опять выѣхали въ поле. Дорога виднѣлась только подъ копытами лошадей, и становилась тяжелою. Повѣяло сильнымъ холодомъ. Быстро вечерѣло...

Добрались кое-какъ до Розсошнаго. Оставалось восемь верстъ... Дорогу положительно заваливало... Посовѣтовались мы съ возницей: «что дѣлать?—ѣхать безъ проводника немыслимо, ночевать не хочется, пути-то немного осталось»... Порѣшили искать проводника. Остановили лошадей среди улицы, и Яковъ пошелъ по ряду избъ, ужъ кое-гдѣ мигающихъ огоньками...

Поиски оказались неудачными... Все было мертвецки пьяно ради *прощенаго дня*, а если и попадался трезвый, то или запрашивалъ нелѣпыя деньги, или прямо посылалъ «къ чорту»... Яковъ сообщалъ мнѣ о неуспѣхѣ, но не бросалъ попытки и все ходилъ по окнамъ.

А темь все надвигалась да надвигалась. Становился настоящій вечеръ. Снѣгъ до такой степени усилился, что съ одной стороны улицы не было видно другой... Только огоньки смутно мерцали въ окошкахъ. Впрочемъ, вблизи было видно,—темь была какая-то сѣрая...

— Какъ же быть, нѣту...—подошелъ ко мнѣ Яковъ.

— Ну, что-жъ, дѣлать нечего—надо ночевать... Иди, розыскивай ночлегъ...

Пошелъ мой возница съ просьбой о ночлегѣ... Я сидѣлъ въ саняхъ и терпѣливо дожидался его, съ напряженнымъ вниманіемъ вслушиваясь въ плаксивое завыванье вьюги... Рѣдко, рѣдко прерывалось это завыванье: смутно донесется залихватская пѣсня, исполняемая пьянымъ голосомъ гдѣ-то далеко, на краю села...

отрывисто звякнуть колокольчики отъ нетерпѣливаго движенія коренной, и опять монотонное, ноющее завываньe...

Къ санямъ подошелъ Яковъ и еще кто-то въ плохомъ карявомъ зипунишкѣ.

— Вотъ берется проводить за два рубля!

— А ты не пьянъ?—обращаюсь я къ зипуну, съ трудомъ отрываясь отъ тоскливыхъ звуковъ вьюги.

— Росинки въ ротъ не бралъ...—отвѣчаетъ зипунъ, хватаясь за шапку. Въ голосѣ какая-то истома чудится, отъ всей фигуры вѣетъ безпомощностью и крайнимъ смиреніемъ...

— Ну, ладно. Какъ же ты, верхомъ, что-ль поѣдешь?

— Да поѣдемте ко мнѣ, тамъ видно будетъ... Вотъ у свата былъ, прощался...—неизвѣстно для чего прибавилъ онъ, мѣшковато усаживаясь на облучкѣ.

Тронулись. Ѣдемъ. Зипунъ кажетъ безчисленные переулки. Вѣтеръ рвется и воетъ въ тѣсномъ пространствѣ и назойливо заворачиваетъ воротникъ моей шубы. Лошади поминутно прерываютъ рысь въ глубокихъ сугробахъ... Наконецъ, избы рѣдѣютъ, и видно ужъ чистое поле.

— Далеко дворъ-то твой?

— Да вотъ неподалеку... — ёжась и укутываясь въ свой дрянной зипунишко, чуть слышно отвѣчаетъ мужичёнко.

Подъѣхали къ концу села. Одинокая избушка изъ необожженаго кирпича стоитъ на отлетѣ, краемъ къ крутому оврагу. Къ одной сторонѣ избы прилѣплено что-то въ родѣ хлѣва. Давно покинутая борона съ похиленными зубьями придерживаетъ ветхую крышу на избѣ, а вѣтеръ, дико воя, какъ-бы негодуя на слабую преграду, щетинитъ и рветъ изъ-подъ бороны черную, полуистлѣвшую солому. Бѣдно... глухо...

Трубы на крышѣ не было. «Знать по черному», — подумалъ я.

— Слѣзайте, погрѣйтесь покуда...

— Ну, это, пожалуй, не лишнее!

Я стряхнулъ съ себя снѣгъ, налегшій густымъ слоемъ, и направился въ избу. Толкнулъ дверь въ сѣни... Она подалась съ какимъ-то жалобнымъ скрипомъ, снѣгъ ворвался за мною... Ощупью я нашелъ другую дверь,—та была на болѣе гладкихъ петляхъ и не скрипнула. Тихо я вошелъ въ избу. Удушливымъ, гнилымъ воздухомъ пахнуло на меня... Я остановился у порога. Ребенокъ плакалъ гдѣ-то въ темнотѣ, слабо скрипѣла колыбель...

Плачъ этого ребенка поразилъ меня: мнѣ не доводилось слы-

шать такихъ тоскливыхъ, такихъ ноющихъ нотокъ... Это не было капризное хныканье избалованнаго ребенка, это даже не было выраженіемъ требованія чего-либо. Въ немъ, въ этомъ еле-слышномъ, тягучемъ плачѣ, изрѣдка прерываемомъ такимъ же тихимъ, безпомощнымъ всхлипываніемъ, такъ и чудилась за-сердце хватающая жалоба,—жалоба на долю, на судьбу, на ту неумолимую судьбу, что́ бросила въ гниль, тѣсноту и голую, безшабашную бѣдность чистое, ни въ чемъ неповинное, созданіе...

Съ пеленокъ мученикъ.

Вой вѣтра въ разбитую оконницу какъ-то странно подлаживалъ къ дѣтскому плачу: онъ то порывисто заглушалъ ее, то, какъ-бы подъ сурдиною, рабски слѣдилъ за скорбною нотою... Утѣшая и убаюкивая, въ тонъ и гармонію съ этимъ душу надрывающимъ дуэтомъ, слышалась пѣсня матери... Правда, не пѣсня, а причитанье какое-то...

Баю-баюшки-баю
Баю дитятку мою...
Ходитъ котикъ ночевать
Мою дитятку качать...

Я кашлянулъ.

— Ахъ, Господи!.. Кто-й-то?—опросилъ слегка встревоженный женскій голосъ.

Я разсказалъ въ чемъ дѣло. Баба засуетилась, нашла свѣтецъ; я услужилъ ей спичкой, и мы соединенными усиліями зажгли огонь. Теленокъ, привязанный у печки, заревѣлъ благимъ матомъ и отчаянно запрыгалъ,—вѣроятно, обрадовавшись свѣту... Подъ ногами шелестѣла мокрая, перегнившая солома.

— Охъ, и погода же!.. Да куда-жъ васъ несетъ экую пору?

— Къ Панкратову.

— Ишь ты, ближній свѣтъ!.. — баба покачала головой: — право, оставайтесь... Да я и Гришку не пущу... Ну, долго ли до грѣха!.. Вы ужъ лучше ночуйте; я бы соломы настлала... въ сѣнцахъ свѣжая есть.

Я отказался. Она слезливо посмотрѣла на меня и молча отвернулась къ окну, за которымъ все выше и выше поднимался сугробъ.

Ребенокъ умолкъ; хриплливое, тяжелое дыханье доносилось изъ колыбели. Баба, подгорюнившись, стояла, прислонясь къ печкѣ. Вся она была какая-то жалкая... Выраженіе безпомощности и тоскливой покорности застыло на некрасивомъ, испитомъ лицѣ... Въ голосѣ слышалось уныніе и рѣдко-рѣдко прорывалась

какая-то дѣтски-брюзгливая злость. У ней было много общаго съ мужемъ.

— Что-жъ, маслину-то весело гуляли?—спросилъ я.

— И, батюшка, какое ужъ тутъ гулянье... На соль не хватаетъ... Мука, почитай, на исходѣ, а до новины-то два раза ноги протянешь... Не до гуляньевъ тутъ...

Съ печки робко свѣсилась дѣтская головка.

— Много у тебя дѣтей-то?

— Да вонъ мальченка, пяти годочковъ, — указала она на головку, тотчасъ же юркнувшую въ темноту, — дѣвчонка еще, да грудной вотъ... Болѣетъ все, нудится... Господь-то не прибираетъ его...

Баба тихо вздохнула.

Вошелъ Григорій и шумно сбилъ снѣгъ съ мерзлыхъ лаптей. Зипунъ его былъ подпоясанъ, въ рукахъ неньковый кнутишко.

— Ну, ѣдемъ, что-ль?—обратился онъ ко мнѣ, стараясь не глядѣть въ сторону жены.

— Пожалуй...

Я поднялся съ лавки.

— Гриша, куда-жъ ты ѣдешь въ такую вьюгу?.. Ишь, творится-то что... Вѣдь безпремѣнно заблудишь...

— Небойсь, не сблужу, — отозвался Григорій, недовольно морща брови.

Баба понурилась и тихо стала качать колыбель: ребенокъ опять занылъ. Мы вышли изъ избы.

Сдержанное всхлипываніе послышалось сзади насъ. Григорій порывисто отворилъ дверь въ избу и вошелъ въ нее. Я остался среди темныхъ, какъ погребъ, сѣней.

— Да ты, Ариша, не плачь,—донеслось до меня,—тутъ дорога-то извѣстная, а коли не затихнетъ—я и заночую у Панкратова...

— Право, не ѣхать бы... Вонъ Бодрягинъ-то, Захаръ, замерзъ на всеѣдной...

— А дома много высидишь?.. Съ голодухи, что-ль, издохать?.. Сама знаешь... Два цѣлковыхъ на земи-то не валяются: это вѣдь деньги!.. Не каждинный день такъ-то...

Дальше слѣдовалъ шопотъ. Я отворилъ дверь въ избу.

— Сейчасъ, сейчасъ...—засуетился Григорій, спѣша вызвать на-лицо подобострастную улыбку и подтягивая истрепанный кушачишко.

— Не погодить ли, намъ пока утихнетъ, а?

Тревога показалась въ глазахъ Григорія, баба—и та какъ-будто испугалась...

— Что-жъ, воля ваша...—какъ-то потерянно мямлилъ онъ:—по-моему, сейчасъ бы... Нечего время проводить... Она сейчасъ-то бы лучше, пожалуй, ѣзда-то...

— Да я тебя все равно возьму провожатымъ, хоть и совсѣмъ стихнетъ,—дорога незнакомая, а все-таки ночь...—поспѣшилъ я его успокоить.

Дѣло уладилось. Я выкурилъ двѣ-три папиросы. Вошелъ мой Яковъ, потерся у печки, посушилъ варежки и опять отправился къ лошадямъ. Григорій то-и-дѣло выбѣгалъ «смотрѣть погоду»; каждый разъ она, по его словамъ, была, «кажись, ничего»... Чѣмъ дольше я сидѣлъ въ избѣ, тѣмъ больше онъ тревожился, тѣмъ больше ему не сидѣлось на мѣстѣ...

Наконецъ, поутихло. Мы вышли изъ избы. Григорій вывелъ изъ хлѣва маленькую, шаршавую лошаденку и собирался садиться на нее. Такъ какъ вѣшки ясно видѣлись по дорогѣ, и подъемка несла чуть-чуть, то я сказалъ ему, чтобы онъ привязалъ пока лошадь сзади и садился въ сани. Онъ-было полѣзъ на тѣсный облучокъ.

— Садись со мною рядомъ, а то Якову будешь мѣшать,—остановилъ я его.

Усѣлись. Поѣхали. Сквозь туманные обрывки тучъ кое-гдѣ свѣтились звѣздочки и синѣлось небо. Морозило. Снѣгъ неистово скрипѣлъ подъ санями...

— Тутъ Калинкины дворики придутъ,—промолвилъ Григорій.

— Скоро?

— Версты четыре, а то и меньше...

Дорога, часто усаженная соломенными вешками, тянулась около рѣки. Влѣво—рѣка, вправо—чистое поле... Лошади скоро уморились: снѣгъ доходилъ имъ почти до колѣна. Половья врѣзались... Поѣхали шагомъ. Яковъ то-и-дѣло похлопывалъ рукавицами. Григорій бочкомъ сидѣлъ около меня и посматривалъ по сторонамъ.

— А, должно быть, плохо тебѣ живется, Григорій?—обратился я къ нему.

— Чего ужъ...—Онъ помолчалъ немного.—Оно бы и ничтò, да вотъ хлѣбушко-то... Недостача все... А тамъ ребятёнки малы, все самъ да самъ... Баба тоже хвораетъ, съ самыхъ родовъ... Животомъ жалится... молоко вотъ тоже пропало...

— Да ты бы свозилъ ее въ акушеркѣ, что-ль,—небойсь, есть земская-то?

— Ну, ужъ куда тамъ!.. Въ позапрошломъ году такъ-то бачка помиралъ... Тоже научили, это, къ дохтуру... Пріѣхалъ я, а онъ стоитъ на крылечкѣ перчаточки надѣваетъ — таково сердито!—должно, малы они ему... Тройка тутъ готова, ямщикъ... Къ вашей милости, говорю... «Что?» спрашиваетъ... Вотъ—умираетъ, колотье замучило... Указываю, это, на бачку-то—онъ въ телѣгѣ подъ войлочкомъ лежитъ, не въ моготу ему слѣзть-то... «Некогда», говоритъ: «пойди къ фершелу»... Взялъ да укатилъ, только я его и видѣлъ... Ну, посмотрѣлъ я, это, ему въ слѣдъ, да еще себя выругалъ... Для насъ ли этотъ народъ заведенъ!—только присловье одно... Пошелъ къ фершелу... Ну, фершелокъ, извѣстно, пьяненькій: далъ чего-то въ пузырькѣ,—пои, говоритъ...

Григорій замолчалъ.

— Ну, что же, полегчало?

— Кому? бачкѣ-то?—спохватился онъ:—извѣстно, померъ... Гдѣ-жъ полегчать!.. Дорогой-то еще дождёй его разбило—въ два конца-то, почитай, сорокъ верстъ... А ужъ работникъ былъ, царство ему небесное, и-и...—онъ покачалъ головой.—Какъ живъ-то былъ — мы все-таки супротивъ другихъ не плошали: два работника!.. Ну, а теперь, что-жъ, плохо... Завезешь, завезешь хлѣбушка съ поля... Ну, думаешь, нонѣ до новины перебьюсь... Анъ не тутъ-то было!.. Тамъ продашь на подушное, тамъ за земельку купцу надоть, тамъ засыпку въ магазей... туда-сюда, глянь—до поста-та великаго еле-еле протянешь... Да и то ужъ впроголодь. Кабы коровенка—все бы сподручнѣе...

— Развѣ нѣтъ коровы-то?

— Лѣтось съ-укціону продали... Барину тутъ задолжалъ — не отработалъ...

Григорій вздохнулъ.

— Оно бы все ничего, да вотъ ребятенки-то... Грудной-то нудится-нудится, тоска... Съ утра до ночи ноетъ... Извѣстно, кабы молочка, глядишь—и справился бы... Теперь вотъ тёлочку добылъ: у сосѣда корова здохла, я ее и взялъ; двѣ мѣры ржи отдалъ...

— Чѣмъ же вы маленькаго-то кормите?—удивился я.

— Махонькаго-то? да чѣмъ... хлѣбушка нажуешь съ солью...

Онъ замолчалъ и старательно началъ оправлять полость, покрывавшую мои ноги.

Холодный вѣтерокъ подувалъ въ лицо. Онъ опять понемногу усиливался. Обрывки тучъ снова сплотились и заслонили рѣдкія звѣздочки.

Вьюга опять закрутила.

— Калинкины дворики виднѣются! послышалось восклицаніе Григорія, ѣхавшаго впереди. Онъ поровнялся съ санями. Лошаденка его, сплошь занесенная снѣгомъ, безпрестанно отфыркивалась и трусила мелкой рысцою. Зипунъ тоже покрылся бѣлымъ слоемъ.

— У... понесло-то!

— А что, Григорій, не перегодить ли намъ въ дворикахъ?— закричалъ я ему:—можетъ, опять поутихнетъ.

— Что-жъ... Тутъ знакомый мужичокъ есть, Андреянъ Семенычъ... Заѣдемте... Изба чистая...

— Ну, ладно!

Переѣхали какой-то сугробъ. Въ избахъ замерцали подслѣповатые огоньки. Зашумѣли вѣтлы около полу-занесенныхъ дворовъ...

Калинкины дворики стояли среди чистаго поля; рѣка отходила отъ нихъ версты на полторы. Все это сообщили мнѣ послѣ. Къ Панкратову я прежде ѣздилъ по иной дорогѣ, минуя дворики.

Мы поровнялись съ длинной избою. Два окна выглядывали на улицу и освѣщали ее. Григорій подошелъ къ окну и постучалъ; послышались разспросы... Наконецъ, дверь скрыпнула и насъ впустили. Гдѣ-то на дворѣ глухо залаяла собака...

Я вошелъ въ избу. Это была просторная, сосновая изба, чистая, теплая, съ деревяннымъ поломъ, съ «бѣлою» печкою. На столѣ, накрытомъ грубою скатертью, лежалъ непочатый коровай ситнаго хлѣба, и стояла деревянная, рѣзная солоница. Въ высокомъ деревянномъ подсвѣчникѣ горѣла сальная свѣча.

Меня встрѣтилъ хозяинъ. Это былъ высокій, статный мужикъ, съ красивымъ открытымъ лицомъ, съ большою русою бородою. Сильная просѣдь серебрилась у него въ волосахъ; сѣрые глаза глядѣли умно и насмѣшливо... По тонкимъ губамъ бродила какая-то подмывающе-бодрая, слегка лукавая усмѣшка... Вообще въ немъ сразу что-то располагало, — есть такія симпатичныя лица.

Поздоровались. Я снялъ шубу и подошелъ къ столу.

— Аль по нуждѣ какой ѣдешь?—спросилъ меня Андреянъ Семенычъ, бережно вѣшая мою шубу ближе къ печкѣ. Голосъ у него былъ пріятный и добродушный, но опять-таки съ легкимъ оттѣнкомъ насмѣшливости.

Я отвѣтилъ ему, куда ѣду. Онъ слегка покачалъ головой и, накинувъ полушубокъ на плечи, вышелъ изъ избы. Колокольчики звенѣли гдѣ-то на дворѣ.

На задней лавкѣ что-то прибирала сморщенная, но бодрая и чрезвычайно подвижная старушка; съ палатей выглядывали веселыя, русыя головки дѣтей.

— Что-жъ, у васъ семьи-то только?—спросилъ я старуху.

Она чуть замѣтно улыбнулась.

— Нѣтъ, сынъ есть. Да онъ съ женою пошелъ прощаться къ тестю... Должно гостюютъ.

Вошли Григорій и Яковъ, за ними Андреянъ Семенычъ.

— Раздѣвайтесь-ка, да полѣзайте на печку... Я обсушу зипуны-то... Ты, Григорій, разувайся, да положь въ печурку лапти-то, они покелева пообсохнутъ... Ишь, баринъ-то васъ умаялъ какъ...

Онъ насмѣшливо взглянулъ на меня.

— Старуха, поищи-ка винца, тамъ, должно быть, осталось; налей ребятамъ-то по стаканчику...

Старуха засуетилась. Ребята чинно выпили водку и, утеревши полою губы, полѣзли на печь.

— Ты не выпьешь съ дорожки-то?.. Небойсь прозябъ...— обратился ко мнѣ Андреянъ Семенычъ.

Я отказался.

— Ну, да оно знамо... — опять-таки насмѣшливо сказалъ онъ, тщательно отряхая Григорьевъ зипунишко,—шуба-то твоя, не этому чета... Морозъ-то не вотъ скоро взѣметъ.

Возражать было нечего... Я посмотрѣлъ на часы.

— Много до полночи-то?—спросилъ Андреянъ Семенычъ.

— Да теперь семь часовъ.

— Стало-быть—пять осталось. Лошадямъ овса-то надыть? Сѣнца мы дали.

— Нѣтъ... Можетъ, погодка поутихнетъ, доѣдемъ.

— То-то, смотри... А то овесъ есть.

— Много считаете до Панкратова?

— Тутъ хоть и недалеча: версты три,—да дорога-то блажная: мало-мальски погодка поднимется, ни за что не доѣдешь... Прогалокъ-то большой: какъ не попадешь къ Панкратову, такъ и ѣзди по степи до самаго Битюка; ужъ тамъ въ лѣсъ уткнешься—по ту сторону рѣки будетъ...

— Ты кто, изъ дворянъ, что-ль? безцеремонно добавилъ онъ, развѣшивая зипунъ передъ горячимъ «устьемъ»...

— Нѣтъ, не изъ дворянъ.

Андреянъ Семенычъ какъ-то неопредѣленно промычалъ, но тонъ его сразу сталъ и довѣрчивѣй, и добродушнѣй. Онъ обстоятельно разспросилъ меня про мое жительство, мои занятія,

про крестьянское житье въ Малой-Берёзовкѣ (село, гдѣ я жилъ), которая была извѣстна во всемъ уѣздѣ благодаря большому винокуренному заводу, носившему названіе Березовскаго.

— Да что, Андреянъ Семенычъ, — отвѣтилъ я ему на послѣдній вопросъ,—балуются мужики въ Берёзовѣ... Пьянство все усиливается, живутъ плохо... Воровство завелось.

— Т-э-к-ъ...—задумчиво протянулъ Андреянъ Семенычъ:—да, надо правду сказать, народъ даже сталъ слабѣе, чѣмъ въ наше время,—продолжалъ онъ,—и кабаки эти пошли, и дѣлежи, и воровство... Всего въ досталь!

— Отчего же это, Андреянъ Семенычъ?

— А ужъ Богъ ее знаетъ съ чего! — Андреянъ Семенычъ развелъ руками:—Я помекаю такъ: все отъ голодухи больше... Ты вотъ погляди на нашъ поселокъ: живемъ мы, слава-Богу покедова—въ достаткѣ, ну и не замѣтно, чтобы пьянство, алибо что...и народъ у насъ дружнѣе, мірское дѣло не продастъ, не пропьетъ... А ты, вонъ, погляди въ Розсошномъ у нихъ,—онъ кивнулъ въ сторону Григорія:—выбрали они ходока, за луга стараться,—сосѣди у нихъ луга отбили, — что-жъ ты думалъ?... —взялъ этотъ ходокъ да за двѣ сотенныхъ документы и продай сусѣдскимъ!.. Вотъ они какъ мірское дѣло-то понимаютъ.

— Это вѣрно,—подтвердилъ Григорій, — Кузьма Семенычъ у насъ есть, теперь кабакъ открылъ, съ новаго года.

— И приговоръ ему дали?—удивился я.

— Дали. Старикамъ поднесъ восемь ведеръ, ну, и дали...

— А луга такъ и остались за сосѣдями?

— Какъ-же, извѣстно остались... Лѣтось, Петровками, какая драка изъ-за нихъ была!..

— Ну, вотъ...—развелъ руками Андреянъ Семенычъ. — У нихъ, чтобъ какого-нибудь согласія промежъ себя, и не спрашивай... Всякъ по-своему, по-рознь... Только одно и есть мірское дѣло—мірскія деньги пропить... Это они давай!.. И такъ у нихъ заведено еще: всѣхъ дворовъ въ селѣ около двухсотъ будетъ.

— Болѣе, дядя Андреянъ, перебилъ Григорій.

— А то еще и болѣе, а всѣми дѣлами десять, аль двадцать міроѣдовъ ворочаютъ... Міроѣдъ и на сходкѣ, и въ волостной, и въ кабакѣ... И какъ вѣдь это у нихъ: чуть мужикъ справится, зашибетъ гдѣ ни на есть копѣйку, такъ сейчасъ и норовитъ сусѣда закабалить... И тутъ ужъ его бойся... А вотъ у насъ на поселкѣ дворовъ двадцать есть, да какъ всѣ мы по капиталомъ-то ровны, у насъ закабаливать-то и некого...

— Ты мнѣ вотъ еще растолкуй, Андреянъ Семенычъ,—сказалъ я,—вотъ вы, барскіе вѣдь, кажется, были?

— Барскіе.

— По сколько у васъ на душу земли-то?

— Три съ осьминникомъ.

— Ну, вотъ въ Большой-Березовкѣ однодворцы живутъ, у нихъ по пяти десятинъ на душу приходится, а живутъ они—почти полъ-села побирается, отчего это?

— Ты насъ въ разсчетъ не клади... Мы еще отцовскимъ нажитіемъ сыты, это вотъ съ воли-то маненько поупали, а то зажитнѣе насъ въ округѣ не было.

— Ну, не васъ, такъ взять другихъ барскихъ, все они живутъ справнѣе однодворцевъ...

— Это правда, что супротивъ барскаго однодворецъ не вынесетъ... Перво-наперво работаетъ онъ куда плоше нашего, подъ страстью не былъ, барщины не зналъ, а другое дѣло — избалованъ... Ну, вотъ теперь и расплачивается...

— Не равенъ однодворецъ, не равенъ барскій,—отозвался Григорій,—вонъ тоже Оленинскіе барскіе, а живутъ-то никакъ еще хуже насъ, грѣшныхъ...

— Да, Оленинскіе точно, что плохо...—сознался Андреянъ Семенычъ.

— Да видно всѣмъ не меды,—добавилъ онъ послѣ нѣкотораго раздумья,—куда ни погляди, горе одно... Что барскіе, что однодворцы...

Онъ сѣлъ къ столу, и, садясь, хватился за спину.

— Эка поясница-то одолѣваетъ... Должно все палочки отзываются... Онъ какъ-то, не то зло, не то весело, усмѣхнулся.

— Какія палочки?—удивился я.

— Да какъ-же! меня попотчивали.

Я заинтересовался.

— Вона!.. я вѣдь бывалый... И Сибири отвѣдалъ, и палочекъ... Въ Томской четыре года выжилъ.

— Да за что же это?

Мнѣ что-то не вѣрилось въ эти ужасы глядя на его спокойное, добродушно-усмѣхающееся лицо.

— Да все воля эта, пусто бы ей... Ишь, мы до воли-то на Битюкѣ жили... Може, слыхалъ—Калинкинъ баринъ есть, производителемъ онъ теперь... ну, мы его крѣпостные были. Угодья у насъ были—одно слово... Ну, и лѣсъ, и рѣка подлѣ... Заказу ни въ чемъ... Жители мы были еще изстари: мой дѣдъ-то чистоганомъ двѣсти золотыхъ батюшкѣ-покойному оставилъ... — Ви-

шла, это, воля. Баринъ насъ и вздумай переселить на эту вотъ самую «Сухопутку»... Мы, извѣстно, заартачились, ходоковъ выбрали: я пошелъ, да еще тутъ два мужичка. Ушли, какъ водится, таючись... Однако, съ Рязани воротили насъ,— ишь, не порядокъ... Пригнали домой по этапу... А ужъ тутъ вышло распоряженье—ломать... Какъ такъ?—не законъ, ребята... Сбили міръ, порѣшили не давать... Ну, значитъ, бунтъ... Солдатъ пригнали на постой къ намъ... Свиней, куръ, телятишекъ, душатъ не судомъ! Одно слово разоръ... Терпимъ... Что-жъ, хотите по добровольности переселяться?—спрашиваютъ...—Нѣтъ, не хотимъ...

Андреянъ Семенычъ воодушевился. Добродушная насмѣшливость исчезла изъ его глазъ, и въ нихъ засвѣтилась какая-то злоба...

— Ты самъ разсуди,—обратился онъ ко мнѣ,—жили мы при всѣхъ угодьяхъ... Сады, это, у насъ разведены, пчельники, рыбная ловля, луга заливные, и, вдругъ, на! переселяйся... Тутъ ни лѣску, ни рѣчки—ужъ колодцы Калинкинъ порылъ... Какая это воля!.. работали, работали на нихъ, корпѣли, корпѣли, а тутъ на «Сухопутку»!..

— Ну, стало-быть, какъ сказали, это, мы, что не хотимъ, велѣли избы ломать. Мы въ колья... А сами, значитъ, еще нарядили ходока,—Архипъ былъ у насъ мужичокъ, шустрый такой.. Услали мы его, а сами стоимъ на одномъ. Порѣшили не поддаваться до конца...

— Эка напрасно-то!—замѣтилъ я.

— Взяли тутъ насъ четверыхъ прямо въ городъ. Оттуда вышло рѣшенье: въ Томскую, въ Сибирь, на поселеніе... Затосковалъ я: ужъ переселяться бы какъ слѣдуетъ, а тутъ гонятъ... Ахъ ты, пусто бы вамъ! ну, что тутъ малый безъ меня подѣлаетъ?.. Однако дѣлать нечего, сила солому ломитъ, плетью обуха не перешибешь... Взялъ я съ собою старуху, пошелъ. Одиннадцать мѣсяцевъ насъ пёрли!.. Со мною деньжонки, спасибо, были, намъ-то и въ моготу, а то бы бѣда!.. Ну, пригнали насъ на мѣсто. Оглянулись мы, видимъ сторона не плохая, пожалуй что и нашей не уступитъ... Что за притча, думаемъ, вотъ тебѣ и Сибирь!.. Снялъ я тутъ мельничонку у мужиковъ, дѣло-то это мнѣ сподручное: свой вѣтрякъ былъ на «старинѣ»-то... Мельница хоша и водяная попалась, ну, разница въ нихъ небольшая.

— Обжились... Глушь такая что Боже упаси!.. городъ—двѣсти верстъ... Село отъ села — сто... поселокъ — пятьдесятъ!..

Жить-то способно, вольно... лѣсу—сколько хочешь, рыбы—тьма... Всего вволю!.. Я ужъ подумывалъ сына вызвать туда...

— Что же не вызвалъ?—спросилъ я.

— Случай такой подошелъ, я вотъ тебѣ разскажу... Сошелся я тамъ съ начетчикомъ однимъ, тоже сосланный былъ... Ума—палата!.. вѣкъ я его не забуду...—Андреянъ Семенычъ слегка задумался и вздохнулъ. Старуха подошла къ столу и сняла пальцами нагорѣвшій свѣтилень.

— Это ты про Самсонъ Гаврилыча?—спросила она.

— Про него... Эхъ, душа былъ человѣкъ!.. Ну, вотъ онъ-то и отсовѣтовалъ мнѣ сына выписывать... Скорѣй всего, говоритъ, вамъ прощенье выйдетъ... Человѣкъ ты денежный, тебѣ вездѣ будетъ хорошо, а пуще того въ своихъ мѣстахъ... А тутъ жить-то, пожалуй, и вольно, только тоска тебя задушитъ,—человѣкъ ты пришлый, своихъ мѣстовъ ни въ жисть не забудешь... Послушалъ я его.

— И только съ той поры одолѣла меня тоска: все дожидаюсь, скоро ли отпустятъ въ Расею... Не найду никакъ мѣста да и шабашъ!.. А тутъ старуха скучаетъ,—кропчится... Что ты будешь дѣлать!.. Такъ я у этого начетчика и дневалъ, и ночевалъ... Заберусь, бывало, къ нему... Хата, это, чистая, бѣлая... сядемъ—и ну толковать. Сначала по хозяйству: какъ помолъ, какъ что... а тамъ ужъ и по душевному... Заскучаю я—станетъ читать мнѣ,—читалъ онъ страсть какъ внятно, вразумительно... И все больше одно мѣсто читалъ,—отъ тоски, говаривалъ, помогаетъ... Вонъ оно у меня замѣчено, сынъ-то маленько грамотенъ...—Андреянъ Семенычъ кивнулъ на божницу.

Я взялъ книгу, лежавшую тамъ, и развернулъ: то было Евангеліе.

— Я вотъ доскажу, да ты прочти мнѣ это мѣсто-то,—обратился ко мнѣ Андреянъ Семенычъ.

Я, разумѣется, обѣщалъ.

— Ну, прожили мы тамъ четыре года... Воротили насъ... Пришли мы ужъ сюда на «Сухопутку»... вижу, малый женился, ребетёнками обзавелся, обстроился какъ слѣдъ, все въ порядкѣ... Я тоже принесъ маленько деньжонокъ; скопилъ въ Томской да и родительскія еще оставались... Ну, вотъ и живемъ, пока Богъ грѣхамъ терпитъ...

Андреянъ Семенычъ ласково взглянулъ на меня и усмѣхнулся; ему видимо нравилось мое напряженное вниманіе и мое сочувствіе.

— А что, дядя Андреянъ,—послышался съ печки голосъ Григорія,—земли тамъ довольно вволю, въ Томской-то?

— Куда еще больше! и земли, и лѣсу.

— Эхъ, кабы жена не хворала, да деньжонокъ на дорогу, ушелъ бы туда!..

Андреянъ Семенычъ задумался.

— Сладки гусиныя лапки! — А ты ихъ ѣдалъ? — Я-то не ѣдалъ, да мой дядя видалъ, какъ нашъ баринъ ѣдалъ!—сбалагурилъ онъ, усмѣхаясь:—эхъ, Григорій! безъ денегъ, да безъ силы и тамъ пропадешь... Поставь плотника безъ топора, срубитъ онъ-те избу-то?.. А въ Томской такія мѣста: тутъ рупь нужно—тамъ пятью не обойдешься... Тутъ ты одинъ вотъ, хоть плохо, да все копаешься, а тамъ въ пору съ семьей, не то одному... Кабы сообча съ кѣмъ, ну такъ... Да и то!—Андреянъ Семенычъ махнулъ рукою. — Вонъ Тамлыцкіе — въ конецъ разорились... Туда ужъ еле дошли, а оттуда всю дорогу побирались... И тутъ-то все распродали, не знать, какъ и быть теперь...

— Отчего же это?—полюбопытствовалъ я.

— Съ дуру-ума. Броду не спросились,—въ воду полѣзли...Ужъ если переселяться, такъ надо умѣючи: сперва ходока послать надежнаго, мѣсто облюбовать да закрѣпить его какъ ни на есть, може оно казенное, аль хрестьянское... Ну, опосля на это мѣсто-то дворовъ пятокъ справить, ну, а тамъ ужъ и можно... Зря-то ничего не дѣлается, милый ты мой...

Всѣ мы молчали. Сверчокъ трещалъ гдѣ-то за печкою. Со двора слабо доносился шумъ вѣтра...

— А вотъ на счетъ дѣлежки, дядя Андреянъ, не слыхать?—опять спросилъ Григорій.

— Есть у насъ повѣрье такое,—обратился ко мнѣ Андреянъ Семенычъ,—придетъ, дескать, ослушной часъ, землю всю промежъ мужиковъ подѣлятъ... Ну, вотъ народъ и болтаетъ... Ты какъ на счетъ этого полагаешь?—спросилъ онъ меня, глядя внимательно и серьёзно мнѣ въ лицо.

— Полагаю, что вздоръ.

— Я вотъ то же толкую... Андреянъ Семенычъ плюнулъ и поднялся изъ-за стола.

— Ты вотъ лучше почитайка-сь,—потянулся онъ за евангеліемъ,—ты должно ученъ, хорошо прочтешь...

Я развернулъ книгу на замѣткѣ, оказалось «отъ Іоанна». Противъ нѣкоторыхъ стиховъ, крупнымъ, характернымъ почеркомъ было написано: хор. велик. сл. св. истин... Я началъ читать съ отмѣченныхъ стиховъ.

Андреянъ Семенычъ сидѣлъ, подперши голову обѣими руками.

Глаза Григорія задумчиво смотрѣли съ печи... Яковъ храпѣлъ, старушка сокрушительно вздыхала...

Я остановился. Наступило молчаніе.

— Хорошо ты читаешь,—сказалъ Андреянъ Семенычъ, и бережно прибралъ книгу.

Мы поговорили о смыслѣ словъ евангельскихъ. У него ужъ сложился на нихъ свой собственный, очень правдивый взглядъ, очевидно навѣянный бесѣдами съ другимъ начетчикомъ: у неграмотнаго крестьянина, хотя бы и видавшаго виды, не могло самостоятельно образоваться такого взгляда.

Дверь въ сѣняхъ скрипнула.

— Ну, знать, наши идутъ!—весело проговорилъ Андреянъ Семенычъ.

Изба отворилась и въ двери хлынулъ морозный паръ. Я глянулъ—и почти вскрикнулъ... Предо мною стояла такая красавица, какихъ я мало видывалъ въ нашихъ селахъ. Полное, свѣжее лицо ея такъ и горѣло румянцемъ... Серьёзные глаза съ темными рѣсницами и бровями обдавали какою-то теплой, задушевной лаской... Но въ ихъ серьёзности не было ничего строгаго, неприступнаго... Около губъ лежала какая-то величаво-покойная складка...

Вся она была — сила и здоровье... Статная, высокая... Черная, суконная поддёвка гладко охватывала ея стройную, немного полную фигуру, и еле-сдерживала крутую грудь...

Паръ улегся. Красавица поклонилась мнѣ и степенно отошла къ задней лавкѣ. Тамъ она что-то зашептала съ свекровью.

Андреянъ Семенычъ замѣтилъ впечатлѣніе, произведенное на меня его невѣсткой. Онъ, улыбаясь, поглядѣлъ на меня и лукаво подмигнулъ въ сторону красавицы: «какова, молъ!»

— Здравствуй, Митревна!.. Аль не узнала меня?—отозвался Григорій съ печи.

— Здорово, Григорій Степанычъ... Ишь, тебя на печкѣ-то не видно,—необыкновенно плавно и мягко проговорила она.

Вошелъ мужъ. Это былъ красивый, русоволосый мужикъ, съ окладистой бородкою, съ умнымъ выраженіемъ въ тихихъ глазахъ.

— Ну, погодка поутихла,—сказалъ онъ, обметая снѣгъ съ своихъ большихъ, сборчатыхъ сапоговъ.

Я сталъ собираться. Андреянъ Семенычъ предложилъ ночевать. Я взглянулъ на часы: было десять. Григорій все уговаривалъ ѣхать,—онъ, кажется, все боялся за свои два цѣлковыхъ,—на томъ и порѣшили.

Хозяинъ отъ денегъ отказался: «може, я когда заѣду къ

тебѣ,— авось, обогрѣешь», сказалъ онъ мнѣ, добродушно усмѣхаясь. «Аль, може, неловко мужика-то въ гости?» добавилъ онъ, уже смѣясь. Я, разумѣется, принялся разувѣрять его, и на прощанье крѣпко пожалъ ему руку. Руку онъ мнѣ подалъ неловко, и удивился, когда я крѣпко сжалъ ее: по его мнѣнію, это было «лишнее».

Мы выѣхали. Около дворовъ, дѣйствительно, какъ-будто стихло, но это объяснилось перемѣной вѣтра: когда проѣхали дворики и выѣхали въ поле, тамъ несла страшная вьюга... Ворочаться назадъ не хотѣлось, да къ тому же думалось, что за три версты можно ощупью добраться.

Сначала все шло хорошо. Попали на дорогу, хотя и полузанесенную, но все-таки отличавшуюся твердостью отъ рыхлаго поля. Отдохнувшія лошади, похрапывая, бодро шли на-встрѣчу вѣтру.

Проѣхали съ версту.

Мнѣ показалось, что подъ санями не прежняя ровная дорога; я не счелъ нужнымъ замѣтить это Якову, предполагая, что могла попасться какая-нибудь случайная неровность. Григорій, едва замѣтнымъ пятномъ, виднѣлся впереди.

Сани сильно затолкало. «Что это?» крикнулъ я Якову; тотъ нагнулся съ облучка и всмотрѣлся: оказался вспаханный косогоръ, съ котораго почти весь снѣгъ снесло вѣтромъ. Подъѣхалъ Григорій.

— Какъ быть?—сбились...

— Вижу, что сбились. Какъ полагаешь—далеко отъ «двориковъ» отъѣхали?

— Да, думается, версты двѣ...

— Куда-жъ теперь ѣхать?

— Надо попытать въ бокъ вѣтру,—должно, прямо попадемъ.

— Ну, ступай въ бокъ вѣтру.

А вьюга, какъ-бы сердясь за непрошенное сосѣдство, завываетъ все рѣзче и рѣзче, и цѣлыми тучами валитъ снѣгъ на сани...

Въѣхали на какія-то жнива: снѣгъ лошадямъ выше колѣна. Пристяжныя пугливо жмутся къ оглоблямъ, колокольчики какъ-то жалобно перезваниваютъ. Поѣхали шагомъ, чтобы въ конецъ не изморить лошадей. Ѣдемъ часъ, другой... — нѣтъ и признаковъ жилья, а давно бы пора.

— Гдѣ же Григорій?

— Да онъ впереди все ѣхалъ... Не видать что-то...

— Ну-ка, остановись.

Лошади, послѣ легкаго усилія со стороны Якова, стали какъ вкопанныя; пристяжныя сиротливо понурили головы... Григорія нѣтъ.

— Покричи-ка, Яковъ.

— Гри-го-рій! — вырабатываетъ мой возница охрипшимъ басомъ.

— Гри-го-рій!—подсобляю я ему.

Нѣтъ отзыва. Звукъ нашихъ голосовъ замеръ какъ въ склепѣ... Только вьюга порывисто гудѣла въ отвѣтъ, и несла все новыя и новыя горы снѣга. Около саней образовывался сугробъ.

Невольная дрожь проняла меня... Какая-то смутная тоска ложилась на душу... Понемногу закрадывалась мысль объ опасности серьёзной...

Буря несла какими-то прихотливыми порывами: то завоетъ, застонетъ, закружится, — то стихнетъ. Чудилось что-то дико-осмысленное въ этой игрѣ съ человѣческой жизнью, въ этой забавѣ кошки съ мышкой.

Вотъ она съ-разу стихла: чуть слышно голоситъ вѣтерокъ, взвѣвая маленькія облачки снѣга. Но сверху, съ туманныхъ, тяжелыхъ тучъ снѣгъ падаетъ и падаетъ... Казалось, не будетъ конца ему... И полость, и шуба моя, и армякъ Якова — все завалено... А снѣгъ все падаетъ и падаетъ... Какое-то мучительное чувство, чувство постепенной отчуждаемости отъ жизни овладѣвало мною при видѣ этихъ, безпрерывно падающихъ миріадъ крутящихся снѣжинокъ, при видѣ все возвышающихся часъ отъ часу сугробовъ вокругъ саней и лошадей.

— Двинь лошадей, Яковъ,—засыплетъ!..

Лошадей погнали; они рванулись и стали... Колокольчики жалобно и глухо звякнули...

Пробую закурить—спички тухнутъ: отсырѣли.

— Гри-го-рій!—взываетъ Яковъ съ тоскою въ голосѣ.

Нѣтъ отвѣта... Снѣгъ падаетъ и падаетъ... Я началъ немного зябнуть... Яковъ, по колѣно въ снѣгу, ходилъ около лошадей и раздражительно оправлялъ сбрую; изрѣдка крупная ругань выдавала его душевное настроеніе.

Тьма висѣла надъ полемъ. Не та черная, осенняя тьма, про которую говорятъ: «хоть глазъ выколи», а сѣрая, туманная... Темные предметы рѣзко обозначались въ этой тьмѣ.

Понесла опять вьюга, свирѣпая, дикая... Поле снова застонало. Лошади прозябли и, безъ всякаго понуканія, двинулись.

Яковъ пошелъ позади... Колокольчики, отъ настывшаго на нихъ снѣга, издавали какіе-то деревянные звуки.

Григорія слѣдъ простылъ... Мнѣ невольно вспомнились его дѣтишки малъ-мала меньше, хворая жена... «Поѣхалъ бы онъ провожать меня, если бы у него были въ карманѣ эти несчастные два рубля?» подумалъ я. «А тебя-то куда чортъ несъ?» помимо моей воли всталъ неутѣшительный вопросъ. «Кто тебѣ далъ право рисковать жизнью людей?..»—«Два рубля дали мнѣ это право...» какъ-то самъ-собою сказался ироническій отвѣтъ, и больно стало на душѣ...

Спускаемся куда-то подъ гору... Ниже, ниже, и, наконецъ, погружаемся въ сугробъ... Лошади стали. Приходилось вылѣзать изъ саней; дѣлаю попытку — по поясъ!.. Снѣгъ въ калошахъ, снѣгъ за сапогами...

Послѣ дружныхъ усилій и энергичныхъ понуканій, лошади вывезли изъ сугроба порожнія сани... Мы сѣли въ нихъ, на этотъ разъ рядомъ и плотно до невозможности. Холодная, бѣшено-воющая мгла окружала насъ... Снѣгъ, на ногахъ у меня, таялъ, дрожь охватывала все тѣло.

А Григорій все на умѣ... Я опять призываю его надорваннымъ голосомъ: «а-э-й!» слышится не то смутное эхо моего возгласа, не то завыванье вьюги... Еще разъ кричу—ни звука...

Мною овладѣваетъ какая-то апатія: какъ-будто ко сну клонитъ, но я не сплю... Яковъ сосредоточенно молчитъ, и только что-то изрѣдка шепчетъ... Должно быть, нещадно ругаетъ и меня, и вьюгу, и все... А можетъ и не ругается, а вспоминаетъ что? Можетъ, мать свою вспоминаетъ, суетливую, словоохотливую старушку? Или свою незатѣйливую крестьянскую обстановку съ ея рабочими буднями, съ ея праздниками «на улицѣ», гдѣ до ранней зорюшки тянется то тоскливая, то ухарская пѣсня, слышится топотъ трепака, треньканье балалайки, звонкій хохотъ дѣвокъ и молодицъ... Можетъ, и возлюбленную какую вспомнилъ, съ черной соболиной бровью, съ высокою, крѣпкой грудью, съ любовными рѣчами гдѣ-нибудь въ душистомъ конопляникѣ, или у плота на берегу широкой, тихой рѣчки, въ которой ярко отражается жаркое лѣтнее солнышко?.. Кто его знаетъ...

Все холоднѣе становится тѣлу...

Я высоко приподнялъ бобровый воротникъ моей шубы, и накрылся имъ совсѣмъ съ лицомъ. Отрадное чувство теплоты охватило меня. На мигъ я вполнѣ отдался этому чувству, — какъ-будто вьюга не ревѣла, снѣгъ не падалъ тучами съ неба... Крѣпкая ругань Якова вывела меня изъ этого полу-безсознательнаго

состоянія... «А вѣдь замерзнемъ», промелькнуло въ головѣ... Жгучая тоска по жизни охватила меня... Жизнь эта казалась такой полной, такой осмысленной... Все ея горе, всѣ ея невзгоды отступали въ какую-то недосягаемую даль...

Воспоминанія, одно другого заманчивѣй, зароились въ головѣ... То вспомнится далекое дѣтство... Яркая зелень муравы на лужайкѣ... Звонкіе голоса дѣтей, играющихъ на той лужайкѣ... Залитый бѣлыми, пахучими цвѣтами вишенникъ въ саду... Веселый птичій гамъ въ далекой рощѣ,—тамъ, за садомъ... Тихая рѣка, поросшая коблами и зеленымъ камышомъ; за рѣкой—поемные луга съ безчисленными, блестящими какъ зеркало, озерами, необъятная даль, подернутая сизымъ туманомъ, и надъ всѣмъ этимъ привольемъ—чудно-сверкающее майское солнышко...

— Ну! окаянные,—остановились!—сердито кричитъ Яковъ на лошадей, и сани порывисто ныряютъ изъ сугроба... Воротникъ мой распахивается, и холодный снѣгъ летитъ въ лицо... Я снова старательно закрываю его, снова нагрѣваюсь дыханіемъ и снова заманчивое прошлое встаетъ предо мною...

Встаетъ хуторокъ, затерянный въ глуши. Безграничная степь кругомъ того хуторка. Далекіе курганы, темными очертаніями пестрящіе горизонтъ, и надъ всѣмъ этимъ просторомъ—горячее, синее небо и глубокая, невозмутимая тишь... А то покосы вспомнятся... Темныя пятна безчисленныхъ копенъ, разбросанныхъ по зеленому простору... Величавые стоги... іюньскія, темныя ночи... Огоньки у косарей... стройныя пѣсни... далекій отзвукъ лошадинаго ржанія... перекликанье перепеловъ въ нескошеной травѣ, и глубокое-глубокое небо съ ярко-горящими звѣздами...

Какъ бы хорошо улетѣть и остаться тамъ—въ этой чудной странѣ былыхъ впечатлѣній, былыхъ радостей!..

Холодно... Я еще крѣпче прижимаю воротникъ къ лицу и усиленно дышу... На мгновеніе опять становится тепло, и опять встаетъ далекое прошлое... Надъ степью горитъ заря въ полнеба... Вдали замираетъ тоскливая пѣсня... воздухъ полонъ ароматомъ подкошенной травы... У студенаго колодезя въ ложбинкѣ стоитъ она, моя первая любовь,—Дуня... Любовно и пытливо смотрятъ ея сѣрые глаза, изъ-подъ темныхъ, длинныхъ рѣсницъ... Отблескъ зари весело сверкаетъ въ тѣхъ глазахъ... Смуглый, здоровый румянецъ покрываетъ щеки... высокая грудь трепетно волнуется подъ туго-стянутой завѣской... грубая, рабочая рука крѣпко и застѣнчиво жметъ мою руку... «Аль ты меня любишь?» порывисто шепчетъ она, наклоняясь къ моему лицу... «Люблю, моя дорогая красавица...» Горячія губы обжигаютъ меня... Мои

руки крѣпко сжимаютъ трепещущій станъ... до боли крѣпко... А пѣсня снова тоскливо дрожитъ гдѣ-то въ далекѣ, вызывая глухой, едва слышный отзвукъ...

Гдѣ-то она теперь, эта Дуня?.. Работаетъ ли, и день и ночь не разгибая спины, обшивая и мужа и дѣтей, поспѣвая и на жнитво въ полѣ, и на молотьбу въ ригѣ, и на поденную работу къ кущу иль къ барину?.. Надорвала ли она свои молодыя силы на этой ежедневной, ежечасной работѣ, и сгинула-ль ея дѣвичья красота и здоровый, смуглый румянецъ замѣнился зеленоватой блѣдностью, а высокая, крѣпкая грудь высохла какъ щепка, или вынесъ всѣ невзгоды желѣзный организмъ, и она по прежнему бойкая, статная, красивая?.. Богъ вѣсть!

А холодъ ужъ пронизывалъ меня насквозь... Тѣло дрожало и ёжилось подъ сырымъ платьемъ. Воротникъ, на нѣсколько минутъ согрѣвшій меня, не помогалъ уже... Я отворотилъ его отъ лица.

Вьюга опять немного стихла. Яковъ покрикивалъ на лошадей. На сѣроватомъ фонѣ волнующагося снѣга показался лѣсъ, дремучій, предремучій...

— Яковъ, сходи-ка, что́ за лѣсъ,—не садъ ли Панкратовскій...

Яковъ идетъ... Я, съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ, всматриваюсь въ его удаляющуюся фигуру.

— Это бурьянъ!..—чуть слышно доносится до меня его крикъ: — должно, — межа, аль залоги...

«Марево», какъ-то сосредоточенно выговариваю я... Какая-то разнѣживающая усталость овладѣваетъ мною... Въ головѣ — хаосъ... требуется сильное напряженіе воли, чтобъ связать этотъ хаосъ, чтобъ выработать, выдавить изъ него какую-либо разумную мысль... Этой способности къ напряженію не оказывается...

— А-э-й!—слышится изъ мглы, на этотъ разъ явственно и громко.

— Гри-го-рій!—кричимъ мы въ два голоса.

Впереди что-то зачернѣло.

— Ты, Григорій?

— Эй, добрые люди!..

Къ самымъ санямъ нашимъ подъѣхала заиндивѣвшая, лохматая лошаденка; на розвальняхъ, въ которыя она была впряжена, бѣлѣлась какая-то безобразная масса... Изъ саней вылѣзъ тулупъ и подошелъ къ намъ; снялъ шапку.

— Здравствуйте... Откелева будете?

— Здорово... Блудимъ вотъ... съ Малой-Березовки... Ты чей?

— Будиловскій... Ѣхалъ на станцію, тоже сбился...

— Куда держать, какъ думаешь?

— Держать, безпремѣнно, на вѣтеръ надоть: тутъ неподалеку либо Тамлыкъ, либо Красноярье должно быть.

— Ну, ѣдемъ вмѣстѣ!

— Теперча знамо вмѣстѣ. Авось Богъ милостивъ...

Тронулись. Лошаденка, фыркая, шла за нашими санями. Меня клонило ко сну. Желая во что бы то ни стало избавиться отъ него, я, рѣшительнымъ движеніемъ руки, совсѣмъ отворотилъ воротникъ... Снѣгъ бросился мнѣ въ лицо; щеки защипало... Теплое дыханье лошаденки коснулось моей шеи, и полилось отрадной струею по спинѣ...

Протяжный гулъ едва слышно раздался изъ мглы... Вотъ еще...

— Это колоколъ! — радостно вскрикнулъ Яковъ и ударилъ по лошадямъ.

Поѣхали на гулъ. Онъ становился все ближе и ближе, все слышнѣй и слышнѣй... Лошади, словно почуявъ близость жилья, бодро стали переступать по сугробамъ... Подъ санями почудилось что-то твердое... Попалась, наклоненная вѣтромъ, растрепанная, соломенная вѣшка... Мы выѣхали на дорогу. Сонливость мою какъ рукой сняло...

Скоро черными пятнами показались избы. Колоколъ все гудѣлъ и гудѣлъ... Темный высокій силуэтъ церкви показался передъ нами; чуть-чуть сверкнулъ огонёкъ около нея... Мы направили лошадей къ этому огоньку,—оказалась сторожка.

Перезябшій, занесенный съ ногъ до головы снѣгомъ, я бросился изъ саней въ эту сторожку. Блокъ на двери пронзительно заскрипѣлъ...

Съ печи свѣсились чьи-то ноги въ лаптяхъ, а потомъ выглянула оттуда и вся фигура... Григорія!

— Григорій! Ты тутъ?..

Обрадованный Григорій соскочилъ съ печи, и принялся разоблачать меня.

— Ну, слава Богу... такъ и думалъ замерзли, — торопливо говорилъ онъ:—полѣзайте на печку скорѣй...

— Да ты-то какъ сюда попалъ?

— Плута́лъ, плута́лъ, да и заѣхалъ сюда... Я ужъ тутъ давишь... тоже насилу отогрѣлся...

— Это Красноярье?

— Какое тамъ Красноярье,—это ажъ, Малый-Яблонецъ!

Я удивился: отъ Калининыхъ двориковъ до Яблонца счи-

талось пятнадцать верстъ... Старые, маленькіе часы шипя и какъ-то захлебываясь пробили четыре.

«Шесть часовъ подъ вьюгой», — подумалъ я, и полѣзъ на печь.

Скоро вошелъ и Яковъ съ новыми спутниками. Ихъ было двое — старикъ и мальчикъ. Лошадей поставили подъ дровяной навѣсъ около сторожки. Пришелъ и сторожъ, отставной солдатъ-преображенецъ, хромой и сѣдой, но еще свѣжій старикъ. Онъ объяснилъ, что Григорій разбудилъ его въ два часа, разсказалъ въ чемъ дѣло, и онъ сейчасъ же отправился звонить въ колоколъ, по опыту зная, какое это хорошее пособіе для заблудившихся въ степи во время вьюги.

Все обошлось благополучно. Никто изъ насъ даже и носа не обморозилъ, вѣроятно благодаря тому, что съ самыхъ «двориковъ» дулъ талый, полуденный вѣтеръ, и стало опять морозить ужъ недалеко отъ Яблонца.

Измученный впечатлѣніями адской ночи, и пригрѣтый теплой печью, я задремалъ...

Спалъ я немного: сдержанный говоръ разбудилъ меня. Я открылъ глаза. Керосиновая лампочка безъ стекла коптила потолокъ, разливая темно-багровый, мигающій свѣтъ. Часы проворно тикали; гдѣ-то мурлыкала кошка; кто-то пронзительно храпѣлъ...

Говоръ слышался съ палатей.

— Стало быть, ты, таперича, ходокомъ будешь отъ обчества? —задавалъ вопросъ сиплый баритонъ, очевидно принадлежавшій сторожу.

— Ходокъ, ходокъ, братикъ ты мой, это ты вѣрно...—отвѣчалъ ему добродушнѣйшій голосъ, съ какой-то тягучей, плавной интонаціей.

— Куда-жъ ты, таперича примѣрно сказать, будешь?

— А бреду я, братикъ ты мой, въ Томскую,—для осмотра, значитъ...

— Это, къ примѣру, насчетъ новыхъ мѣстовъ?

— Да, да. Міръ препоручилъ на мою волю: осмотрѣть разузнать—какъ зе́мли, какъ, что...

— Вы что-жъ, стало быть, цѣлымъ селомъ норовите туда?

— Что-жъ подѣлаешь... — вздохнулъ ходокъ: — ужъ больно житья не стало... Никакихъ волей тебѣ нѣту-ти... Такъ и порѣшили — идти всѣмъ міромъ...

— Велико ваше село-то?

— Да душъ около пятисотъ наберется.

Сторожъ глубокомысленно засвисталъ.

— Кто же васъ пуститъ-то?

— Какъ не пустить... Ты самъ посуди, братикъ ты мой, теперь вотъ почитай все село безъ хлѣбушка сидитъ... Въ каждинной избѣ хворый, либо два... На погостъ то и знай таскаютъ... А съ чего? — съ голодухи... Подани еще за первую половину, за осеннюю, не внесёны, а тутъ ужъ за другую гонять... Что-жъ... по неволѣ уйдешь, куда глаза глядятъ, не токмѣ въ Томскую...

— Вѣдь онѣ у всѣхъ однѣ — воля-то!.. А вотъ мы терпимъ... Хошь тяжело, кто объ этомъ говорить, а все живемъ...

— Земельки-то у васъ побольше, братикъ ты мой...

— Какое ужъ тамъ!.. Въ одномъ полѣ сороковая, а въ двухъ по тридцаткѣ...

— Э!.. — протянулъ насмѣшливо ходокъ, — это вы жители... Еще никакъ лѣску малость есть?.. А вы вотъ поживите-ка по нашему: полъ-тридцатки въ клину, окромя ни лѣсу, ни выгона... Да земля-то дерьмо!.. Прокормись тутъ-то... Мы скотинку-то почитай съ самаго посѣва на зеленяхъ держимъ, — пустить некуда... ужъ и такъ она, сердешная, извелась совсѣмъ... Зимой опять: не то ей дать соломки-то, не то избу истопить — ребятишекъ обогрѣть... Одно слово — горе!.. Весной, честь-честью, выѣдешь въ поле съ сохою, а пахать-то и не на чемъ... Свою еще туда-сюда, какъ-нибудь съ грѣхомъ пополамъ вскопыряешь, а вотъ какъ придется барину аль купцу отработывать зимнюю наемку, — ну, и плачь... Вотъ она, жизнь-то какая!.. Иной разъ такъ-то и земельку повинишь, что, молъ, хлѣбушка не рожаетъ, а иной разъ и подумаешь: съ чего ей, матушкѣ, рожать-то?.. Такъ-то, братикъ ты мой...

— А, небось, кабакъ полонъ? — скептически замѣтилъ сторожъ, сплевывая сквозь зубы и расправляя чубукомъ трубки свои сѣдые усы.

— Извѣстно полонъ, — горячо заговорилъ ходокъ, — небось, братъ, какъ горе-то навалится, не токмѣ что въ кабакъ, въ прорубь забѣжишь... Кабы оно, горе-то, какое часовое, наносное, такъ взялся бы за умъ, да опять справился... А то нонѣ голодаешь, а завтра еще пуще... Нонѣ у те коровенку ведутъ съ двора, завтра овецъ послѣднихъ... Нонѣ хорошъ годокъ, да къ посту хлѣбушка нѣту-ти, а завтра онъ и вовсе може не родится... Вотъ оно что въ кабакъ-то гонитъ, милый ты человѣкъ... Горе-то оно вѣковѣшное... съ шеи-то его не скопнешь: хошь ходи въ кабакъ, хошь въ ротъ капли не бери, все едино... хошь рабо-

тай, хошь плюнь... А вино, самъ знаешь, память отбиваетъ: море по колѣно... Вотъ его мужичокъ-то и любитъ... А ужъ коли онъ въ достаткѣ—въ кабакъ не пойдетъ: шкаликъ-то какой дома выпьетъ... Извѣстно, ужъ пьянство—плохая статья, да сердце-то свое человѣкъ переломить не можетъ, братикъ ты мой, а сердце-то у него въ частую кровью обливается... Ну, вотъ онъ ее и душитъ...

— Ну, правда,—продолжалъ онъ, снова впадая въ добродушный тонъ,—много есть и балуются, особливо молодые парни... Есть такіе—стащитъ что попало да въ кабакъ... У насъ, лѣтось, одного мальчика осудили—въ церкву залѣзъ... Ну, это, я такъ полагаю, отъ кабатчиковъ больше—сомущаютъ... А малый молодой, пожить-то хочется, ну, и липнетъ ровно муха къ меду... Эхъ, грѣхи, грѣхи!

— Что же это у васъ земельки-то обмалковато?—перебилъ ходока сторожъ.

— Да мы встарину-то лѣсомъ владали—Будиловскимъ боромъ... Безъ мала-двѣ тыщи десятинъ было... Да лѣсъ-то тотъ у насъ отбили...

— Какъ же такъ? — заинтересовался сторожъ.

— То-то все простота... Ишь ни плантовъ, ни докумéнтовъ нѣту-ти: лѣтъ, може, шестьдесятъ тому, брали ихъ въ судъ, они тамъ и стори, — въ тѣ поры вся архива сгорѣла... А лѣсъ-то былъ намъ закрѣпленъ царицей Катериной — грамата отъ ней была: владать намъ вѣки вѣшные Будиловскимъ боромъ...

— Что-жъ, вы хлопотали?

— Какъ-же не хлопотать!.. Я разовъ пятокъ въ Питерѣ-то побывалъ, все по-пусту!.. Тысячи три только своихъ приложили... Въ конецъ разорились... Знамо дѣло... Кабы другой кто захватилъ, глядишь и взяло-бы наше... — Ходóкъ сокрушительно вздохнулъ; — теперь одинъ конецъ: новыя мѣста... А то хоть ложись да помирай... Міръ такъ и присудилъ: коли я облюбую землю, дворовъ тридцать сразу переселить, а остальныхъ года черезъ два...

— Кому-жъ ваша-то земля останется?

Ходóкъ пренебрежительно махнулъ рукой.

— Пускай кто хочетъ беретъ... Толку-то въ ней немного—почитай сто лѣтъ пашется безъ навоза... Може купецъ какой засядетъ да подъ степь пуститъ, гурты отгуливать... Пускай ужъ разводятся, видно ихъ, толстопузыхъ, царство пришло...

Въ тонѣ ходока задрожали злобныя нотки...

Говоръ затихъ. Сторожъ все покуривалъ трубочку и по-

плевывалъ. Ходокъ вздыхалъ и тяжело ворочался въ глубинѣ палатей.

— Что-то отецъ Аѳанасій нейдетъ, — пора бы и заутреню начинать?—заговорилъ сторожъ. Ходокъ отвѣтилъ ему что-то, и опять сдержанный говоръ послышался съ палатей. Но я ужъ не вслушивался въ этотъ говоръ: дрема одолѣла меня...

Когда я проснулся, въ оконце, густо запушенное морозомъ, тускло брезжилъ розовый разсвѣтъ. Ходокъ стоялъ среди избы и, благоговѣйно кладя поклоны, молился.

«Господи, владыко живота моего, — разносилось въ полусумракѣ сторожки, — духа праздности, унынія, любоначалія, празднословія, не даждь ми... духа же цѣломудрія, смиренномудрія, терпѣнія, любви даруй ми рабу твоему... Ей, Господи, Царю, даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія, и не осуждати брата моего»...

Я съ любопытствомъ оглянулъ молящагося. То былъ высокій, сгорбленный старикъ съ огромной лысой головою, съ бородою вплоть до пояса... Лицо было крайне простое и добродушное; въ тихихъ, голубыхъ глазахъ свѣтилась какая-то трогательная, дѣтская наивность...

На лавкѣ, прикорнувъ къ какой-то кадушкѣ, совсѣмъ одѣтый, спалъ мальчикъ лѣтъ двѣнадцати; на его бѣлокурой, кудрявой головкѣ, на его полуоткрытомъ, румяномъ ртѣ, почивало то же добродушіе, та же беззавѣтная наивность, что поражала такъ въ лицѣ ходока. Это былъ его внучекъ, съ которымъ онъ ѣхалъ до станціи и едва не замерзъ.

Въ сторожку стали набираться говѣльщики. Попъ что-то запоздалъ: къ заутрени заблаговѣстили, когда ужъ я выѣхалъ изъ Яблонца.

На дворѣ совершенно распогодилось. Ни одно облачко не застилало синяго неба. Широкое, сугробистое поле такъ и алѣло подъ лучами только-что поднявшагося солнца. Крѣпко морозило. Отдохнувшія лошади, отфыркиваясь и прядая ушами, неслись какъ вѣтеръ. Колокольчики пѣвуче будили степную тишь въ перемежку съ торжественными звуками Яблоновскаго колокола. Откуда-то, издалека, еще доносился колокольный гулъ... Даль сверкала и сливалась съ сверкающимъ небомъ... Чуть видно искрился крестъ на какой-то церкви... Позади насъ, за Яблонцемъ, въ сторону Битюка, чернѣлся лѣсъ и опять искрились два, три креста... А за лѣсомъ тонуло въ алыхъ лучахъ Красноярье,

раскинутое на горѣ, синѣлъ Тамлыкъ, до избъ котораго не добрались еще солнечные лучи, успѣвъ только зарумянить крутые столбы дыма, прихотливо поднимавшагося изъ трубъ...

Какая-то чистая, здоровая свѣжесть обнимала меня... Что-то бодрое, беззавѣтно-смѣлое словно разливалось по жиламъ...

Яковъ похлопывалъ рукавицами и весело покрикивалъ на лошадей. Григорій отсталъ, и не спѣша трусилъ на своей косматой лошаденкѣ.

II.

ОТЪ ОДНОГО КОРНЯ.

Невесело живется на глухомъ, степномъ хуторѣ въ позднюю, непогожую осень. Хлѣбъ ужъ обмолоченъ, а пожалуй проданъ и отпущенъ, работъ по хозяйству никакихъ нѣтъ, или и есть да черезъ-чуръ не затѣйливыя—такъ около двора больше: защитить хлѣвы камышемъ, прикрыть кое-гдѣ крышу, вотъ и все. Сиди въ четырехъ стѣнахъ, читай если есть что, думай если есть объ чемъ, спи... А когда надоѣстъ все это, выйди за хуторъ да оглядывай широкій, степной просторъ: не чернѣются ли гдѣ, на далекомъ горизонтѣ, лошадки, не ползетъ ли кто изъ знакомыхъ раздѣлить скуку... И—Боже мой, что за радость обниметъ хуторянина, если и въ самомъ дѣлѣ приползетъ какой-нибудь сосѣдъ!.. Будь тотъ сосѣдъ хоть ненавистнѣйшій человѣкъ, онъ смѣло можетъ разсчитывать на радушный пріемъ у одурѣвшаго съ тоски и скуки хозяина.

Лѣтъ шесть тому назадъ мнѣ пришлось на своей кожѣ испытать всю прелесть поздней осени, да какой осени!.. Дождь лилъ не два, не три дня, не недѣлю наконецъ, а цѣлыхъ два мѣсяца. Казалось, не было конца ему. Наступилъ ужъ ноябрь, затѣмъ и онъ сталъ подходить къ концу, а не было и признаковъ зимы. День и ночь низко ползли хмурыя тучи надъ грязными, унылыми полями, въ воздухѣ стояла какая-то гнилая, непріятная теплынь, и съ утра до вечера моросилъ мельчайшій дождь. Земля переставала всасывать въ себя воду. Дороги казались ужъ не дорогами, а сплошными узкими и безконечно длинными болотами, по которымъ шагу нельзя было ступить. Скирды немолоченнаго хлѣба, и омёты не чисто вымолоченной соломы покрылись густыми зелеными всходами: поросли. Озими начинали подопрѣвать... А зима словно сгинула...

Невесело жилось въ деревнѣ, а ужъ про мой, заброшенный въ степи, хуторокъ, отстоящій отъ ближняго поселка болѣе четырехъ верстъ, и говорить нечего...

Проснешься утромъ, по стекламъ маленькихъ оконъ методично стучатъ дождевыя капли, въ комнатѣ какой-то непріятный, кислый полумракъ,—ни свѣтъ, ни тьма,—ну, думаешь, должно быть еще рано... Нѣтъ, какой тамъ рано! — ужъ стрѣлка на часахъ приближается къ десяти... Глазамъ вѣрить не хочется...

— Семенъ! или ужъ поздно?—тоскливо взываю я.

— Да ужъ не рано, Николай Василичъ. У меня и самоваръ давно готовъ—два раза уходилъ,—отвѣчаетъ Семенъ изъ-за перегородки.

— Ахъ, ты Боже мой!.. А дождь не переставалъ? спрашиваю я, хотя и самому мнѣ отлично видно, что по стекламъ безпрерывно стекаютъ дождевыя капли, но такъ ужъ само собой спросилось: авось, молъ, это мнѣ только кажется, что на дворѣ ливень, а на самомъ-то дѣлѣ его и нѣту,—можетъ быть, съ пелены, мокрой отъ вчерашняго дождя, льется вода по стекламъ...

— Какой вамъ переставалъ! — сокрушительно докладываетъ Семенъ;—всю ночь-ноченскую шелъ, а съ утра-то словно еще пуще... И откелева только онъ берется, прости Господи!.. Всѣ аметы насквозь пролило...

— Иль глубоко?

— Мы, давишь, еле дорылись до сухого-то...

— А вѣдь это плохо!

— Чего ужъ...

— Вотъ то-то низко клали-то... Говорилъ вѣдь я — повершить-бы еще разокъ, такъ нѣтъ: больно высоко, таскать носилки тяжело!.. Вотъ тебѣ и тяжело...

Семенъ энергично гремитъ стаканами. Повидимому, разговоръ становится ему непріятенъ. Ну, и ладно...

Пью чай и курю, курю и хожу по своей небольшой комнаткѣ, хожу и думаю: хорошо бы пріѣхать кому теперь... И представляется мнѣ, что, пожалуй, кто-нибудь и пріѣдетъ... Кому бы пріѣхать? Можетъ, Егоръ Василичъ соберется и притащитъ съ собою гитару и карты?.. Славно бы время провели... Споемъ мы съ нимъ меланхолическими голосами: «Среди долины ровныя», или «Вѣютъ вѣтры», подъ печальное треньканье гитары, затѣмъ, пожалуй, и удалую начнемъ: «Ахъ вы сѣни мои»... или что-нибудь подобное, и по обыкновенію не кончимъ: какъ-то не ладятся у насъ веселыя пѣсни... Поговоримъ о томъ, что когда-же это, молъ, пойдутъ морозы и наступитъ зима, поскорбимъ о судьбѣ

несчастныхъ бзимей, о бездорожьѣ, о вздорожаніи бакалейныхъ закусокъ... Позѣваемъ, повздыхаемъ сокрушительно, закусимъ чѣмъ Богъ послалъ, а на сонъ грядущій сыграемъ по маленькой въ преферансъ съ болваномъ, и по окончаніи игры аккуратно запишемъ должокъ мѣломъ на притолкѣ. На наличныя мы не играемъ съ Егоромъ Василичемъ: человѣкъ онъ разсчетливый и копѣйку бережетъ...

А то и Андрей Захарычъ заѣдетъ и выложитъ новости со всего уѣзда. Разскажетъ, почему Танюхинскій цѣловальникъ, завѣдомый воръ и грабитель, отъ острога избавился, свяжетъ причину этого избавленія съ новой шляпкой предсѣдательши Лупоглазовой, или съ воронымъ битюгомъ, недавно пріобрѣтеннымъ самимъ предсѣдателемъ. Сообщитъ новый анекдотъ о Храпоткинѣ, мѣстномъ помѣщикѣ и женихѣ, замѣчательномъ своею глупостью и громаднымъ животомъ... Передастъ свѣжеиспеченную остроту исправника Демокритова, или смѣхотворнѣйшую выходку нашего enfant terrible'я Микульскаго... Не забудетъ и про то, что мать протопопица тройню родила, въ Головлевѣ на крестинахъ попъ костью подавился, а въ Ольховаткѣ дьяконъ съ женой подрался и ради этой причины въ набатъ ударилъ, чѣмъ всеконечно несказанно всполошилъ все село... Все, все разскажетъ! И опять-таки славно проведемъ время...

Не мудрено, что и Семенъ Андреичъ приплетется и ужъ непремѣнно захватитъ новыя газеты,—журналами онъ пренебрегаетъ и никогда ихъ не выписываетъ, развѣ когда съ картинками... Ну, ужъ это человѣкъ умственный и о протопопицѣ говорить не станетъ... Съ нимъ мы и Макъ-Магона продернемъ, и прохвосту Гамбеттѣ надлежащую встрѣпку воздадимъ... Не забудемъ и австрійскаго премьера, и желѣзнаго канцлера... Примемъ во вниманіе и министерство новое въ Турціи, и волненія въ Герцеговинѣ. Какъ? что? почему? чѣмъ кончится?.. Однимъ словомъ, все содержимое добраго десятка газетныхъ нумеровъ съ подобающимъ глубокомыслiемъ взвѣсимъ, значеніе этого содержимаго для судебъ Европы вообще и Россіи въ частности опредѣлимъ, и о будущемъ помечтаемъ, причемъ сладко вздохнемъ и сплюнемъ, какъ обыкновенно дѣлается, когда мерещатся бифштексы на голодный желудокъ... Поскорбимъ слегка и о настоящемъ, однако съ достодолжной осмотрительностью и съ надлежащей примѣсью упованія... Вообще славно проведемъ время...

А что если всѣ трое?.. Что если?.. Вотъ бы... Я радостно вздрагиваю и начинаю усиленно ходить и курить... Того гляди пріѣдутъ... Отчего же имъ и не пріѣхать?..

— Эка льетъ-то батюшка! вздыхаетъ Семенъ за перегородкой. «Гм... льетъ... А вѣдь и въ самомъ дѣлѣ льетъ!» И я гляжу упорно въ окно, а за окномъ будто какія нити тянутся съ верху, и нѣту тѣмъ нитямъ конца. Очевидная нелѣпость моихъ предположеній встаетъ предо мною во-очію... Радостное ожиданіе смѣняется какою-то лѣнивой злобою, и опять хожу и курю, хожу и курю... Туманъ въ глазахъ, туманъ въ головѣ, во рту какая-то горькая, вяжущая скверность, на сердцѣ—тоска... А дождикъ—тукъ-тукъ, тутъ-тукъ... А маятникъ: тикъ-такъ... тикъ-такъ... И главное—все это постукиваетъ не спѣша, размѣренно, хладнокровно... Именно хладнокровно, какъ будто такъ думая: къ чему спѣшить, торопиться, времени у насъ довольно на то, чтобъ свести съ ума любого миндальника-оптимиста... О, Господи...

Съ Семеномъ бы, что-ли, поговорить?... Да объ чемъ съ нимъ говорить... Сгорѣли «они» до тла въ позапрошломъ году.—Знаю... Мальчишку-пятилѣтка у него лошади задавили.—Знаю... Жена къ Чумакову прикащику сбѣжала.—Знаю... Міръ цѣловальнику надѣлъ отдалъ въ аренду за недоимки.—Знаю... Чахотка у него развивается. Работать онъ почти не можетъ.—И это знаю... Все знаю... И не о чемъ мнѣ говорить съ Семеномъ.

Порывисто беру какую-то книжонку и начинаю читать. Нѣтъ—темно. То-есть оно, пожалуй, и не совсѣмъ темно, читать-то и можно бы, но... О, Господи!...

Съ твердою рѣшимостью, вѣроятно нѣсколько удивившею Семена, преспокойно подшивавшаго подметку къ старому сапогу, я напяливаю кожаное пальто и выхожу за хуторъ. Дождь какъ будто поутихъ; по крайней мѣрѣ онъ ужъ не льетъ, а только мороситъ, то-есть стоитъ въ воздухѣ въ видѣ мельчайшей пыли... Дуетъ влажный, пронизывающій вѣтеръ, наклоняя къ землѣ мокрый бурьянъ на межахъ, щетиня соломенную крышу хуторскихъ построекъ... До далекаго подернутаго легкимъ туманомъ горизонта, тянется ровное какъ скатерть, грязно-желтое, печальное, непривѣтное поле... Ни деревушки, ни кустика, ни бугорка... Все это появляется на горизонтѣ только въ ясные дни.

Около самаго хутора пролегаетъ неглубокая ложбина, въ которой шумитъ и трепещется мокрый камышъ. Невдалекѣ, въ этой же самой ложбинкѣ, морщится маленькими, грязноватыми волнами узенькій прудокъ, запруженный полуразмытой плотиной, которую только, кажется, и сдерживаютъ своими корнями молодыя ветёлки, сиротливо распростирающія по сырому воздуху свои мокрыя, голыя вѣтви... У пруда—небольшой лужокъ съ поблек-

шей травою, низко прибитой къ землѣ долгими, непрерывными дождями.

И надъ всѣмъ этимъ нескончаемой вереницей тянутся угрюмыя, синеватыя тучи...

И такъ-то изо-дня въ день, изо-дня въ день!

Въ одинъ изъ такихъ сумрачныхъ дней, когда я только-что начиналъ пить свой утренній чай, совершенно неожиданно скрипнула дверь и за перегородкой послышался тихій голосъ:

— Дома хозяинъ-то?

— Гдѣ-жъ ему быть?—вопросомъ же отвѣтилъ Семенъ.

— Кто тамъ?—спросилъ я, внезапно воспрянувъ духомъ.

— Мы, Миколай Васильевичъ,—вваливаясь въ комнату отвѣтилъ мнѣ неожиданный гость. Это—былъ мужикъ изъ сосѣдней деревушки Березовки, Василій Миронычъ. Я, конечно, обрадовался ему, какъ только можетъ обрадоваться человѣкъ, почти обезумѣвшій со скуки. Мы сейчасъ же вплотную подсѣли къ самовару и завели длиннѣйшіе разговоры. Но прежде разскажу, что̀ за мужикъ былъ Василій Миронычъ.

Ему было лѣтъ за пятьдесятъ. Благообразное, умное лицо, обросшее большой свѣтлорусой бородой, степенная, тихая рѣчь, открытый взглядъ серьёзныхъ сѣрыхъ глазъ—все это располагало въ его пользу, заставляло, если не чувствовать къ нему особой симпатіи, то уважать его, а главное—вѣрить ему, его всегда строго обдуманнымъ и непремѣнно имѣющимъ какое-нибудь практическое значеніе разсказамъ, совѣтамъ и разсужденіямъ. Именно—практическое значеніе, потому что всѣ его разсказы, совѣты и разсужденія вертѣлись исключительно на почвѣ непосредственной, такъ-сказать, осязательной пригодности. Все, что̀ ни соприкасалось съ этой пригодностью—не пользовалось его уваженіемъ. Оно было либо лишнее и вообще «блажное», либо такое, о которомъ намъ, темнымъ и грѣшнымъ людямъ, говорить не слѣдъ. Однимъ словомъ, онъ былъ не изъ тѣхъ, которые, мечтая о журавлѣ въ небѣ, выпускаютъ синицу изъ рукъ. Мнѣ даже всегда почему-то думалось, что и эта пословица, а также и много иныхъ въ такомъ же духѣ,—въ родѣ «своей рубашки» и «всякъ за себя»—выдумана и пущена въ ходъ непремѣнно Василіемъ Миронычемъ. Не этимъ, не Березовскимъ, конечно, а другимъ, который, можетъ быть, во времена удѣльныхъ междоусобицъ проживалъ гдѣ-нибудь около Твери, либо Рязани...

Вотъ за эту-то «синицу» я хотя и уважалъ Василія Миро-

ныча, но любить его не могъ,—просто инстинктивно не могъ любить... Странно, что не я только одинъ относился такъ къ Василію Миронычу. И на міру его уважали, даже отчасти побаивались, почти всегда слушали, но любить опять-таки не любили.

— Каковъ мужикъ Василій Миронычъ?—спросишь, бывало, какого-нибудь Березовскаго обитателя, и обитатель, не задумываясь, отвѣтитъ:

— Мужикъ умнѣйшій... Обстоятельный мужикъ...

Другой, пожалуй, прибавитъ: «ума—палата», «дѣляга», «кремень», даже «справедливымъ» мужикомъ назоветъ, но никогда не отзовется какъ о «душевномъ человѣкѣ», о «мірскомъ». Купцы и помѣщики почему-то звали его «сѣрымъ министромъ».

Мужикъ онъ былъ зажиточный. Богаче его, кажется, не было въ Березовкѣ; впрочемъ, нужно добавить, что быть первымъ богачомъ въ Березовкѣ значило не очень много. Было у него штукъ пять лошадей,—правда, очень порядочныхъ, мѣстной битюцкой породы,—двѣ или даже три дойныхъ коровы, съ полсотни овецъ, рига, изба-двойня. Были и деньжонки, хотя, конечно, по нашему очень небольшія—сотни три, четыре—но по крестьянству не-малыя. Онъ каждый годъ снималъ у меня десятинъ по семи подъ посѣвъ, а плательщикомъ былъ исправнымъ. Были въ немъ и торговыя замашки. Такъ, недавно выстроилъ онъ рушку, а къ ней пристроилъ и помольный поставъ. Мельницы водяныя отъ насъ не близко, а потому дѣло его пошло хорошо. При постройкѣ рушки онъ былъ самъ за мастера, а ужъ откуда научился этому мастерству, требующему немалыхъ познаній, сказать положительно не могу... Слышалъ я какъ-то, что жилъ онъ исключительно для этой выучки гдѣ-то на мельницѣ простымъ работникомъ, но жилъ очень не долго. Я думаю, что поставилъ онъ рушку и пустилъ ее въ ходъ только съ помощью своей необыкновенно острой смѣтки и какой-то врожденной способности къ математическимъ вычетамъ и разсчетамъ.

Впрочемъ, слово «необыкновенный» я, пожалуй, употребилъ неправильно. Въ средѣ торговыхъ мужиковъ, мѣщанъ и тому подобныхъ людей, которыхъ принято называть теперь всѣхъ вообще «кулаками», эта самая смѣтка и эта способность къ чисто математическимъ вычисленіямъ встрѣчаются очень часто.

— Вотъ бѣда съ осенью-то, Василій Миронычъ!

— Что подѣлаешь—божеское произволеніе!..—сокрушительно вздохнулъ Василій Миронычъ, отирая чистымъ ситцевымъ платкомъ вспотѣвшее лицо.

— Зеленя-то, кажется, подопрѣваютъ...

— Какъ не подопрѣвать, извѣстно—подопрѣваютъ... Кабы знато, сѣвъ-то попозднѣй бы начать...

— Да я и не знаю, Василій Миронычъ, къ чему спѣшили? Вѣдь вы, вонъ небось, еще до перваго Спаса ржи-то свои отсѣяли...

Василій Миронычъ сдержанно улыбнулся.

— Нешто угадаешь?.. Извѣстно, такъ огадывали: поранѣй посѣешь, зеленя-то будутъ кустистѣй, анъ по заморозкамъ скотинѣ кормъ... Вотъ вышло-то не по-нашему...—Меня и то попрекаютъ, сѣвомъ-то,—добавилъ онъ.

— Кто?

— Свои, мужики. Мы, бывало, раньше Успенья не сѣвали... Такъ ужъ изстари... А нонѣ, какъ на грѣхъ, я и начни до перваго Спаса, ну, за мной и всѣ... А теперь вотъ... Просто горе!..

— Ну, чѣмъ же ты-то виноватъ!

— Подишь ты вотъ!.. А тутъ какъ на-смѣхъ Трофимъ... знаешь?

— Кузькинъ, что-ль?

— Ну, ну... Такъ онъ обаполъ Ивана Постнаго отсѣялся—какъ, говоритъ, старики сѣвали, такъ и я,—не дураче насъ были...

— По его и вышло?

— По его и вышло! засмѣялся Василій Миронычъ;—зеленя-то у него еле-еле землю закрыли, ну, и ничего — не прѣютъ... Мужики-то и сбились на его сторону... Извѣстно, что̀ мужикъ? мужикъ—дуракъ!.. Куда вѣтеръ потяня—туда и онъ...

Было замѣтно, что Василій Миронычъ засѣлъ на своего любимаго конька. Онъ хотя и не горячился, но говорилъ съ замѣтнымъ одушевленіемъ; я, конечно, старался почти не прерывать его: благо разговорился, что̀ съ нимъ бывало не часто.

— И вотъ я тебѣ скажу, Миколай Василичъ, не дай-то Господи въ мірскія дѣла встревать... Окромя худого, ничего не выйдетъ... Одно огорченіе...

— Да какое же огорченіе, Василій Миронычъ? Что-то я не соображу...

— Какъ какое? Такъ скажемъ—одинъ убытокъ... Пытали мы эфто!..

Василій Миронычъ опять отеръ потъ, обильно проступавшій на его высокомъ лбу, и попросилъ налить еще стаканчикъ.

— Годковъ десять, пожалуй, будя, еще ты на хуторѣ-то на эфтомъ не сидѣлъ, и занеси меня нелегкая въ ходоки... повѣ-

ренные, то-ись,—поправился онъ.—И что́ я грѣха претерпѣлъ, скажу тебѣ—страсть!..

Я недоумѣвающе взглянулъ на него.

— Ну, ужъ и грѣха?

— А ты ка́къ думалъ?.. Одно слово—склыка... Возьмемъ, къ примѣру, подводу. Надоть куда по мірскому дѣлу ѣхать—подводы нѣтъ!.. Бьешься, бьешься... И къ старостѣ-то, и къ десятскому,—нѣтъ тебѣ подводы да и шабашъ!.. Иди, молъ, къ Прохору, его черёдъ... А къ Прохору придешь, не мой чередъ, говоритъ, я онадысь свой отбылъ: къ становому сотскаго возилъ... Ступай къ Аношкѣ!.. А у Аношки глядишь одна кобыла да и та ожеребилась только... Что̀ ты подѣлаешь?.. А ужъ чтобъ за Аношку кто поѣхалъ и въ умѣ не держи!.. Не такой народъ... Да такъ-то ходишь, ходишь, бывало, по порядку, да ни съ чѣмъ и воротишься... Ахъ, пусто бы вамъ!.. Вѣдь разъ, что̀ ты думаешь, такъ и отмахалъ на своихъ на двоихъ до города!

— Это пятьдесятъ верстъ-то?

— А какъ ты думалъ!.. Вотъ онъ міръ-то...

— Да ты бы ужъ свою-то лошадь?..

— Съ чего-жъ эфто убыточиться-то?—съ легкимъ оттѣнкомъ обидчивости возразилъ Василій Миронычъ:—это, надо прямо сказать, расточителемъ быть свово добра... Ты ее оторвешь, лошадь-то, отъ работы—анъ рупь... Да еще кое время... А то и цѣлковымъ не отдѣлаешься... Ихъ, цѣлковыхъ-то, на добрыхъ людей не напасешься!..

Василій Миронычъ попросилъ налить еще стаканчикъ.

— Аль теперь возьми ты сходку... тоже міръ собрался... міръ,—повторилъ онъ иронически,—а я такъ полагаю, одинъ эфто безпорядокъ и больше ничего... Теперь мы съ тобой... Аль купцы гдѣ соберутся... по дѣламъ. Одинъ говори, другой слушай... А тамъ другой заговорилъ... На мой сгадъ кабыть такъ. Теперь—сходка... Кто во что горазъ!.. Тотъ свое горланитъ, тотъ свое...—Рази это порядокъ?.. Одна смута...

Я вполнѣ согласился съ нимъ.

— А ужъ поналягутъ въ чемъ — сполняй!.. У тебя можа дѣла́ — посѣвъ тамъ на сторонѣ, аль комерція какая торговая, а ты съ бадикомъ по окнамъ ступай: десятскимъ, аль становому самовары ставь; да эфто еще не бѣда—хорошему человѣку услужить,—мгновенно поправился Василій Миронычъ;—міръ, молъ, порѣшилъ—скоряйся!..

— То-ли вотъ купецкое дѣло!—ни тебѣ міръ, ни тебѣ...

— Да вѣдь и у нихъ и общество, и выборы, и все...

— Что обчество!.. Сравнилъ... У нихъ такъ: захотѣлъ ты тамъ, ну къ примѣру въ головы, аль куда, ну обчество... А не захотѣлъ—живи себѣ особнякомъ... Заплатилъ тамъ, что причитается, и святъ... Ни ты кого, ни до тебѣ никому дѣловъ нѣту... А вѣдь тутъ, ты то подумай,—связа!.. Ты хочешь на гору, а самое это обчество-то тебя за ногу, да за ногу... Никакого антересу нѣту... Ну, возьми теперь землю. Кабы особнякъ-то у меня былъ, что мнѣ?.. Въ разъ бы я ее и навозцемъ угодовалъ, земельку-то, и ветёлочекъ бы насадилъ кое мѣсто, а посѣялъ-то бы чѣмъ хотѣлъ... Ну, а теперь — шалишь! Я вотъ въ позапрошломъ году гречишки малость посѣялъ,—такъ, осьминникъ, — такъ что-жъ ты думаешь, вѣдь такъ и сгинула дуромъ!..

— Вотъ тебѣ на! какъ же это она сгинула?

— А вотъ распорядки-то наши мужицкіе все... міръ-то эфтотъ... обчество-то...

Василій Миронычъ даже разсердился.

— Да что же съ гречихой-то сдѣлалось?

— Скотина разбила...

— А пастухи-то чего-жъ глядѣли?

— А пастухамъ что?.. Кабы свое, ну—такъ... Да что пастухи... Ихъ тоже винить нечего... Одно дѣло — не углядишь, особливо свинью, а другое... Вольно ему, говорятъ, гречиху сѣять, коли во всемъ клину ее нѣтъ... ради его осьминника не проклажаться тутъ... Что подѣлаешь-то?—міръ!.. А я еще, признаться, гречишки-то у Чумакова, Пракселъ Алкидыча, двѣ мѣрки выпросилъ, на сѣмена... Ужъ такая-то ядреная была, такая-то ядреная!..

Василій Миронычъ легонько вздохнулъ и опрокинулъ верхъ донышкомъ порожній стаканъ.

— Э-э... ты что же это, любезный?..

— Что, Миколай Василичъ, признаться распарился—не въ моготу...

— Ну, вотъ тамъ, распарился!..

Я опять сталъ наливать ему.

— Ну, что съ тобой дѣлать, чай пить — не дрова рубить... Наливай видно еще!..

— Вотъ ты, Василій Миронычъ, все толкуешь, что вашъ мірской порядокъ не хорошъ, особнякъ лучше, молъ... Ну, какъ же ты тогда хоть съ скотиной-то обошелся бы?

— Это ты на счетъ чего? На счетъ кормовъ, что-ль?..

— Да. Теперь вотъ гуляетъ она стадомъ по всей мірской

землѣ, ей и способно, а какъ же она будетъ вертѣться на пяти-то десятинахъ, на особнякѣ-то?

— Зачѣмъ вертѣться... Да я у тебя же корма̀ сниму... Были бы деньги, а то кормовъ хватитъ... Еще по-вольнѣй мірскихъ.

— Ну, ты, положимъ, снимешь, а другой-кто? Ему, можетъ, не на что, снять-то?

Василій Миронычъ удивленно взглянулъ на меня.

— Заработаетъ... запашетъ тамъ, аль еще чего сработаетъ...

— Заработокъ на другое нуженъ... А вотъ на корма-то нѣту?..

— А кому какое дѣло? Наживи... Кто не велитъ... Я, вѣдь, нажилъ, ну, и онъ наживи...

— А можетъ у него въ башкѣ-то по-меньше твоего,—нажить-то?.. Иль счастья ему нѣтъ...

Василій Миронычъ окончательно разсмѣялся.

— И вздумалъ что, Миколай Васильичъ!.. Ахъ-ха-ха!.. Теперь, по-твоему, выходитъ, ежели, значитъ, у тебя есть, а у меня нѣтъ, такъ пополамъ?.. Ахъ-ха-ха!.. Ну, путникъ!..—Василій Миронычъ даже блюдечко съ чаемъ опустилъ на столъ, чтобъ не обжечься.—Это, значитъ, ты будешь спину мозолить, а я спать до отвалу, и чтобъ заработокъ по-ровну?.. Ай да, Миколай Василичъ, ловокъ...

Василій Миронычъ такъ непринужденно и добродушно смѣялся, что и я не утерпѣлъ—тоже засмѣялся.

— Ну, вы-ы-думалъ...

— Постой, постой, Василій Миронычъ!.. Погоди смѣяться... Ты что это такъ, за-даромъ, съ бухта-барахта нищему подаешь? Можетъ, онъ спитъ себѣ, когда ты ему на краюху хлѣба-то наработаешь, спину мозолишь?

Василій Миронычъ сразу пересталъ смѣяться, и отвѣчалъ мнѣ ужъ совершенно серьёзно.

— Это особь-статья... то—старчикъ, а то...

— А ты ему что за работникъ, старчику-то?

— Нѣтъ, Миколай Василичъ, ты не туда ведешь... Ежели я старчику подамъ, это ужъ все одно, къ примѣру, какъ для души... спасенье, и все такое... Тутъ совсѣмъ иное дѣло... Такъ-сказать надо—божественное... Мы Бога помнимъ, и старчику завсегда съ нашимъ удовольствіемъ... Не разорить... Это ты, Миколай Василичъ, прямо надо сказать, не къ дѣлу...

Василій Миронычъ принялся допивать отставленное-было блюдечко.

— Теперь я землепашество совсѣмъ забросить хочу, Миколай Васильичъ,—послѣ продолжительнаго молчанія заговорилъ онъ, развязывая кумачный шейный платокъ и осторожно вѣшая его на спинку стула;—хочу маслобойку завесть, да свиньенокъ набрать малость, въ кормъ...

— Что-жъ, дѣло хорошее; выйдетъ ли толкъ-то? Говорятъ, съ масломъ плохія дѣла стали.

— Это вѣрно, что плохія,—равнодушно проронилъ Василій Миронычъ.

— А коли плохія, такъ зачѣмъ же заводить?—удивился я.

Василій Миронычъ снисходительно усмѣхнулся.

— Наше дѣло-то не тó, Миколай Василичъ!.. Наше дѣло маленькое... Ну, а маленькое-то, пожалуй, и пойдетъ себѣ...

— Мнѣ кажется, все равно: маленькое оно или большое,—масло-то не самому ѣсть, продавать надо, а оно вонъ—дешево!..

— Зачѣмъ самимъ ѣсть... Всего не поѣшь...—добродушно разсмѣялся Василій Миронычъ. Во время смѣха у него около глазъ показывались мельчайшія морщинки, что̀ производило очень пріятное впечатлѣніе.

— Ты такъ теперь возьми—сѣмя когда поспѣваетъ?

— Ну, извѣстно, поздно.

— Ну, а подать гонятъ? Въ одно, почитай, время? Такъ ли я говорю?.. Значитъ, деньги мужику надыть... А маслобоекъ-то у насъ вблизу нѣтъ, стало быть, самъ товаръ выбирай, самъ цѣну становь... подходитъ—нашъ, не гожается—вези куда знаешь... А то ишшо какъ можно пристроить... Ну, извѣстно, не съ нашими капиталами... Можно загодя деньги выдавать подъ сѣмя-то, особливо своимъ, деревенскимъ...

Я напомнилъ Василію Миронычу примѣръ сосѣда-арендатора, который, года три тому назадъ, завелъ маслобойню, и, несмотря на выгодную покупку сѣмени, бросилъ ее, но Василій Миронычъ не урезонился, хотя и не усмѣхнулся на этотъ разъ.

— Это Егоръ-то Василичъ?.. Опять—иное дѣло... Человѣкъ онъ не деревенскій, будь я на его мѣстѣ и не подумалъ бы маслобойку заводить... Потому по нонѣшнимъ временамъ да ежели въ эвтакомъ дѣлѣ кругъ большой, прямо надо сказать—пропастъ!.. А по малости ежели, съ осторожкою, ну, она и ничего... Вотъ нашему брату мужику идетъ... Потому мы въ селѣ...

Теперь хошь бы масло. Нешто я повезу въ городъ-то его продавать—своимъ добромъ называться, какъ Егоръ Василичъ?.. Я его дома, по селу оченно даже много распущу, масла-то... Знамо—не на деньги—въ долгъ... А возьму-то опять не деньгами, а либо работой, либо сѣмемъ, какъ барышнѣй... А то добромъ своимъ кланяться!.. Они, извѣстно, рады прижать нашего брата, купцы-то... Имъ это на руку...

Василій Миронычъ окончательно разгорячился.

— Теперь возьмемъ Егора Василича... Куда онъ жмыхъ дѣвалъ? — смѣхота... Коровъ выдумалъ кормить, чтобъ молока больше давали... А мнѣ что ее, корову-то, раскармливать, коли никакого антересу отъ евтаго нѣтъ?.. Шило на мыло переводить?.. Нѣтъ, шалишь! А купи онъ свинью, да купи-то опять-таки съ умомъ, потрафляй куда какая идетъ: коли къ нѣмцу, — на круглоту напирай, нужды нѣтъ, что невеликонька, въ Москву ежели—бери крупную и чтобъ не подлыжеватая была, а въ Доброе аль въ Лебедянь—опять иную... Вотъ и раскармливай ее, свинью-то! Свинья выручитъ... особливо по нонѣшнимъ временамъ, ишь ее какъ нѣмцы-то подчищаютъ, успѣвай подавать...

— Да, нѣмцы дѣйствительно цѣны на нее подняли, вотъ ужъ другой годъ, кажется, они къ намъ пріѣзжаютъ?..

— Другой. И теперь самыхъ этихъ нѣмцевъ никакъ упускать невозможно... Одно слово скупай и спушшай, скупай и спушшай... Свиньи хватитъ... Свинья, это прямо надо сказать — хлѣбъ!.. Это не корова... Да и уходъ за ей, самый, можно сказать, пустяшный... Далъ ей спервоначала лузги да мучицы малость... Заправилъ ее, да жмыхомъ, жмыхомъ-то... Нонѣ жмыху распарь, завтра — просянки, нонѣ — жмыху, завтра—просянки... Она выручитъ, братъ, она свое отдастъ!.. А то корова!.. какой отъ ей барышъ?—такъ, пустошь... Деньгамъ переводъ...—Вотъ и разочти, — немного успокоившись продолжалъ Василій Миронычъ,—кое масло, кое жмыхъ, кое рушка... помольный поставъ... Одинъ барышъ!.. Знамо—ужъ судержать себя нужно въ строгости, чтобъ... Ежели что въ долгъ зря... аль опять въ товарѣ передача... ну, тамъ работникамъ впередъ — ни — Боже мой!.. Одно слово надо съ умомъ... Да нонѣ опять и изъ эстаго хорошо... Какъ что, сичасъ въ волость... Ну, писарю тамъ... Старшинѣ... чтобъ, значитъ, рука... И ужъ тутъ безъ опаски. Да чего тутъ, — благодушно добавилъ Василій Миронычъ, — съ нашимъ народомъ еще можно жить... Съ пола-горя... Народъ, такъ надо сказать, не дюже набалованъ... Совѣсть знаетъ... Не то-што какой чтобъ оголтѣлый...

Особливо коли съ нимъ по правдѣ, по-божески... Кровь-то изъ ево не пить... А то вѣдь есть и нашъ братъ... Сущій Иродъ!.. Норовитъ тебѣ мужика-то по міру пустить...

Мнѣ показалось немного страннымъ сужденіе Василія Мироныча объ Иродахъ, на мгновеніе я было даже заподозрѣлъ его искренность въ защитѣ мужика, но одного взгляда на его лицо достаточно было, чтобы убѣдиться въ этой искренности. Вполнѣ убѣдиться...

— Одно вотъ сомущаетъ меня, Миколай Василичъ, грамотѣ я не обученъ...

— Я и то удивляюсь тебѣ, Василій Миронычъ, какъ это ты не забудешь своихъ счетовъ, не перепутаешь!..

— Это что говорить,—я памятливъ... Бога гнѣвить нечего... Только все-таки сподручнѣй бы... Особливо съ маслобойкой, — дѣло мелкое: кому фунтъ, кому полтора... Какъ тутъ запомнить!.. А въ эфтой мелочи, въ фунтахъ-то, самый барышъ и есть... Аль опять разсчетъ... Возьмемъ хоть свинью,—безъ разсчета съ ей никакъ невозможно... За много куплена, сколько проѣла, почемъ пудъ легла, какъ тутъ безъ грамоты-то сведешь?.. Просто иной разъ въ тоску вдашься... И на родителей-то, признаться, попеняешь: чтобъ хоть къ дьячку, все бы блажѣй... Не въ примѣръ способнѣй ежели письменному... Пыталъ я еще съ молодыхъ годовъ чтобъ самому обучиться... ну, цихярь одолѣлъ, да на томъ и сталъ... Гдѣ-жъ!.. ученье хорошо съ молоду... Вотъ теперь сынишку въ выучку отдалъ...

— Куда?

— Аль ты не слыхалъ? Вѣдь мы ученицу наняли...

Это для меня было новостью. Я зналъ, что Василій Миронычъ черезъ посредство своего знакомца, волостного писаря, хлопоталъ одно время въ земствѣ объ открытіи школы въ Березовкѣ, но хлопоты эти успѣхомъ не увѣнчались, несмотря на то, что Березовское сельское общество соглашалось не только дать помѣщеніе для школы, но даже платить часть жалованья учителю. О причинахъ этого неуспѣха толковали разно. Изъ компетентныхъ источниковъ мнѣ не удалось узнать объ нихъ.

— Гдѣ же вы розыскали эту учительницу? земство, чтоль, прислало?

— Какое те земство—пропадай оно совсѣмъ съ потрохомъ, —свою наняли!..

— Какъ же это такъ?

— Да какъ бы тебѣ сказать... съ недѣлю, чтоль... пожалуй, съ недѣлю. Сижу я у Гераськи въ избѣ, ужъ огонь засвѣтили,

глядь въ оконницу стучитъ кто-й-то... Ну, окликнули... просятся ночевать... Чьи будете, спрашиваемъ... Тамлыцкіе... Куда ѣдете? —Съ Воронежа, съ богомолья, барыня, ахфицерша... Пустили... Вошла она въ избу, разодѣлась... такая разбитная, хоть куда... Съ нами, это, съ разу разговоръ завела... Про хозяйство, хлѣбá... Одно слово — бой. Не изъ самыхъ такъ чтобъ изъ молодыхъ, а ничего... Отецъ, говоритъ, въ Тамлыкѣ трахтеръ содержитъ, вдовый... И она вдова: ишь за какимъ-то ахвицеромъ, что-ль, была... Гутаримъ, это, мы, а робятенки по-середь избы толкутся... Съ эстаго и рѣчь повелась... Что́ вы, говоритъ, робятъ грамотѣ не обучаете?.. Какъ же ихъ учить-то, молъ? Сами не горазды, а училище — десять верстъ, почитай... Самимъ чтобъ завесть — не въ моготу... Начальство тоже въ резонъ не принимаетъ... А мы —всей душой... Тоже понимаемъ... темный человѣкъ къ примѣру, аль письмённый!.. Слово за слово... она и скажи: есть мое такое желанье, чтобъ, значитъ, робятъ обучать, хотите вашихъ буду?.. А тутъ на огонекъ-то еще кой-кто изъ сусѣдей подошелъ... Она, это, намъ всѣмъ объявила... Мы было признаться и усумнились: не на́ смѣхъ ли, молъ?.. Ну, нѣтъ,—взаправду... Какъ не хотѣть, говоримъ, только первое дѣло — не въ моготу... заломитъ, думаемъ... А она на это намъ: ну, въ эфтомъ, говоритъ, мы съ вами, старички, сойдемся, коли избу мнѣ отведете, чтобъ особнякъ значитъ, ну, харчи еще, — вотъ и ладно... а обучу какъ слѣдъ —съ отца рупь... Чего лучше?.. Только вотъ барыня-то ты, говоримъ, може въ харчахъ не угодимъ какъ... Смѣется. И такъ это она насъ улести́ла, такъ улести́ла... Въ разъ мы съ ей и покончили: рупь съ головы, хватера и харчи... Думаемъ, чего лучше? Кладъ въ руки дается... На утро мы ей и хватеру сготовили.

— Гдѣ-жъ вы ей особнякъ нашли?

— А Степаниды солдатки... Изба-то у ней хоша невеличка, за то чистая... да и топится по бѣлому... А самоё Степаниду къ Трофиму Кузькину... Чего ей?—старушка... абы на палатяхъ мѣсто было, да хлѣбово какое ни на есть, тюрьки тамъ, аль еще чего... А къ ученицѣ сестра Трофимова Алёна перебралась... Видалъ?—дѣвка-то... Ужъ она невѣста, поди...

— Видѣлъ какъ-то на жнитвѣ...

— Ну, вотъ!.. Она ей и печку истопитъ, и самоваръ согрѣетъ... Дѣвка промзительная... И ее стала грамотѣ учить! — засмѣялся Василій Миронычъ.

— Это вы хорошо сдѣлали, что учительницу наняли... Еще дѣды наши говаривали: ученье—свѣтъ, неученье—тьма...

— Истинно—тьма... Я говорю, свинью возьмемъ!.. Что́ ты съ ей безъ грамоты-то подѣлаешь?.. Аль опять въ долгъ товаръ распустить... Никакъ эфтаго темному человѣку учесть невозможно, а самый тутъ въ эфтомъ учетѣ и барышъ... Да что́ свинья!.. Куда ни кинь, вездѣ письмённому способнѣй... Условіе тамъ написать, аль къ мировому... Ужъ въ торговомъ дѣлѣ никакъ безъ эфтого невозможно... Аль опять насчетъ цѣнъ... Вотъ я какъ-то, по осени, у Чумакова былъ, такъ онъ те словно по писаному: въ Москвѣ цѣны стоятъ вольготныя, говоритъ: туша по томъ-то, мука по томъ... А въ Ростовѣ дѣла замялись, съ овсомъ безъ спросу, пшеница ни по чемъ... Просто диву дашься!.. А все—грамота... Вотъ мальчонка-то обучится и — подсоба... А тамъ пошпынялъ его маненько по домашности, да въ городъ, въ лавку... Пускай къ купецкому порядку пріобыкнетъ... А ужъ въ хрестьянствѣ—только грѣхъ одинъ... Конешно, ужъ мое дѣло не молодое, сохи не бросишь, съ измалѣтства съ ей... А что самое подходящее по нонѣшнимъ временамъ — торговое дѣло... Ты самъ разсуди: въ старину хрестьянство аль нонѣ!.. Встарину-то земли дѣвать не знали куда... Лошадей косяками водили... скотины тьма тьмущая... А нонѣ ни́ тебѣ земли, ни́ тебѣ луговъ аль лѣсу... Одно слово — тѣснота... Какая ужъ въ хрестьянствѣ жисть,—склыка одна... И ты посмотри: коли человѣкъ тверёзый, обстоятельный, — ужъ онъ тебѣ сичасъ кругъ заводитъ... Аль рушку, аль свиней почнетъ кормить, овецъ накупитъ... А не то, такъ посѣвомъ займется: у мужиковъ сымаетъ, у купцовъ... Аль еще что ни-на-есть... абы отъ міра подальше... Я тебѣ говорю: одинъ грѣхъ — этотъ міръ... Какъ ни-то: поналечь ежели, спить ведра два, тяготу какую ни-на-есть наложить,—это такъ, эфто они могутъ, старички-то поштенные, міряне-то эфти... а коли ежели заступа какая нужна—къ примѣру, кто изобидѣлъ тебя, купецъ ли, помѣщикъ, аль свой братъ мужикъ, міръ-то и не причемъ... ступай къ мировому, либо въ волость... Одна тягота да грѣхъ, а чтобъ заступы... никакой... окромя съ тебя же сопьютъ...

— Э-э, Миколай Василичъ,—спохватился Василій Миронычъ взглянувъ въ окно, за которымъ ужъ густѣли вечернія тѣни,—загутарился я съ тобой!.. А вѣдь пріѣхалъ-то за дѣломъ!.. Почемъ у те земля-то подъ яровое пойдетъ?.. По лѣтошнему, аль уступишь?.. Запиши-ка мнѣ десятинъ пятокъ... Да полтинничикъ-то скинь... пра! я вѣдь оброшникъ-то твой вѣрный...

Я записалъ Василію Миронычу пять десятинъ ярового, при, чемъ скинулъ ему полтинничекъ, потому что «оброшникомъ»

онъ дѣйствительно былъ вѣрнымъ, и, несмотря на отсутствіе всякихъ письменныхъ условій, ни разу не просрочилъ, ни разу, что́ называется, не объегорилъ меня. Впрочемъ, я гдѣ-то ужъ сказалъ, что и крестьяне величали его «мужикомъ справедливымъ»...

Кажется, уже въ началѣ декабря начались морозы. Грязь на дорогахъ превратилась въ безобразные комья, твердостью равные желѣзу. Вѣтеръ, до тѣхъ поръ постоянно дувшій съ юго-запада, съ «гнилой стороны», перемѣнился и подулъ съ сѣвера, съ Москвы. Тучи все по прежнему тянулись надъ печальными полями, но онѣ ужъ были не синеватыя, дождевыя, а сѣрыя съ молочно-бѣлыми окраинами. Мелководные пруды и рѣчки начинали замерзать; особенно замерзали тѣ, которые лежали въ крутыхъ, или поросшихъ лѣсомъ берегахъ, — въ затишьѣ. Цѣлыя стада лошадей, коровъ и овецъ появились на замерзшихъ озимяхъ, разнообразя мертвенно-унылый видъ окрестностей.

Зима все еще не приходила. Случалось иногда, что тусклое небо еще болѣе потускнѣетъ, еще гуще и плотнѣе надвинутся мрачныя тучи, и снѣгъ, мелкими, твердыми какъ кристаллъ звѣздочками, засѣетъ надъ полями. Но вѣтеръ въ это время какъ нарочно превратится почти въ бурю и съ какой-то упрямой сердитостью погонитъ некстати расщедрившіяся тучи въ невѣдомую даль, и снѣга снова какъ не было... Развѣ въ глубоко проѣзженныхъ дорожныхъ колеяхъ останется онъ, и тогда дороги кажутся какими-то траурными каймами на темно-сѣромъ фонѣ неоглядныхъ полей.

Упорное постоянство этихъ щемящихъ осеннихъ картинъ и вѣчное одиночество въ концѣ-концовъ начали какъ-то странно дѣйствовать на меня. Мысль, измученная тоскливымъ однообразіемъ направленія, въ которомъ ей приходилось работать, словно замерла, заснула... Ничего не хотѣлось, ничто не волновало, не тревожило, ни во что не вѣрилось... Чувствовалась только тупая, одуряющая тоска, которая казалась самымъ нормальнымъ состояніемъ духа. Было еще какое-то безотчетное, инстинктивное стремленіе къ физическому покою, и при этомъ страшная, непобѣдимая лѣнь. Если ужъ ляжешь, то лежишь съ утра до ночи, усядешься спокойно — сидишь цѣлые часы.

Я сказалъ, что чувствовалась тупая тоска; да, именно *тупая*, безъ отчаянія, безъ вздоховъ, безъ порывистыхъ восклицаній и проклятій. Собственно даже не думалось, что вотъ, молъ, — тоска! а только ощущалось. Формулировать это ощущеніе, выразить

его мысль отказывалась... Повторяю — она словно заснула. Впрочемъ, было, если хотите, какое-то подобіе мышленія, пародія на него. Взглянешь, напримѣръ, на потолокъ — ползетъ муха; ну, думаешь, вонъ ползетъ... «Куда это она?.. Ишь, вѣдь это она къ печкѣ пробирается, къ теплу».. Или обратишь вниманіе на ноги: «гм... одинъ сапогъ блеститъ больше другого... Съ чего бы это?.. должно быть, Семенъ или залѣнился, или усталъ... вонъ, ишь какое матовое пятно-то около носка»... А то глянешь въ окно: на крышѣ амбара сидитъ растрепанная галка и безтолково трепыхается крыльями. «Вонъ, подумаешь, крыльями машетъ... ишь какая взъерошенная»... И на этомъ успокоишься. Но и это нехитрое упражненіе обыкновенно скоро надоѣдало мнѣ, и тогда я закрывалъ глаза и всецѣло погружался въ безсознательное, полудремотное состояніе, отъ чая до обѣда, отъ обѣда до ужина...

Въ одно утро я проснулся раньше обыкновеннаго. Въ окна билъ яркій свѣтъ, виднѣлось чистое голубое небо. На самоварѣ, шумливо бурлившемъ у печки, прихотливо переливались ослѣпительно сверкающіе блики. Чувство невыразимой, почти восторженной радости обняло меня. Какая-то удивительно пріятная свѣжесть волной пробѣжала по всему организму. Все во мнѣ сразу перемѣнилось. Не говоря уже о нервахъ, вдругъ получившихъ какую-то, отчасти даже странную воспріимчивость, не говоря о мысли, которая вмигъ отрѣшилась отъ своей спячки и заработала съ давно небывалой энергіей — самое тѣло, до тѣхъ поръ дряблое и безсильное, вдругъ прониклось неодолимой потребностью къ движенію, стало упругимъ и сильнымъ.

— Или снѣгъ?—закричалъ я весело; вскакивая съ постели, и Семенъ весело отозвался:

— Подвалилъ путекъ, слава тѣ Осподи!.. Близу́ четверти навалило...

Дѣйствительно «слава тѣ Осподи!»..

— Когда шелъ-то?

— Почитай что съ полночи... Ужъ на разусвѣтѣ пересталъ.

— Стало быть, порóша есть?

— Надо быть... Какъ не быть порóшѣ!.. Аль на охоту хотите?

— Чего же сидѣть-то? Скажи Михайлѣ, чтобъ Орлику овса засыпалъ, да Копчику.

— Пообѣдамши поѣдете?

— Ты скажи Аннѣ, чтобъ она на́-скоро чего-нибудь приготовила. Оттепели-то нѣтъ?

— Нѣтъ нѣту. Морозитъ.

Черезъ часъ, закусивши на скорую руку, мы съ Михайлой

выѣзжали на охоту съ борзыми. У меня было ихъ только двѣ, но за то, по отзывамъ знатоковъ, обѣ замѣчательныя. Одна, Отрада — граціознѣйшее животное, съ большими, черными, матовыми глазами и блестящимъ бѣлымъ цвѣтомъ шерсти, длинная, поджарая, на тонкихъ упругихъ ногахъ. Другая, — Карай, широкогрудый, вѣчно угрюмый кобель изъ породы псовыхъ, съ волнистой, довольно длинной сѣдой шерстью и прямой какъ стрѣла спиною. Обѣ собаки обладали просто изумительной рѣзвостью и силою бѣга. Къ сожалѣнію, я долженъ прибавить, что вмѣстѣ съ этимъ Отрада была страшно труслива и не переносила встрѣчи съ волкомъ или даже съ лихими дворняшками; Карай же хотя и выказывалъ отчаянную храбрость въ подобныхъ случаяхъ, но за то питалъ непреоборимую страсть къ истребленію куръ и яицъ... Что дѣлать? видно совершенства не ищи въ этомъ мірѣ...

У меня вырвалось невольное восклицаніе, когда я сѣлъ верхомъ и оглянулъ знакомыя окрестности... Я не узналъ ихъ. Вмѣсто вчерашняго сѣренькаго, туманнаго колорита, какое-то торжественное сверканіе облекало ихъ. Сверкали солнечные лучи, сверкалъ снѣгъ, отражая эти лучи, сверкало чистое, безоблачное небо. Казалось, самый воздухъ, холодный, но чудно-прозрачный, проникнутъ былъ этимъ сверканіемъ... Правда — этотъ сплошной блескъ чрезвычайно скоро утомлялъ глаза. Имъ становилось больно даже отъ одного пристальнаго взгляда на ослѣпительно бѣлую пустыню, съ убійственной ровностью раскинутой на огромное, подавляющее пространство. Но за то тамъ и сямъ, на голубоватомъ горизонтѣ, замыкавшемъ эту пустыню, показались предметы, на которыхъ можно было отдохнуть утомленному зрѣнію. Дали какъ-бы раздвинулись. Завиднѣлись скрытыя до сихъ поръ колокольни окрестныхъ селъ съ своими ярко позолоченными крестами, показались далекіе купеческіе хутора съ своими высокими ригами и скирдами хлѣба, засинѣлись Малюхинскіе кусты, отстоящіе отъ хутора не ближе десяти верстъ, черною, едва замѣтною нитью протянулся по южному горизонту казенный лѣсъ, до котораго считалось еще дальше, чѣмъ до Малюхинскихъ кустовъ, словно изъ земли выросла Березовка съ своими гумнами, съ ветлами, опушенными снѣгомъ, съ черными трубами, рѣзко выдававшимися на бѣлыхъ крышахъ...

Вся снѣговая равнина, всѣ эти колокольни съ огоньками, сверкающими на кустахъ, всѣ эти хутора, кусты, лѣсъ, Березовка — все словно было погружено въ глубокій, невозмутимый сонъ. Ни одного звука не тревожило торжественной тишины... Блескъ и тишь — вотъ картина. Не хотѣлось громко выговорить

слова, вскрикнуть, зашумѣть, — однимъ словомъ, какимъ бы то ни было образомъ нарушить эту тишину, пробудить ее. Чувствовалось, что всякій звукъ — если онъ не принадлежитъ какому-нибудь небожителю — былъ бы оскорбленіемъ чему-то дорогому, близкому, какой-то святынѣ... Природа казалась храмомъ, тишина—благоговѣйной тишиной этого храма, тишиной, въ которой умѣстны лишь кроткій шопотъ молитвы да стройное, умилительно-прекрасное пѣніе клира, тишиной строгой и вмѣстѣ — величавой...

По крайней мѣрѣ, первое мое впечатлѣніе было именно таково. Конечно, черезъ полчаса, черезъ часъ оно сгладилось, стушевалось, оставивъ по себѣ очень смутный слѣдъ...

Напутствуемые благими пожеланіями Семена, мы тронулись. Лошади, застоявшіяся на конюшнѣ, ретиво рвались на поводахъ и жадно вдыхали широко-раскрывавшимися ноздрями морозный воздухъ. Собаки, какъ шальныя, бѣшено скакали вокругъ лошадей, тучами взрывая снѣгъ. Даже Карай бросилъ на этотъ разъ свою обычную угрюмость. Кухарка Анна, особа нрава меланхолическаго, вышедши провожать насъ, оглянула изъ-подъ руки поле, сладко прищурилась и растроганнымъ голосомъ соблаговолила вымолвить: «эка, Господи, благодать-то!» послѣ чего, какъ-бы раскаявшись въ своей излишней разговорчивости, торопливо отерла грязнымъ передникомъ носъ и ушла въ кухню.

Не проѣхавъ и версты отъ хутора, мы напали на заячій слѣдъ. Онъ шелъ по направленію къ Березовкѣ. Собаки, увидѣвъ слѣдъ, перестали забѣгать впередъ лошадей и степенной трусцой побѣжали позади насъ. Не доѣзжая до Березовки лежала окладина; слѣдъ терялся въ ней среди высокихъ кочекъ, поросшихъ шиповникомъ и мелкимъ, корявымъ осинникомъ. На минуту мы остановились въ недоумѣніи среди окладины. Собаки обнюхивали кусты и суетливо перебѣгали между кочками... Вдругъ страшный крикъ Михайлы: «заяцъ, заяцъ!» раздался около меня, и я увидѣлъ на противоположной сторонѣ окладины комъ чего-то сѣраго, съ изумительной быстротой удиравшаго отъ насъ. Лошади горячо рванулись, испуганныя крикомъ, собаки безтолково заметались... Еще мгновеніе — и Орликъ, почуявъ ударъ въ бока, въ два-три бѣшеныхъ скачка черезъ кочки, черезъ кустарникъ, вынесъ меня изъ окладины. Собаки увидали зайца и неистово помчались ему на-перерѣзъ. Михайло, нещадно погоняя Копчика, оралъ невыразимо-дикимъ и нелѣпымъ голосомъ: «ату—его, ату, ату!» и почти не отставалъ отъ собакъ. Я несся вслѣдъ за Ми-

хайлой, тщетно напрягая всѣ силы, чтобы хоть немного умѣрить пылъ Орлика. Но повода до боли рѣзали мнѣ руку, а онъ, судорожно закусивъ удила, летѣлъ какъ бѣшеный.

Не ушелъ отъ насъ злосчастный звѣрокъ, не ушли и еще два. Наконецъ, и намъ, и лошадямъ нашимъ надоѣла охота... Собаки, и тѣ, кажется, усердствовали больше по обязанности, чѣмъ по желанію. Ретивость у всѣхъ поостыла. Притомъ же, мнѣ ужасно захотѣлось пить. Почему-то я вспомнилъ разсказъ Василія Мироныча про учительницу, нанятую березовцами. Что это за офицерша такая, вдругъ возымѣвшая желаніе обучать грамотѣ крестьянскихъ ребятишекъ? Во всякомъ случаѣ, барыня интересная... Березовка лежала на перепутьи, и я рѣшилъ просто-на-просто заѣхать къ офицершѣ и познакомиться. «Кстати, тамъ и чаю гдѣ-нибудь напьюсь», думалось мнѣ: «если не у нея, то у Василія Мироныча; самоваръ у него, кажется, водится».

— Гдѣ у васъ учительница-то живетъ? — спросилъ я бабу, встрѣтившуюся намъ при въѣздѣ въ деревню.

— А ты, Миколай Василичъ, проѣзжай по порядку-то, — низко кланяясь, отвѣчала, повидимому, узнавшая меня баба, — да и заверни къ гумнамъ. Около гуменъ-то и стоитъ ея хибарка. Еще плетёнюшекъ около ей...

Деревенскія собаки съ дружнымъ лаемъ бросились на моихъ борзыхъ. Баба и попыталась-было разогнать ихъ, но задорные Волчки, Шавки, Шарики не обратили ни малѣйшаго вниманія на эту попытку и упрямо задирали невозмутимо шествовавшаго Карая, хотя приближаться къ нему слишкомъ близко и не смѣли. Что же касается Отрады, то — увы! — она во всѣ силы своихъ лопатокъ позорно удирала къ хутору, явственно видиѣвшемуся изъ Березовки. Ребятишки, игравшіе на противоположномъ концѣ деревни въ снѣжки, съ веселымъ гамомъ направились къ намъ, но, узнавши во мнѣ «сосѣдняго барина», ограничились однимъ разсматриваніемъ зайцевъ, безпомощно трепавшихся въ торокахъ, да односложными замѣчаніями, въ родѣ того, что, молъ, «экія у него уши-то, робята... бо-о-льшущія!» но травить Карая и кидать въ него снѣжками не осмѣливались—робѣли.

Изба, въ которой жила и учила ребятишекъ «офицерша», рѣзко отличалась отъ обыкновенныхъ деревенскихъ избъ. Она была на довольно высокомъ кирпичномъ фундаментѣ, изъ хорошаго сосноваго лѣса, съ маленькимъ крылечкомъ и свѣтленькими створчатыми окнами. Покрыта она была не обыкновенной соломой, а старновкой, что придавало ей чрезвычайно уютный видъ.

Отъ деревни до нея было порядочное разстояніе, саженъ пятьдесятъ, а можетъ—немного и больше.

Мужъ той солдатки Степаниды, которой принадлежала эта изба, какимъ-то образомъ принесъ изъ службы порядочныя деньжонки, часть которыхъ и убилъ на постройку избы, намѣреваясь открыть въ ней кабакъ, но остальныя деньжонки ушли у него цѣликомъ на какое-то нелѣпѣйшее предпріятіе, и солдатъ умеръ, оставивъ жену нищей въ красивой избѣ. Почему ужъ она не продала ее—я не знаю. Вѣроятно, не успѣла.

Передавъ лошадей Михайлѣ, я вошелъ въ избу. Внутренность ея опять-таки была не похожа на внутренность крестьянской избы. Гладкій, деревянный полъ былъ чисто вымытъ и покрытъ узенькими дерюжными половиками, за тесовой перегородкой виднѣлась небольшая выбѣленная печка съ лежанкой. На окнахъ висѣли кисейныя занавѣски и стояли горшки съ какими-то цвѣтами на стѣнѣ, между оконъ,—около десятка фотографическихъ карточекъ, вставленныхъ въ рамки изъ разноцвѣтныхъ раковинъ.

Въ избѣ никого не было, кромѣ дѣвушки въ обыкновенномъ крестьянскомъ костюмѣ. Это была сестра Трофима Кузьмина—Алёна. Я видѣлъ ее мелькомъ еще лѣтомъ, на жнитвѣ, но теперь не узналъ, а больше догадался, благодаря разсказу Василія Мироныча о томъ, что она перебралась къ офицершѣ. На видъ ей было лѣтъ шестнадцать, если судить по узенькимъ, почти дѣтскимъ плечамъ, тонкому, худому стану и неразвившейся еще груди. Но при взглядѣ на лицо и особенно на глаза, ей можно было дать, пожалуй, и двадцать лѣтъ. Глаза эти были какіе-то темные, строгіе и необыкновенно пытливые. Вообще и выраженіе всего красиваго, смуглаго личика было серьёзное, а отчасти, пожалуй, и суровое. Особенно помогали этому постоянныя складочки между черными, густыми бровями, и всегда какъ-будто сжатыя губы. Я ужъ сказалъ, что лицо у нея было красивое. Нужно добавить, что оно было *очень* красиво и — что́ главное — необыкновенно привлекательно своимъ строгимъ, серьёзнымъ выраженіемъ и пытливымъ взглядомъ глазъ изъ-подъ полу-опущенныхъ длинныхъ рѣсницъ. Когда она усмѣхалась — что́ было очень рѣдко — глаза эти вдругъ загорались какимъ-то чрезвычайно задорнымъ огонькомъ, который и пропадалъ мгновенно, такъ что долго думалось, не обманъ ли зрѣнія это прихотливое сверканье...

Была у ней еще одна особенность. Это — необыкновенно изящная форма подбородка и вообще нижней части лица. Такъ

и казалось, что тутъ не обошлось безъ рѣзца какого-нибудь генія-ваятеля. Я нисколько не раскаиваюсь, написавъ это слово. Оно какъ нельзя болѣе выражаетъ мою мысль, и написалъ-то я его не ради метафорической прикрасы, а именно потому, что оно, несмотря на нѣкоторую изысканность,—подходящее.

Тутъ немного объяснюсь. Я потому такъ тщательно описываю наружность Алёны, что она играла почти главную роль и въ развязкѣ этой самой исторіи съ офицершею, и еще въ одномъ дѣлѣ, не мало надѣлавшемъ шуму въ нашей степной глуши.

Когда я вошелъ, Алёна съ усердіемъ чистила небольшой самоварчикъ. Увидавъ меня, она мгновенно, незамѣтнымъ почти движеніемъ руки, оттолкнула высоко-подобранную юбку и смахнула рукавомъ рубашки пыль съ лица, но нисколько не оробѣла и не сконфузилась.

— Что, Алёна, аль нѣтъ хозяйки-то твоей?—спросилъ я.

— Нѣту.

Говорила она отрывисто и какъ-будто нехотя, причемъ окончаніе словъ почти не выговаривала. Голосъ у ней былъ высокій и немного рѣзкій, особенно когда разговоръ ей не нравился; онъ тогда становился даже сердитымъ и грубымъ.

— Куда же это ее унесло?—пошутилъ я.

— Въ Подлѣсномъ,— нимало не усмѣхнувшись, отвѣтила Алёна, какъ-то нервно хмуря брови.

— Къ кому?

— Къ попу.

— Стало-быть, и ребята болтаются.

Она удивленно вскинула на меня глазами.

— Вѣдь праздникъ нонѣ...

Я только теперь вспомнилъ, что былъ какой-то праздникъ,— впрочемъ, не изъ большихъ.

— Какъ же, Алёна, чайку бы мнѣ напиться?..

— За братцемъ Трофимомъ схожу,—сказала она, еще болѣе хмурясь.

Я ничего не имѣлъ противъ этого. Мнѣ и самому становилось какъ-то неловко на-единѣ съ дикаркой-дѣвушкой.

Только-что она, накинувъ на голову шушпанъ, собиралась выходить изъ избы, какъ на крыльцѣ послышались голоса. Оказалось — пришелъ Трофимъ, который откуда-то, съ гумна, увидѣлъ нашихъ лошадей, привязанныхъ къ крыльцу.

Между Трофимомъ и Алёной не было почти никакого сходства. У одной, въ темныхъ, полу-закрытыхъ длинными рѣсницами глазахъ вѣчно свѣтилась какая-то упорная дума, и на всемъ

лицѣ лежалъ отпечатокъ несомнѣнно серьёзной внутренней работы; у другого былъ ясный, безмятежный взглядъ, иногда немного грустный и разсѣянный, но чаще всего полный какой-то тихой, ласковой радости. Блѣдное лицо, обрамленное черной лохматой бородкой, не носило на себѣ слѣда ни мучительной заботы, ни мысли глубокой, — какъ и взглядъ, оно было безмятежно и ласково. Онъ былъ навѣрное вдвое старше сестры, а можетъ быть, даже и больше.

Одѣтъ онъ былъ плоховато. На ногахъ — лапти, хотя и новые, полушубокъ — кое-гдѣ порванный; но рубашка сквозила въ эти дыры — чистая, да и вообще, несмотря на бѣдность одежды, грязи на ней замѣтно не было.

Василій Миронычъ, «справедливый» Василій Миронычъ, отзывался о Трофимѣ не иначе, какъ о мужикѣ «блажномъ». Хотя, называя его такъ, онъ ничуть не перемѣнялъ своего добродушнаго тона, да и на самомъ дѣлѣ между нимъ и Трофимомъ никакихъ неудовольствій, сколько мнѣ извѣстно, не бывало. Трофимъ же, величая Василья Миронича «дѣлятой», «умнѣйшимъ мужикомъ», никогда не называлъ его «справедливымъ», хотя я и не слыхалъ, чтобъ онъ назвалъ его когда-нибудь «несправедливымъ», или вообще отозвался бы объ немъ дурно. Несомнѣнно, что между ними была нѣкоторая антипатія, которую, по всей вѣроятности, они и сами чувствовали только инстинктивно,—можетъ быть, даже не сознаваясь въ ней самимъ себѣ.

Міръ относился къ Трофиму разно. Онъ то возносилъ его, то ни во что не ставилъ, хотя послѣднее дѣлалъ отнюдь не съ презрѣніемъ, а такъ какъ-то — люби. Въ давнія времена березовцы, — не нынѣшніе березовцы, а предки ихъ, — благодаря особымъ, исключительно экономическимъ условіямъ, которыхъ я тутъ касаться не буду, выработали въ себѣ пожалуй-что и изъ ряду вонъ выходящіе общинные инстинкты, «дружность», стойкость, сочувствіе къ своему брату-мірскому человѣку. Лѣтъ за десять передъ освобожденіемъ отъ крѣпостной зависимости, условія благопріятствующія развитію этихъ общинныхъ, мірскихъ, инстинктовъ, круто измѣнились. Міръ пошелъ въ разбродъ, началъ разлагаться... Березовцевъ сосѣди ужъ перестали звать «дружными», «мірскими людьми»... Нѣкоторыя событія, совершившіяся во время самаго «освобожденія», вызвали-было опять эту «дружность» на свѣтъ Божій, и даже въ необычайной силѣ, но не надолго...

Дѣло все-таки въ томъ, что у березовцевъ были,—хотя и

смутно сознаваемыя, и въ-добавокъ почти перезабытыя, — традиціи, преданія прежней «дружной» жизни, прежняго общиннаго порядка. Усерднымъ хранителемъ и ревностнымъ поборникомъ этихъ преданій стараго, «дѣдовскаго» порядка былъ — Трофимъ. Вотъ за это-то возносилъ его міръ. Тутъ еще поясненіе. Міръ возносилъ Трофима, какъ знатока и поборника старыхъ преданій, — не потому, чтобы и самъ былъ проникнутъ духомъ этихъ преданій, нѣтъ, этого совсѣмъ не было. Онъ возносилъ его потому, что чувствовалъ какое-то младенческое, наивное благоговѣніе передъ ними, — благоговѣніе, похожее, пожалуй, на ощущаемое передъ какой-нибудь святыней, даже съ примѣсью нѣкотораго суевѣрія. Но вмѣстѣ съ этимъ суевѣрнымъ благоговѣніемъ передъ стариною, передъ общинностью, если выразиться языкомъ интеллигентныхъ людей, — извѣстно, что слова «община», «общинность», между крестьянами не употребляются, — міръ и не пытался подражать ей, не пробовалъ жить по старинѣ. По его: «не тѣ нонѣ времена!.. тады житье было совсѣмъ особливое... Одно слово — воля!..»

Свои идеалы, свои надежды, міръ и теперь складывалъ по образцу «стариннаго» порядка, но въ своей настоящей жизни, и экономической, и нравственной, онъ не только не подражалъ ему, но даже не безъ тонкости осмѣивалъ тѣхъ, которые подражали или хотѣли подражать. Вотъ Трофимъ-то именно и былъ изъ этихъ хотѣвшихъ подражать старинѣ, и тутъ ужъ міръ ставилъ его не высоко; и если не величалъ его вслѣдъ за Васильемъ Миронычемъ — «блажнымъ», то все-таки, такъ-сказать, обходилъ его, игнорировалъ, если употребить очень здѣсь подходящее иностранное слово, то-есть «ни во что не ставилъ — любя», какъ я ужъ и сказалъ гдѣ-то выше.

У самого-же Трофима преданія, касающіяся собственно чисто практическихъ отправленій былой общинной жизни, какъ-то невообразимо переплелись съ религіозной и нравственной подкладкой этой жизни. Изъ этого сплетенія получилось у него какое-то, для посторонняго наблюдателя, чисто-хаотическое міровоззрѣніе. Какъ ужъ онъ въ немъ разбирался — положительно не могу понять. Думается мнѣ, что и самъ онъ не могъ-бы указать ясно и рѣшительно границъ своего оригинальнаго міровоззрѣнія. Не только границы, но и все-то оно было для него несомнѣнно смутнымъ, неопредѣленнымъ, туманнымъ, за исключеніемъ самого корня, основы, съ которой сбить его было невозможно. Основа эта въ его рѣчахъ выражалась такъ:

— Міръ — великое дѣло... чтобъ, значитъ, сообча... по правдѣ...

по божьему... къ примѣру—всѣмъ чтобъ въ достаткѣ, безъ обиды... Всѣ мы люди, всѣ—человѣки... Надо все чтобъ тихо... безъ озорства...

А вотъ, отправляясь отъ этой-то основы, отъ этого-то корня, онъ и забирался въ невылазныя дебри, которыя, надо правду сказать, стоили ему много тяжелой умственной работы, хотя слѣдовъ этой работы, какъ я уже и сказалъ, на его лицѣ замѣтно не было. Былъ онъ неграмотенъ, но въ послѣднее время началъ учиться. Учился почти тайкомъ: гдѣ-нибудь въ ригѣ, въ амбарѣ, осторожно выспрашивая при случаѣ: какъ складываются эти буквы? какъ выговаривается это слово? Это, конечно, я узналъ ужъ впослѣдствіи.

Еще черта. Онъ чрезвычайно непріязненно относился ко всякаго рода новшествамъ, напримѣръ, къ желѣзнымъ дорогамъ, ссудо-сберегательнымъ кассамъ, земледѣльческимъ машинамъ, особенно хитраго устройства и т. п.

Мнѣ кажется, нечего и добавлять о томъ, практиченъ ли былъ Трофимъ въ обыденной жизни. Практичнымъ онъ не былъ. Жилъ бѣдно; хозяйство, несмотря на все его стараніе, шло у него съ грѣхомъ пополамъ. На счастье семья у него была небольшая: сестра Алёна, да вѣчно больная старуха мать. Жены у Трофима не было—умерла тому назадъ лѣтъ семь. Говорили, что была она баба распутная и гуливала шибко, съ мужемъ-же почти не жила, хотя гдѣ-нибудь въ кабакѣ безъ слезъ, можетъ быть—и пьяныхъ, говорить объ немъ—не говорила.

— Экъ, зайчиковъ-то напрасно загубили?—мягкимъ голосомъ говорилъ Трофимъ, когда я выходилъ изъ избы на крыльцо.

— Небось тоже гдѣ ни на есть дружки остались,—продолжалъ онъ, съ жалостью разсматривая заячьи морды, облитыя кровью.

— Такъ, по-твоему, выходитъ, что и барана зарѣзать нельзя—тоже дружка останется!—засмѣялся Михайло.

— Извѣстно ежели разсудить по-божески, не слѣдъ и овечку губить—все кровь въ ей, какъ ты хошь...

— Какъ-бы намъ самоварчикъ оборудовать, Трофимъ?—прервалъ я его философію.

— Здорово будешь, Миколай Василичъ,—поклонился онъ мнѣ,—что-жъ, это можно—отчà чайку не попить... Алёнушка!—закричалъ онъ сестрѣ,—наставь-ка самоварчикъ-то! Чайну Афросинь-Гавриловна оставила ай нѣтъ? А то я къ Василью Миронычу добѣгу.

— Есть; оставила,—отвѣтила Алёна, и захлопотала надъ самоваромъ.

— Ну, вотъ и попьётесь!—замѣтилъ мнѣ Трофимъ добродушно.

— Ну, что, какъ, ребятишки-то учатся?—спросилъ я.

— Ничего себѣ: вникаютъ по маленьку... какъ не вникать... Ну, и то надо сказать—учитъ она какъ слѣдъ... по совѣсти... Не то чтобъ какъ зря...

Мы вошли въ избу. Трофимъ благоговѣйно перекрестился на икону, старательно обтеръ снѣгъ съ лаптей, и осторожно усѣлся неподалеку отъ двери.

— Что, мужики-то ваши всѣ дома?

— Нѣтъ, малость какіе дома-то, все больше въ отлучкѣ...

— Гдѣ-же?

— Да иные работки поискать поѣхали, подъ условія, значитъ... Иные сѣно повезли на подторжье, овсишко, — благо путекъ... А то подъ извозы рядиться къ Чумакову...

— Это ему куда-же?

— Въ Козловъ кажись... Чугунка-то, вишь, не справляется возить-то, такъ онъ пшеницу гужомъ хочетъ доправить.

— Кто-жъ поѣхалъ рядиться-то?

— Петруха Булатовъ, да Митяй Чилякинъ.

— Это они что-же, для всей деревни ряду-то возьмутъ?

— Какъ-же, дожидайся!.. Не тѣ видно нонѣ времена, чтобъ порадѣть для міра-то... Нонѣ всякъ себѣ норовитъ гдѣ ни на есть кусокъ урвать... а не то чтобъ для міра!.. Это ужъ баби проболтались про мужьевъ-то—куда поѣхали... А то и уѣдутъ таючись, никому не скажутся... А возьмутъ тамъ ряду да опосля и набираютъ въ артель... поднесъ имъ тамъ, аль деньгами положатъ что съ себра, ну и принаютъ...

Самоваръ скоро вскипѣлъ, и мы благодушествовали за нимъ втроемъ: я, Трофимъ и Михайло. Алёна не показывалась изъ-за перегородки. Михайло сѣсть къ столу не рѣшился и пилъ чай держа чашку въ рукахъ, что́ вѣроятно стоило ему немалыхъ огорченій.

— А что, Миколай Василичъ, — говорилъ за чаемъ Трофимъ,—я такъ помекаю: времена нонѣ—самыя что ни на есть развратныя... Ты какъ полагаешь?.. Сказано—братъ на брата, такъ вотъ оно и есть... Ну, купцы тамъ, аль господа въ развратъ пошли, это ужъ имъ такой предѣлъ положонъ: спокономъ вѣку у нихъ такъ водится, чтобъ все въ одиночку... сусѣдъ подъ сусѣда ямы копать... Ну, а нашъ-то братъ, мужикъ, посмотришь... Ни тебѣ какого ни на есть согласья, ни тебѣ—

артельности... А ужъ я такъ своимъ глупымъ разумомъ думаю: коли мужику да ежели другъ за дружку не стоять — пропащее дѣло... Что́ у него? У купца, какъ-ни-какъ, капиталы... у барина—земля, аль жалованье какое полагается... А у мужика только и наживы, что недоимка да неотработка... Всякому свой предѣлъ положенъ: ежели ты, значитъ, купецъ, ну—торгуй, баринъ—землей владай... А ужъ какъ ты хрестьянинъ, такъ хрестьяниномъ и будь... Чтобъ, къ примѣру, какъ Христосъ-батюшка повелѣлъ... Онъ, батюшка, претерпѣлъ—и ты терпи... Онъ за міръ душеньку свою положилъ, и ты за міръ стой... а не то чтобъ какой кусъ урвалъ да одинъ и сожралъ... Ежели ты, будучи мужикомъ, хрестьянства отъ Господа Бога удостоенъ, такъ неежели тебѣ въ развратъ съ міромъ идти... Я такъ полагаю.

— Да развѣ «хрестьянинъ»? Ахъ, Трофимъ, Трофимъ... Вѣдь мужикъ-то крестьяниномъ зовется, а христіяне, или по твоему «хрестьяне», мы всѣ одинаковы, и баринъ, и купецъ, и мужикъ...

— Нѣтъ, это ты не такъ, Миколай Василичъ!—упрямо перебилъ меня Трофимъ.—Потому какъ Христосъ-батюшка терпѣлъ и за міръ пострадалъ, такъ Онъ и мужикамъ узаконилъ... Стало быть, они хрестьяне и есть... А ежели-жъ мужикъ отъ хрестьянства отбивается, ну, значитъ онъ Христу—рабъ лукавый... потому міръ на Мамону промѣнялъ... И нѣтъ, я тебѣ скажу, грѣха тяжчѣе, какъ ежели міръ продать, аль супротивъ его возгордиться... Ахъ, сколь тяжекъ грѣхъ энтотъ!..

— Вотъ, я тебѣ скажу, дѣды наши, ну, точно что хрестьяне были... заправскіе... Все-то у нихъ безъ обиды, все то у нихъ по правдѣ, по-ровну... Бѣда-ли какая навалится — весь міръ стерпитъ ее, бѣду-то, сообча... а не норовитъ чтобъ по понѣшнему: я—не я, и дѣля не моя... Потому и бѣда, напасть какая, не иначе какъ отъ Господа Бога... И надо ее претерпѣть... можа Богъ вѣру нашу пытая, бѣдой-то... Все отъ Бога... Аль возьми ты, таперча, работу... какая была!.. не понѣшней чета... И барщина, и своей-то не въ проворотъ... А все Богъ милосливъ—справлялись... А почему?.. дружно все!.. всѣмъ міромъ... Опять некруты, аль оброкъ, аль баловство какое,—ну, проворуется тамъ кто, аль еще какъ сбѣдокурить,—міръ все разсудитъ... никого не обидитъ... И ужъ этого чтобъ непокорства —ни-ни!.. Въ страхѣ жили, законъ наблюдали какъ слѣдуетъ, по хрестьянски... А теперь какой законъ! — одинъ развратъ... — Такъ

положилъ — мировой. Ну, можетъ ли онъ мужика разсудить?.. Онъ судитъ по книжкѣ, а мужику эфтого не нужно, мужику — чтобъ по закону... Купца аль барина — ну, это такъ... это онъ можетъ... А теперь возьми! — мужикъ купцу по условью не отработалъ... сичасъ у него — клѣть... аль корову съ двора... Вотъ онъ мировой-то! А рази это законъ?.. Онъ сперва разбери, съ чего мужикъ не отработалъ... Можа ему не токма что работу сполнять, а хошь давиться — такъ въ пóру... А мировой эфтого понять никакъ не можетъ... потому человѣкъ онъ — чужой, сторонній... По письму-то онъ можа и знай, а ужъ крестьянскаго-то порядка, мірского-то, и нѣтъ... Даромъ что мировой!

— Вотъ ты все мирового коришь, — сказалъ я, — ну, а вашъ-то, крестьянскій-то судъ лучше, что-ль? Въ волости-то?

— Да вѣдь и я про то же, Миколай Василичъ... Что одно слово — развратъ... братъ на брата... Въ старину, сказываютъ, и судовъ-то этихъ совсѣмъ не было... Вершили міромъ... чтобъ, значитъ, по правдѣ... по божьему... Вотъ те и судъ весь... Вонъ у меня въ запрошломъ году дѣдушка померъ, можа сто годовъ ему... такъ онъ что́ покойникъ поразскажетъ, бывало... У насъ, говаривалъ, не токмá что начальство какое, судьи тамъ, аль сотскіе, у насъ и староста-то только по званью былъ... А то все міръ, старики... Какъ что положатъ, такъ тому и быть... А чтобъ до суда тамъ, и въ жисть не доважívалось... Разъ мертвое тѣло нашли, такъ міръ-то собрался и порѣшилъ: засѣдателю чтобъ триста цѣлковыхъ... Тагды какіе-то засѣдатели были, въ родѣ какъ, къ примѣру, становой у насъ... Разложили съ кого сколько да и отвалили... Этимъ и отошли отъ суда... Вотъ какъ въ старину-то!.. А нонѣ что... Нонѣ не токмá что застоять, а потопить норовитъ всякій... абы самому сухому изъ воды выбраться...

Трофимъ махнулъ рукой и сокрушительно вздохнулъ.

— Душу по нонѣшнимъ временамъ загубить — плюнуть! — продолжалъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія, въ теченіи котораго грустно и вдумчиво смотрѣлъ куда-то въ сторону. — Возьмемъ теперь хошь грамоту... Коли ежели съ совѣстью, ну, такъ! окромя спáсенья ничего... Ну, а съ другой стороны — самое распропащее дѣло... Ты такъ разсуди — писарь!.. Что́ онъ можетъ?.. Онъ те и въ острогѣ сгноитъ, и въ Сибирь сгонитъ... Самый погибельный человѣкъ!.. Аль опять купецъ — условье тебѣ напишетъ — разворъ одинъ темному человѣку... Онъ тебѣ тамъ и неустойку... онъ тебѣ — и штрахъ... А ты отдувайся... И, стало

быть, по нонѣшнимъ временамъ мужику безъ грамоты никакъ невозможно... Ну-ка, будь я грамотный-то: онъ меня въ острогъ подведетъ, а я ему — не хошь ли, молъ, рожна... онъ мнѣ штрахъ проставитъ, а я ему—не лучше ли, купецъ, въ рознь... Вотъ оно какое дѣло!.. Аль міру подвохъ какой,—сичасъ грамотный человѣкъ разобрать это можетъ... Аль по нонѣшнимъ развратнымъ временамъ—наставить въ чемъ... отъ божественнаго тамъ, аль такъ изъ книжекъ... Все можетъ!..

— Ну только, говорю, и душу загубить ужъ такъ-то легко, такъ-то легко, а-ахъ!.. Вотъ, не въ осужденіе сказать, Василій Миронычъ своево сынишку обучаетъ... Куда онъ его прочитъ?.. Прямо, значитъ, міръ распорушивать, кулачить... ишь, грамотному-то оно способнѣй на міръ-то плевать!.. Вотъ она душѣ-то и пагуба... А ужъ сказано: блажѣй жерновъ привѣсить на шею да утопиться, нежели малаго ребенка сомущать, на грѣхъ наводить... Ужъ темному человѣку можа по неразумію прощенье выйдетъ... такой, значитъ, ему предѣлъ положонъ, чтобъ, къ примѣру, грѣхъ сотворить, ну, а грамотному-то и горько... а-ахъ, какъ горько!..

Трофимъ тяжко вздохнулъ и задумался, а потомъ продолжалъ, впадая въ чрезвычайно скорбный, какъ-бы ноющій тонъ:

— И гдѣ-жъ это правда-то, правда-то дѣлась, милый ты мой человѣкъ!.. Куда-то ни поглядишь: все-то тебѣ грѣхъ... все-то тебѣ—Содомушка... И какъ словно забыли, забыли есть ли и Божинька-то на небѣ... Тотъ грабитъ, тотъ разбойничаетъ... И все, братецъ ты мой, какіе-то холодные стали... словно желѣзные они, аль каменные... Господи ты мой, Боже мой!.. аль ужъ и взаправду послѣдніе денечки пришли... Сынъ на отца... братъ на брата... Народъ бѣгаетъ... нудится... Міръ врозь пошелъ... Вездѣ-то горюшко... вездѣ-то смута... Аль ужъ Спасъ милостивый разгнѣвался на насъ, окаянныхъ?.. а-ахъ, милостивый, милостивый...

— А иной разъ такъ-то подумаешь, подумаешь, и кабыть радость какая на тебя найдетъ... Нѣтъ, милостивъ Онъ, подумаешь... Не до конца прогнѣвался... И зимушку даетъ по-прежнему... и жары ко врѣмю посылаетъ... и дождичка... Мы вонъ было и отчаялись, а Онъ, ишь, благодать-то наслалъ!—Трофимъ указалъ въ окно, за которымъ разстилалось широкое, снѣжное поле, подернутое въ то время розовымъ свѣтомъ заходящаго солнца.—Не забываетъ насъ... А ужъ мы-то, окаянные,—закаменѣли... Нѣтъ у насъ этого, чтобъ стоять-то другъ за дружку...

Завѣтъ-то Христовъ забывать мы стали... Душу-то свою за міръ не кладемъ... А Онъ, батюшка, все даетъ... бери только съ умомъ... И такъ скажу: придутъ времена, возьмемся и мы за умъ...—Душу свою соблюдай,—говоритъ Милосливецъ-то, а то все тебѣ препоручу... И опять: коли сжели одинъ праведникъ—цѣлое царство помилую... Ну, вотъ ты и подумай: аль ужъ въ хрестьянствѣ праведника-то одного не найдется?.. Аль ужъ душа-то у всѣхъ сгинула?.. Аль ужъ не найдется ее, души-то... чтобъ за міръ, въ примѣру?..

Замолчалъ Трофимъ въ тихомъ раздумьѣ.

А мнѣ припоминалась степенная фигура Василія Миронычa, его положительный, солидный разговоръ, его опредѣленное, законченное міровоззрѣніе... «Вѣдь вотъ, отъ одного корня,—думалось,—изъ одной стороны, изъ одной среды, изъ одной деревни даже, при одинаковыхъ условіяхъ росли, одинаковыя напасти испытывали... И вышло какое-то недоразумѣніе... Съ одной стороны: «главное дѣло—свинья», съ другой—«міръ»... За кѣмъ побѣда? За кого «будущее?»..

Михайло отирался полою полушубка, доканчивая чуть-ли не двадцатую чашку. Изъ-за перегородки по временамъ выглядывало озабоченное лицо Алёны. Она ужъ два раза доливала намъ самоваръ, и теперь, вѣроятно, замѣчала, не нужно-ли долить въ третій? Лицо ея ни разу не теряло ни своей строгой серьёзности, ни задумчивости. Только разъ она усмѣхнулась, когда Михайлу угораздило пролить на полушубокъ блюдечко съ чаемъ.

Сильно заинтересовала меня Алёна... Что кроется у ней тамъ, за этимъ пытливымъ взглядомъ, какая работа совершается въ этой загадочной дѣвушкѣ? И совершается ли...

Все это, отчасти, суждено мнѣ было узнать, но не теперь, а гораздо позднѣе.

Уѣхалъ я изъ Березовки, когда ужъ закатилось солнце, прогорѣла коротная зимняя заря, и синее, звѣздное небо повисло надъ снѣжной пустыней. Офицерши такъ я и не дождался.

Ужъ подъѣзжая къ хутору, Михайло вдругъ, ни съ того, ни съ сего, прервалъ молчаніе.

— А что, Михайло Василичъ,—сказалъ онъ,—я такъ думаю: Труша этотъ и привередникъ только!

— А что?

— Вѣдь это онъ у васъ все денегъ въ долгъ просилъ.

Я поглядѣлъ на него и расхохотался. Ему, видимо, это не понравилось. До самаго хутора онъ ужъ не проронилъ ни слова, и только, когда я слѣзъ съ сѣдла, спросилъ брюзгливо:

— Давать, что-ль, овса-то лошадямъ?

— Дай по гарчику,—отвѣчалъ я, оглядывая поле, все подернутое какимъ-то голубымъ свѣтомъ.

Морозило. Звѣзды горѣли ярко, не мигая. Изъ Берёзовки чуть слышно доносился хриплый лай собакъ.

А. Эртель.

ИТАЛЬЯНСКАЯ НОВЕЛЛА

и

ДЕКАМЕРОНЪ

Историко-литературные очерки.

Въ литературной жизни современной Европы замѣтно чувствуется усиліе найти новые пути художественной мысли, наиболѣе удовлетворяющіе поэтическимъ требованіямъ новыхъ поколѣній. Современные читатели привыкли искать въ литературѣ не одной утѣхи и забавы, не одного скоро-преходящаго наслажденія красотою поэзіи,—они привыкли искать въ ней строгую мысль и не только вѣрное отраженіе своихъ настроеній и желаній, но и рѣшеніе многихъ мучительныхъ вопросовъ дня. Заставляя поэзію служить самымъ насущнымъ интересамъ, самымъ глубокимъ задачамъ жизни, они требуютъ отъ нея и той новой художественной формы, которая отвѣчала бы широкимъ запросамъ критической мысли, преобладающей у нашихъ поколѣній, и выражала бы въ себѣ всѣ стороны нашей сложной цивилизаціи. Отъ этихъ обширныхъ требованій, отъ этого исканія новой формы для болѣе широкаго содержанія происходитъ и стремленіе уничтожить тѣ рамки, въ которыя теорія словесности заключаетъ проявленія творческой фантазіи. Сколько замѣчательныхъ поэтическихъ произведеній возникаетъ въ наше время, которыя столько же заслуживаютъ названія иногда психологическаго этюда, иногда культурно-исторической картины, иногда этнографическаго бытового очерка, сколько—художественнаго романа, разсказа или

повѣсти. И это нарушеніе установленныхъ разграниченныхъ формъ, и часто даже полное отсутствіе твердо-опредѣленной поэтической формы вызываетъ преобладаніе того рода словесности, который считается въ наше время наиболѣе популярнымъ и распространеннымъ. Несомнѣнно, что романъ можетъ соединить въ себѣ многіе элементы поэтической мысли времени: тутъ встрѣчаемъ и *трагическій* конфликтъ сложныхъ страстей и характеровъ, и *лирическое* воплощеніе сердечныхъ чувствъ и душевныхъ страданій; тутъ въ широкомъ руслѣ повѣствовательной прозы слились всѣ теченія словеснаго искусства, которыя въ теоріи такъ строго распредѣляются по разнымъ родамъ и видамъ. Отъ этого роману, современному эпосу, принадлежитъ такая выдающаяся роль въ литературѣ нашего времени. Современная поэтическая мысль, тяготясь узко-размѣренными границами другихъ родовъ поэзіи, заставляетъ по преимуществу романъ служить своимъ обширнымъ цѣлямъ и замысламъ, такъ какъ онъ представляетъ собою наиболѣе для того удобную форму. Въ самомъ дѣлѣ, существуя, въ томъ видѣ, какъ онъ распространенъ у насъ, какихъ-нибудь сто, полтораста лѣтъ, романъ идетъ постоянно впередъ, постоянно мѣняетъ съ каждою смѣной поколѣнія какъ свое содержаніе, такъ и форму, подчиняясь новымъ условіямъ умственной жизни у даннаго общества и въ данную эпоху. Насколько романъ способенъ видоизмѣняться, будучи тѣсно связанъ съ движеніями мысли у разныхъ поколѣній одного и того же народа, можно видѣть на примѣрѣ французской литературы, если сопоставить декламаторскую напыщенность «Новой Элоизы», субтильное резонированіе мадамъ де-Сталь и горячій лиризмъ первыхъ произведеній Жоржъ-Сандъ—съ такими романами, какъ «Madame Bovary» Флобера и «le Nabab» Доде. Благодаря широтѣ рамки, растяжимости внѣшней формы, соотвѣтствующей самому разнородному содержанію, романъ занимаетъ видное мѣсто въ литературѣ, представляя собою самаго популярнаго выразителя всѣхъ стремленій, движеній и направленій нашей общественной и душевной жизни.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ и самъ носитъ на себѣ слѣды того преобладанія научныхъ и критическихъ методовъ, которые отличаютъ современную мысль. Онъ вырождается въ безпощадный анализъ дѣйствительности, въ изслѣдованіе внутренней и внѣшней жизни человѣка, какимъ мы его видимъ у новыхъ романистовъ реальной школы во Франціи: онъ обращается, по выраженію Тэна, въ складочное мѣсто наблюденій надъ человѣкомъ, становится «une enquête sur l'homme», и оттого не только безпредѣльно расширяетъ свою форму, но мало-по-малу совершенно

упускаетъ ее изъ виду. И это исканіе правды, путемъ художественнаго наблюденія, въ погонѣ за физіологическими и психологическими открытіями, производится современными романистами часто въ ущербъ художественной сторонѣ предмета. Возьмемъ, для примѣра, романы бр. Гонкуръ; несмотря на всю точность, вѣрность кисти въ обрисовкѣ характеровъ и положеній, несмотря на тонкость и неоспоримую правдивость наблюденія, романы эти не производятъ художественнаго обаянія, какъ истинно поэтическія творенія другого какого, быть можетъ, и менѣе правдиваго пера. Или вглядимся въ дѣятельность хорошо извѣстнаго и русской публикѣ писателя А. Доде. Какой романъ по цѣльности, законченности, пластичности формы можетъ сравниться съ его «Fromont jeune et Risler aîné»? А между тѣмъ въ слѣдующихъ за этимъ романахъ Доде такъ увлекся широкимъ полемъ изученія, которое представляло ему парижское общество, что послѣдній его романъ, «le Nabab», вышелъ, правда, произведеніемъ изъ ряду вонъ по мастерству и драматизму отдѣльныхъ картинъ, но въ цѣломъ не представляетъ того сильнаго, строго размѣреннаго организма, какимъ является «Fromont». Что тутъ слѣдуетъ винить: разнообразіе ли и безотрадную путаницу той жизни, которая окружаетъ поэта, одареннаго мягкою отзывчивою душою, или ту школу ультра-реалистовъ, къ которой онъ примкнулъ,— вопросъ мудреный. Несомнѣнно только, что если въ общемъ, по глубинѣ и жизненности выводимыхъ типовъ, «Набобъ» не менѣе замѣчателенъ, чѣмъ «Fromont», то съ внѣшней стороны, т.-е. въ ясности и простотѣ плана, въ сжатомъ драматизмѣ разсказа, «Набобъ» ниже «Fromont»; несомнѣнно, что форма художественнаго повѣствованія пострадала въ послѣднемъ произведеніи Доде. А между тѣмъ пренебреженіе формой, въ силу какихъ бы-то ни было теорій и идей, въ силу даже научныхъ стремленій во имя добра и истины, всегда вредно, всегда грустно отзывается на поэтическомъ произведеніи. — Въ самомъ дѣлѣ, пренебрегать формою въ поэзіи—не значитъ ли отрицать красоту въ искусствѣ? Заботиться о точности производимыхъ поэтомъ изысканій, не думая ни о фабулѣ, ни о живости дѣйствія, ни о его постепенномъ веденіи—не значитъ-ли давать перевѣсъ содержанію надъ формою? Не значитъ-ли тѣмъ самымъ нарушать вѣчные законы искусства?

При нашихъ высокихъ требованіяхъ отъ литературы, при возникновеніи новыхъ критическихъ школъ, литературныхъ теорій, требующихъ новаго содержанія, но не находящихъ для него истинной формы, невольно чувствуется, что мы стоимъ посреди

расходящихся дорогъ. И невольно мысль обращается къ прошлому, ища въ немъ такого распутія, и съ особеннымъ вниманіемъ останавливается на той эпохѣ, когда художественная мысль избираетъ новые пути, когда въ отвѣтъ на новыя требованія возникаютъ и новые виды литературныхъ произведеній; когда, выростая изъ потребностей самой жизни, складываются новыя формы поэзіи, раздѣляемыя впослѣдствіи теоріею тѣсными рамками по разнымъ родамъ и видамъ словесности. Въ наше время особенно интересно прослѣдить, какъ этотъ вновь созданный видъ литературной мысли достигаетъ высокаго неумирающаго значенія, благодаря равновѣсію между внутреннимъ содержаніемъ и внѣшнимъ построеніемъ; интересно посмотрѣть, какъ создавались памятники искусства, примирявшіе въ себѣ служеніе общественнымъ идеаламъ съ неподражаемою красотою формы. Такой интересъ представляетъ собою древняя «итальянская новелла».

Изъ темнаго многовѣковаго броженія обще-европейской мысли, Италія въ средніе вѣка раньше другихъ находитъ исходъ и раньше другихъ выступаетъ на открытую дорогу художественнаго совершенствованія. Благодаря особымъ условіямъ своего историческаго положенія, отчасти воспоминаніямъ античной культуры, которыя въ ней не прерываются во все продолженіе темнаго періода, Италія раньше другихъ вырабатываетъ себѣ орудіе художественной мысли, богатый поэтическій языкъ, раньше другихъ производитъ и великихъ поэтовъ: Данта, Петрарку, Боккаччіо, которыя воплотили въ художественныхъ образахъ всю мысль своей эпохи, указали новые пути европейской литературѣ. Безсмертную славу Боккаччіо заслужилъ сборникомъ фривольныхъ новеллъ, назначенныхъ для утѣшенія и развлеченія влюбленныхъ, сборникомъ объединившимъ въ изящномъ разсказѣ разрозненные элементы всего средневѣковаго повѣствованія. Въ «Декамеронѣ» Боккаччіо впервые обще-европейскій повѣствовательный матеріалъ одѣваетъ вполнѣ законченною художественною формою, воплощая въ ней все то, что издревле тѣшило и занимало фантазію новыхъ народностей Европы. Онъ обработываетъ темы той народной повѣсти, которая бойко-насмѣшливымъ характеромъ защищала въ средніе вѣка вольную мысль, а реалистическимъ направленіемъ представляла противовѣсъ отвлеченно-идеальному строю рыцарскихъ эпопей, и тѣмъ создаетъ вполнѣ самобытный, невызванный подражаніемъ классикамъ, новый родъ поэзіи. Онъ впервые вноситъ художественный реализмъ въ литературу новой Европы: лишенный всякой условности искусственнаго повѣствованія въ родѣ аллегоріи, пастушескихъ идиллій античной миѳо-

логіи, «Декамеронъ» воспроизводитъ передъ нами пеструю массу лицъ, сословій, типовъ, характеровъ, взятыхъ изъ живой дѣйствительности, внушенныхъ опытомъ личной и народной жизни. Въ художественной обработкѣ тѣхъ сюжетовъ, которыми издавна богата народная память, геніальный разсказчикъ тонкими, правдивыми чертами возсоздаетъ умственную и нравственную физіономію всего человѣка: въ безпритязательномъ пересказѣ старинной сказки-анекдота, онъ умѣетъ найти неизмѣняемыя черты нашей природы, указать въ будничныхъ явленіяхъ тѣ мотивы и импульсы человѣческой жизни, которые никогда не перестанутъ управлять и руководить нами. Эта искренность и правдивость наблюдателя-художника сказывается необыкновенною жизненностью его созданій, на разстояніи стольких вѣковъ дѣйствующихъ всѣмъ обаяніемъ высокаго реализма. А близость новеллы къ жизни современнаго ей общества, народное происхожденіе ея темъ и сюжетовъ были причинами огромной популярности «Декамерона»: онъ скоро сталъ любимымъ народнымъ чтеніемъ, и распространился въ переводахъ и передѣлкахъ по всей Европѣ. Новелли эти встрѣчаются и въ русскихъ старинныхъ повѣстяхъ и народныхъ сказкахъ. Боккаччіо открываетъ собою длинный рядъ новеллистовъ-подражателей, ихъ насчитываютъ до 250, и всѣ они подобно ему обработываютъ эпическій матеріалъ, живущій въ памяти народа, подобно ему держатся искренняго реализма, возсоздавая въ яркихъ, привлекательныхъ образахъ, въ легкихъ и доступныхъ сюжетахъ, близкую имъ дѣйствительность. И съ теченіемъ времени они такъ удачно обработали свой реалистическій матеріалъ, что накопили множество общечеловѣческихъ самыхъ разнообразныхъ и благодарныхъ темъ, мотивовъ, ситуацій; а художественная форма изъ изящнаго разсказа, образцомъ котораго служилъ «Декамеронъ», привлекала къ нимъ массы читателей и популяризировала ихъ на далекомъ Сѣверѣ. Вотъ почему и Шекспиръ сюжеты не только комедій, но и «Отелло», «Ромео и Юліи», «Венеціанскаго купца», заимствовалъ изъ итальянскихъ новеллъ, точно такъ-же, какъ пользовался ими Мольеръ и другіе французскіе и англійскіе драматурги. Можно сказать, что въ продолженіи многихъ столѣтій Европа учится у итальянцевъ, какъ пользоваться богатствомъ народныхъ вымысловъ, одѣвая ихъ въ формы не шутливой новеллы-анекдота, а въ формы драмы и комедіи, какъ болѣе сродныя ихъ сѣвернымъ умамъ.

Но тотъ-же реализмъ, внесеніе котораго въ литературу составляетъ безсмертную заслугу Боккаччіева «Декамерона», обусловливаетъ до нѣкоторой степени и тѣ темныя стороны новеллы,

возникающія въ нашемъ представленіи при одномъ названіи сборника. Примѣняясь къ воспроизведенію той области жизни, гдѣ при грубости общественныхъ и семейныхъ отношеній преобладаетъ неустойчивость и шаткость нравственныхъ понятій, гдѣ огромную роль играетъ физическая сила, животный инстинктъ,— искренность реализма сказывается грубостью сюжетовъ, совершенно невозможныхъ въ развитой литературѣ. Правдивость и тщательность описанія, воссоздающаго всякую ситуацію съ полнотою жизненнаго явленія, тонкое и мѣткое опредѣленіе всѣхъ скрытыхъ мотивовъ дѣйствія,—всѣ эти качества наблюдателя-разсказчика обращаются противъ него; его манера переходитъ въ самый возмутительный цинизмъ, когда прилагается къ обработкѣ сюжетовъ, хотя и созданныхъ народною фантазіею, но недостойныхъ художественнаго пересказа; писателя-юмориста привлекаютъ, къ тому же, темы преимущественно комическія, а комизмъ на низкой степени общественнаго и литературнаго развитія большею частью грязно-циническаго свойства. Пользуясь примѣромъ Боккачіо, дѣлая распущенность и вольность веселаго разсказа основными чертами новеллы, многочисленные послѣдователи его довели эти недостатки до крайнихъ предѣловъ, и превратили изящную сказку-анекдотъ въ родъ далеко неизящной литературы. Поэтому Боккачіо совершенно заслуженно пользуется репутаціей скабрёзнаго писателя, и многое въ немъ способно оттолкнуть современнаго читателя и затруднить знакомство съ его великимъ произведеніемъ. Но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что эта неудобная сторона «Декамерона» — вліяніе эпохи, и зависитъ отъ особыхъ условій поэзіи и быта далекаго прошлаго. Къ тому же исторія литературы указываетъ намъ не мало такихъ отдѣловъ, гдѣ приходится на время отказываться отъ нашихъ нравовъ и художественныхъ вкусовъ, чтобы не оскорбляться грубостью и цинизмомъ многихъ замѣчательныхъ произведеній, чтобъ видѣть ихъ высокія достоинства за темными чертами, присущими отчасти и такимъ великимъ памятникамъ всемірной литературы, какъ творенія Сервантеса и Шекспира.

Если откинемъ изъ «Декамерона» тѣ новеллы его, съ которыми никакъ не мирится наше нравственное чувство, то мы найдемъ въ немъ интересный примѣръ того, какъ создается наиболѣе близкая къ жизни, наиболѣе популярная форма поэзіи. По времени онъ не настолько отдаленъ отъ насъ, чтобъ мы не знали ни его источниковъ, ни той жизни, той исторической обстановки, которая вызвала его, а между тѣмъ на него можно смотрѣть, какъ на образецъ вполнѣ классическій: давно отжили тѣ инте-

ресы, тѣ идеалы, защитникомъ которыхъ являлся новеллистъ, устарѣло самое содержаніе разсказа,—неумирающимъ осталось одно его художественное значеніе, изящная законченность его формы. На этой формѣ эпоса, по внѣшнему виду наиболѣе близкой нашему роману, на реалистическомъ характерѣ новеллы интересно наблюдать тѣ законы, которые управляютъ воспроизведеніемъ жизни въ искусствѣ, и которые лежатъ въ основѣ всякаго повѣствованія, какъ бы широко ни было его содержаніе, какими бы широкими замыслами оно ни задавалось.

Имѣя въ виду эту эстетическую сторону итальянской новеллы, поневолѣ придется оставить нѣсколько въ сторонѣ ея историческое, общественное значеніе. Что оно въ новеллѣ существовало—несомнѣнно: во всякомъ истинно-высокомъ произведеніи искусства, даже когда оно задается, повидимому, самыми незначительными фривольными цѣлями, форма неотдѣлима отъ содержанія; и геніальный писатель, воплощая въ художественныхъ образахъ все, что̀ живетъ въ мысляхъ его эпохи, вовсе создавая съ рѣдкой полнотою и ясностью многія и темныя ея стороны, хотя бы для потѣхи и развлеченія публики, всегда будетъ имѣть сатирически-обличительное значеніе. Да и самый народъ, который узнаетъ въ художественной переработкѣ своего писателя темы и сюжеты, издревле близкіе его фантазіи, и разноситъ ихъ въ разные концы свѣта, цѣнитъ въ новеллѣ не одну ея форму, не одну художественную законченность разсказа: насмѣшливая веселая новелла была близка народу всѣмъ своимъ содержаніемъ, какъ произведеніе національнаго духа, отразивши въ себѣ всѣ настроенія общества, всѣ интересы и идеалы, вытекавшіе изъ коренныхъ основъ его духовной жизни. Даже можно сказать, что эту излюбленную народомъ форму словесности вызвали и обусловили идеалы извѣстнаго быта и историческаго положенія. Поэтому тѣсная зависимость легкаго и второстепеннаго жанра, какимъ представляется теперь фривольная итальянская повѣсть, отъ исторической жизни, ее создавшей, поражаетъ насъ на каждой страницѣ «Декамерона»; и поэтому-то, несмотря на то, что мы имѣемъ въ виду только художественное значеніе новеллы,—нѣтъ возможности въ предѣлахъ журнальной статьи сдѣлать болѣе полный разборъ знаменитаго памятника—намъ придется касаться, хотя и бѣгло, той культуры, которая вызвала къ жизни такую именно, а не иную форму національной литературы.

I.

Литературная мысль среднихъ вѣковъ въ эпоху броженія умственныхъ силъ народа породила огромные запасы повѣствовательнаго матеріала, составлявшаго общее достояніе всей Европы. Долгое время матеріалъ этотъ живетъ въ памяти и фантазіи народа, пока не распредѣлится усиліями многихъ поколѣній и поэтическимъ творчествомъ отдѣльныхъ лицъ по разнымъ отдѣламъ устной и письменной литературы. Въ этомъ необработанномъ и хаотическомъ матеріалѣ лежатъ сѣмена многихъ будущихъ произведеній, и къ нему принуждена обращаться исторія литературы, отыскивая первообразы тѣхъ типовъ и сюжетовъ, которые въ позднѣйшія времена составляютъ славу безсмертныхъ памятниковъ въ національныхъ европейскихъ литературахъ. Изъ этого матеріала создалась и итальянская новелла, и прототипы ея сюжетовъ и мотивовъ легче найти въ немъ, чѣмъ источники другихъ произведеній, болѣе сложныхъ по формѣ и болѣе отдаленныхъ по времени.

При открытіи новой литературной дѣятельности, смѣнившей античную образованность, юной, неокрѣпшей еще фантазіи европейскихъ народовъ приходилось усвоивать и переработывать самые разнородные и разнохарактерные элементы поэзіи. Изъ народной памяти не могли скоро изгладиться образы древнихъ героевъ, созданные развитою миѳологіею германскихъ племенъ и жившіе еще въ пѣсняхъ и преданіяхъ воинственныхъ, принявшихъ крещеніе, варваровъ. Къ этимъ воспоминаніямъ присоединялись не менѣе живучіе остатки античнаго язычества, такъ сильно своею богатою цивилизаціею импонировавшаго сѣвернымъ народамъ: классическія воспоминанія живутъ въ самой глубинѣ темнаго періода и имена троянскихъ героевъ, Александра Македонскаго, Виргилія и Аристотеля входятъ въ кругъ баснословныхъ героевъ и украшаются множествомъ вымысловъ и сказаній. Языческихъ—германскихъ и классическихъ—воспоминаній не могло вытѣснить и христіанство: новая религія вносила въ мысль Европы не одни только нравственныя и догматическія истины, но и пеструю массу притчъ, преданій и легендъ, поэтическихъ представленій, проникнутыхъ восточною образностью, порожденныхъ плодовитой фантазіей восточныхъ народовъ; новая религія смѣшала свои вѣрованія съ тѣмъ, что жило уже въ фантазіи народа и, порождая литературу двоевѣрія, одѣвала языческія вѣ-

рованія поэтическою формою апокрифовъ, легендъ, суевѣрій и повѣрій двойственнаго, смѣшаннаго характера.

Изъ этой разнообразной смѣси поэтическихъ элементовъ образовалась и повѣствовательная литература средневѣковой Европы. Литература эта течетъ двумя широкими руслами, совершенно несходными ни по направленію, ни по формѣ, хотя оба исходятъ изъ одного источника. Народы, отвоевавшіе себѣ мѣсто въ Европѣ и занятые устройствомъ своихъ внѣшнихъ отношеній, своего государственнаго феодальнаго быта, требовали высокаго рода поэзіи, требовали того повѣствованія, которое отражало бы идеалы ихъ воинственной дѣятельности, воплощало образы ихъ еще миѳологіей завѣщанныхъ героевъ, и воспѣвало подвиги и битвы, сохраняя для потомства славу ихъ вождей и воиновъ. Изъ воинственной кантилены образовалась та французская «Chanson de Gestes», распадавшаяся на нѣсколько цикловъ, изъ которой позже выросла рыцарская поэма, искусственный рыцарскій романъ, проникнутые интересами феодаловъ, и проводившіе въ жизнь свой особый кодексъ идеальныхъ, нравственныхъ и религіозныхъ понятій. Въ новомъ мірѣ этихъ образовъ и сюжетовъ, въ разныхъ циклахъ этихъ героическихъ «Дѣяній» сказывалась та присущая всякому народу потребность эпическаго творчества, которая вызвала какъ «Одиссею» и «Иліаду», такъ и германскую сагу и русскую былину. Если миѳическая поэзія выражаетъ собою стремленіе пытливаго ума найти разгадку и объясненіе явленіямъ природы, то и родственное ей эпическое творчество вытекаетъ изъ не менѣе глубокихъ и коренныхъ стремленій человѣческаго ума ко всему идеально-высокому, героическому, возбуждающему силы на подвигъ, напоминающему о высокихъ цѣляхъ и задачахъ существованія.

Но въ тѣхъ же миѳическихъ образахъ и преданіяхъ, изъ которыхъ развивается героическая поэма, зарождается животный эпосъ и та народная сказка, пріемы и мотивы которой такъ же общи у всѣхъ народовъ, какъ общи у нихъ пріемы и мотивы героическаго эпоса. Любовь къ занимательному разсказу изъ жизни людей и животныхъ вытекаетъ не изъ потребности высокихъ идеальныхъ образовъ въ поэзіи, но изъ не менѣе сильной склонности народнаго ума тѣшиться смѣшною, забавною стороною жизни. Народное воображеніе въ животномъ эпосѣ создаетъ и размножаетъ въ изобиліи тѣ темы и сюжеты, гдѣ выставляются не темныя силы нашей природы, но мелкое зло существованія, не высокіе подвиги, но мелкія будничныя черты человѣческихъ характеровъ и отношеній. У народовъ богатыхъ

художественными силами, животный эпосъ выростаетъ въ художественную басню, циклы сказокъ о Лисѣ и Волкѣ образуютъ сатирическій Roman de Renart, и народная *сказка* завершается художественною *повѣстью*. Поэтому какъ героическія эпопеи средневѣковыхъ народовъ породили и размножили искусственные рыцарскіе романы и поэмы, такъ и другая отрасль эпическаго повѣствованія, первой формой котораго является сказка, имѣетъ въ средневѣковой литературѣ множество разнообразныхъ представителей. Вытекая изъ склонности воображенія къ загадочно-остроумному, къ потѣшному и забавному, эта отрасль повѣствованія вызвала особый родъ разсказовъ, которымъ ученые присвоили названіе *странствующихъ*, потому что наукѣ удалось открыть и выяснить ихъ переходы и странствованія отъ однихъ народовъ къ другимъ, иногда, казалось бы, и лишеннымъ литературнаго общенія. Это повѣствованіе не есть народная сказка, вращающаяся въ мірѣ чуднаго, описывающая намъ, съ извѣстными эпическими формами разсказа, похожденія и приключенія, въ которыхъ иногда за множествомъ деталей теряется и главная нить, основный мотивъ; это—не сложный сюжетъ, анекдотическаго характера, имѣющій предметомъ одно законченное дѣйствіе, завершившееся событіе, одну строго-опредѣленную тэму. Сюжетъ этихъ мелкихъ разсказовъ и повѣстей имѣетъ такую же широкую распространенность въ народныхъ литературахъ, какъ основные мотивы героическаго и животнаго эпоса.

Въ средніе вѣка, въ пору горячей дѣятельности народной мысли, этотъ отдѣлъ повѣствованія чрезвычайно богатъ; родиной большинства этихъ сюжетовъ можно считать далекій Востокъ, богатую вымыслами Индію, откуда они въ переводахъ и передѣлкахъ перешли въ персидскую и арабскую литературу, а оттуда распространились на далекій Западъ; и хотя переводы такихъ сборниковъ какъ Тысяча и одна Ночь, Панчатантра, Калила и Димна, Гитопадеза, не были извѣстны въ ранней письменности среднихъ вѣковъ, тѣмъ не менѣе ихъ сказочно-анекдотическіе сюжеты могли являться въ народную фантазію какъ устныя преданія, проникавшія въ Европу черезъ Византію и арабовъ. Собственно говоря, общеніе средневѣкового Запада съ Востокомъ было значительное, и восточное вліяніе въ повѣствованіи новыхъ народовъ играетъ такую же большую роль, какъ и во всей ихъ художественной дѣятельности. Любовь къ аллегоріи, яркіе образы, хитросплетенное дѣйствіе, остроумная загадка въ основѣ сюжета, тонко-проницательная разгадка и неожиданная развязка,—эти основныя черты восточнаго вымысла

какъ нельзя болѣе способны были привиться къ молодой литературной мысли и дать разсказчикамъ обильный и благодарный матеріалъ. На Востокѣ, при особыхъ условіяхъ литературы, эти вымыслы превратились въ ту волшебную арабскую сказку, которая неумѣреннымъ преобладаніемъ сверхъ-естественнаго, массою безконечныхъ эпизодовъ и деталей утомляетъ воображеніе европейца. Средневѣковая «странствующая» повѣсть съ восточнымъ содержаніемъ не впадаетъ въ эту крайнюю фантастичность и не отдаляется отъ дѣйствительной жизни, какъ, напримѣръ, сказки Шехерезады: она всегда остается вѣрна реалистическимъ стремленіямъ народнаго ума, изъ которыхъ вытекла.

Общенію Европы съ Востокомъ содѣйствовало въ сильной степени христіанство, и отдѣлъ сказочно-анекдотическаго повѣствованія обогащался благодаря самымъ религіознымъ потребностямъ народа. Церковное ученіе, овладѣвая европейскою мыслью, должно было примѣняться къ тому, что̀ раньше его жило въ народныхъ умахъ, мириться съ остатками языческихъ понятій. Народная фантазія очень скоро аттрибуты языческихъ божествъ перенесла на христіанскихъ святыхъ, а отцы церкви, воспитанные на символизмѣ восточнаго міровоззрѣнія, не имѣя силъ бороться съ живучими воспоминаніями классическихъ литературъ, мирились съ ними, стараясь находить въ нихъ скрытый таинственный смыслъ, заставляя античныя преданія и вѣрованія служить такимъ же прообразованіемъ новой вѣры, какимъ ветхій завѣтъ былъ для новозавѣтной исторіи. Если въ извѣстной фрескѣ римскихъ катакомбъ удобно было изобразить І. Христа подъ видомъ Орфея, привлекающаго звѣрей музыкою, то тѣмъ указанъ былъ путь примиренія старыхъ и новыхъ требованій: можно было во всѣхъ классическихъ миѳахъ видѣть не прямой ихъ смыслъ, но особое, символическое значеніе; такимъ путемъ можно было фантазіи новыхъ народовъ дать возможность пользоваться какъ тѣмъ, что̀ издревле жило въ ней, такъ и тѣмъ, что̀ заносилось въ нее и съ Востока. Допуская при своемъ толкованіи классическій миѳъ, церковная литература пользовалась для своихъ цѣлей столько же баснями Эзопа и Федра, сколько сказочной литературой Востока; стоило только къ разсказу прикрѣпить *моралізацію* его, символическое объясненіе, и самый анти-христіанскій сюжетъ принималъ церковный характеръ догматически нравственнаго поученія. Отсюда возникли такіе латинскіе сборники какъ «Disciplina Clericalis» крестившагося еврея Петра Альфонса (странствующіе космополиты-евреи служили живою связью западныхъ и восточныхъ народовъ), какъ «Gesta Romanorum» — не-

извѣстнаго составителя, пестрое собраніе разныхъ повѣстей и разсказовъ, «Дѣяній», приписываемыхъ и историческимъ вымышленнымъ лицамъ древней и современной сборнику Европы. Эти богатые матеріаломъ сборники одѣвали всѣ смѣшанные элементы средневѣковаго повѣствованія формою назидательныхъ поученій, и подъ прикрытіемъ символическаго толкованія узаконили въ литературѣ совершенно чуждые церковнаго духа сюжеты.

Но, кромѣ этого санкціонированія постороннихъ вліяній, церковь и сама, собственнымъ воздѣйствіемъ, обогатила европейское повѣствованіе. Извѣстно, какъ развита была въ средніе вѣка и на Западѣ, и на Руси, легендарно-апокрифическая литература, какой богатый матеріалъ давался самимъ евангельскимъ ученіемъ, преподаваемымъ въ притчахъ и подобіяхъ; извѣстно, какою роскошью вымысловъ, преданій, сказаній и легендъ покрыты всѣ факты библейской исторіи; какую обильную пищу фантазіи доставляли хотя бы одни житія святыхъ. Церковное ученіе въ эту легендарную литературу вносило не только восточные элементы поэтическихъ образовъ, но и тотъ монашески-аскетическій духъ, которымъ проникнуты эти легенды. Монашество, родившееся на Востокѣ, создало изъ мѣстнаго матеріала массу поучительныхъ примѣровъ святости, твердости духа въ искушеніяхъ и т. п.; разсказы, которые вели свое начало изъ буддійской Индіи, создавались и не-христіанскими аскетами. Всѣ тѣ легенды, житія святыхъ хранили въ себѣ обильные запасы темъ и сюжетовъ, благодарныхъ мотивовъ повѣствованія, которые, при перенесеніи на европейскую почву, одѣлись новыми красками и стали служить новымъ цѣлямъ и задачамъ народной мысли. Знаменитая назидательная повѣсть Варлаама и Іосафата съ ея несомнѣнно-восточными, быть можетъ, буддійскими мотивами, пользовалась большою популярностью въ средніе вѣка, потому что главное зерно повѣсти обставлено множествомъ отдѣльныхъ разсказовъ, притчъ и поученій, принявшихъ впослѣдствіи совершенно иныя формы, перешедшихъ изъ монашеской легенды — въ фривольную новеллу! Тотъ духъ церковнаго ученія, духъ суроваго аскетизма, боявшагося земныхъ радостей и искушеній, и со злобою глядѣвшаго на здѣшній грѣховный міръ, распространилъ въ массахъ сюжеты повѣстей, крайне недоброжелательно относившихся къ женщинѣ. Падая на грубое воображеніе только-что вступавшихъ въ литературную жизнь народовъ, сюжеты эти вызвали и крайне-циническое содержаніе тѣхъ странствующихъ разсказовъ, той народной повѣсти, которая выростала изъ смѣшаннаго источника классическихъ воспоминаній,

восточныхъ сказочныхъ сборниковъ и христіанско-легендарной литературы. Отсюда развился, напримѣръ, цѣлый циклъ разсказовъ о женскомъ непостоянствѣ, о необузданности женскихъ страстей, разсказовъ въ родѣ «Эфесской Матроны», которые, судя по изобилію и распространенности ихъ варіантовъ, находили благодарную почву въ фантазіи средневѣковаго человѣка. Мнѣніе, что женщина, виновница грѣхопаденія, — не человѣкъ, было одинаково популярно, какъ у насъ — на Руси, такъ и на рыцарскомъ Западѣ. Нравственная извращенность, сила хитрости, лживости, увертливости, рисуютъ въ народной повѣсти женщину скорѣе демономъ, исчадіемъ ада, чѣмъ воплощеніемъ всего высокаго и прекраснаго, какою мы видимъ ее въ героическихъ эпопеяхъ, рыцарскихъ романахъ. Впрочемъ, это направленіе народнаго ума, вызвавшее большой, существенный отдѣлъ итальянской новеллы, мы полнѣе увидимъ въ «Декамеронѣ», гдѣ религіозно-аскетическія цѣли первоначальныхъ источниковъ содѣйствовали только грубости и цинизму выросшихъ изъ нихъ повѣстей.

Такимъ образомъ, въ средневѣковой народной мысли, рядомъ съ героической поэмой, которая постоянными видоизмѣненіями превращается въ рыцарскій романъ, стоятъ не менѣе близкіе народному уму и не менѣе общіе всему Западу мотивы анекдотически-сказочнаго характера. Живя въ устныхъ преданіяхъ народа, или въ сборникахъ восточнаго происхожденія, какъ повѣсть «О семи мудрецахъ», конца XII-го вѣка, или въ обширномъ кругу легендарныхъ тэмъ, проникая въ видѣ отдѣльныхъ мотивовъ и въ феодально-рыцарскія эпопеи, не имѣя для себя отдѣльной законной формы словесности,—этотъ литературный матеріалъ представляетъ собою реалистически-комическій элементъ художественной мысли народа, служитъ какъ-бы противовѣсомъ тому идеально-героическому образу мыслей, который торжествуетъ въ рыцарской эпопеѣ. На зарѣ новаго времени рыцарское повѣствованіе завершается безсмертнымъ произведеніемъ Сервантеса, описаніемъ рыцарскихъ похожденій Донъ-Кихота. Въ немъ великій художникъ, за печальнымъ образомъ благороднаго идеалиста, нарисовалъ не менѣе живо и вѣрно природѣ реалистическое воплощеніе здраваго смысла, комическій типъ простолюдина — Санхо-Панча. Въ этихъ двухъ, вѣчно живыхъ типахъ вовсозданы не только два основныя начала человѣческой мысли, но и два направленія всей той повѣствовательной литературы, которую завершалъ Сервантесъ въ «Донъ-Кихотѣ». Если благородный рыцарь, сражавшійся за Бога и даму, любилъ въ повѣствованіи подвиги и похожденія изъ-за славы меча, создавалъ

идеалъ воинственно-христіанскихъ героевъ, защитниковъ слабыхъ и угнетенныхъ, то въ другихъ отдѣлахъ національной литературы простолюдинъ, смотрѣвшій болѣе трезво и реально на міръ Божій, могъ высказывать и свой реалистически-насмѣшливый взглядъ на вещи. Поэтому въ средніе вѣка тѣ зародыши повѣствованія, тотъ необособившійся литературный матеріалъ, извѣстный подъ широкимъ названіемъ «Странствующихъ разсказовъ», носитъ въ себѣ и совершенно иные идеалы, чѣмъ рыцарская эпопея; если тамъ торжество на сторонѣ великодушія, безкорыстія, щедрости и другихъ доблестей, то народная повѣсть преимущество отдаетъ хитрости, проницательности и изворотливости ума. Поэтому матеріалъ этотъ только тогда выдѣлится въ извѣстный родъ словесности, только тогда достигнетъ и опредѣленной, болѣе или менѣе художественной формы, когда и въ общественной жизни, рядомъ съ рыцарски-феодальнымъ бытомъ, вступитъ въ свои права окрѣпшій городской элементъ. Тогда реалистически настроенная повѣсть найдетъ себѣ художественное завершеніе въ итальянской новеллѣ XIV-го вѣка. Въ общемъ характерѣ итальянской новеллы вполнѣ выясняются основы средневѣковаго повѣствованія, изъ котораго она выросла, и тотъ новеллическій матеріалъ, который присущъ всякому народному творчеству [1]). Во французской литературѣ этотъ матеріалъ порождаетъ сатирическій фабліо, реалистическій характеръ котораго сказывается крайне-непристойнымъ содержаніемъ. Фабліо— небольшой (сравнительно съ рыцарской эпопеей) разсказъ въ стихахъ какого-нибудь смѣшного случая, необыкновеннаго приключенія: тутъ изобилуютъ скандальныя похожденія духовенства, образцовые примѣры ловкаго воровства, женской невѣрности и т. п., сюжеты невысокаго содержанія, сюжеты комическіе, осмѣивающіе всѣ стороны тогдашней общественности. Беззастѣнчиво вращаясь въ разныхъ сферахъ жизни, фабліо, хотя и имѣетъ самые далекіе источники, но своимъ сатирическимъ характеромъ непосредственно близокъ жизни того народа, который обработываетъ эти сюжеты, и потому представляетъ любопытную картину

---

[1]) Предметъ средневѣковой обще-европейской повѣсти, составляющій въ настоящее время одинъ изъ наиболѣе интересныхъ вопросовъ литературной исторіи въ связи съ вопросомъ о странствованіи сказочныхъ сюжетовъ, чрезвычайно обширенъ и занялъ бы слишкомъ много мѣста въ очеркѣ итальянской новеллы. Касаемся его только вскользь, тѣмъ болѣе, что въ русской литературѣ онъ разработывается учеными, посвятившими ему спеціальныя изслѣдованія (Веселовскій, Кирпичниковъ). Для интересныхъ подробностей отсылаемъ читателя къ популярному труду Буслаева: „Странствующіе повѣсти и разсказы“, см. „Русскій Вѣстникъ“, 1874 г., № 4 и 5.

нравовъ своей эпохи. Онъ не имѣетъ большого художественнаго значенія: совершенства формы, изящества разсказа подобные сюжеты достигаютъ только въ Италіи подъ перомъ Боккаччіо. Хотя часто говорилось о томъ, что въ «Декамеронѣ» много новеллъ заимствовано изъ французскихъ фабліо, извѣстныхъ въ передѣлкѣ сѣверныхъ труверовъ всей Европѣ, но можно скорѣе думать, что они являлись въ Декамеронѣ изъ того же источника, какъ и въ фабліо, т.-е. изъ повѣствовательнаго матеріала, который у всей средневѣковой Европы жилъ въ памяти народа.

Если, въ противоположность рыцарской эпопеѣ, этотъ отдѣлъ народной литературы можно назвать порожденіемъ сатирически-буржуазнаго духа, то понятно, почему именно въ Италіи такія произведенія получили широкое художественное развитіе. Тамъ, гдѣ въ государственной жизни не преобладала такъ исключительно феодальная власть, не могло развиться и героическихъ эпопей, рыцарскихъ романовъ; если они и существовали въ книжной, искусственной литературѣ, то не были коренными произведеніями національнаго духа, основывались на одномъ подражаніи, заносились внѣшними иностранными вліяніями. Къ тому же, Италія, наслѣдуя латинскую образованность, не умиравшую въ ней во все продолженіе среднихъ вѣковъ, наслѣдовала и тотъ реалистическій духъ римской литературы, который не далъ въ ней развиться самобытному эпическому творчеству, идеально-героической эпопеѣ. Поэтому, когда поднимается городское сословіе, когда въ XIV вѣкѣ процвѣтаютъ общины, сильныя богатствомъ и свободою, когда уже созданъ богатый литературный языкъ,—языкъ Данта и Петрарки,—то и тѣ произведенія, которыя по духу наиболѣе близки сатирическому настроенію латинскихъ племенъ, образуютъ вполнѣ самобытный родъ литературы, дѣлаясь изъ безыскуственныхъ произведеній младенческой ораторіи достояніемъ наиболѣе въ свое время образованнаго общества Европы. Новелла возникаетъ на родинѣ Данта,—во Флоренціи: тутъ, гдѣ изъ діалекта образовался литературный языкъ, живой, предпріимчивый духъ торговаго населенія не только рано переработалъ богатые запасы обще-европейскихъ темъ, но и создалъ новыя, подобныя имъ, изъ фактовъ своей дѣйствительной жизни. Народу талантливыхъ ремесленниковъ, торгашей, банкировъ, ведшихъ дѣла свои со всей Европой, — народу, щедро отъ природы надѣленному художественными способностями, должны были приходиться по вкусу тѣ древнія восточныя сказки и повѣсти, гдѣ на сцену выводится ловкость, хитрость коммерческаго человѣка, проницательность простолюдина, остроумная загадка,

рѣшеніе спутаннаго процесса, или новый, особый видъ плутовства, обманы мужей женами, скандальныя похожденія монаха и т. д. Тутъ дается пища не только сатирически-насмѣшливому уму, но и тѣмъ дипломатическимъ способностямъ, которыя въ Италіи развились очень рано, въ ущербъ нравственнымъ идеаламъ.

Поэтому мы видимъ въ исторіи, что итальянская новелла, созданная изъ того литературнаго матеріала, общаго всей Европѣ, который сильно оттѣненъ восточнымъ колоритомъ, выростаетъ среди городского сословія,—что это сословіе, преобладающее въ Италіи, способствуя ея художественному развитію, налагаетъ на нее и свой особый буржуазный характеръ. Но новелла не можетъ остаться и безъ вліянія рыцарскихъ идеаловъ, господствующихъ въ умственной жизни всей Европы, не миновавшихъ потому и Италіи; ихъ вноситъ сюда естественное литературное общеніе народовъ между собою и поддерживаетъ искусственная литература, вліяніе провансальской поэзіи. При этомъ, такъ какъ циклы героическихъ сказаній, породившіе рыцарскую эпопею, возникли очень рано и рано укоренились въ народныхъ представленіяхъ, то естественно, что тѣмъ древнѣе собраніе итальянскихъ повѣстей, тѣмъ больше вносится въ него рыцарскихъ мотивовъ и тѣмъ меньше въ немъ тѣхъ элементовъ повѣсти, которые порождаются буржуазнымъ духомъ, т.-е. тѣхъ комическихъ примѣровъ обмана, плутни, воровства, которыми богаты фабліо.

Особенно ясно можно это видѣть на томъ первомъ сборникѣ, единственномъ, который извѣстенъ въ итальянской литературѣ до Боккачіо, именно «Novellino» или «Cento Novelle antiche». Что авторъ его неизвѣстенъ, это неудивительно, потому-что въ составъ сборника вошли памятники устной литературы, тѣ сказки и анекдоты, которые живутъ въ народѣ и прилагаются—то къ тѣмъ, то къ инымъ историческимъ дѣятелямъ. Собраны они около половины XIII-го вѣка,—и въ XIV-мъ, во время Боккачіо, не были еще въ полномъ составѣ, хотя флорентинскій новеллистъ и заимствовалъ оттуда нѣкоторые сюжеты. Происхожденіе ихъ очень древнее; это доказывается не только архаическими оборотами тосканскаго нарѣчія, на которомъ они написаны, и не только очень незначительнымъ числомъ сюжетовъ изъ городской жизни Италіи, которая въ то время вполнѣ рѣзко опредѣлилась и въ новеллѣ находила лучшее свое выраженіе, сколько самымъ характеромъ этихъ разсказовъ, и главное—ихъ внѣшней формой. Ровный тонъ сжатаго разсказа, лишеннаго всякой отдѣлки, всякихъ прикрасъ, сила, простота и ясность наивнаго слога со-

ставляютъ поэтическія достоинства этого сборника, отъ котораго такъ и вѣетъ безпритязательностью первобытной поэзіи, и который заслужилъ похвалы отъ критиковъ прошлаго столѣтія (Тирабоски, Женгене), не очень милостиво относившихся къ произведеніямъ средневѣковой фантазіи.

Если всмотрѣться въ содержаніе этихъ новеллъ, то найдемъ въ нихъ всѣ почти элементы западнаго народнаго повѣствованія этого ранняго періода. Г-нъ Буслаевъ указываетъ, какъ общеевропейскія или, правильнѣе, общечеловѣческія тэмы странствующей повѣсти обработаны въ нашемъ сборникѣ. Но сказочныхъ «общихъ мѣстъ» можно найти въ немъ гораздо больше; такъ, напр., въ 3-й [1]) новеллѣ, о греческомъ мудрецѣ, встрѣчаемъ извѣстный мотивъ восточнаго происхожденія о проницательномъ судьѣ или мудрецѣ, который по нѣкоторымъ, ему одному видимымъ признакамъ, угадываетъ истину; варьяціи этого мотива въ народныхъ сказкахъ довольно распространенны. Содержаніе 49-й новеллы не менѣе общеизвѣстно: это разсказъ о ремесленникѣ, который работаетъ по большимъ праздникамъ, и на вопросъ царя, почему онъ не соблюдаетъ церковныхъ постановленій, объясняетъ, что дневной заработокъ онъ долженъ дѣлить на 4 части: одна дается Богу, другая идетъ въ уплату долга, третья выбрасывается, четвертая тратится на себя. Платить долгъ, по его мнѣнію, значитъ кормить отца, а бросать деньги—кормить жену, которая умѣетъ только пить да ѣсть. Царю очень нравится отвѣтъ, но онъ не велитъ ремесленнику никому объяснять его, пока онъ сто разъ не увидитъ царскаго лица. Затѣмъ онъ предлагаетъ своимъ мудрецамъ разгадать отвѣтъ ремесленника; конечно, тѣ не умѣютъ, дознаются, откуда царь узналъ его, и обращаются сами къ ремесленнику; тотъ проситъ у нихъ сто золотыхъ монетъ, пересматриваетъ каждую монету и даетъ свое объясненіе. Мудрецы признаются царю, какимъ путемъ они нашли разгадку, царь посылаетъ за ремесленникомъ и начинаетъ уборять его, говоря, что онъ подъ страхомъ строжайшаго наказанія не долженъ былъ говорить о томъ, пока не увидитъ царскаго лица. Что же вычеканено было на монетѣ, какъ не царское лицо, которое въ присутствіи мудрецовъ ремесленникъ видѣлъ сто разъ? Понятно, царь ничего не имѣетъ возразить и какъ нельзя болѣе доволенъ простолюдиномъ, перехитрившимъ и царя, и его мудрецовъ. Кажется, нечего указывать, какъ содержаніе повѣсти подходитъ къ тону народныхъ вымысловъ, гдѣ часто торжествуетъ здравый

[1]) Привожу нумерацію Венеціанскаго изданія 1852 года.

умъ крестьянина надъ ученостью мудрецовъ, и простолюдинъ учитъ царя житейской мудрости. У русскаго народа существуетъ такой же разсказъ (Рус. нар. сказки, Аѳанасьева, кн. III, стр. 181). Только тамъ крестьянинъ одну долю вноситъ въ подать, другою кормитъ отца, третьей сына, четвертой дочь—за окно кидаетъ; кромѣ того, первая половина сказки-загадки приводится и въ былинахъ о Петрѣ Великомъ (Собр. Рыбникова); тамъ загадка говорится опять иначе: у крестьянина три статьи расхода: «въ долгъ даю—2-хъ сыновей кормлю;—въ воду мечу—дочерей кручу».

Не менѣе этого популяренъ у насъ разсказъ о конѣ, пришедшемъ къ колоколу просить правосудія на хозяина, который не хочетъ кормить его въ старости. Мотивъ животныхъ, требующихъ людского суда или царской защиты, тоже довольно распространенный, встрѣчается и въ легендахъ о Карлѣ Великомъ. Здѣсь (52-я новелла) конь является невольнымъ доносчикомъ; бродя по городу голодный, онъ щиплетъ траву, обвившуюся вокругъ веревки колокола, звонитъ и тѣмъ сзываетъ народъ, который въ этомъ видитъ обличеніе неблагодарнаго хозяина.

Обильная варіантами тэма о силѣ женской красоты нашла себѣ выраженіе въ коротенькой новеллѣ, которую привожу въ переводѣ (Нов. 14): «У одного царя родился сынъ. Мудрецы астрологи велѣли 10 лѣтъ не показывать ему солнца, и царь роститъ его въ темной пещерѣ. По истеченіи срока, его вывели на свѣтъ, показали ему много красивыхъ предметовъ и между прочимъ прекрасныхъ дѣвушекъ, все ему назвали своими именами, а про дѣвушекъ сказали, что они демоны, и потомъ спросили его, что́ ему больше всего нравится? онъ отвѣчалъ: Демоны! Тогда царь очень удивился и сказалъ: вотъ что значитъ сила и красота женщины (Tirannia e bellora di donna)»! Въ легендахъ объ отшельникахъ, даже не христіанскихъ, разсказываютъ, что злой духъ искушаетъ ихъ обыкновенно подъ видомъ красивой женщины; въ наивномъ восклицаніи царя не слышится-ли тотъ-же намекъ на всемогущество любви и на боязнь искушенія отъ тѣхъ злыхъ демоновъ, какими представлялись женщины разгоряченному воображенію средневѣкового аскета? Это-же чувство вызвало такой большой циклъ сюжетовъ о женской хитрости, злобѣ, лжи, весьма распространенный въ средневѣковомъ повѣствованіи. На эту тэму, извѣстный мотивъ вѣроломной вдовы, варіантъ «Эфесской Матроны» здѣсь разсказанъ въ 59-й новеллѣ: «о томъ, какъ вдова повѣшеннаго скоро утѣшилась въ своемъ горѣ». За тѣмъ, хитрость, съ которой дурная женщина скрываетъ обманъ

отъ мужа, рисуется въ 65-й новеллѣ о королевѣ Изоттѣ и мессирѣ Тристанѣ (извѣстныхъ герояхъ рыцарской эпопеи). Когда жена видѣла, что мужъ засталъ ихъ свиданіе, она повела разговоръ, изъ котораго мужъ долженъ былъ убѣдиться въ ея невинности.

Къ этому кругу обличающихъ женщину разсказовъ можно отнести и тотъ, гдѣ на сценѣ является популярная въ средніе вѣка личность волшебника Мерлина и уличаетъ жену, вызвавшую мужа на беззаконное дѣло изъ-за того только, чтобъ имѣть новое платье и имъ затмить другихъ красавицъ (Nov. 26, d'un borghese di Francia). Сюда же принадлежитъ и анекдотъ о Геркулесѣ (Нов. 70), который терпѣливо сносилъ обиды жены, потому-что она съумѣла подчинить себѣ того, кого даже и звѣри боялись. Эта новелла—не единственное воспоминаніе классической древности: на ряду съ назидательными поученіями о воспитаніи (Нов. 5,—на тему: блаженъ кто съ молоду былъ молодъ! разсказываетъ, какъ юноша, воспитанный безъ дѣтскихъ игръ между взрослыми, увлекается пустяками въ зрѣломъ возрастѣ, и выводитъ педагогическое правило), объ управленіи государствомъ (Нов. 24,—на вопросъ Фридриха II: можетъ-ли онъ взять у одного подданнаго и дать другому безъ всякаго права, или долженъ дѣйствовать по законамъ? два мудреца отвѣчали различно и обоихъ царь наградилъ: одного богато одарилъ, другому поручилъ составить законъ; надо рѣшить, какая награда больше?), въ новеллахъ помѣщены и изреченія Аристотеля (Нов. 68, какъ надо беречься дурныхъ дѣлъ въ молодости, чтобы упрочилась привычка ко всему хорошему), Катона, Сенеки; есть два разсказа о республиканскихъ добродѣтеляхъ римлянъ; миѳъ о Нарциссѣ; баснословное преданіе о мудрости Александра Македонскаго—этого героя средневѣковыхъ романовъ, и знаменитый отвѣтъ ему Діогена. Въ нѣкоторыхъ соблюдается историческая вѣрность, въ другихъ-же Сократъ является римскимъ сенаторомъ, принимающимъ посольство отъ греческаго султана. Про императора Траяна разсказываютъ тотъ примѣръ его справедливости, который описанъ Дантомъ въ 10-й пѣсни Чистилища; въ Новеллино этотъ разсказъ длиннѣе; тутъ повѣствуется, какъ, вскорѣ послѣ смерти императора, папа Григорій Святой откапываетъ его тѣло; языкъ и кости его оказываются нетлѣнными—награда за правосудіе; папа молится за него, и душа язычника избавляется адскихъ мученій и переходитъ въ жизнь вѣчную. Вообще намекъ на то уваженіе, которымъ герои Греціи и Рима не переставали пользоваться на христіанскомъ Западѣ, встрѣчаются въ средне-

вѣковой литературѣ очень часто: лучшимъ доказательствомъ того служитъ благоговѣніе Данта къ Виргилію, въ нашемъ-же сборникѣ то, что изъ ста новеллъ пятнадцать съ антическими сюжетами. Ветхозавѣтная исторія, еще болѣе классической древности вдохновлявшая народное творчество, нашла также отголосокъ въ Новеллино. Разсказъ (Нов. 6) о томъ, какъ Давидъ считалъ свой народъ и былъ за то наказанъ, въ подробностяхъ отступаетъ отъ библейскаго текста. О любимцѣ народной фантазіи, Соломонѣ, разсказывается (Нов. 7), какъ ангелъ предсказалъ ему, что царство отнимется отъ его сына, какъ мудро царь было распорядился, чтобъ этого не случилось, и, несмотря на то, 10 колѣнъ Израилевыхъ отложились отъ Ровоама. Приводится также извѣстный случай изъ жизни пророка Валаама (Нов. 36), разговаривавшаго съ ослицею. Жизнь и ученіе Іисуса Христа, породившіе такую богатую легендарную литературу, дали въ Новеллино содержаніе одной только легендѣ (Нов. 83), а именно о томъ, какъ однажды ученики нашли на дорогѣ золото и Господь не позволилъ имъ взять его, говоря, что большую часть душъ человѣческихъ оно отвлекаетъ отъ царства небеснаго. Въ томъ они убѣждаются сами на обратномъ пути: два спутника нашли это золото, раздѣлили его, а потомъ одинъ далъ другому отравленный хлѣбъ, тотъ зарѣзалъ его, и оба погибли изъ-за найденныхъ денегъ. Схоластическая наука среднихъ вѣковъ и прямой здравый умъ народа, насмѣшливо относящійся къ ея измышленіямъ, сказались нѣкоторыми анекдотами Новеллино, и служатъ также доказательствомъ его народнаго происхожденія. Такъ, въ 29-й новеллѣ—разсказывается, какъ въ Парижѣ мудрецы-астрологи распредѣляли, гдѣ небо Сатурна, Меркурія, а главнаго высшаго начала все-таки не умѣли указать и опредѣлить; при этомъ краткое разсужденіе о безполезности изслѣдованія тайнъ, скрытыхъ отъ человѣка Божіей премудростью. Впрочемъ, эта одна изъ очень немногихъ новеллъ, къ которымъ прибавляется мораль или поученіе: обыкновенно разсказъ ведется кратко безъ всякихъ выводовъ, комментаріевъ и т. п. Новелла 35-ая характеризуетъ упрямство ученаго, настаивающаго на научной теоріи вопреки ея очевидному опроверженію на практикѣ. Новелла 38-ая осмѣиваетъ астролога, заглядѣвшагося на небо и угодившаго въ яму.

Но всѣ эти и подобные имъ сюжеты указываютъ только на общеніе итальянцевъ съ остальной Европой и, доказывая древность сборника, содержатъ, въ сущности, очень мало національнаго, хотя дѣйствіе ихъ происходитъ бо́льшею частью въ Италіи.

Тутъ есть другой рядъ разсказовъ; тѣ, хотя переносятъ насъ иногда во Францію или Англію, но характеризуютъ больше всего ранній періодъ итальянской литературы, и ихъ слѣды встрѣчаемъ и у Боккаччіо, и въ позднѣйшей новеллѣ. Это именно рыцарскіе сюжеты, которые были знакомы Италіи черезъ посредство провансальской поэзіи, имѣвшей такое громадное вліяніе на югѣ и западѣ Европы.

Не иначе, какъ черезъ Францію и Провансъ, шли въ Италію тѣ отрывки и намеки на рыцарскія эпопеи, которыми такъ богатъ нашъ сборникъ. Въ самомъ дѣлѣ, нигдѣ воинственный характеръ новыхъ народовъ, сѣмена христіанскихъ идей, падшія на ихъ нетронутую почву, близость арабской цивилизаціи, богатая природа края, матеріальное благосостояніе населенія, не содѣйствовали въ такой степени процвѣтанію поэзіи, какъ въ Провансѣ. Тутъ свѣтлыя стороны рыцарства, его восторженные идеалы нравственнаго совершенства, вызванные христіанствомъ въ воспріимчивой природѣ обновленнаго человѣчества, его уваженіе къ женщинѣ, принявшее отъ близости востока оттѣнокъ страстности, а съ другой стороны, знакомство съ богатой красками поэзіей арабовъ вдохновили трубадуровъ, которые, если не внесли сами ничего великаго въ общеевропейскую литературу, за то вызвали къ дѣятельности итальянскихъ лирическихъ поэтовъ. Черезъ трубадуровъ проникали въ народную литературу и тѣ отголоски сѣверныхъ сказаній о сподвижникахъ Карла Великаго, о герояхъ Круглаго Стола, которые одинаково знакомы были всему рыцарскому міру. Воинственныя и любовныя похожденія Ланселота и Жиневры, Тристана и Изотты вдохновляли пѣвцовъ, какъ въ Англіи и Германіи, такъ и во Франціи и Италіи. Понятно, что если итальянскій умъ цѣнитъ красоту любовной лирики провансальцевъ, нашедшей въ Италіи многочисленныхъ подражателей, то онъ не могъ оставаться равнодушнымъ и къ тому художественному блеску, которымъ одѣто было рыцарство и который на сѣверѣ породилъ такую богатую повѣствовательную поэзію; не удивительно потому, что въ его поэтическомъ творчествѣ встрѣчается такъ много рыцарскихъ сюжетовъ. Отъ этого и Новеллино такъ полно сюжетами изъ рыцарской жизни, французское происхожденіе которыхъ несомнѣнно; мало того, что самый языкъ изобилуетъ французскими оборотами рѣчи и провансальскими именами, но въ немъ встрѣчаются цѣлыя фразы и (въ Nov. 64) цѣлое стихотвореніе на провансальскомъ языкѣ. Большинство новеллъ нашего сборника разсказываетъ въ формѣ коротенькихъ, незатѣйливыхъ анекдотовъ отдѣльные случаи изъ придворной

жизни, благородные поступки, остроумные отвѣты и всякія выраженія рыцарскихъ доблестей; приводится множество примѣровъ великодушія, щедрости, «courtoisie» разныхъ государей. Собственно двоимъ приписывается особенно много этихъ добродѣтелей: король англійскій «Il re giovane» (предполагаютъ, что такъ прозванъ въ народныхъ преданіяхъ Генрихъ III, коронованный при жизни отца) прославляется въ нѣкоторыхъ разсказахъ за самую неумѣренную щедрость (Nov. 19, 20: della grande liberalita e cortesia del re giovane) и за любовь къ трубадурамъ и труверамъ. Этимъ же покровительствомъ пѣвцамъ и художникамъ памятенъ народу и императоръ Фридрихъ II (1194—1250), который вообще имѣлъ больше вліянія на итальянскую литературу, и котораго народное воображеніе дѣлало героемъ и баснословнымъ разрѣшителемъ всякихъ мудреныхъ процессовъ. Крестовые походы, приключенія крестоносцевъ не могли не дать матеріала повѣствовательной литературѣ своего времени: на Новеллино они отозвались анекдотомъ о кипрскомъ королѣ (Nov. 51), послужившемъ темой хорошенькой новеллы въ «Декамеронѣ», и разсказомъ (Nov. 67) о Ричардѣ Львиное-Сердце, котораго отъ хитрыхъ козней Саладина спасла его проницательность; а самъ Саладинъ, не мало достоинствами своего характера поражавшій народную фантазію, служитъ героемъ одного разсказа (Nov. 25), въ которомъ воспѣвается его щедрость и уловка, употребленная имъ, чтобъ видѣть христіанскіе обычаи, а потомъ уличить враговъ въ неуваженіи къ кресту, символу ихъ вѣры. Въ другомъ мѣстѣ (Nov. 77) разсказывается, какъ онъ былъ посвященъ въ рыцари Гугономъ Табарійскимъ, и объясняется весь символизмъ этого обряда. Преданіе это, вѣроятно, очень популярное на Западѣ и характеристическое, какъ для мусульманскаго героя, такъ и для христіанскихъ рыцарей, служитъ также сюжетомъ одного сѣвернаго фабліо. Но на ряду съ воинственными, и романическія, т.-е. любовныя похожденія рыцарей, эти всюду и всегда интересныя темы повѣствованій, не должны были оставаться безъ вліянія на итальянскую повѣсть; на нашемъ сборникѣ они не только сказались въ сюжетахъ и именахъ дѣйствующихъ лицъ, но уже по тону самыхъ разсказовъ видно, что они исходили не изъ городской жизни, обезобразившей позднѣйшую новеллу такимъ избыткомъ грязи и цинизма, а изъ рыцарскихъ эпопей. Хотя и у Боккачіо chronique scandaleuse рыцарской жизни давала обильное содержаніе крайне непристойнымъ разсказамъ, тѣмъ не менѣе никакому иному, какъ именно рыцарскому вліянію можно приписать ту

идеалистическую подкладку въ нѣкоторыхъ новеллахъ «Декамерона», которая рѣзко контрастировала съ грубостью самыхъ сюжетовъ. Новеллино содержитъ въ себѣ одинъ образецъ отрывка изъ рыцарскихъ сказаній. Вотъ переводъ этой 82-й новеллы—«Qui conta come la damigella di Scalot mori per amore di Lancillota di Lac., т.-е., здѣсь разсказывается, какъ дѣвица Скалотъ умерла отъ любви къ Ланчильото ди-Лакъ. Дочь одного знатнаго вассала влюбилась безъ мѣры въ Ланчильото; но онъ не хотѣлъ ей дать своей любви, потому что уже отдалъ ее королевѣ Жиневрѣ:

«И такъ сильно полюбила она Ланчильото, что была при смерти и отдала приказаніе, чтобъ, когда душа ея разстанется съ тѣломъ, снаряжена была богатая лодка, покрытая вся краснымъ; чтобъ внутри ея было ложе съ богатыми и дорогими шелковыми покрывалами, украшенное богатыми драгоцѣнными камнями. И тѣло ея положить на это ложе и одѣть самыми дорогими одѣяніями и надѣть на голову самую лучшую корону, богатую золотомъ и драгоцѣнными камнями, и опоясать богатымъ поясомъ и положить кошелекъ. А въ этомъ кошелькѣ было письмо слѣдующаго содержанія. Но скажемъ прежде, что было до письма. Дѣвица умерла отъ любви и все было сдѣлано, какъ она хотѣла. Лодка безъ паруса была пущена въ море. Море принесло ее къ Камалоту и оставило у берега. Слухъ о томъ разнесся при дворѣ. Рыцари и бароны вышли изъ дворцовъ, пришелъ и благородный король Артуръ и очень удивился, что въ лодкѣ никого не было. Король вошелъ въ нее, увидалъ дѣвицу и убранство, и велѣлъ открыть кошелекъ. Тутъ нашли письмо и въ немъ прочли: Всѣмъ рыцарямъ Круглаго Стола шлетъ поклонъ эта дѣвица Скалотъ, какъ лучшимъ изо всѣхъ людей на свѣтѣ. И если хотите знать, почему я скончалась, то это по винѣ самаго лучшаго на свѣтѣ рыцаря и вмѣстѣ самаго дурного, господина Ланчильото ди-Лакъ, любви котораго я не умѣла просить такъ, чтобъ онъ сжалился надо мною. Такъ я въ горѣ и умерла за то, что сильно любила, какъ вы это видите».—Наивный, безхитростный отрывокъ изъ рыцарской эпопеи написанъ и тѣмъ не богатымъ, безпритязательнымъ, но трогательнымъ языкомъ, которымъ отличается большинство этихъ Cento Novelle, и который придаетъ имъ столько юности и свѣжести.

Мнѣ кажется, сказаннаго достаточно, чтобъ опредѣлить содержаніе Новеллино: сказочные, библейскіе, античные и рыцарскіе сюжеты придаютъ ему характеръ вполнѣ средневѣкового памят-

ника общеевропейской повѣствовательной литературы; а тосканское нарѣчіе, хотя испещренное провансальскими галлицизмами, указываетъ на то, что принялись и пустили корни эти сѣмена, зародыши повѣсти, лучше всего въ той средѣ, гдѣ раньше другихъ пробуждается поэзія и образованіе, т.-е. на родинѣ Боккаччіо, во Флоренціи. Духомъ промышленнаго люда вѣетъ и отъ двухъ-трехъ анекдотовъ Новеллино, въ которыхъ разсказывается про насмѣшки и продѣлки одного торговца надъ скупостью и глупостью другого; анекдоты эти проникнуты уже вполнѣ тѣми интересами рынка и площади, которые составятъ существенную черту художественной новеллы во Флоренціи. Но прежде, чѣмъ перейти къ флорентійской новеллѣ, посмотримъ, нѣтъ-ли уже въ самомъ Новеллино какихъ указаній на то, какъ изъ этого безъискусственнаго анекдота можетъ развиться тотъ родъ повѣствованія, который создастъ Боккаччіо, и который по своей художественной законченности никогда не перестанетъ служить образцомъ изящнаго разсказа. Посмотримъ прежде всего, какъ объясняется въ сборникѣ самый терминъ: «Новелла».

Въ предисловіи его читаемъ, что здѣсь собраны цвѣты краснорѣчія, «alquanti fiori di parlare, di belle cortesie e dibe'ries posi e di belle valentie e doni», такъ-сказать перлы всего прекраснаго: поступковъ, отвѣтовъ, доблестей славныхъ людей прошлаго времени; цвѣты или перлы, которые могутъ пояснятся, разсказываться на пользу и удовольствіе потомства. Слѣдовательно, они даютъ только тэму разсказа, все значеніе ихъ въ содержаніи, потому что они предлагаютъ факты для повѣствованія, какъ-бы сырой матеріалъ. Отсюда и простота ихъ формы: анекдотъ, острота разсказывается безъ всякаго эффекта, какъ фактъ, который впослѣдствіи можетъ служить благодарной основой болѣе подробнаго разсказа. Отсюда и то впечатлѣніе сухого résumé или конспекта, которое производятъ даже сложные разсказы и сказки этого сборника, хотя въ нихъ и не чувствуется недостатка деталей и подробностей; впечатлѣніе это усиливается еще безъискусственнымъ слогомъ, не взвѣшивающимъ отдѣльныхъ словъ и выраженій, а стремящимся къ точной передачѣ дѣла такъ, какъ оно есть. Тутъ нѣтъ и рѣчи о соблюденіи гармоніи въ подборѣ и расположеніи разсказовъ довольно разнообразнаго, какъ мы видѣли, содержанія: рядомъ съ описаніемъ рыцарскихъ обрядовъ при посвященіи Саладина въ рыцари, слѣдующая за тѣмъ новелла, озаглавливается: «di certe pronte risposte e detti di valenti uomini», и приводитъ безъ всякой связи нѣсколько мѣткихъ отвѣтовъ, остротъ и замѣчаній. Уже изъ этого видно, что такая но-

велла (№ 78) не можетъ представлять собою то, что́ мы разумѣемъ подъ именемъ повѣсти; а что́ въ то время называлось собственно новеллою, лучше всего указываютъ тѣ пять-шесть №№ нашего сборника, гдѣ терминъ этотъ попадается въ заглавіи.

Надо сказать, что обыкновенно заглавія разсказовъ бываютъ такого рода: какъ ангелъ говорилъ съ Соломономъ и сказалъ, что Богъ отниметъ царство у сына его за грѣхи его; какъ императоръ Фридрихъ сдѣлалъ вопросъ мудрецамъ и наградилъ ихъ; какъ два рыцаря любили другъ друга. Или: здѣсь разсказывается, какъ ломбардскій рыцарь растратилъ свое состояніе; здѣсь разсказывается, какъ одинъ умеръ отъ неожиданной радости. Или: о вопросѣ, предложенномъ одному богатому человѣку, и т. д. Но вотъ особое заглавіе: «Qui conta una novella di messer Imberal del Balzo». Что́ значитъ Novella, поясняется самымъ содержаніемъ: мессеръ этотъ былъ знатный провансалецъ, который занимался астрологіей и вѣрилъ въ разныя гаданья по птицамъ, ихъ движеніямъ, полету и т. п. Однажды, выѣхавъ со своей свитой, онъ встрѣтилъ на дорогѣ женщину и спросилъ ее, не видала ли она сегодня утромъ галокъ, сорокъ или воронъ? Оказывается, что на нвовомъ пнѣ она видѣла ворону. Въ какую сторону была обращена хвостомъ? Женщина отвѣчала, что птица держала хвостъ къ заду. Мессеръ испугался такого предзнаменованія и дальше не поѣхалъ. И часто потомъ разсказывалась *новелла* въ Провансѣ, какъ наивный отвѣтъ (per novissima risposta), который, не думая, дала эта женщина. Итакъ, новеллой здѣсь называется не разсказъ, а сама глупость суевѣрія, и вмѣстѣ съ тѣмъ и наивность неожиданнаго отвѣта. Потому что *nuovo*, какъ значится въ объясненіи устарѣлыхъ и непонятныхъ словъ, приложенныхъ къ Новеллино, употребляется въ смыслѣ «веселаго, смѣшного своей глупостью или экстравагантностью, piacevale per simplicita ostravaganza». Въ такомъ смыслѣ употребляетъ его и Боккачіо: новые — веселые разсказы, новый — глупый человѣкъ. «Отсюда и сказки, и смѣшные разсказы, были *новеллами*». Такимъ образомъ «una novella di messer Imberal del Balzo» можно перевести: глупость, наивность, простота господина такого-то; а novissima risposta будетъ значить и удачный, наивный отвѣтъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ забавный, смѣшной.

Вотъ переводъ другого разсказа, гдѣ заглавіе такое: «55. Qui conta d'una novella di un uomo di corte che avea nome Marco (здѣсь разсказывается про «новеллу» одного придворнаго, по имени Марко): Марко Ломбардскаго, ученѣйшаго изъ всѣхъ ученыхъ, спросилъ однажды одинъ почтенный и веселый человѣкъ, который

секретно принималъ отъ людей деньги, но не бралъ вещами, былъ большой насмѣшникъ и назывался Паолино. Онъ сдѣлалъ Марко вопросъ такого рода, думая, что на него онъ не съумѣетъ отвѣтить:—Марко, сказалъ онъ, ты самый мудрый человѣкъ во всей Италіи, но ты бѣденъ и презираешь подаянія; почему ты не устроишься такъ, чтобы быть богатымъ и не просить помощи другихъ? Марко посмотрѣлъ вокругъ себя и сказалъ:—Никто теперь насъ не видитъ и не слышитъ. Какъ самъ ты устроился? (E tu come hai fatto?)—Насмѣшникъ отвѣчалъ: я устроился такъ, что я бѣденъ. Марко отвѣтилъ: ты скрываешь это отъ меня, а я отъ тебя!» Помимо того, что здѣсь хорошо видно, какъ неумѣло и многословно разсказанъ анекдотъ, вся сила котораго въ сути одной заключительной фразы, но здѣсь говорится прямо про «новеллу» этого Марко, т.-е. про удачный, ловкій отвѣтъ его, которымъ онъ отдѣлывается отъ насмѣшника. Здѣсь *новое* значитъ не столько наивное, сколько необыкновенное не по своей глупости, а по рѣдкости, по уму и находчивости.

Такое же значеніе этого выраженія находимъ мы и въ Nov. 74: Qui conta una novella d'un fedel e d'un signore, гдѣ разсказывается, какъ крестьянинъ выпутался изъ бѣды, благодаря смѣшному замѣчанію: «Баринъ, сказано, велѣлъ наградить его, *per la nuova cosa*, которую онъ сказалъ». Новинка, новое опять въ смыслѣ не только краснаго словца, но и слова кстати. Вообще это выраженіе можетъ примѣняться въ очень широкомъ значеніи. Какъ оно употреблено въ Nov. 64 подъ заглавіемъ: «D'una novella ch'avenne in Provenza, alla corte del Po» (о новеллѣ, случившейся въ Провансѣ при дворѣ По),—видно изъ слѣдующаго содержанія разсказа: послѣ описанія рыцарской жизни при дворѣ, говорится какъ одинъ рыцарь любилъ свою даму, но кто она была, никто не зналъ. Желая открыть этотъ секретъ, другіе рыцари сговорились на пиру хвалиться своими дамами; скрытный рыцарь не утерпѣлъ и выдалъ свою тайну, за что дама сердца отказала ему въ своей любви, а онъ ушелъ въ лѣсъ и сдѣлался отшельникомъ. Спустя нѣсколько времени, общество придворныхъ дамъ и кавалеровъ заблудилось на охотѣ; встрѣтившись съ отшельникомъ, они разсказали ему, какъ ихъ дворъ потерялъ лучшаго своего рыцаря, который пропалъ неизвѣстно куда; но вотъ въ скоромъ времени назначается большой турниръ и, если пропавшій герой сохранитъ свои доблести, онъ вѣроятно явится, гдѣ бы ни находился. Конечно, отшельникъ возвращается, принимаетъ участіе въ торжествѣ, получаетъ пальму первенства и проситъ прощенія у своей дамы, которая соглашается простить его только

въ томъ случаѣ, если сто бароновъ и сто рыцарей, сто дамъ и сто дѣвицъ разомъ попросятъ за него. Рыцарь отправляется на богомолье въ монастырь, куда собирается дворъ и множество бароновъ, поетъ чувствительную пѣсню (приведенную на провансальскомъ нарѣчіи) о помилованіи, въ заключеніе которой всѣ тронутые слушатели просятъ за него прощеніе. Дама не могла не умилосердиться, и все пошло по старому.—Такая «новелла» случилась; слѣдовательно, тутъ новелла—нѣчто необыкновенное, выходящее изъ ряду вонъ,—новое, т.-е. своеобразное приключеніе, сила котораго въ томъ, что человѣкъ распутываетъ затруднительныя обстоятельства путемъ умной, *новой* (въ смыслѣ оригинальнаго) уловки. Почти такое же значеніе имѣетъ этотъ терминъ и въ Nov. 99,—разсказѣ, который могъ бы служить богатой темой повѣсти и комедіи, столько въ немъ затронуто разныхъ положеній и житейскихъ отношеній, такъ много въ немъ дѣйствія, интереснаго, живого и вмѣстѣ вполнѣ правдоподобнаго.

Но, кажется, достаточно уже приведенныхъ примѣровъ, чтобъ видѣть, что въ Новеллино, этомъ сборникѣ назидательныхъ сказокъ, поучительныхъ, иногда очень тонкихъ и глубокихъ изреченій, остроумныхъ отвѣтовъ, занимательныхъ приключеній, новеллой въ тѣсномъ смыслѣ слова называется такой сюжетъ, весь интересъ котораго въ неожиданной, *новой* развязкѣ, вся соль или въ осмѣиваемой глупости, или въ находчивости ума, или въ стеченіи обстоятельствъ, *«ново»*, оригинально складывающихся. Такія сказки, разсказы про веселые и необыкновенные случаи у итальянцевъ назывались «новинками». Если эти темы, которыми издревле богата и фантазія народа, и его жизненный опытъ, попадаютъ на почву широкой общественной жизни, въ городѣ дипломатовъ, насмѣшниковъ, которые съумѣютъ обратить ихъ въ бичеваніе всего смѣшного и глупаго, то при быстромъ развитіи литературы онѣ сдѣлаются наиболѣе художественнымъ и яснымъ видомъ повѣствовательной прозы. Такъ это и было во Флоренціи. Боккачіо воспользовался всѣми тѣми элементами повѣсти, которые мы видимъ въ Новеллино, и которые жили уже въ анекдотически-сказочномъ матеріалѣ общеевропейскаго народнаго повѣствованія. Особенно сильно развилъ онъ тѣ стороны этихъ — и восточно-сказочныхъ, и рыцарскихъ — темъ, которые лежатъ въ значеніи самаго термина *новелла;* поэтому онъ очень много мѣста удѣлилъ прекраснымъ отвѣтамъ, bei risposi, составляющимъ по предисловію въ Новеллино, на ряду съ примѣрами доблести, съ великодушными поступками, украшеніе рѣчи, цвѣтъ разсказа, fiori di parlare. Но тонъ и направленіе «Декамерона»

зависятъ столько же отъ общихъ основъ средневѣковой повѣсти, отъ перваго источника этихъ сюжетовъ, сколько отъ вліянія современной новеллисту итальянской городской жизни. Въ чемъ это вліяніе заключалось, какъ сказывалась на новеллѣ флорентійская жизнь, яснѣе всего видно на произведеніяхъ, хотя и вызванныхъ «Декамерономъ», но болѣе рѣзко и исключительно отражающихъ въ себѣ эту жизнь, имѣющихъ потому менѣе широкое значеніе, чѣмъ «Декамеронъ»,—на произведеніяхъ новеллистовъ-современниковъ Боккаччіо.

II.

У одного изъ нихъ, Саккетти, мы видимъ, что новелла все содержаніе свое черпаетъ изъ окружающей дѣйствительности и усиливаетъ особенно насмѣшливый тонъ въ разсказѣ разныхъ «новыхъ», т.-е. оригинальныхъ или глупыхъ событій и происшествій. Повѣсти эти, хотя вызванныя подражаніемъ «Декамерону», литературнаго, эстетическаго значенія имѣютъ мало; но онѣ чрезвычайно характеристичны для времени и для той стороны умственной жизни, которая вызвала въ свѣтъ новеллу, которая не находитъ себѣ выраженія въ высокихъ родахъ литературы и играетъ тѣмъ не менѣе существенную роль въ поэтической дѣятельности человѣка. Эта легкая, шутливая поэзія, назначенная для забавы, не претендуетъ на высокое значеніе въ исторической жизни націи, но, достигая художественнаго совершенства, имѣетъ болѣе права на вниманіе историка литературы, чѣмъ иное произведеніе, разсчитанное на поученіе потомства. Поэтому флорентійскія новеллы Саккетти, представляя собою не болѣе какъ пересказъ разныхъ необыкновенныхъ, смѣшныхъ, забавныхъ случаевъ жизни, имѣютъ для насъ огромный интересъ: онѣ указываютъ на тѣ потребности народнаго ума, изъ которыхъ вытекаетъ этотъ родъ повѣствованія и которыя находятъ свое художественное выраженіе въ Боккаччіевой Новеллѣ, а главнымъ образомъ онѣ указываютъ на тотъ строй жизни во Флоренціи, который обусловилъ данное развитіе новеллы.

Франко Саккетти (1335—1400) стоитъ на ряду самыхъ образованныхъ людей своего времени; занимая видное мѣсто въ республикѣ, онъ пользовался уваженіемъ согражданъ, много путешествовалъ по дѣламъ правительства, имѣлъ огромныя знакомства по Италіи, велъ дружбу какъ съ князьями, такъ и съ учеными; кромѣ общественной дѣятельности жизнь его наполнена

разными перипетіями: онъ потерялъ состояніе, родные его были замѣшаны въ политическихъ смутахъ; но ни высокое положеніе въ республикѣ, ни серьёзный и строгій характеръ не помѣшали веселости его флорентійскаго ума и бойкости, вольности и безцеремонности пера. Страстный поклонникъ Петрарки, въ многочисленныхъ стихотвореніяхъ своихъ онъ является подражателемъ его любовной поэзіи; самъ онъ въ продолженіи 26 лѣтъ любилъ одну особу, имя которой осталось потомству неизвѣстнымъ. Но это рыцарское поклоненіе женщинѣ, эта высокая любовь, предметъ несмѣтнаго множества канцонъ и сонетовъ, слишкомъ глубоко не затрогивала жизни и образа мыслей поэтовъ того времени. Чувства эти были навѣяны извнѣ, были модой, и тотъ Саккетти, который въ сонетахъ воспѣвалъ идеалы Петрарки, въ новеллахъ своихъ сходится съ народными взглядами, выразившимися въ средневѣковой повѣсти на женщину и женскую добродѣтель: если въ его разсказѣ на сценѣ женщина, то можно навѣрно сказать, что тутъ не обойдется дѣло безъ неприличной, грязной выходки. Поэтому въ защитникѣ того мнѣнія, что примѣрныя жены воспитываются побоями мужей (Nov. 84—86), въ наше время трудно узнать приверженца Петрарки и поклонника высокой чистой любви; но тогда эти рѣзкіе контрасты уживались очень легко. Вообще двойственный характеръ этого писателя представляетъ чрезвычайно характеристичное явленіе для этой довольно ранней эпохи европейскаго образованія: такъ, если въ канцонахъ, сонетахъ, проповѣдяхъ на церковныя темы, видѣнъ человѣкъ вполнѣ образованный и воспитанный на той лирикѣ, которую провансальское вліяніе внесло въ итальянскую литературу, то въ новеллахъ, главномъ его произведеніи и единственномъ, которое было напечатано, этого характера нѣтъ и слѣда. «Trecento Novelle» — порожденіе исключительно мѣстной, городской жизни Италіи. Человѣкъ остроумный, наблюдательный, знакомый со всѣми слоями общества — въ тѣ времена, когда не существуетъ большой розни понятій между отдѣльными классами, когда пріоры республики забавляются такъ же грубо и плоско, какъ любые площадные торговцы, Саккетти исподволь записываетъ все, что̀ ему доводится слышать и видѣть смѣшного, оригинальнаго, остроумнаго, «cose nuove», будь то старинный анекдотъ, находчивость посланника передъ папой, острота придворнаго шута, крѣпкое словцо краснобая трактирщика, продѣлка шулера, ловкое мошенничество лавочника, хитрость паразита, пообѣдавшаго на чужой счетъ, — и такимъ путемъ составляется цѣлый сборникъ, чрезвычайно популярный въ свое время. Здѣсь мы не найдемъ тѣхъ

элементовъ повѣствованія, которые такъ сильны въ Novellino; здѣсь нѣтъ отголосковъ рыцарскихъ эпопей, античныхъ библейскихъ сказаній, за то не мало общеевропейскихъ сказочныхъ сюжетовъ, безъ которыхъ не могъ обойтись сборникъ, вращающійся почти исключительно въ области народнаго житейскаго опыта.

Я не стану приводить содержанія этихъ анекдотовъ и сценъ изъ народной жизни, потому что много родственнаго и похожаго съ этими разсказами мы найдемъ въ новеллахъ Боккаччіо; къ тому же и острота ихъ, вся соль до того грубаго свойства, что въ наше время то, что заставляло дѣйствующихъ лицъ хохотать, держась за бока, у насъ вызываетъ не смѣхъ, а скорѣе отвращеніе,—такъ оно грязно, плоско и незамысловато. Но публика нашего автора не такъ была требовательна: напр., разсказывается (Nov. 70), какъ одному не хотѣлось платить деньги, чтобъ зарѣзать свинью, и онъ рѣжетъ ее самъ; какъ свинья вырывается изъ-подъ ножа, бросается и пачкаетъ все, попадаетъ въ колодецъ и т. д., рядомъ убытковъ наказывая хозяина за скупость; и описывается все съ такими подробностями, что̀ очевидно, какъ наслаждается и разсказчикъ, и слушатели. Вообще случаи, въ которыхъ кошки, свиньи, ослы играютъ главную и рѣдко благопристойную роль, даютъ темы разсказамъ весьма первобытнаго комизма.

Такъ какъ авторъ разсказываетъ постоянно случаи изъ дѣйствительной жизни, то и про историческихъ лицъ эпохи тутъ встрѣчаемъ много анекдотовъ, быть можетъ и вымышленныхъ, но рисующихъ ихъ съ одной только будничной, мелкой стороны. Про какого-нибудь Висконти, извѣстнаго тирана своего времени, узнаемъ (Nov. 82), какъ онъ потѣшался въ Миланѣ, заставляя напиваться двухъ придворныхъ, чтобъ увѣриться, кто кого перепьетъ. Про Данта разсказывается (Nov. 8) una piacevole risposta, шутливый отвѣтъ, весьма грязный и плоскій, который могъ дать всякій другой флорентинецъ, и непонятно, почему онъ вложенъ въ уста великаго поэта. Другіе два анекдота про него интересны тѣмъ, что доказываютъ, какъ близка была народу «Божественная комедія»: ее распѣвали ремесленники, погонщики ословъ и т. п. (Nov. 114 и 115). Идя за ослами и распѣвая, мужикъ прибавляетъ отъ себя лишнее слово; поэтъ слышитъ это и поправляетъ его; тотъ высовываетъ ему языкъ, на что̀ Дантъ отвѣчаетъ шуткой, un piacevol motto: «одного своего (языка) не отдамъ за сто твоихъ». Не менѣе близка была народу и дѣятельность его художниковъ, выходившихъ, какъ свидѣтельствуетъ исторія ваяль-

янскаго искусства, изъ лавокъ мастеровыхъ. Популярность знаменитаго Джіотто, котораго особенно цѣнили за бойкость и веселость характера, выразилась и въ новеллахъ Саккетти и Боккачіо, и дала поводъ разсказать въ «Декамеронѣ» нѣкоторыя его похожденія и продѣлки, считавшіяся очень остроумными.

Хотя Саккетти все, что̀ разсказываетъ, выдаетъ за истину, приводитъ всегда полное имя дѣйствующаго лица, городъ, время и политическія обстоятельства, при которыхъ совершается то или иное событіе, говорится та или другая острота,—но, конечно, вѣрить ему на слово трудно, потому что онъ записываетъ разсказы, которые живутъ въ народѣ и искажаются, приноравливаясь къ разнымъ лицамъ, такъ, напр., анекдотъ о томъ, какъ поэтъ отнимаетъ у ремесленника его инструменты за то, что онъ коверкаетъ его стихи,—анекдотъ, который Саккетти приписываетъ Данту, потомъ прилагался къ другимъ поэтамъ Италіи. Тѣмъ не менѣе новеллы эти даютъ самый обильный матеріалъ историку того времени, особенно историку культуры,—такой яркій свѣтъ проливаютъ онѣ на общественныя, семейныя и нравственныя отношенія современнаго общества; особенно семейный бытъ разоблачается тутъ съ той беззастѣнчивой откровенностью, которая немыслима въ наше время, а возможна была въ XIV вѣкѣ и притомъ же на югѣ, гдѣ страсти высказываются сильнѣе и безцеремоннѣе.

Саккетти невольно, желая только развлекать и смѣшить, характеризуетъ намъ бытъ своего народа и рисуетъ его лучше, чѣмъ наши сочинители народныхъ сценъ и жанровыхъ картинокъ въ литературѣ, потому что не имѣетъ цѣлью ни обличенія, ни ознакомленія образованнаго меньшинства съ младшей братіей, а просто списываетъ съ натуры, что̀ поражаетъ его. Тутъ мы встрѣчаемъ и князей, и пріоровъ Флоренціи, и генераловъ, и солдатъ, и шутовъ, и художниковъ, и купцовъ, и ремесленниковъ, и игроковъ, и шулеровъ, и ростовщиковъ, и домоправителей, не говоря, разумѣется, про духовенство, которое, какъ извѣстно, доставляло самые обильные сюжеты средневѣковой насмѣшкѣ; а у Саккетти оно занимаетъ своими похожденіями и злоупотребленіями самое видное мѣсто. Тутъ историкъ найдетъ разбросанныя черты всей городской жизни Италіи: никакое сословіе, никакая сторона общественныхъ отношеній не осталась незатронутой; всѣ они нашли себѣ обличеніе въ этихъ безпритязательныхъ новеллахъ — анекдотахъ. И тутъ особенно характеристично не столько самое содержаніе ихъ, не столько то, что тутъ узнаемъ про извѣстныхъ историческихъ лицъ, сколько самый тонъ этихъ разсказовъ: въ нихъ собственно обличительнаго, каратальнаго

направленія искать не слѣдуетъ, потому что для итальянскаго новеллиста важенъ никакъ не смыслъ, не результатъ, не общественное значеніе осмѣиваемаго событія, а самъ фактъ, сама насмѣшка, то наслажденіе, которое испытываетъ умный человѣкъ при видѣ хорошо сыгранной «штуки» — тотъ смѣхъ, который всегда вызывается сопоставленіемъ двухъ противорѣчивыхъ представленій. Поэтому, говоря про сатирическій духъ новеллы, надо помнить, что эта сатира не наша, не обличеніе во имя какого-нибудь принципа или идеала, а смѣхъ для смѣха, для забавы. Это интересная черта литературы, которую мы встрѣтимъ и у Боккачіо, и которая зависитъ отъ самой эпохи. Потому, не останавливаясь на другихъ историческихъ чертахъ нашего сборника, мы укажемъ только на *эту* сторону его, какъ объясняющую отчасти и многое въ «Декамеронѣ», и очень важную для самой формы художественной новеллы.

Въ предисловіи авторъ говоритъ, что его трудъ вызванъ подражаніемъ Боккачіо; но между его сборникомъ и «Декамерономъ» — огромное разстояніе; большая разница уже въ самой формѣ: Саккетти отъ своего лица, просто одно за другимъ, безъ всякаго подбора разсказываетъ всѣ тѣ приключенія, остроты, которыя онъ самъ видѣлъ или слышалъ отъ другихъ, между тѣмъ какъ повѣсти Боккачіо вставлены въ очень искусную рамку и составляютъ части одного закругленнаго цѣлаго; содержаніе «Декамерона» гораздо шире, а у Саккетти, несмотря на то, что такъ великъ кругъ дѣйствующихъ лицъ, оно чрезвычайно однообразно и сводится почти все къ одной мысли, вполнѣ мѣстнаго и современнаго характера. Старинная итальянская повѣсть не озаглавляется однимъ словомъ или однимъ именемъ; обыкновенно въ заглавіи разсказывается въ двухъ-трехъ строкахъ весь сюжетъ ея; у Саккетти стоитъ просмотрѣть только оглавленіе, чтобъ увидать, въ чемъ содержаніе и главный интересъ его новеллъ. Въ рѣдкомъ изъ этихъ заглавій мы не найдемъ выраженія: un piacevol motto (un mot plaisant), una piacevole risposta, un bel detto, una notabile parole, или una beffa (продѣлка, насмѣшка на словахъ или на дѣлѣ), una malizia, una sottile astuzia, un bello inganno (прекрасный обманъ); всѣ эти остроты, находчивые отвѣты, лукавыя увертки, хитрости показываютъ, что Саккетти терминъ «Novella» употребляетъ почти исключительно въ томъ тѣсномъ смыслѣ, въ какомъ онъ иногда употребленъ и въ «Novellino», т.-е. въ смыслѣ необыкновенной, такъ-сказать «новой» хитрости или догадливости, которая составляетъ весь интересъ

разсказа, приводя къ развязкѣ его дѣйствіе и, въ большинствѣ случаевъ, выручая человѣка изъ какого-нибудь затрудненія.

Nuovo иначе и не встрѣчается у Саккетти, какъ въ этомъ смыслѣ чудачества или оригинальной глупости; примѣры слишкомъ обильны, чтобъ приводить ихъ; достаточно будетъ указать на Nov. 6, гдѣ повѣствуется какъ одинъ трактирщикъ Basso della Penna, про котораго здѣсь собрано множество анекдотовъ, шутникъ и балагуръ, желая исполнить волю господина, просившаго у него какой-нибудь новой необыкновенной птицы, самъ сѣлъ въ клѣтку и велѣлъ принести себя къ барину, говоря, что новѣе этой птицы никакой не нашелъ (considerando chi io sono e quanto nuovo sono). Эта игра словъ объясняетъ значеніе человѣка новаго, какъ забавника, весельчака; въ другихъ новеллахъ, напр., у Боккаччіо, оно означаетъ просто глупенькаго простячка, а у Саккетти—чудака, оригинала по своему уму или по большой глупости. Поэтому «Novella» у него—разсказъ о разныхъ шуткахъ, часто крайне возмутительныхъ. Ничто не смѣшитъ и не радуетъ такъ Саккетти, какъ если герои его съ помощью ловкаго отвѣта умѣютъ вывернуться изъ бѣды или одурачить другихъ; поэтому онъ съ одинаковой любовью разсказываетъ какъ о находчивости пословъ, забывшихъ данное имъ дипломатическое порученіе, о насиліи и деспотизмѣ тирановъ, такъ и о воровствѣ-мошенничествѣ горожанина, объ остроуміи ребенка, перехитрившаго привилегированнаго шута, и о нечистыхъ продѣлкахъ шулера; иногда просто перебранка между мужемъ и женою даетъ содержаніе цѣлой новеллѣ, вся соль которой въ крайней грубости и цинизмѣ выраженій, нелишенныхъ, пожалуй, своего рода остроумія. Вообще это однообразное содержаніе поражаетъ въ наше время столько же ловкостью, умомъ дѣйствующихъ лицъ, сколько нравственнымъ индифферентизмомъ автора. Въ самомъ дѣлѣ, для него ложь, обманъ, самая безбожная насмѣшка, возмутительное преступленіе, насиліе надъ беззащитнымъ, злоупотребленіе сильнаго—интересны, поучительны и забавны, какъ проявленія ловкости, какъ искусство пользоваться силой, умомъ, случаемъ. Правда, послѣ каждаго анекдота онъ не выводитъ, а привязываетъ къ нему какую-нибудь мораль, поученіе или заключеніе, но тонъ разсказа до того противорѣчитъ тону этой морали, что тутъ невольно чувствуется двойственность писателя: какъ образованный и набожный человѣкъ, онъ разводитъ мораль, чувствуя, быть можетъ, что умъ не искупаетъ зла, но, какъ дитя своего вѣка и своего народа, не можетъ не радоваться успѣху сказанной остроты или сыгранной шутки.

И этотъ двойственный характеръ Саккетти не удивитъ насъ, если вспомнимъ, что онъ произведеніе флорентійской жизни. А Флоренція въ то время такъ же славилась своимъ остроуміемъ, какъ въ древности Аѳины, насмѣшливостью столько-же, сколько остроуміемъ, вообще изощреніемъ, тонкостью діалектическихъ и критическихъ способностей. Народъ предпріимчивый, торговый, флорентійцы раньше другихъ усилили свою городскую общину, выработали себѣ политическую самостоятельность, а демократическая свобода, уравнивая всѣ сословія, рано породила у нихъ и независимый духъ критики. Жизнь плутовъ-мѣнялъ и банкировъ воспитывала въ нихъ изворотливость ума и ту подвижность характера, общую у нихъ съ аѳинянами, которая такъ жестоко осмѣяна Дантомъ, и которая у человѣка часто зависитъ отъ духа критики. Принимая участіе въ дѣлахъ правленія, народъ, то защищая добытыя права, то добиваясь новыхъ, постоянно мѣнялъ свое государственное устройство и, перекраивая его то на тотъ, то на другой образецъ, создавая новые законы, новыя ограженія своей свободы, онъ научался различать въ борьбѣ партій разныя причины и поводы человѣческихъ дѣйствій [1]), изощрялъ до тонкости аналитическія способности ума, но свободы удержать не умѣлъ. Страсть къ политическимъ дѣламъ проявилась у флорентійцевъ очень рано, и вотъ почему балагуры, краснобаи, торгаши доставляли изъ среды себя, какъ придворныхъ шутовъ, «счетчиковъ и цифирниковъ», по злому выраженію Яго въ характеристикѣ флорентійца Кассіо («Отелло», д. 1 сц. 1), такъ и посланниковъ, хитроумныхъ дипломатовъ. Италія всегда представляла самое широкое поприще для политическихъ интригъ: раздѣленная вся на множество мелкихъ враждующихъ государствъ съ противорѣчивыми интересами и самыми разнообразными правительствами, начиная съ республики и кончая клерикальнымъ Римомъ или монархическимъ Неаполемъ, Италія уже въ средніе вѣка даетъ большой просторъ единичнымъ талантамъ, отдѣльной личности, и рано вырабатываетъ типъ ловкаго дипломата, который въ XVI-мъ вѣкѣ находитъ себѣ геніальнѣйшаго представителя въ лицѣ Макіавелли. Съ именемъ великаго политика непремѣнно связывается понятіе о крайней

---

[1]) И какъ умомъ глубокимъ онъ умѣетъ
Всѣхъ дѣлъ людскихъ причины постигать!

—говоритъ (3 д. 3 сц.) Отелло про Яго, и въ самомъ дѣлѣ, для того, чтобъ затянуть адскую сѣть, построить интригу этой трагедіи, взятой изъ итальянской новеллы, нуженъ былъ если не глубокій умъ, то, во всякомъ случаѣ, не дюжинные діалектическіе и дипломатическіе таланты.

безнравственности, полнѣйшей деморализаціи общества,—это и на дѣлѣ самая яркая черта эпохи возрожденія; но тогда, въ XVI-мъ вѣкѣ, явленіе это такъ поразительно, потому-что въ судьбахъ полуострова заинтересована почти вся Европа, и потому-что Италія достигла высшей степени своего умственнаго и художественнаго развитія, а въ сущности деморализація эта началась гораздо раньше, и «Принцъ» Макіавелли подготовлялся цѣлыми вѣками флорентійской жизни, цѣлымъ строемъ политическаго и умственнаго быта Италіи. Ставя тонкость ума выше всѣхъ другихъ способностей, флорентійцы рано научились ловкую интригу, проведенную во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, требующую глубокаго знанія людей и обстоятельствъ, цѣнить выше всѣхъ законовъ нравственности. Для нихъ понятіе о добрѣ и злѣ замѣнялось понятіемъ объ успѣхѣ и неуспѣхѣ, удачѣ и неудачѣ. Да и откуда имъ было выработать нравственный идеалъ? На религію ихъ нравственность опираться не могла: церковь, носительница всѣхъ высшихъ стремленій общества, представляла изъ себя тотъ развращенный папскій дворъ, на пороки котораго поэты привыкли изливать свое негодованіе, и который религіозное значеніе имѣлъ только для отдаленнаго сѣвера, а для Италіи сталъ рано синонимомъ испорченности. Папа точно такъ-же не могъ противодѣйствовать общему разложенію нравственныхъ понятій, какъ не могъ дать политическаго единства Италіи: отсутствіе одной сильной власти, давая просторъ личнымъ стремленіямъ и интересамъ отдѣльныхъ талантовъ, выдвинуло въ Италіи силу личности, силу индивидуальности въ то время, какъ въ остальной Европѣ господствуетъ еще масса, корпорація, цѣлое общество; а это раннее развитіе индивидуальности вызываетъ новое направленіе и въ умственной жизни Европы, гуманизмъ, двигаетъ впередъ и искусство, а въ политической жизни страны даетъ перевѣсъ деспотизму мелкихъ тирановъ надъ городскими республиканскими, аристократическими учрежденіями. При слабости нравственныхъ понятій ничто не сдерживаетъ стремленій личнаго произвола, и тотъ блестящій вѣкъ возрожденія, который производитъ рядъ геніальныхъ личностей, есть въ то же время вѣкъ самой полной, самой глубокой деморализаціи: если общество поощряетъ проявленія таланта у человѣка, оно не обуздываетъ и злоупотребленія силами, не сдерживаетъ разгула страстей, которымъ дается воля, какъ выраженіе силы и характера. Въ этомъ крайнемъ индивидуализмѣ коренится какъ все зло политическаго быта и деморализаціи этого общества, такъ и единствен-

ное въ исторіи процвѣтаніе искусства и науки, обаяніе которыхъ мирить со многими грустными явленіями этой жизни [1]).

Такая деморализація не могла не отозваться и на литературѣ, не могла не сказаться въ самомъ популярномъ, въ самомъ близкомъ народу произведеніи, созданномъ его жизнью и его фантазіей, въ новеллѣ. Какъ много злобнаго смѣха (Hohn) накопилось въ анекдотахъ Саккетти—поражаетъ историка итальянской культуры (J. Burckhardt: Die Cultur der Renaissance in Italien. I, p. 181); въ самомъ дѣлѣ, насмѣшливымъ характеромъ своихъ новеллъ онъ лучше всего доказываетъ, какъ за умъ, ловкость, умѣнье солгать и извернуться, прощается всякое зло, всякое беззаконіе. Насмѣшка не щадитъ никого и ничего: священникъ, ради краснаго словца, рядъ подшутитъ и надъ таинствомъ, которое онъ совершаетъ, каламбуровъ не останавливаетъ и смерть, человѣкъ «новый» умираетъ съ игрою словъ на губахъ. А между тѣмъ за всякимъ разсказомъ слѣдуетъ непремѣнно мораль, которою авторъ какъ будто прикрываетъ всю возмутительную грязь, всю безпощадную злобу своихъ «веселыхъ» разсказовъ; на дѣлѣ онъ и не замѣчаетъ, что описываемая продѣлка—преступленіе, что обманъ и воровство для большинства человѣчества не есть доказательство только ума и тонкости. Просматривая такія новеллы, невольно удивляешься выносливости и терпимости ихъ читателей: если ихъ забавляли такія похожденія, если они за хитрую, умную шутку, за безжалостное одураченіе простоватаго человѣка, мирились со всякой несправедливостью, часто забывая, что продѣлка граничитъ съ преступленіемъ,—то надо сознаться, Флоренція цѣнила умъ слишкомъ высоко. Впрочемъ, кромѣ ума она цѣнила еще—и за это многое простится ей—художество. Эти мошенники-плуты были не только злыми насмѣшниками, безсовѣстными остроумниками: народъ торгашей и ремесленниковъ былъ, въ то же время, наиболѣе художественно одареннымъ народомъ всего полуострова; ихъ искусство, которому у нихъ потомъ учатся цѣлые вѣка, было достояніемъ массъ, а не привилегированнаго сословія; ихъ художники выходили изъ народа, учились въ мастерскихъ каменщиковъ, литейщиковъ, ювелировъ и никогда не теряли связи съ народомъ (63-я новелла Саккетти о томъ, какъ мужикъ-мастеровой является съ заказомъ къ Джіотто); рядъ великихъ архитекторовъ, скульпторовъ, живо-

[1]) Факты, подтверждающіе эту мысль, разсѣяны въ интересномъ трудѣ Symonds: Renaissance in Italy", въ первомъ томѣ котораго, Age of despots, очень наглядно характеризованъ политическій и нравственный строй этого общества и преобладаніе въ немъ личнаго произвола.

писцевъ, кототорыми гордится Флоренція XV-го и XVI-го вѣка, могъ выдвинуться только при поддержкѣ цѣлаго общества, могъ воспитаться только умѣньемъ самого народа цѣнить свои таланты. И не одно только образовательное искусство обязано этому народу своимъ движеніемъ впередъ,—вспомнимъ только, что три великія свѣтила общественной литературы: Данть, Петрарка, Боккачіо, родились во Флоренціи, что ихъ творенія читались и понимались массою, всѣмъ обществомъ отъ ученаго до мастерового, что эта поэзія, первая въ Европѣ, была отголоскомъ народнаго творчества,—и у насъ нѣсколько сгладится безотрадное впечатлѣніе новеллъ Саккетти. Намъ станетъ понятно, что народъ, деморализованный неустойчивостью своей государственной жизни, въ это господство деспотизма подъ разными видами, народъ, въ которомъ изъ всѣхъ высшихъ стремленій человѣчества прежде всего и громче всего говорило эстетическое чувство, цѣнилъ въ новеллѣ веселость насмѣшки, а главнымъ образомъ in bello inganno, «прекрасный обманъ», т.-е. тонкое веденіе хитро задуманнаго плана,—хотя бы онъ велъ за собою преступленіе,—ловкость продѣлки, силу остроумнаго, хотя бы и грубаго отвѣта; цѣнилъ успѣхъ шутки, какъ понималъ мастерство, ловкій пріемъ художника, технику и эффектъ художественнаго созданія, рѣшительно помимо всякаго нравственнаго значенія описываемаго факта. Отъ этого новеллистъ останавливается на всѣхъ деталяхъ разсказа, съ любовью рисуетъ каждую мелочь: для него содержаніе, эта хитрость сыгранной штуки, «beffa», есть своего рода произведеніе искусства, къ которому разсказъ его относится какъ рамка къ картинѣ, и то, что насъ возмущаетъ, какъ безнаказанность произвола, для него есть признакъ силы, есть художественность жизни. Къ тому же самъ бытъ художниковъ давалъ матеріалъ для новеллы: если «новелла»—«новое», значили для итальянцевъ преимущественно нѣчто чудное, небывалое, то жизнь рѣдкаго художника не давала тэмъ для новеллы. Вѣдь даже и у насъ право чудить и оригинальничать признается за «вольными» художниками, а тамъ, гдѣ ничто не стѣсняло проявленій личнаго характера, капризовъ фантазіи, художники пользовались этимъ правомъ съ бо́льшей свободой, чѣмъ въ наше время, когда и высокому таланту жизнь ставитъ опредѣленныя условія и ограниченныя рамки. А тутъ, если большинство одарено художественнымъ чутьемъ и фантазіей, склонной къ нѣкоторой оригинальности, то понятно, что у веселаго народа не будетъ конца разнымъ выдумкамъ, выходкамъ, которыя отразятся въ литературѣ, въ содержаніи и формѣ излюбленной народомъ новеллы.

Вотъ почему въ томъ разсказѣ, который отталкиваетъ насъ своимъ индифферентизмомъ къ добру и злу, художественная фантазія народа умѣла усмотрѣть артистическое проявленіе ума, такъ-сказать, chef d'oeuvre—красоту человѣческой хитрости.

Вотъ почему и геніальное произведеніе несравненнаго художника-разсказчика Боккачіо такъ изобилуетъ описаніями разныхъ случаевъ плутовства, насмѣшничества и т. п., которыя были бы непонятны, еслибъ не вытекали изъ историческихъ условій итальянской жизни того времени, изъ преобладанія въ ней эстетическихъ идеаловъ надъ нравственными; истое дитя своего вѣка, Боккачіо собралъ въ одно цѣлое все, чтó издавна наполняло художественную фантазію его народа, будь то скандальное похожденіе монаха, ловкая увертка жены, обманывающей мужа, или нѣжное чувство рыцарской любви, находчивый отвѣтъ придворной дамы. Вотъ почему, одѣвши это всему народу понятное содержаніе въ не менѣе доступную ему форму, Боккачіо упрочилъ громадный успѣхъ своего «Декамерона» на цѣлые ряды послѣдующихъ поколѣній. Какъ геніальный писатель, онъ воспользовался всѣми источниками поэтическаго вымысла, которые были въ распоряженіи его націи, чтобъ открыть новую дорогу европейской повѣствовательной поэзіи.

Прежде чѣмъ перейти къ самому «Декамерону», скажемъ нѣсколько словъ объ авторѣ его и остальныхъ трудахъ Боккачіо. Немногимъ выдѣляясь изъ общаго уровня средневѣковой искусственной поэзіи, устарѣвшія произведенія эти не только освѣщаютъ личность человѣка, но могутъ отчасти уяснить намъ, сколько оригинальнаго, свѣжаго и обновляющаго вносили его новеллы въ литературу времени.

III.

Сынъ француженки и флорентійскаго купца, Джіованни Боккачіо [1]) родился въ 1313 году въ Парижѣ, куда отецъ его пріѣзжалъ по дѣламъ, но дѣтство и первую молодость провелъ во Флоренціи, которую и слѣдуетъ считать его родиной [2]). 11-ти

[1]) „Giovanni Boccaccio", sein Leben und seine Werke, v. Dr. Markus Landau. Stuttgart, 1877.

[2]) Впрочемъ, о рожденіи Боккачіо и главныхъ событіяхъ его жизни до насъ дошло очень мало точныхъ и вполнѣ достовѣрныхъ свѣдѣній. Издатель недавно вышедшихъ въ свѣтъ писемъ Боккачіо, *Корацциніи* (F. Corazzini), указывая на то, какъ сравнительно не много извѣстно фактовъ его внѣшней жизни, сожалѣетъ о томъ,

лѣтъ отецъ взялъ его изъ школы, гдѣ онъ познакомился съ первыми началами латинскаго языка, опредѣлилъ его къ себѣ въ торговую контору, и въ продолженіи 6-ти лѣтъ пріучалъ будущаго поэта къ звону монеты и къ интересамъ купеческихъ оборотовъ; но эта наука не далась молодому человѣку, и его пришлось отправить въ Неаполь — изучать каноническое право. Выборъ этого университета имѣлъ огромное вліяніе на жизнь и дѣятельность Боккаччіо: Неаполь тогда былъ единственною королевскою резиденціею Италіи, и, въ то время, какъ городскія общины усиливались, богатѣли, развивая свою промышленность и политическую свободу, а Римъ былъ запущенъ и покинутъ папскимъ дворомъ, перенесеннымъ въ Авиньонъ, Неаполь — мѣстопребываніе сильной Анжуйской династіи — славился своею роскошью, вольностью нравовъ, легкою и веселою жизнью, которой близость восточнаго вліянія изъ Сициліи, традиціи древне-греческой культуры, несравненная красота и богатство природы придавали особенно поэтическій оттѣнокъ. Поэзія широкаго, шумнаго образа жизни не могла остаться безъ вліянія на воспріимчивую натуру юноши, въ жилахъ котораго текла кровь француза съ его веселостью, увлекательностью характера, съ его любовью и способностью къ наслажденіямъ: молодость проходила весело; но навряд-ли при этомъ подвигалось впередъ изученіе юридическихъ наукъ, если столько искушеній представляла студенту и его молодость, и красота женщинъ, и легкость нравовъ, такъ часто сказывавшаяся въ его позднѣйшихъ произведеніяхъ. Тѣмъ не менѣе, шесть лѣтъ онъ потратилъ на науку, и съ 23-лѣтняго возраста начинаетъ жить для своего призванія. Сынъ богатаго купца, представителя извѣстной флорентійской фирмы Барди и бывшаго пріора республики, Боккаччіо занялъ видное мѣсто при дворѣ неаполитанскаго короля Роберта, а потомъ и при наслѣдницѣ его, королевѣ Іоаннѣ; должности придворной, благодаря буржуазному происхожденію, онъ никакой не занималъ, но талантливый, красивый молодой человѣкъ наслаждался въ высшемъ обществѣ всѣми выгодами обезпеченнаго состоянія, жилъ для поэзіи и любви своей Фіаметты. Кто была эта муза нашего поэта, вдохновлявшая его творенія въ продолженіи многихъ лѣтъ — о томъ спорили очень много; что она не была на половину олицетвореніемъ науки, а на половину горячимъ воспоминаніемъ первой любви,

---

что не всѣ великіе люди любили такъ много говорить о себѣ, какъ, напримѣръ, Петрарка, въ біографіи котораго, благодаря этой слабости, не осталось почти никакихъ пробѣловъ.

какъ Беатриче Данта, и не была предметомъ высоко-идеальнаго, почтительнаго и холоднаго поклоненія, какъ Лаура Петрарки, а очень обыкновеннаго привязанностью молодого сердца; видно изъ самыхъ произведеній автора, которыя и даютъ самый обильный матеріалъ для исторіи этихъ отношеній. Незаконная дочь короля изъ графской фамиліи Аквино, Марія, которую любилъ Боккаччіо и воспѣвалъ то подъ настоящимъ ея именемъ Мадонны, то подъ именемъ Фіаметты, была замужемъ за высокопоставленнымъ молодымъ человѣкомъ, но это не помѣшало ей отвѣчать на далеко не платоническую любовь молодого студента. Правда, отношенія «болѣе счастливыя, чѣмъ законныя» надо было держать въ тайнѣ, но веселая жизнь Неаполя и для женщины королевской фамиліи не представляла особыхъ стѣсненій; молодые люди могли наслаждаться своимъ счастіемъ довольно свободно, хотя въ сонетахъ и балладахъ того времени поэтъ и жалуется на свои неудачи и на добродѣтельную холодность своей возлюбленной; но, помимо того, что такія жалобы были въ модѣ у поэтовъ,—воспѣвать въ лирическихъ стихотвореніяхъ, ходившихъ по рукамъ придворнаго общества, счастіе своей любви, значило бы вредить себѣ и навлекать гнѣвъ короля; поэтому тутъ онъ довольствовался описаніемъ своего рицарскаго обожанія и поклоненія, за то въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ, написанныхъ также для Маріи, но получившихъ извѣстность уже во Флоренціи, по прекращеніи этихъ отношеній, поэтъ былъ искреннѣе и подъ покровомъ прозрачной аллегоріи разсказалъ исторію своей счастливой любви, въ сущности не представлявшей ничего особеннаго и ничего идеальнаго. Тѣмъ не менѣе, чувство это составляетъ все содержаніе какъ его эпическихъ поэмъ, такъ и тѣхъ первыхъ опытовъ лирики, которые онъ сжегъ по прочтеніи сонетовъ Петрарки.

Первое эпическое его произведеніе въ прозѣ «Filocopo» представляетъ собою длинную и скучнѣйшую обработку извѣстнаго въ средніе вѣка французскаго сказанія: «Floire et Blanchefleur», гдѣ авторъ возвышеннымъ и напыщеннымъ языкомъ, съ безконечными тирадами и монологами, описываетъ долгую и вѣрную любовь и разныя невѣроятныя приключенія своихъ Fiorio и Biancofiore. Путаница народныхъ миѳовъ, рыцарскихъ эпопей, восточныхъ воспоминаній, прикрашенная въ сильной степени неуклюжими намёками на классическую эрудицію, дѣлаетъ изъ Filocopo произведеніе, мало выдающееся надъ уровнемъ тѣхъ средневѣковыхъ прозаическихъ поэмъ, въ которыхъ замѣтно уже проявленіе духа возрожденія. Но покуда—это вѣяніе новаго вре-

мени сказывается однимъ злоупотребленіемъ классическихъ терминовъ, чудеснымъ участіемъ олимпійскихъ божествъ въ судьбахъ христіанскихъ героевъ, ратующихъ притомъ за введеніе и распространеніе христіанства и тому подобнымъ смѣшеніемъ противорѣчивыхъ элементовъ поэзіи, что, впрочемъ, въ искусственной придворной литературѣ держалось еще очень долго. «Ameto»—второе его произведеніе — одинъ изъ первыхъ образцовъ пастушескаго романа, въ которомъ разсказывается, какъ любовь къ нимфѣ смягчаетъ нравъ грубаго охотника Ameto. Поэма страдаетъ столько же отсутствіемъ дѣйствія, длиннотами въ описаніяхъ пылкихъ чувствъ героя, сколько же опять изобиліемъ классическихъ воспоминаній, а главное—холодностью аллегоріи, которая заставляетъ читателя въ каждомъ дѣйствующемъ лицѣ видѣть воплощеніе отвлеченныхъ понятій, что, конечно, не мало нарушаетъ поэтическое впечатлѣніе; напримѣръ, описывается любовь героя къ нѣсколькимъ нимфамъ за разъ, и противоестественное чувство это объясняется стремленіемъ развитаго человѣка къ пріобрѣтенію разнаго рода качествъ и совершенствъ. Большая часть поэмы состоитъ изъ множества эпизодовъ и отступленій, вложенныхъ въ уста нимфъ: одна разсказываетъ исторію матери Боккачіо, ея любовь и несчастную судьбу; другая—исторію возникновенія Флоренціи и Неаполя; третья—современныя городскія сплетни и т. д.; причемъ всѣ эти пастухи и нимфы говорятъ и дѣйствуютъ то какъ живыя лица, то какъ отвлеченныя аллегоріи. Словомъ, романъ этотъ, перемѣшанный стихотворными отрывками, представляетъ собою тотъ ложно-поэтическій родъ пастушескихъ идилій, которыя теперь совсѣмъ забыты, а прежде, болѣе пяти столѣтій съ успѣхомъ держались въ западныхъ литературахъ. Близко къ нему подходитъ, по аллегорическому характеру своему и «Amorosa Visione» («Любовное видѣніе»), гдѣ Боккачіо подъ формой видѣннаго сна сообщаетъ свои размышленія о богатствѣ, славѣ, любви и т. д. Вмѣстѣ съ прекрасной женщиной посѣщаетъ онъ обители этихъ отвлеченныхъ существъ, храмъ мудрости, фортуны, жилище любви и т. п., встрѣчаетъ массу античныхъ и средневѣковыхъ дѣятелей, разсказываетъ множество античныхъ миѳовъ и преданій, но не уясняетъ-таки смысла всего видѣнія, цѣль и общая идея котораго остается непонятной. Въ высшей степени искусственная внѣшняя форма (поэма состоитъ изъ 50 главъ, каждая содержитъ по 29 терцинъ и заключительному стиху, т.-е. по 88 стиховъ, при этомъ начальныя буквы всѣхъ 1500 стиховъ составляютъ два сонета и одну балладу, такъ что все произве-

деніе — одинъ колоссальный акростихъ), однообразіе описаній, отсутствіе цѣльности въ общемъ — дѣлаютъ это «видѣніе» крайне скучнымъ и монотоннымъ.

За то замѣтный шагъ впередъ виденъ въ Тезеидѣ, («Teseida»), которая была написана также для Фіаметты-Маріи; она весьма интересна, какъ обильное послѣдствіями нововведеніе во внѣшнихъ формахъ поэзіи: «Тезеида» первая написана тѣми знаменитыми октавами, которыя впослѣдствіи съ такимъ успѣхомъ употреблялись Аріостомъ и Тассомъ; удачное изобрѣтеніе этой богатой, красивой, звучной формы для эпическихъ стихотвореній указывало на присутствіе въ Боккачіо огромнаго поэтическаго таланта. Содержаніе поэмы, довольно безцвѣтное и запутанное, отличается вполнѣ рыцарскимъ характеромъ, хотя дѣйствующія лица и носятъ классическія имена; въ эту переходную эпоху между процвѣтаніемъ рыцарскихъ эпопей и возрожденіемъ классическихъ знаній поэзія одѣвала рыцарей въ греческій костюмъ, точно такъ же, какъ въ предыдущій періодъ античные герои троянскихъ и македонскихъ битвъ принимали въ средневѣковыхъ сказаніяхъ нравы и характеръ полуварварскихъ, германскихъ вождей.

За этой поэмой, имѣвшей громадный успѣхъ, послѣдовала вскорѣ другая: «Filostrato», также въ октавахъ и также изъ круга античныхъ преданій, написанная для Фіаметты въ одно изъ ея отсутствій, когда, какъ авторъ самъ описываетъ то въ предисловіи—Боккачіо страдалъ и скучалъ по ней; она разсказываетъ исторію любви Троила и Хризеиды, дочери Калхаса, и имѣетъ то большое преимущество передъ «Тезеидой», что въ ней совершенно отброшенъ лишній хламъ классической эрудиціи: боги не играютъ въ ней никакой существенной роли, въ герояхъ чувствуются не отвлеченные бездушные рыцари, претерпѣвающіе разныя приключенія и одѣтые именами древнихъ, безъ всякихъ личныхъ, индивидуальныхъ характеровъ, а живые, настоящіе люди, какъ они жили и любили при Неаполитанскомъ дворѣ XIV-го вѣка. Дѣйствіе весьма несложное и безъ всякаго участія сверхъестественнаго, мотивируется жизнью и характерами дѣйствующихъ лицъ; это — обыкновенная исторія того, какъ легковѣрная и коварная вдова Хризеида обманывала Троила, страстно любившаго ее, пока тотъ не узналъ обмана и рѣшился убить ее, но погибъ въ сраженіи [1]). Этимъ же отсутствіемъ языческихъ

[1]) Эта же тема съ нѣкоторыми измѣненіями обработана и Шекспиромъ (Troilus and Cressida), который заимствовалъ ее у Чаусера, а тотъ у Боккачіо.

чудесъ отмѣчена и идиллія «Nimphale Fiesolano»; хотя тутъ дѣйствуютъ миѳологическія существа и разсказывается, какъ одна нимфа, измѣнившая обѣту цѣломудрія, была превращена въ ручей, но въ поэмѣ такъ сильно реальное, обще-человѣческое чувство, что на нее можно смотрѣть, какъ на произведеніе переходное отъ невѣроятныхъ приключеній Floire et Blanchefleur, съ ихъ смѣсью христіанскихъ и языческихъ божествъ, къ прямому отраженію дѣйствительности въ «Декамеронѣ».

Въ этомъ направленіи еще дальше пошелъ Боккачіо въ романѣ «Фіаммета», написанномъ прозой и имѣющемъ предметомъ исторію его любви къ королевской дочери, съ нѣкоторыми, какъ самъ говоритъ, измѣненными обстоятельствами и именами. Если «Filostrato» содержитъ въ себѣ описаніе страданій героя, которому измѣнила легкомысленная женщина, то здѣсь раскрывается вѣрная дѣйствительности картина любви и горя покинутой женщины, картина, схваченная изъ неаполитанской жизни того времени и изображавшая хотя не фактически вѣрную, но опытомъ прочувствованную страницу собственнаго существованія: исходъ Боккачіевой любви былъ не такой, какъ у «Фіамметы». Несмотря на несложное содержаніе, объемъ романа очень большой, потому что, какъ всѣ эти поэмы, онъ страдаетъ длиннотами, утомительными безконечными діалогами, педантическими намеками на классическую ученость, на античную миѳологію, и нѣкоторымъ все-таки участіемъ боговъ и богинь.

Такова съ 1339 по 1348 годъ поэтическая дѣятельность Боккачіо, вызванная его пребываніемъ въ Неаполѣ и его любовью. Чувство это, составляющее главное основаніе его поэзіи, въ то время, кажется, могло наполнять все существованіе человѣка: такъ часто оно описывалось, такъ много о немъ говорилось и такую роль играло оно не только въ литературѣ, но и въ судьбѣ отдѣльнаго человѣка; въ наше же время оно не можетъ не казаться скучнымъ, нелѣпымъ и даже фальшивымъ. Этой дѣятельностію нашъ авторъ немногимъ выдѣлялся изъ общаго строя литературной мысли своего вѣка, и ея было-бы недостаточно, чтобъ дать не только безсмертіе его имени, но и содержаніе остальной жизни. Поэтому, когда съ лѣтами чувство охладѣло, прошла пора наслажденій, и онъ закончилъ свою поэтическую работу «Декамерономъ», написаннымъ, какъ предполагаютъ, между 1348 и 1353 годомъ, Боккачіо начинаетъ новую жизнь служа Флоренціи то какъ посланникъ-дипломатъ, то какъ ученый гуманистъ. Труды его по классической эрудиціи, по возобновленію латинской и греческой литературы, которою онъ

страстно увлекался наравнѣ съ отцомъ гуманизма Петраркой, дѣлаютъ его однимъ изъ самыхъ видныхъ дѣятелей ранняго возрожденія. Правда, латинскія эклоги его не имѣютъ поэтическаго достоинства, а историческія сочиненія «de Casibus Virorum et Feminarum illustrium» и «de claris Mulieribus», повторявшія анекдоты про разныхъ лицъ древности и среднихъ вѣковъ и не вносившія ничего новаго въ пріемы схоластической науки, не представляли большого значенія и для своего времени, но за то «Genealogia Deorum» и учебникъ классической географіи, служа сводомъ всего, что можно было извлечь изъ извѣстныхъ тогда древнихъ авторовъ и ихъ рукописей, имѣли огромную цѣну въ глазахъ послѣдующихъ поколѣній гуманистовъ. Эти труды его вмѣстѣ съ комментаріями на «Божественную комедію» Данта, которые онъ читалъ на лекціяхъ по порученію флорентійской республики, желавшей почтить великаго изгнанника своего хотя и по смерти, наполняютъ время Боккаччіо въ послѣдніе годы его жизни. Изъ молодого страстнаго поэта, только и воспѣвавшаго, что любовь, ея страданія и наслажденія, изъ остроумнаго сказочника, не умѣвшаго въ новеллахъ удержаться отъ непозволительныхъ въ изящной литературѣ описаній, вышелъ педантическій ученый, собиратель рукописей и составитель компендіумовъ по классическимъ наукамъ; мало того, разсказчикъ-юмористъ, больше всего смѣявшійся надъ духовенствомъ, монашествомъ, обратился, какъ говорятъ, въ суроваго картезіанца, и подъ впечатлѣніемъ религіозныхъ идей не только жестоко упрекалъ себя за крайнюю вольность пера, но хотѣлъ бросить даже и ученые свои труды ради христіанскихъ добродѣтелей для спасенія души, но отъ этого удержали его совѣты его просвѣщеннаго друга Петрарки. Боккаччіо умеръ въ 1375 году.

Его поразительное трудолюбіе, громадная начитанность и необыкновенная усидчивость (онъ собственноручно переписалъ множество рукописей, перевелъ на латинскій языкъ Гомера, хотя выучился по-гречески уже въ зрѣломъ возрастѣ) имѣли большое значеніе въ томъ умственномъ движеніи Италіи, которое извѣстно подъ именемъ гуманизма; историки культуры не проходятъ молчаніемъ этой дѣятельности нашего поэта, самъ онъ придавалъ ей гораздо больше важности, чѣмъ другимъ своимъ работамъ, и, несмотря на громадный успѣхъ «Декамерона», имя автора гораздо больше славилось, какъ имя гуманиста, товарища-ученика Петрарки, чѣмъ какъ творца многочисленныхъ популярныхъ новеллъ. Но, говоря о трудахъ и славѣ Боккаччіо, какъ гуманиста, не слѣдуетъ отдѣлять слишкомъ рѣзко ученую его дѣятельность отъ

поэтической, потому-что, если гуманисты, съ увлеченіемъ разработывая классическое наслѣдіе, вносили въ жизнь эпохи новый строй мысли, если эта работа ихъ возвѣщаетъ новое время, новое міросозерцаніе, то и «Декамерону» нельзя отказать въ реформаторскомъ значеніи: онъ не только создаетъ новый родъ художественнаго повѣствованія, но и вноситъ въ литературу своего времени тотъ духъ народности, духъ здороваго реализма, который съ духомъ новаго времени все болѣе и болѣе проникаетъ въ художественную область мысли и береть перевѣсъ въ европейскомъ искусствѣ, начиная съ эпохи возрожденія. Въ наше время никто не ставитъ Боккаччіо въ вину, что онъ не выдумалъ самъ сюжетовъ для своихъ «ста» сказокъ, а заимствовалъ ихъ бо́льшею частью изъ французскихъ фабліо, изъ народныхъ преданій, изъ восточныхъ сборниковъ арабскаго, персидскаго и индійскаго происхожденія, словомъ—пользовался тѣми-же источниками, какъ и безъискусственная средневѣковая повѣсть, странствующій разсказъ; напротивъ, въ глазахъ нашего времени его заслуга въ томъ и состоитъ, что онъ изъ этого матеріала создалъ новый родъ художественной литературы и заставилъ его служить чисто народнымъ интересамъ, а красотою формы удовлетворять эстетическимъ потребностямъ многихъ поколѣній. Легкость, изящество формы привлекало огромный кругъ читателей, находившихъ въ «Декамеронѣ» отголоски всего что́ издревле жило въ ихъ національныхъ преданіяхъ; отсюда и популярность «Декамерона»; затѣмъ, онъ породилъ множество сборниковъ, которые, подражая ему въ формѣ, или воспроизводили, какъ у Саккетти, случаи дѣйствительной жизни, или обработывали эпическій сказочный матеріалъ и даже историческіе факты; одѣвая въ новую поэтическую форму пестрые, разнообразные сюжеты народной жизни, народнаго творчества, новеллы давали пищу воображенію всей Европы. Отъ этого драматическіе поэты послѣдующихъ вѣковъ во Франціи и Англіи ни изъ одного источника не черпали съ такимъ успѣхомъ, какъ изъ итальянскихъ новеллъ. Отъ этого новелла, выросшая на почвѣ общеевропейскихъ сказаній, интересна для насъ какъ *первая вполнѣ художественная* обработка того повѣствовательнаго матеріала, который разсѣянъ въ средневѣковой поэзіи: она отражаетъ въ себѣ все литературное богатство своего времени, принимая въ себѣ элементы городского быта съ элементами рыцарской мысли, рыцарской поэзіи. Отъ этого «Декамеронъ», помимо своего художественнаго и историческаго значенія, какъ выразителя общества, среди котораго онъ возникъ, для насъ важенъ еще какъ провозвѣстникъ новаго направленія въ лите-

ратурѣ, того реальнаго характера повѣствованія, который зависитъ отъ народнаго происхожденія этого рода литературы и начавшись въ сказкѣ, прокладываетъ себѣ вплоть до нашего времени все болѣе широкіе пути во всѣхъ областяхъ мышленія. Отъ этого, цѣнія заслуги Боккачіо, какъ одного изъ сотрудниковъ по дѣлу воскрешенія антиковъ, слѣдуетъ не менѣе высоко цѣнить его новеллы, которыя точно такъ же, какъ и ученые труды гуманистовъ, открывали новые пути мысли для его современниковъ.

IV.

Современники Боккачіо держались, конечно, иного взгляда на «Декамеронъ», чѣмъ наше время, да и самъ авторъ придавалъ ему не то значеніе. Въ предисловіи — prooemio — къ «Декамерону» Боккачіо разсказываетъ о страданіяхъ своей долголѣтней любви къ высокопоставленной особѣ (altissimo e nobile amore), страданіяхъ, причиненныхъ не столько жестокостью любимой женщины, сколько пыломъ страсти,—страданіяхъ, которыя умѣрялись только бесѣдами и совѣтами добрыхъ друзей, и прекратились сами собою съ теченіемъ времени, по Божьему изволенію. Желая, какъ опытный человѣкъ, другимъ такимъ страдальцамъ доставить утѣшеніе, онъ издаетъ сборникъ сказокъ (intendadi raccontare cento novelle, o favole, o parabole, o istorie, che dire le vogliamo), въ которыхъ преобладаютъ галантныя приключенія, какъ очень поучительныя и интересныя для такого рода читателей. Особенно рекомендуется это утѣшеніе прекрасному полу. Женщины часто бываютъ принуждены скрывать свою страсть, которая оттого, какъ извѣстно всѣмъ то испытавшимъ, только усиливается. Покоряясь чужой волѣ, сидя въ комнатахъ почти безъ дѣла, женщины волей или неволей на часу мѣняютъ по тысячѣ разныхъ мыслей; и невозможно, чтобъ эти мысли всѣ были веселыя. А когда слѣдствіемъ страсти у нихъ является меланхолія, онѣ не имѣютъ противъ нея тѣхъ средствъ, какъ мужчины, которые въ подобныхъ обстоятельствахъ могутъ развлечься, прогнать тоску и уличной жизнью, и охотой, и верховой ѣздой, и игрой, и торговлей. Этимъ несчастнымъ женщинамъ и предназначенъ сборникъ (другія довольствуются иглой и веретеномъ); если онъ достигнетъ своей цѣли, то пусть утѣшенныя читательницы поблагодарятъ за это ту любовь, «которая, освободивши автора отъ своихъ узъ, дала ему возможность другимъ доставить удовольствіе».

Такимъ образомъ, давать пищу праздному уму, наполнять воображеніе влюбленныхъ любовными похожденіями — вотъ благодѣтельная цѣль автора. Хотя этой цѣли и можно приписать веселый и легкій тонъ во многихъ фривольно-безцеремонныхъ разсказахъ сборника, но общее содержаніе его, конечно, выше подобной задачи: иначе оно не пережило бы своего творца. За этимъ предисловіемъ слѣдуетъ введеніе, съ знаменитымъ описаніемъ чумы, поразившей Флоренцію въ 1348 году. О красотѣ и силѣ слога въ этомъ препрославленномъ критикою введеніи было говорено очень много, и отрицать его литературныя достоинства невозможно. Это первый образецъ художественной классической прозы Италіи. Правда, описаніе это нѣсколько проникнуто античнымъ вліяніемъ, и Боккачіо упрекали въ томъ, что онъ тутъ подражалъ Лукрецію; но не простительна ли подражательность человѣку, страстно увлеченному тѣми способами выраженія мысли, которые открывались теперь, благодаря оживавшей литературѣ древнихъ? можно ли ставить въ укоръ писателю, создавшему литературную рѣчь, что онъ въ открытіи новаго пути руководится и новооткрытымъ идеаломъ древне-классическаго совершенства? Онъ только переноситъ въ народный языкъ то изящное искусство построенія рѣчи, ту формальную внѣшнюю сторону поэзіи, которая въ античной литературѣ своею правильностью и законченностью такъ обаятельно дѣйствовала на молодые умы европейскихъ гуманистовъ, и которая со временемъ въ Италіи перешла въ мертвую подражательность, а на сѣверѣ — въ псевдо-классическое направленіе національной литературы. Въ наше время эта строгая правильность описанія, эта закругленность общаго, законченность и равновѣсіе отдѣльныхъ фразъ и цѣлыхъ періодовъ кажутся и холодно-условными, и риторическими; а въ свое время, когда эти пріемы явились организующимъ элементомъ языка, впервые ставшаго орудіемъ художественнаго творчества, они не могли не войти въ законъ прозаической рѣчи; описаніе чумы представляетъ собою не даромъ лучшій образецъ классическаго итальянскаго слога.

За характеристикой населенія, пораженнаго страшной эпидеміей, за краснорѣчивымъ описаніемъ всеобщаго страха и унынія, Боккачіо разсказываетъ, какъ семь молодыхъ дѣвушекъ сходятся въ церкви Santa Maria Novella, заводятъ рѣчь объ ужасномъ времени, которое переживаетъ городъ, о томъ, о другомъ, — и, наконецъ, одна изъ нихъ начинаетъ развивать такого рода мысли: почему имъ, молодымъ и здоровымъ, не воспользоваться правомъ всякой живой твари заботиться о своемъ существованіи?

Что имъ тутъ дѣлать? чего ждать въ городѣ, гдѣ всюду смерть и горе? Не лучше ли имъ удалиться на время въ деревню, гдѣ чистый воздухъ и невинныя радости предохранятъ ихъ отъ заразы? Такъ предлагаетъ одна изъ нихъ, другія съ ней соглашаются; но уѣхать изъ города дѣвушкамъ однимъ неудобно; въ эту минуту къ нимъ подходятъ трое знакомыхъ, любезныхъ и красивыхъ молодыхъ людей, которые, оказывается, вполнѣ раздѣляютъ ихъ взгляды и предлагаютъ свои услуги для поѣздки, чѣмъ дамы и пользуются. Для большаго интереса этого предпріятія надо замѣтить, что каждый изъ мужчинъ влюбленъ въ одну изъ прекрасныхъ особъ. Молодежь выбираетъ загородную виллу, снабженную всѣми удобствами, съ краснвымъ, разнообразнымъ мѣстоположеніемъ и здоровымъ воздухомъ, беретъ съ собою необходимую прислугу и проводитъ нѣсколько дней въ прогулкахъ, бесѣдахъ и другихъ невинныхъ забавахъ, потому что радость и веселье — лучшее средство противъ чумы. Чтобъ не слишкомъ скоро истощились всѣ удовольствія, рѣшено каждый день прибѣгать къ любимому времяпровожденію и развлеченію флорентійцевъ — къ новеллямъ. Каждый членъ веселаго общества обязанъ разсказывать по сказкѣ въ день, всѣхъ ихъ десять, и въ *десять* дней виллежіатуры составится сборникъ въ сто новеллъ; отсюда и его греческое названіе. Таковъ общій планъ; прибавимъ, мастерское описаніе тѣхъ мѣстъ, которыя посѣщаются гуляющими, разговоровъ и занятій между разсказами, канцону, романсъ, который поется въ заключеніе каждаго дня — вотъ и вся рамка великаго произведенія. О томъ, что она чрезвычайно удобна и примѣнена вполнѣ удачно и что послѣдующіе новеллисты рѣдко придумывали болѣе счастливую фабулу, связывающую разсказы въ одно цѣлое,—говорено было не разъ; не мало думали и о томъ, что побудило Боккачіо рядъ красивыхъ картинокъ и бойкихъ новеллъ открыть мрачной картиной страшной эпидеміи; въ самомъ дѣлѣ, не можетъ не казаться страннымъ, что за серьёзнымъ и строгимъ характеромъ этого описанія слѣдуетъ крайне-фривольное настроеніе какъ въ разговорахъ этой молодежи, такъ и въ остроумныхъ анекдотахъ, большею частью — очень пустыхъ по содержанію. Что побудило автора прибѣгнуть къ этой рѣзкой антитезѣ, къ сопоставленію тяжелаго времени, такъ наглядно характеризованнаго, и наслаждающейся молодежи, описанной не съ меньшимъ сочувствіемъ? Можетъ быть, эффектъ чисто-художественный: на общемъ черномъ фонѣ вступленія особенно рельефно выдѣляются слѣдующія затѣмъ ярко-радужныя фигуры «Декамерона»; Боккачіо, какъ настоящему художнику

слова, должна была быть хорошо извѣстна сила грандіозныхъ контрастовъ, примѣненная у насъ такъ трагически Пушкинымъ въ «Пирѣ во время чумы». Но кромѣ эстетическаго, въ этомъ вступленіи усматриваютъ соображеніе и нравственнаго свойства: останавливаясь на характеристикѣ этого времени, указывая на главное и неизбѣжное его вліяніе, на перемѣну нравовъ или — правильнѣе — на пониженіе нравственности, Боккачіо хотѣлъ, быть можетъ, оправдать неприличный тонъ тѣхъ повѣстей, которыя имъ вложены въ уста благовоспитанной молодежи. Онъ самъ даетъ поводъ думать это, говоря, что умалчиваетъ о настоящихъ именахъ молодыхъ дѣвушекъ, потому что онѣ, вслѣдствіе вышеуказанныхъ причинъ, т.-е. чумы и вызваннаго ею ненормальнаго настроенія умовъ, говорили и слушали такія вещи, которыхъ впослѣдствіи онѣ будутъ стыдиться и которыя могутъ быть истолкованы въ ущербъ ихъ нравственности. Нельзя отрицать, что въ этомъ есть своя доля правды: Боккачіо, какъ самъ переживній эту эпидемію, долженъ былъ знать и видѣть ея вліяніе на народъ, тѣмъ болѣе, что онъ ее видѣлъ не во Флоренціи, а — по мнѣнію его біографа Ландау — въ Неаполѣ, гдѣ уровень общественной нравственности всегда былъ ниже, чѣмъ на его родинѣ. Та распущенность нравовъ, которая приписывается историками чумѣ, должна была въ королевской резиденціи усилиться скорѣе, чѣмъ среди торговаго населенія города, жизнь котораго была строже и проще. Очень вѣроятно, что страсть къ наслажденіямъ, въ ущербъ серьёзному содержанію жизни, которая всегда играла большую роль въ существованіи веселаго общества при французскомъ дворѣ Неаполя, никогда не достигала болѣе сильныхъ и пагубныхъ размѣровъ, чѣмъ во время заразы. При всеобщей паникѣ, при видѣ, что одинъ за другимъ погибаютъ близкіе, здоровымъ людямъ, у которыхъ подъ южнымъ небомъ, кажется, еще сильнѣе, чѣмъ у другихъ, стремленіе къ радостямъ жизни, — здоровымъ людямъ, несмотря на горе и отчаяніе, ничего не оставалось дѣлать, какъ гнать всякую мысль и заботу о завтрашнемъ днѣ, пользоваться минутой, потому что не знаешь, сколько осталось прожить. Слѣдствіемъ этого взволнованнаго настроенія является перевѣсъ самыхъ низкихъ стремленій и помысловъ надъ чувствомъ пристойности, надъ чувствомъ человѣческаго достоинства. Быть можетъ, ту игру физическихъ страстей, которую такъ открыто выставилъ Боккачіо въ своемъ сборникѣ, онъ хотѣлъ нѣсколько извинить этимъ грустнымъ состояніемъ народнаго ума; разыгравши не на-долго роль моралиста въ началѣ труда, онъ тѣмъ меньше могъ впослѣдствіи

стѣсняться въ своемъ нескрываемомъ цинизмѣ, сваливая на чуму то, что лежало столько же въ его личномъ характерѣ, сколько и въ характерѣ его народа и его времени.

Но удобнѣе всего, мнѣ кажется, предположить, что это мрачное введеніе къ веселымъ сказкамъ было невольнымъ эффектомъ, антитезой ненамѣренной, а оправданіе авторомъ вольности сюжетовъ — соображеніемъ совершенно второстепеннымъ. Въ основѣ этой фабулы могъ лежать реальный, дѣйствительно случившійся фактъ: въ народѣ могло сохраниться воспоминаніе о кружкѣ молодежи, удалившемся отъ заразы на виллу; а въ художественной обработкѣ фактъ этотъ получилъ совершенно новое значеніе, вѣрное духу цѣлой эпохи. Не забудемъ, что Боккачіо писатель — средневѣковой. А въ ту эпоху европейской юности, представленіе о смерти, о будущей жизни, мысли о наказаніяхъ за грѣхи въ видѣ страшныхъ болѣзней и эпидемій были очень близки воображенію религіозно-настроеннаго человѣчества. Напуганная постояннымъ напоминаніемъ о грѣхѣ и судѣ, тревожная мысль среднихъ вѣковъ эти страшные образы находила и въ искусствѣ, которое тогда служило почти исключительно религіознымъ цѣлямъ; если же въ христіанской религіи ни одинъ догматъ по силѣ и глубинѣ не можетъ равняться съ догматомъ искупленія, главнымъ основаніемъ нашей вѣры, и если воскресеніе, страданія и смерть Искупителя сильнѣе всего затрогиваютъ набожное чувство человѣка, то естественно, что церковныя изображенія на эту тему должны были поселить въ воображеніи народа мрачныя картины смерти и разрушенія, которыя были такъ несвойственны античному искусству, умѣвшему скрывать ужасы смерти подъ идеальною красотою ея изображенія. Символы страданій, крестной смерти, страшнаго суда, ада, стали достойными предметами новаго искусства, и должны были производить наиболѣе потрясающія впечатлѣнія на вѣрующія души; освоившись съ нимъ, искусство должно было пріучить народную фантазію къ грандіознымъ эффектамъ сопоставленія жизни и смерти, къ сильнымъ и величественнымъ антитезамъ, тѣшившимъ ту первобытную, какъ-бы нетронутую мысль, которая всѣ контрасты мирила своимъ религіознымъ возбужденіемъ. Хотя знаменитый мотивъ рисунковъ «Пляска смерти» явился только въ XV вѣкѣ, но быстрая популярность его, распространенность и наконецъ художественное завершеніе этой идеи въ знаменитомъ произведеніи Гольбейна — указываютъ на то, какъ сродна была средневѣковой мысли эта игра несходными представленіями, это постоянное возвращеніе къ величественной идеѣ смерти, воплощаемой въ самыхъ

разнообразныхъ формахъ. Гольбейнъ, рисуя, какимъ образомъ смерть похищаетъ людей, пользовался народнымъ творчествомъ не въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ и Дантъ, которыя грандіозныя созданія ада, чистилища и рая выросли изъ народныхъ представленій. «Пѣвецъ любви», Петрарка, первый человѣкъ новаго времени, родоначальникъ новаго направленія въ умственной жизни Европы, и тотъ, воспѣвая любимую женщину въ итальянскихъ стихахъ, очень часто обращается къ мысли о смерти, о будущей жизни: Triunfi in vita e in morte di Laura... Triunfi della morte.

Понятно послѣ этого, что Боккачіо не могъ не поддаться религіозно-взволнованному настроенію своего времени, и жизнерадостный цѣнитель любви и земныхъ наслажденій, ставшій подъ конецъ благочестивымъ монахомъ, не могъ не внесть въ самое свое искреннее и наиболѣе доступное массамъ произведеніе того memento mori, которое коренилось во всемъ міросозерцаніи тогдашняго человѣчества. Въ Пизанскомъ Campo Santo существуетъ, знаменитая въ исторіи живописи, композиція XIV вѣка «Тріумфъ смерти». Ландау (Boccaccio, Leben u. Werke, стр. 130) вспоминаетъ о ней, говоря о мѣстѣ дѣйствія «Декамерона», и предполагаетъ, что фабула «Декамерона» могла быть взята изъ дѣйствительной жизни, что собираться веселой молодежи въ прекрасной мѣстности и проводить время въ забавахъ и бесѣдахъ—было въ привычкахъ тогдашняго общества, или что, быть можетъ, живописецъ написалъ въ одной части композиціи какъ-бы иллюстрацію къ популярному творенію Боккачіо. Но воспоминаніе объ этой картинѣ могло бы дать поводъ къ болѣе глубокой параллели между произведеніемъ живописи и поэзіи одной и той же эпохи.

Неизвѣстный художникъ,—Вазари приписываетъ эту картину Орканьо, но новѣйшіе изслѣдователи опровергаютъ его,—изобразилъ рядомъ сценъ, расположенныхъ на одной стѣнѣ, и въ той безпритязательной группировкѣ, которой держались живописцы среднихъ вѣковъ,—побѣду, тріумфъ смерти, какъ называетъ это Куглеръ. Смерть въ черномъ одѣяніи скосила массу самыхъ разнообразныхъ жертвъ, большею частью людей богатыхъ, счастливыхъ, между тѣмъ какъ въ сторонѣ убогіе нищіе съ клюками и повязками тщетно зовутъ ее, протягивая къ ней руки. На скалахъ, подъ которыми молятъ объ освобожденіи эти несчастные, видны отшельники, проводящіе время въ молитвахъ и заботахъ о невинной жизни, а неподалеку роскошное общество всадниковъ, королей, наткнулось на могилу, изъ которой глядятъ трупы: испуганные кони бросаются въ сторону, безпокоятся, всадники выражаютъ ужасъ, видя такъ близко дѣло смерти. А сама неумо-

лимая смерть носится надъ обществомъ прекрасныхъ дамъ и кавалеровъ (въ нихъ, говоритъ Вазари, современники видѣли портреты живыхъ лицъ), которые, расположившись подъ апельсинными деревьями, на лугу, покрытомъ цвѣтами, проводятъ время за музыкой, въ яркихъ костюмахъ, дамы съ собачками, мужчины съ соколами въ рукахъ. Это беззаботно наслаждающееся общество, надъ которымъ летаютъ маленькіе амуры, не чувствуетъ близости могущественнаго властелина смерти, и напоминаетъ ту честную компанію «onesta brigata», которая бѣжала отъ ужасовъ, господствовавшихъ между родными и знакомыми, и въ воздухѣ, наполненномъ амурами, повѣствовала веселыя новеллы. И если въ произведеніи живописи контрастъ земного наслажденія и всеобщаго разрушенія былъ задуманъ такъ глубоко и производилъ такое сильное впечатлѣніе, то почему же современнику-писателю не воспользоваться было тѣмъ же самымъ мотивомъ, сроднившимся со всею мыслью его эпохи? Но у глубокомысленнаго живописца образъ веселящейся молодежи былъ только частнымъ явленіемъ, подтверждавшимъ его религіозную мысль о ничтожествѣ человѣка, между тѣмъ какъ у поэта образы страданія, болѣзни и смерти, нисколько не повліяли на тонъ его разсказовъ, и веселость молодежи заглушала всякія нравственныя соображенія. Христіанская идея правосудія и возмездія, которая должна лежать такъ близко къ представленію о смерти, нигдѣ не проглядываетъ въ «Декамеронѣ». Боккачіо такъ же мало, какъ и Саккетти, заботится о нравственномъ значеніи мастерски описанныхъ приключеній, насмѣшекъ и проказъ. Употребивши извѣстный художественный пріемъ, авторъ какъ будто и забылъ про нравственные законы той религіи, которая породила эту игру сильными контрастами въ художественной мысли его времени. Поэтому, если нельзя отрицать, что, сопоставляя строгій характеръ описанія чумы съ фривольнымъ духомъ новеллъ, Боккачіо произвелъ и блестящую антитезу и нѣсколько оправдалъ цинизмъ разсказываемыхъ въ подобное время повѣстей, то все-таки проще предположить, что тутъ идетъ рѣчь о фактѣ дѣйствительной жизни, вытекавшемъ изъ всего настроенія средневѣковой мысли. Кладя этотъ фактъ въ основу своей фабулы, Боккачіо являлся вполнѣ человѣкомъ своего времени, слѣдовалъ тому направленію художественной дѣятельности, которое любило рѣзкіе контрасты жизни и смерти, наслажденія и страданія, и отдавало преимущество или строго-религіозному взгляду на жизнь,—какъ у художника пизанскаго Campo Santo, или, какъ у Боккачіо, ненасытной потребности, проявившейся послѣ долгаго поста, потребности жить и радоваться.

За описаніемъ чумы и образа жизни на виллѣ начинается первый отдѣлъ разсказовъ, первый *день* «Декамерона».

Несмотря на кажущееся разнообразіе и богатство сюжетовъ, передать въ общихъ чертахъ содержаніе всѣхъ 10-ти дней не такъ трудно, если воспользоваться тѣми рамками, въ которыя самъ авторъ отдѣлилъ свои новеллы; а главное, не слѣдуетъ упускать изъ виду, что тутъ собраны въ одно цѣлое разнообразныя черты повѣствованія, созданнаго народною средневѣковою фантазіею. Не вдаваясь въ разборъ источниковъ каждой новеллы,—что уже давно сдѣлано учеными спеціалистами,—мы замѣтимъ въ «Декамеронѣ» тѣ элементы разсказа, въ которыхъ выразился духъ эпохи и націи, которые обусловили и данную форму повѣсти. Нѣкоторые изъ этихъ элементовъ мы видѣли уже отчасти въ Новеллино, другіе сказались въ флорентійской новеллѣ Саккетти; но въ Новеллино особенно сильны отголоски рыцарской эпопеи, рыцарской жизни, всѣ общеевропейскіе и ранне-итальянскіе мотивы поэзіи, и очень немного сюжетовъ относятся къ области «Новеллы» въ тѣсномъ смыслѣ слова, т.-е. къ тѣмъ разсказамъ о продѣлкахъ, насмѣшкахъ, хитростяхъ, которые привились и выработались въ буржуазной средѣ городскихъ общинъ. Въ «Декамеронѣ», напротивъ, имъ отведено чуть-ли не первое мѣсто, и въ изобиліи описанныхъ мошенничествъ, проказъ и обмановъ Боккаччіо можетъ равняться хотя бы съ подражателемъ своимъ Саккетти, обработавшимъ, какъ мы видѣли, почти исключительно одинъ этотъ мотивъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ «Декамеронѣ» множество разсказовъ идетъ на подобныя темы.

Надо замѣтить, что Боккаччіо самъ подводилъ свои новеллы, басни, притчи или исторіи (o favole, o parabole, o istorie), какъ онъ ихъ называетъ, подъ извѣстныя рубрики; такъ, въ первый день и въ девятый, каждый разсказываетъ, что ему вздумается—и тутъ немалая доля интересно-описанныхъ продѣлокъ и анекдотическихъ остроумныхъ отвѣтовъ; но затѣмъ всѣ остальные дни разсказы ведутся на заданныя темы; въ шестой день, разсказчики приводятъ примѣры того, какъ люди быстрымъ отвѣтомъ отдѣлывались отъ непріятности,—тутъ слѣд. какъ въ Новеллино, эти fiori di parlare, т.-е. un bel detto, una nuova risposta, una leggiadra parola, будутъ играть главную роль; въ седьмой день, разсказывается объ обманахъ мужей женами—излюбленная тема той странствующей повѣсти, которая здѣсь служитъ, можно сказать, самымъ ближайшимъ источникомъ новеллы, и первообразы которой встрѣчаются въ восточныхъ вымыслахъ самой глубокой древности; въ восьмой день, говорится опять объ обманахъ и насмѣшкахъ (beffa) вообще одного надъ другимъ;

наконецъ, въ третій день, идутъ разсказы о тѣхъ, кто хитростью и ловкостью пріобрѣлъ желаемое или возвратилъ себѣ потерянное, и потому даютъ большой просторъ тѣмъ уловкамъ и обманамъ, которые имѣли невѣроятную способность забавлять слушателей, не возмущая ихъ нравственнаго чувства. Изобиліе подобныхъ сюжетовъ не удивитъ насъ, если вспомнимъ, что сама дѣйствительность флорентійской жизни могла доставить значительный матеріалъ остроумнымъ, насмѣшливымъ проказамъ, анекдотамъ, мошенничествамъ и т. п.; а новеллистъ воспроизводитъ или окружающую его жизнь, или тѣ образы и сюжеты, которые завѣщаны народу его первобытнымъ творчествомъ и живутъ въ немъ въ видѣ сказокъ, загадокъ, анекдотовъ, и др. отдѣльныхъ мотивовъ повѣствованія. Въ исторіи Боккачіевой новеллы участвуетъ такимъ образомъ большая часть средневѣкового повѣствовательнаго творчества; но близость ихъ къ эпохѣ и націи можно видѣть и не углубляясь въ исторію происхожденія и превращенія этихъ сюжетовъ: исторія эта могла бы завести насъ слишкомъ далеко отъ Италіи, въ сѣдую глубину арійскихъ преданій, въ буддистскую Индію или въ позднегреческую беллетристику. Интересно въ данномъ случаѣ не столько прослѣдить варіаціи и переходы сюжета, сколько разсмотрѣть, какъ извѣстные мотивы народнаго разсказа подъ перомъ великаго писателя создаютъ новые пути поэтической мысли, усиливаютъ реалистическое ея направленіе, опредѣляя тѣмъ самымъ ея художественную форму.

Преобладаніе сатирическаго духа фабліо сказывается во многихъ разсказахъ «Декамерона», направленныхъ противъ духовенства и церкви и причинившихъ впослѣдствіи столько угрызеній совѣсти набожному поэту; впрочемъ, разсказывалъ онъ ихъ для потѣхи читателей, безъ всякаго злого умысла, давая только возможность оцѣнить тотъ комизмъ, который составляетъ одну изъ самыхъ яркихъ сторонъ его таланта. *Первая* новелла *перваго* дня представляетъ собою отличный образецъ такихъ сюжетовъ по характерному содержанію и по тону разсказчика. Вотъ въ чемъ ея содержаніе:

Одинъ французскій купецъ принужденъ сопровождать брата своего короля въ Тоскану и поручаетъ нѣкоему Чьяпеллетто получить деньги съ его должниковъ въ Бургундіи. Чьяпеллетто, этотъ нотаріусъ города Прато, жилъ въ то время въ Парижѣ и, какъ человѣкъ, замѣчателенъ былъ тѣмъ, что для него ничего не значило дать ложное свидѣтельство, посѣять раздоръ между людьми, совершить смертоубійство, насмѣяться надъ таинствами церкви и т. п., не говоря уже про развратъ, пьянство и игру

въ фальшивыя кости. Ему поручается собрать долги съ такихъ же прекрасныхъ людей, какъ онъ самъ: потому что, думается купцу, мошенникъ самъ, онъ съумѣетъ справиться съ мошенниками бургундцами. Онъ и берется за это; пріѣзжаетъ въ Бургундію и останавливается у двухъ земляковъ-ростовщиковъ. Этимъ ремесломъ итальянцы въ то время часто занимались во Франціи, и были извѣстны подъ именемъ ломбардовъ. Ничѣмъ еще не выдававши себя и своего характера, заболѣваетъ сэръ Чьяпеллетто все сильнѣе и сильнѣе и приводитъ тѣмъ своихъ хозяевъ въ немалое затрудненіе: что съ нимъ будутъ дѣлать, если онъ у нихъ умретъ? Они хорошо знаютъ, что онъ за человѣкъ, но гостепріимно приняли его, ради богатаго довѣрителя. Теперь выкинуть его на улицу неловко передъ людьми, потому что всѣ видѣли, какъ они заботились о немъ, лечили его. Съ другой стороны, они также знаютъ, что онъ не захочетъ ни исповѣдываться, ни причащаться, умретъ, и никакая церковь не приметъ его тѣла отъ нихъ (ломбарды за ремесло свое преслѣдовались во Франціи и были отлучены отъ церкви) и придется его выбросить какъ собаку; да если онъ и вздумалъ бы покаяться, то грѣховъ у него такъ много и они такъ велики, что ни одинъ священникъ не дастъ ему отпущенія. А народъ, который и такъ-то не очень любитъ ломбардовъ и не находитъ законными ихъ дѣла, подниметъ крикъ, и имъ придется поплатиться не только имѣніемъ, но, пожалуй, и жизнью. Пока они разсуждали такимъ образомъ, больной лежалъ въ сосѣдней комнатѣ и слышалъ весь ихъ разговоръ. Призвавъ ихъ къ себѣ, онъ успокоилъ ихъ, говоря, что избавляетъ ихъ отъ затрудненій, желаетъ видѣть священника. Они позвали къ нему монаха святой жизни, и тотъ началъ исповѣдывать его. На вопросъ: когда онъ въ послѣдній разъ былъ у св. таинъ?—Чьяпеллетто, отъ роду небывшій на исповѣди, покаялся, что, привыкши исповѣдываться каждую недѣлю, онъ по болѣзни цѣлыхъ восемь дней не принималъ таинства. Въ этомъ тонѣ шла вся исповѣдь: на вопросъ объ объяденіи и пьянствѣ, больной разсказалъ, что онъ постится, кромѣ большихъ постовъ, еще три раза въ недѣлю; но, будучи иногда на богомольѣ или на молитвѣ, онъ, когда утомляется, пьетъ воду съ наслажденіемъ и жадностью пьяницы и ѣстъ салатъ съ бо́льшимъ удовольствіемъ, чѣмъ то должно набожно постящемуся человѣку. По поводу скупости и любви къ деньгамъ онъ проситъ святого отца не удивляться тому, что онъ живетъ у ростовщиковъ: онъ пріѣхалъ къ нимъ съ цѣлью указать все зло и несправедливость ихъ дѣлъ, наставить на истинный путь; самъ онъ былъ человѣ-

комъ богатымъ, раздавшимъ большую часть наслѣдства бѣднымъ и дѣлившимъ съ ними все, что̀ ни пріобрѣталъ. Не судился ли ты?—Да, очень часто. Но возможно ли удержаться, видя какъ люди преступаютъ заповѣди Божіи и не страшатся суда его?—Не клеветалъ ли ты? не говорилъ ли дурно про кого?—Да, говорилъ! Сосѣдъ его часто билъ жену, а онъ сказалъ это роднымъ ея, потому что жаль было бѣдняжку, которая должна была терпѣть побои каждый разъ, какъ мужъ напивался. И всѣ отвѣты были въ такомъ родѣ. Въ одномъ грѣхѣ, который особенно тяготилъ его душу, онъ сознался самъ: однажды въ субботу, вечеромъ, онъ велѣлъ слугѣ вымести комнату, и тѣмъ выказалъ неуваженіе къ святому дню воскресенія, который онъ знаетъ, какъ слѣдуетъ почитать всякому христіанину; а затѣмъ, зная, какое святое мѣсто храмъ Божій и какъ слѣдуетъ его уважать и хранить въ чистотѣ, онъ однажды осмѣлился плюнуть въ церкви! Понятно, что на такое раскаяніе монахъ не находитъ ничего, кромѣ словъ одобренія и утѣшенія, и невольно удивляется святости умирающаго. Вдругъ тотъ начинаетъ плакать самыми горячими, искренними слезами; на вопросъ монаха, больной говоритъ, что ему такъ стыдно, что онъ не смѣетъ и подумать о грѣхѣ, который столько лѣтъ при каждой исповѣди вызываетъ въ немъ самое горькое чувство. Духовникъ желаетъ узнать въ чемъ дѣло; больной боится сказать; священникъ настаиваетъ и наконецъ открывается, что, будучи еще малымъ ребенкомъ, нашъ праведникъ дурнымъ словомъ оскорбилъ мамму свою (bestemmiai una volta la mamma mia); сколько ни уговариваетъ его духовникъ, онъ не хочетъ вѣрить, что Богъ проститъ ему такой ужасный грѣхъ. Словомъ, этотъ мошенникъ въ такомъ совершенствѣ разыгралъ Тартюфа и такъ мастерски провелъ святого отца, что тотъ въ благоговѣніи передъ нимъ, приготовилъ его къ смерти. А ломбарды, слушая издали эту исповѣдь, не мало потѣшались и хохотали и не могли не удивляться какъ человѣкъ, готовящійся предстать предъ Вѣчнаго Судію, можетъ остаться вѣренъ себѣ, лгать и обманывать священника, не смотря на близкую, вѣрную смерть; тѣмъ не менѣе они были очень довольны, что монахъ обѣщалъ умирающему похоронить его въ церкви своего ордена. Умираетъ сэръ Чьяпеллетто; духовникъ разсказываетъ о его добродѣтеляхъ всей братіи; со всей церковной помпой выносятъ обманщика изъ дому; при большомъ стеченіи народа хоронятъ его; духовникъ произноситъ умилительную рѣчь, въ которой, на основаніи его предсмертныхъ признаній, выставляетъ его идеаломъ христіанскаго совершенства. Слушатели

тронуты; начинаютъ благоговѣть передъ могилой якобы святого человѣка, а черезъ нѣсколько времени слава новаго угодника такъ велика, что ставятся свѣчи, вѣшаются ex-voto и получаются исцѣленія.

Современный читатель, можетъ быть, подумаетъ, что тутъ Боккачіо хотѣлъ обличить суевѣріе народныхъ массъ, посмѣяться и надъ довѣрчивымъ монахомъ? Нисколько. Мораль разсказчика состоитъ въ томъ, что тутъ слѣдуетъ удивляться благодати Божіей, которая, не взирая на заблужденія, видитъ только чистую вѣру и принимаетъ молитвы, хотя бы онѣ обращены были не къ святому, а къ недостойному грѣшнику. Несмотря на такое разсужденіе, содержаніе повѣсти какъ нельзя лучше подтверждаетъ ту мысль, что новеллистъ за ловкостью описываемаго обмана, продѣлки, не видѣлъ или не хотѣлъ видѣть ея нравственнаго безобразія: въ самомъ дѣлѣ, набожный человѣкъ—за набожность говоритъ его мораль—разсказываетъ самымъ веселымъ тономъ святотатство, насмѣшку надъ таинствомъ, и его такъ смѣшитъ, такъ радуетъ комическій контрастъ того дурного, что есть въ человѣкѣ, и того святого, чѣмъ онъ прикидывается, что онъ ведетъ діалогъ исповѣди съ неподражаемымъ мастерствомъ, которое, конечно, пропадаетъ въ краткомъ изложеніи. И этотъ тонкій, непередаваемый комизмъ лжи, проведенной до мельчайшихъ подробностей, такъ увлекателенъ, что забываешь, что тутъ дѣло касается предсмертнаго покаянія, что весь эффектъ разсказа въ самомъ возмутительномъ обманѣ, котораго авторъ какъ будто и не замѣчаетъ,—до того онъ любуется его удачнымъ исходомъ. Въ мастерствѣ разсказа, въ каждой отдѣльной, законченной чертѣ этого діалога, въ каждомъ мѣтко схваченномъ оттѣнкѣ рѣчи такъ и сквозитъ у нашего поэта безсмертный типъ, довершенный геніемъ Мольера, такъ и чувствуется тонкая иронія, высокій комизмъ Тартюфа, созданнаго и французскимъ поэтомъ по преданіямъ средневѣковой сатиры.

Это характерное содержаніе, этотъ юморъ и комизмъ въ веденіи новеллы составляютъ настоящее вступленіе въ «Декамеронъ».

Вторая повѣсть его не менѣе характеристична для времени и личности автора. Еврея уговариваетъ пріятель-христіанинъ перемѣнить вѣроисповѣданіе. Тотъ сперва не соглашается ни съ какими доводами, но, побывавъ въ Римѣ, рѣшается принять крещеніе: тамъ онъ видѣлъ на дѣлѣ всю испорченность прелатовъ, развращенность и продажность папской куріи, и не могъ не убѣдиться въ истинѣ той религіи, которая существуетъ и процвѣтаетъ, несмотря на такую бездну злоупотребленій. Остроуміе

этого разсужденія, pointe анекдота въ неожиданномъ оборотѣ дѣла—принять религію потому только, что ее рекомендуетъ безнравственность ея служителей!—дѣлаютъ эту новеллу достойнымъ произведеніемъ средневѣковой діалектики и обличеніемъ того класса общества, котораго меньше всего щадила народная насмѣшка: Саккетти и Боккачіо, дѣлая духовныхъ лицъ героями самыхъ возмутительныхъ похожденій, слѣдовали только вкусамъ публики, писали вполнѣ въ духѣ народной повѣсти. А церковь, какъ-бы сознавая свою силу и неуязвимость, безмолствовала и не думала налагать запрещенія на злую сатиру новеллистовъ; только въ XVI вѣкѣ, когда этимъ орудіемъ стала пользоваться реформація,—католичество, инквизиція начали преслѣдовать насмѣшниковъ, и это преслѣдованіе не миновало и «Декамерона». Но навряд ли онъ заслуживалъ его, отражая въ себѣ только то, что жило въ мысляхъ всего общества. Если Дантъ, выразивши въ художественныхъ образахъ все умственное и нравственное достояніе эпохи, не щадилъ желчи и злобы въ обличеніи того папства, которое онъ изобразилъ подъ видомъ кровожадной волчицы, Петрарка въ нѣкоторыхъ сонетахъ собралъ всѣ самые сильные и грозные эпитеты противъ «прежняго Рима, а теперь лживаго и преступнаго Вавилона» (сон. 107: Fontana di dolore, albergo d'ira...), то неудивительно, что и Боккачіо не затруднился принять въ свой сборникъ этого анекдота; тѣмъ болѣе, что его, какъ разсказчика, привлекало пикантное содержаніе, неожиданная развязка, придающая и соль, и комизмъ новеллѣ.

Не болѣе, какъ пикантность остроумнаго отвѣта, ловкость еврея, увернувшагося отъ поставленной ему ловушки, видѣлъ авторъ и въ слѣдующей—*третьей новеллѣ* этого дня, заимствованной имъ изъ Новеллино. Это знаменитый разсказъ-аллегорія о трехъ кольцахъ, которымъ хитрый еврей отвѣчаетъ на вопросъ Саладина, какое изъ трехъ вѣроисповѣданій истинное? Этотъ разсказъ заключаетъ въ себѣ основную мысль философской драмы Лессинга: «Натанъ Мудрый». Боккачіо тутъ не видѣлъ ни философской мудрости, ни догматическихъ выводовъ, потому что дѣвушка, въ уста которой вложена глубокомысленная тэма, ведущая свое происхожденіе съ Востока, начинаетъ ее разсужденіемъ о томъ, какъ слѣдуетъ быть осторожнымъ въ вопросахъ и отвѣтахъ: если глупость вводитъ насъ въ большое горе, то умъ избавляетъ мудраго человѣка отъ большихъ опасностей (si come la sciocchezza spesse volte trae altrui di felice stato e mette in grandissima miseria, cosi il senno di grandissimi pericoli trae il savio e ponlo in grande e sicuro riposo). Флорентинца заинтересовала въ сюжетѣ

тонкость ума, предохранившаго Мельхиседека, Лессингова Натана, отъ подставленной ему западни, а не глубокая аллегорія, не широкая идея гуманизма, которую нѣмецкій философъ-поэтъ вложилъ въ свою драму.

Остальныя новеллы этого дня имѣютъ предметомъ плодотворныя послѣдствія сильнаго, мѣткаго слова, сказаннаго кстати; тѣмъ эти изобиловали и въ Новеллино и рекомендовались для повѣствованія и поясненія; una nuovissima risposta, un bel detto, опредѣляя даже отчасти самое названіе «Novella», извстари цѣнились разсказчиками, какъ и у насъ цѣнится веселый анекдотъ, способствующій оживленію легкаго разговора; а новеллы «Декамерона» носятъ на себѣ прежде всего характеръ безпритязательной бесѣды въ кругу веселящейся молодежи. Поэтому такимъ анекдотамъ посвященъ весь шестой день, а въ первомъ днѣ— шесть разсказовъ. Изъ нихъ по своему древнему происхожденію особенно замѣчателенъ разсказъ (Nov. 5) о маркизѣ Монферратской, которая, угостивши французскаго короля обѣдомъ изъ одного куринаго мяса, нѣсколькими ловкими словами (con alquante leggiadre parolette) отвергаетъ его безумную любовь; мотивъ этотъ представляетъ собою въ нѣкоторомъ родѣ «общее мѣсто», которое г. Буслаевъ указываетъ и въ древней восточной редакціи Синдабада, или сборника Семи Мудрецовъ, и въ псковской легендѣ про Игоря и Ольгу, и въ легендѣ о Петрѣ и Февроніи Муромскихъ (Р. В., стр. 727). Всѣмъ этимъ «bel detto», остроумнымъ замѣчаніямъ, удачнымъ отвѣтамъ приписывается большая сила, напримѣръ: невѣроятная способность исправить человѣка отъ такого порока, какъ скупость, или изъ дурного сдѣлать благороднаго человѣка; такъ (Nov. 9), разсказывается, какъ благородная гасконка, возвращаясь изъ Святой земли, оскорблена была на островѣ Кипрѣ: она хочетъ обратиться къ королю, но слышитъ, что онъ не изъ тѣхъ, которые вступаются за поруганную честь. Тѣмъ не менѣе она со слезами приходитъ къ нему и проситъ, чтобы онъ, перенесши такъ много оскорбленій, научилъ ее какъ ей снести одно безчестіе. Урокъ понятъ и король исправляется, дѣлается благороднымъ мстителемъ обидъ. Такъ какъ этотъ разсказъ заимствованъ изъ Новеллино (№ 51), гдѣ онъ переданъ въ двухъ-трехъ словахъ, то на немъ хорошо видно, какъ Боккачіо составлялъ занимательную повѣсть, обставивши анекдотъ, красное словцо, характеристическими подробностями, деталями, списанными съ дѣйствительности. Не иное что какъ анекдотъ, мѣткую фразу, примѣненную удачно къ даннымъ обстоятельствамъ, цѣнилъ Боккачіо и въ Nov. 6-й перваго дня,

гдѣ насъ прежде всего поражало бы обличеніе. Это разсказъ о томъ, какъ духовенство, любящее деньги, придиралось къ невиннымъ замѣчаніямъ одного богатаго человѣка, чтобъ подвергать его разнымъ взысканіямъ и поборамъ; а онъ однажды примѣнилъ къ нимъ евангельское изреченіе, что за все воздастся сторицею (Ев. отъ Матѳ., гл. 19, ст. 29), говоря, что и въ томъ супѣ, который въ монастырѣ подаютъ нищимъ, на томъ свѣтѣ потонетъ сама монашествующая братія; монахи такъ тронулись безобидной насмѣшкой, что съ тѣхъ поръ оставляли его въ покоѣ. Особеннаго остроумія тутъ не замѣтно, и не вѣрится въ дѣйствіе такого замѣчанія, но все-таки цѣль разсказа—не обличеніе корыстолюбія, а острота догадливаго человѣка.

V.

Второй день «Декамерона» посвященъ разсказамъ о тѣхъ, кто, сверхъ всякаго ожиданія, избавляется отъ разныхъ затрудненій, si ragiona di chi, da diversi cose infestato, sia, oltre alla sua speranza, riuscito a lieto fine; въ *первой* его новеллѣ опять находимъ ложныхъ святыхъ и ложныя чудеса. Въ Тревизо умеръ одинъ нѣмецъ; хотя простой носильщикъ, онъ прославился святою жизнью, и, правда это или нѣтъ, только въ часъ его смерти зазвонили колокола въ самой большой Тревизской церкви; народъ повѣрилъ чуду и сбѣжался смотрѣть на покойника; его, какъ святого, перенесли въ церковь и въ надеждѣ на исцѣленіе стали приводить къ нему слѣпыхъ, хромыхъ и одержимыхъ всякаго рода недугами. Во время этого переполоха являются въ Тревизо три флорентійца: Стекки, Мартеллино и Маркезе. Флоренція доставляла не однихъ дипломатовъ, но и шутовъ: этимъ промышляли и три товарища; они посѣщали дворы знатныхъ, кривлялись, передразнивали другихъ и смѣшными, такъ-сказать, «новыми» представленіями забавляли и потѣшали публику (le corti de signori visitando, di contraffarsi e con nuovi atti contraffacendo qualunque altro uomo, li veditori sollazavano). Захотѣлось имъ взглянуть на новаго святого; но пройти въ переполненную народомъ церковь—невозможно: не долго думая, Мартеллино прикидывается паралитикомъ, а двое другихъ ведутъ его, прося народъ пропустить несчастнаго убогаго. Толпа разступается, они подходятъ къ гробу, и мнимый паралитикъ начинаетъ выздоравливать. Удивленію, крикамъ, шуму нѣтъ конца, и репутація святого была-бы установлена, еслибъ одинъ случив-

шійся тутъ флорентинецъ не обнаружилъ обмана. Возбужденіе толпы возросло до того, что Мартеллино пришлось-бы поплатиться жизнью за эту «beffa» или «burla»—насмѣшку надъ суевѣріемъ толпы: платье на немъ изорвали въ клочки, удары такъ и сыпались: хорошо, что товарищи догадались во-время скрыться, побѣжали къ судьѣ и объявили, что этотъ Мартеллино укралъ у нихъ деньги. Онъ тотчасъ-же былъ арестованъ и тѣмъ спасенъ отъ ярости народа. А въ толпѣ поднялись толки и подозрѣнія изъ мести къ обманщику; одинъ говорилъ, что и у него Мартеллино укралъ кошелекъ, другой, что и у него недѣлю тому назадъ пропали деньги; хотя Мартеллино и легко было опровергнуть ихъ, доказавши, что онъ только въ этотъ самый день прибылъ въ Тревизо, но все-таки изъ рукъ правосудія можно было вырваться только по протекціи знакомыхъ, которые, насмѣявшись надъ приключеніемъ, попросили судью отпустить шута на волю. Сюжетъ—родственный новелламъ Саккетти: и тутъ главное мѣсто занимаетъ насмѣшка шутовъ, и шутовъ по ремеслу, надъ простодушіемъ толпы; чего-нибудь особенно комичнаго, смѣшного намъ трудно найти и въ этой новеллѣ; а между тѣмъ авторъ увѣряетъ, что это приключеніе чрезвычайно остроумно, и въ слушателяхъ, и въ свидѣтеляхъ возбуждаетъ много смѣху. Новелла, хотя и подведена подъ рубрику тѣхъ, гдѣ разсказывается о счастливомъ исходѣ непріятнаго событія, но весь интересъ ея въ томъ, какъ забавникъ попалъ въ бѣду, а не въ томъ, какъ онъ выпутался изъ нея. Novella—новое, оригинальное, смѣшное—въ продѣлкѣ, а не въ ея окончаніи; за то въ 5-ой новеллѣ этого дня одинаково интересно и то, и другое. Содержаніе ея такого рода:

Молодой человѣкъ, Андреуччіо, торгуетъ въ Перуджіи лошадьми; узнаетъ, что ихъ въ Неаполѣ большой выборъ, отправляется туда съ другими купцами и беретъ съ собой 500 золотыхъ флориновъ. Совершаются похожденія молодого провинціала въ столицѣ. Ходитъ онъ по рынку, присматриваетъ лошадей и туго набитымъ кошелькомъ обращаетъ на себя вниманіе одной сицильянки не совсѣмъ честной жизни. Не успѣла та подумать, какъ было-бы хорошо, еслибъ денежки были ея, какъ видитъ, что старуха, ея землячка, встрѣтившись съ Андреуччіо, очень обрадовалась и стала говорить съ нимъ, какъ съ старымъ знакомымъ, а потомъ объяснила молодой женщинѣ, кто онъ, зачѣмъ здѣсь, и какъ она хорошо знавала его отца и въ Сициліи, и въ Перуджіи. Хитрая сицильянка подробно разузнала все у старухи и приняла все къ свѣдѣнію; а вечеромъ послала свою служанку привести къ ней

Андреуччіо. Тотъ, считая себя человѣкомъ красивымъ и умѣющимъ нравиться, обрадованъ приглашеніемъ и отправляется за служанкой. Онъ несказанно удивленъ, когда видитъ, что молодая женщина встрѣчаетъ его на лѣстницѣ съ распростертыми объятіями, растроганная, въ слезахъ, осыпаетъ его ласками и вводитъ его въ богато-убранную комнату. Въ разговорѣ, который Боккачіо ведетъ съ рѣдкимъ искусствомъ, сицильянка, задыхаясь отъ слезъ, разсказываетъ нашему простяку, а тотъ воображаетъ, что онъ въ очень знатномъ богатомъ домѣ,—что она дочь одной женщины, которую отецъ его любилъ, будучи въ Палермо, но потомъ покинулъ и уѣхалъ въ Перуджію; что она рада, что въ Андреуччіо находитъ брата, что мать ея выдала ее замужъ за знатнаго человѣка, который теперь, вслѣдствіе политическихъ переворотовъ, долженъ былъ переселиться въ Неаполь; какъ она страстно желала найти родню отца, какъ счастлива, что видитъ брата и т. д. Словомъ, она такъ ловко воспользовалась всѣмъ тѣмъ, что̀ выпала у знакомой Андреуччіо старухи, что сочинила весьма правдоподобный разсказъ, и нашъ молодецъ, видя ея радость и слезы, не усумнился въ близости ихъ родства. Въ изліяніи чувствъ время проходитъ очень быстро; отличный ужинъ длится за ночь, и въ гостинницу возвращаться уже поздно; сестрица предлагаетъ послать сказать, чтобъ его не ждали и ночевать у ней. Раздѣвшись, онъ кладетъ платье съ деньгами на постель, и, выйдя на минутку изъ комнаты, уже не возвращается: въ одномъ бѣльѣ онъ очутился на улицѣ. Понятно, что сколько ни стучитъ онъ въ дверь, сколько ни шумитъ и ни бранится, кромѣ угрозъ и брани сосѣдей, ничего не слышитъ, узнаетъ обманъ, и видитъ, что ничего ему не остается дѣлать, какъ оплакивать свои пятьсотъ флориновъ. Мошенничество удалось, и разсказано оно съ замѣчательною живостью; но теперь приключеніе должно имѣть счастливый исходъ, т.-е. перуджинецъ долженъ вернуть свои флорины. На улицѣ онъ попадаетъ въ руки ночныхъ воровъ; послѣ нѣсколькихъ смѣшныхъ приключеній, они приглашаютъ его съ собою въ одну церковь, гдѣ только-что положено въ склепъ тѣло умершаго на-дняхъ архіепископа; его собираются они ограбить: особенно прельщаетъ ихъ рубиновый перстень на пальцѣ. Андреуччіо, разсказавши имъ свое горе, отправляется съ ними; придя въ церковь, они приподнимаютъ камень и спускаютъ въ склепъ новаго товарища, тотъ раздѣваетъ мертвое тѣло, отдаетъ все одѣяніе, а перстень оставляетъ себѣ, увѣряя, что никакъ не можетъ найти его, сообщники-же, забравши добычу, опускаютъ камень и скрываются. Отчаяніе на-

падаетъ на заживо погребеннаго; но вдругъ слышатся голоса, приподнимается опять камень—это монахи явились сюда за тѣмъ же, за чѣмъ пришелъ и Андреуччіо съ товарищами. Одинъ изъ нихъ спускаетъ ноги въ склепъ, Андреуччіо схватываетъ его, тотъ поднимаетъ страшный крикъ, въ ужасѣ вырывается, пускается бѣжать, другіе за нимъ, а Андреуччіо, пользуясь ихъ паникой, вылѣзаетъ изъ склепа, добирается кое-какъ до своей гостинницы и, по совѣту хозяина, тотчасъ-же уѣзжаетъ изъ Неаполя, пріобрѣтши не лошадей, а рубиновый перстень цѣною не ниже 500 флориновъ.

Итакъ, ловкость воровства, стеченіе обстоятельствъ, приводящихъ дѣло къ благополучному исходу—вотъ основа этой новеллы. Нравственные ея результаты, конечно, не принимаются въ разсчетъ: мошенничество одного вводитъ въ бѣду другого; что за дѣло, что тотъ ограбилъ покойника и при томъ въ церкви, лишь-бы онъ выручилъ пропавшія деньги: новое, оригинальное въ приключеніи должно имѣть «новый», необыкновенный исходъ—вотъ вся цѣль разсказа.

Подобный случай въ жизни интересуетъ публику, какъ потѣшаетъ ее приключеніе трехъ шутовъ-флорентійцевъ въ Тревизо, а въ литературѣ оно будетъ имѣть успѣхъ, лишь-бы было разсказано близко дѣйствительности, схоже съ природой. Полагаютъ, что новелла эта, можетъ быть, частью заимствована изъ фабліо, частью основывается на дѣйствительно случившемся фактѣ; такое происхожденіе не можетъ не повліять на манеру разсказчика, и отъ него должна отчасти зависѣть правдивость описанія, которая придаетъ такую жизненность предметамъ и лицамъ новеллы; потому что если авторъ берется разсказать случай изъ жизни, или вымыселъ, весьма доступный фантазіи и пониманію слушателей, то естественно, что онъ всѣ подробности, всѣ детали можетъ описывать прямо съ натуры, а отсюда и реализмъ его: ни одно обстоятельство не упущено изъ виду, каждая черта, каждая мелочь содѣйствуютъ полнотѣ и ясности картины; ходъ, положеніе дѣла выяснены неподражаемо наглядно; правда, самое дѣло крайне несложное, но вѣдь это—только первая попытка такого пріема въ изящной литературѣ, эта искренность описанія является впервые, и потому должна прилагаться сперва къ содержанію несложному и невысокому. Казалось-бы, что̀ можетъ быть легче, какъ обработать сюжетъ, для описанія котораго жизнь представляетъ такъ много всегда доступныхъ всѣмъ, близкихъ характеристическихъ чертъ? А между тѣмъ изъ 300 новеллъ Саккетти, имѣющихъ преимущественно такого рода содержаніе, и по тону

разсказа похожихъ на повѣсти «Декамерона», ни одна не имѣетъ литературныхъ достоинствъ Боккачіевой новеллы. Онѣ точно также пользуются будничными мелкими мотивами разсказа, но въ нихъ эта точность, реальность описанія не только не затрогиваютъ нашего поэтическаго чувства, напротивъ, отталкиваютъ его,—такъ далека, такъ чужда намъ жизнь, внушавшая столько терпимости и индифферентизма писателю. А у Боккачіо реализмъ разсказа совершенно переноситъ насъ въ эту жизнь, и мы, какъ будто забывая о совершенномъ преступленіи, невольно сочувствуемъ герою и столько-же радуемся счастливому окончанію его приключенія, сколько интересуемся незамысловатой исторіей обмана, сыгранаго ловкой воровкой надъ довѣрчивымъ провинціаломъ. Въ сущности, мошенничество само по себѣ не представляетъ ничего смѣшного, но комизмъ разсказа можетъ увлечь совершенно невольно: такъ, кажется, и видишь наивнаго малаго, который дивится и невиданной обстановкѣ, и неожиданной встрѣчѣ съ незнакомой родственницей, слушаетъ ее, развѣся уши, а она такъ умно предупреждаетъ всякій вопросъ, всякую тѣнь сомнѣнія и заранѣе отвѣчаетъ на всякое возраженіе. Правда, что и тутъ точность и правдивость переходятъ иногда въ грубый натурализмъ, простираясь слишкомъ откровенно на вещи, вовсе незаслуживающія упоминанія; но въ этомъ виноватъ не столько художникъ, сколько его время: если взрослаго человѣка не смѣшитъ то, отчего неудержимо хохочетъ ребенокъ, то и въ наше время разсказъ Саккетти про кошку или свинью никого не поражаетъ комизмомъ, а въ свое время производилъ большой эффектъ; отчасти и у Боккачіо приписывается много комизму, потому только, что чувство приличія никогда не помѣшаетъ дать ему самое подробное описаніе самаго грязнаго предмета, даже иногда вся соль повѣсти—въ ея возмутительномъ цинизмѣ.

Что же миритъ насъ съ реализмомъ Боккачіо? Что заставляетъ насъ въ его новеллѣ симпатизировать людямъ XIV вѣка и находить удовольствіе въ разсказѣ, хотя-бы о воровствѣ-мошенничествѣ? Неужели только точность описанія, вѣрность въ изображеніи того, что авторъ видѣлъ кругомъ себя? Не входя въ область эстетики, опредѣляющей сущность поэзіи, вспомнимъ только, что списываніе съ натуры вызываетъ эстетическое наслажденіе и переживаетъ свое поколѣніе тогда только, когда производится перомъ наблюдателя-художника. Пусть геніальный поэтъ разсказываетъ грубую и грязную «burla», «beffa», онъ и въ эту исторію наглаго мошенничества съумѣетъ вложить свое знаніе человѣческой природы, въ широкомъ разнообразіи жизни чутьемъ

таланта угадаетъ и укажетъ тѣ черты быта и характера, которыя не измѣняются въ человѣчествѣ ни при какихъ условіяхъ его культуры. Найти эти черты въ мелкомъ будничномъ событіи, опредѣлить тѣ стороны его, которыя освѣщаютъ вѣчную, неизмѣняемую природу, и при этомъ сохранить всю цѣльность его, передать его не въ сухомъ анализѣ, не въ отвлеченномъ обобщеніи, доступномъ и близорукому моралисту, а одѣть его всѣми яркими красками жизненнаго явленія, воскресить его въ фантазіи какъ современника-очевидца, такъ и отдаленнаго потомства,—для этого нуженъ талантъ поэтическій, а онъ скажется всюду, къ какому-бы содержанію ни прилагался. И этотъ-то талантъ обезсмертилъ имя Боккачіо. Детальность, точность его описанія, тщательность въ отдѣлкѣ частностей, придающія предметамъ осязательную полноту, ясность изображенія—дѣлаютъ Боккачіо отцомъ современнаго реализма, отразившимъ въ пестрыхъ, яркихъ, но цѣльныхъ и законченныхъ образахъ всю жизнь, всю мысль своей эпохи. Этими свойствами таланта онъ былъ близокъ и своимъ современникамъ, а далекіе потомки цѣнятъ въ его реальномъ воспроизведеніи дѣйствительности ту ея идеализацію, которая въ средневѣковомъ человѣкѣ указываетъ существенныя неизгладимыя черты нашей природы. Поэтому у Боккачіо художественное воплощеніе людей и характеровъ, проявляющихся въ мелкихъ житейскихъ интересахъ, представляетъ собою не одинъ историческій матеріалъ, какъ новеллы Саккетти: несмотря на то, что его мотивы повѣствованія давно отжили свой вѣкъ, что реализмъ его подчасъ грязенъ, а комизмъ переходитъ въ цинизмъ—то и другое дѣло эпохи,—поэзія, которою согрѣтъ его разсказъ, никогда не перестанетъ привлекать читателя; человѣчество всегда будетъ уважать въ поэтѣ-реалистѣ *идеальныя* стороны его таланта. Живые образы людей, хотя-бы и одѣтыхъ въ историческій костюмъ, но облеченныхъ «плотью и кровью», выростаютъ изъ-подъ пера художника только тогда, когда онъ описываетъ жизнь, идеализируя ее, а безъ этого условія немыслимо никакое произведеніе искусства.

Высокій реализмъ, та истинная поэзія, которая, исходя изъ наблюденія дѣйствительности, не чуждается идеализаціи жизни, видна и во многихъ художественныхъ пріемахъ нашего поэта. Напримѣръ, Боккачіо необыкновенно точенъ и подробенъ въ своихъ описаніяхъ, что̀ зависитъ уже отъ самаго свойства и происхожденія его сюжетовъ: рисуя положеніе, онъ не упускаетъ изъ виду ни одной черты, способной придать ему наглядность и рельефность. Но такая мелочная отдѣлка частностей, способ-

ствуя правдоподобности разсказа, не задерживаетъ его хода. Разсказъ не страдаетъ длиннотами, какъ въ романахъ крайнихъ реалистовъ нашего времени (Бальзакъ и современная школа его подражателей во французской литературѣ). Тѣ, желая воскресить полный образъ предмета въ фантазіи читателя, или отмѣчаютъ въ немъ добросовѣстно и тщательно массу мелкихъ чертъ, скрытыхъ иногда отъ глазъ простого наблюдателя, или такъ ярко освѣщаютъ одну и наиболѣе характеристическую сторону его, что читатель создаетъ себѣ ясное и наглядное представленіе того, что было въ намѣреніи писателя, но создаетъ путемъ труда, рефлексіи, а живой иллюзіи, полнаго художественнаго обаянія не получаетъ. Боккаччіо никогда не исчерпываетъ предмета: онъ только намекаетъ на ту или другую черту, а она уже сама невольно вызоветъ другія, которыми воображеніе читателя разовьетъ и дополнитъ картину. Это не недомолвки, не загадки, которыя поддерживаютъ любопытство; тутъ ничто не остается темнымъ, невыясненнымъ — это тонкій рисунокъ, въ которомъ штрихомъ карандаша опредѣляется цѣлая фигура: двумя, тремя отдѣльными чертами поэтъ заставляетъ возникать столько образовъ въ фантазіи читателя, что, перечитывая новеллу, удивляешься ея краткости и неудомѣваешь, откуда при этой скудости описанія является та ясность, опредѣленность представленій, которыя связаны съ первымъ впечатлѣніемъ. Въ этомъ умѣньи заставить насъ взглянуть на отдѣльную частицу предмета, а видѣть его во всей его реальной полнотѣ, въ умѣньи завлечь читателя въ творческую работу поэта — не заключается ли тайна художественнаго таланта? Въ возбужденіи самодѣятельности той фантазіи, которая присуща болѣе или менѣе всякому человѣку, не лежитъ ли отчасти тайна поэзіи, тайна эстетическаго наслажденія?

Впрочемъ, этотъ истинный реализмъ, впервые внесенный въ европейскую литературу и выражающійся столько же въ содержаніи, сколько и въ художественной законченности разсказа, выяснится еще лучше въ другихъ новеллахъ, гдѣ дѣйствуютъ нѣсколько иные мотивы повѣствованія. Мы видѣли въ первомъ днѣ «Декамерона» новеллы городского характера, съ преобладаніемъ хитрости, обмана и т. п.; новеллы подобнаго же содержанія мы видѣли и во второмъ днѣ, гдѣ они подведены подъ рубрику счастливо окончившихся приключеній. Но эта послѣдняя тэма даетъ поводъ и другимъ основамъ разсказа. Путешествія и въ нашъ вѣкъ, когда сообщенія такъ быстры и удобны, когда не осталось неизвѣданныхъ міровъ, ни баснословныхъ странъ, доставляютъ живой матеріалъ разговорамъ и разсказамъ, и неглу-

пый человѣкъ всегда найдетъ несовсѣмъ обыкновенный, болѣе или менѣе любопытный предметъ разсказа, когда вернется и съ недальней дороги, гдѣ ему довелось видѣть или слышать что-нибудь новое; поэтому путешествія изстари давали благодарное содержаніе разсказамъ, безъ труда тѣшившимъ фантазію народа, унося ее въ область самыхъ произвольныхъ приключеній,—разсказамъ, которые, какъ всѣ сказочные сюжеты, передавались отъ одного народа другому, исходя изъ дѣйствительнаго, реальнаго опыта жизни. Мы увидимъ ниже, что въ средневѣковую повѣсть путешествія, какъ любимый мотивъ разсказа, вносился, быть можетъ, византійскимъ, правильнѣе, позднегреческимъ вліяніемъ; но у Боккаччіо эти дорожныя приключенія въ большинствѣ случаевъ коренились преимущественно въ народномъ опытѣ, въ самой жизни, и потому въ нихъ писатель никогда не терялъ реальной почвы изъ-подъ ногъ. И въ самомъ дѣлѣ, въ тѣ отдаленныя времена, гдѣ постоянно рисковали попасть въ руки разбойниковъ, разгуливавшихъ и на морѣ, понятно, что всякій дальній путь, всякое морское плаваніе давало предметъ народнымъ вымысламъ: въ большомъ приморскомъ городѣ, какъ Неаполь, гдѣ долго жилъ Боккаччіо, отправится купецъ съ товарами за море искать счастія и потерпитъ удачу или неудачу, вернется богачомъ или нищимъ, въ народѣ, въ людяхъ знавшихъ его, долго будутъ ходить разсказы о его далекихъ странствіяхъ, украшаясь варіантами, сказочными эпизодами. Встрѣтится человѣкъ съ разбойниками на сушѣ или на морѣ, выкинетъ его бурей на островъ, или судьба заброситъ его въ невѣдомыя страны ко двору восточнаго султана, въ плѣнъ къ неизвѣстному народу—сколько сюжетовъ, способныхъ заинтересовать слушателя, сколько предметовъ, надъ которыми можетъ работать фантазія разсказчика: онъ ведетъ свою повѣсть, удаляя воображеніе читателей отъ будничной обстановки, заставляя ихъ слѣдить за судьбою человѣка, испытаннаго жизнью, но не уноситъ ихъ, какъ восточная сказка, въ особый географическій міръ невозможныхъ чудесъ, въ міръ сверхъестественной фантастичности. И неудивительно, что подобные сюжеты съ подкладкою дѣйствительно-реальнаго событія пользуются любовью народа; неудивительно, если геніальный художникъ, собравши наиболѣе характерныя выдающіяся черты того или иного сюжета въ цѣльно-законченный разсказъ, затронетъ имъ поэтическое чувство современника; они узнаютъ въ новеллѣ родное, близкое ихъ фантазіи зерно народнаго происхожденія, а потомство—тѣ стороны искусства, которыя на вѣки придаютъ жизнь предметамъ.

Совершенно понятно, что при этомъ тонъ, пріемы разсказа находятся въ большой зависимости отъ содержанія. Для примѣра возьмемъ одну не изъ знаменитыхъ новеллъ сборника, разсказъ о Ландольфо Руффоло (Giorn. II, Nov. 4). Это—исторія купца, который обѣднѣлъ, сдѣлался корсаромъ, взятъ былъ генуэзцами въ плѣнъ, заброшенъ бурей на берегъ, потомъ попалъ къ доброй женщинѣ, приведшей его въ чувство, и нашелъ въ томъ ящикѣ, который ему помогъ держаться на водѣ, большое богатство. Такъ какъ неудобно приводить въ переводѣ всю повѣсть, тѣмъ болѣе что въ ней нѣтъ рѣзко опредѣленнаго дѣйствія, и она кажется довольно скучной, то вотъ образчикъ тѣхъ описаній, которыми такъ богатъ нашъ авторъ, и которыя, подробно рисуя отдѣльную ситуацію, не затемняютъ цѣлаго.

Ландольфо, потерпѣвши неудачу въ торговомъ предпріятіи, съ успѣхомъ занимается корсарствомъ; но вотъ однажды съ богатою добычей онъ попадается генуэзцамъ, которые забираютъ его и его богатства на свои два судна. Сильный вѣтеръ отнесъ ихъ на большое разстояніе одно отъ другого.—«И отъ этого вѣтра судно, на которомъ былъ бѣдный и несчастный Ландольфо, съ страшною силой ударилось о мель около острова Кефалоніи, неиначе какъ стекло ударяется о стѣну, расшиблось и разбилось на мелкіе куски; несчастные, бывшіе на немъ, стали, кто умѣлъ, плавать, хотя ночь была самая темная, а море бурное и взволнованное, и цѣпляться за вещи, которыя имъ попадались на встрѣчу, потому что кругомъ по морю плавали товары, ящики и доски, какъ это бываетъ при подобныхъ случаяхъ. Ландольфо, хотя въ тотъ день часто призывалъ смерть, предпочитая лучше умереть, чѣмъ вернуться домой бѣднякомъ, какимъ сталъ,—теперь, видя смерть такъ близко, испугался ея, и, какъ другіе, уцѣпился за подвернувшуюся подъ руку доску, надѣясь, что, пока онъ не утонетъ, Богъ пошлетъ ему какое-нибудь спасеніе; сѣвши верхомъ на доску, онъ, какъ умѣлъ, пока море бросало его то туда, то сюда, продержался до разсвѣта. А при свѣтѣ дня, оглянувшись вокругъ себя, онъ ничего не увидалъ, кромѣ облаковъ, моря и ящика, который, плавая на волнахъ, иногда, къ великому его страху, приближался къ нему: онъ боялся, что онъ такъ ударится о него, что потопитъ его; и всякій разъ, какъ онъ подходилъ ближе къ нему, онъ отдалялъ его рукою, несмотря на то, что силы у него были небольшія. Но какъ бы то ни было, вдругъ разразился въ воздухѣ сильный порывъ вѣтра, ударилъ въ море и такъ сильно толкнулъ ящикъ, а тотъ доску, на которой сидѣлъ Ландольфо, что ящикъ перевернулся, а онъ

попалъ подъ волну, выплылъ изъ-подъ нея,—страхъ поддерживалъ его больше, чѣмъ сила,—и увидалъ доску далеко отъ себя; потому, боясь не добраться до нея, онъ подплылъ къ ящику, который былъ къ нему довольно близко, легъ грудью на крышку его и сталъ, какъ умѣлъ, направлять его руками. И въ такомъ видѣ, пока море бросало его то туда, то сюда, онъ, не ѣвши, потому что нечего было, и выпивши болѣе, чѣмъ желалъ, не зная, гдѣ онъ и ничего не видя, кромѣ моря, пробылъ весь день и всю слѣдующую ночь. Наступилъ день, и по волѣ Божіей или силою вѣтра, Ландольфо, сдѣлавшійся почти губкой, и держась крѣпко обѣими руками за края ящика, какъ дѣлаетъ тотъ, кто тонетъ, прибылъ къ берегу острова Гурфо, гдѣ, по счастію, бѣдная женщина мыла и чистила свою посуду пескомъ и соленой водой. Та, видя, какъ онъ подплывалъ, не могла ничего распознать, испугалась, закричала и пошла прочь. А онъ не могъ говорить, плохо видѣлъ и потому ничего не сказалъ ей; когда же море принесло его ближе къ землѣ, женщина узнала форму ящика, а вглядѣвшись пристальнѣе, узнала руки, протянутыя на ящикѣ, потомъ разглядѣла лицо и догадалась, въ чемъ дѣло». —Женщина эта вытащила его на берегъ вмѣстѣ съ ящикомъ, оттерла его, подкрѣпила его хорошимъ виномъ и объяснила, гдѣ онъ находился. Въ ящикѣ же, который былъ его невольнымъ спасителемъ, оказались драгоцѣнные камни, обогатившіе его на всю жизнь. Мнѣ кажется, трудно отрицать точность этого описанія, трудно не уяснить себѣ того, что̀ хочетъ нарисовать авторъ. Правда, эта тщательная отдѣлка въ рисункѣ въ настоящее время особенно не поразитъ никого, потому что наше поколѣніе повѣствователей пріучило публику къ такой отчетливости въ описаніи даже ненужныхъ мелочей, къ такому тонкому анализу не только всего нравственно-ощущаемаго героями, но всего видимаго и слышимаго ими, что̀, пожалуй, читая Боккачіо, и не сразу догадаешься, что этому художественному пріему первый онъ положилъ начало. Но стóитъ только сравнить его колоритный и мелкій рисунокъ съ безличнымъ и безцвѣтнымъ тономъ народной сказки, гдѣ всякій предметъ характеризуется такъ отвлеченно-общо, и станетъ ясно, почему Боккачіо считается новаторомъ прозаическаго повѣствованія, родоначальникомъ реализма.

Не забудемъ также и того, что у нашихъ современныхъ писателей самый языкъ иной; нашъ литературный языкъ, въ который часто входитъ столько техническихъ терминовъ и выраженій, самъ способствуетъ ясности и наглядности самыхъ разнообразныхъ представленій. И это богатое орудіе мысли создавалось вѣками, а у

Боккачіо оно — еще только въ зародышѣ, и потому не можетъ не казаться скуднымъ и блѣднымъ. Быть можетъ, языкъ его обезцвѣчивало самое подражаніе классикамъ, а быть можетъ и то, что до Боккачіо художественной прозы не существовало, и поэтическое чувство итальянца привыкло находить свое выраженіе только въ стихотворной формѣ; отъ этого, несмотря на богатство итальянскаго языка хотя бы у Данта, напр., языкъ Боккачіо такъ однообразенъ и бѣденъ; не говоря уже про синтаксисъ его, который, стремясь къ полнотѣ и законченности латинской періодической рѣчи, для нашего слуха имѣетъ что-то неестественное, холодное и скучное, особенно при легкомъ шутливомъ содержаніи разсказа. Впрочемъ, талантъ разсказчика такъ великъ, что освобождаетъ его отъ трудностей невыработаннаго языка; каковы же должны быть его заслуги, если, не взирая на несовершенства инструмента, которымъ владѣетъ, не взирая на то, что наше время цѣнитъ точность описанія, быть можетъ, даже черезъчуръ высоко, поэтъ все-таки достигаетъ ясности изображенія и небогатымъ сравнительно описаніемъ придаетъ рельефность и пластичность предметамъ! Вотъ почему у Боккачіо миришься и съ тѣмъ устарѣлымъ, чуждымъ намъ содержаніемъ, гдѣ главный интересъ разсказа состоитъ въ нечаянности, въ игрѣ случая, а не въ характерѣ дѣйствующихъ лицъ, не во внутренней сторонѣ ихъ отношеній, которыя въ нашихъ повѣстяхъ и романахъ обусловливаютъ главнымъ образомъ фабулу разсказа:—помимо того мы должны мириться съ этимъ содержаніемъ потому уже, что отъ него-то, какъ уже сказано, зависитъ тотъ реализмъ, который составляетъ необходимое условіе нашей поэзіи. Если мотивъ этихъ новеллъ есть преимущественно народно-сказочный съ подкладкою дѣйствительнаго событія, то художнику легко было вложить въ эту понятную его народу повѣсть всю тонкость своего наблюденія, все знакомство свое съ человѣческимъ сердцемъ, ту непосредственность художественнаго чувства, которое одинаково обаятельно дѣйствуетъ, прилагается ли оно къ области реальныхъ событій, или къ міру нравственныхъ ощущеній.

Правда, въ наше время трудно съ полною симпатіею отнестись къ сюжету, въ которомъ главную роль играетъ приключеніе, т.-е. судьба, случай; въ наше время міръ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ составляетъ почти исключительный предметъ художественной литературы. Какой же изъ серьёзныхъ романистовъ нашего времени станетъ рядомъ необыкновенныхъ случайностей, сцѣпленіемъ невѣроятныхъ приключеній подстрекать любопытство читателя? Если и существуетъ

такой сортъ беллетристики и имѣетъ многочисленную и неразборчивую публику, то это не относится къ той словесности, которая, служа выраженіемъ настроенія общества, увѣковѣчивается въ памяти народа. Въ наше время, если романъ или повѣсть обращается исключительно къ любопытству публики, какъ то бываетъ въ уголовныхъ романахъ, гдѣ часто интересъ поддерживается только игрою слѣпого случая, то онъ не принадлежитъ къ серьёзной литературѣ, цѣль которой не есть одно удовлетвореніе пустого любопытства. Къ тому же, у насъ этотъ мотивъ разсказа обставляется какими-нибудь сильными эффектами, въ родѣ скрытаго преступленія, таинственной загадки; но первобытный повѣствователь, пользуясь народнымъ творчествомъ, далекъ отъ такихъ пріемовъ: читателю XIV-го вѣка интересно было просто слѣдить мыслью за тѣмъ, какъ превратности судьбы отнимаютъ у отца, графа Антверпенскаго (Giorn. II, Nov. 8), дѣтей, чтобы, несмотря на бѣдность, постигшую его вслѣдствіе злой клеветы, воспитать ихъ сообразно съ ихъ высокимъ происхожденіемъ, а затѣмъ свести ихъ съ родителемъ, которому, послѣ многихъ лѣтъ лишенія, поворотъ фортуны возвратитъ его званіе и придворное положеніе. Интересъ могла возбудить и древняго происхожденія исторія (Nov. 9) о томъ, какъ вѣрная жена, оклеветанная мужемъ, спасается бѣгствомъ и долгое время скрывается подъ мужскимъ платьемъ, состоя въ Александріи на службѣ султана, пока счастливый случай, столкнувъ ее съ любимымъ мужемъ и съ клеветникомъ не даетъ ей возможности отмстить и оправдаться. Разсказываетъ Боккачіо невѣроятную, но чувствительную повѣсть о томъ, какъ Мадонна Беритола (Giorn. II, Nov. 6) попала на пустынный островъ, разлучилась съ дѣтьми, которыхъ похитили морскіе разбойники, жила съ одной козой и козлятами, пока жизнь послѣ цѣлаго ряда испытаній не свела ее опять съ родными,—и не трудно вѣрить, что эти сказочныя приключенія несчастной благородной женщины доставляли богатую пищу воображенію современниковъ, когда и насъ плѣняетъ этотъ разсказъ, несмотря на всѣ невѣроятности такъ поэтически описываемыхъ событій. Вообще въ этомъ днѣ «Декамерона» похищеніе женщинъ корсарами, перипетіи морского плаванія и разбойничество на сушѣ—вотъ главныя картины приключеній и главные мотивы разсказа. Для насъ они уже, конечно, не существуютъ, какъ не существуетъ того Востока, который своею роскошью, своею богатою цивилизаціею поражалъ контрастами умъ европейца и такъ плѣнительно дѣйствовалъ на средневѣковую фантазію; въ народное творчество вос-

точный элементъ входилъ не только черезъ письменность, такъ много заимствовавшую изъ восточныхъ сборниковъ, но заносился и разсказами торговыхъ и бывалыхъ людей, не говоря уже про крестоносцевъ, которыхъ не могла не поражать поэтическая прелесть далекаго и какъ-бы сказочнаго міра. Неудивительно, если эта область вымысла доставляла сюжеты и реалистически настроенной народной повѣсти. Для нашихъ повѣствователей не осталось тѣхъ неизвѣданныхъ странъ, къ которымъ они могли бы пріурочивать необыкновенныя событія, и которыя способны бы были волновать и тѣшить нашу фантазію, не признающую чудеснаго на земномъ шарѣ. Для развитаго читателя нашихъ дней чудеса и новыя открытія,—если ими поэтъ вздумаетъ приковать его вниманіе и любопытство, — совершаются въ безконечной странѣ психическихъ душевныхъ процессовъ, зависятъ отъ осложненій нашей внутренней жизни, отъ тѣхъ разнообразныхъ проявленій личнаго характера, которыя дѣлаются все запутаннѣе и темнѣе по мѣрѣ того, какъ мы двигаемся впередъ.

Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобъ и въ «Декамеронѣ», такъ полно отразившемъ настроеніе эпохи, не возникало вовсе тѣхъ вопросовъ внутренней жизни, тѣхъ затрудненій и осложненій, которыхъ и тогда не могло не знать человѣчество, не могъ не видѣть поэтъ, геніальный знатокъ человѣческаго сердца. Съ этими вопросами мы встрѣтимся отчасти въ слѣдующихъ дняхъ «Декамерона», но особенно полно выяснятся они въ послѣднемъ днѣ, гдѣ новелла, измѣняя своему реалистическому направленію, вдается въ идеализмъ и тѣмъ значительно мѣняетъ тонъ и характеръ повѣствованія. Мы увидимъ, какъ эти вопросы новеллистъ разрѣшалъ просто и легко, опираясь на міровоззрѣніе своего времени, на общій характеръ всей жизни, которая не была такъ сложна и запутана, какъ наша.

А. А.

НОВЫЙ ПОМѢЩИКЪ

Романъ, въ двухъ частяхъ, Мавра Іокая.

Съ венгерскаго.

Мавръ Іокай принадлежитъ къ числу первоклассныхъ современныхъ писателей Венгріи, гдѣ его имя пользуется рѣдкою популярностью въ теченіи болѣе чѣмъ тридцати лѣтъ. Онъ родился въ 1820 году, и уже въ ранней молодости посвятилъ себя журнальной дѣятельности. Въ 40-хъ годахъ, ставъ самъ во главѣ ежемѣсячнаго изданія „Eletkepek“, Іокай обратилъ на себя вниманіе своими мастерскими разсказами изъ народной жизни, почерпнутыми изъ дѣйствительнаго быта крестьянъ и вообще низшаго сословія. Въ то время такое литературное направленіе, названное впослѣдствіи реалистическимъ, было новостью не только въ Венгріи, но и во всей Европѣ. Не имѣя въ ту эпоху, какъ и теперь, никакихъ связей, никакого знакомства съ венгерскою литературою, наша литература въ 40-хъ годахъ представляла въ этомъ отношеніи совершенно тождественное явленіе: въ 40-хъ годахъ и у насъ народная жизнь, ея правдивое изображеніе въ художественной формѣ сдѣлались любимою тэмою первоклассныхъ талантовъ; первые очерки изъ „Записокъ Охотника“ Тургенева у насъ и разсказы Іокая въ Венгріи появились почти одновременно въ концѣ 40-хъ годовъ, безъ того, чтобы въ одной странѣ знали о литературныхъ явленіяхъ въ другой. Такая одновременность сходныхъ явленій могла бы быть объясняема общимъ ходомъ европейскихъ идей въ концѣ 40-хъ годовъ, порождавшимъ вездѣ одинаковые результаты и аналогическія теченія въ литературахъ народовъ, даже вовсе незнакомыхъ другъ съ другомъ.

Послѣ революціи 1848 года, Іокай написалъ цѣлый рядъ большихъ романовъ, придавшихъ новый литературный вѣсъ его имени и окончательно утвердившихъ его славу — писателя съ общественнымъ значеніемъ. Къ числу такихъ принадлежитъ и избранный нами для перевода на русскій языкъ. Не меньшею извѣстностью пользуются и другія произведенія Іокая; назовемъ нѣкоторыя изъ нихъ: „Бѣлая Роза", „Турки въ Венгріи", „Золотое время въ Зибенбюргенѣ", „Венгерскій набобъ", „Карпати-Солтанъ", „Черные бриллианты", и мн. др. Въ Западной Европѣ имя Іокая сдѣлалось извѣстнымъ давно: еще въ началѣ 50-хъ годовъ появился въ Лейпцигѣ нѣмецкій переводъ его новеллъ, а въ Лондонѣ — англійскій, подъ общимъ заглавіемъ: „Венгерскіе очерки изъ войны и мира, М. Іокая (1855)".

М. Іокай не прекратилъ своей журнальной дѣятельности до самаго послѣдняго времени, редактируя весьма распространенное въ Венгріи иллюстрированное изданіе, подъ заглавіемъ: „Воскресная Газета", и большой политическій журналъ: „Венгерская Печать".

Въ избранномъ нами романѣ Іокай изображаетъ Венгрію „умиротворенною", при нашей помощи, Австріей, тотчасъ вслѣдъ за прекращеніемъ возстанія. Романъ писанъ уже въ началѣ 60-хъ годовъ и направленъ одинаково противъ австрійскихъ порядковъ въ Венгріи и противъ преувеличеній венгерскаго патріотизма, — а потому въ этомъ романѣ сатирическій элементъ занимаетъ не послѣднее мѣсто. Юморъ, по временамъ добродушный, напоминающій собою нашъ малорусскій юморъ, а иногда бьющій не въ бровь, а прямо въ глазъ, проглядываетъ на каждой страницѣ романа. Политическое положеніе Венгріи того времени не имѣетъ, конечно, ничего общаго съ настоящимъ ея положеніемъ на равной ногѣ съ Австріею; тѣмъ не менѣе романъ представляетъ далеко не одинъ историческій интересъ, какъ живая картина народныхъ нравовъ и типовъ, не измѣнившихся столь же быстро, какъ быстро видоизмѣняются политическія судьбы народа. Романъ не утратилъ, можно сказать, и общественнаго своего значенія, какъ живой и сильный протестъ противъ всякихъ новыхъ, возможныхъ покушеній со стороны Австріи на преобладаніе: и теперь еще это произведеніе Мавра Іокая расходится на мѣстѣ въ дешевыхъ, популярныхъ изданіяхъ для народа.

I.

Старый человѣкъ въ новое время.

— Cogito, ergo sum! Справедливо: я мыслю, — слѣдовательно, я существую. И на-оборотъ: non cogito, — значитъ, non sum: «не думаю, — значитъ, не существую!» Что до меня касается, — съ настоящаго времени я вообще перестаю о чемъ-либо думать и приказываю всѣмъ объявлять, что я умеръ. Пожалуй, быть можетъ, я еще и живу, благодаря во-время добытому мною королевскому охранительному письму, Geleitschein'у [1]) и на зло той русской пикѣ, которая, незадолго передъ тѣмъ, при Германштадтѣ, засѣла въ моемъ боку. Но, собственно говоря, я все-таки не съумѣлъ бы сказать, зачѣмъ я живу? и въ особенности — къ чему я продолжаю жить? Впрочемъ, Господь Богъ такъ уже устроилъ, что и зоофиты существуютъ, а потому будемъ и мы прозябать!!!

Такъ разсуждалъ про-себя старикъ Гароновѣльди въ раннія сумерки туманныхъ зимнихъ вечеровъ, въ весьма грустную пору для Венгріи, въ началѣ пятидесятаго года; въ ту пору милліоны венгровъ находились въ такомъ же душевномъ настроеніи, когда люди весьма неохотно освѣдомляются: есть ли на свѣтѣ что новаго?

Старый помѣщикъ во-время добрался до родины по окончаніи, такъ-называемой, войны за независимость, и успѣлъ уже узнать, что амбары его пусты, даже треть полей не засѣяна, и ровно никого не случилось на-лицо, кто бы принялъ къ свѣдѣнію «Fundus instructus». Большое его помѣстье, заключающее въ себѣ 10,000 десятинъ, оставалось безъ управителя, безъ крестьянъ, безъ бороны, сушилки, рогатаго скота, лошадей и овецъ. Мебель въ его домѣ носила слѣды хозяйничанья квартировавшихъ въ немъ солдатъ, а въ бумажникѣ его находилось всего двѣ тысячи гульденовъ такихъ банковыхъ билетовъ, которые даже неудобно было показывать другимъ.

Но что тутъ горевать напрасно и о такихъ мелочахъ! Лучше спрятаться въ свой уголокъ, или завернуть къ сосѣду и пить, много пить, все равно—есть ли у него кто, или нѣтъ никого, за чье

[1]) Для капитулировавшихъ при сдачѣ крѣпости Коморна, 4-го октября 1849 г., во время усмиренія возстанія въ Венгріи.

здоровье можно было бы выпить. На худой конецъ можно засѣсть въ карты, на мѣловъ, съ себѣ равными важными барами, которые отчасти прежде также владѣли большими помѣстьями, или могли владѣть ими, — или, наконецъ, обладаютъ ими и въ настоящее время, — все это въ ту пору имѣло одно значеніе, всѣ были одинаково бѣдны. Въ такое-то время забирался иногда и къ старику Гароновѣльди нѣкій польскій эмигрантъ и служилъ ему партнеромъ при игрѣ въ тарокъ. Иной день никого не случалось — и то не бѣда. Отъ времени до времени либо занимодавецъ, либо коварный родственникъ навяжетъ, бывало, процессъ на шею, уповая на господствовавшее во время вѣнскаго управленія «favor in judice» — благорасположеніе судьи; по крайней мѣрѣ, все это давало поводъ къ нѣкоторому волненію, и, такимъ образомъ, человѣкъ чувствовалъ, какъ-бы во время ломоты, что въ немъ работаетъ жизненная сила.

Итакъ: «traditur dies die», — будемъ жить со-дня на-день! Не гнѣвайся, читатель, за то, что въ этихъ строкахъ встрѣчается столько латинскихъ изреченій; это тоже относится къ тогдашнему настроенію духа. Мы иногда прибѣгаемъ къ утѣшенію классическими языками, когда современная цивилизація насъ слишкомъ стѣсняетъ. О, когда все на свѣтѣ, въ особенности — въ Венгріи, бросалось на классицизмъ, вы не должны были тогда пенять на него. Человѣкъ, спасенія ради, готовъ обратиться и къ дереву, и къ травѣ, и если живущее ему не помогаетъ, то онъ обращается къ умершимъ. Почемъ знать, останься венгерскій языкъ смѣсью монгольскаго съ латинскимъ,—мы, быть можетъ, считались бы романской расой, и какъ бы тогда со всѣхъ сторонъ стали заискивать нашего расположенія — съ тѣхъ поръ, какъ все румынское сдѣлалось образцомъ вѣрноподданности.

Итакъ, еще разъ: «traditur dies die»!

Въ одинъ изъ подобныхъ дней, наставшихъ противъ всякаго желанія Гароновѣльди, ему, при всемъ его стараніи, не оказалось никакой возможности изгнать все мірское изъ своего убѣжища, и пришлось убѣдиться, что человѣкъ никоимъ образомъ не можетъ оградить себя отъ политическихъ коловратностей однимъ тѣмъ, что пообѣщаетъ строго молчать; онѣ все-таки розыщутъ человѣка и подъ землею и нагрянутъ на него въ ту минуту, когда онъ преспокойно себѣ выколачиваетъ трубку. Дѣйствительно, въ ту пору въ Венгріи нельзя было беззаботно курить, напримѣръ, «дѣвственный» табакъ, выросшій на вашемъ собственномъ полѣ, потому что введена была «монополія»: табакъ получается лишь изъ королевской табачной лавки, а иначе при-

дется за него втрое дороже заплатить; если же у человѣка найдутъ его любимое дѣтище, такъ самъ онъ попадетъ въ государственные преступники.

Тогда Адамъ Гароновѣльди сказалъ себѣ:

— Хорошо! Я больше курить не стану. По крайней мѣрѣ, улучшится мой аппетитъ.

И съ этими словами отнесъ на чердакъ дѣдовскія пѣнковыя трубки, бывшія его вѣрными спутниками во время опасностей,— его единственныя, уцѣлѣвшія фамильныя драгоцѣнности,—и болѣе никогда не курилъ.

Вскорѣ, въ другой злополучный день, порадовали его извѣстіемъ, что и вино, навѣрно, попадетъ подъ акцизъ, и что тогда лишь съ высшаго разрѣшенія можно будетъ завести бочку вина,—слѣдовательно, и за горе, и за радость платить придется, въ обоихъ случаяхъ,—и чѣмъ болѣе человѣкъ потребляетъ, тѣмъ больше заплатитъ.

— Хорошо же, я болѣе вина пить не буду,—по крайней мѣрѣ, въ свое время буду спать.

И съ этой поры онъ не прикасался ни къ какимъ напиткамъ,—пилъ лишь воду.

Опять злосчастный день: пришла добрая вѣсть о томъ, что на игорныхъ картахъ появится штемпель, на которомъ будетъ красоваться королевскій орелъ.

— И то не дурно: перестану играть въ карты,—по крайней мѣрѣ, не буду проигрываться.

И онъ сдержалъ свое слово.

Опять разсвѣло, и по закону природы насталъ новый день. Гароновѣльди вручили приказъ: ежели ему угодно охотиться, то не иначе, какъ получивъ дозволеніе королевскаго комитатскаго управленія держать ружье, а сѣдло дозволяется имѣть съ условіемъ, дать росписку королевскому окружному начальству въ томъ, что онъ не будетъ злоупотреблять имъ, и вообще обѣщается не вредить благосостоянію страны.

— Хорошо,—сказалъ Адамъ Гароновѣльди,—перестаю охотиться. По крайней мѣрѣ не буду простужаться.

А тутъ опять дошло до его свѣдѣнія, что если хочешь съѣздить въ гости въ сосѣднее село, то сперва надо запастись королевскимъ паспортомъ, который можно получить въ окружномъ городѣ: двое свидѣтелей должны поручиться, что ѣдешь съ добрымъ намѣреніемъ. Этотъ видъ слѣдуетъ показывать каждому герою со шлемомъ на челѣ, то-есть знаменитымъ жандармамъ, введеннымъ министромъ Бахомъ и получившимъ названіе «Ба-

ховскихъ гусаровъ», причемъ сейчасъ «facie loci» должно показать свой почеркъ, а «in flagranti» васъ спеленаютъ.

— Прекрасно,—сказалъ на это старый сквозь,—теперь буду сидѣть въ своей деревнѣ. Никуда больше не поѣду. По крайней мѣрѣ не опрокинусь изъ экипажа.

И съ этого времени Гароновѣльди ходилъ лишь до канавы, окружавшей его сады; это была его самая длинная прогулка. Онъ даже не осматривалъ своихъ посѣвовъ.

Но вотъ опять новое постановленіе. Мѣстныя власти нашли нужнымъ подчинить контролю головные уборы, потому что нѣкоторые недовольные носятъ необыкновенной формы картузы, не соотвѣтствующіе своему назначенію, такъ какъ у нихъ широкій и длинный козырекъ закрываетъ затылокъ, не оберегая глазъ. Всякій, желающій избѣжать непріятныхъ разспросовъ, долженъ подчиниться установленію о покроѣ и размѣрѣ головного убора, прежде нежели покажется въ немъ на улицѣ.

— И это хорошо!—сказалъ Гароновѣльди. Съ этой поры я ни на шагъ изъ дому не выйду. По крайней мѣрѣ не буду рвать сапогъ.

И онъ слово свое сдержалъ. Съ этого времени гулялъ только въ собственномъ саду, а если погода мѣшала, то занимался своими тяжбами, которыя со времени возстановленія «надлежащаго порядка» воскресли, словно осенью заснувшія мухи, оживленныя въ натопленной комнатѣ.

Наконецъ, оказалось, что впредь и веденіе процессовъ дозволяется лишь въ томъ случаѣ, если человѣкъ запасется такой бумагой, которая имѣетъ право быть представлена судьѣ и при этомъ должно умѣть различать достоинство штемпеля.

— Даже и это... Хорошо. Не стану болѣе вести процессовъ!

Связавъ въ пачку свои бумаги, онъ далъ знать объ этомъ своимъ адвокатамъ. Тѣмъ, на кого онъ имѣетъ основаніе претендовать—скатертью дорога; а кто съ него хочетъ взыскивать, пусть является. Милости просимъ, онъ никому возражать не намѣренъ.

Тому, кто знакомъ съ этнографіей, извѣстно, что если венгерецъ отказывается отъ куренія табаку, отъ вина, отъ охоты и отъ выхода на улицу, то это событіе важное; но, коль скоро онъ рѣшается болѣе не вести процессовъ, такъ это уже—«ultima Thule»—конецъ свѣту!

Впрочемъ, и такая нѣмая оппозиція все-таки обошлась не дешево старому помѣщику сороковыхъ годовъ.

Вслѣдствіе его безпечности, королевскіе чиновники взяли у него за долги лошадей; смотришь, то то́, то другое опечатаютъ, даже грозили самого арестовать; а онъ былъ невозмутимъ, какъ стоикъ. Угрозы даже подстрекали его любопытство. Ему очень хотѣлось узнать, какимъ это образомъ онъ будетъ цѣлый годъ содержаться на чужой счетъ по милости долговъ, онъ, который до старости жилъ на свои средства и даже собственнымъ трудомъ ни гроша не заработалъ.

Впрочемъ, все это ничего не значитъ.

По милости одного заимодавца описывали его имущество, другой кредиторъ тутъ же за крупные проценты выпутывалъ его изъ бѣды. Первый тащилъ у него овцу и продавалъ за два гульдена ниже стоимости ея, а второй, изъ состраданія, выкупалъ у него для Гароновѣльди ту же овцу за 2 гул. выше стоимости—и снова водворялся «порядокъ».

Вдругъ дорого купленныя у самого себя овцы придумали шутку, да и стали околѣвать одна за другой. Не понравилась ли имъ «новая система», или ихъ возмутилъ принятый на время режимъ кормить ихъ ячменемъ да соломой?—это мнѣ не извѣстно. Дѣло въ томъ, что въ одну зиму, вмѣсто шерсти, Гароновѣльди получалъ только шкуры, сильно упавшія въ цѣнѣ. Совершенно подобно тому, въ это самое время, австрійское правительство, вмѣсто выдачи купоновъ, возвращало намъ понизившійся капиталъ.

Это отчасти привело въ затрудненіе Адама Гароновѣльди. Въ разговорѣ съ знакомымъ, онъ жаловался на послѣднюю непріятность и мимоходомъ просилъ его, чтобъ онъ, если случится ему быть въ Пештѣ, прислалъ къ нему ветеринара, не вылечитъ ли онъ ему скотъ.

Знакомый очень охотно взялся исполнить порученіе.

— Пожалуйста, не забудьте моей просьбы!

Не прошло и двухъ дней, какъ во дворъ къ Гароновѣльди въѣхалъ извозчикъ изъ Пешта и остановился передъ крыльцомъ господскаго дома. Изъ экипажа вышелъ дородный господинъ, одѣтый по новѣйшей модѣ, въ зимнемъ пальто, съ гладко-выбритымъ подбородкомъ, волосы у него раздѣлены были по-поламъ проборомъ, идущимъ отъ лба до самаго затылка. На немъ былъ блестящій цилиндръ и широкій шарфъ, приколотый булавкой съ крупной бирюзой, на рукахъ—прекрасныя вѣнскія перчатки, въ зубахъ онъ держалъ отборную, тонкую, словно крысій хвостъ, виргинскую сигару, высшаго сорта, изъ королевской табачной

лавки. При этомъ онъ вертѣлъ въ рукахъ тросточку съ яшмовой головкой.

Этотъ господинъ съ важной осанкой уставился на выпуклыя пуговицы шубы Адама Гароновѣльди, на секунду вынулъ изо рта сигару двумя пальцами, держа тросточку, снялъ свой высокій, модный «фигаро» и обратился къ старику-хозяину съ вопросомъ:

— Имѣю я счастье привѣтствовать господина Адама Гароновѣльди?—Я докторъ Гришакъ.

— Ну, по-истинѣ, васъ Богъ послалъ, вы пріѣхали очень кстати!—отвѣчалъ Гароновельди.—Меня радуетъ, что пріятель мой не медля прислалъ васъ; овцы мои крайне нуждаются въ вашей помощи. Пойдемте, любезный докторъ.

При этомъ онъ схватилъ за руку доктора, который не успѣлъ еще рта разинуть для объясненій, и повелъ его черезъ дворъ въ овчарню, не щадя его лаковыхъ сапогъ, и даже принудилъ доктора войти въ стойла къ больнымъ животнымъ; причемъ пустился излагать ему діагностику ихъ болѣзни.

— Вотъ поглядите, г. докторъ, у этой болитъ ротъ, сѣна жевать не можетъ, а вотъ у этой ноги болятъ,—не можетъ стоять.

— Но, позвольте, вѣдь это право странно,—успѣлъ проговорить д-ръ Гришакъ.

— Конечно, странно, извольте далѣе послушать; гораздо болѣе удивительно то, что когда у животнаго ротъ заживаетъ, боль переходитъ въ ноги, и наоборотъ: у которой овцы нынче ноги болятъ, у той завтра навѣрное заболитъ во рту.

— Но, извините, меня право удивляетъ, — попытался заговорить докторъ Гришакъ.

— Я самъ дивлюсь, объяснить себѣ не могу, что̀ это за болѣзнь, ужѐ не мотылица ли?

— Однако, вы находитесь, повидимому, въ сильномъ заблужденіи...

— Очень можетъ быть, я мало знаю толку въ овцахъ, вамъ это должно быть лучше извѣстно, потому-то я васъ и пригласилъ.

— Однако, сдѣлайте одолженіе...

— Хорошо, хорошо, я вѣдь не спорю, я вамъ вполнѣ довѣряю. Захватили ли вы тинктуру для овецъ?

— Но,—вскричалъ докторъ Гришакъ,—за кого это вы меня принимаете?—и въ ярости ударилъ ногою по мордѣ одну изъ страждущихъ овецъ, которая намѣревалась почесать голову объ его панталоны, и поспѣшно оттолкнулъ ее.

— Развѣ вы не ветеринаръ?—весьма простодушно спросилъ Гароновѣльди.

— Съ чего вы взяли? я докторъ правъ! Doctor utriusque juris, Іоаннъ Непомукъ Гришакъ.

— Ого, значитъ, адвокатъ?—подумавъ, сказалъ Гароновѣльди. Ну, такъ мы овецъ осматривать не будемъ. Впрочемъ, я не хочу васъ утруждать, въ комнату не пойдемъ, мы здѣсь можемъ кончить дѣло. Вы изволили пріѣхать, чтобъ наложить запрещеніе?

— Позвольте!—сказалъ doctor juris, высокомѣрно отталкивая скамейку, на которой садятся доить, и которую предложилъ ему хозяинъ:—я полагаю, удобнѣе было бы вести наши переговоры въ комнатѣ.

— Увѣряю васъ, что тамъ не осталось ничего годнаго для описи; осмѣлюсь посовѣтовать вамъ взять вотъ этихъ овецъ. Правда, что кліентъ вашъ не очень будетъ доволенъ, потому что разсчитывать можетъ на одни шкуры, но за то вы должное вознагражденіе получите.

— Извините,—возразилъ-было докторъ Гришакъ.

— Не теряя словъ, говорите въ чемъ дѣло?

— Я явился вовсе не съ цѣлію причинять вамъ непріятности, а съ тѣмъ, чтобы попросить, на правахъ сосѣдства, отъ имени кавалера Анкершмидта маленькаго одолженія.

Теперь Гароновѣльди, въ свою очередь, пришелъ въ удивленіе.

— Анкершмидтъ? Кавалеръ? Сосѣдъ? И еще просить услуги! Постичь не могу, какъ это вдругъ, съ-разу, слышу столько загадочныхъ словъ. Не соблаговолите ли, господинъ докторъ, объяснить мнѣ эту шараду, потому-что самому мнѣ ни разу въ жизни не удалось разгадать даже простого ребуса. Какимъ образомъ достопочтенный господинъ Анкершмидтъ, кавалеръ, мнѣ приходится сосѣдомъ?

— Итакъ, васъ до сихъ поръ объ этомъ не увѣдомили! Кліентъ мой и довѣритель—то самое лицо, которое купило участокъ у Хайначи.

— Какой участокъ, позвольте спросить?

— Тотъ участокъ въ 2,000 десятинъ, который находится рядомъ съ вашимъ имѣніемъ.

— У кого купилъ онъ этотъ участокъ?

— Само собой разумѣется, у госпожи Пойтой, вашей невѣстки.

— Но, милостивый государь, участокъ этотъ принадлежитъ мнѣ. Вдовѣ брата моего предоставилъ я его въ пожизненное

владѣніе. Я купилъ его на чистыя деньги у моего покойнаго брата, и такъ какъ онъ былъ бѣденъ, да и вслѣдствіе разныхъ причинъ, о которыхъ излишне упоминать, разорился, я оставилъ землю его вдовѣ, чтобъ ей было чѣмъ жить и дѣтей воспитывать. Это мое законное владѣніе.

Старикъ Гароновѣльди полагалъ, что высказалъ такую истину, передъ которой всѣ ученые юристы въ мірѣ должны преклониться. Но докторъ Гришакъ язвительно ухмылялся, какъ-бы глядя на вздорнаго человѣка, который остался при допотопныхъ понятіяхъ о правахъ собственности. Онъ снялъ очки, протеръ ихъ шолковымъ носовымъ платкомъ, потому-что они въ овчарнѣ отъ теплаго воздуха отпотѣли, и опять надѣлъ ихъ; сверкая стеклышками и смотря на Гароновѣльди, онъ проговорилъ:

— Я вѣрю этому, милостивый государь, на слово вѣрю. Это вещь очень возможная.

— Не только «очень возможная», но оно такъ и было. Могу показать вамъ документы.

— Весьма сожалѣю, но это дѣла не можетъ измѣнить. Все останется по прежнему.

— Это мнѣ непонятно!

— Не изволите ли вы получать королевскую юридическую газету?

— Вотъ еще что вздумали!

— Такъ у васъ ея не имѣется? Очень жаль.

Просунувъ между пуговицами жилета свою руку въ лайковой перчаткѣ, Гришакъ началъ бѣгло цитировать главу тогдашняго вѣнскаго королевскаго свода законовъ, заключавшую въ себѣ параграфъ, который уничтожалъ всѣ притязанія, основанныя на старинномъ венгерскомъ правѣ. Тутъ же опредѣлялся срокъ, до истеченія коего всякій можетъ предъявлять свои права на имущество. По истеченіи же опредѣленнаго срока, «beati possidentes» вступаютъ въ свои права, и тотъ, въ чьихъ рукахъ имущество находится, считается собственникомъ и не подлежитъ юридическому взысканію. Срокъ прошелъ, господинъ Гароновѣльди не обзавелся королевской юридической газетой, не хотѣлъ писать на бумагѣ со штемпелемъ, и потому бывшее имѣніе его брата, найденное въ рукахъ его вдовы, признано было ея собственностью, чѣмъ она и воспользовалась для продажи его.

Гароновѣльди не сталъ спорить.

— Милостивый государь, вы великій человѣкъ! Ваша правда. Поздравляю васъ и признаю настоящимъ докторомъ правъ. Виноватъ лишь я потому, что не выписалъ королевской юридиче-

ской газеты. Сейчасъ же пошлю на почту и выпишу ее; съ этой поры она будетъ моимъ «versate die, versate noctuque»,—неразлучнымъ спутникомъ, а то, по милости моего невѣдѣнія, меня самого продадутъ, пожалуй, согласно съ какимъ-нибудь параграфомъ. Но приступимъ къ дѣлу. Скажите, какого рода одолженіе могу я оказать господину кавалеру Анкершмидту? Теперь я узналъ, какимъ образомъ онъ сдѣлался моимъ сосѣдомъ.

— Господину кавалеру угодно называть «одолженіемъ» то, о чемъ онъ проситъ. Онъ очень деликатный человѣкъ. По-моему, это просто «выгодная сдѣлка»: pactum bilaterale do, ut des; facio ut facias,—даю, чтобъ ты далъ, дѣлаю—такъ и ты дѣлай. Не соизволите ли припомнить, что въ письменномъ документѣ, данномъ вами госпожѣ Пойтой, находилось условіе стѣснительнаго свойства, а именно: вы не дозволили ей пользоваться стариннымъ зданіемъ, находящимся въ серединѣ участка.

— Точно такъ. Это постройка одного изъ моихъ старинныхъ предковъ, и я не хотѣлъ, чтобъ вдова превратила ее въ трактиръ или водочный заводъ. Положимъ, это глупая сентиментальность со стороны стараго коршуна; но, что-жъ дѣлать, я суевѣренъ!

— Вамъ также угодно было не уступать ей дороги, ведущей отъ господскаго дома черезъ всю деревню къ старому зданію, вы за собой удержали даже пространство по ту сторону рва, въ аршинъ длиною.

— Натурально, съ цѣлью какъ-нибудь попадать въ ограду. Въ ту пору еще не были изобрѣтены аэростаты, слѣдовательно нельзя было сверху пробраться въ участокъ, со всѣхъ сторонъ огороженный. Аллею удержалъ я за собой для того, чтобъ арендаторъ не могъ вырубить тополей, насаженныхъ по обѣимъ сторонамъ ея.

— Такимъ образомъ, г-жа Пойтой никогда не обладала зданіемъ и дорогой къ нему ведущей?

— Вы это, быть можетъ, находите неудобнымъ? Къ чему вы со мной церемонитесь. Сломайте домъ, постройте вмѣсто него дворецъ. Развѣ для этого вамъ тоже нужно мое разрѣшеніе?

— Непремѣнно, коль скоро, въ силу документа, въ дѣйствительности зданіе и дорога вамъ принадлежитъ.

— Неужели эти старые документы не утратили своего значенія?

— Внѣ всякаго сомнѣнія,—ревностно убѣждалъ дока-юристъ, замѣчая недовѣріе Гароновѣльди.

— Быть не можетъ,—сказалъ старикъ, и такъ упрямо пока-

чалъ головой, что докторъ началъ приходить въ отчаяніе отъ его непонятливости.

— Ну, а если кавалеру вздумается распорядиться помимо запрещенія «via facti» — по кулачному праву: что мнѣ тогда дѣлать?

— Вы можете привлечь его къ суду, — поспѣшилъ отвѣтить докторъ Гришакъ, — вы можете начать тяжбу.

— Не долженъ ли я предполагать, что тогда судья посадитъ меня въ тюрьму, какъ недовольнаго и нарушителя порядка?

Докторъ Гришакъ сталъ догадываться, что этотъ старикъ не изъ одной причудливости дѣлаетъ ему «наивные» вопросы, и поспѣшилъ безцеремонно наставить его на истинный путь.

— Вы можете быть увѣрены, что *теперь* каждый можетъ разсчитывать на должную справедливость.

— Прошу извинить; я этого не зналъ.

«Осторожная иронія этого человѣка можетъ привести въ отчаяніе!» внутренно бѣсился докторъ.

— Нельзя ли въ упомянутомъ документѣ отыскать ошибки въ формѣ изложенія, — продолжалъ съ добродушнымъ юморомъ Гароновѣльди. Быть можетъ, и то оплошность, что написанъ онъ на простой бумагѣ, можетъ статься, что и печать не на мѣстѣ?

— Милостивый государь, я не совѣтоваться пришелъ къ вамъ, и не для того, чтобъ вы меня учили, какъ дѣйствовать противъ васъ, но съ цѣлію устроить «дружескую сдѣлку», которая представляетъ выгоду и вамъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ, если позволите, я попрошу васъ подняться съ этого вороха сѣна. Здѣсь, въ овчарнѣ, намъ нельзя окончить переговоровъ; потрудитесь провести меня въ вашъ кабинетъ.

— Въ мой кабинетъ? — воскликнулъ Гароновѣльди, съ готовностію вспрыгнувъ съ кучи сѣна, на которой сидѣлъ. — О, съ удовольствіемъ. Когда разговоръ идетъ о дѣлѣ, непремѣнно слѣдуетъ пойти въ контору. Потрудитесь идти впередъ.

Возобновившіеся въ кабинетѣ переговоры оказались безплодными. Адвокатъ, потерявъ терпѣніе, наконецъ воскликнулъ:

— Такъ скажите ваши условія? Какъ бы намъ поладить!

— Хорошо, я вотъ что скажу вамъ: послѣднее мое и неизмѣнное слово то, что я ни за какія деньги, ни за ласковыя слова, а тѣмъ менѣе за угрозы не отдамъ руины моихъ предковъ. Я буду ждать, пока въ королевской юридической газетѣ появится параграфъ, въ которомъ будетъ сказано, что если кто-нибудь имѣетъ бѣдную хижину и на ея мѣстѣ другой захочетъ построить замокъ, то владѣлецъ хижины обязанъ снести ее къ извѣстному сроку. Затѣмъ честь имѣю кланяться.

Чтобъ докторъ не подумалъ, что есть возможность продлить объясненія, онъ растянулся во всю длину на липовой скамьѣ, прикрытой бараньей шкурой, съ которой докторъ всталъ, и, взявъ въ руки Горація, такъ углубился въ чтеніе, какъ будто въ первый разъ видитъ книгу.

Доктору Гришаку пришлось рѣшиться «re infecta» — удалиться, потому что господинъ Гароновѣльди не выказалъ ни малѣйшаго намѣренія его провожать.

— «Это преупрямый господинъ! Надо будетъ имѣть его на примѣтѣ».

II.

Несчастіе, обращенное въ промыселъ.

Черезъ годъ въ концѣ деревни красовался уже новый зáмокъ кавалера Анкершмидта на мѣстѣ прежнихъ развалинъ, принадлежавшихъ старику Гароновѣльди. Его скоро выстроили, — видно было, что у хозяина денегъ вдоволь.

На слѣдующую осень въ немъ помѣстился и самъ новый хозяинъ съ семействомъ, пожилой нѣмецъ съ военной осанкой; у него было двѣ дочери.

Управляющій и прислуга Анкершмидта всѣ были иностранцы. Вотъ почему дворня Гароновѣльди не имѣла съ ними никакихъ столкновеній, и старикъ-помѣщикъ жилъ себѣ спокойно, при немъ даже никто ни разу не упомянулъ о сосѣдѣ.

Гароновѣльди имѣлъ стараго управляющаго, который одинъ усидѣлъ на своемъ мѣстѣ, между тѣмъ какъ буря разбросала въ разныя стороны людей помоложе. Онъ былъ слишкомъ толстъ, что и мѣшало ему помышлять о военныхъ успѣхахъ. Впрочемъ и онъ попалъ въ ополченіе, но не надолго, и былъ подъ Кашау. Къ счастію его, онъ однимъ изъ первыхъ вернулся съ похода. Онъ даже принесъ домой ружье, которое припряталъ во время господства королевской централизаціи.

Управляющій Компошъ былъ хорошій сельскій хозяинъ, основательно зналъ свою науку, хотя не имѣлъ привычки о ней толковать. Онъ говорилъ лишь о предметахъ важныхъ, напр., о политикѣ. Если поймаетъ собесѣдника, такъ не выпуститъ до ранняго утра.

Хозяинъ его придерживался пассивнаго сопротивленія, а онъ — противоположной системы. Помѣщикъ не курилъ табаку по-

тому, что введена была королевская монополія, а онъ доказывалъ, что именно по случаю монополіи будетъ курить, такъ-называемый, «дѣвственный» табакъ собственнаго приготовленія. Откуда онъ его доставалъ? То былъ его секретъ. Онъ не имѣлъ при себѣ вида, однако всюду ходилъ и не боялся полиціи: если ему случалось ее задобрить, онъ это ставилъ себѣ въ заслугу. На лугу онъ сходился съ работниками и разсуждалъ о томъ, что творится на родинѣ. Ему дѣла нѣтъ до того, что пишутъ въ газетахъ. Онъ инымъ путемъ получаетъ извѣстія. Черезъ село гонятъ быковъ продавцы скота изъ Сербіи и Румыніи, или извозчики ѣдутъ съ кладью изъ Польши, онъ ихъ разспрашиваетъ, узнаетъ отъ нихъ все, что дѣлается въ Европѣ, чего даже газеты сообщить не могутъ. Ему въ голову не приходитъ отчаяваться,— напротивъ, онъ убѣжденъ, что если чего-либо не привели въ исполненіе весной, то осенью навѣрное будетъ сдѣлано. Обыкновенно заканчивалъ онъ бесѣду словами: «такъ и быть, еще поглотаю виноградъ съ мягкимъ хлѣбомъ».

Тѣ, кому извѣстенъ мистическій смыслъ этой пословицы, поймутъ, чего стóитъ венгерцу сказать, что онъ опять будетъ ѣсть виноградъ съ мягкимъ хлѣбомъ.

Компошъ очень былъ преданъ своему хозяину. На него Гароновёльди вполнѣ могъ положиться; разстроенное его хозяйство велось такъ, какъ будто находилось подъ контролемъ королевскаго окружного начальства. Бывало, если кто обманетъ Гароновёльди, такъ Компошъ до тѣхъ поръ не успокоится, пока не найдетъ покражи. Итцигъ, винокуръ, кралъ пшеницу, а Компошъ мстилъ ему тѣмъ, что, принимая отъ него спиртъ, обсчитывалъ его, за что Гароновёльди имѣлъ обыкновеніе его журить, говоря:

— Ужасно, до чего деморализируются венгерцы подъ этимъ вѣнскимъ игомъ. Этотъ правдивый, прямодушный народъ учится обманывать, обдувать, лгать и давать ложныя клятвы.

— «Inculpata tutela»,—отвѣчалъ на это Компошъ.

Гароновёльди только затѣмъ и просматривалъ счеты, чтобъ въ нихъ не попадалось такого рода возмездій.

Все-таки странныя попадались мѣста въ счетахъ у венгерскаго управляющаго господскимъ имѣніемъ.

Напр., въ расходѣ значится: «Бѣднымъ парнямъ» (въ Венгріи всѣмъ извѣстно, что такъ добродушно называютъ себя разбойники). Выдано:

«Хлѣбъ, соль, вино, водка, верхняя одежда, сапоги, шапки», —рѣже: «деньги», за то часто: «полъ-свиньи».

Какъ бы посмѣялись иностранные экономисты, еслибъ объ

этомъ провѣдали! Негодныхъ грабителей кормить, вмѣсто того, чтобъ донести объ нихъ окружному полковнику!

Но, въ-сторону этотъ вопросъ, теперь я не хочу разъяснять его.

Однажды, пробѣгая такія статьи, Гароновѣльди напалъ на слѣдующее:

«Александру боченокъ сладкаго Менешскаго вина...»

«Item: Александру пару штиблетъ изъ оленьей кожи...»

«Item: Александру фланелевую фуфайку...»

«Ditto: Александру на поправку часовъ съ репетиціей 3 гульдена».

«Ditto: Александру для извѣстныхъ цѣлей 10 гульденовъ».

Гароновѣльди, не спрашивая, зналъ, къ какой категоріи «бѣдныхъ парней» принадлежала эта личность. Честный скиталецъ, котораго преслѣдовала судьба послѣ событій 49-го года и который скрывается,—гдѣ ночь проведетъ, гдѣ день. Тамъ, гдѣ его признаютъ, оттуда исчезнетъ. Что говорить о такой горькой участи! Еще важный вопросъ, не лучше ли бы ему было явиться въ военный судъ и сказать: «Вотъ я, милостивые государи, чего съ меня требуютъ? Я готовъ отвѣтить».

Гароновѣльди такъ-подумалъ: «Кто бы тамъ ни былъ этотъ человѣкъ, достойный состраданія, однако его требованія могли бы быть поскромнѣе»—и промолвилъ:

— Я не противъ того, ему можно выдать вина, но зачѣмъ непремѣнно Менешскаго.

— Оставьте это безъ вниманія,—уговаривалъ его толстякъ, которому эти придирки были не по нутру.

— Затѣмъ, штиблеты изъ оленьей кожи! я самъ такихъ не нашивалъ, особенно въ деревнѣ.

— У бѣдняка очень ноги болятъ, когда ему приходится надѣвать другіе сапоги.

— Потомъ поправка часовъ съ репетиціей!

— Это я ихъ ему подарилъ.

— А это что еще?—Для извѣстныхъ цѣлей? чортъ побери, какихъ цѣлей ради дали вы ему 10 гульденовъ?

— Всепокорнѣйшее прошу, не извольте объ этомъ разспрашивать. Я хочу этимъ сказать, что я готовъ отдать на это свои собственныя деньги, но знаю, что вы сами будете сожалѣть, когда узнаете, кому отказали въ вспомоществованіи.

Секретъ нисколько не подстрекнулъ любопытства Гароновѣльди, онъ ограничился замѣчаніемъ:

— Васъ опять кто-то дурачитъ!

— На этотъ разъ—нѣтъ, не извольте такъ говорить, всепо-

корнѣйшее прошу. Если я въ чемъ-нибудь разъ убѣдился, такъ какой же тутъ обманъ?

— Э, полноте! Давно ли вы отдали свое пальто какому-то молодцу, увѣрявшему, что онъ адъютантъ генерала Бема, а недѣлю спустя вы встрѣтили его кѣльнеромъ въ Эрлау.

— Что-жъ, это всего разъ случилось, оно дѣйствительно такъ и было, но, въ настоящемъ случаѣ, я убѣжденъ, что это онъ и есть!

— Да кто?

— Если я его назову, такъ вы сейчасъ вскочите со стула и поспѣшите къ нему.

Гароновѣльди покачалъ головой.

— Какъ его имя?

Компошъ съ минуту колебался: открыть ли ему важную тайну? Отвѣтъ вертѣлся у него на языкѣ, но онъ долго не рѣшался, потеръ себѣ носъ, потомъ на глазахъ у него выступили слезы, онъ утеръ ихъ своей коротенькой рукой, и тогда словно сорвалось у него съ языка признаніе:

— Это онъ, онъ, нашъ великій, незабвенный, народный поэтъ, Александръ Петёфи, да, это Александръ!

Гароновѣльди сильно ударилъ кулакомъ по столу и тяжело вздохнулъ.

— Знавали ли вы Петёфи?—съ грустію спросилъ онъ управляющаго.

— Еще бы мнѣ не знать его, да я помню наизусть каждую строчку изъ его стихотвореній!

— Но лично-то знавали ли вы его, видали ли когда-нибудь?

— Видѣть не видалъ, но я въ умѣ такъ живо представлялъ себѣ его наружность.

— И портрета его вы не видали?

— Да развѣ живописцы съумѣютъ уловить сходство..

— Похожъ ли вашъ Александръ на этого молодого человѣка? — спросилъ Гароновѣльди, открывъ альбомъ, въ которомъ красовался настоящій портретъ великаго поэта.

Петефи родился въ ночь подъ новый годъ, въ 1823 году, а 31-го іюля 1849 года, въ сраженіи при Шесбургѣ, въ Зибенбюргенѣ, растоптанъ былъ русской кавалеріей; тѣло его не было найдено, потому что сотни убитыхъ зря хоронили въ общей могилѣ на полѣ сраженія. Это извѣстно было въ Венгріи уже въ 1850 году, но народъ до сихъ поръ не вѣритъ, что Петёфи убитъ.

Компошъ, увидавъ портретъ, сдѣланный въ 1847 году, воскликнулъ:

— Все же прошу покорнѣйше вѣрить, что онъ теперь совершенно измѣнилъ свою наружность, такъ что по этому портрету его не узнаешь.

— Но, я васъ спрашиваю, на какомъ основаніи вѣрите вы, что знакомая вамъ личность онъ и есть?

— Помилуйте, да вѣдь онъ на все умѣетъ сочинить стихи, онъ въ день по двадцати-пяти стихотвореній пишетъ, когда есть надобность, и одно другого прекраснѣе.

— Желалъ бы я видѣть такое стихотвореніе.

— Тотчасъ сотню могу показать; прошу всепокорнѣйше немножко подождать.

При этомъ ревностный патріотъ вынулъ изъ кармана перочинный ножичекъ и началъ подпарывать подкладку у своей венгерки; вотъ гдѣ были у него запрятаны драгоцѣнныя и тщательно скрываемыя стихотворенія.

— Покажите-ка почеркъ. Издали вижу, что это не рука Петёфи.

— Понятно, онъ и почеркъ измѣнилъ, чтобъ не напали на его слѣдъ.

Гароновёльди взялъ стихотворенія, написанныя на различныхъ клочкахъ бумаги, и началъ читать.

Само-собой разумѣется, это была чепуха, которую слѣдовало только кинуть въ каминъ.

Гароновёльди теперь сердился уже не на обманъ, а на простоту своего управляющаго.

— Послушайте-ка, пріятель мой, — проговорилъ онъ, хлопнувъ ладонью по бумажонкамъ, возвращенія которыхъ съ благоговѣніемъ дожидался Компошъ, съ тѣмъ, чтобъ опять спрятать ихъ: — слыхали ли вы анекдотъ про чудака, который, вмѣсто приготовленнаго ему женой поросенка, въ темнотѣ съѣлъ новорожденнаго котенка.

— Мнѣ знакомъ этотъ анекдотъ, — отвѣтилъ управляющій, не понимая, къ чему можетъ онъ относиться въ настоящемъ случаѣ.

— Находите ли вы вѣроятнымъ, чтобъ у кого-нибудь до того притупленъ былъ вкусъ, что онъ котятъ отъ свинины не отличитъ и съѣстъ одно вмѣсто другого.

— Я этого не думаю.

— А я считаю это возможнымъ. Возьмите-ка этихъ котятъ, — и при этомъ подалъ ему произведенія мнимаго поэта.

У Компоша выразилось на лицѣ то же, что у человѣка, который хочетъ расплатиться — и вдругъ его денегъ не берутъ,

говоря, что онѣ фальшивыя. Трудно убѣдить всякаго, что то, что онъ считалъ за серебро, просто-на-просто — фидибусъ. Если такъ,—ему, значитъ, приходится отказаться отъ вѣрованія во всѣ разсказы «великаго умственнаго человѣка». Такимъ образомъ, и его тайная переписка съ Бемомъ — выдумка. Неправда тоже, будто въ Азіи существуютъ скиео-мадьяры, семь колѣнъ, и что они строятъ мостъ черезъ «Босфоръ», чтобъ придти на помощь. Однако, это немилосердно требовать, чтобъ человѣкъ отказался отъ такихъ дорогихъ вѣрованій.

— Еслибъ вы, осмѣлюсь сказать, послушали изъ его собственныхъ устъ разсказъ о томъ, какъ онъ спасся отъ вѣрной погибели на полѣ сраженія и бѣжалъ куда глаза глядятъ! Когда, послѣ сраженія при Шесбургѣ, 31-го іюля 49-го года, за нимъ погнался цѣлый казачій отрядъ, онъ-себѣ прислонился спиной къ дереву и далъ имъ подъѣхать. Семерыхъ-то онъ изрубилъ, а какъ восьмого началъ рубить — сабля у него и сломалась объ сѣдло. Тогда онъ притворился мертвымъ, — казаки его и не тронули. Ну, а послѣ сраженія, зибенбюргерцы и саксонцы пришли мертвыхъ хоронить. Онъ раздѣлъ казака, надѣлъ его шубу, а свою венгерку ему накинулъ — и умно сдѣлалъ, потому что, какъ стали казаки шарить въ карманахъ венгерки, такъ и нашли кошелекъ съ американскими банковыми билетами на 100,000 гульденовъ да воинственную пѣсню. Бумажки-то сожгли, а по стихотворенію узнали, что авторъ его — Петёфи, да и отрубили голову казаку. Его же, считая за казака, похоронили. Такъ какъ случилось ему лежать сверху, — онъ въ полночь изъ ямы выкарабкался да и скрылся въ лѣсу. На другой день услыхалъ, что его преслѣдуютъ, бросился въ ручей, который изливался въ пещеру,—туда-то онъ и пробрался, три дня подъ землей копошился, въ потемкахъ, — наконецъ, на четвертый день, теченіе его понесло въ противоположную сторону: прямо въ Венгрію.

— А я уже думалъ въ Америку.

— Какъ вижу, вамъ не угодно ничему вѣрить, — дальше и разсказывать не стóитъ. А это такое трогательное происшествіе: вдругъ человѣкъ изъ Бихарскаго комитата добрался до Ворподскаго, ничего не ѣвши, кромѣ сосновыхъ шишекъ.

— Въ особенности черезъ великую Румынію, гдѣ сосны не растутъ. Что-жъ, это прекрасно! Я вѣдь «всему» вѣрю,—стóитъ мнѣ лишь приказать. Такъ какъ юноша-поэтъ былъ моимъ добрымъ другомъ — мы очень близко были знакомы — то я спрошу васъ, не изъявлялъ ли онъ желанія со мной повидаться?

— Осмѣлюсь сказать, что онъ каждый день вспоминаетъ о

васъ, но прибавляетъ: «я не хочу встрѣчаться съ моимъ старымъ другомъ,—боюсь, что это его скомпрометтируетъ».

— Благородная душа!

— Прошу всепокорнѣйше, не извольте относиться къ этому иронически. Ему больше нашего извѣстно!— При этомъ Компошъ кругомъ, оглянулся, чтобъ видѣть, не подслушиваетъ ли кто-нибудь; это движеніе для его короткой шеи было просто самопожертвованіемъ, потомъ, приложивъ руку ко-рту, онъ нагнулся и шепнулъ на-ухо:—На-дняхъ онъ меня увѣдомилъ, что Анкершмидтъ затѣмъ только поселился въ деревнѣ, чтобъ узнавать, что́ вы говорите, и за это получаетъ онъ изъ извѣстнаго источника по 10,000 гульденовъ въ годъ.

Гароновѣльди захохоталъ.

— Неужели, другъ мой, вы вѣрите, будто извѣстныя лица дадутъ хотя бы 10 грошей, чтобъ узнать, о чемъ я говорю? Впрочемъ, если вашъ таинственный другъ такъ хорошо меня помнитъ, — узнайте отъ него, гдѣ и когда встрѣтились мы въ Вѣнѣ и въ какомъ отелѣ? И что̀ сказали мы другъ другу на прощаньѣ?

— Я это сію же минуту у него спрошу.

У Компоша еле-еле хватило терпѣнія дождаться, пока ему отдадутъ обратно счеты, затѣмъ сейчасъ же онъ поспѣшилъ домой, и побѣжалъ въ то убѣжище, гдѣ прятался своего друга.

Сказать, гдѣ находилось это убѣжище — значитъ, быть способнымъ на низкій доносъ. Не будемъ вникать въ тайны Компоша. Достаточно, если скажемъ, что ревностный патріотъ черезъ два часа, весь раскраснѣвшись, запыхавшись, какъ человѣкъ издалека явившійся или, скорѣе, сдѣлавшій большой крюкъ, опять вернулся къ Гароновѣльди.

— Я съ нимъ говорилъ,—пыхтя, сказалъ онъ,—я сейчасъ отъ него! Какъ же, онъ помнитъ вашу встрѣчу въ Вѣнѣ. Прошу всепокорнѣйше...

— Вотъ какъ! Вытрите себѣ лобъ,—съ васъ буквально потъ градомъ катится.

— Благодарю всепокорнѣйше вашу милость, — я не голоденъ. — Онъ самъ не́ зналъ, что́ говорилъ, — такъ умъ его занятъ былъ «важнымъ». — Итакъ, 27-го сентября 1848 года Петёфи встрѣтился съ вами въ Вѣнѣ, въ гостинницѣ «Золотой телецъ», и при прощаньѣ вы сказали другъ другу...

Тутъ взволнованный Компошъ остановился, чтобъ духъ перевести, и, боясь исказить хотя бы одно словечко, вытащилъ бумажникъ изъ кармана, съ большой осторожностью открылъ по-

таенный уголокъ его и вынулъ собственной рукой написанную замѣтку (ее не легко было прочесть, потому что у Компоша была своя условная азбука: гласныя замѣнены были цифрами, начиная съ единицы). Убѣдившись, что рукопись подтверждаетъ все имъ сказанное, онъ осторожно приблизился къ Гароновёльди и, указывая на тайныя письмена, съ оживленіемъ во взорѣ поглядывалъ на серьёзное и, вмѣстѣ съ тѣмъ, добродушное лицо его, ожидая одобрительнаго отвѣта.

— Вы сказали другъ другу: «на полѣ сраженія увидимся».

— Хорошо, любезный Компошъ, летите на всѣхъ парусахъ обратно къ этому достойному и несчастному скитальцу и скажите ему, что Петёфи письменно заявилъ, что никогда въ Вѣнѣ не будетъ, и самъ я, сколько мнѣ помнится, еще ни разу не собирался въ Вѣну. Вотъ что́ можете ему передать на дорогу.

Компошъ почувствовалъ, какъ-будто подъ его правой ногой земля поднялась, а подъ лѣвой—опустилась; чтобъ не потерять равновѣсія, онъ ухватился за шнуры своей венгерки. Выходитъ, что онъ имѣлъ дѣло съ обманщикомъ! Ужасное сознаніе для такого честнаго человѣка, который каждаго считаетъ себѣ подобнымъ, прямодушнымъ и ревностнымъ патріотомъ, готовымъ принести въ жертву свою послѣднюю рубашку.

Онъ самъ не зналъ, какъ это случилось,—но въ минуту, когда онъ поднялъ голову, съ намѣреніемъ попросить Гароновёльди яснѣе высказаться, онъ вдругъ замѣтилъ, что идетъ вдоль поля, на которомъ растетъ кукуруза. Тутъ только, посреди слегка шумящихъ колосьевъ, началъ онъ взвѣшивать все имъ слышанное; каждое слово Гароновёльди было для него свято, и онъ почелъ бы за грѣхъ, достойный вѣчнаго проклятія, еслибъ хоть на минуту усомнился въ истинѣ сказаннаго имъ. Такъ, значитъ, тотъ, другой-то, сильно уклонился отъ истины. Выходитъ, тотъ человѣкъ его просто дурачилъ! Каждую ночь, когда кругомъ все спало, бралъ онъ корзину съ провизіей и въ темнотѣ, по непроходимымъ полямъ, несъ ее къ винограднику. Тамъ опять дѣлалъ лишній кругъ, чтобъ пробраться сзади въ бесѣдку, гдѣ скрылъ своего протежэ. Да еще, ему въ угоду, ежедневно проигрывалъ въ карты 4—5 гульденовъ изъ своихъ трудовыхъ денегъ. Онъ одѣлъ его, даже часы ему подарилъ, чтобъ зналъ онъ, который часъ. Всего этого ему не жалко было, только внутренно упрекалъ онъ его за горькій обманъ. Какъ онъ за него страшился! Какъ онъ тревожился о немъ, не спалъ, не пилъ, не ѣлъ и все заботился лишь о немъ! Сколько обманчивыхъ мечтаній вбивалъ онъ ему въ голову, предсказывалъ въ будущемъ

для Венгріи дни, полные счастья, блеска, славы! Значитъ, всѣ эти предсказанія о будущемъ благоденствіи Венгріи не что иное, какъ ложь? Съ этимъ никакъ не могъ онъ примириться. Ужѣ онъ ему все выскажетъ, лишь только увидитъ его! Возможно ли такъ морочить честную патріотическую душу!

Теперь онъ шелъ не околицей, а прямымъ путемъ къ зданію, гдѣ прессуютъ виноградъ, отперъ дверь, вошелъ, нахлобучивъ себѣ шапку на глаза,—ему вспомнилось, что до сихъ поръ онъ имѣлъ глупость влѣзать на крышу съ помощью лѣстницы, а потомъ въ слуховое окно, и такимъ образомъ навѣщалъ своего протежэ. Хоть бы онъ этого-то для него не дѣлалъ!

Въ самомъ дѣлѣ, теперь надо его разбранить! Какъ онъ удивится, увидавъ, что бывшій его поклонникъ является къ нему съ шапкой на головѣ!

Оттолкнувъ двѣ пустыя бочки, брошенныя за ненадобностью въ сѣняхъ, съ надутымъ лицомъ, добрался нашъ Компошъ до двери «убѣжища»,—не постучавъ, вошелъ.

Его ждали.

Именитая личность, которую мы покамѣстъ принуждены называть «несчастнымъ господиномъ», чуяла, что изъ разспросовъ проку не будетъ, и такъ распорядилась, чтобъ въ случаѣ необходимости быть готовой къ сраженію; потому-то заблаговременно припрятаны были въ надежное мѣстечко часы, трость, столовый приборъ и полотенце. «Несчастный господинъ» сверху надѣлъ на себя желтоватый модный сюртукъ. Изъ кармана выглядывалъ у него кончикъ пунцоваго шелковаго платка.

«Великій мужъ» обладалъ довольно презентабельной наружностью, внушавшей нѣкоторый страхъ слабо-характернымъ людямъ. Онъ былъ высокъ ростомъ; какъ герой, держался прямо; его черные какъ смоль усы закручены были крючкообразно; изъподъ гладко-выбритаго подбородка выглядывала борода, въ видѣ полукруга; лицо было у него полное и красное. Черные волосы его раздѣлены были на-двое проборомъ, какъ у Іоанна Гуніади видно на портретахъ. У него было такое доброе и открытое венгерское лицо, что съ перваго раза онъ могъ провести кого угодно.

Это замѣчаніе сдѣлалъ я не въ видѣ упрека господину Компошу, который, увидавъ его, позабылъ принятое намѣреніе, и такъ мило снялъ картузикъ, точно будто по разсѣянности вошелъ въ шапкѣ.

— Ну-съ, что васъ опять привело сюда? — обратился къ

нему достопочтенный несчастливецъ, съ высоты величія, словно принцъ, принимающій депутацію изъ покореннаго города.

Говоря откровенно, Компошъ смутился, не вѣрилось ему да и только, чтобъ такимъ звучнымъ голосомъ говорилась ложь; а если заглянетъ онъ въ глаза этому человѣку, такъ готовъ будетъ у него руки цѣловать, просить прощенія, не сказавъ еще, въ чемъ провинился передъ нимъ.

— Тысячу разъ прошу у васъ позволенія... Простите меня Бога ради. Я сейчасъ былъ у господина Гароновѣльди. Прошу покорнѣйше не сердиться на то, что онъ не запомнитъ, чтобъ когда-либо приходилось ему быть въ Вѣнѣ. А потому...

Достопочтенный несчастливецъ отступилъ на шагъ, лѣвой рукой сдѣлалъ знакъ, чтобъ онъ замолчалъ, и взволнованнымъ голосомъ проговорилъ:

— Не разсказывайте далѣе, я разрѣшаю вамъ молчать.

Затѣмъ, онъ, скрестивъ на груди руки, съ упрекомъ покачалъ головой и, обратясь къ Компошу, съ грустію проговорилъ:

— Понялъ я тебя! Такова-то венгерская дружба! Такъ-то уважаютъ великія имена! Стыдъ и срамъ! Преслѣдуемому патріоту ставятъ ловушку и стараются его заманить. Съ іезуитской хитростью выспрашиваютъ его для того, чтобъ потомъ сказать ему: «Ты погибнешь».—Знаю я васъ! Вы бѣжите отъ опасности и, боясь, чтобы присутствіе преслѣдуемаго патріота не повредило вамъ, ищете случая отъ него избавиться. Стыдно становится за народъ, въ которомъ такіе трусы господствуютъ. Что ни шагъ, то обманъ, да измѣна! Наши тайны повѣряемъ мы шпіонамъ, головы наши въ рукахъ убійцъ, діаволы распоряжаются нашей судьбой. Но, страшитесь,—настанетъ день мести, ужасенъ будетъ день этотъ! Вспомните тогда, что пожалѣли дать кусокъ хлѣба преслѣдуемому патріоту и отказали въ пристанищѣ. Страшитесь, трепещите!

Компошъ уже дрожалъ съ головы до пятъ. Онъ подумалъ, чтобъ избѣжать этихъ угрозъ, надо выдать 50 гульденовъ.

— Ахъ, простите, прошу всепокорнѣйше, вотъ 50 гульденовъ серебромъ, которые посылаетъ вамъ мой хозяинъ.

— Ха-ха-ха!—загремѣлъ «великій человѣкъ», быстро схвативъ деньги съ такимъ яростнымъ жестомъ, что Компошъ ждалъ, что вотъ тотчасъ онъ изорветъ ихъ на мелкіе клочки.—50 гульденовъ!—возопилъ бѣглецъ, поднявъ руку съ десятью кредитными бумажками.—О, отечество мое, видишь-ли ты это! Мнѣ это, мнѣ, который разъ десять жертвовалъ для тебя своей жизнію! Я, оро-

сившій своей кровью родную землю, заслужилъ лишь 50 гульденовъ! О, бѣдное, покинутое отечество!

Компошъ расчувствовался и началъ искать носовой платокъ въ заднемъ карманѣ,—но великій человѣкъ, не угадавъ, чего онъ ищетъ, вдругъ кинулся на него и схватилъ за воротникъ.

— Признавайся, ренегатъ ты этакой: мнѣ присланы сто гульденовъ, изъ нихъ пятьдесятъ ты удержалъ!

— Однако послушайте, этого вы не извольте мнѣ говорить! Коли не довѣряете мнѣ, такъ пойдемте къ хозяину, у самого спросите, а меня порочить не извольте. Слыханная ли это вещь!

Мнимый герой окинулъ взглядомъ маленькаго человѣчка съ головы до ногъ и гордо, съ достоинствомъ, началъ его укорять.

— Я васъ презираю обоихъ, тебя и хозяина твоего, съ его жалкой милостыней.—И при этомъ, перемѣстивъ жалкое подаяніе изъ правой руки въ лѣвую, положилъ себѣ въ карманъ.

И, еще разъ окинувъ презрительнымъ взглядомъ всю фигуру толстяка, съ достоинствомъ герой удалился къ себѣ.

Однако, несмотря на свою неудачу, онъ не потерялъ присутствія духа и изъ двухъ лежащихъ на столѣ фуражекъ выбралъ лучшую, которая, конечно случайно, принадлежала Компошу, а ему оставилъ на память свою калабрскую шапочку.

Въ дверяхъ онъ пріостановился и, замѣтивъ, что честный человѣчекъ не спускаетъ съ него глазъ, обернулся и, ударивъ себя ладонью по лбу, простоналъ: «Пространенъ божій міръ, хочу его весь обойти!»

И удалился.

Компошъ какъ-будто совершилъ преступленіе. Ну, а если это былъ «онъ!» Какъ онъ говорилъ высокомѣрно! Какъ былъ взволнованъ! Невѣроятно даже, чтобъ это было «иное лицо». Что, если случится съ нимъ какая-нибудь бѣда, тогда Компошъ во вѣки вѣковъ не помирится съ своей совѣстію!

Вѣдь онъ сказалъ ясно: «Пространенъ божій міръ, хочу его весь обойти».

Эти слова въ дѣйствительности были написаны великимъ венгерскимъ поэтомъ! Между тѣмъ «великій бѣглецъ» далеко убѣжалъ не на край свѣта, а только на край деревни, гдѣ находился замокъ кавалера Анкершмидта, которому онъ отрекомендовался, сказавъ, что принадлежалъ къ ополченію, которое, какъ извѣстно, сражалось *за* Австрію, не получило вознагражденія отъ вѣнскаго кабинета, и, преслѣдуемое народомъ въ одномъ комитатѣ, бѣжало въ другой.

Имя этого человѣка на этотъ разъ было: Ричардъ Марціанъ.

Положимъ, что это имя не такое громкое, какъ то, которымъ онъ недавно величался, — но въ обыденной жизни сойдетъ... покуда снова не оборвется.

III.

Старый воинъ и его семейство.

Кавалеръ Анвершмидтъ, будучи кирасирскимъ вахмистромъ, нѣсколько лѣтъ провелъ въ Венгріи. Онъ ознакомился съ лучшими городами, и въ ту пору ему славно жилось.

Затѣмъ настало время, когда его прежніе знакомые и даже сослуживцы сдѣлались его врагами,—и это время прошло.

Вслѣдствіе ранъ, полученныхъ въ сраженіяхъ съ бывшими друзьями, онъ вышелъ въ отставку.

Супруга его была дочь одного вѣнскаго банкира и по смерти отца наслѣдовала полъ-милліона.

Быстрое паденіе всѣхъ денежныхъ бумагъ побудило Анкершмидта обратить капиталъ въ недвижимое имущество. Венгрія въ то время походила на Америку; по примѣру извѣстнаго кавалера Эренфельда даже даромъ можно бы было получить землю, а за деньги-то безъ всякаго сомнѣнія возможно было пріобрѣсти отличное помѣстье. Въ странѣ вѣнскими властелинами отобрано было тогда безвозмездно и сожжено до 70-ти милліоновъ венгерскихъ ассигнацій, причемъ нѣкоторыя лица, не желая разстаться съ своими деньгами, припрятали ихъ. Много людей въ военное время задолжали, и у очень многихъ разстроились дѣла, земли продавалось много, а спросъ на нее былъ не великъ. Безъ сомнѣнія, въ ту пору легко было дешево купить прекрасное имѣніе, но еслибъ и нашлись препятствія при покупкѣ, то кавалеръ былъ не изъ таковскихъ, чтобъ пугаться пустяковъ. Онъ обладалъ рѣшительнымъ характеромъ и привыкъ командовать, притомъ надѣялся на строгость новой системы управленія и на свою военную настойчивость.

Адвокатъ его д-ръ Гришакъ, которому онъ поручилъ купить имѣніе, очень выгодно пріобрѣлъ «vitalium» у г-жи Пойтой. Ему досталось 2,000 десятинъ самой плодородной земли за 160,000 гульденовъ серебромъ. Это было просто за даромъ. Остальныя деньги можно было употребить на обзаведеніе. На какихъ условіяхъ состоялась покупка, объ этомъ мало извѣстно было кавалеру, послѣ уже открылъ онъ статью, стѣснявшую его владѣльческія права,

а именно домъ, до котораго онъ не смѣлъ дотрогиваться. Дѣлать было нечего, Анкершмидтъ примирился съ этимъ обстоятельствомъ и выстроилъ замокъ рядомъ съ домомъ.

Можно было любоваться на хозяйство Анкершмидта, рѣдко случалось видѣть подобное въ околоткѣ. У него была паровая мельница, боронильная машина, сѣялка, молотилка, всѣ службы были покрыты черепицей, водочный заводъ, гумно, мюнцбургскія коровы, іоркширскія свиньи, египетская пшеница, сахарный заводъ, отличная свекловица, брюква, и, чтобъ лучше шло хозяйство, всѣ должности, начиная съ управляющаго и до послѣдняго работника, исполнялись трудолюбивыми чехами. Приняты были всѣ мѣры предосторожности; у прислуги, у егерей и пастуховъ были двухствольныя ружья, въ башнѣ замка висѣлъ колоколъ, при звукѣ его всѣ охранители замка должны были по военному сходиться въ извѣстномъ пунктѣ для энергическаго отраженія непріятеля. На каждомъ свиномъ хлѣвѣ, на всякомъ амбарѣ, даже на вѣялкѣ, издали виднѣлась надпись, указывающая, что все застраховано въ тріэстскомъ страховомъ обществѣ «Azienda assicuratrice». Этимъ надѣялись пугнуть поджигателей. По ночамъ вокругъ замка расхаживали сторожа съ охотничьими рожками.

Съ такими небольшими предосторожностями даже въ Венгріи можно было жить спокойно.

О барскомъ домѣ, находящемся на другомъ концѣ села, извѣстно было Анкершмидту только то, что въ немъ живетъ ворчливый помѣщикъ, недовольный новыми порядками, и который за какую-то юридическую ошибку сердится на свою невѣстку и простираетъ гнѣвъ свой даже на купившаго ея имѣніе. Впрочемъ, пусть себѣ сердится бывшій членъ суда на что ему угодно (это никого не касается, кромѣ министровъ или бывшихъ народныхъ представителей), съ нимъ сразиться трудно, потому что нигдѣ его не встрѣчаешь.

Въ 1848 г. Анкершмидтъ овдовѣлъ и обѣихъ дочерей помѣстилъ въ пансіонъ. Купивъ имѣніе, онъ взялъ дѣтей къ себѣ, нанялъ имъ гувернантку и привезъ ихъ въ Венгрію.

Старшая дочь была почти совсѣмъ взрослая дѣвица, а младшая находилась еще въ тѣхъ лѣтахъ, когда чтеніе романовъ оффиціально не разрѣшается.

Эрминія была высокая и гордая красавица, во многомъ похожая на отца. У нея былъ такой же орлиный носъ, только тоньше и миніатюрнѣе, такія же густыя брови, но не такъ нахмурены, отцовскіе голубые глаза, только съ меланхолическимъ

выраженіемъ, подбородкомъ съ ямочкой, гладкій отъ природы, а не отъ бритья, какъ у стараго барина, который еще притомъ носилъ длинные усы, а бороду брилъ, что характеризовало тогдашнихъ офицеровъ. (Въ модѣ было присоединять къ усамъ часть бороды, что ихъ удлиняло, это называлось «à la Hayпau»).

Другая барышня, Элиза, болѣе походила на мать, которой мы не знали. Это было маленькое, кругленькое, живое существо, съ черными, какъ смоль, курчавыми волосами, и блестящими глазами, всякую минуту готовое то плакать, то смѣяться. У нея былъ крошечный ротикъ, который либо пѣлъ, либо говорилъ, и при этомъ самый милый нравъ: она скоро забывала непріятныя впечатлѣнія, а хорошія долго помнила.

Въ обѣденную пору кавалеру доложили о приходѣ какого-то скитальца.

Семейство сидѣло за столомъ, слуга доложилъ, что несчастный человѣкъ,—повидимому, баринъ,—проситъ позволенія войти.

— Ежели онъ въ несчастіи, пусть войдетъ и откушаетъ съ нами,—сказалъ кавалеръ, котораго привѣтливость противорѣчила строгому выраженію лица и воинственному взгляду.

— Я ему уступлю свое мѣсто,—проворно вскочивъ, сказала Элиза.

— Элиза, что это вы выдумали!—останавливала ее миссъ Наталй, чрезвычайно умная, ученая, чувствительная и притомъ очень худощавая особа.—Вы останетесь на своемъ мѣстѣ, Егоръ поставитъ приборъ на концѣ стола.

Несчастный господинъ вошелъ. Въ его походкѣ, въ манерѣ держать себя, во всемъ проглядывала грусть. Опущенные глаза, сжатыя губы свидѣтельствовали о внутренней борьбѣ, которую слѣдовало преодолѣть, чтобъ идти просить милости у чужихъ людей. Приблизившись къ кавалеру и поклонившись всему обществу, онъ не въ силахъ былъ подавить грустнаго вздоха. Его глухой голосъ совсѣмъ замеръ, когда онъ пробормоталъ слѣдующее:

— Милостивый государь, я несчастный человѣкъ, меня преслѣдуютъ!

— Хорошо, хорошо,—отвѣтилъ кавалеръ, разомъ прервавъ его рекомендацію.—Садитесь, вы какъ разъ во-время пришли, мы ѣдимъ супъ.

Бѣглецъ усѣлся, испустивъ продолжительный и дрожащій вздохъ, точно будто садится за похоронный обѣдъ, и при этомъ постарался принять самый интересный видъ, какой только мо-

жетъ сворчить человѣкъ, зная, что на него обращены взоры незнакомыхъ дамъ.

— Господинъ кавалеръ,—сказалъ несчастливецъ, опустивъ ложку въ супъ,—благородный и снисходительный пріемъ, который вы оказываете преслѣдуемому человѣку, дѣлаетъ вамъ честь. Вы расточаете свою милость на человѣка признательнаго. Я тоже сражался возлѣ васъ.

— Вотъ какъ, это прекрасно. Кушайте же, а то супъ простынетъ.

— Благодарю васъ,—и, проглотивъ ложки двѣ супу, съ наѳосомъ продолжалъ:—Кровь мою, жизнь мою!.. Три ложки съѣлъ: —я не боялся смерти, равно и преслѣдованія со стороны родственниковъ. Опять проглотилъ ложку супу: — я все въ жертву принесъ, даже жизнь мою!—Послѣ этого, несчастливцу по неволѣ приходилось отдохнуть, потому что болѣе нечѣмъ было жертвовать, при этомъ и супъ онъ весь съѣлъ.

— Въ какомъ полку служили вы?—спросилъ кавалеръ съ недовѣріемъ, поморщившись.

— Я не по принужденію сражался, чѣмъ и горжусь. Я былъ въ ополченіи.

— Въ какого рода ополченіи?

— Въ ополченіи графа Сирмои, которое сражалось за австрійцевъ.

— Ну, оно мнѣ однажды удружило, нѣчего сказать! Ему велѣно было прикрыть обозъ, когда приблизились венгерскіе гусары, а оно словно въ воду кануло. По милости его же попалъ я между двухъ огней подъ Кашау. Вѣрно, вы тогда въ немъ находились; кромѣ этихъ двухъ случаевъ, я не запомню, чтобъ это хваленое ополченіе когда-либо приближалось къ моему отряду.

— Да, я тамъ былъ!—воскликнулъ несчастный господинъ и разомъ подцѣпилъ съ блюда два куска говядины. Я тамъ одинъ остался, когда товарищи мои попрятались, я одинъ сразился съ врагами, какъ Горацій Коклесъ, стоя на деревянномъ мосту, перекинутомъ черезъ Хериадъ.

Обмакнувъ въ соусъ послѣдній кусокъ, онъ счелъ нужнымъ вздохнуть.

— И вотъ поэтому приходится мнѣ скитаться на родинѣ!

— Почему?—спросилъ кавалеръ.— Правительство, сколько мнѣ извѣстно, вознаградило всѣхъ достойныхъ награды. Развѣ вы не получили какой-нибудь должности?

— Меня лишили мѣста! Всюду грозятъ мнѣ убійцы. Я принужденъ скрываться.

— Развѣ у васъ нѣтъ матери? — сентиментально спросила его миссъ Натали.

— Ее убили изъ ненависти ко мнѣ.

— Это ужасно! Были ли у васъ сестры?

— Ихъ также убили! У меня были двѣ сестры, такія прелестныя, какъ вотъ эти обѣ барышни, и ихъ нѣтъ въ живыхъ, убиты!—При этомъ изъ послушныхъ глазъ бѣглеца выкатились двѣ слезы прямо на котлетку,—онъ прибавилъ лимоннаго соку и все вмѣстѣ проглотилъ.

— Бѣдный молодой человѣкъ!—тихо вздыхая, проговорила миссъ Натали.

Кавалеръ не очень расчувствовался. Онъ перемѣнилъ разговоръ.

— Почему вы перестали пользоваться покровительствомъ господина Гароновѣльди?

Вопросъ этотъ такъ озадачилъ несчастливца, что онъ, не разжевавъ, проглотилъ кусокъ, только-что положенный въ ротъ.

— Что вы изволили сказать?—съ удивленіемъ спросилъ онъ.

— То-есть, какимъ образомъ узналъ я о вашемъ пребываніи у Гароновѣльди, хотите вы знать? Очень просто. Я въ горахъ охотился и видѣлъ, какъ вы сидѣли подъ навѣсомъ у виноградной бесѣдки. Егерь объяснилъ мнѣ, кто вы; по его словамъ, вы—бѣжавшій венгерскій гонвэдъ или чиновникъ изъ венгерскаго лагеря,—я полагаю, что оно такъ и есть.

— И несмотря на это...

— Вы хотите сказать, что я, зная, кто вы, не выдалъ васъ?

— О, это доказываетъ благородное сердце!

— Милостивый государь!—крикнулъ съ досадой кавалеръ, увидавъ, что на глазахъ бѣглеца показались слезы признательности.—Я былъ медвѣдь и съ себѣ равными медвѣдями боролся, но никогда не былъ охотничьей собакой, которая спугиваетъ дичь для охотника.

По этому возгласу бѣглецъ могъ себѣ составить понятіе о настроеніи духа хозяина, и понялъ, что не легко добраться до его слабой струны. Однако, онъ тѣмъ не менѣе продолжалъ ее разыскивать.

— Господинъ Гароновѣльди дѣйствительно полагалъ, что я принадлежу къ революціонной партіи и потому спряталъ меня.

— Это понятно: всякій держится людей, которымъ сочувствуетъ.

— Но я-то ему не сочувствую,—поспѣшилъ замѣтить бѣглецъ. — Потому я и бросилъ его. Онъ очень опасный человѣкъ, равно и Компошъ, его бухгалтеръ,—тотъ только и бредитъ заговорами. Они требовали, чтобъ я принялъ въ нихъ участіе, довѣряли мнѣ важныя тайны, сказали, гдѣ запрятано у нихъ оружіе, кому они пишутъ за-границу... Когда намѣреваются...

Кавалеръ Анкершмидтъ съ досады спрыгнулъ со стула.

— Милостивый государь, замолчите! Я не долженъ этого знать. Никогда болѣе не затрогивайте этой темы. Въ моемъ домѣ никому не дозволяется заниматься доносами.

Мнимый Ричардъ Марціанъ счелъ за лучшее вернуться вспять. У него будто-бы и намѣренія не было здѣсь проговориться. Онъ не для этого началъ разговоръ, а такъ, по простотѣ душевной. Впрочемъ, онъ воспользовался случаемъ, чтобъ выставить свою вѣрноподданность и т. д.

Гувернантка постаралась смягчить разговоръ. Завела рѣчь о театрѣ, о танцовальныхъ вечерахъ. Говорили о «Пророкѣ», и «Фиделіо». Послѣ обѣда Ричардъ, проговорившись о своихъ музыкальныхъ познаніяхъ, сѣлъ за рояль. Сыгралъ маршъ Радецкаго, увертюру изъ «Пророка», арію изъ «Лучіи»; вдругъ, неожиданно мадемоазель Элиза сболтнула, что ей очень хочется знать, что такое «чардашъ». Ей часто приходится слышать въ Венгріи, что такъ называютъ какой-то національный танецъ.

Бѣглецъ обидѣлся и всталъ со стула. Такихъ пошлыхъ танцевъ онъ не играетъ! Гувернантка пристыдила барышню возгласомъ: «это что за выдумка»,—а она себѣ распѣвая побѣжала въ другую комнату.

Потомъ Эрминія сѣла за фортепіано и стала разыгрывать разныя «Rêveries» совершенно не въ тактъ; бѣглецъ, конечно, расхваливалъ.

Наконецъ, дамы ушли въ гостиную, а хозяинъ повелъ гостя въ курильню.

Оставшись съ глазу на глазъ, Анкершмидтъ далъ гостю сигару и самъ сталъ курить, а потомъ дружески, какъ себѣ равному, положилъ ему обѣ руки на плечи и по военному откровенно заговорилъ:

— Послушайте-ка! Вѣдь я отгадалъ, кто вы. Вы революціонеръ, прячетесь отъ военнаго суда, и все, что вы разсказываете, просто сказки. Довѣряете-ли вы мнѣ? Я кое-гдѣ имѣю вліяніе, если хотите, могу вамъ выхлопотать амнистію, или, если предпочитаете, достану заграничный паспортъ.

Ричардъ Марціанъ, приложивъ руку къ сердцу, клялся, что

сказалъ истинную правду. Онъ—жертва своей преданности престолу, и его же соотечественники преслѣдуютъ.

— Хорошо-же,—отвѣчалъ хозяинъ,—въ такомъ случаѣ оставайтесь здѣсь, сколько хотите, комната натоплена, налѣво въ сѣняхъ, № 11. Когда вздумаете, можете пойти къ себѣ.

Больше онъ ни слова не промолвилъ, а Марціанъ пустился разсказывать. Анкершмидтъ улегся на кожаномъ диванѣ, и вскорѣ Марціанъ замѣтилъ, что посреди его разсказа о походѣ въ горахъ, хозяинъ вздремнулъ и выронилъ изо рта сигару. Онъ вынулъ изъ ящика 5—6 сигаръ, положилъ въ карманъ и пошелъ искать указанную ему комнату. Никого не разспрашивая, самъ ее нашелъ. Однако прежде нежели добраться до № 11, онъ, по дорогѣ, заглядывалъ въ замочныя скважины. Чѣмъ больше видитъ человѣкъ, тѣмъ лучше. Онъ даже имѣлъ обыкновеніе ходить на цыпочкахъ, словно кошка.

И онъ таки-увидѣлъ кое-что. Въ № 10, который тоже назначенъ былъ для гостей, но не былъ истопленъ, что̀ видно было по камину, у стола сидѣла Элиза и что-то поспѣшно писала. Она часто грѣла дыханіемъ руки, которыя совсѣмъ окоченѣли.

Потомъ Ричардъ отперъ тихонько дверь № 11. Въ замкѣ всѣ двери были понумерованы. Въ каминѣ пылалъ огонёкъ, на кровати постлано было чистое бѣлье, словомъ, видно было, что о гостѣ позаботились.

Онъ себѣ ломалъ голову, стараясь отгадать, что̀ это пишетъ Элиза въ нетопленной комнатѣ?

Хорошо, если человѣку все извѣстно. Вскорѣ дверь скрипнула, Ричардъ увидѣлъ черезъ замочную скважину, что въ № 10 вошелъ крошечный мальчикъ.

Ребенку было лѣтъ шесть, и онъ казался пресмѣшнымъ въ огромной шляпѣ съ широкими полями. Это былъ барышнинъ лейбъ-гвардеецъ, онъ ей прислуживалъ за столомъ.

Но, куда это она его посылаетъ? Маленькій повѣса минутки черезъ двѣ вышелъ изъ комнаты, и видно было, что онъ прячетъ письмецо въ свою огромную шляпу. За нимъ шла сама барышня и шептала:

— Пройди черезъ англійскій садъ.

Какъ только Элиза скрылась въ сѣняхъ, Ричардъ вышелъ изъ комнаты, сбѣжалъ съ лѣстницы, нагналъ въ саду Дюсси, маленькаго чешскаго грума, и позвалъ его:

— Дюсси, погоди. Барышня за тобой послала, чтобъ взять у тебя изъ шляпы письмо, она хочетъ еще что-то прибавить. Я

сейчасъ его принесу, полежи въ травѣ, чтобъ тебя не видно было, покуда я вернусь.

Маленькій олухъ, разиня ротъ, смотрѣлъ на важнаго барина, подумалъ, значитъ такъ велѣно и, не колеблясь, отдалъ ему письмо, а тотъ спряталъ его въ боковой карманъ и еще разъ приказалъ мальчику хорошенько спрятаться и ждать, когда позовутъ.

Самъ-же поспѣшилъ въ № 11, заперъ за собой дверь и вынулъ письмо.

Нѣтъ ничего легче, какъ прочесть чужое письмо: преодолѣть техническія трудности въ этомъ случаѣ ничего не стоитъ. Право, я не понимаю, къ чему запечатываютъ письма,—всякій, кто захочетъ, можетъ открыть всякое письмо, и эта продѣлка не оставитъ ни малѣйшаго слѣда.

Кому же не извѣстно, тотъ пусть узнаетъ, что чувство собственнаго уваженія—единственная гарантія для неприкосновенности чужихъ тайнъ.

Когда Ричардъ убѣдился, что никто его не накроетъ, онъ вынулъ изъ кармана шарикъ изъ хлѣба, какіе гости имѣютъ дурную привычку катать во время обѣда,—а такой катышокъ подобно воску можетъ принять какую угодно форму.

Такой-то шарикъ налѣпилъ онъ на печать, и образовался снимокъ съ герба, который онъ и положилъ на каминъ.

Потомъ, онъ подержалъ письмо надъ огнемъ, сургучъ согрѣлся и края конверта открылись.

Письмо написано было по-нѣмецки:

Г-ну Гароновѣльди. Милостивый государь, спѣшу васъ увѣдомить, что вамъ угрожаетъ большая опасность. Злой измѣнникъ, котораго вы пріютили, открылъ, что вы съ вашимъ управляющимъ, г. Компошемъ, намѣрены составить заговоръ; ему извѣстно, гдѣ находится ваше оружіе и тайная переписка. Спѣшите спрятаться. Покуда измѣнникъ разсказалъ все это въ такомъ мѣстѣ, гдѣ вамъ не повредятъ, но въ другой разъ онъ можетъ передать эти свѣдѣнія лицамъ, которыя потянутъ васъ къ допросу. Потому спрячьте или лучше совсѣмъ уничтожьте все, что можетъ васъ компрометтировать. Вѣрьте мнѣ. Да хранитъ васъ Богъ.

«Неизвѣстная».

Каково, посмотрите-ка, надъ чѣмъ ломаетъ себѣ голенку эта голубка!

Что-жъ, хорошо! Не лишнее знать.

Пусть старый заговорщикъ провѣдаетъ, что за нимъ слѣдятъ. Это его хорошенько растревожитъ.

Между тѣмъ снимокъ съ печати на каминѣ сдѣлался твердъ, какъ камень, и имъ можно было припечатать такъ хорошо, какъ будто письмо никогда не было открыто. Минуты черезъ двѣ маленькій олухъ опять побѣжалъ съ письмомъ, и еще вдвое скорѣе, чтобъ наверстать потерянное время.

Ричардъ однако убѣдился, что взятая имъ на себя роль невыгодна. Это семейство имѣетъ склонность къ сентиментальной преданности. Ветеранъ не намѣренъ въ мирное время преслѣдовать свою бывшую враждебную партію, и барышни находятся въ очень элегическомъ настроеніи. Надо перемѣнить тактику. Жаль, что не все то золото, что блеститъ!

Онъ быстро рѣшился. Привелъ въ порядокъ свою прическу и галстухъ передъ ручнымъ зеркальцемъ; бороду онъ разчесывалъ на-двое, чтобъ лицо выходило квадратнѣе; мысленно повторилъ свою роль и съ полной увѣренностію направился въ гостиную къ дамамъ.

Тихонько вошелъ, осторожно оглянулся, заперъ за собой дверь, безъ малѣйшаго шуму, прикусилъ языкъ, чтобъ показать, что боится проговориться, и, увидавъ, что въ комнатѣ никого нѣтъ, кромѣ трехъ дамъ, которыя вышиваютъ коверъ, быстро подошелъ къ нимъ и, кашляя, торопливо зашепталъ. Видно было, что онъ тертый калачъ.

— Простите меня: я нѣсколько часовъ тому назадъ разыгрывалъ передъ вами такую жалкую роль. Я чувствую, что вы меня презираете, и это убиваетъ меня. Краска на моемъ лицѣ каждую минуту могла вамъ доказать, что я лгу. Мнѣ стыдно передъ вами, я готовъ умереть.

При этихъ словахъ онъ бросился на колѣни, одной рукой схватилъ руку миссъ Натали, другой — мадемоазель Эрминіи, по очереди прикладывая ихъ къ губамъ, и, рыдая, проговорилъ:

— Я не тотъ, за кого я себя выдавалъ. Я польскій эмигрантъ, одинъ изъ защитниковъ Праги, не столицы Богеміи, а варшавскаго предмѣстья,—да, несчастной Варшавы! имя мое графъ Богумилъ Брацесскій. Я самъ собралъ уланскій полкъ и повелъ въ сраженіе. У меня было три замка и двѣнадцать деревень. Все пропало; но что значатъ эти утраты, въ сравненіи съ потерей родины!

И при этомъ графъ Богумилъ Брацесскій (или кто бы онъ тамъ ни былъ) закрылъ руками свое лицо, орошенное слезами,

и сквозь пальцы наблюдалъ, какое впечатлѣніе произведетъ онъ на дамъ.

Можно сказать, что впечатлѣніе было благопріятное, потому бѣглецъ, котораго теперь будемъ называть Богумиломъ, рѣшилъ, что пора ему духъ перевести, и при этомъ простоналъ:

— Жизнь моя въ вашихъ рукахъ, стóитъ вамъ сказать одно слово, и голова моя скатится: это въ вашей власти.

Миссъ Натали поспѣшила увѣрить мученика, что здѣсь въ домѣ никто не злоупотребитъ такимъ случаемъ. Пусть онъ встанетъ и вытретъ слезы, чтобъ прислуга ничего не замѣтила. Онъ можетъ быть увѣренъ, что хозяинъ, принявши его въ свой домъ, будетъ его оберегать (какъ кордовскій мавританскій калифъ оберегалъ своихъ испанскихъ гостей), хотя нѣсколько лѣтъ тому назадъ и преслѣдовалъ возставшихъ поляковъ въ Галиціи. Ему надо лишь остерегаться, чтобъ не вырвалось у него польскаго слова при оберъ-егерѣ, потому что тотъ знаетъ по-польски.

— Я буду остерегаться,—сказалъ Богумилъ. Ему очень легко было это обѣщать потому, что онъ не зналъ ни слова по-польски.

Онъ вытеръ слезы и началъ благодарить судьбу, даровавшую ему такихъ ангеловъ-хранителей.

Однако между ангелами-хранителями былъ одинъ къ нему не благоволившій.

Мадемоазель Элиза, которая нѣсколько разъ покачивала своей лукавой головкой во время трагической сцены и съ улыбочкой продолжала вышивать, воспользовалась наставшей паузой и вдругъ озадачила бѣглеца вопросомъ:

— Однако, почему же польскій герой выдаетъ венгерцевъ?

— Элиза! — въ одинъ голосъ закричали миссъ Натали и Эрминія:—можно ли быть такой неделикатной?

Богумилъ имѣлъ бы право не защищаться, увидавъ, что большинство на его сторонѣ. Однако онъ хотѣлъ доказать, что его «синяя книжка» въ порядкѣ, и что онъ, когда угодно, готовъ ее показать.

— Я просто сталъ измѣннику поперекъ дороги. Я узналъ, что для спасенія собственнаго жалкаго существованія, онъ хочетъ меня въ жертву принести. Еслибъ я тамъ остался, онъ бы меня выдалъ,—повѣрьте, эти старые, упрямые «члены суда» способны на всякую гадость. Я предупредилъ его, онъ хотѣлъ меня подѣть съ помощію заговора, да самъ и попался въ ловушку.

Элиза пожала плечами и прищолкнула языкомъ, какъ чело-

вѣкъ, который хочетъ дать понять: «экую ты мнѣ чушь городишь»! Хотя, однако, у нея не вырвалось этого замѣчанія.

Миссъ Натали злобно посмотрѣла на недовѣрчивую дѣвочку. Богумилъ, замѣтивъ, что надъ головой мадемоазель Элизы собирается гроза и не желая помѣшать внушительной нотаціи, съ видомъ подавленной грусти взялъ шляпу, и какъ-бы съ укоромъ за то, что лишаютъ его удовольствія, промолвилъ, что пора ему удалиться; если онъ получитъ убѣжденіе, что присутствіе его въ домѣ кому-либо въ тягость, то долгомъ сочтетъ исчезнуть, испариться.

Герой направился къ двери, а потомъ побѣжалъ въ англійскій садъ, чтобъ поймать Дюсси на возвратномъ пути.

Между дамами началась война.

— Элиза, вы дерзкій ребенокъ!—разразилась упрекомъ миссъ Натали.

— Это почему?—спросила маленькая упрямица, храбро поднявъ непокорную головку.

— Прилично ли обижать гостей!

— А прилично ли выдавать своего хозяина?

— Объ этомъ вы не въ состояніи разсуждать: юристы называютъ это «обязательнымъ доносомъ».

— А мы, дѣвочки, въ пансіонѣ называемъ такой поступокъ «низкой измѣной», и способную на него особу изгоняемъ изъ своего кружка.

— Этому я вѣрю, сердить людей и всякому досаждать вы мастерица, каждый день вы это доказываете. Я желаю, чтобъ вы шли учить свой французскій урокъ.

— А я бы напротивъ желала никогда не учить французскихъ уроковъ.

— О, вы бы, конечно, хотѣли ничему не учиться и вырости какъ Сандрильона. Это идеалъ всѣхъ дѣвочекъ—ничему не учиться да наряжаться.

— Отчего намъ не преподаютъ того, чему бы мы охотно учились? Зачѣмъ не даютъ намъ венгерской грамматики? Вотъ что́ бы я желала учить.

У миссъ Натали при этихъ словахъ клубокъ упалъ съ колѣнъ и, разматываясь, покатился подъ стулья.

— Это неслыханная вещь!

— Чего же тутъ неслыханнаго? Меня никто во Францію не повезетъ, сюда тоже не привезутъ французовъ, а съ венгерцами я каждый день встрѣчаюсь, смѣшно не умѣть съ ними говорить. Они мнѣ кланяются на улицѣ, привѣтствуютъ, а я даже не умѣю

имъ отвѣтить, что желаю, чтобъ и имъ Господь даровалъ «счастливый день». А вонъ въ саду деревенскія дѣвушки за работой поютъ такія славныя пѣсни! Мнѣ такъ хочется знать, про что онѣ поютъ, — должно быть, о чемъ-нибудь хорошемъ, такое что-то грустное. Мелодія остается у меня въ памяти, я ее весь день мурлычу, а словъ не знаю. А напѣвъ такъ хорошъ!

И она начала распѣвать безъ словъ дѣйствительно прелестную народную мелодію: «Лѣтомъ и зимою, живу я въ пустынѣ».

— Мадемоазель Элиза,—съ достоинствомъ проговорила миссъ Натали:—оставьте вышиваніе и отправляйтесь учить французскую грамматику.

Элиза быстро отложила въ сторону ножницы съ иголкой и взяла грамматику. Усѣлась къ окну и начала распѣвать на мелодію: «Лѣтомъ и зимою» и т. д.—правила объ употребленіи: «il».—Il fait froid.—Quelle heure est-il?—Il est midi...

— Элиза! — крикнула внѣ себя отъ досады миссъ Натали. Довольно! Это изъ рукъ вонъ. Сейчасъ отправляйтесь въ залу и садитесь за фортепіано,—въ наказаніе вы должны цѣлый часъ играть гаммы.

Маленькая преступница встала и, откинувъ назадъ упрямую головку, сказала:

— Достопочтенный военный судъ можетъ произносить свое рѣшеніе, а я все-таки этого бѣглеца не считаю честнымъ человѣкомъ.

Злой ребенокъ! Она вѣдь знала, что за это-то ее и наказываютъ, знала, что этимъ всего больше можетъ досадить.

А потомъ что она сдѣлала? Быть можетъ, выслушавъ приговоръ, съ покорностію удалилась? Вовсе нѣтъ. Вообразите, сѣла за рояль и битый часъ барабанила не гаммы, какъ ей было приказано, а все ту же запрещенную, опасную, конфискованную мелодію: «Лѣтомъ и зимою, живу я въ пустынѣ».

У миссъ Натали сдѣлались судороги. Она, пожалуй, упала бы въ обморокъ, еслибъ Эрминія ее не утѣшила.

— Не стоитъ обращать вниманія на дрянного, вздорнаго ребенка. Мы папа пожалуемся.

— Ахъ, Эрминія!—рыдая, проговорила миссъ Натали, обнявъ взрослую барышню.—Еслибъ не вы, я бы давно убѣжала изъ дому.

. . . . . .

Несмотря на свѣжій вечеръ, Багумилъ стоялъ у двери сада и ждалъ возвращенія Дюсси, который непремѣнно долженъ пройти черезъ англійскій садъ.

Повѣса нѣсколько запоздалъ, потому что на заборѣ около акаціи много было воробьевъ, онъ принялся ихъ ловить. Богумилъ издали видѣлъ, какъ онъ прохлаждается и, когда мальчикъ приблизился къ садовой калиткѣ, онъ какъ волкъ на него накинулся:

— Зачѣмъ ты опаздываешь?

Дюсси со страху скинулъ свою огромную шляпу, какъ будто хотѣлъ этой пантомимой выразить: «Вотъ мой чупъ, трясите его сколько угодно, но не разспрашивайте меня».

Богумилъ порядкомъ выдралъ его за волосы. Не слѣдуетъ давать потачки прислугѣ, надо ее держать въ повиновеніи.

— Ну, какой ты принесъ отвѣтъ, негодный мальчишка!

Маленькій олухъ сперва вытеръ себѣ носъ, задирая его кверху, высоко поднялъ брови и началъ передавать то, что затвердилъ дорогой.

«Баринъ барину нижайше кланяется, цѣлуетъ ручку и велитъ сказать: по-нѣмецки не разумѣетъ».

— Что онъ велѣлъ сказать, негодяй ты этакой?—спросилъ Богумилъ.

— А то и велѣлъ сказать, что вотъ письмо назадъ прислалъ.

— Вотъ оно что! Онъ назадъ отсылаетъ письмо, — проворчалъ Богумилъ, ударивъ себя ладонью по лбу.

— Точно такъ! Онъ велѣлъ сказать, что не умѣетъ по-нѣмецки,—пробормоталъ Дюсси, ужасно обрадовавшись, что важный баринъ наконецъ-то сталъ самъ себя колотить.

— Неслыханно! Давай письмо, подними его. Или ты ждешь, чтобъ я самъ нагнулся, баранъ этакой! Теперь убирайся и не смѣй никому разсказывать, гдѣ ты былъ, а не то я тебя на колъ посажу. При этомъ онъ спряталъ въ карманъ назадъ возвращенное письмо и отправился къ Анвершмидту.

Такъ себѣ прямо и вошелъ къ нему, какъ человѣкъ, который чувствуетъ себя дома. Кавалеръ еще отдыхалъ, Богумилъ зашумѣлъ въ дверяхъ и разбудилъ его.

— Неслыханно! Непростительно!

— Ну, что случилось? — вскрикнулъ кавалеръ, поднимаясь съ дивана.

— Помилуйте, да это изъ рукъ вонъ, какая дерзость, безстыдство!

— Да въ чемъ дѣло?

— Вообразите, этотъ надменный, грубый «членъ суда» осмѣлился сдѣлать оскорбленіе вамъ, вашему семейству, фамильному гербу, вашему блестящему и громкому имени! Хм!

это просто неслыханная вещь! Меня поражаетъ наглость этого человѣка!

— Но, объясните же, что̀ это за исторія?

— Если позволите, сейчасъ разскажу. Я только-что встрѣтился неожиданно съ однимъ изъ преданныхъ вашихъ пажей, съ маленькимъ Дюсси. Мнѣ въ глаза кинулось его надутое лицо, видно, что онъ взбѣшонъ, что̀ и дѣлаетъ ему честь; несмотря на юный возрастъ, въ немъ проявляются благородныя чувства. Я спросилъ, что̀ съ нимъ приключилось. — Вообразите, — отвѣчалъ честный малый, — я носилъ письмо изъ замка въ тотъ домъ къ барину, а онъ не взялъ нашего письма и, не читая — отсылаетъ назадъ. — Вотъ оно. Пажъ отдалъ мнѣ его, чтобъ я доставилъ его сюда.

Анкершмидтъ взялъ письмо, наморщивъ лобъ, — взглянулъ на адрессъ и пробормоталъ вполголоса:

— Это Элизинъ почеркъ.

Богумилъ притворился удивленнымъ.

— Тѣмъ значительнѣе оскорбленіе! Грубость въ отношеніи къ дамѣ! Гароновѣльди велѣлъ передать, что не взялъ письма, потому что не умѣетъ по-нѣмецки.

— Тьфу ты пропасть! Однако, о чемъ это пишетъ дочь моя г-ну Гароновѣльди, — ворчалъ ветеранъ, переворачивая письмо и смотря то на печать, то на адрессъ.

— Если вамъ угодно, это вѣдь можно узнать, — съ большой готовностію проговорилъ Богумилъ.

— Что такое? — вскричалъ Анкершмидтъ, отстраняя письмо. — Надѣюсь, вы не предполагаете, чтобъ я способенъ былъ раскрыть письмо, не мнѣ адресованное.

Авантюристъ нѣсколько смутился.

— Я не то разумѣлъ, я полагаю, что сама барышня...

— О, вы барышни не знаете! Она этого не скажетъ. Я имѣю теперь дѣло съ Гароновѣльди.

— Конечно, понятно, — утверждалъ Богумилъ на томъ основаніи, что желѣзо ковать надо, пока оно горячо, — нельзя спускать такого оскорбленія. Онъ по-нѣмецки не понимаетъ, каково покажется!

— Однако, мнѣ необходимо узнать, что̀ говорится въ письмѣ, которое дочь моя пишетъ въ враждебный лагерь!

— Это рѣшительно измѣна! Не прикажете ли попросить сюда мадемоазель Эрминію?

— Не надо! Останьтесь тутъ. Я самъ справлюсь у того, кому письмо адресовано.

— Но, вѣдь, сама барышня...

— Я вамъ сказалъ, что отъ нея ничего не узнаешь. Если она не захочетъ передать мнѣ содержаніе письма, я ее принудить не могу. Я вѣдь дѣтей не бью. Но отъ того лица я это узнаю, онъ—мужчина, и если не дастъ мнѣ отвѣта, мы можемъ драться.

— Прекрасно, безподобно! Сейчасъ видно дворянина и воина! По каждому мускулу, по каждому нерву узнаешь героя! Разрѣшите мнѣ пойти къ старому трусу и потребовать отъ него отчета въ его поступкѣ?

— Это что еще? Вы меня замѣнить хотите.

— Нѣтъ, позвольте мнѣ въ этомъ случаѣ быть только вашимъ адъютантомъ.

— Благодарствуйте,—ворчливо отвѣтилъ кавалеръ и пошелъ надѣвать саблю.

— Но все-таки, безъ свидѣтелей опасно, а если вы подвергнетесь оскорбленію?

— Мы вдвоемъ будемъ,—сказалъ ветеранъ, ударивъ по своей сабли.—Прошу васъ пойти къ себѣ на верхъ и никому объ этомъ дѣлѣ не разсказывать.

Богумилъ поклонился и вышелъ, потирая руки; полькируя и слегка посвистывая, добрался онъ до своей комнаты. Удалось-таки поссорить стариковъ; конечно, лучше бы было, еслибъ его отправили секундантомъ передать вызовъ,—впрочемъ и такъ успѣхъ несомнѣненъ. Членъ суда—огонь, а ветеранъ—порохъ, стоитъ ихъ свести, непремѣнно произойдетъ взрывъ. Они славно столкнутся—нечего сказать!

Сабля ветерана брянчала, ударяясь объ ступени, когда онъ спускался съ лѣстницы, а авантюристъ въ припрыжку бѣжалъ черезъ гостиную и насвистывалъ.

IV.

Два человѣка, готовые съѣсть другъ друга.

Г-нъ Гароповѣльди вмѣстѣ съ Компошемъ корпѣлъ надъ счетами, когда у дверей застучала сабля кавалера Анкершмидта.

Дорогой у кавалера гнѣвъ испарился. Онъ порѣшилъ, что гораздо приличнѣе встрѣтиться дружелюбно и нѣсколько юмористически, а не лѣзть прямо на ссору съ старикомъ. На его

стукъ въ дверь отвѣчали: можно! что́ по-нѣмецки значитъ: войдите! Анкершмидтъ открылъ дверь и шутливо проговорилъ:

— Вотъ какъ, вы приглашаете войти, а увѣряете, что не понимаете по-нѣмецки.

Въ первый разъ пришлось имъ стоять лицомъ къ лицу.

— Нѣтъ, милостивый государь, я по-венгерски сказалъ вамъ: «можно».

— Почему же не по старинному: «входъ свободенъ»? Видите ли, я умѣю по-венгерски и не скрываю этого.

— Полиція не позволяетъ такъ выражаться. Теперь говорится: «можно», а не—«входъ свободенъ». Сдѣлайте одолженіе, присядьте. Какому обстоятельству обязанъ я счастіемъ?..

— Вамъ это хорошо извѣстно. Вы меня обидѣли.

— Этого быть не можетъ, помилуйте, мнѣ превосходительныя лица даже во снѣ не снятся! Я никого не обижаю. Я ношу въ карманѣ австрійскій уставъ о наказаніяхъ и ничего не дѣлаю, не справившись предварительно, не воспрещается ли такой-то поступокъ какимъ-либо параграфомъ.

— Но вѣдь вы отослали обратно, не прочитавъ, письмо, отправленное изъ моего дому, сказавъ, что не понимаете по-нѣмецки.

— О такомъ поступкѣ не упоминается ни въ одномъ изъ параграфовъ устава,—быть можетъ, о немъ будетъ говорено въ одномъ изъ будущихъ нумеровъ юридической газеты, а въ появившихся доселѣ ничего подобнаго не сказано; я знаю, я изучалъ уставъ.

Анкершмидтъ вспыхнулъ.

— Но, милостивый государь, вы были военнымъ и, какъ мнѣ извѣстно—хорошимъ воиномъ, вы безъ сомнѣнія знаете, что бываютъ оскорбленія, не подлежащія суду, за которыя приходится расплачиваться съ глазу на глазъ.

— Я это знаю, г-нъ кавалеръ, и знаю тоже, чѣмъ угрожаетъ законъ тому, кто безъ разрѣшенія дѣйствуетъ оружіемъ,—а я человѣкъ уступчивый.

Анкершмидтъ при этихъ сарказмахъ еле-владѣлъ собою. Его сдерживало лишь кроткое и спокойное лицо члена суда, который съ своей сѣдой бородой походилъ на апостола.

— Однако,—отложивъ шутки въ сторону,—продолжалъ Гароновѣльди,—скажите, милостивый государь, чѣмъ я васъ оскорбилъ?

— Охотно. Вы, милостивый государь, получили нынче письмо, которое привезъ одинъ изъ моихъ слугъ.

— Дѣйствительно, но я полагалъ, что это служитель изъ

суда, потому что у него шляпа съ высокимъ бортомъ. Знай я, что это вашъ слуга, я бы съ нимъ вѣжливѣе обошелся.

— Вы даже не распечатали письма, не посмотрѣли отъ кого оно, а такъ нераспечатанное и отправили обратно, съ объясненіемъ, что вы не знаете по-нѣмецки.

Анкершмидтъ смотрѣлъ прямо въ глаза Гароновѣльди, ожидая, что онъ на это скажетъ.

— Потому что я въ самомъ дѣлѣ не умѣю по-нѣмецки.

— Нѣтъ, уже это вы можете кому другому говорить, но не мнѣ. Вы человѣкъ благородный, родители ваши навѣрное дали вамъ хорошее образованіе, и вы языкамъ, конечно, обучались.

— Точно, прежде я зналъ по-нѣмецки. Въ особенности уважалъ я нѣмецкую литературу и науку, одно время я очень за ней слѣдилъ, и могъ даже сказать, въ какомъ періодѣ въ нѣмецкой литературѣ появлялись новые дѣятели,—но теперь я все позабылъ.

— Милостивый государь, это уже черезъ-чуръ!—воскликнулъ Анкершмидтъ, выставляя впередъ саблю. Такъ вы можете отвѣчать другимъ, а не мнѣ. Я пришелъ не затѣмъ, чтобъ слушать юмористическія возраженія.

— Вы находите это юмористичнымъ?

— Еще бы! увѣрять меня, будто человѣкъ можетъ все это забыть.

Гароновѣльди громко вздохнулъ и приблизился къ кавалеру.

— Милостивый государь и почтенный воинъ, многія и очень многія важныя вещи можетъ человѣкъ забыть, если это нужно. Нѣкогда былъ я выборнымъ губернаторомъ здѣшняго комитата, и въ теченіи 24 лѣтъ меня выбирали каждое трехлѣтіе. Я судилъ по существовавшимъ законамъ, умѣлъ поддерживать порядокъ, словомъ и дѣломъ оберегалъ все, что было въ странѣ цѣннаго. Но прошла эта пора. Въ первый годъ, послѣ потери мѣста, мнѣ снилось, будто я долженъ опять ѣхать въ главный городъ въ комитатѣ для засѣданія по служебнымъ дѣламъ. Э, пустяки это, дѣло прошлое. «Должно» все забыть. И я это забылъ. Когда-то былъ также я богатымъ человѣкомъ; если народъ нуждался, я надѣлялъ его хлѣбомъ. И это миновало! Часто случалось, что, увидѣвъ людей въ лохмотьяхъ передъ моими окнами, которые мнѣ кланялись, я по привычкѣ спускался съ лѣстницы, чтобъ спросить ихъ, отчего они пріуныли. О, глупое воображеніе!—Вѣдь мнѣ не такъ живется, какъ прежде. Надо было позабыть прошлое,—и я забылъ его! Были у меня родственники, которыхъ я облагодѣтельствовалъ, они меня обманули, вытѣснили изъ наслѣдственнаго владѣнія, и я забылъ

о благодѣяніяхъ, имъ оказанныхъ. Былъ у меня племянникъ, дорогое дѣтище, единственный сынъ моей сестры, котораго я воспитывалъ съ самой колыбели,—онъ точно былъ для меня словно родной сынъ, добросердеченъ, честенъ, уменъ. Я имъ гордился. Онъ былъ опорой, утѣхой моей старости. Нѣтъ, этотъ меня не обманывалъ, да вотъ несчастіе: его осудили на 15-лѣтнее заточеніе въ Куфштейнѣ. Останься онъ около меня, онъ бы по сію пору былъ на волѣ, но потому что я отпустилъ его отъ себя, вотъ и пришлось ему юные годы проводить въ тюрьмѣ, въ четырехъ стѣнахъ, а я спасся. Долго, долго казалось мнѣ, что не нынче, такъ завтра вернется онъ, казалось, что идетъ онъ въ комнату, словно слышу, я знакомый голосъ и раздаются его шаги, и что-жъ изъ того вышло, что я его за руку держалъ во снѣ и говорилъ ему: «Теперь ты не покинешь меня!» Проснувшись, я не находилъ его возлѣ себя. Дольше всего продолжалась эта послѣдняя галлюцинація, но надо было и съ ней разстаться; глупо въ мои годы надѣяться дожить до его возвращенія. И это я забылъ! Да, милостивый государь! я позабылъ все, и что утратилъ, и что выстрадалъ, и то, на что надѣялся. Забылъ даже о паденіи моей родины, забылъ и стыдъ и славу, какъ же было не забыть того, о чемъ я вовсе не думалъ: какъ же было не забыть мнѣ нѣмецкаго языка!?

Анкершмидтъ не обратилъ вниманія на всѣ эти софизмы, его одно тронуло—горькая участь любимаго сына старика, и онъ едва не прослезился.

Онъ сталъ мягче говорить съ бывшимъ «членомъ суда».

— Боже меня избави, я пришелъ къ вамъ вовсе не съ цѣлію оскорблять васъ. На конвертѣ, вамъ адресованномъ, увидалъ я почеркъ моей дочери. Вы согласитесь съ тѣмъ, что я, какъ отецъ, обязанъ знать, что дочь моя пишетъ постороннему лицу. Самъ я не могу распечатать письма, потому и принесъ его къ вамъ: если вы не умѣете по-нѣмецки, чему я долженъ на-слово вѣрить,—то у васъ есть управляющій, который знаетъ по-нѣмецки, заставьте его прочесть письмо, и если возможно, передайте мнѣ его содержаніе.

— Извольте,—сказалъ Гароновѣльди, взялъ письмо, вынулъ изъ конверта и сдѣлалъ знакъ Компошу, чтобъ онъ прочелъ его.

Компошъ очень мало понималъ по-нѣмецки. Что ему теперь дѣлать? Не можетъ же онъ отговориться по примѣру хозяина: кавалеръ, пожалуй, сочтетъ это за насмѣшку и разбранитъ его. Что помѣщикъ можетъ себѣ позволить, того управляющій не въ

правѣ себѣ дозволять. Приходится ему рѣшиться прочесть письмо по складамъ.

Къ счастію, у барышни почеркъ былъ прекрасный, и Компошъ, читая, только въ одномъ ошибался: онъ принималъ нѣмецкую букву V за венгерское B, и по-дѣдомъ нѣмцамъ, почему они не употребляютъ вездѣ F.

Анкершмидтъ, замѣтивъ, что Компошъ съ трудомъ переводитъ, самъ сразу передавалъ по-венгерски цѣлыя фразы. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣчь шла о немъ самомъ, у бѣднаго Компоша языкъ прилипалъ къ гортани, онъ раза три въ лицѣ перемѣнился, а когда кончилъ читать, то у него въ глазахъ закружилось, и ему показалось, что стулья пляшутъ и диванъ, вмѣстѣ съ сидящими на немъ господами.

Гароновёльди обратно положилъ письмо въ конвертъ.

— Вы мнѣ позволите, милостивый государь, оставить это посланіе у себя?

Анкершмидтъ молча кивнулъ головой и, насупивъ брови, принялся сильно крутить усы. Вдругъ, неожиданно обратившись къ Гароновёльди, онъ спросилъ:

— Какъ вамъ кажется, вѣдь это престранная исторія?

Гароновёльди тихо улыбнулся.

— Почему же? Ничего дурного тутъ нѣтъ. Я очень благодаренъ милой барышнѣ за ея сердечное вниманіе; видно, что у нея доброе сердце. Благодаря Бога, у меня никакихъ тайнъ нѣтъ, кромѣ сердечныхъ. Итакъ, теперь спорное дѣло разъяснилось?

— Кажется, что такъ. Что до меня касается, я очень радъ, что узналъ въ чемъ дѣло. Надѣюсь, что вы не обвините меня въ нескромности?

— Я съ своей стороны надѣюсь, что моя храбрая защитница не пострадаетъ за свой поступокъ.

— Это мое дѣло, отвѣчалъ Анкершмидтъ серьёзно,—вставая съ мѣста.—Въ домашнемъ кругу я строгъ. Я привыкъ, будучи въ военной службѣ, къ тому, чтобъ подчиненные слушались старшихъ.

— Оно такъ,—подтвердилъ Гароновёльди,—только къ домашней дисциплинѣ одно есть неудобство, а именно то, что женщины повелѣваютъ, а мужчины повинуются.

Анкершмидтъ рѣшилъ, что пора идти домой.

Гароновёльди проводилъ его до крыльца, а далѣе предоставилъ сопровождать Компошу, потому что самъ ни шагу не выходилъ изъ дому.

— Неужели васъ до сихъ поръ связываетъ клятва?—спросилъ его Анкершмидтъ.

— Нѣтъ, меня скорѣе удерживаетъ ревматизмъ въ головѣ.

При этомъ они разстались, и у обоихъ единовременно промелькнула мысль въ головѣ, что, прощаясь, слѣдовало бы пожать другъ другу руку,—но теперь уже поздно.—«Отчего же онъ первый не протянулъ руки?» подумалъ каждый изъ нихъ.

Пока Анкершмидтъ шелъ по двору, Компошъ, которому поручено было сопровождать его, съ такой поспѣшностію кинулся за нимъ, что кавалеръ могъ бы вообразить себѣ какую-нибудь опасность.

— Милостивый государь, сдѣлайте одолженіе на минуточку пріостановитесь, выслушайте меня.

— Ну, что́ такое,—спросилъ Анкершмидтъ.

— Меня выдали, это ужасно! Повѣрьте мнѣ, хозяину ничего неизвѣстно. Я одинъ виноватъ. Онъ ровнёхонько ничего не знаетъ.

— Какъ,—спросилъ, нахмурившись, кавалеръ,—значитъ, въ самомъ дѣлѣ тутъ что-то кроется?

— Мнѣ рѣшительно все равно, если меня даже колесуютъ. Я знаю, что измѣнникъ и въ другомъ мѣстѣ разскажетъ объ этомъ дѣлѣ. Потому-то я самъ и сознаюсь, чтобъ мой добрый хозяинъ не попалъ въ бѣду по моей винѣ. Конечно, тотъ коварный человѣкъ все знаетъ, вѣдь я при немъ запряталъ въ винодѣльномъ точилѣ...

— Что?—озабоченно спросилъ Анкершмидтъ.

— Къ чему скрывать, хотя-бъ мнѣ это стоило жизни,—я признаюсь.

— Да развѣ вы...

— Такъ точно, связку отъ 15-го марта.

— Да что это за связка?

— Газеты 48-го года изданныя въ Дебреценѣ.

— И больше ничего? Такъ выньте эту бумагу, а не то она истлѣетъ.

— Развѣ мнѣ не надо за нее опасаться?

— Кому дѣло до этой газеты! Положите ее хоть въ свою библіотеку, никто ее не тронетъ.

— Неужели? Вотъ чего я никакъ не воображалъ! Тамъ у меня еще кое-что спрятано.

— Вотъ напасть-то! Какъ! еще что-нибудь есть?

— О чемъ въ письмѣ и упомянуто.

— Оружіе, быть можетъ?

— Точно такъ, на чердакѣ.

— Ну, это плохо. Вы прячете оружіе? Для какой цѣли?

— Знаю, — я человѣкъ пропащій, а все-таки выскажу правду. Лучше сейчасъ же все объявить. Однажды мнѣ хозяинъ подарилъ прекрасное двухствольное ружье, это—мое сокровище. Потому-то я и объявляю о моемъ поступкѣ, чтобъ въ случаѣ, ежели розыщутъ это ружье, хозяинъ не попятился, потому что на ружьѣ его имя вырѣзано. Я не хотѣлъ его выдать: очень оно вѣрно бьетъ, и потомъ все надѣюсь, что когда-нибудь разрѣшатъ же охотиться.

— Значитъ, охотничье ружье? Ну, а еще что?

— Еще... еще, все скажу, такъ и быть, еще пороховница.

Анкершмидтъ громко засмѣялся, онъ думалъ, по крайней мѣрѣ окажется, что спрятана пушка.

— Ну,—сказалъ онъ, ударивъ по плечу кающагося,—коли вы такой страстный охотникъ, можете взять свое ружье къ себѣ. Пока вы его домой притащите, я успѣю прислать вамъ записку на право держать у себя оружіе, я досталъ такихъ двѣ, для служащихъ у меня лицъ. Одну я вамъ уступлю,—а когда ей срокъ кончится, я вамъ новую достану. Смотрите же, настрѣляйте побольше зайцевъ.

Компошъ не зналъ, во снѣ онъ или на яву. Неужели онъ опять съ ружьемъ на плечѣ пойдетъ на охоту? Онъ даже не смѣлъ объ этомъ мечтать! Поспѣшно раскланявшись съ кавалеромъ, когда не было надобности его далѣе сопровождать, онъ направился прямо къ виноградной бесѣдкѣ.

Господину Гароновѣльди долго пришлось дожидаться его возвращенія. Компошъ, еле-переведя духъ, полѣзъ на крышу винодѣльнаго сарая, а оттуда пробрался до самой трубы опустѣвшаго винокуреннаго завода, откуда и вытащилъ свое сокровище, завернутое въ тряпки, и, съ радостью поднявъ его надъ головой, сталъ спускаться съ крыши. Онъ упалъ, но, по счастію, на кучу хвороста и ушибъ только кончикъ носа. Экая важность! Хорошо, что ружье осталось невредимо. На немъ даже не видно было ни малѣйшей ржавчины. Компошъ потеръ его полой своей венгерки, попробовалъ, въ порядкѣ ли курокъ, потомъ прицѣлился, и наконецъ расцѣловалъ. Съ ружьемъ на плечѣ вернулся онъ въ село. Ему казалось,—онъ со вчерашняго дня выросъ на два вершка.

Проходя мимо оконъ Гароновѣльди, Компошъ съ сіяющимъ лицомъ показалъ ему свое ружье. Гароновѣльди понялъ, что нынѣче съ нимъ нечего говорить.

Маленькій человѣчекъ прямо отправился домой, но ему, какъ старому холостяку, не съ кѣмъ было подѣлиться своей радостью.

Прислуга удивлялась, глядя на него, и вскорѣ доложила, что отъ сосѣдняго барина принесли ему письмо. Компошу заранѣе было извѣстно его содержаніе. Онъ пошелъ въ свою комнату; на стѣнѣ висѣлъ ремень отъ ружья, у кровати не было другого оружія, кромѣ палки съ набалдашникомъ. Теперь могъ онъ повѣсить на стѣнку своего дорогого неразлучнаго спутника, котораго онъ не бросилъ даже въ 48-мъ году, когда его преслѣдовала легкая кавалерія отъ Кашау до Мишкольца. Теперь опять могъ онъ на него любоваться.

Послѣ порыва сильной радости въ немъ пробудилась досада при мысли объ измѣнникѣ.

Что за неблагодарный, презрѣнный человѣкъ!

Подъ конецъ онъ выместилъ свой гнѣвъ на калабрской шапочкѣ, оставленной ему вмѣсто собственной пяти-гульденовой фуражки.

— Поди-ка ты сюда, калабрская шапка!

Онъ отрылъ ее въ потаенномъ уголкѣ шкапа, положилъ на столъ передъ собой, снялъ венгерку, засучилъ рукава рубашки, и выместилъ весь свой гнѣвъ на этой шапкѣ! Прислуга за дверью вообразила, что Компошъ кого-то до смерти исколотилъ. Когда шумъ усилился, отперли дверь, чтобъ разнять дравшихся.

Между тѣмъ, кавалеръ Анкершмидтъ совершалъ свою расправу. У него весь законъ о семейныхъ распряхъ заключался въ одномъ параграфѣ: «Одинъ повелѣваетъ, остальные повинуются».

Мадемоазель Элизу позвали въ кабинетъ къ кавалеру, это значило — предстать передъ военнымъ судомъ.

Страшный былъ этотъ судъ. Судья былъ немилосердъ, хладнокровенъ, недоступенъ подкупу, онъ же былъ и исполнителемъ приговоровъ.

Для бо́льшей торжественности кавалеръ зажегъ на стѣнѣ четыре свѣчи и выдвинулъ на передній планъ адамову голову.

Два пистолета лежали на столѣ, а самъ кавалеръ былъ при шпагѣ. Онъ быстро шагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ, обдумывая, что́ ему слѣдуетъ сказать.

Элиза отворила дверь, и прыгая и вертясь, подбѣжала къ отцу.

— Мадемоазель Элиза,—громовымъ голосомъ крикнулъ кавалеръ,—не трогайтесь съ мѣста. Долой руки! Нынче шутки въ сторону.

И онъ усѣлся за столъ.

— Вы стоите передъ судьей.—Мадемоазель Элиза отвѣтила кокетливымъ реверансомъ.

— Не смѣйте смѣяться! Чортъ возьми, теперь не до шутокъ. Знаете ли вы, гдѣ я былъ?

— Признавайтесь сами.

— Тьфу ты пропасть, я ей долженъ признаваться. Я былъ у г-на Гароновѣльди. Знаете ли, зачѣмъ я тамъ былъ?

— Вздумалось вамъ, такъ и пошли.

— Безспорно. Но зачѣмъ отправился я туда? Потому что вы посылали туда письмо.

— Кто это успѣлъ разболтать? Ахъ, этотъ глупый Дюсси! Сейчасъ пойду выдеру его за уши.

— Оставайтесь здѣсь. О чемъ писали вы?

Элиза слегка пожала кругленькимъ плечикомъ.

— О чемъ писала? Я его предостерегала, чтобъ онъ былъ осторожнѣе, потому что на него доносятъ, и если онъ точно что-нибудь прячетъ, такъ пусть получше запрячетъ.

— Чортъ побери, да вѣдь это и есть измѣна. Вы передаете семейныя тайны.

— Это его тайны, а не наши!

— Молчать, не смѣй пикнуть!

— Такъ вы мнѣ не дѣлайте вопросовъ,—я и буду молчать.

— Замолчите ли вы!—закричалъ кавалеръ Анкершмидтъ, ударя кулакомъ по столу.—Чортъ возьми, я докажу, что я въ домѣ хозяинъ.

При этихъ словахъ, онъ слегка протянулъ руку къ пистолетамъ, чѣмъ и добился на нѣсколько минутъ такой тишины, что слышно бы было, еслибъ муха пролетѣла.

Элиза на нѣсколько минутъ перестала улыбаться, качать головой и болтать. Она была прелестна съ сжатымъ ротикомъ и широко раскрытыми сверкающими глазами.

Посреди этой тишины Анкершмидтъ съ рѣшимостію всталъ съ своего мѣста и строго, хладнокровно, взглянулъ на дочь.

— А развѣ я дурно поступила?—недовѣрчиво спросила дѣвочка.

— Молчите, мадемоазель Элиза, вы сдѣлали преступленіе, достойное смерти. Вы выдали семейныя тайны враждебному лагерю. Еслибъ вы были солдатъ, я бы велѣлъ васъ разстрѣлять.

— А такъ-какъ я дочь твоя, ты меня за это поцѣлуешь!—смѣясь проговорила маленькая плутовка, и черезъ секунду повисла на шеѣ у отца. Онъ бранился, ворчалъ, а кончилъ тѣмъ, что прижалъ къ своей груди маленькую преступницу, расцѣловалъ ея раскраснѣвшіяся щечки и отпустилъ ее, съ условіемъ «впередъ» не куролесить.

V.

Какъ дорого обходится страсть къ свиньямъ.

«За сто гульденовъ не промѣняю своего положенія, хоть и ничего у меня нѣтъ».

Только венгерецъ и могъ придумать такую поговорку.

А вѣдь, однако, онъ правъ!

Нѣтъ у него ни фабрикъ, которыя могли-бы остаться безъ шерсти вслѣдствіе американской войны; нѣтъ у него торговли, которая-бы могла упасть по случаю политическихъ переворотовъ; не приходится ему опасаться рѣзкаго слова въ Тюльери при поздравленіи съ новымъ годомъ, и не тревожатъ его биржевыя лондонскія депеши. Все его богатство заключается въ землѣ, ему Богомъ данной.

Правда, что человѣкъ, у котораго все богатство заключается въ землѣ, къ ней очень бываетъ привязанъ, и болѣе ничѣмъ почти не дорожитъ. За то, если теряетъ онъ свой годовой доходъ съ имѣнія, то становится похожимъ на червяка, упавшаго съ дерева. А если опять хотя одинъ годъ урожай будетъ хорошъ,— онъ вознаградитъ землевладѣльца за прежніе убытки.

Одинъ изъ пятидесятыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія былъ благодатнымъ годомъ. Можно было ожидать хорошаго урожая, пшеница тоже славно уродилась.

Къ счастію, тоже въ это самое время великіе міра сего вздумали для общаго развлеченія розыграть маленькую трагедію, вслѣдствіе чего цѣна на хлѣбъ повысилась.

— Ну, сперва займемся пшеницей, а потомъ примемся за рожь. Отвяжемся-же мы, наконецъ, отъ кредиторовъ.

Такъ утѣшалъ Гароновёльди своего Компоша, когда они возвращались съ поля въ лѣтній день въ послѣобѣденную пору по окончаніи сѣнокоса, за которымъ должна была послѣдовать уборка пшеницы.

— Насколько можемъ мы разсчитывать?—спросилъ Гароновёльди.

— 10,000 четвериковъ будетъ. Венделинъ врядъ-ли соберетъ 8,000, а у него засѣяно вдвое больше десятинъ,—отвѣчалъ Компошъ. Онъ называлъ Венделиномъ морава, управляющаго г. Анкершмидта.

— Почему-же?

— Потому-что онъ меня не послушался. Я говорилъ ему:

пора сѣять! а онъ отвѣчалъ: я самъ знаю, когда надо сѣять, я въ книгѣ вычиталъ; а какъ увидѣлъ, что блошаки накинулись на посѣвъ, началъ ругаться, на чемъ свѣтъ стоитъ. Теперь встрѣтится со мной, — и начнетъ браниться, говоритъ, что я колдовствомъ перебрасываю гадовъ на его поля. Я говорю ему: пусть ихъ перешлетъ обратно. Очень понятно, гады выбираютъ самый молодой плодъ.

— Не стыдно-ли вамъ радоваться чужой бѣдѣ!

— Зачѣмъ-же онъ такъ важничаетъ своими познаніями? Онъ все лучше другихъ знаетъ. Пожалуй, еще научитъ меня золото дѣлать.

— Надо стараться во-время покончить работу.

— Будьте спокойны, дѣло сдѣлается. Нынче вечеромъ попрошу батюшку вымолить у Бога солнечный денёкъ, завтра велю сварить мелкихъ бобовъ, и все до чиста съѣдимъ.

«Вотъ еще доказательство, что Венгрія—варварская страна», скажутъ живущіе по ту сторону Лейты.

Кто знакомъ съ сельскимъ хозяйствомъ, знаетъ, какая бываетъ горячая пора, когда убираютъ пшеницу. Хозяинъ и работники встаютъ ранехонько и поздно ложатся. За поденьщиками и работниками ухаживаютъ. Въ кухнѣ готовится кушанье, и въ полдень аккуратно разносится оно между рабочими. Трудятся и люди, и скотъ. Управляющій да приказчикъ еле успѣваютъ трубочку выкурить.

Въ цивилизованномъ мірѣ, конечно, дѣло иначе творится.

Гдѣ рабочихъ рукъ много, можно выбирать, торговаться! Кромѣ того существуютъ боронительныя машины, сѣялки, и косятъ тоже машинкой. При этомъ всего три-четыре человѣка, рѣжутъ, возятъ, ломаютъ, вѣсятъ, и въ одинъ день кончаютъ работу, а старомодный бывшій членъ суда съ толпой работниковъ цѣлую недѣлю возятся, и все-таки не могутъ съ дѣломъ справиться.

Хозяйство Анкершмидта такъ образцово было устроено, что вовсе не подчинялось принятымъ въ Венгріи обычаямъ.

Венделинъ Максенпутинъ, управляющій кавалера, былъ весьма ученый человѣкъ, и отъ его ученыхъ опытовъ страдала касса Анкершмидта.

Когда Компошъ работалъ въ потѣ лица, Венделинъ преспокойно сидѣлъ на балкончикѣ, покуривалъ изъ фарфоровой трубки и пилъ чай. Его толстая лягавая собака лежала подъ лавкой, высунувъ языкъ, въ углу валялось ружье. Слишкомъ жарко, нельзя идти на охоту за перепелами, а у собаки другого занятія нѣтъ.

Старый крестьянинъ вошелъ во дворъ и спросилъ у прислужника, гдѣ управляющій? Тотъ указалъ ему, что онъ сидитъ въ тѣни и чай попиваетъ.

Мужичокъ снялъ шапку, положилъ ее на крыльцѣ на ступеньку, отвѣсилъ поклонъ управляющему, проговоривъ, «здравія желаю», а самъ подумалъ: вѣрно онъ боленъ, что пьетъ чай; оно точно, что полезно выпить чашечку, когда чувствуешь боль въ животѣ; особенно хорошо свѣжей бузины напиться.

— Ну, что тебѣ надо, говори скорѣй!—крикнулъ старику управляющій.

Надо все разсказать обстоятельно.

— Ваше благородіе, я и товарищъ мой, мы оба живемъ по близости, въ Палоцскомъ уѣздѣ. Сами-то мы не тамошніе, потому-что мы кальвинисты, есть у насъ нѣсколько и папистовъ, а большинство лютеране...

— Мнѣ-то что до этого?—съ удивленіемъ спросилъ управляющій.

Простодушный мужичокъ пожалъ удивленно плечами.

— Право, это меня нисколько не касается, я не богословъ. Можетъ, васъ притѣсняютъ?—Что тебѣ надо?—крикнулъ управляющій.

Крестьянинъ невозмутимо продолжалъ:

— Насъ 18 человѣкъ, у насъ 22 лошади, у каждаго есть коса, вилы, грабли.

— Да какое мнѣ дѣло, чортъ возьми, до вашихъ лошадей и земледѣльческихъ орудій?

— Я только потому говорю, что въ понедѣльникъ на разсвѣтѣ, коли живы будемъ, у его милости г. Гароновѣльди начнемъ косить. Къ субботѣ кончимъ работу. Тамъ на будущей недѣлѣ примемся за ячмень, потомъ за рожь, а между дѣломъ у насъ будетъ цѣлая свободная недѣля, тогда хоть зубы точи.

— Точи, коли хочешь, мнѣ что за дѣло?

— Я вотъ что скажу, у г. Гароновѣльди пшеница-то спѣлѣе, чѣмъ у господина «Акоршинтина», такъ у васъ, значитъ, недѣлей позже начнется уборка.

— Ну, такъ что-жъ изъ этого?

— Коли мы взялись работать на г. Гароновѣльди, такъ за одно и его милости, г. Акоршинтину, готовы послужить.

— Развѣ я искалъ поденьщиковъ?

— Оно такъ-то такъ. Сѣно и пшеница поденно, а рожь да зерно на дѣлежъ. Въ день 50 грошей, штофъ водки, двѣ косушки вина на каждаго, утромъ хлѣбъ съ саломъ, къ обѣду

вареное мясо съ клёцками, либо жареное, въ вечеру и то и другое (копчёное мясо съ хлѣбомъ, либо молоко), а къ шапкѣ— искусственный цвѣтокъ. Что касается дѣлежа, — 9-й четверикъ нашъ.

Венделинъ Максеннутшъ не зналъ, что́ и подумать: онъ ничего подобнаго не слыхивалъ. Этотъ болванъ, кажется, вздумалъ его дурачить.

А тотъ себѣ продолжалъ излагать условія найма.

Управляющій не расположенъ былъ шутить, онъ всталъ со скамейки, набинулся на мужика и схватилъ его за воротъ.

— Убирайся вонъ, негодяй, бродяга. Ты меня дуракомъ считаешь, что ли? стану я тебя кормить три раза на день! попробуй-ка еще разъ показаться мнѣ на глаза!

Онъ его вытолкалъ и бросилъ ему вслѣдъ шапку.

— Ладно, ладно! Я самъ уйду, коли во мнѣ не нуждаются. Уйду, уйду, не слѣдъ вамъ по-пусту браниться. Спокойной вамъ ночи!

— Если этотъ нахалъ еще разъ явится, вышвырнуть его за ворота!—отдалъ приказъ управляющій своей прислугѣ.—Какова наглость! словно я не знаю, сколько платить мужикамъ за поденьщину!

Напрасно онъ опасался, что мужикъ снова придетъ,—его теперь никакимъ калачомъ не заманишь.

Венделинъ совсѣмъ не нуждался въ наемныхъ работникахъ. У хозяина прислуги много, людей хватитъ, притомъ имѣется сѣялка и косильная машина, заказанная въ Вѣнѣ самимъ Венделиномъ. Когда ее пробовали, такъ она на совершенно гладкой почвѣ въ двѣ минуты скосила огромное пространство.

А у Гароновѣльди косари уже пятый день трудились. Венделинъ покуривалъ себѣ, предоставляя имъ спѣшить, какъ заяцъ въ баснѣ не спѣшилъ перегнать черепаху. На шестой день принялся онъ за дѣло.

Шесть воловъ тащили чудовищную машину, на особо-приготовленной для нея телѣгѣ. Двѣнадцать человѣкъ еле-уложили ее въ телѣгу,—хорошо, что при этомъ ничего у нея не сломали.

Впрягли двухъ мекленбургскихъ лошадей, умныхъ и терпѣливыхъ животныхъ, на которыхъ можно было положиться.

— Ну, теперь валяй на славу! Раздалось—ура! машина тронулась, колеса прекрасно дѣйствовали, цилиндрообразные зубья такъ и врѣзывались въ солому, минуть въ пять скосила она такое пространство, какое человѣкъ еле скосилъ бы въ цѣлыя сутки.

Поворачивая машину, старый работникъ Конрадъ, родомъ изъ Тшеслау, оцарапалъ себѣ голову и сказалъ:

— Ваше благородіе, машина такъ хороша, что она не только скоситъ, но тутъ же на мѣстѣ и смелетъ зерно.

Венделинъ поглядѣлъ. Работникъ-то правъ, глупая машина на ровномъ мѣстѣ лучше работала, чѣмъ тутъ на кочкахъ.

Дѣло въ томъ, что, такимъ образомъ, кромѣ соломы ничего не соберешь.

Венделинъ хотѣлъ доказать, что онъ знакомъ съ механикой, схватилъ молотокъ, буравчикъ, постукивалъ по колесамъ, расширялъ ихъ, смазывая цилиндры. — Ну, теперь готово!

Машина, какъ нарочно, такъ была устроена, что ежели удлиняли ея острые катки, то колеса начинали быстрѣе по нимъ ударять, а оба шара при этомъ вертѣлись кубаремъ, какъ угорѣлые, и машина сама по себѣ впередъ летѣла, даже если и лошадей остановятъ.

Дорога шла подъ гору. Машина по своей собственной тяжести стала быстрѣе двигаться; вдругъ лошади замѣтили, что не онѣ тащутъ ее, а она ихъ. Мекленбургскія лошади смирной породы, но въ необычайныхъ случаяхъ и онѣ способны разсердиться; при первомъ толчкѣ сперва одна лошадь дернула, потомъ другая, и стремглавъ полетѣли къ мельницѣ.

— Держи! — ревѣлъ Венделинъ, чуя бѣду, но ужѣ поздно было. Четыре работника, сопровождавшіе машину, отлетѣли въ разныя стороны. Конрадъ, здоровый парень, ухватился-было обѣими руками за маховое колесо, но оно отшвырнуло его, словно кошку, на три сажени.

Машина съ лошадьми взапуски побѣжала, дышло сломалось, машина очутилась между лошадьми,—совсѣмъ одичавшія животныя понеслись съ пеимовѣрной быстротой. Въ одинъ моментъ всѣ достигли насыпи въ концѣ обрыва, машина даже нѣсколько опередила лошадей и встрѣтивъ, наконецъ, препятствіе, засѣла на мѣстѣ, а лошади начали ее бить копытами.

Когда подоспѣли работники, у нея уже трехъ зубцовъ не хватало. Ее скорѣе потащили на желѣзную дорогу, чтобъ отправить обратно въ Вѣну для починки.

Но какъ быть съ покосомъ?

Надо заставить работать всю дворню, нѣтъ другого исхода! Лакеямъ, егерямъ дать косы въ руки, и посмотрѣть, съумѣютъ ли они косить.

Работа шла съ грѣхомъ пополамъ. Егерь, винодѣлецъ, берейторъ, кучеръ, поваръ, передавали косу изъ рукъ въ руки, чтобъ помочь работникамъ. Они приняли за правило не обращаться за помощію къ крестьянамъ.

Пусть ихъ маятся, а мы поговоримъ о другомъ.

Анкершмидтъ не довольствовался посредственнымъ, а заводилъ у себя все лучшее. Были у него безрогія коровы, куры, которые неслись каждый день, а также и откормленный рогатый скотъ. Свиней онъ самъ привезъ изъ Іоркшира и теперь ихъ уже штукъ сорокъ развелось. Онъ никогда ихъ не рѣзалъ и не продавалъ. Этихъ важныхъ свиней не выгоняли въ поле, какъ водится; для нихъ было построено особенное зданіе рядомъ съ домомъ, гдѣ помѣщались егеря. Имъ поваръ готовилъ кушанье, и утромъ и вечеромъ ихъ кормили изъ мраморныхъ корытъ. За ними присматривали два сторожа и ветеринаръ. Всѣ трое вооружены были штыками, чтобъ оберегать свиней отъ разбойниковъ, а зданіе, гдѣ онѣ помѣщались, обнесено было высокой каменной стѣной.

Свиньи пользовались такимъ почетомъ, что у нихъ даже не отняли сторожей въ критическую пору, когда на покосъ отправили даже людей, стороживших фазановъ.

Въ самый разгаръ покоса, однажды утромъ Христофоръ, свиной сторожъ, весь перепуганный, прибѣжалъ въ квартиру управляющаго, и объявилъ, что въ ночь украдено двѣнадцать штукъ свиней. Это были молодые поросята, баричи и барышни; самый младшій былъ вѣсомъ въ два центнера. Сторожъ понять не могъ, какъ ихъ утащили, дверь была на замкѣ; еслибъ ихъ черезъ стѣну перебрасывали, то шумъ непремѣнно разбудилъ бы хоть одного изъ сторожей. Это не таковскія барышни, онѣ молча не дадутъ себя похитить.

Странный случай!

Максеньтушъ сейчасъ же отправился къ Анкершмидту—доложить о случившемся несчастіи.

Кавалеръ ужасно разгнѣвался. Лучше-бъ другое что пропало, только не іоркширскія свиньи. Это была его слабость. Такого воровства онъ не простить. Свиньи должны быть розысканы, хоть въ нѣдрахъ земли! У насъ вѣдь есть судъ!

Тотчасъ послали верхового съ письмомъ къ доктору Гришаку, ему сообщили о случившемся, прося, какъ можно скорѣе начать слѣдствіе. Докторъ не долженъ бояться расходовъ, злодѣевъ слѣдуетъ отыскать во что бы то ни стало.

На другой день въ замокъ явились четыре вооруженныхъ

жандарма съ письменнымъ приказомъ отъ окружного комиссара, г. Брейхейзеля, взять трехъ сторожей, на которыхъ падаетъ подозрѣніе и привезти въ судъ.

— Да не они украли,—увѣрялъ кавалеръ,—вѣдь они мои старинные слуги. Прошу, какъ можно скорѣе отпустить ихъ домой.

На слѣдующій день изъ среды косарей пришлось вызвать двухъ егерей и одного винодѣльца и послать ихъ стеречь свиней.

На другой день опять явились жандармы; такъ какъ сторожа не сознаются въ воровствѣ, г. Брейхейзель приказалъ привести въ судъ егерей для очной ставки.

И этихъ захватили.

— Поспѣшите прислать ихъ домой. У насъ не хватаетъ работниковъ,—толковалъ Анкершмидтъ.

Снова пришли жандармы и объявили, что такъ какъ егеря не сознаются, г. Брейхейзель приказалъ привести винодѣловъ.

— Что-жъ это такое! Вы отнимаете у меня всю прислугу, она мнѣ необходима,—жаловался Анкершмидтъ.

Жандармы отвѣчали, что это ихъ не касается, они должны увести винодѣловъ.

Конечно, и эти ни въ чемъ не сознались, потому что невинны были, какъ новорожденныя дѣти.

Косарей оставалось все меньше да меньше, почти одни работники только и косили. Наконецъ, г-нъ Брейхейзель и этихъ потребовалъ, и они должны были отправиться въ городъ.

Тутъ уже Анкершмидтъ началъ браниться на чемъ свѣтъ стоитъ. Это изъ рукъ вонъ! Это просто безуміе! Въ рабочую пору брать людей, о чемъ они тамъ думаютъ! Работа остается недодѣланной, убытку болѣе, чѣмъ прибыли.

Въ одинъ прекрасный день потребовали всѣхъ кучеровъ, берейторовъ, лакеевъ и всѣхъ задержали въ городѣ. У кавалера остался только Венделинъ Максеншутцъ да маленькій Дюсси.

Теперь приходится ему самому стеречь скотъ, доить, словно онъ американскій колонистъ, живущій въ пустынѣ, въ 600 англійскихъ миляхъ отъ всякаго жилья.

Но завтра навѣрное прислугу отпустятъ домой. Ну, если не завтра, такъ послѣ завтра.

Прошла недѣля, никто не вернулся. Но вотъ отчего г-нъ Брейхейзель и Гришакъ такъ замѣшкались.

Вѣрнѣе всего можемъ мы застать д-ра Гришака у г-на Брейхейзеля съ 3-хъ часовъ пополудни до 7 вечера, если зуб-

ная боль не помѣшаетъ доктору туда отправиться. Они разсуждаютъ о дѣлахъ и играютъ въ карты.

Брейхейзель страстный картежникъ. Если кого поймаетъ, такъ кончено — человѣкъ словно въ плѣнъ попался, его обрекаютъ быть партнеромъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, и не дождаться ему отставки. Д-ръ Гришакъ добровольно отдался въ рабство.

Замѣтьте, что не существуетъ дружбы прочнѣе, ни любви платоничнѣе той дружбы и любви, которую картежникъ питаетъ къ своему партнеру, въ особенности къ проигрывающему партнеру.

Когда время приближалось къ тремъ часамъ, г-нъ Брейхейзель съ такимъ нетерпѣніемъ ожидалъ прихода д-ра Гришака, какъ влюбленный юноша ждетъ минуты свиданія. Если г-нъ Гришакъ являлся часомъ позже, то ему приходилось ссылаться на важныя обстоятельства; если же онъ цѣлый день не являлся, то долженъ былъ показать свидѣтельство отъ доктора.

Во время игры въ тарокъ толковали и о процессахъ: особенно, мѣшая карты, удобно разговаривать.

— Что, вы назначите слѣдственную комиссію касательно шлюза на Тейсѣ?

— Конечно. Вы займете должность инженера. Въ члены комиссіи выберите кого хотите... Одной масти три.

— Много-ли держите?

— До девяти.

У д-ра Гришака была въ рукахъ кварта, однако онъ не испортилъ игры своего партнера.

— Не думаю, чтобъ инженеръ Шлейцъ много поживился при постройкѣ шлюза?

— Почему?

— Да устройство-то не дешево обойдется. Тысячу дубовыхъ свай надо срубить; каждое бревно должно быть длиною въ 3 сажени и 4 фута, потомъ ихъ на 1 сажень и 4 фута слѣдуетъ вбить въ землю, 112 разъ ударить по каждому бревну; я думаю, что при дороговизнѣ поденной работы антрепренеръ обсчитается... Итакъ, вы рѣшительно сбрасываете козырей?

— Будто-бы! Я и не замѣтилъ... Однако, если подрядчикъ, вмѣсто 112-ти, только 30 разъ ударитъ по бревнамъ?

— Тогда они на два локтя длиннѣе будутъ торчать изъ земли... Вы красную сбрасываете, а я еще пока ни одной карты этой масти не видалъ.

У доктора на рукахъ, дѣйствительно, были всѣ семь картъ, онъ помалчивалъ.

— Понятно, если лишнихъ два локтя надъ поверхностью остается, слѣдовательно не глубоко вбили въ землю.

— Это правда! Но кто бы могъ догадаться! Комиссія можетъ лишь видѣть, насколько выступаетъ бревно изъ земли, а глубоко ли оно вбито—этого не узнаетъ; такимъ образомъ на матеріалѣ выгадать можно.

И оба надъ этимъ посмѣялись.

— Такая работа лѣтъ 10—12 простоитъ, а когда снова понадобится перестроивать, никому въ голову не придетъ привлечь къ суду плохихъ строителей.

— Понятно!.. Козырь, вотъ и другой. Кладите десятку. Послѣдняя взятка моя. Я выкарабкался, а вы, другъ мой, проиграли.

— Чортъ побери! Я надѣялся хорошо сыграть, да карты не шли.

— Потрудитесь сдать!

Началась новая игра; г-нъ Брейхейзель, довольный своей судьбой, понюхалъ табаку и взялъ карты.

— Бѣда играть съ такими картами: 7 да 8.

— Ничего; игра можетъ поправиться, — утѣшалъ докторъ правъ,—ему съ самаго начала достались 4 девятки, одну онъ сбросилъ, не записавъ 150.

— Ну, это жаль, можно ли девятку сбрасывать. Мнѣ онѣ не попадаются... Да, что-жъ, дано ли знать, куда слѣдуетъ, о дѣлѣ касательно арестанта Аладара Гароновѣльди?

— Да, конечно... Позвольте взглянуть, какая была первая взятка?

— Вотъ онѣ, всѣ тутъ... Отосланы ли письма Штрафа?

— Натурально... Верхняя терція, хорошо ли будетъ?

— Прекрасно... Однако, что выгадаетъ г-жа Пойтой, если г-нъ Аладаръ Гароновѣльди высидитъ въ тюрьмѣ весь срокъ?

— Это мнѣ неизвѣстно. Пойтой моя довѣрительница. Она этого желаетъ, я объ этомъ и хлопочу. Потому-то Аладару Гароновѣльди и не дождаться амнистіи.

— Верхняя терція!.. Можете быть спокойны, Штрафъ отыскалъ важные обвинительные пункты.

— Неужели никому не извѣстно, кто такой этотъ Штрафъ, отличный-то музыкантъ! Да, и конечно, этого не разузнаютъ... Опять вы сбросили девятку.

— Да, точно, по разсѣянности... Мнѣ кажется, что у вдовы сильно задѣто самолюбіе.

— Такъ вотъ въ чемъ дѣло!.. Однако, меня удивляетъ, по-

чему вы мнѣ уступили послѣднюю карту. Итакъ, теперь у меня четыре взятки.

— Да, въ самомъ дѣлѣ, послѣдняя взятка моя, остальныя ваши.

— Вы опять проиграли.

— Нынче мнѣ совсѣмъ не везетъ.

— Сыграемъ еще разъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

Г-нъ Брейхейзель опять сдалъ.

— Кстати. Нынче получилъ я письмо отъ старика Анкершмидта. У него украли 12 іоркширскихъ свиней со двора, огороженнаго стѣной.

— Вотъ такъ штука! Воры, должно быть, ловкіе парни.

— Старикъ хочетъ дознаться, кто его обокралъ.

— Странное любопытство!

— Онъ проситъ меня заявить объ этомъ слѣдственному судьѣ.

— 55, 65, 79, вашихъ 82... Принесли вы съ собой заявленіе?

Д-ръ Гришакъ положилъ въ карманъ выигрышъ, а г-нъ Брейхейзель началъ сдавать.

Раздавъ карты, г-нъ Брейхейзель заглянулъ въ «заявленіе» и сильно задумался.

— Другъ любезный, тутъ есть ошибка.

— Въ чемъ же это?

— Штемпель не годенъ.

— Быть не можетъ. 12 свиней по 30 гульденовъ, выходитъ 360 гульденовъ, а штемпель въ 400 гульденовъ.

— Въ этомъ-то и заключается промахъ. Рѣчь идетъ объ іоркширскихъ свиньяхъ, онѣ стоютъ не дешевле 40 гульденовъ. Значитъ, всего выйдетъ 480 гульденовъ. Свыше 400 гульденовъ полагается двойной штемпель. Я принужденъ втрое оштрафовать васъ. Извольте заплатить лишнихъ 2 гульдена.

Въ слѣдующую игру г-нъ Брейхейзель совсѣмъ проигрался. Онъ сильно ошибался, воображая, что д-ръ Гришакъ заплатитъ штрафъ судьѣ, да еще скажетъ ему объ этомъ, когда тотъ держалъ карты въ рукахъ.

Однако, при разсчетѣ, Гришакъ отдалъ г-ну Брейхейзелю 9 гульденовъ карточнаго долгу.

— Пожалуйста скорѣе покончите дѣло съ Анкершмидтомъ, а не то старикъ нашумитъ, онъ на это мастеръ.

— Я вѣдь его знаю. Отобьемъ охоту шумѣть. Предоставьте

мнѣ это дѣльце, а вы, съ своей стороны, приходите завтра пораньше.

— Послѣ обѣда тотчасъ приду.

Д-ръ Гришакъ, вернувшись домой, прежде всего взялъ свою памятную книжку и записалъ расходъ:

За адвокатскія справки въ судѣ 9 флориновъ съ г-на инженера Шмельца.

«За справки въ судѣ 9 флориновъ съ г-жи Пойтой.

«За справки въ судѣ 9 флориновъ съ г-на кавалера Анкершмидта».

Не подумайте, что д-ръ правъ изъ любви къ своимъ кліентамъ сбрасываетъ старшія карты, играя съ окружнымъ комиссаромъ, — онъ всегда заставитъ послѣ себя вознаградить за проигрышъ.

На слѣдующій день опять была сдѣлана отмѣтка: «за справки», съ тѣмъ только измѣненіемъ, что д-ръ Гришакъ немилосердо обыгралъ г-на Брейхейзеля, который написалъ резолюцію ему не по вкусу.

Само-собой разумѣется, что въ тотъ же день «убытокъ» занесенъ былъ Брейхейзелемъ въ счетъ Анкершмидту, не зная— на какую именно статью отнесъ онъ проигрышъ. Изъ этого видно, что проигрыши Гришака и Брейхейзеля одинаково отзывались на карманѣ Анкершмидта.

Правда, что въ концѣ игры зашелъ разговоръ объ іоркширскихъ свиньяхъ, о свидѣтеляхъ и о людяхъ, на которыхъ падаетъ подозрѣніе, и порѣшили, что это дѣло не шуточное. Слѣдствіе очень долго продлится.

Со-дня на-день все болѣе и болѣе усложнялось дѣло, при новыхъ свидѣтеляхъ возбуждались новыя подозрѣнія; чѣмъ больше писали протоколъ, тѣмъ меньше выходило толку, а между тѣмъ пшеница у Анкершмидта оставалась на полѣ, въ ожиданіи уборки.

Теперь Вендлинъ готовъ былъ идти съ повинной къ выгнаннымъ мужикамъ, готовъ былъ платить имъ вдвое, кормить по четыре раза въ день,—пожалуй, даже предложилъ бы имъ будить ихъ ночью и поить.

— Этого нельзя, — отвѣчалъ подрядчикъ, — мы наняты на весь покосъ.

Несмотря ни на какія обѣщанія, они не хотѣли отказаться хотя бы на-день отъ работы въ другомъ мѣстѣ.

Сельскіе же хозяева въ эту пору такъ были заняты, что съ ними нельзя было переговорить.

Въ эти самые дни Анкершмидтъ объѣзжалъ свои поля, смотрѣлъ на спѣлую пшеницу, которая того-и-гляди переспѣетъ, и въ умѣ разсчитывалъ, что если она еще нѣсколько дней останется на полѣ, то половина будетъ никуда не годна, что̀ причинитъ ему 20,000 убытку, и проклиналъ іоркширскихъ свиней съ поросятами, по милости которыхъ пропадаетъ его пшеница, да и еще кое-какихъ свиней ругалъ.

Онъ думалъ, что, пожалуй, и всѣхъ остальныхъ свиней поворовали, такъ какъ изо всей колоніи дома остались одни женщины. У него просто духу не хватало подойти къ строенію, гдѣ помѣщались свиньи.

Однажды, въ субботу, любопытство подстрекнуло его, и онъ заговорилъ съ пастухомъ Гароновѣльди, гнавшимъ свиней изъ лѣсу вдоль деревни.

— Эй, ты, молодецъ! не знаешь ли ты, ужъ не украли ли всѣхъ моихъ свиней съ тѣхъ поръ, что сторожей въ городъ увели?

Свинопасъ покачалъ головой и, накинувъ свой кафтанъ на плечо, отвѣчалъ неопытному хозяину тономъ упрека:

— Что̀ вы это, ваше превосходительство! Вѣдь это былъ бы отвратительный грабежъ, еслибъ кто-либо обокралъ другого въ ту пору, когда пастухъ на судѣ находится. Пока пастухъ въ городѣ, у барина не долженъ пропасть ни одинъ поросенокъ. Что̀ вы это говорите! Вѣдь это дѣло чести. Господь съ вами.

«Вотъ тебѣ и разъ! я не зналъ, что это—дѣло чести, point d'honneur», подумалъ про-себя Анкершмидтъ, и все болѣе убѣждался, что подъ луной для него есть много новаго.

Въ городѣ слѣдствіе продолжалось, а г-нъ Венделинъ объѣзжалъ всѣ сосѣднія деревни, искалъ работниковъ и каждый вечеръ возвращался домой одинъ-одинёхонекъ.

Въ концѣ второй недѣли у Анкершмидта лопнуло терпѣнье. Это просто невыносимо, такъ поступать безчестно! Онъ посылалъ письмо за письмомъ къ д-ру Гриппаку и къ г-ну Брейхейзелю, просилъ, умолялъ, бранился и, наконецъ, угрожалъ, что пожалуется въ министерство,—даже стращалъ тѣмъ, что въ газетахъ напечатаетъ объ этомъ дѣлѣ; не нужно ему ни свиней, ни воровъ,—пусть только вернутъ ему назадъ прислугу. По крайней мѣрѣ, хоть бы кучера домой отпустили, чтобъ онъ могъ перевезти съ поля пшеницу. Все ни къ чему не вело! Наконецъ, на шестое письмо получилъ онъ отвѣтъ за казенной печатью. Въ посланіи сказано было, что такъ какъ онъ адресовалъ въ судъ шесть прошеній на простой бумагѣ, то его требуютъ въ

городъ для уплаты штрафа за шесть штемпелей, цѣною въ 45 крейцеровъ.

Анкершмидтъ взялъ письмо, положилъ въ рамку и повѣсилъ надъ письменнымъ столомъ, чтобъ постоянно имѣть его передъ глазами, и затѣмъ притихъ, успокоился.

Настало воскресенье. Анкершмидтъ пресерьёзно отправился верхомъ въ свое осиротѣвшее поле. На горизонтѣ показались тучи, ласточки весело порхали между колосьями; каждое деревцо, каждый стебелекъ предчувствовалъ грозу.

— Ну, этого только не доставало! Три четверти посѣва скошено, связано въ снопы: если пойдетъ дождь—все смокнетъ, истлѣетъ. 40,000 гульденовъ пропадетъ! Все равно какъ-будто бумажникъ изъ кармана украли. Конечно, горю не поможешь. Притомъ еще заключилъ я условіе на-счетъ уборки пшеницы, съ меня взыщутъ большую неустойку.

Когда онъ, озабоченный, объѣзжалъ свои нивы, спугивая тысячи сверчковъ,—вдругъ услыхалъ знакомый голосъ.

Онъ поднялъ голову и увидалъ Компоша, который, пыхтя, спѣшилъ къ нему на-встрѣчу.

— Покорнѣйшій слуга, ваше превосходительство! Ужъ подлинно, что жаркое стоитъ времячко.

— Не для насъ, мы отдыхаемъ, благодаря Бога,—съ горькимъ юморомъ отвѣтилъ кавалеръ.

— Въ самомъ дѣлѣ? жаль, очень жаль, если еще дождь пойдетъ—бѣда, а быть дождю всенепремѣнно. У меня колѣнка предчувствуетъ перемѣну погоды съ тѣхъ поръ, что контузило меня при Кашау.

— Какъ, и вы были контужены?—спросилъ Анкершмидтъ съ странной интонаціей, потому что вспомнился ему Богумилъ.

— Прошу покорнѣйше, меня вотъ какимъ манеромъ контузило,—объяснилъ, смѣясь, Компошъ:—во время похода увидалъ я на дорогѣ гранату, взялъ да и спряталъ ее въ карманъ кителя, чтобъ сберечь на память. Во время ходьбы граната прорвала карманъ и попала въ подкладку; я этого не примѣтилъ, а какъ вдругъ пришлось бѣжать—граната меня сильно ударила по берцовой кости, такъ что я, благодаря этому, чуть по-міру не пошелъ.

— Это вещь правдоподобная,—снисходительно замѣтилъ Анкершмидтъ.

— Съ тѣхъ поръ у меня колѣно стало барометромъ.

— Правда, дождь будетъ,—что-жъ съ этимъ дѣлать?

— Потому-то я и пришелъ къ вашей милости. Мы вчера

только кончили уборку, я и разсказалъ моему хозяину, въ какомъ бѣдственномъ положеніи находится ваша милость. Коли еще дождь будетъ, такъ у васъ все какъ есть пропадетъ. Онъ на это сказалъ, что очень жаль будетъ, и приказалъ намъ на будущей недѣлѣ, вмѣсто того, чтобъ браться за рожь, убрать вашу пшеницу; кучера наши свезутъ ее съ поля въ тачкахъ, а не то много вамъ будетъ убытку. Примите наше предложеніе, хозяинъ очень радъ вамъ помочь. Онъ говоритъ: «что на полѣ пропадетъ, отъ того вся страна потерпитъ».

Онъ еще кое-что прибавилъ, но объ этомъ Компошъ умолчалъ.

На этотъ разъ Анкершмидту пришло на-умъ слѣзть съ лошади и дружественно протянуть руку Компошу. Нашъ Компошъ, убѣдившись, что ему денегъ не предлагаютъ, подалъ свою руку.

— Передайте своему помѣщику, что я очень и очень ему благодаренъ за сдѣланное предложеніе. И скажите ему также, что у кавалера Анкершмидта память не коротка.

Когда уже покончили уборку, изъ города вернулась прислуга Анкершмидта. Послѣ двухъ-мѣсячнаго слѣдствія, пришли къ тому заключенію, что всѣ эти люди—невиновны.

Настало дождливое время. Колѣно Компоша не ошиблось. Прибылъ длинный счетъ отъ адвоката, да еще другой—изъ суда. Анкершмидтъ молча уплатилъ оба счета, но никому ихъ не показывалъ, — сказалъ лишь Максеппутшу, что за такую цѣну можно бы было привезти изъ Англіи новыхъ свиней.

Вернувшуюся домой дворню онъ позвалъ къ себѣ и въ короткихъ словахъ, по-военному, отдалъ ей приказъ:

— Слушайте, братцы! Впредь заботьтесь, чтобъ не было мнѣ убытку. Если же случится покража, скрывайте ее отъ меня; если же кто-либо еще разъ осмѣлится выболтать, что меня обокрали, я его прогоню безъ пощады.

Только Максеппутшу не по-нутру пришлась его рѣчь. Хорошо же: если кавалеръ такой вздоръ мелетъ, такъ я самъ постараюсь открыть воровство. Конечно, въ судѣ туго ведется дѣло, за то существуетъ жандармерія, съ ней я знакомъ, она тихохонько нападетъ на слѣдъ, надо лишь немножко выждать время. Можно также подкупить лѣсныхъ сторожей, они съ ворами будутъ якшаться, а потомъ и выдадутъ ихъ. Вотъ такъ славная мысль!

Вскорѣ онъ осуществилъ свой планъ. Однажды вечеромъ явился къ управляющему молодецъ съ честной и прямо-

душной физіономіей, съ красивыми черными усами и съ волосами, назадъ расчесанными. Онъ былъ гладко выбритъ, въ синей рубашкѣ съ серебряными пуговицами, на плечи накинутъ былъ венгерскій плащъ съ вышивкой изъ разноцвѣтныхъ тюльпановъ; застегнутый на груди пряжкой, а ней висѣлъ короткій топорикъ съ серебряными гвоздиками и съ черешневой рукояткой, въ рукѣ онъ держалъ пастушій хлыстъ съ мѣдными украшеніями. По всему было видно, что это порядочный слуга хорошихъ господъ.

— Честь имѣю пожелать вамъ добраго вечера, господинъ.

— Добрый вечеръ, братецъ, что тебѣ надо?

— Я хотѣлъ кое-что сказать насчетъ пропавшихъ *жирныхъ* свиней.

Онъ весьма удачно при этомъ употребилъ по-венгерски игру словъ, соотвѣтствующую по звуку слову: іоркширскія.

— Слышалъ ты что-нибудь о нихъ? Сядь-ка на диванъ.

Незнакомецъ, не ломаясь, сѣлъ на указанное мѣсто, какъ-бы съ сознаніемъ, что вполнѣ достоинъ этой чести.

— Да, я кое-что знаю,—отвѣчалъ онъ ясно и осторожно.— Я догадываюсь, кто ихъ укралъ, и слѣжу за воромъ. Повѣрьте, что здѣсь въ чащѣ буковыхъ лѣсовъ пандуру трудно, а жандарму и совсѣмъ невозможно словить вора. Чуютъ приближеніе сыщика, и пастухъ пастуху съ рукъ на руки передаетъ украденное добро, скотъ перегоняютъ изъ одной долины въ другую; когда сыщикъ явится, уже отъ ворованнаго добра и слѣдъ простылъ. Однако мнѣ думается, что эти свиньи, будучи рѣдкой породы, стѣсняютъ и самого вора; если вздумаетъ онъ ихъ продавать, непремѣнно спросятъ: откуда онъ ихъ достали? Развѣ что онъ зарѣжетъ ихъ для себя, да и то пользы мало: лѣтомъ мясо портится, потому-то я и думаю, что ежели, напр., я приду къ ворамъ, меня они не боятся и охотно отдадутъ мнѣ все похищенное даже за какіе-нибудь 10—12 гульденовъ.

Венделинъ такъ обрадовался такому предположенію, что вынулъ свой бумажникъ.

— Вы еще не изволили спросить моего имени.

— Да вѣдь я по лицу вижу, что ты человѣкъ честный.

— Этого недостаточно. Я постараюсь доказать, что я человѣкъ надежный. При этомъ онъ вытащилъ изъ жилета тщательно сложенную бумагу, съ печатью. Венделинъ, прочитавъ ее, увналъ, что личность, передъ нимъ находящаяся, не кто иной, какъ старшій пастухъ изъ степи Ньеретано, принадлежащей

г. Лёрингу изъ Ньирбароди,—зовутъ его Михайло Вокъ и человѣкъ онъ надежный.

— Вотъ что, братецъ,—сказалъ Венделинъ, положивъ честному малому руку на плечо,—если ты приведешь мнѣ іоркширскихъ свиней, такъ я, кромѣ 20 гул., которые слѣдуетъ отдать ворамъ, еще прибавлю тебѣ 20 гульденовъ.

— Благодарю покорно. Этого мнѣ много будетъ, я столько не заслуживаю. Съ меня довольно и 10 гульденовъ.

Вотъ такъ славный, честный парень!

— Надо тебѣ дать на расходы.

— Ничего, кромѣ упомянутыхъ 20 гул., и то пока половины достаточно будетъ.

— Такъ 10 гул. довольно будетъ?

— О, вполнѣ достаточно, остального подождутъ.

Каково, какіе любезные воры, даже на слово вѣрятъ!

— Мнѣ бы хотѣлось знать, какъ они черезъ стѣну утащили свиней.

— Я полагаю, они сперва налили имъ водки въ пойло, свиньи опьянѣли, а тогда легко ихъ было перетащить одну за другой.

— Итакъ, я на тебя полагаюсь. Когда приведешь свиней, получишь еще 30 гул. Вотъ тебѣ моя рука.

Пастухъ хлопнулъ по рукѣ Максенпутша, взялъ шапку и, поблагодаривъ, удалился, но тотчасъ же вернулся.

— Вотъ что: мнѣ на умъ пришло, что когда я потащу сюда свиней, на дорогѣ меня, пожалуй, жандармы поймаютъ и въ цѣпи закуютъ, принявъ за вора. Потому, прошу васъ покорнѣйше дать мнѣ росписку на 12 свиней, чтобъ могъ я ихъ сюда доставить.

— И то правда!—подтвердилъ Венделинъ,—объ этомъ я и не подумалъ.

Сейчасъ написалъ росписку и вручилъ честному посреднику, чтобъ оградить его отъ непріятелей.

На другой день Венделинъ встрѣтилъ Компоша и похвастался, что, молъ, іоркширскія-то свиньи скоро найдутся. То-то обрадуется г. кавалеръ, заранѣе я ему объ этомъ ни-гугу, а скажу, когда свиньи будутъ дома. И при этомъ онъ разсказалъ Компошу, какимъ образомъ онъ надѣется ихъ розыскать.

Компошъ, улыбаясь, набивалъ трубку. Венделинъ спросилъ, надъ чѣмъ онъ смѣется?

— Со мной однажды такой же казусъ случился въ Пештѣ,

—отвѣчалъ Компошъ.—Я потерялъ пѣнковую трубку и велѣлъ напечатать въ газетахъ, что дамъ 5 гульденовъ тому, кто мнѣ ее принесетъ. На другой день является ко мнѣ, съ виду порядочный человѣкъ, приноситъ трубку и говоритъ, что поймалъ вора и теперь пойдетъ въ полицію и отнесетъ трубку, чтобъ составили актъ о покражѣ. Я заплатилъ ему пять гульденовъ, а онъ вторично и оффиціально укралъ мою трубку; я же ему помогъ. Въ другой разъ меня уже не поймаютъ!

— Къ чему вы рѣчь ведете?

— А я это къ тому сказалъ, что въ настоящемъ случаѣ вы сами дали вору денегъ на дорогу—и подорожную. Онъ преспокойно утащитъ свою добычу. Михайло Семашъ—самый ловкій «бѣдный парень» во всемъ околоткѣ.

Все такъ и случилось.

Больше всѣхъ похохоталъ кавалеръ Анкершмидтъ и въ первую поѣздку въ городъ купилъ себѣ, вмѣсто своей охотничьей фуражки, настоящую венгерскую пастушью шляпу съ широкими лентами, пряжкой и перомъ отъ цапли. Старые знакомые, встрѣчая его въ этой шляпѣ, такъ и пятились назадъ отъ него.

А. А.

ПОЛЬСКІЙ ВОПРОСЪ

ВЪ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

I.

«Польскій вопросъ» — одна изъ самыхъ трудныхъ и неблагодарныхъ тэмъ, какія только есть въ нашей литературѣ, — и въ разныхъ отношеніяхъ. Прежде всего, по положенію самой литературы. Говоря безъ лицемѣрія — столь у насъ распространеннаго, и столь презрѣннаго, — надо признать, что мы не знаемъ даже, насколько этотъ предметъ доступенъ для изложенія въ нашей литературѣ, т.-е. доступенъ съ своими существенными сторонами, въ изложеніи, хотя и скромномъ, но правдивомъ. Русская литература, повидимому, тяготится этимъ страннымъ и противнымъ достоинству человѣческой мысли положеніемъ, которое, по выраженію Щедрина, — заставляетъ ее говорить «езоповскимъ» языкомъ, заставляетъ писателя всячески завертывать свою мысль и быть довольнымъ, когда онъ завернулъ ее такъ, что ея и узнать невозможно. Это все то же положеніе, какъ лѣтъ сто тому назадъ, когда русскій писатель покушался «истину съ улыбкой говорить» — и воображалъ, что говоритъ ее, между тѣмъ, какъ на дѣлѣ «улыбка» не только закрывала истину, но и ясно указывала ничтожное, приниженное положеніе говорившаго. Въ нашей литературѣ былъ случай, что изъ-за этого сюжета прекратилось самое существованіе одного журнала, напечатавшаго

статью, несогласную съ общимъ газетнымъ говоромъ, — статью, въ сущности очень неудачную, но едва ли особенно вредоносную; любопытно, что и самый этотъ журналъ («Время») былъ органомъ г. Достоевскаго, слѣдовательно, достаточно безвредный. Со времени этого запрещенія и до сихъ поръ не было никакихъ ни прямыхъ указаній, ни даже косвенныхъ признаковъ, чтобы положеніе дѣла относительно этого вопроса измѣнилось: журналъ, который хотѣлъ бы коснуться предмета съ какой-либо новой стороны, кромѣ обычной, все еще можетъ считать вопросъ по прежнему находящимся внѣ литературы. Основаніе думать такимъ образомъ, можно, между прочимъ, найти въ положеніи самой польской печати въ царствѣ: на нее не простираются и тѣ наличныя условія «свободы», въ которыхъ находится печать русская.

Другая трудность говорить о предметѣ, какъ бы слѣдовало по всей его важности, sine ira et studio, заключается въ страшной неразвитости, а въ послѣднее время и испорченности большинства нашего общественнаго мнѣнія. До польскихъ волненій и потомъ возстанія, въ 1861 г., польскій вопросъ очень мало занималъ общество; для печати онъ былъ почти абсолютно закрытъ. Съ возстанія, онъ сталъ предметомъ толковъ — но только въ одномъ извѣстномъ тонѣ; это было почти только обличеніе открываемой повсюду «польской интриги», дошедшее, наконецъ, до геркулесовыхъ столбовъ, потому что проникло изъ газетъ и пошлыхъ романовъ даже въ учено-оффиціальныя сочиненія. Возстаніе, начатое крайней польской партіей, едва ли съ какой-нибудь надеждой на успѣхъ, сопровождалось съ ея стороны насиліями и жестокостями, которыя не могли не вызывать негодованія,—но послѣднее не ограничилось ни временемъ, ни данными фактами, и въ извѣстной части печати (наибольшей части) выростало въ стремленіе возбудить ненависть къ цѣлому племени: эпитетъ «польскій» самъ по себѣ становился обвиненіемъ; «польской интригѣ» даны были размѣры столь грандіозные, что они становились смѣшными; сторониться отъ этого хора обличителей и спасителей отечества (въ дѣйствительности часто оскорблявшихъ истинное патріотическое чувство воплями сыска и злобы) значило дать явное доказательство принадлежности къ «польской интригѣ».

Понятно, что спокойный разборъ вопроса былъ абсолютно невозможенъ (хотя вскорѣ же возможна была совсѣмъ открытая защита не польско-національныхъ, а польско-шляхетскихъ интересовъ въ газетѣ «Вѣсть») — не только на то время, но и надолго послѣ.

По этимъ двумъ основаніямъ польскій вопросъ, при всей его важности по его отношеніямъ къ нашей политикѣ внѣшней и внутренней, къ цѣлому славянскому вопросу, и въ частности къ нашей общественной жизни, оставался до сихъ поръ внѣ правильнаго, спокойнаго критическаго изслѣдованія. Тѣмъ не менѣе, польскій вопросъ безпрестанно затрогивается косвенно въ литературѣ; уже послѣ того, какъ прекратились толки объ усмиреніи и «обрусѣніи», о немъ постоянно заговариваютъ, напримѣръ въ послѣдніе годы по поводу введенія «реформъ» въ царствѣ, по поводу «примиренія», по поводу юбилея Крашевскаго. Есть, слѣдовательно, основаніе вновь обратиться къ польскому вопросу. Тэма «примиренія» въ послѣдніе два-три года повторяется довольно настойчиво—многіе выказали къ нему большую наклонность, другіе сильно сомнѣвались, даже считали его невозможнымъ (неизвѣстно, до какого времени). Чтó можетъ быть лучше примиренія вражды и забвенія ненависти? Съ другой стороны, если «примиреніе» невозможно (до неизвѣстнаго срока), какъ думаютъ другіе, — чтó же остается? Держать цѣлый народъ въ ненормальномъ положеніи, «обрусить» или — истребить, какъ дѣлалось въ средніе вѣка? Насъ занимаютъ подобные трагическіе вопросы у чужихъ народовъ,—споръ ирландцевъ съ англичанами (причемъ мы неизмѣнно сочувствуемъ ирландцамъ), судьба французовъ въ Эльзасѣ и Лотарингіи, даже судьба краснокожихъ индѣйцевъ въ послѣднихъ вспышкахъ борьбы ихъ съ американцами. Надо думать, что есть несравненно больше основаній интересоваться судьбой польскаго племени, съ нами тѣсно связаннаго и намъ *родственнаго*, нашего ближайшаго сосѣда въ славянскомъ мірѣ. Это и чувствуется, и если говорится все-таки мало, то именно оттого,—что по довольно общему сознанію—о немъ неудобно говорить съ тѣмъ простóромъ, при которомъ только и возможно придти къ какому-нибудь не одностороннему выводу. Есть, кромѣ того, люди, которые находятъ, что о немъ и безполезно говорить, или потому, что это—вопросъ политическій, почти внѣшне-политическій, какіе совсѣмъ не входятъ въ компетенцію нашей печати; или потому, что его выясненіе и рѣшеніе возможно только съ развитіемъ нашей, собственно русской, внутренней политической жизни,—такъ что о немъ нѣтъ пользы и смысла хлопотать такъ-называемому обществу: ничего оно не сдѣлаетъ и ничему не поможетъ; а въ данномъ положеніи вещей русское и польское общество и жизнь такъ чужды другъ другу, что не могутъ даже вести настоящаго разговора. Послѣднее думаютъ не только русскіе, но вѣроятно и очень многіе поляки.

Толки о «примиреніи» кажутся съ этой точки зрѣнія пустословіемъ, можетъ быть весьма благожелательнымъ и добродѣтельнымъ,—но пустословіемъ.

Не помнимъ, высказывался ли въ печати этотъ послѣдній «взглядъ» на польскій вопросъ, но такой взглядъ существуетъ, и вовсе не у людей равнодушныхъ, которые лѣнятся думать о чемъ-нибудь, но у людей, горячо принимающихъ къ сердцу интересы русской жизни. Эти люди не желаютъ фантазировать, не дѣлять частныхъ явленій отъ общихъ и слѣдствій отъ причинъ, и, не скрывая отъ себя фактовъ нашей дѣйствительности, не хотятъ ублажать себя и другихъ благодушными теоріями, которымъ эта дѣйствительность не оставляетъ мѣста.

Мы не станемъ особенно спорить съ подобной точкой зрѣнія; въ ней, къ сожалѣнію, слишкомъ много справедливаго относительно положенія вещей въ настоящую минуту. Но не теряетъ значенія и интереса историческое изученіе предмета: какъ бы ни было напрасно литературѣ воображать, что она можетъ рѣшать вопросы подобнаго рода, обществу нужно понимать положеніе дѣла, здраво оцѣнивать его свойства,—чтобы потомъ судить о дѣлѣ безъ преувеличенія и предразсудковъ въ ту или другую сторону, съ пониманіемъ фактовъ, и, отдаваясь влеченіямъ «національнаго чувства», не оставаться въ какихъ-то странныхъ потьмахъ, какъ до сихъ поръ очень часто бывало и бываетъ.

Такимъ образомъ, мы вовсе не имѣемъ и не можемъ имѣть въ виду давать какія-нибудь рѣшенія польскаго вопроса, а намѣрены только пересмотрѣть наиболѣе интересныя мнѣнія, какія о немъ высказывались въ нашей литературѣ.

II.

Въ литературѣ нашей польскій вопросъ появляется очень недавно, т.-е. какъ предметъ, о которомъ могутъ быть два разныя мнѣнія. Старая точка зрѣнія была немногосложна: она указывалась дѣйствіями правительства—оставалось восклицать, какъ въ стихахъ Державина на взятіе Варшавы: «пошелъ — и гдѣ тристаты злобы!» Этого было достаточно; изслѣдованіе, откуда брались «тристаты», было излишне.

Общество XVIII вѣка не задавало себѣ подобныхъ политическихъ вопросовъ; оно едва ставило ихъ и въ XIX столѣтіи. Польская и русская литературы почти не встрѣчались и мало

знали другъ друга, какъ мало знаютъ и до сей минуты. Но раздѣлы, возстанія, участіе поляковъ во французскомъ походѣ 1812 года, новыя возстанія, въ сравнительно короткое время, нѣсколько разъ напоминали о Польшѣ съ враждебной стороны; изученіе старой исторіи обновляло воспоминанія объ эпохѣ междуцарствія, о казацкихъ войнахъ съ тѣмъ же враждебнымъ отношеніемъ къ Польшѣ; послѣ возстанія 1830—31 множество поляковъ было разослано въ болѣе и менѣе отдаленные края Россіи, и темная молва разносила тогда слухи, обвинявшіе поляковъ въ пожарахъ, которые тогда разразились во многихъ внутреннихъ городахъ. Все это вмѣстѣ дѣлало то, что враждебность, подозрѣніе, недовѣріе къ Польшѣ становилось наиболѣе популярнымъ, почти исключительнымъ взглядомъ русскаго общества на польско-русскія отношенія. Для русской популярной поэзіи, начиная отъ Державина до Пушкина и даже до нашихъ дней, Польша всего чаще была «гидра», требовавшая «громовъ» и укрощеній.

Но при неразвитости политическаго пониманія въ русскомъ обществѣ неудивительно, что эта враждебность вовсе не была ни глубока, ни послѣдовательна; другіе говорятъ, что въ этомъ обнаруживалось глубокое добродушіе русскаго народнаго характера;—можетъ быть. Не было недостатка въ крутыхъ мѣрахъ, но не было умѣнья подѣйствовать морально въ польскомъ обществѣ въ пользу русской національности и мирнаго сожительства съ нею. Съ прошлаго столѣтія, послѣ перваго раздѣла, само правительство не имѣло мысли о томъ, что масса присоединеннаго населенія—русская, на которой лежитъ тонкій слой польскій. Только съ послѣдняго возстанія, въ 1860-хъ годахъ, этотъ фактъ былъ замѣченъ и начались усиленныя мѣры «обрусѣнія»... Въ прежнее время (какъ теперь,—не слышно) русскіе образованные люди легко поддавались вліянію польской общественной жизни, находили въ ней особенную прелесть, бывало даже сами слегка ополячивались...

Нѣтъ сомнѣнія, что какъ ни были исполнены враждебными воспоминаніями русско-польскія отношенія, племенное родство сказывалось. Къ сожалѣнію, русскіе и поляки одинаково мало заботились о томъ, чтобы выяснить эту сторону своихъ отношеній, спокойно оцѣнить прошедшее и найти новыя условія мирнаго сожительства. Какъ скоро доходило до историческихъ счетовъ, всегда—съ обѣихъ сторонъ—накоплялись одни обвиненія, одни поводы къ раздраженію, и дѣло запутывалось до невозможности.—Полякъ виноватъ тѣмъ, что не можетъ забыть своего прошлаго,—но это

та самая черта, которую у самихъ себя мы сочли бы высокой національной добродѣтелью; полякъ не понимаетъ гражданской жизни иначе какъ съ точки зрѣнія шляхетства, — но давно ли (разсуждая теперь) въ нашей собственной жизни прекратилась такая же шляхетская форма жизни и взглядовъ на вещи, да еще и прекратились ли они? А въ прежнее время это шляхетство и вовсе не казалось какимъ-нибудь недостаткомъ, и въ XVIII столѣтіи императрица Екатерина оставила польское шляхетство въ присоединенныхъ областяхъ господствовать надъ русскимъ народомъ; польскія шляхетскія стремленія даже тотчасъ послѣ усмиренія послѣдняго возстанія находили союзниковъ въ извѣстной части русскаго общества и печати. Далѣе, полякъ ставилась въ укоръ его католическая исключительность, отождествленіе религіи съ политикой, употребленіе первой какъ повстанскаго орудія. Но въ принципѣ и противъ этого трудно что-нибудь говорить, если мы сами въ это же время нераздѣльной частью нашей народности считаемъ православіе, глубокую преданность ему народа полагаемъ высокой добродѣтелью, если въ нашей исторіи указываемъ тяжкія и славныя времена, когда сознаніе религіозное было спасеніемъ народа, и т. д.—Поляки съ своей стороны не уступали намъ въ инкриминаціяхъ не только противъ власти, но и противъ самой русской народности; ихъ ученые дошли даже до проповѣди о томъ, что русскіе—вовсе не славяне, а туранское племя, узурпировавшее себѣ испорченный славянскій языкъ отъ настоящей Руси, «Рутенін» (т.-е. южно-руссовъ), близкой къ Польшѣ и ей принадлежавшей.

Въ эпоху спора, вооруженной борьбы, отвлеченные аргументы остаются, конечно, безсильны; никакое могущественное доказательство изъ книги не заглушитъ не только пушечнаго, но и ружейнаго выстрѣла. Но когда кризисъ внѣшній конченъ, надо, чтобы разумная оцѣнка фактовъ нашла себѣ мѣсто—одинаково на той, и на другой сторонѣ: у нихъ слишкомъ много *общаго интереса*, который не можетъ быть забытъ или нарушаемъ безнаказанно—для *обѣихъ* сторонъ.

Намъ всегда казалось, что есть возможность и политическаго смягченія отношеній—*съ сохраненіемъ* этого общаго интереса, а затѣмъ, или вмѣстѣ съ тѣмъ, умственнаго сближенія, которое могло бы обоимъ обществамъ открыть точки соприкосновенія и съ ними перспективу прямого и прочнаго союза. Прошлое обѣихъ сторонъ исполнено вражды,—но отвѣчаетъ ли всему смыслу «образованности», «цивилизаціи», ожиданіе, что и впредь должно продолжаться то же самое, что человѣческія общества, какъ жи-

вотныя породы, обречены фатализму безсознательныхъ инстинктовъ, что наконецъ не возъимѣютъ силу вліянія науки, критики, человѣчной поэзіи, наконецъ разумнаго пониманія политической выгоды, которыя, при сознаніи національнаго родства, въ концѣ-концовъ способнѣе сблизить народы одноплеменные, чѣмъ разноплеменные.

Старую исторію русско-польскихъ отношеній привыкли разсматривать всего чаще и усерднѣе съ точки зрѣнія національной, политической, религіозной противоположности и вражды. Но было время, когда польское образованіе имѣло непосредственное вліяніе въ русскихъ земляхъ и служило съ пользой для русскаго дѣла. Такъ было въ XVI—XVII столѣтіяхъ въ западной и южной Руси, тогда принадлежавшихъ Польшѣ. Эта принадлежность была источникомъ извѣстныхъ историческихъ столкновеній, принесла много бѣдъ населенію западной и южной Руси,—но она же дала этому населенію и средства борьбы: среди «безпорядка», которымъ «стояла Польша», были учрежденія и обычаи, доставлявшіе русскому населенію возможность политической и религіозной самозащиты: на сеймахъ могли говориться и говорились сильныя рѣчи въ защиту русскаго народа; въ печати могли являться сочиненія, въ которыхъ отстаивались его интересы; могла существовать школа, посвященная защитѣ стараго національнаго преданія. Въ западномъ и южномъ русскомъ краѣ, явилась въ XVI—XVII столѣтіи первая правильная и первая высшая *русская школа*, которая вскорѣ оказала свое вліяніе и въ Москвѣ: питомцы этой школы, образованной по польскимъ образцамъ, существовавшей по польскому праву (или упомянутому «безпорядку»), не только долго были ревностными защитниками православія и русской народности, но получили значеніе и для «всей Руси»; изъ нихъ вышли первые русскіе богословы (какъ Петръ Могила и проч.), которые могли въ силу тогдашнихъ учено-богословскихъ формъ оказать равное сопротивленіе изысканной католической теологіи, а потомъ (какъ Епифаній Славинецкій и проч.) работать въ самой Москвѣ на пользу собственно-русскаго, московскаго просвѣщенія. Нѣсколько позднѣе, воспитанники этихъ школъ являются въ ряду сотрудниковъ Петра Великаго. На нѣсколько десятилѣтій прошлаго вѣка питомцы кіевской школы въ особенности занимали высшія мѣста въ русской іерархіи. По образцу кіевскихъ школъ, существовали всѣ русскія духовныя учебныя заведенія до самаго послѣдняго времени... Такъ долго держался ходъ образованія, установившійся съ XVI—XVIII вѣка по примѣру польской школы и въ условіяхъ польской полити-

ческой жизни. Правда, образованіе было одностороннее, схоластическое;—но до основанія московскаго университета у насъ не было иной правильной школы, и нужно уже спрашивать русскихъ людей, почему они не повели дѣла дальше тѣхъ формъ, какимъ научились въ XVI—XVII столѣтіи.

Въ прошломъ вѣкѣ русская литература и наука обратились прямѣе къ европейскимъ источникамъ, и школа, построенная по польскимъ образцамъ, отступила на второй планъ. Но и въ новыхъ условіяхъ нашей образованности, опять возможны были соприкосновенія, которыя при болѣе благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ способны были развиться въ сознательную нравственную связь. Таковы были польскія научныя работы, параллельныя славянскому возрожденію, и таковы были литературныя связи, отмѣченныя личнымъ сближеніемъ Пушкина и Мицкевича, двухъ величайшихъ поэтовъ обоихъ племенъ, и даже цѣлаго славянства.

Во второмъ и третьемъ десятилѣтіи нынѣшняго вѣка славянское «возрожденіе» проходило особенный періодъ идеалистическаго романтизма, который искалъ національнаго идеала въ преданіяхъ старины, въ неиспорченности народной поэзіи, восходилъ къ источникамъ славянства и тамъ съ братскими чувствами встрѣчалъ родственныя племена. Польская литература вообще оставалась особенно чужда новѣйшему славянскому движенію,—но въ періодъ, о которомъ мы говоримъ, это движеніе и въ ней нашло отголосокъ, какъ нашло такой же отголосокъ въ русской литературѣ тѣхъ временъ, въ первыхъ зачаткахъ позднѣйшей славянофильской школы. Польскія имена занимаютъ немалое мѣсто въ тогдашнемъ славянскомъ движеніи, и когда оно сосчитывало свои силы, то къ именамъ Добровскаго, Коллара, Караджича, Шафарика и проч., смѣло прибавлялись имена Линде, Мацѣевскаго, Кухарскаго, Ходаковскаго, позднѣе Войцицкаго, Вацлава изъ Олѣска, и др., въ которыхъ видѣли дѣятелей, солидарныхъ съ національными стремленіями остального славянства. Черезъ это цѣлое, какимъ представлялось славянство, польская литература сближалась съ такими же стремленіями въ русской литературѣ; названныя имена были общеизвѣстны и популярны въ той области нашей литературы, ставились вопросы о національности и славянствѣ, объ изученіи народной жизни и поэзіи,—которыя должны были обновить литературу и общество свѣжими стихіями изъ самыхъ глубинъ народности. — Политическія отношенія Россіи и Польши послѣ наполеоновскихъ войнъ были въ своемъ медовомъ мѣсяцѣ, на пути примиренія и забвенія прошлаго; въ средѣ польскихъ политическихъ

людей высказывались стремленія къ тѣсному союзу съ Россіей, и эти стремленія были вполнѣ искреннія...

Было, безъ сомнѣнія, потерей для обоихъ обществъ то, что эти литературные начатки заглохли потомъ въ разразившейся политической борьбѣ: изъ нихъ могли вырости общіе историческіе интересы, совмѣстная критика племеннаго прошлаго, общія національно-образовательныя задачи, и могло бы быть устранено многое изъ тѣхъ племенныхъ недоразумѣній, которыхъ такъ много накоплялось издари и донынѣ, и по-крайней-мѣрѣ часть которыхъ не имѣла-бы смысла при какой-нибудь долѣ критики. Скажемъ для примѣра, что если бы въ польской наукѣ удержалось направленіе, начатое трудами знаменитаго Линде, не была бы возможна теорія Духинскаго о происхожденіи русскаго и польскаго племени, гдѣ мнимая филологія и этнографія служили только лишнимъ выраженіемъ политической ненависти, которой эта теорія вѣроятно еще съ своей стороны подбавила.

Въ тѣ же годы любопытнымъ образомъ высказалась возможность самыхъ теплыхъ сочувствій между русскимъ и польскимъ обществомъ. Въ послѣдніе годы императора Александра I произошелъ извѣстный разгромъ виленскаго университета, произведенный Новосильцовымъ. Открыто и уничтожено было патріотическое общество изъ молодежи университета, и въ числѣ высланныхъ изъ Вильны былъ Мицкевичъ, который тогда только-что издалъ свои первыя произведенія, обѣщавшія замѣчательнаго поэта. Около четырехъ лѣтъ Мицкевичъ прожилъ въ Москвѣ и Петербургѣ. Извѣстно, съ какими сочувствіями встрѣченъ былъ Мицкевичъ въ образованнѣйшемъ кругу обѣихъ столицъ: ему было заявлено столько внимательнаго уваженія, столько искренней симпатіи; его произведенія, писанныя и изданныя во время его московской и петербургской жизни, приняты были съ такимъ полнымъ признаніемъ ихъ поэтическаго достоинства,—что, надо думать, все это произвело на польскаго поэта довольно сильное впечатлѣніе. Всѣ позднѣйшія невзгоды, политическія бури, которыя его за собой увлекли, не изгладили изъ его памяти «друзей-москалей», которымъ много времени спустя онъ посвятилъ одно изъ своихъ послѣднихъ произведеній.

Возстаніе 1830—31 года оборвало эти отношенія. Между двумя племенами раскрылась пропасть; начатки взаимнаго пониманія прервались надолго; отношенія между «друзьями-москалями» и Мицкевичемъ кончились. Пушкинъ высказалъ свое настроеніе, мысли своего круга и едва-ли не цѣлаго общества въ извѣстныхъ стихотвореніяхъ 1831 года; въ 1834 году онъ вспо-

миналъ о пріязни съ Мицкевичемъ, который теперь въ глазахъ его былъ «злобный поэтъ, угодникъ черни буйной»...

На вооруженное возстаніе отвѣтомъ могло быть, конечно, только оружіе. За возстаніемъ слѣдовало уничтоженіе всѣхъ остатковъ устройства Польши, по постановленіямъ вѣнскаго конгресса. Но оставляя эту сторону дѣла, къ сожалѣнію видимъ, что въ большинствѣ общества событія не были поняты въ ихъ болѣе широкомъ національномъ смыслѣ. По мыслямъ Пушкина, въ стихотвореніи, имѣвшемъ чрезвычайную популярность и для большинства составляющемъ и теперь наиболѣе привычное изображеніе русско-польскихъ отношеній, возстаніе 1830—31 г. и его усмиреніе составляли только домашній старый споръ *славянъ*, уже взвѣшенный судьбой; Европѣ не разрѣшить этого спора, и на ея вмѣшательства Россія можетъ дать одинъ отвѣтъ — «стальную щетину».

Все это очень отвѣчало тогдашнему настроенію большинства, и голосъ поэта сочтенъ былъ за глубочайшее выраженіе національнаго взгляда. Современникамъ часто бываетъ очень трудно оцѣнить событія настоящей минуты, особенно, когда общество не привыкло къ пониманію политическихъ вопросовъ, когда, при полной недоступности для общества самаго изученія ихъ и критики, оставался очень мало извѣстенъ самый матеріалъ этихъ вопросовъ,—хотя, напримѣръ, въ польскомъ вопросѣ онъ былъ отчасти ясно видѣнъ. Только послѣ въ нашемъ обществѣ стала появляться мысль, что польско-русскій споръ вовсе не есть споръ только домашній въ томъ смыслѣ, какъ это понималъ Пушкинъ, и что для Россіи, быть можетъ, несравненно полезнѣе было-бы другое улаженіе этого спора, чѣмъ то, какое—съ однимъ небольшимъ промежуткомъ—длится послѣдніе полвѣка. Онъ не *только* домашній уже потому, что польское племя живетъ не въ одной Россіи, что значительныя доли его находятся въ Австріи и Пруссіи; и что бы ни дѣлалось въ русской Польшѣ, это не простиралось на австрійскую и прусскую; что невозможно было бы однако истребить тѣсной связи и взаимодѣйствія въ средѣ самого племени. Поэтому, волненія въ русской Польшѣ могли въ сущности всегда подавать поводъ къ иностранному вмѣшательству,—не воображаемому французскому, а положительному австрійскому и прусскому; если не дѣлалось его въ прежнее время, это было потому, что по тогдашнимъ обстоятельствамъ оно не было нужно или возможно... Въ настоящее время выясняется другое обстоятельство самаго серьёзнаго, даже трагическаго свойства, и гдѣ польскій вопросъ дѣлается нашимъ «домаш-

нимъ» совсѣмъ въ иномъ значеніи: въ послѣдніе полвѣка съ наглядной ясностью оказывается гибель прусской Польши подъ напоромъ нѣмецкаго «стремленія на востокъ», которое уже теперь колеблетъ нашу «домашнюю» границу и, надо полагать, въ скоромъ времени можетъ поколебать серьёзно,—по-крайней-мѣрѣ въ Германіи этого очень желаютъ публицисты. Въ отвѣтъ на вмѣшательство Европы, въ тридцатыхъ годахъ указывали, какъ на аргументъ самый убѣдительный, на стальную щетину. Недостаточность этого аргумента съ теченіемъ времени также выяснилась; стальная щетина оказалась неудовлетворительной уже въ крымскую войну, а въ настоящее время у нашихъ сосѣдей изготовлена щетина такой силы, что ее считаютъ чуть-ли не непреодолимой,—по-крайней-мѣрѣ, она показала замѣчательныя пробы своей твердости.

Въ томъ же стихотвореніи Пушкина поставленъ знаменитый вопросъ: «славянскіе-ль ручьи сольются въ русскомъ морѣ? Оно-ль изсякнетъ?» Самый вопросъ не ясенъ; онъ примыкаетъ къ вопросу о томъ, кто устоитъ *въ неравномъ* спорѣ, кичливый ляхъ, или вѣрный россъ;—но полагается обыкновенно, что передъ воображеніемъ поэта возставалъ вопросъ о будущемъ цѣлаго славянства. Положеніе славянскаго міра заключается однако не въ этой дилеммѣ: послѣднюю часть ея поэтъ считаетъ, конечно, невозможностью; но первая можетъ состоять вовсе не въ одномъ сліяніи славянскихъ ручьевъ въ русскомъ морѣ — тысячелѣтняя исторія западнаго славянства говоритъ объ исчезновеніи этихъ ручьевъ въ морѣ германскомъ; и при новыхъ условіяхъ европейской жизни это исчезновеніе можетъ пойти несравненно скорѣе, чѣмъ бывало прежде. Недавніе примѣры — національный упадокъ Познани, захватъ Босніи и Герцеговины.

Мысль о сліяніи ручьевъ въ славянскомъ морѣ, какъ мысль о стальной щетинѣ, пріобрѣла также немалую популярность, и дѣло вообще казалось не очень труднымъ; но при этомъ забывалось обыкновенно еще одно — насколько и въ какихъ видахъ ручьи могутъ желать сліянія? Дѣло представлялось только съ военно-политической точки зрѣнія, и не являлось вопроса о внутренней сторонѣ національныхъ отношеній; онѣ какъ будто не приходили въ голову относительно самой Польши. «Отбунтовала вновь Варшава»—говорится въ другомъ стихотвореніи 1831 года, какъ будто бунтовать было для Варшавы спеціальное занятіе, ремесло. Но отчего же она бунтовала? Можно было счесть польское возстаніе за политическую ошибку (чѣмъ оно и было), можно было негодовать на предательскія убійства, которыя всегда ненавистны, но можно было замѣтить, что побуж-

деніе, двигавшее массы на борьбу, въ сущности безнадежную, была любовь къ родинѣ, страстная приверженность къ своей національности. Тѣ поколѣнія, которыя возставали въ 1830 году, могли еще помнить Польшу свободную, или же выростали на ея свѣжихъ развалинахъ. Этимъ поколѣніямъ приходилось расплачиваться за тысячелѣтнюю исторію, выносить на себѣ послѣдствія всѣхъ ошибокъ стараго государства, всей исключительности предковъ; передъ самымъ концомъ, въ знаменитой «конституціи 3 мая» уже слышно сознаніе необходимости отложить это прошедшее и идти къ новому общественному порядку, — но уже было поздно. Положеніе польскаго общества въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія было по-истинѣ трагическое: то Польша дѣлилась на части сосѣдями, точно выморочное имущество, то являлись надежды, основывалось опять что-то полунезависимое, то новый дѣлежъ безъ всякаго спроса населенія. Не трудно было терять голову въ этой смѣнѣ политическихъ переворотовъ, и при томъ живомъ, впечатлительномъ, богатомъ фантазіей характерѣ, какимъ отличается польское племя, не трудно было встрѣчать съ энтузіазмомъ каждую надежду, обманываться и все-таки не научиться. Такъ, поляки увлеклись Наполеономъ, увлеклись до мистицизма, до фантастической религіи, до вѣры въ Наполеоновскую «идею» (какъ Мицкевичъ въ сороковыхъ годахъ) — это была соломенка, за которую хватался утопающій... Довольно было подумать объ этомъ внутреннемъ состояніи польскаго общества, чтобы вражда, возбужденная событіями, смягчилась человѣческимъ сочувствіемъ къ дѣйствительно тяжкому историческому положенію, — если уже не вспоминать о томъ, что это было племя славянское, родственное. У Пушкина нѣтъ этой точки зрѣнія; напротивъ, у него остается почти тотъ же, если не совершенно тотъ же, Державинскій взглядъ, что Польша есть гидра и «тристаты злобы». Онъ отталкиваетъ европейскихъ «витій»: они не читали «кровавыхъ скрижалей», имъ чужда эта «семейная вражда», для нихъ «безмолвны Кремль и Прага». Слѣдовательно, продолжается историческое преданіе, обязывающее къ отместкѣ, — хотя людямъ болѣе безпристрастнымъ и раньше 1830 г. казалось, что Кремлю и Прагѣ пора отойти въ исторію [1]) — все-

[1]) Слова князя Вяземскаго въ его „Исповѣди“, писанной въ 1829 году: „...Живя въ Польшѣ, не ржавѣлъ я въ запоздалыхъ воспоминаніяхъ о поляках въ Кремлѣ и русскихъ въ Прагѣ, а былъ посреди сопленнныхъ современниковъ съ умомъ и душою, открытыми къ впечатлѣніямъ настоящей эпохи“. Полное Собр. Сочин. кн. Вяземскаго, II, стр. 89—90.

бенно для *сильнѣйшей* стороны. Патріотическое увлеченіе Мицкевича Пушкинъ судитъ также какъ участіе въ бунтѣ: тотъ поэтъ, который «вдохновенъ былъ свыше и съ высоты взиралъ на жизнь», который «нерѣдко говорилъ о грядущихъ временахъ, когда народы, распри позабывъ, соединятся въ великую семью», —этотъ поэтъ превратился, по мнѣнію Пушкина, въ «угодника буйной черни». Въ дѣйствительности, Мицкевичъ въ возстаніи не принималъ никакого участія, и быть угодникомъ буйной черни ему совсѣмъ не пришлось; онъ присталъ къ дѣлу уже потерянному, когда дѣятели усмиреннаго возстанія бѣжали за границу, бѣдствующіе и отчаявавшіеся. Мицкевичъ раздѣлилъ ихъ участь; онъ не вернулся на родину, но и здѣсь, когда онъ сталъ поэтомъ эмиграціи, онъ вовсе не былъ угодникомъ буйной черни,—потому что здѣсь была далеко не чернь, а высшіе польскіе аристократы, какъ Чарторыскіе, знаменитые ученые, какъ Лелевель, извѣстные поэты, какъ Нѣмцевичъ, Залѣскій, Гощинскій, Словацкій, Гарчинскій и проч., предпочитавшіе изгнаніе потерѣ свободы... Пушкинъ пожелалъ мира душѣ «злобнаго» поэта, но осталось неясно, чѣмъ могъ бы быть низведенъ этотъ миръ въ душу поэта, который съ тѣхъ поръ и до конца велъ жизнь, исполненную душевнаго и матеріальнаго бѣдствія.

На событія отозвалась двумя стихотвореніями и поэзія Жуковскаго. Одно изъ нихъ («Старая пѣсня на новый ладъ») прямо написано на голосъ «Громъ побѣды раздавайся», и дѣйствительно написано въ старинномъ вкусѣ воинственныхъ одъ; таково же и второе патріотическое стихотвореніе, которому между прочимъ дало матеріалъ паденіе Варшавы. Оба и въ поэтическомъ отношеніи нимало не замѣчательны.

Стихотворенія Пушкина: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина», и «Старая пѣсня» Жуковскаго вышли въ 1831 году особой брошюрой подъ заглавіемъ «На взятіе Варшавы». Мы укажемъ еще стихотворенія, внушенныя польскими событіями двумъ другимъ, хотя не первостепеннымъ, но замѣчательнымъ поэтамъ, начинавшимъ тогда свое поприще. Это — Ѳ. И. Тютчевъ и Хомяковъ. Но ихъ стихотворенія изданы были только въ послѣднее время—вѣроятно потому, что въ свое время появленіе ихъ считалось неудобнымъ.

Тютчевъ былъ на половину человѣкъ «европейскихъ», «западныхъ» понятій, на половину—славянофилъ. Въ стихотвореніи его (которое и въ 1879 году напечатано, повидимому, не вполнѣ) судьба польскаго возстанія излагается въ такихъ чертахъ. Мы совершили роковой ударъ надъ Варшавой, чтобы сохранить цѣ-

лость и покой Россіи; мы поступили какъ Агамемнонъ, приносившій родную дочь на закланіе богамъ. Въ бою руководила нами не жестокость, не «чревобѣсіе меча»; у русскихъ билась въ груди другая мысль и вѣра—грознымъ примѣромъ сохранить цѣлость державы,—

Славянъ родныя поколѣнья
Подъ знамя русское собрать,
И весть на подвигъ просвѣщенья
Единомысленную рать.

Нашъ доблестный народъ вело именно это «высшее сознанье» и онъ смѣло беретъ на себя оправданіе «небесныхъ путей»: онъ чуетъ надъ своей головой звѣзду въ незримой высотѣ и идетъ за нею къ таинственной цѣли:

Ты-жъ, братскою стрѣлой пронзенный,
Судебъ свершая приговоръ,
Ты палъ, орелъ одноплеменный,
На очистительный костеръ!
Вѣрь слову русскаю народа:
Твой пепелъ мы свято сбережемъ,
И наша *общая свобода,*
Какъ фениксъ, возродится въ немъ!

Мысль стихотворенія допускала бы разныя возраженія. Что Россія, свершая роковой ударъ, искала сохранить цѣлость державы, это было справедливо и очевидно; но поэтъ едвали не былъ слишкомъ самоувѣренъ, когда брался говорить за русскій народъ, высказывать его мысль и вѣру. Спеціальная «патріотическая» поэзія тѣхъ временъ, и болѣе ранніхъ, да и болѣе позднихъ,—которой нельзя же не брать въ разсчетъ, говоря объ общественномъ настроеніи,—очень рѣдко выражала ту мысль и вѣру, какую высказалъ нашъ поэтъ; къ сожалѣнію, именно такой мысли бывало всегда слишкомъ мало. Говорить о «народѣ» въ столь далекихъ и сложныхъ вопросахъ есть, у насъ, всегда большая поэтическая вольность; «общество»—за немногими исключеніями —или совсѣмъ не интересовалось славянскимъ вопросомъ (частію, справедливо считая его пока журавлемъ въ небѣ), или понимало его наивно, или очень грубо. Но при всемъ томъ стихотвореніе Тютчева производитъ иное впечатлѣніе, чѣмъ указанныя стихотворенія Пушкина и Жуковскаго: «домашній споръ» представлялся поэту иначе; ему не приходитъ въ голову еще грозиться и восторгаться воинственными кликами, штыками, торжествами и пр.; «роковой ударъ» кажется ему не мщеніемъ, не пораженіемъ гидры, а очистительной жертвой, совершаемой съ горемъ надъ близкимъ, роднымъ существомъ для будущаго общаго блага; онъ,

хотя «на незримой высотѣ», предполагаетъ таинственную путеводную звѣзду, которая—онъ убѣжденъ—приведетъ къ возвышенному примиренію спора въ «общей свободѣ».

Подобнымъ образомъ, совсѣмъ иное теченіе мыслей указываетъ поэзія Хомякова, еще не члена и не главы школы, но уже панслависта in spe. Въ стихотвореніи 1831 г., названномъ «Одой»,—предшествовавшемъ знаменитому «Орлу» (1832), но напечатанномъ только въ 1861 году — поэтъ съ инымъ чувствомъ взглянулъ на событіе. «Внимайте голосъ истребленья!» начинаетъ онъ свою оду, и рисуетъ картину битвы, мѣрный шагъ пѣшей рати и натискъ конницы («стальная щетина»), ревъ пушекъ, знакомый крикъ торжествъ, но рядомъ съ торжествами — стонъ смерти, родной плачъ, и кончаетъ картину:

О, замолчите, битвы громы!
Остановись, кровавый бой!

Онъ не радуется торжеству; ему не приходитъ въ голову грозиться европейскимъ витіямъ новыми побоищами, онъ не вызываетъ кровавыхъ преданій. Его чувству и мысли событія представляются совсѣмъ съ иной стороны. Побоище возмущаетъ его, внушаетъ ему негодованіе, — онъ проклинаетъ его потому, что видитъ въ немъ братоубійство. Послѣднія двѣ строфы «Оды» таковы:

Потомства пламеннымъ проклятьямъ
Да будетъ преданъ тотъ, чей гласъ
Противъ славянъ славянскимъ братьямъ
Мечи вручилъ, въ преступный часъ!
Да будутъ прокляты сраженья,
Одноплеменниковъ раздоръ
И перешедшей въ поколѣнья
Вражды безсмысленной позоръ;
Да будутъ *проклятъ предатя*,
Вѣковъ изчезнувшихъ *обманъ*,
И повѣсть мщенья и страданья,
Вина неисцѣлимыхъ ранъ!

И взоръ поэта вдохновенный
Ужъ видитъ новый вѣкъ чудесъ...
Онъ видитъ:—гордо надъ вселенной,
До свода синяго небесъ,
Орлы славянскіе взлетаютъ
Широкимъ, дерзостнымъ крыломъ,
Но мощную главу склоняютъ
Предъ старшимъ сѣвернымъ орломъ.

Ихъ твердъ *союзъ*, горятъ перуны,
Законъ ихъ властенъ надъ землей,
И будущихъ Бояновъ струны
Поютъ согласье и покой!...

Проклятіе преданьямъ очень знаменательно; въ будущемъ поэтъ видитъ примиреніе—въ славянской свободѣ и союзѣ подъ русской гегемоніей.

III.

Если пятьдесятъ лѣтъ назадъ польскій вопросъ не былъ доступенъ формѣ поэтической (какъ можно видѣть изъ поздняго появленія стихотвореній Тютчева и Хомякова, писанныхъ въ 1831), то онъ былъ совсѣмъ недоступенъ для свободнаго сужденія публицистическаго. Въ журналахъ того времени напрасно было бы искать такого сужденія о польскомъ вопросѣ; политическіе сюжеты были вообще недоступны для тогдашней литературы; единственная частная газета, имѣвшая политическій отдѣлъ, была «Сѣверная Пчела», Греча и Булгарина.

Писатель, на которомъ прежде всего можно остановиться, есть Погодинъ. Съ 1831 года и до конца шестидесятыхъ годовъ, онъ усердно писалъ о польскомъ вопросѣ, разбиралъ его и съ той, и съ другой стороны; но эти писанія Погодина — кромѣ двухъ-трехъ незначительныхъ статей—не принадлежали литературѣ, потому что онъ никакъ не могъ ихъ въ свое время напечатать. Статьи его ходили иногда въ рукописи, были даже изданы за границей (кажется, въ нѣмецкомъ переводѣ), но при всемъ извѣстномъ, многоразлично засвидѣтельствованномъ патріотизмѣ автора, дома не могли увидѣть свѣта до 1867 года.

Въ этомъ году состоялось, наконецъ, изданіе, за которое Погодинъ безуспѣшно принимался два раза передъ тѣмъ. Въ предисловіи онъ разсказываетъ исторію своихъ попытокъ говорить о польскомъ вопросѣ. Началъ онъ писать о немъ, какъ мы сказали, съ 1831 года; послѣ второго возстанія, онъ рѣшилъ собрать въ книгу свои статьи и записки. Въ предисловіи къ предполагавшемуся изданію (въ 1863) онъ писалъ: «Вся европейская печать кишитъ статьями о польскомъ вопросѣ. Неужели молчать должны только мы, русскіе, до которыхъ онъ больше всѣхъ касается? Нѣтъ, европейцы должны узнать наше мнѣніе, должны принять на свои вѣсы наши доказательства. Вѣсы ихъ, мы знаемъ, кривы, невѣрны, когда дѣло касается предметовъ, приносящихъ

пользу или причиняющихъ вредъ Россіи, которая до сихъ поръ представляется въ ихъ воображеніи какимъ-то грознымъ призракомъ, но все-таки мы должны говорить хоть для немногихъ способныхъ судить sine ira et studio». Но книга не вышла, «по цензурнымъ недоразумѣніямъ», какъ говоритъ Погодинъ: надо было заключить, что хотя бы вопросъ всего ближе касался именно русскихъ, выраженіе ихъ мыслей считалось излишнимъ,—когда онѣ не совпадали совершенно съ мнѣніями оффиціальными; что содѣйствіе и участіе общества, путемъ нѣсколько свободнаго выраженія мнѣнія о вопросѣ, хотя и имѣвшемъ глубокую общественную и политическую важность, было невозможно... Затѣмъ, возстаніе было окончательно усмирено; предпринято и совершено исторически знаменательное преобразованіе крестьянскаго быта; поляки продолжали волноваться; Погодинъ, прожившій долго въ Варшавѣ, въ 1865 снова нашелъ необходимымъ высказать свои мнѣнія, свои пожеланія и совѣты полякамъ, но и на этотъ разъ его намѣреніе не осуществилось. Онъ могъ сдѣлать, наконецъ, свое изданіе уже въ 1867 году: книга, которая могла очень заинтересовать за нѣсколько лѣтъ раньше, осталась очень мало извѣстна; о ней почти не говорили—съ одной стороны, мнѣнія и совѣты запоздали; съ другой, быть можетъ, чувствовалось, что интересоваться безполезно, потому что интересъ остался бы платоническимъ.

Вслѣдствіе указаннаго способа появленія, книга Погодина меньше принадлежитъ къ публицистикѣ, чѣмъ къ историческимъ воспоминаніямъ. Это—своего рода мемуары; читатель не найдетъ здѣсь однородной мысли; напротивъ, онъ найдетъ сначала одну точку зрѣнія, потомъ другую; авторъ проходитъ передъ читателемъ ступени развитія,—и читатель не успѣетъ одобрить автора за иную счастливую мысль, какъ авторъ на слѣдующей страницѣ отречется отъ нея. Такимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло не съ опредѣленнымъ взглядомъ, а съ сборникомъ мнѣній автора въ разныя эпохи его живни, подъ разными впечатлѣніями; закончено было все это—тѣмъ обычнымъ, такъ-сказать обще-армейскимъ взглядомъ на польскій вопросъ, гдѣ слышались слова «интрига», «поджогъ», «дѣланіе фальшивыхъ ассигнацій», «обрусѣніе» и т. д.

О свойствѣ мнѣній Погодина намъ уже случалось говорить. Его довольно удачно характеризовали однажды какъ «средняго русскаго человѣка», который сегодня говоритъ одно, завтра другое, смотря по обстоятельствамъ, сохраняя видъ независимости, говоря иногда смѣлыя вещи, но за то наканунѣ, или на другой день, или тутъ же прикрашивая ихъ самой необузданной лестью въ

«патріотическомъ» родѣ. Погодинъ не былъ при этомъ совсѣмъ не искренень,—напротивъ, и его смѣлость, и его патріотическія гиперболы бывали часто вполнѣ искренни; но въ то же время онъ былъ и политикъ, разсчитывавшій свои слова по различнымъ соображеніямъ, и иногда черезъ-чуръ много давалъ мѣста этой политикѣ. Въ концѣ-концовъ,—при всемъ томъ, что иногда говорилъ онъ вещи правдивыя и полезныя, онъ не имѣлъ въ литературѣ того значенія, какое по своимъ изобильнымъ трудамъ могъ бы и долженъ бы, повидимому, имѣть. Напротивъ, та слабая сторона его писаній, о которой мы сейчасъ упоминали, въ глазахъ людей, не занимавшихся той политикой, подрывала совсѣмъ уваженіе къ его голосу.

Въ предисловіи Погодинъ указываетъ на оттѣнки своихъ мнѣній о польскомъ вопросѣ въ разное время. «Я писалъ о Польшѣ нѣсколько разъ, съ 1830 года, по разнымъ случаямъ, и представилъ осязательныя доказательства расположенія къ полякамъ, въ самое тяжелое для нихъ время: напримѣръ, въ 1839 году я настаивалъ на покровительствѣ польскому языку, литературѣ и исторіи; въ 1854 году предлагалъ совершенное отдѣленіе Польши отъ Россіи и возвращеніе политической самобытности въ предѣлахъ польскаго языка; въ 1856 году желалъ ей полной автономіи». Поэтому онъ считалъ своей обязанностью и вмѣстѣ правомъ подать свой голосъ и въ новыхъ отношеніяхъ, созданныхъ событіями 1862 года.

Разсматривая вновь польскія дѣла, настоящее въ связи съ прошедшимъ, Погодинъ приходилъ вообще къ такимъ заключеніямъ:

«Польша, *разумно*, не должна и желать отдѣленія отъ Россіи.

«Россія, *разумно*, не можетъ отдѣлить отъ себя Польшу, еслибъ и хотѣла.

«Поляки ничего не могутъ надѣяться отъ Запада по историческимъ причинамъ, по ходу дѣлъ.

«Единственная ихъ надежда на улучшеніе должна относиться къ Россіи, съ которою соединила ихъ судьба и исторія, а не нынѣшнее правительство.

«Западныя губерніи, заселенныя русскимъ племенемъ, на кои поляки разсчитывали прежде всего, составляютъ неразрывную, неотъемлемую часть Россіи, по единодушному сознанію и рѣшенію (?) всего русскаго народа, — не только правительства, которое въ этомъ случаѣ выражаетъ только (?) общую волю.

«Поляки могутъ оставаться тамъ только какъ русскіе. Тѣ, которые живо сознаютъ свое польское происхожденіе, должны

удаляться оттуда въ Польшу, такъ-называемую, съ выкупными листами, или векселями, кои, въ такомъ случаѣ, выдало бы имъ русское правительство».

Затѣмъ, мятежъ усмиренъ, правительство дало гражданскія права польскому крестьянству, объявило широкую амнистію участникамъ въ возстаніи—и однако же это не произвело на шляхту, или на эмиграцію никакого дѣйствія,—«какъ-будто-бъ ничего и не происходило новаго ни въ Россіи, ни въ Польшѣ: поляки продолжали протестовать, кознодѣйствовать, распускать фальшивыя ассигнаціи, поджигать и требовать не только границъ 1772 года, но даже Кіева!»

«При всякомъ случаѣ,—продолжаетъ Погодинъ,—я подавалъ свой голосъ [1]), призывая враговъ къ миру, согласію, любви, доказывая вмѣстѣ очевидную невозможность успѣть по другому пути. Въ 1865 году, послѣ продолжительнаго пребыванія въ Варшавѣ, я написалъ статью, поведя разсужденіе иною дорогою: я старался стать *совершенно* на мѣсто поляковъ, смотрѣть ихъ глазами, взять на-прокатъ ихъ желанія, принять безъ разсужденія ихъ средства, стремиться къ ихъ цѣли, — и все-таки я пришелъ къ неотразимому заключенію о неизбѣжности союза, соединенія — подъ *какою бы то ни было* формою — Россіи и Польши»...

«Шляхта польская является совершенно глухою ко всѣмъ словамъ мира, согласія, родства, и совершенно чуждою не только славянъ, но даже своего собственнаго народа. Ослѣпленіе непостижимое!.. Я давно уже увѣрился въ западномъ, кельтическомъ или романскомъ, ея происхожденіи, но теперь увѣрился еще вотъ въ чемъ: пришлецы въ Польшѣ никогда не соединялись съ туземцами, какъ соединились они у насъ и въ другихъ странахъ, болѣе или менѣе, — такъ что шляхта и народъ составляютъ тамъ до сихъ поръ два совершенно различныя общества. Иначе не умѣю я объяснить себѣ послѣднихъ явленій.

«Habent sua fata nationes. Шляхта нынѣшняя, какъ древніе евреи, изведенные изъ Египта, должна погибнуть въ сорокалѣтнемъ странствіи по пустынѣ европейской, а новая Польша съ освобожденными крестьянами и городами должна начать новую жизнь, новую исторію, въ соединеніи съ Россіею. — Такъ, кажется, угодно Богу! Къ тому ведутъ событія».

---

[1]) Онъ забылъ только прибавить, что этотъ голосъ онъ часто подавалъ только „про-себя", потому что голоса его даже 1830-хъ годовъ явились впервые въ печати только въ 1867.

Здѣсь уже высказывается точка зрѣнія Погодина. Мы не будемъ излагать содержанія его статей о польскомъ вопросѣ. Довольно сказать, что онъ не разъ выражаетъ очень доброжелательное и высокое мнѣніе о польскомъ племени, называя его «блистательнѣйшимъ и даровитѣйшимъ славянскимъ племенемъ, однимъ изъ первыхъ членовъ всего славянскаго союза, который составлялъ мечту моей (Погодина) молодости»; что русско-польскія отношенія онъ понималъ такъ, какъ вообще понимали его болѣе благоразумные и умѣренные люди: онъ признавалъ національныя стремленія поляковъ — въ предѣлахъ польскаго языка. Западнаго края (еще въ статьяхъ 1831 года) онъ никакъ имъ не уступалъ, такъ какъ это — край издревле и донынѣ русскій, т.-е. съ огромнымъ большинствомъ русскаго населенія. Онъ опровергалъ обвиненія поляковъ противъ Россіи за раздѣлы: причиной раздѣловъ была не одна Россія, а прежде всего распаденіе самой государственной системы польскаго королевства; Польша сама вела себя къ тому концу, какимъ завершились времена ея независимости; при внутреннемъ разложеніи она физически не могла сохраниться среди сильныхъ сосѣдей, — притомъ Россія брала (въ западномъ краѣ) свое же древнее достояніе. Польша ничего не выиграетъ отъ европейскихъ покровителей: они пользуются ею только какъ орудіемъ, когда хотятъ сдѣлать какое-нибудь затрудненіе Россіи, а къ ея собственнымъ интересамъ совершенно равнодушны. Полякамъ остается одно — довѣриться и положиться на доброту русскаго общества.

Эти положенія теперь вообще очень извѣстны; онѣ много разъ повторялись въ нашей литературѣ со времени послѣдняго возстанія, повторялись и старымъ и малымъ, повторялись и людьми умѣренными, и людьми дикими и злобными, и послѣдніе, къ сожалѣнію, примѣсью своихъ личныхъ настроеній подрывали силу самыхъ доказательствъ. Многое въ указанныхъ положеніяхъ исторически справедливо, хотя многое историческое поставлено очень неполно, и практическіе выводы и совѣты не довольно примѣнимы. Дальше мы будемъ имѣть случай къ нимъ возвратиться, и остановимся теперь на нѣкоторыхъ спеціальныхъ мнѣніяхъ Погодина.

Одно изъ любопытнѣйшихъ мнѣній, близко подходившихъ къ истинѣ, но все еще далеко не полныхъ, и при всей этой неполнотѣ оставшихся безъ малѣйшаго результата, есть то, которое Погодинъ высказалъ въ своемъ извѣстномъ (теперь) донесеніи министру народнаго просвѣщенія о путешествіи по славянскимъ странамъ въ 1839 году. Онъ указывалъ на необхо-

димость вниманія и покровительства польскому языку, историческому изученію, литературѣ. Погодинъ издавна былъ заинтересованъ славянскимъ вопросомъ, развитіемъ славянскаго возрожденія: въ два путешествія онъ видѣлъ во-очію факты этого возрожденія, между прочимъ въ самой Польшѣ лично узналъ тѣхъ дѣятелей, которые вели тогда (какъ выше замѣчено) въ польской литературѣ параллельные труды, оставшіеся потомъ, къ сожалѣнію, безъ продолженія. Едва ли сомнительно, что именно подъ вліяніемъ теорій славянскаго возрожденія образовались его взгляды на необходимость покровительства польскому языку, — взгляды, правда, очень неполные, но справедливая доля которыхъ и теперь, черезъ сорокъ лѣтъ, все еще остается у насъ непонятна.

«Поляки самое живое, впечатлительное племя,—писалъ Погодинъ въ 1839 году.—Къ самымъ дѣйствительнымъ мѣрамъ примирить ихъ съ нами, ибо они все еще ненавидятъ насъ, есть покровительство ихъ языку, литературѣ, исторіи (я говорю о царствѣ польскомъ), и на-оборотъ—ничто столько не питаетъ злобы, какъ мѣры противоположныя. Языку польскому въ учебныхъ заведеніяхъ царства надо учить наравнѣ съ русскимъ. Если мы будемъ учить ему недостаточно, то поляки будутъ доучиваться ему дома гораздо съ бо́льшимъ рвеніемъ и успѣхомъ, какъ то бываетъ со всякимъ запрещеннымъ предметомъ, и мы не только не достигнемъ своей цѣли, но еще болѣе отдалимся отъ нея и, сверхъ того, будемъ вооружать тайныхъ враговъ. Скажу вообще: мысль уничтожить какой-нибудь языкъ есть мысль физически невозможная; языка у народа уничтожить такъ же нельзя, какъ лишить его одного изъ пяти чувствъ, данныхъ Богомъ. Языкъ есть такой же природный, неотъемлемый органъ, какъ и прочіе,—только драгоцѣннѣйшій для человѣка, потому что тѣсно связанъ съ его разумною душою. Тѣмъ болѣе должно сказать это объ языкѣ развитомъ, историческомъ, литературномъ. Австрійцы подаютъ въ этомъ случаѣ убѣдительный примѣръ: чего достигли они, уничтожая систематически въ теченіи вѣковъ славянскія нарѣчія?—увеличили ихъ силу, содѣйствовали ихъ развитію, приготовили своими плотинами такіе водопады, которые готовятся теперь поглотить ихъ самихъ»...

Въ послѣднихъ словахъ выразился именно оптимизмъ періода возрожденія. Съ тѣхъ поръ славянство успѣло убѣдиться, что языкъ дѣйствительно можетъ быть истребленъ весьма основательно при извѣстныхъ политическихъ и культурныхъ условіяхъ, что славянство таяло передъ германскими вліяніями не только въ средніе вѣка, но и въ самомъ XIX столѣтіи. Но слова По-

година относительно польскаго языка, въ его условіяхъ, были справедливы, и потребность, имъ указываемая, въ дѣйствительности была еще болѣе настоятельна, чѣмъ онъ предполагалъ.— Въ частности, онъ указывалъ министру необходимость поддержать труды знаменитаго польскаго лексиколога—Линде.

«Я говорилъ объ языкѣ,—продолжаетъ онъ.—Теперь обращаюсь къ исторіи. Польской исторіи не преподаютъ въ училищахъ особо, а вмѣстѣ съ всеобщею. Напрасно! Польская исторія, безпристрастная, правдивая, подробная, есть самая вѣрная союзница Россіи, которая можетъ принести намъ пользы *болѣе нѣсколькихъ крѣпостей*... Другое дѣло—исторія польская злоупотребленная,—исторія, направленная умышленно къ беззаконной цѣли. О, такую исторію должно преслѣдовать, какъ злостный обманъ, какъ оскорбленіе науки, какъ святотатство. По симъ причинамъ необходимо написать вновь польскую исторію для училищъ,—задавъ тэму польскимъ ученымъ, съ значительнымъ вознагражденіемъ... Вмѣстѣ съ польскою и русскою исторіей должно преподавать исторію прочихъ славянскихъ государствъ и показывать, какъ искони раздоръ и несогласіе губили и подвергали жестокому игу иноплеменниковъ, подъ которымъ нигдѣ и никогда славяне не были счастливы... Введеніе исторіи избавитъ насъ отъ упрековъ, которые безпрестанно слышатся по этому поводу между иностранцами.

«О литературѣ. Теперь въ Польшѣ ея почти не существуетъ: она вся между эмигрантами и въ Позенѣ,—третій предметъ обвиненія для русскаго правительства. Необходимо должно оказать покровительство оставшимся литераторамъ въ Варшавѣ, тѣмъ болѣе, что предметы ихъ занятій *слишкомъ невинны* и не могутъ причинить вреда ни въ какомъ отношеніи» (онъ говоритъ опять о Линде, Кухарскомъ, Крыжановскомъ, Мацѣевскомъ).

«Наконецъ, осуждаютъ русское правительство даже *самые славяне, приверженные къ намъ*, за то, что въ Польшѣ нѣтъ университета. Такъ, говорятъ они, пять милліоновъ лишены средствъ для высшаго образованія, которое составляетъ общую цѣль человѣчества. *Не смѣю* (?) сказать ни слова объ этомъ обвиненіи, ибо основаніе университета въ Польшѣ соединено съ политическими обстоятельствами, и этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ основательно *не ученымъ*, который стоитъ *внизу* (?) и видитъ его съ одной стороны, но мужемъ государственнымъ, который смотритъ на него сверху и видитъ со всѣхъ сторонъ, въ соединеніи съ прочими вопросами государственными. Я скажу здѣсь только, почему для прекращенія криковъ, *можетъ быть*,

и неосновательныхъ, не назвать (!!) университетомъ тѣхъ двухъ-лѣтнихъ дополнительныхъ курсовъ, которые вводятся, какъ я слышалъ, при варшавскихъ гимназіяхъ? Языки древніе, нарѣчія славянскія съ ихъ литературами, науки естественныя, математическія, медицинскія, русское право, римское право,—такіе предметы могутъ быть преподаваемы безопасно кѣмъ бы то ни было. Другіе предметы могутъ быть оставлены на сколько угодно лѣтъ, за неимѣніемъ преподавателей (!)... Можетъ быть, опасно соединеніе многихъ молодыхъ людей вмѣстѣ — пусть факультеты и даже лекціи раздѣлятся по разнымъ домамъ».

Погодинъ заключаетъ: «Покровительство языку, литературѣ, исторіи и вообще просвѣщенію въ Польшѣ, покровительство, впрочемъ, въ предѣлахъ благоразумія и осторожности, безъ ущерба русскому началу (?), можетъ имѣть благодѣтельное вліяніе и на прочія славянскія племена, которыя смотрятъ на Польшу какъ на образецъ русскаго управленія. Оно весьма важно для будущихъ возможныхъ отношеній Россіи къ славянскому міру. Нѣмцы, указывая славянамъ на Польшу, при нѣкоторыхъ случаяхъ — разумѣется, въ свое невѣрное стекло — говорятъ имъ: лучше ли полякамъ у русскихъ, чѣмъ вамъ у насъ?» [1])...

Читатель, безъ сомнѣнія, уже замѣтилъ странныя неровности въ этомъ изложеніи: рекомендуя покровительство польскому языку, литературѣ, вообще просвѣщенію, Погодинъ тутъ же предлагаетъ рядъ, такъ-сказать, полицейскихъ мѣръ, которыя удержали бы это просвѣщеніе въ должномъ предѣлѣ. Можно бы подумать, что оговорки, которыми онъ сопроводилъ свои предложенія, имѣли источникъ въ томъ обстоятельствѣ, что записка должна была идти въ такія сферы, гдѣ вовсе не были склонны къ покровительству польской народности, и что нужно было впередъ отклонить недовѣріе и опасенія. Но едва ли это такъ: по всему тону разсужденія видно, что оговорки принадлежатъ и его собственному взгляду, что онъ самъ, предлагая мѣры для покровительства польской національности, хотѣлъ быть не только патріотомъ, но и тонкимъ, разсчетливымъ дипломатомъ, устраняющимъ возможныя опасности. Такая дипломатія очень обычна въ рутинномъ бюрократическомъ взглядѣ на вопросы народности и просвѣщенія; ее неудивительно встрѣтить въ канцеляріи, но странно видѣть ее въ записке ученаго историка, которому нужно было бы имѣть понятіе объ условіяхъ успѣховъ литературы и просвѣщенія. Начать съ того, что, рекомендуя «правдивую» исторію,

[1]) „Польскій Вопросъ", Москва, 1867, стр. 29—34.

какъ самую вѣрную союзницу Россіи, и собираясь «преслѣдовать» исторію «злоупотребленную», Погодинъ оставлялъ въ читателяхъ записки очень скользкое понятіе объ этихъ двухъ рубрикахъ. Кто станетъ различать исторію «правдивую» отъ «злоупотребленной?» Въ преподаваніи школьномъ еще возможно было бы устранить недоумѣніе подобнаго рода, принявши опредѣленные учебники; но какая возможность устранить его въ литературѣ? Погодинъ, какъ историкъ, долженъ былъ знать, что въ историческомъ изслѣдованіи бываютъ возможны у двухъ ученыхъ прямо противоположные взгляды на предметъ, лично для нихъ даже совершенно безразличный, напр., принадлежащій къ отдаленной древности, къ хронологическимъ цифрамъ, къ географіи, археологіи и т. п.; что различіе взглядовъ еще естественнѣе тамъ, гдѣ историкъ въ своемъ изслѣдованіи встрѣчается съ сложными явленіями новѣйшаго времени, гдѣ онъ самъ испытываетъ на себѣ то или другое вліяніе факта, становится къ нему въ извѣстное нравственное отношеніе. Исторіографія представляетъ безчисленные примѣры крайняго различія, прямой противоположности взглядовъ: безъ этого немыслимо самое развитіе науки, потому-что научно-историческое рѣшеніе только и возможно послѣ критическаго опредѣленія всѣхъ сторонъ предмета, представляемыхъ въ отдѣльности исключительными взглядами спорящихъ историковъ. Польскіе историки, едва тогда приступавшіе къ дѣлу, очень легко и естественно могли разнорѣчить съ историками русскими, также едва приступавшими къ дѣлу: разобрать ихъ несогласіе могла только *свободная съ обѣихъ сторонъ* историческая критика,—а не тотъ неизвѣстный, который, по рецепту Погодина, безъ дальнихъ разговоровъ принялся бы «преслѣдовать злоупотребленную исторію» и казнить ее какъ «святотатство».

Но справедливо, что «правдивая» польская исторія была бы самой вѣрной союзницей Россіи,—потому-что разъяснила бы дѣйствительныя отношенія двухъ народовъ, ихъ общую пользу и ихъ ошибки—того и другого.

Говоря о литературѣ, Погодинъ вѣрно указалъ, что въ Польшѣ ея почти не существовало, что вся она въ эмиграціи и въ Познани, и что это составляетъ третье обвиненіе противъ русскаго правительства. Но онъ опять совѣтуетъ нѣчто, совершенно недостаточное для устраненія этого обвиненія противъ русскаго отношенія къ Польшѣ. Онъ совѣтуетъ оказать покровительство «оставшимся литераторамъ»—«тѣмъ болѣе, что предметы ихъ занятій *слишкомъ невинны* (!) и не могутъ причинить вреда ни въ какомъ отношеніи», и рекомендуетъ польскихъ археологовъ. Опять просто-

душіе, въ ученомъ историкѣ изумительное! Хорошо было бы, если бы помогли Линде, Мацѣевскому и проч.; но что же это измѣняло въ положеніи «литературы»? Совершенно ничего; «литература» осталась бы все-таки въ эмиграціи и въ Познани: въ эмиграціи оставался бы по-прежнему величайшій поэтъ польскій Мицкевичъ и цѣлая плеяда другихъ, менѣе сильныхъ, но составлявшихъ цвѣтъ тогдашней польской литературы. «Оставшіеся литераторы», слишкомъ «невинные» и на взглядъ самого Погодина, не могли никакъ замѣнить отсутствія писателей эмиграціи,—потому-что за послѣдними была свобода высказать то чувство, какимъ было наполнено общество и въ эмиграціи, и въ самой Варшавѣ. Погодинъ какъ-будто и не подозрѣвалъ, что для «покровительства» литературѣ, для уничтоженія того факта, что она «вся между эмигрантами», требуется нѣчто болѣе широкое, чѣмъ пенсія Линде и Мацѣевскому.

Та же странность, лицемѣріе или непониманіе въ его совѣтахъ относительно польскаго университета. Онъ «не смѣетъ сказать ни слова» о томъ обвиненіи противъ Россіи, что пять милл. лишены средствъ высшаго образованія,—хотя въ той же самой запискѣ смѣлъ предлагать чуть не разрушеніе австрійской имперіи. Онъ полагаетъ, что ученый не можетъ говорить въ пользу просвѣщенія, «ибо основаніе университета въ Польшѣ соединено съ политическими обстоятельствами»: казалось бы, что именно ученый и обязанъ во всякомъ случаѣ говорить въ пользу средствъ для высшаго образованія, и если-бы приводились противъ этого какія-нибудь «политическія обстоятельства», его долгомъ было бы указать гораздо болѣе высокія и существенныя обстоятельства въ пользу просвѣщенія. Вмѣсто того, онъ «для прекращенія *кликовъ*, можетъ быть, и не основательныхъ» (но онъ не споритъ противъ факта, что средствъ для высшаго образованія въ краѣ не было), придумываетъ кого-то обмануть, «назвавши» университетомъ то, что университетомъ не было; онъ придумываетъ даже отговорки («неимѣніе преподавателей»), чтобы прикрывать это обманное названіе...

Наступила крымская война. Погодинъ пишетъ цѣлый рядъ записокъ съ патріотическими предложеніями; въ одной изъ нихъ онъ говоритъ о «славянскомъ союзѣ» и, какъ необходимомъ условіи этого союза,—независимости Польши. Погодинъ предлагалъ объявить эту независимость.

Намъ надо отказаться отъ Польши. «Это болѣзнь на нашемъ тѣлѣ; это одна изъ причинъ или, по крайней мѣрѣ, предлоговъ европейской ненависти къ Россіи. Какую существенную пользу

она приноситъ и сколько вреда, — кромѣ заботъ, хлопотъ, безпрерывныхъ опасеній и неудовольствій!.. Объявите независимость Польши, и вострепещетъ Австрія, Пруссія и вся Германія, хотя онѣ ратуютъ и теперь въ пользу ея, пока она связана съ Россіей, и вричатъ противъ властолюбія Россіи. Лордъ Дудлей-Стуартъ прикуситъ свой языкъ; легіонъ противнаго общественнаго мнѣнія разсыплется... Славяне, видя наше безкорыстіе, удостовѣрятся въ чистотѣ нашихъ намѣреній, отбросятъ всѣ западные навѣты, освободятся отъ всѣхъ подозрѣній и сомнѣній, и предадутся Россіи окончательно, безусловно, отъ всей души, на жизнь и смерть».

Погодинъ зналъ наизусть всѣ возраженія противъ возможности независимаго существованія Польши; но—

«Но въ польскомъ сердцѣ преобладаетъ чувство независимости, отдѣльности, самобытности, которое никакими ударами уничтожено быть не могло, которое сохраняетъ свою живость и свѣжесть, несмотря ни на какія болѣзни и несчастія, готово на всякія жертвы, труды и мученія и не хочетъ понимать никакихъ самыхъ убѣдительныхъ доказательствъ разсудка.

«Это чувство даетъ полякамъ право на уваженіе всякаго безпристрастнаго человѣка и друга добра, человѣческаго и гражданскаго, и заставляетъ забывать или извинять ихъ племенные пороки, столько несогласные съ русскою натурою, ихъ выходки, странности, вины и даже преступленія.

«Дорого отечество для всякаго благороднаго существа, не погрязшаго въ ежедневной злобѣ, и чѣмъ исторія его несчастнѣе, даже виновнѣе, тѣмъ оно дороже, тѣмъ сильнѣе возбуждаетъ любовь и состраданіе.

«Пусть существуетъ Польша! Прекрасный, святой, братскій даръ, достойный добраго и легкаго сердца русскаго, которое не помнитъ зла, свободу дадимъ мы полякамъ за ихъ къ намъ слѣпую ненависть; наслаждайся они ею, какъ хотятъ, до тѣхъ поръ, пока не пожелаютъ сами тѣснѣйшаго союза съ нами» (конечно, все это въ предѣлахъ польской народности) [1].

Прекрасныя слова,—но жаль, что это пониманіе польскаго патріотизма со всей его исключительностью не помогло Погодину ни раньше, ни позднѣе въ опредѣленіи русско-польскихъ отношеній.

Въ другой разъ, въ 1856, Погодинъ снова писалъ записку о польскихъ дѣлахъ. На этотъ разъ онъ не предлагалъ объявить

[1] Польскій Вопросъ, стр. 36—38 и далѣе.

полную независимость Польши, а говорилъ о внутренней административной автономіи Польши—«пусть управляется Польша сама собою, какъ ей угодно, соотвѣтственно съ ея исторіей, религіей, народнымъ характеромъ, настоящими обстоятельствами». Послѣдствія опять будутъ блистательныя. «Объявите это рѣшеніе во всемилостивѣйшемъ манифестѣ,—и Лудовикъ Бонапартъ тотчасъ понизитъ голосъ, англичане *прикусятъ языкъ*, австрійцы получатъ смертельный ударъ въ грудь, вся честная, благородная часть европейскаго населенія, съ общественнымъ мнѣніемъ, обратится совершенно на нашу сторону,—и первое мѣсто между государями европейскими займетъ по прежнему императоръ всероссійскій и царь польскій». Это будетъ имѣть прекрасное вліяніе и на положеніе цѣлаго славянства. «Всѣ прочіе славяне, и другія племена, *угнетаемыя* въ Австріи, какъ-то: чехи, кроаты, сербы, венгерцы, живя рядомъ съ счастливою самоуправляющеюся Польшею, захотятъ себѣ, разумѣется, такого-же простора. Турецкіе славяне отъ нихъ не отстанутъ,—и вотъ насъ *сто милліоновъ*. Милости просимъ побороться»...

Погодинъ, скорбѣвшій тогда о результатахъ крымской войны, видимо развеселился при такой перспективѣ и не усумнился быть откровеннымъ:

«А отчего-же, скажутъ, славянскія племена не поднимались въ продолженіи послѣдней войны?

«Оттого, что не знали ничего вѣрно и ясно о нашихъ намѣреніяхъ, сомнѣвались въ нашемъ постоянствѣ, отвращались самими нашими агентами, опасались навлечь на себя новыя притѣсненія и, наконецъ, оттого, что не любили нашего грубаго самоуправства, не хотѣли мѣнять одно иго на другое, и попасть изъ огня да въ полымя».

Эта замѣчательная откровенность, сколько припомнимъ, не была повторена Погодинымъ въ другой разъ и должна быть принята въ разсчетъ для опредѣленія нашихъ славянскихъ отношеній и взгляда на нихъ Погодина.

Историческія соображенія о паденіи Польши, на которыхъ въ прежнее время Погодинъ такъ настаивалъ, также измѣнились. «*Какъ историкъ*,—говоритъ онъ,—осмѣлюсь сказать въ заключеніе, что предоставленіе Польши самой себѣ, согласное съ европейскими и русскими ожиданіями дѣлъ милости и кротости отъ царствующаго нынѣ государя, есть вмѣстѣ искупленіе *великаго европейскаго грѣха* (не нашего), которое не можетъ остаться безъ великаго вознагражденія. Блажени миротворцы, сказалъ Спаситель, а погасить ненависть и возбудить любовь въ

сердцахъ многочисленныхъ племенъ,—о, это такое святое дѣло, которому и ангели на небеси возрадуются».

Послѣднія слова опять прекрасныя слова, и опять жаль, что Погодинъ не помнилъ ихъ, когда приходилось ему говорить въ другой разъ о томъ-же предметѣ.

Погодинъ не остановился на одной общей мысли объ административной автономіи Польши; онъ не полѣзъ въ карманъ за самыми мѣрами, которыя надо было постепенно принять для осуществленія плана, разсрочивая все преобразованіе лѣтъ на двадцать пять. Предположенія Погодина очень любопытны.

«Предварительныя мѣры, оглашаемыя въ какой заблагоразсудится формѣ:

«Приглашеніе всѣхъ эмигрантовъ въ отечество безъ всякихъ ограниченій, съ паспортами миссій, немедленно выдаваться имѣющими.

«Возвращеніе всѣхъ поляковъ, сосланныхъ за политическія *такъ-называемыя* преступленія, безъ исключенія.

«Приготовленіе проектовъ для университета въ Варшавѣ, или пяти факультетовъ въ пяти городахъ, что кажется полезнѣе для ученой жизни и для возвышенія городовъ, слишкомъ униженныхъ столицею.

«Приготовленіе проектовъ для устройства желѣзныхъ дорогъ въ Россію, Познань и на сѣверъ.

«Возвращеніе книгъ изъ И. Петербургской библіотеки, кромѣ нужныхъ преимущественно для Россіи...

«Разрѣшеніе свободы книгопечатанія...

«Предложеніе римско-католическому духовенству обратиться къ папѣ или своему сѵноду о допущеніи брака по древнимъ примѣрамъ.

«Учрежденіе сеймиковъ и сеймовъ въ томъ видѣ, въ какомъ застало ихъ первое дѣленіе.

«На этихъ сеймахъ, по возвращеніи всѣхъ эмигрантовъ, поляки должны будутъ учредить избираемый ими образъ правленія во всѣхъ подробностяхъ и частностяхъ, и представить на утвержденіе царское...

«Необходимость царскаго утвержденія оставить всегда государю свободу дѣйствія по усмотрѣнію, если-бы случилось что-либо противное его благимъ намѣреніямъ и вредное для Россіи, а 60 милліоновъ всегда сладятъ съ четырьмя»... [1])

Этой ultima ratio Погодинъ никогда не забываетъ.

---

[1]) Польскій Вопросъ, стр. 49—60.

Планы Погодина были, какъ видно, очень широки; но онъ такъ легко, *какъ историкъ*, устранялъ препятствія, которыя прежде, *какъ историкъ*, считалъ неустранимыми, что одна эта легкость могла не внушать довѣрія къ прочности его идей. И дѣйствительно, онѣ удержались не долго: онъ вскорѣ уже возвратился къ прежнимъ идеямъ о невозможности самостоятельной Польши и проч. Въ предисловіи къ изданію своего «Польскаго Вопроса», Погодинъ разсказываетъ:

«Нѣкоторые цензора [1]) совѣтовали мнѣ исключить эти двѣ статьи (объ освобожденіи Польши; объ административной самостоятельности), какъ несостоятельныя, невозможныя, и вмѣстѣ несогласныя съ настоящимъ ходомъ дѣлъ, — изъ опасенія, чтобъ враги не стали на нихъ ссылаться.

«Я совершенно не раздѣляю этого мнѣнія, и совершенно убѣжденъ, что ссылаться на эти статьи, писанныя *впрочемъ* въ *особыхъ* обстоятельствахъ, не можетъ никто, ибо онѣ опровергаются всѣми послѣдующими разсужденіями, и вмѣстѣ дѣйствительными событіями: графъ Велепольскій, напримѣръ, устроилъ полную (?) автономію, и доказалъ, что она не можетъ принести ничего, кромѣ страшнаго вреда. Эти статьи, напротивъ, повторяю, должны послужить сильнѣйшимъ подкрѣпленіемъ противоположныхъ доказательствъ».

Особыя обстоятельства, побуждавшія Погодина составлять свои освободительные планы, заключались въ началѣ и въ окончаніи крымской войны. Въ обоихъ случаяхъ онъ думалъ освобожденіемъ Польши сдѣлать неожиданную и могущественную диверсію, — требовалось, чтобы Австрія перепугалась и Англія «прикусила языкъ». Настроившись на эту мысль, Погодинъ открылъ уже все остальное и, защищая свой планъ, высказалъ нѣсколько откровенностей [2]), а вмѣстѣ увидѣлъ и нѣсколько вещей, которыя для Польши дѣйствительно были бы полезны, напр., иное положеніе польской печати и просвѣщенія. Потомъ, какъ мы сказали, Погодинъ перемѣнилъ (въ четвертый разъ) свое мнѣніе о польскомъ вопросѣ, и отъ освободительныхъ плановъ отказался до такой степени, что помѣстилъ ихъ въ своей книгѣ только въ качествѣ «сильнѣйшаго подкрѣпленія противоположныхъ доказательствъ». Перемѣна мнѣній—дѣло весьма возможное и понятное, особенно при подвижномъ, сангвиническомъ темпераментѣ; удивительно

[1]) Книга Погодина вышла по новымъ правиламъ о печати, безъ предварительной цензуры,—такъ что совѣщаніе съ цензорами, упоминаемое имъ, было добровольное и происходило ранѣе отпечатанія книги.

[2]) Стр. 56; сличи стр. 93.

лишь одно, что, попадая иногда на настоящую правду, «какъ историкъ», и заявляя свою способность видѣть дѣйствительное положеніе вещей, Погодинъ бывалъ способенъ совсѣмъ объ этомъ забывать.

Фактъ, повернувшій мысли Погодина на прежнюю дорогу, было послѣднее возстаніе. Событія его поразили. Въ 1861, онъ пишетъ къ полякамъ увѣщательное посланіе, напечатанное въ 1867 году въ разбираемой нами книгѣ; онъ пишетъ письма въ «Московскія Вѣдомости», къ Гизо и Гарибальди (отвѣты неизвѣстны), пишетъ «отповѣдь» французскому журналисту, заблуждавшемуся въ польскомъ вопросѣ и т. д., словомъ—обнаруживаетъ большую публицистическую дѣятельность. Въ результатѣ, въ 1863 г. онъ писалъ:

«Повинюсь и я: я долго думалъ, что поляки могутъ отказаться отъ мысли о своихъ старыхъ завоеваніяхъ въ Россіи. Нѣтъ, я теперь удостовѣрился, что не только революціонеры, не только эмигранты, не только завзятые поляки, но даже самые смирные, любезные, добрые не могутъ отстать отъ этой мысли: это выше ихъ натуры. Ну, такъ я теперь и осуждаю свою старую мечту и говорю, что на ней строить ничего нельзя, что изъ западныхъ русскихъ губерній должны быть *выжиты* поляки, во что бы то ни стало, *выкурены*, *высланы*, *выпровождены по казенной надобности*, съ деньгами, съ заемными на насъ письмами, съ ксендзами, со всѣмъ скарбомъ и трауромъ, со всѣмъ движимымъ имуществомъ, а недвижимое, земля—наша кровная, русская, и Польшѣ изъ нея ни пяди!

«Что же касается до Польши, то въ предѣлахъ ея языка, я желаю ей всякаго благополучія и всякой свободы, какой ей угодно, только безъ возможности вредить Россіи, conditio sine qua non» [1]).

Въ 1865, онъ снова писалъ длинный трактатъ, гдѣ говорилъ между прочимъ:

---

[1]) Стр. 159, но и здѣсь является странность. Высказавши въ прежней (послѣ имъ осужденной) статьѣ о польской административной автономіи надежду, что поляки отъ этой неожиданной милости „бросятся всѣ, даже самые отчаянные радикалы, съ восторгомъ въ наши распростертыя къ нимъ объятія",—Погодинъ въ *позднѣйшемъ же* примѣчаніи къ этому мѣсту говоритъ: „управленіе маркиза Велепольскаго, увы, доказало неосновательность этой надежды. *Впрочемъ*,—къ нему, можетъ быть, примѣнилось общее европейское изреченіе этого времени: *слишкомъ поздно!*" — Однако, можетъ спросить читатель, что-нибудь одно: если „слишкомъ поздно", то, значитъ, прежняя мысль могла быть вѣрна, и тогда не слѣдовало такъ потомъ на нее опрокидываться.

«Что же дѣлать полякамъ? Неужели сидѣть, сложивши руки, терпѣть, страдать?...

«Какой же погоды можно вамъ дождаться? Тѣхъ благопріятныхъ обстоятельствъ, которыхъ теперь нѣтъ, которыхъ ни мы, ни вы, никто теперь вообразить не можетъ, которыя всегда бываютъ въ запасѣ у исторіи. Въ дѣлахъ человѣческихъ, всегда надо предоставлять многое случаю (?), какъ мы его слѣпые теперь называемъ, нечаянности, обращающей часто въ прахъ самые вѣрные разсчеты и самыя умныя соображенія. *Потерпите, что выработаетъ исторія* (?!). Время умнѣе всѣхъ. Это такой революціонеръ, съ которымъ никто сравняться не можетъ. Въ ожиданіи такихъ *неизвѣстныхъ* благопріятныхъ обстоятельствъ должно, по необходимости, покориться судьбѣ. Призывайте ихъ (?) всею душою своею, питайте, пожалуй, ненависть свою къ намъ въ сердцѣ своемъ, если никакъ не можете освободиться отъ этого пагубнаго свойства,—и прекратите ваши собственныя, личныя, нравственно преступныя попытки, перестаньте стрѣлять попусту холостыми зарядами» [1]).

Послѣднее замѣчаніе не лишено справедливости, но предъидущее довольно темно: какъ призывать неизвѣстныя благопріятныя обстоятельства? «Время умнѣе всѣхъ», это—величайшій «революціонеръ»... Эти положенія весьма двусмысленны: напримѣръ, если предоставить умному времени зародышъ опасной болѣзни, она въ урочное время сведетъ человѣка въ гробъ. Время—великій революціонеръ; но человѣкъ считается разумнымъ существомъ, и потому именно старается работать для того, чтобы имѣть лучшее будущее,—иначе «революція», производимая «временемъ», можетъ выпасть и въ великій ему ущербъ...

Впрочемъ, Погодинъ указываетъ (во многихъ мѣстахъ) по крайней мѣрѣ одно благопріятное обстоятельство—кротость русскаго народа. Въ предисловіи онъ смѣло рекомендуетъ полякамъ свою книгу: «Во всей книгѣ поляки найдутъ доказательства, что русскіе всегда были готовы *обняться* съ ними по-братски, и идти дружно по одному пути, еслибъ только они, сознавъ разумно свое положеніе, оборотились съ запада на востокъ» и пр. Но Погодинъ долженъ бы знать, какъ историкъ, что отношенія народовъ зависятъ отъ условій болѣе существенныхъ, что для сближенія ихъ недостаточно однихъ національно-монпершскихъ завѣреній. Самъ онъ разными эпизодами своей книги успѣлъ указать, что русскіе менѣе обнимались съ поляками, чѣмъ являлись

[1]) Стр. 209—210.

упорной силой съ своими особыми стремленіями; самъ Погодинъ безпрестанно напоминаетъ, что 60 милліоновъ сладятъ съ четырьмя, а изъ западнаго края собирался выпроваживать поляковъ «по казенной надобности»—жалкое для ученаго историка изобрѣтеніе для борьбы противъ бытового, культурнаго вліянія поляковъ въ западномъ краѣ, потому что со времени присоединенія это вліяніе не имѣло иной почвы.

Погодинъ сдѣлалъ бы лучше, если бы обратилъ больше вниманія на предметъ болѣе элементарный. Завѣряя, что поляки могутъ обниматься съ русскими, слѣдовало думать о томъ по крайней мѣрѣ, чтобы между ними могъ происходить обмѣнъ ихъ мыслей, кажется, необходимый для того, чтобы могло установиться примиреніе. По собственному опыту Погодинъ зналъ, что его убѣдительнѣйшія настоянія по польскому дѣлу не находили мѣста въ нашей печати; случалось, что они какимъ-то образомъ, вѣроятно по ходившимъ рукописямъ, попадали раньше въ иностранныя изданія. Погодинъ, въ моменты откровенности, самъ видѣлъ, что вопросъ печати—обстоятельство не лишенное важности. По поводу первыхъ волненій въ Варшавѣ, въ 1861, онъ говорилъ:

«Кромѣ частныхъ извѣстій о новыхъ событіяхъ, мнѣ кажется, вообще полезно было бы разрѣшить печати разсужденіе объ отношеніяхъ Россіи и Польши между собою. Поляки, особенно эмигранты, пишутъ, увлекаясь и предубѣжденіями, и настоящими обстоятельствами, и распространяютъ въ Европѣ пристрастное мнѣніе, мечтаютъ о какихъ-то миѳическихъ границахъ—audiatur et altera pars. Пусть позволятъ намъ писать свободно и искренно... Мы будемъ отдавать наши писанья на судъ чеховъ, моравлянъ, словаковъ, сербовъ, болгаровъ, кроатовъ, и пусть братья предъ лицомъ всей Европы судятъ насъ съ поляками, если они не хотятъ жить съ нами любовно, или разстаться полюбовно, если они не хотятъ слышать ничего, кромѣ чувствъ, увлекающихъ ихъ Богъ знаетъ куда. Наши писанія не будутъ обязывать правительство никакимъ образомъ: онѣ будутъ только выражать частныя мнѣнія... Что касается до меня, я все одинъ и тотъ же—за свободу, но и *за правду*» [1]).

Въ статьѣ 1863 года о системѣ маркиза Велепольскаго, онъ писалъ опять:

«Умъ хорошо, говоритъ русская пословица, а два лучше. Всякое дѣло, подвергаясь общему разсужденію, уясняется, облег-

[1]) Стр. 74.

чается, приводится въ порядокъ и устройство. Если о всякомъ дѣлѣ это сказать можно, то кольми паче о дѣлѣ сложномъ и мудреномъ. Таково теперь у насъ дѣло о Польшѣ. На него можно смотрѣть съ разныхъ сторонъ: европейской, польской, русской, литовской, католической, православной, аристократической, демократической, революціонной и пр. и пр. Пусть высказываются всѣ мнѣнія, самыя противоположныя, и изъ совокупности извлечется истина. До сихъ поръ мы молчали, теперь начинаемъ говорить, но по бо́льшей части все еще только вполголоса, воздерживаясь, запинаясь, оставляя кое-что на умѣ или помѣщая между строками. Ну вотъ оттого и происходятъ сомнѣнія, недоумѣнія, подозрѣнія, осужденія, обвиненія. Кто же виноватъ?» [1]).

Все это совершенно справедливо; почему же Погодину непонятно, что между русскимъ и польскимъ обществомъ разладъ не примиряется, когда дѣйствительно они не имѣли даже возможности совмѣстно обсуждать вопросъ—съ тѣхъ многочисленныхъ, и въ самомъ дѣлѣ существующихъ точекъ зрѣнія, какія самимъ Погодинымъ выставлены?

Мы можемъ, кажется, остановиться на сдѣланныхъ выдержкахъ, чтобы получить понятіе о волненіи мыслей Погодина по польскому вопросу. Послѣ возстанія, какъ мы замѣтили, онъ оставилъ всякія либеральныя затѣи, обличалъ снова польскія притязанія, совѣтовалъ, осуждалъ, увѣщевалъ—конечно, на воздухъ: та сторона, противъ которой шли его обличенія, не могла явиться въ литературѣ съ своими взглядами; то, что́ говорилось иногда въ европейской публицистикѣ, въ русскую литературу не проникало и въ ней было comme non avenu. Послѣднія писанія Погодина не особенно отличались и кротостью, которую онъ такъ рекомендовалъ полякамъ въ русскихъ, и за которую, въ дѣйствительности, конечно, и не имѣлъ права ручаться.

Такимъ образомъ изъ сочиненій Погодина трудно извлечь какую-нибудь опредѣленную систему взглядовъ на польскій вопросъ. Не говоря даже объ эпизодѣ его освободительныхъ плановъ, отъ которыхъ онъ такъ усердно отрекался, его трактаты представляютъ смѣсь національныхъ сантиментальностей съ грубоватыми угрозами 60-ю милліонами противъ четырехъ, проблесковъ здраваго пониманія вещей съ обычной канцелярской дипломатіей. Въ цѣломъ, взгляды Погодина не шли дальше поверхности предмета, дальше канцелярско-административнаго пониманія вопроса, въ которомъ на дѣлѣ совершалась цѣлая вѣковая

[1]) Стр. 155.

трагедія національнаго паденія: въ теченіи почти сорокалѣтнихъ публицистическихъ заботъ своихъ о польскомъ вопросѣ Погодинъ, преданный «свободѣ и правдѣ», не поставилъ правдиво русско-польскихъ отношеній, не видя многаго на одной сторонѣ и умалчивая многое на другой. Еще въ первой статьѣ своей о польскомъ вопросѣ онъ съ заклятіями говорилъ о своей правдивости («да прильпнетъ языкъ къ моей гортани, если я подумаю когда-либо святое науки умышленно представлять въ ложномъ свѣтѣ для частныхъ видовъ, хотя бы это было даже въ пользу моего отечества!»), и надо думать, что ошибки этого рода были дѣйствительнымъ непониманіемъ. Онъ бросалъ слова о необходимости свободы печати, свободы общественной, а потомъ забывалъ объ этомъ, точно это были пустяки. Хотя онъ былъ «историкъ», ему не представлялся вопросъ, откуда же брался этотъ непримиримый характеръ польскаго общества, котораго по его собственнымъ словамъ не покоряли никакія бѣды и страданія; объяснить этотъ источникъ было бы именно дѣломъ историка, а съ этимъ было бы почти достигнуто и полное объясненіе вопроса.

Далѣе, мы встрѣтимся съ болѣе глубокими и послѣдовательными постановками вопроса.

А. Пыпинъ.

КОНСТИТУЦІОНАЛИЗМЪ

и

А. ТЬЕРЪ

Discours parlementaires de M. Thiers. t. I, II, III. — Paris, 1879.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

IV *).

Смертью Лудовика XVIII не былъ положенъ конецъ страстной борьбѣ, завязавшейся между старымъ, до-революціоннымъ порядкомъ и конституціонализмомъ, между приверженцами абсолютной монархіи и сторонниками, хотя часто непослѣдовательными, начала 1789 года. Напротивъ того, борьба эта, благодаря личнымъ свойствамъ новаго короля, должна была неминуемо обостриться. Карлъ X, по своему воспитанію, по своимъ наклонностямъ и вкусамъ, словомъ—по всему характеру, всецѣло принадлежалъ «доброму» старому времени. Человѣкъ неглубокій, ограниченный, онъ не могъ понять, что значатъ для Франціи требованія времени, права народа, кровью заплаченныя вольности—все это, по его мнѣнію, были только опасныя и преступныя революціонныя бредни. Рядомъ съ такою ограниченностью, Карлъ X, въ противоположность своему брату Лудовику XVIII, отли-

*) См. выше: янв. 244 стр.

чался бо́льшею твердостью своей воли: то, что онъ хотѣлъ — онъ хотѣлъ настойчиво, энергично, и никакія убѣжденія не могли его заставить отказаться отъ разъ выраженной имъ воли. Такая твердость воли является даже драгоцѣнною, при условіи сильнаго и проницательнаго, хорошо направленнаго ума; при отсутствіи же этого условія, она переходитъ въ упрямство и въ пагубное упорство, которое и составляло отличительную черту Карла X.

Обладая такими свойствами, Карлъ X совершенно естественно долженъ былъ относиться съ крайнею враждебностью къ хартіи 1815 года, на которую онъ смотрѣлъ, какъ на непростительную уступку своего покойнаго брата. Во время царствованія Людовика XVIII, онъ не считалъ нужнымъ скрывать этой враждебности, и ни для кого въ то время не было тайною, что жилище графа д'Артуа Pavillon Marsan, служилъ сборнымъ пунктомъ самыхъ горячихъ сторонниковъ партіи контръ-революціи. Эти «непримиримые» стараго порядка возлагали на Карла X всѣ свои надежды и упованія, и, безъ сомнѣнія, имѣли на то основаніе, такъ какъ онъ былъ, въ полномъ смыслѣ слова, кровью отъ крови и плотью отъ плоти до-революціоннаго строя; какимъ онъ былъ въ молодости, при дворѣ Людовика XV и Людовика XVI, во время своей дружбы съ Маріею-Антуанеттою, въ эпоху бури, которой онъ противился съ слѣпою настойчивостью, полагая, что разъ поднявшійся ураганъ можетъ быть остановленъ болѣе или менѣе крутыми мѣрами, и что вызванъ онъ не причинами, коренившимися въ медленномъ разложеніи всего организма абсолютной монархіи и въ переполнившейся чашѣ бѣдствій и насилій, которымъ подвергалась вся нація, а исключительно слабостью и непристойною уступчивостью короля, — такимъ Карлъ X и остался на склонѣ своихъ лѣтъ. Ни періодъ эмиграціи, ни кровавая драма 1793 г., ни владычество Наполеона и его паденіе не могли заставить Карла X измѣнить тѣмъ идеямъ, которыя онъ впиталъ въ себя еще съ дѣтскихъ лѣтъ. Казалось бы, что при такомъ враждебномъ отношеніи ко всему, что носило на себѣ слѣдъ ненавистной ему революціи, а слѣдовательно и къ конституціонализму, Карлъ X ни одного дня не въ состояніи будетъ ужиться съ враждебно настроенными палатами, и главное — съ тѣми гарантіями народныхъ вольностей, которыя были обусловлены хартіею 1815 года. Но у Карла X была одна черта, которая въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ удерживала его отъ рѣзкаго разрыва съ конституціоннымъ порядкомъ и не допускала до рѣшимости совершить государственный переворотъ,

смѣло разорвавъ хартію, октроированную его братомъ. Черта эта заключалась въ его несомнѣнной честности, въ рыцарской вѣрности разъ данному слову. Онъ не могъ забыть, что, вступая на престолъ, онъ обѣщалъ свято хранить учрежденія, дарованныя Лудовикомъ XVIII, что, во время коронованія своего въ Реймсѣ со всею пышностью и всѣмъ блескомъ стараго времени, онъ торжественно поклялся «сохранять вѣрность конституціонной хартіи». Съ своей точки зрѣнія онъ и оставался всегда вѣренъ хартіи, и даже тогда онъ думалъ быть ей вѣрнымъ, когда съ своей стороны сдѣлалъ все, чтобы отъ этой хартіи не осталось и слѣда. Рѣшаясь въ дѣйствительности на государственный переворотъ, онъ долго колебался, размышляя о томъ, даетъ ли ему право хартія на такую рѣшительную мѣру, и только тогда, когда далъ себя убѣдить и убѣдился самъ, что, совершая его, онъ не выйдетъ изъ строгой законности и не нарушитъ конституцію, онъ подписалъ знаменитые указы, вызвавшіе іюльскую революцію.

Вѣрность свою хартіи Карлъ X понималъ чисто внѣшнимъ образомъ, и только этимъ, разумѣется, и можно объяснить, что, подкапываясь подъ конституціонное начало, онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, твердо вѣрилъ, что нисколько не нарушаетъ хартіи. Въ дѣйствительности же, съ самаго начала своего царствованія, онъ обнаружилъ стремленіе возстановить все то, что было снесено безвозвратно, возвратить королевской власти просторъ въ дѣйствіяхъ, избавить ее отъ скучной опеки и снова утвердить тронъ на двухъ его краеугольныхъ камняхъ—аристократіи и духовенствѣ. Все это онъ считалъ совершенно совмѣстнымъ съ хартіей, и какъ мало понималъ онъ ея истинный смыслъ и значеніе, такъ точно также не понималъ, что королевской власти и церкви нельзя возвратить того значенія, которое онѣ имѣли до революціи, и что казненный король и празднества на Марсовомъ полѣ въ честь «высшаго существа» Робеспьера—цѣлою пропастью навсегда отдѣлили Францію до-революціонную отъ Франціи пореволюціонной.

Эти стремленія Карла X возстановить въ сущности старый порядокъ, несмотря на его рѣзкое противорѣчіе съ хартіей, усилить элементъ аристократіи и возвратить духовенству утраченную имъ власть, не могли, очевидно, не вызвать еще болѣе ожесточенной борьбы, чѣмъ при Лудовикѣ XVIII между партіею либеральною, защищавшею конституцію, и партіею роялистовъ или даже контръ-революціи, полагавшей, что наступилъ день ея торжества. Эта-то борьба между либеральною партіею и прави-

тельствомъ Карла X, часто отождествлявшимся съ контръ-революціей, и наполняетъ періодъ съ 1824 по 1830 годъ, не лишенный интереса съ точки зрѣнія развитія конституціонализма во Франціи.

Карлъ X, ослѣпленный мнимымъ сознаніемъ величія королевской власти, и совершенно чуждый перевороту, совершившемуся въ націи, полагалъ, что достаточно будетъ разъ навсегда отказаться отъ всякой уступчивости, чтобы борьба изъ-за конституціонализма окончилась полнымъ торжествомъ королевской власти. Вотъ почему самые первые шаги правительства Карла X были направлены въ сторону стараго порядка. Виллель, сохранившій свой постъ и послѣ смерти Лудовика XVIII, внесъ прежде всего въ палату два проекта законовъ, изъ которыхъ одинъ имѣлъ въ виду болѣе свободное развитіе религіозныхъ общинъ, другой обезпечивалъ за партіей эмиграціи милліардъ вознагражденія за отобранныя во время революціи земли. Оба эти закона, или, вѣрнѣе, оба проекта, вызвали энергическій протестъ со стороны либеральнаго лагеря. Въ палатѣ и въ печати оппозиція доказывала, что законы эти въ сущности направлены противъ новаго порядка вещей, что усиливать значеніе духовенства и роялистской партіи, значитъ подкапываться подъ конституціонный порядокъ. Вы хотите,—говорила оппозиція,—вознаградить людей за то, что они ополчились противъ своей родины, а между тѣмъ вы не вознаграждаете тѣхъ, кто проливалъ свою кровь, отстаивая Францію отъ чужеземныхъ полчищъ, впереди которыхъ шли, забывшіе свой долгъ, сыны той же Франціи. Революція,—доказывала оппозиція,—была въ правѣ распорядиться имѣніями людей, передавшихся непріятелю. Они не заслуживаютъ вознагражденія за свои потери, такъ какъ потери эти были добровольныя. Но какъ ни сильна была аргументація оппозиціи, законъ прошелъ, такъ какъ большинство въ палатахъ состояло все-таки изъ партіи роялистовъ. Другой проектъ закона вызвалъ еще бо́льшую бурю. Духовенство нисколько не скрывало своей вражды къ конституціонному правленію, оно знало, что «старый порядокъ» гораздо сподручнѣе для его власти и корыстолюбивыхъ цѣлей. Проектъ новаго закона предоставлялъ еще болѣе простора клерикаламъ и іезуитамъ, въ обиліи возвратившимся во Францію, опутать своими сѣтями всю страну. Оппозиція всѣхъ оттѣнковъ возстала противъ новаго закона, журналы, памфлеты Курье, пѣсни Беранже — все было направлено противъ замысловъ духовенства, поддерживаемаго короной. Проектъ провалился, Карлъ X почувствовалъ себя уязвленнымъ, но неуспѣхъ

въ этомъ вопросѣ еще болѣе укрѣпилъ въ немъ сознаніе необходимости—дать трону твердыя опоры въ духовенствѣ и аристократіи.

Такъ какъ новый король нисколько не скрывалъ своей привязанности къ «старому порядку», приближая къ себѣ исключительно людей «бѣлой кости», и самому ничтожному изъ нихъ отдавалъ предпочтеніе передъ человѣкомъ, не принадлежавшимъ по своему рожденію къ аристократіи, какія бы заслуги онъ ни оказалъ своей родинѣ, то, естественно, что оппозиція все съ большимъ и большимъ ожесточеніемъ нападала на старый порядокъ и его представителей. Оппозиціонные журналы «Globe», «Constitutionnel», «Courrier» вели горячую атаку, подвергались преслѣдованіямъ, но, къ негодованію двора и ультра-роялистской партіи, суды постановляли оправдательные приговоры.

Населеніе Франціи, и въ особенности Парижа, не упускало точно также ни одного, болѣе или менѣе удобнаго, предлога, чтобы заявить свою ненависть къ феодальному строю, за который цѣплялось правительство Карла X. Въ провинціяхъ происходили постоянныя столкновенія, иной разъ оканчивавшіяся даже кровью по поводу религіозныхъ процессій, въ Парижѣ недостатка въ поводахъ къ враждебнымъ демонстраціямъ не было никогда. При самомъ почти началѣ царствованія Карла X, онъ могъ убѣдиться, какъ настроено было населеніе Парижа, когда умеръ популярный генералъ Foy, одинъ изъ главныхъ предводителей либеральной оппозиціи. Болѣе ста тысячъ человѣкъ провожали его прахъ на могилу, надъ которой были произнесены горячія и самыя недвусмысленныя рѣчи. «Надъ его гробомъ—писали въ то время,—еще разъ поклялись въ вѣрности хартіи, надъ его гробомъ было произнесено осужденіе министерства».

Но такія предостереженія дѣйствовали мало. Правительство вѣрило только въ одно, что уступчивость пагубна, и потому, не обращая вниманія на общественное настроеніе, оно старалось проводить одну мѣру болѣе непопулярную, чѣмъ другія. Такъ, все въ надеждѣ вернуть старое, министерство Виллеля внесло въ палату проектъ закона о первородствѣ (droit d'ainesse), направленный, по словамъ тронной рѣчи, противъ крайняго раздробленія земельной собственности, «несогласнаго съ монархическими принципами». Такой мотивъ былъ слишкомъ откровенъ, и палата поспѣшила отвѣтить королю, что она не раздѣляетъ его безпокойства въ этомъ отношеніи. Карлъ X былъ уязвленъ еще разъ. Вся конституціонная партія отнеслась съ крайнимъ негодованіемъ къ этому безумному проекту закона реставраціи, такъ

какъ слишкомъ хорошо понимала, куда бьетъ этотъ законъ. Пройди этотъ законъ, несомнѣнно феодальный порядокъ имѣлъ бы право торжествовать свою побѣду надъ конституціонализмомъ. Не трудно, разумѣется, было предвидѣть, кто изъ двухъ одержитъ побѣду, партія ли контръ-революціи или партія конституціонная. Лишь только этотъ проектъ сдѣлался извѣстнымъ, какъ со всѣхъ сторонъ раздался набатъ. Оппозиція въ палатахъ, общество, печать сплотились въ одно цѣлое, чтобы оказать энергическое противодѣйствіе несчастному проекту закона. Всѣ старались разъяснить истинный смыслъ такого закона, почти нескрытое стремленіе короля создать снова сильную аристократію, при помощи которой можно было бы растоптать все, что пріобрѣтено было большой революціей. Журналы, газеты, брошюры, памфлеты, записки—все было пущено въ ходъ, чтобы разоблачить истинные замыслы правительства, чтобы со всею рѣзкостью показать всю дерзость брошеннаго вызова обществу. Министерство было побито въ этой борьбѣ, проектъ былъ отвергнутъ палатою перовъ. Эта побѣда конституціонной партіи вызвала шумные восторги въ населеніи, которое праздновало въ ней еще одно пораженіе контръ-революціи. Парижъ украсился флагами и иллюминовался какъ въ дни большихъ торжествъ.

Этотъ проектъ закона о правѣ первородства нанесъ контръ-революціи непоправимый ущербъ. Онъ показалъ еще разъ, что старшая линія Бурбоновъ не хочетъ примириться съ искреннимъ конституціонализмомъ, что она тяготится хартіею, вырванною въ дни невзгоды, и что она никогда не откажется отъ своей мечты воскресить, если не мертвыхъ, то мертвое. Нація, конечно, не могла мириться съ такимъ положеніемъ. Нѣтъ ничего болѣе тяжелаго, какъ жить постоянно на чеку, находиться въ постоянномъ опасеніи, что правительство что-то замышляетъ, что каждый новый день готовитъ какой-нибудь новый ударъ или по крайней мѣрѣ—намѣреніе ударить. А въ такомъ именно положеніи находилось французское общество во время реставраціи, хотя хартія и служила въ значительной степени громоотводомъ. Но и при ней государственный переворотъ все-таки возможенъ, а государственный переворотъ, даже при полной неудачѣ, всегда ведетъ за собою тяжелыя жертвы. Это безпокойство выразилось въ палатѣ, когда либеральная партія стала требовать большихъ конституціонныхъ гарантій, угрожая въ противномъ случаѣ отказать въ утвержденіи бюджета на 1827 г. Обсужденіе бюджета вызвало самую рѣшительную атаку министерства, и атака эта имѣла тѣмъ болѣе угрожающій характеръ, что въ ней приняли участіе всѣ

партіи. Умѣренные роялисты, опасавшіеся за судьбу реставраціи, указывали министерству, что оно подчиняетъ Францію власти іезуитовъ и ведетъ монархію по тому самому пути, на которомъ погибли Стюарты, что оно дѣлаетъ все, чтобы погубить возстановленную монархію, что оно извращаетъ всѣ учрежденія, прививаетъ продажность, безъ всякой нужды нарушаетъ хартію. Нельзя не отдать справедливость умѣренной роялистской партіи въ томъ, что она съумѣла понять въ послѣдніе годы реставраціи, что времена измѣнились, что Франція не можетъ и не должна быть управляема произволомъ, и, понявъ опасность ослѣпленія правительства, въ виду возбужденнаго состоянія націи, съумѣла примириться съ конституціонализмомъ и сама стала требовать отъ правительства искренняго примѣненія хартіи 1815 года. Правительство, говорила эта партія, шатается изъ стороны въ сторону, ему чужда какая-нибудь опредѣленная система, Франція управляется шайкою интригановъ. Нападки либеральной оппозиціи были еще болѣе рѣзки и рѣшительны: она доказывала, что въ виду упорства и произвола правительства, странѣ не остается ничего иного, какъ лишить правительство матеріальныхъ средствъ къ существованію. Какими бы погрѣшностями ни отличалась хартія 1815 года, но она предоставляла въ распоряженіе палаты кошелекъ, и этого было достаточно, чтобы борьбу съ правительствомъ дѣлать не безуспѣшною.

Правительство Карла X думало иначе. Оно признавало, что пораженіе его невозможно, и потому не обращало вниманія на такого рода предостереженія. Приписывая все зло, недовольство и смуты—печати, оно рѣшилось обуздать ее окончательно, и для того внесло въ палату проектъ новаго закона о печати. Этотъ проектъ, предоставляя власти самый широкій произволъ въ дѣлахъ печати, и самую свободу, обѣщанную въ хартіи, превращалъ въ не что иное, какъ миражъ. Лишь только проектъ этотъ сдѣлался извѣстнымъ, какъ со всѣхъ сторонъ послышался гулъ негодованія. Шатобріанъ, этотъ горячій и часто слѣпой роялистъ, защищавшій, впрочемъ, всегда свободу печати, говорилъ, что это «варварскій законъ, нарушающій всѣ права, оскорбляющій всѣ интересы». Правительство защищалось, и въ отвѣтъ на слова, что законъ этотъ является закономъ мести и ненависти, провозглашало, что это «законъ любви и справедливости». Подъ этимъ именемъ законъ этотъ и остался извѣстнымъ. Волненіе, вызванное этимъ закономъ, предоставлявшимъ правительству задерживать каждую отпечатанную книгу и налагавшимъ на издателей тяжелые штрафы, не ограничивалось палатами. Со всѣхъ концовъ Франціи стали

сыпаться петиціи въ палату, требовавшія, чтобы законъ этотъ былъ отвергнутъ, какъ нарушающій конституцію. Правительство Карла X дѣйствовало среди общества не индифферентнаго и не пассивно относящагося къ самымъ грубымъ нарушеніямъ элементарныхъ человѣческихъ правъ, и потому не могло жаловаться, что общество не предостерегало его. Благодаря поддержкѣ націи, палаты могли чувствовать себя еще болѣе сильными въ борьбѣ съ правительствомъ, и когда законъ этотъ началъ обсуждаться въ палатѣ, было уже ясно видно, что министерство еще разъ потерпитъ пораженіе. Аргументы оппозиціи были сильны, они сводились къ тому, что «свобода печати представляется единственною гарантіею противъ произвольныхъ дѣйствій министерства, что правительство дѣйствующее честно не можетъ ее опасаться, и что если теперь прибѣгаютъ къ такому закону, то только потому, что, испробовавъ подкупъ журналовъ, оно убѣдилось, что заставить молчать можно только административнымъ произволомъ». Вы желаете, говорилось министерству Карла X, на цѣломъ океанѣ грязи видѣть только ваши продажные журналы, обязательные органы самыхъ рабскихъ доктринъ. Самымъ могущественнымъ защитникомъ свободы печати явился глава только-что образовавшейся партіи доктринеровъ, Ройе-Колларъ, который резюмировалъ свою рѣчь, посвященную защитѣ конституціонныхъ гарантій, словами: «чтобъ не было больше писателей, не было типографовъ, не было журналовъ — вотъ условія, въ которыхъ вы желали видѣть печать». При такихъ условіяхъ, свобода будетъ легко задавлена и наступитъ господство произвола. Казиміръ Перье съ ироніей предлагалъ, чтобы законъ о печати заключался всего въ одной статьѣ: «книгопечатаніе уничтожено во Франціи». Правительству доказывали, что оно ошибается, думая, что все зло кроется въ печати, а не въ отвратительной политикѣ самого правительства, что свобода печати, установленная хартіею, будетъ вполнѣ возможна съ той минуты, когда страною начнутъ управлять согласно съ ея интересами, а не выгодамъ небольшой кучки людей, стоящихъ у кормила правленія, и что презрѣніе къ правамъ націи, а не свобода печати, рано или поздно, ведетъ всегда къ гибели монархіи. Министерство Карла X все-таки не сдавалось, и только когда оно убѣдилось, что палата перовъ отвергнетъ проектъ, оно рѣшилось взять обратно свой законъ «справедливости и любви». Лишь только сдѣлалось извѣстно, что правительство покорилось и взяло обратно свой злополучный проектъ, — восторгъ былъ всеобщій. Населеніе не желало смѣшивать короля съ министерствомъ, и потому Парижъ огласился кри-

ками: да здравствуетъ король! да здравствуютъ пэры! долой министровъ! долой іезуитовъ! Повсюду горѣла иллюминація, вездѣ сожигались фейерверки; студенты и рабочіе типографщики прогуливались съ флагами, толпы собирались на всѣхъ перекресткахъ. Правительство выдвинуло военныя силы. Во всѣхъ большихъ городахъ производились демонстраціи, словомъ—населеніе еще разъ праздновало побѣду надъ врагомъ—старымъ порядкомъ.

Карлъ X былъ недоволенъ. Его мечта—возстановить старую монархію съ ея спутниками, феодальною аристократіею и сильнымъ духовенствомъ,—претерпѣваетъ ударъ за ударомъ. Раздраженный, онъ дѣлалъ все, чтобы непопулярность своего министерства перенести на династію, и это была, нужно сказать, единственная его задача, въ которой онъ успѣвалъ. И въ этомъ отношеніи въ предостереженіяхъ не было недостатка. Вскорѣ послѣ того, что законъ о печати былъ взятъ обратно, Карлъ X рѣшился произвести смотръ всей національной гвардіи на Марсовомъ полѣ, несмотря на то, что и министерство, и роялистская партія опасались, чтобы смотръ этотъ не послужилъ предлогомъ для серьёзныхъ безпорядковъ. Карлъ X встрѣченъ былъ криками: vive le roi! но скоро эти крики перемѣшались съ другими криками: vive la charte! vive la liberté de la presse! сопровождавшіеся громкими возгласами: долой министровъ! долой іезуитовъ! Когда крики эти раздались подъ самымъ ухомъ короля, онъ громко произнесъ: «я явился сюда не для того, чтобы получать уроки!» Но слова эти вызвали еще болѣе усиленные крики: vive la charte! à bas les jésuites! Послѣдствіемъ этого смотра былъ указъ о распущеніи національной гвардіи, который нанесъ тяжкій ударъ реставраціи. Національная гвардія состояла изъ буржуазіи, которая, правда, вела борьбу изъ-за конституціонализма, но тѣмъ не менѣе вовсе не желала разрыва съ династіей, опасаясь въ случаѣ новой революціи торжества республики. Поэтому въ рѣшительную минуту, когда вопросъ поставленъ былъ бы ребромъ—быть или не быть революціи?—буржуазія стала бы на сторону царствовавшей династіи. Такимъ образомъ, реставрація, распуская національную гвардію, добровольно отказалась отъ своего самаго сильнаго орудія. Болѣе умѣренная роялистская партія поняла это и отнеслась враждебно къ такой неполитичной мѣрѣ. Почти одновременно съ указомъ о распущеніи національной гвардіи, явился указъ о возстановленіи цензуры для всѣхъ періодическихъ журналовъ. Издать этотъ указъ значило подливать масло въ огонь. Правительство Карла X съ каждымъ днемъ все больше доказывало свою неспособность прими-

риться съ конституціоннымъ порядкомъ; нація же не переставала заявлять свое рѣшительное нежеланіе возвращаться къ старому порядку. Лишь только появился указъ о цензурѣ, такъ тотчасъ же лозунгомъ всей оппозиціи сдѣлалось изреченіе Шатобріана: «все будетъ высказываемо, истина не будетъ скрыта», и каждый день появлялись десятки брошюръ, неподчиненныхъ цензурѣ; война получила характеръ болѣе ожесточенный. Люди самаго консервативнаго направленія, какъ Гизо, Одилонъ Барро, Витѣ, рѣшились образовать тайное, хотя въ дѣйствительности оно было гласное, общество подъ названіемъ: Aide-toi, le Ciel t'aidera. Задача этого общества была бороться съ правительствомъ, оказывать сопротивленіе всѣмъ неконституціоннымъ мѣрамъ, но бороться законными средствами, предоставленными хартіей. Положеніе становилось съ каждымъ днемъ все болѣе натянутымъ. Люди, окружавшіе Карла X, да наконецъ и самъ онъ, начали понимать, что непопулярное министерство Виллеля должно было уступить мѣсто другимъ людямъ, другому направленію, но вопросъ стоялъ такъ: какому направленію, какимъ людямъ? Партія контръ-революціи и самъ Карлъ X были убѣждены, что министерство Виллеля потому дѣйствовало такъ неудачно, что оно было слишкомъ слабо, что нужны были люди болѣе энергичные, рѣшительные, которые не шли бы ни на какіе компромиссы и уступки. Партія умѣренныхъ роялистовъ настаивала на необходимости, для спасенія реставраціи, призвать министерство, болѣе отвѣчающее общественному настроенію. Самъ Виллель не заблуждался въ положеніи дѣлъ. Онъ съ горечью говорилъ, что «никогда еще власть, подвергающаяся такимъ дерзкимъ нападеніямъ, не была такъ дурно защищаема».

Карлъ X, вѣрный своимъ идеямъ и совершенно не понимая своего опаснаго положенія, желалъ усилить министерство своимъ любимцемъ Полиньякомъ, вполнѣ раздѣлявшимъ всѣ идеи Карла X. Но Виллель воспротивился. Онъ цѣплялся за власть и надѣялся, что съ помощію нѣкоторыхъ рѣшительныхъ мѣръ ему удастся восторжествовать надъ усиливавшеюся оппозиціею: нужно было сломить палату депутатовъ, а для этого слѣдовало прибѣгнуть къ ея распущенію и къ новымъ выборамъ; нужно было сломить палату пэровъ, нанесшую правительству два сильныхъ удара, отказавшись принять законъ о правѣ первородства и законъ о печати, а для этого слѣдовало обратиться къ средству, измѣнявшему палату пэровъ, т.-е. назначенію цѣлой гурьбой новыхъ преданныхъ правительству пэровъ, которые доставили бы ему послушное большинство. Мѣры эти и были приняты, и въ

ноябрѣ 1827 года появились королевскіе указы о распущеніи палаты и новыхъ выборахъ, о назначеніи новыхъ семидесяти шести пэровъ и, наконецъ, еще указъ, предназначавшійся для успокоенія общества, объ уничтоженіи цензуры и возстановленіи свободы печати. Послѣдняя мѣра не ослабила впечатлѣнія двухъ первыхъ, вызвавшихъ противъ себя взрывъ негодованія. Въ странѣ раздался одинъ крикъ, что правительство хочетъ нарушить хартію, что, вмѣсто того, чтобы удалить министерство, оно желаетъ доставить ему торжество искусственнымъ составленіемъ палаты пэровъ и подтасованнымъ большинствомъ палаты. Оппозиція рѣшилась напрячь всѣ свои силы, чтобы не допустить до побѣды правительство, которое въ свою очередь рѣшилось оказать самое усиленное давленіе на избирателей и заставить ихъ устранить всѣхъ оппозиціонныхъ кандидатовъ. Разсчетъ правительства оказался ошибочнымъ, и первые выборы въ Парижѣ показали, что правительство проиграло кампанію, и что оппозиція восторжествуетъ. Толпа народа снова расхаживала по улицамъ съ криками: vive la charte! Движеніе приняло настолько серьёзный характеръ, что въ дѣло пущены были войска, произведены были многочисленные аресты, но все напрасно. Правительство не могло не понять своего положенія. Дворъ былъ убитъ, партія контръ-революціи негодовала, приходилось уступать въ то время, когда уступки были ненавистны, и когда кругомъ Карла X, и онъ самъ, не переставали повторять, что уступки довели до эшафота Людовика XVI. Они и не подозрѣвали, что въ дѣйствительности казненъ былъ вовсе не Людовикъ XVI, а въ его лицѣ—старый порядокъ, и что всякія крутыя мѣры только ускорили бы трагическую развязку. Какъ ни сильно было однако негодованіе, Карлъ X долженъ былъ разстаться съ министерствомъ Виллеля, уступившимъ мѣсто болѣе умѣренному министерству Мартиньяка.

Перемѣна министерства не улучшила положенія правительства Карла X, благодаря главнымъ образомъ его собственнымъ ошибкамъ. Партія конституціонная готова была видѣть въ министерствѣ Мартиньяка, слывшаго за человѣка честнаго и преданнаго конституціонному порядку, какъ-бы отреченіе Карла X и партіи контръ-революціи отъ той политики, которая имѣла своею цѣлію отстоять прерогативы короны, несовмѣстныя съ конституціонализмомъ, и возстановить то, что было сломано навсегда—сильное духовенство и могущественную аристократію. Но самъ Карлъ X порѣшилъ вывести Францію изъ такого заблужденія. Первыя слова, съ которыми онъ обратился къ новымъ министрамъ, были словами не умиротворенія, а вызова. «Я разстался,

сказалъ онъ, съ Виллелемъ съ большимъ сожалѣніемъ. Его система, это—моя система. Я надѣюсь, что вы будете ей слѣдовать». Слова эти не остались безъ отвѣта со стороны палаты, которая въ адресѣ поспѣшила выразить королю, что система Виллеля, это «прискорбная система». Дворъ и Карлъ X были въ негодованіи: палата, говорили они, оскорбляетъ величіе короля и вступаетъ въ открытую борьбу уже не съ тѣмъ или другимъ министерствомъ, а прямо съ королевскою властью. Они не думали о томъ, кто былъ виновникомъ такого столкновенія, и не думали потому, что не желали мириться съ истиннымъ конституціонализмомъ. Карлъ X, поддерживаемый въ своихъ идеяхъ партіею контръ-революціи, и выразившійся, что онъ «не позволитъ бросать своей короны въ грязь», провозгласилъ, что «величіе трона есть первая и самая достойная гарантія правъ націи». Конституціонная партія не согласилась и съ этимъ, основательно разсуждая, что хартія представляетъ болѣе вѣрный оплотъ для правъ народа, чѣмъ добрая воля того или другого короля.

Отношенія между короной, отстаивавшей старую монархію, и палатами, мирившимися исключительно съ конституціонной монархіей, становились съ каждымъ днемъ все болѣе натянутыми. Положеніе министерства Мартиньяка было одно изъ самыхъ тяжелыхъ. Ему предназначено было не удовлетворить ни одной партіи. Придворная партія интриговала противъ новаго министерства: видя въ немъ «уступку», Карлъ X не оказывалъ по отношенію къ Мартиньяку, какъ къ человѣку, не стоявшему близко къ престолу, никакого довѣрія. Между новымъ министерствомъ и Карломъ X не существовало согласія во взглядахъ. Наконецъ, оппозиція не находила въ новомъ министерствѣ для себя удовлетворенія и смотрѣла на него, какъ на нѣчто переходное и колеблющееся. Такова и была въ дѣйствительности роль новаго министерства Мартиньяка, не имѣвшаго въ себѣ достаточно силы, чтобы заставить смириться придворную клику, и не располагавшаго никакими средствами, чтобы сломить партію, державшую въ своихъ рукахъ конституціонное знамя. Несмотря на свое двусмысленное положеніе, Мартиньякъ оказалъ все-таки нѣкоторыя услуги либеральной партіи. Онъ внесъ въ палату законъ, обезпечивающій бо́льшую свободу выборовъ отъ произвола администраціи, и въ значительной степени облегчилъ положеніе печати. Онъ нанесъ сильный ударъ господству іезуитовъ и предоставилъ палатѣ право толкованія законовъ, которое до того времени принадлежало коронѣ. Эти безспорно либеральныя мѣры вызвали противъ Мартиньяка ожесточенныя нападки

какъ со стороны придворной партіи, такъ и со стороны духовенства. Мартиньякъ, старавшійся лавировать между массою подводныхъ камней, которые онъ встрѣчалъ на своемъ пути, старался ослабить ненависть противъ себя, возбуждая преслѣдованія газетъ и журналовъ и обвиняя, между прочимъ, Беранже въ оскорбленіи религіи. Судъ приговорилъ поэта, но либеральная партія открыла общественную подписку, и такимъ образомъ былъ уплаченъ штрафъ въ десять тысячъ франковъ, къ которому былъ приговоренъ Беранже. Но эти непослѣдовательныя мѣры, возстановляя противъ него оппозицію, не удовлетворяли, само-собою разумѣется, его враговъ — и, такимъ образомъ, министерство Мартиньяка очутилось въ томъ положеніи, въ какомъ всегда оказываются люди, шатающіеся изъ стороны въ сторону и не имѣющіе опредѣленныхъ политическихъ взглядовъ. Министерство внесло въ палату два закона объ организаціи общинъ и департаментовъ,—законы, которые предоставляли королевской власти больше правъ, чѣмъ то совмѣстно съ конституціоннымъ порядкомъ, и законы эти провалились въ палатѣ. Дворъ былъ возмущенъ. Карлъ X, съ самаго начала желавшій поскорѣе отдѣлаться отъ «срединнаго» министерства, нашелъ теперь достаточный къ тому поводъ,—и участь Мартиньяка была рѣшена.

У кормила правленія сталъ теперь человѣкъ, близкій сердцу Карла X — Полиньякъ, который долженъ былъ только ускорить неминуемое паденіе Карла X и произнести надгробное слово надъ старшею линіею Бурбоновъ и притязаніями возстановить старый порядокъ. Перемѣна министерства произошла такъ внезапно, что самъ Мартиньякъ узналъ о ней только тогда, когда подписанъ уже былъ указъ о назначеніи новыхъ министровъ. Дать Франціи министерство Полиньяка—значило, по выраженію Гизо, поднять надъ Тюльери знамя контръ-революціи. Общественное мнѣніе Франціи не могло быть введено въ заблужденіе относительно значенія новаго министерства. Полиньякъ былъ однимъ изъ самыхъ непопулярныхъ людей въ цѣлой странѣ, и непопулярность эта была, такъ-сказать, наслѣдственная. Онъ постарался только, если возможно, увеличить эту непопулярность. Всѣмъ было извѣстно, что Полиньякъ отказался принести присягу на вѣрность хартіи 1815 года, что онъ былъ душою Павильона Marsan, въ которомъ собирался цвѣтъ ультра-роялистской партіи, всѣ знали, что онъ былъ однимъ изъ враговъ конституціонализма, и въ силу того требовалъ возстановленія, посредствомъ закона о правѣ первородства, могущественной аристократіи и возвра-

щенія духовенству всѣхъ его до-революціонныхъ привилегій. Ограниченный, бездарный, онъ былъ силенъ только своею преданностью старому порядку и ненавистью ко всему, что носило хотя самый отдаленный слѣдъ революціи. Если имя Полиньяка служило программой будущихъ дѣйствій правительства, то остальныя имена такихъ людей, какъ Лабурдоне, одного изъ главныхъ дѣятелей свирѣпой реакціи 1815 года, и Бурмона, измѣнившаго Франціи въ самый день Ватерлоо и передавшагося непріятелю, не оставляли уже никакихъ сомнѣній въ намѣреніи правительства Карла X—сломить конституціонный порядокъ и превратить хартію въ пустую побрякушку, форму, лишенную содержанія.

Не индиферентно, не покорно Франція отнеслась къ попыткѣ возстановленія абсолютной монархіи съ ея вѣковыми злоупотребленіями. Она смѣло приняла брошенный ей вызовъ и рѣшилась на борьбу съ реакціей, отстаивая всѣми силами конституціонный порядокъ. Все общество пришло въ движеніе, во всѣхъ концахъ Франціи образовывались комитеты съ цѣлью сопротивленія произвольнымъ мѣрамъ, несогласнымъ съ конституціею, вездѣ произносились горячія рѣчи, журналы и газеты всѣхъ оттѣнковъ оппозиціи, начиная отъ консервативной роялистской до республиканской, заключили союзъ для отпора контръ-революціи. Правительство начало преслѣдовать направо и налѣво, возбуждало одинъ процессъ за другимъ противъ различныхъ журналовъ, начиная съ консервативнаго «Journal des Débats», но эти преслѣдованія и процессы обращались противъ правительства. Судьи оправдывали тѣхъ, кого преслѣдовало правительство. На лозунгъ правительства: «довольно уступокъ», либеральная партія отвѣтила тѣмъ же лозунгомъ: «довольно уступокъ», но только со стороны народа. Пусть посмѣютъ, говорилось въ публичныхъ рѣчахъ, обратиться къ реакціоннымъ, произвольнымъ мѣрамъ, и тогда правительство убѣдится, что «сила каждаго правительства заключается исключительно въ рукахъ и кошелькѣ гражданъ, составляющихъ націю. Нація знаетъ свои права, — она съумѣетъ защитить ихъ». Правительству Карла X давалось предостереженіе, что руки могутъ обратиться и противъ него, и что кошелекъ не будетъ отданъ въ его распоряженіе. Но грознѣе всего въ этой агитаціи, вызванной министерствомъ Полиньяка, было образованіе комитетовъ въ разныхъ центрахъ Франціи съ цѣлью пропагандировать отказъ въ платежѣ налоговъ на случай какихъ-либо произвольныхъ мѣръ со стороны правительства, посягательства на тѣ или другія

права, обусловленныя хартіей. Очень скоро по всей Франціи распространился пароль: «не платить налоговъ»,—средство тѣмъ болѣе могущественное, что къ нему примкнули всѣ оппозиціонныя партіи. Заговоръ противъ реставраціи велся совершенно открыто, въ немъ участвовали—и не скрывая своего участія—всѣ корифеи конституціонной партіи, которая, въ сущности, нимало не желала революціи и даже больше—опасалась ея. Правительство негодовало, но было безсильно остановить все усиливавшуюся пропаганду отказа въ платежѣ налоговъ, что̀ представлялось вполнѣ законнымъ средствомъ въ борьбѣ съ произволомъ. Въ это время еще не раздавался ни одинъ голосъ, который бы требовалъ устраненія династіи старшей линіи Бурбоновъ, такъ какъ вся цѣль борьбы исчерпывалась однимъ—серьёзнымъ примѣненіемъ къ государственной жизни хартіи 1815 года. Либеральная оппозиція полагала, что достаточно будетъ показать правительству, что страна готова дать серьёзный отпоръ всякимъ поползновеніямъ лишить ее тѣхъ конституціонныхъ гарантій, которыя заключала въ себѣ хартія, чтобы оно опомнилось и отказалось отъ борьбы, способной увлечь ее въ пропасть. Но ни Карлъ X, ни Полиньякъ, ни Пейронне, ни другіе, окружавшіе короля, не желали видѣть опасности, увѣренные, что сила на ихъ сторонѣ. Общество, печать настойчиво требовали удаленія министерства Полиньяка, возбуждавшаго ненависть однимъ своимъ именемъ, а Карлъ X не только не отказывался отъ него, но усиливалъ министерство людьми, готовыми на все, что̀ только имъ будетъ приказано. Какъ, казалось, ни ясно было, что правительство Карла X рѣшится на крайнія мѣры, способныя вызвать серьёзный переворотъ, но, несмотря на это, только немногіе еще задавались вопросомъ: какой исходъ получитъ движеніе, и желательно ли, чтобы старшая линія Бурбоновъ сохранила престолъ? Вопросъ этотъ не проникалъ наружу, въ печать, до начала 1830 года, когда Тьеръ, вмѣстѣ съ историкомъ Минье и однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ публицистовъ Франціи—Арманъ Карелемъ, основали большую газету: «National», рѣшившуюся вести энергическую борьбу съ правительствомъ, всѣми силами отстаивая конституціонализмъ. Программа этой газеты была такова: старый порядокъ похороненъ на-вѣки, всякая попытка вернуть его преступна, старшая линія Бурбоновъ оказалась совершенно неспособною ужиться съ конституціоннымъ порядкомъ, и потому, для избѣжанія кровавой революціи, анархіи, необходимо, устранивъ Карла X съ его потомствомъ, найти такого принца, который бы безъ большихъ по-

трясеній могъ замѣстить вакантный престолъ, и который, вмѣстѣ съ тѣмъ, былъ бы поставленъ въ иныя условія относительно хартіи, т.-е. чтобы хартія служила договоромъ, добровольно заключеннымъ между страною и принцемъ. Только при такихъ условіяхъ конституціонализмъ во Франціи будетъ обезпеченъ отъ попытокъ уничтожить его.

Разумѣется, мы приводимъ эту программу въ самыхъ общихъ чертахъ. Нужно только замѣтить, что когда говорилось о необходимости подыскать принца, способнаго жить въ ладу съ конституціоннымъ порядкомъ, то въ это время принцъ уже былъ найденъ, и это былъ не кто. иной, какъ герцогъ Орлеанскій, кандидатуру котораго взялся пропагандировать Тьеръ въ газетѣ «National».

Тьеръ задается задачей дѣйствовать исключительно путемъ конституціоннымъ, замкнуться въ хартіи и замкнуть въ ней враждебную партію; наступитъ день, и скорѣе рано, чѣмъ поздно, когда придворная партія и правительство Карла X выйдутъ изъ предѣловъ хартіи и надѣлаютъ глупостей. Тогда и право, и сила будутъ на сторонѣ не мятежниковъ, а защитниковъ хартіи, являющейся основнымъ закономъ страны.

«National» съ необыкновенною силою и смѣлостью каждый день развивалъ свое положеніе, сегодня доказывалъ неоспоримое право гражданъ не платить налоговъ, не утвержденныхъ палатою, завтра, что вся сила и власть, согласно конституціи, принадлежитъ палатамъ, а не королю, который только царствуетъ, но не управляетъ. Газета Тьера и Карреля, двухъ людей, нужно сказать, совершенно противоположныхъ по характеру, разъясняла въ безчисленномъ множествѣ статей сущность конституціонализма, доказывала, что октроированная конституція представляется нелѣпостью, такъ какъ то, что́ дано, можетъ быть и отнято; что конституція должна стоять внѣ доброй воли того или другого короля; что она составляетъ право народа, недопускающее посягательства на его неприкосновенность; что всякая попытка урѣзать ее порождаетъ обязанность для гражданъ защищать ее всѣми законными средствами, и если нужно, то силѣ противопоставить силу. Тьеръ, пропагандировавшій кандидатуру герцога Орлеанскаго, доказывалъ, что порядокъ долженъ быть сохраненъ наперекоръ правительству, вносящему смуту въ общество, что порядокъ стоитъ выше того или другого лица, и что если старшая линія Бурбоновъ не понимаетъ своего положенія, то она должна быть принесена въ жертву порядку; что для избѣжанія анархіи, нужно послѣдовать примѣру Англіи 1688 г., т.-е. произвести

консервативную революцію, измѣнившую людей, но не учрежденія.

Хотя цѣль, которую преслѣдовалъ «National», и была совершенно ясна, но все-таки въ первые два мѣсяца своего существованія, до той минуты, пока правительство Карла X не высказало съ полною опредѣленностью своихъ стремленій, «National», а вмѣстѣ съ нимъ и другіе либеральные органы, приглашавшіе страну къ сопротивленію, не ставили вопроса рѣзко, ребромъ, придерживаясь выжидательной политики. Министерство Полиньяка съ своей стороны, съ августа 1829 г. по мартъ 1830 г., точно также сдерживалось и не приступало къ рѣшительной политикѣ. Положеніе дѣлъ быстро измѣнилось только послѣ 2-го марта, когда король, при открытіи законодательной сессіи, произнесъ рѣчь, явно противную духу конституціонализма. «Пэры Франціи, депутаты департаментовъ,—произнесъ Карлъ X,—я не сомнѣваюсь въ вашемъ содѣйствіи для совершенія того блага, котораго я желаю. Вы отвергнете съ презрѣніемъ тѣ вѣроломныя внушенія, которыя злонамѣренные люди стараются распространять. Если преступныя дѣйствія причинятъ моему правительству затрудненія, которыхъ я не желаю предвидѣть, тогда я найду силу устранить ихъ въ моей рѣшимости сохранить общественное спокойствіе, въ томъ довѣріи и той любви, которыя французы всегда питали къ своему королю». Эта, вполнѣ не-конституціонная, рѣчь подлила только масла въ огонь. Раздраженіе было такъ сильно, что палата сочла необходимымъ дать уже не министерству, а самому королю серьёзный отпоръ, который могъ бы еще заставить его одуматься. Въ палатѣ депутатовъ преобладающее значеніе имѣли умѣренныя партіи, не только не желавшія вызывать движеніе, которое могло бы смести и династію, и учрежденія, но не желавшія даже той консервативной революціи, которую Тьеръ подготовлялъ въ газетѣ «National», и нисколько не сочувствовавшія кандидатурѣ сына Филиппа Egalité. Эти партіи надѣялись, что рѣшительнымъ словомъ палаты Карлъ X будетъ остановленъ на томъ гибельномъ пути, на который онъ вступилъ такъ легкомысленно. «Постоянное согласіе между политическими взглядами вашего правительства—отвѣчала палата—и стремленіями вашего народа хартія ставитъ какъ необходимое условіе правильнаго хода политическихъ дѣлъ. Ваше величество! наша честность, наша преданность вынуждаютъ насъ сказать, что такого согласія не существуетъ. Несправедливое недовѣріе къ чувствамъ Франціи является основною мыслію вашей администраціи; вашъ народъ огорченъ, такъ какъ такое недо-

вѣріе для него оскорбительно; онъ взволнованъ, такъ какъ оно угрожаетъ его вольностямъ... Королевскія прерогативы даютъ вамъ средство сохранить между органами государственной власти гармонію, требуемую конституціей: это—первое и самое существенное условіе крѣпости вашего трона и величія Франціи».

Если рѣчь короля была выраженіемъ стараго порядка, то адресъ палаты доказывалъ, что конституціонализмъ сдѣлалъ серьёзные успѣхи и не намѣренъ поступаться своими основными принципами. Почтительность выраженій, внѣшняя сдержанность никого не могли обмануть. Перчатка, брошенная Карломъ X и министерствомъ Полиньяка, была поднята палатою депутатовъ и,—болѣе скромно—палатою пэровъ, которая выражала только, что «Франція столько же не желаетъ анархіи, сколько король не желаетъ деспотизма», что́ означало иными словами, что палата пэровъ протестуетъ противъ произвола, усвоиваемаго правительствомъ. Роялистская партія въ палатѣ депутатовъ желала смягченія проектированнаго адресса, но новый депутатъ, впервые дебютировавшій въ палатѣ, Гизо, возсталъ противъ всякихъ измѣненій. Онъ весьма яркими красками обрисовалъ положеніе страны и правительства, которое всѣми своими дѣйствіями вооружаетъ противъ себя даже людей, болѣе всего чуждыхъ оппозиціи. Такіе люди желали бы поддерживать правительство, а между тѣмъ противъ своей воли они вынуждены вступать съ нимъ въ борьбу. Общество кажется спокойно, такъ спокойно, что правительство воображаетъ себя внѣ всякой опасности. Жалкая иллюзія! Вотъ отчего не слѣдуетъ въ адрессѣ смягчать выраженій. «Правдѣ и безъ того уже,—говорилъ Гизо,—достаточно трудно проникать во дворцы королей; не введемъ же ее туда блѣдною и слабою». Рѣчь Гизо произвела впечатлѣніе, и адрессъ въ своемъ первоначальномъ видѣ былъ вотированъ большинствомъ 221 голоса. Конфликтъ между правительствомъ и палатой принялъ острый характеръ; обѣ стороны были настолько проникнуты сознаніемъ своей правоты, что о соглашеніи, уступкахъ не могло быть и рѣчи. Карлъ X былъ озлобленъ дерзостью палаты, и когда коммиссія явилась къ нему для прочтенія адресса, онъ съ твердостью, достойною лучшаго дѣла, отвѣтилъ: «Господа! я высказалъ свои намѣренія въ тронной рѣчи. Мои рѣшенія непоколебимы; благо моего народа не позволяетъ мнѣ отъ нихъ уклоняться». 19-го марта сессія палатъ была отсрочена до 1-го сентября, но никто уже не могъ сомнѣваться, что до той поры произойдутъ рѣшительныя событія.

Никто не могъ скрывать отъ себя, что завязавшаяся борьба

между короной и палатами, въ дѣйствительности, была борьбою между абсолютною монархіею и представительнымъ правленіемъ, между старымъ порядкомъ и конституціонализмомъ. Обѣ стороны вносили въ борьбу всю страстность, всегда вызываемую политическою бурею. Либеральная партія не обманывалась относительно смысла отсрочки сессіи, она хорошо знала, что вслѣдъ за этою отсрочкою, палата будетъ распущена и появится указъ о новыхъ выборахъ. Новые выборы должны были имѣть рѣшающее значеніе въ государственной жизни Франціи. Восторжествуетъ министерство и придворная партія, Франція на-долго должна будетъ проститься съ конституціоннымъ порядкомъ; восторжествуютъ защитники самой умѣренной свободы — реставрація будетъ снесена навсегда. Газета Тьера и Арманъ Карреля играла роль застрѣльщика. Каждый день она доказывала, что воля короля должна преклониться передъ закономъ, что никто не смѣетъ прикоснуться до хартіи; она осмѣивала притязаніе, что хартія была дарована королевскою властью, она говорила открыто, что у правительства нѣтъ другого выбора, какъ подчиниться хартіи или уступить власть другимъ людямъ, она не стѣснялась высказывать, что старшая линія Бурбоновъ доказала свою неспособность ужиться съ конституціоннымъ правленіемъ.

Правительство съ своей стороны вовсе не падало духомъ, оно было увѣрено, что ему удастся усилить королевскую власть въ ущербъ палатамъ, и съ этимъ убѣжденіемъ 16-го мая оно издало указъ о распущеніи палаты и назначило новые выборы. Роялистская печать также не дремала. Всѣми средствами она старалась подорвать довѣріе къ либеральной партіи, даже взводила на нее обвиненіе въ тѣхъ пожарахъ, которые въ это время свирѣпствовали во Франціи. Либеральная партія поджигаетъ дома и города; либеральная партія стремится къ низверженію существующаго порядка; либеральная партія желаетъ царства анархіи, она подкапывается подъ всѣ священныя основы государства, она развращаетъ семью, она проповѣдуетъ атеизмъ, она не признаетъ собственности.

Либеральная партія не смущалась однако этими безчестными обвиненіями; она знала, что всѣ эти клеветы сдѣлаются страшны только съ той минуты, когда восторжествуетъ произволъ правительства, такъ-какъ тогда всѣ доказательства лживости этихъ обвиненій потеряютъ всякое значеніе. Тѣмъ съ бо́льшею энергіею стала она домогаться возвращенія въ палату 221 депутатовъ, подавшихъ голосъ за адресъ. Министерство на арену борьбы выдвинуло самого короля, обратившагося къ націи съ воззваніемъ,

въ которомъ онъ говорилъ, что палата оскорбила его, и что возвращеніе 221 выражало-бы прямое недовѣріе страны къ нему, королю. Правда, въ этомъ воззваніи Карла говорилось между прочимъ, что «сохраненіе конституціонной хартіи и учрежденій, ею основанныхъ, всегда было и будетъ цѣлію моихъ усилій», но слова эти были сказаны слишкомъ поздно. Никто уже больше имъ не вѣрилъ. Либеральная партія во всѣхъ департаментахъ располагала своими комитетами, которые вели дѣятельную борьбу съ давленіемъ, оказываемымъ правительствомъ. Въ Парижѣ устроивались банкеты, на которыхъ заявлялась твердая рѣшимость не допустить правительство до нарушенія хартіи. Усилія либеральной партіи увѣнчались полнымъ успѣхомъ, избиратели послали въ палату оппозиціонное большинство. Число либеральныхъ депутатовъ превышало цифру 221. Карлъ X былъ побѣжденъ. Исполнить свою обязанность и подчиниться хартіи было слишкомъ поздно. Ему оставалось одно ненадежное средство для того, чтобы спасти, какъ онъ полагалъ, честь своей короны — это прибѣгнуть къ государственному перевороту. Но, рѣшаясь на государственный переворотъ, Карлъ X менѣе всего думалъ, что онъ совершаетъ въ дѣйствительности переворотъ: онъ полагалъ и вполнѣ искренно, что онъ, распуская еще разъ палату и издавая указъ о новомъ избирательномъ законѣ, остается въ предѣлахъ законности, что онъ не нарушитъ хартіи; онъ думалъ только о томъ, чтобы охранить неприкосновенными прерогативы короны, которыя, по его мнѣнію, палата желала умалить.

Примирившись съ составомъ палаты, избравъ министерство изъ среды большинства, Карлъ X несомнѣнно могъ спасти свою корону, такъ-какъ большинство либеральной буржуазіи не желало ничего иного, какъ упроченія конституціоннаго порядка, предоставлявшаго, благодаря высокому цензу, всю власть въ ея руки. Но «отступленіе» было вовсе не въ характерѣ Карла X. Отступленіе, полагалъ онъ, унизитъ престижъ королевской власти, чего онъ опасался даже болѣе, чѣмъ потери трона. Отступленіе было тѣмъ болѣе излишне, что хартія, и именно параграфъ 14-й — давалъ ему, по его мнѣнію, право принять тѣ мѣры, которыя ему и министерству казались необходимы для огражденія правъ королевской власти. Этотъ 14-й параграфъ говорилъ: «король есть глава государства; ему принадлежитъ главное начальство надъ сухопутными и морскими военными силами, онъ объявляетъ войну, подписываетъ мирные трактаты, заключаетъ союзы и коммерческіе трактаты, назначаетъ лицъ на всѣ административныя должности, и *издаетъ всѣ правила и*

указы, необходимые для исполненія законовъ *и безопасности государства*». Карлъ X долго размышлялъ надъ этимъ параграфомъ, и эти размышленія привели его къ убѣжденію, что хартія даетъ ему право «для безопасности государства» принимать чрезвычайныя мѣры. Ему не приходило въ голову, что если какая-либо опасность угрожала странѣ, то эта опасность исходила отъ самого престола. Карлъ X тѣмъ болѣе былъ убѣжденъ въ своей правотѣ, что всѣ министры поддерживали его въ томъ, будто онъ правильно понимаетъ 14-ю статью хартіи. Только одинъ изъ нихъ предупреждалъ, что мѣры, къ которымъ желаютъ прибѣгнуть, противозаконны, но голосъ его не былъ услышанъ. Поддерживаемый въ своихъ заблужденіяхъ министрами, Карлъ X вполнѣ искренно возмущался, что ему приписываютъ намѣреніе совершить государственный переворотъ. Онъ далъ самое торжественное обѣщаніе представителю императора Николая I, что у него и въ мысли нѣтъ—допустить нарушеніе хартіи. Достойно, въ самомъ дѣлѣ, вниманія, что представитель Россіи предостерегалъ Карла X отъ нарушенія конституціи, признавая, что прочность порядка заключается исключительно въ исполненіи хартіи. Гизо въ своихъ мемуарахъ приводитъ слова императора Николая, сказанныя имъ французскому посланнику въ Петербургѣ, герцогу Мортемару: «Если выйдутъ изъ хартіи, придутъ къ катастрофѣ; если король рѣшится на государственный переворотъ, онъ одинъ будетъ нести за него отвѣтственность». Австрія, въ лицѣ Меттерниха, точно также предостерегала правительство Карла X отъ послѣдствій нарушенія хартіи; но всѣ совѣты, всѣ предостереженія, исходившія отъ самыхъ противоположныхъ сферъ, какъ французской конституціонной партіи и нашего правительства, оставались безъ вліянія. Карлъ X рѣшилъ, что отступленіе постыдно, и что хартія даетъ ему право прибѣгнуть къ чрезвычайнымъ мѣрамъ. «Наступила минута,—говорили министры съ Полиньякомъ во главѣ,—прибѣгнуть къ мѣрамъ, отвѣчающимъ духу хартіи, но которыя стоятъ внѣ законнаго порядка, всѣ средства котораго были безплодно истощены. Эти мѣры, ваше величество, ваши министры, обязанные обезпечить ихъ успѣхъ, не колеблятся предложить вамъ, убѣжденные, что справедливость будетъ торжествовать». Министерство, готовое завтра нарушить хартію, тѣмъ не менѣе считало необходимымъ іезуитски прикрываться тою же хартіею. Беззаконіе, прикрывающееся маскою законности;—такое правило государственной мудрости давно уже не безъ успѣха практикуется въ исторіи.

Мѣры, предложенныя Карлу X на утвержденіе, заключались

въ четырехъ указахъ или ордонансахъ, изъ которыхъ первымъ уничтожалась свобода печати, возстановлялась необходимость предварительнаго разрѣшенія; вторымъ объявлялось о распущеніи палаты депутатовъ; третьимъ возвѣщался новый избирательный законъ, долженствовавшій обезпечить успѣхъ реакціи; и наконецъ, четвертый указъ опредѣлялъ время новыхъ выборовъ, назначенныхъ на сентябрь.

Когда собрался совѣтъ министровъ для послѣдняго обсужденія этихъ чрезвычайныхъ мѣръ, посреди нихъ нашлось двое, рѣшившихся говорить противъ и доказывавшихъ, что успѣхъ этихъ чрезвычайныхъ мѣръ болѣе чѣмъ сомнителенъ. Но Карлъ X былъ непреклоненъ. Всѣ министры и даже тѣ, которые протестовали противъ іюльскихъ указовъ, не рѣшились оказать сопротивленіе королю и приложили къ нимъ свою подпись.

Разсказываютъ, что передъ тѣмъ, чтобы подписать эти указы, одинъ изъ министровъ, d'Haussez бросилъ безпокойный взглядъ на стѣны той залы, гдѣ происходило засѣданіе.—Что вы ищете? обратился къ нему Карлъ X или Полиньякъ—«Я ищу, нѣтъ ли здѣсь гдѣ-нибудь портрета Страфорда!» Страфордъ былъ министромъ англійскаго короля Карла I. И тотъ, и другой сложили свои головы на плахѣ.

Карлъ X въ этотъ день былъ совершенно спокоенъ, но на слѣдующій день, 25-го іюня, передъ тѣмъ, чтобы приложить къ указамъ свою подпись, король задумался на нѣсколько минутъ, и со словами: «чѣмъ больше я думаю, тѣмъ болѣе я убѣждаюсь, что невозможно поступить иначе»,—подписалъ злополучные для него указы, стоившіе ему престола.

V.

26-го іюля, указы, разрывавшіе хартію, какъ листъ бѣлой бумаги, были обнародованы въ «Монитёрѣ». Первое впечатлѣніе, произведенное ими на оппозицію, было не столько негодованіе и рѣшимость бороться съ оружіемъ въ рукахъ, отстаивая конституціонный порядокъ, сколько крайнее смущеніе и растерянность. Совѣщаніе совѣта министровъ, рѣшеніе прибѣгнуть къ чрезвычайнымъ мѣрамъ хранилось въ такой строгой тайнѣ, что хотя съ самаго назначенія министерства Полиньяка всѣ сознавали, что правительство рѣшилось на борьбу, но въ данную минуту никто не ожидалъ, что часъ этой борьбы уже пробилъ. Что дѣлать? на что рѣшиться? — вотъ единственные

вопросы, которые задавались другъ другу, и на которые никто не рѣшался давать положительнаго отвѣта. Вопросы тѣмъ болѣе щекотливые, что оппозиція—такъ, по крайней мѣрѣ, казалось въ первыя минуты — стояла одиноко и не находила поддержки въ народѣ. Народъ, къ которому либеральная буржуазія, за немногими исключеніями, относилась съ полнымъ равнодушіемъ, граничащимъ съ презрѣніемъ, остался равнодушенъ къ указамъ, и это безучастное отношеніе народа леденило пылъ конституціонной партіи. Самый непосредственный ударъ былъ нанесенъ журналистамъ, и они-то первые рѣшились на сопротивленіе. Прежде всего они обратились къ нѣсколькимъ извѣстнымъ адвокатамъ, требуя отъ нихъ чисто-юридической консультаціи по вопросу: насколько изданные законы могутъ имѣть обязательную силу, въ виду ихъ противорѣчія основному закону, т.-е. хартіи. Адвокаты, среди которыхъ находились Дюпенъ, Бартъ, Одилонъ Барро и нѣкоторые другіе—всѣ, впрочемъ, принадлежавшіе къ оппозиціи—признали, что указы противозаконны, а слѣдовательно—и не обязательны, и потому имъ принадлежитъ не только право, но даже обязанность оказать правительству сопротивленіе. Журналисты, редакторы и издатели — правда, далеко не всѣ — рѣшились послѣдовать этому совѣту, и, несмотря на запрещеніе, издавать газеты безъ предварительнаго разрѣшенія, выпускать ихъ, не взирая на ордонансы. Имъ встрѣтилось одно серьёзное затрудненіе: типографы, стоявшіе, точно такъ же, какъ и издатели, подъ угрозою штрафовъ и наказанія, въ случаѣ печатанія, отказались предоставить свои станки къ услугамъ оппозиціи. Но затрудненіе это тотчасъ же было устранено, благодаря твердому поведенію въ эти смутные дни парижской магистратуры. Коммерческій судъ приговорилъ типографа «Courrier français» къ печатанію этого журнала, мотивируя свое постановленіе именно тѣмъ, что типографъ неосновательно ссылается, для оправданія себя отъ уклоненія въ исполненіи принятаго на себя обязательства, на приказъ полицейскаго префекта, предписывающаго выполнить указъ 25-го іюля; что приказъ этотъ не можетъ имѣть силы, такъ какъ это—«указъ, противный хартіи, и не можетъ быть признанъ обязательнымъ ни для священной и неприкосновенной особы короля, ни для гражданъ, права которыхъ онъ нарушаетъ; что, по точному смыслу хартіи, ордонансы могутъ быть издаваемы только для исполненія и сохраненія законовъ, и что упомянутый указъ имѣлъ бы, напротивъ, своимъ послѣдствіемъ нарушеніе закона 28-го іюля 1828 года». Поведеніе парижской магистратуры было, въ пол-

нымъ смыслѣ слова, безупречно, и нельзя не согласиться съ однимъ изъ историковъ этой эпохи, Нуніономъ, что «исторія съ любовью должна заносить такіе примѣры въ свои скрижали, такъ какъ, къ несчастью, они слишкомъ рѣдки, и насилія произвола слишкомъ часто встрѣчаютъ преступное малодушіе и безчестное угодничество». Благодаря такому поведенію магистратуры, оппозиціонныя газеты могли противопоставить произволу правительства открытое сопротивленіе. Но какъ мало однако у либеральной прессы было надежды на успѣхъ, можно судить по тому, что̀ писала одна изъ самыхъ рѣшительныхъ газетъ, — именно «National»: «Франція — говорила она — снова вступаетъ на тотъ путь, который она считала навсегда оставленнымъ еще пятнадцать лѣтъ назадъ; благодаря самому правительству, она снова брошена въ революцію. Сброшенная съ пути законности, она видитъ надъ собою опасность снова вернуться къ нему, не иначе, какъ испытавъ бурю... Франціи не остается ничего иного, какъ отказаться платить налоги. Палата, теперь сломленная, исполнила свой долгъ; избиратели сдѣлали то же. Печать, которая отнынѣ не можетъ открыто служить дѣлу свободы, сдѣлала все, что̀ можно было отъ нея ожидать»... Въ этихъ словахъ скорѣе звучала робость, отчаяніе за успѣхъ, нежели энергія, готовая на отчаянную борьбу. Робость, неувѣренность въ успѣхѣ становятся понятны, если вспомнить, что оппозиціонная печать была выраженіемъ исключительно либеральной буржуазіи, не знавшей, какъ относится народъ къ нарушенію хартіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, буржуазія и желала, чтобы народъ пришелъ къ ней на помощь, и еще больше — опасалась народнаго движенія, не зная, гдѣ оно остановится, и не заставитъ ли народъ за свое содѣйствіе заплатить властью, которую буржуазія старалась захватить въ свое исключительное господство.

Буржуазія тѣмъ болѣе была въ нерѣшительности, что она не теряла надежды сломить реставрацію легальнымъ сопротивленіемъ. Въ виду такого легальнаго сопротивленія, Тьеръ въ редакціи «National» собралъ сходку изъ журналистовъ и нѣкоторыхъ политическихъ людей, чтобы рѣшить, какъ оформить это сопротивленіе. Онъ предложилъ коллективный протестъ противъ іюльскихъ указовъ, подписанный всѣми редакторами оппозиціонной прессы, и чтобы протестъ этотъ былъ одновременно напечатанъ во всѣхъ газетахъ. Предложеніе Тьера встрѣтило отпоръ со стороны людей менѣе храбрыхъ, опасавшихся дать противъ себя оружіе правительству, но Тьеръ настоялъ и протестъ былъ подписанъ. «Въ теченіи послѣднихъ шести мѣсяцевъ часто было говорено,

что законы будутъ нарушены, и что государственный переворотъ неминуемъ; здравый смыслъ отказывался этому вѣрить. Министерство отвергало это предположеніе какъ клевету. Между тѣмъ, «Монитёръ» публиковалъ, наконецъ, эти достопамятные ордонансы, представляющіеся самымъ рѣшительнымъ нарушеніемъ законовъ. Законный порядокъ прерванъ; начинается царство силы. Въ томъ положеніи, въ которое мы поставлены, повиновеніе перестаетъ быть обязанностью. Граждане, призванные первые къ повиновенію, это—журналисты; они первые же и должны дать примѣръ сопротивленія власти, лишившей себя характера законности... Что касается насъ, мы будемъ ей сопротивляться». Сорокъ-два писателя подписали этотъ смѣлый протестъ, и впереди другихъ стояло имя Тьера. Нѣкоторымъ изъ редакторовъ газетъ, не далѣе какъ на слѣдующій день, пришлось дать примѣръ сопротивленія власти. Когда газеты, примкнувшія къ протесту, появились утромъ другого дня, не взирая на ордонансы, правительство отдало приказъ опечатать типографіи, уничтожить станки, разрушить наборъ и т. п. Когда полиція явилась, чтобы исполнить предписаніе, она встрѣтила отказъ подчиниться ея требованію, и если въ нѣкоторыхъ редакціяхъ и типографіяхъ сила восторжествовала, то были и такія редакціи, какъ газета «Temps», которымъ удалось не допустить полицію войти въ домъ.

Сопротивленіе, оказанное журналистами, самый выходъ газетъ, съ протестомъ на первомъ мѣстѣ, не могли быстро не разнестись по городу. Учащаяся молодежь, всегда болѣе чуткая къ грубымъ проявленіямъ произвола, первая откликнулась на зовъ; къ молодежи стали пристават нѣкоторые рабочіе, преимущественно уволенные изъ закрытыхъ типографій, и черезъ нѣсколько часовъ въ различныхъ углахъ Парижа стали раздаваться все громче и громче крики: «vive la Charte!» Но крики эти не давали еще предчувствовать близившагося настоящаго народнаго движенія, тѣмъ болѣе, что вожди либеральной оппозиціи, вліятельные люди конституціонной партіи дѣлали все, чтобы парализовать движеніе.

Въ то самое время, когда журналисты обсуждали свой протестъ, нѣкоторые изъ депутатовъ сошлись вмѣстѣ, чтобы обсудить также планъ дѣйствій. Болѣе искренніе и болѣе преданные дѣлу свободы предлагали обратиться съ воззваніемъ къ народу, приглашая его подняться для защиты вольностей, нарушенныхъ правительствомъ. Но противъ такого предложенія выступилъ будущій знаменитый министръ іюльской монархіи Казиміръ Перье, не только не желавшій вызывать народнаго движенія, но стре-

мившійся остановить его. Онъ объявилъ, что палата была распущена, что поэтому съ минуты появленія «Монитёра» депутатовъ болѣе не существовало, что слѣдовало выжидать событій, что, можетъ быть, правительство одумается и вступитъ на путь примиренія. Казиміръ Перье имѣлъ вліяніе, и сходка депутатовъ разошлась, не придя ни къ какому рѣшенію. Сходка депутатовъ была далеко не единственная: въ различныхъ концахъ Парижа стали собираться шумныя сходбища, на которыхъ обсуждался все тотъ же вопросъ: что́ дѣлать? какой принять планъ? На одной изъ такихъ сходокъ избирателей, гдѣ былъ также Тьеръ, одинъ изъ присутствовавшихъ воскликнулъ: «всѣхъ нашихъ враговъ нужно объявить внѣ закона, — и короля, и жандармовъ!» Но Тьеръ старался успокоить собраніе: онъ настаивалъ на томъ, что не слѣдуетъ выходить изъ предѣловъ законнаго сопротивленія, и чтобы имя короля не замѣшивали въ эти горячечныя пренія. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ, которые не вѣрили въ успѣхъ и даже возможность серьёзной революціи. Между тѣмъ движеніе начинало обрисовываться. Студенты, медики и юристы, воспламененные перспективой борьбы съ правительствомъ, несшимъ, помимо своихъ феодальныхъ стремленій, еще грѣхъ, и самый тяжкій, своей солидарности съ нашествіемъ чужестранцевъ, бросились въ народъ, возбуждая его къ возстанію. Голосъ молодежи, умѣвшей говорить съ народомъ и понимать его, оказывалъ дѣйствіе, и рабочій людъ Парижа готовъ былъ еще разъ принести себя въ жертву постоянно обманывавшей его свободѣ. Крики: «vive la Charte!» становились и чаще, и гуще; въ двухъ-трехъ улицахъ были уже взрыты мостовыя, — народъ не разучился строить баррикады. Правительство до сихъ поръ оставалось спокойнымъ, Карлъ X, увѣренный въ успѣхѣ и не допуская ничего иного, кромѣ пустой вспышки, охотился близъ Сенъ-Клу, окруженный слѣпыми придворными. Мѣры, принятыя правительствомъ, для подавленія какого-либо движенія, ясно указывали, что оно не опасается ничего серьёзнаго,—такъ въ дѣйствительности онѣ были незначительны. Одною изъ первыхъ мѣръ — былъ приказъ полицейскаго префекта арестовать журналистовъ, подписавшихъ протестъ, но и этотъ приказъ остался не приведеннымъ въ исполненіе, такъ какъ о немъ узнали своевременно, и опальныя лица имѣли всю возможность скрыться. Тьеръ покинулъ Парижъ и вернулся только тогда, когда революція была уже въ разгарѣ. Противъ группъ толпившагося народа въ различныхъ кварталахъ Парижа были вызваны взводы жандармовъ, но они безсильны были прекратить каждую минуту возобновляв-

шіеся крики: «vive la Charte! à bas les ordonnances!» Другого крика, раздавшагося уже на слѣдующій день: «à bas les Bourbons!» еще не было пока слышно.

Если правительство не вѣрило еще въ возможность революціи, то и большинство депутатовъ относилось къ вызванному движенію съ крайнимъ скептицизмомъ. Въ то время, когда народъ приступалъ къ постройкѣ баррикадъ, депутаты, принадлежавшіе почти всѣ—и по положенію своему, и по своему образу мыслей—къ буржуазіи, обсуждали, что̀ лучше: подать ли адрессъ королю, съ покорнѣйшею просьбою объ отмѣнѣ указовъ, или оставаться въ полномъ бездѣйствіи и выжидать, что̀ скажутъ новые выборы въ сентябрѣ? Быть можетъ, послѣдній способъ дѣйствія, или, вѣрнѣе,—бездѣйствія, и восторжествовалъ бы, если бы на улицѣ не раздались первые выстрѣлы. Эти выстрѣлы понудили рѣшиться на протестъ. Но событія шли такъ быстро, что опережали рѣшенія депутатовъ. Что̀ значилъ протестъ на письмѣ рядомъ съ протестомъ схватившагося за оружіе народа, получившимъ уже осязательную форму въ первой пролитой крови и въ той эмблемѣ движенія, которая была и понятна, и дорога для народа—въ взвившемся на башняхъ Notre-Dame трехцвѣтномъ знамени?

Если день 27-го іюля окончился еще нерѣшительно для той и другой стороны,—за то слѣдующій день уже ясно показалъ, что не правительство Карла X выйдетъ побѣдителемъ изъ завязавшейся борьбы. Въ этотъ день народъ, остававшійся еще безъ руководителей движенія, нашелъ ихъ въ лицѣ студентовъ Политехнической школы, которые бросились въ движеніе и своимъ геройскимъ поведеніемъ обезпечили успѣхъ іюльской революціи.

Передавать подробный ходъ событій этихъ памятныхъ въ исторіи Франціи трехъ дней борьбы между произволомъ и политическою свободою не входитъ въ нашу программу. Событія эти нужно припомнить только въ самыхъ общихъ чертахъ, чтобы не упускать изъ виду то значеніе, которое имѣли они въ исторіи французскаго конституціонализма. Когда для всѣхъ сдѣлалось ясно, что движеніе въ Парижѣ противъ іюльскихъ ордонансовъ приняло характеръ не пустой вспышки, а серьёзной революціи, тогда поведеніе двухъ господствовавшихъ партій, роялистской, или партіи правительства, и конституціонной, или партіи буржуазіи, рѣзко измѣнилось. Правительство, еще за день передъ тѣмъ увѣренное въ своей побѣдѣ и потому съ негодованіемъ отрицавшее возможность какихъ-либо уступокъ, теперь готово было принять всѣ условія, лишь бы удержать за

собою власть. Гордость Карла X была сломана. Онъ согласился подписать указъ объ отмѣнѣ злополучныхъ ордонансовъ, онъ готовъ былъ разстаться съ своими излюбленными министрами, онъ впередъ соглашался на всѣ требованія,—но на его горе,—уступчивость была уже несвоевременна. Онъ одумался слишкомъ поздно, чтобы спасти свой престолъ. Въ паденіи Карла X не было ничего величественнаго, честь извѣстнаго принципа не была спасена.

Поведеніе конституціонной партіи было также не симпатично. Она, какъ говорится, старалась только объ одномъ — какъ бы загрести жаръ чужими руками. На первыхъ порахъ, тотчасъ послѣ обнародованія ордонансовъ, она задалась мыслію легальнаго сопротивленія, и въ этомъ направленіи, нельзя не признать, что она обнаружила значительную энергію. Французское общество было всегда убѣждено, что легальное сопротивленіе произволу во сто кратъ лучше и достойнѣе, чѣмъ слѣпое повиновеніе безправнаго общества, не способнаго возвыситься до пониманія, что есть предѣлъ, за которымъ безропотная покорность переходитъ въ общественную низость; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, оно сознавало, и это высказывали нѣкоторые изъ выдающихся людей конституціонной партіи, что легальное сопротивленіе, не поддержанное народнымъ движеніемъ, окончится весьма жалкимъ образомъ. Если только нѣкоторые открыто высказывали эту мысль, то почти всѣ внутренно соглашались съ нею. И, несмотря на это, руководители конституціонной партіи дѣлали все, что отъ нихъ зависѣло, чтобы затормазить движеніе и не дать ему разростись, а во всякомъ случаѣ до поры, до времени держаться отъ него въ сторонѣ. Чѣмъ же объясняется такое поведеніе? однимъ,—страхомъ, что разъ вызванное движеніе оставитъ ихъ позади, за флагомъ, и нанесетъ буржуазіи бо́льшій ущербъ, нежели побѣда ультра-роялистской партіей съ Карломъ X во главѣ. Конституціонная партія робѣла передъ революціей, какъ передъ какимъ-то сфинксомъ. Съ одной стороны, оно было желательно, въ смыслѣ поддержки тѣхъ конституціонныхъ требованій, которыя заявляла она въ виду, по преимуществу своихъ собственныхъ, довольно узко понятыхъ интересовъ, съ другой стороны, являлось опасеніе, что въ случаѣ его успѣха, другіе, чуждые ей интересы—интересы народные—возьмутъ верхъ надъ ея стремленіями и не дозволятъ ей сосредоточить власть исключительно въ своихъ рукахъ. Этотъ страхъ перевѣшивалъ другія соображенія, и вотъ почему такіе люди, какъ Тьеръ, Казиміръ Перье, Гизо и Лафиттъ являлись сторонниками только легальнаго сопро-

тивленія. Когда же эта могущественная партія убѣдилась, что призывъ къ легальному сопротивленію вызвалъ сопротивленіе, хотя не менѣе легальное, но тѣмъ не менѣе революціонное, тогда всѣ ея усилія были направлены исключительно къ тому, чтобы эскамотировать народное движеніе въ свою пользу и не дать ему разростись до тѣхъ размѣровъ, когда сердитая революціонная волна выбросила бы на мель всѣ эгоистическія и властолюбивыя притязанія буржуазіи. Она напрягла всѣ свои силы, чтобы придушить народное движеніе, и ей удалось заставить послушаться себя, когда она произнесла: ни шагу дальше!

Но чѣмъ можетъ быть объясненъ такой успѣхъ либеральной буржуазіи, такая удача въ исполненіи ея замысла? Одною изъ главныхъ на то причинъ было, безъ сомнѣнія, то довѣріе, которое пріобрѣла себѣ буржуазія во время борьбы своей съ реставраціей изъ-за конституціонныхъ правъ. Въ этой борьбѣ, оставаясь на почвѣ общихъ принциповъ, завѣщанныхъ 89-мъ годомъ, она отстаивала дѣло политической свободы съ замѣчательнымъ талантомъ и энергіею, и эта-то услуга ея не была забыта въ рѣшительные дни, и помня то, охотно слушали совѣтовъ либерально-буржуазной партіи и подчинялись ея вліянію, не помышляя о томъ, что буржуазія преслѣдовала теперь больше, чѣмъ когда-нибудь свои собственныя цѣли, далеко не всегда совпадавшія съ интересами огромнаго большинства націи. Другая причина этого вліянія и успѣха либеральной буржуазіи заключалась въ томъ, что она представляла собою единственную политическую партію, имѣвшую опредѣленную, твердо выработанную программу, ясно намѣченную цѣль, къ которой она неуклонно стремилась, въ то время, какъ другія, участвовавшія въ движеніи силы боролись изъ-за чисто-отвлеченныхъ идей. Молодежь, игравшая такую значительную роль въ іюльской революціи, была воодушевлена самыми чистыми стремленіями, горѣла самою возвышенною любовью къ свободѣ, она не задумывалась передъ жертвами, съ радостью готова была проливать свою кровь за благо народа, за свободу, равенство и братство, но всѣ эти понятія такъ и оставались у нея отвлеченными, не отливались въ извѣстную программу, къ осуществленію которой она могла бы идти твердыми шагами. Она требовала совѣтовъ, но эти совѣты могли ей давать только люди, выдвинувшіеся впередъ на первый планъ во время борьбы съ реставраціей, а люди эти именно и принадлежали къ либеральной буржуазіи. Вотъ почему, будучи вполнѣ неповинною въ тѣхъ политическихъ цѣляхъ, къ которымъ стремилась либеральная буржуазія, молодежь волей-неволей сдѣ-

лалась ея сообщницей, ея орудіемъ. Если у молодежи не было выработано никакой программы и она бросилась въ революцію съ однимъ крикомъ: vive la liberté! исчерпывавшимъ всѣ ея политическія идеи, то у другого фактора революціи, благодаря которому она и могла только произойти, у народа была еще меньше сознана цѣль движенія, которую онъ могъ бы противопоставить весьма ясно начерченнымъ цѣлямъ буржуазіи. По справедливому замѣчанію извѣстнаго историка іюльской монархіи, Луи-Блана, народъ, возставшій съ крикомъ: vive la Charte, былъ весьма далекъ отъ пониманія того, какое значеніе имѣетъ хартія. Борьба между реставраціей и либеральною буржуазіею не задѣвала непосредственно народныхъ интересовъ, объ враждующія стороны относились къ этимъ интересамъ съ холоднымъ равнодушіемъ, и никогда изъ-за нихъ не происходило горячей борьбы между двумя господствовавшими классами: аристократіей и буржуазіей. Обѣ стороны преслѣдовали по преимуществу личныя цѣли, и къ битвамъ, происходившимъ на почвѣ избирательнаго закона или свободы печати, народъ оставался въ значительной степени индифферентнымъ. Вотъ почему въ первыя минуты, когда сдѣлались извѣстны знаменитые ордонансы, народъ отнесся къ нимъ вполнѣ безучастно. Пассивное отношеніе къ указамъ, наносившимъ такой рѣшительный ударъ стремленіямъ либеральной въ политическомъ отношеніи буржуазіи, было бы заслуженнымъ наказаніемъ за ея равнодушное отношеніе къ народнымъ интересамъ. Даже изъ того бѣглаго обзора эпохи реставраціи, который сдѣланъ былъ нами, читатель могъ убѣдиться, что ни разу либеральная буржуазія, возвышаясь надъ своими личными цѣлями, не поднимала своего голоса за интересы низшихъ классовъ народа. Отстаивая свободу печати, личную свободу, буржуазія всегда руководилась только своими собственными, лично ея касавшимися побужденіями. Чѣмъ же, однако, объясняется вмѣшательство народа въ борьбу, завязавшуюся между реставраціей и либеральной буржуазіей? Реставрація въ глазахъ народа сливалась съ представленіемъ о старомъ до-революціонномъ порядкѣ, и одного этого было достаточно, чтобы въ низшихъ классахъ вызвать ненависть противъ нея. Народъ достаточно натерпѣлся отъ злоупотребленій феодальнаго строя, чтобы ненавидѣть господство аристократіи и духовенства, дѣлившихъ между собою власть—притѣснять низшіе классы народа. Вотъ почему, когда либеральная буржуазія въ своихъ протестахъ противъ притязаній правительства Карла X говорила, что реставрація стремится воскресить старый порядокъ, то слова ея, пущенныя въ народъ,

не могли не вызвать сочувственнаго къ себѣ отношенія. Чѣмъ будетъ новый порядокъ, при которомъ власть перейдетъ въ руки восторжествовавшей буржуазіи—народъ не зналъ, да и не задавался этимъ вопросомъ, такъ какъ неизвѣстное все-таки заманчивѣе извѣстнаго дурного строя. Участіе народа въ іюльской революціи объясняется, слѣдовательно, главнымъ образомъ, выставленнымъ призракомъ до-революціонной эпохи.

Молодежь и народъ составляли, въ сущности, ядро зарождавшейся республиканской партіи, но при отсутствіи выработанной программы, ясно сознанной цѣли и хотя слабой организаціи партіи, республика, очевидно, не могла восторжествовать. Всѣ тайныя общества, заговоры, развѣтвленный карбонаризмъ какъ-бы исчезли въ послѣдніе годы реставраціи, да и во время ихъ процвѣтанія они по преимуществу имѣли одну, такъ-сказать, отрицательную программу—борьбу съ притязаніями возстановить старую монархію.

Оставался еще одинъ элементъ, который могъ претендовать на самостоятельную роль—это бонапартизмъ; но потребованныя имъ жертвы были еще слишкомъ свѣжи въ памяти народа, чтобы онъ могъ разсчитывать привлечь къ себѣ народныя симпатіи, а потому раздавшійся въ іюльскіе дни крикъ: vive Napoléon II,—не напомнилъ себѣ отголоска въ революціонномъ движеніи 1830 года. Притомъ партія эта находилась въ состояніи такого распаденія, что нужно было еще пройти довольно большому періоду времени, чтобы бонапартизмъ могъ выступить съ нѣкоторымъ успѣхомъ на арену политической жизни.

При такомъ взаимномъ положеніи партій и крайней безпечности правительства Карла X, рѣшившагося на государственный переворотъ, не подумавъ даже о томъ, чтобы обезпечить его успѣхъ,—безпечности, проистекавшей исключительно изъ увѣренности, что никто не посмѣетъ оказать ему серьёзнаго сопротивленія,—нѣтъ ничего болѣе понятнаго, какъ успѣхъ, побѣда, такъ легко одержанная либеральною буржуазіею. Она такъ легко устранила Карла X, какъ ловко эскамотировала въ свою пользу народное движеніе. Народъ овладѣлъ Тюльери, Лувромъ, и нужно ему отдать справедливость, что какъ тогда, такъ и позже, онъ съумѣлъ охранить свое достоинство, строго оберегая дворцы отъ возможнаго въ подобныхъ случаяхъ разграбленія. Hôtel de Ville былъ точно такъ занятъ народомъ, и оттуда теперь раздавался популярный голосъ Лафайета. Правительство Карла X, видя, какой оборотъ приняло дѣло, старалось завязать переговоры съ вождями либеральной партіи, которые, чтобы не упускать ни

на минуту движенія изъ своихъ рукъ и не дать слишкомъ большого простора Лафайетту, казавшемуся подозрительнымъ буржуазіи, тотчасъ же организовали родъ временнаго правительства, подъ скромнымъ названіемъ Commission municipale. Членами этой коммиссіи были, между прочимъ, и тѣ двое выдающихся людей, которымъ суждено было играть такую видную роль въ іюльской монархіи, Лафайеттъ и Казиміръ Перье. Первый изъ нихъ былъ тѣмъ именно лицомъ, съ которымъ прежде всего велись переговоры все болѣе и болѣе угасавшимъ правительствомъ Карла X. Были изготовлены новые ордонансы, въ силу которыхъ отмѣнялись ордонансы 25-го іюля, возстановлялась національная гвардія, Казиміръ Перье назначался министромъ, созывались палаты. Но на всѣ предложенія былъ одинъ отвѣтъ: «нужно было думать раньше, слишкомъ поздно!» Жалкое положеніе правительства Карла X въ эти роковые для него дни представляется глубоко поучительнымъ съ точки зрѣнія государственной политики. Оно должно было убѣдить Карла X въ крайней невыгодѣ, даже съ монархической точки зрѣнія, тѣхъ принциповъ абсолютной власти, къ которой онъ такъ стремился. Эти принципы не дозволили ему сдѣлать уступокъ тогда, когда эти уступки могли предохранить отъ революціи, точно будто бы уступки общественнымъ требованіямъ могли когда-либо считаться подарками; органъ Тьера, «National», не даромъ говорилъ тогда, что для того, чтобы дѣлать уступки, требуется гораздо больше и мужества, и мудрости, чѣмъ для того, чтобы прибѣгать къ чрезвычайнымъ мѣрамъ, всегда вызывающимъ озлобленіе и ненависть, дожидающія только возможности проявиться.

Іюльскіе дни дали эту возможность: ненависть и озлобленіе сказались съ полной силой: всѣ слои общества отказались отъ поддержки Карла X, и тѣ, которые громче другихъ требовали чрезвычайныхъ мѣръ, первые старались скрыться, уйти подъ землю. Вокругъ Карла X сдѣлалось пусто, онъ долженъ былъ испытывать теперь то одиночество, которое всегда бываетъ удѣломъ правительствъ, идущихъ въ разрѣзъ съ общественнымъ настроеніемъ. Возможно ли было ожидать, что при такихъ условіяхъ либерально-буржуазная партія захочетъ компрометтировать себя вступленіемъ въ переговоры съ правительствомъ, уже не существовавшимъ въ дѣйствительности. Она тѣмъ менѣе имѣла на то охоты, что увидѣла, наконецъ, возможнымъ осуществить свое желаніе—имѣть своего короля, всѣмъ обязаннаго буржуазіи, и если бы въ дѣйствительности была возможность примиренія съ Карломъ X, то буржуазія съумѣла бы ее устранить.

Луи-Филиппъ былъ уже для нея королемъ, въ то время, какъ для всей Франціи онъ былъ еще только герцогъ Орлеанскій. Всѣ усилія либеральной буржуазіи были теперь употреблены на то, чтобы посредствомъ, безъ шума, безъ раздражительныхъ преній провозгласить герцога Орлеанскаго королемъ французовъ. Нельзя не отдать справедливости главнымъ дѣятелямъ этой замѣны одной династіи другою, что она исполнила это дѣло съ необычайною ловкостью.

Однимъ изъ такихъ дѣятелей былъ и редакторъ газеты «National», Тьеръ, перу котораго принадлежитъ первая прокламація, брошенная въ народъ съ именемъ герцога Орлеанскаго. «Карлъ X,— говорилось въ этой прокламаціи,—не можетъ болѣе вступить въ Парижъ; благодаря ему, пролита кровь народа. Республика подвергла бы насъ страшнымъ распрямъ; она поссорила бы насъ съ Европой. Герцогъ Орлеанскій преданъ дѣлу революціи. Герцогъ Орлеанскій никогда не дрался противъ насъ. Герцогъ Орлеанскій сражался при Жемапѣ. Герцогъ Орлеанскій носилъ въ бою трехцвѣтное знамя. Герцогъ Орлеанскій одинъ только можетъ носить его въ настоящее время, другого мы не хотимъ. Герцогъ Орлеанскій еще не высказался. Онъ хочетъ знать наши желанія, выскажемъ ихъ, и онъ примитъ хартію такую, какую мы всегда и понимали, и желали. Своей короной онъ будетъ обязанъ французскому народу». Въ десяти тысячахъ экземплярахъ эта прокламація 30-го іюля была распространена въ народѣ, чтобы пріучить его къ имени герцога Орлеанскаго. Въ тотъ же самый день должно было происходить засѣданіе находившихся въ Парижѣ депутатовъ, принявшихъ на себя трудъ позаботиться «о спасеніи» Франціи. Всѣ знали очень хорошо, чѣмъ кончится это «спасеніе», и отдѣльныя группы, принадлежавшія къ передовой части либеральной партіи, тѣснившейся около Лафайетта, вовсе не предавались восторгу при одномъ имени герцога Орлеанскаго. Меньшее, чего они требовали, это—чтобы герцогу Орлеанскому были поставлены извѣстныя условія, которыя онъ обязался бы выполнять, чтобы перемѣна династіи не выражала собою только перемѣну лицъ, а коренную перемѣну системы. Передовая часть либеральной партіи желала дѣйствительнаго и серьёзнаго развитія конституціонализма, между тѣмъ, какъ все остальное заботилось только о возведеніи на престолъ человѣка, преданнаго буржуазіи. Эта-то передовая часть либеральной партіи, сильная популярностью имени Лафайетта, весьма категорически заявила свои требованія въ ту минуту, когда собравшіеся въ Palais Bourbon депутаты подготовляли возведеніе на престолъ

герцога Орлеанскаго. «Народъ проливалъ свою кровь не для того,— сказалъ Одилонъ Барро съ трибуны,—чтобы совершить дворцовый переворотъ; онъ дрался и восторжествовалъ, чтобы обезпечить права своей верховной власти противъ божественнаго права королевской власти, чтобы замѣнить договоромъ произволъ доброй воли, и представительнымъ правленіемъ во всей его истинѣ правительство двора. Прежде чѣмъ располагать короной, нужно знать, на какихъ условіяхъ она будетъ предоставлена; нужно, чтобы вступленіе на престолъ новой династіи было только освященіемъ завоеванныхъ гарантій...» Депутаты, желавшіе поскорѣе положить конецъ движенію, порѣшили признать, что требованія эти справедливы, и что хартія будетъ дополнена всѣми необходимыми гарантіями. Въ тотъ же день была составлена декларація, смыслъ которой былъ тотъ, что герцогъ Орлеанскій приглашался прибыть въ столицу и принять въ свои руки бразды правленія подъ скромнымъ титуломъ lieutenant-général du royaume. Какъ же, слѣдуетъ спросить, отнесился во всей происходившей траги-комедіи самъ герцогъ Орлеанскій? Нельзя не признать, что роль разыграна была имъ какъ нельзя лучше. Впрочемъ, и то сказать, онъ былъ однимъ изъ тѣхъ принцевъ, которые съ-молоду были пріучены играть въ «граждане». Еще будучи совершенно молодымъ человѣкомъ, въ 1790 году, онъ долженъ былъ подписать свое имя подъ присягою на вѣрность конституціи; книга, въ которую вносились имена присягнувшихъ, была ему представлена, и онъ, увидѣвъ, что въ ней прописаны всѣ его титула, зачеркнулъ ихъ однимъ взмахомъ пера и замѣнилъ однимъ короткимъ словомъ—citoyen! Когда наступилъ періодъ реставраціи, онъ снова покинулъ это скромное званіе «citoyen», и превратился въ герцога Орлеанскаго, покорнаго и заискивающаго принца, одного изъ самыхъ вѣрноподданныхъ своего короля. Онъ дѣлалъ все, чтобы заставить позабыть своего отца, подавшаго голосъ за казнь Людовика XVI, и ему удалось возвратить себѣ крупныя отцовскія владѣнія и сдѣлаться едва ли не первымъ помѣщикомъ Франціи.

Революція 1830 года не захватила его въ-расплохъ. Онъ находился въ самыхъ близкихъ и дружественныхъ отношеніяхъ къ вождямъ либерально-буржуазной партіи, и потому намѣренія ея не были для него тайной. Но до той минуты, когда участь Карла X была рѣшена, онъ велъ себя съ необычайною осторожностью и прикидывался самымъ преданнымъ лицомъ старшей линіи Бурбоновъ. Онъ съумѣлъ своею наружною преданностью такъ глубоко закрасться въ душу Карла X, что послѣд-

ній былъ вполнѣ убѣжденъ, что герцогъ Орлеанскій всего меньше помышляетъ о томъ, чтобы возложить корону на свою голову; онъ вѣровалъ, что герцогъ Орлеанскій лучше всякаго друга съумѣетъ сохранить неприкосновеннымъ престолъ для своего внука, герцога Бордоскаго, или, лучше, Генриха V. И герцогъ Орлеанскій оставлялъ всѣми силами, письмами, разговорами съ приближенными къ Карлу X, поддерживалъ въ немъ эту увѣренность. Между тѣмъ онъ зорко слѣдилъ за Парижемъ. Главнымъ посредникомъ между герцогомъ Орлеанскимъ и Парижемъ былъ Тьеръ, который въ рѣшительные дни жилъ на дорогѣ между Парижемъ и Нельи, мѣстопребываніемъ герцога. Тьеръ убѣждалъ его скорѣе явиться въ Парижъ и показаться народу, но герцогъ медлилъ, не увѣренный еще въ успѣхѣ. Менѣе всего онъ желалъ рисковать. И только 30-го іюля, когда успѣхъ былъ вполнѣ обезпеченъ, герцогъ Орлеанскій прибылъ въ Парижъ, и то поздно вечеромъ, чтобы его никто не могъ увидѣть.

На другой день рано утромъ къ нему явилась депутація палаты и предложила ему вступить въ управленіе Франціей. Хотя слово «король» не было произнесено, но и депутація, и самъ герцогъ Орлеанскій хорошо понимали, что въ сущности это одна формальность, что предложеніе заключало въ себѣ приглашеніе вступить на вакантный тронъ Франціи. Карлъ X фактически уже былъ низложенъ. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній и размышленій, вызванныхъ прежде всего желаніемъ соблюсти приличія, герцогъ Орлеанскій принялъ предложеніе, и тотчасъ-же была составлена первая прокламація, обращенная къ парижанамъ:

«Я не колебался ни минуты,—говорилось въ ней,—явиться, чтобы раздѣлить съ вами опасность, чувствовать себя среди геройскаго населенія и употребить всѣ мои усилія, чтобы предохранить васъ отъ междоусобной войны и анархіи. Вступая въ Парижъ, я съ гордостью возложилъ на себя славные цвѣта, снова принятые вами, и которые я такъ долго носилъ. Палаты будутъ созваны; онѣ позаботятся о средствахъ обезпечить царство закона и сохраненіе правъ народа. Отнынѣ хартія сдѣлается правдою».

Характеръ этого воззванія былъ вовсе не таковъ, чтобы вызвать энтузіазмъ въ народѣ. Герцогъ Орлеанскій слишкомъ рано заговорилъ о предупрежденіи анархіи, черезъ-чуръ быстро сталъ присвоивать себѣ значеніе «спасителя» Франціи. Вотъ почему эта прокламація вмѣсто восторга вызвала крайнее раздраженіе, и молодежь, передовая часть либеральной партіи, наконецъ народъ, кровью котораго былъ свергнутъ престолъ Карла X, пришли въ волненіе, и раздался голосъ, что революція еще не

кончена, что нельзя еще выпускать изъ рукъ оружія. Если республиканская партія, вслѣдствіе отсутствія организаціи, не могла помѣшать торжеству буржуазіи, но тѣмъ не менѣе она была достаточно сильна, чтобы поселить въ ней страхъ. Подъ вліяніемъ негодованія, вызваннаго прокламаціей герцога Орлеанскаго, республиканская партія обратилась въ свою очередь съ воззваніемъ, въ которомъ говорилось: «Отъ имени герцога Орлеанскаго, являющагося въ качествѣ намѣстника королевства, выпущена прокламація, въ которой онъ, какъ удовлетвореніе, предлагаетъ октроированную хартію, безъ улучшеній и безъ предварительныхъ гарантій. Французскій народъ долженъ протестовать противъ акта, покушающагося на его истинные интересы и долженъ его признать недѣйствительнымъ. Народъ, такъ энергически отстоявшій свои права, не былъ спрошенъ относительно той формы правленія, которую онъ желаетъ. Онъ не былъ спрошенъ, такъ какъ палата депутатовъ и палата пэровъ, призванныя къ власти правительствомъ Карла X, окончили свое существованіе одновременно съ правительствомъ и, слѣдовательно, не могли представлять собою націю».

Эти и другія подобныя же энергическія слова находили себѣ сочувствіе въ массѣ, еще пропитанной пороховымъ дымомъ, и среди молодежи, опьяненной восторгомъ, но уже разочаровавшейся дѣйствительностью, которую они ожидали иною: изъ-за чего же мы боролись, изъ-за чего погибло столько храбрыхъ, если весь переворотъ долженъ ограничиться замѣною одного Бурбона другимъ Бурбономъ, хотя бы и сыномъ Филиппа Egalité? Такіе вопросы стали раздаваться все громче и громче, и потому торжествовавшая партія орлеанистовъ признала необходимымъ что-либо сдѣлать, чтобы успокоить недовольныхъ, группировавшихся около Hôtel de Ville и Лафайетта! Кучка депутатовъ, рѣшившихъ избраніе герцога Орлеанскаго, поспѣшила обнародовать декларацію, въ которой говорилось, что герцогъ Орлеанскій преданъ дѣлу народа и конституціи, что онъ всегда защищалъ интересы перваго и держался принциповъ послѣдней, что онъ «долженъ будетъ уважать наши права, такъ какъ свои права онъ получитъ отъ насъ же». Далѣе говорилось, что законами будутъ обезпечены всѣ гарантіи, необходимыя для установленія прочной и серьёзной свободы. Въ декларацію перечислялись нѣкоторые законы, которые правительство обязано будетъ издать. «Мы дадимъ нашимъ учрежденіямъ,—говорили депутаты,—вмѣстѣ съ главою государства, то развитіе, въ которомъ мы нуждаемся». Рядомъ съ этою декларацією было рѣшено, что герцогъ Орлеан-

скій отправится въ Hôtel de Ville, чтобы, въ лицѣ муниципальной коммиссіи и Лафайетта, привѣтствовать съ побѣдою народъ, и тѣмъ какъ-бы признать его верховную власть. Встрѣча герцога Орлеанскаго со стороны народа была болѣе чѣмъ сдержанна, скорѣе враждебна, и импровизованный на нѣсколько часовъ вождь народной толпы Дюбуръ чрезвычайно вѣрно выразилъ настроеніе народа и передовыхъ элементовъ либеральной партіи, когда, обращаясь къ будущему королю послѣ прочтенія декларація депутатовъ, сказалъ: «Мы принимаемъ ваши обязательства; если вы ихъ забудете, мы вамъ ихъ напомнимъ». Одинъ изъ очевидцевъ этой сцены передаетъ, что герцогъ Орлеанскій не безъ гордости отвѣчалъ, что «ему не нужно угрозъ, чтобы сдержать свое слово, и что для этого достаточно чувства чести, которому онъ никогда не измѣнялъ». Вслѣдъ за этими словами онъ схватилъ трехцвѣтное знамя, стоявшее близъ него, и, взявъ за руку Лафайетта, быстрымъ движеніемъ приблизился къ открытому окну, выходившему на Place de Grève, на которой бушевала несмѣтная толпа, и каждую секунду разносились крики: plus de Bourbons! Когда толпа увидѣла въ окнѣ Лафайетта и герцога Орлеанскаго, завернутыхъ какъ-бы однимъ знаменемъ, раздался оглушительный крикъ: vive le duc d'Orléans! vive Lafayette! Крикъ этотъ устранилъ послѣднія опасенія, ничто болѣе не мѣшало герцогу Орлеанскому превратиться въ короля Луи-Филиппа.

Карлъ X не могъ ему служить помѣхой. Сознавъ, что сохраненіе престола для него немыслимо, онъ за себя и за своего сына подписалъ отреченіе въ пользу своего малолѣтнаго внука Генриха V, судьбу котораго, все «право» на престолъ онъ поручалъ вѣрности герцога Орлеанскаго, который, по убѣжденію Карла X, никогда не могъ рѣшиться узурпировать тронъ. Онъ вѣрилъ, что герцогъ Орлеанскій будетъ только регентомъ во время малолѣтства Генриха V. Но надежды и постановленія Карла X не имѣли больше никакого значенія. Временное правительство, назначенное герцогомъ Орлеанскимъ, позаботилось поскорѣе выполнить желаніе будущаго короля—удалить Карла X съ его семьею изъ предѣловъ Франціи. Карлъ X долженъ былъ повиноваться. Затѣмъ достаточно было нѣсколькихъ дней, чтобы произвести въ хартіи нѣкоторыя измѣненія, касавшіяся больше формы, нежели содержанія, и нѣсколькихъ минутъ, чтобы провозгласить герцога Орлеанскаго королемъ французовъ. Въ засѣданіи палаты, 9-го августа 1830 года, герцогъ Орлеанскій выслушалъ декларацію обѣихъ палатъ о призывѣ его на тронъ, «сдѣлавшійся вакантнымъ» вслѣдствіе отреченія Карла X и дофина

и удаленія всей королевской семьи,—такъ говорилось въ постановленіи палаты,—принесъ присягу на вѣрность конституціи, которая отнынѣ должна была служить договоромъ между страною и королевскою властью. Либеральная буржуазія торжествовала свою побѣду. Она считала себя строго-конституціонною партіею, и дѣйствительно она оказала дѣлу конституціонализма во Франціи серьёзныя услуги въ теченіи борьбы реставраціи съ новымъ порядкомъ. Но съ іюльскихъ дней начался цѣлый рядъ ея ошибокъ, которыя неминуемо должны были довести конституціонализмъ до гибели, хотя, правда, и временной. Первая и самая важная ошибка была ею сдѣлана въ моментъ ея высшаго торжества—въ моментъ крушенія реставраціи и возникновенія іюльской монархіи. Ошибка эта заключалась въ томъ, что, не довольствуясь эскамотировать народное движеніе въ свою пользу, она сдѣлала все, чтобы съ разу вооружить противъ конституціонной іюльской монархіи всѣхъ, кто только серьёзно относился къ праву народа свободно располагать своею судьбою.

Прежде всего, къ партіи, которая гордилась своею борьбою изъ-за конституціонныхъ принциповъ, можно было обратиться, и въ дѣйствительности обращались съ умозрительнымъ вопросомъ: по какому праву она совершила замѣну одной династіи другою, безъ всякаго на то уполномочія со стороны народа? Нельзя не признать справедливымъ, что избраніе Луи-Филиппа, съ конституціонной точки зрѣнія, представлялось вполнѣ незаконнымъ. Кто его призвалъ на тронъ? Фактически—вожаки буржуазіи, группа людей, среди которыхъ выдающуюся роль играли Тьеръ и Лафиттъ; юридически—кучка депутатовъ, не имѣвшихъ даже права назваться палатою, такъ какъ палата была распущена. Депутаты, дѣйствовавшіе такъ рѣшительно въ пользу герцога Орлеанскаго, не были на то уполномочены своими избирателями. Если бы восторжествовавшая партія была въ дѣйствительности проникнута конституціонными принципами, то, разумѣется, единственная власть, которую, въ виду необычайныхъ обстоятельствъ она могла себѣ присвоить, это власть временнаго правительства. Единственная задача такого правительства состояла бы въ назначеніи новыхъ выборовъ, созваніи учредительнаго собранія, которое одно имѣло бы право распорядиться будущностью страны и возвести на престолъ то или другое лицо. Но ни о чемъ подобномъ не думали люди, захватившіе власть, они заботились только объ одномъ, поскорѣй положить конецъ революціи. Одинъ изъ самыхъ видныхъ дѣятелей этого времени, Гизо, между прочимъ говоритъ въ своихъ мемуарахъ: «Мы считали монархію необходимою для

Франціи, желательною Франціей, и ее-то мы рѣшились основать». Но передовая либеральная партія справедливо утверждала, что вопросъ вовсе не заключается въ томъ, чего желаетъ и что думаетъ та или другая политическая группа, а въ томъ, чего въ дѣйствительности желала нація. Іюльская монархія никогда не могла защищаться словами: я существую волею народа!—и въ этомъ заключалась одна изъ причинъ непрочности новаго правительства и новой династіи. Луи-Филиппъ былъ королемъ небольшой группы людей, но не французовъ, какъ его провозгласила хартія 1830 года.

Какъ самовластно распорядилась кучка депутатовъ престоломъ, сдѣлавшимся вакантнымъ исключительно благодаря народному движенію, такъ точно также самовластно палата депутатовъ, потерявшая свои полномочія, распорядилась конституціей. Устраненіе реставраціи стоило дорого, кровь народа была пролита; меньшее, на что имѣла право партія движенія, весь народъ, это, чтобы въ составленіи конституціи, въ установленіи, съ одной стороны, правъ народа, съ другой—обязанностей короны, приняли участіе представители тѣхъ, кто изъ-за этихъ правъ пожертвовалъ своею жизнію. Что же сдѣлала палата? вмѣсто того, чтобы признать себя некомпетентною, какъ требовали нѣкоторые депутаты, наиболѣе искренно преданные дѣлу правильнаго развитія конституціонализма,—въ составленіи новой конституціи, она взяла хартію, сдѣлала въ теченіи двухъ дней нѣкоторыя измѣненія, и вотировала ее какъ конституцію 1830 года. «Если вы признаете, говорилъ одинъ изъ замѣчательныхъ писателей Франціи и вмѣстѣ депутатъ, Корменень, верховную власть народа, то вы обязаны спросить согласія народа на то, что вы дѣлаете». То, что говорилъ Корменень, съ памфлетами котораго мы будемъ имѣть еще случай познакомиться, то повторяла вся передовая партія, вся партія движенія: «Мы не дрались изъ-за дворцоваго переворота!»

Какъ ни справедливы были требованія партіи движенія, на нихъ не было обращено вниманія. Народъ не былъ спрошенъ, непрошенные опекуны народа распорядились по своему и распорядились на горе новой монархіи, на бѣду прогрессивнаго развитія свободныхъ учрежденій. Люди, захватившіе въ свои руки власть, видѣли передъ собою только настоящее, страхъ, что продолжающееся революціонное движеніе разрушитъ ихъ маленькіе планы, и совершенно неспособны были думать о будущемъ. Это будущее слишкомъ скоро показало, что первородный грѣхъ

іюльской монархіи заключается именно въ томъ, что и выборъ короля и измѣненія, произведенныя въ конституціи, были исключительно дѣломъ одной ослѣпленной своимъ торжествомъ, притомъ еще купленнымъ на чужой счетъ, партіи, а не результатомъ рѣшенія, опредѣленно высказанной воли французскаго народа. Вотъ почему правительство Луи-Филиппа навсегда осталось правительствомъ извѣстной партіи и никогда не получило характера сильнаго правительства всей страны. Не даромъ Луи-Филиппъ остался для исторіи королемъ буржуазіи, хотя справедливость и требуетъ сказать, что періодъ іюльской монархіи все-таки оказалъ значительную услугу развитію конституціонализма во Франціи.

БЕЗЫМЯННАЯ

Этюдъ съ натуры.

I.

— Агнеса!!..

— Сестрица!!..

— О, милая!!..

— О, добрая!!..—Я сказала добрая, но не имѣю ни малѣйшаго основанія взводить на уважаемую родственницу подобной напраслины; это былъ первый моментъ свиданія, когда всякій склоненъ бываетъ снисходительнѣе относиться къ ближнему... Сестрица не могла дѣйствіемъ выразить радости своей по поводу моего прибытія, потому что, въ полнѣйшемъ неглиже́, сидѣла на оловянномъ креслѣ, до краевъ наполненномъ водою... Размѣнявшись предварительными любезностями, она попросила меня отвернуться и, стыдливо закутавъ свое худое, больное тѣло простынями,—наконецъ, заключила меня въ родственныя объятія. Послѣ этого она сообщила мнѣ, что больна, что сама себѣ и устроила, и придумала, и заказала такое оригинальное кресло, потому что docteur Карлъ Людвиговичъ не позволяетъ ей принимать полную ванну... Она остановилась и опять крѣпко обняла мою талію; я не оставалась въ долгу и сильно тѣснила своими толстыми руками ея худую шею. Затѣмъ я сказала сестрицѣ, что она «милая!»... она же заявила, что я «добрая». Когда были соблюдены всѣ эти формы родственной вѣжливости, мы мгновенно отступили въ противоположныя стороны и въ недружелюбномъ недоумѣніи (сестрица была *только* супругой моего братца) оглядывали другъ друга.

— Вы похудѣли, сестрица!—а въ моемъ тонѣ сестрицѣ уже слышится злорадство: она, впрочемъ, вездѣ и во всемъ замѣчаетъ проявленіе этого *гнуснаго* человѣческаго чувства.

— А вы, Агнеса, очень потолстѣли!—Я не склонна предполагать въ моей сестрицѣ злорадства, но чуткое женское ухо слышитъ въ этихъ словахъ скрытую ехидную и радостную нотку: сестрица знаетъ, что меня огорчаетъ постоянная, неумолимая прибыль презрѣнной здоровой, красной плоти.

— Кто тутъ похудѣлъ и кто здоровъ? — раздается у меня за спиной лѣнивый голосъ. Я оборачиваюсь, и съ той же готовностью стремительно радоваться и крѣпко цѣловаться бросаюсь къ братцу Леонтію. Но братецъ мой откровененъ: онъ не признаетъ мой пріѣздъ за выдающееся событіе; поэтому онъ сначала оглядываетъ меня: «Ничего!.. опять тебя-таки разнесло!».. и потомъ только довольно холодно цѣлуется. Затѣмъ онъ, еще разъ оглядѣвъ меня,—спокойно уходитъ.

Но радости моего лѣтняго, каникулярнаго пріѣзда въ домъ братца еще не оканчиваются: я должна терпѣть самыя неудобныя изъявленія восторга отъ двухъ племянниковъ: одинъ, въ порывѣ безумной отваги, взлѣзаетъ ко мнѣ на шею, другой скромно довольствуется моими руками и теребитъ ихъ что есть мочи. Несчастная улыбка освѣщаетъ мое лицо: я не вижу спасенія отъ этой саранчи... Какъ сбросить ихъ съ себя, когда тутъ же стоитъ, мило улыбаясь, мамаша и радостно смотритъ на «рѣзвыхъ малютокъ».

— Очень талантливыя дѣти—проговорила «счастливая мать»,—старшій, Лёня, просто геній... уже теперь всѣ ему удивляются, что-то потомъ будетъ?..

Я кротко улыбаюсь, и въ то же время еле удерживаюсь отъ крика: «геній» страшно теребитъ мои косы.

— Очень, очень многообѣщающія дѣти!..

Я не изумляюсь этому панегирику, потому что во всякомъ семействѣ есть по крайней мѣрѣ одинъ, если не больше, такихъ «многообѣщающихъ, геніальныхъ» дѣтей.

— Лёня, покажи тётѣ, что сегодня самъ написалъ?

Браво! я свободна! Лёня соскакиваетъ съ моей шеи и бѣжитъ что-то показывать...

Самая трудная и тяжелая часть моего посѣщенія кончена: я могу идти къ себѣ въ комнату и отдохнуть... Каникулы начинаются только послѣ этихъ предварительныхъ процедуръ.—Кто тамъ еще?..

— Это я? можно зайти на минутку?

— Кто—я? ну, взойдите!—Входитъ горничная.

— Будьте здоровы!—съ пріѣздомъ, барышня!.. горничная цѣлуетъ мнѣ руку; но я цивилизована,—и, къ ея великому смущенію, отдергиваю эту руку; намъ становится неловко въ душѣ, я проклинаю этотъ цивилизованный обычай и—рѣшаю, что пока прислуга будетъ стремиться къ сохраненію дѣдовскаго обычая, не мѣшать и не конфузить ее.

— Васъ бабушка хотятъ видѣть!—опустивъ глаза, бормочетъ сконфуженная Паша.

— Какая бабушка?

— Это матушка нашего барина; онѣ прежде жили у другого братца, а какъ тѣ помереть изволили, баринъ нашъ и взялъ ихъ сюда.

— Давно?—изумляюсь я:—отчего я сегодня ее не видѣла?

— Да годка два будетъ, али три... Не видѣли оттого, что ихъ въ комнаты не пускаютъ,—Паша хихикнула въ кулакъ,—у нихъ своя есть—возлѣ кухни, тамъ и сидятъ. Паша говорила все это насмѣшливо, стараясь кулакомъ прикрыть набѣгающую улыбку. Я накинула на голову платокъ и по широкой деревянной лѣстницѣ сошла въ кухню. Паша ткнула рукою въ маленькую дверь «бабушкиной комнаты»—и удалилась. Я зашла туда, нагнувшись. «Бабушкина комната» довольно большая, но такая низкая, что можно рукой достать перекладины, которыя полосовали весь потолокъ. У одного угла стоитъ кровать, покрытая какимъ-то старинным, сшитымъ изъ разноцвѣтныхъ лоскутковъ, одѣяломъ; подлѣ—столъ, ничѣмъ не покрытый; подъ нимъ большой, окованный желѣзомъ, сундукъ; у стола съ деревянной спинкой и такимъ же сидѣньемъ стулъ. По стѣнамъ развѣшаны платья, по нѣскольку на каждомъ гвоздикѣ; они тщательно увязаны и зашиты въ бѣлыя толстыя простыни. Издали эти платья производили очень непріятное впечатлѣніе: точно повѣсился человѣкъ, предварительно зашивъ себя въ саванъ. Другой уголъ занимаетъ огромная изразцовая печь съ большой кирпичной лежанкой; на каждомъ кирпичѣ намалеваны синей краской старинные замысловатые узоры.

На этой лежанкѣ сидѣло, скорчившись и опершись подбородкомъ о палку, странное существо, которое только при сильномъ желаніи можно было назвать человѣкомъ. По виду и лицу невозможно опредѣлить, сколько лѣтъ этой безобразной, отъ древности и уродства, старухѣ. Лицо ея—ровнаго блѣдно-воскового цвѣта; только подъ глазами выдѣляются два продолговатыя пятна, словно двѣ застывшія полоски синей, тягучей крови. Длинный,

весь изрытый ямочками носъ, опускался на злобно стиснутые зубы, изъ-подъ которыхъ выставлялись совершенно здоровые, желтые зубы. Голова старухи постоянно наклонена въ одну правую сторону, потому что подъ лѣвымъ ухомъ ея, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, образовался мясистый упругій наростъ, который съ годами все увеличивался. Она была обвязана сѣрой кисейной тряпкой, изъ-подъ которой виднѣлись еще совершенно черные волосы. Прежде старуха была, вѣроятно, довольно высокаго роста, но старость и два горба, одинъ на другомъ, низко пригнули ее къ землѣ. Она сидѣла, вся изогнувшись, опустивши широкій морщинистый подбородокъ на толстую сучковатую палку; а короткія, недостающія до пола ноги ея, упирались о маленькую, истертую употребленіемъ, скамеечку. Заслышавъ стукъ дверей, старуха закопошилась, начала странно поводить во всѣ стороны головою; но потомъ, успокоившись и усѣвшись по прежнему, подозрительно спросила:

— А кто тутъ есть изъ васъ?..

— Это я... которую вы звали: Агнеса...

— Ага!.. и имя-то какое тебѣ странное дали: сколько думаю—все не могу привыкнуть...

Бабушка опять завертѣлась, хотѣла встать съ лежанки, но скамеечка опрокинулась, и она еле удержалась на лежанкѣ. Старуха закряхтѣла, закашляла и опять поскользнулась... наконецъ, кое-какъ она слезла.

— Да гдѣ же ты стоишь?—спросила она, еле переводя дыханіе. Голосъ бабушки былъ еще относительно чистъ, но она говорила нѣсколько по-дѣтски и будто шепелявила.

Я такъ растерялась, что даже не подумала сама подойти къ ней и стояла все на одномъ мѣстѣ.

— А гдѣ это я? — продолжала бабушка,—кажется, подлѣ двери?..

Я успѣла нѣсколько оправиться, подошла къ старухѣ и поцѣловала ея морщинистую руку, на которой, словно веревки, были протянуты круглыя, голубыя жилы; эта рука всегда дрожала.

— Здравствуй! — ласково отвѣтила мнѣ бабушка, весьма пріятно изумленная этимъ почтительнымъ поведеніемъ:—такъ ты и есть Агнеса?.. дочка Вареньки—покойницы... Эге!.. Слыхала... И подушки съ собой привезла?.. тутъ вѣдь ничего нѣту!.. при этихъ словахъ она небрежно махнула рукою. Я нѣсколько изумилась, но все же довольно спокойно отвѣтила, что подушки есть, и даже нѣсколько...

— Охъ!.. Эге!.. А ты когда пріѣхала, давно?..

— Нѣтъ, только утромъ...

— Ишь!.. Охъ! а мнѣ какъ поздно сказали, подлые... и то сама услыхала, какъ что-то подъѣхало, выбѣжала да спросила... а то бы и не сказали... А ты, береги хорошо свои вещи, здѣсь дрянь люди—все украдутъ... у меня была такая хорошая тряпочка—пыль вытирать: изъ старой кофты сдѣлана... она, мерзавка, и укради... То-то я замѣчала: все прежде о ней говорить... турусы... начинала... а? что сказала?..

— Ничего, бабушка...

— Я, Господи, Владычица!.. Я уже 41 годъ какъ слѣпая живу на бѣломъ свѣтѣ... не знаешь, развѣ? Я родного сына—родного! ни разу не видала... не знаю, какой онъ себѣ, тамъ... а ты спрашиваешь, развѣ я ничего не вижу... И докторовъ ужъ сколько было!.. Одинъ глазъ совсѣмъ вытекъ, а другой... Тамъ, доктора говорили — темная вода... посмотри: этотъ совсѣмъ уже вытекъ, а?.. а? правда?..

Я поглядѣла на безобразную впадину, въ углахъ которой застыла какая-то желтая накипь, и тихо, печально отвѣтила: «да... совсѣмъ...»

Другой глазъ былъ постоянно закрытъ вѣкой; но, при малѣйшемъ волненіи, вѣко быстро поднималось и глазъ широко раскрывался; во время этихъ довольно частыхъ манипуляцій все лицо принимало выраженіе глубочайшаго изумленія, хотя бабушку, кажется, менѣе всего волновало это чувство.

— Да, вытекъ!.. — грустно повторила старуха — вытекъ... я этимъ глазомъ никогда не плáчу... А это какой глазъ?..—вдругъ спросила она съ любопытствомъ—разскажи же мнѣ *хоть* это...

— Какъ же то разсказать?..—мое изумленіе все возрастало — что тутъ разсказывать?.. темный, весь синій...

— А середина—черная?..

— Нѣту, не вижу...

— А большой онъ?.. ну, глазъ!—бабушка вдругъ озлилась.

— Нѣтъ, не очень...

— А? противный?—тихимъ, упавшимъ голосомъ проговорила она и низко опустила голову,—только ты говори правду... а то дѣти дразнятся, что онъ большой и такой противный—«гнилой» — бабушка представила, какъ это говорятъ дѣти,—и что вся я такая противная... что все лицо въ синихъ и красныхъ пятнахъ, что надъ бровями красные «пупочки»... что на носу большая, преогромная яма... скажи, развѣ горбы мои такіе противные... а?.. Голосъ бабушки понемногу становился тише и жалобнѣе; при послѣднихъ словахъ, онъ задрожалъ и оборвался; но на

лицѣ не отразились никакія горькія ощущенія души ея: оно оставалось попрежнему только изумленнымъ; оно могло измѣнить это выраженіе только послѣ предварительнаго исчезновенія праваго глаза; но теперь вѣко надъ нимъ было высоко приподнято, потому что моя бабушка сильно волновалась. Неожиданность и простодушіе этихъ вопросовъ и тронуло, и разсмѣшило меня.

— Нѣтъ, бабушка... вы не такая, какъ говорятъ дѣти: они злые, и только морочатъ и пугаютъ васъ...

На синій глазъ опустилось блѣдно-восковое вѣко; изумленное выраженіе исчезло и жалобное замѣнило его. На щекѣ показалась единственная слеза, выдавленная сожалѣніемъ и участіемъ мало знакомой внучки.

— Подь сюда, родиночка!—тихо прошептала бабушка, протягивая руки въ пространство; я подошла. Она стремительно обняла меня за талію, и примостила тутъ-же, подъ рукою, свою голову, потому что до лица не могла достать по причинѣ малаго роста... все крѣпче-крѣпче сжимали меня старческія руки... наконецъ, послышались тихія, сдавленныя рыданія...

— Бабушка... бабуся, что вы?..—шептала я, смущенно гладя ея черные растрепавшіеся волосы, съ которыхъ соскользнула старая тряпка-чепецъ.

— Ничего!—стыдливо отирая рукавомъ лицо говорила старуха...—ничего; это только съ непривычки... со мной рѣдко кто говоритъ... развѣ слуги что крикнутъ въ пересмѣшку... а я тебѣ стала рада... ужъ такъ рада! а то изъ *нихъ* никто со мной не говоритъ: вѣдь я—бабушка; не будь меня и *ихъ* бы никого не было! а никто не уважаетъ: цѣлыя недѣли никто не заглянетъ; нарочно подлѣ кухни мѣсто отвели... а вотъ ты хорошо такъ со мной говоришь... и такъ особенно: «бабушка»... такъ ужъ хорошо говоришь! у меня вотъ и слезы, давно невиданныя, появились... Господь съ тобой, родиночка!..

— Развѣ сестрица Надежда Павловна не добра къ вамъ?.. —Бабушка на это ничего не отвѣтила. Она протянула впередъ руки и медленно направилась къ стулу. Я пошла за нею. Она забродила предварительно по всей комнатѣ и постоянно стукалась своимъ несчастнымъ старымъ тѣломъ о всякую твердую мебель и стѣнки. Я часто отъ такихъ ея эволюцій вскрикивала; но бабушка, только улыбаясь, терпѣливо разыскивала стулъ до тѣхъ поръ, пока я не догадалась усадить ее на мѣсто.

— Сядь, родиночка, на кровать—тутъ и стула другого не допросишься!

Я сѣла на указанное мѣсто. Наступила небольшая пауза.

— А ты дверь хорошо притворила,—вѣко надъ синимъ глазомъ быстро взвилось и лицо приняло изумленное выраженіе,— пойди посмотри, есть кто подъ дверью?..

— Кто-же станетъ насъ подслушивать!..

— Эге!.. а ты пойди и посмотри.

Я нѣсколько нетерпѣливо подошла къ двери; тамъ, конечно, никого не было.

— Какая вы подозрительная! Эта фраза была произнесена мною далеко не ласковымъ тономъ; таково ужъ было несчастье бабушки: методично, постепенно и въ то же время ненамѣренно раздражать всѣхъ людей, съ которыми ее сталкивала судьба-мачиха.

— Сядь на кровать, родиночка!..—смиренно, какъ-бы чувствуя вину, взмолилась старушка. Я сѣла. Тогда она быстро наклонилась со стула и опять, охвативъ талію, утянула голову въ мои колѣни. Это вторичное изъявленіе нѣжности тронуло меня гораздо менѣе, чѣмъ въ первый разъ.

— Ты говоришь, добрая—злобно зашептало странное существо, сиротливо прижимаясь ко мнѣ:—это такая злая... такая вѣдьма—что другой и не сыщешь!—Глазъ бабушки опять открылся; на лицѣ явились признаки глубочайшаго изумленія, которое, особливо теперь, было не у мѣста, потому-что она говорила со злобой, брызгая слюной во всѣ стороны и дрожащими руками выдѣлывая самыя замысловатыя фигуры... — Это вѣдь «она» довела «его» до того, что «онъ» мнѣ руки никогда не цѣлуетъ... а дѣти подходятъ «къ ручкѣ» только по праздникамъ?.. а? гдѣ-же Богъ справедливый послѣ этого? И это со мной, съ бабушкой, такъ обращаются!.. Кабы я не родила «его»—никого-бы не было!.. Дѣти подойдутъ «къ ручкѣ» и говорятъ: «бабушка»... и такъ-то это слово говорятъ, что обидно становится: «знаемъ, молъ, какая ты намъ бабушка!.. не бабушка ты, а...»—Старуха остановилась, изъ ея устъ готово было вылетѣть тяжелое слово; но изъ уваженія къ первому дню моего пріѣзда она во-время остановилась; надо однако сознаться, что на слѣдующій день я слыхала уже ясные намеки на это же слово, а черезъ недѣлю я изучила его во всѣхъ склоненіямъ. Сегодня-же она только ограничилась краснорѣчивымъ молчаніемъ, послѣ котораго вдругъ, одержимая жесточайшимъ любопытствомъ, напала на меня съ вопросами:

— А какъ «она» тебя приняла? что «онъ—говорилъ?.. что «дѣти» дѣлали? что говорили всѣ вмѣстѣ и порознь?..—Каждый вопросъ бабушки, какъ я уже успѣла замѣтить, начинается

большей частью съ буквы: «а». На послѣдній вопросъ я ей отвѣтила, каюсь, почему-то съ большимъ удовольствіемъ, даже нарочно расписала, какъ мы цѣловались и обнимались. Старуха сердито замотала головой.

— Не говори! Не говори... зажми ротъ-то! узнаешь еще... три года тутъ не была: отвыкла... Я тоже, какъ пріѣхала, уши длинныя-предлинныя распустила... а потомъ и каялась я, да поздно!.. все исподтишка: сына роднаго отбила, теперь ни слова не говоритъ, будетъ съ нея; зубоскалитъ, дура, что-молъ кусищи хлѣба да мяса, да рыбы присылаю!.. А что я, звѣрь какой? — Жалобный тонъ опустился въ легкое завываніе; но вдругъ опять поднялся и зазвучалъ злобно и съ достоинствомъ:—Рыбы да мяса много присылаетъ—вѣрно, да все чтобы обидѣть меня; а чего нужно—шалишь! не дождешься!.. *Сахару хотѣла только четыре куска въ день присылать...*—Наступило вдругъ гробовое молчаніе; потомъ бабушка схватилась съ мѣста и, злобно стукнувъ палкой о полъ, рѣзко закричала: «А я не потерпѣла!! не потерпѣла!! За что?.. за что такая обида?.. прежде мнѣ всегда такъ присылали; а тутъ! Да какъ же это можно?.. я и не потерпѣла! но теперь она и шесть присылаетъ; да и то иногда обманываетъ; перекуситъ пополамъ одинъ кусокъ, а присылаетъ за два... благо, слѣпа; думаетъ, не замѣчу»... Бабушка возвысила до послѣдней возможности звучность и высоту своего голоса; къ сожалѣнію, особеннаго эффекта она произвести не могла, такъ-какъ, во время припадковъ сильнаго гнѣва, ея дѣтская шепелявость была очень замѣтна. Все-же я сидѣла тихо, затаивъ дыханіе, и съ любопытствомъ слушала исторію о кускахъ сахару, ломтяхъ хлѣба, глоткахъ чаю, даже воды... На душѣ у меня стало необыкновенно грустно, между тѣмъ, на лицо просилась незванная, даже неприличная улыбка. Какъ я потомъ замѣтила, такое впечатлѣніе производила бабушка на всѣхъ своихъ знакомыхъ... Я не знала, смѣяться-ли мнѣ или заплакать?..

Рѣчь бабушки оборвалась вдругъ на полусловѣ. Она повертѣла вокругъ себя палкой и потомъ быстро выронила одно слово:

— Здѣсь?

Я не знала, что́ отвѣтить на такую лаконическую фразу.

— Ты ушла, или здѣсь?—раздражительно повторила старуха.

— Да; я сижу на кровати,—и, чтобы прервать неловкое молчаніе, я спросила:—а вы, бабушка, вѣроятно, много горя имѣли? Къ удивленію, этотъ вопросъ остался совершенно безъ отвѣта. Бабушка опустилась на полъ и принялась, дрожащими руками, шарить по различнымъ направленіямъ.

— Что вы ищете, бабушка?—скажите, я найду.

— Ничего! охая и кряхтя прохрипѣла старуха.—Я съ любопытствомъ слѣдила за нею; наконецъ она доползла-таки до печки и, ухвативъ стоящую тамъ скамеечку, поднялась съ полу и подошла безъ всякихъ отклоненій къ своему стулу.

— Почему вы не сказали, я бы принесла?

— Ничего, я всегда все сама!.. Тонъ этой фразы мнѣ показался фальшивымъ; бабушкѣ, вѣроятно, захотѣлось порисоваться своей безпомощностью. Впослѣдствіи мои подозрѣнія подтвердились: она никогда не избѣгала услугъ посторонняго лица и даже обижалась, когда ей оказывали мало предупредительнаго вниманія.

— А знаешь, сколько лѣтъ этой скамеечкѣ?—вопросъ былъ предложенъ торжественно; несмотря на это, я тихо зѣвнула.

— Не знаю... почему мнѣ знать?

— А я разскажу... эту скамеечку мнѣ сдѣлали, когда «ему» еще 7 лѣтъ было... давно очень!.. а сколько это будетъ?

— 34 года, бабушка...

— Да, да, 34 года!.. лицо бабушки засвѣтилось доброй, ласковой улыбкой, и вся ея безобразная фигура стала вдругъ невыразимо мила и симпатична:—долго! очень долго! ну, за то и состарѣлась матушка-скамеечка! Посмотри, какая она, голубушка, уже старехоньная... много пожила!.. Много со мной горя вынесла! и ослѣпли мы вмѣстѣ съ тобой, и теперь, и ты, и я дряхлые-предряхлые!..

Дѣйствительно, скамеечка еле держалась; неокрашенная деревянная дощечка, на которую 34 года опирались дряхлѣющія ноги бабушки, была уже тонка отъ долголѣтняго употребленія.

— А палкѣ этой еще только 9 лѣтъ, посмотри какая она?

Я должна была посмотрѣть и выслушать разсказъ про 9-ти-лѣтнюю палку.

— Это что за палка!—отвѣчала бабушка на мою похвалу—это дрянь, а не палка!.. у меня была палочка, такъ ужъ такой нигдѣ мнѣ не найти! То была настоящая палка!—Бабушка улыбнулась; во время улыбки лицо ея, сморщенное, изрытое морщинами и испещренное грязными пятнами, напоминало лицо младенца-одногодка, до того наивна, мила, безыскусственна была эта дорогая улыбка, такой ангельской, неискушенной добротой озарялось ея лицо, обыкновенно пылающее тайной злобой и горькимъ опытомъ. Въ это время, казалось, она забывала свою горемычную жизнь, свою слѣпоту, горбы, притѣсненія... Увы! эта улыбка показывалась очень рѣдко; явленія обыденной жизни

никогда не вызывали ее на свѣтъ; только воспоминанія, далекихъ давно минувшихъ дней, воспоминанія для другого человѣка смѣшныя, уродливыя, въ родѣ воспоминаній о палкѣ, о скамейкѣ, рождали эту чистую улыбку младенца-одногодка... Но и разсказы эти были очень рѣдки... рѣдка была и улыбка...

— Да,—съ умиленіемъ продолжала бабушка, была у меня очень хорошая палка... изъ вишни сдѣлана: на верху, знаешь, головка такая изъ косточекъ и косточками выложена... и косточки такъ хорошо выточены — прелесть!.. да ту дѣти сломали! еще тѣ—дѣти!..—Слово «дѣти» бабушка произнесла презрительно; вообще все, что касалось семейства ея сыновей, она повидимому презирала, хотя въ душѣ боялась потерять этотъ обезпеченный кусокъ хлѣба, потому что прекрасно сознавала свою безпомощность. Она никогда не называла сына, дѣтей, невѣстку—по имени, и всегда таинственнымъ шопотомъ произносила: «онъ», «она», «дѣти»...

— Да! взяли да нарочно и сломали! я всѣ остаточки отъ нея попрятала, потому что ту палку я еще *видѣла*, своими глазами видѣла!—голосъ бабушки дрогнулъ,—а они взяли, изъ-подъ перины вытащили... и ты еще спрашиваешь, много-ли я горя испытала? кабы все разсказать—страшно-бы стало!..

Я уже давно забыла про свой вопросъ, и очень удивилась когда бабушка, по прошествіи полу-часа, такъ вѣрно повторила мою собственную фразу.

— А ты здѣсь еще?

— Ахъ, бабушка! если я захочу уйти, я скажу вамъ.

— Эге... то-то!.. а я очень несчастна,—шопотомъ воспѣнно заговорила бабушка... — вѣдь я уже три года не говѣла! И какъ это Богъ весь домъ этотъ на землѣ терпитъ! А развѣ я пощусь когда-нибудь? Только въ большой постъ, по средамъ и пятницамъ—тычутъ мнѣ постное, и то—бабушка пригнулась къ самому моему уху—ты не говори никому: они рыбу на скоромномъ маслѣ жарятъ.—Она перекрестилась.—И это называется у нихъ постомъ! Сами собаки и другихъ собаками дѣлаютъ!.. А знаешь, сколько я разъ въ церковь ходила?

Бабушка замолкла: подождавъ довольно долго, она громко и торжественно проговорила:—«Ни разу»...

— Охъ, маточка! Охъ, родиночка!—унавшимъ голосомъ продолжала причитывать старуха—развѣ «она» когда прикажетъ повести меня? а сама я не могу! не могу!..—бабушка безпомощно развела руками.

— Вы бы дали горничной двугривенный за это—и конецъ!

Бабушка сердито отвернулась и зашамкала губами.

— Да, много такъ, по улицѣ, двугривенныхъ валяется!— со злостью вскрикнула она наконецъ:—откуда я возьму?.. развѣ у меня денегъ такъ много?... — Наступило маленькое, неловкое молчаніе?

— А платье мнѣ развѣ когда дѣлаютъ? — опять злобно зашипѣла старуха,—а башмаки? Вѣдь, стыдно сказать, я «его» старыя туфли ношу:—вотъ погляди.

Дѣйствительно, на исхудалыхъ ногахъ бабушки красовались старыя мужскія туфли безъ задковъ и каблуковъ.

— Да все это ничего! — съ одушевленіемъ продолжала бабушка, и гнѣвъ исказилъ ея восковыя черты,—я бы все перенесла, кабы не прислуга!.. а то и эта дрянь, хамово отродье, надо мной—Безсоновой! — она значительно ткнула въ воздухъ пальцемъ,—надъ Безсоновой, столбовой дворянкой—издѣваются!.. Развѣ у меня крѣпостныхъ не было?.. Я ихъ тоже, небось, хорошо порола!! И развѣ я виновата, что ослѣпла?.. А они, по «ихъ»-то примѣру, смѣются!

Бабушка, забывъ прежнія предосторожности, громко кричала, яростно била столъ своими старыми кулаками... Если бы она была простая смертная—другое дѣло, она бы все простила!! но, столбовую — Безсонову!!.. «Столбовая» бабушка начала меня сильно заинтересовывать: я еще никогда не встрѣчала человѣка, который бы такъ настойчиво стремился бить рѣшительно всѣмъ и всѣми недоволенъ. Бабушка вела свои безконечные разсказы только для того, чтобы на все жаловаться: — была одна, наконецъ, горничная, которая ее жалѣла и даже въ церковь водила; и хоть эта горничная и работала много, и гладила хорошо—ее все-таки прогнали потому, что она ее жалѣла... Была, видите-ли, у нея, у бабушки, кошечка маленькая, и эту кошечку, за то, что та ходила къ бабушкѣ въ комнату, дали растерзать собакамъ... Лёня, это младшій-то сынъ (имя какое придумали!) тоже въ ней, старухѣ, сначала ласковъ былъ—да его такъ наусьгали, что онъ по недѣлямъ къ ней въ комнату не заходитъ!..— Ты еще здѣсь?..—Я молчу; но только уже нарочно.

— Здѣсь?..

Молчаніе.—Бабушка не удивляется; она опускаетъ подбородокъ на палку, укладываетъ ноги на скамейку и погружается въ задумчивость.

— Ахъ, бабушка! какъ вамъ не надоѣдаетъ постоянно спрашивать: «ты здѣсь?..» Я передразнила.

— А! ты еще тутъ!—бабушка нисколько не удивлена.—Эге!..

а то дѣти со мной такъ всегда дѣлаютъ: придетъ нарочно кто къ окошку и крикнетъ: «бабушка, гау!» Я начну съ нимъ говорить, выговаривать—а его и слѣдъ простылъ!

— Гадкія дѣти!

— Да и не одни дѣти: всѣ жильцы въ домѣ это дѣлаютъ, кому только охота...—Къ удивленію, бабушка это разсказывала, добродушно улыбаясь,—а то еще станутъ кричать: «воръ! воръ!..» Я и мечусь по комнатѣ, какъ угорѣлая, да только синяки себѣ набавлю!..

Я встала и хотѣла выдти.

— Ксéньюшка!—бабушка если и называла меня по имени, то всегда при этомъ упоминала не мое, а все другихъ какихъ-то знакомыхъ или родственницъ, къ моему же имени она не могла никакъ привыкнуть:—Я тебя попрошу...

— Просите, бабушка.

— Сдѣлай мнѣ праздникъ сегодня!.. Хочешь, будемъ ночью спать вмѣстѣ? — на лицѣ старухи появилась умоляющая, опять наивно-дѣтская улыбка:—а кровать ши-и-рокая!..

Я нерѣшительно молчала: перспектива провесть цѣлую ночь бокъ-о-бокъ съ горбатой старухой не была особенно пріятна. Улыбка исчезла съ лица бабушки; оно нѣсколько зарумянилось.

— Я знаю, это очень противно... Я дура, зачѣмъ заговорила!

— Нѣтъ, что вы? Я боюсь васъ стѣснить... если хотите, я у васъ тутъ на полу лягу.

— Ложись, гдѣ хочешь!—обиженно зашептала бабушка:—я ужъ знаю, что это противно...

Ночь прошла довольно плохо; по полу, шурша, ползали тараканы, на тюфякѣ бойко прыгали и крѣпко кусались маленькія насѣкомыя. Подъ утро легкій шумъ разбудилъ меня. При неясномъ свѣтѣ начинающагося дня, я увидала бабушку стоящую въ одной рубахѣ передъ стуломъ, на которомъ были сложены всѣ мои вещи. Лицо бабушки было сильно возбуждено: оно покрывалось понемногу блѣдно-розовыми пятнами, а единственный глазъ ея раскрывался еще шире обыкновеннаго. Дрожащими руками, бабушка стала понемногу снимать вещи, нагибаясь на стулѣ и внимательно ощупывать ихъ. Прежде всего попались чулки. Она повертѣла ихъ, ощупала носокъ, пятку, но вскорѣ отложила, прошептавъ: «тонкіе очень». Затѣмъ въ ея рукахъ очутилась нижняя бѣлая юбка. Бабушка и юбку осмотрѣла, ощупала со всѣхъ сторонъ и вдругъ... стала надѣвать ее на себя. Сначала бабушка вся исчезла подъ этой юбкой; наконецъ, изъ прорѣхи понемногу начались высовываться руки, голова... но,

увы! юбка не шла далѣе... Энергическая «столбовая» старуха вертѣлась, кряхтѣла, выпирала свое тѣло впередъ, сколько было мочи — юбка не шла далѣе... юбка все не могла быть одѣта! Причиной тому была горбатая спина, которая не могла пройти сквозь узкую прорѣху. Бабушка начинала сердиться и забыла всякую предосторожность: коленкоръ былъ разорванъ, прорѣха увеличена;—юбка была надѣта. Съ такой же неутомимой энергіей напялила она на себя юбку отъ платья, узкій модный передникъ и наконецъ добралась до лифа; но тутъ ужъ явились такія важныя препятствія, которыхъ никакое пылкое желаніе, никакая желѣзная энергія преодолѣть были не въ силахъ. Бабушка еле-дышала, потъ градомъ катился съ ея побагровѣвшаго лица; она пыхтѣла — но всѣ усилія не повели ни къ чему: она успѣла всунуть въ рукавъ лѣвую руку — всѣ рѣшительныя попытки сдѣлать то же самое съ правой — кончались полнѣйшей неудачей.

Я глядѣла на нее широко раскрытыми глазами, затаивъ дыханіе. Что представляетъ изъ себя теперь согбенная изувѣченная старуха, въ платьѣ, которое висѣло вокругъ нея безобразными складками, которое волочилось за ней, шурша легкими оборочками, которое ее такъ невыразимо, до отвращенія, безобразило? Какую страницу жизни припоминаетъ теперь «столбовая» бабушка?.. Видно слѣпота застигла ее въ самый разгаръ помѣщичьей, веселой жизни, и теперь, по прошествіи многихъ — долгихъ лѣтъ она вспоминаетъ ее? И забыла она теперь свою слѣпоту, горбы, безобразіе... Можетъ быть, чудится теперь ей горящая огнями церковь, толпы любопытнаго народа, старый благочинный, вѣнчавшій еще ея мать... «Согласна ли ти»... и, довѣрчиво глядя на высокаго кавалериста, она радостно произносила: «согласна»... а потомъ?...

Вѣроятно грезилось что-нибудь подобное отверженной старухѣ, потому что она гордо, съ сознаніемъ прошедшей молодости, быстро поворачивалась, пока значительный ушибъ не оторвалъ ее отъ сладкихъ грёзъ прошедшаго. Она вдругъ остановилась, простояла нѣсколько времени, понуривъ голову, и, тихо прошептавъ: «я такая, Господи! была молодая!»

Все утро бабушка была не въ духѣ и все время ворчала; мнѣ это надоѣло; я встала и хотѣла уйти.

— Погоди! — раздраженно остановила меня старуха.

— Что такое? — мнѣ было скучно.

— У тебя платье изъ чего?..

— Изъ шерсти... вы же пробовали?

— Гдѣ же мнѣ пробовать было? да я знаю, что изъ шерсти... а цвѣта какого?

— Блѣдно-голубого.

— Эге! а глаза какіе.

— У кого?

— У тебя.

— Черные.

— Ну, полно! это ужъ ты сочиняешь!

— Ахъ, я же лучше знаю, какіе у меня глаза, бабушка!

Но бабушка настойчиво повторила:

— А мнѣ кажется, что сѣрые...

— Какъ вамъ можетъ казаться?

— Ужъ я знаю! говори мнѣ, не шути.

Я перестала говорить о глазахъ; но этимъ разспросы не ограничились.

— А носъ у тебя какой?

— Господи! какой у меня носъ? какъ у всѣхъ!

— Лёлечка...—Я прерываю ее:

— Бабушка, меня крестили Агнесой!..

— Эге! я все забываю... и имя-то какое!! Нессочка...—голосъ бабушки принимаетъ нерѣшительный оттѣнокъ, на лицѣ играетъ дѣтски-нерѣшительная улыбка. — Нессочка, дай себя ощупать.

Я добродушно, безъ возраженій, сую ей въ руки свое лицо. Бабушка осторожно, но всѣми пятью пальцами водитъ по моему лицу; ощупываетъ брови, носъ, глаза, волосы... Я начинаю терять терпѣніе... «Скоро ли, бабушка?» Наконецъ, мое лицо на свободѣ: она отталкиваетъ меня и радостно вскрикиваетъ:

— А я, ради тебя, сегодня чепчикъ надѣну, — тотъ, который мнѣ добрая — покойница — Анна Викентьевна подарила... Добрая, вѣчная ей память, душа была!

При этихъ словахъ бабушка грустно опустила голову и прошептала: «Боже! когда ты уже приберешь меня?..»

Пользуясь слѣпотой бабушки, я стояла все это время, отворотившись къ окну, и наблюдала бой двухъ сизо-перыхъ пѣтуховъ; при послѣднихъ ея словахъ я быстро обернулась и поглядѣла на нее: странно и непонятно-разнообразно были перемѣшаны всѣ ощущенія и чувства въ этой маленькой, увѣчной старухѣ! Но бабушку уже оставили и эти печальныя мысли; она внезапно оттолкнула отъ себя коробку съ чепцами и раздражительно закричала:

— Уже девятый часъ, въ церкви обѣдня начинается, а намъ

чаю не дают! — хороши порядки!.. Эхъ, кабы ты все знала! А! кухарка съ базара пришла!.. что-то принесла?..

Бабушка, словно зрячая, стремительно направилась къ двери и, полу-отворивъ ее, вкрадчиво заговорила:

— Аксиньюшка, Аксинья, здѣсь ты?

— А, и вы ужъ тутъ! — грубо отозвалась кухарка.

— Ну, скажи: была на базарѣ, голубка?

— А на что вамъ?

— Ну... скажи, голубка!

— Была...

— А что купила?

Я еще никогда не слыхала у бабушки такого вкрадчиваго голоса.

— А вамъ на что? — Сидѣлъ бы Ерема дома!..

— Ну, милая, хорошая, скажи!

— Одну рѣпу, да фунтъ крепу!

Въ кухнѣ раздается дружный хохотъ; бабушка не смущается, только ея голосъ дрожитъ немного.

— Ну, скажи же, будь добрая!

— Говядину, масла, сыру, хлѣба! — довольно съ васъ!

Бабушка повернулась и сильно хлопнула дверью.

— Видѣла? — заговорила она, задыхаясь отъ злости: — сама слыхала, какъ со мной тутъ обращаются... и это всегда, каждый Божій день.

— Зачѣмъ же вы съ ними разговариваете?

— А надо же узнать, что тамъ эта мерзавка купила!

— Зачѣмъ же вамъ знать это?

— Какъ зачѣмъ?

Единственный глазъ бабушки открылся широко и — кажется, впервые — дѣйствительно отъ изумленія, до того страненъ и неумѣстенъ показался ей мой наивный вопросъ.

— А какъ же иначе? это ужъ я всегда, съ успокоемъ вижу, знаю, что у меня въ домѣ на обѣдъ готовится!

Такъ началось мое знакомство съ «столбовой» бабушкой. Съ каждымъ днемъ дружба наша, повидимому, укрѣплялась, потому что бабушка не оставляла меня въ покоѣ на два часа, и постоянно присылала за мной горничную. Я шла къ ней, сознаюсь, только послѣ третьяго или четвертаго зова. Бабушка сидѣла всегда на своемъ одиновомъ деревянномъ стулѣ, въ одномъ и томъ же положеніи, сиротливо прижавшись къ его

деревянной спинкѣ и опустивъ на палку широкій подбородокъ. Ноги ея—увы!—уже не помѣщались на 34-ти-лѣтней скамеечкѣ: она вскорѣ послѣ моего пріѣзда разломалась отъ глубокой старости. Вслѣдствіе этой незамѣнимой потери (она, кажется, пожертвовала бы роднымъ человѣкомъ, только бы воскресъ этотъ старинный другъ), бабушка была печальнѣе обыкновеннаго,—все жаловалась, кручинилась, плакалась. Древнія воспоминанія прежняго счастья и могущества заливали широкой волной ея старую голову... и все это выпадало на долю слушать не особенно терпѣливой слушательницѣ.

Я сначала слушала внимательно про умершую красавицу-дочку Ксенію, про семейства старинныхъ, не какихъ-нибудь ново-испеченныхъ, а настоящихъ столбовыхъ дворянъ... про минувшее ея, бабушкино, великолѣпіе помѣщичьяго быта... про дворовыхъ дѣвокъ, которыя «пикнуть» не смѣли, не то что нынѣшнія: «шляпку надѣнетъ и думаетъ, что ее и тронуть ужъ никто не смѣетъ!» Сначала, неопытная, я должна была выслушивать повтореніе всего этого въ продолженіи долгихъ, длинныхъ лѣтнихъ часовъ, когда манило въ садъ, когда тихій вѣтеръ врывался въ комнату и легко пробѣгалъ по лицу моему... Потомъ я, привыкнувъ, нашла себѣ утѣшеніе: я брала съ собой книгу и читала. Старуха, тихимъ, шепелявымъ голосомъ, долго что-нибудь разсказывала, разсказывала... потомъ вдругъ останавливалась, будто ей кто зажималъ ротъ, и спрашивала подозрительно: «а ты здѣсь?»

Я отрываюсь отъ книги и поспѣшно отвѣчаю:

— Да, тутъ... а что дальше было?.. это очень интересно.

И бабушка опять продолжаетъ тянуть старую, непрерывно кружащуюся вокругъ самой себя пѣсню.

Иногда дѣло происходило не такъ просто,—иногда бабушка останавливала потокъ своего краснорѣчія, не спросивъ: «ты здѣсь?» и мы обѣ долго сидѣли и молчали, я — занятая книгой, бабушка — Богъ вѣсть какими думами.

Иногда бабушка бывала въ угнетенномъ состояніи духа,—тихо сидѣла, склонивши свою бездомную голову на палку и все грустно молчала. Въ такія минуты я ласкала мою бѣдную старушку и старалась доставить ей какое-нибудь удовольствіе; а это было очень легко сдѣлать! Стоило только ей дать въ руки какой-нибудь пахучій цвѣтокъ или вывести вечеркомъ посидѣть на завалинкѣ. Бабушка съ невъяснимой любовью держала этотъ цвѣтокъ, ласково гладила его, нюхала и все повторяла: «цвѣтики, Божьи созданьица! давно не видала я васъ, голубчики!»

— Эхъ! въ тягость я тебѣ, Маша! въ тягость я всѣмъ людямъ!

Замѣчательно, что бабушка говорила это только во время моего нѣжнаго съ ней обращенія, — до того чутко было ея сердце: она понимала, что если я не говорю съ ней, то я не занимаюсь и не думаю о ней. Однажды я застала бабушку въ какомъ-то необыкновенномъ состояніи духа: она будто кого-то поджидала, что-то скрывала... Я почему-то удержалась отъ разспросовъ... Мы посидѣли нѣсколько времени молча и я собиралась уже начать чтеніе, — вдругъ раздался въ окно легкій стукъ. Бабушка вздрогнула и смѣшалась; вѣко ея единственнаго глаза то взвивалось, то опускалось и все лицо нервно передергивалось.

— Что-то хочется одной остаться,—съ усиліемъ заговорила она,—иди къ себѣ, Саша, надоѣло тебѣ со мной возиться!

Я встала, отворила дверь, потомъ громко захлопнула ее, а сама, оставшись въ комнатѣ, притаилась за печкой.

— Здѣсь или ушла?.. Отвѣта не послѣдовало. Бабушка, подождавъ секунду, торопливо бросилась къ окну, причемъ не преминула стукнуться разъ о спинку и другой о столъ; наконецъ, взобравшись на окно, шепотомъ спросила:

— Ну, что, принесла?

— А ужъ больно хочется-то проврѣть?—спросилъ ее чей-то лукавый голосъ:—хочется, чай?

— О, какъ хочется! о, какъ хочется! — говорила бабушка чуть не задыхаясь отъ волненія—ты подумай только: 40 лѣтъ! Развѣ это легко? Это, вѣдь, муки-мученскія!.. и къ угодникамъ возили, и заговаривали; ну, и эти тамъ, доктора, были тоже... и все ничего! Хоть бы сѣро въ глазахъ стало!

— Ну, и сѣрое-то надоѣло бы; потомъ опять стала бы просить, чтобы ужъ лучше черно стало!

— Ни, кажись, сѣрое лучше!—робко протестовала бабушка, —а какъ же ты, угодница, ласточка моя, сдѣлаешь... а?..

— Водою, бабушка, водою отъ святыхъ угодниковъ Кондратія и Панкратія—архипастырей съ горы Аѳонія... А за эту воду святую три дня и три ночи на колѣняхъ стояла я, грѣшная! три дня и три ночи свѣчу восковую въ рукахъ держала и изъ рукъ многогрѣшныхъ ее не выпускала... и вокругъ ни души человѣческой... и за все это время, за три дня и три ночи, во рту ни маковой росинки не было.

— Подвижница!—умиленно прошептала бабушка и отерла слезы, наполнявшія ея широко раскрытый глазъ. Голосъ «под-

вижницы» сталъ еще важнѣе и протяжнѣе; она, очевидно, разсчитывала на эффектъ очень большой...

— Да, ужъ и жалѣючи тебя только, принесла святую воду, больно ты несчастна, вижу,—старушка... и этой же святительской водой вылечила одну, тебѣ подобную, мученицу.

— Прозрѣла?—бабушка затряслась всѣмъ тѣломъ,—увижу сына, увижу... дѣточекъ... хоть и смѣются надо мной... ну, вѣдь, дѣти еще!.. Солнышко, свѣтики... травочки!.. Я только слышу, какъ деревья шумятъ, а давно и забыла, какіе они, мои свѣтики... О, Господи, Господи!—бабушка протянула вверхъ трясущіяся руки: — дай мнѣ еще все это увидѣть!.. еще хоть разочекъ!

— Только ты за это мнѣ зелененькую, пожалуй!

— Это что же такое?..

— Да рази не знаешь? трехрублевку...

— Развѣ она зеленая? — бабушка не дождалась отвѣта и поспѣшно заговорила: — вотъ что, божій человѣкъ, я скажу тебѣ: у меня есть одна только бумажка, я не знаю только, какая она тамъ... Я тебѣ ее и приготовила: больше нѣту!..

— Маловато, рубль только, — отозвался лукавый голосъ,— ты подари еще хотя тотъ платокъ, что на печкѣ виситъ.

— Пожалѣй!—взмолилась бабушка,—это послѣдній отъ нея, Ксеніи, остался; на зиму надо.

— Будешь видѣть, пойдешь *сама* и другой купишь!

— Да!—радостно вскричала моя бѣдная бабушка, и, снявъ платокъ съ гвоздя, протянула его въ окошко. Тогда, въ свою очередь, изъ окна высунулась корявая рука и поставила небольшую стклянку съ бѣлой, въ родѣ свинцовой воды, жидкостью. Бабушка схватила эту стклянку, потомъ она поставила ее передъ образомъ и сама тутъ же опустилась на колѣни. Лицо ея горѣло и единственный потухшій глазъ, какъ мнѣ показалось, съ вѣрой былъ обращенъ къ иконѣ.

Подождавъ съ минуту, я тихо выступила изъ своего убѣжища и подкралась къ иконамъ. Бабушка ничего не слыхала; удостовѣрившись въ этомъ, я сняла стклянку, выплеснула оттуда мутную жидкость, наполнила ее чистой водой, поставила на то же мѣсто и тихо, на цыпочкахъ, удалилась.

Бабушка ничего не слыхала, она долго, долго стояла неподвижно передъ иконами, ея горбы и спина, вѣроятно, страшно болѣли отъ такого напряженія, но до того-ли, до грѣшнаго ли тѣла было счастливой старухѣ?

Рано утромъ я зашла къ бабушкѣ безъ зова съ ея стороны;

она сидѣла на полу нераздѣтая, на томъ же мѣстѣ, гдѣ я ее вчера оставила. Она даже не слыхала моего прихода.

— Бабушка, что съ вами? вы сегодня спать не ложились?

— Это я такъ,—бабушка вздрогнула и глухо, отчаянно зарыдала,—ты не смѣйся... Лёночка, родиночка! она обманула меня! она говорила, что до вторыхъ пѣтуховъ я уже видѣть буду! а теперь уже 6 часовъ — и ничего!.. Я и мазала такъ, какъ она говорила! указательнымъ и большимъ пальцемъ крестъ на крестъ и всю ночь передъ образомъ пролежала, и все ничего! Ты не смѣйся: все сдѣлаешь, когда кругомъ тебя такъ темно, такъ сиротливо, такъ грустно!.. И все-таки я видѣла! видѣла сегодня ночью... Богъ не попустилъ ее совсѣмъ обмануть меня!...

— Что же вы видѣли, бабушка?

И она разсказала мнѣ...

Видѣла бабушка, въ эту чудную ночь, широкое, полукругомъ раскинутое поле... высокіе, высокіе тополи окружаютъ его и слышитъ старушка, что они шепчутъ ей привѣтливыя рѣчи... но что ей до этого?.. Она видитъ, она *сама видитъ* ихъ, видитъ зеленыя деревья и видитъ, что они весело киваютъ ей вершинами и, тихо трепеща, протягиваютъ лохматыя вѣтви... и какъ славно тутъ, въ этомъ ржаномъ, колосистомъ полѣ!.. Идетъ она неслышно, старается ступать какъ можно мягче, чтобы не помять, не растоптать душистыхъ колосьевъ; а они, словно благодаря ее за это, такъ нѣжно и такъ любовно обнимаютъ ея дряхлыя ноги. Въ воздухѣ разлился слабый запахъ сѣна; розаны, какъ нарочно, гдѣ-то сладко благоухаютъ и коростели мирно перекликаются. Безконечно хорошо было слѣпой бабушкѣ, даже какая-то гордость обуяла ее, увѣчную старуху, и она, словно царица, отвела глаза отъ прекрасной благоухающей земли и подняла ихъ на небо... О, какое счастье глядѣть!.. Какое счастье поднимать и закрывать глаза, когда тебѣ вздумается! По темносинему задумчивому небу тихо плыла луна, окруженная легкимъ, молочнымъ туманомъ, подлѣ и далеко вдали горѣли и переливались большія серебряныя звѣзды... и моя бѣдная бабушка видѣла все это... и она плакала и смѣялась, не смѣя вѣрить такому неожиданному счастью... Боже! какъ хорошо на бѣломъ, а не черномъ свѣтѣ!..

И долго послѣ этого разсказа плакала моя бабушка и плакала такъ горько, что никакія утѣшенія не приходили мнѣ на умъ... Я заботливо усадила бабушку на единственный стулъ,

подложила ей за спину маленькую подушечку, дала въ руки палку, и съ тихой лаской стала гладить ея старую голову.

Передъ обѣдомъ я опять заглянула къ бабушкѣ, и опять безъ приглашенія со стороны послѣдней. Бабушка въ томъ же положеніи, въ какомъ я ее оставила. И долго и тихо сидѣла такъ бѣдная, обманутая старушка... только теперь мракъ ея 40-лѣтней ночи казался еще мрачнѣе, потому что она какъ-будто вторично ослѣпла! Много разъ лечили ее, несчастную, но никогда увѣренность въ выздоровленіи не была въ ней такъ сильна, какъ сегодня...

— Паша, вы, пожалуйста, никогда надъ бабушкой не смѣйтесь!...

— Да какъ же это барышня?..— Паша закрываетъ ротъ кулакомъ:— когда смѣшно!..

Паша продолжаетъ: — Барышня, вы все-таки пойдите посмотрѣть: на это каждый годъ баринъ, барыня и дѣтки смотрѣть ходятъ... Это бабушка всегда въ Спасовку дѣлаютъ!

— Ни за что не пойду!

— Барыня васъ очень просятъ!

Я сердито схватываюсь и выхожу: сестрица зоветъ меня къ бабушкѣ.

Я застаю сестрицу, братца и двухъ геніальныхъ дѣтей у окошка бабушкиной комнаты; все семейство съ любопытствомъ глядитъ туда. Я подхожу къ окну, по примѣру «всѣхъ прочихъ», также заглядываю къ бабушкѣ въ комнату.

Бабушка стоитъ на колѣняхъ передъ сундукомъ, изъ котораго по-немногу вынимаетъ какіе-то мѣшечки; всѣхъ мѣшечковъ 12. Передъ бабушкой стоитъ солдатъ, братъ нашего денщика и чего-то терпѣливо дожидается. Бабушка запираетъ сундукъ, поддвигаетъ его подъ столъ и начинаетъ развязывать мѣшечки; изъ нихъ на полъ сыплятся куски сахару. Солдатъ потихоньку забираетъ изъ каждаго мѣшечка. Весь комизмъ заключается въ томъ, что солдатъ обворовываетъ слѣпую старуху. Наконецъ, весь сахаръ высыпанъ изъ мѣшковъ и образовалъ довольно значительную горку, не считая уворованныхъ солдатомъ кусковъ. Появляются въ рукахъ бабушки откуда-то вѣсы. Бабушка держитъ вѣсы неровно, руки ея дрожатъ, сахаръ сыплется изъ чашки вѣсовъ прямо въ подставленную полу кафтана солдата. Бабушка этого не замѣчаетъ; она, наконецъ, складываетъ весь сахаръ и спрашиваетъ у солдата:

— Сколько тутъ фунтовъ?

— Четыре...

— Что ты, Господь съ тобой! За 12-то мѣсяцевъ!—Я догадываюсь, что въ каждомъ мѣшечкѣ сохранялась экономія каждаго мѣсяца.

— Ей-Богу, четыре! чего же стану я старушку божію обманывать!

Торгъ продолжается; бабушка не хочетъ вѣрить, чтобы за годъ она съэкономничала только четыре фунта. Наконецъ, солдатъ великодушно прибавляетъ еще полъ-фунта. Торгъ первый оконченъ; начинается второй:—по пятнадцати за фунтъ!

— Что вы! да теперь въ магазинахъ по 13-ти продаютъ!

За окномъ раздается уже дружный хохотъ. Бабушка настаиваетъ. Солдатъ проситъ отсрочки. Бабушка рѣшается на компромиссъ: пусть онъ ей завтра принесетъ пять восковыхъ свѣчей по 10 к., четыре же копѣйки прощаются. Солдатъ согласенъ, благодаритъ и выходитъ. Компанія, хохоча, расходится.

— Ты думаешь, Агнесса—спрашиваетъ дружелюбно сестрица,—что солдатъ ей принесетъ пять свѣчей? Ошибаешься! онъ ей дастъ завтра двѣ свѣчки въ три копѣйки и скажетъ, что онѣ очень вздорожали...

— Это вы, сестрица, каждый годъ смотрите на продажу сахара?

— Да, каждый годъ... Это превратилось въ семейное торжество, въ праздникъ для насъ...

И все это происходитъ въ той благодатной глуши, которая такъ безконечно прекрасна своими темносиними лѣсами, плодородными полями, пахучими садами; но гдѣ богатство природы обратно пропорціонально умственному богатству ея обитателей. Здѣсь жить нельзя, но пріѣхать на каникулы отдохнуть очень пріятно.

— Бабушка, я скоро отъ васъ уѣду: мнѣ уже учиться пора.

Я сообщаю это извѣстіе послѣ получасовой подготовки: оно можетъ поразить мою бѣдную бабушку.

— Да, знаю... даже знаю, что въ субботу ѣдешь.

— Откуда вы знаете?—я была поражена,—я никому почти не говорила объ этомъ?..

— А вѣдь въ субботу уѣзжаешь?

— Да, но откуда вы узнали это?..

— Это мое дѣло! ужъ я все знаю!..

Бабушка имѣла основаніе произносить эту фразу съ гордостью: она все знала—откуда? этого никогда никто не могъ

догадаться. Она знала, куда и когда уходитъ сестрица, знала, что́ и за сколько покупаетъ она; знала, когда братецъ Леонидъ опаздываетъ на должность, когда приходитъ туда раньше, чѣмъ слѣдуетъ; она знала, что́ готовилось вчера у сосѣдей на-право; знала, какіе богатые крестины у сосѣдей на-лѣво; знала, что у холостого сосѣда напротивъ умираетъ теперь мать; знала, какіе доктора къ ней ѣздятъ и сколько платятъ этимъ докторамъ... Всѣ эти и подобныя свѣдѣнія отличались своей достовѣрностью.

— Давно знаю, что ѣдешь!—грустило-болѣло мое сердечко... жалко: опять одна въ этомъ вертепѣ останусь...—У меня вдругъ промелькнула мысль: взять ее съ собою къ моей старой тёткѣ въ Б..., гдѣ я училась.

— Бабуся, хотите со мною ѣхать къ тётѣ?.. Поѣдемъ!..

— Куда?—испуганно спросила она.

— Со мной въ Б..., къ тётенькѣ; она хорошая, васъ уважать будетъ...

— Это къ Зинаидѣ-то?.. Руки бабушки упали на колѣни; отъ изумленія и, кажется, негодованія, она не могла выговорить ни слова...

— Что ты, съ ума сошла?—заговорила она холодно, послѣ довольно продолжительнаго молчанія: — куда я отсюда уѣду? Вѣдь я тутъ сколько живу... каждый уголокъ знаю... Мнѣ видѣніе было, что и умру я тутъ, а въ другомъ мѣстѣ Богъ смерти не пошлетъ! а то, можетъ, умру и въ святой день, 25-го марта... Стыдись, Евгенія!..

— Отчего вы не хотите ѣхать? вѣдь вы не любите сестрицу?

— Ну, что тамъ!.. Вѣдь изъ этого угла не прогонитъ!.. Дай Богъ и здѣсь прожить, а то ѣхать еще куда-то!..

Этого я не ожидала! Бабушка не благодарила меня за любезное приглашеніе; даже болѣе, она не понимала, что за это надо быть благодарной. Она, напротивъ, думала, что это дерзкое посягательство на ея спокойствіе. Она была привязана къ дому, а не къ хозяевамъ; она жалѣла покинуть свою комнату, лежанку, висящіе зашитые мѣшки, скрыпящій полъ; но эта привязанность не простиралась также на братца, сестрицу и геніальныхъ дѣтокъ; она ихъ, такъ-сказать, терпѣла ради своихъ матеріальныхъ удобствъ. Признаться, я была рада удачному исходу моего предпріятія: что́ бы я дѣлала съ моей бабушкой въ большомъ городѣ, гдѣ я цѣлый день занята!.. Я поскорѣе перемѣнила разговоръ:—Сколько вамъ лѣтъ, бабушка?..

— «Его», послѣдняго, въ 32 года родила... считай теперь: ему 41,—бабушка вздохнула.

— Только 73 года.—А бабушкѣ на видъ было по крайней мѣрѣ 90.

— Да, только! а сколько я за это время горя испытала...

— Вы съ сестрицей часто ссоритесь?..

— Прежде, какъ покойницу Ксенію обижала — ругалась! Она все у покойницы женіховъ отбивала: разъ — бабушка нагнулась и зашептала—ты только не говори никому,—разъ я ее даже била!.. А не будь зла, не будь зла!..—Старушка, бѣдная, и теперь сжимала кулаки и грозно притоптывала стоптанной туфлей.

— Еще бы! За Ксенію сватался хорошій женихъ, а она ему наговаривать на нее, голубку, начала... кто же это снесетъ: такую голубицу порочить...

По поводу Ксеніи потянулись безконечные разсказы; когда дошло уже до «подлости» горничной и кухарки — я вынула книгу, спрятанную на этотъ случай подъ тюфякомъ.

Бабушка говорила долго; но вдругъ подозрительный шелестъ прервалъ потокъ ея краснорѣчія.

— Ты читаешь?—добродушно спросила старуха.

— Да-да... я смутилась.

— Лёнушка,—бабушка собиралась что-то попросить: ея голосъ принялъ дѣтскій оттѣнокъ,—почитай мнѣ немножко!

— Да это книга не для чтенія—это учебная...

Я перемѣняю разговоръ.

— Бабушка, я вамъ на память принесла подарокъ: фланели на юбку, вы такъ объ этомъ мечтали.

Бабушка ужасно обрадовалась, ощупывала, осматривала и много благодарила; потомъ, вдругъ замолчала и загрустила.

— Вы недовольны подаркомъ?

— Нѣтъ, отчего же?—отвѣтила она принужденно, отчего же?.. она, повидимому, хотѣла смолчать, но не выдержала:

— Какъ бы было хорошо имѣть такую юбку и кофту!.. да куды! тутъ еле-еле на кофту станетъ!

Я ужасно разсердилась и раскричалась.

— Какая вы! Вѣдь все время мнѣ толковали только о юбкѣ, а какъ она у васъ есть...

— Какое есть! перебиваетъ бабушка—еще сшить-то надо!..

— А какъ она у васъ есть, вы и кофту захотѣли... стыдно!..

Наступилъ день отъѣзда. Бабушка весь этотъ день страшно суетилась; надоѣдала прислугѣ съ какимъ-то хлѣбомъ-солью, со-

валась къ печкѣ, чтобы узнать, какъ пекутся дорожные пироги, посылала за какой-то «отъѣздной настойкой», у себя въ комнатѣ пересыпала собранный за мѣсяцъ сахаръ — и каждую минуту посылала за мной. Я не являлась, потому что была занята упаковкой вещей. Тогда бабушка отважилась на безумный планъ: она рѣшила взобраться на верхъ въ «ихъ» комнаты. Какъ она прошла туда—никто не зналъ и не видѣлъ. Съ ея лица потъ струился ручьями, единственный глазъ былъ широко раскрытъ и въ немъ даже свѣтилось нѣчто похожее на глубокое страданіе, конечно, на ряду, съ неизбѣжнымъ изумленіемъ; въ рукахъ она держала большой каравай, сверху посыпанный солью.

— Нессочка, возьми на дорогу эту хлѣбъ-соль!—твердила она прерывающимся голосомъ, тыкая мнѣ въ руки большой каравай; я хотѣла отказаться, но бабушка такъ жалостливо настаивала, что я, по-неволѣ, должна была покориться.

Наступилъ часъ отъѣзда. Я попрощалась со всѣми, даже подошла къ дворовой собакѣ и поласкала ее... Только одного человѣка забыла ты, Агнесса!—этотъ позабытый человѣкъ—была слѣпая бабушка... Я вспомнила объ этомъ уже подъѣзжая къ вокзалу. Сердце мое тяжело сжалось, и какъ могло это случиться?.. Бѣдная старуха! Даже отъ меня, этой «доброй внучки», тебѣ приходится перенести огорченіе!.. надо какъ-нибудь исправить эту ошибку.

— Дѣти,—обратилась я къ сопровождавшимъ меня племянникамъ,—зайдите къ бабушкѣ и крѣпко ее за меня поцѣлуйте... скажите, что я не знаю, какъ это случилось, что я съ ней не прощалась.

— А кто ее еще цѣловать будетъ?

Я замолчала и отвернулась. Я даже не знаю, какъ зовутъ это старое несчастное созданіе:—Дѣти, какъ зовутъ бабушку?

— А развѣ ее какъ зовутъ?.. Бабушка—и все,—отвѣтили дѣти. Спросили у кучера,—онъ тоже не зналъ.

— У насъ на кухнѣ Аѳѣней зовутъ... да это такъ, только баловство одно,—добавилъ онъ, улыбаясь.

— Дѣти, попросите мамашу, чтобы она мнѣ написала, почему бабушка не вышла ко мнѣ, когда я уѣзжала...

Сестрица исполнила эту просьбу; вотъ что я узнала. Бабушка стояла все время на заднемъ крыльцѣ терпѣливо, держа въ рукахъ ея забытую хлѣбъ-соль. Никто, въ суматохѣ, не замѣтилъ, какъ она сюда пробралась. Сама же старуха была увѣ-

рена, что стоитъ, какъ слѣдуетъ, у параднаго подъѣзда, и все ждала моего выхода и отъѣзда.

Наконецъ, горничная замѣтила ее; она поглядѣла на бѣлый хлѣбъ и мигнула кухаркѣ; обѣ подошли къ старухѣ.

— Прощайте, бабушка,—заговорила горничная,—ловко поддѣлываясь подъ мой голосъ:—будьте здоровы!

Бабушка завертѣлась и засовала хлѣбъ въ руки издѣвающейся горничной; та жеманилась: «зачѣмъ это?..»

— Возьми!—говорила и молила бабушка голосомъ, звенѣвшимъ отъ сдерживаемыхъ рыданій,—это на дорогу—хлѣбъ-соль. Наконецъ, горничная приняла хлѣбъ, поблагодарила, еще разъ попрощалась, и, отошедши къ сторонкѣ, подѣлилась имъ съ кухаркой.

А бабушка долго стояла на одномъ мѣстѣ и тихимъ сдавленнымъ голосомъ посылала мнѣ вслѣдъ благословенія... Горничная, закусивъ хлѣбъ, подошла къ бабушкѣ и сказала:

— Да чего вы все машете? рука заболитъ: барышня давно уѣхала черезъ парадное крыльце, а вы стоите на заднемъ... а хлѣбъ я скушала—все равно, пропалъ бы!..

Бабушка не повѣрила; но все же, очнувшись, поплелась въ свою комнату.

— Аѳеня!—крикнула ей вслѣдъ кухарка.

Бабушка, противъ обыкновенія, даже не обратила вниманія: она была слишкомъ занята своимъ горемъ.

Долго послѣ этого я не имѣла о бабушкѣ никакихъ свѣдѣній. Наконецъ, лѣтъ черезъ семь, я еще разъ посѣтила этотъ укромный уголокъ. Бабушка осталась все та же. У нея за все это время не выпало ни одного зуба, не побѣлѣли ни на чуточку черные волосы; все предвѣщало ей, страстно молившей о смерти, еще долгую жизнь. Бѣдная бабушка! я отъ нея, по прошествіи семи лѣтъ, услыхала все тѣ же разговоры о Ксеніи, о горничныхъ... Уѣзжая, я опять забыла спросить ея имя, хотя, въ этотъ разъ, долго прощалась съ нею...

Ю. Я.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Февраль, 1880.

I.

— *Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго.* Томъ III. 1808 г.—1827 г. Изданіе графа С. Д. Шереметева. Спб. 1880.

— *Сборникъ отдѣленія русскаго языка и словесности* Императорской академіи наукъ. Томъ XX, № 5. Спб. 1879.

Въ „Вѣстникѣ Европы" было недавно подробно говорено о первыхъ двухъ томахъ „Собранія Сочиненій" кн. П. А. Вяземскаго. Изданіе еще подвинулось впередъ, и въ вышедшемъ теперь 3-мъ томѣ начато печатаніе стихотвореній. Какъ и надо было ожидать, изданіе обѣщаетъ быть также самымъ полнымъ собраніемъ стихотворныхъ трудовъ кн. Вяземскаго, такъ какъ не ограничится тѣмъ, что̀ являлось уже въ печати, но и дополнитъ текстъ по рукописямъ. Именно, матеріаломъ для изданія послужили, во-первыхъ, рукописи самого автора, сборники его стихотвореній, составленные подъ его наблюденіемъ еще въ 1820—22 годахъ, современные списки, часто съ собственноручными поправками автора и изрѣдка съ его замѣчаніями; далѣе, рукописные сборники, составленные покойнымъ княземъ Н. А. Долгоруковымъ и В. И. Межевымъ; наконецъ, старые журналы, ключомъ къ которымъ былъ библіографическій трудъ, исполненный г. Пономаревымъ.

Въ третій томъ вошли стихотворенія 1808—1827 г.; стихотворенія вообще будутъ размѣщены въ хронологическомъ порядкѣ, разумѣется наиболѣе удобномъ для историко-литературнаго обзора. Въ концѣ тома помѣщены библіографическія указанія о томъ, гдѣ стихотворенія въ первый разъ появились, и нѣсколько замѣтокъ, сдѣланныхъ къ нимъ кн. Вяземскимъ. Жаль, что подобныхъ замѣтокъ не прибавлено къ прозаическимъ статьямъ 1-го и 2-го тома: онѣ

сдѣлали бы еще болѣе удобнымъ употребленіе книги, чѣмъ теперь, когда читателю придется справляться особо съ указаніями г. Пономарева.

Въ названномъ выше изданіи русскаго отдѣленія академіи наукъ появился теперь и трудъ г. Пономарева, который долженъ быть необходимымъ пособіемъ для тѣхъ, кто захочетъ получить ясное понятіе о ходѣ литературной дѣятельности кн. Вяземскаго. Въ „Сборникѣ“ русскаго отдѣленія помѣщена также рѣчь г. Сухомлинова о кн. Вяземскомъ, читанная на академическомъ актѣ 29-го декабря 1878, и обширная библіографическая работа С. И. Пономарева (стр. 59—178), заключающая въ себѣ: хронологическій указатель сочиненій кн. Вяземскаго въ стихахъ и прозѣ; алфавитный ихъ списокъ; алфавитный списокъ лицъ въ его произведеніяхъ; указатель его изданныхъ писемъ, посланій къ нему, сатиръ, пародій, эпиграммъ на него, разныхъ матеріаловъ для его біографіи, отзывовъ объ его сочиненіяхъ, его псевдонимовъ, музыки на его сочиненія, переводовъ на другіе языки, его портретовъ и некрологовъ. Въ заключеніе, г. Пономаревъ сообщаетъ рядъ писемъ кн. Вяземскаго къ Максимовичу.—Немногимъ изъ нашихъ новѣйшихъ писателей было посвящено такое внимательное библіографическое изученіе, которымъ, конечно, чрезвычайно облегченъ трудъ будущаго біографа и литературнаго историка дѣятельности кн. Вяземскаго. „Мы сочли бы себя счастливыми,—говоритъ г. Пономаревъ,—если бы, при помощи нашихъ указаній, чья-нибудь талантливая рука начертала живую и подробную біографію поэта; такая біографія составила бы картину цѣлой эпохи, въ которой кн. Вяземскій занимаетъ видное и почетное мѣсто“.

Нѣтъ сомнѣнія, что біографія кн. Вяземскаго — хотя и не составила бы полной „картины цѣлой эпохи“—но все же была бы чрезвычайно любопытной долей этой картины; какъ ни обиленъ матеріалъ, который указывается нашимъ библіографомъ, онъ еще очень недостаточенъ для цѣльной біографіи кн. Вяземскаго. И этими источниками выяснится, конечно, литературная дѣятельность кн. Вяземскаго, но еще не со всѣми ея внутренними мотивами. Князь Вяземскій не былъ писателемъ ex professo, изъ обычнаго средняго круга, далекаго отъ главныхъ колесъ общественной машины; онъ былъ, напротивъ, къ нимъ очень близокъ; онъ занималъ важныя служебныя положенія, имѣлъ обширныя связи въ высшихъ и придворныхъ сферахъ. Это внѣшнее положеніе пока мало выясняется извѣстнымъ до сихъ поръ біографическимъ матеріаломъ; между тѣмъ, оно имѣло несомнѣнное и большое вліяніе на весь складъ его литературныхъ идей. Кн. Вяземскій—при всемъ достоинствѣ многихъ его понятій и дѣйствій въ „répub-

lique des lettres"—былъ, однако, писатель исключительнаго круга, съ его особенными отношеніями къ интересамъ и стремленіямъ большинства общества и литературы. „Живая и подробная біографія" кн. Вяземскаго невозможна безъ изображенія этой ея стороны, — а для этого изображенія матеріалъ еще далеко не собранъ.—А. А.

II.

— *А. П. Субботинъ*, Губернскій городъ Владиміръ въ 1877 г. Всестороннее описаніе въ связи съ сравнительными данными о другихъ городахъ Россіи. Опытъ отчизновѣдѣнія. Владиміръ, 1879.

Трудъ г. Субботина обнимаетъ собою прошедшее и настоящее города Владиміра, его топографію, внѣшнія и внутреннія условія его жизни, его хозяйственную и умственную дѣятельность. Въ подобныхъ описаніяхъ авторъ справедливо видитъ цѣнный матеріалъ для общаго знакомства съ Россіей. Нельзя не пожелать, чтобы каждая сколько-нибудь крупная мѣстность нашла себѣ такого же добросовѣстнаго и трудолюбиваго изслѣдователя, какъ г. Субботинъ. Пока эта задача не исполнена, правдивая характеристика одного города даетъ, до извѣстной степени, возможность судить и о другихъ, поставленныхъ въ одинаковыя съ нимъ условія. Г-нъ Субботинъ правъ, говоря въ предисловіи къ своему труду, что „жизнь города Владиміра въ значительной степени отражаетъ въ себѣ наиболѣе рельефныя стороны нашей родной, русской жизни, что, разбирая въ частностяхъ всю обстановку владимірской жизни, по-неволѣ станешь въ положеніе бытописателя жизни великорусской". Но если черты, свойственныя не спеціально Владиміру, а вообще заурядному великорусскому городу, увеличиваютъ, съ одной стороны, интересъ картины, набросанной г. Субботинымъ,—то ими же объясняется, съ другой стороны, блѣдность нѣкоторыхъ частей этой картины. Что владимірцы всѣхъ сословій любятъ выпить, что въ высшихъ и среднихъ кружкахъ владимірскаго общества къ выпивкѣ присоединяются карты и сплетни—объ этомъ мы могли догадываться, и не читая г. Субботина; а подробностей о томъ, насколько именно развиты во Владимірѣ эти всероссійскіе недуги, какія формы они въ немъ принимаютъ и къ какимъ приводятъ результатамъ, мы находимъ весьма немного [1]). Обобщенія у

[1]) Къ числу такихъ подробностей относятся свѣдѣнія о суммахъ, расходуемыхъ во Владимірѣ на покупку картъ (въ 1876 г. — 5177 руб., т.-е. по 29 коп. или по одной колодѣ на человѣка; всего больше картъ покупается зимой, всего меньше — лѣтомъ). На журналы и газеты владимірцы расходуютъ немногимъ больше, чѣмъ на покупку картъ (въ 1876 г.—6118 р.). Водки и вина потребляется во Владимірѣ до 60,000 ведеръ въ годъ, что̀ составляетъ въ сутки на каждаго мужчину (отъ 20 до

г. Субботина слишкомъ часто замѣняютъ собою факты, т.-е. именно самую драгоцѣнную часть изслѣдованія. До извѣстной степени это объясняется трудностью собранія фактическихъ данныхъ; но г. Субботинъ не всегда старается преодолѣть эту трудность. Мы не встрѣчаемъ у него, напримѣръ, ни одного свѣдѣнія о составѣ и дѣятельности владимірскаго мирового института, о составѣ присяжныхъ, принимающихъ участіе въ засѣданіяхъ владимірскаго окружного суда, объ отношеніи общества къ суду [1]), о дѣятельности городского управленія, о представителяхъ города въ уѣздномъ и губернскомъ земскихъ собраніяхъ. Личныя впечатлѣнія автора, близко знакомаго съ описываемымъ городомъ, могли бы, безъ сомнѣнія, подсказать ему много интереснаго о всѣхъ этихъ предметахъ, да и собраніе о нихъ свѣдѣній едва ли было бы сопряжено съ большими затрудненіями. Отдѣлъ объ управленіи и самоуправленіи вообще—разработанъ авторомъ всего слабѣе. Какъ бы то ни было, любопытныхъ фактовъ книга г. Субботина и въ настоящемъ своемъ видѣ содержитъ немало. Приведемъ, для примѣра, нѣкоторые изъ нихъ.

Число учащихся во владимірской мужской гимназіи постоянно возрастало до 1865-го года (въ 1841-мъ году ихъ было 117, въ 1864-мъ — 239, т.-е. вдвое больше); съ этого года оно стало уменьшаться, но въ семидесятыхъ годахъ опять пошло на прибыль (въ 1869 г.—210, въ 1875 г.—270). Г-нъ Субботинъ объясняетъ первое изъ этихъ явленій преобразованіемъ гимназіи въ классическую, сокращеніемъ числа льготъ, установленіемъ испытаній зрѣлости; а послѣднее—новымъ уставомъ о воинской повинности, способствовавшимъ въ особенности увеличенію числа учащихся изъ среды городского и сельскаго состоянія. Дѣйствительно, число учениковъ, принадлежащихъ къ непривилегированнымъ классамъ, возрастаетъ, сравнительно съ числомъ учениковъ привилегированнаго сословія, съ большою быстротою. Въ 1841 г. первыхъ было 9, послѣднихъ—108; въ 1864 г. первыхъ—33, послѣднихъ—206; въ 1875 г. первыхъ—53, послѣднихъ—217. Число учениковъ привилегированнаго сословія въ 35 лѣтъ увеличилось только *вдвое*, число учениковъ изъ непривилегированныхъ классовъ общества—*вчистеро*. Въ 1841 г. они составляли 8% всего числа учащихся, въ 1864 г.—14%, въ 1875 г.—20%. Преподавателей въ первое время существованія гимназіи было 6, въ 1859 г. — 11, въ 1876 г.—18.

---

75 л.) по $3^3/_4$ рюмки (для всей Россіи средняя цифра $1^1/_4$ рюмка). Мѣсть питейной торговли во Владимірѣ 110 — одно на 164 жителя (для всей Россіи средняя цифра — одно на 1,200 жителей).

[1]) Только въ заключеніи сказано мимоходомъ, что судебныя засѣданія (всѣ или только по дѣламъ уголовнымъ, и притомъ наиболѣе громкимъ?) привлекаютъ публику.

Публичная библіотека во Владимірѣ только одна—да и та епархіальная, снабженная довольно обильно книгами духовнаго содержанія, но посѣщаемая весьма мало. Частная библіотека была одна, да и та закрылась по недостатку подписчиковъ. Книжная торговля еще въ зародышѣ; спеціальной книжной лавки нѣтъ ни одной, книги (почти исключительно учебныя) продаются въ 3—4 лавкахъ вмѣстѣ съ канцелярскими принадлежностями, игрушками, башмаками и т. д.; въ двухъ шкапчикахъ гостинаго двора продаются лубочныя изданія (Жаръ-птица, Гуакъ, Милордъ англійскій и т. п.), ходко раскупаемыя. На станціи желѣзной дороги идетъ торговля беллетристическими сочиненіями, преимущественно легкаго, пикантно-реальнаго содержанія (Всеволодъ Крестовскій, Самаровъ, Велò и т. п.). Читающій обыватель представляетъ во Владимірѣ явленіе не меньшей мѣрѣ оригинальное. Чтеніе производится безъ системы; что̀ попадется интереснѣе, что̀ порекомендуютъ, то и читаютъ. Серьёзныя сочиненія почти никѣмъ не изучаются съ цѣлью самообразованія; ихъ читаютъ только спеціалисты — педагоги, юристы, врачи, — да и то лишь по обязанности, чтобы не слишкомъ плохо вести свое дѣло. Все это, къ сожалѣнію, болѣе чѣмъ вѣроятно, и могло бы быть сказано не объ одномъ Владимірѣ; но не преувеличиваетъ ли г. Субботинъ, говоря, что люди, знающіе сложеніе и вычитаніе и умѣющіе написать письмо, признаются между владимірцами чуть не учеными? Во Владимірѣ, какъ и во всякомъ другомъ русскомъ губернскомъ городѣ, слишкомъ много однихъ чиновниковъ, чтобы уровень знаній, приводимый г. Субботинымъ, могъ считаться особенно высокимъ.

Весьма любопытно слѣдующее наблюденіе, сообщаемое г. Субботинымъ,—къ сожалѣнію, безъ подробныхъ фактическихъ данныхъ: средній классъ во Владимірѣ богомольнѣе, чѣмъ высшій и низшій. Желательно было бы знать, чѣмъ обусловливается сравнительно меньшее посѣщеніе церквей со стороны низшаго класса: отсутствіемъ ли досуга въ воскресные и праздничные дни, или какими-либо другими причинами, напр., значительнымъ числомъ раскольниковъ [1]). Женщины, по словамъ г. Субботина, богомольнѣе мужчинъ; въ праздники и подъ праздники женщины составляютъ $^4/_5$ толпы, наполняющей всѣ церкви (а церквей во Владимірѣ двадцать три, по одной на 740 жителей — больше чѣмъ во многихъ другихъ подмосковныхъ губернскихъ городахъ); женщины же слѣдуютъ массами за крестными ходами. Благотворительность владимірцевъ выражается преимуще-

[1]) Есть ли во Владимірѣ раскольники, много ли ихъ, и къ какимъ они принадлежатъ толкамъ—г. Субботинъ не сообщаетъ.

ственно въ раздачѣ милостыни нищимъ, которыхъ во Владимірѣ, впрочемъ, немного,—около ста. Благотворительное общество, открытое въ 1869 г., возбудило интересъ только на первыхъ порахъ; даже существованіе его извѣстно далеко не всѣмъ владимірцамъ, хотя ему удалось учредить школу и странноприимный домъ. Въ дамскомъ комитетѣ общества краснаго креста считается всего пять членовъ.

Число кражъ во Владимірѣ въ продолженіи десяти лѣтъ удвоилось (въ 1867 г.—63, въ 1876 г.—128). Объясненія этому прискорбному факту г. Субботинъ не даетъ, потому что нельзя же считать объясненіемъ такую фразу: „число кражъ возрастаетъ съ развитіемъ общества". Всего больше кражъ бываетъ лѣтомъ, всего меньше—зимой; но зимнія кражи крупнѣе лѣтнихъ. Въ теплое время жители чаще выходятъ изъ дома, и воръ беретъ что̀ попало; въ холодное время кражи затруднительнѣе, и изъ-за малаго воръ не рискуетъ. Терпитъ отъ кражъ главнымъ образомъ бѣдное населеніе, не имѣющее хорошихъ запоровъ и уходящее на заработки; кражи у состоятельныхъ лицъ очень рѣдки. Самые пріемы воровства во Владимірѣ просты; кражи со взломами, подкопами, изъ кармана—не въ модѣ, воруютъ только то, что̀ плохо лежитъ,—изъ кухонь и чердаковъ, со дворовъ и т. п. Грабежей въ 1876 г. было 9 (въ 1867 г.—5); дерзостью они не отличаются; главные пріемы ограбленія — уводъ лошадей и снятіе одежды, жертвами его бываютъ бо́льшею частью крестьяне, пріѣхавшіе въ городъ и напившіеся пьяными. Убійства во Владимірѣ крайне рѣдки, о поджогахъ не слышно вовсе. Значеніе цифръ, сообщаемыхъ г. Субботинымъ, уменьшается тѣмъ, что онѣ ограничиваются двумя годами (1867-мъ и 1876-мъ); среднихъ цифръ, хотя бы за десятилѣтіе, онъ не даетъ, да и о возрастаніи цифры преступленій по двумъ отдѣльнымъ годамъ нельзя составить себѣ правильнаго понятія.

Картина наружнаго благоустройства Владиміра весьма печальная. „Очищать съ улицъ грязь,—говоритъ г. Субботинъ,—поливать и выметать улицы — представляется здѣсь дѣломъ страннымъ, ненужной роскошью. Въ оврагахъ гніютъ кучи мусора и трупы животныхъ; на дворахъ и на задахъ, за неимѣніемъ помойныхъ ямъ, льются помои; на окраинахъ помои выливаются даже прямо на улицу. Содержимое отхожихъ мѣстъ сваливается близко отъ города, ямы иногда не закрываются, а на окраинахъ города отхожія мѣста блистаютъ своимъ отсутствіемъ. Не будь садовъ и овраговъ, городъ не избѣгнулъ бы заразы. Природа восполняетъ здѣсь то, чего не дѣлаютъ люди по апатіи; дождевая вода скатывается подъ гору, частые вѣтры разносятъ вредныя испаренія... Городъ хотя и просвѣщенъ, но мало освѣ-

щенъ [1]). Всѣхъ фонарей 215, т.-е. по одному на 82 сажени уличнаго протяженія! Освѣщеніе сдается отъ управы подрядчику за 1997 р. въ годъ, т.-е. по $3^1/_2$ коп. въ вечеръ за фонарь. Здѣшніе фонари скорѣе служатъ для усиленія мрака, чтобы болѣе оттѣнить окружающую тьму. Даже на Большой улицѣ, при полномъ освѣщеніи, въ осенній вечеръ можно попасть подъ лошадь, а въ сторонѣ отъ нея еле мерцающее свѣтлое пятно фонаря замѣчается только тогда, когда подойдешь къ нему на 2—3 шага". Этой картинѣ вполнѣ соотвѣтствуетъ другая, касающаяся внутренней жизни владимірцевъ. „Большинство склонно вѣрить тому, что земля на трехъ китахъ стоитъ, что небесныя явленія предвѣщаютъ большіе пожары и другія бѣдствія. Жители Владиміра отчасти фаталисты, въ духѣ русскихъ поговорокъ: чему быть, того не миновать—Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ! Суевѣрія еще не выдохлись во Владимірѣ; вѣрятъ въ заговоръ, въ дурной глазъ, въ нечистую силу, въ разныя симпатическія средства, въ гадалокъ. Многіе граждане и чиновники для совѣщанія о важныхъ случаяхъ жизни отправляются къ „Марьюшкѣ", старой дамѣ, давно сидящей въ сумасшедшемъ домѣ; ея безсмыслицы толкуются, смотря по настроенію вопрошающаго... Скромность гражданъ достойна похвалы; они не суются впередъ, не бросаютъ деньги, чтобы заставить говорить о себѣ, не пытаются, какъ въ другихъ городахъ, возвеличить городъ какимъ-либо памятникомъ или пожертвованіемъ; довольствуясь своею скорлупой, они не гонятся за призрачною славой. Мало того—въ иныхъ случаяхъ обыватели не прочь унижаться и льстить". Девизъ владимірцевъ, по словамъ г. Субботина—„тише ѣдешь, дальше будешь". Положеніе Владиміра, описанное г. Субботинымъ—новое доказательство того, что съ этимъ, слишкомъ знакомымъ русскому, девизомъ далеко не уѣдешь,—и во всякомъ случаѣ дальше будешь—отъ того мѣста, куда ѣдешь.

III.

— *Алексѣй Остроумовъ*: Синезій, философъ, епископъ птолемаидскій. Москва, 1879.

Предметъ, которому посвящено сочиненіе г. Остроумова, далеко не лишенъ интереса. Синезій — одинъ изъ послѣднихъ представителей языческаго образованія, языческой философіи; обращеніе его къ

[1]) Нельзя не пожалѣть, что изложеніе г. Субботина несвободно отъ подобныхъ допотопныхъ остротъ, а мѣстами (см., напр., стр. 16) и отъ претензій на краснорѣчіе. Вся сила его книги заключается въ сообщаемыхъ имъ фактахъ; понятія представить ихъ въ смѣшномъ или эффектномъ видѣ ему не удаются.

христіанству обусловливалось тѣми же причинами, благодаря которымъ новое ученіе распространялось все больше и больше въ интеллигентной части языческаго общества. Дряхлѣющая имперія, угасающая провинціальная и муниципальная жизнь, борьба съ варварами на границахъ и внутри государства, постепенное вытѣсненіе народнаго элемента изъ церковной организаціи — всѣ эти отличительныя черты конца IV-го и начала V-го вѣка по Р. Х. нашли себѣ мѣсто въ книгѣ г. Остроумова. Главный ея недостатокъ — излишняя подробность, особенно чувствительная въ изложеніи литературной дѣятельности Синезія. Ни одно изъ сочиненій Синезія не возвышается надъ уровнемъ посредственности; его литературныя произведенія—риторическія, подражательныя,—упражненія запоздалаго софиста; его философія лишена всякой самостоятельности, представляетъ собою смѣсь неоплатонизма съ элементами, заимствованными изъ христіанства и восточныхъ религій. Отказался ли Синезій отъ своихъ еретическихъ воззрѣній, сдѣлался ли онъ, подъ конецъ жизни, правовѣрнымъ христіаниномъ, имѣлъ ли онъ, какъ предполагаетъ г. Остроумовъ, всѣ данныя для того, чтобы возвыситься на степень одного изъ знаменитыхъ церковныхъ писателей и христіанскихъ богослововъ—всѣ эти вопросы могутъ казаться важными только небольшой группѣ спеціалистовъ. Изучать значеніе неоплатонизма и отношеніе его къ христіанству гораздо удобнѣе на произведеніяхъ главныхъ представителей его—напримѣръ, Плотина—чѣмъ на псевдо-философскихъ разсужденіяхъ Синезія, исполненныхъ противорѣчія и проникнутыхъ духомъ самаго ненаучнаго эклектизма. Еще меньшаго вниманія заслуживаютъ „похвала плѣшивости“, трактатъ о снахъ, въ пророческое значеніе которыхъ Синезій серьёзно вѣрилъ, казуистическая защита книгъ съ испорченнымъ или неполнымъ текстомъ и т. п. Сокращенная болѣе чѣмъ на-половину, сведенная къ очерку жизни Синезія и краткому обзору его сочиненій, въ связи съ характеристикой тогдашняго времени, книга г. Остроумова могла бы быть прочитана всѣми, интересующимися исторіей римской имперіи и христіанской церкви; теперь она, къ сожалѣнію, едва ли найдетъ большой кругъ читателей. Говоримъ: къ сожалѣнію, потому что она написана хорошо и даетъ ясное понятіе объ изображаемой въ ней эпохѣ.

Въ жизни Синезія особенно выдаются два эпизода: посольство его въ Константинополь, къ императору Аркадію, съ цѣлью испрошенія льготъ для Киренаики (Синезій былъ родомъ изъ этой провинціи) и избраніе его въ епископы птолемаидскіе. Посольство его было ознаменовано рѣчью, произнесенною въ присутствіи Аркадія,—рѣчью, содержавшею въ себѣ яркую картину бѣдствій имперіи и

смѣлыя указанія на ихъ источникъ. Со стороны Синезія она была несомнѣнно актомъ гражданскаго мужества; но вмѣстѣ съ тѣмъ она показываетъ, что истинѣ въ это время несовсѣмъ еще былъ закрытъ доступъ къ византійскому престолу. Синезій обращается къ Аркадію не столько въ качествѣ уполномоченнаго отъ Киренаики, сколько въ качествѣ представителя философіи. „Охотно ли вы принимаете философію?—спрашиваетъ онъ.—Когда она является послѣ долгаго отсутствія, кто можетъ отказать ей въ гостепріимствѣ, ею заслуженномъ? Если она оказываетъ это благоволеніе (т.-е. снисходитъ къ вамъ), то не для себя, а для васъ, ибо вы не можете отнестись къ ней съ презрѣніемъ безъ вреда для самихъ себя. Въ рѣчи, которую она будетъ держать передъ вами, не будетъ мѣста желанію нравиться... Въ своей суровой свободѣ, чужая въ царскомъ дворцѣ, она входитъ туда не съ тѣмъ, чтобы расточать на-удачу и во всемъ похвалы императору и императорскому двору... Цари должны съ большимъ почтеніемъ принимать рѣчь свободную и независимую. Похвала обольстительна, но пагубна... Какъ соль остротою и горечью препятствуетъ мясу разлагаться, такъ истина въ рѣчи сдерживаетъ духъ юнаго императора, готоваго заблудиться по произволу своей власти“. Этому предисловію соотвѣтствуетъ продолженіе рѣчи. Синезій порицаетъ прежде всего трудность доступа къ императору, его замкнутую жизнь во дворцѣ, вслѣдствіе восточнаго этикета, заимствованнаго у варваровъ. Придворныхъ, съ которыми императоръ имѣетъ общеніе въ ежедневной жизни, Синезій называетъ людьми съ малою головою и малымъ умомъ, настоящими недоносками, несовершенными произведеніями природы. Дальше Синезій нападаетъ на роскошь двора, сравнивая лицъ, къ ней привыкшихъ, съ плѣнниками, закованными въ золотыя цѣпи. Всего больше возмущаетъ Синезія политика правительства относительно варваровъ, которыхъ оно допускаетъ въ военную и гражданскую службу, которыми оно наводняетъ имперію. Опасность, коренившуюся въ такой политикѣ, Синезій понялъ совершенно правильно; но другіе совѣты, преподаваемые имъ императору, внушены скорѣе наивностью мечтателя, чѣмъ мудростью государственнаго человѣка. Спасеніе имперіи онъ видитъ исключительно во внутреннемъ перерожденіи самого императора, путемъ изученія философіи и возвращенія къ древней простотѣ нравовъ.

Посольство въ Константинополь дало Синезію большой авторитетъ въ его провинціи; заботливость его объ общественныхъ интересахъ, услуги, оказанныя имъ во время нашествія варваровъ, еще болѣе увеличили его популярность. Яркимъ доказательствомъ ея послужило избраніе его народомъ въ епископы птолемаидскіе, между

тѣмъ какъ онъ не только не имѣлъ духовнаго сана, но даже — по весьма вѣроятному предположенію г. Остроумова, раздѣляемому и многими другими писателями — не былъ крещенъ въ христіанскую вѣру. Утвержденіе избранія зависѣло отъ патріарха александрійскаго Ѳеофила, извѣстнаго своею ревностью къ вѣрѣ и гоненіями, воздвигнутыми имъ противъ язычниковъ. Синезій не скрылъ отъ него, что хотя онъ и готовъ принять христіанство, а вмѣстѣ съ нимъ — и санъ епископа, но по многимъ пунктамъ не раздѣляетъ христіанскаго ученія, и притомъ не намѣренъ разстаться съ своей женою [1]). „Я никогда не повѣрю, — говоритъ онъ въ замѣчательномъ письмѣ, написанномъ по этому поводу,—чтобы душа происходила послѣ тѣла [2]); я никогда не скажу, что міръ погибнетъ, и вмѣстѣ съ нимъ всѣ различныя его части. Воскресеніе, о которомъ столько говорятъ, —я считаю просто священной и таинственной аллегоріей, и далекъ отъ того, чтобы согласиться съ воззрѣніемъ черни". Онъ прямо проситъ позволенія сохранить свои предвзятыя мнѣнія. „Если бы мнѣ сказали,—восклицаетъ онъ,—что епископъ долженъ раздѣлять мнѣнія народа, то я передъ всѣми бы открылъ, кто я такой,—ибо что можетъ быть общаго между чернью и философіей? Божественная истина должна оставаться скрытою; народъ имѣетъ нужду въ другомъ". Важность вопросовъ, по которымъ Синезій расходился съ церковнымъ ученіемъ, очень хорошо выставлена на видъ г. Остроумовымъ; однако уступилъ не Синезій, а Ѳеофилъ, и неофитъ, только на-половину обращенный, сдѣлался епископомъ птолемаидскимъ. Г-нъ Остроумовъ объясняетъ образъ дѣйствій Ѳеофила политическими соображеніями — надеждой пріобрѣсти въ Синезіѣ сильнаго союзника, нежеланіемъ идти на-перекоръ настойчивому требованію избирателей и т. п. Какъ бы то ни было, ожиданія народа оправдались: Синезій, въ качествѣ епископа, болѣе чѣмъ когда-либо былъ печальникомъ о немъ, защитникомъ его во всякихъ невзгодахъ. Заботы и огорченія, вызванныя именно серьёзнымъ отношеніемъ къ своимъ обязанностямъ, сократили его жизнь; онъ былъ епископомъ не болѣе пяти лѣтъ (410—415). Немного найдется епископовъ, которые бы достигли этого званія при болѣе оригинальной обстановкѣ; но немного найдется и такихъ, чей примѣръ могъ бы быть приведенъ съ бо̀льшей силой въ пользу системы, сдѣлавшей возможнымъ возвышеніе Синезія.

---

[1]) Безбрачіе епископа не требовалось въ это время церковью безусловно, но становилось уже общепринятымъ обычаемъ.

[2]) Это значитъ, что Синезій раздѣлялъ мнѣніе неоплатониковъ о предсуществованіи души, т.-е. существованіи ея раньше тѣла.

IV.

— *Ernest Renan*, l'Eglise chrétienne. Paris, 1879 (Histoire des origines du christianisme, Tome VI).

Обширное изслѣдованіе о первыхъ временахъ христіанства, предпринятое Ренаномъ почти двадцать лѣтъ тому назадъ, приближается къ концу. Шестой томъ, вышедшій въ свѣтъ въ 1879 году, обнимаетъ собою время окончательнаго устройства христіанской церкви, совпадающаго съ царствованіями императоровъ Адріана и Антонина. На этой эпохѣ Ренанъ сначала предполагалъ остановиться, но ближайшее знакомство съ предметомъ убѣдило его въ необходимости расширить рамку своего труда. Седьмой и послѣдній томъ будетъ посвященъ эпохѣ Марка Аврелія, тѣсно связанной съ исторіей первобытнаго христіанства. Къ этой эпохѣ относится, съ одной стороны, торжество церкви надъ монтанистами, т.-е. закона надъ личной свободой, дисциплины надъ индивидуальнымъ вдохновеніемъ, цѣлаго надъ отдѣльными единицами; съ другой стороны—послѣдняя великая попытка древняго міра найти источникъ обновленія въ самомъ себѣ, побѣдить христіанство, сдѣлавъ его излишнимъ. Новый предѣлъ изслѣдованія выбранъ Ренаномъ совершенно правильно; сочиненіе Гаусрата („Neutestamentliche Zeitgeschichte"), задача котораго имѣетъ очень много общаго съ задачей Ренана, страдаетъ нѣкоторою незаконченностью именно потому, что доведено только до половины II-го вѣка.

Достоинство и недостатки новой книги Ренана—тѣ же, которыми, въ большей или меньшей степени, отличаются первыя пять частей его исторіи христіанства. Ученымъ трудомъ, въ полномъ смыслѣ этого слова, она названа быть не можетъ; основаніемъ ея служатъ работы другихъ изслѣдователей, характеристическою чертою — живое, часто художественное изложеніе данныхъ, добытыхъ преимущественно нѣмецкою наукою. Здѣсь, какъ и вездѣ, Ренанъ прежде всего—отличный популяризаторъ, талантливый разсказчикъ, неспособный, однако, перенестись мысленно въ описываемую имъ эпоху, понять и прочувствовать ея умственную и нравственную жизнь. Подобно тому, какъ уже въ первой, самой извѣстной части его сочиненія величавая простота событій принимаетъ подъ его рукой сантиментальный, сладкій характеръ, — борьба, наполняющая второе столѣтіе нашей эры, теряетъ, въ изложеніи Ренана, свою рѣзкость, свою суровость. Тамъ, гдѣ эти свойства выступаютъ на-видъ слишкомъ ярко, чтобы быть стушеванными и сглаженными, Ренанъ относится къ нимъ съ упрекомъ, иногда, по меньшей мѣрѣ, страннымъ. Говоря о нетерпимости

которую дышатъ нѣкоторыя произведенія христіанской литературы уже въ первой половинѣ II-го вѣка, онъ полемизируетъ противъ нея такъ, какъ-будто бы имѣлъ дѣло съ клерикализмомъ нашего времени. Приведя извѣстныя слова: „избѣгай еретика, послѣ перваго и второго наказанія",—онъ восклицаетъ: „что̀ можетъ быть менѣе согласно съ правилами *хорошо воспитаннаго человѣка?* У еретика свое мнѣніе, какъ у васъ — свое; право, быть можетъ, на его сторонѣ. *Учтивость требуетъ даже, чтобы въ его присутствіи выказались вѣрящимъ въ его правоту*" (стр. 102—103). Не трудно представить себѣ, во что̀ обратилась бы проповѣдь новой вѣры, если бы проповѣдникъ считалъ себя обязаннымъ не только соблюдать *учтивость* относительно своихъ противниковъ, но и допускать, какъ нѣчто возможное, справедливость ихъ мнѣній. Вся сила подобной проповѣди заключается въ глубокомъ убѣжденіи, которымъ она проникнута,—убѣжденіи, исключающемъ всякое сомнѣніе и колебаніе. Какимъ образомъ проповѣдникъ могъ бы убѣждать другихъ, если бы самъ былъ—или хотя бы только казался—не вполнѣ убѣжденнымъ? Полемическій методъ, рекомендуемый Ренаномъ, непримѣнимъ безусловно даже къ нашей эпохѣ, несмотря на ея скептицизмъ, несмотря на сравнительную мягкость ея нравовъ; онъ годится развѣ для академическаго спора, спокойнаго, утонченно-вѣжливаго, неидущаго дальше булавочныхъ уколовъ, „où jusqu'à: je vous hais—tout se dit tendrement". Между тѣмъ, Ренанъ никакъ не можетъ примириться съ тѣмъ, что писатели II-го вѣка не умѣли уважать своихъ оппонентовъ, что первыя апологіи христіанства написаны не въ духѣ французскаго псевдо-классицизма. „Нужно признаться, — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ (стр. 485), — что если Кресцентій (малоизвѣстный языческій философъ временъ Антонина) былъ не правъ, призывая государственную власть на помощь противъ исповѣдниковъ христіанства, то и Юстинъ не вносилъ въ свою полемику *желанной сдержанности* (égards désidérables) въ отношеніи къ своимъ противникамъ. Онъ называлъ ихъ прожорливыми обманщиками; онъ совершенно напрасно кололъ имъ глаза содержаніемъ, которое они получали отъ правительства. Состоять на жалованьѣ — не значитъ еще быть скупцомъ или продажнымъ человѣкомъ". Въ лицѣ Юстина Ренанъ, очевидно, возражаетъ здѣсь современнымъ взглядамъ на значеніе и достоинство оффиціозной литературы. Если представители ея не пользуются почетомъ въ наше время, то для защиты ихъ Ренанъ могъ выбрать другой, болѣе удобный поводъ; отъ Юстина, которому Кресцентій прямо угрожалъ доносомъ, т.-е. смертью, слишкомъ несправедливо требовать разборчивости въ выборѣ выраженій. Едва ли, впрочемъ, тезисъ, поддерживаемый Ренаномъ, имѣетъ

какіе-либо шансы успѣха. Спокойствіе, сдержанность въ спорѣ возможны лишь при полной равноправности противниковъ, — а этого условія оффиціозная литература не представляетъ. Пока существуютъ писатели, за которыми—и за которыхъ—невидимо, но осязательно стоитъ посторонняя сила, до тѣхъ поръ не исчезнутъ тѣ полемическіе пріемы, которыми Юстинъ навлекъ на себя неудовольствіе Ренана.

Защита оффиціозной литературы — не единственный случай, въ которомъ Ренанъ дѣлаетъ скачокъ отъ прошедшаго къ настоящему. Иногда обращеніе къ „злобѣ дня“ совершается имъ открыто, иногда остается замаскированнымъ, но слегка, такъ что не замѣтить намека почти невозможно. Къ числу случаевъ перваго рода принадлежитъ объясненіе парижской коммуны, заимствованное изъ фактовъ II-го вѣка. Вторая половина этого вѣка была богата произведеніями, предсказывавшими, съ христіанской точки зрѣнія, скорое истребленіе міра огненнымъ потопомъ.—„Нельзя порицать римскую полицію“, — говоритъ Ренанъ,—„за строгость ея къ подобнымъ произведеніямъ“; теперь они кажутся намъ ребяческими, но тогда они были полны угрозъ. Опасно предвѣщать приближеніе пожара. Народъ подверженъ страннымъ галлюцинаціямъ. Когда трагическія сцены, ожидаемыя имъ, долго не наступаютъ, онъ иногда беретъ на себя ихъ осуществленіе. *Парижане создали коммуну, потому что не настал обѣщанный имъ пятый актъ осады*“ (стр. 536—537). Итакъ, причинная связь между осадой Парижа и коммуной—связь, на которую часто указывалось, и *вполнѣ* отвергать которую едва ли возможно—заключается не въ бѣдствіяхъ осады, а въ томъ, что бѣдствія эти не дошли до крайняго своего предѣла; коммунары сожгли Тюльери и ратушу, потому что ихъ пощадили нѣмецкія бомбы! Несостоятельность этого объясненія не требуетъ доказательствъ; достаточно напомнить, что парижскій пожаръ былъ финаломъ, а не прологомъ коммуны, и что не въ немъ, слѣдовательно, нужно искать ключъ къ кратковременному торжеству радикаловъ. Менѣе прямо, но въ сущности не менѣе ясно поученіе, выраженное въ слѣдующихъ словахъ Ренана (по поводу бѣдствій, испытанныхъ евреями послѣ возстанія 133-го года): „не всѣ, конечно, заслужили столь строгое наказаніе. На этотъ разъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, люди благоразумные поплатились за безумцевъ. Нація—это солидарность; человѣкъ, не принимавшій никакого участія въ ошибкахъ своихъ соотечественниковъ, даже оплакивавшій ихъ, страдаетъ за нихъ, тѣмъ не менѣе, наравнѣ съ другими. *Первая обязанность общества—сдерживать свои нелѣпые элементы* (tenir en bride ses éléments absurdes). Каждый, проливающій кровь за дѣло, въ правоту котораго онъ вѣ-

ритъ, имѣетъ право на наше уваженіе; но отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы онъ имѣлъ право и на наше одобреніе. Насколько достоинъ нашего сочувствія мирный, кроткій еврей, домогавшійся только свободы размышленія надъ закономъ, настолько же мы должны быть строги къ Варъ-Козбѣ, повергающему свой народъ въ бездну бѣдствій, къ Акибѣ, скрѣпляющему своимъ авторитетомъ народное безумство. Фанатики Израиля сражались не за свободу, а за теократію; ихъ торжество привело бы къ господству зилотовъ, т.-е радикаловъ худшей категоріи, къ террору, къ избіенію невѣрующихъ" (стр. 211). Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, Ренанъ отзывался совершенно иначе о дѣятеляхъ іудейской войны 66—70 г., продолженіемъ или повтореніемъ которой было возстаніе 133-го г. [1]); его восторженные отзывы объ Іоаннахъ изъ Гишалы, о сыновьяхъ Гіоры рѣшительно не вяжутся съ безусловнымъ осужденіемъ Варъ-Козбы и Акибы. Подобныя противорѣчія неизбѣжны, когда историкъ не только обращается въ судьи изображаемыхъ имъ лицъ, но и руководствуется въ своихъ приговорахъ внушеніями настоящей минуты. Въ „Антихристѣ" Ренанъ увлекся желаніемъ превознести Францію, униженную событіями 1870—71 г., сопоставленіемъ французской революціи съ героической борьбой Іудеи противъ Рима; въ разбираемой нами книгѣ онъ увлекся желаніемъ преподать своимъ соотечественникамъ урокъ благоразумія и умѣренности, особенно полезный въ моментъ пробужденія подавленныхъ на время революціонныхъ стремленій. Строго-исторической оцѣнки лицъ и событій онъ не даетъ ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ.

Всего замѣчательнѣе, на нашъ взглядъ, тѣ главы „Eglise chrétienne", которыя посвящены исторіи іудаизма—окончательному разрыву его съ христіанствомъ, окаменѣнію его въ тѣхъ формахъ, которыя онъ сохранилъ до настоящаго времени, постепенному исчезновенію въ его средѣ духа пропаганды, политическихъ страстей и активнаго стремленія къ мученичеству (но отнюдь не готовности умереть, разъ что приходится выбирать между смертью и отреченіемъ отъ закона). Два событія II-го вѣка обусловливаютъ, въ особенности, дальнѣйшую судьбу еврейства: разсѣяніе евреевъ изъ Палестины [2]), т.-е. потеря ими отечества, и кодификація религіозныхъ книгъ, совокупность которыхъ извѣстна подъ именемъ Талмуда. „Талмудизмъ", —говоритъ Ренанъ (стр. 247 и слѣд.)—„былъ героическимъ средствомъ къ сохраненію индивидуальности еврейскаго народа. Въ Тал-

[1]) См. „l'Antéchrist", p. 542—544, и разборъ этого сочиненія въ „Вѣстникѣ Европы" 1875 г., № 12, стр. 647—654.

[2]) Разсѣяніе евреевъ по лицу тогдашняго цивилизованнаго міра началось гораздо раньше 133 г., но довершилъ его неудачный исходъ возстанія Варъ-Козбы.

мудѣ сосредоточилась вся еврейская національность. Чтобы поддержать внутреннюю связь между этими всюду разсѣянными единицами, лишенными іерархіи, духовенства, священнаго города, центральной богословской коллегіи, нужна была желѣзная цѣпь—и такою цѣпью сдѣлалась общность обязанностей, налагаемыхъ Талмудомъ. Всѣ эти обязанности сводятся къ формѣ, къ обряду, къ правиламъ, регулирующимъ ежедневную жизнь. Единство, установленное такимъ образомъ, прочнѣе того, которое построено на тождествѣ догматовъ. Религія, ищущая единенія душъ въ истинахъ метафизическаго порядка, приготовляетъ безконечный рядъ ересей; религія, провозглашающая одинъ только догматъ — единобожіе — и соединяющая вѣрующихъ внѣшнею связью обряда, предупреждаетъ возможность богословскихъ споровъ. Когда евреи извергали кого-либо изъ своей среды, основаніемъ къ тому служили большею частью дѣйствія, а не мнѣнія. Мышленіе о предметахъ вѣры у евреевъ всегда оставалось свободнымъ, обязательнаго для всѣхъ исповѣданія вѣры не было; безсмертіе души разсматривалось только какъ утѣшительная надежда; даже мессіанизмъ можно было отвергать безнаказанно, и мнѣнія этого рода включены въ Талмудъ безъ всякой противъ нихъ оговорки. Во всемъ этомъ много благоразумія. Вѣра не можетъ быть обязательною, между тѣмъ какъ величайшій внѣшній ригоризмъ уживается съ полной свободой мысли. Отсюда философская независимость, уже въ средніе вѣка господствовавшая и до-сихъ поръ господствующая въ іудаизмѣ".

Между выдающимися представителями его, между оракулами синагоги были чистые раціоналисты, какъ, напримѣръ, Маймонидъ и Мендельсонъ. Такія книги, какъ „Основныя начала" Іосифа Альбо—признающаго за религіей исключительно символическое значеніе, допускающаго измѣняемость божественныхъ законовъ — могли свободно появляться и достигать извѣстности между евреями, не навлекая на себя никакой анаѳемы. Ничего подобнаго мы не видимъ въ исторіи другихъ религій [1]). Дальше Ренанъ перечисляетъ всѣ невыгоды ритуализма, отлично поддерживающаго связь между евреями,

---

[1]) Убѣжденіе, что господство обрядности благопріятствуетъ свободѣ мысли. Ренанъ высказываетъ и въ другомъ мѣстѣ своей книги (стр. 88), приводя слѣдующія слова одного изъ друзей своихъ, строгаго еврея-талмудиста и вмѣстѣ съ тѣмъ свободнаго мыслителя: „точное соблюденіе обрядовъ уравновѣшиваетъ ширину мысли. Бѣдное человѣчество не могло бы вынести заразъ свободу и въ томъ и въ другомъ направленіи. Ошибаются тѣ, которые ищутъ единства въ тождествѣ вѣрованій. Вѣруетъ каждый только въ то, во что можетъ вѣрить; но поступки управляются волей. Что касается лично до меня, то я предпочитаю никогда не ѣсть свинины, чѣмъ быть обязаннымъ вѣрить въ то, что для меня немыслимо".

но отчуждающаго ихъ отъ всего остальнаго міра, замыкающаго ихъ въ тѣсную, душную сферу національныхъ и религіозныхъ предразсудковъ, безплодно тратящаго ихъ силы на мелочную діалектику, на толкованіе и перетолкованіе каждой буквы Талмуда. „Будущность еврейскаго народа“—таковы заключительныя слова Ренана—„заключалась въ пророкахъ, съ ихъ широкими стремленіями, а не въ законѣ, съ его узкими предписаніями; между тѣмъ, Талмудъ—это поклоненіе закону, доведенное до суевѣрія. Израиль, такъ долго боровшійся противъ всякаго идолопоклонства, заключилъ свое поприще фетишизмомъ, въ которомъ роль фетиша принадлежитъ Талмуду“. Въ концѣ-концовъ получается, такимъ образомъ, вопіющая аномалія: фетишизмъ, покровительствующій свободѣ мысли. Очевидно, что въ той или другой части аргументаціи Ренана допущена крупная ошибка. Господство обрядности безспорно способствовало религіозному, — а слѣдовательно и національному единству евреевъ; но оно не благопріятствовало и не могло благопріятствовать развитію между ними свободнаго мышленія. Свободное мышленіе предполагаетъ возможность пользоваться всѣми источниками знанія, всѣми пріобрѣтеніями науки; между тѣмъ, по словамъ самого Ренана, Талмудъ надолго прервалъ общеніе іудаизма съ классическою древностью. Въ средніе вѣка греческая философія, черезъ посредство аравитянъ, коснулась евреевъ и вызвала между ними новую умственную жизнь; но жизнь эта продолжалась недолго и задѣла лишь небольшую горсть мыслителей. Маймонидъ и Мендельсонъ—рѣдкія исключенія, ничего не доказывающія; примѣръ Спинозы достаточно ясно свидѣтельствуетъ о томъ, что преслѣдованію со стороны евреевъ подвергались не только дѣйствія, но и мнѣнія. Для того, чтобы быть въ одно и то же время свободнымъ мыслителемъ и строгимъ талмудистомъ, необходимо такое лицемѣріе—или по меньшей мѣрѣ такая умственная эластичность,—какими обладаютъ лишь весьма немногіе.

Говоря о гностицизмѣ, Ренанъ выставляетъ на видъ съ одной стороны его связь съ восточными религіями, съ другой—его сходство съ гегелевской философіей. Буддизмъ былъ извѣстенъ въ Александріи, этомъ главномъ центрѣ гностицизма; *великая безсознательность* гностиковъ имѣетъ несомнѣнное сходство съ буддистской нирваной. Изъ того же источника гностики могли заимствовать представленія о тѣлѣ, какъ темницѣ для души, о постепенномъ освобожденіи послѣдней отъ узъ плоти [1]). Изъ Персіи шелъ догматъ о двухъ враждебныхъ началахъ, оспоривающихъ другъ у друга господство надъ міромъ, шло отождествленіе матеріи и зла. Слагаясь изъ са-

[1]) Представленія этого рода встрѣчаются, впрочемъ, уже у Сенеки и Плутарха.

мыхъ разнородныхъ элементовъ, гностицизмъ мечталъ о сліяніи религіи съ философіей, догматовъ съ идеями. Подобно гегелевской философіи, онъ хотѣлъ все понять и все объяснить, усвоить себѣ религіозное міросозерцаніе, вознесясь надъ нимъ, какъ цѣлое надъ частью. Вліяніе гностицизма отразилось и на тѣхъ, которые его отвергали, которые съ нимъ боролись, подобно тому, какъ гегеліанизмъ наложилъ свою печать на современное ему протестантское и даже католическое богословіе.

Весьма любопытно указаніе Ренана на одну черту, сближавшую во II-мъ вѣкѣ эпикурейцевъ съ христіанами и позволявшую большинству соединять тѣхъ и другихъ подъ однимъ общимъ именемъ невѣрующихъ атеистовъ. Эта черта—одинаково отрицательное отношеніе христіанъ и эпикурейцевъ къ внѣшней сторонѣ язычества, къ его обрядамъ, пророчествамъ, чудесамъ, къ его кудесникамъ и оракуламъ. Источники такого отношенія были совершенно различны, но толпа судитъ по наружнымъ результатамъ,—и вотъ почему она часто требовала въ одномъ и томъ же крикѣ казни христіанъ и эпикурейцевъ. Когда одинъ изъ многочисленныхъ шарлатановъ того времени начинаетъ встрѣчать недовѣріе къ его магической силѣ, онъ приписываетъ это вліянію обѣихъ сектъ, враждебныхъ языческому мистицизму, и старается возбудить противъ нихъ народныя страсти, тотчасъ же откликающіяся на его призывъ избіеніемъ *атеистовъ*. Приступая къ совершенію своихъ таинствъ, онъ каждый разъ восклицаетъ: „христіане, прочь отсюда!“—а толпа вторитъ ему такимъ же обращеніемъ къ эпикурейцамъ. Всего болѣе ожесточена противъ христіанъ и эпикурейцевъ была чернь большихъ городовъ; это замѣтно и по отзывамъ о ней христіанскихъ писателей. Оправдывая свое ученіе, апологеты II-го вѣка никогда не апеллируютъ къ народу; они хотятъ имѣть дѣло только съ властями. Сближеніе церкви съ правительствомъ, совершившееся два вѣка спустя, предчувствуется уже во времена Адріана и Антонина.

Склонность Ренана къ параллелямъ между прошедшимъ и настоящимъ вовлекаетъ его въ ошибки, когда параллель предпринимается съ дидактическою цѣлью; но въ другихъ случаяхъ она помогаетъ ему находить реальныя аналогіи, весьма важныя для правильнаго освѣщенія отдаленныхъ событій. Таково, напримѣръ, сходство, подмѣченное Ренаномъ между Ліономъ нашего времени и Ліономъ II-го вѣка. Въ исторіи основанія ліонской церкви и распространенія въ ней гностицизма онъ видитъ всѣ отличительныя черты современнаго ліонскаго характера — горячность, пылкое воображеніе, вкусъ къ нераціональному, потребность въ сверхъестественномъ, глубокій мистицизмъ съ чувственнымъ оттѣнкомъ. Подвиги самоотверженія,

на такой почвѣ, могли идти рука объ руку съ увлеченіями совершенно другого рода. Галлюцинаціи, о которыхъ повѣствуетъ ранняя исторія Ліона, становятся понятными, если принять въ соображеніе, что въ прошедшемъ вѣкѣ тамъ былъ построенъ храмъ въ честь Каліостра, а въ наше время Ліонъ служилъ однимъ изъ главныхъ очаговъ спиритизма.

V.

Berthold Auerbach: Der Forstmeister. Berlin, 1879.

Новый романъ Ауэрбаха не опровергаетъ, къ сожалѣнію, высказаннаго нами недавно мнѣнія объ упадкѣ его таланта. Онъ написанъ безъ большихъ претензій, герои и героини его не такъ докучливо совершенны, какъ Вальдфридъ съ женою или Эрихъ Дурнэ съ матерью; но характеры главныхъ дѣйствующихъ лицъ нарисованы блѣдно, шаблонно, современное положеніе Германіи едва отражается въ картинѣ, предметъ которой, съ самыми небольшими измѣненіями, могъ бы быть отнесенъ на нѣсколько десятилѣтій назадъ. Всего меньше удались автору лица, которымъ онъ всего больше сочувствовалъ: самъ лѣсничій Іорисъ, стертый экземпляръ давно извѣстнаго типа, дюжинный представитель обыкновенныхъ нѣмецкихъ добродѣтелей—честности, твердости, прямоты, ein biederer Deutscher съ головы до ногъ; бывшій ученикъ его Руландъ, соединяющій съ этими добродѣтелями неотразимую власть надъ женскими сердцами; дочь Іориса, Карла, съ единственнымъ недостаткомъ которой мы еще будемъ имѣть случай познакомиться. Болѣе живымъ вышелъ Готтгольдъ, молодой протестантскій проповѣдникъ, къ догматическимъ вопросамъ относящійся такъ же широко и свободно, какъ пасторы добраго стараго времени (т.-е. начала нынѣшняго столѣтія, эпохи господства раціонализма), но лишенный ихъ житейской мудрости, ихъ теплаго, простого отношенія къ радостямъ жизни. Вѣрный слуга лѣсничаго, Мангольдъ—точная копія съ вѣрнаго слуги Ротфуса въ „Вальдфридѣ". Всего интереснѣе для насъ Шаллеръ, въ лицѣ котораго Ауэрбахъ хотѣлъ изобразить современнаго нѣмецкаго нигилиста. Очень можетъ быть, что такая разновидность этого типа дѣйствительно существуетъ, но нельзя не пожалѣть, что изъ всѣхъ оттѣнковъ нигилизма Ауэрбахъ выбралъ наименѣе крупный. Шаллеръ — разорившійся сынъ богатаго отца, неглупый отъ природы, но не пріучившій себя къ труду, озлобленный противъ всѣхъ и всего мелкой злобой неудачника. Ненависть его сосредоточивается преимущественно на Руландѣ, за

то, что онъ счастливъ, за то, что его всѣ любятъ и уважаютъ; онъ грозитъ ему смертью и попадаетъ за это на годъ въ тюрьму. Возвратясь на свободу, онъ мститъ Руланду анонимнымъ письмомъ, наполненнымъ самой низкой клеветою. Руландъ пріѣзжаетъ изъ Америки въ Германію нарочно для того, чтобы розыскать автора этого письма. Онъ узнаетъ, что оно написано Шаллеромъ, но узнаетъ это тогда, когда первый порывъ гнѣва уже улегся; Шаллеръ также, повидимому, настраивается болѣе миролюбиво—но вдругъ, безъ всякой причины, стрѣляетъ въ Руланда, который, защищаясь, убиваетъ Шаллера. Въ дѣйствіяхъ Шаллера не оказывается, такимъ образомъ, признаковъ внутренней силы, которую, какъ мы сейчасъ увидимъ, хотѣлъ вложить въ него Ауэрбахъ. Искать этой силы въ рѣчахъ Шаллера было бы столь же напрасно. Его философскій и политическій радикализмъ не идетъ дальше болтовни, дальше хвастовства отрицаніемъ. Его любимая тэма—тщета и безцѣльность всякой человѣческой дѣятельности, въ виду предѣла, положеннаго всему земному. „Что бы мы ни дѣлали", говоритъ онъ, „земля все равно обратится въ макулатуру... Не смѣшно ли трудиться надъ посадкой лѣса? Земной шаръ все-равно замерзнетъ, все-равно покроется ледниками... Міръ вышелъ изъ рукъ неумѣлаго работника; жизнь не стоитъ того, чтобы быть прожитою... Вонъ тамъ, на верху (показывая на луну), плаваетъ наша будущность; такой же выгорѣвшей свѣчкой будетъ и наша планета... Я нашелъ законъ тяготѣнія въ такъ-называемомъ нравственномъ мірѣ, или лучше сказать — мѣрку, которою можетъ быть измѣряема человѣческая свобода: чѣмъ больше число людей, къ мнѣнію которыхъ ты равнодушенъ, тѣмъ ближе ты къ свободѣ. Говорятъ о любви и о трудѣ, какъ о высшемъ счастьѣ на землѣ; на самомъ дѣлѣ существуетъ только скука и страданіе. Человѣкъ притворяется любящимъ, чтобы забыть о скукѣ, притворяется находящимъ наслажденіе въ работѣ, чтобы заглушить страданіе. Ненависть гораздо плодотворнѣе любви; свободу даетъ только презрѣніе". Есть-ли въ этихъ фразахъ хоть что-нибудь оправдывающее мысль, которую онѣ внушаютъ Готтгольду, или, лучше сказать, самому Ауэрбаху: „что за громадная мощь должна была прежде таиться въ этой лунѣ, что за вулканическія изверженія должны были предшествовать образованію этой лавы?" Шаллеръ называетъ себя какъ-то пессимистомъ; и дѣйствительно, мы видимъ въ немъ не что иное, какъ заурядnаго запоздалаго пессимиста, повторяющаго, не совсѣмъ даже на новый ладъ, старые мотивы байроновскаго презрѣнія къ людямъ. Легкая примѣсь современныхъ естественно-научныхъ знаній, вмѣстѣ съ двумя-тремя незнакомыми прежде кличками (нигилистъ, анархистъ), недостаточна для созданія свѣжаго типа изъ давно находящихся въ обращеніи

матеріаловъ. Сообщница Шаллера въ его подземной борьбѣ противъ Руланда, — Эмми Штумпфъ, — лучше удалась Ауэрбаху; это Белла Пранкенъ (въ „Дачѣ на Рейнѣ"), перенесенная въ буржуазную среду и сведенная къ миніатюрнымъ размѣрамъ.

Интересовъ дня Ауэрбахъ въ своемъ новомъ романѣ касается рѣдко и мимоходомъ; подробно разработываются въ немъ двѣ темы— необходимость лѣсоохраненія и неумѣстность для женщины такихъ мужественныхъ занятій, какъ стрѣльба и охота. Карла Іорисъ, дочь лѣсничаго и страстнаго охотника, мастерски стрѣляетъ въ цѣль, удостоивается перваго приза на состязаніи стрѣлковъ, получаетъ билетъ на право охоты и настойчиво охраняетъ свое любимое занятіе противъ нападеній прекраснодушнаго Готтгольда. Чего не могли достигнуть увѣщанія и упреки пастора, то дѣлается само собою, какъ только Карла начинаетъ любить Руланда, и, слѣдовательно, чувствовать себя женщиной. Видъ первой подстрѣленной ею послѣ того птицы заставляетъ ее навсегда отказаться отъ употребленія оружія— и съ этой минуты она становится безупречной, какъ настоящая ауэрбаховская героиня. Итакъ, охотиться ли женщинѣ или не охотиться— вотъ важный вопросъ, выдвигаемый Ауэрбахомъ на первый планъ не въ легкомъ, короткомъ разсказѣ, а въ большомъ романѣ. Читая его, можно подумать, что въ Германіи господствуетъ теперь идиллическая тишина, позволяющая останавливаться сколько угодно на мелочахъ жизни. Кто свернулъ такъ далеко въ сторону отъ большой дороги вѣка, тому едва-ли суждено возвратиться въ міръ идей, отразившихся въ „Auf der Höhe" и „Деревенскихъ разсказахъ".—К. К.

— *Портретная Галерея* русскихъ литераторовъ, ученыхъ и артистовъ, съ біографіями и факсимиле. Изд. Константина Шапиро. Выпускъ 1-ый. Спб. 1880.

Въ концѣ прошедшаго года петербургскій фотографъ г. Шапиро издалъ первый опытъ задуманнаго имъ предпріятія, въ которомъ до нѣкоторой степени соединяются артистическія цѣли съ біографическими. Судя по первому выпуску, нельзя не сказать, что издатель въ отношеніи артистическомъ выполнилъ свое дѣло превосходно, и благодаря весьма значительному размѣру портретовъ, почти въ половину натуральной величины головы, мы имѣемъ теперь предъ собою изображеніе каждаго лица въ весьма ясныхъ чертахъ, съ опредѣленнымъ выраженіемъ взгляда. Присоединенная къ каждому портрету біографія, на русскомъ и французскомъ языкахъ, несмотря на свою краткость, касается всѣхъ главнѣйшихъ фактовъ литературной жизни автора и представляетъ, кромѣ того, то достоинство, что текстъ ея былъ просмотрѣнъ и провѣренъ самими авторами, по принадлеж-

ности. Первый выпускъ заключаетъ въ себѣ еще особый интересъ по его составу: въ немъ сгруппированы наши первоклассные писатели, вышедшіе одновременно изъ эпохи сороковыхъ годовъ: 1) *Гончаровъ;* 2) *Достоевскій;* 3) *Некрасовъ;* 4) *Салтыковъ* (Щедринъ), и 5) *Тургеневъ.*

Изданіе г-на Шапиро можно смѣло поставить рядомъ съ извѣстнымъ, подобнымъ же изданіемъ Л. Баше: „Galerie contemporaine littéraire et artistique", гдѣ къ фотографіямъ Гупиля (въ половину величины, сравнительно съ фотографіями г. Шапиро) присоединены также факсимиле изъ рукописей авторовъ и краткая ихъ біографія со спискомъ сочиненій. Конечно, различіе условій дѣятельности издателя нашего и французскаго, имѣющаго для сбыта своей работы всемірный рынокъ, дало возможность Баше пустить свое изданіе весьма дешево—для Франціи (1 фр. 25 снт.—каждый портретъ), гдѣ подобныя вещи расходятся во многихъ тысячахъ экземпляровъ; но тамъ, гдѣ, какъ у насъ, издатель не можетъ рисковать далѣе нѣсколькихъ сотъ экземпляровъ, приходится удивляться и той дешевизнѣ, съ какою г. Шапиро пустилъ въ обращеніе свое изданіе: каждый портретъ обходится не дороже 1 рубля, вмѣстѣ съ біографіею,—и все-таки нельзя сказать, чтобы издатель не нуждался въ пожеланіяхъ ему успѣха, котораго онъ, впрочемъ, вполнѣ заслуживаетъ.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е февраля, 1880.

Процессъ Ревенскихъ, и его окончательное рѣшеніе. — Общіе вопросы изъ области наслѣдственнаго права въ Россіи. — Новѣйшая реформа закона о наслѣдствѣ въ Финляндіи, и ея главныя черты.—Кто такое «мы» въ «Надеждахъ и разочарованіяхъ», проф. А. Д. Градовскаго?—Толки и слухи о необходимости централизаціи у насъ школьнаго дѣла. — Пріютъ малолѣтнихъ преступниковъ въ Саратовѣ, и общіе результаты его дѣятельности.—Бюджетъ города Петербурга и его существенныя данныя.

Намъ не было ни мѣста, ни времени, въ послѣднемъ „Обозрѣніи“ коснуться одного весьма любопытнаго процесса, который вовсе не обратилъ, да едва ли и обратитъ на себя вниманіе общества; это одно должно уже предупредить читателя, что мы намѣрены говорить, конечно, не о процессѣ г. Баранова. Начнемъ же нынѣшній разъ съ того, чѣмъ не успѣли кончить въ послѣдній разъ,—но за то позволимъ себѣ теперь не только коснуться отложеннаго нами вопроса, но и остановимся на немъ нѣсколько долѣе.

Въ самомъ концѣ прошедшаго года закончилось весьма скромное, по безвѣстности дѣйствующихъ лицъ, дѣло, и, можетъ быть, весьма ничтожное и по суммѣ матеріальныхъ интересовъ, какую оно представляло; а началось это дѣло лѣтъ шесть тому назадъ, въ теченіе этого времени оно успѣло пройти всѣ до одной судебной инстанціи, и наконецъ, въ декабрѣ получило окончательное разрѣшеніе, имѣющее послужить на будущія времена основаніемъ для устраненія всякихъ недоумѣній, какія могли бы возникать въ аналогическихъ случаяхъ. Но это разрѣшеніе, вполнѣ справедливое само по себѣ, не устраняетъ однако нѣкоторыхъ общихъ соображеній законодательнаго и государственнаго характера,—вотъ почему мы такъ желали познакомить съ этимъ дѣломъ нашихъ читателей. Мы скажемъ, конечно, очень немного, если назовемъ это дѣло „про-

цессомъ Ревенскихъ". При томъ интересѣ, который въ послѣднее время развился въ нашемъ обществѣ къ громкимъ „процессамъ", дѣйствительно, никогда не предстояло надобности излагать подробности дѣла; если бы мы, напримѣръ, захотѣли сказать еще нѣчто по поводу процесса Юханцева или тому подобнаго, никто не задалъ бы намъ вопроса: что это за процессъ?—но въ настоящемъ случаѣ, будетъ мало удивительнаго, если не одинъ изъ нашихъ читателей, а еще менѣе—читательницъ, если бы таковыя оказались (хотя для нихъ этотъ процессъ особенно интересенъ),—обратится къ намъ съ недоумѣніемъ и сознается, что ему извѣстны наизусть всѣ хорошіе процессы, но онъ ничего не слыхалъ о процессѣ Ревенскихъ. Да и мудрено было слышать что-нибудь о немъ: никакого скандала, интересы, вѣроятно, грошовые, дѣйствіе происходитъ гдѣ-то въ глуши, въ провинціи; поговорили объ этомъ дѣлѣ сосѣди верстъ на 10, не болѣе, вокругъ, а теперь и тѣ, конечно, забыли о немъ, среди своихъ мелкихъ, хозяйственныхъ заботъ и нуждъ. Между тѣмъ, это ничтожное дѣло представляетъ не малую важность, и вовсе не съ философской точки зрѣнія, въ силу которой нѣтъ ничего на свѣтѣ неважнаго, особенно если все разсматривать какъ возможную причину или возможное послѣдствіе, если разсуждать въ силу мудрой народной пословицы: „отъ сальной свѣчки Москва сгорѣла"; нѣтъ, важность этого дѣла имѣетъ для себя чисто-практическое и историческое основаніе, и представляетъ, смѣемъ сказать, интересъ несравненно бо́льшій, чѣмъ всѣ вмѣстѣ взятые скандальные процессы.

Начать съ того, что въ процессѣ Ревенскихъ должна быть заинтересована, на основаніи извѣстнаго статистическаго закона, съ небольшимъ половина населенія всей Россіи, и именно та, которую, изъ любезности, вездѣ признаютъ „лучшею половиною", что́, однако, нисколько не мѣшаетъ этой „лучшей половинѣ" быть, какъ мы увидимъ ниже, далеко не въ лучшемъ положеніи,—и вотъ именно эту-то истину и поставляетъ на видъ упомянутый нами процессъ Ревенскихъ, съ своимъ окончательнымъ заключеніемъ. Всякій согласится, что заинтересовать собою цѣлую „половину населенія Россіи", и притомъ „лучшую" — это не бездѣлица; тутъ есть достаточная рекомендація для процесса этихъ Ревенскихъ, и право его на общее вниманіе, независимо отъ отсутствія какого бы то ни было скандала,—несомнѣнно.

Наше законодательство можетъ гордиться, и весьма справедливо, тѣмъ, что оно во многихъ отношеніяхъ поставило женщину—какъ существо гражданскиравноправное съ мужчиною, а въ отдѣльныхъ своихъ положеніяхъ дѣйствительно опередило законодательства многихъ другихъ передовыхъ по образованію народовъ. Жена въ Россіи,

по имущественному положенію, стоитъ несравненно выгоднѣе, чѣмъ жена во Франціи, и, напримѣръ, въ извѣстномъ процессѣ маркиза Ко съ его женою (Патти) истецъ не нашелъ бы въ нашемъ законодательствѣ такихъ удобствъ для себя, какъ во Франціи. Изъ этого прямо слѣдуетъ, что если бы и оказались въ нашемъ законодательствѣ въ отношеніи женщины нѣкоторые пробѣлы, то тѣмъ не менѣе самый духъ законодательства въ этомъ спеціальномъ вопросѣ долженъ быть опредѣляемъ не тѣмъ, что еще въ немъ не сдѣлано, но тѣмъ, что имъ уже совершено въ послѣднее время. А въ такомъ случаѣ, мы обязаны признать, что духъ нашего новѣйшаго законодательства постоянно стремился къ установленію гражданской правомѣрности между обоими полами, и уже нерѣдко находилъ себѣ осуществленіе въ смыслѣ полнѣйшаго безпристрастія. Вотъ и второе, серьёзное основаніе, дающее намъ право обратить вниманіе на процессъ Ревенскихъ, какъ бы онъ ни былъ ничтоженъ по себѣ: въ немъ, при всемъ его ничтожествѣ, не могло не отразиться общее положеніе у насъ вопроса о гражданскихъ правахъ женщины, какъ солнце, по выраженію поэта, можетъ отражаться „въ малой каплѣ водъ“.

Въ чемъ же состоитъ сущность всего этого незатѣйливаго дѣла Ревенскихъ? Въ началѣ 70-хъ годовъ, гдѣ-то въ западномъ краѣ умерла бездѣтно дворянка Петронелла Езерская, урожденная Ревенская. Ближайшимъ ея родственникомъ былъ единственный братъ ея, Осипъ Ревенскій, а такъ какъ нисходящихъ наслѣдниковъ покойная, будучи бездѣтною, не оставила, то ея имущество, по ст. 1135, должно было бы перейти прежде всего въ боковую линію мужескаго пола, а въ настоящемъ случаѣ, къ ея единственному брату Осипу; сестеръ у нея не было, да если бы онѣ и были, то, въ силу той же статьи, гласящей: „въ боковыхъ линіяхъ сестры при братьяхъ родныхъ и ихъ потомкахъ обоего пола не имѣютъ права на наслѣдство“,—не могло бы возникнуть никакого спора о наслѣдствѣ. Но это простое дѣло усложнилось, еще при жизни сестры, именно смертью ея брата Осипа Ревенскаго, и породило процессъ между членами уже его семьи,—процессъ, очевидно, сложный, если въ теченіи 6 лѣтъ различныя судебныя инстанціи высказывались по его поводу самымъ различнымъ образомъ—и прямо противоположнымъ.

Осипъ Ревенскій былъ два раза женатъ, но затрудненія явились вовсе не съ этой стороны: 1) отъ перваго брака у него родился сынъ Болеславъ; 2) отъ второго брака—дочь Петронелла. Изъ этихъ двухъ единокровныхъ дѣтей Осипа Ревенскаго, въ моментъ смерти ихъ тётки Петронеллы Езерской, была въ живыхъ только вторая жена Осипа Ревенскаго, вдова Марія, и ея дочь Петронелла; Болеславъ Ревенскій, ея мужъ, умеръ прежде тётки, оставивъ послѣ себя вдову

сына Фаустину и двухъ ихъ дочерей: Марію и Антонину. Если отнести Петронеллу Ревенскую къ боковой линіи, то, по ст. 1135, она не имѣетъ правъ на наслѣдство, такъ какъ у нея былъ братъ Болеславъ, а за его смертью, по праву представленія, являются настоящими наслѣдниками его двѣ дочери; но если принять въ соображеніе, что дѣти Осипа были не непосредственными наслѣдниками своей тётки, а по праву представленія, чрезъ ихъ покойнаго отца, то они могутъ быть разсматриваемы не какъ наслѣдники въ боковой линіи (гдѣ имъ угрожаетъ встрѣча съ ст. 1135), а какъ наслѣдники въ линіи нисходящей; въ такомъ же случаѣ они будутъ имѣть дѣло съ болѣе гуманной статьей, въ силу которой и женщины, при живыхъ братьяхъ, не лишаются наслѣдства вполнѣ, а получаютъ $^1/_{14}$ изъ недвижимаго и $^1/_8$ изъ движимаго наслѣдственнаго по закону имѣнія. Вотъ что и дало матеріалъ для процесса: дочь Осипа Ревенскаго можно отнести къ боковой линіи—и тогда предъ нами возстаетъ угрожающая ей ст. 1135; но ее можно отнести къ нисходящему потомству—и тогда выступитъ въ ея пользу статья 1130. Въ теченіи всего процесса различныя инстанціи колебались между этими двумя противоположными положеніями: одни признавали право Петронеллы Ревенской на наслѣдство, въ силу 1130 ст.; другіе отрицали—по силу 1135 статьи. Дѣло кончилось тѣмъ, что рѣшеніе отрицавшихъ права Петронеллы Ревенской вошло въ силу, а противоположное ему рѣшеніе было отмѣнено.

Какъ видно изъ нашего краткаго изложенія дѣла, тутъ есть прежде всего весьма тонкій юридическій вопросъ, который и могъ вызвать потому на различныхъ ступеняхъ судебной практики противоположныя рѣшенія. Не будучи спеціалистами, мы не имѣемъ никакой возможности позволить себѣ углубляться въ юридическія тонкости, на основаніи которыхъ одно рѣшеніе восторжествовало надъ другимъ. Но не нужно быть юристомъ, чтобы замѣтить тутъ одно очень простое обстоятельство, а именно, что окончательное рѣшеніе, въ виду двухъ противоположныхъ опредѣленій, могло состояться, конечно, не потому, что двѣ вышеупомянутыя статьи не оставляли никакого сомнѣнія въ примѣненіи ихъ по этому дѣлу, но главнымъ образомъ на основаніи всей исторіи русскаго наслѣдственнаго права, и тѣхъ понятій, какія издревле выработаны древне-русскимъ правомъ. Между тѣмъ, каждому извѣстно, что древне-русское наслѣдственное право, имѣя въ свое время для себя историческіе мотивы, очень мало гармонируетъ съ духомъ болѣе мягкаго и справедливаго современнаго русскаго законодательства по вопросу о гражданскихъ правахъ женщины. Если подняться ко временамъ Ярослава и тамъ почерпать основы для рѣшенія современныхъ вопросовъ, то, конечно,

окажется, что въ ту эпоху женскій полъ вовсе не имѣлъ наслѣдственныхъ правъ; по Русской Правдѣ, братья выдавали замужъ сестру съ приданымъ, какое вздумается имъ дать; замужнимъ ничего не давалось, и при отсутствіи сыновей, имѣніе смерда наслѣдовалъ князь. Въ XV и XVI столѣтіи, въ эпоху „Судебниковъ", дочери являлись наслѣдницами только въ случаѣ, если у нихъ совсѣмъ не было братьевъ. Даже при Алексѣѣ Михайловичѣ, двѣсти лѣтъ тому назадъ, вотчины отдавались сыновьямъ, а дочерямъ жеребьевъ изъ вотчины не давалось, пока братья ихъ живы; имъ удѣлялись участки на прожитокъ, по указу. Только въ 1731 году, въ противность всему предыдущему историческому ходу русскаго законодательства о наслѣдственномъ правѣ, указомъ 17-го марта опредѣлено, чтобы дочь, при живыхъ братьяхъ, получала изъ недвижимаго $^1/_{14}$, а изъ движимаго $^1/_8$ часть. Тѣ, которые стоятъ въ вопросахъ законодательныхъ за необходимость держаться исторической почвы, должны признать этотъ указъ цѣлымъ переворотомъ, такъ какъ имъ, хотя и не вполнѣ, но все же окончательно утверждалось то, что до того времени почти абсолютно отрицалось. Въ старину женщина вовсе не получала наслѣдства, въ силу своего права, а ей выдавалось „на прожитокъ", почти какъ милость; съ этого же времени она, хотя и не въ равной долѣ, но тѣмъ не менѣе уже признавалась, заодно съ сыновьями, наслѣдницею родителей. Съ 1731 года, древнее безусловное отверженіе наслѣдственныхъ правъ женщины, хотя и по нисходящей линіи, было до нѣкоторой степени потрасено и замѣнено если не уравненіемъ, то пока однимъ предпочтеніемъ сыновей предъ дочерьми. Можно ли изъ этого сдѣлать правильно такой логическій выводъ: если новѣйшее русское законодательство *отдаетъ въ нисходящей линіи предпочтеніе* сыновьямъ предъ дочерьми, то изъ этого слѣдуетъ, что и въ боковыхъ линіяхъ сестры при братьяхъ вовсе *не имѣютъ* права на наслѣдство. Это было бы нѣкоторымъ софизмомъ, такъ какъ правильно можно вывести только прямо обратное, т.-е. что и въ боковыхъ линіяхъ сестры не получаютъ наслѣдства на-равнѣ съ братьями, а только уступаютъ бо́льшую долю братьямъ.

Но оставимъ юристамъ доводить этотъ споръ до того или до другого конца. Насъ занимаетъ въ этомъ вопросѣ совсѣмъ не юридическая его сторона, а—историческая и бытовая. Въ то время, какъ общій духъ нашего законодательства направлялся въ послѣднее время къ установленію болѣе или менѣе справедливыхъ, а потому и гуманныхъ отношеній къ вопросу объ уравненіи гражданской равноправности обоихъ половъ,—спеціальный вопросъ о наслѣдственныхъ правахъ женщины остался, дѣйствительно, болѣе вѣренъ временамъ „Русской Правды" и послѣдовавшимъ за нею указамъ, когда и въ Россіи, и

на западѣ Европы, этотъ вопросъ рѣшался соотвѣтственно тогдашнимъ понятіямъ и практическимъ нуждамъ общества, едва выходившаго изъ варварскаго состоянія: салическій законъ франковъ былъ необходимъ и понятенъ въ свое время, когда собственность приходилось защищать не хартіями, а мечомъ, и для сюзерена было бы опасно, если бы во главѣ всѣхъ феодовъ, по праву наслѣдства, очутились женщины. Нашъ законъ о наслѣдствѣ въ боковыхъ линіяхъ (т. X, ст. 1135), въ силу котораго, „сестры при братьяхъ родныхъ и ихъ потомкахъ обоего пола не имѣютъ права на наслѣдство“,— болѣе согласуется съ понятіями XII—XIV вѣковъ, нежели съ тѣмъ общимъ гуманнымъ направленіемъ, какое приняло наше новѣйшее законодательство въ этомъ спеціальномъ вопросѣ. Нельзя кстати не замѣтить, что этотъ законъ, которымъ у насъ при братѣ вовсе устраняются сестры отъ всякаго участія въ наслѣдствѣ въ боковыхъ линіяхъ,—давно уже встрѣчаетъ себѣ противодѣйствіе въ современныхъ общественныхъ нравахъ,—и нерѣдки случаи, когда въ семействѣ такой законъ не соблюдается по собственному желанію братьевъ, испытывающихъ неловкое чувство при мысли о пользованіи своею привилегіею, основанною на ихъ полѣ, и безъ того болѣе сильномъ и потому менѣе нуждающемся въ даровыхъ матеріальныхъ выгодахъ. Но нельзя не признать, что эти исключенія носятъ на себѣ воленеволею характеръ милости, дѣлаютъ напрасную честь дающему и обязываютъ лишнею благодарностью принимающаго даръ, а не слѣдующее ему по закону. Самое дѣло Ревенскихъ доказываетъ, что и сама судебная практика, въ виду неумолимости закона о боковыхъ линіяхъ, хотѣла воспользоваться въ данномъ случаѣ возможностью склониться къ такому разъясненію закона, который смягчалъ бы его строгость и давалъ сестрѣ, не только при братѣ, но и при потомствѣ его брата, хотя бы нѣкоторую, весьма незначительную долю наслѣдства: одна изъ судебныхъ инстанцій рѣшила дѣло Ревенскихъ въ пользу правъ сестры на наслѣдство, при живыхъ дѣтяхъ ея умершаго брата. Но такое рѣшеніе, если бы оно и состоялось,—было бы только результатомъ толкованія и не могло бы распространиться на сестеръ, какъ на боковыя линіи — при живыхъ братьяхъ,— оно осталось бы только историческимъ свидѣтельствомъ того, что въ наше время дѣлались усилія, гдѣ возможно, смягчить строгость прямого закона.

Все это, какъ нельзя лучше, доказываетъ настоятельную необходимость пересмотра у насъ законодательнымъ путемъ вопроса о наслѣдствѣ въ нисходящихъ и въ боковыхъ линіяхъ. Если намъ скажутъ, что такіе „вѣковые“ законы, какъ законы о наслѣдствѣ, не мо-

гутъ быть разрѣшаемы быстро въ радикально-противоположномъ смыслѣ, что въ западной Европѣ нужны были потрясенія всего государственнаго организма, чтобы измѣнить вѣковѣчныя основы семейной жизни, то на это мы возразимъ примѣромъ страны, не только близкой къ намъ, отстоящей отъ насъ на какіе-нибудь десятки верстъ, но и соединенной съ нами подъ одною верховною властью. Не далѣе, какъ полтора года тому назадъ, 15 (27) іюля 1878 г., въ Финляндіи состоялось „Высочайшее Его Императорскаго Величества Постановленіе", распубликованное въ церквахъ, объ измѣненіяхъ въ нѣкоторыхъ частяхъ установленныхъ въ законѣ правилъ о предбрачномъ дарѣ, брачномъ правѣ, а также о правѣ наслѣдованія (см. „Сборникъ постановленій В. К. Финляндскаго", 1878 г. № 18). Безъ всякихъ потрясеній въ государственномъ организмѣ, новое постановленіе утверждаетъ слѣдующій законъ (II отд. о наслѣд. гл. II, § 1): „По смерти отца или матери, въ наслѣдство вступаютъ дѣти умершаго, причемъ *сыновья и дочери дѣлятъ оное между собою по равнымъ частямъ*";—и далѣе (гл. III, § 916): „*Мужчины и женщины наслѣдуютъ по-ровну;* и не дѣлать никакого различія, изъ какого бы рода ни поступало наслѣдуемое имущество". Во всѣхъ этихъ постановленіяхъ законодатель въ Финляндіи руководился не историческими основами, такъ какъ послѣднія требуютъ одного храненія формы даже и тогда, когда исчезли обстоятельства, обусловливавшія форму,—но духомъ гуманности и справедливости, а постоянное и неуклонное ихъ удовлетвореніе всегда поддерживаетъ и питаетъ въ людяхъ настоящій консерватизмъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слова.

Кстати, мы заговорили о новомъ правѣ наслѣдованія въ Финляндіи, а потому будетъ не лишнимъ вкратцѣ познакомить читателя съ основными его чертами и особенностями. Мы часто ѣздимъ далеко изучать лучшіе порядки, и не имѣемъ понятія о томъ, что дѣлается на такомъ близкомъ разстояніи отъ насъ, что здоровому человѣку не трудно дойти туда пѣшкомъ, употребивъ на такую прогулку не болѣе одного дня—верстъ 30. Кромѣ упомянутаго нами полнѣйшаго уравненія правъ дѣтей, какого бы они ни были пола, и вообще уравненія мужчинъ и женщинъ въ отношеніи права наслѣдованія, этотъ новый законъ (§ 2) вообще отрицаетъ право наслѣдованія для кого бы то ни было, пока въ живыхъ находятся прямые наслѣдники, близкіе ли они или дальніе. Если умеръ сынъ или дочь, безъ нисходящихъ, и родители живы, то наслѣдство обращается къ нимъ; если же нѣтъ въ живыхъ у умершаго ни братьевъ, ни сестеръ, ни ихъ потомка, ни даже родителей, то наслѣдуютъ дѣдъ и бабка, а если нѣтъ и ихъ въ живыхъ—то дяди и тётки умершаго, а въ случаѣ, если и они умерли, то къ наслѣдству призываются

предки умершаго въ третьей степени; за ними слѣдуютъ двоюродные братья и сестры, внучатные дяди и внучатныя тётки, а если бы и они всѣ вымерли, то предки умершаго въ четвертой степени. Только по истощеніи всѣхъ этихъ степеней къ наслѣдству призывается лицо въ ближайшей за тѣмъ степени родства, все равно, по восходящей или по боковой линіи, съ преимуществомъ первой въ случаѣ равенства ея со второю. Боковые наслѣдники равныхъ линій и равныхъ степеней наслѣдуютъ вмѣстѣ. Сводное родство пользуется равными правами наслѣдованія съ прямымъ, но каждый—въ той части, которую получили бы отецъ или мать, съ которыми лицо состоитъ въ родствѣ. Наконецъ, при раздѣлѣ наслѣдства между нѣсколькими линіями одного и того же рода, каждой линіи выдѣлять поровну.

Вотъ и весь отдѣлъ о наслѣдствѣ, состоящій изъ двухъ главъ, подраздѣленныхъ всего на 18 параграфовъ. Вообще, финляндскіе законы отличаются краткостью и полнѣйшею ясностью; это обстоятельство не только дѣлаетъ обязательнымъ для каждаго не отговариваться незнаніемъ закона, но и дѣломъ, не особенно труднымъ, знать важнѣйшіе законы своей страны. Публикація закона въ церквахъ увеличиваетъ и вмѣстѣ облегчаетъ въ обществѣ распространенность необходимости для каждаго знать свои права и обязанности, изъ которыхъ первыя ничѣмъ не нарушимы, но за то вторыя—неуклонны и неизбѣжны, какъ смерть.

Въ такихъ странахъ, какъ Финляндія, печать, вѣроятно, встрѣчала, мѣсяцъ тому назадъ, новый годъ безъ такихъ укоризненныхъ выраженій прошедшему году, какъ мы то видѣли въ нашей печати; всѣ вины были возложены у насъ на злополучную цифру *1879*, и отошедшій въ вѣчность годъ не могъ даже воспользоваться привилегіею покойныхъ, о которыхъ предписывается говорить: nil, nisi bene. Впрочемъ, все это, конечно, было наговорено нами въ назиданіе его преемнику, 1880-му году, чтобы онъ впередъ зналъ, что его можетъ ожидать за гробомъ, притомъ послѣ 366-ти предназначенныхъ ему дней.

Среди всѣхъ этихъ сѣтованій мы встрѣтили, въ январьской книгѣ журнала „Русская Рѣчь“, съ особеннымъ любопытствомъ, цѣлую статью проф. А. Д. Градовскаго, въ которой такъ много говорило уже самое ея заглавіе: „Надежды и разочарованія“, эти неразлучные близнецы русской жизни, и въ обществѣ, и даже—въ самой печати: гдѣ не случается у насъ начинать съ „надеждами“, а кончать—„разочарованіями“. Если же и въ печати мы не мало грѣшимъ тѣмъ же колебаніемъ между надеждою и разочарованіемъ, то едва ли намъ слѣдуетъ корить общество въ подобномъ же недостаткѣ и приглашать

его раскаяваться въ томъ, чѣмъ довольно усердно—и иногда даже безъ особой нужди—грѣшимъ мы сами.

Содержаніе статьи почтеннаго профессора, предполагаемъ, достаточно уже извѣстно, чтобы мы повторяли его; эрудиція, опытъ, добытый имъ въ основательномъ и многолѣтнемъ изученіи политическихъ наукъ и всего, что входитъ въ ихъ сферу — все это естественнымъ образомъ должно отражаться на всемъ, что выходитъ изъ подъ его пера. Объ всемъ этомъ излишне потому и говорить; мы сами, зная качества автора, искали въ его статьѣ не новыхъ доказательствъ этихъ качествъ, а питали, главнымъ образомъ, надежду на то, что мы получимъ отъ него, по возможности, отвѣтъ: что же дѣлать обществу, если, оказывается, оно не должно предаваться такому пустому занятію, какъ возложеніе надеждъ, ибо за нимъ всегда неизбѣжно слѣдуетъ разочарованіе? Можно ли считать удовлетворительнымъ провозглашеніе, напримѣръ, одной такой истины, что надежда на завтрашній обѣдъ сама по себѣ не обезпечиваетъ дѣйствительнаго обѣда? — или кого-нибудь утѣшать соображеніемъ, что онъ сегодня останется безъ обѣда, потому-что вчера ничего другого не дѣлалъ, какъ съ утра до вечера надѣялся? Но почему же человѣкъ надѣялся, были же какія-нибудь причины тому, что онъ предавался такому неблагоразумному, повидимому, занятію, какъ возложеніе надеждъ? Вотъ что, надѣялись мы, объяснитъ намъ, конечно, по мѣрѣ возможности, почтенный авторъ „Надеждъ и разочарованій“,—но прочли, между тѣмъ, слѣдующее:

„Наше заблужденіе и самообольщеніе (обыкновенный результатъ несбыточныхъ надеждъ), по словамъ г. Градовскаго, даже въ теченіи всей послѣдней четверти нашего вѣка (1875—1880 г.), состояли именно въ томъ, что *мы* полагали, будто всякая связь наша съ отцами порвана, вмѣстѣ съ отмѣною разныхъ учрежденій и съ замѣною ихъ новыми. *Мы* полагали, что съ отмѣною крѣпостного права исчезъ изъ русской земли и крѣпостническій духъ, заражавшій въ свое время всѣ отношенія и учрежденія всякихъ порядковъ и разрядовъ; *мы* полагали, что новыя внѣшнія формы учрежденій выбьютъ старый приказный духъ, воспитанный и вскормленный вѣками; читая въ газетахъ „новыя слова“, *мы* полагали, что они дѣйствительно суть выраженіе новой общественной психики (если можно такъ выразиться), и что „общество“ дѣйствительно такъ думаетъ—такъ будетъ поступать. Полагая, что *мы* возродились и преобразились въ крещеніи отъ реформъ, что мы въ самомъ дѣлѣ новые люди,—*мы забыли о врагѣ* (!?), веселились, ликовали, чаяли новаго неба и новой земли, въ то время, какъ *врагъ* (??) *жилъ въ насъ*, дѣлалъ свое дѣло, и, наконецъ, прорвался наружу. Сѣдая старина грозно взглянула на

насъ своими помертвѣлыми очами. Уйди, ужасный призракъ!—Нѣтъ, не уходи! Ты не призракъ, а дѣйствительность; ты живуча, ты живучѣе нашей новизны. Ты мѣшаешься въ рядъ свѣтлыхъ русалокъ (?) подобно злой вѣдьмѣ, въ хороводѣ майской ночи"—и такъ далѣе, и такъ далѣе, и такъ далѣе.

Если мы не очень ошибаемся, это мѣсто—кульминаціонный пунктъ всей статьи. Переложивъ слова автора въ обыденную прозу, мы получимъ такое заключеніе: во всемъ виновны *мы* сами,—виновны тѣмъ, что *мы* полагали то-то и то-то, и притомъ *мы* забыли о грѣхѣ (о какомъ? пожалуй, о первородномъ! и дѣйствительно, послѣдняя глава у автора посвящена „наслѣдственному пороку"); ко всему этому, *мы* веселились, ликовали и т. п.; мимоходомъ обвинены также, кромѣ этихъ „мы", еще журналы и газеты за употребленіе „новыхъ словъ", введшихъ въ заблужденіе этихъ злосчастныхъ „мы".

Но мы очень склонны опасаться, что болѣе или менѣе отдаленный судъ исторіи, по выслушаніи такого обвинительнаго акта, возьметъ да и оправдаетъ всѣхъ этихъ „мы", какъ за неясностью, кто именно тутъ обвиняется, такъ и по самой сомнительности факта преступленія. Но хуже всего то, что, какъ можетъ оказаться, и самъ обвинитель не долженъ былъ вѣрить въ свое обвиненіе. По его словамъ выходитъ, что вся бѣда вышла отъ того, что „мы полагали" такъ, а не иначе; полагай мы иначе, и пожалуй—„злая вѣдьма" не вмѣшалась бы въ ряды „свѣтлыхъ русалокъ". Г-нъ Градовскій не можетъ не знать, что на тотъ или другой ходъ вещей никакъ не можетъ имѣть вліянія то, какъ мы съ нимъ полагали; мы могли съ нимъ „полагать" какъ угодно, и это нисколько не оградило бы „свѣтлыхъ русалокъ" отъ враждебнаго имъ вмѣшательства посторонней силы. Все это г. Градовскій знаетъ, и тѣмъ не менѣе находитъ удобнымъ обвинять этихъ несчастныхъ „мы", и тѣмъ вводитъ только читателя въ заблужденіе относительно истинной причины разнообразныхъ явленій нашей внутренней жизни. Правда, этотъ публицистическій пріемъ, усиливающій въ насъ и безъ того великую наклонность къ фальши, теперь въ ходу, но очень жаль, что и г. Градовскій пользуется такимъ пріемомъ. Этотъ ложный пріемъ повелъ автора и далѣе по совершенно ложному пути: гдѣ, спросятъ многіе автора, онъ нашелъ, гдѣ онъ видѣлъ, въ послѣдніе годы, чтобы „мы" веселились, ликовали, забывъ при томъ о *нашемъ* грѣхѣ. Свидѣтели этихъ послѣднихъ лѣтъ не могутъ, безъ крайняго недоумѣнія, прочесть подобное обвиненіе ихъ въ избыткѣ веселья и ликованія, между тѣмъ какъ всѣми несомнѣнно испытывались почти противоположныя чувства. Разсуждая такъ, самъ г. Градовскій рискуетъ изъ обвинителя превратиться въ обвиненнаго; его могутъ спросить, да кого онъ именно разумѣетъ

чодъ этими „мы“? Относитъ-ли онъ къ числу этихъ „мы“ самого себя, печать, земство, городскія думы и т. д.—но въ такомъ случаѣ на него посыплятся возраженія со всѣхъ сторонъ: ему докажутъ, что даже и онъ самъ, во многихъ—своихъ прежнихъ статьяхъ, не „полагалъ“, что съ отмѣною крѣпостного права исчезъ и его духъ; вся беллетристика, всѣ наши лучшіе публицисты за это время ничего другого не дѣлали, какъ постоянно указывали на проявленіе этого духа въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: земство и думы вовсе не ликовали, не веселились, а сдѣлали много хорошаго, строили школы, и если построили ихъ менѣе, чѣмъ съ основаніемъ желалъ бы г-нъ Градовскій, то вовсе не потому, что они „полагали“ то или другое, или предавались ликованью. Какимъ же образомъ г. Градовскій обвиняетъ такъ смѣло этихъ „мы“, какъ будто если бы не „мы“, то все бы шло благополучнѣйшимъ образомъ—и только одни „мы“ и помѣшали успѣху. Авторъ обвиняетъ еще газеты и журналы за пущенныя ими въ ходъ „новыя слова“; не говоримъ уже о томъ, что онъ тутъ же самъ пустилъ въ ходъ новое слово: „психика“ (въ чемъ, правда, и извинился),—но, и независимо отъ того, подобныя обвиненія отзываются тѣмъ же вышеупомянутымъ свойствомъ, которое можетъ только подобными указаніями въ сторону отводить глаза читателя отъ размышленія о настоящихъ причинахъ, какъ будто въ самомъ дѣлѣ вся бѣда въ томъ, что газеты и журналы употребляли „новыя слова“, а читатель, по извѣстной г-ну Градовскому ограниченности, попался на нихъ, какъ на удочку, и, вотъ, молъ, „мы“ дошли такимъ образомъ до настоящаго печальнаго положенія! Впрочемъ, почтенный авторъ можетъ быть увѣренъ, что читателя не поймаешь не только „новыми словами“, но и такимъ обвиненіемъ его, будто онъ во всемъ одинъ виноватъ, ибо онъ все только „полагалъ“, „веселился“ и „ликовалъ“; онъ даже, быть можетъ, скажетъ намъ въ отвѣтъ: „попробуйте сначала сами писать прямо, безъ обиняковъ и недомолвокъ, вводящихъ только въ заблужденіе, — тогда и корите насъ, что мы все только полагаемъ да ликуемъ“.

Время отъ времени въ обществѣ ходятъ толки и споры о необходимости у насъ централизаціи школьнаго дѣла, или говоря проще, объ изъятіи изъ вѣдомства всѣхъ вѣдомствъ спеціальныхъ учебныхъ заведеній, съ подчиненіемъ ихъ одному, спеціальному въ этомъ дѣлѣ—министерству *народнаго* просвѣщенія. О существованіи такихъ толковъ можно заключить, между прочимъ, и изъ разнообразныхъ мнѣній, высказываемыхъ по этому поводу въ печати. Въ большинствѣ, такія мнѣнія направляются въ пользу централизаціи, безъ всякихъ оговорокъ, какія могли быть высказаны со стороны прак-

тическихъ требованій минуты; мы также, касаясь того же вопроса не разъ, но всегда мимоходомъ, выражали мысль, что такое единеніе школьнаго дѣла было бы весьма естественно и даже желательно. Постараемся развить нашу мысль до конца. Мы не отказываемся и теперь отъ высказаннаго нами принципа; онъ, безъ сомнѣнія, справедливъ, какъ, напримѣръ, можетъ быть справедливъ принципъ обращенія всѣхъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ въ казенныя—но на практикѣ все-таки окажется необходимымъ принять въ соображеніе, какъ вообще ведется казенное дѣло въ той или другой странѣ, —а въ такомъ случаѣ мы и увидимъ, что-то, что́ хорошо, напримѣръ, въ Пруссіи, будетъ непригодно въ Испаніи, гдѣ и тѣ казенныя дороги, какія существуютъ, находятся въ порядкѣ, относительно неудовлетворительномъ. Такія же практическія соображенія необходимы при всякомъ примѣненіи принциповъ, а слѣдовательно, также и принципа централизаціи школьнаго дѣла у насъ,—и вотъ именно, какія практическія соображенія должны явиться по поводу этого вопроса.

При относительно крайне слабомъ напряженіи нашей образованности и при уровнѣ *народнаго* просвѣщенія значительно низкомъ, едва-едва поднимающемся надъ точкою замерзанія [1]), торжество той или другой теоріи, хотя бы самой по себѣ и справедливой, должно имѣть для насъ менѣе цѣны, чѣмъ какая-нибудь практика дѣла, хотя бы и въ противность теоретическимъ требованіямъ. Мы не только не должны пока сѣтовать на то, что у насъ каждое министерство, кромѣ государственнаго контроля—и то, если не ошибаемся—имѣетъ свою школу, но способны скорѣе жалѣть, что земства, думы не имѣютъ больше своихъ собственныхъ школъ; если бы каждая улица имѣла свою школу, и при этомъ нарушался бы принципъ централизаціи школьнаго дѣла, то мы и тогда не чувствовали бы себя способными пожалѣть о послѣднемъ.

Опять съ практической же точки зрѣнія, мы были бы въ настоящую минуту не на сторонѣ осуществленія централизаціи, такъ какъ въ концѣ-концовъ оказалась бы, при первыхъ шагахъ къ осуществленію подобнаго дѣла, необходимость все-таки допустить исключенія. Военныя училища вызываются такою потребностью обезпечить армію достаточнымъ количествомъ корпуса офицеровъ, что поставить этотъ вопросъ въ зависимость отъ постепеннаго распространенія успѣховъ дѣятельности министерства народнаго просвѣщенія — нельзя ни на

[1]) Изъ статьи г. М. Р., помѣщенной у насъ въ январѣ, видно, что въ уѣздахъ 47 губерній, составляющихъ ядро европейской Россіи, въ сельскихъ школахъ обучается дѣвочекъ немного болѣе, чѣмъ двѣ на сто учебнаго возраста, а въ тульской, калужской, орловской, и рязанской процентъ падаетъ до единицы!

одинъ день. То же самое нужно сказать и о многихъ другихъ технических потребностяхъ, вызывающихъ самодѣятельность того или другого вѣдомства въ дѣлѣ приготовленія службы. Наконецъ, мы всѣ знаемъ, что есть такія учебныя заведенія, которыя, и при допущеніи принципа централизаціи школьнаго дѣла, все-таки будутъ непремѣнно исключены, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ. Утвердить же принципъ, и начать приведеніе его въ исполненіе исключеніями— значитъ, вмѣстѣ и отвергать его. Намъ скажутъ, что подобное явленіе встрѣчается довольно часто; но мы и не споримъ противъ факта,— мы утверждаемъ только, что подобнаго факта нельзя ни защищать, ни желать встрѣтиться съ нимъ снова.

Въ настоящее время мы имѣемъ дѣйствительно предъ собою такую картину, что два вѣдомства, а именно духовное и военное по своему бюджету на учебную часть, вмѣстѣ взятыя, чуть не равняются всему бюджету министерства народнаго просвѣщенія, въ которомъ опять на народъ, дающій названіе этому министерству, идетъ болѣе чѣмъ скромная часть. Въ духовномъ вѣдомствѣ считается 4 академіи, свыше 50 семинарій, до 200 училищъ и около 7,000 своихъ приходскихъ школъ; военное вѣдомство имѣетъ 6 академій и около 30 среднихъ учебныхъ заведеній. Соединенныя цифры заведеній этихъ двухъ вѣдомствъ могутъ почти стоять на ряду съ числомъ общихъ государственныхъ учебныхъ учрежденій, а въ отношеніи высшихъ даже преобладаютъ, и стоютъ они всѣ вмѣстѣ до 11 милліоновъ—не далеко отъ полной цифры бюджета министерства народнаго просвѣщенія. Мы не задаемъ вопроса, какая была бы польза отъ слія̀нія всѣхъ этихъ учебныхъ заведеній въ одномъ вѣдомствѣ, такъ какъ мы можемъ обойтись на этотъ разъ безъ предположеній и опираться на опытъ. Уже около 15 лѣтъ духовное вѣдомство соединено съ министерствомъ народнаго просвѣщенія, если не органически, то лично, и все же 15 лѣтъ было мало для полученія осязательныхъ доказательствъ пользы хотя бы и личной централизаціи. Напротивъ того, мы наблюдаемъ такой фактъ: еще недавно воспитанники семинарій пользовались правомъ перехода своихъ воспитанниковъ въ университеты, т.-е. семинаріи приравнивались къ гимназіямъ; а въ послѣднее время это право у нихъ было отнято; слѣдовательно, уровень ихъ въ послѣднее время понизился до того, что надобно было отказать семинаріямъ въ томъ правѣ, которымъ онѣ недавно пользовались наравнѣ съ гимназіями. Итакъ, очевидные факты говорятъ, что одна централизація сама по себѣ не заключаетъ ничего такого, что бы могло подать пока поводъ къ сѣтованіямъ на децентрализацію школьнаго дѣла, какъ на нѣчто вредное и ненормальное,— скорѣе напротивъ, этой децентрализаціи въ настоящее время мы обя-

заны тѣмъ, что недостатокъ, если бы таковой оказался, одного вѣдомства, можетъ восполниться и получить себѣ поправки въ другомъ. Если какое вѣдомство можетъ вызывать особенныя сѣтованія, то это развѣ одно духовное по необычайной громадности процента обучающихся этой спеціальности: въ народѣ 80-ти милліонномъ изъ 100 общаго числа обучавшихся въ 1874 г., въ среднихъ мужскихъ заведеніяхъ, на долю гимназій и прогимназій министерства народнаго просвѣщенія пришлось только не много болѣе 50%, а на долю духовныхъ училищъ почти 30%; остальные 20% дѣлятся между реальными училищами, военными гимназіями и частными средними учебными заведеніями. Эти цифры очень краснорѣчивы въ различныхъ отношеніяхъ, а такъ какъ школа есть разсадникъ жизни, то неудивительно, если школа иногда окажется въ разладѣ съ жизнью. Изъ каждой сотни обучающихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, особенно важныхъ въ житейскомъ отношеніи, 50 человѣкъ получаютъ классическое, т.-е. такое образованіе, которое имѣетъ значеніе главнымъ образомъ подъ условіемъ продолженія его въ высшей школѣ; но такъ какъ и изъ этихъ 50 человѣкъ только 7 или 8 человѣкъ идутъ въ высшую школу, то болѣе 40 человѣкъ затрудняются воспользоваться полученнымъ образованіемъ для обезпеченія себя трудомъ; затѣмъ, 30 человѣкъ получаютъ спеціальное духовное образованіе, обезпечивающее весьма немногихъ—получившихъ мѣста. Если исключимъ частныя среднія учебныя заведенія, занимающія 6 человѣкъ изъ 100, то на долю реальныхъ училищъ, съ военными гимназіями вмѣстѣ, останется всего 14 человѣкъ на 100, которые легче всѣхъ другихъ найдутъ себѣ обезпеченіе жизни. Послѣ этого не нужно никакихъ разсужденій, чтобы рѣшить вопросъ: въ какой мѣрѣ современная школа содѣйствуетъ или противодѣйствуетъ увеличенію лицъ, затрудненныхъ жизнью?

Забота объ участи малолѣтнихъ преступниковъ и о спасеніи ихъ отъ общей тюрьмы, гдѣ наказаніе является для малолѣтнаго чаще всего не наказаніемъ, а школою окончательнаго разврата, нравственнаго и умственнаго,—такая забота у насъ въ Россіи составляетъ новость послѣдняго десятилѣтія. Въ результатѣ теперь оказывается уже нѣсколько опытовъ въ обѣихъ столицахъ и въ нѣкоторыхъ изъ губернскихъ городовъ, какъ въ Кіевѣ, въ Казани, въ Саратовѣ, гдѣ его „Учебно-исправительный пріютъ“ существуетъ уже болѣе пяти лѣтъ. Предъ нами лежитъ отчетъ этого пріюта за 5-й годъ его дѣятельности (1877—78 гг.)—время, достаточное для того, чтобы сдѣлать нѣкоторые общіе выводы и заключенія, небезполезныя для интересующихся этимъ новымъ дѣломъ у насъ—и въ высшей степени важ-

нымъ, если подумать о томъ, что подобные пріюты могутъ спасать общество отъ новыхъ преступниковъ, выкинутыхъ уже не жизнью, а такъ-сказать воспитанныхъ самою тюрьмою, гдѣ малолѣтній, въ высшую пору воспріимчивости своихъ способностей, усовершенствуется подъ руководствомъ взрослыхъ, опытныхъ и искушенныхъ въ своемъ дѣлѣ преступниковъ. Благодаря весьма низкому уровню нашихъ общественныхъ нравовъ, пріюты малолѣтнихъ преступниковъ могутъ имѣть еще и другое значеніе, какое они не всегда могутъ имѣть въ западной Европѣ: малолѣтній, отбывъ нѣсколько мѣсяцевъ въ общей тюрьмѣ, что вполнѣ достаточно для дальнѣйшаго его усовершенствованія въ преступности, часто возвращается въ ту среду и обстановку, которая уже оказалась и прежде весьма дурною для нравственнаго и умственнаго развитія малолѣтнаго. Его потому необходимо спасти не только отъ тюрьмы, но и отъ возвращенія въ прежнюю среду, пока онъ не окрѣпнетъ достаточно, чтобы не опасаться ея,—и тутъ опять пріютъ, съ его двухлѣтними и трехлѣтними усиліями переработать малолѣтнаго, можетъ оказать величайшую услугу. Изъ наблюденій завѣдующихъ саратовскимъ пріютомъ оказывается, что „до поступленія въ пріютъ *всѣ* (малолѣтніе преступники) жили и дѣйствовали, повинуясь исключительно непосредственнымъ впечатлѣніямъ и часто животнымъ инстинктамъ, умъ работалъ всегда слабо“. Другими словами, пріютъ долженъ охранять дѣтей, впавшихъ въ преступленіе, далеко не отъ одной тюрьмы и ея растлѣвающаго вліянія, но и отъ дѣйствительной жизни, гдѣ дѣти предоставляются „исключительно непосредственнымъ впечатлѣніямъ и чисто животнымъ инстинктамъ“, т.-е. растутъ на подобіе животныхъ, а въ случаѣ преступленія судятся какъ люди. Вотъ то первое общее указаніе, которое дѣлаетъ намъ практика пріютовъ, и уже за одно это указаніе нельзя не быть имъ признательными. Но пріюты у насъ являются, къ сожалѣнію, самымъ слабымъ палліативомъ противъ зла, съ которымъ слѣдуетъ бороться на другомъ поприщѣ, а именно на поприщѣ народнаго просвѣщенія. Тутъ только можно схватиться со зломъ во всемъ его объемѣ, или иначе намъ пришлось бы ожидать какихъ-нибудь чувствительныхъ результатовъ только въ такомъ случаѣ, когда у насъ будетъ столько устроено пріютовъ для малолѣтнихъ преступниковъ, сколько слѣдовало бы имѣть народныхъ школъ,—а тогда не было ли бы лучше прямо начать съ увеличенія послѣднихъ. Въ настоящую же минуту мы видимъ предъ собою самую неудовлетворительную картину: невѣжество и сопряженная съ нимъ грубость нравовъ катятся широкою волною по головамъ сотенъ тысячъ, а саратовскій пріютъ трудится надъ 33-мя малолѣтними преступниками,

усиливаясь возвратить имъ образъ и подобіе Божіе—таково было число воспитанниковъ въ отчетный годъ.

Выводъ изъ всего этого весьма простъ: преступленіе малолѣтнихъ есть прежде всего преступленіе ихъ родителей. Вѣдь отвѣчаетъ же хозяинъ за вредъ, нанесенный принадлежащими ему домашними животными, и отвѣчаетъ весьма справедливо: онъ не принялъ мѣръ, какія отъ него вполнѣ зависѣли, къ тому, чтобы поставить свое животное въ условія невозможности наносить вредъ; животное невмѣняемо, и потому судятъ хозяина. То же слѣдуетъ примѣнить и къ дѣтямъ, которыхъ родители или лица, ихъ замѣняющія, не поставили въ условія невозможности наносить вредъ,—а главное условіе для того, конечно, просвѣщеніе. Конечно, сами родители должны быть опять поставлены въ условія возможности дать дѣтямъ просвѣщеніе, — и, разсуждая такимъ образомъ, мы послѣдовательно придемъ къ необходимости у насъ введенія обязательности школьной повинности, какъ у насъ введена уже, относительно болѣе тяжелая, воинская повинность; для борьбы съ внѣшнимъ врагомъ, конечно, необходимо быть на-готовѣ, но не менѣе опасенъ и внутренній врагъ—повальное невѣжество и господство „животныхъ инстинктовъ“.

Вотъ картина душевнаго состоянія, или—лучше сказать—бездушнаго, въ какомъ поступаютъ дѣти 12 — 14 лѣтъ въ Саратовскій пріютъ: „Вообще внутренняго, душевнаго протеста противъ всѣческихъ безнравственныхъ явленій не замѣчалось ни у кого, и возбудить способность такого протеста всегда было чрезвычайно трудно: это требовало не только много труда, но и много времени. Напримѣръ, украсть, обмануть — не хорошо, но только потому, что за это можно подвергнуться наказанію. Ни у кого не было замѣчено дурного отношенія ко лжи, напротивъ — безвастѣнчивость въ этомъ отношеніи всегда замѣчалась крайняя; у нѣкоторыхъ ложь обратилась въ привычку; у многихъ замѣчалось даже снисходительное отношеніе ко лжи въ другихъ. Многіе казались удивленными, когда въ пріютѣ ихъ преслѣдовали за ложь“ — и они, скажемъ мы, по-своему были правы: среда, изъ которой они вышли малолѣтними, не была для нихъ школою, а спеціальной школы они, можетъ быть, и не видали въ глаза. Замѣчательно при этомъ, что, по свидѣтельству того же отчета, были случаи, когда сами родители выражали желаніе отдавать своихъ дѣтей въ пріютъ, помимо суда; впрочемъ, это странное, повидимому, обстоятельство можетъ быть объяснено и тѣмъ, что спросъ на школу у насъ такъ великъ, а предложеніе такъ ограниченно, что родители готовы отдать дѣтей хоть въ исправительный пріютъ, лишь бы дать имъ какое-нибудь обученіе.

Поле дѣятельности Саратовскаго пріюта пока весьма скромно: въ 1878 году приходъ его едва достигъ 7,400 рублей, и изъ нихъ слишкомъ 1,700 рублей единовременныхъ и притомъ случайныхъ, такъ что обезпеченнаго прихода было не болѣе 5,700 руб. въ годъ, а необходимыхъ расходовъ сдѣлано 5,900 руб. слишкомъ. Въ эту послѣднюю сумму обошлось годовое содержаніе всего пріюта съ его 33-мя воспитанниками и воспитанницами, такъ что каждый изъ нихъ стоилъ около 180 руб. въ годъ. Послѣдняя цифра говоритъ не столько объ относительной дешевизнѣ содержанія и экономіи, сколько о крайней стѣснительности въ средствахъ, такъ какъ дѣло было ведено съ дефицитомъ. Конечно, общественное сочувствіе къ такому благодѣтельному предпріятію могло бы въ будущемъ восполнить недостатокъ средствъ; но разсчетъ на сочувствіе вообще не представляетъ большой прочности, а потому комитетъ пріюта могъ бы облегчить дѣло и помочь ему упрощеніемъ своихъ задачъ. Пріютъ, несмотря на свои скудныя средства, задался весьма широкою, хотя и прекрасною мыслью — быть полезнымъ для малолѣтнихъ преступниковъ *обоего* пола: въ отчетномъ году въ пріютѣ было 25 мальчиковъ и 8 дѣвочекъ. Оставляя въ сторонѣ вопросъ, насколько удобно совмѣстное воспитаніе обоихъ половъ въ пріютѣ, куда дѣти являются и безъ того съ болѣе или менѣе испорченною нравственностью, мы все-таки находимъ, что при недостаточности средствъ было бы полезнѣе ограничить поле дѣятельности хотя бы тѣмъ поломъ, который представляетъ наибольшій контингентъ и потому испытываетъ бо́льшую нужду въ подобномъ пріютѣ; малолѣтнія преступницы, кромѣ того, могутъ быть легче исправлены домашнею дисциплиною: по словамъ самого отчета, „всѣ поступавшія дѣвочки были въ умственномъ отношеніи нѣсколько лучше, нежели мальчики... Нравственный уровень ихъ представлялся также въ лучшемъ видѣ, нежели у мальчиковъ“, — что̀, конечно, произошло не отъ того, что у насъ вообще воспитаніе дѣвочекъ лучше, нежели мальчиковъ; но дѣвочка 14-ти лѣтъ, по природѣ своей, болѣе развита, нежели соотвѣтствующаго возраста мальчикъ, и только вслѣдствіе неравенства дальнѣйшихъ условій жизни въ слѣдующихъ возрастахъ женскій полъ уступаетъ въ массѣ такому же возрасту мужескаго пола.

Мы не останавливаемся на коренной ошибкѣ, положенной въ основаніе Саратовскаго пріюта, потому что сами авторы отчета сознаютъ это и сожалѣютъ о томъ, а именно — суды опредѣляютъ въ пріютъ не только на нѣсколько мѣсяцевъ, но даже на 6 недѣль! Очевидно, подобные приговоры составляются подъ вліяніемъ неправильнаго взгляда на значеніе подобныхъ пріютовъ: ихъ разсматриваютъ какъ „дѣтскія тюрьмы“, а не исправительныя заведенія, ка-

ковы они и есть на дѣлѣ. Для „исправительнаго“ заведенія необходимы minimum два или три года, чтобы цѣль заведенія была достигнута: малолѣтній отдается въ пріютъ не для наказанія, а для исправленія. Наказаніе въ такомъ случаѣ, какъ мы выше сказали, могло бы быть назначено для истинно-виновныхъ, если бы по суду оказалось, что малолѣтній былъ лишенъ образованія по небрежности или по недостатку доброй воли родителей. Изъ 36 человѣкъ, оказывается, 27 человѣкъ были отданы на годовой, и менѣе того, срокъ. По сословіямъ, изъ 36 человѣкъ было 15 крестьянскихъ и 15 мѣщанскихъ дѣтей: вѣрное указаніе, гдѣ господствуетъ непроглядная тьма. Всѣ поступившіе были присланы по судебнымъ приговорамъ, кромѣ одного, доставленнаго въ пріютъ малолѣтнихъ преступниковъ „по распоряженію административной власти“: это былъ безпріютный сынъ сосланнаго арестанта, который, слѣдовательно, былъ помѣщенъ въ ненадлежащее мѣсто только потому, что иначе нѣкуда было бы его дѣть.

Но, какъ бы то ни было, публикованные въ отчетѣ результаты въ высшей степени утѣшительны и заставляютъ желать размноженія и дальнѣйшаго преуспѣянія подобныхъ учрежденій. Вотъ показанія отчета: „Всѣ безграмотные и полуграмотные вышли изъ пріюта грамотными, т.-е. научились читать и писать; всѣ научились считать на счетахъ; усвоили правильные пріемы умственнаго счисленія; нѣкоторые перешли даже къ счисленію письменному—ариѳметикѣ; изъ бесѣдъ о прочитанномъ получили болѣе правильныя представленія о природѣ и ея явленіяхъ и отчасти утратили нѣкоторые предразсудки, основанные на ошибочномъ пониманіи этихъ явленій. Грамотные были присоединены къ старшимъ отдѣленіямъ и проходили указанные выше предметы; въ первыхъ двухъ старшихъ отдѣленіяхъ читали вполнѣ сознательно и болѣе или менѣе свободно передавали своими словами прочитанное. Переплагали въ прозу стихотворенія, басни; во время уроковъ чтенія знакомились съ природой и ея явленіями, съ географическимъ положеніемъ Россіи, ея главнѣйшими естественными богатствами, ея морями, значительными рѣками, замѣчательными городами и проч. Познакомились съ главнѣйшими событіями отечественной исторіи, какова: основаніе Руси, крещеніе ея, татарское нашествіе и т. п. По русскому языку: умѣли разбирать простыя предложенія этимологически и синтаксически; знали главнѣйшія основныя правила правописанія. По ариѳметикѣ—въ первомъ отдѣленіи знали всѣ четыре ариѳметическія дѣйствія и болѣе или менѣе свободно рѣшали задачи, основанныя на всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ; во второмъ отдѣленіи знали: сложеніе, вычитаніе и умноженіе, и рѣшали несложныя задачи на эти дѣйствія. Умствен-

нымъ счисленіемъ въ предѣлахъ первой сотни владѣли удовлетворительно". Такихъ результатовъ можно пожелать и не исправительнымъ народнымъ школамъ, особенно если подумать о томъ, что большинство учащихся имѣло для себя въ настоящемъ случаѣ не болѣе года.

Смѣта города Петербурга, на 1880 годъ, составленная управою и разсмотрѣнная особою коммиссіею, обѣщаетъ въ нынѣшнемъ году даже небольшой остатокъ въ 8,382 рубля, а именно: ожидаемая общая сумма доходовъ—5.883,087 руб., а расходовъ — 5.874,705 р. Весьма чувствительная часть этихъ расходовъ производилась до сихъ поръ такъ, что городъ занимался отпускомъ суммъ на тѣ или другія учрежденія, но наблюденія за расходованіемъ этихъ отпускаемыхъ суммъ не имѣлъ, а слѣдовательно, вся дѣятельность думы ограничивалась обязательною для нея выдачею денегъ; таковыми являются расходы на пособіе различнымъ городскимъ учрежденіямъ, на содержаніе городской полиціи и т. п. Изъ объясненія управы къ новой смѣтѣ видно, что дума, наконецъ, обратила вниманіе на такое ненормальное положеніе значительной части ея расходовъ и поручила управѣ составить докладъ о внесеніи такихъ суммъ предварительно въ губернское казначейство съ тѣмъ, чтобы эти суммы вслѣдствіе того, какъ отпускаемыя изъ государственнаго казначейства, испытывали на себѣ ревизію государственнаго контроля. Если городская казна отъ того и не выгадаетъ ничего, такъ какъ вопросъ о размѣрахъ отпускаемыхъ ею суммъ останется въ томъ же положеніи, — то, съ другой стороны, является по крайней мѣрѣ нѣкоторая гарантія того, что ассигнованныя суммы будутъ впередъ издерживаться съ нѣкоторою экономіею и осмотрительностью.

Въ смѣтѣ расходовъ г. Петербурга на 1880 годъ обращаетъ на себя вниманіе еще попытка со стороны коммиссіи къ дальнѣйшему улучшенію отношенія между расходами „обязательными" и „необязательными". Общепринятый смыслъ этихъ словъ не даетъ правильнаго понятія о предметѣ въ настоящемъ, спеціальномъ случаѣ: обыкновенно обязательнымъ считается важное, и съ выраженіемъ: „необязательное"— невольно соединяется мысль о второстепенномъ, маловажномъ. Но въ смѣтахъ городскихъ и земскихъ расходовъ оба эти выраженія имѣютъ довольно условное значеніе, такъ какъ тамъ къ числу „необязательныхъ" расходовъ относится какъ разъ расходъ на предметы первостепенной важности, а именно,—на народное образованіе и народное здравіе. Коммиссія постаралась по возможности сократить такъ-называемые обязательные расходы, и изъ нихъ всего болѣе сокращены расходы на пожарную команду, на томъ основаніи, что еще въ 1876

году предположено увеличить составъ пожарной команды, съ отнесеніемъ соотвѣтственной части расхода на страховыя общества и на дворцовое вѣдомство; но за то она увеличила сумму „необязательныхъ“ расходовъ, т.-е. нужнѣйшихъ и важнѣйшихъ, а именно, на народное здравіе—140,000 р., съ цѣлью устройства новыхъ больничныхъ бараковъ, и на народное просвѣщеніе—62,000 руб. Мы назвали это только попыткой къ установленію болѣе правильнаго отношенія между городскими обязательными и необязательными расходами, такъ какъ, собственно говоря, все-таки это взаимное отношеніе двухъ рубрикъ городского расхода—далеко еще не нормальное. Впрочемъ, и сама управа, ассигнуя въ смѣтѣ на народное образованіе въ 1880 г. всего 111,608 р., соглашается, что для полнаго удовлетворенія потребности Петербурга въ начальномъ образованіи для дѣтей отъ 9 до 12-лѣтняго возраста надлежало бы утроить расходъ и довести его по крайней мѣрѣ до 300 тысячъ. Но коммиссія нашла возможнымъ пока прибавить не болѣе 62 тысячъ, такъ что и теперь все же почти половина городского населенія остается безъ удовлетворенія въ потребности начальнаго образованія или по крайней мѣрѣ значительно стѣснена и затруднена въ этомъ отношеніи. Конечно, все это говоритъ какъ будто о скудости наличныхъ средствъ городской казны; но, съ другой стороны, почти шестимилліонный бюджетъ города не дозволяетъ выдать ему testimonium paupertatis — свидѣтельство о бѣдности. Въ свое оправданіе Петербургъ можетъ привести только одно соображеніе, что его городская казна будетъ отпускать на народное образованіе въ собственномъ смыслѣ этого слова сравнительно не меньше, какъ и государственная казна, а именно также около 3 копѣекъ съ рубля бюджета, но за то Петербургъ пользуется еще училищами, содержимыми на счетъ государственной казны.

Настоящая смѣта могла бы подать намъ поводъ обратиться вообще къ критикѣ нашего городского самоуправленія и того, чтó лежитъ собственно въ самомъ его основаніи; но мы надѣемся вскорѣ посвятить ему спеціальную статью, и потому на этотъ разъ ограничимся только сдѣланными нами указаніемъ на цифры новой городской смѣты и ихъ общій характеръ. Мы должны, впрочемъ, во всякомъ случаѣ помнить одно, что отвѣтственность какого бы то ни было дѣятеля начинается всегда тамъ, гдѣ начинается для него независимость дѣйствія, а потому размѣръ отвѣтственности находится всегда въ прямомъ отношеніи къ независимости: чѣмъ больше независимость, тѣмъ больше и отвѣтственность—и наоборотъ.

ПИСЬМО И. С. ТУРГЕНЕВА

И НЕСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ.

Мы получили въ самомъ концѣ декабря истекшаго года письмо И. С. Тургенева, слишкомъ поздно, чтобъ исполнить буквально желаніе его—помѣстить письмо въ январьской книгѣ, уже отпечатанной въ то время, и потому, не ожидая выхода ближайшаго нумера журнала, обратились съ просьбою къ редакціи газеты „Молва", гдѣ это письмо и явилось 30-го декабря. Но такъ какъ оно предназначалось для нашего изданія, то мы и считаемъ долгомъ тѣмъ не менѣе занести это письмо на страницы ближайшаго нумера нашего журнала. Вотъ содержаніе письма:

Любезный М. М. Вамъ, какъ старинному моему пріятелю, хорошо извѣстно, съ какой неохотой я рѣшаюсь занимать публику вопросами, лично до меня касающимися; но прочтенная мною на-дняхъ корреспонденція г. „Иногороднаго Обывателя" въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" вынуждаетъ меня взяться за перо.

Корреспонденція эта появилась по поводу напечатаннаго въ газетѣ „Temps" моего письма, предпосланнаго разсказу изгнанника, содержавшагося въ одиночномъ заключеніи въ теченіе четырехъ лѣтъ, — разсказу, представлявшему исключительно психологическій и, пожалуй, судебный интересъ.

Если бы г. „Иногородный Обыватель" ограничился одними посильными оскорбленіями, я бы не обратилъ на нихъ вниманія, зная, изъ какой „кучи" идетъ этотъ „громъ"; но онъ позволяетъ себѣ заподозрѣвать мои убѣжденія, мой образъ мыслей,—и я не имѣю права отвѣчать на это однимъ презрѣніемъ.

Приписывая мнѣ всяческія неблагородныя побужденія и чуть ли не преступныя намѣренія, г. „Иногородный Обыватель" обвиняетъ меня въ низкопоклонствѣ, въ заискиваніи, въ „кувырканіи" передъ нѣкоторой частью нашей молодежи. Такого рода заискиваніе предполагаетъ отступничество отъ собственныхъ убѣжденій и поддѣлываніе подъ чужія. Но, не хвастаясь и не обинуясь, а просто констатируя фактъ, я имѣю право утверждать, что убѣжденія, высказанныя мною и печатно, и изустно, не измѣнились ни на іоту въ послѣднія сорокъ лѣтъ; я не скрывалъ ихъ никогда и ни передъ кѣмъ. Въ глазахъ нашей молодежи—такъ какъ о ней идетъ рѣчь—въ ея глазахъ, къ какой бы партіи она ни принадлежала — я всегда былъ и до сихъ поръ остался „постепеновцемъ", либераломъ стараго покроя въ англійскомъ, династическомъ смыслѣ, человѣкомъ, ожидающимъ реформъ *только свыше*,—принципіальнымъ противникомъ революцій,

— не говоря уже о безобразіяхъ послѣдняго времени. Молодежь была права въ своей оцѣнкѣ — и я почелъ бы недостойнымъ и ея, и самого себя представляться ей въ другомъ свѣтѣ. Тѣ ованіи, о которыхъ упоминаетъ г. „Иногородный Обыватель", мнѣ были пріятны и дороги именно потому, что *не я шелъ къ молодому поколѣнію*, расположеніе котораго я весьма философически переносилъ въ теченіе пятнадцати лѣтъ (со времени появленія „Отцовъ и Дѣтей"), но потому, *что оно шло ко мнѣ;* онѣ были мнѣ дороги, эти ованіи, какъ доказательство проявившагося сочувствія къ тѣмъ убѣжденіямъ, которымъ я всегда былъ вѣренъ и которыя громко высказывалъ въ самыхъ рѣчахъ моихъ, обращенныхъ къ людямъ, которымъ угодно было меня чествовать.

Съ какой же стати мнѣ было лгать и заискивать въ нихъ, когда они сами мнѣ протягивали руки и вѣрили мнѣ?

И какъ подумаешь, изъ чьихъ устъ исходятъ эти клеветы, эти обвиненія!? Изъ устъ человѣка, съ младыхъ ногтей заслужившаго репутацію виртуоза въ дѣлѣ низкопоклонства и „кувырканія", сперва добровольнаго, а наконецъ даже невольнаго! Правда—ему ни терять, ни бояться нечего: его имя стало нарицательнымъ именемъ,—и онъ не изъ числа людей, которыхъ дозволительно потребовать къ отвѣту. Но и въ его положеніи оглядка не мѣшаетъ: во всякомъ случаѣ не ему упоминать объ „опозоренныхъ сѣдинахъ"; не зачѣмъ обращать взоры читающей публики на собственную голову. Публика и безъ того хорошо его знаетъ... и, смѣю прибавить, знаетъ и меня.

Ив. Тургеневъ.

Парижъ, rue de Douai.
2-го января 1880 г.

Мѣсяцъ тому назадъ, мы и ограничились бы напечатаніемъ текста письма И. С. Тургенева, но теперь мы обязаны занести въ хронику журнала и то, что́ оно вызвало своимъ первоначальнымъ появленіемъ—въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", гдѣ сотрудничаетъ г. „Иногородный Обыватель", какъ со стороны его самого, такъ и со стороны редакціи упомянутой газеты. Редакція „Московскихъ Вѣдомостей" нашла, повидимому, недостаточно прозрачною характеристику своего сотрудника, какъ она выражена въ письмѣ Тургенева: дѣйствительно, авторъ письма далъ хотя и нелестный отзывъ объ „Иногородномъ Обывателѣ", но въ то же время такой общій, что только одинъ самъ „Иногородный Обыватель" и интимные его друзья, которыхъ онъ оповѣстилъ о своемъ сотрудничествѣ въ „М. В." и, можетъ быть, не безъ гордости, говорилъ имъ, какъ онъ „устроилъ Тургенева",—могли навѣрное знать, къ кому именно относятся послѣднія слова письма. Въ самомъ дѣлѣ, такія опредѣленія, какъ: „виртуозъ въ дѣлѣ низкопоклонства и кувырканія"... „его имя стало нарицательнымъ именемъ"... „онъ не изъ числа людей, которыхъ дозволительно потребовать къ отвѣту";—физи-

ческій признакъ всего одинъ: „сѣдина“ — въ высшей степени гадательны и неопредѣленны. Все это можно было бы назвать прямымъ указаніемъ на лицо и упрекнуть автора „Письма“ въ покушеніи раскрыть псевдонимъ, если бы можно было утверждать, что въ нашемъ обществѣ только одинъ „Иногородный Обыватель“ извѣстенъ „низкопоклонствомъ“ и „кувырканіемъ“, и, кромѣ него, сѣдины ни у кого не существуетъ. Итакъ, можно подумать, что „Московскія Вѣдомости“ остались недовольны такимъ яснымъ указаніемъ Тургенева на личность автора ихъ корреспонденціи, оклеветавшей его, и изъ опасенія, что въ обществѣ „Иногородный Обыватель“ не будетъ все-таки узнанъ, рѣшились сами выразиться яснѣе. По ихъ мнѣнію, г. Тургеневъ сдѣлалъ бы лучше, если-бъ „разсказалъ опредѣленно, что́ знаетъ о *фактѣ*: какъ бы ни былъ невѣренъ разсказъ, искаженный фактъ былъ бы предпочтительнѣе голословнаго сужденія о неизвѣстномъ“. Но дѣло въ томъ, что въ письмѣ Тургенева даже не упоминается ни о какомъ „фактѣ“; а разсказать „фактъ“—значило бы просто открыть псевдонимъ,—и въ такомъ случаѣ, по принятымъ обычаямъ въ печати, Тургеневъ поступилъ бы не лучше, но хуже. Вотъ гораздо лучше сдѣлали бы сами „Московскія Вѣдомости“, если бы онѣ разсказали опредѣленно о „фактѣ“: какъ бы ни былъ невѣренъ ихъ разсказъ, искаженное изложеніе было бы предпочтительнѣе голословнаго оправданія, какое онѣ и сдѣлали. Вмѣсто разсказа факта, газета восклицаетъ: „Но вотъ произошелъ *случай* (очень снисходительно!!), котораго г. Тургеневъ коснулся (неправда: ни однимъ словомъ не касался), дѣйствительно подавшій поводъ къ сомнѣнію и нареканіямъ“. Оказывается далѣе, что этотъ *случай* былъ только „неловкостью“, „ошибкою“, „легкомысліемъ, но не преступнымъ дѣломъ“,—чѣмъ-то въ родѣ того, какъ объясняютъ „М. В.“, если бы самъ Тургеневъ на вопросъ, не въ Парижѣ ли онъ былъ въ началѣ нынѣшняго года, сталъ бы, безъ надобности, доказывать свое alibi, что его въ Парижѣ не было; нѣчто подобное, молъ, этому примѣру случилось и съ господиномъ „Иногороднымъ Обывателемъ“; однимъ словомъ, совершенные пустяки! Между тѣмъ, это былъ такой случай, что „Московскія Вѣдомости“ сочли нужнымъ „разстаться“ съ своимъ почтеннымъ сотрудникомъ и приняли его снова, когда „выяснились всѣ обстоятельства дѣла и исчезли смущавшія насъ („М. В.“) сомнѣнія“. Это одно простое указаніе „случая“ со стороны „Московскихъ Вѣдомостей“, сдѣлало для всѣхъ вполнѣ транспарантнымъ псевдонимъ „Иногороднаго Обывателя“ — гораздо болѣе, нежели указанныя Тургеневымъ его „кувырканья“ и „сѣдины“. Но, въ сущности, публика едва ли и интересуется личностью г. „Иногороднаго Обывателя“—и той части ея,

которая только теперь узнала, что исчезнувшій одно время на страницахъ „Русскаго Вѣстника“ и „Московскихъ Вѣдомостей“ ихъ „постоянный сотрудникъ“ именно и есть „Иногородній Обыватель“, болѣе можетъ быть интересно то, что извѣстная причина его удаленія изъ редакціи, надѣлавшая въ свое время не мало разговоровъ, называется почтенною редакціею „случаемъ“, „неловкостью“! — особенно хорошо послѣднее слово, напоминающее даже классическіе спартанскіе нравы, гдѣ въ подобныхъ „случаяхъ“ осуждали не за самый „случай“, а именно за „неловкость“: худъ не худой поступокъ, а худо то, что онъ не ловко сдѣланъ. Это уже чисто-классическая мораль,—и къ сожалѣнію она находитъ въ наше, и безъ того неразборчивое, время публичную поддержку для себя.

Къ этому извиненію „слабостей“ г. „Иногороднаго Обывателя“ со стороны „Московскихъ Вѣдомостей“ присоединена въ томъ же нумерѣ газеты (1880 г., № 5) „Справка для г. Тургенева“, со стороны самого г. „Иногороднаго Обывателя“. Газета осталась недовольна тѣмъ, что Тургеневъ не раскрылъ псевдонима, и взяла на себя этотъ трудъ, а г. „Иногородный Обыватель“ остался, повидимому, недоволенъ отзывомъ о немъ въ письмѣ г. Тургенева: онъ нашелъ себя гораздо хуже, нежели какъ изобразилъ его Тургеневъ,—а потому „Справка“ сдѣлалась необходимостью. Оказывается, что г. „Иногородный Обыватель“, кромѣ общихъ свойствъ, приписанныхъ ему Тургеневымъ, обладаетъ еще и нѣкоторыми частными; напримѣръ, онъ способенъ публиковать письма, писанныя къ нему, безъ согласія писавшаго, что̀ не принято между сколько-нибудь порядочными людьми. Онъ полагаетъ также, что, подавъ кому-нибудь, напримѣръ, стаканъ воды, онъ получаетъ тѣмъ самымъ право послѣ клеветать на него, поносить,—и всякій отпоръ считать величайшею неблагодарностью. Письмо Тургенева къ г. „Иногородному Обывателю“, писанное *17 лѣтъ* тому назадъ, съ выраженіями „живой благодарности и неизмѣнной дружбы“, можетъ служить, конечно, основаніемъ для тѣхъ или другихъ требованій, но только въ случаѣ—„неизмѣнной чести“ адрессата, или, по крайней мѣрѣ,—при отсутствіи всякихъ „неловкостей“ съ его стороны, которыя могутъ иногда открывать глаза даже слѣпымъ. Г-нъ „Иногородный Обыватель“ не удивляется отзыву о немъ со стороны Тургенева, но „что Тургеневъ могъ забыть, какою *живою благодарностью* и *неизмѣннымъ* чувствомъ *дружбы* почиталъ онъ себя исполненнымъ въ тѣ дни, когда на него обрушилось несчастіе, къ тому именно лицу, котораго онъ теперь обзываетъ какимъ-то *отъ молодыхъ ногтей* виртуозомъ низкопоклонства (предъ кѣмъ, желалъ бы я знать, и для чего?—спрашиваетъ, не безъ напускной наивности,

въ скобкахъ, г. „Иногородный Обыватель"),—это меня нѣсколько болѣе удивляетъ". Но тутъ удивительно совсѣмъ другое: г. „Иногородный Обыватель", 17 лѣтъ тому назадъ, по его словамъ, „*извѣщалъ* Тургенева о ходатайствахъ, употребляемыхъ его друзьями по поводу грозившаго тогда г. Тургеневу сенатскаго суда", вслѣдствіе сдѣланныхъ на него показаній, — и одно это *извѣщеніе* г. „Иногородный Обыватель" ставитъ такъ высоко, что требуетъ „неизмѣнной дружбы", несмотря на всѣ его позднѣйшія „неловкости". Да если бы онъ не только *извѣщалъ*, но даже и ходатайствовалъ, какъ то дѣлали друзья Тургенева, а затѣмъ позволилъ бы себѣ однако „неловкость", то и въ такомъ случаѣ не было бы никакого основанія для него поносить Тургенева, а потомъ удивляться данному съ его стороны аттестату. Итакъ, вся эта пресловутая „Справка" сводится къ такимъ микроскопическимъ размѣрамъ: г. „Иногородный Обыватель", какъ оказывается изъ его словъ, 17 лѣтъ тому назадъ пахалъ, сидя на рогахъ у вола, тащившаго плугъ, т.-е. извѣщалъ о чужихъ трудахъ и получилъ за это благодарность; затѣмъ онъ опускался уже только на сладкіе пироги, причемъ пострадалъ, благодаря „неловкости", слѣдовательно —невинно, какъ то объясняютъ „Московскія Вѣдомости", а осенью онъ укусилъ того хозяина, которому помогалъ весною обработывать поле, за что́ и былъ раздавленъ — къ его удивленію, но не къ всеобщему. Все это мы окончательно уразумѣли теперь, благодаря именно „Справкѣ".

Благодаря этой же „Справкѣ", гдѣ упоминается лицо, дѣйствительно потрудившееся тогда, а не извѣщавшее только о чужихъ трудахъ, именно—покойный графъ А. К. Толстой,—мы вспомнили и сами нѣкоторыя обстоятельства, имѣющія близкое отношеніе къ вышеупомянутой передовой статьѣ „Моск. Вѣд.": эта газета, дѣйствительно, могла бы привести справедливо нѣкоторыя весьма „смягчающія обстоятельства" въ пользу г. „Иногороднаго Обывателя", вмѣсто того, чтобы защищать его въ силу одной пословицы: „воронъ ворону глазъ не выклюетъ". Газета говоритъ, что случай, на который намекаетъ г. Тургеневъ (т.-е. „неловкость"), извѣстенъ намъ (ей) во всѣхъ его подробностяхъ". Едва ли это такъ — или почему бы иначе газета не указала на то обстоятельство, которое, дѣйствительно, смягчило бы до нѣкоторой степени общественный приговоръ относительно того „случая". Намъ довелось провести за-границею на водахъ цѣлый день у графа А. К. Толстого, мѣсяца за два до его смерти, лѣтомъ 1875 года, послѣ того, какъ онъ получилъ обширное письмо г. „Иногороднаго Обывателя" съ подробною исповѣдью и оправданіемъ себя въ томъ „случаѣ". Графъ А. К. Толстой прочелъ намъ это письмо все отъ

начала до конца, и былъ имъ очень доволенъ, такъ какъ и ему, можетъ быть, прежде приходилось не разъ въ письмахъ къ „Иногородному Обывателю“ выражать благодарность и называть его „cher ami“, а послѣ этого „случая“ — пришлось бы говорить то, что теперь сказалъ Тургеневъ. — „Ну, вотъ видите теперь, какъ было дѣло“, сказалъ онъ намъ съ тѣмъ торжествомъ безмѣрно-доброй души, какою, дѣйствительно, обладалъ покойный; его обрадовало то, что онъ, значитъ, не такъ горько обманывался въ людяхъ: „что вы на все это скажете?“—Да, отвѣчали мы, изъ этого письма, дѣйствительно, слѣдуетъ, что есть люди еще хуже *его*, и это до нѣкоторой степени смягчаетъ дѣло.—Мы не въ правѣ не только печатать чужихъ писемъ или копій съ нихъ, но даже и разсказывать содержаніе этихъ писемъ, узнанное нами случайно; но мы не можемъ не воспользоваться настоящею минутой, чтобъ не отрекомендовать это письмо вниманію хотя бы и довольно отдаленнаго историка нашей общественной жизни; быть можетъ, оно сохранится въ бумагахъ покойнаго; теперь публикація подобнаго письма, мы признаёмъ, была бы весьма преждевременна, даже и со стороны самого автора, такъ какъ въ немъ интересъ возбуждаетъ вовсе не личность г. „Иногороднаго Обывателя“, никому не интересная, а самый разсказъ, который можно смѣло назвать краснорѣчивой страницей изъ исторіи распущенности нашего времени. Настоящій отзывъ Тургенева о немъ самомъ слѣдовало бы назвать еще весьма благосклоннымъ, сравнительно съ отзывомъ самого г. „Иногороднаго Обывателя“ о томъ лицѣ, котораго онъ не 17 лѣтъ тому назадъ, а всего какихъ-нибудь 7 мѣсяцевъ передъ тѣмъ считалъ „неизмѣннымъ другомъ“ и былъ преисполненъ къ нему „живѣйшей благодарностью“ за весьма существенныя услуги; — и г. „Иногородный Обыватель“ былъ совершенно правъ, если въ данномъ случаѣ не стѣснялся въ своихъ выраженіяхъ ни дружбою, ни благодарностью. Наши слова вполнѣ понятны, конечно, одному г. „Иногородному Обывателю“, но вѣдь только онъ одинъ и выразилъ убѣжденіе въ томъ, что сдѣланный имъ однажды не особенно большой почтовый расходъ на письмо къ Тургеневу, въ Парижъ — если не ошибаемся, по тогдашней почтовой таксѣ, копѣекъ въ 10, не болѣе — съ извѣщеніемъ о чужихъ трудахъ,—что, повторяемъ, издержанный имъ такимъ образомъ гривенникъ даетъ ему право на всю жизнь клеветать на уважаемаго всѣми человѣка, а этому послѣднему зажимаетъ ротъ навсегда. Вотъ почему мы и думаемъ, что г-ну „Иногородному Обывателю“ лучше было бы послѣдовать благому совѣту Тургенева, сказавшаго въ письмѣ къ намъ: „но и въ его положеніи оглядка не мѣшаетъ“; если бы

г. „Иногородный Обыватель“ „оглянулся“ и при этомъ припомнилъ свое собственное письмо къ графу А. К. Толстому, — то, конечно, не напечаталъ бы своей неудачной „Справки“, да и „Московскія Вѣдомости“ не сдѣлали бы неловкости взять подъ свою защиту его „неловкость“, да еще по-спартански попрекнуть своего „Иногороднаго Обывателя“ именно за „неловкость“.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ИЗЪ БЕРЛИНА.

12/24 января, 1879.

Общее положеніе дѣлъ въ Германіи.

Съ недѣлю тому назадъ въ нашей палатѣ депутатовъ произошелъ эпизодъ, не возбудившій особеннаго вниманія, но очень любопытный. Въ числѣ предложеній, сдѣланныхъ правительствомъ обѣимъ палатамъ, былъ законъ касательно покрытія издержекъ на потребности церковныхъ приходовъ по ту сторону Рейна. По этому закону гражданское мѣстное начальство получаетъ право сбора за колокольный звонъ, при торжественныхъ и праздничныхъ случаяхъ, при общественныхъ бѣдствіяхъ и тому подобныхъ событіяхъ, а также право пользованія помѣщеніемъ въ церквахъ для полицейскихъ и пожарныхъ цѣлей. Чтобы обезпечить и регулировать такое право, президентъ можетъ принимать необходимыя мѣры. Этотъ законопроектъ, а въ особенности параграфъ, о которомъ идетъ рѣчь, подалъ уже поводъ ко многимъ преніямъ, былъ обсуждаемъ въ палатѣ господъ, и будетъ, какъ говорятъ, обсуждаться еще разъ въ палатѣ депутатовъ. Обсужденіе затянулось такимъ образомъ потому, что клерикалы, сдѣлавшіеся съ нѣкотораго времени крайне воинственными (къ чему я еще возвращусь ниже), не преминули воспользоваться удобнымъ случаемъ. Въ данномъ случаѣ они естественно требуютъ, чтобы право на сборъ за колокола принадлежало исключительно церковному начальству, тогда какъ, напротивъ, либералы всѣхъ оттѣнковъ—того мнѣнія, что это право принадлежитъ только гражданскому начальству. Какъ обыкновенно бывало, по этому дѣлу опять поднялся горячій споръ; выступилъ депутатъ Рихтеръ съ очень рѣзкою рѣчью, и между прочимъ привелъ въ примѣръ, какъ въ одномъ монастырѣ

въ Дюссельдорфѣ по ночамъ раздавался такой колокольный звонъ, что всѣ окрестные жители пробуждались отъ сна; ультрамонтаны нашли это весьма естественнымъ, такъ какъ звонъ указывалъ только, что въ монастырѣ шла молитва. Консервативная партія оказалась въ этомъ случаѣ на сторонѣ центра, или по крайней мѣрѣ старалась и здѣсь идти съ нимъ за-одно, и такимъ образомъ въ концѣ-концовъ ею была предложена слѣдующая поправка: „На благоусмотрѣніе гражданскаго мѣстнаго начальства предоставляется колокольный звонъ во время засухи или дождливаго времени. Оберъ-президентъ *по соглашенію съ церковнымъ приходскимъ начальствомъ* назначаетъ, при какихъ торжественныхъ и праздничныхъ случаяхъ можно пользоваться колокольнымъ звономъ". Подчеркнутыя слова послужили исходнымъ пунктомъ всей борьбы, такъ какъ въ нихъ выраженъ принципъ, въ которомъ вся сущность дѣла; а именно: уполномочивается ли оберъ-президентъ рѣшать эти вопросы по своему личному благоусмотрѣнію, или онъ долженъ приходить въ соглашеніе съ церковнымъ начальствомъ. Послѣдовало голосованіе предварительно только по вопросу, слѣдуетъ ли внести подчеркнутыя слова въ законопроектъ, или нѣтъ. Остальная часть проекта, какъ видите, не теряетъ смысла, будутъ ли эти слова приняты или отброшены, и вотъ при этомъ-то голосованіи случилась замѣчательная вещь: ультрамонтаны и консерваторы оказались за принятіе, всѣ остальныя партіи противъ,—перевѣсъ голосовъ оказался на сторонѣ первыхъ двухъ. А именно, за включеніе вышеупомянутыхъ словъ оказалось 152 голоса, противъ 137. Замѣчательно при этомъ главнымъ образомъ то обстоятельство—и вотъ почему я такъ подробно разсказалъ вамъ объ этомъ незначительномъ дѣлѣ—что оба министра, принадлежащіе къ палатамъ въ качествѣ членовъ, графъ Эйленбургъ и фонъ-Путткаммеръ оказались за-одно съ меньшинствомъ, т.-е. съ партіями прогрессистовъ, національ-либераловъ и свободныхъ консерваторовъ. Такимъ образомъ, этотъ случай, ничтожный самъ по себѣ, лишенный всякаго принципіальнаго характера, могущаго имѣть какое либо вліяніе на дальнѣйшую дѣятельность министерства, является чрезвычайно знаменательнымъ фактомъ, указывая, что уже черезъ нѣсколько недѣль послѣ того, какъ реакціонерная палата соединилась съ консервативнымъ министерствомъ, два министра переходятъ отъ ультрамонтанъ и консерваторовъ на сторону меньшинства. Это мелкое происшествіе является такимъ образомъ въ нѣкоторомъ родѣ признакомъ времени, и можетъ служить мнѣ удобной точкой отправленія для краткаго обзора событій послѣднихъ недѣль.

Снисходительные читатели припомнятъ вопросъ, поставленный мною въ одномъ изъ прежнихъ писемъ, два мѣсяца тому назадъ, а

именно: воспользуются ли консерваторы неоспоримымъ перевѣсомъ, который они имѣютъ, для того только, чтобы дѣйствовать разрушительнымъ образомъ на либеральное законодательство, или попытаются создать что-нибудь свое? Съ перваго взгляда, консервативная партія не имѣла, повидимому, никакой другой программы, какъ, образуя съ центромъ большинство, устроивать все по своему желанію. Поэтому при выборѣ предсѣдателей въ палату депутатовъ они добились, благодаря различнымъ интригамъ, такой замѣчательной комбинаціи, что на президентскомъ креслѣ очутился ультрамонтанъ, рядомъ съ консерваторомъ, въ качествѣ перваго министра, и національ-либераломъ, избраннымъ изъ чисто-техническаго разсчета, что партія либераловъ за свою силу вполнѣ заслуживаетъ президентскаго мѣста. Такимъ образомъ получилось численное превосходство, причемъ однако не вошла въ разсчетъ партія умѣренныхъ консерваторовъ, а именно свободныхъ консерваторовъ, которые во время столкновенія съ ультрамонтанами, несмотря на свою численную слабость, всегда имѣли мѣсто въ предсѣдательствѣ. Вы помните также, что какъ разъ во время президентскихъ выборовъ то-и-дѣло получались извѣстія о близкомъ примиреніи Германіи съ куріей. Новый министръ вѣроисповѣданій фонъ-Путткаммеръ заявилъ уже раньше, при общемъ ликованіи огромной консервативной партіи, что онъ сдѣлаетъ все возможное для прекращенія этой давнишней распри. Пущены были въ ходъ миссіи таинственнаго характера, и отъ самого центра можно было слышать, что въ непродолжительномъ времени обѣ партіи положатъ оружіе. Центръ уже доказалъ свое расположеніе къ князю Бисмарку содѣйствіемъ его таможенной политикѣ. Также и все католическое населеніе Германіи выказало свое великое удовольствіе, по поводу отставки Фалька и назначенія на его мѣсто Путткаммера; да и послѣдній при различныхъ случаяхъ и распоряженіяхъ заявилъ свою готовность удовлетворять всѣ справедливыя жалобы католиковъ, насколько это возможно при существующемъ законодательствѣ; при этомъ, разумѣется, должно въ особенности принять къ свѣдѣнію заявленіе министра, что онъ считаетъ возможнымъ измѣненіе существующихъ законовъ только законнымъ путемъ, что онъ съ своей стороны отнюдь не намѣренъ поступать противно *духу* этихъ законовъ, что онъ скорѣе намѣренъ воспользоваться только тѣмъ полемъ, которое оставляютъ ему законы, чтобы показать католикамъ готовность государства вносить измѣненія въ законы, согласно желаніямъ большинства, пока это удобно.

Областью, въ которой министръ могъ болѣе всего содѣйствовать стремленіямъ ультрамонтанъ, были прежде всего школы. Вслѣдствіе особеннаго стеченія обстоятельствъ, такъ называемая

смѣшанная школа, т.-е. школа, въ которой евангелическія и католическія дѣти воспитывались вмѣстѣ подъ руководствомъ учителей, принадлежавшихъ какъ къ евангелическому, такъ и къ католичеству вѣроисповѣданію, стала щитомъ для либеральной партіи, хотя все дѣло было здѣсь въ практическихъ условіяхъ. Либеральная партія нашла здѣсь случай открыть походъ противъ Путткамера. Въ Эльбингѣ была окончена постройка огромнаго зданія для школы, предпринятая администраціей. Но такъ какъ она предназначалась для смѣшанной школы, то Путкамеръ не далъ своего согласія на петицію нѣсколькихъ эльбингскихъ католиковъ, вслѣдствіе чего предпринятыя мѣры оказались недостаточными и безплодными, такъ какъ школы опять должны были раздѣлиться по вѣроисповѣданіямъ. Эльбингская администрація нашла сильнѣйшую поддержку въ прессѣ, т.-е. въ ея либеральной части, уже имѣвшей значительный перевѣсъ надъ остальною частью, и такъ какъ было сомнительно, чтобы министръ потерпѣлъ матеріальное пораженіе при существующемъ большинствѣ въ палатѣ депутатовъ, то думали по крайней мѣрѣ нанести ему нравственное пораженіе. На дѣлѣ вышло совершенно наоборотъ; Путткамеръ, который, несмотря на нѣсколько неосторожныхъ поступковъ въ началѣ своей министерской дѣятельности, вообще оказался умнымъ и опытнымъ человѣкомъ, сталъ доказывать, что онъ поступилъ совершенно въ духѣ своего предшественника, Фалька, который держался той-же программы — и это, конечно, въ самомъ дѣлѣ справедливо — и постоянно заявлялъ, что смѣшанныя школы вовсе не составляютъ общаго правила; что онѣ терпимы только тамъ, гдѣ этого требуютъ обстоятельства; а въ Эльбингѣ не представляется въ нихъ никакой необходимости; если же эльбингская администрація сошлется на то, что министръ не протестовалъ противъ постройки зданія, назначавшагося для такой школы, то вольно же ей было считать его согласіе несомнѣннымъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ его не было дано. Такимъ образомъ, все происшествіе потеряло характеръ принципіальнаго спора.

Въ палатѣ остается теперь только незначительное меньшинство, желающее предоставить свободу религіозному воспитанію въ школахъ; точно также только незначительное меньшинство особенно ратуетъ за смѣшанныя школы, которыми, полагаютъ, злоупотребляла либеральная партія. Указываютъ, напримѣръ, на замѣчательный случай въ берлинской народной школѣ, гдѣ учительница-еврейка, о вѣроисповѣданіи которой директоръ школы и не подумалъ освѣдомиться, раздѣляла заботы по воспитанію въ духѣ христіанской религіи. Съ другой стороны, можно быть либераломъ и сомнѣваться

въ возможности совмѣстнаго преподаванія нѣкоторыхъ учебныхъ предметовъ, въ родѣ, напримѣръ, исторіи; напримѣръ, совершенно невозможно излагать исторію реформаціи до такой степени объективно, чтобы ученикъ католической школы не получилъ отвращенія къ тому, что̀ будетъ восхвалять протестантъ—и наоборотъ. Вотъ почему огромное число людей, которыхъ не обвиняютъ въ ретроградныхъ стремленіяхъ, желаетъ ограниченія смѣшанныхъ школъ. Я долженъ при этомъ сознаться, что, конечно, консервативное направленіе теперь сильнѣе, чѣмъ годъ тому назадъ, и убѣжденіе въ необходимости религіознаго воспитанія юношества сильно распространено. Слишкомъ долго было бы заниматься отдѣльными фактами этой великой словесной войны. Самое замѣчательное здѣсь то, что министръ д-ръ Фалькъ, на котораго были обращены взоры всѣхъ, и который въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ редактору „Deutsche Revue“ рѣшительно объявилъ о своемъ намѣреніи говорить рѣчь въ палатѣ, теперь совершенно умолкъ. Вслѣдствіе этого Путткаммеръ не только получилъ значительное большинство голосовъ, гораздо больше, чѣмъ самъ могъ ожидать, но и нравственнаго пораженія не потерпѣлъ никакого.

Однако, чтобы побѣда оказалась плодотворной, надо ею воспользоваться для дальнѣйшихъ завоеваній; а этого-то и нѣтъ. Причина того, очевидно, желаніе устроить примиреніе между государствомъ и католической церковью, прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшимъ наступательнымъ дѣйствіямъ; но это примиреніе не состоялось. Хотя отовсюду раздавались увѣренія, что пренія не будутъ прерваны, и что они подаютъ надежды на благопріятный исходъ дѣла; однако вообще настроеніе центра оказалось враждебнымъ, дебаты затягивались безъ конца, при каждомъ удобномъ случаѣ опять выступалъ на сцену „Culturkampf“, и хотя центръ, очевидно, старался не дѣлать непріятностей Путткаммеру и щадить князя Бисмарка, но въ общемъ онъ вернулся къ оппозиціонному положенію, которое занималъ раньше. Положеніе оставалось совершенно неяснымъ, пока двѣ недѣли тому назадъ не появилась въ „Provinzial-Correspodenz“, извѣстномъ за оффиціальный органъ правительства, весьма замѣчательная статья, занимавшая всю печать въ теченіи недѣли, тщетно старавшуюся объяснить ея цѣль. А именно, въ статьѣ говорилось, что совершенно ошибочно дѣлать князя Бисмарка отвѣтственнымъ за церковную политику Пруссіи, что затѣялъ и велъ ее скорѣе исключительно бывшій министръ вѣроисповѣданій, разумѣется, съ согласія всего министерства и съ одобренія его величества императора. Если законы должны подвергнуться измѣненію, то только законнымъ же путемъ, т.-е. съ согласія всѣхъ факторовъ,

министерства, короля и палатъ. Такимъ образомъ, очевидно, что князь Бисмаркъ не безъ умысла снимаетъ съ себя отвѣтственность за прежнюю церковную политику, такъ какъ исторически извѣстно, что ему принадлежитъ инициатива въ Фальковской церковной политикѣ, что онъ распространилъ въ германской имперіи политику, которая господствуетъ въ Пруссіи; и никто не сомнѣвался, что онъ одинъ въ состояніи заключить миръ съ Римомъ. Объяснили эту статью сначала какъ объявленіе войны княземъ Бисмаркомъ Путткаммеру; но различныя обстоятельства противорѣчатъ этому, и гораздо вѣрнѣе предположить, что статья указываетъ на неудачу преній и указываетъ ультрамонтанамъ невозможность исполненія ихъ желаній иначе, какъ посредствомъ измѣненія существующихъ законовъ. Правительство само готово содѣйствовать нѣкоторымъ перемѣнамъ, но затрудненіе въ томъ, что римская курія прежде всего должна признать правильность этихъ законовъ, а между тѣмъ она продолжаетъ отрицать это. Такимъ образомъ, вопросъ становится на принципіальную почву, и требуетъ серьёзнаго разсмотрѣнія. Я уже говорилъ выше, что большинство, принявшее проектъ о церковныхъ колоколахъ, охотно согласилось бы на пересмотръ церковныхъ законовъ, согласно стремленіямъ католиковъ, но министерство въ своемъ настоящемъ составѣ, очевидно, склоняется въ пользу либераловъ и готово препятствовать реакціонерному направленію. Такимъ образомъ, въ сравнительно короткое время,—совершилось замѣчательно прогрессивное движеніе: парламентъ и правительство оказались противниками дальнѣйшей реакціи—и консервативная партія ограничена въ своихъ далеко идущихъ стремленіяхъ. Можно уже теперь предвидѣть, что настоящая сессія окажется для нея безплодной, и нѣтъ никакого основанія думать, что слѣдующія двѣ будутъ имѣть другой результатъ. И другіе признаки указываютъ, что князь Бисмаркъ не думаетъ идти далѣе по консервативному пути; его отношенія къ вождямъ умѣренно-либеральной партіи остались тѣ же, что и прежде; въ особенности въ средѣ національ-либераловъ значительно уменьшилось число тѣхъ, которые могли довести до крайности оппозицію противъ канцлера.

Кромѣ этихъ симптомовъ, указывающихъ на отвращеніе къ реакціи, я долженъ упомянуть еще о двухъ. Въ предыдущемъ письмѣ я уже говорилъ о такъ-называемомъ еврейскомъ вопросѣ, и намѣренъ теперь къ нему вернуться. Въ концѣ прошлаго года онъ достигъ высшей степени своего развитія, и здѣсь, въ Берлинѣ, возбужденіе было очень сильное. Тогда кронпринцъ воспользовался концертомъ, дававшимся въ еврейской синагогѣ въ пользу голодающихъ въ Силезіи, посѣтилъ этотъ концертъ, и при этомъ объяснилъ одному

извѣстному берлинскому еврею, муниципальному совѣтнику Магнусу, что онъ отнюдь не раздѣляетъ вражды къ евреямъ и не согласенъ съ антисемитической лигой и ея стремленіями. Это заявленіе, разумѣется, появилось въ газетахъ, и кронпринцъ еще разъ воспользовался случаемъ объявить, что онъ вполнѣ согласенъ съ нимъ. Другой симптомъ, заслуживающій упоминовенія, слѣдующій: королева покровительствуетъ теперешнимъ народнымъ столовымъ, такъ какъ она вообще употребляетъ большую часть своего досуга и своей дѣятельности на благотворительныя дѣла; время отъ времени она сама посѣщаетъ нѣкоторыя изъ этихъ столовыхъ, главнымъ образомъ, недавно устроенныя. Случилось, что такая столовая была открыта въ одномъ очень отдаленномъ кварталѣ города, населенномъ преимущественно пролетаріями, и притомъ, какъ всѣмъ извѣстно, доставившемъ много членовъ соціальной демократіи. Во главѣ этихъ народныхъ столовыхъ стоятъ различные господа и дамы; одинъ такой господинъ, думая сказать что-то очень остроумное и пріятное для королевы, обратился къ ней съ такими словами: „Ваше Величество, не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ"!—королева спросила его, что онъ хочетъ этимъ сказать. „Я хочу сказать,—отвѣчалъ онъ,—что мы съ большимъ успѣхомъ боролись здѣсь съ соціальной демократіей"; на это королева возразила: „Народныя столовыя есть дѣло благотворительности, которая не имѣетъ ничего общаго съ политикой". Вы видите изъ этого, что различныя обстоятельства преграждаютъ путь дальнѣйшему развитію реакціи. Тѣмъ не менѣе еврейскій вопросъ достигъ слишкомъ большого развитія, чтобы надолго исчезнуть изъ области вопросовъ дня, хотя онъ и затихъ на мгновеніе. Дѣло становится любопытнымъ, если въ городѣ, въ родѣ Берлина, живетъ 45,000 евреевъ, то-есть почти столько же, сколько всего евреевъ во Франціи.

Можно бы было, пожалуй, сказать на это, по примѣру старинной теоріи свободной торговли, что подобнаго рода бѣдствіе должно исправляться само собою; но на это отвѣчаютъ, что такого рода бѣдствія иногда увеличиваются и распространяются всё болѣе и болѣе, если не встрѣчаютъ препятствій. Вѣрно одно, что при ближайшемъ разсмотрѣніи этого случая, выступаютъ дѣйствительно въ высшей степени замѣчательные факты. Тогда какъ всё населеніе Германіи увеличилось отъ 1867 до 1871 г. на 2,37%,—число евреевъ въ отдѣльности возросло на 3,92%. Кромѣ того, оказалось, что еврейское населеніе постоянно оставляетъ провинцію и устремляется въ большіе города, равнымъ образомъ изъ мелкихъ городковъ направляется въ большіе. Берлинъ насчитывалъ въ 1861 году—18,953 еврея, въ 1871 г.—36,000, а теперь за 45,000. Напротивъ, въ про-

винціи Познань, число евреевъ въ эти годы упало отъ 74,349 человѣкъ до 61,982. Далѣе оказывается, что евреи имѣютъ стремленіе къ скопленію въ одномъ мѣстѣ; очень немногіе живутъ разбросанно, большинство стремится въ самый большой и наиболѣе густо населенный городъ округа, вслѣдствіе чего естественно пріобрѣтаютъ бо́льшую силу. Эти статистическія данныя, разумѣется, не извѣстны народу, но тѣмъ большее впечатлѣніе производятъ на него факты, ежедневно бросающіеся ему въ глаза. Напримѣръ, здѣсь въ Берлинѣ адвокатура почти исключительно находится въ рукахъ евреевъ, число евреевъ-судей увеличивается со дня на день, и можно навѣрняка предсказать день, въ который судьи христіанскаго вѣроисповѣданія останутся въ меньшинствѣ. Огромное число врачей—евреи. Въ банкирскомъ мірѣ несоразмѣрность уже чрезвычайно велика; такъ, напримѣръ, въ числѣ четырнадцати членовъ попечительства имперскаго банка, заключающаго въ себѣ богатѣйшія фирмы, 10 или 11 евреи. Въ школахъ численное отношеніе евреевъ къ другимъ ученикамъ гораздо больше, чѣмъ отношеніе всѣхъ евреевъ къ общей суммѣ населенія; и притомъ ихъ интересы вообще противоположны интересамъ массы, борящейся за существованіе. Съ такими фактами должно считаться, ихъ нельзя игнорировать, и можно съ опасеніемъ предвидѣть минуту, когда народъ какимъ бы то ни было образомъ обратится къ „самопомощи“,—на этотъ счетъ нельзя обманывать себя никакими человѣколюбивыми соображеніями. Въ восточныхъ провинціяхъ лучше всего замѣтно, какое огромное различіе между еврейскимъ вопросомъ въ Германіи и въ Англіи или Франціи; а именно замѣтно постоянное стремленіе съ востока. Евреи постоянно приливаютъ черезъ восточныя области, по большей части безъ всякихъ средствъ и образованія; здѣсь они дѣлаютъ свои первыя пріобрѣтенія. Правительственный округъ Познань насчитывалъ въ 1875 г. за 40,000 евреевъ, Бромбергъ—22,000, а Оппельнъ 23,000. Бо́льшая часть этого еврейскаго населенія, достигнувъ уже въ первомъ или второмъ поколѣніи извѣстнаго благосостоянія, направляется съ своими богатствами далѣе, на западъ, освобождая мѣсто для наплыва новыхъ массъ. Такимъ образомъ, объясняется и то обстоятельство, что въ равные промежутки времени число евреевъ увеличивается въ четырнадцать разъ, тогда какъ общая сумма населенія со включеніемъ евреевъ въ то же время увеличивается только въ шесть разъ. И это не ограничивается одною Германіею, но всякій, кто, живя въ большихъ городахъ Пруссіи, значительно увеличилъ свое состояніе, направляется всё дальше и дальше, такъ что въ западныхъ странахъ континента обитаютъ не одни только испанскіе или португальскіе евреи, какъ думаютъ многіе, но и явившіеся съ востока, про-

шедшіе черезъ фильтръ трехъ или четырехъ цивилизацій. Съ этимъ страннымъ переселеніемъ соединено также передвиженіе имуществъ, и представляется важный вопросъ: уравновѣшиваетъ ли пребываніе евреевъ въ Германіи во время ихъ переѣздовъ капиталы, которые они извлекаютъ и увозятъ изъ страны. Съ точки зрѣнія политической экономіи тутъ происходитъ то же самое, что при переселеніи въ Америку, которое въ теченіи стольких лѣтъ похищало изъ Германіи огромные капиталы и много содѣйствовало ея отсталости отъ богатыхъ сосѣдей по національному богатству. Поэтому былъ даже поднятъ вопросъ, нельзя ли законодательнымъ путемъ положить какой-нибудь предѣлъ наплыву евреевъ съ востока; но пока никакого практическаго результата не достигнуто; я долженъ упомянуть объ этомъ проектѣ только потому, что въ теченіи недѣли онъ держалъ, можно сказать, всю прессу въ волненіи, породилъ массу брошюръ; наконецъ, потому, что самъ народъ сильно волновался, какъ здѣсь, такъ и въ Бреславлѣ; это два больныхъ мѣста, отъ которыхъ можно ожидать еще худшаго. Но въ то же время понятно, что, напримѣръ, придворный проповѣдникъ Штёкеръ, стоящій во главѣ агитаціи, сдѣлался немного осмотрительнѣе послѣ заявленія кронпринца, и, вообще, я не думаю, чтобы въ ближайшіе мѣсяцы могло что-нибудь случиться.

Я намѣренъ теперь, по возможности вкратцѣ, заняться преніями ландтага. Они прошли при огромномъ большинствѣ голосовъ, и такъ какъ аппетитъ приходитъ съ ѣдою, то правительство сочинило новый проектъ, который также долженъ быть представленъ въ эту сессію и, конечно, также будетъ принятъ, а именно перевести въ руки государства Рейнскую и Берлинъ-Потсдамъ-Магдебургскую желѣзныя дороги. О возможныхъ послѣдствіяхъ всего этого предпріятія говорилось уже такъ много, что я не буду прибавлять отъ себя; фактъ совершился, и всѣ, даже несогласные, примкнули къ нему гораздо легче, чѣмъ можно было думать. Финансовыя силы получили свою выгоду черезъ это превращеніе и должны были примириться съ тѣмъ, что министръ торговли Майбахъ назвалъ биржу ядовитымъ деревомъ, какъ разъ въ ту минуту, когда безъ помощи этого ядовитаго дерева онъ былъ бы лишенъ всякой возможности достигнуть огосударствленія желѣзныхъ дорогъ. Эти господа положили деньги въ карманъ, подумавъ при этомъ: „Non olet“.

Гораздо важнѣе этого такъ-называемые административные проекты, которыми министръ внутреннихъ дѣлъ, графъ Эйленбургъ, по истинѣ поразилъ палату депутатовъ. Какъ вамъ извѣстно, законодательство уже не одно десятилѣтіе стремится ввести въ управленіе принципъ самоуправленія; счастливѣйшей попыткой въ этомъ родѣ считалось до

сихъ поръ окружное уложеніе, введенное однако только въ пяти старыхъ прусскихъ провинціяхъ, такъ какъ правительство постоянно удерживалось отъ распространенія его на остальныя, а именно рейнскія провинціи, опасаясь, что ультрамонтаны, имѣющіе въ этихъ провинціяхъ перевѣсъ надъ остальнымъ населеніемъ, воспользуются предоставляемыми имъ правами для усиленія своей оппозиціи правительству. Кромѣ окружного положенія, появилось нѣсколько лѣтъ спустя провинціальное уложеніе, которое, впрочемъ, еще болѣе чѣмъ предыдущее подверглось упрекамъ въ неудобствѣ и дороговизнѣ. Однако же полная система управленія еще не выработалась, и министры отдѣлывались на этотъ счетъ обѣщаніями, которыхъ не исполняли. Когда теперешній министръ, графъ Эйленбургъ—еще молодой и очень сильный человѣкъ—принялъ на себя министерство внутреннихъ дѣлъ, онъ усердно занялся этимъ дѣломъ, и дѣйствительно въ началѣ прошлаго мѣсяца представилъ въ палату депутатовъ четыре объемистыхъ законопроекта.

Не будучи въ состояніи разсмотрѣть всѣ подробности этого закона, я однако хочу по крайней мѣрѣ изложить его сущность. Первый и важнѣйшій законопроектъ трактуетъ объ организаціи общаго управленія страны. Во-первыхъ, онъ содержитъ постановленіе о раздѣленіи государства въ административномъ отношеніи на провинціи, области и округи, чѣмъ почти не отличается отъ существующей системы, да и вообще, кстати замѣчу, все существующее по возможности сохраняется. Далѣе онъ толкуетъ объ администраціи. Во главѣ всей вообще администраціи стоитъ министръ, въ *провинціяхъ*—оберъ-президентъ, въ *областяхъ*—областной президентъ, въ *округахъ*—ландратъ. Само собою разумѣется, что всѣ эти должностныя лица внутри круга своихъ дѣйствій ведутъ дѣла по управленію подъ полною личною отвѣтственностью; однако на ряду съ ними стоитъ мѣстное начальство, избираемое по принципу самоуправленія, а именно подлѣ оберъ-президента—провинціальный совѣтъ, подлѣ областного президента—областной совѣтъ, подлѣ ландрата—окружной комитетъ. Провинціальный совѣтъ, — чтобы указать по крайней мѣрѣ на одномъ примѣрѣ характеръ этого такъ-называемаго самоуправленія—состоитъ изъ оберъ-президента, изъ одного высшаго чиновника, назначаемаго министромъ внутреннихъ дѣлъ на мѣсто оберъ-президента, и изъ пяти членовъ окружного комитета, нынѣ уже существующаго. Таковъ же точно составъ областного совѣта, въ которомъ предсѣдательствуетъ правительственный президентъ, равно какъ и окружного комитета.

Одновременно съ стремленіемъ къ самоуправленію въ Пруссіи утвердилось убѣжденіе, созданное ученіемъ профессора Гнейста, пе-

редѣланнымъ изъ англійской правительственной системы,—убѣжденіе въ необходимости судей, для рѣшенія споровъ между исполнительной властью и корпораціей представителей; такъ какъ, если рѣшенія будутъ исходить отъ исполнительной инстанціи, какъ это и было у насъ прежде, то, само собою разумѣется, права, а вмѣстѣ съ тѣмъ и исполнительная способность защищаемой корпораціи будутъ крайне стѣснены. Въ этомъ отношеніи новыми законоположеніями допускается жалоба на опредѣленія мѣстнаго и окружного полицейскаго начальства, а именно жалоба подается прежде всего ландрату, а на рѣшенія этого послѣдняго аппелируется президентамъ, а на нихъ въ свою очередь—оберъ-президентамъ, и, наконецъ, верховному правительственному суду, высшей инстанціи во всѣхъ административныхъ недоразумѣніяхъ. Притомъ этотъ судъ дѣйствуетъ уже давно и послужитъ однимъ изъ самыхъ существенныхъ факторовъ для дальнѣйшаго развитія правительственной системы. Созданіе графа Эйленбурга, подвергшись сперва предварительному чтенію, подало поводъ къ трехдневнымъ дебатамъ. Было бы слишкомъ долго даже вкратцѣ излагать здѣсь существенныя черты этихъ преній. Всѣ партіи охотно признали добрыя намѣренія министра, но съ другой стороны признали также полную невозможность на скорую руку рѣшить такую массу мелочей, и консервативная партія такъ же рѣшительно, какъ и всѣ остальныя, высказала свои сомнѣнія. Напротивъ того, министръ, согласно съ правительствомъ, очень энергически выразилъ свое желаніе,—не откладывать еще разъ этого важнаго дѣла въ долгій ящикъ, но привести его къ окончанію въ эту же сессію. Возможно ли это—не рѣшусь утверждать; во всякомъ случаѣ сессія обѣщаетъ быть очень продолжительной, и такъ какъ уже въ половинѣ слѣдующаго мѣсяца снова соберется рейхстагъ, то можно думать—лѣтомъ состоится добавочная сессія.

Не только многочисленныя жалобы заинтересованныхъ сторонъ на злоупотребленіе парламентаризмомъ, которое дѣйствительно представляетъ огромныя невыгоды, вселяя въ народѣ, и именно въ образованныхъ классахъ—крайнее равнодушіе къ парламентскимъ событіямъ, но и чисто теоретическое размышленіе противорѣчатъ намѣренію правительства установить двухлѣтніе штаты и созывать обѣ великія парламентскія корпораціи не ежегодно, но каждые два года. Въ современныхъ конституціонныхъ государствахъ, и именно въ самыхъ значительныхъ—мы имѣемъ передъ глазами Англію, Францію, Италію — парламентъ постоянно собирается ежегодно. Однако не должно упускать изъ виду совершенно исключительныхъ условій германской жизни; здѣсь, рядомъ съ рейхстагомъ, для каждой области существуетъ свой ландтагъ, вслѣдствіе чего парламентская жизнь почти не пре-

кращается. Масса этихъ представительствъ самоуправленія, которыя находятся въ тѣсной связи со всѣми сторонами общественной жизни и заявляютъ притязанія на каждаго, кто только пользуется какимъ-нибудь образованіемъ или имуществомъ, въ такой мѣрѣ, которая весьма мало уступаетъ тяготѣ, налагаемой на гражданъ общей воинской повинностью. До сихъ поръ опытъ всегда указывалъ, что само правительство вынуждено созывать какъ рейхстагъ, такъ и ландтагъ, и при настоящихъ, крайне измѣнчивыхъ политическихъ обстоятельствахъ, невозможно предусмотрѣть и можно объ этомъ сожалѣть — когда, наконецъ, установится этотъ двухлѣтній періодъ парламентской дѣятельности, причемъ въ дѣйствительности осуществится возможность созывать за-разъ только одинъ парламентъ или рейхстагъ или ландтагъ.

Гораздо легче для правительства было управиться съ такъ-называемой безкормицей въ Силезіи. Безкормица обнаружилась прошлою осенью. Не стану разбирать, могла ли администрація позаботиться объ этомъ раньше, чѣмъ она это сдѣлала. Что она не торопилась сознаться въ истинѣ, хотя позаботилась о своевременной доставкѣ свѣдѣній о дѣйствительномъ положеніи дѣлъ—этого ни одна сторона не станетъ отрицать. Свобода прессы, свобода собраній и ничѣмъ неограниченная въ Пруссіи гласность, понятно, дѣлаютъ невозможною такую систему умолчанія въ теченіи долгаго времени, при какихъ бы-то ни было обстоятельствахъ; такимъ образомъ, это замедленіе могло быть только очень кратковременнымъ. Можетъ быть, было замѣтно сначала, что правительство возставало противъ первыхъ требованій и не совсѣмъ охотно соглашалось признать существованіе нужды, но какъ только изъ Вреславля получились первыя положительныя извѣстія, по всей странѣ раздался громкій кличъ, и благотворительность была организована въ очень обширныхъ размѣрахъ. Она сосредоточилась въ патріотическихъ женскихъ обществахъ, которыя подъ покровительствомъ королевы уже въ послѣднюю войну развили значительную дѣятельность,—теперь же распространены по всей Германіи, а въ Силезіи особенно многочисленны и хорошо организованы. Во главѣ ихъ также стоятъ сановныя лица; особенно выдается по своей дѣятельности бывшій министръ Фриденталь, обладающій чрезвычайнымъ организаторскимъ талантомъ. — На ряду съ этими обществами выступали и органы самоуправленія, окружные, областные, провинціальные. Провинціальный комитетъ и провинціальное собраніе, два высшихъ изъ этихъ органовъ, выступили сообща, для разсмотрѣнія извѣстій и распредѣленія капиталовъ сообразно съ этими извѣстіями. Императоръ предоставилъ провинціи для этой благотворительной цѣли значительныя суммы, собранныя въ юбилей

его золотой свадьбы, для основанія какого-нибудь учрежденія въ память этого дня; значительная часть обширныхъ средствъ провинціи была употреблена въ пользу нуждающихся, и женскія общества собрали въ Германіи и заграницей значительныя суммы, употребленныя для той же цѣли. Однако съ самаго начала было признано, что государство также должно явиться на помощь, и потому правительство издало указъ, которымъ уполномочивалось выдать 6.000,000 марокъ для облегченія бѣдствія—для покупки хлѣба, корма для скота и сѣмянъ; въ то же время оно предоставляло себѣ остальные $12^1/_2$ милліоновъ, и намѣревалось употребить ихъ главнымъ образомъ для постройки желѣзной дороги, которая не только доставитъ заработокъ жителямъ нуждающагося округа, впрочемъ не особенно обширнаго—о чемъ не нужно забывать—но и послужитъ средствомъ къ развитію благосостоянія страны—благодѣтельное послѣдствіе самой нужды. Въ палатѣ депутатовъ этотъ проектъ, разумѣется, вызвалъ оживленныя пренія: богатые силезскіе землевладѣльцы, принадлежащіе къ партіи свободныхъ консерваторовъ и занимающіе такимъ образомъ средину между національ-либералами и консерваторами, не могли отказаться отъ кое-какихъ возраженій, и такимъ образомъ происходили горячія словопренія о необходимости той или другой желѣзно-дорожной линіи; но о несогласіи на проектъ не было и рѣчи.

Замѣчательное противорѣчіе представляютъ два направленія, по которымъ въ послѣднее время движется внутреннее государственное управленіе. Съ одной стороны—переходъ желѣзныхъ дорогъ въ руки государства, мѣра, что̀ ни говорите, соціально-демократическая; съ другой стороны—законодательство, безъ сомнѣнія желающее окончательно устроить самоуправленіе. Если оппозиція приписываетъ правительству дурные умыслы въ этомъ отношеніи, то не должно забывать, что границы между самоуправленіемъ и правительствомъ всегда неопредѣленны, и что каждый опредѣляетъ эти границы, смотря по своему политическому направленію.

Точка зрѣнія данной партіи не играетъ при этомъ особенной роли. Можно представить себѣ консерватора, который въ этомъ случаѣ окажется очень либеральнымъ, и либерала, который будетъ стремиться къ ограниченію самоуправленія. Укажемъ хотя бы на Францію, гдѣ самоуправленіе никогда не могло приняться; и гдѣ именно либеральная партія, а также люди, вышедшіе изъ высшаго сословія, во имя либерализма или свободы старались всячески ограничить самоуправленіе. Наоборотъ, обезславленные германскіе феодалы всегда были, собственно говоря, сторонниками самоуправленія, и даже иногда, когда государство было еще не такъ сильно, какъ теперь, сопротивлялись ему съ оружіемъ въ рукахъ,—припомнимъ

только, какъ трудно было отдѣльнымъ правителямъ государства сломить упрямое дворянство Бранденбурга.

О сущности перехода желѣзныхъ дорогъ въ руки государства, конечно, много спорили, и правительство, само-собою разумѣется, отрицаетъ соціально-демократическій характеръ этой мѣры. Но такъ какъ основной принципъ соціализма требуетъ, чтобы человѣческая дѣятельность внутри государства была возможно болѣе регулирована и руководима,—то должно согласиться, что чрезвычайное умноженіе чиновниковъ, совершающееся повсюду въ послѣднее десятилѣтіе, есть шагъ впередъ по соціально-демократической дорогѣ. Чѣмъ болѣе въ государствѣ чиновниковъ, тѣмъ болѣе порабощаются всѣ стороны жизни, тѣмъ менѣе остается свободы для индивидуума. Соціальная демократія хочетъ предварительно уничтожить эту свободу, считая несомнѣннымъ, что служитъ только къ порабощенію слабаго сильнымъ. Весьма жалко, что борьба германскаго народа за политическую силу и свободу не особенно пріятна для другихъ націй, потому ли, что въ характерѣ нѣмца вообще недостаетъ симпатическихъ чертъ, или, можетъ быть, потому, что германская парламентская исторія не отличается драматическимъ характеромъ, и, въ сущности говоря, утомительна и скучна при чтеніи, являясь чѣмъ-то родѣ ученой книги. Ни одинъ нѣмецъ еще не позаботился сдѣлать эту исторію сколько-нибудь удобоваримой для чтенія для своего народа или для чужихъ странъ, хотя въ теченіи трехъ десятилѣтій, начиная съ 1848 г., на парламентскую дѣятельность было затрачено очень много ума и труда; и если кто станетъ увѣрять, что эта парламентская дѣятельность принесла очень мало или даже совсѣмъ не принесла результатовъ, что депутаты въ рейхстагѣ и парламентѣ только плясали по дудкѣ правительства, или, собственно говоря, князя Бисмарка, то я приведу въ опроверженіе хотя бы тотъ аргументъ, что, конечно, не много сотенъ лицъ, занимающихъ самое высокое положеніе въ обществѣ, пользующихся благосостояніемъ, согласились бы хоть годъ проработать въ этомъ колесѣ, не находя въ этой работѣ духовнаго удовлетворенія. Въ рейхстагѣ депутатамъ не полагается содержанія, въ ландтагѣ оно сравнительно такъ ничтожно, что при дороговизнѣ жизни въ Берлинѣ можетъ соблазнять только очень немногихъ. Теперь уже не можетъ случиться того, что было въ 1848 г., когда польскіе крестьяне, посланные въ національное собраніе, сдѣлали такія сбереженія изъ выдававшагося имъ содержанія, что вернулись въ свои деревни состоятельными людьми, и такимъ образомъ ихъ выборы послужили имъ отчасти для обогащенія. Было бы самымъ отъявленнымъ кретинизмомъ, еслибъ эти способнѣйшіе люди націи дѣйствительно должны были работать столь долгое время, ничего не до-

стигая, и не могли рѣшиться положить конецъ этому жалкому шарлатанству. Но это не такъ, и каждый честный наблюдатель справедливо замѣтитъ, что Германія сдѣлала очень значительные успѣхи. А что движеніе совершалось не мелодраматическими скачками, такъ это можетъ огорчить только любителя историческихъ романовъ; для развитія же свободы это выгодно. Одинъ изъ самыхъ рѣшительныхъ берлинскихъ депутатовъ крайней лѣвой, Людвигъ Лёве, радикализмъ котораго внѣ всякаго сомнѣнія, долженъ былъ въ этомъ году провести нѣсколько мѣсяцевъ въ Италіи, для поправленія здоровья. Недавно онъ вернулся оттуда, и тотчасъ возобновилъ свою политическую дѣятельность, между прочимъ говорилъ рѣчи въ различныхъ обществахъ для содѣйствія прогрессу,—рѣчи, какъ нельзя болѣе либеральныя, въ которыхъ онъ не щадилъ правительство и современную систему. При этомъ однако онъ не могъ не замѣтить, какъ сильно поразило его, что въ Италіи, несмотря на то, что парламентаризмъ и конституціонализмъ съ формальной стороны стоятъ въ ней безконечно выше, чѣмъ въ Германіи,—основы истинной и прочной свободы гораздо болѣе шатки, чѣмъ у насъ. Въ Италіи, при существующихъ обстоятельствахъ, и уже съ 1848 г. министерству невозможно бороться съ большинствомъ въ парламентѣ, что̀ въ Германіи, и преимущественно въ Пруссіи, уже издавна стало общимъ правиломъ. Въ Италіи и Франціи существуетъ та разница въ отношеніяхъ, что національное стремленіе къ внѣшнимъ завоеваніямъ гораздо сильнѣе. Мы видимъ, какъ яростно боролись между собою французскія партіи со времени войны 1870—71 г., даже въ представительныхъ собраніяхъ, и въ то же время, съ какимъ единствомъ онѣ относятся къ вопросу о военной силѣ, такъ что всѣ требованія правительства въ этомъ отношеніи принимались безпрекословно. Въ Италіи стремленіе къ расширенію границъ также никогда не прекращалось въ послѣднія тридцать лѣтъ. И итальянцы также громко требуютъ теперь южнаго Тироля и Тріеста, какъ прежде требовали Ломбардію и Венецію. Эти стремленія распространены по всей странѣ и служатъ важнымъ элементомъ объединенія, тогда какъ въ Германіи они совершенно отсутствуютъ. Я не стану обращаться къ новѣйшей эпохѣ, но возьму примѣръ изъ болѣе отдаленнаго времени, когда въ Германіи было совсѣмъ не то, что̀ теперь. Всѣмъ извѣстно и исторически вѣрно, что князь Бисмаркъ въ дѣлѣ Шлезвигъ-Гольштейна въ первое время проводилъ завоевательную политику почти безъ всякой поддержки. Прусская палата депутатовъ въ то время не находила словъ для выраженія своего глубокаго негодованія на эту политику. Одинъ изъ самыхъ умѣренныхъ депутатовъ, докторъ Симсонъ, нынѣ президентъ верховнаго имперскаго суда въ Лейпцигѣ, говорилъ еще

въ 1865 г., по случаю толковъ о присоединеніи герцогствъ — какъ извѣстно, объединеніе герцогствъ и ихъ присоединеніе къ Пруссіи осуществилось только послѣ войны съ Австріей — что онъ хочетъ облегчить свою совѣсть, заявивъ, что эта завоевательная политика противорѣчитъ духу націи, и что онъ ужасается ей отъ глубины души. Его тогдашняя рѣчь изобилуетъ подобными сильными выраженіями. Въ то же время или немного раньше, Бисмаркъ, какъ извѣстно, получилъ первую поддержку въ своей завоевательной политикѣ въ адресахъ Шлезвигъ-Гольштейнскаго дворянства, и говорилъ рѣчь въ ея пользу передъ лондонской конференціей. Когда дружественная сторона представляла ему сомнительность поддержки, даваемой этими адрессами, онъ сказалъ, что держится правила спускать всѣхъ собакъ, которыя готовы лаять (извѣстное охотничье выраженіе), и что онъ вообще поступалъ бы совершенно иначе, еслибъ въ германскомъ народѣ было хоть сколько-нибудь сильнѣе развито стремленіе къ внѣшнимъ пріобрѣтеніямъ, тогда какъ оно должно содѣйствовать развитію національнаго чувства. Судьба Германіи—съ чрезвычайнымъ жаромъ и до конца защищать всѣ великіе вопросы, волнующіе міръ: тридцатилѣтняя война служитъ самымъ печальнымъ примѣромъ этого, такъ какъ ни одна страна Европы не потерпѣла столько отъ окончательнаго объясненія католицизма съ реформаціей, какъ Германія. И самая реформація за сто лѣтъ до этой войны нигдѣ не имѣла такого глубокаго вліянія на политическое устройство страны, какъ въ Германіи.

Припомнимъ, что и въ послѣднія десятилѣтія школа свободной торговли достигла въ Германіи почти полнаго и неограниченнаго господства и повсюду принималась со всѣми своими самыми крайними послѣдствіями. Самопомощь была лозунгомъ, способнымъ исцѣлить всѣ соціальныя бѣдствія; предоставить свободу самодѣятельности—вотъ отнынѣ единственная задача правительства. Наивысшаго развитія достигла эта школа, когда извѣстный депутатъ Шульце основалъ свои знаменитыя товарищества, достигшія даже въ теченіи нѣкотораго времени огромнаго развитія и принесшія въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ неоспоримую пользу; теперь они только кое-какъ прозябаютъ и, безъ сомнѣнія, клонятся къ паденію и со временемъ исчезнутъ.

Какъ разъ въ то время, когда эта школа стояла на высотѣ своего могущества, въ Германіи опять совершилось замѣчательное событіе: политико-экономическая наука открываетъ противъ него походъ. Ни въ одной странѣ не существуетъ того, что́ называется въ Германіи Kathedersocialismus; профессоры университетовъ, высокообразованные, даровитые люди выступаютъ повсюду противниками

свободы промышленности и требуютъ сохраненія права и вліянія государства, указывая на коренные недостатки всякой экономической организаціи, основанной на неограниченной индивидуальной свободѣ, объясняя, что дѣйствительными послѣдствіями такой системы является повсемѣстное порабощеніе слабаго сильнымъ, тогда какъ правительство всегда и повсюду обязано защищать слабаго отъ сильнаго. Наиболѣе блестящій представитель этого направленія, извѣстный профессоръ Шеффле, бывшій даже долгое время министромъ въ Австріи, въ своей популярной и наиболѣе распространенной книгѣ, о которой я не разъ упоминалъ и въ прежнихъ своихъ письмахъ, призналъ справедливыми почти всѣ требованія соціальной демократіи и порицалъ только выводы, которые она дѣлаетъ изъ этихъ требованій, какъ слишкомъ далеко идущіе. Либеральная партія вообще явилась враждебной этому ученію, и не безъ основанія упрекаетъ правительство въ содѣйствіи развитію соціализма. Впрочемъ, можетъ быть, это только споръ о словахъ, такъ какъ, естественно, правительство не могло содѣйствовать развитію той соціальной демократіи, которая развилась до такой степени, что вызвала противъ себя исключительные законы, но, дѣйствительно—умышленно или неумышленно—содѣйствовало развитію въ средѣ рабочаго сословія вражды къ принципу неограниченной экономической свободы. Точно также тщетно стали бы искать какого-нибудь случая, при которомъ правительство заявляло бы или намекало о своемъ намѣреніи противодѣйствовать стремленіямъ соціальной демократіи, пока она дѣйствуетъ въ законныхъ предѣлахъ, и дѣйствительно оно не дѣлало этого. Правительство въ Пруссіи имѣетъ за себя традицію, что главнѣйшая обязанность королевской власти защищать слабаго отъ сильнаго. Политика и политическая экономія замѣчательно перепутались между собою. При переходѣ желѣзныхъ дорогъ въ руки государства либеральная партія также преимущественно безпокоилась тѣмъ, что огромное число новыхъ чиновниковъ придадутъ правительству огромную силу. При этомъ упустили изъ виду, что чрезмѣрное увеличеніе числа чиновниковъ, естественно, придастъ силу и самимъ чиновникамъ. Соціальная демократія стремится даже все въ государствѣ регулировать посредствомъ правительства, которое, такимъ образомъ, въ случаѣ осуществленія ихъ стремленій, пріобрѣтетъ неограниченную силу. Приверженцы соціальной демократіи не такъ глупы, чтобы желать подобной организаціи; они скорѣе думаютъ, весьма справедливо, что тамъ, гдѣ весь народъ до нѣкоторой степени превратился въ чиновниковъ, эти чиновники все же останутся народомъ, воля котораго не можетъ не имѣть вліянія на правительство. Либеральные листки, каждый разъ, какъ соціальная демократія ка-

кимъ-нибудь энергическимъ образомъ заявить о своемъ существованіи,—такъ, напримѣръ, недавно въ богатомъ городѣ Магдебургѣ она одержала побѣду надъ либералами—торжествуютъ, видя въ этомъ доказательство полнѣйшей недѣйствительности правительственныхъ мѣръ. Но правительство, конечно, и не думало задавить и навсегда уничтожить этими мѣрами принципъ соціальной демократіи, оно хотѣло только прекратить крайности, которымъ эта партія предается уже два года, и которыя необходимо должны повлечь за собой революцію. Къ этому оно было вынуждено, главнымъ образомъ, отсутствіемъ дѣятельной поддержки со стороны либеральныхъ классовъ въ своей борьбѣ съ этими крайностями. Эти либеральные классы продолжаютъ требовать свободы pur et simple во всякомъ случаѣ, они никогда не признаютъ, что ихъ интересы требуютъ содѣйствія правительству, но съ удовольствіемъ видятъ затрудненія, которыя ему доставляетъ соціально-демократическое движеніе, точно также какъ и церковный конфликтъ, и стремятся воспользоваться обоими случаями, чтобы достигнуть исполненія своей формальной, политической свободы.

Эта борьба еще далеко не кончилась, и даже почти невозможно предсказать, какимъ путемъ она пойдетъ дальше и какія фазы переживетъ. Въ современномъ мірѣ и въ высоко-образованномъ государствѣ стремленіе къ политической свободѣ никогда не прекратится, и точно также никогда не прекратится въ рабочихъ классахъ стремленіе къ улучшенію своего положенія. Такія мѣры, какъ исключительные законы, по своей природѣ скоропреходящи; это признаютъ всѣ, и либеральныя партіи постоянно толкуютъ, что зло должно быть вырвано съ корнемъ; но лишь только они переходятъ къ необходимымъ для этого практическимъ мѣрамъ, тутъ-то и обнаруживается несостоятельность, ибо до сихъ поръ соціаль-демократы оставались глухи ко всякимъ попыткамъ, привлечь ихъ на сторону иной какой-либо экономической системы. Совершенно несправедливо думаютъ многіе, что соціальная демократія достигла такого сильнаго развитія, благодаря плохимъ временамъ; напротивъ, во времена изобилія и благосостоянія она дѣлала блестящіе успѣхи; и если справедливо, что голодный человѣкъ скорѣе рѣшится на отчаянныя дѣла, чѣмъ сытый, то, въ свою очередь, сытый болѣе способенъ къ спокойной, продолжительной, упорной борьбѣ, чѣмъ тотъ, котораго гонитъ отчаяніе, и силы котораго истощены нуждой. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ прекращается борьба въ человѣческой жизни, какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и государствъ? Каждый день приноситъ новыя задачи, новое положеніе вещей; сегодня думаешь, что достигъ цѣли своихъ

стремленій, завтра оказывается, какъ несовершенно было сдѣланное, и какія новыя требованія заявляетъ жизнь.

Я не касался внѣшней политики, хотя именно въ послѣднее время въ ней происходитъ сильное движеніе. Одно время царствовало довольно мрачное настроеніе, вызванное уже достаточно извѣстными вамъ и, безъ сомнѣнія, имѣющими нѣкоторое фактическое основаніе, слухами о разрывѣ между русскимъ и нѣмецкимъ правительствами, и именно между верховными государственными людьми обоихъ государствъ, слухами, дошедшими, наконецъ, до того, что приписывали русскому правительству сосредоточеніе войскъ на границѣ съ Пруссіей. Хотя эти слухи постоянно оказывались ложными, но каждый разъ возобновлялись снова. Я не могу перечислить ихъ всѣхъ, тѣмъ болѣе, что теперь энергическія и основанныя на оффиціальныхъ источникахъ опроверженія подаютъ надежду на лучшія времена. Благомыслящіе и умѣренные кружки въ Россіи и Германіи должны и безъ того понимать, какимъ великимъ бѣдствіемъ не только для обоихъ этихъ странъ и народовъ, но и для всей Европы, будетъ война между двумя сосѣдями, такъ долго жившими въ мирѣ и согласіи. Война, во всякомъ случаѣ, есть только крайнее средство, весьма сомнительнаго достоинства, чтобы своротить дѣло на новую дорогу съ прежней старой. По мнѣнію профессоровъ государственнаго права, которое можетъ быть только отраженіемъ общественнаго сознанія, подобное средство вполнѣ законно только въ случаѣ защиты противъ насильственнаго вторженія; а даже въ самые критическіе моменты настоящаго положенія дѣлъ, въ Германіи соглашались, что интересы обоихъ государствъ могутъ быть удовлетворены безъ всякаго военнаго столкновенія. Между тѣмъ, дипломатическая война между обоими государствами, если о таковой можетъ быть рѣчь, совершается подъ покровомъ непроницаемой тайны, и только очень немногія лица имѣютъ возможность получать точныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ фазахъ ея.

Другое дѣло—относительно Франціи, гдѣ внѣшняя политика подъ вліяніемъ національнаго собранія ведется открыто, и проходитъ черезъ всѣ фазы своего развитія до извѣстной степени на глазахъ всей публики. Нѣмецкая политика, или, собственно говоря, политика князя Бисмарка по отношенію къ Франціи покоится на томъ принципѣ, что республиканская форма правленія во Франціи есть наивыгоднѣйшая для Германіи. И не потому, чтобы это республиканское правленіе заключало въ себѣ элементъ слабости для Франціи, какъ увѣряютъ французскіе реакціонеры, но просто потому, что, по убѣжденію германскаго правительства, за республикой можетъ послѣдовать только легитимистское, орлеанистское, или чисто-военное правительство, а каждое изъ нихъ въ самомъ себѣ носитъ необходимость наступа-

тельной политики противъ Германіи, гораздо бо́льшую, чѣмъ республика. Всѣ знаютъ, съ какимъ трудомъ удалось Бисмарку убѣдить монарха въ необходимости такого взгляда на вещи; никогда положеніе Бисмарка при королѣ не было такимъ критическимъ, какъ въ то время, когда графъ Арнимъ, бывшій посланникъ въ Парижѣ, принялъ сторону противниковъ Бисмарка и ратовалъ за политику, враждебную французской республикѣ.

Положеніе, что монархическіе интересы государствъ совпадаютъ, и что монархіи находятъ общаго врага въ республикѣ, защищалось, падало и снова поднималось уже въ теченіи цѣлаго столѣтія, и кажется такимъ неопровержимымъ, что, очевидно, никогда не исчезнетъ вполнѣ изъ политическихъ разсчетовъ. Такъ всегда бываетъ въ политикѣ; разъ выбранъ который-нибудь изъ двухъ путей, невозможно доказать, что другой не привелъ бы къ еще лучшимъ результатамъ. При каждомъ затрудненіи въ отношеніяхъ между Германіей и Франціей раздаются голоса, обвиняющіе князя Бисмарка въ томъ, что онъ избралъ ложный путь; и замѣчательная непослѣдовательность—эти голоса раздаются именно со стороны либеральной партіи, которой, наоборотъ, слѣдовало бы раздѣлять воззрѣнія Бисмарка. Но тутъ играетъ большую роль недовольство Бисмаркомъ, о которомъ я уже говорилъ, и которое все болѣе и болѣе распространяется въ извѣстныхъ кружка́хъ, разумѣется, все еще небольшихъ, считающихъ невозможнымъ быстрое и плодотворное развитіе внутренней политики въ духѣ свободы, пока Бисмаркъ руководитъ дѣлами. Отношенія къ Франціи въ послѣднее время приняли вполнѣ мирный и дружественный характеръ. Твердость, съ которою Ваддингтонъ въ Парижѣ и графъ Сенъ-Валлье здѣсь стояли за мирную и дружественную политику, уничтожили безпокойство, вызванное чрезмѣрнымъ увеличеніемъ могущества Гамбетты. Безъ сомнѣнія, французы не отказались и, вѣроятно, очень долго не откажутся отъ желанія возмездія; но князь Бисмаркъ основывается на правильной и единственно возможной точкѣ зрѣнія, что нужно стараться сохранять миръ, какъ можно дольше, и что каждый лишній годъ мира есть гарантія для дальнѣйшаго сохраненія его. Однако, этотъ разсчетъ, повидимому, поколебался при послѣдней перемѣнѣ министерства во Франціи. На мѣсто Ваддингтона былъ назначенъ Фрейсине, получившій извѣстность со времени послѣдней войны, какъ вѣрный помощникъ Гамбетты; на мѣсто графа Сенъ-Валлье долженъ былъ вступить Шаллемель-Лакуръ, воинствующій республиканецъ, если можно такъ выразиться. Послѣднее назначеніе произвело большой переполохъ. Графъ Сенъ-Валлье, получивъ извѣстіе о назначеніи новаго министерства, послалъ въ Парижъ прошеніе объ отставкѣ, и уже

это обстоятельство должно было непріятно поразить здѣсь, еще прежде, чѣмъ узнали о предполагаемомъ назначеніи Шаллемель-Лакура. Между тѣмъ, Сенъ-Валлье рѣшилъ оставаться пока на своемъ посту, и хотя еще неизвѣстно окончательно, дѣйствительно ли онъ на немъ останется, но уже одно это подѣйствовало успокоительно. Различныя извѣстія сообщаютъ о заявленіи германскаго правительства, что Шаллемель отнюдь не будетъ persona grata при здѣшнемъ дворѣ. Французскіе листки смотрятъ на это, какъ на вмѣшательство Германіи во французскія дѣла; я думаю, однако, что если бы это и было такъ, то подобный случай никакъ не можетъ считаться дѣйствительнымъ вмѣшательствомъ, такъ какъ повсюду существуетъ политическій обычай освѣдомляться, будетъ ли особа, назначаемая посланникомъ, пріятна для того правительства, съ которымъ ей необходимо придется вступить въ непосредственныя сношенія, или нѣтъ.

Разумѣется, этотъ вопросъ обыкновенно дѣлается такъ осторожно, что, собственно говоря, не представляется надобности въ оскорбительномъ отказѣ. Между тѣмъ, оффиціальные органы князя Бисмарка объявили недавно самымъ энергическимъ образомъ, что германскому правительству не приходилось совсѣмъ и отвѣчать, такъ-что и дѣйствительное назначеніе Шаллемеля будетъ здѣсь принято хорошо. Общее впечатлѣніе однако таково, что отношенія къ преемникамъ Ваддингтона и Сенъ-Валлье будутъ похуже, чѣмъ къ нимъ, и даже должны были уже оказать извѣстное вліяніе на общее положеніе дѣлъ. Теперь однако, къ счастью, примиреніе несомнѣнно, такъ какъ германское правительство черезъ своего посланника, князя Гогенлоэ, отнеслось къ новому посланнику самымъ дружественнымъ образомъ, и не показало ни малѣйшаго неудовольствія по поводу министерскаго переворота во Франціи. Прежде всего посланникъ сдѣлалъ визитъ новому президенту министровъ и заявилъ ему о дружественныхъ намѣреніяхъ германскаго правительства. Французскія газеты немного удивлены такой ловкой политикой; реакціонные органы, постоянно кричащіе, что республиканцы находятся въ интимныхъ отношеніяхъ съ Германіей и дѣйствуютъ подъ вліяніемъ германскаго правительства, и теперь не замедлили усмотрѣть коварные умыслы въ поступкахъ Бисмарка и его представителя въ Парижѣ. Германское правительство очень рѣзко и даже, можно сказать, грубо отвѣчало на эти увѣренія въ своемъ оффиціальномъ органѣ, объявивъ самымъ энергическимъ образомъ, что ему нѣтъ никакой выгоды вмѣшиваться во внутреннія французскія дѣла, и если когда-нибудь Франція сама постарается вызвать это вмѣшательство, такъ это будетъ только *въ случаѣ 16 мая и государственнаго переворота;* такимъ

образомъ, откровенно указывается, что легитимистская и орлеанистская партія дѣлали такія попытки, когда Гонто-Бирон'ъ былъ представителемъ Франціи при здѣшнемъ дворѣ. Французскіе органы, дружественные герцогу Деказу и Брольи, отвѣчали на заявленіе „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ съ большимъ оживленіемъ и объявили его совершенно ложнымъ, не произведя, впрочемъ, ни малѣйшаго впечатлѣнія на нѣмецкую или французскую публику, такъ какъ въ обѣихъ странахъ понимаютъ, что для опроверженія такого положительнаго заявленія, какое было сдѣлано „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“, недостаточно анонимнаго возраженія или возраженія какихъ-нибудь незначительныхъ посредниковъ, а нуженъ опредѣленный отвѣтъ обоихъ вышеназванныхъ государственныхъ людей, которые одни могутъ знать дѣло. Заявленіе „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ имѣетъ за себя тѣмъ бо́льшую вѣроятность, что, какъ извѣстно, виконтъ Гонто-Бирон'ъ хотя и былъ очень уважаемъ при дворѣ, но далеко не пользовался такимъ же расположеніемъ Бисмарка; напротивъ, послѣдній видѣлъ въ немъ своего политическаго противника; да онъ и не отрицалъ этого, содѣйствуя въ доступныхъ ему кругахъ враждебнымъ Бисмарку элементамъ. Оффиціальное объявленіе вышеназваннаго о́ргана, отличающееся какою-то особенною язвительностью, указываетъ и на то, къ какимъ дурнымъ послѣдствіямъ приводили всѣ прежнія попытки вмѣшательства въ чужую внутреннюю политику, какъ вредно дѣйствовалъ даже одинъ видъ подобнаго вмѣшательства. Въ дѣйствительности можно быть увѣреннымъ, что политика Бисмарка исключаетъ подобнаго рода дѣйствія. Національный принципъ и національное чувство достигли теперь повсюду такого развитія, что самое вѣрное средство посѣять раздоръ между двумя націями, это — заставить думать одну, что другая намѣревается вмѣшаться въ ея дѣла, или даже вообще намѣревается дѣйствовать какимъ-нибудь другимъ путемъ, кромѣ открытыхъ для всего міра путей политической, торговой и научной дѣятельности. Изъ того, что Бисмаркъ дружески привѣтствовалъ новый французскій кабинетъ, еще не слѣдуетъ, чтобы переворотъ во Франціи былъ здѣсь особенно пріятенъ. Скорѣе можно думать, что прежнія лица, дѣйствительно, были гораздо пріятнѣе для германскаго правительства, и что ихъ политика пользовалась гораздо бо́льшимъ довѣріемъ, чѣмъ политика министерства Фрейсине, хотя программа послѣдняго не заключаетъ въ себѣ ничего опаснаго для Германіи. Сомнительно только, чтобы Гамбетта, представляющій изъ себя, очевидно, значительную силу, продолжалъ оставаться на заднемъ планѣ и при этомъ новомъ оборотѣ дѣлъ; вотъ почему думаютъ, что онъ готовится къ какому-нибудь новому перевороту. Всѣ убѣждены, что онъ сохранитъ са-

мые честолюбивые планы на будущее время. Теперь ему невозможно побѣдить расколъ между партіями, и никогда не удастся снова привлечь на свою сторону радикаловъ, при томъ положеніи, которое онъ занималъ до сихъ поръ. Такимъ образомъ, всѣ соглашаются, что онъ исключительно занятъ выжиданіемъ удобнаго момента, чтобы разомъ привести Францію къ активной политикѣ. Очевидно, что подобные отдаленные разсчеты не могутъ опредѣлить германскую политику въ настоящую минуту.

На-дняхъ получено изъ Франціи извѣстіе о смерти двухъ людей, возбудившее—по крайней мѣрѣ, въ Германіи—нѣкоторый ретроспективный интересъ: извѣстіе о смерти Граммона и Жюль-Фавра. Первый считался въ Германіи дѣйствительнымъ виновникомъ войны 1870 года, — не совсѣмъ справедливо, однакожъ, такъ какъ достаточно доказано, что содѣйствовали войнѣ, главнымъ образомъ, парижскіе и вообще французскіе клерикалы, поощряемые Римомъ и стремившіеся снова обезсилить и унизить протестантскую Пруссію, такъ сильно шагнувшую впередъ въ 1866 году. Однако формальная отвѣтственность за внѣшнюю политику въ короткій промежутокъ лѣта 1870 года лежала на Граммонѣ. Во всякомъ случаѣ, онъ поступилъ неблагоразумно, выступивъ съ такою, можно сказать, грубостью въ критическій моментъ, когда Бенедетти получилъ свои инструкціи, въ рѣшительный день въ Эмсѣ; этого вовсе не требовалось даже отъ самой энергической политики. Герцогъ Граммонъ былъ бы почти совершенно забытъ въ Германіи, если бы послѣ своего паденія не пытался всячески образомъ печатно оправдать свою политику и выставить въ самомъ дурномъ свѣтѣ германскую. Почти одновременно съ нимъ умеръ и его политическій противникъ—Жюль-Фавръ, патріотизмъ котораго пользовался общимъ уваженіемъ въ Германіи. Знаменитые переговоры съ княземъ Бисмаркомъ въ замкѣ Ферьеръ, о которыхъ подробно разсказалъ самъ Жюль-Фавръ, показали всему свѣту, какъ далеко онъ уступалъ въ политическомъ и дипломатическомъ талантѣ своему могучему противнику, на сторонѣ котораго были, разумѣется, и всѣ выгоды положенія.

Между политическими событіями послѣдняго времени слѣдуетъ также упомянуть о посѣщеніи Берлина датскимъ королемъ. Въ первый разъ со времени послѣдней войны съ Даніей этотъ монархъ является здѣсь, притомъ же съ своей супругой; и очень понятно, что это посѣщеніе подало поводъ къ разнообразнымъ заключеніямъ; а именно думаютъ, что оно имѣетъ цѣлью устроить примиреніе герцога Кумберландскаго съ Германіей. Герцогъ Кумберландскій долженъ будетъ для этой цѣли проститься съ своими наслѣдственными правами на Ганноверъ и Брауншвейгъ, за что германское правитель-

ство согласится выдать ему секвестрованное имущество послѣдняго ганноверскаго короля, такъ-называемый фондъ Вельфовъ. Всѣмъ извѣстно, какъ много вражды и ненависти навлекло на себя правительство въ своей же странѣ этими фондами Вельфовъ, такъ какъ не имѣло обыкновенія давать отчетъ объ ихъ употребленіи; благодаря этому либеральная партія пришла къ убѣжденію, что эти фонды бо́льшею частью были употреблены на подкупъ общественнаго мнѣнія въ пользу правительства. Разумѣется, правительство могло иначе распорядиться съ этими фондами. Если бы нельзя было достигнуть никакого соглашенія съ законными наслѣдниками послѣдняго ганноверскаго короля, правительство могло бы предложить на прусскомъ ландтагѣ удержаніе секвестрованныхъ имуществъ въ пользу Германіи; тогда эти фонды перешли бы въ руки государства, и правительство было бы обязано такимъ же отчетомъ объ ихъ употребленіи, какъ и относительно всѣхъ другихъ суммъ, находящихся въ его рукахъ; но оно поняло, что значительное денежное вознагражденіе будетъ вѣрнѣйшимъ средствомъ,—положить конецъ всякимъ претензіямъ. Пускай претенденты не представляютъ никакой опасности въ теченіи долгаго времени, но все же, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, это можетъ сдѣлаться неудобнымъ. До самаго послѣдняго времени извѣстія о политической дѣятельности датскаго короля во время его пребыванія здѣсь были очень неопредѣленны. Только недавно стали говорить, что король сообщилъ о намѣреніяхъ герцога Кумберландскаго,—притомъ одни говорили, что эти намѣренія дружественныя, другіе увѣряли въ противномъ. Въ отвѣтъ на это правительство положительно объявило, что оно не дѣлало герцогу Кумберландскому никакихъ предложеній, на которыя онъ могъ бы отвѣчать, и что такія предложенія, вѣроятно, будутъ безполезны, такъ какъ герцогъ окруженъ лицами, участь которыхъ зависитъ отъ продолжительности его претендентства. Не стану разбирать, какъ далеко мѣтитъ этотъ упрекъ англійскому правительству. Вообще въ Германіи прежнее слѣпое обожаніе Англіи замѣнилось трезвымъ критическимъ отношеніемъ. Старыя басни о племенномъ родствѣ и единствѣ интересовъ давно уже опровергнуты фактами. Теперь въ Германіи только немногіе и ничтожные династическіе кружки могутъ быть названы англійской партіей; всѣмъ очень хорошо извѣстно, что англичане основываютъ свою политику на узко-эгоистическихъ интересахъ, ничего, кромѣ этихъ интересовъ, не признаютъ, и притомъ, такъ какъ они держатся такой политики уже полтора столѣтія, то естественно не могутъ внушить къ себѣ никакого довѣрія въ другихъ государствахъ; никто не можетъ поручиться, что они не измѣнятъ направленія своей политики въ самое короткое время и самымъ радикальнымъ

образомъ. Въ скоромъ времени въ Англіи должны быть новые выборы въ парламентъ, и если настоящее большинство будетъ замѣнено другимъ, то, безъ сомнѣнія, политика Биконсфильда должна будетъ уступить мѣсто политикѣ Дэрби и Гладстона. Разумѣется, англійскіе интересы одинаковы для той и другой; но средства, которыя будутъ употреблены ими, чрезвычайно различны, и если бы существовала такая политическая комбинація, посредствомъ которой возможно бы было уладиться съ англійскимъ кабинетомъ къ обоюдному согласію, — то теперь бы и слѣдовало ею воспользоваться, когда министерство Биконсфильда готово уступить мѣсто другому.

Здѣсь можетъ быть всего удобнѣе будетъ мнѣ упомянуть о вопросѣ, въ которомъ Англія, по крайней мѣрѣ косвенно, играетъ извѣстную роль, и который также входитъ въ область иностранной политики, а именно вопросъ объ островахъ Самоа. Извѣстно, что германская торговля пріобрѣла въ Южномъ Океанѣ нѣсколько пунктовъ, которымъ одни придаютъ высокую цѣну, тогда какъ другіе, разумѣется, не считаютъ ихъ такими важными. Само правительство принадлежитъ по всей видимости къ числу первыхъ. Назначеніе новаго консула, заботы объ австралійской выставкѣ уже доказываютъ это. Недавно мы были свидѣтелями новаго, еще болѣе краснорѣчиваго доказательства. Гамбургскій торговый домъ Годефруа уже давно имѣлъ на островахъ Самоа обширныя торговыя поселенія; въ 1878 г. онъ основалъ общество „Die deutsche Handels-und Plantagen-Gesellschaft“ для содѣйствія этому дѣлу; но въ скоромъ времени очутился въ затруднительномъ положеніи, которое дѣлало неизбѣжнымъ его ликвидацію и паденіе учрежденій на о-вахъ Самоа. Съ разныхъ сторонъ была высказана увѣренность, что плачевное положеніе дома Годефруа главнымъ образомъ было вызвано большими англійскими фирмами, съ которыми онъ находился въ связи, такъ какъ они не желали распространенія германской силы и вліянія на этихъ о-вахъ. Что всего замѣчательнѣе, канцлеръ объявилъ свои интересы связанными съ поддержаніемъ предпріятій дома Годефруа, и подъ его вліяніемъ при помощи государства было основано новое торговое общество, подъ именемъ „Deutsche Seehandlungs-Gesellschaft“ съ основнымъ капиталомъ въ 8 милліоновъ марокъ, которое должно было занять мѣсто фирмы Годефруа и принять его активы и пассивы.

Планъ этотъ осуществился въ скоромъ времени и даже былъ назначенъ капиталъ, значительно превышавшій потребованный Бисмаркомъ, хотя противники бисмарковской политики и въ этомъ случаѣ сильно возставали противъ его плановъ. Естественно, при этомъ снова поднялся вопросъ о колонизаціи. Этотъ вопросъ впервые поднятъ въ Германіи, если не ошибаюсь, извѣстнымъ экономистомъ

Фридрихомъ Листомъ, и потомъ постоянно находился въ тѣсной связи съ развитіемъ германскаго флота. Очень многіе убѣждены, что безъ колоніальныхъ владѣній флотъ всегда представляетъ что-то непрочное и искусственное; и съ 1848 г. постоянно время отъ времени раздавались голоса, настойчиво указывавшіе на необходимость какой-нибудь колоніи, тогда какъ другіе, разумѣется, указывали на затрудненія, которыя такая колонія необходимо создастъ для Германіи. Разумѣется, никто не отрицаетъ, что возростающее населеніе Германіи требуетъ какого бы то ни было исхода. Одинъ изъ новѣйшихъ изслѣдователей этого вопроса, Эрнстъ фонъ-Веберъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ высказывается за необходимость расширенія германской экономической области и за основаніе колоній. Главную причину несчастнаго матеріальнаго положенія нашего народа онъ видитъ въ чрезвычайно быстромъ приростѣ народонаселенія. Каждый годъ прибавляется 5 или 6 милліоновъ человѣкъ, тогда какъ жизненныя средства увеличиваются несравненно медленнѣе, такъ что пролетаріатъ постоянно возрастаетъ въ ужасающихъ размѣрахъ. Вмѣсто того, чтобы соотвѣтственно этому приросту рабочаго населенія, расширить и экономическую область, замѣчается, напротивъ, стѣсненіе ея, вслѣдствіе уменьшенія отпускной торговли. Вслѣдствіе этого трудъ оплачивается въ Германіи гораздо дешевле, чѣмъ бы слѣдовало, и мало того, продукты германскаго производства теряютъ въ качествѣ сравнительно съ другими странами, которыя пользуются этимъ для вытѣсненія Германіи со всѣхъ рынковъ. Веберъ, долгое время путешествовавшій по Африкѣ, увѣряетъ, что тамъ совершенно не осталось мѣста для нѣмецкой торговли; англійская конкурренція одержала верхъ, благодаря лучшимъ фабрикатамъ. Что уцѣлѣло отъ англійской конкурренціи, то подверглось монополіи со стороны ость-индскихъ купцовъ изъ Бомбея, съ которыми также не могъ бороться ни одинъ нѣмецкій купецъ. Веберъ видитъ спасеніе въ колоніяхъ, а именно въ колоніяхъ земледѣльческихъ, торговыхъ и колоніяхъ для ссыльныхъ. Этотъ послѣдній находится въ связи съ важнымъ и во всякомъ случаѣ сильно распространеннымъ движеніемъ въ пользу реформы уголовнаго законодательства, о которомъ я уже говорилъ въ своемъ послѣднемъ письмѣ по поводу книги Миттельштедта. Хотя его замѣчанія вызвали много опроверженій, но нельзя отрицать, что они произвели глубокое впечатлѣніе. Они не остались безъ вліянія даже на правительство, которое теперь занимается составленіемъ новаго закона по поводу уголовной системы; хотя, собственно говоря, этотъ законъ былъ задуманъ еще раньше и имѣетъ цѣлью поставить уголовную систему всей германской имперіи на опредѣленныя и равномѣрныя основы.

Одно небольшое обстоятельство показываетъ, какъ необходима реформа въ этой области. Министръ обратился къ начальству исправительныхъ тюремъ съ запросомъ, насколько будетъ удобно ограничить время сна для арестантовъ. Въ то время, какъ свободный человѣкъ довольствуется 5 или 7 часами сна, арестантамъ предоставляется по существующимъ правиламъ 8 или 10 часовъ. Министръ напираетъ главнымъ образомъ на вредное дѣйствіе этихъ правилъ для нравственности заключенныхъ; онъ оставляетъ въ сторонѣ безсмысленность такой непроизводительной траты силъ, въ то время, какъ государство должно извлекать изъ нихъ возможно бо́льшую пользу.

Несмотря на силезскую нужду, которая, впрочемъ, коснулась только незначительной части населенія, положеніе народа вообще, какъ кажется, улучшается. Это улучшеніе касается конечно не одной только Германіи, но и другихъ странъ; первый толчокъ дала ему Америка, гдѣ въ свое время также свирѣпствовалъ сильнѣйшій крахъ. Можно вполнѣ надѣяться, что *если* только сохранится миръ, для великихъ европейскихъ націй наступитъ эра благосостоянія и процвѣтанія.

Масляница началась здѣсь сравнительно тихо. Придворные кружки даютъ свои обычныя празднества, на которыя собирается всегда одно и то же общество; публика, для которой эти празднества недоступны, имѣетъ свои два или три бала по подпискѣ въ оперномъ театрѣ, на которыхъ является королевская фамилія. Нынѣшняя молодежь, которая въ это время особенно охотно бываетъ въ общественныхъ танцклассахъ, жалуется на строгія мѣры полиціи, настаивающей на прекращеніи танцевъ къ полуночи. Тотъ, кто въ теченіи года получилъ орденъ, получаетъ также приглашеніе на орденскій праздникъ въ королевскомъ замкѣ, и нельзя отрицать, что эти орденскіе праздники пользуются большою популярностью. Они устраиваются, какъ извѣстно, 18-го января, день годовщины возвышенія Пруссіи изъ герцогства въ королевство; за день до этого собирается капитулъ ордена Чернаго Орла: всѣ лица, назначенныя въ теченіи года его кавалерами, получаютъ въ этотъ день орденъ. Въ нынѣшній годъ это историческое торжество можетъ занести въ свои лѣтописи курьёзное происшествіе, возбудившее въ обществѣ большое вниманіе. Дней за восемь до праздника появилось въ одномъ изъ маленькихъ мѣстныхъ листковъ описаніе вечера, устроеннаго въ лучшемъ ресторанѣ Берлина нѣкоторыми аристократами по рожденію и по средствамъ—въ честь одной изъ актрисъ Ренцовскаго цирка. Въ числѣ аристократовъ по рожденію находился также одинъ весьма знатный господинъ, который долженъ былъ получить 18-го января орденъ Чернаго Орла; этотъ господинъ, также какъ и другіе участники вечера, былъ описанъ съ

такою подробностью, что о личности его не могло быть и сомнѣнія. Программа праздника 18-го января уже появилась въ газетахъ, его имя стояло въ ней, какъ вдругъ послѣ вышеописаннаго случая онъ внезапно былъ высланъ изъ Берлина, и на этомъ дѣло и кончилось. Берлинскіе аристократы найдутъ въ этомъ случаѣ очень ясное предостереженіе быть на будущее время осторожнѣе въ выборѣ себѣ компаніи, такъ какъ они не могутъ знать, будутъ ли тѣ, на кого падетъ ихъ выборъ, одни наслаждаться этимъ удовольствіемъ, или захотятъ раздѣлить его со всей публикой,—посредствомъ печати.

NB. — На дняхъ случились еще два событія, о которыхъ я долженъ хоть вкратцѣ упомянуть,—два такихъ различныхъ событія, что трудно даже разсказывать о нихъ одновременно, одно высоко политическаго характера, другое чисто артистическаго. Во-первыхъ, на союзномъ совѣтѣ было внесено предложеніе, по которому, вслѣдствіе истеченія такъ-называемаго военнаго септенната, должно установить новый, въ виду значительнаго увеличенія мирнаго контингента арміи. Настоящее семилѣтіе, во время котораго рейхстагу не приходилось говорить о дѣйствительныхъ силахъ арміи, кончается 31-го декабря 1881 г. Но такъ какъ бюджетные періоды германской имперіи съ прошлаго года считаются не отъ 1-го января до 31-го декабря, но отъ 1-го апрѣля до 1-го марта, то правительство предложило ввести новую организацію уже 1-го апрѣля 1881 г., вмѣсто 31-го декабря. Основныя положенія проекта можно передать въ немногихъ словахъ. Прежде всего, военныя силы въ мирное время, составляющія по прежнему 1% населенія, должны набираться не по счету 1871 г., составляющему круглымъ числомъ 40.000,000, но по счету 1875 г.— т.-е. почти 43.000,000. Такимъ образомъ, дѣйствительныя военныя силы должны составлять не 401,659 чел., какъ прежде, но 427,270 чел. Второе важное измѣненіе состоитъ въ томъ, что солдаты, оканчивающіе армейскую службу, должны находиться въ резервахъ 2-го класса 4 года, а не 3, какъ прежде. Упражненія для нихъ будутъ также продолжительнѣе, чѣмъ до сихъ поръ. Вслѣдствіе усиленія мирнаго контингента будетъ возможно образовать 11 пѣхотныхъ полковъ, 1 батальонъ пѣхоты, одинъ полкъ полевой артиллеріи изъ 8 баттарей, 32 полевыхъ баттарей, одинъ прусскій пѣхотный артиллерійскій полкъ, и одинъ прусскій піонерный батальонъ. Общая сумма издержекъ возрастетъ до 27.000,000 марокъ на единовременную затрату, и до 17.000,000 ежегодно. Предложеніе возбудитъ сильное озлобленіе, въ виду того, что въ послѣднее время необходимость усиленія арміи рѣшительно отвергалась, и можетъ вызвать горячую

борьбу на ближайшей сессіи рейхстага, которая начнется уже въ февралѣ мѣсяцѣ.

Второе событіе есть постановка на сцену новой пьесы Поля Линдау: „Gräfin Lea", которая уже раньше вызвала такія рекламы, что должна разсматриваться, какъ нѣчто необыкновенное. Линдау долженъ былъ перенести на сцену всезахватывающій еврейскій вопросъ; и его взглядъ на этотъ вопросъ тѣмъ болѣе интересенъ, что покажетъ—за или противъ евреевъ стоитъ придворный театръ. Кажется однако, что Линдау не рѣшился опредѣленно высказать свои убѣжденія, или, можетъ быть, ему пришлось сдѣлать большія уступки придворному театру; во всякомъ случаѣ, несмотря на то, что героиня пьесы — еврейка и одерживающая побѣду надъ невѣжественнымъ и изображеннымъ въ далеко некрасивомъ свѣтѣ дворянскимъ семействомъ,—несмотря на все это, тенденція пьесы вовсе не убѣдительна, такъ что всѣ надежды обмануты, и въ сущности никто, даже евреи, —никто не остался доволенъ. Такимъ образомъ, публика могла наслаждаться чисто поэтическими достоинствами пьесы Линдау, и такъ какъ при современномъ безвременьи драматической производительности и для драматическихъ авторовъ имѣетъ силу пословица, что— „unter den Blinden der Einäugige König ist"—то и слѣдуетъ констатировать успѣхъ пьесы.

К.

КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ ИЗЪ ЛОНДОНА.

5/17 января, 1880.

Чего ожидать отъ Гладстона?

Мы находимся наканунѣ распущенія парламента; не говорю—министерства, потому что, по крайней мѣрѣ въ настоящую минуту, несмотря на недавніе и столь тяжкіе удары, правительство лорда Биконсфильда гораздо прочнѣе, чѣмъ могутъ думать поверхностные или отдаленные наблюдатели. Но, что́ касается палаты общинъ,—дни ея сочтены. Она выбиралась въ январѣ 1874 г., такъ что, съ окончаніемъ сессіи, ей исполнится семь лѣтъ,—роковое и кабалистическое число! Это—крайній срокъ для законодательнаго собранія. Не было еще примѣра, чтобы парламентъ достигъ конца своей карьеры, такъ что въ нашей странѣ, гдѣ привычка и традиція всегда играли такую важную роль, на шестилѣтній срокъ стали смотрѣть какъ на вполнѣ нормальный и согласный съ конституціей.

Въ этомъ-то и кроется причина, заставившая Гладстона выдти преждевременно изъ своей „палатки“ или изъ своего „лѣса“: оба выраженія равно употребительны, хотите ли вы сравнить его съ Ахилломъ, имѣя въ виду его „Homeric Studies“, или вамъ больше нравится „дровосѣкъ“, съ такимъ усердіемъ рубящій лѣсъ въ своемъ помѣстѣ Гоуарденъ. Членъ парламента за мѣстечко Гриничъ, дѣйствительный, если не оффиціальный глава оппозиціи, уже давно объявилъ о своемъ намѣреніи оставить этотъ избирательный округъ, убѣдившись предварительно, что его не изберутъ снова; мимоходомъ сказать, эти безконечные переходы отъ одного „constituency“ къ другому, на которые онъ осужденъ въ теченіи всей своей жизни, представляютъ одну изъ существенныхъ характеристическихъ чертъ карьеры этого государственнаго человѣка. Я знаю, что бываютъ перемѣны въ убѣжденіяхъ, отчасти объясняющія и это явленіе; однако, по крайней мѣрѣ въ Гриничѣ, онъ былъ выбранъ, какъ либералъ. Стало быть, на этотъ разъ, сами избиратели перемѣнились—и сдѣлались торіями. Это было бы по истинѣ жалко.

Какъ бы то ни было, съ этого времени поле было свободно, и городкамъ и графствамъ оставалось только оспоривать другъ у друга Гладстона. Ему была предложена кандидатура въ Лидсѣ и Midlothian'ѣ. Для начала онъ выбралъ этотъ послѣдній округъ: и 23 ноября

прошлаго года, въ суровую, чисто-русскую зиму, семидесятилѣтній старикъ отправился въ путь, объѣхалъ это шотландское графство въ теченіи двухъ недѣль, не отдыхая, произнося рѣчи повсюду—въ ратушахъ, университетахъ, на станціяхъ—какъ это видно изъ пятидесяти столбцовъ убористой печати, посвященныхъ въ „Times'ѣ" публикаціи его рѣчей за эти двѣ недѣли.

Многіе нашли это удивительнымъ; и должно сознаться, что тутъ видна рѣдкая сила воли, вмѣстѣ съ невѣроятно сильнымъ и выносливымъ горломъ. Но затѣмъ удивленіе исчезаетъ, и приходится остолбенѣть, чтобъ не сказать чего-нибудь хуже. Никогда аксіома о необходимости „мѣры" во всемъ не была болѣе оскорбительно нарушена. Безъ сомнѣнія, Гладстону случалось иногда говорить прекрасныя вещи, но двѣ недѣли *спичей*, и такихъ длинныхъ, ни съ чѣмъ несоразмѣрныхъ спичей, безъ всякой чрезвычайной надобности,—это, право, слишкомъ. По-моему, это ужъ не сила и не мужество, а просто болѣзнь. Это новый и чрезвычайно сильный приступъ лихорадочнаго возбужденія, которому такъ часто подвергался этотъ государственный человѣкъ въ послѣднія шесть лѣтъ—съ того дня, какъ онъ лишился власти. Достигнетъ ли онъ ея опять? боюсь за него, что еще не скоро. Но такъ какъ этотъ фактъ принадлежитъ къ числу возможныхъ случайностей, то не мѣшало бы дать себѣ серьёзный отчетъ о политическомъ характерѣ этого человѣка и посмотрѣть, насколько основательно Европа можетъ считать его поборникомъ прогресса и свободы.

„Изъ всѣхъ путей, ведущихъ отъ мрака къ свѣту,—говоритъ Викторъ Гюго, въ предисловіи къ новому изданію своихъ „Odes et Ballades",—самый трудный и достойный—слѣдующій: быть аристократомъ и роялистомъ и сдѣлаться демократомъ" На эту, или почти на эту тэму почитатели Гладстона разыгрываютъ самыя оглушительныя варіаціи въ честь своего героя. Къ сожалѣнію, одинъ существенный недостатокъ портитъ все дѣло: я говорю о времени, которое потребовалось другу кардинала Маннинга, чтобы пройти этотъ путь. Въ 1860 г., то-есть 50-ти лѣтъ отъ роду, Гладстонъ еще принималъ публичную миссію по дѣлу Іонійскихъ острововъ, изъ рукъ консервативнаго министерства покойнаго лорда Дерби. Это по части внѣшнихъ и объективныхъ признаковъ, потому что въ душѣ, субъективно, онъ всегда оставался неисправимымъ консерваторомъ и реакціонеромъ, какимъ онъ и былъ еще въ 1832 г. на своихъ выборахъ въ мѣстечкѣ Ньюаркъ.

1832-й годъ! памятный годъ для либеральной Англіи! моментъ, когда въ Лондонѣ, Бристолѣ, Нотингамѣ и во всѣхъ почти важныхъ городахъ Великобританіи народъ съ оружіемъ въ рукахъ въ страш-

номъ нетерпѣніи ожидалъ „Reform Bill'я", когда англійская аристократія дала міру достопамятный и столь свѣтлый примѣръ партіи, благоразумно уступающей справедливымъ требованіямъ противной стороны, и такимъ образомъ доставляющей странѣ всѣ блага революціи, безъ ея дурныхъ послѣдствій. Въ этотъ именно моментъ Гладстонъ восклицалъ въ своемъ адресѣ къ избирателямъ Ньюарка: „Въ виду этихъ бѣдствій недостаточны спеціальныя мѣры, нужно вернуться къ великимъ принципамъ. Я подразумѣваю въ особенности принципъ, на которомъ покоится, въ нашей конституціи, тѣсная связь религіи и государства (the incorporation of Religion with the State),—принципъ, по которому обязанности правителей суть преимущественно строго религіозныя".—И далѣе:

„Что касается законности рабства съ общей точки зрѣнія (the abstract lawfulness of Slavery), то я признаю его просто какъ право одного человѣка пользоваться трудомъ другого; и основываюсь на томъ обстоятельствѣ, что Священное Писаніе—высшій авторитетъ въ подобнаго рода вещахъ—даетъ правила взаимнаго поведенія для раба и господина, чего оно не могло бы дѣлать, если бы рабство было безусловно и необходимо осуждено" [1]). Скажутъ, что нужно принять въ разсчетъ положеніе кандидата, сына сэра Джона Гладстона, богатаго ливерпульскаго купца, состояніе котораго находилось въ тѣсной связи съ *учрежденіемъ*, такъ безстыдно защищаемомъ въ этой рѣчи. Но, въ дѣйствительности, мнѣнія Гладстона оставались тѣ же, когда тридцать лѣтъ позже, въ 1862 г., во время американской войны, онъ восклицалъ въ Ньюкестлѣ, разсчитывая на благодарность юга: „Джефферсонъ Дэвисъ создалъ армію, флотъ, *націю!*" Онъ не только уступалъ, по своему обыкновенію, направленію общественнаго мнѣнія,—на этотъ разъ его слова были въ согласіи съ его внутреннимъ чувствомъ. Еще печальнѣе всѣхъ этихъ заявленій письмо, написанное имъ въ 1867 г. къ одному другу, въ которомъ онъ „исповѣдывалъ свои грѣхи" и старался ихъ объяснить: „Мои симпатіи принадлежали всей вообще американской націи. Я вполнѣ искренно вѣрилъ, что двадцать или двадцать четыре милліона сѣверянъ будутъ гораздо счастливѣе и сильнѣе безъ юга, чѣмъ съ нимъ, и что негры будутъ гораздо ближе къ эмансипаціи подъ управленіемъ южныхъ штатовъ, чѣмъ при прежнемъ союзномъ правительствѣ" [2]).—Комментаріи излишни!

Errare humanum est! Всякому позволительно ошибаться, и

---

[1]) См. «The Life of W. E. Gladstone», by G. Barnett, Smith. t. I, p. 62. London. Cassel and C°. 2 vols in 8°. 1879.

[2]) Life of Gladstone, tom. I. p. 518.

вполнѣ честно—при случаѣ признаться въ своей ошибкѣ. Но и для этого есть границы,—и во всякомъ случаѣ странное зрѣлище представляетъ изъ себя государственный человѣкъ, всю жизнь только взывающій: mea culpa! Въ этомъ отношеніи нѣтъ ничего забавнѣе довольно полной біографіи Гладстона, которую я уже цитировалъ выше. Авторъ, по случаю disestablishment ирландской церкви, говоритъ о своемъ героѣ: „Онъ призналъ, что его мнѣніе объ этой церкви было совершенно противоположно прежнему".—Я думаю, оно его уничтожило:—и что всего хуже, идеи Гладстона о церкви и религіи вообще и теперь еще тѣ же, которыя онъ выразилъ не по поводу отдѣленія ирландской церкви отъ государства, но въ своей знаменитой и уже давно написанной книгѣ о „Государствѣ въ его отношеніяхъ къ церкви" [1]).

Эта книга, впослѣдствіи, должна была причинить ему много заботъ. Напримѣръ, когда въ 1845 г. онъ занималъ должность президента коммерческаго совѣта (Board of trade) въ кабинетѣ сэра Роберта Пиля, случилось, что первый министръ предложилъ билль объ увеличеніи налога на католическую семинарію Магнута съ одной стороны—и основаніи non sectarian'скихъ" коллегій въ Коркѣ, Вельфастѣ и Гальвеѣ—съ другой. Этотъ законъ слишкомъ противорѣчилъ идеямъ, выраженнымъ въ его книгѣ пять лѣтъ тому назадъ; онъ подалъ въ отставку, „by a strict of conscientiousness", какъ говоритъ біографъ. Прекрасно: только, нѣсколько недѣль спустя, при вторичномъ чтеніи билля, „right honorable" джентльменъ объявилъ, что онъ готовъ дать свое полное согласіе на эту мѣру. Вопросъ, по его словамъ, принималъ совсѣмъ иной видъ, потому-что налогъ, вмѣсто годичнаго, обращался въ постоянный (!) (t. I, p. 145). Немного спустя, онъ вновь вступилъ на службу, въ качествѣ статсъ-секретаря по дѣламъ колоній въ кабинетѣ сэра Роберта Пиля.

Впрочемъ, слѣдуетъ отдать ему справедливость въ его хорошихъ дѣйствіяхъ, не взирая на мотивы: вспомнимъ, что законы о церкви и земельной собственности въ Ирландіи, объ элементарномъ образованіи, объ уничтоженіи права покупки должностей въ арміи и тайной баллотировки—прошли въ его министерство. Такимъ образомъ, онъ приводилъ въ исполненіе давнишнія стремленія либеральной партіи; но лишь только представился случай провести собственную мѣру, онъ изобрѣлъ смѣшной и ретроградный планъ новаго университета въ Ирландіи и провалился во мнѣніи самыхъ либеральныхъ членовъ палаты.

---

[1]) „The state in its Relations with the Church", by W. E. Gladstone, London. 1839. См. критику этого труда въ „Essays" Маколея.

Можно еще поставить ему въ заслугу экспедицію, предпринятую имъ въ 1851 г. противъ ненавистнаго правительства неаполитанскаго королевства. Да и тамъ, въ этомъ итальянскомъ вопросѣ, ему непремѣнно надо было доказать свое непостоянство. Вы помните торжественное путешествіе Гарибальди въ Лондонъ, лѣтъ десять спустя. Энтузіазмъ былъ огромный, безконечный, и это тѣмъ сильнѣе обезпокоило Наполеона III. Французскій посланникъ получалъ депешу за депешей; наконецъ, однажды, Гарибальди, жившій въ то время у герцога Сутерланда, и собиравшійся отправиться въ провинцію, получилъ визитъ отъ Гладстона, который въ то время былъ лордомъ-канцлеромъ казначейства, и лорда Шефтсбюри. Они были посланы лордомъ Пальмерстономъ, главою министерства и преданнымъ другомъ Наполеона III-го. Гладстонъ, который говоритъ по-итальянски довольно хорошо, началъ рѣчь и прежде всего обратился къ Гарибальди съ соболѣзнованіями по поводу состоянія его здоровья.—„Но, вы напрасно безпокоитесь,—возразилъ генералъ,—я никогда не чувствовалъ себя лучше“. На это его собесѣдникъ возразилъ, что не слѣдуетъ обманывать себя иллюзіями, и что въ интересахъ сохраненія столь драгоцѣннаго здоровья, было бы хорошо ограничить предполагаемую поѣздку двумя или тремя городами. Гарибальди понялъ, въ чемъ дѣло, и сказалъ напрямикъ это Гладстону, который разсыпался въ извиненіяхъ и отрицаніяхъ. Немного времени спустя, великій итальянскій патріотъ оставилъ Англію, не совершивъ задуманной поѣздки. Почтенный человѣкъ, отъ котораго я слышалъ этотъ разсказъ, и который видѣлъ Гарибальди тотчасъ послѣ вышеописаннаго разговора, опубликовалъ этотъ случай, какъ и слѣдовало. Разочарованіе и бѣшенство среди англійскихъ либераловъ было огромное, и популярность Гладстона упала окончательно. Но черезъ нѣсколько времени онъ рѣшительно объявилъ себя либераломъ, заявивъ, что работники — плоть отъ плоти нашей, the flesch of our flesch—и проч. и проч.

Нужно было много подобныхъ заявленій—и онъ не поскупился на нихъ,—чтобы заставить забыть постыдную, презрѣнную роль—для представителя гостепріимной націи, которую онъ принялъ на себя подъ вліяніемъ старой лисы,—лорда Пальмерстона.

Что касается Восточнаго вопроса, то о немъ безполезно распространяться. Всѣ знаютъ дѣйствительныя мнѣнія Гладстона, и всякій помнитъ, что во время крымской войны онъ участвовалъ въ кабинетѣ лорда Абердина. Будучи лордомъ-канцлеромъ казначейства, дѣйствительнымъ, какъ и всегда, членомъ администраціи и притомъ однимъ изъ самыхъ безпокойныхъ, онъ присутствовалъ 12 іюля 1853 г. при открытіи памятника сэру Роберту Пилю въ Манчестерѣ.

Здѣсь, въ присутствіи возбужденной толпы, онъ нападалъ на русское правительство съ такимъ же неистовствомъ, съ какимъ впослѣдствіи нападалъ на турецкое, выставляя русскую націю вѣчной угрозой и опасностью для общаго мира. Эта держава, въ своемъ необузданномъ честолюбіи, стремилась къ порабощенію всей вселенной; завоеваніе имперіи Османовъ было только прелюдіей, и Англія рѣшилась предупредить подобный результатъ, чего бы это ни стоило, и проч. и проч. Самъ лордъ Биконсфильдъ, должно быть, почерпалъ здѣсь немало вдохновенія для своихъ недавнихъ рѣчей.

Забудемъ теперь о времени и пространствѣ и перенесемся отъ 12-го іюля 1858 г. къ 27-му ноября 1879, и изъ Манчестера въ графство Мидлотіанъ, которое либеральный Leader избралъ ареной своихъ подвиговъ. Всякій, кто знакомъ съ романами Вальтеръ-Скотта, помнитъ романъ, переведенный на французскій языкъ, подъ заглавіемъ „la Prison d'Edimbourg"—приблизительная передача настоящаго заглавія „The heart of Midlothian". Пройдитесь по удивительной улицѣ Эдинбурга, носящей имя High Street, вы замѣтите почти посреди ея, недалеко отъ St. Giles Church, „дворъ", грубо обозначенный на шоссе булыжниками. Вотъ все, что осталось отъ „Мидлотіанскаго двора", служившаго, до своего окончательнаго превращенія въ тюрьму, убѣжищемъ шотландскому парламенту и судебнымъ палатамъ. Теперь читатель ознакомился съ мѣстомъ дѣйствія, и легко можетъ слѣдовать за нами до West Calder'a, въ 15-ти миляхъ отъ Эдинбурга, гдѣ великій ораторъ будетъ говорить свою третью рѣчь. По этому случаю выстроенъ деревянный павильонъ, могущій вмѣстить 3000 человѣкъ, такъ какъ поѣздка оратора вызывала вездѣ великій энтузіазмъ и огромное стеченіе народа. Тамъ и сямъ возвышаются арки изъ зелени и цвѣтовъ, украшенныя соотвѣтствующими надписями, въ родѣ, напримѣръ, слѣдующей, выдающейся по крайней мѣрѣ по своей формѣ: „All Hail! Champion of finance". Здѣсь-то будетъ говорить Гладстонъ о внѣшней политикѣ и публично опровергать свой манчестерскій спичъ 1853-го года.

„Положеніе Россіи въ центральной Азіи, ея теперешняя роль въ этой странѣ, — восклицаетъ онъ, — навязаны ей отчасти внѣшними обстоятельствами и противъ ея воли. Тѣ же причины, которыя заставили насъ распространить границы нашихъ индійскихъ владѣній, заставили и ее увеличить свои владѣнія, и, пожалуй, справедливость требуетъ сознаться, что ея обстоятельства были еще болѣе настоятельны, чѣмъ наши... Но Россія стоитъ еще въ особыхъ отношеніяхъ къ Турціи, и съ этой стороны — я особенно напираю на это—мы были причиной расширенія ея могущества. Мы научили болгаръ, сербовъ, румыновъ, черногорцевъ, что только одна нація

въ мірѣ симпатизируетъ имъ до того, что готова обнажить за нихъ мечъ... Конечно, есть основаніе думать, или, по крайней мѣрѣ, предполагать, что Россія имѣетъ также завоевательные виды на Востокъ. Во всякомъ случаѣ, никакой немедленной опасности не существуетъ: я не думаю, чтобы императоръ Александръ сочувствовалъ наступательной политикѣ". Ораторъ покончилъ съ этимъ вопросомъ, объявивъ, что если бы Англія была на мѣстѣ Россіи, то уже давно проглотила бы Турцію. Это возможно, но отнюдь не уничтожаетъ удивительнаго противорѣчія между мнѣніемъ Гладстона, члена министерства Абердина,—и Гладстона, стоящаго внѣ министерства.

Тѣ, кто смотритъ на вещи поверхностно и издали, считаютъ его либераломъ. Тѣ, кто смотритъ поглубже, удивляются этому постоянному приливу и отливу противоположныхъ идей: нѣкоторые приписываютъ это его чрезмѣрной проницательности. „Этотъ человѣкъ,— говорятъ они, — схватываетъ всѣ стороны вопроса, съ-разу овладѣваетъ имъ pro и contra, и такъ ясно видитъ хорошую и дурную сторону всего, что его мысль подсказываетъ ему и вопросъ—и отвѣтъ, и утвержденіе—и отрицаніе". Оканчиваютъ всегда, восхваляя его либерализмъ, — соглашаясь, что онъ нѣкогда, уже много лѣтъ тому назадъ, могъ сражаться если не въ самомъ лагерѣ консерваторовъ, то, по крайней мѣрѣ, бокъ-о-бокъ съ ними.

Таково, по крайней мѣрѣ, общее мнѣніе на континентѣ: пора, наконецъ, отказаться отъ него, пора узнать послѣднее слово загадки, узнать истину объ этомъ политическомъ Протеѣ, такъ ловко принимающемъ самые диковинные виды,—

Omnia transformat sese in miracula rerum!

Такимъ образомъ, въ своей книгѣ „О церкви и государствѣ", напечатанной въ 1838 году, Гладстонъ громко возстаетъ противъ права свободнаго изслѣдованія, которое обыкновенно считаютъ — хотя и несправедливо — привилегіей всѣхъ вообще протестантскихъ церквей. Онъ не допускаетъ, чтобы разумъ, „private judgement", вмѣшивался въ религіозные вопросы,—развѣ только съ цѣлью находить все прекраснымъ. Вѣдь если всякому позволяется провѣрять теоремы Эвклида, то — разъ эта провѣрка сдѣлана — никто не можетъ отказаться отъ заключеній автора. Ну, а церковь, по крайней мѣрѣ, такъ же справедлива, какъ Эвклидъ; слѣдовательно, свободный изслѣдователь необходимо долженъ принимать и ея заключенія. Первыя посылки готовы; затѣмъ Гладстонъ устанавливаетъ основное предложеніе своей книги, а именно: распространеніе религіозной истины, т.-е. истины англиканской церкви,—вотъ высшая цѣль правительства.

Мнѣ скажутъ, что это происходило въ 1838 г. Да, но по этому—и только по этому—предмету мнѣнія Гладстона остались неизмѣнны, отбрасывая въ сторону детали и измѣненія, необходимыя въ видахъ требованій общественнаго мнѣнія и достиженія власти. Послушайте его рѣчь 5-го декабря 1879 г. въ Глазго, передъ 8,000 слушателей, въ качествѣ лорда-ректора университета; дѣло идетъ объ англиканской церкви, о переживаемыхъ ею испытаніяхъ, ея притязаніяхъ на мысль и науку:

„Мысль! Безъ сомнѣнія, это — крѣпость, но, по моему мнѣнію, мысль человѣческая еще не приходила въ разрывъ съ догматами, заключающими въ себѣ сущность христіанства, и если когда-нибудь совершится этотъ разрывъ, онъ будетъ началомъ и вѣрной гарантіей быстраго упадка и разложенія цивилизованнаго міра... Въ особенности должно сожалѣть о тѣхъ поспѣшныхъ, лаконическихъ осужденіяхъ, на которыя такъ щедры наши противники и которыя такъ же далеки отъ разума, какъ самыя грубыя суевѣрія. Мода—это въ нѣкоторомъ родѣ философія скачки съ препятствіями (steeplechase philosophy): иногда—это спеціальность, принимающая видъ общей науки и присвоивающая себѣ почетъ; иногда—это познаніе физической, внѣшней природы, которое, по какому-то грубому солецизму, считается достаточнымъ для рѣшенія вопросовъ нравственнаго міра. Посмотримъ, не заражены ли мы стремленіемъ къ разрушенію (a predisposition to distarb), любовью къ отрицанію, наклонностью къ унынію,—и, наконецъ, не страдаемъ ли мы расположеніемъ духа, равно же далекимъ, какъ отъ того, которое осватилъ Данте, а Теннисонъ назвалъ „честнымъ сомнѣніемъ“, такъ и отъ священной привязанности къ истинѣ, съ твердымъ рѣшеніемъ возненавидѣть, такъ-сказать, отца и мать изъ любви къ ней. Если такъ, то я предлагаю вамъ противопоставить скептицизмъ скептицизму, законный скептицизмъ—фантастическому“ [1]). Другими словами, нужно заткнуть уши на научныя доказательства, отказаться (и теперь такъ же, какъ въ 1838 г.) отъ разума,—словомъ, въ отвѣтъ на требованія прогресса, человѣчности, цивилизаціи,—замкнуться въ неподвижность и темноту, оставляющія далеко за собой всякія „non possumus“ Пія IX и tutti quanti.

Можно думать что угодно объ этой profession de foi, — можно ей удивляться, если хотите; но я утверждаю, что это — діаметральная противоположность, антиподъ либерализма, и сожалѣю о странѣ или, лучше сказать, о партіи, которой пришлось выбрать своимъ вождемъ подобнаго человѣка. Теперь все объясняется, все освѣщается при

[1]) См. „Times“, 6-го декабря, 1879 г.

этомъ свѣтѣ,—не зачѣмъ больше чесать затылокъ, стараясь объяснить его противорѣчія. „Если бы судьба того хотѣла,—говоритъ его послѣдній біографъ,—знаменитѣйшій изъ либераловъ могъ бы сдѣлаться знаменитѣйшимъ членомъ духовенства". Вотъ гдѣ было его истинное призваніе: судьба, ненасытная жажда власти толкнули его въ ряды либерализма, и недалеко то время, когда всѣ увидятъ, какъ печально онъ обманулъ ожиданія своей партіи. Само-по-себѣ, честолюбіе похвально, и я вовсе не намѣренъ проповѣдывать по этому поводу общепринятую банальную мораль; но честолюбіе, заставляющее человѣка отворачиваться отъ своихъ собственныхъ мнѣній, попирать ногами свои самыя священныя убѣжденія, публично проповѣдывать, ради власти и почестей, идеи, которыя въ глубинѣ души онъ всегда ненавидѣлъ,—такое честолюбіе безчестно и позорно. Мнѣ непріятно говорить это, но не мое личное мнѣніе, а факты, здѣсь же изложенные, неизбѣжно приводятъ къ такому заключенію относительно Гладстона.

Теперь представляется вопросъ: что́ принесутъ ему будущіе выборы—и, прежде всего, когда они будутъ? Правительство, какъ кажется, рѣшилось не распускать парламента теперь же, и совершенно основательно. Кромѣ того, что, во-первыхъ, опытъ—между прочимъ, опытъ самого Гладстона—положительно доказалъ, что преждевременное распущеніе не приноситъ пользы тѣмъ, кто его декретируетъ; во-вторыхъ—положеніе еще слишкомъ неопредѣленно, чтобы разсудительный кабинетъ могъ прибѣгнуть къ такой мѣрѣ. Можетъ быть, сессіи будетъ предоставлено идти своимъ путемъ до конца; это даже наиболѣе вѣроятный и наиболѣе вѣрный, съ точки зрѣнія министерства, шагъ; развѣ только случится какое-нибудь особенно благопріятное обстоятельство. Въ этомъ случаѣ распущеніе послѣдуетъ черезъ три или четыре мѣсяца.

Что касается до результата, то я не думаю, чтобы онъ былъ благопріятенъ для оппозиціи, даже въ случаѣ немедленнаго распущенія, согласно ея желанію. Повторяю, либеральная партія организована не съ точки зрѣнія матеріальной и практической—напротивъ, никогда не было такого обилія лигъ, ассоціацій, притомъ прекрасно организованныхъ—но съ точки зрѣнія идей; ея программа такъ смутна и неопредѣленна, что становится неуловимой, или, скорѣе, состоитъ преимущественно въ несогласіи съ дѣлами и намѣреніями правительства. Послѣднее—и это капитальный пунктъ, на который я совѣтую обратить вниманіе—устремило всѣ свои заботы (можетъ быть, даже слишкомъ) исключительно на внѣшнюю политику, завербовавши при этомъ въ свою пользу значительное число либераловъ; съ другой стороны — оно тщательно старалось щадить

щекотливость этихъ послѣднихъ, принимая нѣкоторыя мѣры внутренняго характера, что̀, очевидно, могло только увеличить число обращенныхъ.

Это можно было замѣтить недавно въ Шефильдѣ, одномъ изъ самыхъ радикальныхъ городовъ, гдѣ либеральные кандидаты всегда обгоняли консерваторовъ на нѣсколько тысячъ голосовъ. На этотъ разъ голоса раздѣлились почти поровну, около 15 тысячъ съ каждой стороны. Либеральный кандидатъ (дѣло шло о замѣщеніи недавно умершаго Рёбука) былъ избранъ, но большинствомъ только нѣсколькихъ сотенъ голосовъ. Замѣтьте, что онъ выступилъ въ качествѣ *консервативнаго либерала*,—комбинація, имѣющая много шансовъ на распространеніе и успѣхъ при общихъ выборахъ. Можно почти навѣрняка предсказать, что въ ближайшемъ парламентѣ лордъ Биконсфильдъ будетъ имѣть за себя большинство, только не столь значительное, какъ теперь,—большинство, которое *будетъ готово содѣйствовать его внѣшней политикѣ*, но мало-по-малу растаетъ, когда дѣло дойдетъ до внутреннихъ задачъ, по крайней мѣрѣ если министерство не будетъ дѣйствовать въ этомъ дѣлѣ такъ же осторожно, какъ прежде. А между тѣмъ эта осторожность и медлительность имѣетъ свои предѣлы; наступитъ время, когда необходимость въ извѣстныхъ реформахъ дастъ себя почувствовать сильнѣе, чѣмъ теперь; тогда, *но только тогда*, серьёзная либеральная администрація вернетъ свою власть. Будетъ *ли* Гладстонъ ея главою?—не знаю; многіе изъ его приверженцевъ утомлены его поведеніемъ и его плачевнымъ, исключительно личнымъ, способомъ веденія дѣлъ оппозиціи. Была минута отчаянія, послѣ его паденія въ 1874 г., когда онъ отказался отъ должности оффиціальнаго „Leader'a“ либеральной партіи, и лордъ Гартингтонъ, призванный на его мѣсто, не особенно былъ доволенъ, увидѣвъ, что его буйный fidgety коллега оставилъ ему, въ сущности говоря, только синекуру. Съ другой стороны, говорятъ, что лордъ Гранвилль согласится принять, въ случаѣ надобности, только постъ перваго министра. Какъ бы то ни было, вотъ вѣроятности, о которыхъ позволяютъ заключать настоящія условія политическаго предвидѣнія,—остальное рѣшатъ событія.

Въ послѣднее время событія не особенно благопріятствовали кабинету. Въ Афганистанѣ мы оставили генерала Робертса три мѣсяца тому назадъ спокойно расположившимся въ Кабулѣ. Кажется, даже слишкомъ спокойно, или по крайней мѣрѣ безъ достаточныхъ предосторожностей, такъ какъ 13 декабря разомъ пришли два зловѣщія извѣстія: о покушеніи на жизнь вице-короля Индіи, и объ общемъ возстаніи афганскихъ племенъ. Относительно перваго скоро успокоились: дѣло шло, по сообщенію правительства, только объ от-

дѣльной и маловажной попыткѣ какого-то, по всей вѣроятности, сумасшедшаго фанатика.

Второе извѣстіе было гораздо серьёзнѣе. Одинъ изъ афганскихъ вождей, по имени Магометъ-Джанъ, облеченный притомъ же въ священный санъ муллы, при помощи другого патріота, Асматуллы, съ успѣхомъ старался организовать возстаніе афганскихъ племенъ, преимущественно гильзаевъ. Сложное движеніе войскъ англійскаго генерала, съ цѣлью воспрепятствовать соединенію этихъ вождей, совершенно не удалось; инсургенты, нанеся тяжелый уронъ арміи, вытѣснили ее изъ Кабула, гдѣ и утвердились: между трофеями ихъ побѣды фигурировала пушка. Къ счастію, генералъ Робертсъ показалъ себя на этотъ разъ настолько же благоразумнымъ, насколько прежде онъ дѣйствовалъ безразсудно и опрометчиво. Съ своими семью или восемью тысячами солдатъ, снабженными провіантомъ, какъ говорятъ, на 5 мѣсяцевъ, онъ укрѣпился у Шерпура, недалеко отъ Кабула, прислонивъ свой лагерь къ горной цѣпи, удивительно приспособленной къ обстоятельствамъ и мѣсту; здѣсь онъ ожидалъ дальнѣйшихъ событій.

Положеніе становилось критическимъ, и воображеніе уже рисовало себѣ страшныя потери первой афганской войны; опасались ея повторенія. Сообщенія съ долиной Курама и ущельями Шутаргардона были уже давно прерваны, благодаря снѣгу; разсчитывать на девятитысячный кандагарскій гарнизонъ было нечего. Оставалась линія Хайбера, вдоль которой были расположены эшеленами около 19,000 человѣкъ,—ближайшій лагерь въ Гандамакѣ, подъ начальствомъ генерала Гуга. Съ этой стороны сообщенія до сихъ поръ еще не были прерваны; теперь, правда, непріятель, утвердившійся въ Кабулѣ, преграждалъ путь. Но если бы только Гугъ могъ приблизиться, Робертсъ пошелъ бы къ нему на встрѣчу, и скоро съ афганцами, попавшими межъ двухъ огней, все было бы кончено. Безъ сомнѣнія они поняли это и, не дожидаясь прибытія Гуга—которое, впрочемъ, оставалось проблематичнымъ и которое легко было предупредить, бросились 23 декабря на англійскій лагерь. Плохо имъ пришлось: сэръ Фредерикъ Робертсъ, предупрежденный своими шпіонами, принялъ ихъ какъ слѣдуетъ. Послѣ блестящей, но непродолжительной стычки, афганскія банды бѣжали въ разсыпную, преслѣдуемыя англійской кавалеріей, и оставили Кабулъ и Бала-Гиссаръ, скоро снова занятые побѣдителями. Бѣглецы, кажется, увели съ собой Муза-Хана, старшаго сына Якубъ-Хана, теперь англійскаго плѣнника [1]).

---

[1]) Якубъ-Ханъ отказался отъ престола въ концѣ октября 1879 г., еще задолго до революціи.

Слава и могущество британскаго оружія были еще разъ возстановлены, и вѣсть эта, пришедшая въ видѣ подарка на новый годъ, принесла съ собою великое облегченіе. Но что будетъ дальше? Положеніе по истинѣ затруднительное, такъ что заинтересованные люди не упустили случая приписать возстаніе афганцевъ „русскимъ интригамъ и золоту". Нашли въ этомъ связь съ предполагавшеюся экспедиціею въ Мервь, и такимъ образомъ мало-по-малу добрались до увѣренности, что „московиты", какъ говорили во времена Вольтера, утвердились уже въ Гератѣ. Все это существуетъ пока еще въ области фантазіи; и недавно сэръ Стаффордъ Нортскотъ возбудилъ всеобщее удовольствіе, объявивъ въ Лидсѣ, что правительство вовсе не имѣетъ намѣренія подчинить Афганистанъ англійской власти, и тѣмъ менѣе присоединить его къ индійской имперіи. Кандагаръ, безъ сомнѣнія, будетъ занятъ навсегда; а пока можно разсчитывать, что афганцы, послѣ недавняго пораженія, останутся нѣкоторое время спокойными.

Въ Южной Африкѣ произошло еще сраженіе съ неграми, въ ожиданіи войны съ бѣлыми. Бѣлые—трансваальскіе боеры, или голландцы, по крайней мѣрѣ наименѣе довольные присоединеніемъ; негры—подданные, или скорѣе бывшіе подданные короля Секукуни, которому мѣшали спать лавры Кетчевайо. Но разсказать о происхожденіи этого короля Секукуни невозможно, не упомянувъ о легендѣ, которая сюда относится. Нѣкогда, кажется—въ прошломъ столѣтіи, жила въ странѣ базутовъ очень красивая дѣвушка, одна изъ женъ какого-то могущественнаго начальника: ея товарки, завидуя ея красотѣ и милостямъ, которыми она пользовалась, рѣшились погубить ее,—и вотъ, когда она сдѣлалась беременною, разнесся слухъ, что изнутри ея слышны какіе-то странные звуки и цѣлыя слова, произносимыя ребенкомъ: ее обвинили въ волшебствѣ. Благодаря вліянію начальника, она избѣжала смерти, но была изгнана изъ страны базутовъ, и, съ горстью спутниковъ, пришла въ страну, извѣстную съ того времени подъ именемъ Трансвааля. Здѣсь она произвела на свѣтъ Божій удивительный плодъ своего чрева, и злополучный ребенокъ росъ, какъ второй Измаилъ, чтобы со временемъ сдѣлаться главою могущественнаго племени. Онъ легко покорилъ дикое окрестное племя ама-свазисъ, принадлежащее къ кафрамъ, или, болѣе научно, къ неграмъ ибантонамъ [1]); и съ его-то наслѣдниками пришлось имѣть дѣло боерамъ, когда они утверждались въ этой странѣ.

Секукуни — правнукъ этого легендарнаго монарха. Онъ владѣлъ

---

[1]) См. *Корреспонденцію изъ Лондона* въ майской книжкѣ „Вѣстника Европы" за 1879 г., въ которой сообщаются подробности о Южной Африкѣ.

довольно значительной территоріей на разстояніи около 120 миль отъ Преторіи; между нимъ и боэрами былъ заключенъ договоръ, соблюдавшійся довольно честно, пока возбужденія, а можетъ быть просто примѣръ короля зулусовъ, не толкнули его снова къ войнѣ. Его набѣги возобновились, и теперь англичанамъ слѣдовало унять его. Управившись съ зулусскими дѣлами, сэръ Гарнетъ Уольслей лично предпринялъ походъ противъ Секукуни. Въ исходѣ дѣла не могло быть сомнѣнія: послѣ отчаяннаго сопротивленія въ своихъ горахъ, злополучный монархъ сдался въ плѣнъ 2 декабря 1879 г. Онъ присоединится къ Кетчевайо и такимъ образомъ увеличитъ коллекцію коронованныхъ дикарей, которую Англія собираетъ въ этомъ уголкѣ Африки,—коллекцію, которая, мимоходомъ сказать, стоитъ имъ довольно дорого, въ особенности, въ виду того, что боэры не думаютъ выразить ни малѣйшей благодарности за оказанныя имъ безспорно услуги. Сэръ Гарнеттъ Уольслей обошелся съ ними немного слишкомъ вольно; его солдатскіе и грубоватые пріемы произвели дѣйствіе совершенно противоположное тому, котораго онъ ожидалъ, и если дѣйствительно между голландцами Трансвааля вспыхнетъ революція, какъ объ этомъ кричатъ, то Уольслею можно будетъ льстить себя сознаніемъ, что онъ не мало содѣйствовалъ достиженію такого результата.

Аграрное волненіе въ Ирландіи продолжалось въ эти три мѣсяца съ различными превратностями. Первое довольно важное событіе было—основаніе 21 октября „National Land league" подъ предсѣдательствомъ Парнелля. Основатели и члены лиги имѣютъ цѣлью уменьшеніе арендной платы и облегченіе для фермеровъ пріобрѣтенія въ собственность земли, которую они обработываютъ. Это превосходная идея, и слѣдуетъ желать ей успѣха; я уже достаточно распространялся объ этомъ предметѣ въ своемъ послѣднемъ письмѣ, чтобы не возвращаться къ нему еще разъ. Одно слово только: я говорилъ, что содѣйствіе католическаго духовенства всегда служило здѣсь камнемъ преткновенія. Итакъ, въ теченіи ноября надѣлало много шуму заявленіе ирландской католической „іерархіи", что она осуждаетъ настоящее волненіе.

Это просто мистификація. Во-первыхъ, папа и духовенство не могли же допустить, чтобы ихъ обвиняли въ соціализмѣ; поэтому ирландскіе архіепископы и епископы и приглашаютъ „свою паству переносить свое испытаніе съ христіанскимъ терпѣніемъ и кротостью, и уважать права другихъ". Но нужно также щадить чувства „паствы", добрыхъ католиковъ ирландцевъ, и вотъ ихъ приглашаютъ „платить свои долги, насколько это въ ихъ силахъ" (in the fullest extent of their means) — поправка, по меньшей мѣрѣ безполезная; наконецъ,

ихъ просятъ повиноваться законамъ—(воздайте Кесарево Кесареви) — но въ то же время рекомендуютъ имъ „употреблять всѣ мирныя и согласныя съ конституціей средства для улучшенія своего положенія, въ особенности посредствомъ реформы законовъ о поземельной собственности (land laws), которые служатъ главною причиной нищеты и разоренія этой страны“ [1]). Парнелль и его друзья не могутъ говорить яснѣе.

Итакъ, митинги шли своимъ чередомъ, и католическое духовенство думало имъ противиться, когда правительство рѣшилось дѣйствовать. 18 ноября, три главныхъ оратора на митингахъ, въ числѣ которыхъ находился Дэвиттъ, бывшій фенiанскій плѣнникъ, — были арестованы по обвиненію въ употребленіи выраженій, возбуждающихъ къ мятежу. Немного спустя, ихъ отпустили на поруки въ ожиданіи окончательнаго процесса. Какія бы прекрасныя мнѣнія ни выражались нѣкоторыми людьми по поводу воинственнаго настроенія ирландцевъ, нужно сознаться, что эта простая мѣра произвела дѣйствіе холодной воды изъ ведра. Рѣчи стали приличнѣе, деревянныя пики и сабли исчезли, и Парнелль отправился въ Америку, гдѣ и будетъ собирать, вмѣстѣ съ овaціями, средства для своей лиги. Осталась дѣйствительная и возростающая нищета этого несчастнаго населенія, несчастнаго вслѣдствіе невѣжества, безпечности и лѣности, въ которыхъ оно поддерживается безстыднымъ и гнуснымъ духовенствомъ. Безъ сомнѣнія, такой опасности, какъ въ 1847 г., не существуетъ; неурожай не былъ повсемѣстнымъ. Но вдоль Атлантическаго берега голодъ неизбѣженъ. Подписка, открытая герцогиней Мальборо, принесла пока только умѣренные результаты: много, и часто безъ достаточнаго основанія, кричали въ пользу ирландцевъ, а теперь, когда наступила дѣйствительная и неотложная необходимость въ помощи, призывъ въ пользу ирландцевъ находитъ только слабый отголосокъ. Однако правительство начало дѣйствовать: фонды уже назначены, національныя мастерскія скоро будутъ открыты, и все заставляетъ надѣяться, что дѣйствовать будутъ съ усердіемъ и быстротою, которыхъ требуетъ положеніе дѣлъ.

Въ концѣ-концовъ, положеніе кабинета, по отношенію къ афганскимъ, южно-африканскимъ и ирландскимъ дѣламъ нынѣ гораздо лучше, чѣмъ оно было мѣсяцъ тому назадъ; небо еще не освободилось отъ тучъ, но, по крайней мѣрѣ, солнце уже проглянуло. Нельзя сказать того же относительно внѣшней политики. Усилія правительства лорда Биконсфильда—привести къ хорошему концу конвенцію

[1]) „The declaration of the Hierarchy“, въ „The Nation“, № отъ 15 ноября 1879 г.

4-го іюня 1878 г., между Англіей и Турціей, не увѣнчались до сихъ поръ особеннымъ успѣхомъ. Прежде всего назначеніе Махмудъ-Недима показалось, какъ оно и есть на самомъ дѣлѣ, ударомъ для англійской политики. Кабинетъ С-тъ Джемса рѣшился по этому поводу закрѣпить свое вліяніе, и сэръ Генри Лэйардъ еще разъ потребовалъ для Малой Азіи введенія реформъ, которыя ожидаются уже 18 мѣсяцевъ. Тогда султанъ остался глухъ къ этому требованію; флотъ получилъ приказаніе отправляться въ дарданельскія воды: это произвело панику въ Константинополѣ, гдѣ поторопились назначить бывшаго англійскаго полковника, нынѣ Бекеръ-пашу, начальникомъ жандармовъ въ Малую-Азію. Потомъ назначеніе затянулось, и, наконецъ, Бекеръ-паша отправился въ Анатолію съ смѣшнымъ эскортомъ и не менѣе смѣшнымъ чиномъ: что-то въ родѣ инспектора реформъ, которыя имѣютъ быть.

Послѣ этого, отношенія сэра Генри Лэйарда къ турецкому правительству становились все болѣе и болѣе натянутыми, и къ концу декабря англійскій посланникъ воспользовался случаемъ возбудить дѣло, которое можно собственно назвать „une querelle d'allemand". Какой-то докторъ Кёллеръ, нѣчто въ родѣ миссіонера, переведя на турецкій языкъ „Prayer Book" англиканской церкви, возымѣлъ несчастную мысль отдать этотъ трудъ на просмотръ одному ходжѣ, т.-е. школьному учителю, по имени Ахмеду. Турецкое правительство захватило бумаги доктора и посадило въ тюрьму учителя мусульманской школы. По поводу этого сэръ Генри Лэйардъ потребовалъ возвращенія бумагъ, освобожденія Ахмеда и увольненія министра полиціи; ничего не добившись, онъ объявилъ о прекращеніи сношеній Англіи съ Портой. Къ счастію, когда на слѣдующій день бумаги доктора были возвращены, между обоими правительствами возстановились дружба и согласіе. Министръ полиціи остался на своемъ мѣстѣ, а школьный учитель былъ посланъ въ какой-то внутренній городъ, „во избѣжаніе насилій со стороны населенія". Это было какъ-бы фальшивымъ маневромъ со стороны сэра Генри Лэйарда,—и очень понятно, особенно послѣ такихъ неловкостей и неудачъ, дурное настроеніе духа англійскаго правительства, которое водятъ за носъ въ этой странѣ. Оно утѣшается въ этихъ непріятностяхъ при мысли объ австро-германскомъ союзѣ,—союзѣ, предопредѣленномъ самою судьбою, который былъ предсказываемъ нами уже пять лѣтъ тому назадъ (см. корреспонденцію изъ Лондона, въ „Вѣстникѣ Европы", февраль, 1875 г.). Англіи, очевидно, суждено дополнить—тріо.

Я такъ переполнилъ свое письмо политикой, что почти не имѣю мѣста для нѣкоторыхъ выдающихся фактовъ общественной англійской жизни. Есть, однако, одинъ, который я не могу пройти молча-

ніемъ,—я говорю объ умноженіи литературныхъ процессовъ, по поводу диффамаціи (libel). Упомяну объ одномъ, надѣлавшемъ много шума, какъ по причинѣ строгости наказанія, такъ и по поводу замѣшанныхъ въ него лицъ—я говорю объ оклеветанныхъ лицахъ, двухъ дамахъ, вращающихся въ самыхъ фешіонебельныхъ кружкáхъ High Life'a; одна изъ нихъ, миссисъ Лэнгтри, представляетъ изъ себя замѣчательнѣйшій типъ британской красоты, во всей ея кротости и мягкости, но съ примѣсью пикантной дикости, указывающей скорѣе скандинавскую кровь—все вмѣстѣ образуетъ самый обольстительный ensemble, которому могла бы позавидовать Венера или Психея. Эти дамы, равно какъ и графиня Дёдлей, имѣютъ слабость—скажемъ лучше доброту—допускать въ продажу свои фотографіи, на ряду съ фотографіями королевы или Патти. Газета, о которой идетъ рѣчь, называющаяся „Town-talk" и взявшая на себя роль цензора нравовъ, нашла самымъ удобнымъ смѣшать вышеупомянутыхъ дамъ съ грязью, по поводу этой невинной выставки. Замѣтьте, что простодушные люди смотрѣли на этотъ журналъ, какъ на редактируемый духовнымъ лицомъ! Отвѣтственный редакторъ былъ осужденъ на 18-ти-мѣсячное тюремное заключеніе. Это ужъ черезчуръ строго; но я безусловно несогласенъ въ этомъ случаѣ съ мнѣніемъ знаменитаго публициста, Эмиля Жирардена; свобода диффамаціи мнѣ кажется противоположностью и даже, если хотите, паденіемъ свободы печати.

Еще слово о смерти Рóбука [1]), знаменитаго либералъ-консерватора, вызвавшаго въ 1855 г. паденіе кабинета Абердина своимъ предложеніемъ изслѣдованія положенія англійской арміи передъ Севастополемъ,—и талантливаго, хотя и поверхностнаго писателя Гепворта Диксона [2]), автора многихъ сочиненій, и, между прочимъ, интересной книги „Free Russia", бывшей однимъ изъ его первыхъ сочиненій. Наконецъ, я долженъ еще упомянуть, какъ мнѣ и прежде случалось уже нѣсколько разъ, объ одномъ изъ тѣхъ страшныхъ случаевъ, которые періодически губятъ въ нашей странѣ разомъ цѣлыя массы человѣческихъ жизней. Въ воскресенье, 28-го декабря 1879 г., вечеромъ, поѣздъ съ 74 пассажирами отправился изъ Эдинбурга, и въ 7 часовъ вечера долженъ былъ переходить мостъ на Тэ, около Дунди. Этотъ мостъ, перекинутый черезъ обширное устье рѣки, имѣетъ въ длину не менѣе 2-хъ миль; онъ выстроенъ изъ желѣза и открытъ едва два года тому назадъ. Погода въ этотъ вечеръ была

[1]) Родился въ Мадрасѣ въ 1801 г., умеръ 30-го ноября 1879 г.

[2]) Родился въ 1821 г., недалеко отъ Манчестера; умеръ 27-го декабря 1879 г.

ужасная, свирѣпствовала буря, вѣтеръ и волны съ неслыханною силою били въ арки моста, по которому долженъ былъ идти поѣздъ. Никто не знаетъ, что произошло: ночь была темная, шумъ оглушительный. Двое людей, поставленныхъ къ сигналамъ и наблюдавшихъ за поѣздомъ, разсказываютъ, что въ извѣстный моментъ они увидѣли огненную полосу, потомъ сильный блескъ и искры; затѣмъ все пропало; искры, разлетающіяся отъ поѣзда, исчезли. Другой свидѣтель разсказываетъ, что свѣтлая полоса, происходящая отъ освѣщенныхъ оконъ вагоновъ, исчезла, какъ ему показалось, описавъ кривую линію, подобно падающей звѣздѣ. Вотъ и все: до сихъ поръ нашли только небольшое число труповъ. Но фактъ тотъ, что центральныя арки моста опустились подъ давленіемъ поѣзда. Я не знаю ничего ужаснѣе: такъ какъ это случай единственный въ своемъ родѣ,—случай, въ которомъ ни одна душа не могла спастись. Черезъ нѣсколько дней шотландскіе clergymen'ы объявляли во всѣхъ храмахъ о наказаніи, ниспосланномъ Провидѣніемъ на несчастныхъ, которые рѣшились путешествовать въ воскресенье. И это—нравственность! И это—христіанское милосердіе!

R.

ЗАМѢТКА

по поводу «Разсказа очевидца о московскомъ бунтѣ 1648 года».

Въ январьской книжкѣ „Историческаго Вѣстника", помѣщена статья подъ заглавіемъ „Московскій бунтъ 23-го іюня 1648 года. Разсказъ очевидца". Авторъ предисловія, профессоръ Бестужевъ-Рюминъ, предпосылая статьѣ этой нѣсколько объяснительныхъ словъ, говоритъ, что извѣстный англійскій ученый У. Р. Морфиль нашелъ въ Бодлеянской библіотекѣ, въ Оксфордѣ, между рукописями, подаренными ей антикваріемъ Ашмолемъ, описаніе, сдѣланное очевидцемъ московскаго бунта 1648 г., и, снявъ копію съ этой рукописи, доставилъ ее въ редакцію „Историческаго Вѣстника", которая и издаетъ ее теперь въ русскомъ переводѣ. „Самымъ важнымъ источникомъ (для этого событія), говоритъ г. Бестужевъ-Рюминъ,—до сихъ поръ служилъ Олеарій; но онъ уѣхалъ изъ Москвы уже въ 1639 г. и не могъ быть очевидцемъ бунта. Между тѣмъ настоящій разсказъ есть разсказъ очевидца и потому онъ оказывается источникомъ первой важности".

Изъ этихъ словъ можно заключить, что напечатанный въ „Историческомъ Вѣстникѣ" документъ есть документъ совершенно новый, не только никогда не напечатанный, но даже вовсе неизвѣстный. Во избѣжаніе возможности такого неправильнаго мнѣнія, считаю долгомъ заявить, что „Разсказъ очевидца" уже давно находится къ услугамъ всего ученаго міра, потому что напечатанъ еще въ томъ самомъ 1648 году, когда написанъ былъ оригиналъ. Одинъ изъ экземпляровъ находится здѣсь, въ Императорской Публичной Библіотекѣ, въ отдѣленіи „Иноязычныхъ писателей о Россіи", съ 1865 года; онъ купленъ былъ тогда въ Гагѣ, у книгопродавца Нигофа. Оригиналъ писанъ на голландскомъ языкѣ [1]).

Подлинное заглавіе его слѣдующее: „Правдивая исторія и описаніе ужаснаго бунта и возмущенія (Waerachtighe Historie ende Beschrijvinghe), происходившаго въ Москвѣ втораго іюня 1648 года вслѣдствіе большихъ и невыносимыхъ податей, пошлинъ и сборовъ, наложенныхъ на народъ (Ghemeente). Все описано нарочито (perti-

[1]) Повидимому, хотя этого прямо и не сказано, рукопись Бодлеянской библіотеки писана на англійскомъ языкѣ. Мы можемъ о томъ заключать изъ слѣдующаго: на семидесятой страницѣ, при словѣ «городскаго старосты» прибавлено въ скобкахъ: „Mayor".

culierlijck) знатною и достовѣрною особою, которая тамъ присутствовала, и переслано сюда, въ Амстердамъ, одному его другу. Списано съ оригинала и печатано въ Лейденѣ у Виллема Христіенса фан-деръ Боксе, въ 1648 г.".

Уже въ заглавіи текста, напечатаннаго нынѣче въ „Историческомъ Вѣстникѣ" (въ переводѣ), оказывается важная ошибка. Здѣсь сказано: „22-го іюня", между тѣмъ какъ въ голландскомъ текстѣ совершенно вѣрно обозначено число: „2-го іюня". Вѣроятно, это ошибка англійскаго переводчика.

Печатный голландскій оригиналъ во многихъ случаяхъ значительно разнится отъ Бодлеянской рукописи, хотя въ этой послѣдней не пропущено ничего существеннаго. Вотъ главнѣйшія разнорѣчія:

Бодлеянская рукопись:

Стр. 69, строка 11: Царь совершалъ ежегодную процессію.

Стр. 69, строка 14: Налоги, которыми въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ народъ былъ обремененъ, вслѣдствіе чего онъ съ женами и дѣтьми впалъ въ разореніе.

Стр. 69, строка 26: ... стрѣльцы или тѣлохранители, состоявшіе изъ тысячи человѣкъ, жалованье которымъ было убавлено до такой степени.

Стр. 69, строка 33: Всѣ найденныя ими драгоцѣнныя вещи были разбиты на куски топорами и дубинами; золотыя и серебряныя чаши и блюда были обезображены: жемчугъ и другія драгоцѣнныя каменья были превращены въ порошокъ.

Стр. 70, строка 5: Они приступили было къ разрушенію самаго дома Морозова.

Голландская печатная брошюра 1648 года:

Стр. 1, строка 5: Царь совершалъ ежегодную процессію и шествіе для богомолья (Processie ende Bedevaert).

Стр. 1, строка 11: Налоги, которыми народъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ былъ обремененъ, и которыми онъ былъ бы впослѣдствіи совершенно и въ конецъ разоренъ съ женами и дѣтьми, если бы эти налоги остались. (ende in toe komende noch beswaert blijvende, gantslijck en grondlijck met Vrouw ende Kinderen, gheruineert moesten werden).

Стр. 1, строка 27: Стрѣльцы (или Его Императорскаго Величества лейбгвардія) состоящіе изъ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ числомъ (у которыхъ жалованье также было убавлено или отнято). (De Streltsen, [ofte sijne Keyserlijcke Mayesteyts Lijfguarden] bestaende uyt eenighe Duysenden in't ghetal [welcker Tractamenten oock vermindert ende afghenomen worden]).

Стр. 2, строка 8: Всѣ найденныя ими драгоцѣнныя вещи они разбили на куски топорами и саблями: всѣ золотыя и серебряныя вещи они смяли: дорогой жемчугъ и другія драгоцѣнности они превратили въ порошокъ (allerley Costelijckheden die sy vonden, houden sy met Bijlen en Sabelen aen stucken: alle het Goude ende Silvere werck slaen sy plat: kostelijcke Peerlen, ende andere Juweelen, verbrijselen sy tot Pulver).

Стр. 2, строка 14: Домъ Морозова они начали также ломать и хотѣли его разрушить до основанія (het Huys van Morosoph, begonnen sy oock af te breecken, ende wilde het selfde tot den grondt toe demolieren).

Стр. 70, строка 28: Избили (Чистова) дубинами и топорами.

Стр. 2, строка 32: Смертельно избили его (Чистова) дубинами, топорами и саблями (slaen hem met Knuppelen, Bijlen, en Sabelen, doot).

Стр. 70, строка 32: Они проникли во дворъ Плещеева, городскаго старосты (Mayor) и градоначальника.

Стр. 2, строка 41: Они проникли во дворъ Плещеева, бургомистра города (или главы всего городскаго сословія) (den Borgermeester vande Stadt [ofte Heer van de gheheele Borgerye]).

Стр. 71, строка 16: Народъ потащилъ Плещеева на торговую площадь, гдѣ его жестоко избили до синяковъ и черныхъ пятенъ, послѣ чего топорами разрубили на части, словно рыбу. Части эти, ничѣмъ не прикрытыя, были оставлены разбросанными тамъ и сямъ по площади.

Стр. 3, строка 21: Народъ потащилъ его (Плещеева) на площадь большого рынка, тамъ избилъ его палками и дубинами, такъ что онъ сталъ синій, словно легкія, изрубилъ его топорами и саблями, какъ рыбу, и оставилъ его совершенно нагаго въ примѣръ и на зрѣлище всякому (De Ghemeynte... hebben hem ghesleept op het Pleyn vande groote Marckt, aldaer met Stocken ende Kneppels soo blaeuw gheslaghen als een Longh, met Bijlen ende Sabelen ghekorven als een Visch, ende aldaer moeder-naeckt tot een Spiegel ende Specktakel van een yder laten ligghen).

Стр. 71, строка 34: То всего-на-все погибло пятнадцать тысячъ домовъ.

Стр. 3, стр. 42: То считается сгорѣвшими, около пятидесяти тысячъ домовъ. (soo werdender gherekent Verbrandt te wesen, omtrent de vijftich Duysent Huysen).

Стр. 72, строка 2: Число людей погибшихъ отъ огня простирается приблизительно до 1700.

Стр. 4, строка 1: Число людей, которые сгорѣли, такимъ образомъ и были задушены и погибли отъ дыма, извѣстныхъ, за исключеніемъ неизвѣстныхъ, простирается приблизительно до тысячи семи сотъ (het ghetal van menschen d'welck soo Verbrant als door den roock ghestickt ende versmoort sijn, die bekent, behalven die onbekent sijn, wert gherekent ontrent de Zeventienhondert).

Стр. 72, строка 5: Нѣкоторые изъ бѣжавшихъ топоромъ отсѣкли Плещееву голову.

Стр. 4, строка 6: Нѣкоторый монахъ прибѣгаетъ, который топоромъ отсѣкъ этому Плещееву голову (een seecker Munninck kompt toegheloopen, welcken desen Plesseoph met een Bijle de Kop af hackt).

Стр. 72, строка 8: Поволокли члены убитаго въ огонь.

Стр. 4, строка 11: Поволокли его, какъ собаку, къ огню (sleepen hem als een hondt naer het vier).

Стр. 72, строка 15: Нѣкоторые изъ поджигателей сознались, что были деньгами подкуплены на это дѣло Морозовымъ, который хотѣлъ отмстить своимъ противникамъ.

Стр. 4, строка 21: Нѣкоторые изъ поджигателей сознались, что были извѣстною суммою денегъ на дѣло это подкуплены вышеупомянутымъ нѣсколько разъ Морозовымъ, чтобы отмстить народу, и вмѣстѣ съ тѣмъ другимъ знатнымъ особамъ, которые были его противниками (datse vande meermaels voornoemde Morosoph met een seecker stuck Ghelts daer toe waren ghekocht, om sich aen de Ghemeente, midtsgaders aen andere groote Heeren, sijne wederpartye sijnde, te revensieren).

Стр. 78, строка 18. Упаси насъ Боже отъ дальнѣйшихъ подобныхъ бунтовъ и опасности.

Стр. 5, строка 23: Да сохранитъ Всемогущій Богъ сохранитъ насъ впредь и милостиво прикрыть насъ отеческою своею защитою отъ всѣхъ несчастій и опасностей. Аминь. (De Almachtighe Godt ghelieve ons verder te bewaren, ende in sijne Vaderlijcke hoede, voor alle onghelucken ende onghevallen, ghenadelijcken aen te nemen. Amen.).

Интересно въ текстѣ то, что голландскій оригиналъ приводитъ нѣсколько русскихъ словъ, написанныхъ латинскими буквами: „To Naasi Kroof“ (то наша кровь); Ismeenick to la Soli (измѣнникъ то за соль); потомъ фамиліи: „Systoph, Morosoph, Plesseoph, Trochoniotoph“ (Чистовъ, Морозовъ, Плещеевъ, Траханіотовъ). Нельзя не обратить при этомъ вниманія на то интересное, по моему мнѣнію, обстоятельство, что написанныя такимъ образомъ русскія слова доказываютъ, что уже и въ XVII вѣкѣ русскіе произносили, какъ и теперь: „кро*ф*ь“, „Траханіото*ф*ъ“ и т. д., а не по древнѣйшему: „кро*в*ь“, „Траханіото*в*ъ“, и т. д., съ буквою „в“, ясно выраженною.

К. Фиттерлейнъ.

ИЗВѢСТІЯ

Изъ отчета Комитета общества для пособія нуждающимся студентамъ Императорскаго Московскаго университета.

(Съ 1 декабря 1878 г. по 1 декабря 1879 г.).

Представляя отчетъ о своей дѣятельности въ отчетномъ году, Комитетъ имѣетъ честь прежде всего остановить вниманіе общаго собранія на слѣдующемъ сопоставленіи общихъ числовыхъ данныхъ за два послѣдніе года:

	1877—78 г.		1878—79 г.
Приходъ	9,531 р. 39 к.	—	12,718 р. 04 к.
Расходъ	7,205 „ 41 „	—	8,950 „ 56 „
Остатокъ кассы . .	2,325 р. 98 к.	—	3,767 р. 48 к.

Изъ этого сопоставленія видно, что въ отчетномъ году, сравнительно съ годомъ предшествовавшимъ, обороты Комитета оказались больше: по приходу на 3,186 р. 65 к., или на 33,43%, а по расходу на 1,745 р. 15 к., или на 24,20%.

Въ теченіи того же отчетнаго года запасный капиталъ возросъ съ 6,500 р. до 7,239 р. 40 к., т.-е. на 739 р. 40 к.

I. Наличныя денежныя суммы, бывшія въ распоряженіи Комитета въ теченіе двухъ отчетныхъ годовъ, представляются въ слѣдующемъ видѣ [1]):

	1878 годъ.		1879 годъ.
Остатокъ кассы.	1,670 р. 04 к.	—	2,325 р. 98 к.
Членскіе взносы	1,915 „ — „	—	2,417 „ — „
Пожертвованія	4,917 „ 10 „	—	6,806 „ — „
Проценты съ капитала . . .	271 „ 75 „	—	315 „ — „
Возвратъ выданныхъ ссудъ. .	762 „ 50 „	—	604 „ 06 „
	9,536 р. 39 к.	—	12,468 р. 04 к.

Слѣдовательно, въ теченіи отчетнаго года поступило въ распоряженіе Комитета изъ разныхъ источниковъ на 2,931 р. 65 к. болѣе чѣмъ въ предшествовавшемъ году.

Показанная въ вѣдомости сумма 604 р. 06 к.—„возвратъ выданныхъ ссудъ", составилась изъ двухъ частей: а) 274 р. 06 к., возвращенныхъ Комитету въ счетъ суммъ, выданныхъ нѣкоторымъ сту-

[1]) Въ этотъ счетъ не вошли пожертвованія, назначенныя къ причисленію въ запасный капиталъ.

дентамъ подъ ассигновки на полученіе ими стипендій изъ университета, и б) 330 р. возвращенныхъ ссудъ. Эта послѣдняя сумма оказалась менѣе прошлогодней (485 р.)—на 155 руб. Въ дѣйствительности же она даже не выражаетъ собою возвращенія студентами выданныхъ имъ Комитетомъ въ прежнее время пособій, потому что большая часть этихъ денегъ поступила въ возвратъ, черезъ г. ректора университета, тѣхъ суммъ, которыя были выданы на срокъ по его личному ходатайству и подъ его ручательствомъ. Такимъ образомъ, надежды, высказанныя Комитетомъ въ прошлогоднемъ отчетѣ, на то, „что розданныя имъ въ пособіе бывшимъ студентамъ суммы будутъ правильнѣе и полнѣе возвращаться въ кассу и дадутъ ему новыя средства для болѣе широкой дѣятельности въ будущемъ", далеко не оправдались. Къ выданнымъ по 1-е декабря 1878 года 38,120 руб. 64 коп., въ теченіи года прибавилось еще 7,265 руб. 95 к., такъ что въ настоящее время числится всего въ долгахъ за бывшими и настоящими студентами 45,056 р. 59 к. Хотя въ прошломъ году Комитетъ и составилъ полный списокъ должниковъ общества, по которому г. ректоръ университета выразилъ свою готовность войти въ сношеніе съ разными учрежденіями, гдѣ находятся на службѣ бывшіе студенты университета, относительно возврата должныхъ Комитету суммъ; однако послѣдній въ прошломъ году не призналъ вообще обстоятельства благопріятными для того, чтобы приступить къ этому способу взысканія, а тѣмъ болѣе объявить въ общее свѣдѣніе, черезъ газеты, какъ предполагалось прежде, имена и фамиліи лицъ, не исполнившихъ своихъ обязательствъ по отношенію къ обществу.

II. Пособія, выданныя Комитетомъ въ отчетномъ году, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	1878 г.		1879 г.
Внесено за право слушанія лекцій . .	1,300 р. — к.	—	1,287 р. 50 к.
Уплачено за дешевые обѣды	2,281 „ 95 „	—	2,803 „ 45 „
Выдано денежныхъ пособій	2,608 „ 21 „	—	3,175 „ — „
Уплачено за леченіе больныхъ . . .	57 „ 20 „	—	26 „ 40 „
Выдано подъ ассигновки	277 „ 50 „	—	494 „ 06 „
	6,524 р. 86 к.	—	7,786 р. 41 к.

Изъ этого сопоставленія цифръ видно, на сколько въ прошломъ году шире выразилась дѣятельность Комитета по выдачѣ пособій недостаточнымъ студентамъ.

Изъ перечисленныхъ видовъ пособій первое мѣсто занимаетъ выдача денегъ на руки. Въ 1878 году число выданныхъ пособій не превышало 238, а въ прошломъ оно составляло 300. А именно:

На медицинскомъ факультетѣ .	283 пособія	на	2,955 р.
„ филологич. „ . .	5 „	„	45 „
„ юридическ. „ . .	6 „	„	95 „
„ математич. „ . .	6 „	„	80 „
	300 пособій	на	3,175 р.

Что касается до внесенія въ правленіе университета платы за слушаніе лекцій, то израсходованная на это Комитетомъ въ 1879 г. сумма 1,287 р. 50 к. оказалась менѣе расхода предшествовавшаго года на 32 р. 50 к. На первый взглядъ при значительномъ наплывѣ въ университетъ молодыхъ людей, стремящихся къ полученію высшаго образованія, слѣдовало бы скорѣе ожидать и соотвѣтственнаго увеличенія числа недостаточныхъ студентовъ, не могущихъ изъ своихъ средствъ внести плату за слушаніе лекцій и, слѣдовательно, вынуждаемыхъ обстоятельствами прибѣгать къ общественной благотворительности. Но, съ другой стороны, распоряженія университетскаго начальства, доставляющаго широкую возможность пользоваться даровыми лекціями какъ недостаточнымъ студентамъ медицинскаго факультета, обязывающимся, по окончаніи курса, прослужить установленный срокъ, по назначенію правительства, такъ и вообще студентамъ 1 курса всѣхъ факультетовъ, представившимъ узаконенныя свидѣтельства о бѣдности, а равно раздача въ довольно значительномъ размѣрѣ пособій на руки, замѣтно смягчаютъ въ этомъ отношеніи нужду московскихъ студентовъ и избавляютъ ихъ отъ горькой необходимости обращаться къ общественной помощи. Здѣсь нельзя не прибавить также, что той же цѣли достигаетъ и раздача суммъ, собираемыхъ со студенческаго вечера, ежегодно устраиваемаго самими студентами университета.

Плата за слушаніе лекцій была внесена за 54 студента, которые распредѣлялись по факультетамъ слѣдующимъ образомъ:

За 13 юридическаго факультета. . . .	273 р.	— к.
„ 10 математическаго „ . . .	300 „	— „
„ 3 филологическаго „ . . .	75 „	— „
„ 28 медицинскаго „ . . .	639 „	50 „
За 54 студента	1,287 р.	50 к.

III. За всѣми произведенными въ отчетномъ году расходами въ кассѣ общества по 1 декабря 1879 года остается наличными 3,767 р. 78 к. Значительная часть этой суммы, до 2,000 р., поступила уже передъ самымъ заключеніемъ отчетнаго года.

Запасной капиталъ общества по отчету за 1878 годъ составляли: процентныя бумаги по нарицательной цѣнѣ 6,500 р.; къ этой суммѣ должны быть причислены названныя выше пожертвованія 1879 года въ размѣрѣ 250 р., и затѣмъ, на основаніи § устава должно быть отчислено 489 р. 40 к., съ которыми составится общая сумма запаснаго капитала—7,239 р. 40 к.

Въ отчетномъ году, на основаніи ст. 20 устава, происходило одно общее собраніе, 10 января 1879 г., на которомъ было постановлено утвердить отчетъ о дѣйствіяхъ Комитета за 1878 годъ и произведены выборы членовъ, казначея и секретаря Комитета. Избранными на эти должности, по большинству голосовъ, оказались: 1) Предсѣдателемъ М. П. Щепкинъ; 2) Членами Комитета: В. В. Давыдовъ, Э. Н. Сумбулъ, М. П. Фроловъ, Н. С. Тростянскій, Н. Б. Фохтъ, А. И. Чупровъ, Н. С. Кишкинъ, кн. С. М. Крапоткинъ и

В. А. Гольцевъ; 3) Казначеемъ кн. Л. Д. Оболенскій; 4) Секретаремъ В. М. Метловъ; 5) Кандидатами къ членамъ Комитета: Д. М. Горчаковъ, М. М. Ковалевскій, А. Ѳ. Марконетъ, А. В. Лешковъ, А. А. Котляревъ, Л. Г. Харитоновъ и Н. Л. Юнгъ.

Комитетъ, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, собирался въ неопредѣленные сроки, по мѣрѣ поступленія прошеній отъ студентовъ, а въ лѣтніе мѣсяцы пріостанавливалъ свою дѣятельность. Въ засѣданіяхъ Комитета принимали участіе не только члены его, но и кандидаты къ нимъ, которые, наравнѣ съ первыми, несли на себѣ обязанности по собиранію всѣхъ справокъ о положеніи лицъ, обращавшихся къ помощи Комитета.

ОПЕЧАТКА.

Въ январьской книгѣ, въ статьѣ П. В. Анненкова, стр. 228, строчк. 8 сн.: напечатано—*разсадки*, вмѣсто—*разладки*.

М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ПЕРВАГО ТОМА

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ.

ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ, 1880.

Книга первая.—Январь.

стр.

Дикарка. — Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ. — А. Н. ОСТРОВСКАГО и Н. Я. СОЛОВЬЕВА 5

Живописецъ Александръ Андреевичъ Ивановъ. — Біографическій очеркъ. — В. В. СТАСОВА 111

Ночь подъ рождество.—Разсказъ.—А. Н. ЭРТЕЛЯ 187

Замѣчательное десятилѣтіе. — 1838—1848 гг. — Изъ литературныхъ воспоминаній.—I.—II. В. АННЕНКОВА 216

Конституціонализмъ и А. Тьеръ. — Discours parlementaires de M. Thiers t. I, II, III.—Статья первая.—I.—. 244

Современный романъ въ его представителяхъ.—IV. Викторъ Гюго. — Z. Z. 286

Стихотворенія.—I. Я жду тебя.—II. Сегодня гляжу на тебя я уныло.—III. Мы долго шли.—Кн. Д. Н. ЦЕРТЕЛЕВА. 330

Наука и литература въ современной Англіи. — Письмо одиннадцатое. — А. РЕНЬЯРА 332

Хроника.—Общая картина народнаго просвѣщенія въ европейской Россіи.—По новѣйшимъ статистическимъ свѣдѣніямъ.—М. Р 367

Литературное Обозрѣніе.—I. Курсъ исторіи русской литературы, М. А. Орлова. Русскіе писатели, В. Острогорскаго, вып. I и II. — II. Письма къ М. П. Погодину изъ славянскихъ земель, вып. I. — III. Янъ Жижка, В. Томка.—А. А.—IV. Соціологія, Евг. де-Роберти.—К. К. 391

Внутреннее Обозрѣніе. — Отчетъ государственнаго контроля за 1878 г. — Возрастаніе доходовъ. — Сверхсмѣтные и чрезвычайные расходы.—Балансъ отчета. — Экономическое значеніе бумажныхъ денегъ.—Примѣръ Америки.—Вопросъ объ обще-церковныхъ свѣчныхъ заводахъ.—Результаты желѣзнодорожнаго налога. — Труды желѣзнодорожной комиссіи. — Формальное и живое изслѣдованіе дѣла.—Почтовая статистика за 1878 годъ и практическіе выводы изъ нея. 422

Иностранная Политика.—Германія среди другихъ государствъ Запада. 445

Извѣстія. — I. Отчетъ о дѣятельности комитета „Общества для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ“ за 1879 годъ.—II. Отъ комитета по сооруженію въ городѣ Пятигорскѣ памятника поэту Лермонтову . . 456

Библіографическій Листокъ. — Собраніе сочиненій Гёте, Н. В. Гербеля, т. IX и X.—Гекторъ Сервадакъ, Ж. Верна. — Жизнь дѣтей, вып. II. — Волшебныя сказки Музеуса. — Фантастическія сказки, съ нѣмец., переводъ А. Степановой и О. Гримма.

Книга вторая.—Февраль.

стр.

Замѣчательное десятилѣтіе.—1838—1848 гг.—.—Изъ литературныхъ воспоминаній.—V-XV.—П. В. АННЕНКОВА. 461

Записки степняка. — I. — Ночная поѣздка. — II. — Отъ одного корня.— А. И. ЭРТЕЛЯ. 511

Итальянская новелла и Декамеронъ.—Историко-литературные очерки.—I-V.— А. А—ВОЙ. 568

Новый помѣщикъ.—Романъ, въ двухъ частяхъ, Мавра Іокая.—Съ венгерскаго.— Часть первая: I-V.—М. С—ВОЙ 640

Польскій вопросъ въ русской литературѣ.—I-III.—А. Н. ПЫПИНА 703

Конституціонализмъ и А. Тьеръ.—Discours parlementaires de M. Thiers. t. I—III.—Статья вторая 737

Безымянная.—Этюдъ съ натуры.—Ю. Я 777

Хроника.—Литературное Обозрѣніе.—I. Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, т. III.—Сборникъ Отдѣленія русскаго языка и словесности Имп. академіи наукъ, т. XX, № 5.—А. А.—II. Губернскій городъ Владиміръ, А. П. Субботина. — III. Синезій философъ, А. Остроумова.— IV. L'Eglise chrétienne, par E. Renan, t. VI.—V. Der Forstmeister, v. B. Auerbach. — К. К.—Портретная Галерея русскихъ литераторовъ и т. д., съ біографіями, изд. К. Шапиро. 802

Внутреннее Обозрѣніе.—Процессъ Ревенскихъ, и его окончательное рѣшеніе.— Общіе вопросы изъ области наслѣдственнаго права въ Россіи.—Новѣйшая реформа закона о наслѣдствѣ въ Финляндіи, и ея главныя черты.—Кто такое „мы“ въ „Надеждахъ и Разочарованіяхъ“, проф. А. Д. Градовскаго.— Толки и слухи о необходимости централизаціи у насъ школьнаго дѣла.— Пріютъ малолѣтнихъ преступниковъ въ Саратовѣ, и общіе результаты его дѣятельности. — Бюджетъ города Петербурга и его существенныя данныя. 823

Письмо И. С. Тургенева, и нѣсколько словъ по этому поводу 843

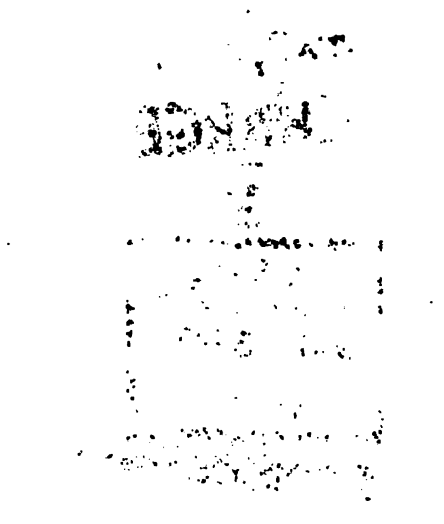
Корреспонденція изъ Берлина.—Общее положеніе дѣлъ въ Германіи.—К. 849

Корреспонденція изъ Лондона.—Чего ожидать отъ Гладстона?—R. . . 878

Замѣтка.—По поводу „Разсказа очевидца о московскомъ бунтѣ 1648 г.“— К. ФЕТТЕРЛЕЙНА. 895

Извѣстія.—Изъ Отчета Комитета Общества для пособія нуждающимся студентамъ Императорскаго Московскаго Университета 899

Библіографическій Листокъ.—Сборникъ Рус. Ист. Общества, т. XXVI.—Семейство Разумовскихъ, А. А. Васильчикова, т. I. — А. А. Ивановъ, изданіе М. Боткина.—Сочиненія Лермонтова, 4-е изданіе.



3 2044 024 073 421

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

STAFF STUDY

CHARGE

WIDENER
BOOK DUE
MAY 3 1981
CANCELLED
MAY 09 2008

WIDENER
FEB 10 1995
CANCELLED
BOOK DUE